

УДК 882-94  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
Ц27

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»

Подготовка текста, предисловие и примечания Ст.Айдиняна

Художник А.Рыбаков

### **Цветаева А.И.**

Ц27 Воспоминания. В 2 т. Т. 1. 1898–1911 годы / Анастасия Цветаева; изд. подгот. Ст.А.Айдиняном. — М.: Бослен, 2008. — 816 с.

ISBN 978-5-91187-053-9

Анастасия Ивановна Цветаева (1894–1993) была незаурядной личностью и глубоким писателем. Особой любовью читателей пользовались и продолжают пользоваться ее «Воспоминания». В них воссоздана картина быта семьи Цветаевых, даны яркие образы отца — основателя Музея изобразительных искусств в Москве, матери, старшей сестры Марины (о ней автор старалась записать все, что помнила, до того, как жизнь их разлучила), рассказано о дружбе и встречах со многими деятелями русской культуры.

В настоящем издании мемуары А.И.Цветаевой впервые приходят к читателю без купюр, которые ранее были сделаны по разным причинам, в том числе и цензурным. Не печатавшиеся материалы, примерно треть объема книги, представляют собой расширенные описания-характеристики ряда персонажей (многие имена здесь названы впервые, а многие герои вообще впервые явлены), различных событий из жизни семьи Цветаевых. Поэтому читателю, даже хорошо знакомому с «Воспоминаниями», будет далеко небезынтересно прочесть их новую редакцию и открыть для себя малоизвестные или вовсе неизвестные факты. Том первый охватывает период с 1898 по 1911 годы.

УДК 882-94  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

*Запрещается полное или частичное использование и воспроизведение текста и иллюстраций в любых формах без письменного разрешения праволадельца*

ISBN 978-5-91187-053-9

© Ст.Айдинян, подготовка текста, предисловие, примечания, 2008  
© Дом-музей Марины Цветаевой, 2008  
© Оформление. ООО «Бослен», 2008

## Электричество памяти

Анастасия Ивановна Цветаева (1894—1993) была яркой, волевой, запоминающейся личностью. Темпераментным, красноречивым, приковывавшим к себе внимание человеком. Во всем ее облике чувствовалось старинное благородство — нос «с дворянской горбинкой», летящая, стремительная походка и живость движений, доброта улыбки... Дожив почти до ста лет, она в конце XX века была чуть ли не последним дореволюционным писателем, представителем ушедшего поколения, до конца сохранившим не только ясность ума, но ту, уже утерянную, стародавнюю русскую речь, когда слова иностранного происхождения произносились с уклоном в язык страны, откуда пришли... Богатство и емкость ее памяти удивляли.

Прежде чем перейти к разговору о самом главном труде А.И.Цветаевой, ее «Воспоминаниям», хотелось бы рассказать о том, что было создано ею как писательницей.

Первые, ранние книги — «Королевские размышления» (1914), «Дым, дым и дым» (1916) имели неперменной художественной чертой намеренную фрагментарность. Это была лирико-трагическая философская эссеистика. Хорошо, что эти книги сохранились, не в пример другим рукописям дореволюционного периода, изъятым при аресте автора. Теплится очень слабая надежда, что в «недрах» архивов НКВД, которые, как говорят, огромны и не разобраны, где-то и таятся рукописи Анастасии Ивановны — и ее неоконченный фантастико-мистический роман «Музей»,

и ее переписка (в том числе с сестрой), и большой фотоархив. Известно также, что ею были написаны две модернистские книжки, созданные в соавторстве с Георгием Цапок в 1919 году в Судаке. Эти рукописные книги назывались: «Начало и конец» и «L'eau» («Вода». — *фр.*). Была неоконченная рукопись «Звонарь» (1927–1930), посвященная ясновыслушающему и ясновидящему звонарю Константину Сараджеву. К этой рукописи в 1927 году с большим интересом отнесся Горький. Только в 1977 году вышла восстановленная по памяти версия в журнальном варианте, потом — книга «Мастер волшебного звона» (1986) в соавторстве с братом звонаря, Нилом Сараджевым. Была и книга о самом Горьком, часть из которой в 1930 году опубликовал «Новый мир». Взяв за образец хроникально-документальную книгу А.Федорченко «Народ о войне», А.И.Цветаева написала книгу, где собирала народные высказывания о голоде, — «Голодная эпопея». Однако Горький сказал: «Опоздали вы с этой книгой, Анастасия Ивановна!» На страну после насильственной коллективизации надвигался голод, и цензура «голодную» тематику пропустить не могла. Была и двухтомная машинопись романа «SOS, или Созвездие Скорпиона», не пошедшая в печать потому, что автор не согласилась «выпрямить» под «нужную», оптимистическую линию судьбы героев. Были совершенно теперь забытые рукописи книг «Сансбор» (о санатории «Серебряный Бор» и о людях, там отдохавших), которую писательница создавала несколько лет. Была и сходная по жанру повесть «Санузия», тоже написанная «с натуры», под Москвой, в санатории «Узкое», бывшем имении Трубецких. Был роман «Четвертый Рим», который тоже исчез. Канула и лирико-философская книга «Флейтист». И.Г.Эренбург обещал опубликовать эту рукопись еще в 1920-е годы, но издание осуществлено не было. Были и рассказы на английском языке, один назывался «Dogs and Masters»; переводы, в том числе с английского «Герои и героическое» Томаса Карлейля и поэтический перевод на английский стихотворений Лермонтова. Были и ее русские и английские собственные, тогда еще немногочисленные стихотворения, сочиненные до 1937 года. Позже они вошли в «Мой единственный сборник», вышедший после смерти автора (1995), некоторые из них включены в автобиографический роман «Апог» (изд. 1991), написанный в сталинском лагере. Роман хронологически стал продолжением «Воспоминаний», в нем некоторые герои, приобретающие новые имена, остались вполне узнаваемы. Оттого в творчестве

А.Цветаевой он занимает особое место. В нем, где Анастасия Цветаева появилась под крылатым именем античной богини Ники, увлекательно, психологически тонко описана борьба за душу героя. Нечто подобное происходило и с главными персонажами ее повести «История одного путешествия» (1971). Читателям остались — книга новелл и рассказов «О чудесах и чудесном» (1991), созданная по совету ее друга архимандрита Виктора Мамонтова; повести «Старость и молодость» (1967), «Моя Сибирь» (1976), «Моя Эстония» (1991), очерки «Зимний старческий Коктебель» (1989), «Моя Голландия» (1992). В Сибири А.И.Цветаева жила, когда была осуждена на ссылку «навечно». В Эстонию много лет ездила летом отдыхать и окунаться в холодный святой источник в Пюхтицком женском монастыре. Два последних очерка — описание путешествий с другом-писателем и врачом Ю.И.Гурфинкелем зимой в Коктебель, в Дом-музей М.Волошина; и на самолете — в Голландию в июне 1992 года. Поездка в Амстердам на Международную книжную ярмарку стала последним из больших путешествий ее долгой жизни.

Посмертно были изданы не только стихи, но и еще целый ряд рукописей. Назовем мистико-символические «Сказки» (1994) — чудом сохранившиеся (всего три), оставшиеся «на память» о дружбе с поэтом Б.Зубакиным и его розенкрейцерским кругом. Домом-музеем М.Цветаевой в Москве издан «Памятник сыну» (1999). Книга посвящена памяти А.Б.Трухачева, чья внезапная смерть так трагически отразилась на Анастасии Ивановне, что она вскоре ушла вслед за ним, успев еще написать о нем, осознавая эту рукопись как свой последний скорбный долг. В том же издании появились «Гений памяти. Переписка А.И.Цветаевой и П.Г.Антокольского» (2000); очерк «Маринин дом» (2006), вышедший когда-то в журнальном варианте и выпущенный московским Домом-музеем полностью.

Несколько особняком стоит книга Мишеля де Сен-Пьера «Бернадетта и Лурд» (2006), о католической святой, — она весьма близко к тексту переведена с французского А.И.Цветаевой в последний период ее творчества. До этого она переводила художественную и популярную литературу для заработка в далеких 1920-х годах. В частности, в 1923 году перевела с немецкого книгу Бруно Бюргеля «От рабочего к астроному» (Петроград: Гос. изд-во «Наука и просвещение», 1923) и в 1924 году повесть французского писателя Т.Жува «Миссионер»...

Итак, «Воспоминания». Они — явление уникальное. Именно эта книга принесла ей как писательнице наибольшую известность. Борис Пастернак писал ей, прочтя еще не опубликованные страницы, напечатанные на тонкой папиросной бумаге: «Ася, душечка, bravo, bravo! Только что получил и прочел продолжение, читал и плакал. Каким языком сердца все это написано, как это дышит почти восстановленным жаром тех дней! Как бы высоко я Вас ни ставил, как бы ни любил, я совсем не ждал дальше такой сжатости и силы... Ваш слог обладает властью претворения, — я забываю, что этих матерей и комнат и девочек уже нет, они заново повторяют свой обреченный выход, заново живут и заново уходят, и нет слез достаточных, чтобы оплакать их исчезновение и конец» (из письма 22 сентября 1958 г.). Поэт Павел Антокольский в рецензии в «Новом мире» сказал, что это «проза, насыщенная электричеством памяти».

Книга Анастасии Ивановны создалась не сразу, у нее были своего рода «предшественники». Сначала детский, потом юношеский ее дневник. О нем годы спустя А.Цветаева писала: «Дневник этот все более занимал места в моей жизни, как в Марининой — стихи. Привычка отображать пережитое, отдавать себе отчет в мыслях и чувствах вырастала в подобие тайного спутника, уже становящегося поддержкой в моих днях». Именно он, несохранившийся дневник, может полноправно считаться пратекстом, первой литературной основой «Воспоминаний», как еще раньше он был основой двух первых книг писательницы: «В нем в свою очередь рождались будущие “Королевские размышления”, “Дым...”, лишь две всего в печать попавшие злополучные книжки». В дневнике были исключительно интимные, исповедальные страницы — безоглядная искренность, жизнь с юношеским головокружением — как на краю бездны...

Не так давно на чердаке александровского Литературно-художественного музея М. и А. Цветаевых среди прочих бумаг был найден и подлинный отрывок одной из дневниковых записных книжек Анастасии Ивановны, две странички, вырезанные из небольшой тетрадки. Вот этот чудом дошедший до нас несколько патетический фрагмент: «О, скажи, мама! Это твое напутствие? А Марусе ты написала длинное стихотворение, которое оканчивается этими 4-мя строками: “Вы живете во мраке, в оковах, в аду... / Я вас к свету, к свободе вперед поведу! / Верьте — некуда больше идти — / Нет иного пути!” ...Ты ей указала дорогу,

тоже смелую, гордую. Ту единственную дорогу, по какой могут идти такие, как она. “Нет иного пути!” Да, это было напутствие. Я стала верить снам и гаданиям. Любовь сильнее смерти. Если верить, верить в невозможное, оно станет возможным. Надо сильно желать, сильно верить, сильно любить, — и преграды разрушатся. Часто, читая какую-нибудь книгу или гуляя по тем самым местам, которые ты так любила, я думаю о тебе, представляю себе тебя, и мне чудится твой смех, голос, смелые песни — и ты вспоминаешься мне, какую ты была когда-то, давным-давно, в солнечной, яркой Италии среди цветов, моря и земли. Часто я хожу на ту лесную поляну, которую ты звала “пеньки” и которую так любила, и глядя на грустные молодые березки и осины, вспоминаю тебя. Поздно... поздно... 31 мая... Осенью этого года мне исполнится 14 лет. После лета 1906 года настала теплая осень. Все уехали в Москву, Маруся — в гимназию живущей, Андрей — тоже в гимназию, папа уехал с ними, а я до 22 октября жила у Добровольских. Ты помнишь, я и в Ялте и здесь, в противоположность Марусе, была “реакционерка”. Мало-помалу взгляды мои стали...» Заметим, что в этом никогда не публиковавшемся фрагменте приведена заключительная часть стихотворения «Я оторван от жизни родимых полей...» поэта Скитальца. Его лирику любила мать девочек, Мария Александровна.

Анастасия Ивановна говорила, что ее дар слова, как и музыкальность, унаследованы от матери, чьи дневники сестры, получив от отца, разделили между собой. Однако она имела в виду не столько письменный стиль, сколько устный, — блестящую вдохновенную речь, полную сложных, прихотливых периодов. Интересно, что благодаря «Воспоминаниям» Анастасии Ивановны в Центральном государственном архиве литературы и искусства была атрибутирована, «опознана» единственная из сохранившихся рукописных книжек материнских дневников...

Романтизм, склонность дорожить прошлым, стремление оглядываться назад со словами — «А помнишь...» — все это действительно от матери. Ее страстность, ее музыкальность, ее стать, ее чувство долга... Считается, что работоспособность, выносливость пришли генетически по отцовской линии, от деда, протоиерея Владимира Васильевича Цветаева, простого владимирского пастыря, нравственно сильного и патриархально-задушевного, оставившего по себе самую добрую память у прихожан. Эти качества взял от своего отца и Иван Владимирович Цветаев, профессор

классической филологии, который основал и подарил России Музей изобразительных искусств в Москве, на Волхонке.

Дневник, как мы сказали, был первым пратекстом «Воспоминаний». Но существовал и своего рода второй, после дневника, пратекст, пропавший при аресте А.Цветаевой в 1937 году. Это был ее неоконченный двухтомный роман «Нюрнбергская хроника». Там действие происходило в Германии. Отец в нем был выведен в роли немецкого профессора, мать звалась фрау Мария, Марина и Анастасия — Беата и Эрика. Когда уже после тюрем, лагерей, ссылки и потом реабилитации Анастасия Ивановна стала писать «Воспоминания», то ей приходили на память не только картины прошлого, но и отдельные, списанные с реальности, сцены из того утерянного довоенного романа. Однако все же неоконченная «Нюрнбергская хроника» — преимущественно художественное произведение, включающее автобиографические эпизоды. «Воспоминания» Анастасии Ивановны тоже в особом роде произведение художественное. Они, прежде всего, передают атмосферу эпохи, в них — портреты замечательных личностей, ее современников. Образы даны в обрамлении чувств столь тонких, что удивляешься, как писательница сумела вспомнить и описать их. Что касается стиля, то явь «Воспоминаний» импрессионистически живописна, прошлое приближено чутким отражением оттенков движений души, лиц, красок. Недаром любимым писателем ее был Марсель Пруст.

В юные годы Анастасию Цветаеву, как и ее сестру Марину, не покидало чувство одиночества, несмотря на все привязанности и дружбы. Жизнь им представлялась трагичной нелепостью, от которой нужно устранишься... Ей тогда были свойственны волевая самостоятельность и... усталость от мысли: «Нас бросили в мир и забыли». Отсюда теоретическая готовность — по выражению старшей сестры — «Творцу вернуть билет». Анастасия Ивановна жила в юности в стихии трагического. Таков был дух времени, таково было искусство, таковы были литература и кинематограф...

Страдающая искренность восхищала друга Анастасии Ивановны, философа Василия Васильевича Розанова. Лирико-философская открытость роднила молодые дневниковые страницы с его собственными книгами — «Уединенным», «Опавшими листьями»... Не сохранилась книга А.Цветаевой о Розанове, о которой он сам говорил, что запечатлен в ней «как в синематографе», не сохранилась их обширная переписка... И вот — прошли

годы, позади революция, унесшая дым тоски, утопившая многие печали в лишениях, в тяготах, в ужасающей нищете и ее преодолении. Тоска о несовершенстве мира сменилась верою, помогавшей жить, писать и не идти на компромиссы, которые предлагало время. В самые трудные для Анастасии Ивановны годы — в тюрьме, в лагерях, потом — в ссылке — она выдержала испытания, и основой твердости ее было христианство, которое она прочно несла в душе с 27 лет. Человек — это убеждения. Убеждения — это свобода и необходимость поступать по-своему, в соответствии со светом истины, который освещает твой путь...

Кроме письменных «пратекстов» существовала и первоначальная устная версия «Воспоминаний», Анастасия Ивановна рассказывала о своем детстве старшей внучке, Рите Трухачевой, об этом сказано в повести «Моя Сибирь» (1976): «Когда я начала рассказывать Рите мое детство? Лет с пяти? Трудно вспомнить. Но рассказ родился и рос органично, обратный тому, когда я выдумывала сказки. Тут все было “документально”, правдиво, я воскрешала бывшее с почти документальной точностью, это был труд. Он всегда происходил на ходу, по пути из села или назад в село, я умолкала на полуфразе... В следующий раз кто-нибудь из нас спрашивал: “Где мы остановились?” Это был пароль. И мое детство продолжало разворачиваться, повторяться — год за годом, зима за осенью и весна после зимы, все дома, все города, все страны, все подруги, все друзья. Узнавала ли все это Рита, когда, более десятилетия спустя, она получила в подарок мою книгу “Воспоминания” (1971)?».

«Моя книга “Воспоминаний”, — писала Анастасия Ивановна в очерке «В те счастливые дни», который вошел позже в ее книгу «Неисчерпаемое» (1992), — была передана в “Советский писатель” и на прочтении и рецензии лежала там более трех лет, и были две отрицательные рецензии Гуса и Запалова, когда на вечере 80-летия Мариэтты Сергеевны Шагинян оба мои друга Фейнберги приступили к директору Лесючевскому с настойчивой рекомендацией ее напечатать.

— А вы возьметесь ее редактировать? — спросил Лесючевский.

— Возьмусь! — отвечала Маэль Исаевна.

И работа началась. Я проводила у них день за днем всю ту зиму, за которую мы с Маэлью Исаевной по плану нашей работы должны были окончить пересмотр и переработку всего материала первого тома моих “Воспоминаний”.



«...Мой прелестный редактор, без которого моя книга не вышла бы, — она все бои встречала грудью, она эту книгу родила; я ее только выносила...», — говорила А.И.Цветаева о М.И.Фейнберг-Самойловой. Однако обе они сетовали на вынужденный и частью цензурный характер сокращений, на которые приходилось идти. И вот, позже, от издания к изданию в «Воспоминания» Маэль Исаевна по возможности добавляла ранее неизвестные главы.

Воскрешать к жизни преданных забвению, давать им возможность пожить еще миг — было одним из самых сильных желаний А.И.Цветаевой. Интенсивность самосознания, интенсивность личности — вот что необходимо сказать о писательнице и о том, что ее сделало писательницей. Именно так нам видится А.И.Цветаева, человек, глубоко чувствующий и знающий мир. Беллетризация у нее совершенно не перевешивает достоверности, как это происходит, например, у Г.Иванова в его «Петербургских зимах» или у Э.Миндлина в «Необыкновенных собеседниках». А.И.Цветаева дала себе в двадцать семь лет религиозный обет — «не лгать» и следовала этому обету всю жизнь. О чем-то недолжном могла умолчать, ведь правда для нее не была самоцелью, она не «конструировала», не направляла политически «своевременный» взгляд в прошлое и никак не обеляла или не очерняла его. Другое дело, что в любых мемуарах есть неточности, есть ошибки — память человеческая изменчива и несовершенна.

Приведем такой пример. Описывая открытие Музея, обе сестры видят всё каждая по-своему. Анастасия Ивановна пишет, что «древнего сановитого старичка в золотом мундире», описанного у сестры в ее «Открытии музея», не помнит. И совершенно понятно — почему. Да потому, что видела его не юная Марина Цветаева, а Сергей Эфрон, ее не менее юный муж, описавший того старичка в письме к сестре. Это его впечатления переданы Мариной Цветаевой и поданы художественно, гротескно. Сам старик присутствовал не при открытии Музея, а несколько ранее, в тот же день, при молебне на открытии памятника императору Александру III. Доказательством служит письмо С.Я.Эфрона к сестре, В.Я.Эфрон, от 7 июня 1912 года: «В Москве я был и на открытии Музея, и на открытии памятника Александру III. В продолжении всего молебна, а он длится около часа, я стоял в двух шагах от Государя и его матери... На открытии были все высшие сановники. Если бы ты знала, что это за разваливающиеся старики! Во время пения вечной памяти Александру III вся зала опустилась на ко-

лени. Половина после этого не могла встать. Мне самому пришлось поднимать одного старца-сенатора, который оглашал залу своими стонами».

Позже А.Цветаева замечала о подобных «неточностях» в прозе сестры: «...для чего так захотело перо? Оно веселилось!.. Никому не отдавая отчета». Вот почему Анастасия Ивановна сравнивала творчество сестры с горным потоком, а свою прозу — с равнинной рекою...

Нельзя не сказать, что А.И.Цветаева — психолог детства... И типизация речи героев у нее изумительна. Мастерство автора «Воспоминаний» сравнимо с мастерством создателя другой автобиографической книги — «Детство Темы. Гимназисты» Н.Г.Гарина-Михайловского.

Надо отметить, что «Воспоминания» своим охватом переросли поставленную первоначально цель. От Анастасии Ивановны ждали книги о сестре. Получилась — семейная хроника. Конечно, хроника не может касаться только личности Марины Цветаевой, хотя сначала было желание создать прозаический памятник именно ей. Но Марина Ивановна изображена в окружении многих людей, в разных, не всегда однозначно трактуемых ситуациях.

Дочь Марины Ивановны, Ариадна Эфрон, хотела, чтобы портрет был раз «побронзовее», без живых человеческих недостатков. Об этом и написала она в письме к Анастасии Ивановне 8 апреля 1959 года, еще до всех осуществленных и неосуществленных публикаций: «Относительно Ваших воспоминаний: только из Вашего последнего письма я узнала о том, что это вовсе не воспоминания о маме, а мемуары — тогда, конечно, мои “претензии” отпадают — о чем же тогда, действительно, спорить?.. Еще и еще раз повторяю — написано прекрасно, Вашей памяти и зоркости, их конкретности только позавидовать можно. Очень вероятно, что “упреки” мои неправильны, я к маме пристрастна всегда и во всем, для нее мне и большего было бы мало, Бог дал, человек — не обузь!»

Ей казалось, что правдивые, но не касающиеся «становления поэта» подробности жизни ранних лет поэта просто не нужны... В своих текстах о матери А.Эфрон создала очень живой, но одновременно «правильный», с ее точки зрения, и, конечно, цензурно «проходимый» образ матери. К счастью, сохранились в РГАЛИ детские дневники А.Эфрон, где она подробно пишет о матери и далеко не всегда «возвышенно» отзываясь о ее самом

близком окружении. Анализу, пристальности ко всему сущему она, конечно, бессознательно училась у матери, как и ее брат Георгий Эфрон, чей юношеский дневник имеет немалое значение для характеристики своего времени, так как написан он без страха, непринужденно, хотя и не без мальчишеского самолюбования и самоуверенности; в нем нашли отражение и тяжкие испытания, выпавшие на его долю после смерти матери.

Надо ясно понимать, что Анастасия Ивановна создавала не биографический панегирик, а живые *воспоминания о своей жизни*, неотъемлемой частью которой была сестра Марина. Ее стремление отразить правду, не приукрашивая оную, сегодня для нас особенно ценно. В предисловии к сборнику «Серебряный век. Мемуары» Н.Н.Богомоллов справедливо писал: «...людям, ищущим в сборнике воспоминаний исторической истины, хотя бы относительной, следует помнить, что в любых мемуарах первенствует личность автора, вольно или невольно выдвигающего себя если не на первый план, то, во всяком случае, постоянно присутствующего в повествовании и меняющего его направленность и степень объективности». Личность А.И.Цветаевой не могла полностью устраниваться из мемуарного повествования, ведь вся ее проза, за редким исключением, автобиографична.

При несходстве характеров у Марины и Анастасии было сходство душевного строя. Отсюда «близнецовость» голосов, моментальность синхронного ответа на чей-нибудь вопрос, даже сны одинаковые. С отроческого возраста между сестрами возникли доверительные отношения. Это, конечно, при том, что «великая ревнивица», старшая сестра, таила ото всех круг своих сокровенных кумиров, но если кому и открывалась в семье, то, конечно, в юные годы — сестре младшей.

Пожалуй, наиболее близкая дружба сестер, их душевная открытость друг другу приходится на молодые, предбрачные годы и первое время после замужества. Наступившие затем революционные годы — годы ожесточения, нужды и голода — разделили их. Анастасия пережила то время в Крыму, Марина — в Москве. Именно тогда, с трудом выживая, сестры стали различаться устремлениями. Младшая смогла переломить былую неприспособленность, стала направлять свою волю в преодоление трудностей быта, у нее на руках был малолетний сын... Марина Ивановна осталась в положении «над миром», ее индивидуальность была такова, что смириться с бытом и его тяготами она не могла, как

ни старалась, хотя на руках у нее была дочь... Девизом ее тогда могли бы стать слова — «Не снисхожу!» И не снисходила... После ее отъезда за границу сестры переписывались — вплоть до ареста Анастасии Ивановны. Письма старшей сестры были изъяты при обыске в московской квартире и вместе со всем архивом исчезли. До конца жизни Анастасия Ивановна чувствовала сестру как существо очень близкое ей, родное, но не идеализировала ее, не преклонялась перед нею — просто глубоко и с искренне пережитым пониманием относилась и к личности, и к поэзии Марины. Некоторые из стихов старшей сестры дошли до нас только благодаря ее памяти...

Цитирование поэтических строк Марины Цветаевой в тексте «Воспоминаний» ценно тем, что они попадают снова в жизнь и окружение поэта, в ту неповторимую и уже далекую от нас атмосферу, где родились! Конечно, приводятся они автором по памяти, и мы оставляли их в том виде, как они были даны.

«Течение» изображаемой жизни показывает нам темпоритм эпохи. Волна за волной приходят события — например, Рождество 1901, 1902, 1903 годов. Повторяемость? Нет, это камертоны времени, которые звучат лишь внешне сходно... Хотя повествование построено строго хронологически, «Воспоминания» отличаются и некоторые «перескоки» с одной темы на другую. Это вызвано тем, что общий корпус текстов формировался на протяжении многих лет: что-то вставлялось, что-то устранилось или менялось местами. Неслучайно поэтому можно встретить на страницах и упоминание о возрасте автора: 62 года, 65, 66, 68 лет...

В настоящем двухтомном издании «Воспоминания» Анастасии Ивановны впервые выходят в наиболее полном объеме. Существуют несколько вариантов редакций текста — художественно обработанные и черновые рукописи, машинописи... Отдельные части хранятся в РГАЛИ. Части, касающиеся детства и юности, достаточно полно представлены в Отделе рукописей ГМИИ. Близкий к первоначальному вариант, собранный и переплетенный Л.А.Мнухиным, хранится в фондах Музея М.И.Цветаевой в Болшеве. Части воспоминаний в наиболее ранних вариантах хранит и Литературно-художественный музей М. и А. Цветаевых в Александрове. Готовя издание, мы учитывали тексты разных редакций и старались, чтобы в публикуемый свод вошло как можно больше ранее неизвестного материала, который Анастасия Ивановна хотела видеть опубликованным, о чем говорила не

раз. За основу же был взят последний вариант «Воспоминаний», вышедший при жизни автора.

Читателей нынешнего издания ждет множество открытий. Например, что в Германии сестры Марина и Анастасия учились в пансионе вместе с дочерьми легендарного Карла Бенца, автомобильная фирма которого под названием «Мерседес Бенц» процветает по сей день; что Анастасия дружила с увлекавшимся ею французским графом Арнольдом де Лонкьером; что мать сестер, Мария Александровна, была близко знакома с мистиком С.И.Мережковским, отцом писателя Д.С.Мережковского; что она обладала даром ясновидения...

В прижизненных и посмертных изданиях «Воспоминаний» Анастасии Ивановны Цветаевой есть две последние части, которые выглядят как приложения к основному тексту — «Поездка к Горькому. Встреча с Мариной» и «Последнее о Марине». Руководствуясь желанием как можно шире представить текст самих «Воспоминаний», в нынешнее издание не включена «Поездка к Горькому», полный вариант которой хранится в РГАЛИ, зато текст «Последнее о Марине» дан с рядом восстановленных купюр.

---

Выражаю благодарность за помощь в работе над книгой и примечаниями к ней — Е.И.Лубяниковой, исследователю жизни и творчества М.Цветаевой; М.Б.Аксененко, заведующей Отделом рукописей ГМИИ; Э.С.Красовской, директору Дома-музея М.Цветаевой в Москве; З.Н.Атрохиной, директору Музея М.И.Цветаевой в Болшеве; Л.К.Готгельфу, директору Литературно-художественного музея М. и А. Цветаевых в Александрове; Н.А.Кублановской, директору Дома-музея семьи Цветаевых в Ново-Талицах; Е.М.Климовой, директору Музея семьи Цветаевых в Тарусе; О.А.Павловской, переводчице с французского языка.

*Станислав АЙДИНЯН*

*Посвящаю моей сестре  
Марине Цветаевой*

Для того я — в проявленном сила —  
Все родное на суд отдаю,  
Чтобы молодость вечно хранила  
Беспокойную юность мою!

*Марина Цветаева  
«Волшебный фонарь», 1912*

### *От автора*

Мои воспоминания — это семейная хроника. В моей памяти равное место занимают все мои близкие — отец, мать, моя сестра Марина и все, кто пришли позднее. Но душевная, кровная и возрастная близость к Марине часто выдвигает ее вперед на этих страницах. Все впечатления моего детства и юности неразрывны с ней. Сложность отношений семьи, душевный мир родителей, вся атмосфера нашего дома и даже его быт имели большое значение для формирования характеров детей. Этим объясняется подробное описание детских лет. Без этого были бы непонятны наследственные особенности, сыгравшие столь важную роль в Марининой и моей жизни.

Мы росли вместе, и, рассказывая о нашей семье, я старалась записать все, что помню о Марине, — до того, как жизнь нас разлучила.

# Часть первая

## РОССИЯ

### Глава 1

#### РАННИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Будь я на необитаемом острове с бездной времени вспоминать и называть вспоминаемое, шуми вокруг только ветер, листва, волны — думаю, я написала бы о детстве и о Марине — как хочу, как надо, как было. Но вокруг — суеты дня, сеть обязанностей, рвущие час и силы, не дающие вспоминать, не подпускающие к тетради, не позволяющие закрыть дверь (настоящего), уйти в прошлое с головой и писать, ибо завтра не в моих руках. А заменить меня — о детстве Марины и юности — никто не может.

С ее двадцати пяти лет, может быть, лучше меня напишет о ней ее дочь. Но до ее двадцати пяти — и год с ее двадцати восьми с половиной до двадцати девяти с половиной (1921–22) — наши жизни были крепко связаны и она звала меня — своей неразлучной. Марина — самый родной, самый трудный, самый неопиcуемый, самый, может быть, колдовской человек моих детства и юности.

В моей памяти — унесенная жизнью фотография четырехлетней Муси, двухлетней Аси.

Большелобое, круглое лицо старшей, на котором вспыхивают мне зеленую, в сером тоне фотографии, глаза Марины, взрослый взгляд на детском лице, уже немного надменный сквозь растерянность врожденной близорукости.

Взгляд чуть вбок — на сверкающее на тонкой цепочке граненное сердечко *не ее*, а маленького существа рядом.



Объектив фотоаппарата поймал это мгновение: полыхнувшее к чужому — аметисту ли, хризолиту? — как мотылек — к свече.

И лицо рядом — младенческое, детские губы, своей мягкостью оттеняющие твердый волевой абрис *тех*; волосы — чуть выющийся пушок. Родственное сходство черт.

Первое воспоминание о Марине. Его нет. Ему предшествует чувство присутствия ее вокруг меня, начавшееся в той мгле, где рождаются воспоминания. Давнее, похожее на дыхание, наше «вместе», полное ее старшинства, своеволия, силы, превосходства, презрения к моей младшестьи, неумениям и ревности к матери, любившей меня жалостливее, как младшую, болевшую. И наше «вместе» — втроем, полное гордости матери своим первенцем, крепким и духом, и телом, нравом; полное любования и жалости к младшей, много болевшей.

В этом жарком течении плыло, как по Оке, в которой мы купались, наше детство, насыщенное Мариной до и после всех первых воспоминаний...

Написала и задумалась. Нет, невозможно написать только о Марине. Будет односторонность и ложь. Я смогу написать о ней через себя и среди всех нас — вместе. Попробую повторить жизнь.

Марина родилась 26 сентября 1892 года в Москве. Я — 14 сентября 1894 года там же.

...Мнится мне, что мое самое раннее воспоминание — солнечный синий день, наш переулок Трехпрудный, я стою на скамеечке, врезанной в нишу рядом с воротами. Няня поправляет мою синюю вуальку, спуская ее на лицо от яркого солнца и слепящего снега. На мне белая шубка, тоже сверкающая. От этого сверкания и синевы — чувство счастья.

Меня мама кормила, Мусю не могла кормить. Ей взяли кормилицу. Мусина кормилица была цыганка, нрав ее был жаркий. Когда бабушка, мамин отец, подарил ей позолоченные серьги, она, в ярости, что не золотые, бросила их об пол и растоптала.

Муся была дикая, на руки не шла. Я была несколько легче, приветлива. Марина росла, как растет молодой дубок.

Крестным отцом Муси был бабушка, отец мамы. О моих крестных отце и матери я, их никогда не видевшая, знала

от мамы, что крестного отца звали Сергей Семенович Голубков, что он был старик, а крестную мать звали Юлия Ивановна (фамилию позабыла). Она была молодая. За их именами следовало то же непонятное слово: умер — умерла. От Юлии Ивановны в детской памяти это слово было единственное, что осталось; от Сергея Семеновича уцелело еще яичко, стеклянное, помнится, темно-розовое, тусклое, с металлической не то бабочкой, не то мушкой сверху, из бронзы.

Мама почти не имела подруг, кроме подруги детства Тони и дочери банкира Полякова, одной из его чуть ли не двенадцати детей, Зины. Подружились девушками, обе были пианистки. Но они редко виделись. Уже замужем, мама познакомилась с женой инженера путей сообщения Сытенко, Надеждой Александровной. Стройная синеглазая северная красавица вела совсем иной образ жизни, чем мама, но что-то связало их. И мама выбрала ее в крестные Мусю. Они жили недалеко от нас, в Мамоновском переулке. Изредка мы бывали у них. Волшебные комнаты со шкурами зверей, летающими птицами, с зимним садом. «Муся, — сказала мама, — ничего не бери со столов, не трогай, не урони мелочей». Вскоре Муся молча, еле дыша от натуги, перетащила через комнату тяжелое кресло. На всеобщее удивление она отвечала, что мама запретила ей трогать мелочи. «Приходи, Мусенька, — звала Надежда Александровна, — у нас твои любимые конфеты. Комнаты большие, есть где побегать...» — «Комнаты и у нас большие, — ответила Муся со вздохом, — а вот конфеты у мамы заперты...»

Мы идем — няня и я — по Патриаршим прудам. Справа — пруд, за изгородью. Времени года не помню. Помню только оловянную птичку у няни в руках. Она купила ее своим племянникам Коле и Ване. Боль моего расставания с птичкой еще сильнее от своей безысходности: хотеть ее себе, когда Ваня и Коля ждут ее, — нельзя. Тусклый блеск олова, очертания птицы томят меня нестерпимо. Няня меня уложит и унесет птичку — им...

О няне моей сохранилось в памяти очень мало, и это странно: должно быть, я мало любила ее. (Лет в пять меня

\* Ныне — переулок Садовских. — Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примеч. авт.

перевели к гувернантке старших детей.) Няня была средних лет, невысокая, толстая, звали Александра. Глядя на ее перетянутое в «тали» тело, похожее на два смежных холма — грудь и живот, я спросила: «Няня, почему у тебя два живота?» И помню свое ощущение: они такие упругие, что если укусить — будет зубам туго. Но попробовать я не решилась.

Когда меня еще не было на свете, в детской стояло уже две кровати: красавца Андрюши, круглобрового, кареглазого, и его сводной сестры Муси, круглолицей, с русыми волосиками и глазами цвета крыжовника. Андрюша — наш брат от первого брака отца, старше Муси на два года.

Одно из первых воспоминаний, когда я жила еще с няней в угловой, будущей Лёриной комнате, где меня купали мама и няня — и я была отделена от Андрюши и Муси, — как я в горе от каких-то запретов «девочкам» спрашиваю у няни, неужели я никогда не буду мальчиком? «Будешь, — отвечала мне няня, — когда будет светопреставление: девочки тогда будут мальчишки, а мальчишки — девочки». Как долго я ждала этого!

С Мусей и няней, ее и Андрюшиной, я сижу в их детской, у стола под висячей лампой с большим плоским кругом над ней. Мы играем, перелистывая картонные листы книги, перерезанной на три части; собираем странные существа с головой — например — гуся, туловищем почтальона с сумкой и ногами девочки в башмачках, или — голова мальчика, туловище птицы, ноги кошки. Сочетаний было множество, интерес у нас не было конца.

Муся хвасталась уменьями, которые были недоступны Андрюше и мне: складывать язык трубочкой, шевелить ушами, разводить веером и двигать по желанию пальцами на ногах. Мы очень старались, не выходило, смотрели на Мусю с почтением и завистью.

Из игр того времени помню еще — блестящие листы плотной бумаги, по которой надо было равномерно чертить карандашом, и тогда на глянце проявлялись затейливые рисунки — пара овец, девочка с корзинкой, мальчик с сачком для бабочек, домик с деревьями. Другая игра состояла из мягких, гнущихся медных листов с узкими вырезами. Держа такой лист на бумаге, надо было обводить карандашом вырезы — и на бумаге получалась картинка... Но едва ли не чудеснее всего были китайские или японские

цветные, будто бы деревянные или соломенные, легкие на руке кусочки: бросишь в блюдце с водой — расцветают в китайских человечков, в цветы, зонтики, веера. Их, как лакомство, нам совала старшая сестра Лёра, любившая все красивое и необычное, в минуту, когда надоедало вешать на края таза бумажки — «желанья», к которым подплывал горящий огарок в ореховой скорлупе, или когда после сидения в платяном чулане (мамино наказание) было так трудно жить.

Уж прискучили сияющие феерической зеленью, фиолетовые с розовым и серебряным блеском (лопаются все, не удержишь) мыльные пузыри! И в миг, когда звали — есть, спать, — мокрое дно блюда расцветало волшебной китайской жизнью ослепительных цветных миниатюр...

И еще были игры с магнитом. Он был колдовской. Его приносил Андрюша. И было имя — его кто-то сказал: «Математик Магницкий»...

Кажется, еще целую жизнь проживи, не забудешь вкуса, запаха и уюта накрошенных в блюдечке теплого молока калача или булки. И никогда, — думаю, ни одного разу за жизнь, — не было, чтобы сочетанье молока и белого хлеба не вернуло память к тем дням, к тому часу детского отхода ко сну.

Из раннего детства помню еще вечера в зале с Августой Ивановной, высокой немкой с пучком на макушке, наш бег в такт подпеваемой нами песенке:

Fuchs! Du hast die Gans gestohlen,  
Gib sie wieder her!  
Sonst wird dich der Jäger holen  
Mit dem Schießgewehr.

(«Лиса! Ты украла гуся, отдай его назад! Или тебя достанет охотник своим ружьем».)

И любимая песенка Августы Ивановны:

Ach, du liber Augustin,  
Augustin, Augustin!..

Глупый, подмигивающий, веселый мотив.

Глава 2

БУРСКАЯ ВОЙНА. ДЕЛО ДРЕЙФУСА.  
МАМИНЫ РАССКАЗЫ. ГОЛОСА МОСКВЫ.  
ШАРМАНЩИК. ПУШКИН

К ранним воспоминаниям просятся отзвуки жизни, где-то шумевшей по шару земному и долетавшей до детских ушей: война англичан с бурами; негодование старших, в их разговорах о жестокости англичан, о героизме доблестного маленького народа. В те дни вся бумага в доме была изрисована нашими изображениями воюющих (лучше всех, как старший, рисовал брат): длинные англичане с трубкой в зубах и маленькие буры в широкополых шляпах. Мы страстно жалели буров. Шаржи на королеву Викторию переходили из рук в руки: маленькая, толстая, носатая, с короной на голове.

Дело Дрейфуса! Сколько бесед, сколько волнений! Протест против неправоты к нему, невиновному и преследуемому. Мы, дети, ненавидели угнетателей, ждали победы добра...

Сенсация иного рода — был слух о маньяке, длинной кривой иглой взрезавшем на улице кишки прохожим. Джек Потрошитель! Кто не помнит это страшное имя! Мы шептались о нем в детской, надоедали им маме.

Дело Дрейфуса, бурская война. Как сжималось от этого сердце! И как оно ширилось, наполнилось от картинки с головой сенбернара и рассказа мамы о том, как над Сан-Готардским перевалом, где потом, чудом каким-то, была проведена железная дорога (мама проезжала там с дедушкой), — монастырские собаки ищут сбившихся с пути. Громадные, длинношерстные, добрые сенбернары находят замерзающих, отрывают их из снега, и если путник очнется, суют ему к лицу бочонок с ромом, привязанный к их ошейникам. Если же человек без сознания, — сенбернары бегут и зовут людей, и те, с веревками, носилками, фонарями, пускаются в путь по горам.

Мамины рассказы! О чем? О чем только *не!*

О старом короле Лире, изгнанном дочерьми, которым он отдал корону и царство, о его ночи под грозой в поле... О молодом Людовике Баварском, любившем луну и пруды,

музыку, отрехнемся от престола, поселившись в лесу, во дворце Бург, жившем ночью под музыку Вагнера — театр и оркестр, — а днем спавшем. Он утонул в озере (или бросился в него). Мама с дедушкой плыли по этому озеру на лодке. Мама, сняв с пальца кольцо, опустила с ним руку в воду, разжала руку — и оно, замедленное водой в падении, ушло, золотонув, в глубину... Это мы понимали.

...Фигура Сократа. Его философия. Слова: «Я знаю, что я ничего не знаю». Суд. Чаша яда. Мужественная, горькая смерть. О том, как доложили Людовику XVI, что на улицах Парижа — толпы, что идут в Версаль, кричат: «Долой короля!», что войска переходят на сторону народа... Следующие слова запечатлелись в мозгу ужасом и восторгом.

— Mais, mais... c'est une révolte, cela!\* — сказал король Франции.

— Non, Sire, — отвечал приближенный, медленно и торжественно, — c'est la Ré-vo-lu-tion!\*\*

Муся уже читала мамины детские книги — три тома «Детского отдыха» с трогательными захватывающими рассказами, «Задушевное слово», четыре тома чистяковского «Зима», «Весна», «Лето» и «Осень». Как в тумане мне помнится заглавие «Лето в Ревеле». В этом городе мама была, очень его любила, и звуки его букв были милы нам, светлы, заманчивы, музыкальны...

Был рассказ «Охотник Степан»: о его гневе на верного друга, собаку Дружка, укравшую окорок, закопавшую его в лесу под дубом. Следуя поверью, что положенный под сонную голову платок (с намереньем узнать снящийся сон), затем переложенный тебе на голову, повторит тебе этот сон, — Степан увидел сон Дружка и решает расстаться с ним — за измену. Но в тот миг, когда, продав своего многолетнего друга-пса другому охотнику, он стоит у отчаливающего парохода и Дружок, поняв, взвыл и стал рваться с цепи в воду, — Степан понял, что изменник не Дружок, а он, Степан, и был готов все отдать за Дружка, но пароход уходил, — и мы выли, все, под мамино чтение, и разлука их, человека и собаки, неисцелимая, так и протащилась с нами на всю жизнь.

\* — Но, но... ведь это же — мятеж!

\*\* — Нет, сир, это — Ре-во-лю-ция! (*фр.*)

А на другой день, изменив, как Дружок, мы с Андрюшей крались к посудному шкафу в передней (мама забыла ключи) и тащили к себе пирожные, как тот — украденный окорок... А потом слезы — мамины, наши...

Был рассказ «Не понравилось» — бедная мать, отдавшая богачам крошку-сына, через годы приходит к нему в гости — радостно купив на последние гроши дешевую игрушку. Барчонок чуждается неизвестной, плохо одетой женщины, не глядит на ее подарок. С того дня мы взяли с собой слезы матери, шедшей по темной улице, повторявшей, плача, слова: «Не понравилось»...

Мама читала нам рассказы Чехова, Чирикова, Телешова, книжки «Донской речи». Уютно горит лампочка с зеленым абажуром...

Болезни. Это была совсем особая жизнь. Ничем не похожая на обычные дни — точно все куда-то уехало. Нет, это ты уезжал каждый раз в знакомое по прошлому разу царство. Полутьма, затененная лампа, запах и вкус лекарства. Жар и боль головы. Мечешься... Голоса. Все пропало. Просыпаешься, встать не можешь. Мама, ложка лекарства, рот отворачивается. Слезы; у подбородка мокро. И опять все пропало, и опять — видением — тот пустой сарай, и нитка дрожит и тянется, и ты с ними одна, и тот, уже бывший, ужас держит, и некуда из него уйти. Знаешь, что сейчас, вот сейчас будет еще страшней. Нет спасенья! У тебя нет ни ног, ни рук, ты *весь* — глаза и боль головы, которая наполняет сарай. Нитка подымается и дрожит, от нее нельзя оторваться. Как они все бросили меня одну с этой чудовищной ниткой? Ближе. Наваливается. Нечем дышать. Пустота сарая уже позади тебя и вокруг, ты — в *ней*. Но пока нитка висит, еще можно. Если она оборвется — конец... Голос доктора (детский доктор Ярхо) где-то над головой. В маминой руке — термометр. Сейчас мама заденет *им нитку* — я кричу, это не мой голос... Они не понимают, не видят! Круг от лампы делается светлей — я проснулась или я засыпаю? «Сорок, одна десятая» (голос мамы). Термометр под мышкой — плывет... Все пропадает.

...Были копилки. (Зачем? Кто их выдумал?) Глиняные: когда они будут полны, их разобьют и деньги высыплются. Копейки, две, три, пятакки, много темных, некоторые чуть

золотистые по краям, сбоку. Иногда вдруг одна золотая — это «новая». Нельзя оторвать глаз! И спускаешь ее осторожно, прощаешься, в длинную узкую дырку. Гувернантка говорила: «Копи, а накопишь, купишь себе куколку!» Что мы куколок ни за что не купим, про то знали *мы* (что понимает гувернантка! Она все детство, наверное, проиграла в куклы!). Нет, мы купим — альбомы, перочинные ножи, ту шкатулку в окне, книги... Монетки, которые давали нам старшие, падали с глухим звоном внутрь.

Там уж, наверное, много их, целое монетное царство, гора! Как в подземелье у Гауфа. У Муси копилка была собака, коричневая с черным. Дырка была у нее между ушей. У меня кошка, серая, с голубым бантом — он уже совсем темный. У Андриюша — конская голова, она тяжелее наших.

И вот наставал день — монетка не лезет. Копилка — полна! Как билось сердце: для того чтобы увидеть деньги, надо разбить копилку! Ни Муся, ни я — не могли. Разбивал, зажимурясь, Андриюша или гувернантка. Ни Лёры, ни мамы почему-то не помню при этом. Стук, паденье, треск — и какое отчаянье! Мокрые от слез руки пытались узнать в кучке глиняных обломков — погибших кота, пса... Ноги убегали под рев наш от места гибели. Я не помню ни счета монет, ни — пошук. Это, может быть, было всего — раз? Разве можно было опять — ради денег — разбить насмерть собаку или кошку? Своей волей их уничтожить? Чудовищность такого конца повторенью не подлежала.

Не в тот ли день детского горя родилось Маринино и мое отвращенье к богатству, подозрение, что оно, как те монеты, купалось в слезах...

Одно из удивительных впечатлений детства — фотограф. В Москве ли кто-то нас снимал, во дворе, под кустами желтой акации, или в Тарусе, на площадке перед домом, между тополей, — обладатель фотографического аппарата был таинственен и чем-то напоминал Чернилку из гофмановской сказки: он вдруг исчезал под куском черного сукна, став сразу меньше, нагнувшись, и начинал двигаться к нам, неся на себе высокий треножник, на котором колебалось непонятное сооружение, покрытое чем-то черным, свисавшим, и все это было похоже на живое странное существо. Так



и прошло оно через детские годы, и почему из этого являлись блестящие карточки с изображениями людей — нас! — было невозможно понять...

Мне было всего год четыре месяца, когда мама повезла фотографировать меня на Кузнецкий Мост к Фишеру: я в кружевной рубашечке села, положив нога на ногу, спросила: «Хоросо?» Смелостью и пониманием происходящего я пленила Фишера, но когда я назвала маму «пес», он страшно удивился: «Такая маленькая девочка, из такой семьи, — так бранится? И кого же она так назвала? Свою маму...» А мама объяснила ему: «Это же самое нежное слово у Аси! Она, как и ее старшая сестра, так любит собак!» Сама я помню, называла маму «дорогим», «золотым», «серебряным» псом...

Запись в мамином дневнике о заболевшем дворовом псе Мальчике: «У Мальчика болит лапа. Ася стала на колени и помолилась Богу о нем. Наутро она увидела, что Мальчик бегают уже на четырех лапах. Как она радовалась, в твердой уверенности, что ее молитва дошла!»

— Мо-че-ные я-а-блоки... Яблоки моче-ны... — И когда, мытые-перемытые, они к нам попадали — какой чудный вкус! Какой винный запах...

Был другой крик: «Костей! Тряпок!» И хоть он совсем к нам не относился — мы и его встречали, как доброго друга, и бежали к окнам. Он входил, широким вельможным жестом кидая калитку, худой, плечистый, в сером халате татарин; шапочка его держалась на макушке чудом, потому что он шел, задрвав голову кверху, и редкая — у всех них та же — борода прыгала в такт. Нам говорили (горничные, няня), что они все — князья, и мы, не понимая, что это, смотрели на них еще неотрывнее, силясь *понять* (от объяснений, что такое «князь», дело не становилось понятнее).

А еще интересней — милей — был точильщик, когда, пройдя к черному ходу, сняв с плеча свой нелегкий станок, он начинал точить вынесенные ему ножи, блестя ими, как птичьими крыльями, пробуя их на палец, шутя с горничными (в шали, а то и без), подрагивавшими от осеннего холода или мороза. И мы выбегали, неся свои заветные — перочинные, глядя, как вертится колесо, — день замирал на этой точке, как заколдованный, и расставанье было нелегко.

Но из всех голосов, врывавшихся так в наш день, всего родней и нужней — был голос шарманщика! О, за него, летя с лестницы, не слушая мадемуазель или фрейлейн, мы готовы были на вечное наказание. Яростно вдевая руки в подставленные нам рукава пальто, задыхались, пока нам застегивали его, топтали на месте, и когда дверь черных сеней, провизгнув свою обычную жалобу, пропускала нас во двор, — мы всем существом рушились в мелодический дребезжащий разлив шарманочных звуков, подступающих, подмывающих, как море — песок, забыв нацело то, что было за минуту, не желая ничего, кроме — слушать и слушать волшебную «неуклюжиху» на одной ноге, с одной вертящейся ручкой, — и уйти вместе с ней со двора...

Что? «Пой, ласточка, пой»?.. Конечно! «Варяг»? До него — до японской войны — оставалось еще лет пять. Вальс «Дунайские волны», быть может?..

Исполнение было недалеко от ходившего в Москве анекдота о приехавшем персидском шахе, выразившем свое восхищение перед красотой музыки, услышав настраивание инструментов перед началом ее, — но на наше детское ухо и страсть, обратно шаху, к *мелодии* — расстроенность шарманки искупалась мелодией нацело, и ее приход — с попугаем или без — был праздником. Где кончили, при рождении граммофонов и радио, свой сказочный век эти драгоценные ящики, бродившие по всей земле?

Со страстной любовью к отцу своему мать рассказывала о путешествиях с ним за границей, о поездке к Рейну, реке легенд, текущей меж гористых берегов, о старых замках на утесах, о местах, где пела Лорелей. Мы уже знаем о ней знаменитую немецкую песнь. И родным становился зеленый пенистый Рейн, по которому ехала в лодке мама, когда еще была девушкой.

В мамином дневнике записано о четырехлетней Марине (пишу не дословно, по памяти): «Муся ходит вокруг меня и слагает слова в рифмы — может быть, будет поэтом?»

О наших играх — запись: «Муся и Ася играют в продавца и покупателя; слышу: Ася: “А поцем вы плодаете?” — Муся: “Я — задаром продаю!” — Ася: “Как дорого!”»

Не раз вспоминала мать смешной случай: мама ехала со мной на конке. На остановке кондуктор крикнул: «Кузнец-

кий Мост!» — «И вечные французы!» — добавила я. Раздался смех пассажиров; оглядывались взглянуть на младенца, цитировавшего классика.

Другой, не менее забавный случай относится к папе с маленьким Андрюшей. Папа и мама были в церкви. Папа подошел к причастию, — но смущенно отошел от священника, когда надо было причастить сына. «Как имя сыночка?» — спросил батюшка. «Сыночка? Имя? А сыночка-то я и забыл! — отвечал папа и, подойдя к маме: — Голубка, как зовут Андрюшу?» Рассеянность папы, ею смущавшегося, умиляла.

Рассказывали и другое: Лёра, в раннем детстве говорившая по-английски (у нее была гувернантка, старушка мисс Шпейер), после причастия вежливо попросила по-английски: «Some more, please! — Еще немного, пожалуйста!..»

О тех временах, когда еще не было ни Муси, ни меня (Лёре было семь лет, Андрюше год-два), мама рассказывала, что в доме доживала свой век глубокая старушка, бабушка Варвары Дмитриевны Иловойской, — «Мамака». Она уже выжила из ума. Собирала огарки, носила их в кармане. Пробовала вылезти из форточки. Мы боялись маминых рассказов о ней — веяния чуждого, страшного — старости и безумия. Органическое оттолкновение от этих враждебных сил, ведущих к самой непонятной — к Смерти, — было как судорога, вдруг хватавшая горло и сердце. Умереть? Мы умрем — тоже? Этому *нельзя* было поверить. Но так же не верила смерти старуха, велевшая себя привязать к двери — стоя. Чтобы не умереть, не упасть, не лежать. Но она умерла — *стоя*...

Но чем-то совсем другим веяло от церкви, икон с ликами Божией Матери и Спасителя, от часовен, где горели свечи, от бесчисленных огоньков, трепетавших теплом перед громадными ликами Иверской Божией Матери и Младенца, в часовне с синим куполом с золотыми звездами у Кремлевской стены. От колокольного звона бесчисленных колоколен, стоявшего золотой крышей над улицами Москвы.

Другие девочки с другой няней, старой, уютной, в светлом фартуке, в темной, в сборку, юбке, в широкой, навывпуск, кофте, в темном платке с цветочками, идут в церковь ко всеобщей — и мне жаль, что уже нет у меня *такой* няни, что моя уже — в прошлом. Я уже с гувернанткой, рассказываю-

щей Мусе и мне о молодом человеке в сквере (за что мама уволила ее, но и другая...).

За руку с мамой я вхожу в Страстной девичий монастырь. Он в начале Страстного бульвара, напротив памятника Пушкина. Широкие серые каменные плиты. Прохлада. Тишина. Высокие потолки. Длинная галерея ведет мимо церкви, запертой. Мы идем к монашенке, по делу. Что-то о белье. Жарко вдыхаю я незнакомый мир монастырский, чью-то жизнь, такую иную, чем моя. Своды. Силуэт колокола. Гулкость шагов по каменным ступеням. Доброе лицо монахини. Ее келья. Этот день запомнится навсегда.

А напротив монастыря, через площадь, горят в сумерках начинающихся светло-желтые фонари вокруг Пушкина. С четырех сторон обступили ступени памятника. Столбы — широкие внизу, уже кверху, где разветвляются на три ветви, и каждая поднимает во мглу фонарь, точно *граненый бокал* — уже внизу, шире наверху — бокал с такой же угольчатой крышечкой, налитой вином света, и посередине, выше тех трех — четвертый — заздравная, кверху поднятая люстра, — и так с четырех сторон. Заложив руку за край одежды, — она на нем — тяжелыми неподвижными складками, — стоит, задумавшись, поэт. Лицо и волосы его знакомы с младенческих лет. Нет — не так: он есть и был всегда, как есть и были — лес, луга, река, небо. И сетью серебристых звездочек-искр сыплет на него снег ставшее уже темно-синим небо. Когда оно стало синим? Только что — голубое... Гуще стала тьма в складках его одежды, и начинает сесть его курчавая голова, все кружится от медленного кружения снега, и золотее, гуще становятся поднятые в синюю мглу бокалы света... Ступеньки уже совсем белые.

Мама спешит, тянет за руку, а ноги, маленькие мои, заплетаются — и от упрямства еще взглянуть на знакомые гирлянды цепей от фонаря к фонарю, и от усталости: ведь прожит в движении целый детский день! Я слушаю о том, что такое «дуэль», о том, как на дуэли был убит Пушкин... и кажется, что всегда, всегда были эти строки, как лес и как небо: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, / К нему не зарастет народная тропа...»

Как-то лепится к этому вечеру — другой. Мне мало лет. Зала. Мама у себя. Я одна. За окнами (ставни еще не закрыты)

несутся санки. И я говорю себе: «Бояре проехали...» Позже кто-то пробовал разубедить меня, доказать — тщетно! Так я навсегда и запомнила, что жила в ту старину боярскую, потому что бояре проехали мимо окон залы, где я была...

Но еще давнее — еще более странное — воспоминание: я крошечная, одна хожу по нижним комнатам дома (зале и передней) с ясным ощущением *осмотра* дома, *знакомства* с ним. В радостном сознании переезда откуда-то, обретения, новизны. Что это было? Никакая объективность не подтверждала чувств того утра; в этом доме я родилась, из него выезжала только в Тарусу. Может быть, именно оттуда приехав и подросши за лето, я вдруг осознала и увидела наш дом...

### Глава 3 ДЕТСКАЯ МОСКВА

Великий пост. Мама и я ходим из лавки в лавку, в рыбном ряду. Это Охотный Ряд. В огромных чанах-бочках всевозможные рыбы. Серебристой россыпью заиндевелой мелочи поблескивают крошечные снетки. Почтителен и весел продавец. Весело и ладно кругом. Искрится снег, как на картинке с Дедом Морозом. Пахнет сайками. И блинами. На салазках — опарницы, бутылки: квасы всех сортов, сбитень. И почему-то вертится в голове веселое, хоть не московское, пушкинское:

С кувшином охтенка спешит,  
Под ней снег угренный хрустит...

(А я говорила: «К Фонтанке охтенка». Той же, где: «Чижик, чижик, где ты был?» — «На Фонтанке водку пил».)

Александровский сад, его несхожесть ни с какими московскими скверами. В него сходили — как в пруд. Тенистость его, сырость, глубина. Что-то упоительное. Особенности дети с особенными мячиками играли в нем. Купы деревьев — словно кусты дубрав, гроты. А в Кремле — за зубчатой стеной Царь-пушка, Царь-колокол, там живет царь.

В Александровский сад нас водили редко; чаще на ближний Тверской и Страстной бульвары и на Патриаршие пруды. Об Александровском саде на всю жизнь осталась — тоска.

Кстати о Деде Морозе. На наших елках ему не было роли. Его просто — нам не было. «Мороз — Красный Нос» был чужд. Он был глуп, груб и немножко противен. Может быть потому, что наши деды — и Мейн, и Иловайский — были каждый — такой особенный, так не похожи на обычных, сходных с Дедом Морозом? Или потому, что наше Рождество было связано с другими традициями — с немецким «Stille Nacht» и с французской «Dame de Noël» (католической Богородицей, приезжающей на елку на сером ослике и сыплющей детям подарки во время их сна?).

В картинках Деда Мороза мы ценили лишь блестящие, усыпавшие снег. Но я не все сказала о Деде Морозе. Он был — вульгарен. В этом все. Он — шокировал. Нет, еще не всё: была боль, что он кому-то мил. Нужен. Леший — к нему была нежность. Водяной — дух всех вод звал, топил, был таинственен, как Лесной Царь. Даже Домовой — казалось, рукой подать до Деда Мороза? И тот был, хотя смешноват, страшноват, но свой (лес, вода, дом). Но существо — миф о существе, связанном лишь с одним из видов погоды, — было целым рангом ниже. Не воплощалось. Оно не имело в себе жизни, которой его наделяли. Мы, конечно, не так рассуждали. Мы так чувствовали. Мы просто немного стеснялись, что кому-то он звучит же. Так, как звучит колокольчик тарусского тарантаса? *Звучит?*. К Деду Морозу мы были глухи...

Старинные московские магазины... Самый «простой» из них, близких к нам, детям, был Севастьянов: небольшой магазин, вкусно пахнущий сдобным и сладким. Отсюда раз в неделю шла нам плетеная из лучинок корзиночка с десятком пирожных (почему-то мы звали их «пирóжки») и конфеты: клюква в сахаре (папино любимое). Нам, детям, — пастила, мармелад. Тут мы брали «на книжку».

Севастьянов был на Тверской. На Тверской же, дальше по направлению к Охотному, сверкал огромными оконными стеклами Филиппов: большой хлебный магазин и кондитерская, с мраморными столиками, где мы с мамой присаживались съесть пирожки с капустой. Горячий, черный филипповский хлеб славился на всю Москву и за ее пределами.

Сиу, Эйнем, Абрикосов — шоколад, торты, конфеты и карамели — волны запахов, соревнование подъездов и фонарей. У Сиу были розовые шары, матовые. У кого-то — голубые,

как луны. К подъездам подлетали санки, кто-то откидывал полость. Выносили гору пакетов, и санки уносились вдаль.

У Никитских Ворот был Бартельс. Его мы ужасно любили: небольшой, невысокий, уютный. Круглые столики и восхитительные пирожные. Мы пили чай, кофе, иногда шоколад. Туда мать нередко водила нас — Андрюшу, Мусю, меня.

Но выше всего — на сказочной высоте — парил Елисейев: зала дворцового типа, уносившаяся ввысь. Недосягаемость цен. Изыски. Заглушенность шагов (опилки) давала ощущение ковра. Люстры лили свет, как в театре. В нем плавилась цвета и запахи фруктов всех видов и стран. Их венчали бананы из «Тысячи и одной ночи». Выше всего царил ананас: скромный, как оперение соловья, с темно-волосатой шкуркой, с пучками толстых листьев вверху; заключающий подобие райского плода — несравненность вкуса и аромата; влажность — *затвердевшую* жидкость? вязкость — хруст на зубах; золотистость уже почти неземную — как *пение* соловья.

Торты, цукаты, окорока, ветчины; всех сортов и окрасок рыбы; икра, омары... Унося скромную покупку, мы не сразу осознавали приобретение! Шли, так обеднев утерей лицезренной красы...

Нашими любимыми игрушками были два рыночных — по двадцать пять копеек — купленных няней кота: большие, из грубо раскрашенного ситца, в сидячей позе, набитые соломой. К ним у Муси и у меня была страсть, как к нашим деревянным коням, отданным мамой в приют. Еще мы любили рождественские и новогодние картинки (избушка в лесу с рыжим окошком, голое дерево и горящий блестками снег; или колокола в воздухе с осыпанной блестками лентой, лесные звери на бертолетовом или борном снегу). Они висели над кроватями, крася день и отход ко сну. В ту пору были светящиеся насквозь открытки, сиявшие лунным блеском, — замки, ночи, пейзажи, здание Большого театра, зеленоватые, лунные. Это были друзья, страстно любимые. Любовь к необычному поддерживала в нас Лёра. Устраивала из нас, сама принимая участие, «живые картины», освещаемые бенгальским огнем. Зала — темным жерлом — была фоном; гостиная пылала вспышками зеленого — малинового — желтого великолепия. Лица были мертвенны,

горящи, фееричны. Мы все на миг — сказочны. Жадно пилось это фантастическое вино, и мило улыбалось нам родное лицо Лёры, строя смешные гримасы, отвращая меня от рева (что «кончилось»), обещая, что будет — еще... Во всем она помогала нам — в рутине дня заступалась, когда во внезапной вспышке строгости папа, заметив вдруг, что я не хочу есть того-другого, настаивал, чтобы я, как все, ела черную икру, и я, глотая слезы (и тем делая икру еще солонее), пыталась проглотить ее (жевать было еще тяжелее) и пробовала прилепить кусочек меж обеденным столом и прижатой к нему моей салфеткой, когда уж насмешливый Мусин глаз мучил меня, когда мать готовилась вспыхнуть о моем равнодушии и обмане, папа — увидеть и понять, — Лёрина шутка вдруг волшебным смещала все, как бенгальский огонь в гостиной. Лёра ненавидела нотации, сцены. В ее почти угрюмом отвращении от них была грация иного прикосновения к жизни, и мы, не осуждавшие маму — потому что любили — *мимо* ее методов, рвались к Лёре, как бабочка рвется к цветку. Как любила она, нарушая строгий мамин режим будней и праздников, насыпать нам в руку фисташек, китайских орешков, переложить себе на тарелку — с моей — кусок «телячьих ножек», которыми я давилась, пылко и испуганно их ненавидя за мерзкую студенистую дрожь. Лёра была наш домашний ангел-хранитель. Она пыталась спорить с мамой, чтобы нас взяли на рынок — Смоленский, недалеко от нас; Трубный, где были голуби; или самый далекий, шумный, бесчинный, похожий на ярмарку — Сухаревский, у подножия высокой старинной Сухаревской башни. Глаза разгорались от обилия необычного, от шума, голосов зазывал, лотков, грошовых игрушек и лакомств.

Зато та же Лёра неизменно отстранялась от законных семейных *partis de plaisir* — семейных поездок со сборами, «багажом» — в Петровский парк или Петровско-Разумовское, где было больше маелты, чем радости. Если для краткости стилизовать роль Лёры в нашем доме и детстве — лучше всего назвать ее волшебницей, кивавшей из-за дверей, с улыбкой грозившей пальцем, вдруг появлявшейся в мрачный час и исчезающей из густоты *быта*, звавшей, смеявшейся, утешавшей всегда необычно, *намекавшей*, что есть — о, есть, есть же! — *совершенно* другая жизнь... И все *ее* песни,



романсы, розы по шелку подушек, фисташки, *бенгальские* огни, Лэди Джэн с голубыми цаплями — все это были только хлебные крошки, по которым печальный Мальчик-с-пальчик мог (если б только понял и *помнил!*) проложить по лесу путь...

Помню вечер — весна или осень, — когда прошла весть о первом электрическом трамвае, на смену конке явившемся в Москве. Рассказы, дивования, разговоры... С кем-то я иду вверх по Палашевскому переулку. В честь чего иллюминация — цветные фонарики? Провожали ли мы Лёрину — ее детства — бонну, мисс Шпейер? Что было от нее в этом вечере, синем, ветряном, полыхающем фонариками, со сборами — смотреть первый трамвай? Но память о маленькой седой головке с наколкой, с ласковым личиком и нерусской речью, свою умиленность ею я помню, сквозь тревогу, что меня могут не взять на трамвай — «маленькую»... И было жаль милую конку, шумную, со скачущими вверх от Трубной мальчишками на конях (припрягали, чтобы вывезти по горе конку), — этот знакомый мирок, с детства наш. Трамвай вытеснил конку...

Вторая новинка, осиявшая Москву светом и блеском, был многоэтажный магазин Мюра и Мерилиза на Театральной площади. Сколько рассказов, сколько восхищений, споров, сборов, прогулок и поездок туда!.. Долгое время до его открытия москвичи обходили стройку, все выше подымавшуюся в небо, увенчавшуюся наконец остротой башенок, засверкавшую стеклами... Как долго еще ждать — ходили — смотрели, — куда стекла стали аквариумами света, налившимися волшебством предметов, плававших в этой световой воде. И все же это было ничто рядом с тем, что охватило нас, когда мы вошли туда в первый раз! Этажи! Сверканья! Бредовая множественность вещей! Невиданный взмах лестниц! Блеск стекла и посуды! Картины! Медведи! Украшения! Игрушки! Платья! Шелка, тюли и бархаты, волны, моря материй... Кофейная — кресла — пирожные — и *мы их едим*, высоко *среди* волшебства, *над* волшебством новизн, в гуле шагов, голосов, в звуках музыки...

И вот мы стоим перед тем, чье имя давно звучит в Москве, рассказ о чем — сказочен: лифт. Комнатка, светлая, как сам

#### Глава 4. Первое выступление Муси...

свет, легко, воздушно скользит вверх и вниз, увозя и привозя дам, господ, детей — проваливаясь в пролеты этажей с бесстрашием, выныривает из пропасти с неуязвимостью заколдованности... Стоять и смотреть! Без конца! Но когда чья-то рука крепко берет мою руку и мы двигаемся к тому, что зовется «лифт», — мужество покидает меня, и я уже готовлюсь к своему «и-и-и»... Но поза и лицо Муси отрезвляют меня; она *боится* — я это отлично вижу, она такая бледная, как когда ее тошнит, но она немножечко улыбается уголками губ и шагает вперед, к лифту. Ноги ступают как в лодку, упругую на волнах, — и, объятые блеском, точно ты — в зеркале, мы медленно скользим — вверх, мимо проплывающих потолков (он потолок и пол — сразу...). Мы нагулялись по этажам, по всем отделам — до сытости. Уж веки хотели — спать, уж не могли больше глаза принимать в себя вещи, когда нас повели еще раз — с другой стороны — к лифту. Он ехал — вниз. Пол оборвался под нашей ногой, полетел, как во сне, странным скольжением, в теле сделалась слабость (ступни ошпарило страхом), и я залилась, к стыду и презрению Муси, на весь «Мюр и Мерилиз» моим «и-и-и»...

Москва нашего детства! Трамваи как диковинка; милые, мирные, медленные конки; синие халаты извозчиков, пролетки, тогда еще без резиновых шин. Медленность и мирность уличного движения. Пешеходы меж добрых лошадиных голов. Домики тихих, уютных улиц. Вывески — кренделя, калачи. Разносчики. Керосиновые фонари... Каким сном ты кажешься мне теперь!..

#### Глава 4 ПЕРВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ МУСИ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. АНДРЮШИН ДЕДУШКА ИЛОВАЙСКИЙ. ДВА ЖЕНСКИХ ПОРТРЕТА. ДЕДУШКА И ТЬО. НАШ ОТЕЦ И ЕГО ДЕТИЩЕ — МУЗЕЙ. НАША МАТЬ

Одно из ранних воспоминаний — вечер в музыкальной школе Валентины Юрьевны Зограф-Плаксиной в Мерзляковском переулке, где должна была выступать учившаяся там Муся (Маруся — Марина)... Ей было семь лет. Мать учила

ее с шести, кажется: рука была большая, способности же ее были — праздник для мамы, страстного музыканта и прекрасной пианистки. Детство наше — пропитано музыкой. В детской (в мезонине) мы засыпали под мамину игру, доносившуюся снизу из залы, игру блестящую и полную страсти. Всю классику мы, выросши, узнавали как «мамино», это *мама* играла... Бетховен, Моцарт, Гайдн, Шопен, Шуман, Григ... Под их звуки мы уходили в сон.

И вот — первое выступление Муси. Когда я увидела ее на эстраде, с распущенными по плечам русыми волосами, собранными наверх под бант, в платье в зеленую с черной и белую мелкую клеточку, спокойно, с как будто ленивым достоинством сидевшую, как взрослая, за роялем и, не обращая внимания на зал, глядевшую на клавиши, когда я услышала ее игру и всеобщую похвалу ей — сердце раскрылось такой нежностью к подруге игр, так часто кончавшихся дракой, что я иначе не могу назвать мое чувство в тот вечер как состоянием влюбленности. Никого, кроме нее, не видела. Не сводила с нее глаз. Я не понимала, как я до сих пор не видела ее такой, не восхищалась и не гордилась ею. Старшие потом говорили, что, равнодушная к залу, сидя и чувствуя только рояль и себя, она начала было привычно считать вслух... — раз и, два и — но, увидев знаки Валентины Юрьевны (или — мамы), стала играть без счета.

Дома я помню ее, ночью, все такую же — широкое высоколобое милое родное лицо, зеленые глаза — цвета крыжовника — победные и немного насмешливые.

Я не знала, *чем* выразить нежность и *как* удержать ее в грубости детских буден, ссор и всего, что придет завтра. Тот вечер и ныне веет, сияет в сердце каким-то цветением радости...

Из самой мглы детства, как стены и воздух дома, помню появление в зале и папином кабинете седого и строгого старика, «Андрюшиного дедушки». Это был тесть отца по первому браку, историк Д.И.Иловыйский. Его правильное красивое холодное лицо, обрамленное пышным седым париком и седой раздвоенной бородкой, глухое к быту и к неродным внукам, не освещалось улыбкой, а лишь слегка на-

клонялось к нам, когда, не прерывая тона беседы с отцом, он произносил всякий раз одни и те же слова, путая нас: «Это Муся? Ася?» Различить нас, хоть мы и были похожи, было довольно легко: по резко различной нашей величине: Муся была большая и плотная, я — маленькая и худая.

Мы его боялись (стеснялись), он был чужой, приходил из какого-то своего дома, о коем говорили, что каменный (оттого «Андрюшин дедушка» был еще прочно-холодной). Слова же «от Старого Пимена», которые он, не застав порой отца, оставлял о себе вместо визитной карточки, навевали нам «иловайский» холод и на Дмитрия Ивановича клали добавочную тень таинственности — тень «Старого Пимена». Годы поздней мы узнали, что это церковь в переулке Тверской, у которой стоял дом Иловайских с полукруглыми окнами, в глубине двора, куда меня раз взяли лет шести (Мусю, может быть, раньше). Каменные ступени широкой лестницы, зеркала трюмо и рыжий мех длинношерстного кота Мандерика на плече «Андрюшиного дедушки» в халате. Да еще кипы газет в глубоких амбразурах окон (издаваемый им «Кремль») — все, что я помню.

Но еще ранее «Андрюшиного дедушки» встают в душе привидения первых воспоминаний о Тете и о дедушке (нашем — отец нашей матери). Запах сигар, блеск манжет, узкое, уже желтевшее (заболевал раком), ласковое к нам лицо с чуть вниз, к вискам («как у сенбернаров»), глазами. Мама была на *него* похожа больше, чем на свою красавицу-мать, польку Марию Лукиничну Бернацкую — от ее двадцативосьмилетней жизни в маминой с папой спальне портрет — увеличенная фотография: темноокое, с тяжелыми веками, печальное лицо с точно кистью проведенными бровками, правильными милыми чертами, добрым, горечью тронутым ртом (много позже узнали мы, что она была с дедом несчастна — он был тяжелого нрава). Встретились они — на балу... Черный атлас старинного покроя кофты, широкой. Дагерротип, с коего была увеличена фотография, относился ко времени ее беременности мамой, и тонкая рука мягко и смутно хранит память — тусклость жемчужин на этом портрете — на руке ли? в ухе, серьгой? Странной моды два локона, строго по одному у щеки, пря-

мой пробор темных волос, — и через все, надо всем — этот тяжелый взгляд куда-то вбок, мимо, вдаль, взгляд весомый, как сама печаль, как — быть может — ожидание смерти? Умерла, оставив дочь совсем маленькой. Взгляд, как крыло, простершийся над нашим отрочеством (остались без матери одиннадцати и тринадцати лет) и юностями, то крыло, что создает поэтов и странников. По углам рамы — четыре рамки — отверстия в паспарту, обведенные золотым ободком. Одна же на двух, чуть иная, и не помню, что в третьей; на четвертой — фотографии ли? — те же, что раз, перебирая реликвии своего девичьего письменного стола, показывала нам мать на темном дагерротипе: пожилое женское лицо, худое, еще красивое, но уже и страшное чуть — смуглой строгостью старости — иноземности? И у ее плеч два разительно непохожих лица, сына и дочери (каждый — в отца, своего? ибо — сводные брат и сестра): лет двенадцати кадетик, худенький, печальный, с еще детской пухлостью щек. Годами тремя старше девочка, на пороге девического расцвета. Екатерина II могла быть такой лет тринадцати. Пышные волосы какой-то надменной волной по плечам. Лоб широкий, высокий; точеный, с горбинкой нос. А глаза — рассеянный и играющий взгляд, заливающий все, как река в половодье. Не эти ли волосы, не над этим ли лбом — Мусины, на эстраде музыкальной школы? И не этот ли взгляд два поколения цвел на лозаннской фотографии Муси-Марины, в ее одиннадцать лет? Не тот ли, с горбинкой, нос? — Сводная сестра бабушки? Эту девочку мне было суждено увидеть в ее восемьдесят, мои двадцать лет. Но об этом — впереди.

Жадно впитывали мы все эти лица, имена, как вдыхали легенды Рейна, и рощи, и волны заколдованного Дуная, где жили Гюльбрандт и Ундина, где пела и губила корабли Лорелей.

Тетя была бывшая экономка бабушки, бывшая бонна мамы, для нее им выписанная из Швейцарии, — некрасивая с молодости — старинная, чопорная, смешная, одаренная множеством комических черт. Собравшись на родину по вызову своего умиравшего отца-пастора, она не выехала из России, потому что мама, лет семи, в слезах

повисла у нее на шее, не пуская уезжать. Дедушка оставил ее в доме при маме до дня маминого замужества, а тогда, в благодарность за отданную дому жизнь, чинно обвенчался с ней (для чего она приняла православное крещение)... Не лишать же было ее единственного дома, ей на свете оставшегося?

Жили в то время Тетя и дедушка в Москве, на Плющихе, в Неопалимовском переулке. От их дома помню лишь угол двора с собачьей будкой, уютные, углом друг к другу (пристройки?) крыши большого дома, целое царство крыш. Паркет парадных комнат и дедушкин выезд — Красавчик (или Мильй?) и Огурчик, — два темных коня.

Мы, конечно, бывали у Тети и дедушки, но когда дедушка умер, мне не было пяти лет, и я не помню того, что об этом доме и о них унесла с собой Марина. Приезд их к нам был всегда праздник, но дороже всего — Рождество. До потолка залы высокая елка в серебряно-золотом дожде и цепях и с троллями в горе веток, сияющее волшебство шаров — голубых, синих, зеленых. Запахи: горячего воска (свечей), мандаринов и дедушкиной сигары. Но счастье начиналось с искры: звонка, заживавшегося и полнившего качаньем — дом: *приезд* дедушки. И, зажженный его же рукой, бежал по белому фитилю с ветки на ветку, от свечи к свече — огонек, пока вся елка не вспыхивала как гроздь сирени — вождельным треугольником праздника. Худоба строго одетого, желто-седого дедушки. Чрезмерная полнота атласом обтянутой Тети (Тьо — как она нам называла себя «по-русски»), чаще же, по-французски, «la Tante»\* в третьем лице (родной город ее был Невшатель).

Медовой струей, лучом солнечным ложился на сердце рассказ Тети о старых годах в Невшателе, когда мирный городок засыпал в десять часов вечера, — все тушили огни, отходили ко сну: по улицам ходили сторожа, били в медную доску, нараспев оповещая горожан, что настает время сна. Мелодия была нежна, как колыбельная песнь: «Gué bon gué, il a sonné, il a sonné dix heures!»\*\* Мы вторили Тьо, впадая в уютный мотив... А если где-нибудь в окне был

\* Тетя (фр.).

\*\* «Динь-дон, вот и десять отзвонили!» (фр.) — Примеч. пер.

свет — приходили узнать, что случилось, не заболел ли кто, не нужна ли помощь...

Подарки Тети и бабушки были особенные, не похожие на более скромные — родителей. Куклы стиля «роурée de Nurenberg». Муся и я не играли в кукол, чем огорчали мать. Но другие, волшебные нам игрушки, — ими был полон мамин «бабушкин шкаф», открывавшийся нам мамой лишь изредка, — там жужжала огромная заводная муха, сияли какие-то затейливые беседки, сверкали зеркальцами зеленоставенных окон швейцарские шалэ, перламутром переливалось что-то, что-то звенело, играло, меж фарфоровых с позолотой статуэток, где жили цвета павлиньих перьев и радуг стеклярус и бисер, где дудка ворковала голубем, где музыкальный ящик менял на валике своем, под стеклом, мелодии, — и по сей день живут в душе сказкой вроде «Щелкунчика». Все эти вещи, обожаемые нами, Муся и я делили мысленно, на будущий день раздела их нами — словесно — выменивали, жадно борясь за обладание желаемым. Это давалось с трудом: нам нравилось *то же самое*, почти всегда. Как и в книгах или в том, что нам рассказывала мать. Мы не терпели никакой общности — вещь или герой книги могли быть только *или* Мусины, *или* мои. Так мы разделили две наилюбимейшие поэмы: «Ундину» взяла Муся, «Рустема и Зораба» получила — взамен — я. Так мы делили — всё. Не по скаредному — нет, по страсти. И платили безрассудно щедро: чтобы получить какой-нибудь бубенец, обeim равно нужный, другая додаривала в придачу к тому, что давалось взамен, и то, и другое, и третье — без счету. Понимая, как трудно — той — уступить. Три раза стукались лбами — и пути назад не было. Так мы прожили до пятнадцати и семнадцати лет, когда, в нежнейшем единстве, полюбили вдвоем — одного.

Отец наш — профессор Московского университета — читал на Высших женских курсах историю изящных искусств. Он был много лет директором Румянцевского музея и основал московский Музей изящных (теперь изобразительных) искусств на Волхонке.

Его отец, наш дед, был сельским священником в селе Талицы Владимирской губернии; строгий и добрый пас-

тырь, рачительный хозяин, он заслужил глубокое почтение своей паствы и был другом и советником многих и многих. Старший сын пошел по его стопам; второй — наш отец; третий — Федор, был попечителем учебного округа; четвертый — Дмитрий, профессор русской истории. Росли они без матери, в бедности. Отец до четырнадцати лет ходил босиком и пару сапог берег, надевая ее лишь в городе. В двадцать девять лет он уже был профессором. Начав свою ученую карьеру с диссертации на латинском языке о древнеиталийском народе осках, исходил и на коленах излазил итальянскую землю вокруг древних памятников и могил, списывая, сличая, расшифровывая и толкуя древние письма. Это дало ему европейскую известность. Российская академия присудила ему премию «За ученый труд на пользу и славу Отечества». Болонский университет в свой 800-летний юбилей удостоил отца докторской степени. Погружение в классическую филологию с памятниками древности и музеями Европы пробудило в отце интерес к истории искусств, и в 1889 году он возглавил кафедру изящных искусств Московского университета. Так он перешел от чистой филологии к практической деятельности основателя Музея слепков работ лучших мастеров Европы для нужд студентов, не имевших средств ездить за границу изучать в подлинниках древнюю скульптуру и архитектуру, стал создавать Музей гипсовых слепков. Здесь, как и в филологическом изучении, его трудолюбию не было конца. Огромная затраченная энергия в этом бескорыстном труде изумляла всех знавших его.

Проект такого музея был встречен холодно, многие сомневались в возможности его создания, мало кто верил в его успех. Один из веривших был мамин отец, А.Д.Мейн. Но было ясно, что финансировать такое грандиозное дело университет не в силах, а царское правительство может не захотеть прийти на помощь. Отец обратился к широким слоям общественности, к частной благотворительности. В комитет по созданию музея вошли представители аристократии и купечества, а также художники В.Д.Поленов, В.М.Васнецов, П.В.Жуковский, архитектор Р.И.Клейн, главным жертвователем стал Ю.С.Нечаев-Мальцев, извест-



ный промышленник. Отец увлек его идеей Московского музея изящных искусств и в течение многих лет писал ему почти ежедневно: письма эти являют собой дневник строительства нового музея.

Царское правительство помогло только одним: дало площадь бывшего Колымажного двора, где помещалась старая пересыльная тюрьма.

Уступчивый и нетребовательный в жизни, он проявлял невиданную настойчивость в преодолении препятствий на пути к созданию задуманного — такого в Европе не было — Музея, а препятствий было много.

Занятость и усталость нисколько не делали его раздражительным. Добрый, простой, добродушный и жизнерадостный, он в домашнем быту был с нами шутлив и ласков, — но разница лет его от нас отдаляла.

Помню я его седеющим, слегка сутулым, в узеньких золотых очках. Простое русское лицо с крупными чертами; небольшая редкая бородка, кустившаяся вокруг подбородка. Глаза — большие, добрые, карие, близорукие, казавшиеся меньше через стекла очков. Его трогательная в быту рассеянность создавала о нем легенды. Заработавшись летом у друзей — перед высоким приемом, он собрался ехать к высокому лицу, позабыв сюртук. Уходил без шляпы, его догоняли. Раз, на торжественном деловом обеде, вынул вместо носового платка — маленькие детские панталоны...

Ему шел сорок шестой год, когда родилась Марина, сорок восьмой — когда родилась я.

В нашей матери, Марии Александровне Цветаевой, урожденной Мейн, отец нашел себе верного помощника по труду — созданию Музея. Свободно владея четырьмя иностранными языками, она не раз ездила с отцом в художественные центры Европы, вела всю его переписку. В годы моих ранних воспоминаний ей исполнилось тридцать лет. В отце ее была сербская кровь, мать ее полячка. В ней было мало русской крови, и может быть, поэтому она отличалась от окружавшей ее среды. Высокая, темноволосая (в раннем детстве нашем она носила прическу, затем сняла косу, и над высоким лбом ее я помню темные кудри), она походила на юношу. Черты ее удлиненного лица не были так

женственны и гармоничны, как у первой жены отца — та была красавица, — но блеск карих, умных и больших глаз, нос с горбинкой — чуть длиннее, чем требовал канон красоты; рот, в уголках коего затаилась тонкая горечь, гордый подъем головы — романтика и героика были в ней.

Строгая романтика ее юности — книги, музыка, живопись — она была ученица Муромцевой, любимой ученицы Николая Рубинштейна, а искусству кисти училась у художника Клодта — «Последнюю весну» его в Третьяковской галерее любили многие в то время, — романтика ее в семнадцать лет нашла себе выражение в любви, окончившейся в самом начале, трагически, как роман Наташи и Андрея Болконского. Кожаная книжка, исписанная мелким тонким косым почерком, — история этой любви, от поэтического ее начала до развязки в день признания, очень напоминает героев «Дворянского гнезда»: то же удерживаемое стремление друг к другу, та же фигура не дающей развод жены, то же прощание в лучший день.

Годы памяти о навек утерянном, навек незабвенном человеке кончились тоже монастырем своего рода. На двадцать третьем году она ответила согласием на предложение человека сорока четырех лет, оставшегося внезапно вдовцом с двумя детьми на руках, вступила второй женой в дом, в котором еще пахло смертью. Она, может быть, плохо рассчитала свои силы по отношению к старшей из этих детей и не справилась ни с замкнутым нравом той, ни с горячим нравом своим, оставив в падчерице своей навсегда недобрую память. Может быть, плохо рассчитала силы свои и как женщина и жена, неожиданно начав страдать от приездов в дом художника, писавшего — по фотографиям, локону, атласному корсажу и указаниям безутешного мужа — портрет умершей красавицы-предшественницы, дух которой еще веял в доме. Может быть, не все удалось утопить в книгах, в тетрадях дневника и в рояле, может быть, много ошибок она сделала в доме, куда вошла. Но на брак с человеком на поколение старше, не увлекательным ни наружностью, ни всем типом пожилого уже ученого, не понимавшего музыки, ее главного таланта и страсти, согласилась она *только* из самопожертвования и из желания превозмочь трудом и простой челове-

ческой жизнью — трагизм своей первой любви. Материальных причин не было — она была обеспечена своим отцом. Нелегко получила она и согласие отца на брак с пожилым профессором. Дед наш хотя глубоко уважал отца и его бескорыстный труд по созданию первого в Европе педагогического Музея слепков и живо интересовался этим музеем, но не находил основателя его подходящим мужем для своей единственной дочери, для которой он мечтал об ином.

Из долго сохранявшихся и лишь позже канувших дневников матери знаю об одном случае, когда, приехав к дочери после ее замужества, дед наш застал ее в слезах из-за холста на мольберте, откуда с прелестной полуулыбкой глаз и рта и с розой у голубого корсажа смотрела в залу своего дома — ушедшая. Помнится, будто дед захотел указать мужу своей дочери на делаемую им бестактность, — но, думаю, та удержала его — ведь в своем дневнике она упрекала себя, что ревнует — к кому же? — «к бедным костям на кладбище»...

Мать знала Варвару Дмитриевну — бывала с отцом на раутах у Цветаевых, любовалась ею, ужаснулась внезапной вести о смерти ее после родов и голосу у свежей могилы, обращенному к рыдавшему вдовцу: «На чаёк с вашей милости...»

Портрет был закончен, повешен в зале, вознесен выше голов человеческих, на бессмертную высоту памяти. Гремели, ниже портрета, но взвиваясь выше его, выше потолка сумеречной вечером залы, — Бетховен и Гайдн, Григ и Моцарт, Верди и Шуман, Чайковский и Римский-Корсаков, шубертовская неоконченная симфония и Шопен, Шопен, Шопен... Под них мы засыпали.

Мама не любила хозяйства, — так нам после говорили о ней, — и хоть я помню, как она метила по канве — затейливыми, по печатным тетрадочкам образцов, буквами — белье и даже вышивала порой крестиком, и заказывала обеды и ужины, и поливала цветы; и помню гневные вспышки между ней и бонной или экономкой, Августой Ивановной, долговязой немкой, — но все это делалось поверхностью сердца. Как ни строга она была к нам порой и как ни были долги ее нам нотации — мы никогда не восставали против нее. Оттого ли, что мы обе были — в нее и понимали ее с полуслова, — мы ее жарко любили. Именно *жар* был в наших

отношениях с матерью, и его — хоть отец был к нам всегда добр — не было в отношении к отцу. Отец нам был скорее — дед, шутливый, но — далекий. С матерью же общение было самое тесное, хоть мы и жили в отдалении — она внизу, мы, дети, на антресолях.

Она постоянно читала нам вслух, забирая нас вниз, к себе, от гувернантки (то француженки, то немки). В высокой, зимой холодной «маминой гостиной» с большим книжным шкафом и книжными полками, картинами, с ковром от старого холодного паркета, сидя за своим, еще девическим, ореховым письменным столиком, при свете зеленого абажура ее — еще девических лет — лампы, она читала нам свои любимые, еще ее детства, книги, — а мы на ковре слушали ее мастерское чтение. Не мы одни: большая перламутровая раковина, сиявшая, как заря, в которой шумело море. И голубые шары: три — как основа, на них четвертый. Как ни верти их — все так же: один сверху, снизу три — такие глубокого-голубые, что — синие, как мамино сапфировое кольцо. И такие прохладные, точно их можно пить, но никак нельзя, точно вода заколдованная, их гладишь, и лижешь, и жмешь, руками и глазами глотаешь.

Раковина была Мусина, шары — мои; затем мы менялись, и счастьем нового обладания не было ни дна, ни края. Так мы менялись — всем, все деля. Только одно осталось на все детство: «Ундина» — навеки Маринина, «Рустем и Зораб» — мои.

А к Мусиным годам семи, когда я из отдельной с няней *моей* детской перешла к Мусе в детскую, брат наш Андрюша, сын Варвары Дмитриевны Иловойской, поселился в меньшей комнатке нашего детского верха — в одно окошко на крыше, в голубях и тополях. Над его кроватью из овальной черной багетной рамки улыбалось так похожее на него лицо в венке полевых цветов, с распущенными волосами, и — что-то девическое — бусы ли? ленты? Глядел ли *он* на нее, которую не помнил? Ему настал девятый день, когда она умерла. Теперь ему было девять лет. Уже шли разговоры о подготовительном и первом классах 7-й гимназии, об экзамене, о репетиторе...

Папе в это время было пятьдесят два года, маме тридцать один год...

Глава 5

РЕПЕТИТОР АНДРЮШИ – МОЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ.  
АРЕСТ РЕПЕТИТОРА. СМЕРТЬ ДЕДУШКИ.  
ПАПИНЫ БРАТЯ

Репетитор брата Андрея, Аркадий Александрович Лас-точкин, студент, маленький человек с добрым, милым лицом, обладал, видимо, своеобразным шармом, так как я привязалась к нему с некоей даже страстностью. Собственно, это была любовь. Мне шел четвертый год. Не скрывая своих чувств к нему, возбуждая общий смех, я гуляя с няней, выходила встречать его, возвращавшегося из университета по Тверскому бульвару. Зорко следила я за идущими (парами, группами и одиночками) студентами; издали еще – скорее чутьем или привычкой близоруких узнавать не лица, а общие контуры человека – я, завидев *его*, бежала навстречу; он, с ласковейшей улыбкой, сажал меня на скамеечку, садился рядом, и я начинала высчитывать (может быть, это были наущения няни, научавшей, что *делать* – в любви), сколько лет осталось до нашей свадьбы: мне четыре года – пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, – дальше счет спотыкался.

Мне было блаженно видеть его. Довольно крупное его лицо при маленьком росте, нежность женственных его черт и особая пристальность сияющих глаз – все это было чудесно. Дома он рассказывал мне сказки, то есть всегда одну (о рыбаке и рыбке) – и очень плохо, я это понимала и, нежно жалея за косноязычие, спотыкание, прощала ему их, услаждалась его голосом. Муся, бывшая *тут же*, обнятая им, как и я, вела себя сочувственно, не оспаривая качеств избранного, – в доброте всего этого сохраняя некий оттенок отдаленности и старшинства, деликатный холодок неучастования. Так мы сидели втроем в детской, возле печки, каждый исполнен своим, под рассказ, незадачливо звучащий чем-то вроде: «Было, эдак, море. Синее море. И был, эдак, старик. Да. А у старика была, эдак, старуха... И было у них корыто. Ничего у них, эдак, не было, кроме одного корыта...» («Не так», – отзывалось насмешливо-критически, с юмором в Мусе, умиленно его неточностям – во мне.) Но воспитание диктовало – молчание.

Спустив удила рассказа, мыслью далеко, в его, как потом говорили, увлеченности нашей матерью или в революционном движении студенчества, за которое его вскоре арестовали, он продолжал ласковую свою несуразицу, отдававшую веселым умилением в моем четырехлетнем сердце: «И сказал, эдак, мужик рыбке: “Дай нам хату, рыбка, – нет у нас, эдак, хатки, одно корыто...” И вынесла ему рыбка корыто, а оно, глянь, обернулось хоромами, и в них царица сидит, и была это его баба – “царица”...» Так и плел без конца. Печь трещала, за окном валил снег, черный кот слушал, сверкая желтыми глазами. В зале били стенные часы...

Какими слезами я заливалась в день, когда дом взволновался вестью об аресте Аркадия Александровича... У окна гостиной, с ненавистью глядя на толстяка городского, я ждала папиного возвращения; он уехал хлопотать за арестованного студента... Просьбу профессора исполнили: студент был выпущен. На Рождество мама, купив кукольную голову, сшила тело, красную рубаху, синие шаровары и подарила мне мальчика «Аркашу». И эту куклу, несмотря на нелюбовь к куклам, я берегла, пытаюсь перенести на нее часть своей любви. Но любовь шла шире: я собирала по углам комочки пыли – за серый цвет (цвет студенческой тогдашней тужурки). Я допивала капельку из его рюмки: она мне казалась волшебной...

Прошел год или менее года – было ли это в то лето, когда я опасно болела? Помню себя стоящей у балкона дачи, слышащей голоса от крокетной площадки, звук молотка о шар, его голос: «Эх, промахнулся!»... – и свою, себе, реплику, скривив рот: «Все говорят “ах”, “ох”, а он – “эх”... Как глупо!» Я с тайным торжеством слушала, как я не чувствую к нему – ничего. Я дивилась – проверяла и – радовалась. Я пила из его рюмки – и мне не казалось вкусным. Злой холодок прошедшей любви я цедила в себе, как амброзию... Сколько лет еще было мне суждено идти этим путем, упиваться фальшивыми драгоценностями... за одну остроту их блеска! Теперь, шестидесяти четырех лет, я бы хотела пожать руку доброму и, вероятно, несчастному человеку – за его любовь – снизу вверх – к моей матери, не могшей не оценить этого чувства, и за его истинную нежность к нам, детям.

А сказки — они жили не только в книгах и в рассказах людей! Луч керосинового фонаря в морозных пальмах окна, в лапчатых кристаллических листьях, в сверканье пещер и дорог ледяного стекла! А в лебяжьем пуху инея — по решеткам садов и заломленным рукам веток — разве не там живы были Гримм, Перро, Андерсен?

Мы с Марусей часто ссорились и дрались. Она — не в пример сильнее меня — всегда побеждала, и я всегда бежала жаловаться маме. Так, я была заперта Андрюшей и Мусей в ларь (деревянный диван с ящиком); они сели на крышку, пугая меня, что я задохнусь. Воздуху мне, конечно, хватало, но ужас мой — биться внутри о безжалостно опущенную надо мной крышку, в то время как они ликовали, сидя на ней, — я помню до сих пор. Пережив такое — собственно, предсмертный страх, — что оставалось, как не бежать, плача, к маме — утешиться? Где были в такие минуты гувернантки, коих за детство прошла по дому вереница? Преследуемая насмешкой, что иду утешаться, «сплетничать», «мамин Кутик» (мамино, мне, детское имя), я летела с лестницы, в горе, но — если не повертывала сразу под нее направо коридорчиком в спальню, то по пути, остыв, отвлекшись чем-нибудь, переставала плакать; заметив это, при подходе к маминой двери я возобновляла свое «и-и-и»...

На руках матери, в лучах ее жалости я рушилась заново в пережитое. Так ли Эрнст Поссарт играл короля Лира? Но лавры его мне не доставались. Меня венчали песенкой «Сплетница-газетница, “Московский листок”...»

Но была одна область, примирявшая нас мгновенно: любовь к животным. Жалели мы всех: кормили хлебом лошадей и коров, пламенели ко всему, что томилось в Зоологическом саду; но страсть была к собакам и кошкам. Одним жестом мы падали на колени перед каждой из них, гладили, глядели, мурлыкали и рычали. Равно — Муся и я — таскали для них еду. Ненасытимо радовались их радости.

В весенний день моих четырех с половиной, Мусиных шести с половиной лет мы провожали больного дедушку на Брестский вокзал. Он ехал за границу лечить рак желудка. Мы страстно любили вокзалы, шум, гул, призыв гудков, вол-

шебство круглых, как луна, стеклянных ламп на кронштейнах, незнакомые лица; первый, второй звонок.

Из окна вагона дедушка сказал: «Ну, подавайте мне мелюзгу»... Нас ввели в вагон. Каждую поочередно он поднял на руки, поцеловал. Его желтые щеки с сединой были худы. Высокий рост, узкое лицо; в черном. На голове черная шелковая дорожная шапочка необычного вида.

По отходе поезда нас, детей, повезли прокатиться на дедушкиных лошадях в Петровский парк. Экипаж мягко подпрыгивает на рессорах; слева от меня сидит Муся; она, как и я, в дедушкиной (подарок) белой шерстяной кофточке (полупальто), пушистой, с пышными рукавами. Мы в широкополых соломенных шляпах. Синий солнечный день. По бокам шумят и уходят назад весенние ветви; стройные стволы Петровского парка напоминают Тарусу.

С первых лет мы начинаем разговор друг с другом и с мамой с – «А помнишь...» Как у больного желудком под ложечкой, так у нас (и у мамы, должно быть) сосет тоской по всему, что было, что живет уже только в душе; что – «прошло»... Лирика началась с первого вдохнутого и выдышанного воздуха, с первого звука, с первого запаха, с впервые увиденных красок природы, с первого осознания – «живу»...

Ввиду близившейся смерти дедушка купил Тете в Тарусе дом с фруктовым и липовым садом и разделил между мамой и ею собранный им за жизнь экономией и трудом капитал. Тетина часть, в случае ее смерти, должна была перейти к маме – но жизнь рассчитала иначе.

Позднее мама рассказала нам: «Ася была опасно больна, когда пришла весть, что дедушка при смерти. Ехать к нему? А Ася? – И я осталась. Вот так и вы, дети, когда-нибудь бросите меня умирать без себя, останетесь с заболевшим ребенком...»

Судьба не наказала ее: я выздоровела, и она успела к умирающему дедушке; он умер при ней. Умирая, он выразил ей свое глубокое уважение перед ее нравственной личностью. В нем она теряла старшего, самого старого друга. Она, плача, проводила его в неведомый мир. Он горестно оставлял ее жить – в этом, трудном.

Помню день, когда в Тарусу пришла телеграмма: «Дедушка тихо скончался вчера вечером».



Мусе было около семи, мне около пяти лет.

Мать не утешилась от этого горя до самой своей смерти. Дедушка шестидесяти трех лет лег на Ваганьковском кладбище, рядом с молодой своей женой, маминой матерью, под такую же белую мраморную плиту с белым невысоким массивным мраморным крестиком. Тетя окружила их могилы оградой — под крышей, как часовня, той же оградой обведя кусок пустой земли, для себя, и безвыездно поселилась в своем домике в Тарусе. Мы видели ее теперь только летом.

В маминой гостиной, под высоким потолком, на ковре, у ее ног, при свете зеленого абажура, фарфорового, мы слушали мамины рассказы. О ее детстве — о дедушкиной усадьбе Ясенки (под Удельной), где мама ездила верхом девочкой, о ее подруге Тоне, взятой в дом для нее и жившей с ней с восьми до семнадцати лет. Их воспитывали Тетя и дедушка как сестер — одинаково одевали, учили (к ним ходил учитель). В семнадцать лет Тоню выдали замуж за художника, но и после брака она часто бывала у мамы. Как встарь, играли они вечерами в четыре руки на рояле. Раз, показав нам дагерротип, где со своей матерью были сняты кадетиком дедушка и его подросток-сестра, мама нам рассказала, как, окончив кадетский корпус, дедушка вышел на улицы Петербурга, не имея никого на свете, кроме сводной сестры Марии. Он поехал к ней. Она была замужем за богачом (двадцать семь домов, но игрок). В пышном особняке лакей доложил о нем барыне; та ехала в гости. Она велела провести его в одну из гостиных и долго заставила ждать. Вышла к нему на минуту разодетая красавица, надушенной ручкой потрепала брата по щеке, не спросила его ни о чем, дала золотой и извинилась, что спешит в гости. Оскорбленный юноша вышел из ее палат, бросив тот золотой швейцару. За ним хлопнули тяжелые двери, — и он вычеркнул из сердца сестру. До дня, когда узнал о ее разорении. Тогда он стал ежемесячно посылать ей деньги, заработанные трудом.

Мария Степановна Камкова один раз была у дедушки. «Я была очень маленькая. Она подержала меня на руках; теперь, после смерти дедушки, — сказала мама, — я буду продол-

жать его волю — посылать ей ежемесячно деньги. Она уже старая и бедная. Ее красота и богатство прошли, как сон...»

Со стены папиного кабинета на нас смотрел из овальной большой рамы его умерший брат, дядя Федя. Полное лицо, темные большие глаза, умные. В нем было сходство с папой. «На дядю Федю смотрите? Он был очень добрый. Очень хороший ушел человек...»

Старшего папиного брата, дядю Петю, мы встретили только раз; он приехал к нам, привез Мусе куклу — старшей, о младшей он еще не знал. Нас переодевали, чтобы идти вниз. По дороге проходили мимо нашего чуланчика над лестницей (в него нас иногда запирали, в темноту, в висящие платья, за провинность); у входа в чуланчик горела свеча в подсвечнике.

Внизу, в парадных комнатах, мы увидели маленького священника в темной рясе, с длинными белыми волосами и седой бородой. Он ласково посмотрел на нас папиными глазами.

Мне было обидно, что меня дядя Петя не знал (кукол мы не любили — мы им, когда удавалось, вынимали глаза и носили их — у кого больше глаз — на веревочке). Вниз головой, за ноги, как кур, несли их «продавать на рынок». Мама огорченно дивилась, стыдила, и мы тоже стыдились себя: из мглы нам рассказанного о мамином детстве мы помнили, как в двенадцать лет она, решив, что пора, со слезами простилась с любимой куклой; посадила ее за стекло в шкафчик с *библо* (статуэтками, игрушками, шкатулочками, всевозможными волшебными мелочами) и более уже (стойко перенося страдания) не тронула ее.

## Глава 6

### БРАТ АНДРЮША.

#### ЛОМКА МРАМОРА НА УРАЛЕ ДЛЯ МУЗЕЯ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ. ПРОФЕССОРА. ЕЛКА

Я мало пишу о брате Андрюше: может быть, оттого, что он не всегда принимал участие в Мусиных и моих играх? Да и слово «игра» как-то мало подходит: были «танцы» —

полька и галоп под мамину игру, в зале — галопом мы мчались иногда и через гостиные, спальню и коридорчиком назад в залу; и брат, конечно, был с нами; помню игру «в волка», когда мама ловила нас руками, протянутыми за спиной, — я этой игры боялась особенно в полутемной зале. Были драки меж нас троих, были совместные выходы притворно примерных детей к гостям, поездки в театр (редкие), елки, пасхальные дни — но общей, интимной жизни втроем — не было: Андрюша был старше нас на два и четыре года, уже начинал учиться, и вообще был — другой. Никакой лирики, ни страсти к уюту, ни страстной любви к собакам и кошкам, ни жажды все вспоминать и жадно заглядывать в будущее — этого ничего в нем не было. Мы таскали вместе сладости, нас наказывали вместе, нам вместе дарили подарки, мы отнимали их друг у друга — но чувство, что Андрюша — другой, более вялый, чем мы, чуть угрюмое, чуть насмешливее — это присутствовало. Мама Андрюшу любила — любовалась им и старалась не быть к нему строже. Особенно она нежна была к нему в первые его годы, когда еще не было нас. Он был очень красив — в мать, а те, кто не знал, что это пасынок мамы, видя их вместе — у обоих удлинённые лица, карие глаза, темные брови, — говорили «на маму похож». Но одно наказание мамино, думается обидное ему, я запомнила: за то, что долго делал за маленьким в штаны, уже большой, получил под крышкой на блюде в столовой на третье — эти самые свои панталончики, когда дети ели на третье — сладкое. Иногда мамин гнев рушился на нас как гроза — особенно она карала за ложь, но рушился он равно на всех нас троих.

Ожидая первенца, мама мечтала о сыне, которого уже мысленно назвала, в честь своего отца, Александром. Но родилась дочь — Марина. Ту же мечту мама лелеяла и перед моим рождением, но и в этот раз ее мечта не сбылась: я была ее последним ребенком.

Детская. Вечер. Нас троих одевают куда-то, к кому-то. У Маруси распущены ее русые волосы, — их чья-то рука связывает наверху бантом. Ее светлые зеленые глаза, с немного высокомерным взглядом, блестят лукавством — она сейчас будет дразнить или что-то выдумает. Андрюша выше ее,

но она с ним справляется — она сильная (в пылу драк каждый из нас имеет свою «специальность»: Андрияша «щипается», Муся кусается, я царапаюсь). Но сейчас нам некогда. Обе наши головы нетерпеливо, как кони от мух, отмахиваются от нас надеваемых кружевных больших, по плечи, крахмальных воротников, нашей муки. Андрияша уже готов. На нем коричневатый костюмчик, а на мягком поясе — фарфоровая пряжка с изображением головки маркизы. Андрияша очень хорош. Я люблю его большими карими глазами, круглыми бровками. Но Муся, лицо которой я не могу воспринять отдельно от себя, как Андрияшино, неопишимо — родней, нужнее и неотъемлемей: это сама я, мы.

В одном из Марининых юношеских сборников стихов\* есть слово «курлык».

Детство: молчание дома большого,  
Страшной колдуньи оскаленный клык,  
Детство: одно непонятное слово,  
Милое слово «курлык».

Вдруг беспричинно в парадной столовой  
Чопорной гостье покажешь язык,  
И задрожешь, и заплачешь под слово,  
Глупое слово «курлык».

Бедная Fräulein в накидке лиловой,  
Шею до боли стянувший башлык,  
Все воскресает под милое слово,  
Детское слово «курлык».

Вот его происхождение: зимними вечерами мы любили прилечь возле мамы на ее постели, в тихой спальне в час, когда угасли звуки дня и еще не ожил дом — в вечер. Под меховой шубой (в нижних комнатах было холодно) мы лежали втроем, мама и мы обе, говоря о чем вздумается, пока не придет сон. С нами засыпал черный кот Вася, и когда в общем тепле и уюте кто-нибудь его трогал, он еще глубже ух-

\* В этой книге я привожу часто несовершенно еще юношеские стихи Марины, выражающие то далекое время.

дил в теплую раковину своего тела и, еще круче вывернув мордочку кверху, из теплот пушистого живота, односложно промурлыкивал одно и то же. Мы это переводили «курлык». Отсюда все эти наши сонные короткие вечера стали зваться «делать курлык». Он нарушался приходом папы, оживанием вечера, ужином. Засыпали мы почти всегда под мамину игру — из пропасти нижних парадных комнат.

В эти часы отец уже сидел в кабинете, погруженный в работу — заграничную его переписку по делам начинавшегося Музея частично вела мать. Горели две стеариновые свечи под зелеными абажурами; полуседая уже голова папы склонялась над бумагами, блестели очки; знакомая рука (руки у нас, особенно у Муси, были папины) быстро выводила, каждую отдельно, чернильные буквы своеобразного типа славянской вязи, почерка.

Деятельность по устройству Музея усиленно развивалась и на горах Урала, в Лондоне и в Афинах, в Берлине, Париже и в Риме, во Флоренции и в Равенне.

Под Златоустом были открыты ломки мрамора. Когда отец с матерью посетили их летом 1899 года, мы оставались в Тарусе с гувернанткой и Андрюшиным репетитором. С Урала шли письма, а после — рассказами о красотах наполнился, как горными сокровищами, скромный домик тарусской дачи, в отцветших уже сиреневых и жасминовых кустах. На Волхонке, на голой площади бывшего Колымажного двора, мы смотрели на глыбы белого и серого мрамора, брали сверкавшие кусочки. Они горели как звездное небо.

Профессор Брандт, маленький, чернобородый, — и от бороды ли, широкой и во все стороны, угольно-черной (уголь — сосед огня, в печах, кострах детства), или от необычайного пылающего взгляда черных глаз, был он нам, детям, человеком из сказки, совсем отдельно от всех папиных посетителей. Языковед профессор Брандт в те годы был увлечен эсперанто; схватив кого-нибудь из нас, пробежавшего, он заставлял нас, знавших немецкий, французский, угадать, что он скажет на эсперанто, и ликовал от наших ответов. А его дочь Агнюша, раз придя в детскую, оказалась волшеб-

ницей: она умела исчезать... Это свойство ее придало ценности в наших глазах ее отцу.

Из папиных гостей помню еще его ученика, молодого Аполлона Аполлоновича Грушка, высокого, изысканно-вежливого. У него были классически правильные черты лица.

Помню характерно русское, доброе лицо Николая Ильича Романова. Он был голубоглаз, носил бороду. Часто бывал у папы, тоже ученик его и друг, молодой тогда ученый Алексей Иванович Яковлев, высокий, плотный, приветливый. С нами он всегда шутил. Он был сын Ивана Яковлевича Яковлева, известного лингвиста, составителя чувашской письменности.

...Детство! Вбеганье старшего брата – в приготовительном, первом? – тоненького, в сером гимназическом мундирчике, блеск карих горящих глаз и крик:

– Ну? Кто сумеет? «Сухая трава» – понимаете? – «сухая трава» – написать в четырех клеточках, чтоб по одной букве в клетке! Ну?!.

Мое замершее от бессилия и восхищения дыханье: он-то умеет! Молчание. И тогда, снизойдя в нашу младшесть, не уменьшь, надменно он ронял:

– С-е-н-о!..

И в мою радость – ведь правда же! – падающий презрением, разочарованный голос Муся:

– Фу-у...

А когда на тарусской даче, в саду, Андрюша и Муся, гнушавшиеся моих детских качелей с палочками-загородочками, закрутили, вертя и вертя, мой стульчик со мной, там сидевшей, пока он не поднялся высоко над землею, пока веревка не заплелась тугой двухструйной косой, и вдруг, отступив, отпустили, вихрь пружинного разворачивания огласился моим отчаянным криком: от воздушного толчка и кругового полета показалось, что срывается с плеч голова... Но уже кончался винт! Еще раз мотнув меня, на этот раз в обратную сторону, качели вяло замерли. Андрюша и Муся стояли пристыженные. Оба сделали какое-то движение ко мне, Андрюша взялся запоздалой рукой за веревку. Но Муся мгновенно справилась с собой.

— Трусиха! — бросила она. — Пойди маме пожалуйся! Больше не будем с тобою играть!

Спрыгнув с качелей, из-за загородочек, я уже стыдилась своего страха. Будь я на месте Муси, я бы так же смеялась над ней. Мы нежно любили друг друга, но на той глубине, где *скрывается* правда.

Из ранних лет Муси помню рассказ мамы о ее первом театре. Муся сидела в антракте в ложе, не перегибаясь через ее край, — думаю, от отвращения к глубине (мы ненавидели быть высоко над чем-то), а может быть, от природной близорукости не видя, *что* внизу, — сосредоточенно отколу-пывала от апельсина тугую золотистую шкурку и кидала ее вниз, в партер.

Нашей общей поездкой в Большой театр (моею — первой) знаю «Спящую красавицу». На сцене — сиянье, полет и музыка — или взлеты знакомого «мамино» грома труб из провала оркестра, гроты темно-красных волн занавеса, золото лож и пылающий хрусталь люстр... Само бытие театра как чуда было уже — откровение.

Я не помню, как засыпала принцесса, уколов пальчик, — ни ведьм, ни волшебниц, ни поцелуя принца. Их, может быть, глотнула насовсем себе, целиком, Маруся, мне не оставив. Но думаю, что и она, как я, в слове «театр» навсегда всосала, как тот апельсин, душу какого-то волшебного бытия, между землею — и Раем! То, что поглотило ее жизнь, то, от чего я, в старости, — думаю, что ушла, ухожу? Искусство?..

Но уже тогда мы знали — а тверже узнали несколько лет спустя в лозаннском католическом пансионе — что есть большее (в детстве оно еще пока только пугало): золоченые иконостасы белой университетской церкви, хор, певший заклинаящие слова. Ангелы.

Этот звонок раздавался всегда внезапно — в парадное, со двора. Из флигеля кухни по мосткам бежала горничная, открыть, были ли дома родители или нет, собирались все, кто был — мы и прислуги, — в зале, на слова «Священники пришли... молебен...» И всегда новое в своей седой старости, сказочной длинноволосости, золотой и цветной парче — звало, умиляло на миг и тотчас же отпугивало, —

в жар детской жизни вошедшее, вековечное таинственное православие, певшее, благословлявшее, дававшее целовать крест...

Незаметно подошло Рождество. Дом был полон шорохов, шелеста, затаенности за закрытыми дверями залы — и прислушивания сверху, из детских комнат, к тому, что делается внизу. Предвкушалась уже «панорама» с ее волшебными превращениями, с путешествиями по Стамбулу, Венеции, Тулону, Булонскому лесу, по католическому костелу, вокзалу какого-то города, старинным иностранным мостам, площадям, виадукам. Запахи поднимали дом, как корабль, — волнами. Одним глазком, в приоткрытую дверь, мы видели горы тарелок парадных сервизов, перемытых накануне, маленькие десертные китайские тарелочки, хрустальный блеск ваз, слышали звон бокалов и рюмок. Несли на большом блюде ростбиф с розовой серединкой (которую я ненавидела), черную паюсную икру. Ноздри ловили аромат «дедушкиного» печенья. (Тетя не придет в Москву теперь издалека. В прошлом году ведь не приезжала...) Рассерженный голос мамы, суэта, беготня; Лёра, не любящая эксцессов маминого хозяйства, — у себя в комнате. Крадемся туда — в ее мир, влекущий, грациозный, особенный. Она рисует. То карандашом, то углем, то на атласе, масляными красками, — завиваются лепестки роз. Пахнет духами. Я чищу ей зубным порошком ее часовую цепочку из «американского золота». Это медь? Спорим. (Андриюша поясняет уже снисходительно, ему одиннадцать лет. Он учит латынь и греческий.)

За эту работу Лёра платит мне в месяц 25 копеек, серебряными или медными монетами. Это много. Сколько раз я могу на прогулке зайти в лавочку Бухтеева напротив (к «Бухтейке») купить конфет (тех, любимых, кубиками, с пуншем внутри — их возят в фургонах с буквами «Жорж Борман»). Или — подсолнухов. Я чищу усердно. Цепочка горит уже, как десятирублевый золотой, что мне вчера дала мама снести Лёре, — и каждый месяц ношу и боюсь потерять на лестнице. Вася, черный, чудный наш кот, мяукает: ищет ростбиф. Во дворе лает цепная собака. Вот бы к ней! Но нельзя — гувернантка злится.



Сколько елок уже было на нашем веку! Все вспоминаются. Еще помнится, что подарили в позапрошлом году, а что в год *еще* раньше — не помню...

Мама сказала: «Поедем к Стамбули»... Какое странное слово! Я раз была у них с мамой: там витая лестница и девочка, толстая, с толстой косой. Я ее немного боялась. Внизу кто-то сказал: «Захарьин». Это — у которых я раздавила что-то на грядках. Ботанический сад? Путается все... Мне хочется спать. Печка трещит, золотится, за окном — видно в открытую форточку — падает снег. Муся о чем-то говорит с Лёрой, Лёра ее утешает, обещает о чем-то просить, для нее — о книгах? или — в театр? Андрюша заткнул в ранец учебник. Не будет учить латынь! А папа сердится на него опять, папа так любит латынь, она ему такая легкая...

Кто-то приехал — в гости. Другие заезжали без папы, оставили визитные карточки. Так проходит еще целый день — до сочельника.

О! Настало же! Самое главное, такое любимое, что — страшно: медленно распахиваются двери в лицо нам, летящим с лестницы, парадно одетым, — и над всем, что движется, блестит, пахнет *она*, снизу укутанная зеленым и золотистым. Ее запах заглушает запахи мандаринов и восковых свечей.

У нее лапы бархатные, как у кота Васи (и вблизи колются как Васины). Ее сейчас зажгут. Она ждет. Она — такая огромная — такой еще не было никогда! Подарки еще закрыты. Лёра в светлой шелковой кофточке поправляет новые золотые цепи. Шары еще тускло сияют — синие, голубые, малиновые; золотые бусы и серебряный дождь — все ждет... Всегда зажигал фитиль от свечи к свече дедушка. Его уже нет. Папа подносит к свече первую спичку — и начинается Рождество!

Как во сне повторяются — музыкальные шкатулки, панорама... И сияет в спальне картонный, святой Вифлеем...

Как долго идет зима! Когда еще запахнет блинами на улицах? Когда зазвучат колокола, в пост? Я буду говеть в первый раз, со старшими. Страшно! Надо говорить все, все грехи. А если — забудешь? А потом будет Пасха — такая чудесная... еще лучше, чем Рождество. Ночь будет темная... Нас, может быть, возьмут ночью в Кремль? И раздастся — Христос Воскресе!

## Глава 7

### НАША СТАРШАЯ СЕСТРА ЛЁРА.

#### ЕЕ И МУСИНЫ КНИГИ. ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С ДАНТЕ. ВОЛШЕБСТВО ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Как Маруся зналась мной с первых лет *вблизи* меня, так Лёра, старшая, несмотря на ее ласковость с нами, зналась где-то вдали. Она появлялась и исчезала, и память детских лет моих о ней — туманна. Но среди фотографий я время от времени окуналась взглядом в пышный серый мех (пальто с капором?), из которого на меня глядели большие светлые глаза девочки, в которой было что-то родное и которая очень мне нравилась, привлекала, нежно взволновывала и томила отсутствием. «Это Лёра, — говорили мне, — Лёра, когда была маленькой». И от этого, от неясности, пробуждавшейся этим пояснением — что девочку *больше* нас звали — маленькой и что эта девочка была — Лёра, которую я видала гораздо более взрослой, чем та чудесная, милая девочка, — рождалось смутное понимание, что этой девочки — нет, что она *была*, что я никогда не смогу играть с ней, ни говорить, и я, глядя в фотографию, упивалась смесью любования и тоски, касанием к несбыточному.

Няня, мама — кто из них добавил: «Когда еще мама ее была жива», — и это больше отдалило и приблизило нам эту девочку — в чем? (а! вспомнила — это был не мех, *пух*), в пуховых шубке и капоре, острее сделало боль по ней: у нее была мама (другая, не наша — потом она *умерла*). Как же она жила без нее? Может быть, смутно являлось мне и еще одно чувство — что та Лёра была одета лучше, чем мы (та мама ее так одевала... нежила?). Мы были одеты проще, суровой. На миг повеяло какой-то другой жизнью, ушедшей, но бывшей, — и все пропадало под весом жизни, быта нашего дня, и жизнь шла дальше.

Страницы семейного альбома — дарили далее другую Лёру, *мне* казавшуюся *совсем* взрослой: в темном платье, в белой пелерине, в белом фартуке, гладко, назад зачесанную; она глядела на меня теми же светлыми глазами, но они чуть улыбались, лицо было намного мельче, чем на детской фотографии, где лицо было крупно снято. Вспоминая теперь ту, институтскую карточку Лёры, я вижу в ее девическом

лице разительное сходство черт с чертами отрока Иисуса в храме среди книжников на всем известной картине. Раз, годы позднее, увидев эту картину и много затем виде ее репродукций, я всегда смотрела на нее с особым чувством: помимо внимания, вызываемого самой *темой* картины, помимо захваченности мастерским исполнением ее, помимо поразительного разнообразия лиц, окружавших отрока Христа, смотрящих на него с изумлением, умилением, и помимо света, идущего от стоящего среди людей в древнем храме, — мне светило и светится в этой картине детское чувство *родного*, по-земному близкого... И не верится мне, что человек, получивший — один из всех, кого я знала на свете, — сходство черт с чертами отрока Иисуса — как они виделись художнику, — уйдет из жизни не согретым верою в Него. Или приняв лишь Его человеческий, проповеднический облик, как ушла, не веря в Него и лишь Его признавая, — моя мать.

Мне было лет пять, когда мама взяла меня на Лёрино институтское торжество (видимо, окончание). Я помню миг перехода с мамой Староекатерининской площади и приближения к желтому с белым зданию Екатеринбургского института. Затем помню высокий зал, что-то золотое и белое, чьи-то портреты в рост в золоченых рамах, море девушек в таких же платьях и пелеринах, как Лёра, вопросы о том, кто я, мамин ответ и себя, поднятую на руки и передаваемую из рук в руки над головами улыбающихся мне институток. «Лорина сестра, Лорина сестричка...» Я хочу поправить, что Лёра, не Лора, — но не слышно, и столько новых слов («акт», «шифр», «выпуск»...). Жадно впивая все незнакомое, я ищу глазами Лёру и радуюсь, что мы с мамой сейчас увезем ее с собой.

Лёра была на десять лет старше Марины и на двенадцать лет — меня. На семь с половиной лет старше ее родного брата Андрюши. Она никогда нас не обижала, всегда заступалась за нас перед вспыльчивой мамой. С нами шутила, тормошила, поддразнивала (меня — за хныканье и залихватый плач на «и»). Мы любили ее. Она была — особенная, ни на кого не похожая. Из нас отличала Мусю — за ум, характер, раннее развитие — и часто пробовала отстоять ее от мамин-

ной резкости. Муся платила ей пылкой любовью. Лёра поселилась в моей бывшей детской наверху, рядом с Андрюшиной комнаткой, через две двери от нашей детской. С мамой у нее бывали нелады; мы чуяли это, не разбираясь в причинах, не понимая их.

С Лёрой в нашем доме поселилось праздничное. Ее комната была — особый мир. Моему уму он был недоступен, но волновал и влек. Муся имела доступ к Лёриному книжному шкафу (мамы ее, тоже чем-то отличавшемуся от всего нашего, маминого): невысокий, цвета ореха, необычной формы, с двумя зеркалами на створках. На полках жили непонятные книги (английские); в них цвели немыслимой красоты цветные картины. Сердце от них пылало, как те лужайки, озера, цветущие рощи и облака — и раз, по настоянию Муси, мы *вырезали* самое восхитившее, грубым безвозвратным движением ножниц, причинившим Лёре столько же горя, сколько мечталось счастья от этого — нам! Потом были негодующие мамины нотации, и наши слезы, и непоправимое ощущение пустоты в сердце, жалости, стыда.

Присущи Лёриному миру были имена — «Настя Нарышкина», «Раечка Оболенская» — ее институтские подруги, от которых в памяти облик полной розовощекой Насти и голубые глаза нежной светловолосой Раечки. Был юнкер Коля, такой высокий, что без труда зажигал в маминой гостиной китайский фонарь. Была — новогодняя елка, подрезанная, перенесенная из зала наверх в Лёрину комнату через неделю после Рождества. Голоса Лёриных гостей; свет, гул, запахи духов и яств праздника, куда нас не пускали. Ее милое, внезапно приближавшееся на миг с улыбкой лицо, шутливое слово, лакомство в руку и звук ее пения — чистый высокий голос, — романсы и песни, где дышало, сияло изящество, прихоть и грация — отзвук, быть может, времен давних, живших некогда в доме. И были цветы, маслом, на кусках светлой клеенки, на шелку подушек — рукой Лёры. И была боль от горячих щипцов у виска, когда Лёра нас завивала и, смеясь, нам внушала: «Pour être belle, il faut souffrir» — «Чтобы быть красивой, надо страдать». И были граненые пробки от флаконов духов — от них пахло раем. И голова кружилась от сломанных в гранях радуг, огней, искр...

Помню споры о том, хорош ли, плох запах модных тогда духов «Пачули»; детское упоение нюхать выдыхавшиеся запахи пустых, из-под духов, пузырьков причудливых форм; страстную любовь к одним и оттолкновение от других; одни пузырьки были волшебные, другие — противные и враждебные; это определялось сразу, с первого взгляда. Зато выбрать лучший из запахов было невысказано, от этого была тоска: нюхаешь, зажмурив глаза, и все глубже и глубже *входишь* в запах (а не он в тебя); и когда уж совсем провалишься в душистую глубину, легкую, точно пыльную, и ей будто нет конца, а потом оторвешься и окунешь кончик носа в другой флакон, — а там еще лучше, прекраснее, благовоннее (чем, чем пахнет? Может быть, тем, о чем сказано так прекрасно в стихах: «Растворил я окно, / Стало грустно невмочь, / Опустился пред ней на колени, / И в лицо мне пахнула душистая ночь / Благовонным дыханьем сирени...») Уже не было сердца в груди; оно где-то витало, в той ночи, в тех людях, что поют, вспоминая, — и все это живет в этом запахе пустого флакона с тоненьким золотым ободком.

В те годы цвели в Лёриной комнате книги: «Лэди Джэн, или Голубая цапля» и «Маленький лорд Фаунтлерой». И от всего этого, где-то жившего, чужого, влекущего, безвозвратного, была тоска, как от маминых рассказов о ее детстве — о Ясенках, которых мы никогда не увидим, или от книги — любимой маминой книги, страстно полюбленной Мусей — «История маленькой девочки» Сысоевой: о ее детстве дома, о смерти матери, годах в дружеской чужой семье, брате — в кадетском корпусе, отъездах и встречах, чужих колокольчиках и поездках, от которых рвалось сердце.

И была еще книга, навсегда поселившаяся в душе: «Божественная комедия» Данте в иллюстрациях Гюстава Доре, два тома: огромных, красных с золотом, — Ад, Чистилище и Рай. Необъяснимо то в моей памяти об этих книгах, — что как раз наоборот содержанию этих частей, где, при чтении в зрелые годы, слабее всего входил в сознание Рай, — тут, в детстве, в картинах во всю страницу, отчего-то не вошли в душу Ад и Чистилище; ужасы их миновали сердце, взятое в плен светлыми сводами Рая. Высокие остро-

конечные горы, сумрачные ущелья покидаемой жизни, из которых уходил Данте, его строгий скорбный профиль орла, струи одежды; первая вечерняя, последняя утренняя звезды, — и свет, свет, все ярче, чем выше, лившийся сверху, перья облаков, переходившие в перья ангельских крыл, их несметное, восхищавшее тишиной множество, — и все это, как бы струившееся еще выше, еще — в немыслимость ликования и сияния, — наполнило сердце такой радостью, что она тлеет в нем до сих пор, под всем пеплом сгоревших лесов и лавинами рухнувших гор жизни, и звучит в нем — тишиной.

Мама редко показывала нам эти книги — как и панораму. Сознательно? Годы спустя, ею покинутые, мы так полно, как свое, приняли строки поэта о Данте и Беатриче — «Мне было девять, Биче восемь лет, / Когда у Портинари мы впервые / С ней встретились...» — и навек буквосочетание «Беатриче» звучит утешающей музыкой.

И были мирные часы сидения возле мамы, читавшей томики немецких стихов или разбиравшей лекарства (мама страстно интересовалась медициной, работала сестрой милосердия в Иверской общине). Круглые и овальные коробочки с узором цветочков, аккуратные и изящные, веера рецептов, гофрированные зонтики бумажных колпачков, пузырьков, от которых пахло таинственно, нежно, — и хотелось сохранить их навек.

Хочу не в очередь, может быть, — но где этому очередь? — сказать об одном: оно было неотделимо от жизни, оно было постоянным событием, сплеталось с днем с первых лет: страсть к слову, в буквальном смысле к буквам, что ли, его составлявшим? Звук слов, до краев наполненных их смыслом, доставлял совершенно вещественную радость, как кусок шоколада, стакан грушевой шипучки. Только начав говорить — и почти сразу на трех языках, мы оказались — хочешь не хочешь — в таком блистательном сообществе, как попавший, по сказке, в горную пещеру к драгоценным камням, которые стерегли гномы.

Эти гномы были — книги, разговор людей, стихи — ожерелья горных кристаллов. Само драгоценное существование слова как источника сверкания будило в нас такой отзвук, который уже в шесть-семь лет был владением, позже вошед-

шим в нас. От рождения — муки счастья владычества, пред которым написание первой стихотворной строки или первой *своей* прозаической фразы было лишь желанным *освобождением*; заткнув, на бегу словесного вихря, *эти* камни в это ожерелье и те — в другое, мы могли отдохнуть в ощущении чего-то — сделанного? Или сброшенного с плеч? *Детство* же — рухнувший на плечи рог изобилия, задарив, не давал опомниться, мучил созвучиями, как музыка, опьянял и вновь и вновь лил вино — и это среди гувернанток, репетиторов, приходящих учительниц, горничных и кухарок, этого не знавших, хотевших от нас всегда только одного: трезвости!.. Мама — та — да, но и то не так все же, как требовал наш — Маринин особенно — свободы рыщущий дух!..

Немецкие слова die Öde, die Wüste, unheimlich, sonderbar, wundervoll, die Höhe, die Tiefe, der Glockenklang, Weihnachten (глушь, пустыня, таинственно-жутко, чудесно, высота, глубина, звук колокола, Рождество), и сколько их еще было с французскими splendeur, éclat, ténèbres, naufrage, majestueux, jadis, le rêve (великолепие, блеск, мгла, кораблекрушение, торжественный, когда-то, сновидение), и все, чем переполнена первая же книга, дарили двойной смысл тому, что старшие звали «изучением языка». На этом «языке» (сколько их впереди еще было! папа и мама знали французский, немецкий, итальянский, мама — английский) мы отплывали от учивших нас, как на волшебном корабле, потому что каждое из слов было талисманом. Тем закодированным словом Karmilhahn (Кармильхан), которое — в гауфовской — сказке (откуда я помню только пещеру и край гибели) — спасало, чем же, как не собой? — от этой гибели звуком своих букв, кем-то произносимых, — горевшее, как темный карбункул! А русские слова! Не ими ли так пылало сердце в сказке о Василисе Премудрой, о каких-то тридесятих царствах...

Ими был усыпан путь. Вспоминаются *названия* сказок: гауфовских — «Карлик Нос», «Маленький Мук», — полновластно царили они в сердце — моем, младшей, от младшести заснувшей в поздний вечерний час под чтение вслух детям старшим, устав от множества еще непостижных слов, постигши главное «слово» — «Летучий Голландец», главную непостижность, любимую, ее унося или ею уносимая, — в сон.

Может быть, этой органической услугой языка объясняется, что я не помню процесса *трудностей* «изучения» языков? Это было просто вхождение в *свой* дом, где все узнавалось.

О Марине же — и говорить нечего. Ее одаренность была рангом выше моей, она с первых лет жизни — по народной пословице — «хватала с неба звезды»...

## Глава 8 НАШ ДОМ

Дом, в который второй женой вошла мама, где родились Марина и я, был дан в приданое Д.И.Иловайским — дочери Варваре Дмитриевне, матери Лёры и Андрюши. Дом, обожаемый именно нами, Мусей и мной (Лёра и Андрюша относились к нему прозаически), был не наш. Мы росли в чужом доме. Наследниками были Лёра и Андрюша. Выросши, мы должны были в будущем его покинуть. Этим был символически подчеркнут Маринин и мой рок: бесприютность — снежное поле — бездомность...

С улицы (в Трехпрудном переулке, меж Тверской и Бронной) — № 8, одноэтажный, деревянный, крашенный — сколько помню его, с 1897 года — коричневой краской, с семью высокими окнами, воротами, над которыми склонялся разлзатый серебристый тополь, и калиткой с кольцом; нажав его, входили в немощный, летом зеленый двор; мостки вели к полосатому, красному с белым парадному, — над ним шли антресоли.

Под антресолями со стороны двора — низкие комнаты: передняя, столовая, бывшая девичья и спальня. Огибая справа заднюю сторону дома, тянулись мостки к ступенькам черного хода. Другой их конец наискосок через двор вел к кухонному флигелю. От него шел, соединяя его с торцом дома, закоулок двора, заросший желтыми акациями и тополями, кончавшийся у высокого дощатого забора колодцем «домиком» с ручкой для качанья воды. Затем он заглох, и в жизнь нашу вступил водовоз; открывались ворота, заливалась лаем собака, громыхали колеса, плескалась вода из бочки, зимой похожей на обледенелый замок. Параллельно задней части



дома — длинный сарай, за ним погреб, собачья будка и высокий тополь, граничившие с черным ходом флигелька. Там жила семья Андреевых, там мы не бывали.

В маленьких сенях черного хода — пусто. Там — лишь дверка в чулан, — в чулане живут керосин и воронка. Две толстые, обитые клеенкой и ветошью двери ведут в дом.

Уже сорок лет — со дня, когда я в последний раз в него вошла. Его давно нет. Мне чудится, что вторая, внутренняя дверь имеет в себе квадраты стекла. Какая-то из них — кажется, наружная — издает всегда одну и ту же жалобную ноту; она лишь бывает длинней, если идешь медленно, и короче, если зевок двери краток. В маленьких, теплых сенцах — темно, на столике — керосинка, на ней широкая белая эмалированная, с голубыми прожилками и с дырочками для пара кастрюля, в одном месте изогнутая «носком». От нее знакомый запах подгорелого молока. Налево — дверь в бывшую девичью; там — комод с отделениями для круп, кофе, чая, сахара. Далее, пройдя, столик с керосинкой, — узкая маленькая дверка в коридорчик, ведущий в спальню. Эта дверка чем-то обита и внизу шуршит, как стариковские туфли. Она не похожа на дверь. Вплотную к ней — подножие лестницы в антресоли. Коричневая, крашенная масляной краской дверь помещается на высоте трех ступеней, но она обычно раскрыта. Напротив нее — высокие белые двухстворчатые двери в залу. Зала — угловая пятиоконная комната, очень высокая, как и все фасадные комнаты. Когда из рук кого-нибудь из нас улетает воздушный шар, красный или зеленый, пахнущий резинкой (когда тронешь его, он прилипает к пальцу и издает тонкий, легкий, отпрядывающий звук) — приходят горничная или дворник с половой щеткой и со стула достают (под движение наших сложенных в мольбе и страхе рук: вдруг лопнет!) тычущееся об потолок сокровище.

В зале — рояль и два зеркала между окон на улицу. Узкие, высокие, с подобием столиков-полок. По наружным стенам — филодендроны в кадках. В наружном углу — полукруглый зеленый диван; его выемка глубока и уютна. Спинка его — из трех полуovalов, пружинная, как и сиденье, окаймлена выгнутыми ободками орехового дерева; выпуклая резьба — гирлянды.

На белых с золотом обоях, меж вторым от угла окном и буфетом, высоко висит над залой в раме красного дерева портрет. Молодая женщина нежной и приветливой красоты смотрит с полуулыбкой. Голубой шелк корсажа, роза, волна каштановых волос, удлинённый овал лица, большие карие глаза, тонкий очерк носа — что-то от оленя, от лани в пугливом — нет, победном! — и все же застенчивом очаровании. Это — Лёрина и Андрюшина мама. Молча смотрит она на жизнь оставленного ею дома, на нас, на наши, ей на смену пришедшие, дни. Вечером, вбок от нее и ниже, загорается матовый шар стеной, на бронзовой ножке, лампы. Тогда портрет погружается в полутьму.

Вправо в зале — две двери: одна — в низкую столовую, где круглый стол и самоварный столик с желтой медной доской; окно; на стенах репродукции с картин Рафаэля — Христос на руках Матери и Иоанн Креститель. Они в круглой, черной раме. Напротив — большая картина: ивановское «Явление Христа народу». Позднее мы видели его оригинал в папином Румянцевском музее.

Меж дверей столовой и парадной передней — зеркально блестящая кафельная печь; другая возле рояля. В передней зеркало, вешалка и ларь (все — желтое). Но волшебность передней — не в них: правая стена ее не стена, а тонкая стенка, в которой ходит раздвижная красная (металлическая) дверь; за ней узенькая комнатка; там сундуки Лёриной мамы. Когда мы увидели видения этих вещей? *Это* были видения: веер, гнувшийся в руке, перья как сам ветер; застежки, ожерелья, брошки, сверкавшие, как тарусские камни с кристалликами; туфельки с каблуком столь высоким, что по высоте он равнялся сказочно-маленькой ступне, — туфли Сандрильоны!.. Шелк, кружева, меха. (Наряды, бальные, сброшенные Золушкой под бой часов полуночи...) Теперь — это Лёрино приданое, и его суют весною во дворе.

Парадная дверь меж зеркалом, вешалкой и ларем вела ко второй, наружной — через ступень, о которую я, сколько прожила в отцовском доме, всегда спотыкалась. Думаю, и Муся тоже. По близорукости.

Эта последняя «холодная» передняя между дверями была просторна и по обе стороны имела шкафы-кладовки, где жили совсем необычайные вещи, обожаемые равно и нами,

и Андрюшей; я их не помню и, ошибаясь, быть может, в их названиях (но не ошибаясь в их сущности), произвольно их назову. Это было то, что выжил из себя дом, не нужное ему ни в какой момент дня, но к неведомому моменту — живущее. Может быть, что-то медицинское в картонках, формалиновая лампочка; фонарь, сломанный; какое-то колесо; трубка, поршень; таз. Мне кажется, там пахло неожиданно, соломой, лекарством? Всегда наспех, урывками — уж звали — удавалось увидеть, унюхать — и уже расставание! Так в сарае (куда раскрывались ворота) жили санки: настоящие, для коня. Разве от этого не горело сердце? Я до сих пор за них (санки без коня!) люблю наш давно исчезнувший дом.

Налево дверь из зала вела в гостиную (одно время в ней стоял и папин письменный стол). Тогда следующая комната (обе имели по два окна на улицу) звалась «мамина гостиная». В первой за залой комнате (зала и две гостиные; гостиная и кабинет шли анфиладой) по углам были вогнутые блестящие кафельные печи и два гарнитура гостиной мебели — были ли они Варвары Дмитриевны — или мамыны?\*

Перед каждым диваном, окруженным креслами, — думается, они были круглые или овальные, — стоял стол, покрытый бархатной скатертью.

Цвет одного из гарнитуров темно-красный; другой мерцает мне пепельно-зеленоватым; таким образом, в одной комнате получалось как бы две гостиных; ковер на полу, стоячие лампы с затейливыми стеклянными абажурами, вазочка для визитных карточек. Два высоких круглых столика с пятисветечными канделябрами; меж окон — полукруглое трюмо с отодвигавшимися вбок подставочками для подсвечников. Зеркало отражало висящую с потолка люстру — свечей на двенадцать, помню радужные огоньки хрустальных подвесок. (Две из них, присланные мне лет пять назад Лёрой, до сих пор радуют глаз, даря игру света и цветов, сиявших в доме, которого давно нет.) В углах на белых круглых колоннах-постаментях — бюсты греческих богов.

По стенам — картины в золотых рамах, главным образом мамина работа, копии пейзажей — высокие деревья, Шиль-

\* Это нацело отвергает Лёра (1963 год). Не настаивая на своей правоте, оставляю написанное, как его сохранила память.

онский замок, морская даль. Муся и я больше всего любили маленькую картину: лунная ночь, снег, следы на снегу, вдаль — смутное очертание деревни, и на тропинке — волк, в профиль, крадущийся к деревне...

Следующая комната, где стены были почти сплошь заняты рядами книжных полок, снизу доверху, и маминым книжным шкафом, — была угловая, очень холодная. Сидя за своим маленьким письменным столом, мама зимами держала ноги в меховом мешке. Высоко — в раме — голова Зевса. Ниже — филин на ветке. И фасад (колоннада) будущего папиного Музея. Я любила, залезши под огромный папин письменный стол, рыться в его корзине для ненужных бумаг, рисовать на них. На стене резная овальная полка с севрским и саксонским фарфором. Низкий, пузатый пепельно-зеленоватый диванчик и тяжелые низкие мягкие кресла, сплошь крытые тем же штофом. Ковер — во весь пол: серый, и по нему вязь желтоватых листьев.

Спальня — квадратная, низкая, два окна по правой стене (в длинный узкий уголок двора с молодыми акациями и колодцем у забора); и одно окно напротив двери из кабинета; из него видны косая линия мостков, кухонный флигель и сарай. На окнах — темно-оливковые, с ткаными — посветлей — цветами и помпонами, по моде тех лет, занавеси висят по бокам, иногда подобранные в петлю — тогда в комнате светлее; иногда — прямо, умеряя свет; сверху висит третья, поперечная, занавеска — и весело смотреть на узор помпонов: прямо по небу, по облакам. Зимой они склоняются над морозными пальмами и хрустальной игрой холода, и уютно жить в доме! (Как живет в конуре, без печки — Барбос? Неужели ему не холодно? За то и ждем мы его лапу, когда в шубках бежим во двор, треплем, обнимаем, греем! И с упоением смотрим, как он грызет кости, хлебные корки, которые мы тащили ему. От еды — мадемуазель сказала — *теплее!*..). И — игрушечный прямо! — папин «шапокляк» выскакивает сам из себя — вверх, а потом опять плоский! Блестит... Как отражение огонька в луже! Выскочит — и станет цилиндром! Ударить его — и он как тарелка... Направо, меж окнами — комод с зеркалом. В первом ближнем к кабинету углу — дедушкин шкаф, глубокий, низкий, шкатульчатый. В нем, под одеждой — кожаная картонка с папиной тре-

уголкой (когда он в парадном мундире едет куда-то по делам Музея); еще какие-то картонки, там же, занимая поперек всю левую часть дна шкафа, живет панорама. В шкафу пахнет особенно, чем — не сказать: так, наверное, пахло всегда — в старину. Дальний угол правой стены занят умывальником: он широкий, шкафчиком, с мраморной доской лежачей, и другой — стоячей; в нем раньше был кран, но сейчас умываются в большом фарфоровом, белом с синими цветами, тазу, из такого же кувшина; иногда в кувшине льдинки. Под окном, налево от умывальника, сундук; в левом углу — икона с красной лампадкой. По левой стене, головами к ней, поперек комнаты, — сдвинутые рядом кровати; с маминой стороны — столик, где часто вечером горит ее фарфоровая, белая с цветами, столбиком лампа с зеленым стеклянным абажуром. На стене — бабушкин портрет, в год смерти, в ее двадцать восемь лет. Она умерла моложе, чем Лёрина и Андриюшина мама. Темные глаза с тяжелыми веками мягко и печально глядят на нас.

Рядом с маминым столиком — маленькая дверка; за ней — коридорчик, узкий, темный. Мерещится мне сейчас, что между дверью в кабинет и дверью в коридорчик была — лежанка; но на ней никогда никто не лежал, и, может быть, от этого я ее плохо помню. А может, ее и не было? Но наверняка была — и стояла затем у меня, наверху, десятилетие спустя бабушкина кушетка, обитая светло-оливковой плотной рисунчатой тканью, уже к ногам и шире — где голова, с крутой спинкой. На ней бабушка лежала, читая один из томов только что вышедшего тогда собрания сочинений Пушкина. Задремав, она уронила его. Проснулась от стука книги, пошарила рукой, не достала. Встав, обшарила все кругом. Она была совершенно одна в комнате, и никто не входил. Книги она не нашла — так и стояли у мамы все книги этого собрания пушкинских сочинений, за исключением третьего тома. Мама не была суеверной, даже вольнодумной немного. Мы слушали ее рассказ так строго, как она передавала этот факт.

Справа и слева в коридорчике было два шкафа, и над левым — еще шкафчик, в стене. Далее, по левой стене, — ощупью рука находила оклеенную обоями дверку в уборную. Водопровода в доме не было (как и электричества,

проведенного в дом лишь много лет позднее, после мамы, в годы уже девичества). Но была ручка, которую меня учили тянуть и которой я лет до семи боялась: она вызывала резкий шум воды сверху, из бака, куда ведрами наливали воду. Дернув, я в ранние годы — в холодном поту испуга — убегала. В кратком, но бурном реве воды, невидимой, за мной кто-то гнался, кривляясь (гномы!). Нет, каждый раз кто-то новый. И я ликовала, опережая гонящегося, вылетая через маленькие теплые сени — в светлую залу или наверх, к Мусе и Андрюше (они никогда бы меня не утешили, а я у них и не искала защиты). У нас, детей, *нежности* друг к другу, ласки — не было, она казалась смешной; мы все дразнили друг друга. Была ли одна Муся заводилой тут? Главной — может быть — по властности и лукавству своей природы. Она избегала, чтобы ее целовали, — была резка, недоступна. Но и в Андрюше была, в его некоей угрюмости, в застенчивости и привычке дразнить — грубоватость. Было ли бы это, будь жива его мать? Мама любила его очень, когда он был маленьким; но, промечтав тщетно о сыне, — этого, неродного, она не сумела воспитать счастливым. Она была и к нему также очень строга; вспылчива, кричала; читала нотации, ненавидела ложь, требовала мужества. Было тяжело, конечно, — как и нам, далее, через годы, в отношении своих детей. Но *тогда* мы обе — Муся и я — этого не ощущали. Мы любили маму, понимали, *не* осуждали. Она нас — не гнула, то есть *не ломала*: мы гнулись и выпрямлялись...

Волшебное существо — лестница! Она живет в доме не похожей ни на кого жизнью. И с чем сравнить уют широких перил с выточенными перекладинами, стоящими как две бутылки — одна на другой, с блюдечком посередине... Они — такие родные! Душа лестницы — это бег. Он пролетает по ней с утра до ночи вверх и вниз и не знает утомления. А тело лестницы стоит уютной шкатулкой, отдавая свои ступени — под счастье — бежать. Лестница — это спутник детства, его радостей и плача! Сколько моих слез (убегая от обидевших старших детей — к маме) видала ты, сколько радости лететь вечером к маме делать «курлык», смотреть панораму, слушать рояль, бегать под него по анфиладе высоких комнат и — низкой спальней и коридорчиком, мимо

шуршащей двери — опять в залу! Но «верх», где мы жили и куда уводила нас лестница, коричневая, как весь наш дом, был особым, другим миром. Внизу было холодно зимами, наверху — тепло. Жарко. Низкие комнаты с веселыми обоями, полом, крытым узорчатым коричневым линолеумом, небольшими окнами в небо и тополиные ветки, то ясные, пахучие, то в длинных одуванчиках инея.

Напротив лестницы — Лёрина квадратная комната. Она — над спальней и выходит двумя окнами в уголок двора, где акации и колодец, а одним — на мостик в кухню; только это глубоко внизу. Отсюда, как из Андрюшиной и наших комнат, близко видны голуби и слышно их курлыканье.

Налево от двери — Лёрин книжный шкафчик с зеркальными створками; направо — диванчик, кресло и стол. Тут Лёра рисует цветы. В Новый год здесь стоит в кадке елка — подрезанная, чтоб войти под низкие потолки.

В Андрюшиной комнатке — кровать, над ней — портрет его мамы, в овальной раме, и столик; за ним он учится; рядом, напротив перил, окаймляющих спуск лестницы, — дверь в проходную двухоконную комнатку, за которой — собственно детская — длинная, с тремя окнами; два с видом на сарай, крыши домов к Тверской и купол Палашевской церкви. В глубине по торцу — окно в серебристые тополя. Там стоит моя кроватка; Мусина — по той же стене, но ближе к двери. Меж ними — выступающая, белая с синим, блестящая кафельная печь.

Что еще есть в детской? Не помню. Вид ее будущих лет, после мамы, затмевает мне память. Но одно цветет нерушимо — сердце детской: висячая лампа над столом недалеко от моей кровати. Простая; стеклянный резервуар, в нем зеленое керосиновое море. Оно мутно сияет и плещется, когда лампу тронешь рукой. Горелка, стекло и круг, плоский, над ними. От дырки в нем на потолке золотое пятно. От горячей лампы пышет свет, жар. Лампа плавает в воздухе, как волшебная рыба. От нее убегает темнота. И за вещами всюду вспыхивают их тени. Мусина рука тянется к книге — читать...

А рядом — зрелище черного хода соседнего двора. Из окна Лёриной комнаты, бывшей моей детской, — наружная лестница, где в сумерках женщина в темной шали несла воду, жел-

тый свет в окошке кухни (отдельного флигелька); длинный низкий флигель, где жила семья Андреевых, нам малознакомых; цепной пес в своей глубокой будке под тополями.

И помнится мне в нашем зеленом дворе та пора весны, когда уже после дней цветения в траве желтых цветов — стоячей мохнатой мягкой метелочкой — появлялось столько же легких и пышных шариков которые, сорвав, не знаешь, на что удивиться: на белое ли молоко (нам говорили — ядовитое) стебля, на ровную ли круглость — вот-вот облетит! — пушинок цвета пыли? Чем-то они напоминали мыльные пузыри. Мы начинали дуть на пушистые шарики. Оттого они назывались одуванчики. Пахло тополями. У старых стволов из земли выбивались молодые побеги.

## Глава 9

### ТАРУСА. ПРАЗДНИК У ХУДОЖНИКА ПОЛЕНОВА. НАШЕ ЛЕСНОЕ ГНЕЗДО. ЦАРСТВО ТЬО. ДОМ ДОБРОТВОРСКИХ

Летами мы жили в Тарусе, куда мы ездили всем домом с Курского вокзала до Ивановской станции (Тарусской); и оттуда семнадцать верст по невероятной (обрывами, то грязной, с глубокими колеями, то песчаной) дороге — до парома. Через Оку, за которой виднелась Таруса (позже — до станции Ока и оттуда паромом). Так же рано запомнилось слово «Поленово», неотделимое от на закате мерцавшей розовым огоньком церковки села Бёхова, за Окой. Там жил папин знакомый художник, Василий Дмитриевич Поленов.

Нашу поездку туда помню глуше, чем должна была помнить Марина, которой в то время было лет восемь. Помню волнение от чужого, полного их, неведомой нам жизни, дома; от лиц, имен, голосов большой семьи (мы и в Москве жили обособленно, редко бывали в гостях), от запахов и вещей чужих, влекущих комнат. Поляны, почти такие же волшебные, как вокруг нашего лесного обиталища за Тарусой, шум высоких крон деревьев, смена солнца и луны над ними и серебро Оки за ветвями. Деревянный шкафчик на повороте лесенки, откуда нам вынимал и дарил, каждому по одному, — этюдики (стояли стоймя, как книги) полный, по-



луседой, уютный Василий Дмитриевич. Помню дочек его Маришу и Олю (наших с Мусей однолеток) и маленькую рыжекудрую Наташу.

Праздник. Гости были приглашены принять участие в клейке фонарей из цветной бумаги — для иллюминации — на приз. Жюри был Василий Дмитриевич. Первый приз взяла мама, но если Марина нигде не упомянула о том, что было изображено на мамином фонаре, — то я лишь с неуверенностью назову будто бы в тумане памяти — силуэт женщины — на фоне каких-то гор, лесов, рек?

К часу иллюминации я была сонная. Помню взрывы золотых и цветных ракет, золотистое вертящееся рассыпающееся колесо, точно завившиеся ветви осенних берез, среди которых она рассыпалась, зажигая их расплавленным заревом волшебного ночного пожара. Цветные луны, полумесяцы, овалы и квадраты (светящимися колодцами) гирлянды фонарей меж листвы, распахнутые в ночь окна с высунувшимися головами гостей и огромный костер, горевший вслед нам, отъезжавшим, освещавший поляны, купы деревьев, великаны корни сосен, преграждавшие путь, круто изгибающийся, колеистый, темневший... Качало и трясло, как на море, колеса тарахтели, спускались, проваливались в шумевшую ветками ночь. Я еще слышала Мусин голос — и мамин ответ, но слова падали мягко, как в воду, — я спала.

Едем шагом, в гору — тяжело,  
В сонном поле — гром...  
Ася, слышишь? Спит, бедняжка,  
Проспала паром!

Впереди Ока блеснула  
Жидким серебром...  
Ася глазки разомкнула,  
— «Подавай паром!»

Таруса. Маленький городок на холмах, поросших берегами, на левом берегу Оки. Яблочные и ягодные сады. Две церкви — собор на площади (там же бывает — ярмарка)

и Воскресенская церковь — на крутом холме. (Это — на полпути к даче, где мы живем.) Под церковью, красной с белым, — на другом холме — часовенка — точь-в-точь как на картине «Над вечным покоем».

Дороги — песчаные и кремнистые; разлив тропинок. Идя домой от Тети или Добротворских (два родных дома в Тарусе), нагруженные яблоками, сливами, вишнями и крыжовником, мы подбираем сверкающие, как от папиного Музея, камешки. Но папины — гладко горят, мраморные, а эти — в них, как звезды, вкраплены горящие искры, выпуклые. Считаем, у кого больше и у кого больше горения на острых кусках камней. Мама тоже собирает. По дороге — пересекает ее ручей — родниковая вода: «как хрусталь». А о камнях мама говорит: «кристалл». (Это — разное, но от этих слов — холодок счастья в груди.)

Вечер. Тот конец Оки (мы идем высоко над нею) — в синей дымке. Небо над водой лиловое, от месяца — струи серебра. А другой конец речной ленты — в ржавом золоте, в золотых перьях облаков; и это еще беспокойное, но уже успокаивающееся закатное небо опрокинуто в зелено-алом, быстро гаснущем лоне вод... Мы вертим головы то назад, то вперед — нельзя оторваться и невозможно решить, что лучше. Мама и мы пылаем мучением восхищенности не менее, чем пылает Ока. Это — как панорама... И мы уже делим: Мусе — этот конец Оки, мне — тот.

На почти зеркальной полоске воды посередине — силуэт лодочки. И с нее, далью потушенный, как вечерняя синева позади, — голос доносится: «Чудный месяц плывет над рекою...» Каждый раз, как этот мотив начинается (и еще мамино «Не для меня придет весна...»), в носу начинает щипать, как от фруктовой шипучки. Я знаю, что у Муси — тоже, и я боюсь на нее посмотреть, чтобы не заплакать.

«Чудный месяц плывет на-а-ад ре-ко-ю...»

Когда мы подходим к подъему на нашу длинную гору — она темная, как дубрава у замка Рингштеттена из «Ундины». Жутко. На болоте, далеко, кричит коростель.

Часть апреля, май, июнь, июль, август, часть сентября — сколько дней, сколько утр в нашем гнезде меж тополей, берез, ив, кустов бузины и черемухи, столь густой чаще

древесной, что *профубали* ее, чтоб с балкона виднелась Ока, протекавшая под горой влево — к Серпухову, к Бёхову — справа — к Велегожу, Алексину.

Дачу мы снимали у города, много лет подряд.

Простенький серый дощатый дом под ржавой железной крышей. Лесенка с нижнего балкона сходит прямо в сирень. Столбы качелей; старая лавочка под огромной ивой еле видна — так густо кругом. В старом высоком плетне — калитка на дорогу. Если встать лицом к Оке, влево — грядки, за ними — малина, смородина и крыжовник, за домом — крокетная площадка. Перед балконами (один над другим, столбиком, верхний — наш, детский, доверху продолжен перекладинами, чтобы не упали) — площадка меж четырех тополей; между двух из них — детские (я уже тоже перестаю качаться на них) — качели. А настоящие качели — между четырех орешников, носящих наши четыре имени: Лёра, Андрюша, Муся и Ася.

Внизу, под дачей, — пески, Ока, луг. Позади дачи — «большая дорога» — молодым леском выход в поле. Справа от дачи, если лицом к Оке, — «старый сад» — поляны одичалых яблок, кислейших. Мы, дети, их подбираем, режем, нижем на нитки и сушим. Есть их — почти нельзя. Вся усадьба, некогда звавшаяся «Песочное», — часть когда-то большого имения Нефедовых. Их деревня Пачёво — далеко за полем, куда ведет «большая дорога» (в отличие от сети троп, бредущих по лесу и кустам). Пачёвская долина — волшебные дубравы с высохшим руслом речки — вожденная цель прогулки, почти не по силам мне (Муся одолевает все). Туда можно полем и через хвойный скат, и тогда мимо хижины угольщика и высоких лиловых цветов (стержень — дудка), мимо огромных сосен и лугом — домой; или, начав с луга, сосен, угольщиков и дудок, — в заколдованную тишь Пачёвской долины (деревня где-то вверху, за деревьями) и по сосновому холму, вверх, полем — домой. «Лесной Царь» — «Кто скачет, кто мчится» — будто это было в Пачёвской долине.

Желтый самовар на столе, ватрушки, белые чашки с голубым ободком, кувшины сирени, жасмина, варенье, сливки, уют. Гудки парохода. Деревья, грибы, купанье, грёзы... *Жара.*

Полноценнее, счастливее детства, чем наше в Тарусе, я не знаю и не могу вообразить. Водила нас мать и сама ходила в холстинковых платьях, в дешевых (с «ушами», на резинке, по-деревенски) башмаках. Ни Муся, ни я не любили «хороших» платьев и, надевая их — в гости, злились. Но ради того, чтобы идти к Тете (Тьо), — мы их терпели. Шли туда обычно — семьей или мама с нами, тремя младшими детьми. Играть, шуметь, бегать, драться — у Тети было нельзя, и за столом надо было сидеть очень чинно. Но весь быт Тети был так уютен, наряден, красив, особенен, — что мы любили ходить к ней. В нашей даче, кроме рояля, все было почти по-деревенски просто. У Тети были ковры, чехлы на мягкой мебели, дорогие сервизы, занавесы, шкаф-часы, игравший, как оркестр (дедушка купил их за тысячу рублей золотом). За столом подавала прислуга в белой наколке, тарелки были нагретые, перед прибором каждого из нас всегда ждала коробка шоколадных конфет с «серебряными» или «золотыми» щипчиками. Бульон подавали в толстых чашках; для нас — жарили цыплят. Чай пили на веранде с резными украшениями, на белоснежной скатерти. Нас ждали отборные яблоки, варенья и сладкие блюда. Сад у Тети был расчищен; клумбы с цветами, песок. Липовая аллея, кусты ягод — как на картинках. Она держала несколько человек прислуги, но не на себя лишь тратила: *много* помогала кругом.

Иногда Тетя готовила и сама, сердито гремя посудой, тогда мы ели чудные швейцарские кушанья.

Но самой большой достопримечательностью — важней всего этого (и синих с золотом бокалов с мятной водой, подаваемых за столом — полоскать рот после еды, с глубокими блюдцами — сплевывать туда), важнее вида на Оку с крыши дома, куда вела лесенка; даже важнее белого пса «Лéбеди» (как его звала Тетя) и трех кошек: тигровых — Мити, Миши и Катиши, и вывезенного из Крыма пестрого кота, le Tartare\* — была сама Тьо: зиму и лето в белых фланелевых балахонах с оборками, маленькая, толстая, с подобием (крошечного!) шиньона с наколкой на седеющей голове, в дедушкиных черепаховых очках на кончике носа (что она *не*

\* Татарин (*фр.*).

видит в них, до нас не доходило) — видимо, от пиетета к памяти «Alexinge», как она выговаривала сокращенно «Александр Данилович».

Все в доме было полно дедушкой: в глубокой полутемной спальне его увеличенный портрет в пальто и шляпе, с сигарой в руке (больной уже, худой, старый), его книги, его картины, его карманные часы, его фонограф, в котором, на одном из валиков, похожих на его манжеты, после чьего-то пения раздавался — шипеньем и рокотом — голос дедушки: «Браво... браво...» Тьо душила нас в объятиях, закармливала, задаривала и без конца рассказывала — о прошлом.

Уходить от нее было тяжело, хоть и шли на свою свободу. Об Андрюше не знаю, но Мусе и мне было обидно, что у Добротворских к чудачествам и расточительности Тьо относились с насмешкой.

Со стороны матери у нас не было — кроме дедушки — никаких родных, то есть если и были — дедушкина сестра, Камкова, и ее родные или — где-то — Бернацкие, но мы ничего не знали о них. Со стороны же отца мы в детстве знали семью Добротворских, земского тарусского врача, Ивана Зиновьевича (дядю Ваню), высокого, синеглазого, застенчивого и немного добро-насмешливого; жену его — Елену Александровну, полную, седую, круглолицую, краснощекую, всегда улыбавшуюся, но с каким-то приглядывающимся взглядом, от которого нам — Мусе и мне — было не по себе. Она очень любила Лёру, маму и нас — меньше.

Лёра и Андрюша чувствовали себя у них в Тарусе как дома, мы — нет. Дети их, как и дети Иловайских (и их тоже было две дочери и один сын), были много, на десять и более лет, старше нас: темноволосая, с завитой челкой и насмешливыми карими глазами навывкате студентка-медичка Надя, подросток Люда, добродушная, рыжеволосая, зеленоглазая, и непомерной высоты и худобы студент Саня, тоже рыжий, красивый, бледный, до того застенчивый, что, вероятно, очень от этого страдал. В его — редкие — приезды к нам я помню одну странную нашу возле него игру: мы брали из детской наших крошечных (менее вершка высотой) белых фарфоровых куколок (вернее, человечков и зверюшек) и, ползая у ног севшего на стул и не знавшего, куда деть длинные руки и ноги, Сани, мы наслаждались созерцанием

контраста величины его — и белых крошечных куколок. Бедный же Саня, не понимая, что мы возле него на полу делаем, совсем терялся: привставал, улыбался, нагибался к нам, пока мать или гувернантка не прогоняла нас в детскую.

Зимой мы видели Добротворских редко, летом — в Тарусе — часто. Их дом, наверху главной, сходящей к собору улицы — большой, серый, с резными украшениями окон, с балконами, уступами железной крыши, с цветными стеклами окон парадного хода (или дверей?) — был уютен, приятен, гостеприимен. Густой заросший сад, липовая аллея, площадка крокета, гамак. Поляны яблонь, груш, слив, ягодник; веранда, где вечно кипел на столе самовар, жужжали над вазочками с разнородным вареньем и медом осы, сладкие пироги, ватрушки — и особенно любимые ржаные сдобные лепешки, которые пекла на сметане пожилая ласковая Катя, многолетняя помощница Елены Александровны. Светлые комнаты (дом был с мезонином) с особыми запахами, с кафельными печами, лежанками, со звонким боем часов, с расстроенным старинным фортепьяно, на котором никто не играл. Иван Зиновьевич, добрый гений уезда, безотказно едущий в любую погоду к больным, — крупный, уютный, с разговором на «о», с всегда прямо глядящими синими глазами — сходит по скрипучим ступенькам во двор, где его ждет лошадь. В ослепительной жаре пряно пахнет ромашкой. Гуси и утки отдыхают в тени под сиреневыми кустами. Огромный, рыжий, гроза входящих во двор, цепной пес Барон громыкает цепью...

У Добротворских была большая лодка-ялик (у нас — маленькая плоскодонная), и — всегда неожиданно — они заезжали за нами на нашу (мы снимали ее у города) дачу, в полутора верстах от Тарусы вверх по течению. Причаливали, кто-нибудь шел к нам вверх по крутой, заросшей березами и кустами горе. Или просто звали криком с реки.

Ясные дни — светлые вечера — юность и детство — неторопливо идущее время — как хорошо это было, каким маленьким земным раем это предстает мне теперь...

...И была еще — радуга! Она настаивала — внезапно, появлялась неожиданно, и в ее незваности, в забвенье о ней была тайна. Она взносилась над московским двором и ниспадала в верхушки тарусского леса, всегда неполная, склонен-

ностью своего отрезка лишь намекая на то, какая она вся, но, кажется, всему детству не удалось ее увидеть в ее совершенстве. А если на миг ее плавный верх венчал вечерние облака, то следующее мгновение затуманивало ее дымным золотом тучи, и виденье таяло в детской душе, как утихающий звук песни. Но если кто-то отваживался обуздать восхищение, измерить радугу любопытствующим глазом, *запомнить* ее цвета (то, что не удалось *в тот раз* словить, как лиловый цвет ее верхней дуги, наружной, переходит в розовость, та — в огненность, пламенность — в желтизну, и как желтое, слившись с встречающей синевой, становится сияющей зеленью), — ум переставал понимать, синева вдруг оказывалась тонущей в первично лиловом, которое было сверху дуги, а очутилось снизу; в глазах, в голове делалось круженье бессилья, и начать снова попытку измерить сияние не было сил. Ты стоял, потерявшись, под небом, которое плыло и менялось, а радуга блаженно покоилась в своей невесомости, и безукоризненная правильность ее склоняющегося очертания уже таяла.

Но была еще добавочная радость в появлении радуги: вера в няней сказанное — радуга означает, что больше не будет дождя. Мы, те же мы, которые прыгали под дождем, наслаждаясь им, как сухая земля под нами, встречали радугу как сообщники и кричали в нее пронзительно, как спуская с лука стрелу: «Не будет больше дождя, не будет!» Но уже нет и радуги — где же она *была?* — как слабое эхо Пачёвской долины, еще розовело, синело легкой струей над елью старого сада, но уже не было ни сиянья, ни очертания сиянья, одна память сердца и глаз о еще раз утраченном — и когда же оно придет вновь?..

...А пока мы наслаждались плодами лета — у бедного отца нашего шла страда: в уральских ломках обнаруживались неудачи, добываемые с великим трудом залежи камня часто оказывались в трещинах или с песчаными прослойками, непригодными, приходилось относить их ручным способом в сторону и заново углубляться за чистой породой. В таких исканиях шли иногда недели, а летнее время, в этом труде драгоценное, проходило... Но отец духом не падал, твердо веря в начатое дело. Отголоски этих забот доходили до нас из постоянных деловых бесед родителей.

## Глава 10 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКАТУЛКИ. ПАНОРАМА

...Из той же мглы первых воспоминаний, вместе с Андриюшиным и нашим дедушкой, пылающим костром елки и рояльным громом вместо колыбельной песни, проявляются на фотографической пластинке памяти еще три драгоценности: две музыкальные шкатулки и «панорама».

Шкатулки: длинная, низкая, желтая, с разводами более темного дерева (инкрустация?), с подымающейся крышкой, под которой другая, с вправленным в нее стеклом. А под ним — серебряное волшебство вала, обрызганного, точно росой, серебряными блестками шипов, о которые цепляются снизу — колесики. Валик перекрыт палочкой серебра, и на нем, сбоку, горит алый рубин. Если глядеть на него — он похож на один из голубых шаров на столе маминой гостиной: он так же сияет темно-розовым посередине и вспыхивает темно-красным, почти черным по всему ободку, как шар сияет голубым посередине и темно-синим, почти черным, по краям. Шкатулка — пахнет: чем — не скажешь, но она так сильно пахнет собой, что кажется, она пахнет еще чем-то: как у Тети пахнет в передней? Маминым сундуком? Дедушкиным печеньем — хрупкое, покрыто розовой глазурью, и если надавить — пустота. А рядом с рубином — бабочка, то есть она *делается* как бабочка, когда начинает вертеться: она жужжит и появляется возле рубина, а это потому, что мама много-много раз провела спереди назад ручкой, которая вправо от стекла, в маленьком отделении: значит, мама «завела». И тогда начинаешь лететь и падать куда-то, потому что началась музыка.

Нет, это совсем другое, чем — рояль; нет, не совсем другое; на тарусский рояль она почти не похожа; только это очень *маленькая* музыка, она звенит тоже как тот рояль — прижато и будто внутри что-то сломано — чуть-чуть. И будто все звуки слышишь через желтое стекло. Это похоже на мамины рассказы о ее детстве, — как будто эти звуки — давно.

Это особенно понимаешь, когда старшие заводят вторую шкатулку, которую на Рождество подарили Андриюше, — там музыка — синяя: как через *синее* стекло в нее смотришь. И она не насмехается над маминой, — но немножко все-таки



насмехается: она громче, в ней — «Тореадор» и «Падекатр» и всякие новые танцы, и она гордится, что у нее *нет* валика — «валики отошли в прошлое», — а кружки — цветом как та оловянная птица няниных племянников Коли и Вани, — их снимают и надевают, их можно сколько угодно, — а в маминой только четыре мотива, и они один за другим, всегда одинаково. Андрюшина — «новость». Ящичек короче, и выше, и темней; а внутри на крышке — картинка: летит Фортуна и по голубому небу сыплет цветы. Старшие хвалят Андрюшину, а Муся и я любим мамину. Ее песенки (нет, это не песенки, это так только зовет — няня; она не понимает, — это не песни, а танец; мама сказала — «Шотландский», а Муся говорит, что я позабыла название, по-французски — на узорчатой этикетке — написано: «Экосез».

А потом все вдруг вздрагивает, вал перепрыгивает вбок, и начинается — другое, и снова опять другое. Полонезы? Вальс? Танец кукол? В голубом тумане — Марины давно нет в мире, может, она помнила, что мы так особенно любили, — чудятся мне на стариннейшей этикетке с потемневшими золотыми разводами — на одной из четырех строк (там, где у Андрюши летит противная Фортуна со своим золоченым рогом изобилия) — тонким косым почерком — слова (их кто-то читает и понимает немецкое — «Auf der blauen Donau» («На голубом Дунае»). Андрюшина — под елкой, в зале, везде. Мамина — в спальне, на бабушкином комодe с витыми колонками, и в маминой гостиной. Мамина — редко. И тогда — это волшебный вечер.

Я наверняка *плохо* расскажу — про панораму: не найти равных ей по волшебству слов — хоть и взят *разбег*: по трамплину музыкальных шкатулок, но даль прожитых лет теснит грудь и перо. Большой — больше аршина — и в пол-аршина шириной и высотой, темнее ореха цветом ящик. С торца в доску вправлена огромная лупа, диаметром вершка в три. На двух третях верхней крышки — шарниры, поднимающие и опускающие последнюю ее треть; она стоит под острым углом, и на внутренней ее стороне — зеркало (это — когда надо дать картинам панорамы «день»). Задняя стенка ящика — тоже на шарнирах. Она опускается плашмя на стол — тогда, пока еще не вставили картину, видно огромную лампу, а верхнюю крышку с зеркалом наглухо закры-

вают (это — когда надо дать картинам панорамы «ночь»). *Картины* — двойные: в них на поверхности сияет день — небеса, города, пейзажи, и в них, на подклеенных сзади темных глубинах папиросных бумаг и потайных темных штрихах под кругом светящейся (на фоне зажженной лампы) прозрачной луны, — цветет *ночь*, горит над старинными городами иллюминация, стоят в иностранных парках дамы в робронах и старинные мужчины в цилиндрах. В этих картинах — их несколько полных коробок — живет весь Теодор Гофман и какие-то из городов Андерсена. Каждая картина прикреплена на легкую узкую черную деревянную рамку, и сзади — не по-русски — название картины. Когда берешь ее в руки (но мама сейчас же отбирает) — в руках волшебного-легко, нет веса, как во сне.

Разве расскажешь трезво о панораме, в которой жило все, чего мы не видели и что где-то жило до нас и будет жить после, над чем стояли магические слова «Venise» (Венеция), «Bois de Boulogne» (Булонский лес) «Constantinople»... Это же — *тот самый* Константинополь, где на базаре увидел колдунью гауфовский карлик! Наши головы тычутся, старательно отодвигая другую, чтобы завладеть волшебным кругом луны, через который врываешься в панораму, как входят через порог в дом. Но Мусина голова крепче, и ее кулак тихонько (чтоб мама не увидела) молотит мой бок, — и моя, несмотря на все, на жар сопротивления, отодвинутость, — орет о себе благим матом, и в гневной защите мамино: «И не стыдно тебе, Маруся? Старшая?» — и в Мусином *угрозном* мне в ухо: «Вот ты у меня потом узнаешь...» тонет мое залиvistое, одновременно торжествующее и испуганное «и-и-ии»... Но Марусе уже все равно: Венеция безраздельно *ее*, никакая Ася не суется, не мешает! Пока ее утешает мама, ей приходится бороться лишь вялые попытки Андрюши. И под его незаметные пинок и шипенье ей в ухо — она блаженно проваливается в (после голубой глади небес и каналов Венеции — мамина рука сняла с «дня» отраженное сверкание зеркала и открыла сзади крышку, в жерло лампы-молнии) ночь венецианской темницы: своды в темном пламени факела, кто-то темный и чьи-то цепи... Ненавистная Ася голова *опять* лезет в лупу! Со вздохом (незаметно толкая меня) Муса уступает мне место...

Мамина рука уносит вверх то, что так, так глотаешь! — *всегда* рано... Это — как улетающий занавес в «Спящей красавице» — страшное своей тупой силой сияние лампы-молнии через гигантскую лупу не успевает сделать жизнь совсем нестерпимой: мамина великанья рука уже спускает по желобкам стенок — другое — Мусино? мое? — волшебство: «Toulon», город Тулон! Воздушный шар поднимается в небо, люди в цилиндрах и дамы в атласных раструбах смотрят ему вслед. И вновь перешеек зеркальной сомкнувшейся и задней упавшей крышек растет над Тулоном... Вдруг проявляется высота ратуши, мост над рекой, под его арками брызги лунного света и череда удаляющихся огней... Не помним имен, не знаем, какой город. Это — Мусино (мое будет после) — полукруглые окна, высокие двери, группы старинных людей с чемоданами, корзинами, виадук, силуэт подходящего поезда — кончено с днем! (Нам давно пора спать, мама торопит.) Ночь падает на вокзал лунами светящихся матовых фонарей, стеклянных бра, сигнальных огней над рельсами — а наши души (они ведь от рожденья взрослые!) в маленьких наших телах рвутся вслед куда-то уходящему вдалеку поезду, мы слышим его жалобный крик...

Кавалькада в лесу, гирлянды цветных фонарей, дневные и ночные дубравы, Стамбул, луна над замком — Рингштеттен! — Дамаск, какая-то гавань, корабли, розовая тишь моря, — чужбинная волшебная старина.

Где взяла наша мать силу — видя такую нашу страсть к панораме — показывать ее нам *так* редко? Нескольким раз в год лишь слышали мы, всегда внезапно: «Дети, идемте вниз — будем смотреть панораму!» Как мы летели вниз...

Но и мы — и это тоже не менее удивительно — никогда не ныли, не приставали к ней с этой просьбой. Панорама настала, как приходит, сам собой, праздник: когда ему пора...

Оттого ли панорама за все детство нам не наскучила? (О, неужели *могло бы* наскучить — такое?) И доселе — когда уже прошла жизнь — я с замиранием чего-то в уже почти отмершем сердце вижу, как белый замок среди нестерпимой синевы неба и темно-изумрудных дубрав паденьем зеркальной крышки оживает в сапфировую ночь с очертанием черных зубчатых башен, как выплывает луна из-за купы

дерев — и (как Муся и я тогда) я, покинутая ею, давно верю, что это — Бург (замок) Рингштеттен, где жили когда-то Гюльбрандт и Ундина и разлучившая их Бертальда... Лицо все еще будто прильнуло, пылая, к непомерно большой лупе, погружаясь в темный коридор панорамного ящика, глаза — все еще обжигаются о луну над дубравой... И когда я, входя в магазин — столько городов, столько лет, и уже не первое поколение, слышу требовательно-ноющий голос современных детей, тянущих мать за рукав при виде любого приглянувшегося предмета — «Мама! Купи...», — я вспоминаю мать — панораму — и нас, годы детского стоицизма. И мне трудно побороть отвращение к такому большому, распущенному сластолюбию, слабоволию, жадноручию у таких еще маленьких, но уже недовольных людях. Не холодок старости, а вневозрастное оттолкновение глядит им вслед.

Собственно религиозного воспитания мы не получали (как оно описывается во многих воспоминаниях детства — церковные традиции, усердное посещение церквей, молитвы). Хоть празднования Рождества, Пасхи, говенья Великим постом родители придерживались, как и другие профессорские семьи, как школы тех лет, но поста в строгом смысле не соблюдалось, рано идти в церковь нас не поднимали, все было облегчено.

Зато нравственное начало, вопрос добра и зла внедрялись мамой усердно (более усердно, чем, может быть, это надо детям? Пылко, гневно при каждом проступке: иногда растя в нас скуку слушать одно и то же и тайный протест).

Но зато *образы* тех людей, которые жили по этим, нам не удававшимся, не прививавшимся правилам, как мама сумела привить нам своим о них восхищенным рассказом! Такую любовь, что и теперь, в старости во мне живут и уж конечно до смерти доживут, души и жизни Иоанна Крестителя с его шкурой на плечах и пустыней, проповедью и мученической смертью, и св. Серафим Саровский, к которому из лесу шли звери, у которого медведь ел из рук, и доктор Гааз, отдавший жизнь заключенным больным людям, герой уже девятнадцатого века. И уже после мамы, у Люды Добротворской найдя «Записки врача» Вересаева, как я читала подвиг его, с каким волнением!

И еще — взволнованный интерес мамы к Иоанну Кронштадтскому. О нем гремели рассказы. Августа Ивановна — его пылкая почитательница.

Мама на все хватало! И, должно быть, хороша была фортепьянная игра Гофмана, гремевшего по России, если мама, ненавидя «стадность», гордая и независимая в своих «да» и «нет», со всеми на его концертах аплодировала ему, ждала и получила его надпись на поданной ему фотографии, которую хранила до смерти. Но я отвлекаюсь...

Дерзновенный полет Икара и гибель за похищенный огонь прикованного к скале Прометея, все герои мифологии и истории, Антигона, Перикл, Бонапарт, Вильгельм Тель, Жанна д'Арк, все подвиги, смерть за идею, все, чем дарили нас книги, исторические романы и биографии, и доктор Гааз — как насаждала в нас мать поклонение героическому! И имена английских писателей Томаса Карлейля и Джона Раскина я слышала от нее в мои одиннадцать лет, в болезнь ее последней зимы.

И надо всем и прежде всего — наставшее в таком младенчестве, что и довоспомнить нельзя — слово «Спаситель». Слово — такое странное и родное, как бывает собственное имя — как Маруся, Андрей, Ася — полным кругом вокруг детства. Слитое с ликом на образе, поднятая благословляющая рука, волосы по плечам, глядящие в тебя глаза; сине-голубая одежда и пурпур длинного «плата», какого не видишь в жизни. Образ из мглы над «бабушкиным» комодом в папиной и маминой спальне, и все это, ее красота, ее смерть — тоже пронизано тою таинственной силой, которая идет от Спасителя — и перед ней огонек красной лампы *тоже* об этом, точно он сам загорелся, сердце тайны, которая есть и молчит о себе. И — зовет... Но я читаю Маринино «Мой Пушкин», где она настойчиво, нарастающими примерами говорит о том, что все в детском дне меняется и летит, а Пушкин, чугунный, держа за спиной шляпу — стоит, я чувствую с ответной силой, что только по пути к тому углу с лампадой принадлежит Пушкину тот детский пафос — он веет, веял дальше, глубже и выше, на нас — и вокруг... Слово «Спаситель», которое везде реяло и дышало — спасало... от темноты, от дурного желанья, от злости (с которыми надо было бороться!?). Не слу-

шать его, если непременно хотел посмеяться над кем-нибудь, отомстить старшим детям за их обиды — тогда, если ты все же сделал это, наступала тоска, ныло сердце и было нельзя взглянуть на Спасителя в синей одежде, потому что он глядел на тебя — и все знал... И звали Спасителя Христос. Это слово, буквы его, звук их был — золотой, и казалось, что не только первая его буква — крестик, и что все буквы — из золотых косых перекладин, как салфеточное кольцо, и еще — как подставка на столе в столовой, которая раздвигалась, как ножницы, вся из косых крестиков. Имя Спасителя было тоже от всех отличное, весеннее, светлое. Потому и говорили на Пасху «Христос воскрес» — начальный высокий крестик и все «р» этих слов имели в себе какой-то золотой хруст, как когда бьешь кончик крашеного яйца, и по зале — лучи солнца.

Пушкина на Тверской поставили (мама была на открытии памятника, тогда речь сказал Достоевский), а Христос с ним родился — Он всегда был, всегда будет и ясно, что Он сиял, когда был младенец, и оттого-то мы на Пасху не спим, когда Он «воскрес»...

И Он, Христос — самый взрослый, потому что не только детей, а и взрослых спасает — на руках у Божией Матери! Эта тайна не поражала, она грела, светилась, и — если бы нас тут воспитывала мама, тайна эта могла бы стать утешением во всех детских горестях, опорой во всех обидах. Но этого, что так умело сделали позднее в католическом пансионе, не дало нам в детстве ни касание к православию, ни мамино гневно-героическое влияние, требовавшее всегда правды и героики в *дне*. И оттого, что Христа не учил нас никто сливать с нашим днем, не давал пример практики борьбы *с собой* — та Христова тайна жила вокруг нас, но в нас не проникала, и мы оставались своевольными, дерзкими, насмешничали, лгали, мстили друг другу и только сжимались укором совести сердца — не принося плода.

Я не писала о нескольких выражениях, царствовавших у нас в детстве: где-то поймав, мы дразнили друг друга словами «попал пальцем в небо!». Часто говорили: «подлизывается»... И «не подлизывайся, пожалуйста!». Всегда говорили «вперед» в смысле «раньше» (этого слова не употребляли:

«Мама, вперед я, потом она, да?») Не чувствовали, что «вперед» — о пространстве. Употребляли его о времени. И еще некоторые такие ошибки в нас жили. Это меня теперь удивляет — при маме, такой строгой к речи, и при нашем — чутье!

## Глава 11

### ЗИМА. РОЖДЕСТВО. МАСЛЕНИЦА. ВЕСНА. ЧУЖИЕ ДЕТИ. ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ

Когда, после долгих дней осени — рыжих верхушек деревьев, то сбрызнутых в ветре солнцем, то поливаемых скучно текущими дождями — и казалось, никогда не перестанет течь, захлебываясь на лету, вода из водосточных труб с крыши, и вспоминался Ной и Всемирный потоп, — когда вдруг холодало *по-новому* в этот *раз*, но знакомому *издавна*, когда мама и Августа Ивановна с няней или горничной Машей насыпали дом серебристым запахом нафталина вынимаемых из сундуков шуб; когда еще мы спали, а уже трещали вовсю звонкими березовыми дровами печи, и все же мы просыпались (в детском счастье утреннего уюта) от узнаваемого комнатного холодка — тогда вдруг детская сияла вся — точно ее всю, по обоям, побелили — и кто-то, несший теплые чулки и лифчики, объявлял радостно, как подарок:

— Ну, дети, скорей вставайте! Сегодня выпал *первый* снег!

И тогда, босиком, дрожа у уже запушенных, как в белом меху, окон, мы видели с высоты мезонина всю длинную широкую любимую шкатулку двора, по которой еще вчера топали — по сухому ли холоду, по лужам ли, ноги — такую бесконечно иную, стихшую, глухо ушедшую в белизну, еще не исчерченную следами и тропинками следов, кроме котовых Васиных (белых от *такой* черноты?!), праздничную и победную после стольких месяцев борьбы с плескавшей и облетавшей осенью. И тогда и дети, и старшие, все говорили: «Пришла зима!»

И тогда, *только* тогда — раньше оно не думалось, точно сгнуло за жаркой завесой лета — не «вдруг вспоминалось» — о нет! — начинало медленно, затаив грядущую радость, брезжиться, приближаться, словно во сне обнимая,

подкрадываться, больше всего на свете любимое, не забытое — о нет, нет! — разве оно могло позабыться! незаменимое *ничем*, даже Пасхой! — Рождество!.. И тогда наступал счет месяцев и недель.

В снегом — почти ярче солнца — освещенной зале, сбежав вниз по крутой лесенке мимо янтарных щелок прикрытых печей, — мы впились во вдруг просверкавшее слово «Рождество», как девушка в сверкнувшее ожерелье. Как хрустнуло оно, произнесясь в душном коридоре, затаенным сиянием разноцветных своих «р», «ж», «д», своим «тв» ветвей, жарко-прохладным гуденьем повторившегося сквозного «о» (точно оно насквозь него прохрустело, как прохладные осколки только что жаром пылавшей бусины, надетой на — к другой — убегающую нить). И оно пахло — и лепестком мандарина, и воском, горячим, и давно потухшей, навек, дедушкиной сигарой; и оно звучало его звонком в парадную дверь и маминей (ее детства) полькой, желто-красными кубиками прыгавшей из-под клавиш на квадраты паркета и уносившейся с нами вместе по анфиладе комнат таким разбегом, что лет сорок спустя, в годы страшной войны, в час утешающей дошкольной радиопередачи, услышав внезапно те самые желто-красные мамыны музыкальные кубики, я вскочила, ошалев, из-за своего арифмометра и, боюсь, понеслась бы вскачь меж чертежных столов конторы — если бы не запнулась о свой.

И как снежный ком, катясь, растет — так росло, росло Рождество, подвигаясь, как горящий куст, как зимняя радуга, — пока не подходило так близко, что опрокидывалось над залой куском звездного неба — и тогда нас гнали наверх, в детскую, а внизу, меж спальней, коридорчиком, черным ходом, девичьей и двухстворчатými дверями залы ходили, что-то несли, что-то шуршало тонким звуком картонных коробок, что-то протаскивали — и пахло неназываемыми запахами, шелестело проносимое и угадываемое, — и Андрюша, успев увидеть, мчался к нам по лестнице, удирая от гувернантки, захлебнувшись, дарил нам сине-зеленый цвет длинной нижней, закрывающей ежегодно ствол, елочной завесы с наклеенными на нее золотобумажными ангелами, сыплющими на коленкор — звезды... Тогда мы, дети («так воспитанные?» — нет, так чувствовавшие, что никогда ни о чем



не просили), туманно и жадно мечтали о том, *что* нам подарят, и это было счастьем — первичным, оно сияло вольней и роднее уютом бесконтрольного, никому не ведомого вожделения. Оно было дороже, чем счастье обладания, запутавшееся — как елочная ветвь в нитях серебряного «дождя» — в путанице благодарностей, застенчивостей, неуловимых разочарований и ожидания еще чего-то...

Часы в этот день тикали так медленно... Часовой и получасовой бой друг от друга были растянуты как на резинке. Как ужасно долго не смеркалось. Рот — отказывался есть. Все чувства, как вскипевшее молоко, ушли через края — в слух. Но и это проходило. И когда уже ничего не хотелось как будто от страшной усталости непомерного дня, когда я, младшая, уже, думалось, засыпала, — снизу, где мы были только помехой, откуда мы весь день были изгнаны, — раздавался волшебный звук: звонок!

Как год назад, и как — два, и еще более далеко, еще дальше, когда ничего еще не было, — звонок, которым нас звали, — зовут нас, *только* нас! только *мы* нужны там внизу, *нас* ждут!

Быстрые шаги вверх по лестнице уж который раз входящей к нам фрейлейн, наскоро, вновь и вновь поправляемые кружевные воротники, осмотр рук, расчесывание волос, уже спутавшихся, взлетающие на макушке бабочки лент — и под топот и летящих, и вдруг запинаящихся шагов вниз — нам навстречу распахивающиеся двустворчатые высокие двери... И во всю их сияющую широту, во всю высь вдруг взлетающей вверх залы, до самого ее потолка, несуществующего, — она! Та, которую тасили, рубили, качая, устанавливали на кресте, которую окутывали зелеными небесами с золотыми ангелами и звездами... и которую прятали от нас ровно с такой же страстью, с какой мы рвались ее увидеть!

Как я благодарна старшим за то, что, зная детское сердце, они не сливали (по крайней мере, были такие годы, что — *не!*) двух торжеств в одно, а дарили их порознь: блеск убранной елки — сперва, *уже* ослеплявшей. И только затем — ее таинственное превращение в ту, самую настоящую, сгоравшую от собственного сверкания, для которой уже не было ни голоса, ни дыхания и о которой нет слов.

...Она догорала. Пир был кончен. Воздух вокруг нее был так густ, так насыщен, что казался не то марципановым пря-

ником, не то шоколадом; но были в нем и фисташки, и вкус грецких орехов, и безе — куски и скорлупы с рук понасыпались на игрушечную кудрявую, немислимой зелени, траву в плоской коробке моих маленьких, пестрых, блестящих коровок, овец и лошадок и в лото старших детей.

Золотые обрезы книг в упоительных переплетах, с картинками, от которых щемило сердце, заводные колеса, над которыми трудился Андрюша, янтари и искусственная бирюза бус. Куклы! Этот бич наш с Марусей — куклы, в которые мы не умели играть и которые дарились педагогически, каждый год. В них ценились нами одни глаза — за их замороженность взгляда, — но когда мы их, в укромный момент и в укромном углу, отодрав парик, из головы вынимали — замороженность глаз угасала, сразу, и мы немножечко презирали их и немножечко их боялись.

Близко держа к близоруким глазам новую книгу, Муся уже читала ее, в забвении всего окружающего, поглощая орехи, когда с елки, вспыхнув огненной гибелью нитки, упал синий шар!

Его легкая скорлупка, сияющая голубым блеском, распалась на куски таким серебристым каскадом, точно никогда не была синей и никогда не была — шар. Наш горестный крик и вскрик старших, кинувшихся нас оттащить от осколков. Капали догоравшие свечи... Теплый воск, глевшие иглы елочных веток...

Я глядела вверх. Там, на тончайшей резьбе витой золотой ниточки качалась от ветерка свечки маленькая танцовщица, и папье-маше ее пышной юбочки было нежно, как лебяжий пух. Гигантская тень елки, упав на стену и сломавшись о потолок, где тускло горела Вифлеемская звезда, осеняла темневшую залу над последним мерцанием цепей, бус и шаров, спрятавшихся под мех веток. В догоравшем костре рождественской ночи под звездой, ее освещая, рдела искра малинового шара, *под тьмой* бархатных веток отражая огонь последней свечи. В широких объятиях Тью под мамину улыбку мы пели песни.

Но волна шла еще выше — та, следующая: блаженство проснуться на первый день Рождества! Сбежав по лестнице, войти вновь к ней, к елке, уже обретенной, твоей, нас всем, на так еще много дней до дня расставанья, и смотреть

на нее утренними, все видящими глазами, обходить ее всю, пролезая сзади, и обнимать, нюхая ее ветки; увидеть все, что вчера, в игре свечного огня и ее гущины, было скрыто, смотреть на нее без помехи присутствия взрослых, без отвлеканья к не рассмотренным еще подаркам, ко вкусу всего на свете во рту. Не черная, как вчера, в провалах, залитая через густоту морозных наростов желтящимися солнечными лучами, она ждет нас, в хрусталь превратив все свое вчерашнее серебро и фольгу, вспыхнув утренними искрами всех разноцветностей, только сейчас по-настоящему *горя* всей множественностью волшебных плодов — золотящихся на изгибах зеленью толстых стеклянных груш (даже не бьются, падая!), ало-желто пылающих яблок, рыжих живых мандаринов (им немножко стыдно, что они не стеклянные, что их можно съесть) и роскошью шаров-плодов самых хрупких, самых таинственных, самых райских в неземных красках своего голубого, светло-малинового, фиолетового сверканий, осыпавших елку как будто из рук ангелов!

И вот, все это зная, помня, предчувствуя, *уже* видя сквозь пол-потолок, сжать это все в зажатых горстях, как орехи, и блаженствовать в теплых постелях всем весом вчерашних усталостей, обложив себя новизной сокровищ — зверями, еще *совсем* целыми! в зеленой траве, как мох устлавшей дно их жилища — в коробочках стоящих Тетиных куколок в швейцарских костюмах — таких маленьких, мы их любили за то, что — волшебные и им не надо ни шить, ни гладить, ни класть спать. Книги все лежали распахнутые, и я *сразу* все смотрела, окликаая Мусю, которая, рухнув в выбранную, читала взакос, мыча мне в ответ что-то невнятное. И челюсти уставали жевать шоколад и орехи.

И еще рдел в сердце, под всей толщей новизны подарков — вчерашний ночной, всегдашний рождественский огонек, когда, позвав к себе нас в спальню — папа в столовой еще беседовал с Тетей о чем-то дедушкином и музейном, — мама вновь — только раз в год — зажгла на комодке свечу, спрятав подсвечник зачем-то, и в этом тихом уголку, под высоко, перед иконой тлевшей темно-красным лампадкой, на бабушкином комодке затрепетало скрытое за маленьким картонным сооружением пламя, освещающая темную внутренность ясель, окошко, впускавшее лучик Звезды, рыжую коровью

голову, старца с седой бородой и Святую Деву, которым кланялись пастухи и волхвы перед желтой соломой кормушки, где лежал, сияя, Младенец.

Впивая картонное детское раскрашенное Рождество, озаренное свечкой, мы — уже одни с мамой, трое детей и она, пели «Stille Nacht»—«Тихую ночь» — немецкими словами. Там же, опустив тонкую руку с обручальным кольцом на шелк черной кофты, тускло светясь в темноте спальни локоном и нежной щекой, юная бабушка из рамы смотрела на дочь свою и на нас печальной улыбкой темных глаз с тяжелыми веками, с — точно кистью — проведенными бровками. И польское ее сердце, как и немецкая песенка, трепетало над портретом, как наши, — потому что Младенец — общий, Ему поют славу все языки... Мама объясняла нам значение слов, выведенных золотой бумагой на зеленой елочной завесе под ангелами и звездами: «Слава в вышних Богу, и на земли — мир, в человецех — благоволение»... А вечером, в первый или второй день Рождества, мама показывала нам панораму, и мы засыпали, уже не помня, где мы после всех случившихся счастливых... Весь дом спал.

Через неделю еще раз зажигали елку — уже для взрослой встречи Нового года; потом все уходило на год спать в глубины широчайшего «дедушкиного шкафа», где хранилось елочное убранство весь год. И мы помогали укладывать в большие коробки бумажные цепи, серебряные и золотые, — остальное делали старшие.

И продолжалась зима — до Крещения, до Масленицы, до Великого поста. Гудели волны колокольного звона. Дни становились длиннее, пекли пироги с грибами.

Масленица! Склон зимы, весеннее зарево в удлинившихся днях, в поздних закатах, в сосульках, увесивших особняки и старые московские домики. Уже упомянутый Охотный Ряд с блеском рыб, с чернотой икры, с рыже-розовой семгой... Мучные лавки, и из форток — где ни идешь — запах блинов; запах горячего масла растительного, от которого ширятся ноздри. Так еще пахли сайки на базарах — их нам никогда не покупали, это была чужая пленительная еда (как и сбитень, коего я за все детство свое не попробовала и рецепт коего — сколько ни добивалась потом у старших людей — так и остался мне тайной). Но блины пекли и у нас,

в профессорском доме, — мостками, от кухни в дом, накинув шаль, спешила горничная с покрытой горкой блинов, воздушно и масляно отлипавших на столе друг от друга. Мы ели их, считая, сколько штук мы съедим, кто больше. Растопленное сливочное масло в судке, сметана, селедка, икра... и капля вина — в воду.

А мимо окон мчались санки за санками, катила по снегу Русь, как в сказке цокали копыта коней, и обрывки песен, тающие вслед исчезающей за поворотом в Палаша тройке, пробуждали в Мусе и мне — тоску...

Мы вспоминали Оку, «Чудный месяц», песни той Масленицы. И говорили друг другу: «А помнишь?»

Пасхальная ночь! Какая другая, чем рождественский вечер! Из нее был вынут рѳвно-нѳрвно весь уют, что составлял Рождество: вместо прихода в дом (дедушки, Тети) — в пасхальную ночь все *уходили* из дома, и дети оставались одни с няней и гувернанткой. Ночь была — как пещера: пустая *собой* — полная ожиданием часа, когда прокатится над Москвой и Москвой-рекой первый звон колокола — и, кида-ясь в его голос, все колокола церковей всей Москвы и московских окрестностей заголосят, заликуют неслыханным оркестровым и хоровым трезвоном, испуская в черную, как глухое сукно, ночь *такое* количество звуков, что перегонят все горелки детских игр и все симфонические концерты старших, перезванивая колокольным сияющим щебетом все колокольчики русских дорог и все весенние рощи, звуки, захлебнувшись собой, *выфвутся* из царства звука — и тогда над Москвой-рекой полетит к ним на помощь воинство царства соседнего — слепящие серебро и золото, олово и медь слившиеся, жар всех Жар-птиц всех русских сказок, и, взлетая вверх под тучи, к Самому Богу, обронит в холодные весенние воды, окаймленные огоньками, перья всех цветов и всех красок со всех художнических палитр.

По-московски это называлось «ракеты». И цари и царята всех пушек, не в силах стерпеть такое, выпускают на свободу из тюрем-жерл ядра свои суворовскими и кутузовскими грохотами, — и уж ничего нельзя будет понять, ни увидеть, ни услышать, потому что, прижав губы к губам, губы к щекам, залитым сияющими слезами, все люди целуют друг друга троекратными братскими поцелуями, и, соединяя разроз-

ненные сердца толп в одно громадное сердце, сверкая иконами, ризами, миррами, наперсными крестами и кольша, как осенним золотом березовых веток, хоругвями, в райском оперенье церковного пения, изо всех московских церквей и соборов движется крестный ход, и ангельские раздаются слова: Христос Воскресе!

Припав к мезонинным окнам с открытыми форточками и подрагивая от холода, мы, тайно или с доброго разрешения гувернантки (француженки или немки, быть может, всплакнувшей в эту чужбинную ночь о где-то там своем, этом же) вскочив с постелей, ждали, когда вспыхнет кремлевским заревом темнота над крышами Палашевского переулка, когда и свой голос подаст оттуда ближняя наша церковка. Привычным движением Муся — у окна — отталкивала меня и Андрюшу; я царапалась изо всех сил; Андрюша был ловчее — он знал, чем прогнать Марусю: вынув из складного цветного яичка длинную игрушечную — из чего-то тонкого, как бумага, но прочней бумаги — змейку с белыми глазками, он устремлял ее на сестру. Муся в ужасе кидалась прочь, крича на весь дом. Она боялась еще больше, чем я, этих змеек, панически — и для чего их дарили именно в яйце и на Пасху? Одна из тайн быта.

И наконец настает миг, когда во дворе раздавались голоса и шаги и мы, забыв запрет, сон, всё — кидались навстречу объятьям, рассказам, христосованью, пасхе, куличу, подаркам. И свежий, весенний воздух, ворвавшийся со двора с ними, и не сравнимое *ни с чем* (только рождественским) — пасхальное утро.

Бледным золотом апрельских лучей наводненная зала, парадно накрытый стол, треугольник (как елка!) творожной пасхи, боярскими шапками (бобрового меха!) куличи, ярмарочное цветение крашенных яиц, горшки гиацинтов и огромный сердоликий (чуть малиновее) окорок ветчины.

Как горели лбы от (тайком, нагнувшись под стол) разбиваемых о них крутых яиц (подражание Андрюше), как пряно пахло от ломтей кулича, как пачкались в выковыриваемых изюминах и цукатинах пальцы и как, противной горой, наваливалось пресыщение, когда одна крошка чего бы то ни было вдруг отказывалась лезть в рот! И каплями янтаря и рубина остатки вин в отставленных старшими рюмках! И не-

насытное счастье безраздельного обладания: *новые* книги, *новые* цветные карандаши, *новые* перочинные ножи, шка-тулки, альбомы, *новые* яйца: стеклянные, каменные, фарфоровые, — не считая бренности сахарных и шоколадных.

Нам еще дарили тоненькие цветные карандаши (*сверху* цветные), и этот цвет был сияющий: упоительно-синие, упоительно-зеленые, розовые, сверкавшие, как сверкают только золото или серебро в елочных украшениях. Писали они черным цветом. А еще: похожее на те яйца — с виду карандаш — нарядный, в оправе. Повернешь его кончиком к глазу, а там, в туго в него вставленном стеклышке, светится далекий крошечный город или еле различимые зрением картины из библейских рассказов, сияющие насквозь. И казалось, что зрелище это — в конце длинного коридора *внутри* карандаша; а на самом деле вся крошечная светящаяся панорама помещалась в еле видном стеклышке. Эти карандаши жили среди других, как волшебницы среди обыкновенных людей.

«А Муся уже провалилась в книгу», — слышится голос мамы.

И в то время, как она с головой, как Ундина в родной Дунай, окуналась в колодец легенды, — я, прищурясь одним, приложив к другому глазу таинственное стеклышко яйца, глотала его пустоту, за которой у его глухого конца светилось изображение Воскресения Христова, ангельским краем души уносясь от земли, человеческим же думая о том, что, как не может быть на свете иного, как *именно* Рождество — и Пасха, так *не может быть* других отца и матери, кроме наших папы и мамы.

Я возражала себе: а другие дети? Ведь у них — другие отец и мать? И они живут — так как же? Живут? Нет, как! С другим отцом (например, молодым!). С другой матерью... Тут был тупик понимания.

Но в *сознании* были и другие закоулки: как можно жить в *других* комнатах? Не знать про папин Музей, про мамины Ясенки... иметь *другое* лицо?... Безответность на это чуялась — везде. *Тут* не могли помочь старшие, как не могли помочь страху в темноте. Можно было только *вынести* из темноты, но спасти от нее — нет... И так как *бессильие* старших над чем-

то твоим изначальным было тоже, в свою очередь, — темнота, то ребенок выкарабкался из нее как мог, сам. В этом жила одна из тайн детства.

Повиснув (вцепясь и ногтями!) на Андрюшином поясе, я визжала отчаянно, не давая ему убежать с моим красным стеклянным яйцом.

Дни тянулись к весне все более длинными лентами, зала делалась все теплей; вытащенные из нафталина, вожделенные, знакомые и позабытые, смешные и милые, надевались драповые пальто с пелеринками и плоские матросские беретки, новые калоши с блестящими бугорками подошв ладостно шагали в новые лужи двора.

Гувернантки менялись — то из-за необходимости учить другой язык, то по какой-нибудь тайне, нам, их поведения — вместо мадемуазель Мари — фрейлейн такая-то, — а мы были те же — и та же была весна. И те же были «другие дети», которых никто не знал, но которых нам всегда ставили в пример. В том, что они не знали нас и всего нашего, а мы — их, была какая-то заколдованность. Это были те самые, у которых другие отцы и матери. Но те же голуби под похожими крышами ворковали во всех дворах.

И вот однажды жизнь привела нас в соприкосновение с этими другими детьми. Провожатой нашей понадобилось за чем-то в чужой двор большого (высокого) нового дома. Мы, может быть, никогда еще не видали такого двора. Каменность несколькоэтажных стен, их серизна (наш дом был шоколадного цвета, и он, и ближние были уютными, деревянными, как большинство домов тех улиц той Москвы). Меж каменных стен — солнцем залитые пустые, как во сне, площадки. И туда, как и мы, забрел лоточник с грушами и виноградом. Далее, пока фрейлейн говорила о чем-то с кем-то, все произошло как продолжение начавшегося сна: к фруктам подбежали девочка и мальчик, наших лет, лучше нас — наряднее — одетые, и купили, каждый выбрав, что захотел: мальчик — груш, девочка — винограда. С затаенной завистью, но и с каким-то почти осуждением смотрели мы, как продавец им подал бумажные пакеты — по фунту — и как они, не видя нас или делая вид, что не видят, занятые своею



покупкой, ушли, заглядывая в пухлую, прохладную полноту мешочков, говоря о чем-то своем.

Мы глядели им вслед. Мы молчали. Мы и друг другу не хотели сказать. Мы не снизили укрепить мотнувшую в нас крылом зависть. Мы, думаю, дали ей пролететь мимо — туда, где ее дом. Этот дом был нам чужд. Но так крепко задумалось в обеих нас в тот миг что-то, заглянув в чуждый блеск иного быта, — что, может быть, все неприятие заманчивости богатства, денежного, внешнего превосходства, все будущее наше презрение к комфорту и к «нам! наше!» напрочно выкристаллизовалось в наших двух душах, когда опомнившаяся — «а где дети?» — гувернантка испуганно позвала нас.

Но помню — *настоящее* горе: придя домой, мы узнали, что в наше отсутствие мать отдала — в фургон для бедных детей — наши три обожаемые лошади: вороную — Андрюшину, гнедую — Марусину и — без названия цвета, белесую, некогда со светло-желтыми волосами, ростом мне выше пояса — Палладу.

Никакие увещания не помогли. Никакие — «бедные дети, у них совсем нет игрушек... а ваши лошади уже старые, их уже с *чердака* сняли»...

Мать была потрясена нашим воем. Пробы нас устыдить, укорить в жадности — увядали: мы ревели все, в три ручья. Мы бегали: на чердак — дышали пылью опустевших конюшен, прощались навеки — заочно. Как должны были полюбить наших коней *те*, чужие, бедные приютские дети, чтобы перекрыть наше горе...

## Глава 12

ВЕСНА. ВСТРЕЧА С ОКОЙ. ТЬО. ПРОШЛОГОДНИЙ МЯЧ.  
ПРЕТОРИУС. БЕШЕНАЯ СОБАКА И ХЛЫСТОВКИ. ДОЖДЬ.  
ОСЕНЬ

В эту весну — 1901 года — мы особенно рано выехали на старую тарусскую дачу. Был апрель. Деревья рощ, лесов и пригорков стояли легкой зеленоватой смутой (вдали), униженные зелеными бусинками (вблизи). Щебет птиц был *голосом* этих рассыпанных по ветвям ожерелий, хризолитового и изумрудного цвета...

Тарантасы, ныряя с колеи на колею, с ухаба на ухаб, по песчаным откосам, над оживающими под склонами деревнями: Дрокино — Страхово — щедро сыпали в весеннюю пастораль звенящую, разбивающуюся трель бубенцов, оглашая окрестность счастьем пути — встреч — ожиданий — приезда!

«Едем, едем!» — залихватно дребезжали они, все ближе и ближе к заветным местам, и дух захватывало от краюшка далекого поворота, за которым откроется — вот сейчас, вот сейчас! — знакомый вожделенный ландшафт! Глаза — впились. Голос — пресекался. Ноги рвались бежать, перегнать коренника и пристяжную, сердце билось, как живая птица, где-то под горлом — и память о том, что год назад, и два, и давно, делало счастье таким прочным, как вросшие в землю деревья, кивавшие нам со всех бугров и низин, тянувшие нам зеленые апрельские руки...

Смутно мне открывалась особая статья *Марусино*го чувства, мне... не моя! — жажда отчуждения от других *ее* радости, властная жадность встречать и любить все — одной: *ее* зоркое знание, что это все принадлежит одной ей, ей — больше, чем всем, ревность к тому, чтобы другой — особенно я, на нее похожая — любил бы деревья — луга — путь — весну — так же, как она. Тень враждебности падала от ее обладания — книгами, музыкой, природой — на тех, кто похоже чувствует. Движение оттолкнуть, заслонить, завладеть безраздельно, *ни с кем* не делить... быть единственной и первой — во всем. И так сильно это цвело в ней, что, процветая детство и отрочество, не нашло выхода в час расцвета, кроме как (когда настал час овладения человеком) повернуть парус на 180° — отвести, вдруг, руки, не хватать — отдавать, разделять с — соперницей — мной, в период любви к тому же. Щедрость слишком богатого, чтобы что-нибудь — пожалеть.

Лицо мамы улыбается. В ее улыбке и жалобное, и удалое. Лёра дружески кивает нам, любясь ковром травы и цветов. Андрюша — в другом тарантасе, с новой фрейлейн — пожилой; у нее квадратные щеки и странное имя — Преториус. Колеса тяжело въезжают в светлый речной песок; горы кончились, потянулись речные кусты плоского берега, и повеяло сыростью. Она с нами, невидимая еще, но уже все *полнящая*, и когда мы уж нацело забыли леса и холмы, предали их и безраздельно предались ей — когда от внезап-

ной прохлады, от водного ветра, рвущего за уши, волосы, и шляпы — с голов, лицо опьяненно плывет ей навстречу — тогда, всегда вдруг (о чудное слово, так опороченное-испорченное — литераторами), как ни жди, как ни дыши, как ни нюхай — вдруг взблескивало вдали узкой, узчайшей полоской, непомерным меж землей и воздухом блеском, и он начинал расплескиваться — и там за кустами, и там... И дикими от упоения голосами мы кричали: «Ока, Ока!..»

И тогда — впереди, за ней, над ней, на другом уж — калужском — берегу появлялись очертания Тарусы — домики, и сады, и две церкви — справа — низко, прямо над рекой — собор; круто вверху, на холме, слева — Воскресенская церковь. Но уж и их мы не видели, потому что, как в волны пловец, кидались в спор старших, как ехать: «низом» — холмами, над Окой влево, или «вёрхом» — вправо, через Соборную площадь вверх по горе, с заездом к Добротворским и широкой дорогой, в объезд, меж лесных полян, загибая к полю за дачей, и мимо орехового оврага по «большой дороге», подъезжая к даче — сзади, с поля и леса, а не от реки. Старшим было легко решать: где лучше дорога, где с грузом багажа легче проехать. Но — нам! Выбрать! Из двух драгоценностей! И когда давно лошади уже бежали, звоня о себе и о нас, по верхней — или по нижней — дороге и никто нас не слушал, мы все еще отчаянно жалели о пути, которым *не* едем, потому что сердце вмещало оба, не отдавало, спорило с сердцами взрослых.

Десятилетия спустя сердце в тяжелые годы сказало об этом — стихами, и я приведу их здесь.

Здесь поезда кричат, как пароходы, —  
Песчаной мели раскаленный крик.  
Мне чудятся Оки сиреневые воды,  
Лесов березовых серебряный язык.  
В сиреневой тени, ромашкой зацветая,  
Таруса спит смолы янтарным сном.  
Игнатовской горы за Тетиным сараем  
Рыже-зеленый виден мне излом.  
А бубенцы звенят, балует пристяжная,  
Ореховый овраг до боли мне знаком.  
За «старым садом», древней елью рая,

Грибом замшелым притаился гном.  
Заслыша нас, ворота раскрывают,  
И самоварным понесло дымком,  
Меж ив и тополей в сирени утопая,  
В сиреновом ветру купая окон жар,  
Нас дача старая встречает добрым чаем,  
Как год назад. Все тот же самовар,  
И блюдо творога, предчувствуя корицу,  
Сметаны ждет. Биток холодный — мне.  
Величине яиц крутых мой глаз дивится,  
И куст сирени дышит в кувшине.  
И, птичий щебет с веток подымая,  
С реки — ленивый пароходный крик.  
И дремлющий петух крыло приподнимает:  
— Кук-кареку-у... «Мам, это что — пикник?» —  
И взрослые идут, а нас опять... «Скорее!  
А то пропустим волны...» И с горы  
По лопухам речным, мечту лелея,  
В косые волны, в тину, от жары!..  
— К глазам волною подступают слезы,  
Тоска чужбины мне сжимает грудь, —  
Идут, идут военные обозы —  
О старой, мирной жизни позабуди!  
И жизнь моя — шли годы, годы, годы —  
Передо мной проносится, и в миг.  
— А поезда кричат, как пароходы,  
Песчаной мели раскаленный крик.

Утро. Тишина. Я почему-то одна на верхнем балконе. Пересвист птиц и шепот листвы. Тополиные ветви у самых перекладин балкона. Я не замечаю перекладин (от перил и до верха), они не мешают; я — там... Там! Реденькой зеленью, почками и первыми листиками, клейко, одурающе пахнущими (тополиные почки!), осыпаны прозрачные лабиринты ветвей. Легко, как во сне, зеленеют неполным цветом водопады плакучих берез, за которыми блещет Ока, и солнечность воздуха, жидким зеркалом обнявшая деревья, балкон, меня, и немислимая игра солнца и тени в листьях — апрель... Это слово полнит меня, расширяя дыхание, и второе вплывает в него — Весна...

Мне шесть лет. Вокруг меня и во мне — совершенное счастье. Я помню его — до сих пор. Но вдруг и оно — растёт! (То, которое *не могло* быть больше!) Из-за старого сада, из глуши надлуговых рощ — сказочный звук: кукушка! Как год назад — и как два — как давно, как всегда... Я считаю ее — не птичий, совсем другой, певучий, но чуть тупой, и цвета пыли, молоточек легко роняет свой звук — настойчивый и всегда чуть прощальный, двойным легким стуком — о воздух, синий, и теплый, и которому нет лет.

Роясь под нижним балконом, я, не веря глазам, нашла свой потерянный прошлогодний мяч (не очень большой, серый). О нем было *столько* слез! Кочерга его долго гоняла под домом, в отдушину... не выкатила! *Остался* там! Я не верю глазам, я не верю счастью: он *тут!* Чуть сырой, но весь целый, круглый, тугой, *мой!* Он не лопнул! Он мерз, мок один, целую зиму!.. *Сам* выкатился? Я прижала и глажу его, нюхаю (оглядываюсь, никто не видит) — пробую, чуть, на язык... Неужели может быть *большее* счастье? Не может!.. Но гудит пароход и зовет... Пахнет корицей: «Де-ти... где вы?» — Лёрин голос из окна.

По клавишам, перегоняя друг друга, мамыны руки. Мама играет! Ноги бегут вверх по лестнице до балконной двери — сами собой.

Оно приходило с самого раннего детства, оно было давнее, чем все внезапное, как солнечный (хоть скорее было — лунный) луч, — ощущение, что... все это уже *было* когда-то, вот точно так, все — открытая дверь, и кто-то сказал именно это, и так все сидели, и — дальше мысль не шла. Ощущение пропадало мгновенно, как недовиденный сон, и поймать его было нельзя. Но все существо, его испытывшее, было взволновано касанием к неведомому и достоверному и более твоему, чем всё.

Мы узнали его — и ждали — и вспоминали, а оно само было — воспоминание. Зов. Чей? Чего-то, что не надо было забывать. Это ощущение, повелительное, как сама жизнь, наступало с внезапностью откровения, оно просияло, как дырочка в объективе фотографического аппарата, вбирало в себя миг, только что повторившийся, когдатошний, и, ни-

чего не разъяснив, только омывало собою и проваливалось в невозвратимость, заметя за собой след такой же силы беспамятностью. Я любила его и боялась. Муся, как более раннетворческая натура, может быть, глубже заглядывала в него, и острее оно к ней приходило, — но и она не могла его удержать. Мы говорили о нем не только друг с другом — а и с Андрюшей, и оно было ведомо и ему. Это было немного из области снов, но ближе к кошмарам во время болезни — их так трудно было рассказать. И было в нем еще (в конце его) — *предчувствие*, что и то, что *сейчас* будет (что кто-то внес кувшин или что кто-то бежит по лестнице), — это *тоже* было. Оно не ложилось во время, последовательность не довлекла над ним — предчувствие было и воспоминанием. И когда, вдруг, в миг, когда мама клала руки на клавиши, а кто-то нес лампу, оно вдруг загоралось, ослепляло и уносилось — ты стоял, словно купленный какою-то другой страной, позванный назад — в незапамятность...

Пожилая, неуклюжая из-за толщины, вся какая-то квадратная, фрейлейн Преториус, не поспевавшая за нами и бывшая вокруг нас — один сплошной вздох, в минуту опасности отличилась неожиданным мужеством: прямо на нее, расположившуюся с нами на бугорке под березами, бежала, откуда ни возмись, — бешеная собака: пена у рта, опущенный хвост, — но крепкая рука Преториус нанесла ей по голове удар мирным толстеннейшим словарем, — и собака — от неожиданности, что ли? — побежала дальше. Это возвысило фрейлейн в наших глазах.

Думаю, что от необычной «дачной» природы тарусской, столь богатой горками и пригорками, и от нас, детей, не по вкусу ее немецким понятиям о детях, Преториус отдыхала, несмотря на далекий холмистый путь, — только у Тети. Чинный, нарядный, богатый, хоть и в миниатюрных размерах, дом с широкой террасой (пузатый красный медный самовар, белоснежность скатерти и салфеток), среди песком посыпанных дорожек сада, затейливых клумб, кустов цветущей сирени, с двором, полным живностью всех видов и всегда первосортных: петухами, индюками и утками, оперение которых напоминало цветные картинки из хрестоматий; липы, яблони, ягодные кусты — все тешило глаз, все было как надо. И обед и чай на террасе с ритуалом нагретых

тарелок, хрусталем вокруг разноцветных провалов варенья; искусными десертами, синими с золотом *ginse-bouche*\* — это было, видимо, идеалом Преториус.

Беседы с хозяйкой, старше ее, чужестранкой, как и она, в этой стране, — некогда, как и она, гувернанткой, ныне же барыней, — уютом воспоминаний о прошлом и о тех краях наполнило душу фрейлейн усладой и отдыхом от сложного узора нашей семьи.

Спустив черепаховые дедушкины очки на кончик носа, глядя вверх, чуть наклонив голову с двойным подбородком — ниже шла бесформенная пышность оборок фланелевого — часто и летом — платья, — Тьо, сидя, производила несколько даже импозантное *впечатление*; когда же вставала, оказывалась столь маленького роста, что платье ее — всегда фасона маленьких девочек, хоть и до полу, и очень большой ширины, — представляло незабываемую картину. Оно усиливалось видом сидящего крошечного пучка волос на затылке, украшенного черной кружевной наколкой. Во всем было что-то грушеобразное.

Но уют, шедший от нее, от старинных устарелых ее привычек, от раз навсегда заведенного, комфортабельного, нарядного ее быта, чинного, хоть праздного, — и праздничного, несмотря на порой чрезмерную нам, детям, чинность, уют, на который дети так падки (как кошки!), искупал все запреты и все замечания, сыпавшиеся на нас, как из рога изобилия. Лейтмотив же их был один: «Мунечка, *ne sois pas violente!*» — «Асечка, *ne sois pas agaçante!*»\*\* (Марусино гневное своеволие, как и моя склонность всюду лезть, все спрашивать и часто жаловаться на бесцеремонность со мной старших детей, — вошли в поговорку.) Тьо не одобряла многое в нашем воспитании, считая его вольным; но, нежно любя маму и видя трудность ее жизни, извиняла ей.

На диванчике под дедушкиным портретом — серый призрак его, с худым, уже тающим в памяти лицом, с сигарой в руке, уходил в сгущавшиеся сумерки полутемной комнаты — Тьо рассказывала нам о прошлом.

\* Чашка с полосканием для рта (которую подавали после еды) (*фр.*).

\*\*...не будь так резка! ...не будь так назойлива! (*фр.*)

В эти часы глаза Маруси становились совсем другие — светлые, широко раскрытые, они были печальны и тихи; и я уже знала слово, которым звалось то, что в них жило и томилось, — родное слово *тоска*... как облако, оно обнимало нас, и не было ей утешенья — потому что безутешна была даль, в которую ушло детство Тети, и синее невшательское озеро, и подруга ее юности Laure (Лоор), и мамино детство, и дедушка — и в которую уйдет и Тетя, и уют этого вечера, и — когда-нибудь — и мы...

Когда за нами приходили ушедшие к Добротворским старшие и надо было идти домой, — приходилось сделать усилие, чтобы вернуться к дню. Но день властно будил, руша на нас реальности, которые нельзя было оттолкнуть, — корзины яблок, коробки конфет, даваемые Тетей с собою, поцелуи, шум, говор людей... Молодежь шла провожать нас — горделивая старшая Надя, добродушная, с лукавинкой, младшая, Люда, молчаливый, застенчиво улыбавшийся Саня. Мы хватили с дороги обломки камней, сверкавших, как звезды. Карамели таяли во рту.

И был еще один тарусский мирок, делавший лето еще зеленей, жару — жарче: сад на Воскресенской горе, где жили «Кирилловны». Их было всего две: Мария, повыше, и Аксинья — потолще. Но вокруг них жило еще много женщин в ситцевых платьях и белых платочках, и звали их люди — «хлыстовки». Они жили в ягодном густом саду и были шумно-приветливые: угощали ягодами, брали на руки, ласкали, певуче приговаривая и веселя, и жизнь сразу становилась невиданной (нам) — певучей, как их голоса, веселой, как хоровод, и немножко хмельной, как когда в праздник дадут капельку вина в рюмке.

Смутно мы слышали, что хлыстовки как-то особенно верят в Бога, что у них есть свой «Христос» и своя «Богородица», и их нам даже показал кто-то; но, когда раз, придя из Тарусы в наш «старый сад», они там без спросу натрясли себе уйму яблок (высокая, в сером платке, «Богородица», и рыжий мужик, которого звали таинственным святым словом «Христос»), — мы в нашу тягу к «хлыстовкам» — таким ласковым! — вглотнули немного насмешливости и смутного, сильного осуждения. Кирилловны были очень старинно-



хозяйственны, гостеприимны. Они отличали Мусю за ее ум и крутой нрав; особенно любила ее молодая их Маша, некрасивая, говорливая. И было вокруг них — волшебство.

Но все это — и радушный, веселый дом Добротворских, и мирок Тьо на фоне озера и Альп и заветных воспоминаний, и хлыстовки, их жаркий быт, чуть жутковатый, — все тонуло в счастье вернуться домой, в наше лесное гнездо, так странно звавшееся «дачей», — в музыку, пение, сирень и жасмин, в тополя, ивы, березы, в уже расцветшую на небе звезду.

По утрам Муся играла на рояле. Она делала большие успехи. Мама гордилась ею. Но в чтении у них выходили неприятности. Муся стремилась читать книги взрослых. Развита она была не по годам.

Лёра, наш добрый гений, заступалась за нее, выгораживала, пыталась смягчить мать. Но единения меж мамой и Лёрой не было. Мама, невоздержанная, порой задевала Лёрину гордость. Лёра парировала кратко или — воздерживалась; в этом было осуждение ею мамы. Мы любили обеих по-своему — горевали.

От Лёры веяло чем-то особенным; романсы ее, ее голос, высокий и чистый, горел прихотливыми нотами, коих не было в мамином. Лёра давала Мусе свои детские книги, журнал «Родник».

Вечерами, за роялем, пели. Мамин голос был торжественней, и была в нем, в русских песнях, — удаль и печаль. В Лёрином — звучало иное, грациозное веселье, жившее в доме до нас, при первой папиной жене, ее маме. Читая Маринино «Мать и музыка», не могу не возразить на то, что она там пишет о Лёре: Марина *очень* любила Лёру и в детстве, и в отрочестве. Разойдясь с Лёрой, позднее, она невзлюбила *все* в Лёре и, не считаясь с явью, перенесла свое позднейшее чувство на детство, тем исказив быть. Такое Марине было свойственно по ее своеволию — с былью она не считалась, создавала свою. (Мама в ее писаниях кажется мне тоже упрощенной, схематичной.)

В то лето запомнилась, кроме повторных далеких прогулок в Пачёво, наша частая ближняя прогулка — «на пеньки», тропинка молодым леском меж полей со срубленными деревьями к выходу на луг. Мама и мы ложились на траву, говорили бог весть о чем. Это было что-то сходное с зимним «курлык».

18 июня, в день Боголюбской иконы Божьей Матери, в Тарусе ежегодно было торжество. Со всех окрестных сел и деревень стекался народ. Несли икону. Воскресенская гора была густо покрыта народом. Обнаженные головы мужиков, парней, ребятишек были повернуты к дверям Воскресенской церкви. Пестрые платки загорелых девичьих и бабьих лиц вокруг были как цветочные лепестки. Нам передавалось волнение народа. Я плакала, что мала, не увижу. Муся проталкивалась вперед. Чьи-то добрые руки поднимали меня. Легкий трепет золотых хоругвей над толпой, звук серебра и меди в голосах церковного хора. Сверкание и лиловая синева неба. Где вчера был труд и пот сенокоса — нынче неземной праздник. Благоговейные лица старых и молодых. Хор ширится. Не руками, пением верующих поднята и плывет над горой Боголюбская...

Гущина в это лето разрослась так, что не стало с пологого холма нашего видно Оки. Пришлось вырубать. Папа, работавший в огороде и даже до некоей страсти эту работу любить, убил лопатой не одну змею за лето. Нас учили отличать ужа от змей, но Муся и я недоверчиво относились к этой науке. Андрюша удил рыбу — то с репетитором, то с Саней, то со сторожевским Мишей, вежливым, застенчивым мальчиком. Как и в те годы, ездили по Оке на лодках: чаще — большой — Добротворских, и маленькой — нашей. По Оке плыли плоты. Вечерами на них горели огни. Плотогоня порой появлялись на берегу; тихие рыбаки, жившие на берегу по пути к Тарусе, да и многие тарусяне, не любили их, боялись: они пили водку и при случае могли и пугнуть озорной удалью мирных людей. Этим летом стал ходить новый пароход, вдобавок к старым, «Ласточке» и «Екатерине», — «Иван Цыпулин».

Он гудел иначе, бил воду колесами круче. В страхе пропустить волны мы звали мать бежать с горы купаться, узнавая еще у поворота от Алексина и Велегожа его гудок. Муся плавать научилась быстро, воды не боялась (мама, плававшая отлично, радовалась смелости Муси). Ее имя — Марина — обязывало. Мы знали, что «Марина» — «Морская». Как и то, что меня мать назвала Асей (Анастасия — «Воскресшая») — из-за тургеневской Аси. — «Прочтете поздней!»

Но раз отличилась и я. «Плыви!» — сказала мать, держа меня, шестилетнюю, на вытянутых руках. Я не поняла; под-

ражая ей, бросилась с ее рук — в воду: мутная зелень — в глазах; я захлебнулась, потеряла сознание. Мать, в ужасе, бросилась вперед за исчезнувшей мной и успела схватить меня за пятку. С тех ли пор начался мой *страх воды?*

Иногда весь день лил дождь. Как уютна тогда была эта внезапная утрата всех счастливых жары, листвы, беготни на свободе! Одетые потеплей, мы шумно населяли собой сразу — весь дом: и наполненные кувшинами и крынками полевых и садовых цветов нижние комнаты, где неожиданно трещали, дымя, затопленные печи, — трехконные, высоко поднятые над землей, просторные — столовую с глубоким низким дачным буфетом и балконной дверью, роялью и потертым диваном, и спальню, выходившую окнами и в близбалконную сирень, и — под углом — на заросшую вновь крокетную площадку, и кухню, в которую надо бежать через угол сеней, — низкую, полутемную, с маленькими, по-деревенски, окошками и такую жаркую, точно она вся была — печь, и где пахло то ржаными сдобными лепешками — как и в кухне Добротворских, — то тушеной говядиной с зарумянившейся в соку картошкой, и где нас ласково встречали кухарка и горничная; и — «вверх» — наши две светелки под крышею, по которой стучал дождь, — налево Мусина и моя, направо — Андрюшина. Тогда оживало все то, что мы, за вбеганьем и выбеганьем обычных ясных дней, — не замечали: разных узоров одеяла на раскладных полотняных кроватях, грубые милые табуретки с глиняными тазиками и звонким ведром; наше окно глядело туда же, куда боковое окно спальни: в провалившийся глубоко внизу крокет и кусты малины, окаймленные такими густыми и высокими деревьями, что они скрывали от нас «сторожевскую поляну» с плохеньким домом сторожей и городской богадельней; Андрюшино окошко — в то, что только более плоско, было видно из рояльного окна столовой — тропинка в «старый сад» с громадной елью и низкими кронами яблонь. Но *больше* всего мы населяли — там был наш штаб — верхний балкон, где в клетке из — доверху — перекладин мы всласть слушали (даже брызги летели!) дождь, ветер в хлещущих ветках, клекот летящих по желобам ручьев и где мы гнали палками листья по желобам свежевываемых гулких крыш.

Жар, лившийся с неба, жег шею, лицо, лоб. Босые ступни обжигались о раскаленную землю. Разве забудешь счастье припасть к краю ковша, почерпнутого почти на бегу из старой огромной бочки в сарае, полутемном, спасенном от солнца в тот час? Отчего вода в бочке оставалась холодной? Она была почти как ручей, родниковый, по пути к городу из-под камня. Было ли, позже, наслаждение большее в жизни, чем тот ковш!

В это лето у нас впервые появились две вещи: помидоры и баклажаны. Слова были странные, новые, особенно второе. Мама полюбила баклажаны, из них что-то делали, вкусное, мама хвалила. Я дивилась, почему «синие» — это баклажаны, когда они вовсе не синие — черные. Но когда я попробовала и то и другое, оказалось совсем невкусным — как папины «маслины» — черные горькие сливы, которые он привык есть в Италии. Зачем же они там едят такие гадости? Почему они нравятся взрослым? И икра им нравится — тоже гадость! А помидоры... просто противные: их забыли или посахарить, или посолить.

По сторонам колеистой дороги появлялись мамини «иммортели» (не те позже узнанные и увиденные соломенно-жесткие, пестрые — солнышками — бессмертники) — мелкие серо-пепельные, мягче кошачьих лап, легкие яйцевидные шарики. Мама и мы встречали их как друзей! Мы знали, что по-французски «immortel» значит «бессмертный». Они не увядали, как все. А потом что-то начинало делаться с летом — все как-то изменялось — и облака, и Ока, и деревья... Начинались другие звуки и запахи, и мы, в горе, уж думали, что это кончается лето, — когда в ставшем по-особенному синим небе, паутинкам в «старом саду», грибам и знакомому запаху сырой соломы мы неосознанно еще оживали в новую радость, в предчувствие, что это вовсе не «лето уходит», а что это «*пришла осень!*»

Изменники! Еле забрезжившую грусть мы продавали за новую радость, бездумно купаясь в щедро лившейся роскоши сентябрьских роц! Мы не успевали. Это было состояние опьянения. Точно во вспыхнувшей зеркалом панораме открывался волшебный мир Осени. Но ею кто-то не давал надыхаться — чья-то рука так быстро меняла картины, что

только бегом могли ноги поспеть и глаза хоть немножечко надышаться: стволы и пеньки грибной рощи, где мы всей семьей — впервые — собрали целую корзину грибов. Мамой на нас надетые головные платочки, Мусин — голубой, мой — розовый; ветер. Верхом, качая загорелые ноги, скачет на гнедой лошадке баба, спеша на «гумно». Таинственность этого слова зажигает мгновенно (на нашем бегу) предчувствие того, что настанет сейчас: над криком мужиков и кружащимися в необычайной упряжи лошадьми, над пестрыми платьями и платками помогающих в молотье баб — летящий мелкий желтый «снежок» половы. Смутная память о — «когда я была маленькой» — запахах, взлетающих над рожью.

Вечер. Ветер. Рояльные звуки из окон в музыкой гремющую листву. За аллеей «большой дороги» огненная полоска заката, под тучей. Грушевые карамели во рту — длинными зелеными карандашиками — от сосанья из мутных делающихся блестящими и прозрачными и тоненькими...

Всей семьей мы выходим в вечерний осенний ветер, «большой дорогой» — в поле. О чем-то говорят старшие, о своем. Бежим мимо них вперед, дышим ветром, машем хлыстами с листиками на конце. Мама раздает еще по конфете. Уют дороги меж деревьев вдруг обрывается об огромное неприятное поле. Полоска заката узенькая, как осколок грушевой карамельки. Ветер бушует, платки рвутся с голов. У, как холодно... Поворачиваем.

Только наутро увидели, по какому лесу мы шли вчера темным вечером, обходя овраг, поросший ореховыми и другими кустами. Какой стал овраг, летом зеленый! Как мог стать *таким* пестрым, рыжим, рядом — красным, а рядом — светло-желтым, а рядом — темно-рыжим, и потом — бурым и темно-красным, малиновым! Только теперь видно, какие разные кусты это были все лето, перемешавшиеся в зеленой гуще овраговой кручи! А опушка леса большой дороги, она же всегда была такая зеленая, что даже синяя там, где дубы — а дубы были плохо видны, заросшие вокруг и с боков осинами и березами — теперь каждая их ветвь как выточенная, каждый лист вырезной, точеный, как желудь и желудевая чашечка, — и вместо синева, темно-зеленой, — все дубы играют в красное и в золотое, всеми ветками — и они совсем отдельно стоят от осин и кустов. Дуб — это царь де-

ревьев, как лев — царь зверей. А у грибов царь — *белый* гриб! А у ягод — а у ягод совсем нет царя, потому что малина — лучше клубники, а земляника — лучше малины, а полевая клубника лучше, чем земляника, а куманика... — и так и идет без конца.

Поля — сжаты (стриженные). У дорог — те, осенние, на светлом мясистом стебле — цветы: шапочка мелких, светло-розовых, «прошлогодных». На зеленых, узелками, стеблях — крупные, синие, с плоскими лепестками. Годы поздней мы узнали имя: цикорий. Кучи соломы; мы в нее зарываемся, она пахнет. Яма в старом саду, летом заросшая густо, снова, как год назад, полна зеленой водой. И в упавшей коряге желобок полон воды. Звук пастушьей дудки. Сторожевские дети роют у холмика ямку, с дырой наверху для дыма, жгут под ней костер и пекут картошку. Убежав от фрейлейн, несем туда сташенную на кухне еду.

Отступили назад летние запахи — бузинный, тополинный, липовый. Запах горячей от солнца малины, запах купанья, речных лопухов, матово-зеленых, с белой подкладкой — пряный, немного противный — и все-таки родной. Пахнет прелыми листьями, грибами — и этим пахнет не просто в воздухе, а — в *ветре*. Запахи не стоят и не веют, как летом, а — несутся, несутся. И мы несемся с горы отчаяннее, чем летом: скоро все кончится. Каждый день мы в тоске выбегаем в «старый сад» и на большую дорогу: глядеть, как много уже со вчера листьев сорвано ветром, — как все пустей ветки, все больше неба, все меньше леса. Но в то время, как глаза печалились, — ноги радовались: загребая все глубже гущу лиственного ковра.

Наконец ветер срывает все, почти совсем все, и свистел в ворохах голых веток. Тогда под ногами — они шли в мягком по щиколотку — оказывалась вся сброшенная сверху краса — малиновая, желтая, рыжая, но она бурела, гасла, превращалась в шорох, в смесь *слишком* сухого и *слишком* сырого.

Начинался неуют осени. Ока не плыла медленным голубым зеркалом — она была сине-свинцовая и сердитая, и по ней шла рябь. Шли дожди. На нашем верхнем балконе, за прямыми его, как дождевые струи, серыми решетинками, одетые в драповое, мы низали бусы, срывая темно-янтарные ягодки с густых рябиновых кистей. И как терпеливо

и жадно ни старался рот прожевать... проглотить — ничего, кроме огорчения, не получалось от упрямой рыжей мякоти — такой горькой, что дрожали даже игла и нитка, пронизавшие красавицы ягоды.

Когда после двух-трех таких дней дождя мы выбегали на солнце — было так холодно и мокро — руки делались красные и хотелось — и было стыдно — идти греться на кухню. От луж все кругом было другое, чужое... И впервые за все лето вдруг вспомнилась — Москва.

А уж в доме — сборы. Мы уезжаем. Тюки, корзины, портпледы. Ямщики, тарантасы. Запах лошадиного пота, страстно любимый. Муся его хочет — себе. Мне уступает запах дегтя (колеса, травинки). Спорить некогда. В миг, когда начинает дребезжать колокольчик, и детей рассаживают меж взрослых, и замер дух перед счастьем пути — в сердце кто-то поворачивает нож расставания.

— Прощай, Таруса! Прощай, Ока! — в слезах кричим мы.

Вечно бы так ехать! И никогда не догонишь даль! Но и в блаженстве дороги — темные пятна. Это всё виноваты старшие: ну что из того, что Мусю опять тошнит? Большая беда! Подымается шум. Никто не хочет сидеть рядом с Мусей: ни мама, ни Лёра. «Давайте ее мне! — мирно говорит папа. — Мятных пастилок, воды... Ничего, ничего... Все пройдет, все пройдет», — повторяет папа, похлопывая по плечу Мусю, — а вот и станция уж видна, и тошноте конец. И вот уж и это умчалось куда-то, вместе с отъезжающими от станции тарантасами, уже не нам звенят колокольчики... Как слабо уже! Ведь только что *так* громко звенели!

Кончилось волнение перед приходом поезда — с тюками, корзинами, портпледами, саквояжами... Ух, хорошо! Как быстро летит поезд — та-та-та́м, та-та-та́м, та-та-та́м... — «Дети, сейчас же отойдите от окон!» Вот взрослые — всегда так. Если не вывешиваться, голову не высовывать, — не увидишь во-он того дерева и тех коров за оврагом. (Они — точь-в-точь как те игрушечные в коробке, под елкой: рыжие с белым — и ма-аленькие...) И вот уж их нет — а бежит овраг, кусты бегут, бегут, кружатся, и один весь как будто фарфоровый: листья на нем все целы, все съёженные, коричневые, и ветер по ним прозвенел, — это от поезда ветер!

— Мам, а помнишь...

Но мама не слышит. Мусю, кажется, уж опять начало тошнить? «Муся, сядь сюда, лицом к движению».

Я гляжу на бледное лицо Муси. Мне жаль ее, но я тайно горжусь. Меня — я вот маленькая и «слабая» — а меня никогда не тошнит!

Мама устает от дороги и сердится. Лёра — всегда спокойна. Она ласково говорит с Мусей, старается ее отвлечь, рассмешить. Муся улыбается ей через силу. «Я говорила, фрейлейн, что не надо было ее так кормить на дорогу, это всегда хуже...» — недовольно замечает мама.

— Та-та-та́м, та-та-та́м, та-та-та́м... — отвечает поезд.

А я уж сплю, привалясь о толстый портплед.

## Глава 13

НАША МОСКОВСКАЯ ЗИМА 1901–1902 ГОДОВ.

МУСИНА ГИМНАЗИЯ. «ЗОЛОТЫЕ КУДРИ».

НОВЫЙ РЕПЕТИТОР. МАМИН ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО.

КНИГИ. МУСИН ХАРАКТЕР. МАМИНЫ РАССКАЗЫ.

МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА. РАМС. ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ

«Москва! Как много в этом звуке...» Москва! Вечер. Черно. Блеснул вокзал с матовыми шарами стенных ламп и высокими окнами, с великаньим самоваром и всякой снедью, с шоколадом и мячиками апельсинов, с ватагой носильщиков в белых фартуках, с бляхами на груди — наш такой ласковый, точно он нам родной, — и извозчики ласковые, особенно — старый (зато молодые — веселы...). Нас рассовали меж взрослых, заткнули в пролетки, как дорожный багаж, и я уже хнычу, потому что хочется, чтобы верх пролетки был поднят (тогда так уютно под его круглым шатром), — а кто-то сказал, что дождя не будет, чтобы верха пролетов спускали — так удобнее для вещей. «Ася, да ты замолчишь или нет? Затянула свое “и-и-и”! Какая мука с этими детьми ездить! Бери с Муси пример: она никогда не плачет». («А зато ее сейчас затошнит...» — не смею сказать я.)

Мы переезжаем огромную площадь перед Курским вокзалом. Она вся блестит от дождя, и в провалах луж — столбики



от фонарей; они дрожат и переливаются — желтые, совсем как от месяца, отраженье, в Оке. Подковы лошадей чмокают о лужи. Москва!

Одноэтажные и двухэтажные (окраина) домики, сияние низких магазинных окон, золоченый крендель над булочной, запах — жареных пирогов? борща? — из раскрытых в свет дверей трактира. Песня. Грохот колес по булыжникам мостовой. Поворот из переулка в переулок. Церковки... Сон прошел. Но...

Уже радость ехать — домой, счастье встречи с Москвой всех нас разбудили и примирили. Мусю уже не тошнит. Мама смеется. Лёра кивает нам, чуть подшучивая... Из соседней пролетки Андрюша весело говорит что-то... Голос папы: «А вечер холодный... Ты не простудишься, Маня?»

Садовая! Широкая, тихая улица: большие дома, особняки, рядом — маленькие сады. Опять церковь! А почему бывают разные купола? У одних — синие просто, у других — синие с золотыми звездами, а у других — золотые... А колокольни...

Мы — дома. Наш, прежний, все тот же милый дом обнял нас летним запахом пустых комнат, нафталина, печенья, еще чего-то... Стуком ставен, голосами знакомой прислуги, суетой и жаром первого вечера... Уже несут самовар. Хлеб с маслом и колбасой, яйца, сыр, ватрушки, калачи... В белом молочнике с синей, выпуклой ласточкой-ручкой! — сливки. А на дворе опять дождь...

В эту осень — наших девяти и семи лет — Маруся поступила в первый класс Московской 4-й гимназии на Садовой, близ Кудринской\*. Это было тяжелое многооконное здание двух цветов — светло- и темно-желтого.

Но то, что случилось со мной, когда я в первый раз с гувернанткой зашла за Мусей в переднюю гимназии, — меня потрясло. Сколько я ни слыхала о том, как дразнят там новичков — в мужских гимназиях их даже жестоко били; шел слух, что мальчику вывихнули или сломали ногу — это все было — рассказ о где-то там, с кем-то... Но когда я оказалась окружена толпой девочек в коричневом и черном, заплывавших

\* Ныне площадь Восстания.

вокруг меня, дергавших меня, кричащих, строящих нарочитые рожи, — я была ошеломлена и готовилась к реву. Уже шла мне на помощь гувернантка — но не менее, чем озорная ватага девчонок, меня потряс холод, с которым не заступилась за меня Муся. Возмущенная предательством, я шла с ней рядом по Садовой и Ермолаевскому переулку (мимо церкви, где Мусю крестили\*) — домой, где мы снова будем сестрами, такими похожими, связанными целым миром всего. Обиды от нее дома — не потрясали, они были в порядке вещей. Но обида *такая* — ее примыкание к врагам, травившим (не зная еще, может быть, этих слов, я их чуяла) — была как дурной сон. Я понимала, что заступиться за меня ей мешает ложный стыд, но этим не все было сказано: будь *только* это — она бы чувствовала вину передо мной. А этого не было. Как в дурном сне — такие бывали во время тяжелых инфлюэнц, простуд с жаром — Муся в час наших приходов за ней вдруг душевно примыкала к дразнящим.

Эти заходы в гимназию стали мне ежедневной мукой. Но маме я, помнится, ничего не сказала — тогда, по крайней мере. (Позже мама узнала и бранила Мусю.)

Но однажды, когда девочка, с которой Муся дружила более чем с другими — Несмеянова — запрыгала с девочками передо мной, крича: «Цветашка, Цветашка, красная рубашка!» — я, для себя неожиданно, ответно завизжала ей в лицо: «Несмеяшка, Несмеяшка, *желтая* рубашка!» Контраст моего маленького роста (я была очень мала, казалась моложе моих лет) и, в отчаянии, дерзкой самозащиты произвели магическое действие: с этого дня меня перестали дразнить. Честь была спасена. Тень, павшая на мои дни, исчезла.

Утра мои, без Муси пустые и тревожные перед уходом в гимназию, стали ясны и спокойны. Я вставала много ранее мамы и занималась вырезыванием бумажных балерин. Вырезывалась одна из сложенной во много раз бумаги — и вдруг хрупко множилась в цепочку таких же, как во сне, *точно* таких же! Я смотрела на золотую искру в цветке на обоях, убеждая себя, что «сейчас тут появится волшебница». Я прокрадывалась вниз узнать у маминой горничной, не просну-

\* Меня крестили в церкви в Благовещенском переулке.

лась ли мама. Нет, еще спит. Косые лучи солнца, выпуклые, будто трехмерные от кружащейся в них пыли, перерезают гостиную, скрывая часть «Лёриного» трюмо. Это трюмо Лёриной мамы. Я стою перед ним: я похожа на Мусю лицом, только худей и бледней. Ровная полоска волос на лбу, русых; глаза зеленые, темней, чем у Муси; прямой нос (длинней, чем у Муси); пухлый рот. «Это — я... я...»

Мама зовет! Бегу в спальню, влезаю на темно-красное ватное одеяло, ложусь к маме. Затем мы — в столовой. Пьем железный кофе с молоком из кружек с синими птицами и едим мелкую-мелкую (завитушками) сдобу от Севастьянова. После чего — урок с мамой. Это уже вторая зима. Я пишу хорошо, прямым почерком. Это немножко как рисовать.

В шесть лет, перед первым уроком вниз, у мамы, мы сказали молитву перед учением «Преблагий Господи...».

Однажды Маруся (мы все чаще звали ее так) принесла из гимназии маленького формата книжечку «Золотые кудри» (автором мне мерещится Элиот, но, может быть, — аберрация). Забыла ли она ее дома в парте или оставила прочесть после — но книжечка попалась мне в руки, и я читала ее не отрываясь. Что-то восхитительное было в ней: девушка в золотых кудрях — башня замка — (может быть, ее звали Эллен?). Чей-то далекий путь, чья-то разлука и над полем с костями (битва?) ветер и реянье птиц. Сердце пылало, как от Ундины, распахивалось шире и шире — в эту минуту вошла Маруся. В моем восхищении и растерянном лице она прочла все. Молча подошла она ко мне, взяла книгу, оттолкнула меня и спрятала в парту. Только тогда, надменно торжествуя победу, она проронила: «Читаешь чужие книги? Без спросу?» Своего ответа не помню — он потонул в горе о прерванном счастье и о жестокости надо мной. Но и спорить, и просить мешало что-то: то же чувство, что запрещало просить старших подарить что-нибудь или посягать на владенье «Ундиной», если твое — «Рустем и Зораб», — заставляло страдать молча.

Разлука с «Золотыми кудрями» была суждена, как разлука в книге. Спорить было не с кем. Но острота боли памятна мне до сих пор. Марина унесла книгу и никогда не принесла

ее вновь. И я знала, что ее страдание ревности оттого, что в ее наедине с книгой вкрался третий, — не менее сильно, чем мое.

Мама не узнала об этом. У нас и от нее были тайны. От нее, которая... Но она бы вошла с праведным гневом в узор наших скрестившихся мук, а тут и гнев ничему не помог бы. Мама была прямее дочери. Стариннее. И ее: «Как? Чтобы... мои дети...» — не спасло бы тут ничего.

У Андрюши был новый репетитор, Александр Павлович Гуляев: невысокий, с назад зачесанными густыми белокурыми волосами, усами и бородкой. Голубые его глаза всегда смеялись, и довольный (а может, застенчивый) хохоток полнил дом. Он ходил в студенческом. Этот человек подействовал на воображение Маруси. Я не помню фактов, кроме одного: она написала ему письмо (признание?) — и оно вызвало его смех и поправки красным карандашом — ошибок. Узналась история — старшими. Думаю, были крупные слезы в зеленых, цвета крыжовника, гордых, обиженных горько глазах Маруси. Сразу ли скошена была эта несчастная страсть? Была ли мама деликатна — или груба с ней? *Могло* быть и то и другое.

Но вскоре это в доме заслонило иным увлечением — обоюдным — Александра Павловича и Лёры. Мне неведом путь развития этого чувства и его глубина. Конечно, папа и мама косились на происходящее. И кажется, виновник его был переселен в кухонный флигель. Там вечерами горел зеленый абажур керосиновой лампы и, быть может, также Лёрино сердце. «Может быть, Александр Павлович пишет Лёре письмо...» — думали мы.

Были времена студенческих беспорядков, сходок, собраний. Помню слова «педель», «казаки», «нагайки», имя Льва Толстого и споры о смертной казни. Заманчиво звучали непонятные слова: «Дикая утка», «Потонувший колокол», «Чайка». Повторялось странное чудное слово «Раутенделейн»... Мама, Лёра, приезжавшая молодежь Добротворских, сыновья дяди Пети — медик (будущий врач-психиатр) Сережа, брат его Володя и сестра их Саша (тоже медичка) — Цветаевы, Александр Павлович, — все говорили о Художественном театре, благоговели перед ним.

В эту зиму нас, детей, вновь, как и в прежние, повезли в Большой театр. Уж теперь Маруся не бросала из ложи вниз апельсиновых корок. Завороженно она смотрела отроческими уже глазами на медленно поднимавшийся занавес, пурпуровый, на взмах дирижерской палочки (дирижер во фраке был похож на Чернилку из сказки Гофмана). Медленно погасал чудовищный цветок люстры.

Вечерами помню чтение вслух французского романа «Le vaste, vaste monde»\* (видимо, перевод с английского «The wide, wide world»). Я не помню ни одной сцены оттуда, ни фабулы — того, что так входило в душу маме и Мусе, — но помню трепет о каком-то одиночестве (бескрайнем жизненном пространстве) вокруг девочки... Некрасивое, худое, скуластое лицо мадемуазель Мари, монотонное чтение... Я засыпала. О другом английском романе мама говорила с восхищением: «Вырастете — будете читать “Джейн Эйр”». Мама хорошо знала английский — «аглицкий», как говорили тогда.

Среди маминых книг стояла тоненькая переплетенная книга: «Она ждала». Новелла Пауля Гейзе; перевод Марии Мейн — мамы. Много лет спустя, уже после мамы, мы прочли эту повесть о верной женской любви к человеку, из жизни той юной женщины давно ушедшему. Может быть, мама, переводя, помнила свою прежнюю любовь — С.Э.? По-прежнему вечерами приходил иногда «курлык»: лежание с мамой под шубой на ее постели с черным котом Васей и засыпание, пока не раздадутся папины шаги по мосткам — ужин, чай. По-прежнему мама приходила наверх читать нам вслух какую-нибудь любимую книгу: мы кидались усаживать ее на стул, уложенный подушками, увешанный одеялами... Милое мамино лицо улыбалось, она поправляла на плечах свою клетчатую шаль, раскрывала книгу... Блаженные часы жизни!

В утренние часы, без Муси, я помогала маме поливать цветы, залезала под рояль, за которым стоял недосягаемый для взрослых цветов в кадке — лапчатый филодендрон. Держала руки с надетым на них мотком шерсти, которую мама сматывала в клубок.

\* «Широкий, широкий мир» (фр.).

В эту зиму мама начала учить меня музыке. Но радостей, даримых ей Мусей, не последовало: способности мои были средние, прилежание к игре — еще ниже. К тому же и рука — мала.

В гимназии ли простудилась Маруся? Она слегла с воспалением легких. Мама ухаживала за ней умело — была сестрой милосердия; строго исполняла советы доброго доктора Ярхо. Но однажды выздоравливавшая Маруся попросила меня тайком принести ей из буфета кусок холодного мяса. Сердце у меня билось, я летела с ним, как лиса с петухом. Марусино наслаждение было велико, но результаты проделки были невеселы. Мусе стало хуже. Мне попало, бранили.

Но натура Муси победила. Она встала.

В эту зиму заболела дочь умершего папиного брата, дяди Феди, подросток Шура: она лежала в больнице, и мама навещала ее. Там же мама познакомилась и подружилась с молодой женщиной-калекой, болевшей туберкулезом, ходившей на костылях. Звали ее Мария Митрофановна. Мама приняла в ней участие и стала денежно помогать ей, как подруге своего детства Тоне, и сводной сестре дедушки, Марии Степановне Камковой, и Марии Васильевне Ивановой, акушерке, помогавшей при нашем рождении. Каждый месяц мама давала ей блестящий золотой десятирублевик.

Как могла я так долго не рассказать о ней, о Марии Васильевне?! Это один из милейших людей, встреченных мной в жизни. Ниже среднего роста, но не кажущаяся маленькой по стройности и худобе, всегда в черном, она стоит — руки за спину — у печки в детской, улыбаясь какой-то терпкой, жалкой улыбкой, что-то рассказывает — такое же горькое и скромное, как сама. У нее сестра, которая часто болеет, у ней трудный характер. Иногда Мария Васильевна негодует на нее. У них множество каких-то дальних родственников, двоюродных племянников, о которых надо заботиться, хоть и не из чего: кому зашить-заштопать, кого накормить, кому постирать, кого пустить переночевать... Живет она за Москвой, в Реутове, при каком-то медицинском учреждении, — и из рассказов ее восстает что-то гулкое, огромное, неуютное; мне мерещатся какие-то черные чугунные лестницы (говорила ли она о них? или я их изобрела?), какие-то затурканные, злые друг к другу люди,

бедность, ссоры, гул какой-то страшной жизни, в которой бьется Мария Васильевна со своей сестрой Александрой и тощими студентами-племянниками. И помнится сын ее, восемнадцатилетний Саша, умиравший от чахотки в сухумской больнице, ждавший ее, мать, слышавший гудок парохода, ее везшего, просивший врачей поддержать его жизнь до ее прихода. Была ли не выполнена его просьба или не была выполнима? Он умер за несколько минут до ее прихода в больницу. Мы видели его фотографию — у него были те же тонкие черты, что у матери, те же огромные черные глаза, тот же скорбный рот... Как Марина ее любила! И как она любила Марину...

Муся и я любили ее приходы, ее добрый смешок, ее тихий голос, ее задушевную ласковость. Сколько могло ей быть лет? Не знаю. Такие люди не имеют возраста. Смуглость худых щек была — старческая. Волосы (тугой монашеский пробор) черны. И была у нее еще дочь Лиза, красавица, ученица. Мы ее не видали.

Иногда вечерами мы играли в карты — в дурака, в ведьму (азарт ужаса нахождения у себя вдруг пиковой дамы делал вторую игру любимее первой). Но самой любимой была игра в рамс. Я не помню ее сути, но до сих пор помню трепет, радость этой игры и знаю, что было в ней нечто благородное, выше всех других игр. Помню торжество *козырного* рамса; может быть, я неверно взяла слово «благородное», может быть, надо — «торжественное»? Эту игру я до сих пор — по памяти — чту. Но, может быть, по субъективной аналогии назову игру в горелки. И в беспредельном «кругу» тарусской «сторожевской» поляны за дачей, и в более узком — залы в Москве — память о жарком лете и радости этой игры имеет в себе нечто от рамса.

Рождество 1901 года было для Маруси особенным: первые ее каникулы. И хотя, учась отлично и готовя уроки неучитываемо быстро, она успевала и читать, и рисовать, и играть на рояле, и драться со мной, как и до гимназии, — все же, думаю, Рождество загорелось ей в этом году еще ярче. И панорама, и подаренная Андрюше игра «китайские тени» — набегающая гонка черных силуэтиков на фоне полукруглого экрана круглого картонного сооружения, и бенгальский огонь Лёриных «живых картин» — все про-

сияло ей ослепительнее, перед потуханием о тяжелые двери четвертой Московской гимназии на Садовой. С Несмеяновой она дружила по-прежнему — озорной, некрасивой, насмешливой девочкой. В музыкальной школе успехи ее росли, мама мечтала о ее будущности музыканта. «Маруся будет музыкантом, — говорила мама, — Ася — художницей... Все, что мне не удалось до конца в жизни, они...» Может быть, играя в пустой нашей зале, горя за роялем еще больше, чем за палитрой и книгой, даже чем за дневником (начатым с девических лет — черные томики росли, уж был начат девятый), — мама мечтала о зале, полной слушателей, способных оценить ее игру? Папа был к музыке глух, ее отец, с нею игравший в четыре руки, умер... Мама так и не узнала, что *слово*, стихи — отстранят с Мусиного пути музыки.

Я не сказала, какие книги читала нам теперь вслух мама: зловеще-колдовского «Щелкунчика» Гофмана и его волшебное светлое «Чудесное дитя», «Без семьи» Гектора Мало (по-французски). Маруся, знавшая язык много лучше меня, страстно полюбила эту книгу и так часто говорила с мамой о ней, что я, иногда под нее засыпавшая, с детства сохраняла в памяти имена Виталиса и Реми, собак Зербино, Капи и Дольче, обезьянки Жоли-Кёр, так жалобно умиравшей в стужу, заболев в переходах бродячей труппы. Научившись читать легко, с пяти-шести лет, я в шесть-семь лет читала книги сама. Вслед за Мусей, читавшей в четыре года по вывескам, я читала любимые сказки всех нас: андерсеновских «Русалочку» и «Снежную Королеву». Что-то было общее между Марусей и Маленькой разбойницей, и Маруся любила ее иной любовью, чем Ундину, Русалочку, Герду, чувство к которым походило на обожание снизу вверх — Наполеона и сына его, мальчика, Римского короля, «Лунного короля» Людовика Баварского, и звалось «*amour bleu*»\*. Мне кажется, в ее любви к Маленькой разбойнице было некое панибратство, узнавание себя в другом, молчаливый кивок. Была в Марине с детства какая-то брешь в ее соотношениях с *дурным* и хорошим: со страстью к чему-то и непомерной гордостью она легко — хотя, может быть, и нена-

\* «Возвышенная любовь» (фр.).



долго — переставляла места, подтасовывала. Пылко делала зло. Нелегко на добро сдавалась. Насмехалась, отрицала суд над собой. Но зато — когда уж приходила к раскаянию — скупыми на вид своими слезами *сжигала* свою часть греха.

Помню — и во всю жизнь потом — ее лицо таких дней и часов: светлые, светлее обычного от заплаканности и мук застенчивости, глаза. Выражение отрешенности, отсутствия среди тех, за обиды которым каялась. Словно прислушивалась к чему-то, ей одной слышимому, что одно было ей непререкаемо.

А мама в эту зиму особенно увлекалась медициной. Часто ездила в Иверскую общину сестер милосердия. Часто бывала на симфонических концертах. Читала «Жизнь Иисуса» Э.Ренана, показывала нам репродукцию поленовского Христа, идущего по берегу Генисаретского озера, не похожего на все другие Его изображения. Она читала Генрика Ибсена, не пропускала ни одной пьесы Художественного театра. Однажды с нею случилось удивительное: придя оттуда после спектакля, она увидела, что на ней нет ее любимой золотой броши с рельефом женщины у рояля. Расстроилась — так как это был дедушкин подарок; мама, поискав с дворником, несшим фонарь, потерю по Трехпрудному переулку, легла огорченной, увидела сон: Камергерский переулок, утро, первый снежок. Она идет по левому тротуару; перед ней — горбик снега, возле него — желтое. «Брошь? — думает мама. — Нет, не может быть, среди белого дня! Это — осенний листок». Она подошла ближе, нагнулась, подняла — брошь. Подняла — и проснулась. «Я пойду искать мою брошку!» — сказала она. Хоть и убеждали ее, что тщетно, поздно, сто раз успели поднять — она пошла. «Одно верно, — сказал ей кто-то вслед, — сегодня первый снег!» Она вернулась — с брошью, потрясенная. Явь оказалась точной копией сна: левый тротуар, горбик снега, и — желтое. «Ну, теперь уж наверняка желтый лист!» — сказала она себе с горечью. Подошла — на тротуаре, в одиннадцатом часу утра, лежала ее золотая, довольно крупная, круглая брошь.

В эту зиму исполнилась мамина мечта: она давно хотела играть на гитаре. Гитара была куплена, но не было учителя. Она, верно, много думала об этом, потому что увидела сон, что идет по пустынной улице, входит в высокий дом, под-

нимается по лестнице в верхний этаж и читает на металлической дощечке: «Учитель игры на гитаре Шульман». Позволила. К ней вышел старик с седой бородкой. Она проснулась. Наяву она погоревала, что это был только сон, — и забыла. Прошло порядочно времени. Нам взяли подходящую учительницу немецкого языка, тонную даму в синем. Ее фамилия была Шульман. В разговоре с мамой она упомянула о муже, с которым жила врозь. «Мой муж — учитель музыки, — сказала она, — он дает уроки игры на гитаре и других струнных инструментах». — «Как адрес вашего супруга? — спросила мама в тревоге. — Моя давняя мечта — игра на гитаре».

Все случилось — как с брошью: он жил в той же пустынной улочке, в том же высоком доме, на двери его квартиры в верхнем этаже была металлическая дощечка с приснившейся маме фамилией. Маме — она еле могла заговорить от волнения — отпер тот самый старик с седой бородкой — и мама выучилась у него играть на гитаре.

Ее рассказ о сне все в доме помнили. Явь повторила сон в точности, лишь подарив маме название улочки и номер дома, не бывшие во сне. Что это было? То, что зовут иные «медиумичность»?

Еще одно случилось в этом году: к Тете из Невшателя приехала ее подруга юности, долгожданная Лауге (Лоор). Погостив у Тью в Тарусе, она проездом остановилась у нас. Маленькая, седая старушка. Спала на диване в гостиной, мало говорила. Мы услышали из разговоров старших, что подруги встретились плохо и Лоор уехала в свой Невшатель, разочарованная в Сусанне. Летом, глядя поверх черепашьих дедушкиных очков, Тетя сказала о Лоор что-то туманное нам и грустное...

Уют дома, где родился и где идет детство! Он кажется вечным! Кто мог знать, что это последний год детства нашего в этом доме, что неожиданные события уведут нас так надолго из него, что детство кончится от него так далеко...

Снова рождественский вечер — ожидание елки — елка — погасание ее — мир подарков, разложенных на сине-зеленом коленкоровом небе с золотыми бумажными звездами и ангелами, несущими золотые слова: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецех — благоволение»... Снова

мамина спальня, и свеча горит на бабушкином комоде, освещая картонные силуэты Девы Марии над кормушкой, где сияет Младенец, Иосиф и волхвы... И, как «когда мы были маленькие», поём с мамой... И портрет бабушки молодой нашей смотрит на нас. А выше всего, где горит лампада в углу — образ, которым дедушка благословил маму перед ее свадьбой, и две восковые свечи под стеклом, обвитые золоченой полоской, тонут в веточках белого флердоранжа, — свадебные цветы папы и мамы... Зала уже темна. Только отблеск далекой лампы — в трюмо, черно-серебряном. Как пахнет елкой! Мандаринами! Воском! Какие предстоят чудные утра — просыпание с мыслью — Рождество! Мы кружимся, взявшись за руки — вцепившись согнутыми косточками четырех пальцев — в такие же, две руки в две руки, ноги — к центру кружения, тела — резко откинутые, образуя с полом залы острый угол. О, как чудно так кружиться — голова летит, уж ничего не видно, так страшно и так ужасно приятно... «А я тебя сейчас отпущу!..» — испытующе-лукаво, громким шепотом мне — Муся. Я судорожно вцепляюсь в ее пальцы, ошпаренная ужасом, — хоть знаю, что она дразнит, не сделает. Зала кружится — окна летят, будто они — полоса! «Дети! Опять! — кричит мама. — Перестаньте сейчас же!» Все так на свете кончается! Приходится перестать...

В эту зиму я с мамой — Муся была в гимназии — поехала на собачью выставку. Сколько их было в огромном манеже? В несчетных различных собачьих телах та же чудная их душа, те же глаза, умильные даже в сердитости... Я была в блаженстве. Но из всех собак мне по сей день помнится огромный сенбернар, до того ласковый в своем величии, что давал гладить великолепную, шоколадную с белым, голову до самых щек, похожих на белый гриб. Шелк висящих ушей, кудрявых, и раскрытая пасть, жарко дышащая, улыбающаяся, и глаза сенбернарковы — у носа выше, к вискам ниже, со складкой над ними у чуть поднятых бровей.

Как в детстве, мы ходили иногда в Александровский сад, в его сырую волшебную глубину. На ту улочку, которую Преториус звала «die stille Strasse»\*. Ходили в пассажи. Их стек-

\* «Тихая улица» (нем.). — Примеч. ред.

лянные потолки, пустые фонтаны, чучела стоящих медведей пленяли нас, как в самом раннем детстве. Мы – те же.

И были еще – Воробьевы горы, – в этих горах жили *американские* горы – как же про них рассказать? Спорили: «Неверно, это *французские* горы...» Мы не слушали. Было некогда: сердцебиение начиналось, еще когда среди старших мы подходили к ни на что не похожему сооружению из взнесенных, и падающих, и снова взнесенных горбатостей, обретя билеты, право на приобщение к полету, толклись с расширенными зрачками в ожидании зова. Когда же, удерживаемые и подталкиваемые, мы переступали какой-то порог, водружась на сиденье посреди пустоты, высоко над Москвой-рекой, не видя ни ее, ни светящейся дали, – ощущали, что внезапно что-то уходит из-под ног, и в свисте ветра, прыжка сумасшедшего, мы, вцепясь в перила, обрамлявшие сиденья, ухали в пропасть и, взлетев, рушились еще ниже в беспрерывном полете – *ты* – переставал быть, ты только дышал и боялся, летел, пропадал, цепляясь за пол ступнями, и единственно *твоим* было биение сердца, захлебнувшегося собой. Нет, не так и не то: наслаждение, хрупкое, как свист ветра в ушах, как эти взлетания и уханья в бездну, которые сейчас прекратятся... Взлет уже глаже, и по устатой сгорбленности, распрямляясь, вылетанье к концу, внезапно под ноги легшему... И тогда, обессиленные, под говор старших, медленно вверх по тропинке, в море кустов – к той террасе крынкинского ресторана, где шипучка, грушевая и пирожные и откуда – сиянье высоты, воздуха, и Москва вдали – россыпь жемчужин, и шелковым ручейком – блеск реки...

## Глава 14

ВЕСНА 1902 ГОДА. НОВАЯ

ГУВЕРНАНТКА – РЕВОЛЮЦИОНЕРКА

МАРИЯ ГЕНРИХОВНА. АНДРЕЕВЫ. ПАСХА

Промелькнула, прозвенев бубенцами, прошелестев полязьями, Масленица. Кончается Великий пост. Уже тает снег, идут дожди, вечера длинные, светлые. Колокольный звон стоит над Москвой... Скоро – Пасха! Мы уже в драпо-

вых пальто с пелеринками, в матросских беретах. В этот год нас взяли «на вербу» — вербный базар на Красной площади. Я так боялась, что меня, младшую, не возьмут. Но Лёра настояла. Меня взяли.

Огромная площадь была полна народом. Местами приходилось проталкиваться. Вербные игрушки — «тещины языки», вылетавшие на вас, надувающиеся колбасы и свинки, испускающие с писком дух, морские чёртики, «американские жители» в колбах с подкрашенной водой и в стеклянных трубках с резинкой на круглом отверстии — все это верещало, пищало, сверкало, оглушало. Жареный миндаль в бумажных тюбиках, орехи, сладкие стручки, маковники, десятки различных лакомств, квасы, моченые яблоки, сушеные фрукты, кренделя, баранки, пирожки... Гармоника, цимбалы, балалайки...

Что заставило маму отпустить к весне гувернантку, учившую нас языку, и взять нам русскую немку? Ее звали Мария Генриховна. Мы почти все время говорили с ней по-русски. Довольно высокая, ширококостная, худая. В ней было что-то жалобное. Мы скоро узнали, что она много страдала, что она — за народ, «против царя». Она тоже привязалась к нам. Это была гувернантка, с которой у нас завязались интимные отношения. Мы называли ее «Киска». Мы были счастливы, что она будет с нами в Тарусе. Это был друг.

В эту весну у нас произошло знакомство с детьми, жившими во дворе, в нашем флигеле, Андреевыми, Таней и Верой. Киска ли способствовала этому сближению? До того мать нам не разрешала знакомств с чужими детьми. Мы росли обособленно, как и она. Впрочем, других детей и не было, — разве что в скверах и на бульварах? В гости к «знакомым» мама не ездила — лишь в театры и концерты. Не знаю почему, Марусе больше понравилась младшая, моя одноклассница, Верочка, а мне — девочка много старше меня, Таня. Верочка была маленькая, круглолицая, с белокурой косичкой. Таня — высокая, темненькая. Так мы и разделились, по две. Изредка лишь играли все вместе, с Андрюшей. Во дворе пахло голубиным пометом и сырой землей, она готовилась к первой травке. Мы бегали с кусками черного хлеба с солью, — это так вкусно! Порой

на солнце было почти жарко. Капля керосина, неведомо как попавшая в лужу, повела по воде радужный павлиний хвост. Про керосин нам объяснил кто-то. Мы этому керосину не верили, он нам ничего не объяснял. Было чудесно от павлиньих разводов, от неожиданного сближения с Андреевыми. Я сидела в уголке двора, где был колодец, возле высокого забора. В этот раз я была с Верочкой. Мы поочередно вскакивали на нижнюю перекладину и смотрели, прячась, чтобы нас не бранили, в Трехпрудный переулок. Однажды мимо прошел Андреев — молодой еще, с белокурой бородкой, человек.

— Твой папа прошел! — сказала я Вере.

Она вскочила на перекладину, но уже не увидела его.

— Вот ты какая! — кричала она, плача. — Не сказала мне! Когда сказала! Я же так редко вижу моего папу...

Этого я не понимала, мне было интересно и странно. Как не похожа была жизнь других — на нашу. И какой-то белокуроый, молодой отец?.. Отец без Музея, без университета, без очков, и, может быть, строже, и не такой ласково-шутливый, как папа?

В синем небе были совершенно серебряные облака. Ворковали голуби. Из окна шли звуки рояля — хроматические гаммы. Муся готовила урок в музыкальную школу. Пальцы ее летели по клавишам так быстро. (Мои — так медленно!) Вера ушла домой. Я побежала в кухню. Там было жарко; пахло котлетами. В смежной комнате — девичьей, большой, в три окна, было светло, весело. Горничная — нашего «верха», Маша, о чем-то смеялась с маминой новой Аришей. Маша — старше, некрасивая, родная. Ариша носит напуск волос, как барыня, к нам — равнодушна; мы ее не любили так, как Машу. Кухарка жарит картофель к котлетам. Кот Вася ходит возле нее. Сейчас мама позовет меня играть на рояле. А завтра пойдем в Кремль! Мы давно там не были. Завтра мы снова увидим Царь-пушку, Царь-колокол... Пойдем в палату бояр Романовых...

— А-ся! Мама зовет!

— Иду! — кричу я, выбегая навстречу Киске. Как я ее люблю! Ее глаза, светлые, ее лицо, когда она говорит так: «Это есть истина»...

Смутно чувствовала я, входя со всей семьей нашей в университетскую церковь, что Киска не любит, не понимает церкви. Мне было жаль. Мне смутно хотелось слить и церковь, и «это есть истина» — в одно. Чтоб было радостно всем. Маруся, еще больше меня полюбившая Киску, четче понимала ее направленность и жарче рвалась к ней, к тому, что стояло за ней. С мамой мы не говорили о Киске, чуя, что она нас — «не поймет» — поймет! не одобрит! Из маминих слов о «Жизни Иисуса» Ренана мы понимали, что в церковь она ходит иначе, чем папа — сын и брат священника. Но было ясно, что и с Кискиной «истиной» маме не по пути. Высокий потолок (а не купол) церкви давал домашний уют службе. Народу было немного — профессорские семьи. Мне было семь с половиной лет, — и полагалось исповедаться; младенческое право на причастие уже было утрачено. Но — была ли эта исповедь «ненастоящая» — то есть говорил ли «вместо меня» — священник — и потому мне моя первая исповедь не запомнилась? Помню позолоту, белизну, пение, золото риз и креста.

Давно мы уже знали Священную историю, Ветхий и Новый Завет. Адам и Ева, Каин и Авель. Моисей в камышах в корзинке, найденный египетской принцессой, дочь фараона, Всемирный потоп, Ноев ковчег, Авессалом, повисший на волосах, Иона и кит, Иисус Навин, сказавший солнцу: «Остановись!»; море, расступившееся, чтобы пропустить евреев и задержать египтян, золотой телец и скрижали, Ааронов зацветший жезл, Давид и Голиаф, висячие сады Семирамиды, Сарра и Агарь, 850-летний Мафусаил, — спутав свою хронологию, жили в голове, в сердце — рядом. И все эти чудеса, войны, гибели целых народов тихо и удивительно кончались о Новый Завет — простой рассказ об Иисусе Христе и рыбаках, ставших апостолами. Он начинался — волшебю: со звезды, волхвов, пастухов, с сияющего Младенца на соломе в кормушке-яслях и склонившейся над Ним Святой Девы, прекраснее которой не было на земле и никогда не будет... И кончался, после Крещения, исцеления прокаженных и бесноватых, Нагорной проповеди (о которой не раз нам говорила мама), после кроткого светлого Вербного (входа в Иерусалим), — страш-

ным грехом Иуды, молением о Чаше, распятием и Воскресением — нашей земной Пасхой! Нет, это было еще не все. Еще сорок дней Христос ходил по земле, вернувшись к людям, и вознесся на небо на глазах апостолов и Своей Божией Матери.

Все это было так знакомо — отдельными рассказами и упоминаниями с детства. Оно сопутствовало, как ангел-хранитель. Разве можно было жить без этого? Разве оно могло не быть? Так отчего же Киска не ходит в церковь? И смотрит на нас так особенно, когда мы идем? — Сердце наполнялось тревогой.

— И вот, дети, — рассказывала мама, лежа с нами вечером в спальне, под шубой, — как я вам уже сказала, я *хотела*, как привыкла в те годы, прочесть перед сном главу из Евангелия — я уже знала, *какую* главу, — но мне очень захотелось спать. «Завтра», — сказала я себе, и закрыла Евангелие, и положила его — это была старая, толстая, тяжелая книга — назад — на «самоварный столик», — он стоял у моего изголовья тогда. На нем — вы знаете — медная доска, поднос с поднятыми краями. Так что задеть книгу и ее нечаянно столкнуть я никак не могла. Я проснулась от сильного стука, шума. Испуганно я зажгла свет — Евангелие лежало посреди пола, далеко от постели, раскрытое на той самой главе. Я не суеверна, дети, — но в мире есть много таинственного, чего не может объяснить человек.

Мы любили мамины две иконы — Божьей Матери с Младенцем — в серебряной ризе, из которой глядело темное кроткое лицо с большими скорбными глазами, две темные прорези в серебре — руки, и меж них — Младенец, прямо глядящее маленькое лицо, похожее на лицо Матери. И второй образ (в нашем доме почему-то не говорили «иконы», больше «образа») — образ Спасителя без ризы, светлее и ярче лик. Он держал в одной руке раскрытую книгу; другою, как сказала мама, благословлял. Глаза Его, смотрящие на нас, глядящих, — были синие, добрые и печальные.

Мы знали, что Христос был еврей, как и Божья Матерь. Мама с детства приучала нас любить и уважать евреев, рассказывала о неправде против них, о преследованиях и погромах. Не раз, при нас, слыша в беседе гостей — и дедушки



Иловайского — слово «жид», она сухо просила не говорить этого слова при детях и при ней. Мы чувствовали как мама, жалели и любили евреев за их трудную долю и были рады, что в этом мама и Киска — похожи. Киска тоже ненавидела гонителей евреев.

Прошли Масленица и Великий пост. Наступила Пасха, и в этом году, как и в те, что помнились, мама объясняла нам значение Вербного входа в Иерусалим. Она, как и мы, как-то особенно любила этот праздник. По улицам радостно гудели колокола, люди шли домой с горящими свечками, заслоня их от ветра рукой и бумажными колпачками. Затем потянулся мрак Страстной недели. В четверг церкви были полны народу, чтение двенадцати Евангелий длилось до ночи. Нас не заставляли долго стоять в церкви, и мы не уставали. В пятницу, приложась к плащанице в по-особенному тихой, скорбной церкви, люди возвращались домой и, предчувствуя Пасху, бросались в приготовления к ней. Красили яйца, пекли куличи, терли сквозь решето творог для пасхи. Мы летали по дому, пробуя, приставая, мешая, радуясь вне мер. Впрочем, из всех нас Маруся меньше льстилась на пробование: утянет изюму, цукатов или еще что-нибудь и сядет в уголку с книгой, радуясь, что ей не мешают — меньше смотрят за ней, чем всегда.

В ночь под Пасху старшие ушли в Кремль, на пасхальное церковное торжество, слушать перезвон всей Москвы, начинавшийся с колокольни Ивана Великого. Мы, у себя наверху, ждали их, ловя отсветы ракет и слушая в фортки, раскрытые по-весеннему, гул и трезвон, христосование ликующих колоколов, слушая — не идут ли уже наши, праздновать с нами Пасху.

Пасха, куличи, разноцветные яйца, окорок, вино, гиацинты...

— А в прошлом году — помнишь?.. Уж год прошел!..

И никто из нас не знал, не предчувствовал, что это — последняя Пасха нашего детства дома, что скоро дом наш останется пуст... И снова мелькают верстовые столбы мимо вагонных окон, снова поезд везет нас, радостных, из Москвы в Тарусу, в наше летнее, любимое, цветущее и горящее солнцем, овеянное ветром и запахами сирени и жасмина, насиженное родное гнездо.

## Глава 15

ЛЕТО 1902 ГОДА В ТАРУСЕ. МАРУСИНЫ ИМЕНИНЫ.  
ПОЕЗДКА РОДИТЕЛЕЙ НА УРАЛЬСКИЕ ЛОМКИ МРАМОРА.  
ЧЕЛКАШ И ГРОМИЛО. КИСКА И СТИХИ ПУШКИНА.  
ЯРМАРКА. ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ В РОССИИ

Снова блестит Ока и зеленеет на высоком берегу Таруса, снова добрый дом Добротворских встречает нас — по пути к даче — гостеприимной веселостью. Все подросли немного, чуть изменились. Только сад — липы и яблони — стоят те же, более медленные в росте, чем мы. И солнце — как сто лет, как бог весть сколько тысяч лет назад и как будет через сто, через тысячи — делает воздух раскаленным зеркалом и зажигает меж листьев *золотое* кружево жаркого света. Все тот же рыжий Барон гремит цепью...

Лето ползет медленно, как золотая бархатная гусеница. Осыпались в кувшинах черемуха, сирень, жасмин; пестреют вместо них в кувшинах и крынках душистыми охапками полевые цветы. Стоя на цыпочках, мы в прозрачном тонкоствольном вишеннике рвем с веток над головами сочные темно-малиновые вишни. Изобилие плодовых и ягодных сладостей и радостей купает нас в волшебном пруду. Решетами несут бабы и ребятишки землянику, полевую ароматную клубнику, зеленую, с розовыми бочками; смородину — черную (пахнет лесными клопами); белую и красную смородину, из которой такое чудное желе. Кипят тазы с вареньем, мы лижем пенки. Муся любит крыжовник — даже больше, чем я. И еще она очень любит малину, хоть и содрогается червячков в ней. Вся правая сторона заросшего высокой густой зеленью забора дачи (если к ней стать лицом, к Оке — спиной) есть малинник, и мы подолгу пропадаем в нем, пробежав туда тропинками между грядок или просто прыгая через них. Молодые огурчики, молодой картофель с укропом, со сметаной, любимые паштеты, винегреты, борщи, свежие щи, свежая рыба, жареная, ягодные кисели, яблоки корзинами, груды слив — синих, розовых, желтых...

Елочки, носящие наши имена, посаженные еще до прошлого года, выросли; мы меряемся об их уже переросшие нас стволы. В Боголюбскую — крестный ход, Воскресенская

гора полна народу. Мы вспоминаем прошлый год... С Урала шли письма.

В Марусины именины (17 июля – Марина) пекут сладкие пироги – «воздушный» ягодный – он как пух! его высоко несут над столом и торжественно ставят. На другом пироге Маруся рассматривает слепленную ею из теста, по разрешению Лёры, мышшь – она стала золотая и чуть-чуть подгорела. Милое лицо Лёры с зелеными глазами – тот же цвет, что у Маруси, как незрелый крыжовник (мои – темнее) – улыбается ей. Киска – и та веселая на Марусином празднике. Она загорела, как все мы, и даже поправилась – хоть ходит с нами везде целый день.

...Папа и мама вернулись из Златоуста! Сколько радости, сколько рассказов! Точно эхо Уральских гор прокатилось по нашему лесному домику. Мы слушали, как в диких горах и дремучих хвойных лесах засверкал целый мраморный город, к нему вьется вверх новая железная дорожка, по ней везут белоснежный искристый мрамор.

Но на другой же день папа уехал давать отчет об удачной поездке – мрамор идет в Москву! И в то время, как мама говорила: «И нам с папой хочется верить, что жизнь в городе этом не заглохнет в горах после построения Музея, ведь уже четвертый год население кормится вокруг этого великолепного камня, – не должен этот мраморный город замереть... Дети, ваш отец начал великое дело не только в Москве, но и в горах Златоуста...», – мы уже мечтали о том, что и мы поедем туда...

(В этот ли год Муся ездила в мамой в Тулу? На пароходе; на несколько дней. Или за год до этого?) Иногда мы с мамой, без Киски, ходим мимо поляны с «пеньками» на луг, с молодым березово-осиновым леском. Лежим, как бывало (на траве), смотрим, как плывут облака. Возвращаемся берегом, мимо плывущих плотов, редких лодок. И все плывет и плывет куда-то, вся наша счастливая жизнь.

В этот год у нас пропала собака. Ее звали Громило. Она была большая, черная, с желтым у лап и морды, шумная, озорная, улыбающаяся. Мы – и мама тоже – очень грустили о ней. Но через несколько дней она показалась из лесу, медленно идя к дому. Мы бросились к ней, вне себя от радости,

но, подбежав — стали как вкопанные. Рост, порода, расцветка — все было то же; но морда была уже, и выражение ее — другое. Это был не Громило, и мама назвала ее — по виду и поведению — Челкаш (по рассказу Горького). Все очень удивились этой странной замене. Откуда пришел Челкаш? Почему именно тогда, когда пропал Громило? Он остался у нас, а Громило никогда не вернулся, и мы, дети, решили, что это Громило прислал вместо себя Челкаша.

А как елось, аппетитно, летом! Даже мне, так не любившей есть! Те же котлеты — картофельные с грибным соусом или мясные, битки в сметане, или язык с картофельным пюре, или разварное мясо с хреном и вареным картофелем, муссы, кремы, бланманже, белые гренки в молоке и яйце с соусом из жидкого киселя, называвшегося «Armer Ritter» («Бедный Рыцарь»).

Звуки гамм, Ганон, почти серьезных уже пьес Муси неслись через сад, по лесу и вниз по горе и реке. С реки неслись крики.

Как каждое лето, мы бывали у Тети. Там все было то же: тишина нарядных клумб с морем цветов, за которыми ухаживал садовник, взмахи полосатой, зеленой с белым, травы, кусты сирени. Песок на дорожках сада, чего не было ни у кого в Тарусе — но у всех, наверное, в Невшателе. Яблоки, яблоки, сливы, ягоды, варенье в хрустальных вазочках на белоснежной скатерти террасы. Горничная в белой наколке. Семь комнаток с мебелью в белых чехлах; в спальне — лампада; иммортели в вазочках перед портретом бабушки.

Вечером спичечная коробка звала к себе во мгле фосфорической светящейся спинкой. Шкафы со вставленными в круглых рамках картами полушарий — Западного и Восточного, стояли запертыми, тая в себе тайны бабушкиных книг. Сундуки — тайны Тетиних вещей — нафталиновых, уютных, старинных. В маленькой гостиной — высокие венские — 1000 рублей золотом, бабушкиной покупки, стоячие, как шкафчик, часы, с помощью трех больших металлических кругов (каждая пьеса имела таких три) играли как целый оркестр. Мы узнавали вальсы Штрауса... Муся готова была слушать без конца. Но Тетя звала пить чай или посидеть на мягком диванчике под бабушкиным портретом. Маленькая грузная фигура Тети в фланелевом белом капотике с обор-

ками, ее крепкие полные руки вокруг каждой из нас; ее полное, с двойным подбородком, лицо; черепаховые очки на кончике носа, накладка из муаровых лент и кружев на макушке еще не совсем поседевших волос — какое это все родное...

Ау Добротворских в саду (чьи-то именины) иллюминация, цветные фонарики меж лип. На Варе Изачик, их гостье, нравящейся Марусе девочке-подростке с круглыми бровями над красивыми, чуть насмешливыми глазами, — «плиссированное» платье, узкие-узкие складки, как на китайских фонариках. Мы играем в игры; взрослые и дети — вместе. С нами мальчик-подросток, Толя Виноградов, плотный, некрасивый, в парусиновой рубашке. У него умное лицо, синие глаза. Он на шесть-семь лет старше меня. Я его замечаю и запоминаю: до будущей дружбы, через те же шесть-семь лет. Мы идем назад поздно вечером. Нас провожают с лодок — песни. Камни сверкают кристаллами на дороге, и это напоминает стихи, которые так любит мама. Они начинаются так:

Выхожу один я на дорогу;  
Сквозь туман кремнистый путь блестит;  
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,  
И звезда с звездою говорит.

Как и Пушкина, Лермонтова убили на дуэли. Ему было двадцать шесть лет...

Сад у хлыстовок Кирилловен и их сестер-подруг разросся еще пышнее. «Тироль» мамин — круча над длинной выдолбленной колодой, по которой течет вода из родника, — еще больше зарос зеленью; крутая изгибающаяся дорога от Кирилловен, мимо Тироля, вниз и опять вверх — на крутую Воскресенскую гору — все та же, чудесная и любимая.

В Тарусе — новая семья: А-вы: отец, мать (полная, маленькая, очень приветливая, красивая, мама часто с ней разговаривает, мы друг у друга бываем); дочка их, Инна, высокая девочка лет одиннадцати, с полным лицом, серо-голубыми глазами и косами, нравится дичащемуся девочек и чужих Андрюше. Он охотно играет с нами, если она тут. А-вы живут в одной из боковых — от главной — улиц, в стоящем особняком сером длинном доме, так же купающемся в кус-

тах и деревьях, как наша дача. В их саду — выгнутые мостики через овраги, особенные изгороди... Мы жадно вдыхаем дух чужой милой семьи, место не наших игр, вид не наших, таких же живописных, деревьев... Под мамину беседу с Евг. Гер. мы этот чужой уют, чужой кус тарусской природы вглатываем в себя.

Ярмарка. Сияющий синий день. Вся соборная площадь переполнена народом. Звуки балалаек, гармоник, пищалок, дудок, песни. Ряды товаров, которым не пересчитать имен. Я запоминаю блестящий ряд разложенных на столах и рогожах, на земле — ножей, пил, инструментов. Запах красного кумача — он пахнет касторкой. Муся не хочет стоять возле него. Игрушки, посуда, одежда, материи, обувь, запах лыка и запах карамелей. Балаган. Зазывала. От жары, от шума и от всех удовольствий чуть кружится голова... На обратном пути тихий голос Киски говорит нам о Некрасове, о жизни народа, о трудностях этой жизни. Она часто говорит нам стихи Пушкина. Муся читает его запоем, пряча от мамы то, что «для взрослых». Но одни стихи, подаренные нам Киской, мы повторяем все время. Муся просто больна ими. Вслед за «Памятником», которое она знает давно, она твердит, и я за нею — бредем ли вдоль дорог, бежим ли с хлыстом (шелестящим кисточками листьев на конце прута) по уже скошенной траве, просыпаемся ли в своей верхней светелке, в волны веток — только их да небо видим из окна:

Прощай же, море! Не забуду  
Твоей торжественной красы  
И долго, долго слышать буду  
Твой гул в вечерние часы.

Мы знаем его все наизусть и мечтаем о море. Киска видала его — мы *должны* его увидеть...

Лето кончается. Уже режем и сушим ломтики диких яблок из старого сада, нижем их на нитки. В дождь мы сидим на верхнем балконе и нижем ягоды рябины, прокалывая их терпкую рыжую мякоть иглой; ожерелья мы носим. Или мы «удим»: спускаем бечевку в сад, и кто-то из нас подвязывает там что-то — *как* хочется знать что! Сейчас, сейчас увидим! Руки спешат, перебирают бечевку... Что-то тяжелое...

Ого-го! *Калоша!* Андрюша хохочет внизу. Теперь моя очередь. О, я уже придумала, что я привяжу!..

Молотьба. Горы соломы, ее упоительный запах... Запах лошадиного пота, любимый, и дегтя. Мы спорим, что — чье; Мусино, мое.

Мы летим вниз по горе, по песчаному откосу, мимо баньки, как избушка Бабы-Яги, скрытой невероятной гущиной деревьев, к «вершине» (оврагу, лишь вверху одним боком доходящему до дороги, длиной уходящему в лес).

Последний день. Подан тарантас.

Прощай же, море! Не забуду  
Твоей торжественной красоты  
И долго, долго слышать буду... —

бормочем мы, глазами, полными слез, глядя на исчезающую Тарусу... Предчувствовали ли мы, что столько лет ее не увидим?

## Глава 16

### ОСЕНЬ 1902 ГОДА. МАМИНА БОЛЕЗНЬ. ПРОЩАНИЕ С ДОМОМ. ОТЪЕЗД В ИТАЛИЮ

Поезд — осенние пейзажи — полет верстовых столбов, кружение деревьев, то сбрызнутых, то облитых золотом; скольжение полей, скошенных... И все летит, и крутится, и скользит куда-то, и мы летим, и кружимся, и смотрим в лицо Киски... На извозчиках мы покидаем Курский вокзал и едем, едем по громяющим мостовым, мимо булочных, трактиров, маленьких домиков...

Москва... Сумерки. Первые фонари. Как все знакомо, как дорого, какое счастье — въезжать в Москву!

С Садовой, по Ермолаевскому переулку, въезжаем в наш Трехпрудный. Нас ждут. Кипит самовар. И жизнь началась и готова была длиться, как столько раз было, — когда грянула весть: мама, слегшая, казалось, в инфлюэнце, — больна *чахоткой!* Все детство мама болела только мигренями. Чохотка! Жар, доктора, суета в доме, запах лекарств... Странное слово «консилиум»... Остроумов, ассистент знамени-

того Захарына, говорит, что это началось еще давно, в год моего рождения (у мамы вся шея была — в опухших железках). Или нет: это не он говорит, а он — что мама заразилась на операции туберкулезной ноги — в Иверской общине: ее пилили, мама держала, помогая профессору... По дому — шепот, толки...

Ариша, мамина, почти не выходит от мамы. Нас не пускают. Доктора шлют маму на Кавказ. Мама отказалась ехать без нас. Мы, жалея маму, ликуем о себе: мы увидим Кавказ, море... Мама лежит не в спальне — в гостиной, где спала Тетина Лоор: там высоко — воздух. Вечером разносится слух, что мама хочет звать нас — прощаться... Маме — хуже. Мы замираем, слушаем... Нас не зовут. Мама уснула, ночь. Наутро другая весть колышет дом, нас: маму везут в Италию, только Италия может спасти маму! И мы едем с ней!

Каким особенным стал дом с того мига, как мы узнали, что покидаем его! В нем все удесятерилось — каждый бег вверх, вниз по лестнице, все комнаты, каждый уголок, каждый пролетающий миг, все стало дороже во сто крат и таким горьким на вкус — страшного настоящего расставанья. И позже, потом, в этом огромном *потом*, после наставшем и продолжавшемся, — ни одно расставание с человеком, с тем, кого всего неизлечимее любишь, от кого отрывали нас поезд, война или другой человек, — не было ново, несмотря на оглушающую силу свою...

Там, внизу, растут — портпледы, тюки, скрипят корзины, стучат и шелкают костяшки (зубы) чемоданов, спуют люди, хлопают — приглушенно, потому что в доме больной — двери наверху; мы шепчемся, загадываем, прощаемся, разрываем себя между счастьем узнать Италию, увидеть море и столько незнакомых людей — и горем — покинуть дом, потерять Киску и тех, которых никакая Италия не может заставить забыть. Ждем, когда доктора позволят маме — ехать.

По дому шел ропот и голоса одобрения — о почти насильственном отъезде с нами и Лёры, не хотевшей из-за Александра Павловича. Андрюша оставался у бабушки Иловойского, чтобы не отрываться от русской гимназии. Ехала с нами и мамина Ариша, не чуя земли от счастья.



Этот день — настал. Осенний вечер. Ждут карету — маме нельзя на извозчиках. Мы вновь и вновь обегали дом, взлетая на наши обожаемые антресоли, по нашей лестнице — когда-то мы увидим ее? Черный Васька — взъерошенный от объятий, тоже, как и мы, в *Reisefieber* (в дорожной лихорадке). Весь багаж обнюхан им, поштучно. Кот напутствует вещи в иные края и дома. Пес, мокрый от вылетаний из будки на дождь — еще раз с нами обняться (в суете за нами мало следят), — ободряет нас черным носом, улыбками, лапами. Тополя сыплют нам листья. Голуби, прощаясь, воркуют.

Карету подали. Тащат вещи, укладывают на извозчиков. Мы несемся наверх. Сиротливо сидит на толстом своем соломенном заду тряпичный кот с давно затертой мордой — давний, любимый кот. Ему не позволили ехать. Малиновая рубашка с оторванным рукавом над дикими шароварами моего, брошенного, Аркаши. Как тогда нам было четыре и шесть, теперь нам восемь и десять. Муся, вскочив коленями на кровать, целует картонную картинку собаки, я — кошку, и обе мы, каждая свою, рождественскую картинку, где в последний раз нам звездными искрами сверкает снег.

— Маруся! Ася! Где вы?

Это — *последний* миг. Еще раз мы оглядываемся, впивая в себя вид детской, и, толкая друг друга, плача *уже* о другом, о том, как же мы расстанемся сейчас с Киской, летим к ней, ждущей нас у лестницы с заплаканными, как и наши, глазами. Большая, неуклюжая, за это еще больше любимая, волосы прямо назад ото лба зачесанные, глаза светлые — еще светлее, от слез...

Мы одеты. Мы хотим еще раз обежать нижние комнаты — нас зовут, кто-то кричит: «Опоздаете на поезд»... Последний взгляд на залу. Узор филодендронов у окон, портрет Бетховена над роялем, высокие белые двери, раскрытые в гостиную, за ней — кабинет... Сердце бьется. Дверь сеней выводит свою жалобную ноту, там еще тащат что-то. Мы присаживаемся на мгновение, кто где — и выходим в распахнутые парадные двери вслед за папой и мамой, Аришей, Лёрой, Киской. Из-под серебряных вензелей гимназической фуражки глаза Андрюши глядят на нас как-то совсем иначе. Но он стесняется, отводит взгляд. Как он похож сейчас на свою мать! Когда мы увидим его? Он один из нас остается в Мос-

кве. Его берет к себе его дед Иловайский. Он будет ходить в гимназию. Папа — у двери кареты, в которую усаживают маму. Мама зовет нас, мы садимся напротив нее. Мы высываемся, стараемся еще увидеть Киску. Ничего не видно от слез.

Лошади перебирают ногами, цокая копытами по лужам мостовой.

— Я уже больше не вернусь в этот дом, дети... — говорит мама. Ее лицо в сумраке кареты бело, темнеют глаза. Голос дрожит.

— Ну что ты, мама... — говорим Маруся и я в один голос, одной интонацией.

— Что ты, что ты, дружок, что ты, Маня... — взволнованно старается папа подбодрить маму, — в Италии — расцветешь...

Карета трогается. Лошади заворачивают в переулок. За окном мелькают мокрые черные улицы, огни. Идет мелкий дождь. Ветер. Столбики света — отраженье огней — дрожат в черных лужах. Стекло кареты в слезах.

Мы покинули Москву осенним вечером 1902 года.

Марине исполнилось десять лет, мне — восемь.

## Часть вторая ИТАЛИЯ

### Глава 1 ГЕНУЯ. КАМПОСАНТО. ВСТРЕЧА МАРИНЫ С МОРЕМ. СВОБОДА!

Как уютно Марусе и мне засыпать на поднятых диванах купе второго класса, под мягкое покачивание поезда, друг напротив друга (мама и папа тихо говорят внизу). Уже отпит чай с молоком и печеньем, поданным нам снизу папой, и опущен полукруглый синий колпачок на потолочном фонаре. Темноватый свет, таинственный. Он делает родным наше купе, точно мы уже давно живем, едем в нем, не первую ночь... Усталые от пережитых прощальных дней, мы лежим, смотря во мглу и друг на друга, не желая еще уснуть, наслаждаясь наставшей новизной дорожного уюта. Волнение предстоящего, радость случившегося, только теперь осознанные, качают нас, вместе с ритмом поезда... Беспечность восьми и десяти лет не дает нам думать вплотную — о маме. Мы — с ней, в Италии она выздоровеет! — эгоистически успокаиваем мы свою совесть и счастливыми, жадными глазами глядим вперед.

Книга «Зеленой библиотеки» с золотом, «Друзья Эффи», мелким шрифтом привлекая меня, купленная мне на дорогу, оказалась скучной — примерная девочка, совсем не так любящая животных, как мы. Я не стала читать ее.

Утро. Мы стоим у окон, неумоимо глядя на убегающие за ними — осень, бушующую облетающими ветвями, штабеля дров, рельсы, встречные поезда, от которых рябит в глазах, в мгновенном испуге. Внезапно неподвижная — не летит!

живет, как и мы до вечера жили — станция, спующие незнакомые люди... Из серебряных судков едим суп — такой вкусный, так пахнет, — он темно-рыжий, блестящий... Дома — такого нет! Пирожки тоже — как темное золото, крутые яйца, холодная курица и любимый чай с молоком и печеньем! А потом по куску шоколада! Лёра принесла нам какие-то особенные конфеты. (Мы любим Лёру, хотя не любим Александра Павловича...)

По телеграмме, данной нами в Варшаву, нас должен встретить папин младший брат, дядя Митя, со своей семьей.

Дядя Митя был профессор русской истории, писал книгу о Василии Шуйском. Оглушенные, освеженные польским щебетом, дивясь, слушая во все уши, мы стояли на перроне вокзала, глядя во все стороны, отвечая на вопросы об имени и о возрасте, о том, жаль ли Москву, хочется ли в Италию.

Помню маленького, полного дядю Митю — окладистую бороду, быстрые карие глаза, — похожего немного на карлика. Выше его — его жену Елизавету Евграфовну. Близко поставленные к очень горбтому носу глаза смотрели на нас пристально, остро, но взгляд их был добр, и улыбка худого птичьего лица — ласковая. Она говорила с мамой. А мы, только что на московском вокзале расставшиеся с братом Андрюшей — с той же вялостью, как он с нами (мы в его жизни были как-то не нужны, он, может быть, ничего не терял, нас провожая), с любопытством смотрели на нашего двоюродного брата Володю. Он — полная противоположность Андрюше. Похожий на мать и ее любимец, живой, энергичный, он деловито бежал по перрону, стремясь поближе к паровозу — рассмотреть работу его поршней и колес. «Инженер будет!» — сказал кто-то из старших. В то время не было такого множества инженеров, как нынче, и эти слова — звучали.

Володя сразу понравился нам. Что-то было родное в его повадке, и в тех минутах, на какие он оторвался от паровоза — для нас, не было Андрюшиного пренебрежения к «девчонкам». Дружеский, огненный взгляд, повернутый от колес — к нам, сказал, что мы были бы друзьями, если бы не — третий звонок! Мы уже стоим у окон, в вагоне, а перрон, дрогнув, поплыл — руки, платки, последние пожелания. Варшава тает как снег.

Что это было? Почему мы вышли в этом маленьком немецком городке? Но он, потом ставший сном, как Варшава, был явью в тот день — Виллах, по-моему. С Лёрой идем по тихим улочкам города. Утро. Золотые пласты солнца. Дома с крытыми черепицами крышами. Площадь. Фонтан. Пересекая ее, идут — по две — школьницы с сумками; у одной — ковриковая. Это идет школа. Уютной стариной дышит на нас эта процессия. Маруся и я вглатываем ее — навсегда.

Маме было нехорошо в пути. Решали, где остановиться, чтобы дать ей отдохнуть. Позади — волнение границы, осмотр вещей на таможне.

В Вене мы остановились в гостинице — мама не могла ехать далее. Лекарства не помогали. Надо было говорить с докторами.

Спутавшись с бесчисленными комнатами гостиниц других городов и лет, пропадает из моей памяти комната венской гостиницы. Улицы ее тоже смутны мне — вернее, они спутались с Веной других позднейших приездов в нее. Помню только какой-то городской сад, куда нас повела гулять Лёра — быть может, в час, когда к маме приехал доктор, — чтоб мы не мешали и чтоб увести от тяжелобольной. Притихшие под тучей внезапной маминой болезни, мы не до дна души, конечно, были подавлены: мир оставался, жизнь шла, впечатления громоздились одно на другое, жажда впитать и видеть была сильнее.

Не похожий на московский сад, много детей, модно, легко одетых, и недовольные слова Лёры о том, как выглядят здесь наши тяжелые пальто и ботинки, о которых она тщетно пыталась возразить, выводя нас. Папа, занятый возле больной, верно, махнул рукой — веди, мол, как есть, чтобы не вынимать ничего, не мешкать, не беспокоить маму.

Крупное, цветущее здоровьем лицо Марины высоко над моим плечом надменно озирало мелких венских детей с их локонами, шляпами, элегантными жакетами, матросками и голыми коленями, — самоутверждением боря стыд идти мимо них в московских гамашах и драповом пальто, старом уже, с тяжелой полупелеринкой.

Больше я не помню в Вене ничего.

Зато — будто не прошло стольких лет — вижу крутые волшебные горы с лесами, водопадами, городами у подножья...

Бурные речки, мостики, летящие назад селения с островерхой колокольней, купой деревьев, вновь и вновь пере-резаемые мгновенным мраком туннеля, сжирающего пейзаж и вновь его дарящего, — выбрасывая на себя наш поезд, словно игрушку, — в новые потоки гор, водопадов и речек, городков, крутизн и долин, ослепительно свежих, пахнущих осенней травой, сверкающих солнцем и лилово-зеленым бархатом освещенностей и теней.

Вижу мамино лицо, ее — нам — улыбку. Голос Маруси: «Мама, как похоже на наш тарусский Тироль...» Сколько мы ехали по Тиролю — не помню. Италия — близилась. Мы ехали в Нерви, близ Генуи.

Мама слаба, но ей уже лучше. Уж нет страха не довести ее. Синяя эмаль не нашего неба над миндальными и апельсиновыми рощами. Тепло. Муся и я не отходили от окон. Аришу, ее интерес, ее любованье было весело видеть. Мама улыбалась нам. Видя, что маме чуть лучше, папа повеселел. Мне кажется, и Лёре, ехавшей из Москвы против воли, меньше думалось об Александре Павловиче, летя по холмам и равнинам Италии, — ей, так любившей красоту, ее искавшей.

На какой-то пересадке у нас пропал портплед. В нем, как это всегда бывает, оказались самые нужные вещи. Можно вообразить тот голос, каким я вдруг, его увидевшая в уезжавшей, переполненной чужим багажом тележке, закричала: «Наш! Наш!» Его блеклую клетчатость, непреложную и родную в хаосе чужой спешки, я узнала с предельным отчаянием радости, и когда старшие, ввиду детской моей «приставучести» часто не обращавшие на меня внимания или награждавшие меня столь ходким от старших к младшим словом «отстань», по сверхотчаянному моему упорству кричавшей свое, установили мою правоту и бросились вслед за исчезающей в толпе тележкой, — я, осознав важность минуты, смолкла. Портплед был спасен.

— Скоро будет море, дети, — сказал папа, хорошо знавший Италию, — глядите вон туда...

Мы прилипли к окнам. Волосы трепали нас по лицу. Сердце билось, заглушая стук поезда:

— Где? Где?..

— Ну, вон — вон — левее — неужели не видите?

— Это? — У кого-то, а вернее что у обоих сказавших, пресекался обидой голос.

Далеко и плоско, крошечно, зажатая между каких-то неровностей пейзажного рельефа, блеснула серебристой синевой узенькая полоска.

Мы ждали, что оно вылетит к нам навстречу из-за поворота, сияющее и огромное, такое, как дышало и билось в стихах Пушкина. Маруся, легко и часто красневшая от обиды и застенчивости, должно быть, покраснела в этот миг. Она молчала, сощутив близорукие зеленые глаза на обманувшую даль. Высокомерно смотрела она и мимо меня, хныкавшей: «Разве это *море*? Это совсем не море, *совсем* даже не похоже...»

Увы, неудачно было и второе свидание с морем... Генуэзская гавань. Папа, видевший наше огорчение, повел нас посмотреть море — в порт, оставив чуть повеселевшую маму с Аришей в гостинице.

Да, оно было бескрайно. Где, за линией воды, в Тарусе были кусты и тот — тульский — берег, — был сплошной блеск, кончавшийся о небо. И все-таки — мы ждали чего-то другого. Пушкинское разбудило, вернее, назвало в нас нечто такое, чего не было в генуэзском: как большие игрушки, плескались корабли в плавных струях мутной воды, пахнувшей дегтем и нефтью. И оно было срезано каменным бортом гавани. Тут царило не море — а бочки и ящики, темнокожие от солнца матросы, канаты, лодки, трапы — все, что мешало морю и нам. И, сконфуженные морем еще раз, мы чинно брели рядом с папой, сиюсь не выдать себя, чтобы не обидеть его хлопот о нас. Возраст его, на почти полвека разнившийся от нашего, был с детства нам как помеха ему понять нас, его чтивших как почти деда, пережившего уже все то, что в нас, забвенно для него, билось и пенилось.

Генуэзское портовое море было — как папа: оно было спокойное, несло людям пользу. Оно не пенилось и не билось, и нам было его жаль, как папу, и хотелось — уж лучше домой, в номер, где были мама и — книги.

На другой день папа повел нас на знаменитое генуэзское кладбище «Сампосанто» (Святое поле). Мама предупредила нас, что *настоящих* произведений скульптуры, как те, что мы знали по папиному Музею, вернее — так как Музей еще строился — по *каталогам* скульптуры, там мало или почти нет, — что на могилах, заказанных генуэзской знатью, купе-

чеством, — мраморные изваяния, изделия средней руки художников. «Встретится вам там и безвкусица — аллегории — “Скорбь”, “Отчаяние”, — вставил папа, — не бог весть каких резцов, но в общем и целом это вам даст понятие...» — «А аллегория, — пояснила мать, — это...»

Мы слушали, потому что надо слушать слова старших, когда они так хотят объяснить. И все-таки с Кампосанто случилось наоборот, чем — с морем. Оно понравилось нам так сильно и искренне, что и Микеланджело бы не помог! Темная, резкая хвоя кипарисов, густая, как шерсть на дворняге (с подпушком!); невиданного цвета лиловое небо, запах лавра, растопленный в нежной жаре дня (после московских осенних дождей), и под этим — взмах мраморных крыл в каменной тишине кладбища, города склепов и памятников над когда-то тут ходившими, дышавшими, как и мы, людьми... Что за дело могло быть нам, в десять и восемь лет, что поза плачущей мраморной женщины, коленопреклоненной у мраморной плиты, — не в меру патетична? И не то ли, не то именно, что *мы* чувствовали меж могил, выражал чей-то точечный мраморный палец у мраморных губ? Не та же ли серебряная тишина сковывала его — и нас? Завороженные, ходили мы по белому городу мертвых, слушая под спудом недвижных глыб — жизнь смолкших под ними людей.

И вот мы стоим с папой на итальянской площади перед памятником Гарибальди, слушаем папин рассказ о нем, о его роли в жизни итальянского народа.

Возвращаемся по аллее пальм, в первый раз виденных, в звонком цокоте итальянской речи, из которой жадно ловим — Маруся знает уже много слов — волшебство, пришедшее к нам со всеми этими «чинкуента», «чентезимо», «чапелетти», «куанта коста», «буоне дио», «буоне сера», «ариведерчи», — в котором пойдет наша жизнь.

В Нерви мы едем завтра. Папа уж съездил туда, нашел пансион, где мы все будем жить, он называется «Pension Russe» («Русский пансион»); его хозяин — немец, с юности живущий в Италии; у нас будет квартира в четыре комнаты во втором этаже, окнами в сад. Маме немного лучше. Ариша просит Лёру взять ее с собой в город. Лёра читает узкую, синюю с красным, книжку — итальянский самоучитель. Муся ждет минуты — завладеть им.



Вечер. Итальянская старушка из семьи хозяина гостиницы ведет нас в гости к внучкам. Странными внутренними переходами через длинные ступени и арку мы входим за ней к двум итальянчикам — смуглым и черноглазым; у маленькой локоны как на картине. Все мы говорим что-то на смеси языков, жаркой, пытающейся понять друг друга. Получается птичье. Девочки дарят нам круглые белые корочки, полные россыпи тонких шоколадных пастилок. Сладость их тает во рту, обогащая вечер совсем уже несказанной прелестью. Старушка, смеясь, повторяет наши имена: «Marina, Asia». «А там, — она показывает назад, где осталась Лёра, — America?» Она очень ласкова к нам, мы ей нравимся. Снизу — восхитительный запах ресторана, чужих вкусных блюд. Он смешан со звуками оркестра. Стоит синяя ночь, и в ней висят розовые шары фонарей. В узких улочках на веревках меж домов — белье. Далеко — рокот моря.

## Глава 2

### ПРИЕЗД В НЕРВИ. ВОЛОДЯ МИЛЛЕР

Маленьким ли местным поездом, соединяющим Геную с Нерви, мы ехали туда в тот теплый, глубокой осени, итальянский солнечный день? Или — экипажами? Мне Нерви начинается не с того дня, когда — под вечер — мы приехали туда, а с утра, когда мы там впервые проснулись: хозяин пансиона, Александр Егорович Миллер\*, прийдя навестить нас на новом месте, узнать о здоровье мамы, привел с собой своего младшего, одиннадцатилетнего сына. Они стояли рядом, похожие друг на друга, как могут одиннадцать лет походить на сорок, и улыбались оба той же удалой улыбкой: высокий, широкоплечий, легкий, худой отец, с длинной широкой рыжей бородой, в широкополой шляпе — и Володя, в не первой свежести матроске, рыжеголовый, веснушчатый, с таким же широким, как у отца, носом, с озорно подрагивающими ноздрями и лукавым взглядом синих глаз, застенчивых и дерзких, отцовских, у того лишь подернутых лаком тридцати — сверх Володиных — прожитых лет. Но и в отце было

\* Позднее — автор итальянского учебника для русских.

что-то веселое и свободное, что мы мгновенно в себе назвали словом «разбойничье» и что жадно понравилось нам.

Александр Егорович не был похож ни на одного из мужчин, которых мы знали, и Володя ни на одного из мальчиков — ни на Андрюшу, ни на дяди Митиного, так нам понравившегося, хоть и делового, Володю — этот Володя был особенный, сразу нам чудный! Видимо, он тоже на нас глядел с одобрением, отмечая (стриженные волосы, матроски) нечто мальчишеское.

Весело, хоть и чинно, попросил Александр Егорович у мамы позволения отпустить нас в сад под эскортом Володи. «У нас большой сад, надо же вашим девочкам осмотреться, погулять, сынишка им все покажет!»

Мама колеблется. Вид Володи не очень надежен. Мы умоляюще смотрим на маму. За нас, конечно, вступается, «ручается», Лёра и мы уже бежим сломя голову вниз по лестнице вслед за Володей.

Не будь его — мы бы, наверное, с размаху больших ожиданий, разочаровались в том, что звалось — сад; сада, собственно, не было: прозрачные аллейки меж куртин с невысокими деревьями (они оказались апельсиновыми и лимонными). Ничего сходного с русской тенистостью сиренево-липовых садов. Но мы были поглощены Володей и счастьем, что мы — в Италии, это несло нас *над* реальностью молодого неромантического сада.

Мы слушали, что живем на улочке, зовущейся Каполунго, что в «Русском пансионе» — столько-то пансионеров, какие и кто, что у Володи есть брат, Жорж, ему шестнадцать лет, но он только *чуть* выше Володи; он — слабый, он не умеет драться. Матери у них нет. Она умерла. Давно. Жорж похож на нее. Отец не любит Жоржа. Они раньше жили в Германии. Володя не знает немецкого. Он учится в итальянской школе.

— Это? Лаин, белый с желтым короткошерстый пес. Еще есть Балин — ненастоящая такса. У вас денег нет? Жаль. А то бы можно купить чапелетти (леденцы). Их можно очень долго сосать! Шоколад тоже можно купить, близко.

Володя говорит на несколько ломаном русском, но и это нам весело. Навстречу проходит старик в полосатой (полосы, как у осы, поперек) рубашке с короткими рукавами. Очень странный старик. На голове — чулок, только корот-

кий. Бороды и усов нет, бритый — с седой щетиной (она блестит, как рыба чешуя). Он почти черноглазый — такой загар. Нос у него — больше, чем орлиный, — висит крючком и немного как груша.

Садовник, говорит нам Володя, рыбак. Есть еще много молодых рыбаков — Нандо, Орландо...

Володя ездит с ними на лодках. Один? Ему позволяют? Мы с завистью, с уважением глядим на нашего друга. Что друг — ясно, мы точно всю жизнь жили вместе! И, молча, мы уже делим — Володю. Муся, конечно, захочет себе! Как «Ундину». Мне отдаст — Жоржа, как «Рустема и Зораба» вместо «Ундины». Я «Рустема и Зораба» люблю. Жоржа — нет. Потому что он не похож на Володю.

Фруктовые куртины кончились. Мы идем по дороге, пересекаемой железнодорожным мостиком. Слева — двухэтажный дом. Там живут рыбаки. Впереди — зеленая садовая дверь. Мы в первый раз видим агавы и кактусы. В листьях агав, пыльно-толстых, длинных, зеленых, что-то есть от слоновьего хобота. Легкая жара южного неба томит.

Холодный ветренный дождливый вечер отъезда из Москвы живет в памяти не более ярко, чем сон. Воздух пахнет какой-то особенной хвоей. Это — пинии! Если оглянуться — они кронами по две, по три темно зеленеют здесь и там и по всему пейзажу Нерви, его белых плоскокрыших домов. Отчего шум в воздухе? Володя открывает тугую железную дверь, и мы входим в еще одно отделение сада: оно кончается решеткой (перилами), оно точно висит. Несколько деревьев склонилось над белым, с зелеными ставнями, павильоном, другие стоят по краю перил. Воздух шумит еще сильнее — ветер свистит в ушах. Чем пахнет так? Да, где-то жгут костер... Неужели можжевельник? (Таруса...) Нет, не только. Чем, чем? Нюхаем воздух, как псы.

— Володя! — крикнула Муся, поспевая за ним, бежавшим вперед, в то время как я отставала, и что она хотела сказать, я не знаю, потому что она закричала без слов, в ужасе: Володя, разбежавшись, перекинул ногу через перила. В испуге, паническом, что он перелетит туда, где ничего нет, Муся вцепилась в его курточку, вися на нем, оттягивая назад всей своей тяжестью.

Но в то же мгновение что-то непомерное, неизведанное отвело ее глаза, голову — вбок, туда, где в пустоту и, казалось, из пустоты — сине-зеленой и бьющейся — к ее лицу и выше — взлетало огромное, ослепительное, воздушное, с тем самым запахом, что был сильнее, чем пинии, с тем шумом, что вдруг вспыхнул грохотом и, обдав нас солью, рухнул вниз, в синеву, которая уже вновь подымалась.

Нестерпимый блеск серебра и зелени, занявший всю даль, разжимая ее руки, и она оглохла, онемела, вся с головы до ног. Перед нами расстиралось — море...

— Это — «Маленькая Марина», — пояснил, лукаво смеясь, Володя, — а La Grande Marina\* — там, в Нерви. — Он указал направо, на полосу серых грифельных скал. — Ее — Ася, — сказал он, кивнув на меня, только что добежавшую, — а тебя — как?

— Меня? — сказала Маруся немного высокомерно, точно он должен был знать — сам, точно этот вопрос был излишен, разве ее могли звать иначе?! — Марина...

И — от удивившегося ли Володиного лица, потерявшего вдруг все лукавство, или от того, что имя это, сказанное, заколдовало, по-новому уже, даль — она взглянула на море иным, овладевающим взглядом...

Волны взлетали одна за другой каскадами пены до самых пиний; мы стояли мокрые, задыхаясь от радости, что никто не знает, где мы... Володя — по словам Александра Егоровича — «показал нам сад»: выйдя крутой узкой лесенкой, высеченной в грифельных скалах, к морю, мы облазили все мокрые камни и выступы, поехали с Нандо в лодке вдоль берега — и два раза, в первый же день, упали в воду меж крупных крабообразных камней. Сушились на солнце, опаздывая к обеду, царствовали на скалах, пировали — свободой и морем, загорали, голодные и ликующие, позабывшие дом и своих с отчаянным сорванцом, разбойником и бродягой — Володей.

Мне кажется, ни в одном из стихов Марины о детстве так не сказалась вся сущность ее натуры, как в написанном позднее — с воспоминанием о детстве. Тут нет гипербол. Так она

\* Большая Марина (или Большой курорт) (фр.). — Примеч. ред.

чувствовала, так она жила. Каждый ее день был праздник ее воли, полный столкновений и горестей. С этим она вставала — с этим отходила ко сну. Вот эти стихи:

... Чтобы пел надменный голос:  
— Гибель — здесь, а там — тюрьма.  
Чтобы ночь со мной боролась,  
Ночь сама!

... Чтобы все враги — герои,  
Чтоб войной кончался пир,  
Чтобы в мире было двое:  
Я и мир!

### Глава 3 «РУССКИЙ ПАНСИОН». ЕГО ХОЗЯИН

Трехэтажное белое здание на узкой улочке Каполунго. Позади него апельсиново-лимонный сад, выходящий лесенками на скалы. В первом и втором этажах — комнаты пансионеров; в третьем — несколько комнаток и большая зала-столовая (табльдот). Кушанья берут через окошечко из кухни горничные, от старой толстой Моники.

Глаза разбегаются — столько новых людей! Все к нам приветливы, ласковы, и все отмечают Мусю за ее раннее развитие, ум, талантливость. Хотя Жорж тоже дружит с нами, но мы мало любим его; нельзя поверить, что он — брат Володи.

Мама поправляется. Тяжелое состояние, в котором ее привезли, вызвало особые заботы о ней доктора Манджини. Он успешно лечит ее новой сывороткой доктора Маральяно. Маленькие — столбиком — деревянные коробочки из-под нее мы берем себе: в них мы держим камешки — собственно, кусочки морем отшлифованных стекол, камешков матовых, овальных и круглых, тускло горящих зеленым, желтым, голубым огоньком. Коллекция их растет, они — как драгоценные камни. Мы проводим весь день вне дома — на грифельных скалах у моря, с Володей и Жоржем.

Тайком мы жжем костры, жарим уже жаренные, унесенные с наших тарелок рыбки, спрятанные за столом. Мы жуем

и сосем прозрачные чапелетти — отрезочки длинных тонких карамельных батончиков, в каждом узор цветка — этого в России не было. Еще более тайком мы учимся от Володи и Жоржа курению; это *очень* противно, но отставать от мальчиков нельзя. Муся уже немного говорит по-итальянски — знает много слов, очень много. Она пытается читать любимую Володину книгу «Il Cuore» («Сердце») — из итальянской школьной жизни\*. Лёра, как всегда, стоит за нашу свободу и, так как мама еще не выходит, отпускает нас в сад, беря слово, что не будем прыгать по скалам, чтоб не упасть в море. Папа уже мечтает о поездке по Италии по делам Музея, мама — о пианино напрокат. Д-р Манджини еще не разрешает, но мама уже перебирает струны гитары и больше не говорит про смерть.

Думает ли Лёра о Москве? Мы не спрашиваем ее. За ней ухаживает Володин отец, Александр Егорович, хотя он много старше ее. Лёра ведет себя сдержанно, строго; мы, дети, уважаем ее дружбу. Рад ли папа, что увез ее из России? Несмотря на внешнюю воспитанность и ум Миллера, о нем ходят слухи, что он вел слишком «широкую жизнь», что с женой был груб, что она умерла «от горя». Многие осуждают его за слишком вольное воспитание Володи, за то, что, видя в нем «свою кровь», он смотрит сквозь пальцы на его озорство. Но как хозяин пансиона Миллер талантлив: он умеет объединить своих крайне разнообразных пансионеров в веселую и дружную семью. Все говорят, что — немец по рождению, он по духу — итальянец. Италия — его вторая родина. Он, конечно, не покинет ее.

В третьем этаже — в комнатке подешевле и победней (он приехал при нас) — поселился очень большой молодой немецкий служащий, Рёвер. Худой, с глазами навывкате, с потными руками, он — жалобный, и мы жалеем его. Он очень беден, родители с трудом смогли послать его лечиться. Он счастлив, по-детски, что он — в Италии! Он лишь о ней мечтал с детства! Но болезнь мучит его, он так кашляет... Очень застенчив, но с нами, детьми, шутлив.

Д-р Манджини качает головой. Но «Италия ведь делает чудеса» — это повторяют все больные в Нерви. И еще — что

\* Э. Д'Амичиса, в русском переводе — «Школьный год».

скоро, уже скоро будет названо средство от чахотки, над которым работает доктор Б. — который просит чахоточных «держаться» — он уже заканчивает свой победоносный труд...

Италия! Маме — страна ее выздоровления, Лёре — радованье красотой неба, моря, молодостью и вдумчивость в странные повороты судьбы; папе — с юности ведомая ему страна древности и ее памятников, которые он собирался вновь посетить, встав от постели выздоравливающей мамы. Страна прославленного искусства, «сокровищница мира», «бесценная диадема», раскинувшая под лиловым небом свои жемчужины — Рим, Флоренцию, Венецию, Милан, Падую, Помпею... Нам — страна впервые обретенной свободы на грифельных скалах над зеленью средиземных волн, запах жженных пиний и «фругти ди маре», вкус сорванного с ветки апельсина, горсти сушеного винограда. Вдруг раздающиеся под окнами звуки оркестра, бродячие музыканты, их серенады, тарантеллы, «Санта-Лючия» и «О, солие мио», топот срывающихся вниз по лестнице ног; страна внезапно нам подаренного итальянского *dolce far niente* (сладость ничегонеделания)!

Две лесенки, выбитые в скалах, идут к морю: та, правая — крутая и узкая, без перил, под нависшими ветками пиний изогнутая, как ведет скала, на отлогие пласты грифеля; ниже другие камни, частью уже под волной — мокрые, как тюлени, с острым запахом водорослей, обросшие раковинами, таинственные под хлещущей их водой, — как морское дно. Более широкая и отлогая лестница ведет с «Малой Марины» на пластину — покатуя грифельную плиту, по которой мы, дети, легко ходим; тут наше любимое место — костры, куренье, чапелетти, разговоры и рассказы о прошлом. Над «пластиной» — круто нависающий ломкий пласт грифеля, по которому можно — хотя и трудно — взобраться, цепляясь за кусты сухих трав, к перилам «Малой Марины». («Марина» — прогулка над морем.)

Пока д-р Манджини, папа, Ариша заняты выздоравливающей мамой — мы свободны ловить на скалах волшебные стеклянные «камешки», ссориться из-за того, чей Володя; учить язык итальянской улицы и науку жить вне дома, как дикари. Володя — первоклассный учитель улицы. Солнце жжет наши стриженные веселые головы.

Близ *Allea del Palma*, ведущей к подъему на гористую часть Нерви, на площади стоят карабинеры — (итальянские полицейские), — не похожие на русских городских: на них — треугольные шляпы с пером и короткие пелерины, они напоминают петухов. Есть в Нерви — волшебный сад Лаварелло, где зеленые густые поляны, огромные тенистые деревья, которые так пахнут, — это лавр? Нет, не лавр? Что это? Сердцу блаженно; лежа в траве, обнимая белых шпицев Фидо и Стеллу, уже не помнишь ничего на свете...

На закате сад совсем золотой, а позже такой бледный, точно его совсем нет. Когда долго глядишь в море, в далекую даль, а солнце нежно жжет лоб, виски, щеки, — кажется, тебя нет — одна даль, одно море... С поднятого весла Орlando медленно капают капли. Он смеется. Его смуглое гордое лицо так знакомо! Неужели еще нет месяца — мы в Нерви?

#### Глава 4

#### ВОЛОДЯ. СОБАКИ. ВОВА КУРДЮМОВ

Высоко над Нерви, на Сант-Иларио — кладбище. Сколько могил! Не только исконные жители Нерви легли тут, под замшелые памятники; тут успокоились многие из тех, кто приезжал сюда лечить проклятую чахотку, но кого она отвоевала у Италии, у ее садов, скалистых берегов, у запаха пиний и лавра... Возле каменной ограды кладбища — темная зелень высоких свечеобразных кипарисов. Свищут птицы. В синюю пахучую тишину мерно поднимаются снизу звуки волн.

Через месяц после приезда в Нерви мама стала выходить из своей комнатки. Теплый воздух (она спала с открытым окном) и сыворотка возвращали ей жизнь. Д-р Манджини радовался еще одной новой победе сыворотки доктора Маральяно. Доктор был веселый, красивый человек с щегольской, обрамляющей лицо бородкой, приветливый ко всем, — но мы, дети, были к нему равнодушны. Чего-то в нем не было.

С появлением пианино возобновилась наша игра на рояле. Мусю и здесь все хвалили, а для меня гаммы и упраж-



нения были мукой. Да еще и Володя ждет! Зато какой восторг был — окончив, бежать сломя голову на «пластину»! По пути уже сжималось сердце, — в природе Володи было мучительное лукавство: он мог глядеть в лицо своими милыми глазами — и лгать. Он умел притворяться другом — и посмеиваться. И я чувала, что Муся — как в гимназии с Несмеяновой — не будет меня защищать; наоборот, высмеет Володе мои невыгодные черты — плаксивость, передавание маме всего («Сплетница-газетница, «Московский листок»! — мне Андрюшино гимназическое). И в счастье итальянской, уже родной природы, в сладость апельсина, закушенного, — лезвием вонзалась тоска одиночества.

Бутылочки лимонада! Их приносил на скалы Володя, закрытые стеклянными шариками, искусно снимаемыми им из горлышка, — душистые брызги летели вверх, как пена волны: предвкушение питья.

Запрокинув голову, пьет Володя, и честно отрывается — Мусе, та — мне.

И были собаки. Не отделимый от Володи Лаин, такой быстрый, что прежде нас взлетал на пластину, и вверх по крутой скале, белый с желтым, ласковый, умный, совсем русский, так ничем не отличный от «наших» собак. На высоких ножках, с поднятой головкой, звонко лающий, забияка, игрун. Как он красил нам жизнь! И Балин — мамин любимец, часто прыгавший к ней на кровать, ложившийся у ног — для чего мама подстелила свой маленький тигровый плед. Вывернутые лапки Балина, низкий рост и черная с желтым раскраска изобличали таксу; большой объем и вес говорили о помеси. Он плавал как рыба, обегал за день еще больше нервийских мест, чем Володя, урчал как кот. Он был такой милый, такой ласковый, что и маме, и нам казалось, что «за всю жизнь» мы не любили так «ни одного кота, ни одной собаки»... Когда, открыв пасть, он, задыхаясь от бега, высывал дрожащий язык и застенчиво и благодарно чмокал, убирая язык в хлопнувшую коробкой пасть, озорно играя глазами, — мы говорили, обнимая и целуя его — «Мама, не будем! Эхинококки, мы знаем! Не будем! Мама, как же мы уедем из Нерви, когда ты выздоровеешь? Как же Балин — останется?!» И были еще голуби. Мы голубей обожали — в Москве, на свободе. За цвет, за их говорок — за весенний запах

помета, за их стаю над детским двором. У Володи была его голубятня. Тут было — другое: коллекционерство. Не осуждая, мы — не участвовали. Мы их молча жалели.

Вечер. Мы у Рёвера в его маленькой комнате под крышей. Ему нечем нас угостить, он нас занимает иначе: наклонясь над стеклом керосиновой лампы, он жжет папиросную бумагу, и ее обугленное тело, скрутясь черной скорлупой, — без веса — легким облачком поднимается над горячим ламповым стеклом: «Die Seele fliegt!» — говорит Рёвер, — его худое, обтянутое кожей личико жалобно освещено снизу. — «Seht doch! Die Seele fliegt!»\*

Как море пахло! Как ныряла в волну и снова поверх волны, рыбкой и чайкой, лодка Нандо и Орландо, как искрился жаркими льдинками в море столб солнца; как томилось оно, синяя чешуйками рыбьими, бледнея и исчезая вдали... И как билась она, к нам подошедшая даль, о камни у ног, затеявая немислимую игру зелени и блеска, темных глубин меж камней и пенных высот. Тяжесть волн разбивается в воздухе пенными пышностями, на лету превращаясь в дождь, на наши мальчишеские головы, матроски, тяжелые и мокрые от камней, засунутых под резинку блузок...

Любимое море — рыбаками, моряками, художником и поэтом, но *никто* не способен любить его *так*, как *дети*, как любили его тогда — мы!

Доктор Белозерский, немолодой уже, иногда заходил к нам с мандолиной, мама брала гитару. Ее силы к ней возвращались с каждым днем. Видя это, папа собирался в задержавшуюся поездку по Италии.

В нашей жизни на скалах произошло событие: приехал из Петербурга мальчик одиннадцати лет, Вова Курдюмов\*\*. Выше Володи, хорошо одетый, круглолицый, бледный, голубоглазый, с белокурой челкой, с виду чинный, благовоспитанный, приехавший лечиться после перенесенной болезни, в сопровождении гувернантки. Звали ее Фрам (по-нашему — «Фрамша»). Матери у него не было — строгий отец. Как падает камень в пруд — вызывая всплеск и круги,

\* Душа летит! Смотрите же! Душа летит! (нем.)

\*\* Позже — поэт, встреченный мною в тяжелые годы страны — в Москве; помню его книжку стихов.

так попал в нашу четверку Вова. Как Том Сойер и Гек Финн мерили свои силы и навыки, так было с Володей и Вовой. Но одно почувал Володя сразу: этот больной, избалованный, худенький мальчик не боится его. Своеобразная гордость и упрямство Вовы заслужили уважение сорванца Володи, и Вова скоро и прочно занял свое место среди нас. Мы же, Муся и я, не изменив Володе, стали дружить и с Вовой.

Наступило Рождество. Новые пансионеры приехали в «Русский пансион».

## Глава 5

### РОЖДЕСТВО 1902 ГОДА В НЕРВИ. ПРИЕЗД КОБЫЛЯНСКОГО. НОВЫЕ ДРУЗЬЯ. СТИХИ МАРУСИ

В «Русский пансион» приехали (видимо, списавшись с мамой) Александра Александровна Иловайская с заболевшими чахоткой сыном Сережей и дочерью Надей (дети Д.И.Иловайского от второго брака). Сережа уже студент, лицом похожий на мать, — ее правильные черты, ее большие темно-карие глаза лица горделиво-чопорного в нем смягчены, теплы. В Наде соединились красота матери и отца. Сходство с отцом — явное. Она была очень хороша, в ее улыбке была ироничность, нежность; волосы — каштановые, пышные, прелестный румянец. Не верилось, что Сережа и она тяжело больны! Многие увлекались Надей, но увлечение молодого поляка Штольценберга я помню: невысокий, худой, в пенсне, он ходил за ней следом, чем гневил строгую мать и вызывал Надин милый смех. И Маруся тоже — тайно — полюбила Надю.

Приехавшего Владислава Александровича Кобылянского мы в первый раз увидели у елки. Что-то было в нем для Муси и меня до того пленительное, что мы не отрывали от него глаз. Глаз? Сердца, себя! Его увидев, мы просто им заболели. Жизнь вспыхнула такой радостью, таким значением на него глядеть — ждать, что он что-то скажет, поглядит, усмехнется — именно усмешка была у него, не улыбка, боялись, что вдруг встанет — и уйдет!

Зеленые, мохнатые, пахнущие Москвой хвойные ветки, качающиеся от шелестящих цепей (мы их клеили все, большие, дети), от шаров, синих и розовых, от золотых и серебряных картонажей, и на фоне этой знакомой, щемящей душу прелести, давней, страшная новая прелесть незнакомого человека! Удлиненное, худое, обросшее черной бородкой лицо, длинноносое, темноглазое, насмешливое и внимательное, чуть усмехающееся недобрым и нежным большим ртом. Ум, недоверчивость, знание себе цены, гордыня. Не оторвать глаз! Владислав Александрович смотрит на нас, словно понял, чем он сразу для нас стал, и тешится этим, поддразнивает. Но и не только нас он заметил из стольких пансионеров, а — мимо сияющей красоты Нади — увидел, зорко, маму, чуть ли не в первый раз в этот вечер поднявшуюся в столовую, к табльдоту.

В тот вечер сочельника долго, широко, шумно кончались приготовления к елке\*, веселый разговор о подарках, накрывание праздничных столов, блеск стекла и сервизов, ваз с фруктами, бутылок вина. Гроздья синего сушеного винограда, светлый шелк дамских платьев и кофточек, чьи-то руки — мамыны — по клавишам пианино. И синее вечернее итальянское небо — в распахнутые над Каполунго и садом — окна. Лампы, свечи в канделябрах...

Рождество без снега, без холода, с шумом моря — непонятное Рождество! И еще незнакомые люди: худой, остролицый Герб (такое странное имя!), поляк. Похожий на петуха. И его подруга, маленькая, круглолицая, добрая. О чем-то переговариваются полуфразами, шутками Кобылянский и Герб. Александр Егорович хлопочет над занавеской, из-за которой он будет выкидывать (по блестящему полу — Володя пробует, хорошо ли они полетят) пакеты с подарками. Лёра у елки, кончает развешивать украшения, яблоки, мандарины. С ней Сережа и Надя. Вова, Жорж, Володя и мы — «помогаем» разбирать елочные свечи — отнимаем их друг у друга за понравившийся цвет. И сквозь весь этот шум, шелест, блеск, стук, сквозь все запахи и все голоса — длинный, пристальный взгляд Кобылянского, изучающий, чуть смеющийся, зовущий и уже привычно отгалкивающий. Он сидит, не вставая,

\* Должно быть, это была пиния. Их много росло в садах Нерви.

под ветками елки (а Герб мечется по столовой). Машины руки летают по клавишам, гремя, замирая, царствуя.

Как было светло от свечей и ламп! Сколько людей, какое дружество друг к другу. Как вылетали из-за занавески подарки — сколько радости, смеху, поздравлений! Где еще найти такую шумную, невиданную семью, со всех стран света собравшуюся? Не меньше детских горят глаза взрослых; все сегодня — как дети... Огромное хвойное дерево, трепещущее ветками, золотым дождем и цепями, сверкает феерическими красками шаров, бус и других стеклянностей, тонко и тихо перезванивающих по хвое. И вот — первая спичка (здесь они серные, в плоских коробочках, зажжешь их о башмак — показал Володя — и о стену) — наклонена к первой цветной свече, тухнут лампы и канделябры, и огромная тень лесного великана упала на потолок и на стену, и она множится, крепнет, от зажигаемых — сразу, с боков и спереди, сверху (кто-то стоит на стуле) свечей.

Запах, запах! Муся и я нюхаем воздух. (Переглянулись — дедушкой! Это от губ; в чуть отведенной руке Кобылянского — папироса, в прокуренном мундштуке... Отчего же она пахнет *сигарой*?) В тот вечер не только вновь приехавший, но и Володя смотрел на нас — сразу почуяв, в растерянности нашей, рассеянности, восхищенности — ему в нас новых, что не он сегодня герой наш, что есть соперник! Но уже летел по губам и ушам детским шепот, что Кобылянский и Герб — революционеры, что царь их посадил в крепость, они бежали с каторги, что Кобылянский переплывал под пулями реку — и он не может вернуться в Россию, пока не будет в ней революции!

Жаркий, как елочная свеча, восторг бежит по детским существам от таинственных слов, непонятных — и уже по-иному не отрываются глаза от человека, отряхающего пепел, огневой точкой он падает мимо веточки, — и это тоже кажется полным значения. Брошенный талисман! Волнистые, отброшенные с высокого лба волосы, змеящаяся усмешка рта; огромный черный, мягкий, завязанный крупным бантом галстук, так несходный со строгим очертанием других мужских галстуков, — все полно вызова людям иной, чем его, жизни, все дышит оттолкновением от принятых норм, — и все это сразу становится каноном для нас, Муси и меня.

Как мы могли жить вчера и все годы и дни до вечера, когда мы его не знали, не знали, что он есть?!

Прижимая к груди свои два обретенных альбома — Марусин кожаный темно-красный, мой — малиновый плюшевый, мы бродили меж пансионеров, полные своим счастьем.

Как было понятно, что он не шумит, как Герб, не подымает громких тостов «за народ», не спорит, не кричит над бокалом — а, освещенный теперь вновь зажженными лампами, севший в ряд с этими веселящимися людьми, лишь упрямее, выше держит горделивую голову — и в зажатой руке темно-красный огонь бокала — цвета рубина в маминном кольце.

Как смеется рыжая борода Александра Егоровича, какие строгие стрелы мечут в него темные, как маслины, глаза Александры Александровны Иловайской, как бледен Штольценберг, как весело улыбается Надя, сколько сушеного винограда поедаем мы с Мусей — и немного шумит от вина и от позднего часа в голове...

— Твоя мама чудесно играет, — сказал Кобылянский Мусе, — я давно не слышал подобной игры!

Как удержалась Марина сказать, что она тоже играет? Что она будет музыкантом?

— Муся, Ася! — манил за собой лукавый — любимый? — Володя.

Лёру просили петь. Мама перелистывала ноты. Доктор Белозерский нес мандолину. Море шумело. Первое Рождество на чужбине!

*Чужбина!* Счастье — и горе ее...

Мама поправлялась. Манджини торжествовал. Сыворотка Маральяно спасла еще одного! Штольценберг, Венденфляе... им тоже так явно, как и маме, — делалось лучше. Лечение Сережи и Нади было начато... Только один Рёвер был худ и бледен, глаза неестественно яркие. Ривьера, делавшая чудеса, — медлила. А он ли ее не любил! Не его ли — в Мусин альбом — было написано немецкое стихотворение, воспевающее райскую красоту морских берегов, эмаль неба, зелень кипарисов и пальм? Описание было в вопросительной форме (о, где такое возможно?) и в конце строфы содержало ответ торжественно-восхищенный: «Das kann

ja nur die Riviera sein!»\* К ней он стремился с начала болезни, задлившейся. Для пути и лечения там родители его долго собирали марку за маркой, пфенниг за пфеннигом... И вот он, бедный немецкий служащий, — на Ривьере!.. Ступать по этой чужеземной драгоценной земле уже было блаженство! Одна картина табльдота была роскошью! И была в Рёвере застенчивая скромность: не ставить себя в ряд с другими, не требовать себе быстрого исцеления от этой целеющей природы. Он только благоговел перед ней, исходил улыбками и поклонами — не одним нам, детям, а каждому встречному — брату по общей судьбе — дышать этим воздухом, жить в прославленной веками Италии...

И не было в нем даже того, тоже скромного, но все же себя оценивающего *достоинства*, которое дышало вокруг внимательного к нашей семье архитектора Арнольда: за Арнольдом было прошлое, его архитектура, его уже не юношеский возраст. У Рёвера не было возраста: он был как ребенок, почтительный ко всем и всему радующийся. Казалось, не было у него прошлого — может быть, потому, что оно было так скромно (тихие, каких миллионы, родительские сени и конторка клерка); он весь был — в будущем, в том, куда, через идущее здоровье, через Ривьеру, распадется жизнь. И была в нем такая внимательность ко всем... Этот тихий восторг не гас в нем ни на минуту; он озарял его день.

Это была пора, когда мы, дети (думаю, что вожаком дела этого была самая главная из нас, самая выдающаяся — умом, талантом, характером — Маруся), всем стали давать имена животных. Арнольд был Сенбернар, мама была Пантера, Маруся — Овчарка, я — Мышка, Владислав Александрович — Тигр. О Гербе и его подруге я уже говорила: Петух, Курица. Я не помню прозвища Рёвера — должно быть, не дали. Удивительно, что Лёре мы не дали прозвища.

Теперь, когда от нашей семьи отошел призрак смерти и болезнь с каждым днем бледнела и таяла, к нам приходили «на огонек», посидеть, послушать мамину игру, Лёрино пение (иногда под мамину гитару), выпить русского чая, даже попеть хором студенческие и революционные песни тех лет.

Ездил ли папа в это время по городам Италии для Музеев? Я не помню его с нами в те вечера. Пели мы, жарко полю-

\* «Это может быть только Ривьера!» (нем.)

бив студенческие песни: «Из страны, страны далекой...», «Не осенний мелкий дождичек...» (эти две песни я помню особенно). Но, возможно, пелись и все те, что были в ходу в ту эпоху: «По пыльной дороге телега несется...» и «Вы жертвою пали...»; «Варшавянка»? «Марсельеза»? Или эти пришли — позднее? Только помню угольком в сердце странное в ребенке, еще ничего не видевшем, никогда об этом не думавшем, — внезапное тоскование по кем-то угнетенному народу, за который другие «жертвою пали в борьбе роковой»... И притихшесть, внезапная, в десять и восемь лет, перед этими — кто как Киска, как Тигр... Рядом с этим — все было мало! Оно еще не было названо, оно только реяло, но обжигание о него было достоверно. И хотелось идти за этими песнями, с кем-то, кто идет погибать... Мамино родное, любимое лицо чуть опущено над гитарой, большая белая рука с голубыми жилками трогает струны, и гулкой, темно-золотой, как эти струны, пылью тихо звенит нескончаемая, непонятная печаль. Тигр сидит в своем всегдашнем уголке дивана; он никогда не поет, он только иногда говорит что-то насмешливое или почти что злое, но его глаза и рот усмеваются. И дороже его, кажется, — никого. «Сквозь волнистые туманы пробирается луна...» — начинает низким своим голосом мама. Удалое и жалобное в ее улыбке, особенно когда она запекает другую — тоже московскую и тарусскую песню, родную вдвойне в этом чужбинном, как сон, доме: «Вот мчится тройка почтовая / Вдоль по дороге столбовой».

Это так бывает — это даже закон жизни: она распаивается вдруг, как огромная радуга. Рог изобилия жизни! Так в этот год было с нами: Тироль — море — Володя — Италия — мамино выздоровление — Тигр, — и вот нам смотрит в глаза новый друг (еще друг!). Ее имя — Кошечка, за особенный разрез глаз, очень широких, и их пристальное, как бы удивившееся выражение — «Испуганная кошечка». Из тех особенных, нам новых, людей, к которым, мы теперь понимаем, принадлежала Киска; которые жили на каторге за то, что — «против царя»: Александра Ивановна Доброхотова. Она не одна. С ней ее друг («муж» — у них не говорится) — Кот-Мурлыка по-нашему, высокий, круглолицый, в очень мелких кудрях. Кричевский. Они оба хорошие и к нам ласковые... А Маруся делается совсем новая, будто взрослая: с Гербом и его



подругой. Они говорят с ней как с равной, спрашивают о стихах: она пишет стихи о них, царских врагах, и она полна новой страсти, сердцем учуянной, в воздухе словленной: ненависть к царю. Резкий, шумный, насмешливый Герб — и тот не задирает Мусю как всех. Он *уважает* ее. Ее круглое, с прямым подбородком лицо, с отведенными по-мальчишески назад с чудесного лба, высоко, не гладко, упрямо, на густые пряди рассыпающимися русыми волосами, с глазами не по годам гордыми, — гордость в них борет застенчивость, и неожиданно добры эти дерзко глядящие глаза, и неожиданно насмешлив светящийся в этой доброте огонек.

Что-то роднит всех их с этой удивительной девочкой, пишущей стихи и дневник, играющей трудные музыкальные пьесы, имеющей такую — тоже ее не забудешь — талантливую, умную, горделивую мать. Инстинктом чуют они, что Мусина мать к ним неуловимо враждебна: боится за дочь? И радуются и гордятся, что Муся — уже их...

## Глава 6

### ТЯЖЕСТИ ЖИЗНИ. БЕДА НАД ВОЛОДЕЙ. СМЕРТЬ РЕВЕРА. ВЕСТЬ О ПРИЕЗДЕ ТЕТИ

Тигр и все, кто приходит к нам «на огонек», часто спорят. Они спорят — о партиях: против царя есть много партий, и члены каждой думают по-своему обо всем, о том, что должно стать, когда свергнут царя.

Тотчас началась новая жизнь у нас на скалах с мальчишками: мы тоже то распались на «партии», то соединялись в одну, то кого-нибудь из нас выключали, наши дни превратились в трагикомедийный театр. Но не сознавая комедийности, которая могла быть или казаться только постороннему наблюдателю, мы, дети, страдали по-настоящему, от «исключения», от «бойкота товарищей», и немало слез было пролито, думаю, не одной мной в эти дни жестокого по-детски «бойкота».

От слез глаза не видели ни апельсиновых деревьев, ни идущего по дороге Арнольда, ни бегущего — он к Володе бежит мимо меня — Лаина, ни кактусов и агав... Я бежала прочь от всех, но везде были люди. Было только одно место, где

можно было скрыться и плакать, — уборная. Я бежала туда. Тут я вырѣвывала жестокость Маруси, лукавство Володи и горе моей младшеи.

Еще полгода назад я, плача, всегда бежала к маме, отчего не делала этого теперь? Потому ли, что было трудно ей объяснить, что со мной? Повзросление ли реяло возле меня в эти минуты душевного одиночества, безутешного? Пол уборной был серым, каменным, он блестел множеством вправленных в него круглых стеклышек и камешков, пестрых, как в гроте. Пахло особенным запахом, которым озонируются итальянские уборные. Взрывы волн вдали. Слезы брали силы, но по-иному, одновременно и возвращали их. Устав и отдохнув, я шла жить дальше.

— Где была? Опять запиралась? — кричит, пробегая, Володя. Его милый голос будит в сердце весь хаос чувств. Но он убегает. Маруси нет. Я иду наверх. Где Лѐра? Я не люблю голос доктора Манджини и не люблю Аришу. Скоро обед. Пахнет жареной рыбой. Я одна. Куда идти? И вдруг — вспомнилось... тарусские лопухи у сарая, где Маша стирает. Мыло белое с синими разводами. Она плещет из корыта мыльную воду на землю. Мне жаль лопухов (что — в мыле). Мне хочется пить. Я вбегаю в сарай, черпаю ковшем из бочки и пью. С Оки — пароходный гудок.

— Ася, Муся, обедать! — зовет Жорж. — Ты не видала Володю?

Мне что-то мешает ответить: на стене маминой тарусской спальни висит желтый веер из сухого пальмового листа, а рядом — картинка под стеклом — мамина любимая. «Die Willa am Meer» Бёклина: лесенка, выбитая в скале, и пинии бушуют над морем. Дерево, женщина стоит на ступеньках в длинном платье, оно рвется в ветре.

Звонкий гонг сверху звал к обеду, пансионеры выходили из своих комнат, шли из сада.

Пришла беда. В ярости стыда и негодования, поймав сына на крупном воровстве, Александр Егорович творит нещадную расправу над Володей, — даже Лѐре он не открывает дверь, в которую она стучится.

— Воришка! — кричит взбешенный отец, полосуюя ремнем сына, а тот крик и вой под ударами превращает в обвинение.

— Я не воришка, я — вор! — вопит он, задыхаясь, в лицо отцу.

И мы, слыша, в слезах, ликуем от восхищения.

Какой был разговор у мамы с ее первенцем, ее гордостью, Мусей? Этого я не знаю. Сначала с ней говорила мама, теперь она ходит со мной по саду в волнении и говорит, говорит... Ее слова сыплются сквозь меня, не принося пользы, причиняя лишь стыд, что не чувствую ничего, кроме скуки, что — «так долго и так все то же!». Мне жаль маму и по-иному — себя. Где Муся? И что с Володей? А Лёра все-таки открывал дверь Александр Егорович!..

— Чтоб мои дети вели такие разговоры с мальчиками, чтоб внучки дедушки... — говорит мама, — когда я услышала, мне точно обручем сжало голову!

Мы идем мимо низеньких реденьких рощ, где за Володей гнался старый садовник, крича об украденном лимоне. Навстречу — Рёвер. Какой он худой! У него — не лицо, а личико.

— Ну, и что же тебе рассказали мальчики, о чем вы говорили? — допытывается мама.

Я молчу. Зачем она спрашивает? Разве это можно сказать? «О рождении детей», — пишу я позднее, дома, на маленьком клочке бумаги и даю маме. Но продолжают расспросы. Она несколько успокаивается: знания анатомии мне доступны. Ребенок, по моим понятиям, «выходит из живота».

Резче всех в пансионе выступили против мальчиков наши новые друзья: каждый по-своему — Гербжестикую и крича, Курочка — застенчиво улыбаясь, Александра Ивановна с доброй, но твердой горечью, даже насмешливый гордец Тигр, все стояли за то, чтобы нас разъединить с мальчиками. Лёра пожимала плечами над такой крутой мерой (вызовет обратное), предлагала — присмотр. Дни томительно шли.

Папа писал из Падуи, что скоро приедет, что для Музея ему удалось сделать многое. Гребни на море белые, как чайки над ними. Чей-то голос: «Скоро весна!» — «А Наде Иловайской не лучше», — сказал кто-то. Пробегая вниз после завтрака, Муся увидела в приоткрытую дверь Рёвера его голую ступню, далеко высунувшуюся из-под одеяла, кровать кончалась у самой двери комнатки. Что-то заставило Мусю остановиться. Или она задела ногу с разбегу? Ступня была холодна. С ди-

ким криком бежала Муся вниз по лестнице. Не зовя людей, а от смерти, в первый раз встреченной. Тишина Рёвера гналась за ней. День сверкал. Моника стучала ножами. Мусин крик разрезал дом, день — пополам.

Смерть Рёвера потрясла всех. Так скоро даже д-р Манджини не ждал ее. На похороны пошли все. Многолюдное шествие за катафалком, цветы, ветви кипарисов и пальм. Медленный подъем в гору, расспросы, кого везут, качанье головами о возрасте умершего. Это, конечно, было самое большое торжество в жизни больного бедняка-иноземца. Но его-то ему и не суждено было увидеть и услышать. Важно, сурово, впервые без улыбки плыл он, окруженный толпой, к своему последнему жилищу, и старики — мать и отец — не шли за ним. В этот горчайший в их жизни час они, может быть, говорили о том, что весна, море принесут их сыну здоровье, он все слал им раскрашенные картолилки\* с лазурью и зеленью, с пеной волн у скал, с Торре-Грапалло и Аллеадель-Пальма, с майской «битвой цветов». Быть может, и ландшафт Сант-Иларио (гора, по которой подымалось погребальное шествие) попал им в руки, но они не узнают, что за этими высокими кипарисами, за низкой оградой каменной, высоко над морем Италии лег их единственный сын...

День был полон какого-то особого великолепия.

Море внизу лежало совершенно тихое, плаваясь в серебре солнечного столба. Цвет неба напоминал помпейские фрески. Кипарисы не были темны, как вечером, — резба их сказочной гущины поражала ярко-зеленым цветом. Щебет птиц висел за рощей, рассыпанный по кустам и могилам.

Где еще есть такой край? Как его имя? Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? \*\* Гётевская строка лишь вопрошала об этом крае — ей отвечал молчаливый Рёвер, сходя в эту землю. Его ответ остался вписан в альбомы девушек и детей: земной рай, волшебное цветущее видение. «Das kann ja nur die Riviera sein...»

Комья земли падали на гроб, спущенный в яму. «Помнишь?» — сказала мне Муся, как и я, взглянувшая на небо,

\* Итальянское название, виды открыток.

\*\* Знаешь ли ты край, где цветут лимоны? (нем.).

и мы, задыхаясь слезами, обе в один голос: «Die Seele fliegt». Над синей безоблачной бездной, так бледно, что скорее угадывалось, реяло перышко белизны...

Зима шла и кончалась. Мама вела переписку с Тетей, прося ее приехать весной и свезти нас в пансион в Лозанну, где мы бы могли учиться и укреплять французский язык. Слово «Лозанна» нам нравилось: оно было непонятно, звало куда-то и было совсем неизвестно, чем оно станет нам. Приезд сюда Тети мы осознавали как нелепый, смешной, даже невысказанный (она — и Тигр! Она и — Кошечка! И Герб! Она — и Александр Егорович!), но, по-своему радуясь и ей, и событию ее приезда, мы рассказывали о ней Володе, хвалили ее щедрость, обещали ему от нее и денег, и шоколадку, и чапелетти.

— А она драться не будет? — деловито осведомлялся Володя. — Строгая... Я ей тогда задам!

Синие глаза под нахмуренными бровями смотрели отважно, рыжие вихры придавали ему вид дикаря. Чувствуя юмор угрозы: «задать Тете!», мы переглядывались, чуть смеясь, как только вдвоем мы умели, заражая друг друга, катясь, как с горы, в смех.

Как мы тайно и ждали, запрет видеться с мальчиками не стал явью, как-то не получалось. В саду, на скалах мы не могли их не встречать. Ходить за нами следом? Кому? Нас только чаще звали домой, дольше держали дома после завтрака и обеда, и мама уговорила с Александром Ивановичем о занятиях с нами русским, чтобы не пропадала зима. Да, так бывает — опасные разговоры, куренье — как-то сама собой проходила новизна жизни на скалах с мальчиками, из которой было вынута жало — тайна, свобода.

## Глава 7

### БУРЯ НА МОРЕ. ТИГР. НЕСЧАСТЬЕ С МУСЕЙ. НОВЫЕ ВЕЯНИЯ

Вечер. На море шторм. Такой грохот и рев, что даже с Володиной я не пошла бы сейчас к морю. Но мама вышла в сад, я иду за ней, жмусь к ней, и мне только немного страшно. Луна в тучах прыгает, как оловянный шар.

Ветер рвет мамино платье, как платье той женщины на картине Бёклина, оно закручивается вокруг ног. Ветер и меня закручивает в мамино платье.

— Тебе не холодно, Ася? Нет? Застегни пальто!

Мне весело. В Италии и так холодно! Точно море летит на нас, воздушное! Я наклоняю голову, чтобы дышать. Внезапно, сбоку от дорожки, по которой мы идем к железнодорожному мостику, выходит из темноты меж апельсиновых деревьев Кобылянский. На круглой застежке его плаща отсвет луны. Широкополая (мама зовет ее «разбойничья») шляпа, черная, как и плащ, делают его похожим на какого-то человека из книги. Плащ пляшет шумно, ветер то взмахивает им как крылом, то раздувается, как парус, то льнет и запахивает и нас с мамой. Мы теперь идем втроем, как одно. Так чудесно мне, так весело! Мы идем на «Маленькую Марину». Тяжелая резвая высокая железная дверь скрипит на петлях — и мы вступаем в заколдованный мир: море ревет, холод тут не такой, как за дверью — куда больше! и мокрый потому, что волны за перилами взлетают, рассыпаются пеной и все летит на нас! Дождь идет — *снизу*! Что-то кричит Тигр, наклоняя лицо, заграждая рукою рот, но я ничего не слышу. Может, мама услышала? Крик его доносится к нам, как шепот. Мне трудно смотреть на них вверх. Я прыгаю на месте и кричу в ветер, в волны из всех сил. И все-таки мы все немые. Агавы и кактусы (обычно они, как слоны, неподвижные) рвутся из земли! Но она держит. Борясь с бурей, с пеной, с плащом, мы подходим к перилам. Только на миг... Оглушенные водным грохотом, отскакиваем в ту минуту, когда волна, взлетев, обдает нас соленым вихрем. Успели все трое все-таки *увидеть бурю* на море! Серебряные, черные, оловянные скачут хляби, а по ним, их сминая, крутая, низвергая, летит уж, вставая на дыбы, волна. Под пляшущим шаром луны *его* кидают друг в друга тучи! И это — вперед, бесконечно.

Мы идем назад еще теснее, чем шли, вид водяного хаоса нас испугал и сблизил, но когда море позади, я смелею, бегу впереди мамы и Тигра, хлеща подхваченной веткой, крича: «Ма-ру-ся! Во-ло-дя!» (Вову, знаю, его Фрамша не пустит сейчас из дома). Но мама и Тигр идут медленно, до меня долетает звук голосов, теперь они слышат друг друга. Глухое туманное счастье купает меня в этой буре; а если бы *Тигр* был

наш отец вместо папы? — чувствую я вдруг всем существом. Я люблю папу, конечно, но маму, Мусю и Тигра — больше всех на свете...

Я обертываюсь. Как они далеко! Почему они идут так медленно? Я хочу повернуть к ним назад, но у дома, впереди меня, слышны крики и кто-то пробежал с фонарем. Не видя кто, только чуя что-то случившееся, я оборачиваюсь к маме назад, рвусь бежать от нее к дому, но теперь они идут быстро. Мама увидала, что я ей машу... Мама почти бежит! Тигр, рядом с ней, он что-то говорит ей. Мама не слушает.

«Маруся... Муся... Володя...» — слышим мы у дома голоса. Запыхавшись, подбегаем. Опережая нас, спешит доктор Манджини.

— Где? Наверху?

— Нет, нет, во втором! Бежала-то она сверху...

Кто сказал нам? Как мы узнали? Маруся, на бегу за Володей, на повороте крутой лестницы упала вниз. У нее разбита о камень голова. Я реву и бегу за мамой. Муся лежит в чьей-то комнате, на кровати. Глаза закрыты. «Без сознания», — говорит Манджини. Он осматривает рану. Меня уводят. Но я вырываюсь, бегу к маме. Она бледна, рот закушен, она ничего не говорит. Держит Мусину голову — Манджини промывает и перевязывает ее.

— Глубокая, — говорит Манджини. — Большая потеря крови.

Кобылянский стоит рядом с мамой, что-то шепчет ей, ободряет. Муся чуть качнула головой. Глаза закрыты. Я тоненько хнычу, всхлипывая. Мешаю. Мне велят замолчать. Тигр предлагает перенести Марусю в его комнату — она близко, там удобнее. К нам нести далеко. Мама колеблется. Спрашивает, по-итальянски, Манджини. «Не надо трогать. Пусть пока здесь. Поздней возьмем на носилки».

Мама садится возле кровати. Муся, всегда розовая — совсем белая. Я не знала, что таким может быть человек.

«С черной лестницы, той, с железными перилами. На повороте от второго этажа»...

Мамин голос: «Ариша, уведите Асю, пусть ляжет. И принесите мне шаль на плечи. Я буду здесь ночь».

Я не хочу, но мама строга, и я подчиняюсь. Муся лежит все также, закрыв глаза. От белых бинтов голова ее кажется

чужой. Мне страшно. Небо над садом темно, луны нет. Ветер. Море шумит. Холодно. Много людей, расспросов, сожалений о Мусе. Наконец я заснула, должно быть одна во всей нашей квартире, где было пусто без мамы и без Марины. (Ариша посидела со мной.)

Крепкая натура Маруси взяла верх над болезнью: она поправилась. Во все те зимние и полувесенние дни я не помню ни папы, ни Лёры. Может быть, они вдвоем ездили по городам Италии? Здоровье мамы крепло, и она мечтала о посещениях медицинских лекций в Генуе — вольнослушательницей. Эта поездка ей удалась. В оставшихся после нее толстых клеенчатых тетрадах долго хранились рисунки по анатомии и другим дисциплинам, мастерски исполненные тонко очищенными карандашами — черным и красным... Музыкальной она занималась все больше.

Тигр! Недаром мы (не «мы», а Муся, конечно, дали ему это имя). Как и мама, мы знали, что он в нашей жизни — взрывная бомба, что это встреча, от которой ныло сердце, как-то колеблет основы нашей жизни. Уже одна насмешливость, с которой он на эту жизнь, сложившуюся жизнь семьи, глядел, — звала куда-то. Он отвергал все то, в чем мы жили — уклад семьи, общества. Не это ли общество выбросило его на дорогу, не оно ли запретило ему въезд в Россию? И хотя он часто спорил и со «своими» — другими революционерами-эмигрантами, но и они как-то признавали его первенство. Мама и мы впервые встречали такого человека. Впервые мы слышали, что отвергалось все, среди чего мы жили — даже Бог. В этом последнем мама не соглашалась с ним и его товарищами. Но что касалось общества, его неправд, новых веяний жизни — встреча с Владиславом Александровичем Кобылянским, по-видимому, потрясла маму, заставила ее глубоко задуматься. В эту зиму впервые ей так зазвучали имена Ницше и Ибсена, зазвучали по-новому, — как вставший перед ней вопрос, лицом к лицу. Под эти споры мы теперь засыпали, как в Москве — под классическую музыку.

Понимая в них куда меньше, чем Муся, только чуя их дух, я больше любила мирные вечера, когда пели. Но в вопросе о Боге мы сдались бездумно и скоро: то, как еле касаясь этой темы, просто не снисходил к ней Тигр; как улыбались



несуществованию Бога — Кот-Мурлыка и Курица, Герб; как умно, терпеливо, убедительно говорила об ошибочности ее — Кошечка, устремив на нас свои большие синие глаза, — все это отвело нас от Бога и молитв легко; так легко, может быть, оттого, что, в сущности, религия была от нас далека: никакой религиозной бабушки, няни, нас растивших, у нас не было; мы и мама в церковь ходили потому, что ходил папа, в семье священнической выросший. Мама же вообще была вольнодумка: читала Ренана, чттила поленовского человеческого Христа...

Встреча с первыми людьми, смело отрицавшими все божественное, без борьбы привлекла нас в их ряды. О Марусе можно просто сказать, что она окунулась в новое со страстью, точно всегда знала, что оно так и будет, что все, что ее томило дома, стесняло, что ей мешало, будет отмечено. В эту зиму она выросла на несколько лет. Настолько, что и люди эти стали относиться к ней почти как к ровне. Герб ловил ее в саду, просил прочесть стихи, написанные и спрятанные, восхищался, обещал напечатать их в революционном журнале. Все хвалили Мусю, предсказывали ей будущее. Мать смотрела на дочь с гордостью, пристально, задумываясь над ней.

## Глава 8

### ПОЕЗДКА В САНТА-МАРГАРИТА. ЛИНА КАВАЛЬЕРИ

Как решила мама ехать туда с нами на лодке, в такой шумной компании, в такой ветреный день, по таким волнам? Сколько было лодок? Две? Нас было много народу. И путь был не близок. Помню зелень волн, бурно качающих нас, лодку, синеву неба. Помню и ссору Герба с Кобылянским (тот, должно быть, много выпив вина, хотел, как исход какого-то безумного пари, прыгнуть в воду). Мама и другие женщины держали им руки, уговаривая, заставляя сесть, во имя всего разумного — во имя детей, наконец...

Страха своего я не помню — может быть, такой страх детям не свойствен? За Тигра был страх, не за лодку? И, конечно, никакого осуждения, один тайный восторг...

Я помню огромную ресторанный залу, много света, много стекла, окна на море, блеск, столы табльдота, много людей,

чужих, среди которых тонет наша приехавшая компания. Вина, фрукты. Музыка, звук волн. Прелесть итальянского говора. Поблудневшее, любимое, как еще никогда ничье, лицо Кобылянского, он курит и курит. Володя не любит его. Но — запрет Муси — он не смеет его задевать.

Как долго все это длится? Уже начало ночи? Небо за высокими окнами слилось с морем, — напряженная зеленая синева. Музыка! Смычки, струны, феерический вид оркестра. Вдруг что-то делается в конце зала, вспыхивает общим волнением, бежит сдержанным — но разве сдержишь? — шепотом, глаза всех устремлены к дверям. Может быть, *встанут* все?

Драгоценное имя шелестит по губам итальянцев, иностранцев. Имя, принадлежащее Красоте, ни с чем несравненной, потому, она — Первая в мире! — *La signora Lina Cavaliere!*\*

Она вошла в зал, окруженная свитой, и я помню точеный профиль величавой и прекрасной женщины, знаменитой актрисы. Что-то жемчужное, темноволосое, темноглазое. И с протянутой руки ожившей, как во сне, статуи — текущая пена кружев...

Обратный путь ночью — в омнибусе. Тигр сидит у окна; рядом с ним, прижавшись к нему, — Муся с обожанием глядит на его черты, вспыхивающие тенями и светом от тусклого фонаря. Рядом с Мусей Володя: сзади них мама и я.

Неугомонный Володя, страстно желая насолить Тигру, запел «Боже, царя храни...» В ужасе Муся зажала рот и, шепча ему на ухо повелительно-умоляюще, заставила замолчать. Мерно покачивался омнибус, синяя итальянская ночь кралась за окнами, и в Мусином бледном оконном зеркале отражалось лицо Тигра. Прижавшись к маме, я сидела, преодолевая дремоту, проникаясь счастьем вдруг наставшей тишины, близости с мамой и со стихшим Тигром; счастьем еще далекого — точно всегда так будем ехать — пути с ним...

Весна. Сад. Насыпь у железнодорожного мостика. Я с Вовой вяжу букетики фиалок. Темно-лиловых, пахучих. Я люблю Тигра, я так счастлива! Скоро будет «битва цве-

\* Синьора Лина Кавальери! (*ит.*)

тов». Экипажи поедут по Аллеа-дель-Пальма. Море шумит. Нас повезут в Лозанну (а может быть, в Цюрих!). Странное слово «Цюрих» мы слышали от Тигра. Мама сказала: «Скоро придет папа. Он с Лёрой в Риме».

Балина еще более жалко, чем Лаина. Но маме остается Балин. А нам?..

Теперь я часто держалась возле дома, близ мамы, где уже не было ощущения болезни, где я не мешала, где вечерами, а порой и днем собирались на звуки музыки и где часто бывал Тигр. Но однажды я сорвалась. Тигр, сидевший на диване в нашей столовой, послал меня узнать, что делает мама, почему она не идет. Я вышла в мамину комнатку. Мама, сидя на стуле спиной к двери, наклонясь над постелью, плакала. Я вышла, закрыла дверь и, по внезапному насмешливому озорству, сказала:

— Разливается слезами...

Тон мой взорвал Кобылянского.

— Уходи от меня, дурная девочка, я не хочу с тобой разговаривать! — сказал он мне.

И долго я жила в стыде совершенного и в опале. Как могла я поступить так, зачем, отчего? Так любя маму, никогда, ни до, ни после, не обидев ее ничем сходным. Может быть, она никогда не узнала о моем поступке. Раскаяние в нем — со мной.

Папа, приехав из поездки по Италии, привез нам с Мусей из Пизы темные бархатные шапочки, шитые золотом и серебром, и мы в этих шапочках сняты, одетые в шерстяные платья (значит, зимой?).

А переписка о нашей отправке учиться в Лозанну продолжалась. Тетя собиралась выезжать сюда из Тарусы.

Узнав свое прозвище, Кобылянский где-то разыскал себе трость с серебряными набалдашниками, изображавшими голову тигра и передние лапы его, прижатые, притаившиеся в прыжке. Маруся и я эту трость обожали, не чаяли в ней души...

Мы чуяли какой-то перелом в отношении мамы к нему, какое-то от нее к нему — оттолкновение (или отречение?). Он все так же бывал у нас, сидел в уголке дивана вечерами, но теперь он больше молчал, а мама — играла. Она ездила на медицинские лекции в Геную и готовилась ехать в Рим.

Фотография кабинетного размера (Владислав Александрович Кобылянский сидит в непринужденной своей и чуть иронической позе, а по обе руки — Маруся и я; Маруся у его правой руки, я — у левой, в темно-серых, с черной каймой воротников, матросских платьях, коротковолосые, русые вокруг его ослепительной черноты) осталась нам как вещественное доказательство яви тех дней.

Весна близилась. Дружба с Кошечкой (Александрой Ивановной Доброхотовой) крепла. Мы чувствовали, что, уважая за его прошлое Кобылянского, она его недолюбливает, и мы тайно знали, почему: Кошечка, как и московская Киска наша, была насквозь хорошая, к людям относилась как к друзьям, но в иных знала врагов. Такие же были и Кот-Мурлыка, и Курочка, и, может быть, Герб, несмотря на свой шумный нрав. Кобылянский стоял совсем в стороне от людей, даже и от своих. Он был горд, надменен. Язвительно обливал он насмешками все, что было ниже его. Никакого братства к другим в нем не было. Кошечка же и ее друзья были именно братья; они собирались поселиться, сняв домик, коммуной. Целая новая Россия роилась где-то там, за их плечами, вдали, и все там были — такие же. Это чуя и любя их, мы и от них берегли свою упоенную любовь к Тигру.

## Глава 9

### КАЛЕКА. БОГАТЫЕ НИЩИЕ. ПРИЕЗД ТЕТИ

Муся и я бежали вслед за Володей по первому этажу, когда в парадную с улицы, всегда закрытую, раздался неясный стук. Или точно кто-то возится у самой двери? На бегу Володя рванул запор, и мы все на миг замерли; на тротуаре Каполунго, пытаясь преодолеть порог, ползло и кланялось что-то нечеловеческое: голова с уродливым лицом, грудь и руки, шагавшие вместо ног, вокруг тяжелого торса, перекидывающего под собой искалеченные, в лежачем положении, обрубки ног... И все это — просило, ныло невнятно о милостыне. Но ужас был сильнее сознания и жалости! Мы летели прочь, спотыкаясь друг о друга и о ступени. Володя, ничего не боявшийся — даже расправ отца! Что стало

с калекой, не знаю. В моих глазах он все еще ползет с протянутой ладонью в двери «Русского пансиона», в блистающий итальянский день.

Но были в Нерви двое нищих, фотографии которых продавались в магазинах, их все знали, они назывались «богатые нищие». У них в банке было золото, но они просили, и им подавали. Один был очень высок, с длинной жилистой шеей, с седой трясущейся головой. Другой — низкий и плотный, моложе. Просили они врозь. Их объединяла лишь фотография: их слава.

Я сбегала по широким крутым ступеням, ведущим к нашей квартире, а навстречу вбегал, хохоча, Александр Павлович. За ним, тяжело путаясь во множестве юбок, поднималась Тьо.

Только что с ворчаньем преодолевшая непривычную лестницу, со всегдашним негодованием, что все не так и не то, она уже сжимала меня в своих крепких душных объятиях, закатив от умиления и эмоции встречи глаза: «Анечка, Мунечка... Mais où est donc ta sœur, chérie?» («Где же твоя сестра, милочка?»)

Мы кое-как вскарабкались на площадку. В дверь входила Муся. Ох!.. Глаза Тьо совсем закатились от одобрения: «Oh, comme elle a grandi, et comme la Tante, elle a de l'embonpoint» («Как она выросла! И как Тетя, она имеет и полноту!»), — умиленно любясь и кидая вокруг нас обе свои короткие сильные руки.

— Et où donc est votre mère, ma chérie Ма-аня? («Где же ваша мама, моя дорогая Ма-аня?») — Слезы брызнули из ее глаз. Подавленные в первый миг более, может быть, чем обрадованные, мы улыбались и, целуя ее, отвечали ей что-то как во сне. Но через два часа мы сидели с Тьо на «Маленькой Марине», усадив ее в парусиновое кресло, сами на маленьких стульчиках и слушали вздохи Тьо о том, что мама окружена какими-то «brigands»\* — что это? И этот разбойник в черной шляпе, у него галстук, как не носит никто! Мы, мгновенно войдя в ее мирок, ей в тон поддакивали, из-за невозможности объяснить ей что-либо (измен-

\* Разбойники (*фр.*).

нически?) сдавали (словесно) свои позиции для необходимого мира... Раскаленная голубая даль, как вчера, метала искры серебра, лучилась и таяла.

Узнав, что Лёра уехала с папой в Рим, Александр Павлович сказал маме: «Я поеду в Р'им, — он грассировал. — Возьму Валерию Ивановну и увезу ее в Россию». Это была, должно быть, мечта, с которой он — не только ради поездки в Италию — так охотно взялся сопровождать Сусанну Давыдовну — Тетю, не поверив, должно быть, холодным словам Лёры, давно разочаровавшейся в нем. «Вы, может быть, и поедете в Рим, Александр Павлович, — ответила ему мама, — но Валерия Ивановна не захочет, чтобы вы увозили ее, и не поедет с вами в Россию». Поехал ли он после этих слов в Рим — я не помню, только он исчезает из моей памяти о нервийских весенних днях.

Тетя, конечно, не остановилась в «Pension Russe», ей не понравился богемный стиль жизни, ни «les brigands» (о Гербе, Курочке и Коте-Мурлыке, о Тигре уж и не говорю), и она взяла две комнаты в маленьком, но фешенебельном отеле, уединенном в зеленом саду, — «Beau Rivage» («Бориваж» — «Прекрасные берега»).

Волнение предполагавшегося переездак Тетев «Бориваж», расставание с мамой, которая собиралась ехать в Рим к папе; мама же должна была, по настоянию докторов, остаться еще на одну зиму в Нерви.

Последние костры на «пластине», меж двух лесенок, выбитых в грифеле скал, последние «Муся, Ася, Володя» — выведенные осколком скалы на грифельных пластах над морем, под пиниями. Так же капают светло, с поднятого весла Нандо, морские струйки, так же ослепителен столб солнца, так же тает правый мыс Портофино... Так же пахнет морскими водорослями; то же крутое, знакомое очертание выступающей из волн скалы Лягушка, откуда мама вчера (она уже купается! так поправилась!) бросилась в море плыть и плыла далеко!

Но нам уже все не то!.. Потому что через все это, вместо захлабнувшегося «Приехали!», пронизана нить скользящего, как рельсы вдаль, — «Уезжаем». Невероятность присутствия Тьо здесь, в нашем Нерви! Ожившие воспоминания о доме в Трехпрудном, елках, дедушке, о Тарусе!

Глава 10  
ПОДРУГА ТИГРА. МОНАСТЫРСКИЙ ДОМ.  
БИТВА ЦВЕТОВ

К Тигру приехала Ольга Осиповна. Мама говорит, что она отличная пианистка, знает несколько языков, мама очень хвалит ее. А мы непонимающими и осуждающими глазами смотрели на Тигра. Зачем ему нужна эта чужая, нам незнакомая? Как это может быть?

В двухэтажный дом у железнодорожного мостика приехала игуменья. Мы не знаем, что это. Объясняют туманно. Она где-то была главная? Она из России. Она лечится? Высокая, вся в черном, худая, желтая. Мы вошли с ней по крутой железной лесенке в тихие, особенно пахнущие комнаты. Она дала нам по золотистой иконке, бумажной. Она очень странная. С головы на плечи тянется черное. С ней другая монахиня, ниже и толще. И с ними шестилетний мальчик, тоже весь в черном (как в халате и подпоясан ремешком). У него волосы, как у девочки, по плечам. Светлые, на концах вьются. Глаза голубые. Володя смотрит на него неодобрительно. Показал ему, тихонько, кулак. И как там в омнибусе из Санта-Маргарита, когда Володя запел: «Боже, царя храни...», дразня Тигра, Муся шепчет ему, чтобы он перестал. Этот мальчик будет *монашек*. От этого слова на душе страшно...

А Маруся писала стихи. Буйный Герб, не признававший ни Бога, ни дьявола, всегда споривший и шумевший, и тот стихал, когда брал черную клеенчатую тетрадочку стихов Маруси. О ее стихах начинали серьезно говорить старшие. Хвалил их и Тигр. Мама задумчиво глядела на дочь, слыша похвалы. Может быть, как знать... Мечтала она о другом пути Мусе! Музыка! Мусин удар, туше Мусино, овладение ею нелегкими этюдами, сонатинами... То, что не удалось ей, может быть, удастся дочери? — Увы, из Марусиных стихов того времени я помню только несколько строк:

Взвейся, взвейся, наше знамя,  
В голубой простор,

Чтобы все тебя видали  
Выше снежных гор...

Ей было десять лет.

«Битва цветов»! Всё на улицах! По Аллеа-дель-Пальма в два ряда — туда и назад — экипажи, цветами переполненные до неузнаваемости своих очертаний. Лошади, как их хозяйки-красавицы, тоже украшены цветами. В воздухе — летящие, раскручивающиеся серпантины, путаница их цветных лент, град конфетти — он засыпает ветки пальм, и они, покачиваясь, сыплют их вниз, разноцветной росой. Из окон в толпе, с балконов, всюду — музыка. Кобылянский подошел вплотную к коляске, в которой ехала Александра Александровна Иловайская, и в упор бросил ей в лицо горсть конфетти. Высоко поднятая, в высоком воротнике белого шелкового платья, аристократическая голова сорокалетней красавицы (урожденной Коврайской) в маленькой белой соломенной шляпе на каштановом шиньоне — дрогнула. Взгляд блеснул молнией, но «разбойник» уже смешался с карнавальными толпой. Таким движением они бросали — там, в России — бомбы в министров и в великих князей.

Загорелые, усталые, в измятых платьях, в «папиных» бархатных шапочках (формой напоминавших тибетейки), увешанные бумажными карнавальными сокровищами, мы вернулись домой вместе с компанией взрослых, счастливые, как все в этот день...

Глава 11  
ЗАТОЧЕНИЕ. «БОРИВАЖ». ПРИЕЗД ТИГРА.  
КОШЕЧКА. ВИЛЛА ТОРРЕ

Одноэтажный дом в пышных кустах. Лавр. Розы. Гравий дорожек. Мы две — единственные дети маленького отеля. Чинно. Тишина. К морю выхода нет. Море — сон. Оно кончилось. Мы у Тети. Мама уехала. Мы в заточении. И как в зверях зоологических садов мира — в нас бушует тоска. «Бориваж»! Нет никакого «риважа», моря не видно...



Все кончилось! Неужели это мы — в аккуратно выглаженных платьях, в новых ботинках, в новых шляпах с цветами из шелка и лентами, в перчатках — сегодня утром катались с Тетей в экипаже по Нерви, по *той* самой Аллеа-дель-Пальма, мимо *нашего* Лаварелло, и море искрилось вдали как чужое, как на картинках...

У Тети одна комната, у нас — смежная, но даже когда мы сидим у себя, Тетя видит (чувствует!) каждый наш шаг и без устали исправляет наши манеры, чтобы привезти в лозаннский пансион «не каких-нибудь дикарей», а «благовоспитанна маленьки рьбёнки!»

Какая-то «дама» постоянно сидит у Тети, что-то похожее на «компаньонку», держится подобострастно, повторяет нам каждое Тетино слово. От нее нам еще тошней.

В окнах — их переплеты почему-то точно такие же, как в Тетином доме в Тарусе — так особенно, по-Тетиному, блестят стекла. В их распахнутых створках отражаются чужие нам благовоспитанные кусты, и мы смотрим друг на друга с безнадежным унынием. За столом, за маленьким табльдотом, куда мы спускаемся с Тетей и этой противной дамой, всегда несколько человек, и все, как на подбор, противные! Салфетки блещут белизной, ими даже страшно вытереть руки и рот, болтать ногами — нельзя.

— Мунечка забиль, а Анечка не зналь, как надо держать за стол! — с бесконечной энергией и в невинной ласковости говорит Тетя.

Она никогда не ела руками поджаренную на костре рыбу, от которой пахнет дымом, никогда не падала в море, никогда не бегала по скалам... Но она сделала нам необычное предложение. За каждый день, когда мы послушны, она дает нам каждой — по лире. (Ура! Мы эти лиры будем копить — для Володи!) Но их нелегко добыть... Мы стараемся честно, изо всех сил. Это превращает день в пытку. Мы совсем не живем — мы усердно играем других, несуществующих нас — Мунечку и Анечку; мы вносим в эту труднопереносимую игру долю ожесточения. Мы даже и увлекаемся на первых порах, хоть в глубине где-то чуть стыдно перед Тетей, искренне верящей в то, что под ее влиянием мы исправляемся...

И не знаю, как бы мы выжили среди всей этой тягости, в этом крошечном садике, где нам позволялось «играть»,

вдали от людей, от друзей, от моря — если бы мама, предчувствуя все это, не убедила Тетю в необходимости нам учиться русскому языку — продолжать уроки с Александрой Ивановной.

Ее приходы — нашей дорогой испуганной Кошечки — были райским простором в адовой тесноте дня. Как мы ее ждали! Как бежали навстречу! Каким волшебным было это лицо из *той* жизни, появлявшееся, как сон, в *этой*. Она оказалась нежданно спокойной и смелой перед персоной Тети. «Важность» Тети, вызывавшая в «Бориваже» нечто близкое к подобострастию, не произвела на Александру Ивановну никакого впечатления. Чужачества Тети, ее тонность, патетичность ее рассказов, с жестами толстых коротких рук, все, что было с рождения нам так знакомо и хоть по-своему и любимо, но, задлившись, нас раздражало (вместо *визитов* нас к ней — в совместную жизнь), не действовало никак — на Кошечку. Она держалась просто, спокойно и в своем немногословии нравилась, видимо, и Тете, выделяясь из осуждаемых ею «*ses gens*»\*.

Сказала ли Александра Ивановна нам что-нибудь о Тетиных лирах за хорошее поведение? Или перед этим синим взглядом они прозвенели — стыдом? Сами? Ответно ли, от близости с Кошечкой, проснулось в нас достоинство, гражданское мужество? Мы отказались от лир за поведение. Тетин, в дедушкиных очках, изумившийся взгляд помедлил, испытывая. Затем последовало молчание, перешедшее во вздох со всплеском рук. И в умиленном экстазе посыпались похвалы нашему благородству... Как была трогательна Тетя в этот миг!

Вскоре симпатия Тети к Кошечке дошла до того, что она разрешила нам бывать у Александры Ивановны. О, какие же это были блаженные часы! В это время уже осуществилась мечта Кошечки и ее друзей поселиться «коммуной» на окраине Нерви, далеко от парадных улиц, от «Большой Марины» с живописной развалиной башни Торре Грапалло, где играла музыка, далеко от Аллеа-дель-Пальма. Жили теперь наши друзья в маленьком доме на самом берегу моря. Тут не было скал — плоский берег, усыпанный камешками,

\* «Этих людей» (*фр.*).

и мало людей. Звался домик Villa Togge (Вилла Торре). Помнится, был он с башенкой. В пустых комнатках со скупой мебелировкой весело хозяйничали Кошечка и ее подруга, маленькая, круглолицая Курочка, добро и дружески встречали нас — ласковый, кудрявый Кот-Мурлыка и худой, горбоносый Герб. Вдали от Тигра, которого, он, видимо, недолюбливал, хоть и своего, от Александры Александровны Иловайской, чей фешенебельный вид его раздражал, от Александра Егоровича, с которым он часто спорил, — здесь, среди товарищей, дома, он был — другой. И тут мы его полюбили. Как *хорошо* нам было у них!

Добродушно подшучивали Герб и Кричевский над нашей муштрой, над нашими парадными платьями, лентами и перчатками, над Тетей. И вдруг, меняя тон, как моряк направление паруса, Герб, положив руку на плечо Мусе, начинал о том, как сложна жизнь, как *настоящий* человек должен быть готов вынести *все*, не дрогнув, если у него есть *цель*.

На уютной спиртовке закипал чайник. Нас звали пить чай. Мы тоскливо поглядывали на часы. Мои руки хватали дочитанную Мусей книжку. Помню «Солдатский подвиг», как билось сердце! Как оно молча клялось быть такими, как эти солдаты! Они *отказались* стрелять в крестьян, которые взбунтовались.

И навеки ложится в сердце песня солдат, обреченных. Прошла жизнь, и какая! Прошло множество армий по России, Европе, но свежи четыре строки, переданные мне Марусей:

Смело, братцы, песнь затынем,  
Удалую, в добрый час!  
Мы в крестьян стрелять не станем, —  
Не враги они для нас!..

У горла клубок, от слез не видно листка, он дрожит в детской руке.

И тихо возвращаемся мы в нашу «тюрьму», как мы звали «Бориваж», провожаемые Кошечкой по улицам Нерви, забегая иногда на минуту в «Русский пансион». Сердце вспыхивает при встрече с Володей и Вовой, они кажутся уже не нашими, изменившимися, жадно вбираем мы в себя вид зна-

когого пейзажа, где жили, где бегали, не зная, что это кончится, но Кошечка ждет, надо идти, Тетя рассердится, опаздывать нельзя, и идем по Каполунго, присмирив, смутно чуя, что в чем-то Тьо и Кошечка немного похожи: в отношении к нашей любви к Володе. А на море опять буря...

Мама часто присылала нам картолинки с видами Рима — Форумом, Колизеем, с видами Римской Кампаньи. Строки ее, мелким наклонным почерком, от которого бились наши сердца, были полны тепла, интимности, вхождения во все подробности нашей жизни. Она просила нас быть ласковыми с Тетей, не огорчать ее, жалеть, радовать. Она находила именно те слова, которые нас трогали и успокаивали наш бунт, и мы вдруг будто бы прозревали в мир каких-то иных чувств, кроме чувства стесненности и мечты об утраченной свободе. Избегая глаз друг друга, в которых — кто знает? — мог оказаться насмешливый огонек, мы вдруг делались моложе, как в детстве, дома, и жизнь с Тетей, теряя горький вкус критики, становилась на час, на день полна вскрывшегося уюта, тепла, утерянной общением с Вилла Торре прелести. Вспыхивали воспоминания о Тарусе, о диванчике под дедушкиным портретом, о рассказах Тети о ее детстве в Невшателе, о детстве Мани и Тони, о Ясенках, и, засидевшись с Тетей, как прежде, мы слушали о Женевском озере (которое мы вскоре увидим), о тихой старинной Лозанне, где мы будем учиться. Стрижеными головами с еще плохо отросшими волосами, на которых накрепко держались банты, мы терлись о плечи Тьо, постигая, что и она — сон, что скоро и ее мы не увидим, и нам делалось стыдно. А наутро мы по-новому избегали глядеть друг на друга, ожидая прихода Кошечки, и в мозгу ли, в сердце ли — кружились опять: «Смело, братцы, песнь затынем, удалую, в добрый час...»

Весна шла. Из Лозанны Тетя получила письмо из пансиона о том, что свободные места для нас есть. Тетя начала собираться. Мы сидели у окна во втором этаже, с тоской глядя на нелюбимый нами сад, на далекую полоску моря. Вдруг — все вспыхнуло и пропало из глаз: над кустами скучного сада, меж веток деревьев мелькнули знакомые очертания плечей и «разбойничья» черная шляпа... *Тигр!!!* Мы летели с лестницы, кинув за собой двери, не отвечая на изумлен-

ный оклик Тети, и уже висели обе сразу на нем, прижимаясь к его груди, к любимому запаху его табака, отвечая и спрашивая, ликуя, ожив, не замечая замершей у окна наверху Тети, с отвращением позже вновь и вновь повторявшей, *как* это было ужасно, *как* невоспитанно, *как* неприлично, так бросаться на этого страшного brigand, так кричать, так вести себя в приличном пансионе... А Тигр смеялся, садясь с нами на скамейку, и спрашивал нас, неужели мы еще ни разу не пробовали освободиться от наставлений Тети, соорудив над дверью сосуд, из которого вода вылилась бы на Тетю, когда та вошла бы в комнату, чтобы бранить нас?

Блестели ненавистные кусты «Бориважа»; мы задыхались от счастья, глядя в обожаемые черты, видя вновь нежную, немного едкую улыбку, слыша любимый голос... Владислав Александрович уезжал, приехал вчера, и пришел, и еще придет...

## Глава 12 ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В НЕРВИ

Не успел ли он или Тетя заторопилась — но этот его приход к нам был единственный\*. Положась на Александру Ивановну, в один из последних дней в Нерви, Тетя отпустила нас с прощальным визитом на Вилла Торре зайти в «Русский пансион». Незабвенный день. Тихо, длинно, чуть наискосок (так наискосок бежит, если смотришь сзади, собака) плещутся волны о плоский берег у милой Вилла Торре, пустой вещами, полной дорогими людьми. Вова говорил, что в Териоках, под Петербургом, где они живут летом, море серое — мы не верили. А сегодня мы верим. Блеск серебра вдали делает все нежным. Последний час с друзьями! Завтра они приедут проводить нас на вокзал, поезд отходит вечером. Неужели мы уезжаем?

\* После Февральской революции Кобылянский вернулся в Россию уже тяжело больной туберкулезом. Он был редактором газеты в Крыму, а потом заведующим австро-итальянским отделом Наркоминдела. Он тотчас же разыскал Марину в Москве, что было очень нелегко, так как она сменила фамилию. Встретились они как родные. Узнав, что я в другом городе, он написал мне письмо, где рассказал о волнении, которое он испытал, прочитав мою первую книгу, где он нашел свое имя и память о нем.

Тени залили улочки Нерви прохладой меж золотящими все легкой пылью лучами. Закат. Мы спешим. Тетя уже ждет. Готовы наши прощальные фотографии — Кошечка и мы; как и на тех с Тигром, снятых еще в «Русском пансионе», мы сидим по обе стороны и все трое смотрим вперед — в объектив. На нас темно-голубые новые платья, на Кошечке темный жакетик. Ее широкое доброе лицо чуть улыбается. Светлые глаза широко открыты. Так мы расстаемся с Тигром и с ней — *навсегда!*

Каполунго! *Сознавая* неповторимость часа, мы впиваем все углы домов, поворот, фасад «Русского пансиона». Мы *больше никогда* не вбежим в эти ворота! Ветер рвет деревца куртин. Александра Ивановна ждет нас. Мы бежим по знакомым дорожкам, ищем Володю и Жоржа. Неужели мы не увидим Вову? Он куда-то ушел со своей Фрамшей...

Тигр сказал Марине: «В тяжелые минуты жизни дух вашей матери всегда витал вокруг меня, поддерживая и утешая». Он сказал, что, *навсегда* прощаясь с ним, мама просила его не оставлять нас своей дружбой, что он смог выполнить только спустя много лет. Он умер в 1919 году от туберкулеза и похоронен на Ваганьковском кладбище, где мама.

Монастырский дом. Нас увидела монашенка. Зовет. Мы вбегаем по лесенке. Мальчика-монашка не видно, в высоких комнатах полутемно и прохладно. Особенно пахнет. Матушка-игуменья желает нам всегда быть добрыми и хорошими. Она крестит нас — благословляет. Мы прощаемся, говоря, что нас ждут. Жоржа нет. Володя с Лаином бежит нам навстречу. Лаин нас узнал, радуется.

— А меня отдают в колледж! — говорит Володя. Он смотрит на нас застенчиво. Мы давно не виделись. Мы выбегаем на «Маленькую Марину». Тут мы в первый раз увидели море...

Но тогда была буря! Море совсем тихое. Бледное. Ветерок колышет наклоненные ветви пиний. И они прощаются! Мы сбегает на правую, крутую лесенку, высеченную в серых скалах. Светлая даль моря! Сколько тут было всего! Все кончено. Горло перехвачено. Муся отводит глаза. Этот миг, подхлестнутый тем, что ждет Кошечка, врезается в дыхание — ножом.

— Вы больше уже не придете? — говорит Володя, рыжая голова наклонилась к Мусе: «А ты мне будешь писать?» — «Буду!»

Последним движением скрипит за нами зеленая дверь, мы бежим по дорожке, через железнодорожный мостик — к воротам.

Как вышло, что мы никого не увидели из тех, кто нас знал, из прежних? Какой-то пустой час... Некогда додумать ни о чем. Володя, Володя. И море... наше море... Мы не увидим их никогда!

Но мы еще раз оказались в «Русском пансионе». Из Рима привезли Лёру, заболевшую брюшным тифом. Нас, уезжающих, привели с ней проститься во второй этаж. Дальше дверей не пустили. Лёра лежала без сознания, очень желтая, и волосы ее были распущены. В слезах, в жалости и страхе мы простояли на пороге, еле узнавая ее. Нас звали. Так мы расстались на долгие годы с Лёрой, нашей заступницей.

Суета отъезда позади. Прощание с хозяйкой «Бориважа», перевозка багажа, носильщики. Мы в вагоне, Тетя укладывает мелкие вещи, усаживает нас, хлопчет. Но мы умоляем ее: еще есть время! Проводившие нас еще там. Кондуктор успокаивает Тетю: еще десять минут до отхода! И вот мы на перроне, с Кошечкой, Котом-Мурлыкой, Курочкой и Гербом. Тигра нет. Обещания писать, не забывать... Кот-Мурлыка, может быть, будет в Лозанне. Найдет нас там! (А Тетя зовет, кричит...) Синие глаза Александры Ивановны в слезах, как наши. Стоим у окна — и высовываемся, и высовываемся, вырываясь из рук Тети.

Перрон дрогнул — плывет. Фонари, свисток поезда... Дым. Слезы. Последние голоса... огни... Стук колес. Все исчезло. Ночь.

# Часть третья ШВЕЙЦАРИЯ

## Глава 1

### ЛОЗАННА. ОТЪЕЗД ТЕТИ. ПАНСИОН ЛАКАЗ

Путь в Лозанну в моей памяти — наше горе у вагонных окон. Никакая степень Тетиной расточительности, баловства и забот не смягчали его. Я даже не помню пейзажей, летевших — кончавшейся Италии, начинавшей Швейцарии, — все дрожало в слезах, смывалось рукой по щекам, утиралось мокрыми платками. Стереоскопически четко летит передо мной в памяти донервийский Тироль, и отсутствует посленервийский полет поезда нашего в Швейцарию...

Но звучат, заглушая колеса, стирая вид за окнами, строки, обезьянье твердые мной, на лету пойманные от Муси, в которые ложилась душа:

Нерви мое дорогое,  
Тебя покидая в слезах,  
Я уехала ранней весной —  
И то в жизни был первый мой шаг.

Лозанна. Крутокрыший старинный город, тонущий в купах зелени, башенки, шпили, готические церкви, густые каштаны, милый французский говор, знакомый с детства, — все кажется сном после живого болевой сердечной жизнью Нерви — плоскокрышего, блестящего морем, полного бурных людей, бурных чувств, бурь, стихий... И каким-то двойным сном посреди швейцарских уют и старины, Тети-



ных, — стоит новейший — блеск, дороговизна, холод, роскошь — отель «Beau Site» («Бо Сит»), многоэтажный, великолепный, с лифтами, балконами, табльдотом, где Тетя сняла две комнаты.

Две вещи помешали вражде нашей с Тетей (ведь *она* вырвала нас из Нерви): страстная, с *первого* взгляда, привязанность к Лозанне, точно когда-то мы в ней родились, точно ее мы именно ждали... точно этот именно город мы видели, с детства, во сне, и — близившаяся разлука с Тьо. Разлука! То, чего нельзя ни перенести, ни назвать. Что *все* покрывает. От чего снова — как в Нерви — ничего не видно от слез, и внутри, как пружина, вот-вот — на части... И еще эта нестерпимая боль — подарки: швейцарские шалэ, с кусочками зеркал под переплетами крошечных окон, швейцарские куколки, парами, мальчик и девочка в национальных костюмах, в бархате и атласе, шапочки, корсажи, волшеббно сияющие из магазинных коробок, коими Тьо пытается усладить наше поступление в пансион... невинно не зная, что не пансион — горе, а немыслимость ее исчезновения, скромно не допускающей, что в этом-то и есть горе, которое рухнет на нас... В каждом углу, в каждой темноте подстерегающее раскаяние — в грубости к ней, приехавшей к нам и уезжающей, той, дедушкиной, елочной, той, тарусской, с липами, и собакой «Лéбеди», и с корзинами яблок, «бориважной» и теперешней в «Beau Site», от которой останется по шалэ и по паре куколок, — и все эти платья и шляпы, и наставления и вздохи, и благословения и рассказы... И, почти изменяя Нерви, мы липнем к ней.

А каштаны шумят, Леманское озеро блещет, остроконечные башенки купаются в солнце, и на Boulevard de Grancy, 3 стоит серый каменный дом с маленьким садом, где в пансионе Лаказ начнется наша новая жизнь.

Бесшумное скольжение лифта — вверх, по «обрезам» этажей, по квадратной узенькой пропасти, оставляемой позади. Элегантный жест ливрейного лакея, открывающего резную дверь, выплыванье Тети на плюш коридора, наши шаги ей вслед. Наши комнаты: блеск (фарфора, умывальника, зеркала); полированность кроватей и туалетов, ворс скатертей

и ковров; распахнутые в дымку и даль города окна; кружение головы à vol d'oiseau\* — над еле видным лабиринтом улиц, домов, мостов, парков, садов... Свет, покрывающий все дыханием и блеском, запахом, полетами воздуха, зовами... Волшебство надгородной высоты!

Рисунком лежат здесь массивы домов и замков, лестница, сбегаящая вниз, соединяющая старые улицы с новыми; иголочками пылают шпили кафедральных соборов — и той церкви, куда нас будут водить. И как одно пачёвское дерево, лежат там и сям сады, ступаясь — птичьим полетом — в древесную каплю...

Неведомым лежит будущее наше, передаваемое Тетей в руки m-elles Lacaze (Лаказ), видевших нас — только раз! Тетин поезд отходит — завтра! Потянется и оборвется где-то — нитка, по железной дороге увозящая Тетю, — прогудит, коротко и невнятно, проезжая мамин и папин «Рим»...

Тепло, крепко легли две короткие полные руки нам на плечи. Наши головы — с уже отрастающими волосами — ответно прижаты к ним. Синий туман за окном застилает внизу Лозанну. Слезный туман застилает глаза.

— Мунечка, ne sois pas violente... Анечке, ne sois pas agaçante... — Тройной всхлип.

Затворились за Тяо тяжелые пансионные двери. Ласковая m-elle Marguerite ведет нас наверх в наши комнаты. Скоро ужин. Маленькая, уютная м-ль Маргерит — мне: «Petite chérie, on ne doit pas pleurer! Tu verras, nous vivons comme une grande famille!» («Маленькая моя, плакать не надо! Ты увидишь, мы живем как одна большая семья!»)

Мы подымались по узенькой лесенке. Что-то в ней напоминало Трехпрудный. Широкий коридор мерцал сумраком стеклянных дверей. Напротив стояли шкафы. В глубине была раскрыта дверь.

— Вот и ваша комната... А напротив живут три сестры-египтянки — Ольгá, Астинá и Аглаэ, — говорила добрым голосом маленькая, старенькая, уютная мадемуазель Маргерит. — Они так же далеко от своей родины, как вы. Аглаэ столько же лет, сколько тебе, Маруси... А ты, Ася, — самая маленькая из всех живущих. Никто тебя не будет обижать. Не бойся!

\* С птичьего полета (*фр.*).

Мы стояли в дверях комнаты, по левому боку которой помещались в ряд две кровати, — за второй светлело окно. Две тумбочки. У противоположной стены — платяной шкаф. Тут почти на полтора года улеглась, как кошка, наша жизнь.

Старшая сестра Лаказ, мадемуазель Люсиль, ничем не походила на младшую. Выше ее, плотнее, с румянцем на смуглых щеках, блеском горделивых карих глаз, горбоногая, красивая, строгая, — она могла казаться моложе вечно озабоченной, погасшей, со смятым личиком, старчески доброй мадемуазель Маргерит. Но была она старшей и царила над сестрой и пансионом безраздельно, и сестра подчинялась ей охотно и с обожанием. Обе они пламенные католички, и советником их и учителем был аббат, нередко говоривший и с пансионерками. Был он средних лет, круглолиц, умен, в обращении мягок. К нему и к церкви Маруся отнеслась враждебно. Когда нас по субботам и воскресеньям везли в костел (по воскресеньям дважды — утром к мессе, в четыре часа дня к «Salut» («Салю»)) — и давали нам монетки — положить на церковное блюдо, Маруся останавливала мою руку. Резко: «Ты хочешь, чтобы на твои деньги еще одну церковь построили?» Я сконфуженно опускала руку с монеткой.

Все первые недели в пансионе шли наши беседы с пансионерками о том, что ада и рая нет — выдумки (как пугались наши старшие подруги!) — и что Бога нет, его выдумали богатые люди, чтобы бедные не роптали... Все, что было насажено в нас обитателями Вилла Торре и насмешками Тигра, — давало плод. Но и дня не прошло от первой такой беседы, как тема ее дошла до наших начальниц и до аббата. Искренне нас полюбила м-ль Маргерит (еще и за нашу страстную нежность к ходившему за ней по пятам белому ее Шпиццу, перед которым мы стояли на коленях и, несмотря на все запреты, целовали его, уверяя своим *долгим* опытом, что у собак эхинококков *нет!*..). Горестно убивалась о нашем безбожии и, бессильная нас убедить, передала нас — особенно старшую, упрямую, умную Марусю — своей сестре и мосье л'аббэ. Маруся была вызвана в комнату м-ль Люсиль, крайнюю возле лестницы, куда учениц звали лишь в важных случаях, и там не раз повторялись — сперва с одной м-ль Люсиль, затем и с мосье л'аббэ — долгие, убеждающие беседы, полные пе-

дагогического понимания детской души, терпения, страстной решимости заполучить эту заблудшую душу, делающие католицизм столь ценным воспитательным орудием в руках духовенства — в отличие от, увы, православия...

Стремя египтянками мы быстро подружились. Их большая квадратная комната напротив нашей, с часто распахнутой дверью, приветливо звала нас. Страстная католичка, десятилетняя Аглаэ, самая умная, серьезная, талантливая из трех, скоро стала подругой Маруси. Маленькая, очень смуглая, черноглазая, с напуском черных волос и черной тяжелой косой, она не была красива, но полна душевной энергии, — и они с Марусей полюбили друг друга. Не она ли первая осмелилась грозно сказать Мусе в лицо, что люди, учившие ее небытию Бога, — злые люди и что это лжеучение приведет ее в ад? Ее ли десятилетний гнев прозвучал Мусе или укор мудреца-аббата?

Старшая сестра Аглаэ, двенадцатилетняя Ольга Матосьян, была неспособна, глуповата, но горяча и добра. С виду почти подросток, она, как и их кузина, одиннадцатилетняя Астинá Филипосьян, рослая, развитая, — куда более поверхностная, чем Аглаэ, — сочетала религиозность с жадной жаждой удовольствий и нарядов, и сознанием своего богатства: все три — дочери крупных торговцев, живших в Египте. Ближе к нам из других пансионеров была француженка Терез Пердриэ, некрасивая и очаровательная тринадцатилетняя девушка с длинной косой, русой, узколицая, не по годам ученая, любимица профессоров старшего отделения, в котором она училась, несмотря на юный возраст. Терез ласково нам улыбалась. В ней была грустная грация. Мы очень ее полюбили. Из старших помнятся подруги Марта Крамер и Магда Тебераш: обе равного роста, самые высокие в доме, нежно друг друга любившие, немки. Марта — синеглазая, золотоволосая, легко вспыхивающая; Магда — кареглазая, шатенка; обе, как и все почти пансионерки, носили напуск надо лбом и шиньон. К нам обе, как и все, несмотря на осуждение нашего религиозного дикарства, были ласковы, жалея нас и за него, и за болезнь матери.

Атмосфера пансиона Лаказ была — любовь; мы попали в нее для себя неожиданно: не за то нас тут встретили тепло

все — что мы были «Овчарка» и «Мышь», Муся и Ася, как в Нерви, — а за нашу судьбу девочек, отец которых далеко, в дикой, холодной России, а мать — больна, и каждый старался нам облегчить именно это, тяжесть, которую мы вовсе не чувствовали. Ни одна из двадцати—двадцати пяти чужеземных девушек не упускала случая внушить нам, что те наши «друзья», что в Италии (тайком, может быть, от наших родителей, в России водивших нас в русскую церковь) говорили нам, что нет Бога, — это злые, дурные люди, наши враги!.. С отважным, готовым к бою лицом слушала — долго — Маруся такие речи. В даль, зорко, словно наполненные пустотой в ответ говоримому, широко раскрыты были ее светлые глаза, равнодушные и надменные.

Марта, Магда. Помнятся еще две сестры — лет семь разницы меж ними: полная, круглолицая, уже женщина с виду — Амалия и больная, малокровная Lala (Лалá) — худой подросток, без кровинки в худом лице, с круглыми карими глазами. За веселость ее все любили. Сестру она почитала, как мать.

Жили старшие пансионерки в нижнем этаже по три-четыре в комнатах по оба бока коридора. Внизу же помещалась столовая (в остальные часы классная для старших). Напротив тяжелых входных дверей была дверь в гостиную — уютнейшую комнату с пианино и мягкой мебелью, где мы проводили вечера. За нею была стеклянная терраса с большим столом и книжными полками. Тут занимались младшие под присмотром м-ль Маргерит. На уроках присутствовал обожаемый длинношерстный Шпицу. Выразительность его черных глаз из вороха стрел лунной шерсти, обаянье собачьего ума не оставляли никакого сомнения, что он не хуже нас усваивает древнюю историю, географию, задачи арифметики и бесчисленные времена грамматики французского языка.

Минуты рекреаций мы гурьбой, взрослые и маленькие, проводили в крошечном очаровательном садике: огромный платан посредине, подстриженные кусты по бокам, гравий под ногами; и чудом тут умещались и азартные игры младших (любимая Марусина была «aux barres»\* — воинственное наступление двух рядов девочек друг на друга с разными опасностями), старшие прогуливались по двое в сладост-

\* Игра в пятнашки (фр.).

ном воздухе роз, и нарциссов, и ирисов — нашего и соседних садов.

Были и приходящие девочки — семи-восьми лет: тупоумная, добрая Blanchette Millioud (Бланшет Мильо), дочь пансионского профессора, и англичаночка Вайолетт — хрупкое, лиловоглазое бэби, с бантом у виска, горделивое и невнятное по своему произношению существо.

Жизнь в пансионе Лаказ была, несмотря на строгость моральных правил, так весела и уютна, все так любили друг друга, так уважали, так горячо ценили м-ль Люсиль и мосье л'аббэ и любили м-ль Маргерит, что мы, вступившие было сюда не без враждебности, помня насмешки вилляторревцев над Тетиным и пансионским воспитанием, оказались бессильными не полюбить окружающих нас людей. Как не похожа была эта школа на все последующие школы! Как интимен быт! Как добры старшие к младшим! Шли недели, и мы, в первое время тосковавшие по оставленным друзьям, начинали, не сознаваясь друг другу, ощущать стеснение, смуту при мысли о возможном их — обещанном — приезде... Все дальше останавливался пронизательный взгляд карих глаз м-ль Люсиль на уклоняющихся светло-зеленых глазах Маруси; все чаще говорил с ней мосье л'аббэ. Все больше отмалчивалась — на мои вопросы — Маруся. Что-то чуя, я перестала спрашивать.

Наш день начинался часов в восемь: нас будила милая маленькая м-ль Маргерит со Шпицү; меня, младшую, умывала сама — вытирала мне руки, лицо, уши, шею намоченным полотенцем. Это называлось *débarbouiller*\* и делалось весело, смеясь. Из комнаты египтянок несся говор, споры, запах зубного элексира Одоля. Завтракали вокруг длинного стола в столовой. Я не помню блюд, — но именно это — по сравнению с весьма запомнившимися порциями другого пансиона — говорит о том, что мы были сыты. На большой рекреации м-ль Маргерит, гремя ключами (она ведала хозяйством, ключи всегда были с ней), вносила белый хлеб и круглые плиточки шоколада — каждой по две. И молоко. Как это было вкусно! Как шумно! Как весело!

После утренних уроков мы, младшие, шли гулять. Наша любовь к крохотному садику восполняла недостаток места.

\* Умывать лицо (*фр.*).

Нам позволялось влезать на нижние разлатые ветви платана. Мы облакачивались на широкие, массивные резные каменные перила, составлявшие заднюю стенку садика — он нависал над дорогой, и следили за проезжающими charettes, повозками, нередко запряженными осликами, за добротными старыми швейцарцами-пешеходами в старинных широкополых шляпах. Мы уже знали, что девиз Швейцарии: «Un pour tous et tous pour un» («Один за всех, и все за одного»).

А из Италии, от мамы, шли письма: папа и выздоровевшая давно Лёра были в России, мамино здоровье крепло; она собиралась навестить нас и пожить вблизи нас перед отъездом пансиона на лето в Альпы. Мы ждали ее. Мы писали ей. В ответ на ее картолинки с знакомыми контурами Аллеадель-Пальма, Торре Грапалло на «Большой Марине», берегов Генуи, памятников Гарибальди, итальянских полуголых детей с гроздьем винограда или тарелкой макарон — щемило сердце, но весть, что Жорж и Володя поступают в Генуэзский колледж, фотография растолстевшего Володи у тележки, в которую он запряг Лаина, — давали чувство от нас куда-то летящей жизни и давали право и нам жить — своею...

В воскресенье, после долгого стояния в церкви — костел был не похож на русскую церковь — стоять долго было не утомительно не только потому, что часть службы католики сидят, но и оттого, что в руках держишь служебный молитвенник и следишь за возгласами аббата, — мы, после обеда, часто ездили на пароходике вокруг Леманского (Женевского) озера. Мы спускались к озеру старинными узкими улочками к набережной Уши́, к ослепительному покою и блеску водного серебра и голубизны с мутневшими, в туманах берегов, жемчужинками селений — Монтрé, Территé, Невшатель.

В этом шаре воздуха и воды наступало такое — успокоение ли, упоенность синевой, скольжением, дыханием, — что в нем пропадало на полдня все пережитое, все разлуки, все боли, все оставленное позади, все навеки несовместимое: Киска, м-ль Люсиль, Тигр, мосье л'аббэ, мама с гитарой и м-ль Маргерит с ее Шпицү.

Иногда мы ездили или ходили в Signal (Синьяль) — туда, где лес, где бродили лани у пруда, где плавали лебеди и где по берегам сладко пахло синими ирисами. Или гуляли еще

по каким-нибудь окрестностям. По пути мы заходили в придорожную гостиницу, пили молоко, ели серый швейцарский хлеб с медом и сыром. Крутые — из черепиц — крыши над сказочными домиками, затерянными среди деревьев, дававшими уют в зной, отдых, еду и питье, как любовно они легли в покой памяти!

## Глава 2 ВЕСНА 1903 ГОДА. ПРИЕЗД МАМЫ. УШЇ

Однажды меня позвала в гости Бланшет Мильо. Мы играли в несложную игру в маленьком садике, когда отозванная матерью Бланшет бросилась ко мне с криком: «Assia! Vite! Vite! Ta maman vient d'arriver! On est venu te chercher. Oh la bienheureuse!..» («Ася, скорей, скорей! Твоя мама приехала! За тобой пришли... Счастливая!..») Как я бежала к маме! Муся уже там!

Милое, милое, милое лицо, *такое* родное! Как мы без него жили? Как мама улыбается! Только она так может. Незаменимость человека! Неповторимость его черт, движений, привычек! Тайна голоса! Мы рухнули в маму как в пропасть. Именно ее мы ждали, именно ее нам не хватало! Только ей одной мы хотели рассказать — всё!.. Мы ластились о маму, как зверята о зверя, впервые так, став проще после разлуки — *до разлуки* и не зная, что можно *так* стосковаться, *так* тереться головой о плечо... И Лозанна, старый университетский город, полный мудрости, наук и преданий, принял под свою сень наши три души — чужеземных и разновозрастных, соединившихся вновь, ненадолго, перед новой и долгой разлукой, и баюкал легендарной ласковостью и романтикой наши — тридцатичетырехлетнее, десятилетнее, восьмилетнее — сердца...

Мы ненасытно бродили вокруг Лозанны, мы сидели за столиками прибрежного ресторанчика Ушї за стаканами гренадина, кофе или чая. Закат медленно опрокидывал в озеро розовую желтизну неба; небесно-водяной шар начинал темнеть и мерцать первой звездой. Медленным взмахом палочки подымал дирижер над оркестром вечерний взмах музыки — и старый город — как замок Рингштеттен в дни Гюльбрандта и Ундины — затихал тьмой садов и блеском лунных лучей.



Вспоминала ли мама своего лунного короля, в озеро которого она опустила с руки колечко?

— Дети, жизнь идет *полосами*, вы это *увидите*, когда вырастете, — говорила мама, — и *вспомните* мои слова. — Прерывая нас, хотящих сказать, что мы *уже* вспоминаем: — Вот Ясенки (мои), и наша дача в Тарусе, наш московский дом, и Нерви — это все полосы. И они проходят, как сон. И вот это, сейчас, мой приезд — полоса тоже. И она *тоже* пройдет, как сон...

Мы слушали — не слова, а самую *душу* мамы, душу жизни, которая говорила через нее. И обе наши души сливались в ней. Над Уши зажигались цветные фонарики иллюминации, жаркие и уютные в падавшей синеве вечера, под исчезающим небом. Искрами мирового холода леденели голубинки звезд, безнадежно затерянные в пространстве, как затеряны на земле мы. И во всем этом плавилась музыка, раскаленную своей печалью, и неслась, как ветер, над озером, опрокинувшим в себя небо, — и в озере глубь неба еще была уловима, возрождаясь о свет воды. L'Hôtel du Château (Отель дю Шато) обрезал высоту прихотливыми очертаниями башенок и зубцов. Он напоминал Рингштеттен. В нем останавливались, когда приезжали, родные наших подруг-египтянок. Это был самый дорогой отель. Их богатство нас от них отдаляло. В нем была струйка тоски.

Через несколько лет, вспоминая те вечера, Марина написала стихотворение «Ouchy»:

Держала мама наши руки,  
К нам заглянув на дно души,  
О этот час, канун разлуки,  
О предзакатный час в Ouchy!..

Мы ненасытно рассказывали маме обо всем новом в нашей жизни. Но я улавливала, что Маруся избегала говорить о м-ль Люсиль и мосье л'аббэ. Так было в Нерви — мы молчали маме о наших друзьях-революционерах. М-ль Люсиль и мосье л'аббэ — друзья? И мы это скрывали от мамы? — не ясно неслось во мне. И, вслед за Марусей, я тоже молчала о них. Почему? Я бы сказать не сумела.

Вечером мама отводила нас в пансион. Нас встречали ласково, весело, добро, «завидуя» нам — радостью за нас, — что

мы с матерью. Как засыпалось! Завтра, после уроков и обеда, мама снова зайдет за нами, и мы поедem с ней в Синьяль — ферму с ирисами и ланями. М-ль Маргерит тушила лампу и желала нам доброй ночи.

Чистые, веселые швейцарские дороги с приветливой игрой солнца и тени, с ласковыми поклонами встречающих. Хороши? Нет слов... А в сердце — тоска, и видится поле по дороге к Пачёво, тощая рожь, родная, межи и тропинки, ширь. Жар и даль... Тоска по России сплавляла маму и нас — в одно. Мы и не говоря понимали друг друга с полуслука. И всегдашнее наше, с ранних лет — «а помнишь?» — цвело в этот мамин приезд пышней...

Мы рассказывали о нашем расставании с Тью.

— Да, дети. Тетя — это удивительный человек... *Такая* преданность нашей семье...

Каждый день мы ходили еще в какую-нибудь из окрестностей Лозанны, предвкушая на другой день прогулку еще заманчивей... Мы проходили мимо садов, пахнущих розами; от их запаха хотелось закрыть глаза, чтобы был только нюх... но в эту минуту из окна раздавался рояльный звук, и розы в нем сжигало как в пламени. И тогда в мамином лице было то самое, уже с детства так, так любимое: грусть в нем была, и была в этой грусти — отвага... и какое-то горе веяло у ее рта... И мы жались к ней одним движением. А потом мама в маленькой своей комнате варила на спиртовке русский чай, а мы бежали по знаменитой лозаннской лестнице — в булочную, вниз; из булочной вверх по широким старинным ступеням — и ветер трепал тонкие бумажные кульки с золотистыми хрустящими сдобными хлебцами с изюмом. Высокий шпиль собора глядел на нас. К маме пить чай! Как мы бежали... А мамин отъезд — близился.

Мама говорила нам об эдельвейсах, серебристых высокогорных цветах с чашечками в виде звезды. О легендах, связанных с ними.

— А я, дети, вернусь в Италию, по настоянию докторов проживу там еще одну зиму, пока вы будете жить тут с подружками и добрыми м-ль Лаказ... Вы и за эти месяцы так сильно подвинулись во французском языке — как же вы будете говорить тогда! И папе какая радость! И Тете... Моя мечта, — отвлекалась она на минуту от темы, — чтобы вы знали и ан-

глийский, и итальянский, как я, — не меньше, чем я знаю!.. Да... а когда эта зима пройдет, мы съедемся и поедem в Германию — на год... Чтобы *медленно* привыкать к более холодному климату... Потом — в Крым... В Москве я велю себе отделать ту комнатку на чердаке, которая над нашим парадным, — выше всего. Там чище воздух — там будет моя спальня.

— Мама, а ты говорила — в Цюрих? — сказала Маруся.

— Может быть, в Цюрих, — как-то затуманившись, ответила мама, — если я решу жить в Цюрихе, я вам напишу. Вы большие уже, вы можете уже — сами...

— Мам, мам! — пристала я. — Что? Что можем? Что сами?

— Ничего, дети. Об этом говорить рано. Это еще все не решено.

И мы вместе с мамой твердо верили и твердили — тем, кто спрашивал — как мама будет вновь привыкать к России.

— Мама *не* может жить всегда в Италии, — повторяли мы ее слова, — потому что в Москве у нас дом, и папа — профессор *Московского* университета, и в Москве будет папин Музей древней скульптуры, *вся* семья — там, мама не хочет жить в чужих краях. Она вылечится — и вернется, не сразу, а понемногу.

И добрые наши начальницы подруги добро слушали мамины планы. Дети, *живущие* с матерью, — не поймут нашего с ней расставанья. *Только* те, кто уже раз — расставался. Живой кусок от живого куска! *Так* мы отрывались от мамы. Последняя прогулка! Последний чай. Последний час. Не в эту ли ночь мы в первый раз по-настоящему помолились?..

Поезда мчали нас прочь друг от друга. Маму — в Геную, нас — домиками и предгорьями, все круче, все свежей — как в Тироле бегут селенья, церковки, речки, водопады, мельницы... — к белому великану, высящемуся над всем хором одиночек и цепей — гор. Уже в мозгу те два названия — Mont-Blanc (Монблан) и Dent du Midi (Острозубые ледяные пики).

### Глава 3

#### В АЛЬПАХ. РАЗЖАЛОВАННЫЙ ГИД. ДУРНАЯ ТРОПА

Раскаленная синева. Ослепительный блеск снегов — такого множества, что ни капля его не растает ни от летнего солнца, ни от всех туристов на свете. Среди этих туристов —

Маруся и я, две русские девочки в голубых платьях и соломенных шляпках, с альпийскими палками в руках, — и наш пансионат, и наши гиды, и наш мул или наши мулы, везущие в корзинах через седло нашу одежду: когда пансионерки окажутся в облаках, где свежо и сыро, они наденут верхние платья, мы с Марусей — наши красные шерстяные полудлинные кофточки, летние полупальто. Еще выше — те места, откуда текут (когда-то потекли и замерли льдом) ледники; еще выше — горы. Над ними и вокруг них — непроходимые и полупроходимые тропинки путешественников. Оттуда идут лавины. Выше — последние горные гостиницы. Еще выше — Монблан. Там так холодно, что путники замерзали. А мы — возле гостиницы будем кататься на санках с горки. Как в Москве... Там есть почтовый ящик. Мы напишем маме, и папе, и Лёре, и Андрюше, и Тете открытки с видом Альп — и опустим их в этот ящик... И на открытках будет штемпель — штемпель альпийской почты!

Круглые карие глаза Лалá сверкают. Ново! Радостно! На ее белых щеках, кажется, немного краски. О, альпийский воздух сделает ее розовой! Это сказала ее старшая сестра Амалия. Что-то в этих словах заставляет меня поглядеть на Мусю. Лицо Муси поворачивается ко мне, но она не говорит ни слова: слова нужны, чтобы сообщать, а взгляд уже сообразил (ее — мне, мой — ей).

Это один миг! Жизнь идет, идет и идет... Мы же поднимаемся, вслед за гидом, по дороге в город. Дорога еще пока широка. По разрозненным рядам пансионеров кое-где медлит рассказ: *отец* нашего гида (нам показали его у входа из вилляжа, последних домов Аржантьер) *тоже* был гид, и однажды в опасной экскурсии все шедшие впереди (связанные друг с другом веревкой), поскользнувшись, оторвались — и повисли. Они висели над пропастью — на тех, кто еще не сорвался, ближний к краю был — наш гид. За ним — туристы, позади всех — отец гида. Видя, что упавшие перетягивают, сын *сейчас* сорвется и погибнут *все* (а всех все равно не спасти), старый гид рванулся вперед, перерезал веревку *перед* сыном... И те — полетели вниз... Его судили. Оправдали? Его лишили звания горного проводника. И он доживает свой век. Доживает бесславно... Сердце бьется безумной жалостью к нему! Ведь не он погубил тех, он *спас* остальных!..

Поляны синих маленьких цветов. Очень синих. Это — ченцианы. Подождите!.. Выше — рододендроны, розовые, тугие, крупные. Помнится, те и другие — без запаха. Запах ушел в цвет: синева и «розовизна». Такие — нельзя отвести глаз.

Привал. Гостиница. Серый хлеб, свежий сыр, молоко, отдых. Марина, ждавшая от меня нытья в пути, молча, явно ко мне милостива. Горжусь горными, как у всех, башмаками, с гвоздями на подошвах. Иду, не отставая от взрослых, хотя ноги уже болят.

И все-таки я устала в одной из первых дальних прогулок — и меня приютили на муле, маленьком, темно-сером конике, а он упрям, как осел, и не хотел, чтоб я на нем ехала, и конец моей езды был и торжеством, и фиаско: мул летел под (отлогую) горку; я на нем, уцепясь, *не* упала! Это было так лихо и *почти* даже весело, но я трусила изо всех сил и вопила, и все бежали ко мне...

На высокомо плато, откуда был виден весь свет, где жгло солнце и дул ветер, мы увлеченно летели вниз по наклонной снежной наледи на санках, точно во дворе Трехпрудного переулка! Летом! Настоящее волшебство...

Марусин, уже бисерный, почерк шелестел пером по открыткам; я, высунув язык от усердия, «корябала», тоже уже мелко, но довольно коряво — приветы в Италию и Россию.

На фотографиях, долго у нас хранившихся, Марина выше меня по крайней мере на полголовы и куда шире в плечах. Казалось, года четыре разницы — было всего два. Обе смеемся; у Марины чудесная полуулыбка, застенчивое просияние лица, круглого. Богатыренком стоит она на фоне Глясье де Боссон (ледник). В чуть сощуренном взгляде — отвага. Эта фотография живет *только* в моей памяти.

Аржантьер — чистенькая старинная деревушка, где мы живем в маленьком отеле. Там — проще и вольнее, чем в Шамуні, где мы жили в Отель де ля Курбон, где был важный табльдот, за которым я осрамилась, спихнув под стол стручковую фасоль в масле (с «нитками»). Я ее ненавидела... Она предательски темнела на золотом паркете, и я плакала своим «и-и-и», пойманная, как вор.

Наше счастье был Шпицц, спутник всех наших прогулок. Но однажды случилась беда: при переходе сияющего голубого ледника Шпицц упал в «крéвас» (трещину). Его выни-

мали ремнями, досками. На бедную его хозяйку было жалко смотреть. Белоснежная шерсть мордочки была в крови: Шпицú выбил зуб. Он скулил, дрожал, но, для нашего одобрения и смущенный вниманием, пытался взвизгнуть, игриво подняв мордочку, как обычно от ласк, но визг перешел во взвизг боли, — и мы обе, одним движением, сели возле него на лед, утешая его и плача. Длинная вереница всех нас (веревкой нас не связывали) охотно шла назад, не докончив прогулку. Никто не роптал, ни в ком не было насмешки над жалостью к собаке. Это был век, хранивший — как в медальоне портрет или локон — хрестоматийно добрые чувства как основу, как минимум жизни. С этой основой все мы рвались вверх, каждый к своему подвигу. Но основа — пусть хрестоматийная — не оспаривалась ни в чьем сердце в те довоенные — мирные, наивные? — времена.

В парке Отеля де ля Курбон я качалась на качелях с мальчиком лет на пять меня старше и звала его насмешливым книжным прозвищем «*Pipe de verre*» («стеклянная трубка») — за его девическую воспитанность. Имя его было Рауль. Вокруг качелей росли незабудки, было сыро. Рауль сказал, что завтра уедет; я не верила. На другой день незабудки, качели — все было то же, — вернее, все было другое: *Pipe de verre* — не было, он уехал.

Марина дружила со старшими — Магдой, Мартой и Мице Вайдман — веселой и всеми любимой озорницей. Ей было шестнадцать лет. Шалости ее никогда не были злы. Голубоглазая, с русым *Mozartkopf* (подвязанной вдвое, у шеи, косой), горбоносая, с резкими движениями, смехом и мимикой она напоминала клоуна. Горячего нрава, она была очень добра. Все они поражались развитию Маруси, ее уму и талантам: училась она без труда, все понимала, во всем шла впереди других. Было просто трудно поверить, что ей всего десять лет.

А я подружилась с шестилетним мальчиком. Его звали Леон. Мне хотелось нацело забрать его себе, и я боролась против влияния на него (как ее звали? Люси? Мари?) его семи-восьмилетней сестры. Маленький, худой, смуглый Леон был мил, но так робок — и мне не удалась моя затея...

Иногда мы лазили по холмам, все, собирая чернику (миртиль). Ее было много, и часы были упоительны. Губы, зубы —

синие. Солнце нежно жжет, руки и ноги — в царапинах от колючек... А еще все мы плели корзиночки из вереска, очень складные, с ручкой, плотные и пушистые, с множеством крошечных розовых цветочков, сухих. Мы клали в них — а иногда просто в картонки — свежие альпийские цветы и, сбрызнув водой, надписав над адресом «Fleurs» («Цветы») — рассылали родным, у кого они были не в очень далеких странах. Целые дни на воздухе; мы все загорели, даже Лалá, и сестра радовалась, на нее глядя.

Однажды после черники мы встретили английскую девочку лет пятнадцати, Айлин, о которой — и о ее отце-пасторе — рассказывала мама. (Где она знала их — я забыла.) Высокая, бледная, большеглазая, ласковая девочка попросила у м-ль Люсиль разрешения пригласить нас к себе. Мы пошли. Более странного «в гостях» я не помню. Может быть, были там и светлые комнаты, и чайный стол — все затмили спущенные занавески незнакомого помещения, куда нас ввела Айлин: под высоким столом сидело — и метнулось к нам — что-то огромное, живое, издавая нечленораздельные звуки. Неприятно пораженные, мы отступили. Тогда из-под стола высунулась обезьянья длинная лапа, с явным желанием — зажать, схватить. Маруся откинулась назад, в испуге и отворачивании. Сколько времени длилось непонятное — не помню: оно разрешилось внезапно и не стало понятней: при свете отброшенной занавески из-под стола явился, снимая с себя что-то, высокий отец Айлин. Оба смеялись, и мы тоже (пытались). Для нашего развлечения самоотверженный пастор изобразил под столом орангутанга. Мы более никогда не видели этих милых, странных людей.

Прогулки в горы продолжались. С начала лета говорилось о самой опасной — Mauvais pas (Дурная тропа, Дурной шаг). Мы ее ждали. Немало путешественников оборвалось там в пропасть, и много ходило легенд. В ожидании мы поднимались по менее опасным дорогам: ходили на Glacier des Bossons (Глясье де Боссон), Mer de Glace (ледник «Ледяное Море»). Во время экскурсии на этот ледник мы увидели катастрофу: откуда-то сверху посыпались камни — и с криком «Une avalanche! Les pierres, les pierres!» («Лавина! Камни, камни!») люди (была и другая экскурсия, кроме нашей) бросились врассыпную. Но один остался. Он лежал на льду не-

подвижно, из его головы текла кровь. Камни еще падали, хоть реже — но люди бросились, оттащили его, подняли. Мы видели, как рвется, треща в воздухе под чьими-то усилиями, что-то белое, как люди расступаются, кто-то наклоняется, делает перевязку. Наши начальницы и многочисленные пансионеры шептали молитву. Раненого пронесли мимо нас. Он был без сознания. Его большая борода вся в крови. Солнце сверкало на ледяных пиках гор. Бархатными коврами ползли по горам — ниже — лесá. Синим холодом дышало «Ледяное Море». В наших руках были веселые альпийские палки с острыми наконечниками. Недосягаемым снежным конусом лежал равнодушный к людям Монблан. Будет ли жив раненый? Эта мысль птицей билась во всех нас. Много дней мы не знали о нем. Наконец он появился: у дверей Отеля для Курбон он сидел в кресле, укутанный, несмотря на жару, в теплые пледы; голова его все еще была забинтована. Лицо было почти такого же цвета, как бинты. Он потерял огромное количество крови. Как будто полуживыми глазами он глядел на зеленую нарядную долину, кипящую жизнью у подножья сгубивших его гор.

И вот мы на Мовэ па — узенькая, одному только пройти, тропинка высоко в горах, по краю пропасти. Справа — почти отвесная скала и в ней, местами качаясь на вырвавшемся скреплении, вдоль скалы, проволока, за которую можно местами придержаться. Поньше не понимаю, зачем вели туда пансионы с детьми. На месте, где почти ежегодно случались несчастья! Сорваться — означало смерть. Мы связаны веревкой не были, но были с нами два гида. Перед вступлением первого гида на Мовэ па я, самая маленькая и юркая, выбежала вперед веселой детской прыжкой, не сознавая опасности и не слыша испуганных криков за собой. Отозвать меня было уже нельзя. Я бежала беспечно, *мне* тропинка не казалась узкой. Я слегка придерживалась за проволоку и даже сорвала выросший в расщелине скалы цветок. Только *один* человек из тех, кто шел сзади, за меня *не* боялся: Маруся. Привыкши лазить по почти отвесной «пластине» нервийской, мы страха не ощущали. Маруся была, конечно, горделиво спокойна за меня, что я не сорвусь. Но обе начальницы и пансионеры шли, замерев от ужаса, и молились, не отрывая от меня



глаз. Зато *что* началось, когда мы прошли Мовэ па! Все на меня обрушились, начальницы бранили меня, что я не люблю свою маму, что я не жалею их, дурная, глупая девочка, — *что бы* они сказали маме, если бы я сорвалась? Я разливалась плачем, а лукавый Марусин глаз косился на меня одобрительно.

Недели были так полны впечатлений, что казалось, мы в Шамунí и Аржантьёр очень, очень давно. Совсем как сон уже вспоминалась на миг Таруса — Ока — дача в тополях, орешниках и березах, темная ель в «старом саду», Пачёво... Уже и Нерви немного делалось сном... и море...

Помню — утро. На белой дороге, за которой знакомый пейзаж Аржантьёр (пластики освещенных солнцем домиков с остроконечными, темного серебра, крышами, столбик колокольни, купы садов — вдали как одно кудрявое дерево), — наша вереница, выходящая на далекую горную прогулку. Длинные утренние тени повторяют всех нас на белизне дороги, сказочно — в длину — растянув очертаниями. Мелькают светлые платья высоких Магды и Марты, смеющееся личико озорной Ми́це, загоревшее — Лалы. Рядом — как давно мы уже знаем ее — смуглое продолговатое лицо м-ль Люсиль, горбоносое, строгое, полное величавости, которой так совсем лишены добрые, какие-то смятые черты м-ль Маргерит, маленькой и уютной, с неизменным Шпи́цу у ног. (Рядом с м-ль Люсиль, говоря о чем-то своем, взрослом, полная, почти дама — Амалия.) Но сейчас и лицо м-ль Люсиль улыбается, загорелое и даже с румянцем. С ней шагает приехавший к нам их кузен, моряк, мосье Леон. Статный, смуглый, в матросской блузе, он кажется мальчиком издали. Он очень мил, весел, но возмутил пансионерок тем, что свои отлучки «pour le petit»\* — о чем вообще не полагается говорить — называет, с матросской шутливостью, «faire changer l'eau aux canaris» («пойти сменить канарейкам воду»).

Маруся *еще* выросла в Альпах. Я такая маленькая рядом с ней, и наши тени повторяют эту разницу, вырастив ее, как в сказке, — потому что, земли коснувшись, побежала, перешагнув дорогу, по траве и затерялась в кустах.

\* «По-маленькому» (*фр.*).

Щебет птиц провожает нас неумолчным, обманчивым привидением. Это — видение рая впереди, как первым людям в раю, за счастье отлетавшего дня — счастье всей бесконечности.

#### Глава 4

#### СНОВА ЛОЗАННА. БЕСЕДЫ С МАРУСЕЙ. УРОКИ МУЗЫКИ У МОСЬЕ БИШОФ. М-ЛЬ ЖАНН

Мы ждем приезда кузины м-ль Лаказ, м-ль Жанн. О ней говорили, что она очень строга, очень религиозна, что только какие-то семейные обстоятельства помешали ей стать монахиней. И наши сердца уже тянулись к ней в каком-то таинственном уважении. Теперь в церкви мы уже не стояли, нахмураясь, скучая, враждебные к происходящему.

Как произошел этот «душевный переворот», как он называется в книгах? Мало-помалу или в некоем «вдруг», я на этот вопрос не отвечу, потому что *не помню — как*. Я помню две католические церкви: ту, над которой смеялись наши друзья-революционеры, с которыми мы недавно расстались, и в которую мы ходили, потому что водили всех, и даже то, что мы были «ортодокс» (православные), не избавляло нас от хождения туда. И я вижу ту церковь, куда мы шли с замиранием всего существа, в которой звучал хорал словно ангельских голосов сверху, где мосье л'аббэ был для нас представителем Христа (как для него был — Римский Папа), где я, вслед за Марусей, стоявшей лучше, поглощеннее всех пансионеров, старалась понять смысл слов, напечатанных в молитвеннике, где изображалась вся месса и где напряженное, медленное перелистывание страниц имело *одну* цель: не пропустить объяснение того, что делается перед алтарем. О, это были только врата! За ними распахивался весь наш будущий земной путь, а за ним — неземной, вся вечность, вся, в которой доблестные и стойкие будут в раю с Мадонной и Иисусом Христом, а изменившие таинству Крещения пойдут в ад — навеки. Мы знали еще о Чистилище, в котором в мучениях перегорят наши грехи, если они не смертные, и мы, очищенные, войдем в рай. О нем мы в Москве, в нашей вере, не слышали. И никто там не говорил нам, что

каждый день — каждый час — Бог ждет от нас доброго дела и горюет о злом поступке, и что Святая Дева, окруженная ангелами, плачет о наших грехах, и что весь Небесный мир, затаив дыхание, ждет, как ты поступишь завтра, сегодня, *сейчас*: шаг ли к раю ступишь — или шаг к аду. Чье знамя возьмешь в свои руки — Божье или дьявольское? Будешь ли верен Богу, тебя создавшему и тебе давшему жизнь как тернистый путь испытаний, чтобы узнать, с Ним ли ты, или, соблазнясь греховностью, — против Него? Это, ворвавшееся в сердце призывно, как звук рога, осветившее душу, как нездешний золотой луч, неведомо как и когда, сожгло в нас все то, что мешало нам верить в Бога, ждать Его приход в было изменившую Ему душу, радоваться, бороться с собой, клясться в верности Иисусу Христу.

Снова Лозанна. Как в родной, на лето покинутый дом, входят пансионерки в тяжелые двери серого каменного любимого пансиона Лаказ... В воскресенье после мессы, до обеда, все мы сядем писать длинные письма домой о походе в горы, обо всем, что мы видели и узнали, о том, *что* такое Альпы. О Монблане, на который взойдет только самый, самый смелый человек на свете. И полетят наши письма: в Россию, Египет, Германию, Англию, Бельгию, Испанию — по всему свету.

Был чудесный обычай в пансионе Лаказ: в четыре часа дня, в воскресенье, на стеклянную террасу вносила девушка (горничная) огромное овальное блюдо с горой пирожных. Она высоко поднимала его над головой, так как к нему тянулась целая заросль рук (иные из них — как стыдно! как совестно! — отталкивали другие)... Руки отталкивали и вздрагивали, стыдясь, но миг был так жарок — уже выхватил кто-то самое верхнее, с розовым кремом и вишнями, и ореховое бисквитное, и то, «лодочкой», о котором так защемило сердце, с белым кремом и виноградинками... Меньше чем в минуту все было расхвачано, в минутном хоре непереводаемых ни на какой язык восклицаний — и каждая, стоя или сев, кто — сразу, кто — медленно, жмурясь, поглощала свои три, ей полагавшиеся в ласковом, хоть и строгом, быту пансиона Лаказ. Эти пирожные были *еще* вкусней, чем то, что с мамой у Филиппова и у Бартельса. Они — *таяли*. Сколько вкусов!

Маруся ест, чуть прищурясь, счастливым глазом косясь на меня.

— У тебя какие? А у меня последние...

Я думаю, не прошло и полугода с отъезда из Нерви, как мама стала получать от нас письма, как потом узнали из ее писем к папе, встревожившие ее по-новому. Смысл ее строк был тот, что трудно воспитание детей, особенно в ее положении больной и — вдали. Намучась от нашей чрезмерной любви к бежавшим с царской каторги людям, слишком *развязным* и огульно все осмеивавшим и отрицавшим, как казался разумным шаг с помощью вызванной на помощь Тети — поместить нас во французский пансион! И что же?! И здесь получилось совсем не то, чего она ждала! «Это какие-то монахини становятся, а не девочки!» — писала мама. Мы никогда не узнали, что отвечал ей отец. Конечно, успокаивал, как делал всегда, глядя на жизнь с позиции пятидесяти пяти прожитых уже лет. Он верил, что все обойдется, что тревожиться не надо. А пока — думаю, мама получала наши недетские письма и не знала, что отвечать. Воображаю, *что* и *как* писала ей Маруся, если я, в восемь лет, писала что-то вроде: «Милая мама, почему мы родились в такой вере, где величайшее таинство — Причащение — мы приняли такие маленькие, что ничего не могли понимать? И теперь мы лишены того, что имеют наши подруги, — Первого Причастия, торжества и счастья быть Невестой Христовой, подготавливаться в беседах с мосье л'аббэ к этому великому дню соединения души с Христом!»

Что могла нам ответить мама?

Но не одной восторженной отвлеченностью от жизни становились полны наши дни: вера, которой не зажгла в нас *наша* религия и которая вспыхнула от прикосновения католичества, проникла в каждую мелочь дня. Теперь уж нельзя было кого-то дразнить, солгать, беспечно отвлечься от чего-то, что не понравилось, притвориться, поспорить, надерзить. Все это именно и были те грехи, которые вели в ад и которым рад дьявол. И в этом мы жили все детство, не подозревая, как отразился прожитой день в *вечной* жизни, в той, куда каждый из нас может шагнуть — каждый день — *без* возврата. И нам было теперь понятно, *что* единило всех в пансионе Лаказ,

что делало его одной семьей... Все глядели на зло и добро одними глазами; всех, с нами живших, друживших, учившихся, ездивших на «Tour du Lac» («Вокруг озера»), — ужасала возможность совершить злой поступок, всем звучал надеждой и радостью воскресный хорал мессы... О, мы знали теперь, что те, кто нас пытался отвести от Бога, были дурные люди, только *казавшиеся* друзьями. О них надо было молиться — но с ними не знаться. Бог — многомилостив. Он может их простить, но не нашим слабым рукам спастись их насмешливые закоренелые души... Да — у души нет возраста. Это мы знали. Были *дети* — мученики. От нас, как от взрослых, Бог ждет подвига, и хоть к нему мы и должны готовиться, но не надеяться слишком на себя. Привести к Богу Тигра, Кошечку, Герба и Кота-Мурлыку мы еще не могли. Наше дело — молиться и бороться со *своими* грехами! Так думали мы в одиннадцать и девять лет в католическом пансионе.

И когда наставал вечер, и египтянки (из них не от мира сего была *по-настоящему* только Аглаэ) шли в свою комнату, и м-ль Маргерит со Шпицú кончала свой вечерний обход (на ее попечении были младшие), и шаги ее затихали на лестнице, по которой она спускалась, — мы тихо вставали со своих постелей, становились на колени на коврики и начинали молиться. Пальцы привычно уже перебирали бусинки четок (chapelet) — десять Ave Maria, один Pater Noster; Notre Père qui est aux ciel\* — так, помнится, — пять раз по кругу сцепленных длинным кольцом четок! Затем одно «Отче наш», три «Аве Мария» и опять одно «Отче наш». Бог вещь, *сколько* молитв говорили мы глубоко в ночь в тишине спавшего пансиона. Усталые и счастливые, мы ложились, порой преодолевая то, что, казалось, уже может быть искушением, — еще и еще молиться. Дьявол бдителен и лукав, он, может быть, хочет нас *нарочно* для того подговорить, чтобы *еще* молиться, чтобы нас *обессилить*? Нет, лучше теперь лечь. Счастливые, со светом в душе, с верой в то, что Христос нас примет к Себе, с мечтой умереть за Него, если надо, мы засыпали, а наутро нас встречал день: с шумом, голосами, поводами к ссорам и спорам; с синим, как в Нерви, небом, с солнцем, как в «Бориваже»,

\* Отче наш, иже еси на небеси (фр.). — Примеч. пер.

с волнами воспоминаний о другой, вольной жизни, о веселье революционных песен, скал, лжи старшим, свободы...

Добрая м-ль Маргерит, не подозревая ничего ни о нашей страстной молитве, ни о бурях в нас, раздавала нам учебники и тетради, и я садилась учить *Histoire ancienne* (Древнюю историю), учить по старинке о каком-нибудь «*Le roi Mydas qui a des oreilles d'âne*» («Царь Мидас с ослиными ушами»), географию и неправильные глаголы.

В пансион прибыли новые: Кончитта и Кармен Ангуло, сестры-испанки (Кончитте было четырнадцать лет: выше всех нас, младших, она была смугла, имела резкие черты, большие темные глаза навывкате. Кармен было девять лет; смуглая и черноволосая, как сестра, она была красивей, скромней и тише ее. Мы полюбили обеих, и они быстро вошли в наш круг. Говорили они по-французски плохо.

Наступила осень. Становилось холодно. С нашего милого платана слетали листья: желтые, лапчатые. Служанка зажигала уголь в печке на нашей террасе — чугунном столбике с трубой; это называли калорифер. Прилежно учились мы до обеда. На большой перемене приносили нам молоко, белый хлеб и круглые плиточки шоколада. Тепло одетые, мы выбегали в сад. Как уютен, весел и дружен был обед в столовой за длинным столом! Шли гулять — по бульвару де Гранси, мимо каких-то подвальных решеток, откуда шел дух супов, пирожков, жареного. По тем улицам, где мы — как давно! — бежали к маме, и тонкий бумажный мешок трепетал в ветре, мы несли к чаю булки с изюмом... В праздник на полочке мама зажигала тонюсенькую свечу, в память лампадки... В мокрых садах облетали последние лепестки цветов. Как весной тут пахло розами, *как сладко...*

Для занятий музыкой понадобилось ввиду нашей близорукости показать Марусю и меня окулисту. Нас повезли к знаменитому тогда дю Фуру. Он надел на нас круглые совиные очки. Впрочем, я стала носить их позднее, с десяти лет. Маруся же их надела тогда.

Музыку у Лаказ преподавал высокий знаток, очень старый и очень строгий мосье Бишоф, дававший уроки в не-

кой коронованной семье (какой страны?). Сгорбленный, седобородый, блестящий пианист, требовавший от нас, учениц, подлинного увлечения и прилежания. Он до нас за год поставил всего одно «пять» — некой, легендарной усидчивости, девушке, проводившей за роялем все свое свободное от уроков время. Но и «четыре» его было чрезвычайной редкостью. И с такими счастливыми днями был связан чудесный обычай: не только виновница, получившая оценку, но и все пансионерки отпускались через улицу в кондитерскую Юрлимана закупать себе сладостей. Муся, любившая чтение больше, чем свою игру, недостаточно часто, с *его* точки зрения, но много раз получала «четыре» у мосье Бишофа. Но мне радостно вспомнить тот день, когда за мое, самой младшей пансионерки, рояльное прилежание все население пансиона проследовало, сияя и тормоша меня, через солнцем залитый бульвар де Гранси к зеркальным окнам кондитерской, к солнцем сбрызнутым витринам воздушных, эфирных, причудливейших — как из «Шахерезады», сладостей, пирожных и тортов.

Все эти веселые ласковые обычаи уснащали детский быт сурового, казалось бы, католического пансиона. О, искусные воспитатели.

Годы и годы поздней вспоминала Марина несколько раз пережитые нами особенные лозаннские утра, проводы на вокзал пансионеров. Всем пансионом вместо уроков ехали провожать уезжавшую. Всегда утром. Незнакомые улицы, утреннее солнце, волнение прощания — и знакомое, родное с детства зрелище вокзальной суеты, вновь куда-то зовущие гудки поездов, запах железнодорожной гари. Третий звонок, слезы расстающихся девушек, отход поезда — и в необычном утреннем часе возвращение в пансион, пустота после подруги, из нашей жизни исчезнувшей, вдруг ставшей такой нужной... И долгая печаль, которая, кажется, никогда не кончится, вслед...

Старыми улочками мы выходили к Уши́. Неприветно лежало озеро, холодным металлическим зеркалом, мутным, — по нему шли то волны, то рябь... Завтра — воскресенье, в церковь. Потом письма домой. В четыре часа принесут блюдо с пирожными. В тот раз Маруся не подошла к нему. Она дала всем — все выбрать. Она взяла те три последних,

что остались: сухие, миндальные и плоские, без крема. Самые невкусные! Я смотрела на нее, замерев. Знала, как ей трудно. Но она права: именно так надо! Завтра на блюде останутся *шесть* худших, и тогда мы их возьмем.

Бывали у нас представления. Помню одно, под названием: «La Tante arrive» («Тетин приезд»), в котором мне дали роль горбатой тетки. Дети встречают некрасивую маленькую старую тетку недружелюбно. Но она всех очаровывает добротой, всесторонней помощью. В сцене апофеоза она стоит среди полюбившей ее молодежи, с улыбкой произнося слова: «On ne juge pas l'arbre par son écorce» («Нельзя судить о дереве по его коре»)... Сколько труда, приготовлений! На спину мне приделали под платье подушку, причесали, надели старушечий чепец. Роль я выучила легко, сыграла недурно. Как аплодировали девятилетней тетке! Как было весело! Под ковром и картинами открыли дверь в соседнюю комнату (там жила Терезинет с подругами, и мы нередко к ней забегали) — получилась сцена. А публика, начальницы, мосье Милю, учительница рисования и пансионерки сидели на рядами поставленных стульях — получился настоящий театр.

А затем приехала м-ль Жанн. Высокая, выше м-ль Люсиль, худая, во всем темном, с сухим и тонким смуглым лицом, с чертами правильными и красивыми, если бы не чрезмерная худоба. Но не это отводило от нее земное понятие «красоты». У нее было лицо мученицы. Легко, бесшумно двигалась она меж нас, и каждый, на кого взглядывали ее большие темные глаза, пристальные, печальные, строгие, — как бы пронизывался чувством, что — надо опомниться, что час — на счету, что надо *иначе* жить... Весь пансион, еще с прежних приездов, любил м-ль Жанн какой-то особой любовью.

Рассказы о ней, долгое ожидание... Маруся с первого взгляда страстно привязалась к м-ль Жанн. И та заметила Марусю — сразу. С этого дня Маруся стала неузнаваема: где был ее крутой нрав, ее вспышки гордости, дерзости? Уж не приходилось мосье л'аббэ и м-ль Люсиль звать ее, говорить с ней — все свободное от классных и домашних занятий время (а домашние уроки Маруся готовила быстрее всех, учась блестяще по всем предметам) — она проводила в комнате м-ль Жанн. И ночью я теперь всегда засыпала первая — Марусины молитвы длились еще куда глубже в ночь, чем мои...



От м-ль Жанн ли мы узнали песнь, полюбленную нами мозабвенно, но теперь мы с затаенным, полнившим нас восторгом повторяли и пели слова:

До самой смерти будем мы Твоими,  
До самой смерти будешь наш Король,  
Под стяг Твой, Иисус, зовешь. За это имя...  
Под ним умрем. О Иисус, позволь,  
Как битвы клич, как символ искупленья  
До самой смерти знаменем нести  
Твой крест сияющий — залогом воскресенья...

Ко всем нам м-ль Жанн была внимательна, я ее любила, как Киску, как Кошечку. А младшие сестры-египтянки, Астинá и Аглаэ, готовились к Первому Причастию. (У тринадцатилетней Ольги это торжество было позади.) Их вызывали на долгие беседы с мосье л'аббэ, они читали святые книги, они реже играли с нами, даже любившая еду и наряды веселая, заносчивая Астинá. Маруся долгим взглядом провожала свою подругу Аглаэ. Аглаэ ходила, опустив свои большие черные глаза, стараясь не впасть в искушение. К их чести скажу, что разговоров о белых платьях с длинными вуалями, как у невест, которые им шили, не было. Изумительное умение воспитать в детях религиозный дух (в детях-католиках) зажигало в наших сердцах даже мечту о мученичестве. Вскоре Марусе была разрешена исповедь у мосье л'аббэ и Причастие за ее религиозное рвение, хоть она и была «ортодокс» (православная).

## Глава 5

### ЗИМА В ЛОЗАННЕ. КАТОЛИЧЕСТВО. ПРИЕЗД КРИЧЕВСКОГО. МАРИ ОССОРНО

Близилось Рождество. С последней елки в Москве было два года. Казалось же — много лет... Из Москвы прибыли «гостинцы», как писал папа (слово в обиходе с мамой «не наше») — любимые пастила, мармелад и клюква в сахарной пудре — всего много, коробками. И большой круглый филипповский хлеб. Положив посылку в свой шкаф

и не трогая, мы предвкушали счастье угощать друг друга. Изредка к папиным письмам бывали приписки Андрюшиной рукой — *мелкий*, узкими буквами, очень косою почерком. Мы писали прямо. Он писал о гимназии, отметках, о катанье на коньках. Благодарил за наши открытки с видами. Но ни он, конечно, о нас, ни мы о нем — не скучали. Мы были очень разные, и близости меж нас не было. Но когда, редко, приходило письмо от Володи Миллера или его карточка — потолстевшего, в форме колледжа, — тогда вспыхивала тоска. По нему, по скалам, морю, по утраченному любимому детству. Кого мы вспоминали — это Лёру. Непонятно и нелепо, но легко могло нам казаться, что в *чем-то* (хотя она при нас давно не ходила в церковь и не говорила нам о Боге никогда) она могла нас, может быть, *лучше* понять сейчас, чем мама. *Мамины* письма мы *очень* любили, читали и перечитывали ревностно — но в ответах потом было — стеснение: о *главном* ей — не писалось: о Боге, о рае и аде, о жизни здесь — и там, о грехе — о том, чем были полны. Но когда однажды мама нам написала: «Владислав Александрович женился, у него очень хорошая, образованная жена, прекрасная музыкантша...», Маруся, чуть сузив глаза, мне: «Та, наверное! У которой руки к спине пришиты...», — «Противная!» — сказала я. Вскоре мама получила наш отклик. Маруся не дала мне прочесть, что писала, о Тигре — маме. Но я помню свои строки: «Мама, *почему* Тигр — женился? Мама, напиши, *почему*... Ведь он говорил, что он вольный орел, так как же?» Что могла ответить мама, помнившая свое *нет* Кобылянскому!..

Как год назад в Нерви столовая, так теперь гостиная наша была полна ворохов цветной, серебряной и золотой бумаги, и мы вечерами клеили елочные украшения. Тут же громоздились глубокие картонные коробки, полные прежних чудес, шелеста, шуршаний и блеска... Скоро, скоро — «Ноэль» — Рождество!

Стояла зима. Лежал снег, и улицы Лозанны были волшебны, как на картинках любимой Марусиной книги «Давид Копперфильд». Мы, на прогулках с м-ль Маргерит, останавливались перед витринами магазинов, игрушечных и, главным образом, писчебумажных, — смотрели на обрамленные

искрами морозных узоров предметы, могшие служить подарками друг другу (езде меж пансионеров был шепот, улыбки, тайны...). Но особенно помню магазин Макка — коробки сургуча всех цветов: серебряного, бронзового, золотистого, коробки всевозможной бумаги для писем с конвертами всех фасонов, цветов, с блеском, без блеска, тонких и толстых... Чернильницы в виде собак, лошадей, кошек, птиц, человечков... Альбомы — для стихов, для рисования, для открыток. Шкатулки — от деревянных до перламутровых и черепаховых, блестящих, резных, с выпуклыми альпийскими цветками, плюшевых... Разрезательные ножи, карандаши в причудливых футлярах и россыпь перочинных ножей (опять черепаха и перламутр, кость, металл, дерево). А книги! Прильнув к прилавку, как в Москве у Вольфа, жадно глотаем французские названия. «Les patins d'argent» («Серебряные коньки»), «En détresse» («Томление»), «La Maison du bon Dieu» («Божий дом»). (Голландия, кораблекрушения, море и хижина рыбаков — заветные, любимые детские фабулы...) В переплетах синих и голубых, темно-красных, зеленых с золотом... А снег вьется, как в России, хлещет, щеки горят, и везде — предпраздничная суэта у запущенных инеем витрин. Выходим, нагруженные пакетами, через вертящиеся двери с вертушкой, пропускающие по одному. Таких дверей в России мы не видели, это было ново и весело.

Наша пансионская елка стоит, убранная, в закрытой гостиной. Старшие, сюрпризом для нас, убрали ее и закрыли. Вечером будет гореть, и будут бенгальские свечи, обмен подарками, песни, торты, яблочное вино. Да, но до нее у нас есть дело: младшие понесут из дома елочку — убранную, блестящую — и угощение в бедную семью la concierge, вдовы-привратницы. Как забыть восторг ее сына и дочери при виде нас, вносящих нежданно в раскрытые двери — праздник?..

В один, кажется воскресный, день нас — Мусю и меня — вызвали вдруг в гостиную. «К вам пришел русский знакомый, — сказали нам, — из города, где лечится мама. Причешитесь скорее и идите — он вас ждет!..» Кто? С бьющимися сердцами мы сошли вниз по лестнице. В гостиной стоял — Кот-Мурлыка. Все тот же, высокий и плотный, с кудрявой голо-

вой, немного неловкий, с таким большим телом — и такой застенчивый, точно мальчик. Весело двинулся он нам навстречу — и остановился в недоумении. Он хотел что-то сказать и запнулся.

— Здравствуйте, — сказали мы вежливо и ступили к нему. Острая жалость пронзила нас. Такой добрый, приехал... Но не верит в Бога, смеется над... — он — враг.

— Вы очень изменились, — сказал Кот-Мурлыка, бережно пожав наши руки. — Выросли. Очень. И вообще...

Он рвался через какую-то преграду.

— Ну, как вы живете? Как учитесь? Ты как, Муся? Пишешь стихи? А музыка? И ты, Мышка, тоже играешь?

— Да. И я недавно получила «четыре», как Карла, и мы ходили в кондитерскую к Юрлиману. Когда «четыре», нам позволяют.

Мы отвечали, он спрашивал. Потом Маруся попросила его сесть. Он поблагодарил, не сел.

— Я ведь так, ненадолго... — смущенно говорил он. — Да, вы так изменились. Привыкли к своему пансиону?

— Да. Нам тут хорошо. А как Кошечка?

— Кошечка просила вас навестить. Она болела, теперь здорова.

— Передайте ей наш привет.

— Передам. А я тут ждал вас и думал: какие-то они стали? А вы вон. Это кто же? — спросил Кот-Мурлыка потерянно. — Святая? — Он стоял перед маленькой статуей Мадонны на полке.

— Это — Святая Дева, — ответила Маруся очень серьезно и, поясняя: — Мадонна.

— Аа-а! — протянул наш гость. — Вот вы какие... А я думал... — Ему было нечего сказать. Он стоял и смотрел на нас. И мы на него смотрели. Потерянно. Внутри — бушевало. Но этого нельзя было показать...

Он еще что-то спросил. Мы ответили. Потом он заторопился. Мы проводили его до дверей. Когда тяжелая дверь закрылась за ним и за нею раздался его уходящий шаг — Маруся резко отвернула лицо. («Плачет?» — подумала я.) «Подглядываешь?» Но я уже ревела, как в детстве, — на «и-и-и»... и вплетался в мой плач — «Кот-Мурлыка...»

Высокие своды. Узорчатые окна, и в них — или мне изменила память? — цветное стекло. Косые солнечные лучи падают на каменный пол, на стулья — и перед каждым — скамеечка для молящихся. На нее становятся на колени. От высоких дверей идут люди. Каждый, входя, окунает пальцы в каменный овальный сосуд со святой водой. Руки встречного касаешься пальцами, омытыми в ней. Впереди — белизна и позолота. В луче хрустального света, в широком луче утреннего солнца аббат воздевает руки кверху. Его серебряная широкая одежда кажется горячей. Молитва его — по-латыни. Мы следим по своей книжке объяснение каждого возгласа. А хор греет своды костела раскаленными звуками. Голоса мальчиков вырываются из темного органного золота серебряным звуком флейты. Взлетают под самый купол. И точно их отражение, воплощение, медленно, по проходу меж стульев, одна за другой, маленькие девушки в белых платьях и длинных белых вуалях. Край вуали Аглаэ вспыхнул в теплом луче незабываемым цветом. Они идут медленно, и мы *сочувствуем* восхищенно, какой в них трепет и страх... И *какое* счастье! Сейчас они примут Первое Причастие, обрчатся с Христом.

Слезы клубком подступают к горлу. Почти невозможно дышать...

Воскресенье. Почти уже вечер. Четырехчасовой чай отпит как надо — Маруся и я исполняем наш долг, вольно на себя взятый: мы пережидаем, когда *все*, даже Терезинет с ее грациозной улыбкой, самая тихая из всех, ученая, умница, выберет свои три пирожных, — она берет из оставшихся, никогда не бежит, не хватает, — и затем мы получаем наши шесть сухих, нелюбимых, почти что всегда миндальных. Жарко пышат угли в столбике чугунной печки. За стеклом качаются руки платана. Он весь белый. Сегодня Бланшет не ушла домой, она с нами. Ее мама лежит в больнице. Бланшет читает книгу. Я рисую костер, столб и привязанную фигуру. Это — я. Над костром — руки и слово: «Jesus! Jesus!»

Знаю, что многие *верующие* даже скажут о таком: «неестественно» (о ребенке). На это я отвечаю: если это естественно, то есть может быть понятно, у *взрослого* человека — что он

может презреть мирские радости, побарывать искушения своей взрослой плоти (а разве *они* не сильны?) ради веры в *будущую* жизнь, — почему это непонятно у маленького человека? Его отказ от радости, побарывание его искушений? Если до сердца дошла *вера* в вечность — трепет ее, этой вечности, страх греха в этой жизни равно доступен ребенку и взрослому. И я бы хотела теперь, в шестьдесят пять лет, не менее — пусть только хотя бы не менее — жарко бороться с грехами, чем я боролась в мои девять лет. Фарисейства не было. Его и теперь не приемлю. *А возраста перед Богом — нет.*

На Синьяль, где летом были лани, и лес, и ирисы у пруда, зимой был каток. Нас повезли туда всем пансионом. Многие умели кататься, скользили по льду, как вальсировали по паркету, в маленьких шапочках, с маленькими муфточками, в теплых кофточках, шитых в талию, и широких платьях. Маруся боролась со льдом и коньками отважно, хотя и без увлечения — все, что ее отрывало от книги, скорее *мешало* ей. Но я... я была в отчаянии: я падала и вновь падала, ноги меня не держали, это была — *мука*. Наконец я замерзла так, что от боли в руках и ногах заплакала громко, навзрыд. Чьи-то теплые ручки схватили меня, и невиданной красоты лицо, махнув по мне длинными локонами, заглянуло в мое. Это была на днях приехавшая шестилетняя американочка, Мэри (по-французски Мари) Оссорно, — о красоте ее говорил весь пансион. Она не понимала, о чем я плачу, хотела узнать. Она каталась с горки на санках, в меховой шубке и шапочке, раскрасневшаяся, веселая. Поняв, в чем дело, она жестом магната сняла с себя теплые варежки и протянула их мне. Убежденно и в то же время удивительно вежливо она натягивала их на мои замерзшие в тонких перчатках пальцы и таскала меня на гору к своим санкам, не замечая моих коньков. Мы отвязывали их и смеялись, на разных языках говоря что-то, и санки мчали нас под гору, — и это была одна из самых чудных дружб моей жизни... Маруся любовалась Мэри, была к ней очень внимательна...

Мать Мэри была красавица — так говорили. Я не видела этого: высокая, с точеным лицом, с сине-лиловыми глазами, вся — как фарфоровая, она вежливо и отдаленно улыбалась и не понимала французского языка. Но — Мэри! Россыпь куд-

рей, темно- и золотисто-каштановых! Личико — как из сна, из рамы... Мягкие, прямо в тебя глядящие, темные большие глаза с непередаваемым выражением ласки. И мы летим и летим — и вновь лезем и лезем, я — худенькая бледная русская девочка в союзе с иноземной неземной красотой!

Что я помню еще? Поездку всем пансионом в театр, потрясшую нас, — многие из младших плакали — пьесу «Le verger du Roi Louis» («Огород короля Людовика»). Я помню темные ложи, бледный свет, надменные кудри придворных, и короля, и каких-то людей, которых постигали несчастья, их доблести и благородство...

Что еще? Уроки рисования в столовой — в них смешивались маленькие и большие. Похвалу высокой милой учительницы. Лист бумаги и свой высунутый от усердия язык (кончик — как иногда у кошек). Привычка, от которой меня не отучила мама: «Ася! Язык...»

Уроки гимнастики, куда ездил пансион. Большой зал с темно-желтым паркетом, натертым чем-то, от чего пахло необычным, напоминавшим керосин. Ольга, Астинá, особенно подруга Маринина Аглаэ чудно делали гимнастику. Мы — не делали. Мама считала, что девочкам нужна особая и воздерживалась от общей. Я любила смотреть на синие матросские платья, слушать музыку, улавливать ритм. Несколько раз за жизнь я ловила вдруг, где-то, тот особенный запах керосином пахнущего паркета и тотчас же оказывалась — в двадцать, тридцать пять, шестьдесят лет — в той зале.

...Масленичный карнавал. Маски, писк за окном, хохот, веселящая толпа. И ночная молитва на коврикe с четками, которой кончалось все...

## Глава 6

### ИСПЫТАНИЕ. ВЕСНА 1904 ГОДА. ПРАЗДНИК НАРЦИССОВ. ШИЛЬОНСКИЙ ЗАМОК

Это случилось 1 апреля. Как это до нас дошло? От кого мы узнали? Прошло пятьдесят шесть лет. Не помню. Но это рухнуло на нас — как гора. Придавленные ею, в ужасе, в не-

понимании мечась перед жестокостью факта, что нельзя оправдаться, — мы, младшие, покрытые презрением старших и всех, кто еще вчера нас любил, — заливаясь слезами, не имея ни одного друга, были в совершенном отчаянии.

А случилось вот что: кто-то, без подписи, анонимно, прислал на 1 апреля нашим начальницам такое мерзкое по содержанию письмо, что нам его не изложили подробно. И в то же время нас обвинили в присылке его! Не рассказывая, нам сказали: вы знаете, что вы сделали. Не спрашивайте, не лицемерьте. Присланное вами письмо само говорит за себя. В день, когда во всем мире люди имеют обычай невинно подшучивать друг над другом, вы облили грязью своих начальниц, так вас любивших. И покрыли грязью самих себя... Все попытки наши узнать больше — терпели фиаско. На вопросы наши — не отвечалось. Нас стыдили и, называя бессовестными, заставляли молчать. Отчаянные, непонятные для получателей письма летели в Каир, в Москву, в Нерви...

И тогда нам пришло утешение, — откуда, казалось, не приходит оно к детям, — сверху. Оно пришло и свергло гору. Мы — кротко, но подняли головы. «Раз мы невинны, — решили мы, — и обвинение ошибочно, значит, это *испытание*, посланное Богом. И мы должны его вытерпеть со смирением». «Правда восторжествует, — сказал кто-то из нас, — и мы *будем* оправданы. Мы должны только терпеливо *дождаться* этого дня...» И, укрепляя себя и друг друга, мы старались не обвинять никого в несправедливости, утешать друг друга — и ждать...

Должна сказать, что во всей моей жизни я ни разу более не встретила подобного испытания, выпавшего бы на долю детей. Не помню такого *приятного* испытания — осмысленного терпения, без негодования и злобы (в то время как день наш с утра и до ночи шел в слезах). И это — в доме, где мы были так счастливы, во всеобщем доверии и любви...

Каждая наша попытка *узнать* приводила старших в неистовое негодование. В то самое негодование, против которого мы, невинные, боролись в себе. Выхода не было. И мы призывали помощь Божью — Девы Марии, Иисуса Христа и святых, звать которых нас научили те люди, что так несправедливо нас обвиняли.



Астинá? Ольга? Аглаэ? Или Маруся? — принесла нам несколько дней спустя добавление к сведению о письме? В письме были непотребные рисунки, например ночной горшок, и упоминалась комната м-ль Люсиль, и она сама, и, кажется, м-ль Маргерит, и мосье л'аббэ... И были стихи с насмешками над ними, ронявшие достоинство наших начальниц и пастыря. Мы плакали еще больше. Кажется ли мне, что Маруся, самая умная и отважная, решилась на разговор с м-ль Люсиль? Или ее вызвали к м-ль Люсиль? Каков был итог разговора? Был ли он? И как могли годы стереть из памяти все *фактическое* течение — двух, думается, не меньше, недель наших мучений? Оттого ли это, что мучение *превысило* все *фактическое*? Я помню одно: чувство непосильной тяжести, помню молитвы... Мне было девять лет. Марусе одиннадцать. Нашим подругам — одиннадцать, двенадцать, тринадцать. С нами не разговаривали. Нас отверщались. От нас, проходя, отвергивались. Казалось, не хватит слез. Ни сил учиться. Жить день, гулять в зазеленевшем саду... Мрак с утра и до ночи. Горе спаяло нас... Мы говорили друг другу, что дни наших напрасных страданий, эти дни избавят нас от части страданий Чистилища. И только эта вера, вера в то, что испытание послано нам *Богом* и что Бог не замедлит спасти нас, помогло нам нести нашу отверженность так стойко.

И Бог — не замедлил. Он снял с нас поношение так же внезапно, как оно пришло. Я не помню, *как* это случилось, *что* нас оправдало. Но день настал, и нам вдруг вернули утраченное доверие и сказали, что дело выяснилось, что виноваты не мы и что все счастливы снять с нас такое чудовищное подозрение, — и в слезах примирения и облегчения, еще более обильных, чем слезы отчаяния, к нам вернулась наша прежняя жизнь, любовь старших, радость дня, ласки, веселье — и наш, казалось утраченный, рай...

Сады распускались. Говорили о Fête des narcisses — Празднике нарциссов. Скоро Пасха! Мы снова играли в любимую Марусину игру — «aux barres», где два ряда наступали друг на друга, захватывали заветную черту, побеждали. Платан начинал шуметь ярко-зелеными, невероятной новизны листьями, еще росшими. На ветках — нижних, разлтых — си-

дела Мице, уча урок. Кончитта, как всегда, ссорилась с Ольгой или Астиной. Ей не передавалась религиозность — она была непосредственный, веселый дикарь. Сестра ее Карменсита, тихая и прекрасно учившаяся, смотрела на нее с укором. Я играла с Вайолетт, лиловоглазой англичаночкой с огромным бантом у виска; она не выносила Бланшет. «Elle est bê-ê-te!» («Она глу-у-па!»), — говорила Вайолетт, ухитряясь в эти несложные французские звуки вложить свое английское — мяукающее, мне казалось — надменное произношение. К нам поступила проходящей (как Бланшет и Вайолетт) двенадцатилетняя Валеска дэ Коппэ, полька. Светло-русая, с тяжелой гривой волос, полная, с неожиданными резкостями в манерах. В ее семье были и французы, она говорила неплохо. Часы ученья стали веселей. Забуривание столбцов древней истории и географии давалось легче. Марусе же ученье вообще не составляло труда. Она глотала книги, перечитала все тома «Éducation Maternelle» («Материнское воспитание») и другие книги на полках веранды. Переходила к Расину, Корнелю, Виктору Гюго. Вместе со старшими учила французскую литературу.

Я плохо помню Пасху в Лозанне. Что было там, где не было ни кремлевского звона, ни куличей? Торжественная месса. Свободные дни в гостинице, в саду, какая-нибудь (первая весенняя) прогулка, может быть в Синьяль, первый переход вокруг озера. Беседа с нами мосье л'аббэ о воскресении Христовом? Вспоминались ли нам московские пасхальные дни? Яйца со стеклышком в остром конце, куда глядеть? И там — светящееся воскресение Иисуса Христа. Колокольный звон, первая травка, Пасха, крашеные яйца?.. Пансионеры говорили о скорой — на Троицу — поездке в Vex les Bain (Бэ-ле-Бэн), в горы, на неделю каникул. Пахло розами. Скоро будет Праздник нарциссов, вся Лозанна будет в цветах... Через месяц мы ждали отъезда с папой и с мамой — нет, не в Россию — в Германию. Как жаль Лозанну!..

Я кончаю зубрить времена неправильных глаголов, — знаю почти все. Немецкий язык! Чужой, скучный... Чужой немецкий пансион... Мама пишет нам, что еле дожила год без нас — мы, может быть, уедем в Цюрих. Я иду в гости к Валеске, в шумную богатую семью. Они живут возле теннисной площадки, куда мы ходим и где с Марусей скучаем, — мы не иг-

раем в теннис. Из подвального этажа — запах жаркого и пар. Там — кухня. Я играю с Валеской, но — странно... Она приходит проститься.

— До свиданья, меня зовут ужинать!

«Вот так “в гости” позвали», — с насмешкой думаю я.

Национальный швейцарский праздник — «Fête des Bouchers» (Праздник мясников). Процессия в старинных нарядах, алебарды, бархат, позолота, музыка, знамена... Город разукрашен. Вся Лозанна на улицах. Мы, под открытым небом, смотрим театральное представление.

Неделю в Бэ-ле-Бэн я плохо помню. Высокие травы парка, комнатки горной гостиницы, походы в горы с щемящей — уже год почти! — памятью о Шамуні и Аржантьёре. Великолепная весна сырых долин и цветущих деревьев. И поездка в La grotte aux fées (Грот фей). Фонтаны у входа в пещеры, бой струй, пена, волны... Легенда о феях. И все это залитое струями бенгальских огней. Помню — синие-синие фонтаны, синяя река, синие своды пещер. Огромные букеты первых цветов, фуникулер...

Мы уже едем по Леманскому озеру — голубизна, глубина, блеск, солнце... Жемчужинками дома Монтрé, Территé...

Входим в Шильонский замок. Впереди — вода, как мамины голубые (синие) шары, стеклянные три и сверху — один. А у стен — зелень, мох, вонь воды... Мы всходим на откидной мостик, ведущий к замку через темно мерцающую вокруг деревянных столбов воду. Детство и юность входят во мрак, сырость и цвель истории. Под своды... Мы поворачиваем за угол скользкой каменной стены, мы трогаем ржавую цепь, впаянную в нее. Темница Бонивара. Цепь ржавая... Мы взглянули в стенное отверстие над водой. Вот тут бросали умерших узников в воду... По нашим живым телам — дрожь...

А водная синяя пучина горит и дальше, как в Нерви, — сплошной блеск. Она была такой и в тот час, когда, взрезая ее, вглубь, тяжело опускалось в нее тело, чтоб лечь — в тину? на камни... Навек. Как ток электричества проходит по всем нашим лицам — и губы всех сами собой шепчут молитву.

А где-то в Уші на берегу — подобие будущего синематографа, неподвижного: мы сидим, рядами, и смотрим сменяющиеся картины волшебного фонаря — «туманные картины»:

Наполеон обходит ночью посты. Он видит заснувшего часового. Он останавливается. Бедняк, ты пропал, солдат!.. Возле тебя, спящего, на посту стоит — Император! Сердца бьются, Маруся не отрывает глаз от своего кумира — он и мамин. Как тот гренадер, который и жену, и детей пускал нищими — лишь бы служить своему Императору в беде... Маруся и мама готовы умереть за Наполеона... «Туманная картина»: Наполеон, взяв из спящей руки ружье, стоит на ночном посту вместо своего солдата. И — от их кумира — к детскому, моему: мальчик на соломе у сапожника, Людовик XVII... Мать и отец обезглавлены, он — один...

Душа той весны — Праздник нарциссов: город, опьяневший от этого запаха, всенародное празднество, процессии, шествия... Кони в белой упряжи, дети в колясках причудливых форм, бой цветов, дети в коляске — огромном яйце, в коляске — цветочной вазе, в гнезде, в домике, в колеснице... Все в белом, среди гор нарциссов, в запахе их, столь сильном, что нигде, никогда более не повторяется за жизнь. Ему равен лишь запах у тарусской сирени в детстве — в жар и свежесть распахнутых окон нашего старого лесного гнезда...

Весь день длится этот неземной праздник. День превращений. Нарциссы поят душистым вином все улицы, окна, толпу.

И еще один день — в гостях у Мэри Оссорно, за городом. Ласки ее красавицы-матери, торт, угощенье... Мы рвем примулы на лугу: первые желтые цветочки. Из пенковых трубок пускаем мыльные пузыри.

Весна! Чудное личико Мэри, сказочные ее кудри... Как мы любим друг друга! До вечера еще — далеко... Как удивительно иметь такую мать, нежную, как фея, говорящую на *таком* непонятном, волшебном для меня языке...

Скоро, скоро придет наша мама — как год назад, когда я была у Бланшет! Мама, мама!

# Часть четвертая

## ГЕРМАНИЯ

### Глава 1

ЛАНГАККЕРН. НОВЫЕ ДРУЗЬЯ. «ЛИХТЕНШТЕЙН».  
СКАЗКА МАТЕРИ. МАРИНИНЫ ЛЮБИМЫЕ КНИГИ.  
ПЕЙЗАЖ ШВАРЦВАЛЬДА

Как и год назад, пансион Лаказ собирается в Альпы. Но мы уже не едем туда — наша жизнь, как перекатиполо, катится дальше. Папа — из России, мама — из Италии приехали за нами, и мы едем — едем вместе в леса Шварцвальда, незнакомые волшебные леса — сосны и ели, высокие, густые, как в книгах *Contes des fées, Märchen\** (а меж них — золотая мгла...).

Нас провожают, как столько раз провожали и *мы*учениц. Они вернутся в пансион, а мы... Последние пожелания, последние слезы, и поезд, стуча колесами, уносит нас из Лозанны.

Мама, папа... неужели опять вместе?

Фрайбург. Средневековые башни, крутые крыши домов, маленькие площади (круглые старинные булыжники, широкие плиты). Пласты солнца, покой, тишина, фонтаны, бассейны, купы деревьев, узкие улочки, как солнечные лучи между каменных стен. И везде уютные гостхаузы — большие цветные вывески, навесы с изображением названия: «*Gasthaus zum Raben*» (Ворон на вывеске), «*Gasthaus zum Storchen*» (Аист), «*Gasthaus zum Reh*»\*\* (Олень)...

Башня с мозаичным изображением св. Георгия на коне над драконом, дома, как в андерсеновских сказках, сады, черепичные крыши, развесистые старые деревья.

\* *Фр.* и *нем.* названия книг — «Сказки».

\*\* «Гостиница Ворона», «Гостиница Аиста», «Гостиница Оленья» (*нем.*).

Широкая ландшастрассе, обсаженная фруктовыми деревьями, медленно поворачивая, поднимается в гору, минуя чистые, нарядные деревни. На поворотах дороги — распятия. В синеве — облака. И коляска останавливается перед острокрышим домом в два этажа. Над входом скульптура — большой деревянный, старой позолоты, ангел. И надпись: «Gasthaus zum Engel»\*. Навстречу выходит хозяин, герр Мейер, плотный, круглолицый, с сияющим румяным лицом. На белой рубашке — подтяжки. Он ведет нас наверх, в предназначенные нам комнаты, — папа их выбрал вчера. Уютная деревянная лестница напоминает наш московский дом; спокойные, светлые комнаты. Все просто, добротно: кровати, столы, комоды. Через час, когда мама разложила вещи по местам, нам кажется, мы живем здесь уже год... Только ноздри еще ширятся от новых, чужих запахов деревянных стен, деревянных резных диванов. А кто поставил нам эти букеты?

— Мам, кто? — пристаю я. — Наверное, хозяйка, да?

— Там девочка, — говорит Маруся, — большая, с тяжелыми волосами, светлые глаза и большой лоб.

— Уже всё рассмотрели? — добродушно говорит папа.

Вирштубе\*\* — большая низкая комната (или гастштубе — Gaststube\*\*\*?), столы, лавки, стулья с высокими спинками и далеко выступающая кафельная, вся из разноцветных, блестящих, узорчатых кирпичиков, — печь. По стенам картонные листики со стихами — о гостях и хозяевах, о доброй кружке пива, о добром «Гастхауз цум Энгель», — как нравится, как все хорошо! Еще никогда нигде так хорошо не было! Точно это наш дом и мы тут когда-то жили, — и снова вернулись. Мы точно забыли, что это наш дом, а теперь вспомнили, да?

— Дети, о чем это вы? Муся, бери тарелку! — С большого подноса мама снимает все прелести шварцвальдской жизни: холодную курицу, яичницу-глазунью (папа любит ее со студенческих лет), картофельный салат, серый хлеб, масло и самое чудное — ауфшнитт. На блюде — тонкие ломти кол-

\* «Гостиница Ангела» (нем.).

\*\* Хозяйская комната (нем.).

\*\*\* Комната для гостей (нем.).

бас всех сортов, ветчины вареной, копченой. Но на другой день мама попросила хозяев, чтобы мы обедали и ужинали на воздухе, за столом под огромной липой.

Мариле, Карл. Дружба вспыхнула сразу. Карл все время с нами, и Мариле, как только не надо ей помогать матери, бежит к нам (и уже грусть, что неужели мы и с ними расстанемся?). Мариле с Марусю или чуть выше, плотная, с тяжелым, упрямым лбом, глаза серо-синие, пристальные. Лет ей двенадцать, она старше Маруси. Карлу десять, как мне. Светлоголовый, веселый. Маленький шварцвальдский бурш. Но в дружбе с этими детьми нет никакого озорства.

А вокруг — высокие холмы и долины, дороги, тропинки, заколдованные хвойные леса, склоны, цветущие кусты, лужайки. Вот Марусино царство, вот мое. Сколько их, вот так, по два, рассыпано по тем, никогда поздней не увиденным, окрестностям Лангаккерна! Какие же это были утра! Карл и Мариле помогают родителям по хозяйству, а мы убегаем вдвоем далеко от дома, мимо бурного потока Борербаха, заросшего, как в Пачёво в Тарусе, наклонившимися купами кустов, уже вырастающими в деревья, — дальше, вверх, вниз, туда, где в глубине высоких, темных сосен и елей, в густой золотой хвойной мгле от почти отвесных редких солнечных лучей живет лесная волшебница.

Марусино царство — под ветвями деревьев, над горстью тропинок — бегут врозь, вниз — к моему. У Маруси вереск и чуть наклоненное, как будто падает, дерево, и сверху ей видно — мое, а за моим — даль, потому что лес бежит по перевалу вниз и вбегает в заросль кустов, высокой травы. За старым дубом (а корни — как лапы) — все голубое, в тумане, и точно от солнца пыль по всей дали, там, где уже не видно ничего.

За Марусиным царством — лес, и входы в него как в пещеру. А над ним — перистые облака. Они тянутся медленно и так высоко, — это те самые, как в книге с иллюстрациями Гюстава Доре, где дантовский Рай. Их так много. И они так высоко...

И были царства в других местах, новые, вновь найденные, мы находили их как клады, упивались ими. Иногда менялись: ручей на замшелые пни (как вещами).

Мама чувствовала себя хорошо. Иногда мы выходили всей семьей на длинную лесную прогулку в самую глубь шварц-

вальдского леса. Опираясь о папину руку, идет мама, как годы назад в Тарусе, и папин голос мерно рассказывает ей о Музее, о том, как и кто помогает ему в труде его созидания, о своих планах, надеждах. Мы идем по их сторонам, слушая, нагибаясь иногда — за шишкой, за веткой, за палочкой, иногда бежим вперед и назад, им навстречу.

Птица кричит... А луна поднялась, встав над долиной желтым большим шаром, плывет темно меж сосен маленьким голубым, — она выплыла, и все стало голубым, светлым, а тени как черный бархат.

Но мы повернули и выходим на ландшастрассе, и уже видны крутые, с пристройками, крыши нашей милой гостиницы, и стоит на пороге герр Мейер, отец Карла, а под липой накрыт стол.

Вечерние чтения! Мама читает нам по-немецки «Лихтенштейн» Гауфа. Несчастный герцог Ульрих, река Неккар, бои, рыцарь Георг, Мария, образ девушки в узорчатом окне... Мама чудно читает! Мы не помним, что скоро ночь. И когда раздастся папин голос: «Дети, пора спать», — мы кидаемся к маме, прося защиты: *нельзя прервать сейчас, надо кончить главу...*

— *Morgen ist auch ein Tag...\** — ласково говорит фрау Мейер.

По воскресным дням к нам в горы приезжали и приходили из города гости — семьями, компаниями и по двое, по трое... Вся большая площадка перед домом до самой нашей липы, под которой мы часто обедаем-ужинаем, была уставлена столиками и стульями, и воскресенье гудело перед «Гостиницей Ангела» как улей. Празднично одетые веселые гости, толстые отцы семейств с не менее тучными женами, с цепочкой детей расцветали за вкусным столом, за пенистым пивом, за хрустящими, посыпанными солью кренделями; удалые бурши пели песни, а между них — приодетая фрау Мейер и, в лучшей рубашке, в подтяжках, краснощекий ее муж разносят подносы и кружки, и шаг в шаг за отцом, в воскресной одежде, десятилетний Карл несет то, что не смогли захватить отец с матерью.

В эти дни мы обедали в доме, а вечером раньше шли к себе, днем уходили на далекие прогулки. Как помню одну из них!

\* Завтра тоже будет день... (нем.)



Во Фрайбурге ли был папа или писал в Москву по музейным делам, мы пошли втроем — мама и мы. Дорога вела все глубже в лес, среди сосен и елей. Особенная хвойная тишина была кругом. Шагов было почти не слышно. И была золотистая мгла в полусумерках среди опустившихся — почти до земли — ветвей елок и затемнивших небо густыми кронами сосен, начинавших шуметь и качаться где-то высоко, под облаками. И был лучший, быть может, из земных запахов — запах смолы. И была *такая* тишина, какой не бывает на свете: она только в лесах Шварцвальда, где живет Вальдфрау\*.

И вдруг мама начала рассказывать нам сказку. Это было в первый раз. Сказок нам мама никогда не рассказывала. Увы, я помню теперь одну ее суть: мать и две дочери шли через темный глубокий лес. Навстречу им шел разбойник. Он сказал женщине: «Я тебя уведу с собой, а твоих дочерей — убью». Но мать, в отчаянии, так просила его о пощаде, что он смягчился. «Хорошо, я убью только одну, — сказал он, — но какую — ты сама выберешь!» Мать отказалась от выбора. Она предложила зажечь в придорожной часовне две свечи, назвав свечи именами дочерей, и какая раньше сгорит... (мама не договаривает).

Разбойник дал согласие. Зажженные свечи горели, но они горели совсем ровно и погасли в одну и ту же минуту. Это чудо так поразило разбойника, что он отпустил мать и ее дочерей и один ушел в леса и стал отшельником. Мама как-то особенно рассказывала эту странную сказку. Может быть, это была не сказка? Точно она рассказывала ее — о себе...

Мы не узнали истока. Теперь я думаю: не был ли тем разбойником Кобылянский? В 1903 году он напрасно ждал маму в Цюрихе для их новой, им воделенной жизни (экономически мать не зависела от отца). В назначенный день пришла телеграмма: «Забудьте меня, не могу разбить жизнь мужу». Может быть, Кобылянский предлагал маме взять одну из нас, а другую оставить отцу?

Мы шли, прижавшись к маме, по хвойной тропинке, и не было слышно шагов. Мы молчали. И почему-то мне вспомнился — Тигр... А веселые бурши будут бить сегодня об пол бокалы и петь свои студенческие песни!

\* Лесная Женщина, сказочный персонаж.

Перед сном, уйдя в наши верхние тихие комнаты, мы слушали «Лихтенштейна», книгу, шедшую по главам, как по лестнице, в глубь тайны, пока поздний час — луна в ветках окна и голос ночной птицы — не прерывали явью волшебное книжное счастье.

А внизу пели зашедшие поужинать студенты. До поздней ночи до нас доносились звуки их шумных песен. Звучал от туда папой нам давно, с детства, подаренный студенческий гимн времен его юности, латинский «Гаудеамус игитур». А каждое субботнее пиршество кончалось глухим ропотом разбиваемого об пол стекла. Но мы уже не слышали. Мы уже давно спали.

Наступил сенокос. Над лугами — густой, как в лесах, запах смолы, — так теперь парит в воздухе огромной птицей запах свежего сена. И в лугах, как в Тарусе, мягкие его горы, пружинящие под ногами, когда мы с Мариле, Карлом и Петерле взбираемся наверх, помогая его собирать, подавать, и пляшем, и падаем, и катимся вниз, и лезем, и дышим — и не надыхаться! А колется... Вокруг веселые, дружелюбные лица старших, никто не кричит на нас, не укоряет, знают: когда же веселиться, если не сейчас?

Как в раннем детстве Маруся вжилась в «Историю маленькой девочки» Сысоевой, как в Италии она страстно полюбила «Il Cuore» («Сердце») Д'Амичиса (повесть из жизни итальянских школьников), а в Лозанне полюбились ей книги Сельмы Лагерлеф, так теперь она вошла в чтение немецких книг с наслаждением жарким и поглощенным. Родными были Марине все иностранные языки, которых она касалась. Итальянский она читала не учась. Словесные корни латинские были ей — во всех их многообразных изменениях — родными, органически легкими.

Лежим и читаем. Марина — «Heidi» (о девочке в горной хижине), я — легенды Шварцвальда. Тень деревьев медленно переползает по нам, и мы ползем за ней, сросшиеся с землей и травой, как ящерицы, зеленоглазые, как они. Что это? Настораживаемся. Головы подняты: как псы нюхают, так мы слушаем воздух. Перерастая жужжание пчел, золотой пылью звенит — далеко и сверху — медленная мелодия. Это мама взяла гитару: «Не для меня придет весна-а, / Не для

меня-а... Буг разольется...» Книжки — закрыты. Наперегонки мчимся к ней.

Мама рассказала нам, как в Нерви с ней не раз бывало странное явление: забыв с вечера завести свои черные часики, она ночью, не зажигая света, переводила стрелки, и рука ее вдруг останавливалась. Наутро, проверяя часы, она видела, что они были безошибочно поставлены в темноте, — минута в минуту... Этот рассказ, как и воспоминание о тех двух московских снах, исполнившихся, — об утерянной и найденной брошке и об учителе игры на гитаре, заинтересовали приехавшего в Нерви старика-спирита, отца писателя Мережковского.

— Мы очень с ним подружились, — говорила мама, — он мне сказал, что я несомненно «медиум», — и мама пояснила нам это слово. — В мире много таинственного, дети, чего мы еще пока не можем научно объяснить, но наука, конечно, будет изучать эту область... А этот человек, отец Мережковского — очень умный, интересный, образованный...

Говорила она нам и о своей дружбе с Александром Егоровичем Миллером, отцом Володи. Мы слушали с увлечением и вниманием ее рассказы.

Не помню, в Лозанне ли, в свой второй приезд к нам, весной 1904 года, или уже в Лангаккерне мама рассказала нам о своем визите (помнится, в Париже) — к Кобылянскому.

— Я видела родившегося сына его, Казика, очень милого мальчика... И я сказала Владиславу Александровичу: «Ну что же, Казик подрастет, начнет ходить вокруг стола — придется углы его обрезать, чтобы он не ушибся, и будет у вас круглый стол! А лампу придется подвесить — чтобы он ее не опрокинул».

— Мама! — сказала Маруся. — Я помню: он всегда так смеялся над висячей лампой и круглым столом! Он это звал «мещанским»...

Мама улыбнулась в ответ:

— Да, дети, — смеяться легко, осуждать тоже нетрудно. Надо понять тех, над кем ты смеешься...

И мама стала рассказывать нам о том, как она, чтобы испытать себя в прохладном климате, недолго побыла в туберку-

лезном санатории в Leysin, где больные живут в горах, окруженные облаками, лечатся горным воздухом.

Часто, когда мы выходили на прогулку все вместе, мама спрашивала папу о Музее. Папа рассказывал, мы слушали.

— Папа, — спросила однажды Маруся, — а почему твой Музей называется «Александра Третьего»?

— По желанию одной из жертвователей. Она была при смерти, когда услышала тяжелый, гулкий похоронный звон. «Кто умер? — спросила она. — По ком это звонят?» Ей сказали, что скончался царь. «Так пусть в его память, — сказала умирающая, — наш Музей назовется его именем». А волю умирающих должно исполнять... Ее звали Варвара Андреевна Алексеева.

«Гастхауз цум Энгель» стоял выше деревень, и мы иногда спускались туда с родителями. Шварцвальдские дома — кирпичные, как белый гриб и подберезовик, с крутой, низко опускающейся крышей, такого же цвета галерея обходила стены дома. Они были похожи на разные игрушки, рассыпанные по бокам дорог и холмам, у перекрестков, где возвышалось распятие. Это была ожившая сказка Гримм! Удивительны были плодовые деревья с двух сторон ландшафте, плоды их не рвали дети прежде времени — по какой разумности? Или рвать их было — грех? На скамейках у домов сидели древние старики с длинными трубками и старухи с рукоделием или с грудными детьми на руках, все одеты по-шварцвальдски, как во Фрайбурге, мы видели на открытках.

Над ними плыли облака в синеве и после дождя опрокидывались, как в Тарусе над Окой, радуга видением цветного растопленного стекла. Вечером, когда начиналось предчувствие заката, из долин неслись перезвоны далеких церковок. Они были непреложны, как утро и вечер, это был мелодический голос тишины долинной и горной, и на этот зов с горных пастбищ сходили по одному, по два дети, гоня маленькое стадо коз или овец. С таким же тонким звоном привешенных к шее колокольчиков, какой слышался бубенчиками в русской дали. А затем падала ночь, гриммовская, звездная, шатром покрывая дома, холмы, шум сосновых и еловых морей.

По воскресеньям юноши и девушки в национальных нарядах пением и танцами радуют стариков. И через все это летит наше детство!..

Утра становились свежей, вечера — длиннее, пахло соломой, облетали листья. Мы убегали, хлеща прутьями с шелестящими листьями на кончиках теплый еще воздух. Перочинные ножи рынее вырезали в лесу палки, скоро — пансион...

Скоро отъезд! Долина. Мокро — после дождя. Низкое место — везде незабудки, влажный голубой ковер. Вдали ветряная мельница. Мимо нас проходит несколько человек сельских жителей. С ними — учительница, молодая, бледная, в красном платье. Она нам улыбается — и проходит, что-то говоря по-немецки спутникам, и ее легкое, как лепесток мака, платье, полая, погасает вдали. И навек ложится в память сердца этот неповторимый миг.

И вот воскресенье! В последний раз мы видим, как герр и фрау Мейер, ловко неся подносы, подают гостям пиво и кушанья, и жужжит перед домом звук веселых голосов обедающих фрайбуржцев — мы слышим его в *последний* раз! Сегодня не сияет лицо Карла, когда он несет за отцом тарелки, бутылки, в его глазах слезы от близящегося прощанья со мной. А сизые, как голубь, глаза Мариле глядят исподлобья, как туча. Вот она и Маруся мелькнули за домом.

В наших комнатах — пледы, ремни, чемоданы, и под отрывки бесед о войне на Востоке, о наших врагах — японцах я помогаю маме укладывать мелкие вещи и натягивать ремень туго, но так, чтобы не лопнул. Я очень люблю это делать, очень стараюсь.

...Слезы, рукопожатия, обещания приехать еще, писать, взмахи платков и наш путь на лошадях — позади. Мы во Фрайбурге. Мы проехали городские ворота Санкт-Мартине Тор. Крутая крыша ратуши, пласты солнца по тихим улицам и улочкам узким, как в Генуе. Маленькие площади, фонтан, порталы собора.

Мы в гостинице. Завтра папа поведет нас в пансион Бринк. Мама будет жить рядом с нами, в соседней улочке, папа уже нашел комнату по ее вкусу: высоко, мансарду, под крутой крышей, мама говорит — для легких так нужно. Под ее окном

река, старый мост. А пока мы сидим в ресторане гостиницы. День еще наш сегодня, еще целый день!

Скоро папа простится с нами, он едет в Москву, в наш дом в Трехпрудном... к нашему «колоссальному младшему брату» Музею.

## Глава 2

### ПАНСИОН БРИНК И МАМИНА КОМНАТКА

Ваальштрассе, цейн\*. Узкая улочка, в которой не помню садов (откуда взялась она, такая неприветливая, в солнечном старинном городке? Я думаю – пансион Бринк потушил в ней лучи солнца и заморозил сады). Большой тяжелый каменный дом. Так ясно я помню передние двери пансиона Лаказ в Лозанне, ласковые. Бульвар де Гранси, труа\*\*, веселые тени меж солнечных пластов его лепных украшений.

Что было на первом этаже? Классы. Здесь мы видели входящих учениц, счастливых, имевших дом и родных. Нам, пансионеркам, было запрещено дружить с ними. Наш шепот с ними был тайной. Старшие давили на нас, как потолок из свинца. Пансион Бринк был темница. Мечта была одна: на свободу!

На втором – жили начальницы. Где-то в тех этажах жила и экономка фрейлейн Келлер. В третьем – наши дортуары: две большие высокие комнаты. Обедать мы спускались вниз в длинную столовую с темными портьерами и тяжелым столом. Выше всего были классные комнаты старших – и самая мучительная из всех № 18. В нее входили после обеда и прогулки, должны были там находиться с четырех до семи и в совершенном молчании готовить уроки. Попробовав эту муку – окончив уроки в полчаса-час, сидеть два-два с половиной часа неподвижно (читать не разрешалось), – мы взмолились к маме, и она стала на эти часы брать нас к себе.

Мамина болезнь смягчила начальниц, и нас стали отпускать к ней.

\* Цейн (нем. *zehn*) – десять.

\*\* Труа (фр. *trois*) – три.

Фрейлейн Паулине Бринк, встретившая нас с папой и мамой в своем приемном кабинете, звавшемся «Das grüne Zimmer»\*, была тоже в зеленом платье; величественно она поднялась из глубин своей прудово-тинной зеленой комнаты — худая, высокая, с длинным дряблым лицом и глазами навывкате. Полуседые волосы, связанные на макушке пучком, делали ее еще выше.

Младшая сестра ее, фрейлейн Энни, ниже ее ростом, теряла также и в величавости (превратившейся у нее в кислосладкую улыбку и в такие же голубые глаза). «Фальшивая», — решили мы обе сразу — и пылко ее невзлюбили. К старшей же начальнице ненависти не получилось — она была до того вся насквозь такая, какой казалась — строгая, чинная, что ни для фальши в ней, ни для ненависти к ней не было места, и была на дне этой чинности доля старинной немецкой ласковости, которою она обняла мой молодой возраст, отметив, что я буду в ее пансионе самой младшей — но, надеется, — послушной девочкой. В улыбке младшей из сестер Маруся и я с первого взгляда почуяли опасности и беды. Перед сестрой своей фрейлейн Энни благоговела, и самостоятельной власти в пансионе у нее не было — это было передаточное звено; она все видела, все слышала и все доносила сестре. И была еще в пансионе экономка, фрейлейн Келлер — средних лет, русая, сероглазая, с полным лицом, миловидная и приветливая. В профиль она походила на горбоносую птицу. Но это была добрая птица. Она присутствовала за столом, вместе с фрейлейн Энни раздавала нам пищу. Это была именно «пища» — скудная количеством и богатая однообразием. Яркой стороной жизни пансионеров была постоянная мечта о еде.

Мы вставали в шесть с половиной часов, и вставание было фантастическое: тренированный на послушание даже во сне, слух пансионеров еще из далей и глубин коридора узнавал тоненький, жидкий, зловещий — еще без серебра — рокоток зажатого (в руке, спешащей будить нас) колокольчика. Как русалки с речного дна, подымались из белизны простыней полуспящие девичьи тени и, протирая очи, отводя спутавшиеся косы, спотыкаясь сонными ногами о складки

\* Зеленая комната (нем.).

коврика и обувь, встречали стоя фигуру в распахнутой двери, в поднятой руке которой теперь серебряно, рьяно, яростно гремел колокольчик. И уже он отгремел! Сунув ноги в ночные туфли, пансионерки теснились вокруг вошедшей, принимая из ее руки каждая по крошечному билету, на котором было напечатано слово «auf!» («встать!»). О, недаром просыпались и вставали так пансионерки! Недаром стоя встречали они колокольчик: в конце триместра те, что могли представить все, день за днем, билетики «auf!», получали в торжественном присутствии начальниц, воспитательниц и учениц — словесную похвалу за борьбу с ленью и цветную картинку на память — овечку с пастушком, девочек под зонтом, кошечку, собачку.

Мы же — Маруся и я... нервийский ли дух пробуждался в нас от этих колокольчиков, билетиков и картинок, или «русский дух», враждовавший с немецким, — только долго сперва и далее часто — не хватало в сонме русалок у двери — нас двух!

Холодноватыми озорными глазами, изменяя себе лозаннской, поглядывала Маруся на пансионерок, потягиваясь, распрямляя плечи богатыренка, откидывая назад густые, полуотросшие — могла уже их плести в косу — волосы. Я же, еще ластясь к подушке и одеялу, дразнила злополучную Гретхен Третчлер, соню и медленницу, путавшуюся испуганно ногами в длинной ночной рубашке — «опоздала!» — опоздала! А я и не тороплюсь! — и кувыркалась в постели, пока гневный окрик худой, смуглой, с шиньоном угольной черноты надзирательницы м-ль Мейс не заставлял меня встать. Где были Тигр, Герб, Кот-Мурлыка, Володя — порадоваться на нас. И как огорчились бы м-ль Люсиль, м-ль Маргерит, м-ль Жанн...

Мы тут никого не любили! Нам весь день было тошно. Мы только ждали того блаженного часа, когда мама брала нас к себе. Переглядываясь, без слов сообщая друг другу, что вспомнилось, мы умывались каждая в своем тазу на нашем двойном умывальнике, вытирали вокруг каждую каплю (даже за одну м-ль Мейс или мисс Кёсбет ставили нам «schlechte Note» — дурную отметку). Причесавшись гребнем, спеша, вычесывали всегда застревавший в головной щетке злополучный волос (за него тоже ставили «шлехте ноте») и по второму звонку (на одеванье, умывание, причесыва-



ные полагалось немислимо ничтожное количество минут) в шеренге двигались вниз, в столовую. Восемь минут, кажется, нам давалось на глотание кружки почти кипящего молока (без блюдец!) и сухой белой булочки. Затем начинались занятия. Обед был в час. За ним следовала прогулка. Чаще всего — на Шлоссберг (тот же путь каждый день!). Изредка — и как мы этого ждали! — на Лореттоберг! С четырех до семи — комната «нумероу ахтцейн»\* (от которой нас избавляла мама). В семь — ужин и проповедь фрейлейн Паулине (так и звалось — «Прейдихт»\*\*). В девять мы шли спать. Как было трудно молиться при всех в дортуаре! Еще и потому, что проповедь была в лютеранском духе.

Мама приступала к выполнению своего плана — постепенно привыкать к более холодному климату. Она сняла себе рядом с нами маленькую комнатку — на Мариенштрассе, цвай\*\*\* — мансарду с чердачным окошком высоко над рекой, протекающей через Фрайбург. Мамина комната, где мы провели с ней много блаженных часов, была длинная, с окошком в конце. Кровать, за ней столик, где при нас на спиртовке кипел русский чай; пианино, взятое напрокат; за ним диванчик. На нем спали мы по очереди, ночь с субботы на воскресенье — для двух нас сразу не было места. Тут мы ежедневно бывали у мамы. Мы готовили уроки быстро, остальное время наслаждаясь близостью мамы. И она — нашей. Мы были легкие дети в быту. Никаких споров, недоумений у нас с мамой не было. Кровная близость. Были любовь и счастье.

Мамина мансарда с окошком на зеленоватые струи реки, наши беседы о будущем, воспоминания о Нерви, Москве, Тарусе, Лозанне, Лангаккерне, вечернее чаепитие, мамина игра на пианино, сумерничанье на диванчике — втроем, как подруги (каждая из нас натягивала на себя конец клетчатой маминой шали), — какой контраст это был с Ваальштрассе, цейн, откуда мы вырывались на три часа и куда должны были вернуться! Неотвратимо, как бой часов на городской башне. Один вид дверей пансиона Бринк, тяжелых и темных, точно

\* Ахтцейн (нем. achtzein) — восемнадцать.

\*\* «Проповедь» (нем.).

\*\*\* Цвай (нем. zwei) — два.

люк в каменном корабле, поглощавших нас, как Харон — душу... Стиснутые в тоске зубы, озноб. Уже позвонили, сейчас откроется дверь!.. Еще раз повисали мы на миг на маме, впивая ее улыбку, унося ее ободряющие слова — «до завтра, кошки!», — и мы уже ползли по высокой, с поворотом, лестнице — вверх, вверх, вверх.

О пансионе Лаказ было даже нельзя рассказать подругам. Кто бы поверил нам — из бедных душ, изнывавших в строгой неволе!

Не опоздали! Стрекоchet колокольчик — к ужину! Еле поспеваем вымыть руки — и парами в шеренгу, вниз по лестницам. Белым мертвенным светом горят в высоте газовые колпачки. Мы их ненавидим. В сердце — память о добрых керосиновых (как в Москве) лампах с абажурами пансиона Лаказ. Они цвели как цветы.

Рассаживаемся за длинный стол. Его возглавляет фрейлейн Паулине. Фрейлейн Энни и фрейлейн Келлер, экономка, — меж нас, посередине. На тарелке с узором каждой положен тончайший кусочек мяса. Если это копченая ветчина — она темно-розовая и прозрачная — через нее виден рисунок тарелки. Толстые кучки гарнира. И — самое страшное — тугие жилы у каждого кусочка мяса. Они должны быть проглочены — их надо разгрызть зубами, и, как хочешь, протолкнуть через горло! На тарелке имеет право остаться только кость... Иногда вместо мяса нам дают картофельный салат или бобы. На третье, как всегда, полукисель-полупюре из кислого ревеня без сахара — отвратительное кушанье. (Вечером — радость, что его сейчас не дадут.) Доедаем. Всем — мало. Куском серого хлеба старшие и Маруся стараются заткнуть пустоту в животе. Но уже собирают тарелки, сметают со стола крошки, и фрейлейн Паулине начинает читать вслух «Путешествие Свена Гедина». А я начинаю дремать...

Почему так отчетливо помнится мне большинство из подруг лозаннских — и глухо ушли в тьму беспомыслия многие, жившие с нами на Ваальштрассе, цейн? Из старших я помню одну Дору Хакевинкель — девушку в сером платье с огромным лбом и глазами Бетховена. С ней, семнадцатилетней, близко сошлась двенадцатилетняя Маруся. Дору любил и уважал весь пансион. Сама фрейлейн Паулине! Дора была вспыльчива, но, должно быть, по справедливому

поводам, и старшие бывали к ней тогда снисходительны и любовно говорили ей: «*Gemus Dora! Mach doch nicht wieder dein Beethovengesicht...*»\*

Маруся училась одновременно в двух классах: по некоторым предметам в четвертом, по другим — в седьмом. И подруги седьмого приняли ее как равную. С ними она училась и английскому у мисс Кёсбет — нашей сменной (они с м-ль Мейс через день менялись) воспитательницей.

В румынке Арети было что-то глубокое, необычно печальное. Какая-то она была — неудачница? Как и Гретхен Вассер, — но Гретхен, немка, на родном своем языке беспокойно и много болтала, захлебывалась, плевалась при разговоре. И вся была неопрятная — руки и кудряшки на лбу, вечно плакала, вечно ей попадало, и была она надоедая. Арети — в ее опущенном носе, в худом, смуглом лице, в жгучей, иных стран, синеватой косе, в медленной, неумелой речи — что-то было печальное — судящее всех нас и этот пансион, эту клетку — ей непонятную...

Из Марусиных подруг по четвертому классу помню одну — с ней она больше всего дружила: дочь пансионского доктора Лётхен Лохерер, — вижу рядом с Марининой головой круглое личико, яркие глаза, заложенные уже по-взрослому светлые косы, выражение решимости и веселья. Была она очень способна, по учению числилась среди первых.

Классы (четвертый и седьмой) Маруси были наверху. Мой (третий) — в первом этаже, — маленькая, светлая, веселая комнатка. Парты в три ряда. На наших уроках я забываю пансион Бринк: тут царствует фрейлейн Реут, маленькая, худенькая, ласковая. И хотя правила поведения строгие, но оттого, что все любят учительницу и она — нас, и оттого, что девочки (все, кроме меня) приходящие, живут в семьях и на свободе, — я отдыхаю среди них от сурового дня пансиона, люблю их. Эрику Зинауер — круглолицую, с кудрявой темной головкой, некрасивую, со вздернутым носиком, веселую. Ее соседку Лени Бургер, прилежную, тихую, с косами цвета льна, синеглазую. Застенчивую, легко краснеющую Ильзу Фаулер, с такой же темно-русой косой; Иренхен Шольц, веселую, красивую и подвижную;

\* «Дора! Не делай же снова твое бетховенское лицо...» (нем.)

первую ученицу, примерную Хульду Кранф, полнолицую, русую, светлоглазую, сидящую так неподвижно, что все любят ее. Всем им по восемь лет (в первый класс они пошли в шесть); только мне — десять. Но я без труда начинаю понимать все предметы по-немецки — арифметику, чтение, географию (мы проходим родной их город Фрайбург, его историю, легенды, с ним связанные). Трудней мне дается чистписание; Ильза и Хульда так чудно пишут, что мне далеко до них! Географию и рисование у нас ведет другая учительница, фрейлейн Грейфле — черноволосая, веселая, резкая, насмешливая. У нее нос горбом, как у птицы, и она, как мне кажется, меня преследует — но она делает это как-то особенно: не дает мне покою, поддразнивает, всегда на меня смотрит — и я влюбляюсь (?) в нее; на ее уроках волнуюсь, очень стараюсь, от ее взгляда отвожу глаза. На коротких переменах мы, ученицы, ходим по коридорчику, но помня, что по уставу пансиона, я, тут живущая, не должна дружить с проходящими, только шепотом переговариваюсь с Эрикой или Лени, — отвечаю на их вопросы о пансионе, о том, где мои папа и мама, и о том, какая Москва. Они совсем, совсем не знают о России, они думали, что русские — дикари... Но звонок — и мы сидим как маленькие изваяния, на вопрос учительницы подымая руку только до локтя, не вертимся, не шепчемся и смотрим в лицо фрейлейн Реут. Когда кто-нибудь провинится — повернется или уронит резинку, или сделает — о ужас! — кляксу, виноватая стоит, втянув голову в плечи, опустив глаза, красная, и никто над ней не смеется, все жалеют ее. Никакого сходства с классом в русской гимназии не было в немецкой школе. Само понятие озорства было тут немыслимо. Когда раздается звонок к концу классов — я с тоской прощаюсь с подругами, среди которых я — старшая, и плетусь вверх по лестнице назад в свое заточение, в котором я — младшая. Равнодушная к нам, м-ль Мейс торопит нас мыть руки, и парами, переглядываясь, перешептываясь (разговаривать — запрещено), мы длинной змеей ползем вниз, в столовую. На обед нам дается так мало времени — весь день наш разбит на минуты, — что мы отдыхаем, только когда еда немного запаздывает. Есть же надо так быстро, что почти обжигаяешься супом — и уже

замирает сердце от предчувствия твердых жил в кусочке тонкого мяса; иногда жила толще его намного и, жуя ее, давишься от спешки, от отвращения — сразу. И уже вползают на стол длинные блюда с полужидким тертым ревенем, он не кислый и не сладкий — ровно на противной середине. Все уже кончили, я одна доглатываю под укоряющим взглядом фрейлейн Энни. В скошенных на меня подсмеивающихся глазах Маруси — озорной огонек. Ее сочувствие подбадривает. А Гретхен опять вся вымазалась в ревенем, ее стыдят, она плачет. Но вот поднялась у конца стола фрейлейн Паулине, взглянув на часы, — и все встают, каждая ставя на место свой стул. Сейчас будет — Шлоссберг.

Почему нас столько раз в месяц водили на все ту же гору, превращая прогулку в подобие пытки? Вероятно, по недостатку воображения. Каким волшебством представлялись теперь прогулки в пансионе Лаказ, каждый день в новое место, с всегда неожиданной вестью, что едем *tour du lac* на пароходе. Какие мы там были счастливые!.. Мимо закрытых калиток немецких садиков и дворов мы шли строго парами, в молчании. Крутые черепичные или железные крыши напоминали Лозанну.

...Осенние цветы пахли так же влекуще и нежно, пласты солнца светло горели на уютных маленьких площадях. Старинные дома из сказок Андерсена! Но строгий голос м-ль Мейс и быстрый шаг не давали полюбоваться. Подъем на Шлоссберг был крут, в дождь — тяжел. Мы шли, осужденные на прогулку, — только проливной дождь мог от нее спасти. Лишь на миг розовел и сверкал в закате внизу город, пылая шпилями и окнами собора, отражавшими солнце, — и уже надо было обходить верх Шлоссберга и готовиться идти вниз. Но мы, Маруся и я, переглядывались: скоро к маме! Девочки, видя наши радостные лица, сочувствовали и завидовали нам.

«Шлехте нотен», дурных отметок, было несколько, они разнились по начальным буквам слов. «О» получали за нарушение порядка, «В» — за погрешность в *Betragen* (поведении). Может быть, были еще и другие, но частота и ядовитость этих двух затемняют в памяти остальное. И были они

еще разные по величине: было маленькое «о» и большое «О». Кусало злой мухой «b» — «бэй» маленькое; осой, или даже змеей, — большое «бэй», «В» зловещее и страшное, о нем шептались испуганно самые старшие. Даже Дора Хакевинкель уже не в шутку сделала бы «лицо Бетховена», услыша о «Grosses B»\*. За него вызывали в зеленую комнату к Vorsteherin\*\*, — а за три больших «бэй» — исключали из пансиона.

Одежали нас «шлехте нотами» непременно м-ль Мейс и мисс Кёсбет, и, сказав провинившейся, что она получила дурную отметку, и какую, они записывали ее в тетрадку. О них в определенные сроки письменно сообщалось родным. Тут тоже мама была нашим добрым гением: принимая их всерьез лишь наполовину, она облегчала нам их получение. Мы рассказывали маме все: о маленьком «о», полученном за каплю воды возле умывального таза, за волос в головной щетке, за нетуго натянутую вокруг тюфяка простыню (ее надо было натянуть без единой сборки, ровной, до блеска ее, как барабан, натянутой середины). Маленькое «b» появлялось мгновенно, как только играющая на пианино вздумывала откинуть голову с намерением заглянуть в окно, или вместо законно поднятой от локтя руки (в ответ на вопрос учительницы на уроке), забывшись, мотнула бы рукой, или шепнула одно слово соседке, или не сразу послушала очередного приказа (мисс Кёсбет была к нам милостивее). В этой сети дурных отметок мы жили как под тучей комаров — но от них было нельзя отмахнуться!

Поразительное несходство жизни французского католического пансиона Лаказ и немецкого лютеранского Бринк изменило наше поведение. Тут, где не взывали к нашей совести, а механизировали «добро» и «зло» под жужжанье дурных отметок, — мы сразу же остыли к борьбе со злом, сдались на маленькие грехи с озорным и насмешливым равнодушием. И зоркий глаз фрейлейн Паулине, шепоты и подслушивания фрейлейн Энни почтили недобрым вниманием так отличавшуюся в ученье Марусю.

\* «Большое Б» (нем.).

\*\* Начальнице (нем.).

Глава 3  
ОСЕНЬ 1904 ГОДА С МАМОЙ ВО ФРАЙБУРГЕ

Суббота! Счастливейший, упоительный день! Увы, одна из нас вечером возвращается в пансион. Уж с утра живешь как в чаду: все кажется нереальным, все неважно, все улетает, — все погаснет в час, когда ты, ты, Маруся (как неделю назад Ася), уйдешь с мамой не до ночи, а на вечер, на ночь и на весь завтрашний, сияющий день воскресенья! Ну, конечно, немного жаль — ее, ту, которая остается на ночь и утро в пансионе (от щедрости счастья даже очень ее жаль...), — но ведь она была с мамой в ту субботу, она тогда ликовала, она засматривалась вперед в то завтра, и она могла жалеть тебя (а может быть, и не жалела? Она даже бросила самодовольный взгляд на тебя, оскорбив твои сборы в тюрьму своим неуместным весельем!...). В сущности, и жалеть ее, может быть, вовсе не надо? Она ведь и в будущую субботу пойдет к маме и останется там на диванчике! И в прошлую, и в будущую, два раза! А твой — только сегодняшний день... Марусин торжествующий взгляд холодновато останавливался на мне — и в тот же миг куда-то рушилось все торжество счастья, — несчастно, как черный тарусский пес Челкаш, глядело лицо уходившей...

Жарче пылает синий огонь спиртовки, темным золотом горят *стаканы* с московским чаем, папой присланные (нам и маме по целой посылке с караваем филипповского черного хлеба — пастила, мармелад, клюква в сахаре, грушевые карамели). И чтобы напомнить Лозанну, мама дает нам сдобные хлебцы с изюмом и по большому марципановому прянику... Еще есть время, не плачь же, уходящая, впереди еще целый час, больше часа, почти два часа еще! Еще будем читать вслух, — ну, что, что будем читать? Детские рассказы Телешева и Чирикова? В издании «Донской речи»... Или Марусин «Родник», выписанный ей папой (Асе — «Детское чтение», чтоб не забывала русский язык). А может, легенды Шварцвальда? Мама, мама — о героине Вильгельме Телле и о тиране Гесслере! И уже блестят глаза, слезы высохли — впереди еще полтора часа нашего «вместе»!

По лесенке — шаги. Это хозяйка несет маме письмо. Знакомые — как славянская вязь — буквы, всё — отдельно...

От папы! «Мам, мам, читай! Что папа пишет? Васька жив?» И пока мама, с улыбкой махнув мне рукой, читает письмо (а Маруся уже провалилась в книгу о Вильгельме Телле), я на диванчике, крепко прижавшись к маме, отгоняя призрак пансиона, предвкушая теплоту московских вестей, погружаю зубы в сдобную булку с изюмом, как кот зажмурил глаза.

На час продвинулась на часах стрелка, уже нет времени: по оба бока от мамы, в маленькой мансарде — как в московском папином кабинете — мы идем, незримо, за маминым голосом по далеким временам Швейцарии, в кантоне Ури, жестойкий тиран Гесслер, народный герой Вильгельм Телль, борющийся за народ. (Он как Тигр, да? Как Кобылянский? — хочу, но не смею прервать я.) Молчит и Маруся, нас нет, есть только мамин голос, есть только они — там, меж швейцарских гор. И когда настает час мне идти — я, на мамин зов, одеваюсь почти машинально. Я еще не понимаю: пансион! Я — в Ури...

...И вот прошел ужин в пансионе, и беседа с нами фрейлейн Паулине, и чтение о Свене Гедине, под которое я, как всегда, в десятом часу, в каких-то льдинах Северо-Ледовитого океана, засыпаю — и просыпаюсь, с кем-то под руку шагая вверх по лестнице в дортуар; прошла и ночь — рядом с пустой кроватью Маруси, — прошли вставанье под колокольчик и горячее молоко, и вот заповедный звонок: за мной мама с Марусей!

Утро. Улицы. Воля! Широкое солнце по старым каменным плитам, крутокрышие домики, площадь — как колодец меж домов. Порталы собора. Втроем входим на горбатый мост над узкой зеленоватой рекой. По бокам моста — каменные рыцари.

— В Италии, дети, есть мост — крутой, полукруглый, Понте Веккио. Когда-нибудь будете там — может быть — уж без меня... Вчера у меня опять что-то поднялась температура!

— Ну что ты, мама, — в один голос мы, — пройдет!

Я, вспомнив:

— А в пансион сегодня придет Die blinde Mathilde\*. Совсем слепая, ей будут писать письма к родным... Дора ей пишет.

Мама слушает нас, задумчиво улыбаясь.

\* Слепая Матильда (нем.).



— Ваша Дора, верно, хорошая девушка. И вы всегда, дети, помогайте больным и бедным!..

Мы на миг вдруг все три останавливаемся возле каменного рыцаря и смотрим, как молча бегут по водной бездне струи... И в тихом их шуме звучит мамин голос:

...Где судьба бы вам жить ни велела,  
В шумном свете иль в сельской тиши,  
Расточайте без счета и смело  
Все сокровища вашей души!

— Мам, я уже все четверостишия помню, — говорит Маруся.

Мы идем по старинному, золотому от солнца городу. А на башенных часах стрелка подходит к полудню, и начинается гулкий, торжественный, медленный бой старых, как мир, часов...

— И вот, дети, у входа на такой же, как этот, мост в Италии Данте увидел идущую с подругами Беатриче. Он знал ее с детских лет и любил, но она казалась ему не живой женщиной, а видением — так высока была его любовь. Он стоял как будто каменный, как вот этот рыцарь, а она проходила, и платья подруг оведали ее, как будто ей поклонялись, — она была прекрасней и строже всех, — и все волнение Данте художник изобразил движением руки — к сердцу, никем в тот миг не замеченным. Я не знаю, дети, так ли на той картине, но так должно было быть у того моста в тот миг! А когда-нибудь, — продолжает она, осветив своих дочерей взглядом, — вы вот этот миг вспомните, как вспоминаем с вами осень в Тарусе и московские зимы. А жизнь будет лететь, все будет проходить и кончаться, и кто-нибудь другой будет сидеть у рояля, — меня уж не будет с вами...

— Ну что ты, мама, — будешь, будешь! — сливая два голоса в один, слово в слово, тон в тон, отчаянно говорим мы.

А таинственная птица-жизнь летит своей вещей дорогой, часы пробили раз, два, и уже три, и четыре, осеннее солнце наклоняет над германским городом краснеющие лучи — и в их золоте корешки книг, раскрытая клавиатура и переплет мансардного окошка.

— Дети, — говорит мама, накладывая нам на блюдечки варенья, его капельки как мамин рубин в кольце, — скоро во Фрайбург приедет со своей труппой великий трагик Эрнст Поссарт, он играет «Короля Лира» — я вам рассказывала его, помните?

— Корделия, — сразу отзывается Маруся, — была любимая.

— А Регана жадная, да? Мам, ее звали Регана? — перебиваю я.

— А шут ходил всюду за королем, — не слушая, продолжает Маруся, — и ночью — в степи, когда разразилась гроза...

— И вот, дети, говорят, Эрнст Поссарт, приезжая в город, пополняет свой хор голосами живущих в этом городе. Если они ему подойдут. И мне говорили...

Но уже продолжает Маруся:

— Подойдет, подойдет непременно... Мам, и ты будешь петь в его хоре! Ведь такой низкий женский голос, как твой, — редкий, помнишь, в Лозанне тебе сказали...

— Даже боюсь мечтать об этом, — говорит мама, — не будем! Садитесь пить чай, дети, с обеда прошло много времени.

— Бедная фрейлейн Паулине, — вздыхаю я, заглядывая бутерброд, — она, наверное, никогда не ела таких вещей — всё только картофельный салат и ревень и еще *Sanerkrant!*\*

— Без *Würstchen*\*\* — с юмором добавляет Маруся.

А мама перебирает книги — нам читать вслух.

— По-русски почитаем сегодня, а то вы совсем немками станете. Ася уже столько ошибок в письме к папе сделала, — в словах ошибки!

— Как из Лозанны, помнишь, мама, она написала папе: «Папа, кто победит: «Япон» или мы?»

— Потому что *Le Japon*\*\*\* по-французски, — уже слезно кривлю губы я, но мама зовет усаживаться на диван — от дня остался один его вечер...

— Но еще мне, Муся, сыграешь то, из Бетховена, что тебе задали, — я хочу прослушать, как ты это играешь.

— А ты еще обещала сыграть на гитаре, мам, обещала! Мам, скажи, что еще есть время, что и гитару мы успеем... — умоляю я.

— Если успеем!

\* Кислая капуста (нем.).

\*\* Сосиски (нем.).

\*\*\* Япония (фр.).

— Нет, нет, мама, без «если»! — в один голос кричим мы — и уже сидим на диване, приготовив, как в Москве, место маме — подушку за спину, шаль, — слушать.

— Мам, а когда мы поедem на кладбище?

— Вы такие жадные на все, так всегда боретесь со временем, так все хотите в него вместить — что-то даст вам впереди жизнь? — задумчиво говорит мама и раскрывает толстый русский том.

Мы слушаем, а время летит, стрелки на башенных часах перешли через половину циферблата, уже давно смолк над городом последний удар семи, уж коротко канул в вечер одинокий звук половины — и прощально скрипят ступени маминой лестницы под нашими спускающимися, спешащими и все-таки медлящими шагами. Улыбка слащавого лица хозяйки, покровительственные слова лжепонимания, от которого мы — Маруся особенно — сжимаемся, как под ударом, — и молчащий фрайбургский вечер встречает нас трех настоящим сочувствием. В небе — луна.

Час-полтора спустя чувствую, как голова опускается сама собою на стол, вокруг которого сидят после ужина пансионеры, глядя в лицо фрейлейн Бринк.

Голос начальницы: «Помните, дети, этот день *никогда* не вернется, — на слогах *приседает* голос, — но завтрашний день придет снова, чтоб мы исполнили свой долг, цenia каждую минуту наставшего дня. Помните, что никогда уже...» «Как могут они слушать это», — думаю я. Я уже почти сплю.

Осень. Последние листья летят с ветвей немецкого кладбища. Медленно бредем, мама, Маруся и я, по дорожкам, глядя на памятники, то здесь, то там свежие холмики земли. Как в Москве, несутся издалека звуки железнодорожных гудков — протяжно, жалобно, зовуще. Милое мамино лицо под полями темной фетровой шапочки улыбается нам тою ее особенной жалостливою улыбкой, от которой с детства щемит сердце.

— Помните, дети, — говорит она, — никогда не будьте жадными, не жалейте ничего другим. Кто знает, с кем встретитесь, чье влияние на вас будет... И если я умру и вы будете жить без меня, продолжайте помогать деньгами, которые вам от меня останутся, — это честный дедушкин труд, его сбе-

реженья; вы же знаете, как он начал жизнь без рубля в кармане. Не оставляйте и Марию Васильевну, которая помогала мне при вашем рождении, и больную мою подругу Тонию, у которой двое деток и муж-художник мало получает, и старушку, сводную сестру дедушки, Марию Степановну Камкову — она, после потерянного богатства мужа, живет в бедности.

— И той больной твоей знакомой Марии Митрофановне, — вторит Маруся, — да, мам? У нее чахотка...

— И она на костылях ходит, да, мам? — не отстаю я. — На костылях, да?

— Не жалейте ничего... — медленно, настойчиво повторяет мама.

Ветер шелестит замерзшими льдинками на ветвях, кружит пестрые листья, как на тарусском погосте. Мы поворачиваем по боковой дорожке и останавливаемся: одна, как другая, двадцать две могилы, ряд к ряду — одинаковые кресты, могилы-сестры тихо шуршат обледенелыми травинками. Столько одинаковых! Мама ступает к ним, наклоняется, читает.

— Дети, это все сестры милосердия, погибшие во время эпидемии, — говорит она дрогнувшим голосом, — молодые...

Она хочет еще что-то сказать, но ее дыхание перехватывает, и мы молча стоим как одна — все три, не можем идти дальше, не можем говорить. Стоим — и ветер летит, леденя, — и вдруг Маруся и я поворачиваемся друг к другу: «Рёвер!» — понимаем мы без слов. Кто-то из нас очнулся первым. Мама пересчитывает могилы сестер: двадцать две...

Мы идем, и оборачиваемся, и стоим снова и смотрим — прощаемся. Ведь мы никогда более тут не будем? и они навсегда — одни... Но маму за сердце что-то схватывает еще больше:

— А когда-нибудь вы так будете уходить с моей могилы... — говорит она едва слышно, в ветер. Но мы угадали слова.

— Нет, нет, не будем! — кричим мы вместе. — Ты будешь жить!..

И вдруг жизнь оборачивает к нам свое ликующее, плающее лицо — здесь, у ворот смерти. (Мы стоим у выхода с кладбища, перед нами даль улицы, с золотыми вершинами деревьев!)

— Дети, — говорит мама, и ее карие глаза горят под дугами высоких бровей, — Эрнст Поссарт приехали будет завтра слу-

шать голоса. И мне сказали, что ему нужен низкий женский голос, как мой! А вчера я слушала лекцию профессора — я записана вольнослушательницей, он проверял наши работы и похвалил мои записи и рисунки по анатомии. Если бы вы знали, дети, как интересна медицина, какие в ней предстоят открытия. — И в который раз мама упоминает имя доктора, обещавшего в самые ближайшие годы средство, излечивающее туберкулез.

— И тогда, мам, тебе не надо будет делать себе комнату из мансарды в Москве, да? И ты будешь нам читать вслух...

— А детскую я вам разделю, когда подрастете, занавеской, у каждой будет свой письменный столик, и книжный шкаф, и стеклянный шкафчик для безделушек, вы их не забыли? Все драгоценности вашего детства...

— А мы проходим, как устроен шварцвальдский дом, — увлеченно говорю я, — он немного похож на шалэ, но больше — и крыша круче и ниже, — под ней, под краем ее, можно ходить, когда дождь, и вокруг всего дома идет галерея — как длинный балкон. А печь, мам, огромная, и вся — из картинок.

— Изразцы, — вставляет Маруся, — на них изображены герои легенд — помнишь, мам, мы целую легенду видели на одной печке в Лангаккерне, когда ходили гулять в ту деревню...

— Да... — говорит мама, будто не слышит, — учитесь, дети, языкам, много и хорошо их знать — это большое богатство... Я рада, что Маруся учит английский и что немного помнит итальянский. Мне хочется начать испанский, если найду время в своем дне, между музыкой и медициной. Надо найти... Ведь живопись я сейчас совсем забросила...

## Глава 4

### ЗИМА 1904—1905 ГОДА. ВЕСТИ ИЗ РОССИИ

В пансион Бринк приехали новые пансионерки! Да еще нашего возраста! Сестры Бенц — Эрика и Беатрис (но я долго, не понимая имени, «Бертрис»). Они — дочери владельца автомобильной фирмы «Бенц», но так просто одеты, так скромны, что мы обе сразу к ним дружелюбны.

Лозаннские подружки – египтянки Ольгá и Астинá, богачки, все ж немного важничали. Аглаэ была такая пламенная католичка, что уже в одиннадцать лет презирала богатство. Эрика, старшая. Худенькая, носит две косы, не шалит. Она в возрасте Аглаэ. Младшая, Беатрис, лет девяти-десяти, круглолицая, веселая, шалунья. Но режим пансиона вскоре кладет и на нее тень. Как шалить, когда за тобой идут «шлехте ноутен»? Девочек Бенц поселяют в соседней с нашей спальне, со взрослыми. Нам от них веселей, но настоящей дружбы у нас с ними нет.

В классе, утрами, я все теснее сдружаюсь с Эрикой Зинауер и Лени Бургер. Некрасивое круглое личико теменькой кудрявой Эрики и светлая головка Лени кивают мне радостно, как только я вхожу. Как и я, они пишут на чистописании хуже, чем Хульда и Ильза. Только на уроке рукоделия я – худшая. Но, стараясь, я вскоре овладеваю вязаньем крючком и корплю со рвением над моим штаубтух (тряпочкой для вытирания пыли). Вяжу двумя нитками сразу: черной и красной; я увлечена их пестрым узором. Как я до сих пор не знала, что можно своими руками плести такой плотный коврик? И он растет, уж закручивается, когда вяжешь, – у него уже есть длина! А как было трудно – первые петли, первый и второй ряд... Сколько слез! (Это – как с катаньем на коньках на Синьяль...) Но когда я пытаюсь заразить своим увлечением Марусю, – я встречаю ее удивленно-непонимающий взгляд: она *ненавидит* рукоделие всем пылом души, стремящейся даже от рояльных нотных строчек – к книжным; к крючку в ее руках, надменно путающемуся в омерзительных нитках, она ощущает полное отвращение. И на мне на миг замирает ее отталкивающий меня, подозрительный ко мне взгляд.

– Тебе нравится этот штаубтух?

Только одна начальница – сама фрейлейн Паулине иногда нам, изо всех старших младшим, улыбалась, выкатив свои лягушечьи глаза, и позволяла себе шутку. Иногда нам казалось, что экономка фрейлейн Келлер жалела нас за суровость нашего дня, но между нею и нами неизменно стояла фрейлейн Энни, все слышащая и все видящая, не спускавшая с нас ласково-ехидного взгляда. И однако и в наших суровых днях бывали добрые обычаи: когда был чей-нибудь

день рождения, к столу подавался огромный сладкий пирог с числом зажженных свечей по числу лет, исполнявшихся в тот день пансионерке. Нам, Марусе и мне, в сентябре (мне) 27-го по новому стилю и 9 октября Марусе уже прополыхало десять и двенадцать свечей на двух сдобных пирогах с вареньем. Подавали в высоких стаканах яблочное вино, и все хором пели на особый веселый мотив: «Hoch soll sie leben, hoch soll sie leben, hoch – hoch – hoch...» Дословно: «Да живет она высоко, высоко – высоко – высоко» – немецкая форма заздравного тоста.

В эти зимние дни, придя к маме, мы узнали о смерти – от чахотки – Нади и Сережи Иловайских. Им было двадцать и двадцать один год. С виду цветущие, красивые, милые, любимые всеми. Позднее мы слышали, что мать их, Александра Александровна, в отчаянии похоронив их и заболев той же болезнью, вернулась в сырое имение Иловайских в Крюкове и безвыездно заперлась в нем, оплакивая детей. Не веря заграничным лечением, она стала лечиться народным средством – овсяной кашей – и вылечилась. Она никогда не узнала о страстном горе по Наде той самой «Муси», которую Надин и Сережин отец, Дмитрий Иванович, неизменно все наше детство путал с «Асей», невзирая на разницу нашего вида. Закусив губы от боли, которую она не хотела делить ни с мамой, ни со мной, она оплакивала нежную красавицу Надю, которую так полюбила в Нервы...

Но совсем отдельно от пансиона шла моя школьная жизнь. Думаю, что Марусина классная жизнь была и теплей, и богаче нашего дня. Как весело мы шагали – в час географии – по улицам родного моим восьмилетним подругам Фрайбурга, изучая жадными детскими глазами один за другим памятники города, слушая обо всем, что с ними связано в истории города и страны. Солнце хрустальным великолепием холодных уже лучей пылало на крутокрыших домах, фонтанах, садах, старых башнях, и навсегда ложились в сердце легенды края, события, имена. Помню, как-то раз одна из моих одноклассниц, проходя мимо кустов сада, сорвала крошку-веточку с двумя-тремя листиками. И как обрушилась на нее речь негодующей учительницы, как она обличала ее непозволительную душевную грубость,

сгубившую ни за чем нежный росток... Помню слова: «Oh, wie roh...» («О, как грубо...») — и слезы провинившейся, красной, устыженной. И думаю неутешно: и в эту страну, в ту Германию, пришел фашизм?

О близившемся Рождестве нам рассказывали подруги, уж не первый год в пансионе жившие, что елка — до потолка и увешана крошечными розовыми ангелочками.

— Одни ангелы? — удивлялись мы. — И ни блестящих цветных шаров, никаких волшебных елочных украшений? — Маруся. — Ни рыбок, ни птиц, — вторила я, — ни золотых медведей, ни верблюдов?

Старшие ученицы пробовали нас урезонить.

— Ни бабочек, ни стрекоз? — уже хныкала я.

— И ни балерин, ни мандаринов? — с холодноватым лукавым юмором впадала Маруся, менее спрашивая, чем поддразнивая. Такие разговоры мы могли вести только тайком, на прогулке или раздеваясь в дортуарах. Разговаривать нам вообще не полагалось.

На одной из прогулок с пансионом на обледенелый теперь Шлоссберг (нас водили в калошах) я поскользнулась, полетела вниз по крутому ледяному спуску лицом и так сильно расшибла нос, что меня, всю в крови, доставили в пансион, и не помню, как я очутилась на маминой постели. Надо мной стоял доктор Лохерер. Помню сильную боль лица и головы, почти нестерпимую во время осмотра раны и костного повреждения, мои ночи и дни у мамы, счастьем которых мешала боль, мамино лицо надо мной, ее тревогу и негодование о пансионской нелепости водить пансионеров в калошах в гололедицу на обледенелую гору!

Маруся и та смягчила свой насмешливый нрав и жалела меня. Смешила — представляя Гретхен и фрейлейн Энни, и деликатно не выражала зависти ко мне в часы ее уходов в пансион, чувствуя, что боль отравляет мне мое счастье быть у мамы.

Пришло Рождество. Третье после России! Нерви, Лозанна, Фрайбург. Мы в толпе пансионеров стоим перед высоченной елкой, до самого потолка пансионской столовой, и смотрим,



как среди сиянья свечек, массы ветвей, серебрищихся, золотящихся подрагивающим «дождем»... Это странно — после всех елок детства. Пахнет марципановыми пряниками. Подан высокий затейливый сладкий пирог. Нам раздают под елкой книги, альбомы, цветные карандаши и рождественские, сверкающие игрушечным снегом открытки с колоколами, лентами между них, по которым золотом выведено: *Glückliches Weihnachten!*\*

И — в первый раз в Германии — мы хором поем с детства в России знакомые немецкие елочные песни. Интимного веселья, как в пансионе Лаказ, здесь нет, но всех примирил праздничный вечер, глаза старших приветливы. Сегодня им тоже хочется мира и радости, они играют с нами в детские игры. Взяла ли мама нас обеих на ночь к себе после пансионной елки?

Как помню утро того Рождества! Ни с чем не сравнимое счастье — проснуться в сознании наставшего праздника, как в детстве, в Москве, — у мамы, в запахе елки, протянуть руку — и взять стопку книг, шкатулку, ручку, искрящуюся цветным переливом узора в луче солнца сквозь морозный узор! В рот — пастилу, папину, зелень и розовость мармелада — и, с заставки первой буквы, готической, с головой в начало главы германской легенды. Сжав рукой другую, не раскрытую еще книгу «*Müsaumärchen*»\*\*, и у каждой из нас свой «Лихтенштейн» — в разных изданиях, в моем — иллюстрации Гольбаха, золотой обрез книги, и на обложке у Маруси светло-серой, у меня — ярче — силуэт замка.

Полнота счастья ширит легкие. Маруся читает заново свой обожаемый «Лихтенштейн».

С каким вниманием, с какой болью следила мама за ходом Русско-японской войны! Имена генералов Куропаткина, Стесселя то и дело мелькали в ее беседах с нами. Сдача японцам Порт-Артура, вызвавшая всеобщее негодование, взволновала ее чрезвычайно. К имени Стесселя стали добавлять слово «изменник». И затем — страшная весть о Гапоне, ведомом рабочим к царю с петицией, о Кровавом воскресенье...

\* Счастливого Рождества! (нем.)

\*\* Сказки Мюзауса (нем.).

Мама возмущенно нам говорила о страшном дне в Петербурге, когда шедшие ко дворцу с просьбой были расстреляны на Дворцовой площади...

И вот в дни этих мрачных вестей с родины на нашу семью рухнули одна за другой новые беды.

## Глава 5

### МАМИН РЕЦИДИВ. ПРИЕЗД ПАПЫ. ПОЖАР В МУЗЕЕ

Беда приходит — как счастье: вдруг! Возвращаясь в карете из театра Поссарта, где мама пела в его хоре, она простудилась и слегла. Врач определил плеврит. Жар не спадал. Маме лучше не делалось. Папе была послана телеграмма. Он ответил, что выезжает, — и в мамину комнатку, где было столько радости, мы теперь входили только ненадолго, с папой, — смена врачей, консилиум, папино озабоченное лицо, оно кажется постаревшим. Звучат зловещие слова: «рецидив», «активный процесс». Папа шлет телеграммы в Москву, на службу, что задерживается. Идут разговоры о помещении мамы в санаторий. У нас сжаты сердца: что будет там с мамой? Скоро ли она поправится? Как будет она там без нас? И как будем мы без нее, после счастья близости с ней — в муром пансионе, где после Рождества снова суровые будни, где мы теперь со всеми готовим уроки в ненавистном «нумероу ахтцейн»... Папа уедет, мама уедет, а мы... — дальше уже шли слезы — о маминой болезни, о бедном папе, приехавшем на такое горе и который снова уедет один в далекую Москву, о том, что маму будут ждать в хоре Эрнста Поссарта, а она не придет, — обо всем, от чего ком в горле и чему невозможно помочь...

В одну из ночей маминой болезни, когда папа не отходил от нее, мечась от градусника к лекарству, в наружную дверь постучали, и стук был настойчив и громок. Внизу поднялся переполох. Все проснулись, захлопали двери, послышались голоса, сквозь окна на улицу упали столбики света от зажженной впопыхах керосиновой лампы, и как раз, когда папа, следя за маминым беспокойным сном, больше всего хотел, чтобы шум внизу стих скорее, — шум стал подниматься,

расти. Заскрипели ступеньки лестницы, и шаги стали все ближе и ближе, стукнули в дверь — и в руки папы передали телеграмму.

Сообщение из Москвы было кратко: «Горит в Музее Александра III».

Когда я хочу представить себе эту минуту в папиной жизни — я, как над бездонным колодезем, — закрываю глаза. Не хочу ее даже в представлении повторять, даже в себе. Ни описывать. Достаточно, что она была — ночью, зимой начала 1905 года. Что такая телеграмма была передана в руки ему — собиравшему и воплощавшему Музей столько лет. У меня, может быть, нет права и замирать над той минутой, как папа над той телеграммой. И нет сил. Он один — создатель Музея — имел силу перенести ту ночь. Мы не знаем о ней ничего.

Кто, в безумье смятения, увидав пламя над Музеем, послал такую телеграмму через пространство, равное трем дням пути? Проснулась ли мама и вместе ли они обсуждали рухнувшее на нас горе? Или папа один с неслышанной вестью стоял над постелью мамы, метавшейся в жару? Сколько часов прошло до рассвета — или утра, — когда подали — в ответ ли на папину? или вслед первой? — вторую телеграмму, где общал растерявшийся смотритель Музея, что пожар удалось потушить? Мы узнали обо всем, когда ужас случившегося был частично уже позади. И много прошло лет, пока я узнала из папиных писем в Москву, как все было. Погиб дар Маринино и моего деда, маминого отца Александра Даниловича Мейна, почитателя папиного Музея. И — многое. Во сколько оценили ущерб, нанесенный пожаром, — я не помню, как не знаю, и сколько часов горел Музей.

*Из письма папы к архитектору Музея Р.И.Клейну*

«...Эту ночь и утро засыпали меня телеграммами о несчастье, постигшем нас в Музее. Пять депеш лежит передо мною, из них три с советами не волноваться и не двигаться в обратный путь. Дмитриев, желая утешить, во второй извещает: “Пожар потушен. Сгорело мало”. Только из Вашей депеши я узнал, в каком пункте здания случилась непоправимая беда <...>. Еще ночью, когда в первой телеграмме Дмитриева

я прочел: “Горит в Музее Александра III”, у меня блеснула мысль о поджоге. Первый вопрос жены был: “А застраховали ли вы ваше художественное имущество?” И потом: “Дежурят ли дворники при всех входах ночью и стоят ли сторожа при всех кладовых?” Что мог я сказать на это, кроме — нет, нет и нет?

Вестей же из Москвы не было — целую неделю. Меня осыпали вопросами о причине несчастья, качали головами и как могли старались говорить слова утешения. Мое положение было тем тяжелей, что состояние моей больной, М.А.Цветаевой, за эти дни не улучшилось ни на йоту... Письма, полученные на рассвете, были прочитаны с перерывами от слез, наконец совсем лишивших меня возможности видеть строки; доканчивала строки уже Мария Александровна... Но настоящее чувство утраты пришло после, когда холод, дрожь и слабость в ногах не дают мне покоя. Пошел я с телеграммами и письмами к Ю.С-чу — дорогой должен был останавливаться: не хватало воздуха для дыхания. Оттого проходил так долго, что это привело жену в беспокойство. Но с завтрашнего дня надо взять себя и свое горе в руки. Как и что делать впредь для хотя бы частичного возвращения погибшего, теперь не придумать.

Но при разборе пепла от ящиков и соломы надо употреблять решета, чтобы не выкидывать мелких вещей: хирургических инструментов и других предметов бытовой жизни древних».

*Из письма папы к Ю.С.Нечаеву-Мальцеву*

«...Столько чудных вещей погибло, достать которые стоило мне столько трудов, хлопот, времени. Чем, между прочим, пополнить Египетский зал или Римский, я совсем не знаю. Ваш весь дар из Каира и великолепные статуи Sala Rotonda Ватикана, отлитые специально для нас, погибли.

О постигшем нас несчастье я написал поставщикам гипсов в Рим, Флоренцию и Париж».

Лечить маму в ее мансарде было невозможно. Болезнь затягивалась, не сдавалась. Врачи советовали скорее перевезти маму в туберкулезную санаторию в Санкт-Блазиен, недалеко

от Фрайбурга. Мама ехала туда, почти безнадежно говоря о выздоровлении.

— Моя песня спета, — горько сказала она.

— Полно, Маня, полно, голубка, в тебе столько еще сил, ты поправишься там, вот увидишь... — убеждал папа.

— Mam, ты так же говорила в Москве, когда мы ехали в Нерви... — говорила Маруся, — а как быстро поправилась!

— До лета недолго, а летом мы с детьми приедем к тебе и будем вместе гулять, как в Лангаккерне, — ободрял папа.

Мама, которую пожирал жар, печально кивала. Она знала медицину. Понимала тяжесть случившегося. Ей не хотелось нас огорчать.

Я не помню ни прощания с мамой, ни папиного отъезда в Россию. Какой-то туман лежит на тех днях. Помню только частые мамины открытки с видами Чернолесья, с описанием санаторного дня, со скупыми сообщениями, что жар все держится, с нежными расспросами о нашей изменившейся жизни...

## Глава 6

### БЕЗ МАМЫ. КОНЕЦ ЗИМЫ ВО ФРАЙБУРГЕ.

### НОВЫЕ ПОДРУГИ. ЛАЗАРЕТ

К нам перешла, живет в интернате, милая, немного озорная, умная Гретхен Фехнер, и мы обе — Маруся и я — дружим с ней. Ей на год больше, чем мне, на год меньше, чем Марусе. В ее светлых глазах огонек лукавства — приятного, дружеского. Волосы в две светлые косы, маленькие пухлые губы. Она читала много книг, у нее ученый отец — только строгий. Матери у нее нет. Она с жадностью слушает о Москве, нашем доме, о папе, Музее, о Тьо, Лёре, Андрюше, о нервийских друзьях, о пансионе Лаказ. Она все понимает, жизнь наша с ней стала теплей, интимней. Она, как и Маруся, на хорошем счету по учению; в ней есть упрямство и гордость. С ней в нашу природную тягу к озорству входит элемент ловкости в шалостях, всегда немного насмешливых. Гретхен Фехнер умеет хранить тайны. И умеет любить. У нас трех — жаркая дружба, и в ней оттенок некоего бунтарства. В церкви, куда мы ходим по воскресеньям, мы откровенно скучаем. Жизнь

стала путаней и холодной. Насмешливость уже не чувствуется грехом. Понятие «греха» отступило куда-то. «Скучная» проповедь в церкви все о том же, о чем и беседы фрейлейн Паулине — о маленьких обязанностях, о послушании старшим. В этом нет никакого восторга, который отрывал нас от мелочей дня, освещая их, пронизывая собой — в Лозанне. Мы переглядываемся, исподтишка зеваем и ждем, когда на обратном пути удастся поговорить с Гретхен. «Нумероу ахтцейн» мы не принимаем как испытание — мы просто ненавидим его.

У Маруси новая подруга — пансионерка Брунхильд Холлерер. Что-то в ее имени сходно с ее наружностью: она высокая, тонкая, у нее длинный орлиный нос, светло-русые не тугие, легкие косы, и все в ней — легко, светло. В ней что-то скользящее — голос? улыбка? серые? с темными ресницами глаза. Теперь нас много: Арети, Анита, две Гретхен, Брунхильд и мы две. Это мог бы быть тесный дружеский круг — но пансион разбивает дружбу: есть «шлехте ноте», распорядок дня не по часам, а по десяткам минут, и трехчасовое молчание в «нумероу ахтцейн» — всякую дружбу сдавливают клещами. Только Маруся и Дора вырываются из них внезапными, гневными выходками, тогда их зовут в «Зеленую комнату» и фрейлейн Паулине делает строгий выговор, а фрейлейн Энни ехидно улыбается на ходу.

Маруся — первая, за ней — я заболели свинкой. По-немецки особенно противно звучит слово «Mumps». Крайняя заразность этой болезни надолго — недели на две — разлучила нас с пансионом, уведя из дортуара в «Krankenzimmer»\*, куда к нам приходил только врач и входила девушка-горничная, принося завтрак, обед и ужин.

Маруся начала выздоравливать, опухоль шеи спадала, она оживала. Я же еще томилась в плену жара и сильных болей, металась, иногда плакала — и Маруся теперь совсем не насмешничала, а явно жалела меня. Эта жалость меня грела. Только выйдя из мучений противной болезни, она понимала, что не малодушие вызывает иной плач. Затем началась другая мука: после вынужденного голодания из-за боли

\* «Лазарет» (нем.).

горла при глотании — на смену пришел настоящий голод — выздоровление. Обед и ужин мы не ели, а пожирали. Как было мало! Как ценился каждый кусочек хлеба! Он был как пирожное. Мы еле доживали до завтрака. Мечта о еде наполнила день. Лежа в постелях друг напротив друга, мы наслаждались описанием вкусных вещей: крутых яиц (утром нам приносили по одному — но всмятку), холодных котлет, как в Тарусе, филипповских пирожков с капустой, жареных нервийских золотых рыбок, блюд с *Aufschnitt*'ом под липой «Гастхауз цум Энгель» (густой узор ломтиков ветчины и колбас); упивались призраками холодной курицы. Но всего лучше казалось видение *Butterbrötchen mit Schinken* (булочка с маслом и ветчиной).

Томительно тянулся день. Болей уже не было, но возврат в пансион скоро предстоял только Марусе — мне еще надо было остаться несколько дней в лазаретной комнате — в совершенном одиночестве. Только одно могло нас отвлечь от пустоты желудка (в лазарете полагалось еще меньше порций, чем в пансионе!) — это были книги: тома «*Gartenlaube*» («Садовая беседка»), журнала, знакомого нам еще с детства, с Москвы, и целые стопки книг из школьной жизни. Маруся лежит, с головой уйдя в повесть «*Neid*» («Зависть»): над заголовком — девичья головка со светлой косой.

После Маруси я глотаю историю дружбы двух девушек, нарушение дружбы — завистью сердце колотится, так все понятно и так их жаль! Одна за другой мы прочли повесть «*Der blaue Schleier*» («Голубой шарф»), где знакомство детей-соседей, о котором жарко мечталось, происходит из-за забытого (на дереве) шарфа — хозяйка его, девочка, заболела, у нее *Mums* (наша болезнь). Голубой шарф заражает детей-соседей, болезнь соединяет два дома в крепкую дружбу... А за окнами уже не тишина, а крик, шум, песни — Масленица! — карнавальные звуки несутся к нам, точно привет с московской «Вербы» — писком, визгом, музыкой улицы. Слушаем — и все встает: и площадь у стен Кремля, и Аллеадель-Пальма, Праздник нарциссов в Лозанне — все празднества нашей жизни!..

Мусе — хорошо, она завтра уходит из Кранкенциммер, а я... Но что случилось со мной, когда на другое утро после ее

ухода мне, в опустевшую комнату, где я со страхом провела ночь, внесли вместе с кружкой кофе, яйцом всмятку и хлебом... — глаза не верят! а горничная смеется и тянет мне на тарелочке мягкую, намазанную внутри маслом длинную булочку, и из нее свисают концы ломтиков ветчины! О-о, Маруся! Это она сказала фрейлейн Паулине мою мечту — и та, умилясь, исполнила! Неужели Маруся *попросила* для меня, она такая гордая!.. Я смеюсь и плачу, всё вместе! Маруся никогда не узнает, как я люблю ее, как тронута... Об этом разве можно сказать?

Горничная ушла. Я одна с сокровищами: яйцо — хлеб — горячий кофе — и лукуллов пир, присланный мне рукой Маруси! Я буду есть медленно, очень медленно. Удовольствие будет долгое-долгое... Я буду откусывать крошечными кусочками... И — читать. Как в том чудесном чужом саду медленно выздоравливает от свинки девочка, а мальчик и девочка, которых она, не зная того, заразила своим шарфом (еще не знают, что они уже заболевают), смотрят в щелку забора на полуоткрытое окно, за которым видна кудрявая головка.

Доктор сказал, что еще два дня и две ночи — может быть, завтра после обеда я уже вернусь ко всем.

## Глава 7 ВЕСНА 1905 ГОДА. УГРОЗА ИСКЛЮЧЕНИЯ. ПОЕЗДКА В ШЁНАУ

Зима сдавала. Мамины письма шли часто, но вести были все те же: неспадающая температура, неопределенные высказывания докторов. Больные лежали часами в Liegehalle (крытые стеклянные веранды), где рядами стояли кровати, и туберкулезные, укутанные, дышали морозным воздухом. Вокруг санатории был сосновый лес. Более сильные гуляли. Но мама не вставала. Даже градусники ставили тут же лежавшим на этих холодных террасах, только их держали во рту, под языком — одноминутные. От маминого знакомого милого почерка сердце сжимало радостью, но строки ее превращали радость в какой-то туман — и печаль стояла совсем рядом. Было не понятно — что же дальше, как пойдет жизнь, поедем ли мы в Ялту и, после, в Москву — или еще куда-то?



Папа и Тетя молчали об этом, Лёра писала редко. В грусти пансионских дней только одно сияло нам: 25 июля, день летних каникул, когда распускали пансионеров, — и папа, приехав, возьмет нас в Санкт-Блазиен. Там мы будем жить возле санатории и ходить к маме, — и, может быть, она переедет к нам, позднее.

Как мы ждали день выпуска! Как одиноко было в пансионе среди таких же одиноких, тоскующих. Когда же и от них бывала обида — наступало просто отчаяние.

Как счастлива я была в Италии, где я могла в горе бежать одна «куда глаза глядят» — как сказано в русских сказках, — уж это одно утешало! Тут... Но я все-таки нашла место, минуту, где я смогла выплакаться: открытый шкаф в коридоре, где висели пальто пансионеров. Там я прятала в уголок, в мягкую тьму меж рукавов и карманов, лицо, нащупывала мордочку зверька на своей горжетке и ластилась о нее, бурно отдыхая от всего, заливая ее слезами.

У Маруси строгость пансиона вызывала все растущее ожесточение. Она замыкалась, в ее глазах затаивались протест и насмешка.

Воскресенья были томительны особым томлением: после церкви нас стали выпускать в сад. Пансионский сад был большой, окружен железной решеткой, в нем были старые деревья, дорожки, а в конце, за проволочной изгородью, протекал широкий ручей. Он тек обратно течению Оки, слева направо, и в этом была добавочная тоска: вода и та текла не так, как было с детства мило сердцу. Девочки говорили, что весной и летом тут видны форели — мелькают в струях. Но к воде не было доступа — изгородь.

Спасением этих дней были, конечно, книги и писание писем: в Санкт-Блазиен, в Москву и Тарусу, в Лозанну — они казались уже далеким сном.

Но напрасно казалось, что старшие не понимают антипансионских настроений «руссенкиндер» — русских детей. Над нами уже собиралась гроза. В то время как мы разбирали новую папину посылку (огромный черный хлеб, окруженный сладостями) и угощали подруг, фрейлейн Энни обнаружила у Маруси принесенную с урока рукоделия связанную ею крючком, тайно, фигурку с хвостом и рожками, в вяза-

ном же платьице. Это вызвало не только гнев и отвращение старших, но и смущение среди пансионерок. Младшие, не вникая, просто испугались злой шалости, озорной, небывалой. Старшие почуяли в этом поступке что-то более глубокое, опасное. История была доложена фрейлейн Паулине. Марусю вызвали в «Зеленую комнату». Какой там был разговор — я не знаю. Маруся прошла мимо нас с высоко поднятой головой, с пылающим лицом. В «Зеленую комнату» вызвали кое-кого из старших воспитанниц. Дерзость Маруси, ее непокаянное поведение связали с ее авторитетом среди старших, усмотрели ее вредное влияние на подруг. Делу дали ход.

Затем произошла следующая история со мной.

Мы с Марусей все лето говорили на «своем языке»: к слогу добавляли его повторение с буквой «п» в начале — «мы пойдем» звучало «мыпы попойдем». В пансионе мы легко перенесли этот метод на немецкий и заразили им учениц. Кроме того, каждая из нас выдумала свой шрифт — каждая буква была рисунком к вещи, и мы наострились писать так с большой быстротой. Посвятив в свой язык Лени Бургер, я на переменах и на уроке завела с ней иероглифическую переписку. Записка была перехвачена — фрейлейн ли Грейфле? Добрая маленькая фрейлейн Реут не дала бы такой ход этому «делу» — и над моей головой, озорной, и над гладенькими льняными косичками Лени Бургер и ее соседки Эрики, о переписке знавшей, грянула гроза. Допрашивали! Стыдили! Пугали! Вызывали меня в «Зеленую комнату», запретили (Лени, бедняге, невинной) общенье со мной — и в коридорчике меж уроков мы должны были ходить друг мимо друга как незнакомые — и какая же это была тоска!

«Эти русские принесли к нам революционный дух своей страны!» — пронеслось по пансиону. И в то время, как Маруся зачитывалась присланными папой книгами Желиховской и Чарской, девочки с жадностью пожирали ломти черного русского хлеба, сравнивая его с немецким пряничным Pumpernickel (пумперникель), в Москву к папе шло письмо от начальницы нашего пансиона о том, что желательно было бы нас изъять *ранее* летнего срока! Это звучало —

исключением. Время до ответа шло томительно. Мудрый ответ папы (что ввиду болезни матери и невозможности ему из России еще раз приехать во Фрайбург он просит не беспокоить мать до лета и оставить нас в пансионе) решил дело мирно. Маму пожалели, папе оказали уважение, нас, скрепя сердце, оставили.

В это ли время ввели в пансионе еще один вид наказания? Штрафы по пятьдесят пфеннигов (на русские деньги тогда двадцать три—двадцать четыре копейки) и даже по марке (сорок семь копеек) — за малейшую провинность рос родителям счет. Сколько за нас набежало до лета?

Как мы ждали 25 июля! Казалось, не доживем... Мир за решетками пансиона Бринк казался невероятно прекрасным! Даже мысль о маминой болезни не омрачала его нам по-настоящему: к маминой болезни мы привыкли за два с половиной года. К тому же, раз мама уже победила Италией свое почти предсмертное состояние, почему Крым (мы уже мечтали о нем — снова море!) не вернет маме силы? Так недавно мы еще ходили с ней по шварцвальдским лесам, по старинным улочкам Фрайбурга! Нет, нет, мама выздоровеет, мы вернемся в Москву. У каждой будет свой письменный стол. Мы уже спорили: мамин (старый, ее детства еще) Маруся решила — себе.

— Новый, — с презрением, — тебе!

Я не сдавалась.

— Я ведь всегда донашиваю твои платья, — дразнила я (равнодушная, как и Маруся, к «нарядам», пошлому слову из каких-то глупых книг «о детях»), — значит, мне мама и отдаст свой старый столик, а тебе, — ехидно, — как старшей — купит новый.

И так как слов в ответ уже не было — следовал быстрый, ловкий и тайный, когда случалось на людях, Марусин толчок и мой явный рёв (в детстве), ответный удар — теперь.

Весна близилась. Все чаще мы шли в сад. Там, по две и по три, меж начинающих зеленеть веток ходили пансионские тени, шепчась, вспоминая, предчувствуя. В «номеру ахтцейн» Маруся усиленно занималась предметами четвертого и седьмого классов. Я же, сделав уроки, вязала.

Подошла Пасха. В ящичках с землей был посеян овес «Für den Osterhasen» (для пасхального зайца). В магазинах

пестрели зеленью и золотом открытки с пасхальным приветствием и неизменным, нам непонятным, немецким пасхальным зайцем. Кажется, в этом овсе готовилось место крашеным яйцам.

Теперь в саду стояли скамейки, стулья, столы, и в воскресенье мы писали письма на воздухе. Как помнилась русская весна, как томились мы на чужбине, в неволе! Именно этими штампованными словами — во всей их нештампованной силе — звалась наша тоска. Двойная была тоска: по России, по маме. В эти дни мы чувствовали, как тоскует по нам она. Но уже подходила немецкая Троица. Пансион на неделю выезжал в горы, в Шёнау. Задолго до весны пансионерки вспоминали прошлогоднюю поездку туда, радовались. Увы, на нашу долю там выпала половина дождливых дней. Но не менее, чем освещенные солнцем поляны, блистающие росой и дождем, я помню комнатки гостиницы, где в дождь, в тесноте и дружбе, пансионерки, большие и маленькие, сидят вокруг столиков с книгами, письмами, играми, счастливыми девочкиными беседами. Надзор тут был ослаблен, мы были доверены Доре и ее подругам. Часы летних дождей, шумных, светлых, с грозowymi раскатами, синими разрывами меж туч, радугой, разрешение гулять, тыканье ног в калоши, сбеганье гурьбой по лесенкам — забытый и обретенный нектар!

25 июля совсем близко! Мама уже нас ждет, папа собирается выезжать к нам из России. Еще жарче теперь цвела наша тройная дружба — Марусина и моя с Гретхен Фехнер, светлоглазой насмешницей, так нас полюбившей. Но и тут — и везде — поздно! Отъезд стоит за решетками сада пансиона, где плывут в ручье голубые форели, все уплывает, все уже снова делается сном. Права фрейлейн Паулине: «Dieser Tag nie wiederkommen»\*...

«Этот день *никогда* не вернется!» — говорит она, прижимая мою голову к груди, о которую я лащусь, — она это зовет «die Katzen wochen»\*\*.

Маруся сдерживает слезы, а я уже реву в три ручья...

\* «Этот день никогда не вернется» (нем.).

\*\* «Кошачья ласка» (нем.).

Глава 8  
САНКТ-БЛАЗИЕН

Наша гостиница при самой дороге, по которой идти к санаторию, где мама. Там есть и другие санатории, но мамин у самого хвойного леса — чудесные зелено-синие ели. Стеклянные террасы, где лежат больные. Санкт-Блазиен — маленький городок. Он, как все немецкие городки, — нарядный кусочек большого города. «В нем, — рассказывает нам веселая смешная горничная гостиницы Анна Хоберле, — даже есть курзал и парк». Но мы больше рвемся вон из гостиницы — вверх и назад, где, по крутому подъему, дичь кустов и деревьев, обрывов, шум ветра, лай собак — та воля, без которой мы задыхались так долго и которая *тут* — подать рукой...

У нас с папой две смежные комнаты, во втором этаже. Сразу, войдя, хоть нам и понравилась служанка Анна Хоберле, — потянув, «как псы», воздух нового жилья, мы без слов, только переглянувшись, поняли, что *любить* это место не будем! Всё любили — Москву, Тарусу, Нерви, Лозанну, Лангаккерн, даже Фрайбург за пределами пансиона. А вот эти комнаты — и может быть, весь Санкт-Блазиен — не полюбим. И неизвестно почему.

Вместо ласки Мейеров в «Гастхауз цум Энгель» — шум и неразбериха внизу, в гашштубах. Никакого уюта. Одна нажива вокруг келлера (погребца) с пивом и винами. Ну и пусть! И не надо... Мы зато будем *свободны!* Эта занятость всех в нашу пользу. И папа нам сказал, что будет давать «ташенгельд» (карманные деньги) — нам надо привыкать к маленьким суммам, тратишь обдуманно, экономно. О, значит, мы сможем купить какие угодно книги... А еще конфеты, медовые, «леденцы» — мы никогда не говорим: это чужое слово (в нем есть что-то от слова «гостинцы» — чуть-чуть противное, стыдное и смешное). «Карамель» — можно говорить. (И мама никогда не говорит «гостинцы», «леденцы». Папа говорит, а мы — нет.)

Мама! Свидание было вчера. Она нашла нас очень выросшими. Марусю — особенно. «Совсем Backfisch»\*, — смеясь,

\* На немецком языке «подросток» в дословном переводе «печеная рыба». Но это совсем странное слово. И Маруся совсем не похожа на рыбу — наоборот.

сказала она. «Мама — такая же, ничуть не хуже», — эгоистически говорим мы себе. Только на щеках — румянец. Это, конечно, нехорошо... мы знаем, румянец — чахоточный, но ведь он у всех в мамином санатории. Зато — хвойные леса! И доктор прекрасный! Мама поправится, и мы осенью поедем в Ялту. В Ялте — море: оно Черное, так называется потому, что оно — темно-синее — почти черное...

Мы ходим к маме каждый день, после ее часа отдыха. Она лежит на открытой террасе и улыбается нам. Рядом с ней на таких же шезлонгах лежат другие больные, и все встречают нас ласково, радуются вместе с мамой. В шесть часов у всех во рту градусники, и все только и говорят о температуре — у кого какая и что сказал доктор. Утрами многие встают и гуляют, и в этот час нас не пускают к маме. Мама подробно спрашивает, что мы читаем, как мы спим, что едим. И обещает, что скоро переедет к нам.

Утром, днем, вечером мы сходили в гасштубе и втроем — папа и мы — завтракали, обедали, ужинали за столиком, над которым, на стенах, как в Лангаккерне, висели стихотворные, шуточные обращения к гостям, приглашения откусать, выпить и заплатить. Папа, кроме молока, которое мы пили в промежутках между едой, брал нам к столу пива, и мы быстро приучились к нему. В семейных компаниях, проходивших в Сакт-Блазиене, на прогулке, дети тоже пили пиво — в Германии оно считалось полезным и поощрялось.

Мы шли бродить по пригоркам, обрывам, лесным полянкам, окаймляющим чистенький городок, как «два бурша», два сказочных «Geselle» (подмастерья из Гофмана или Гауфа). О чем только не говорили мы! Мы были и мы, и не мы, мы шагали по ландштрассе, иногда запевали что-то, при встречах с людьми на миг принимали чинный вид, а потом на нас нападавал смех, мы переглядывались, подталкивали друг друга, воображали себя странниками, идущими в далекий путь. Спросив о часе, мы пугались, бежали назад.

К маме мы не садились очень близко, да хмель и сам уже проходил — по пути и от обстановки. Что мы пьем пиво за едой, мы не скрывали, конечно, но что заходили пить его без папы, мама не знала. Вскоре мы стали уже разбираться

в марках пива — поняли, что вкусно не только темное бархатное «баварское», но и желтое, сладковато-горьковатое «пельзенское», и что оно имеет более тонкий вкус. Как заправские знатоки мы заедали его солеными брецелями — тонкими, сухими кренделями. Пить пиво и веселиться стало потребностью.

После тюремных стен пансиона Бринк наша новая, без мамы, свобода так пришлась нам по вкусу, как будто нам было не почти тринадцать и почти одиннадцать, а куда больше лет.

Нашим спутником был чудный огромный пес, черный с желтым, длинно- и кудрявошерстный (вроде сенбернара) ньюфаундленд по имени Тюрк. С ним нас (он принадлежал гостинице) спокойно отпускал папа. Тюрк обожал нас, как и мы его, и не дал бы никому нас тронуть. Иногда мы ходили гулять с папой. Часто папа шел, задумавшись о Музее, не замечая, сколько пройдено, и на этих прогулках — вперед и вперед по ландшастрассе — я, как меньшая и слабее здоровьем, иногда изнывала. Но сказать об этом было стыдно, и я не просила пощады. Мы заходили в придорожные гостинички соседних сел и деревень, закусывали и шли дальше или назад. Помню, как раз, идя вдвоем с папой, я рассказала ему пройденную в классе легенду о Тангейзере, по-немецки, конечно. Папа ласково и терпеливо слушал.

Идем, пристыженные папиной простой, ясной душой, такой не похожей на наши, и нам жаль его всем пылом наших озорных и печальных сердец — и ничем этой розни помочь нельзя — и чем же можем порадовать папу! Нам после наших отступивших куда-то лозаннских молитв одиноко и бездомно; в этой грусти и без мамы мы (кажется нам) — старше папы... У него есть кумир — Музей, у нас сейчас — нет. И в наступающей тишине нашей нескладной беседы какая-нибудь из нас (Марина, старше и зорче), чтобы прервать эту даль, это молчание меж нас и соединиться с папой, задает вопрос — о Музее. И вот, точно только это и было надо назвать, папин рассказ о любимом, чем занято сердце, чему отдано столько труда, прочной и доброй крышей протягивается над нами. Слушая о последних шагах,

о новых коллекциях, жертвователях, о Нечаеве-Мальцеве, главном и крупнейшем из них, о сортах цветного мрамора, распланировке зал, о целом сонме будущих стеклянных крыш над Музеем, мы проходим остающиеся километры нашего похода-прогулки, благодарные за тепло и за страстную папину увлеченность делом, в которое мы, по эоловому существу своей природы, проваливаемся бездумно, как в детстве.

— ...Опыт, дети, показал и то, — говорит папа, — что учиться приходится не только у специалистов, но иногда и у людей, от которых ожидать помощи, по-видимому, было бы трудно, к примеру — у старых служителей европейских музеев. Один такой случай был со мной во Фрайбурге — вашем, другой — в Наумберге. Ваш Фрайбург-в-Брейзгау славен главным образом своим собором XIII века, замечательным архитектурным сооружением. И вот, гуляя по Фрайбургу, я зашел в один магазин религиозных изваяний, чтобы спросить, нет ли там копий портала и деталей собора. Ответ был отрицательный, но один из рабочих посоветовал мне побывать в конторе Строительной комиссии собора и там навести справку. Я прямо оттуда пошел по данному мне адресу. Но был час обеда. Я никого в бюро не нашел, вынужден был вступить в беседу со старым, седым слугой этого учреждения. Старый служитель, услышав, чего я ищу в моем путешествии, дал мне нужный адрес того заряда, и я сейчас же отправился туда. И вы тоже, дети, будьте всегда всесторонне внимательны ко всякой работе, которой вы будете заняты, и не пренебрегайте простыми людьми — никогда...

Близкий закат золотой пылью освещает плывущий нам навстречу Санкт-Блазиен, по деревьям ландштрассе бежит трепет, я плетусь, уже еле поспевая за бодрым шагом их двух, но радостно чую отдых. Нас встречает широкая улыбка Анны Хоберле, прося прощения, что не пустила с нами Тюрка, а он, забыв великаний свой рост, прыгает вокруг нас, как щенок, на лету ухитряясь лизнуть. «Ну-ну-ну... — урезонирует его папа, — эдакий богатырь...»

Мама переехала к нам. Веселее, теплей стали дни в наших двух комнатах второго этажа, — наша с Марусей узенькая,



как в Лозанне, и моя кровать, как и там, ближе к двери, Марусина — к окну. Папина и мамина двухоконная комната — квадратная, с кроватями, как в московской спальне, меж их торцами и стеной были стулья, стол, на нем — полевые цветы, пахнущие Тарусой... Но мамина слабость вносила несходство с летом Лангаккерна. Только иногда она, опершись о папину руку, выходила гулять. Мама, как и мы, полюбила некрасивую бедняжку, работавшую с утра до ночи, Анну, говорила с ней, что-то ей дарила. Помню всех нас на сенокосе, уже под вечер, в золоченой оправе предзакатного великолепия — Анну с вилами, нас, хватающих грабли, прыжки веселого, как жизнь детства, Тюрка и наше, в два голоса, дружное и отчаянное чихание. Началось это еще на экскурсиях с пансионом в Кюбург, Визенталь, Кельтенталь, о которых я забыла сказать. И забыла сказать о двух старших учительницах, с нами ездивших; имя одной было фрау Асмус — смуглая, синеглазая, узколицая, пожилая; другая — с волосами *ogéus* (мелкокудрявыми), круглолицая, имя ее ускользает. Эта последняя страдала редкой болезнью — цветочной астмой (сенной лихорадкой): болезнь слизистой оболочки — гиперестезия ее. Болезнь эта никак не могла быть заразной. И все же заболела Маруся, за ней — я. (И болели с тех пор далеко за тридцать, если только не жили на море.) И теперь на сенокосе с мамой, папой, Анной Хоберле мы чихали страдальчески раз по тридцать-сорок, неутешно терли глаза, утираясь уже не платками, а полотенцами, — они мокли, как под дождем, — и вечером мама, видя, что чихаем только от полевых, заменила их на столе — садовыми. Доктор не знал, чем помочь. И Маруся отвечала ему надменно и равнодушно (чуть дрожала озорством ее бровь): ничего, что ни у той учительницы, ни у нас болезнь эта не лечится, мол, не заплачем, не беда!

А вскоре случилась — беда? — тревога! — у взрослых, конечно. Маруся отнеслась — равнодушно? — с типичным легкомыслием ее переходного возраста. Не изменила своей природной насмешливости. Продержалась в грянувшем особняком. А грянуло вот что: папе пришло анонимное письмо с немецкими стихами, озорными и угрожающими, в которых осмеивался русский «professor», рифмуемый

с «brodesser», не то «fresser», ну конечно, именно так — «пожиратель хлеба», и упоминалось о его двух дочерях.

Стихи были грубы, злы, необъяснимы. Мама, а папа из-за нее, видя ее страх, — встревожились. По совету маминых друзей в санатории, письмо передали властям. За первым письмом последовало второе: в нем неведомый писал о своей любви к младшей из дочерей профессора, именуя меня чем-то вроде «Natania», Марусю как «Natussia». Эксперт, прочтя письмо, заявил, что его писал сумасшедший. Вокруг нашего мирного житья поднялась суета. О нас заговорили все. Нам, девочкам, по совету властей, запретили ходить одним. Маруся насмешливо усмехалась, но спорить с мамой было нельзя. Дни шли в тревоге. Не помню, сколько было писем — три? — знаю, что старшие их ждали, решали, что предпринять: во втором или третьем — все шли стихами — неизвестный («сумасшедший») звал себя Räuberhauptmann («разбойничий атаман») и предупреждал, что в своей любви — «das Kind hab ich lieb» («Дитя я полюбил»), — не остановится даже перед похищением. Полиция мирного городка поднялась на ноги. Мы ходили всегда с кем-нибудь из взрослых. Помню вечер в саду курзала, нарядную толпу, музыку, иллюминацию и вежливого подростка в сером элегантном костюме и с идеальным пробором светлых немецких волос, наклоняющегося ко мне (та ли это «Натуся»?) и переводящего взгляд с моего худого зеленоглазого ничтожества (я уже носила очки) на — в очках же Марусю, видную, крепкую, только чуть ниже его. Мы были гвоздем тех дней! Маме история стоила много нервных сил. Боялась ли я? Страху не помню. Заразилась ли я Марусиной «бравадой», но одна я больше на свой любимый крутой, мохом поросший холм, где нашла желтый металлический перочинный нож с мелким рельефом какого-то города, не лазила. Мама нож опустила в соляную кислоту, и он засиял, — был в нем и штопор, и несколько лезвий. Задолго ли до нашего отъезда стихла история с разбойничьим атаманом и трудами властей и врачей, или мы уехали в начале осени после нее — я не помню...

По просьбе ли мамы, когда она еще жила в санатории, мы пошли сниматься? Папа снялся с Марусей, оба в рост. Маруся в очках, волосы заплетены, гладки. Она в английской

кофточке и в юбке, полувзрослая. Я снята в темном платье и кисейном фартуке, волосы по плечам, со лба — назад, под круглую детскую гребенку; улыбаюсь. А рядом — на прощанье — темный, в яви — черный с коричневым — обожаемый собачий великан Тюрк.

...Было лето 1905 года. После начала Русско-японской войны в России было революционно. Общественный дух русских заговорил множеством голосов. Это были голоса партий. Неудачи войны вызывали все большее недовольство. Мама внимательно читала газеты. Отклики разговоров доносились и до нас. Но мы уже собирались — в Россию...

Утро. Я проснулась первая. Маруся спит. Еле двигаясь — о, не от бережности, а от страха, что она проснется и нарушит наш давний, без слов, спор о первенстве вставания, — я одеваюсь. Первой выйти на утренний луг! Дверь бы не скрипнула! Маруся шевелится. Я в мгновение ока проскальзываю в ночную рубашку и замираю, согнутая, у постели. Нет, спит! Сердце бьется. Проснулась, приворядется? Сейчас изобличит, зальет мои старания насмешкой? «Не удалось и не удастся тебе никогда!» — слышу я торжествующие, уничтожающие меня интонации!.. Я уничтожена ими. Нет, спит... Где вы, наши ночи на лозаннских ковриках, на коленях, с «Патер Ностер» и «Аве Мария»?! Куда отступила чистота той без предела жертвенной молитвы? Куда несет нас злое себялюбие, самолюбие? Борьба за себя? Я стою, одна, на лугу, в великолелии встающего солнца. Рву цветы и чихаю. Из каждой коронки их лепестков падают радужной искрой капли росы. Слезы природы — о нас, обо мне? Но уж нет и у меня времени опомниться, застыдиться: уже выходит на луг Маруся.

— Тоже гуляешь? — говорит ее нарочито-ленивый, чудесно-пренебрежительный голос. — А я уже давно не спала, лежала...

И вот мы вновь с папой (мама легла отдохнуть) — на высоком Schauhinsland — тихой мирной возвышенности среди гор. Простое ее название схоже с ней: солнце — тишина — вереск — тени в изгибах гор — трепет травинок, стрекоз, ветерка и наших сердец, вдруг ставших такими простыми — как папино, как сердце гор, тишины, солнца... И сколько ни видно кругом в этом разливе далее — везде свет и мир. Благо-

словляющая нежность природы, дышащая полной грудью от данной ей Творцом красоты...

И вот — в который раз в жизни, бродячей — чемоданы, тюки, корзины... Мама, кашляя и улыбаясь папе и нам, укладывает вещи. Мы все помогаем ей. Как ободряет ее папа! Как ласковы они друг с другом! У них никогда нет ссор. Вчера полвечера они увлеченно писали (папа диктовал по-русски — мама переводила на французский) письма по музейным делам.

— Дорогой помощник мой... — говорил папа. — Я тебя утотомил, дружок мой...

— Что ты, что ты!.. — отвечала бодро мама.

Мы стараемся больше помочь в укладке вещей.

— Ну, иди, иди, — добро говорит мама Марусе. — Мне папа и Ася помогут! Нет у тебя таланта к этому. Иди, читай!

Маруся благодарно глядит на маму. Завтра — в путь! В Россию...

# Часть пятая

## КРЫМ

### Глава 1

#### ПУТЬ В РОССИЮ. СЕВАСТОПОЛЬ

Неровность памяти! Так помнить отъезд из Москвы осенью 1902 года и не помнить отъезд из Фрайбурга три года спустя! Из всего пути Германия—Ялта я помню, смутно, видение светлых, широких улиц Мюнхена, статую Баварии — гигантскую фигуру женщины, в кудрях которой — окошки, откуда чудный вид на город и даль (а подниматься к окошкам — по нескончаемой лестнице...). И другое видение — темно-серые, торжественные, каменные здания музеев. С папой мы ходим по музейным залам. Маруся и я видели «Die eiserne Jungfrau» («Железную деву») — металлическая, на два блока раскрывающаяся фигура, дверки которой утыканы гигантскими гвоздями, вонзающимися в тело запираемого в нее человека; и два гвоздя — напротив его глаз.

Мы едем как-то иначе, чем ехали из Москвы. Граница Австрии и России — городишко Волочиск. От близости первого шага в Россию у мамы и у нас замерло сердце. Три года вдали от Родины! Замерло — и не отпускает. Будто и не было этих трех лет. Будто не жили мы с людьми, которых любили, в местах, которые нельзя забыть! Жадно смотрим вперед! Лишь сейчас осознав, что мы только того и ждали, чтобы вернуться назад! Мы были задавлены необходимостью жить там, где велела мамина болезнь. Ожидание вернуться томил нас только воспоминаниями. Теперь оно рвется из нас, как пламя костра, тлевшего, в который бросили веток, вы-

сохших на ветру! Горит в нас самая сущность наша, любовь к своему, то, что иссушает вдали человека, что зовется тоской по родине... А тот, через кого эта Россия в нас поет сейчас, торжествуя свидание, почти старый уже, добрый папа, из владимирских просторов пришедший, из самых старых добрых русских глубин, только улыбается, на нас трех глядя, все умирая...

Волочиск: два городка, слитых именем, разделенных границей. Австрия — чистота нарядных улочек, домики, блеск витрин, сытые кони, коляски. Россия: пыльные колеи, бульжники, домишки, тощие лошаденки, старые, как мир, извозчичы пролетки... Первая плакучая березка, *первый* звук *русской* речи! И вот мы у входа в русскую гостиницу! Бегут, снимают вещи, и мы спрыгиваем на русскую землю...

Папа помогает маме; под руку с ним она входит в свежеразкрашенные двери. Рассыпается в любезностях и хвалах только конченному ремонту хозяин, и прислуживающие тащат багаж в «самые лучшие комнаты». Папа, озабоченно: «А не заболит ли у тебя, голубка, голова от этой масляной краски? Сейчас велим открыть окна...»

А мы — нюхаем! Воздух! Эту самую краску, от которой пахнет московской весной... Но уже нас обнюхивают, прыгая на нас, собаки (мама зовет, а мы — не можем расстаться): рыжая и серая, лохматые, у одной глаза еле мерцают из шерсти. Как лают, как лижут нас! Все четверо — к удивлению было погнавшей псов хозяйки — обнимаемся, на самом пороге, многоногое чудовище, русское!..

Вечер в гостинице с распахнутыми окнами, с три года не встреченным самоваром, начищенным под жар-птицу, с дорожными и гостиничными яствами, с отдыхом, разговорами, — что за вечер! Плакучая береза за окном — и та радовалась, пыль за окном — и то была родная нам пыль... Это было состояние блаженства. Мы слушали русские голоса, гром колес по камням, где-то — гармоника... Мы никак не хотели спать!

Ночь! Чудная, черная, настоящая. Запах свежести, шелест ветвей... Да и спать было нельзя: никогда еще нами, Марусей и мною, не виденные клопы гуляли по новым обоям, измучили маму. Мы, может быть, и поспали с грехом пополам, но она не сомкнула глаз.

Мы поехали дальше. Какие города?словно из сна — Краков. Спешка, общий вагон, нет билетов! Теснота, еврейки в шалях; кормят детей. Блеск итальянских глаз у еврейских детей-красавцев, свищущая польская речь! Мама и мы любим этот народ, гонимый другими народами, древний, таинственный, невинный в своем несчастье... и это — народ Кобылянского, нашего дорогого друга, героя, под пулями бежавшего из царской тюрьмы, переплывавшего реку...

Поезд летит. Ночь!

Севастополь. Большая гостиница. В ней пахнет, как в Генуе, рестораном, и так же звенит оркестр... Мама болеет. Мы тут проживем несколько дней. Из окна коридора вниз видно, как в глубокий колодец, во двор. Мы с наслаждением едим русский борщ с пирожками. Мы с папой пойдем к морю! Море... с Нерви мы не видели его! Папа режет огромный арбуз. Ветер пахнет водорослями. Маруся запоем читает все ту же свою любимую немецкую «Heidi», о девочке, жившей в хижине, в горах. Она ее любит, как «Il Suore» в Италии! Мама легла отдохнуть.

Как пахнет морем! Так бьется сердце, приближаясь к нему, точно мы вновь — с Володей — выходим на «Гранде Марина»! Я не помню цвета моря в тот день, в первый день у Черного моря. Только запах оглушительно-знакомый, родной, — и морскую звезду, и водоросли точно куча сетей. Маруся осталась с мамой, а я с папой иду по улицам Севастополя. Пахнет арбузами. Ветер. Витрина книжного магазина. Смотрел ли папа на книги? Как я увидела маленькую книжечку «Загадочных картинок», мою страсть? (Находить «Wo ist der Knecht?» («Где слуга?»), «Wo ist das Mädchen?» («Где девочка?»), находить их в изгибах деревьев, в очертании крыш, в облаке...) Сердце замирает. Попросить папу купить? Невозможно; никогда! Мы не просим маму и папу — «купи», хотя никто нам этого не запретил. Я стойчески ухожу от окна. Но когда я шагаю с папой по тротуару, зубная боль в сердце достигает такой остроты, что расставание с загадочными картинками превышает мои силы.

— Папа, — говорю я, не помня себя от стыда, — там в окне — книга... Маленькая! «Загадочные картинки»...

Больше я не могла говорить.

— Картинки? — отозвался вызванный из задумчивости папа. — Так тебе их купить?

И он повернул, я — за ним. Я шла в горячем вихре стыда. Но счастье его смело. Когда папа заплатил за него двадцать пять копеек серебряными монетками и книжка оказалась в моих руках, я шла назад счастливая. Но когда мы вошли в комнату, где нас ждала мама и она увидела в моих руках купленное, я, должно быть, выдала лицом непрочность моего счастья. Мама сразу поняла, что не папа выбрал мне эту книжку, — ей было ясно. Она ничего не сказала. Она только на меня поглядела. И стыд победил счастье. Неумолимый взгляд Маруси уже шел за каждым моим движением, беспощадно. Глаза ее были чуть сужены в невыразимой насмешке. И только папа, давно забыв о ничтожной покупке, не замечал этой трагической пантомимы.

Графская пристань! Белый мрамор колонн, на солнце сверкающая пена волн, медленных и ленивых, искры, от которых щурить глаза. Не так ли стояли мы у таких же волн на берегу возле Вилла Торре, с Кошечкой, Котом-Мурлыкой, Гербом, — а Тетя ждала нас в «Бориваже»... С этого — два, два с половиной года? Нет — уже вечность: оно кончилось навсегда. Мама улыбается нам, поправляет что-то на Марусе. Сегодня — чудный день! Но мама вдруг оборачивается к нам. Ее лицо в смятении. Она его борет.

— Дети, я тут была с Тоней и с дедушкой, — полувздохом говорит она, — нам с Тоней было по семнадцать лет...

Отъезд в Ялту близился. Уехать из Севастополя, не увидев «Севастопольскую панораму»? Мама, преодолеваясь, поехала с нами. Мы уже знали о героях обороны, Нахимове, Корнилове, Малахове, Истомине: Маруся знала наизусть знаменитые строки Ростопчиной, и я повторяла их вслед за нею:

Двенадцать раз луна всходила  
И заходила в небесах,  
А все осада продолжалась,  
И поле смерти расширилось  
В залитых кровию стенах...

И вот мы далеко, высоко над городом, и, затмевая туман дали и моря, отделяет нас от них круглая, как маленький



горизонт, картина Севастопольской обороны. Медленно поворачиваемся мы, охватывая глазами нескончаемое полотно, впивая облики всех борющихся, падающих, всех, кто, презрев десятки лет, презрев смерть, все еще живут здесь — чтобы помнили их потомки. Что общего было в панораме с генуэзским Кампосанто? Но мы сразу взглянули друг на друга, Маруся и я. Легкий кивок. Вспомнить другое сейчас она не могла. И не для вопроса, и не для сообщения — просто от долга назвать кто-то из нас: Кампосанто...

Море до Ялты так качало наш пароход, что мы обе измучились. Мама же не страдала от морской болезни, папа тоже. Маруся выражала свое отношение к качке непрерывно, не отходя от борта. Я крепилась долго. Но в миг, когда показалась «красавица Ялта», меня неудержимо повлекло к борту. Кто-то держал меня. Больше я ничего не помню.

## Глава 2

ЯЛТА. ЗАРЕЧЬЕ. СЕМЬЯ ВЕБЕРА. ПРИЕЗД ВОЛОДИ  
ЦВЕТАЕВА. ПАРК ЭРЛАНГЕРА. ПЕРЕЕЗД НА ДАЧУ  
ЕЛПАТЬЕВСКОГО. ЯЛТА ДАРСАНОВСКАЯ.  
НАША ХОЗЯЙКА И ПАНСИОНЕРЫ. НИКОНОВЫ

Широко раскинувшийся правый бок Ялты — Заречье. Там мы поселились на даче старика Вебера, называвшейся «Квисисана», по-итальянски «Здесь излечиваются». Двухэтажная, в саду, обвитая зеленью. В комнатах было темновато. Это маме не нравилось. Жили мы на первом этаже. Дули осенние ветры. Погода и жилище были неудобны. Но Маруся и я носились в восторге от новизны и неожиданностей запутанного сада, новых людей, голосов, запахов. Что может быть упоительнее незнакомых мест со всей их таинственностью — в детстве и отрочестве?

Семья Вебера — странная, нам непонятная, и в этой несхожести с другими семьями нам — как рыбе в воде... Сам доктор Вебер — старый, обросший сединой, и в нем — важность. Он недоступен: появляется, проходит — на фоне своей семьи, в которой не ясны отношения. Жена его — больна. Я ее не помню. Из детей знаем старшую, Веру. Бледная, круглолицая, темноглазая, с двумя темными косами,

упрямая, своевольная, сразу становится кумиром Маруси. Той страсти, с которой Маруся вглядывается, старается вжиться в это пленительное воображенью видение, уже навстречу идет слух: Вера — революционерка... Какие-то люди ее окружают, она говорит мало, серьезна и гневна — и не в том ли тайна семьи, что между нею и родителями — спор о революции? Минуя свою сверстницу Олю, Маруся рвется к старшей.

Занятые устройством на новом месте и вопросом маминного лечения, мама и папа, давшие нам свободу (пока еще не найдя нам учительницы), не знали о новом в Марусиной жизни. Пока я в дождливые дни упивалась жизнью чужой, давно утраченной, детской, Маруся пропадала в одной из дальних комнат, у Веры и ее друзей.

Сад ли Вебера выходил к морю, как сад Миллера в Нерви? Берег моря звался Чукурлер. В этом странном слове — глухие звуки прибора, осеннего, свинцового, холодный ветер, крупные серые круглые камни и мы с Шурой Вебером — худым, круглолицым, приветливым. В чем была *тревога* в нашем «у моря»: убежали ли без спросу? Догоняет ли нас младшая девочка (лет восемь) или мама болеет и ждут врача? Или снова «буря на море»? Только в нашу любовь к морю клином входит обида: не то море! Нет скал, вместо Володи, родного, — милый, но малознакомый Шура. Недовольство папы и мамы дачей Вебера, возможность отъезда... Но запах моря! Он пребывает! Мы кидаем в волны камни, и почему-то вдруг, остро, печаль: нет Лёры! Так она далеко!

К нам ходит учительница: Мария Ивановна Кандыкина — высокая, грузная, пожилая, резкая, с низким голосом, темная, с проседью. Мы учимся хорошо, как всегда со страстью делаем уроки. Нас хотят подготовить к весне в четвертый и второй классы гимназии. О Марусе сомнений нет; а я сильно забыла русский. На предварительном экзамене у батюшки на вопрос «Кто был Иосиф?» я запнулась, забыв слово «плотник», покраснев, ответила: «Он был ein Zimmerman» (*немецкое* — «плотник»). Батюшка улыбнулся, потрепал меня по плечу. Не помогли «Histoire ancienne» («Древняя история») лозаннской зимы, ни география Баденского герцогства и города Фрайбурга! Но я быстро осваивалась с русским правописанием (как Маруся, обладала

зрительной памятью). И (тут уж мы расхотелись с Марусей, арифметику ненавидевшей как вид насилия) я увлеклась решением задач. Мария Ивановна нас хвалила. Но и она, как все здесь, не нравилась маме.

Сколько мы прожили в «Квисисане»? Недолго. Папа искал другую квартиру нам с мамой перед тем, как вернуться в Москву, к Лёре, Андрюше, Музею. Смутно помню я затем происшедшее: между нами и Веберами «пробежала кошка». В этом какую-то роль сыграла Маруся. Восторженно, но неосторожно ею кому-то о Вере сказанное дошло до ушей ее отца. Между ним и дочерью произошло неприятное объяснение. За это ли бранили Марусю? Или испугались за Марусю, что она, уж слишком не по летам, сблизилась с революционным кругом Веры? Быстро было принято решение о переезде. Скоро мы будем жить в левой, противоположной Заречью стороне Ялты, на Дарсановской горе, на даче писателя (его в Ялте не было) С.Я.Елпатьевского. Он печатался в сборниках «Знание» — мама его читала.

Как-то мы сидели с мамой на увитой диким виноградом террасе «Квисисаны», когда, скрипя гравием, к нам стала подходить худая, остроносая дама. Она еще издали улыбалась, и что-то «ужасно знакомое», до почти испуга (потому что не узнаём все-таки...), было Марусе и мне — в ней. За ней шел мальчик — подросток в гимназическом мундире, черноглазый, прямоносый... И в то время, как мама вставала навстречу, мы уж молнией неопровержимого знания — Володя! Володя Цветаев, тот самый маленький, бойкий, одержимый страстью к паровозу — в Варшаве, на вокзале, три года назад. Наш двоюродный брат, сын дяди Мити! Просто, родственно, стремительно и весело началась наша дружба. Уже полубасок Володи рокотал вопросами о загранице — короткие, неожиданные, мужского склада вопросы. Он сыпал рассказы сочные, мужественные, не лишённые мальчишеской похвальбы — и слушал наши рассказы об Италии, Шильонском замке, пансионатах. Пока его мать, Елизавета Евграфовна, беседовала с мамой, сочувствуя ее болезни, давая дельные, заботливые советы, стараясь наполнить маму бодростью, верой в выздоровление, мы уже обошли сад. Володе он был мал; он звал нас в свой, в известный ялтинский парк Эрлангера,

где они с матерью остановились. Мама ласково смотрела на Володю — ее неисполнившаяся мечта о сыне — и такой удачный, способный, энергичный! Елизавета Евграфовна не чаяла в нем души. У Володи, как у нас, по всем предметам пятерки. На другой же день мы пошли к ним. Огромный холмистый парк Эрлангера, воля, прыжки огромного рыжего пса Бушуя, Володина меткая стрельба из рогатки, задор, энергия, бьющая через край. Рассказы четырнадцатилетнего — обо всех невероятных вещах на свете — и тяжелые кисти винограда, синего и зеленого, которым он щедро нас угощал, — все это было как будто из книги — отдельная веселая глава. Гостеприимная мать старалась повкусней и пообильней нас накормить, спрашивала, что мы любим — и какие сорта яблок, груш, винограда — на следующий день все это нас ждало. О японцах, войне, проигранной, Володя говорил как взрослый.

Мы куда-то шли с Володей. Он распутал мальчишек рогаткой, погнался за ними — не мог без борьбы и побед. Нам нравилось его обхождение с нами: в нем не было пренебрежения к «девчонкам», бывшего в нашем брате Андрюше, — он был дружелюбен, открыт, прям — жаль было расстаться! Они уезжали в Москву. В последний раз над уже почти нашим парком Эрлангера пронеслись облака; за нами летел огромный, пушистый любимый Бушуй... Завтра уж мы тут не будем!

За столом у Веберов только и разговору, что о постыдном мире с японцами. «Шапками» думали их закидать, а отдали Сахалин, Порт-Артур! «А Курильские острова?»

Ялта! «Красавица»! Как понятно стало это ходячее слово, как только мы очутились на Дарсановской горке! («Горкой» своей, не умаляя ее величины, она стала с первого взгляда. Наша горка! Как наша дача в Тарусе, никогда «нашей» на деле не бывшая.) Насколько темна и туманна наша та — заречная — Ялта, настолько ясна (точно вчера это было!) Ялта дарсановская. Вверх, вверх, меж стенок садов, идет, изгибаясь, дорога, мимо аптеки, женской гимназии, мимо дворца эмира бухарского, пока не упирается в дачу Елпатьевского: белая, двухэтажная, с двухэтажной террасой в полдома шириной, свободная от тени и зелени, открытая ветру и взгляду на море, которое внизу, далеко за домами города,

высокой сизо-синей чертой. За дачей — округлость горы, пустой, вольной, обитаемой только собаками, которых там стая — диких, голодных, чуждых, с которыми начата жаркая дружба, подкрепленная жарким кормлением. Все, что можно и что нельзя, уносится нами в их стаю.

Жизнь на новом месте устроилась сразу, ясно и прочно. Лечить маму стал доктор Ножников, лечивший пол-Ялты. Седенький старичок. Он разрешил маме неподолгу играть на взятом напрокат пианино, навещал ее часто. Но сколько я ни старалась, не могу вспомнить ни одной маминой прогулки на даче Елпатьевского. Садик был невелик, сзади переходил в горку.

Папа уехал в конце осени и часто писал нам. Пока позволяла погода, мама много часов проводила на верхней террасе, где сперва стоял и обеденный стол. Наша хозяйка, Елизавета Федоровна Лузина, снимала на даче Елпатьевского весь второй этаж и от себя сдавала жильцам комнаты. Нам она сдала две смежные: большая была мамина, меньшая — Марусина и моя. Из маминой комнаты была дверь на террасу. Туда же выходили двери других жильцов.

С наступлением холода столовая перешла в дом. Жили как одна семья: тепло входили в вопросы здоровья друг друга, если кто болел — навещали, предлагали услуги, помощь. За столом, куда выходила и мама, было весело. Беседа не умолкала. Хозяйка была хлебосольна. Ее речь, своеобразная, комичная, придавала веселье дням. Пожилая, полная, быстрая. У нее смуглое, остроносое лицо, когда-то красивое, карие глаза. Вся ее жизнь — быт, она пышет им. Постоянно, того не зная, говорит смешные вещи. Через каждые несколько фраз она вспоминает свою дочку Манюшь, ждет ее приезда. Все уже знают, что Манюшь выходит замуж, что ее мужа зовут Федюшь. Мы же, за глаза, зовем ее «хозяйка» — это слово к ней очень идет. Кроме нас, у нее еще трое жильцов: средних лет «хохол» — высокий, полный Прокофий Васильевич, добродушный, словоохотливый, ласковый. У него длинные, пушистые рыжеватые усы и бородка, серые глаза. Его сосед, Зиновий Грацианович, много моложе, миловидный, безусый, легко краснеющий, немного застенчивый. Их соседка — бойкая девушка, армянка, смешлива, упоена молодостью. К ней, кажется, не-

равнодушен Прокофий Васильевич. Эти тесно сжившиеся люди охотно принимают маму и нас в свой круг. С Марусей говорят как с почти уже взрослой; видя ум и талантливость ее, самолюбие и застенчивость, не могут с ней взять шуточный тон. Со мной он усвоен всеми, и я на него иду. К маме хозяйка очень заботлива. Мы все под ее крылом.

За окнами столовой, за покинутой нами террасой, бушует норд-ост. Большая керосиновая лампа освещает всех нас. Ужин позади, Марусе и мне надо кончать готовить уроки, но мама еще не встает из-за стола, и мы тоже медлим, слушая обычный меж современных нам людей спор. Уже второй год спорят о японской войне. О роли России, о политических партиях, поднимающих — 1905 год! — своих приверженцев на неустанное выяснение мнений, суждений более или менее революционных платформ. Чем бы ни начался разговор, он непременно переходит в спор о политических убеждениях. Прокофий Васильевич — самый «левый» из всех, Зиновий Грацианович — чуть «правей». Тщетно пытаются примирить их веселая соседка — спор не кончается. Иногда и мама вступает в беседу. Ее отточенная речь убедительна, блещет логикой. Неженский ее ум сразу дает ей первое место среди спорящих. Но порой то, что она говорит, встречает в Прокофии Васильевиче мягкое осуждение как слишком «правая» установка. Впрочем, мама говорит редко. Чаще слушает, склонив, как всегда, голову чуть набок, и в уголках ее рта — легкая горькая полуулыбка. Вспоминает ли она те же споры в Нерви, Тигра, Герба? Молчит ли оттого, что все чаще думает и говорит о смерти? Болезнь угнетает ее.

Но как хорошо нам, когда стихает холодный ветер, закатные лучи сквозь стекла итальянских окон и двери на террасу засыпают золотой пылью мамину комнату и вдали видно синевой вспыхнувшее море! Я уже кончила уроки, Маруся учит богослужение — как трудно! С ужасом думаю я: как она понимает? — и наизусть! Я клею «лифт», соображая, как он будет подниматься по навощенной веревочке между стен из коробок.

Скоро придет новый номер журнала «Труд и забава» (папа мне выписал). Мама говорит, что меня надо отдать в Строгановское училище — я все время что-нибудь мастерю. Слова эти влекут меня, но я мечтаю, может быть, выше — где-то во мне

тлеет вера, что именно я изобрету летательный аппарат. Я увлечена Эдисоном, который столько изобрел! Кто-то пошутил, что я выйду замуж за Эдисона и мы вместе уже будем изобретать.

Закрыв испанскую книгу (она учится этому языку) — мама играет. Все та же клетчатая московская шаль у нее на плечах. Шопена играет она и Бетховена, Чайковского, и Маруся на миг отрывается от зубрежки богослужения — у нее светлые, потерянные вдали глаза. Стук в дверь, негромкий. На пороге — хозяйка. У нее умиленное лицо!

— Ну и играете же вы, Мария Александровна! — медово восклицает она. — Сердце так все у меня перевертывается и вывертывается... Хоть бы скорее доча моя приезжала — уж больше ее музыку никто не любит!.. Не помешала?

— Что вы! Пожалуйста!..

Но кашель мучает маму.

Она сама занималась с нами музыкой. Я помню успехи Маруси и мамину гордость ею. Но было одно, что уже начало разъединять Марусю и маму: революция. В то время как мама, прислушиваясь и задумываясь, старалась в хаосе высказываний найти то, что ей всего ближе (кровь ее — отвращала), Маруся рвалась к по-новому ей теперь понятному, в ее тринадцать лет (зрелее, чем в нервийскую зиму), революционному движению. Любовь к Вере Вебер не умерла в ней. Ревниво, как всегда, оберегая своего тайного кумира, она страдала от утраты с присущей ей особенностью: даже имя сказанное причиняло ей боль. Она могла бы ударить меня, назови я — Вери. Но я чуяла ее тоску, хоть и молчала о ней. Над нами жили какие-то люди, фамилия их была Никоновы. Мы не знали их. Там были юноша-революционер и мать его (ходил слух) — тоже революционерка. У них бывают собрания... Марина рвалась к ним, я это знала и не выдавала ее. Путей туда не было. Во дворе я играла с Марусей Никоновой, сестрой Андрея, сероглазой, стриженной, упрямой, нравящейся мне девочкой моих лет. Взбегая с собаками по наружной лестнице, ведшей к ним, я видела маленькую старушку, бабушку Маруси. К ним же идти не решалась.

А день шел своим чередом: с утра приходила к нам Мария Ивановна и мы занимались; спросив заданное,

задав и объяснив новое, она уходила, и мы, чуть вздохнув от учения, пробежавшись по саду и горке с собаками, сидели учиться. Никогда не учились мы — ни до, ни после — столько, как в тот год в Ялте. И, не хвастаясь, удивительно было у нас прилежание: ни мама, ни Мария Ивановна не понукали нас. Сами предметы звали — каждый своим голосом. После окончания уроков был уже темный вечер. Мы не роптали — на кого роптать? Надо же сдать экзамены в русскую гимназию после двух иностранных школ! Зато — как мы отдыхали! С каким рвением кидались на какие-нибудь полчаса во двор — успеть! Всё обежать, наобниматься с собаками — лохматым и грязным Бобкой, желто-белым когда-то, с Топкой, толстяком мышинового цвета, с тяжелой одышкой и глазами навывкате. Он жил на даче через дорогу, у старушек-сестер Карбоньер, и специально приходил к нам. Взбежать на горку, увидеть черту моря, тучи, хлебнуть ветра, приручить кого-нибудь из стана одичавших собак. Иногда я вылетала прямо со ступенек — в игру в «камешки» с Марусей Никоновой, ее подругами Наташей Боровко и Асей Таргонской, избалованной капризницей Асей Розановой, дочкой врача и дачевладельца. Или в прыгалку, считая, кто кого перепрыгает! Раз, в азарте, я чуть не слетела вниз в лестницу погребца — устояла, ошпаренная испугом. В этих играх Маруся не участвовала. Говорит с кем-то, смотрит на лестницу Никоновых, по ней кто-то взошел, и дверь закрылась.

### Глава 3 РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ

Везде разговор о стачке печатников. «Как будем жить без газет? Мы отрезаны от событий». Но в начале октября грянула еще более грозная весть — забастовка рабочих Казанской дороги! Трудно передать общий испуг: небывалое! И тут же — совсем невероятная вещь: все железные дороги бастуют! (Одна, царская, Николаевская, еще действует...) Наконец, гром в небе: *всеобщая* забастовка! Хозяйка бегаёт растерянная: «Как же теперь Манюсю и Федюсю приедут? Вот что наделали ваши лохмачи!» — причитает она, обра-



щаясь к Прокофию Васильевичу. А тот радуется, сияет: «Мы — накануне великих событий! О них мечтали Пушкин, Некрасов...» Но в его радость входит Зиновий Грацианович: «Слыхали?» Его застенчивое лицо возбуждено, голос перехвачен горем: «Читали? Трепов сказал: “Холостых залпов не давать, патронов не жалеть!”» — «Ну, будет теперь везде — этого не миновать! — отвечает Прокофий Васильевич, шагая медведем по комнате, ероша желтый густой мех своей «прически», другой рукой дирижируя в воздухе. — Ничего этим не остановишь! Вот увидите, испугается царь-батюшка!» — «И даст конституцию? Так вы же сами говорили, что не она нужна, а...» — «Манюсь моя, Манюсь...» — причитала хозяйка. Мы выбегали во двор. Издалека, еле слышно — в Заречье? — пели: «Вы жертвою пали в борьбе роковой...» Маруся глядит в ту сторону, откуда звуки, где живет Вера. Похоронный марш. Ветер нес слова, они крепили. «Манифестация, — сказал кто-то, пробегая. — Кричали утром: “Долой самодержавие!”»

И вот 17 октября экстренный выпуск газеты известил всех, что царь выпустил манифест — дал конституцию!

Многие радовались. По улицам шли толпы. Несли портрет царя... «Это только оттяжка!» — говорили другие. «Обман! — твердил Прокофий Васильевич. — Словом думает утешить. Испугался, я же говорил! Но цари — народ хитрый...»

А ветер рвет последние листки с молодых деревьев, лучи солнца все холодней. «В этом прославленном Крыму зима не находка!» — ворчит Прокофий Васильевич. У него снова повысилась температура. Зиновий Грацианович кашляет, приуныл. Только одна их соседка не устает подзадоривать и подшучивать — помогает не сдаваться болезни. А Елизавета Федоровна, внося своим появлением веселье, говорит о болезнях и их излечении таким уверенным тоном, что каждый готов верить, что еще один индюк — такой, так зажаренный — и не будет от чахотки и следа! Или начнет, мимо чахоток, рассказывать — и как тут устоишь! «Моя дочка *такая* хорошенькая!.. — говорит она в упоении, то закатывая, то сощуривая карие глаза, и неожиданно для всех: — Усё кривляется!..»

Над нашим уютом, над размеренным ходом переполненных учением, лечением, дружбами дней прокатился раскат грома: всю ночь над нашим потолком, по полу Никоновых —

стук шагов, возня, глухие, упорные звуки: обыск! Недаром Маруся вчера прибежала особенная с их лестницы. Там было собрание — «нелегальное». Мама, не добившись от нее толку о том, где она пропадала, долго не могла уснуть. «Кого-то увели... — идет утром по дому шепот: — Скрывался?» — «Нашли...»

На губах у всех имя Думбадзе — я не знаю, кто это — кто-то важный. Он над Крымом как маленький царь. Пробегая в аптеку, Маруся и я, — мама разбила термометр, — слышали слово «Думбадзе» в отрывках разговора на улице, приглушенное, называемое с оглядкой. А из Москвы — тревожные вести: на улицах — беспорядки!.. Манифестации, слухи о готовящемся вооруженном восстании, требования отмены смертной казни, студенческие сходки — и опять, как в детстве, слова — «нагайки», «казаки»... Газеты, письма — всё прочитывается мгновенно, со страхом, трепетом, но — «газеты — замалчивают»... «Вчера задержали письмо»... Волна арестов катится по Ялте, на соседней даче был обыск. Мама запретила Марусе ходить к верхним. Нина Васильевна Никонова, высокая, дородная, молодая еще женщина, хоть у нее восемнадцатилетний сын, вчера говорила с Марусей и со мной так ласково... Как странно подумать, что ее «схватят, посадят в тюрьму»... Ореол опасности делает еще милее ее широкое, с ясными глазами лицо с большим лбом. Простое серое платье с высоким воротом делает ее еще мужественнее.

Собирался дождь. Я с ее дочкой, сероглазой, похожей на мальчика, Марусей, забежала в их комнаты. Узкие кровати, чисто, мало вещей... «Как странно иметь бабушку!» — думаю я, впивая чужой уют. Красавец Андрей прошел мимо нас. Худой, темные кудри. Над ним — тот же ореол, что над матерью.

...В Москве вооруженное восстание! Газеты приходят неаккуратно, и, в отрывках вестей, в страхе за близких, жильцы нескольких комнат Елизаветы Федоровны мечутся, соединенные встречами за столом, в такой тревоге, точно у всех нас — 40° температура. В Москве — папа, Лёра, Андрюша. У хозяйки — Манюсь и Федюсь. И у всех — друзья, родственники... В Москве — битва! Давно ли по улицам Ялты шли демонстрации, приветствовавшие Манифест 17 октября, в котором царь давал народу конституцию...

Но она оказалась — обманом? Спор за нашим столом не смолкает. Названия партий кидаются в бой друг с другом, как живые существа. Мама, определявшая себя как ближе всего стоящую к программе ка-де (конституционалистов-демократов), поверившая было манифесту, с волнением читает последний выпуск экстренной телеграммы. От папы пришло только одно письмо, — и снова нет. В эти дни тревог все с полуулыбкой открывают у меня «дар предсказания»: «Сегодня газеты не будет», — говорю я, и — газеты нет. «Сегодня не будет, а *завтра*», — и завтра газета приходит. «Вот не будет — не будет», — продолжаю я следующие дни. «Не будет», — повторяю, уверенно следуя своему «чутью». И газеты нет. Мама и другие слушают уже со вниманием: я не ошибаюсь. «26-го (помнится, так?), — говорю я, что-то сжав в себе, что-то слушая... — будет экстренная телеграмма!» И день, и два живут, не имея вестей. Все, улыбаясь мне, ждут. Но уже настал вечер. «Э...» — дразнит меня Прокофий Васильевич. «Не надо, — говорит кто-то, — она и сама уж...» Но я — держусь. Я еще ни разу не ошибалась! «*Будет!*» — говорю я упрямо. Но уже темнеет. Мама, усталая от тревоги, собирается лечь. Вдруг, сквозь ветер, сквозь все звуки дома, слух улавливает далекое, будто растущее... Крик! Мы выбегаем, кто в чем, наружу: «Вечерний выпуск! Экстренная телеграмма...»

Зиновий Грацианович, Маруся и я, еще кто-то сзади — галопом несемся с горы. Значит, я угадала!

В этом ли выпуске или в следующей газете, до или после, не помню: мама, нагнувшись над планом баррикад, напечатанным в московской газете, по памяти отмечает недообозначенное — переулки и улицы возле Бронных. «Наш дом с двух сторон в опасности, дети! Я только тем успокаиваюсь, что надеюсь, что папа с Андрюшей и Лёрой переберутся к кому-нибудь, может быть ближе к Музею...» Сколько убитых! А раненых...

Тревожные дни! Сколько их прошло? Какие споры! Одним казалось ясно, что всякое восстание будет подавлено войсками, что кровь революционеров льется напрасно. Другие твердили, что это — начало конца монархии.

Мамин страх за наших домашних кончился с письмом папы: все живы, из дома уходили на несколько дней. Хозяйка звала и звала свою дочку. Та — собиралась. «Вот уви-

дите, какая моя Манюсь! — говорила хозяйка. — Как цветок! Да и Федюсь, пишет, не хуже!»

Ялта, зима 1905—1906 года — первый год, когда я совсем не помню дней Рождества. Было ли это в дни тревог о Москве? Неужели не было у нас елки? Наверное, хозяйка ее нам устроила. Была, конечно. Но в моей памяти ее нет. Кумиры Маруси множились: героиня Мария Спиридонова, пострадавшая от насилия казачьего офицера. Лейтенант Шмидт! Много написано о них, я не берусь за такую задачу, я только хочу сказать, какие имена звучали в тот год, как пылали сердца о черноморском крейсере «Очаков», как гулко неслась весть о гибели людей, шедших на смерть. Как в хаосе споров о том, не за фантом ли бьются люди, не зря ли кладут свои головы, возможен ли переворот в России и к чему приведет он в такой отсталой стране, — во тьме черноморской ночи над тьмой смертного приговора глядели в душу Маруси глаза обреченного лейтенанта Шмидта. После вести о суде над ним и о его казни Маруся замкнулась в себе, таила от старших свою потрясенность. Это была рана. Она не позволяла прикасаться к ней.

#### Глава 4

##### ВАРВАРА АЛЕКСЕЕВНА БАХТУРОВА. УЧЕНЫЕ. МАМИНА БОЛЕЗНЬ. ПРИЕЗД ПЕШКОВЫХ. «ОЧЕРКИ ДЕТСТВА» ЮШКЕВИЧА

Маме наконец удалось найти нам другую учительницу, как ей давно хотелось. Нам жаль — мы уж привыкли к суровой, но доброй Марии Ивановне. Вот уже и с ней расставание... Нашу новую учительницу зовут Варвара Алексеевна Бахтурова. Она — горбатая, у нее милый голос, глубокая улыбка, светлые глаза, русые волосы. Живет она на даче Карбоньер, где пес Топка. Сперва она стала ходить к нам, затем, ввиду маминой болезни, предложила заниматься у нее. Мама согласилась — Бахтурова ей пришлось по душе: в ней сочеталась искренность с тонкостью, непосредственность ласковости — с умом, дальновидностью. В такие руки не страшно было отдать нас. Мы же с первого урока привязались к новой учительнице с радостным жаром. Она сразу стала нам родным человеком, учение с ней — праздником. Было сходство

в ней с Кошечкой (А.И.Доброхотовой), но та была серьезней, тише, малоречивей. Варвара Алексеевна была веселой, разговорчивой, горячей, шутливой, и в дни, омраченные маминой болезнью после прошлогоднего рецидива, вошли веселая ласка, нежность. Видно, и она быстро полюбила нас. Учила чудесно, была очень требовательна, задавала много, и огорчить ее было нельзя. Мы стали еще прилежней. Шли мы на урок — бегом, врвались в тихий сад — навстречу Топке, сопевшему и поднимавшему короткие серые лапы, чтобы поздороваться. А Варвара Алексеевна уже весело нас приветствовала — горбатая, ласковая, прелестная!

Я стала, прощаясь, тереться о нее головой, за мной и Маруся, а длинные, с тонкими пальцами руки прижимали наши две головы, и доброе худенькое светлоглазое лицо ее сияло счастливой гордой улыбкой. Да, в ней была гордость, и мы это любили в ней. Это была легкая льдинка в ее веселой ласковости, упрочившая во всей интимности ее обращения — неизменное достоинство старшей.

И еще одна радость вошла в наши дни — новый друг: белая большая гладкошерстная собака, не по породе, а просто именем — Лайка. Она жила на лестнице никоновской квартиры, и Маруся вместе с нами двумя в холодные вечера устраивала ей «берлогу» из тряпок — на площадке лестницы. Собака была веселая, озорная, полюбила нас безраздельно, стала украшением нашего дня. Вместе мы взлетали на минутку на горку — дикие псы почему-то Лайку не трогали — и слетали вниз, кувыряясь друг через друга, чтобы через мгновение расстаться — до следующего дня. День был набит делом до отказа: уроки с Варварой Алексеевной, урок музыки, бег в аптеку для мамы, обед, снова уроки, чай, снова уроки — до ужина, а еще чтение, и еще кому-то письмо, и еще... И среди этой занятости — встреча с Лайкой, с Дарсановской горкой, с ветром, небом звездным, с синей морской чертой, — все это было тоже делом — как задачи, как грамматика, как учебник Закона Божия, как уют короткого вечера с мамой...

А на нашу хозяйку свалилось счастье: наконец приехала Манюся! С Федюсем! *Какой* же в доме поднялся шум! Хозяйка летала по дому, ни на миг не смолкая, по пути успевая швырять на колоссальную плиту нашей кухни сковороды и ставить кастрюли, и над варкой и жаркой праздничных кушаний успевая рассказать, и даже и повторить рассказ,

и помочь Манюшь разложить вещи, и перекинуться словом с каждым из нас, тоже за нее сияющим. Нацеловаться, в слезах, с дочкой, насмотреться на зятя — все же вовремя подать к столу и выйти, не опоздав, навстречу Манюшь (уносящей суповые тарелки) — и с невероятной величины жареным индюком на блюде, которого мы, над сиянием золотого портьейна в рюмках, встретили восторженно! Помню мамину веселую — и все же в углах губ чуть жалобную — улыбку, с которой она смотрела на тех, что сидели напротив, на простое человеческое, женское, мужское счастье, воплотившееся наконец в Манюшь и Федюшь. В расцвете красоты и молодости, смуглая, похожая на мать, но красавица кареглазая, с вьющимися у висков и на лбу каштановыми волосами, убранными в шиньон, с точеными чертами продолговатого лица, пышным и все-таки детски-трогательным ртом, Манюшь блистала взглядами радости на Федюшь и на мать, а та не сводила с нее глаз, и под тяжестью пристального, жадно изучающего материнского взгляда ежилась застенчивый Федюшь, неказистый, ростом меньше жены, широколицый, с рыжими висячими усами и растерянными, большими, совсем светлыми, ребяческими глазами, в которых от рождения не поколебавшаяся доброта искрилась еще и влюбленностью...

С их приездом жизнь стала еще уютней, обеда и ужины еще веселей. Елизавета Федоровна летала! Ее счастье лилось через край, находя выход только в попытках кормить еще вкусней и обильнее. Индюки следовали за индюками, пока не дошли до последнего колосса, кормившего нас несколько дней. Его появление даже застенчивый Зиновий Грацианович встретил «кликаками радости». Эти шумные трапезы в столовой, соединявшие больных и здоровых, сдружившие десяток разных, чужих людей, были контрастом с тревожными вестями из Москвы, с известиями газет, с приходами доктора Ножникова, все более приглядывавшегося к маме. Картина болезни была неясна, необычна. Седенький старичок, столько лет лечивший пол-Ялты, недоумевал. Насколько быстро поддалась болезнь три года назад в Нерви, радуя доктора Манджини, настолько она упорствовала теперь. Ножникову удавалось успешно лечить случаи много тяжелых, а тут... ведь нет каверны — а температура не падает, самочувствие не улучшается... Мама часто теперь лежала. Всю середину и конец дня мы с уроками проводили за большим

столом в ее комнате; он стоял посредине, недалеко от маминной кровати, но к себе близко она нас не подпускала, не целовала — берегла. После ужина она иногда по-прежнему нам читала вслух рассказы из сборников «Знание» — Чирикова, Андреева, Телешова, Горького, Чехова (не было еще двух лет со смерти Чехова — от чахотки). Ярко помню страшный рассказ Серафимовича «Мечь» (в издании «Донской речи») — рыбаки, поймав у своих сетей вора, протащили его на веревках три раза под водой от проруби к проруби. Он еще был жив в первый раз. В последний — это был неподвижный длинный ком льда. От беспощадности этой мести нам захватило дыхание, тень легла на наши полудетские дни.

На мамино горе зима в том году в Ялте была суровая, на море то и дело — штормы. Два итальянских окна ее комнаты, под углом друг к другу (первое — с видом на далекое море) дрожали. Мамин кашель не стихал. И вот однажды ночью яростный норд-ост разбил правое окно, и в темноте к маме с воем и треском влетели куски разбитых оконных стекол, снег, хаос, холод, вой... Бедная мама, с трудом засветив лампу, с ужасом увидела случившееся. Разбуженные шумом, повскакали в соседней комнате и мы, забегала хозяйка, прислуга... Может, и эта ночь принесла ухудшение маме? Должно быть, с тех пор ее болезнь стала обостряться. Мы то и дело бежали в аптеку — то за лекарством, то снова разбит термометр, то вызвать Ножникова... Весна, так опасная чахоточным болезным, близилась, близилась жестокими ветрами и более пугала, чем радовала. Конечно, наши юные годы все же дышали по-своему в этих бурях, для нас родных и веселых, напоминавших Тарусу, детство, нервийские штормы. Летя вниз с горы по извивавшейся мимо дач дороге, мимо (мы уже бывали в ней) женской гимназии, мы успевали заглянуть сверху в сад эмира бухарского (о нем мы знали только имя!), застыть над единственным псом, не сдавшимся нашей ласке, цепным, за что мы и прозвали его «Страшный зверь». Но мы жалели маму, утешали и наперебой помогали ей.

Я не помню отъезда Никоновых. Без Маруси Никоновой мне двор опустел. Без нее, похожей на мальчишку, сероглазой, озорной и ласковой, счастливой своим житьем в деловой и дружной семье, — теперь мы только вдвоем выходили перед сном в темный холодный двор с пропавшей над ним горой, под зимнее звездное небо, прощались на ночь

с Лайкой, оставленной нам с Марусей в наследство; укутывая ее тряпками и глядя вверх, в унисон повторяли недавно прочтенные гоголевские строки: «Знаете ли вы крымскую ночь?», меняя «украинскую» на «крымскую». «Нет, вы не знаете крымской ночи...» Мерные взрывы моря долетали глухо до края города, где мы его слушали — родное, далекое, редко видимое, но несущееся к нам ветрами, тучами, шумом — вездусущее, как небо.

Наверху теперь жили, на месте Никоновых, другие, и эти другие были — Пешковы, жена и дети мамой чтимого писателя Максима Горького. Мы еще их не знаем, но видели, и Маруся уже, кажется, заболевает очарованием этой молодой женщины, стройной, с нежным смуглым лицом. Тонкие черты, мягкие, светлые под тьмой ресниц, прямо глядящие глаза, ласково, и испытующе, и с непередаваемой прелестью застенчивости, грациозной в этом серьезном человеке. Она — революционерка, как и Нина Васильевна Никонова. Что так — мы узнали.

Снова наверх по наружной крутой лестнице идут, вечером, неизвестные люди, снова Маруся рвется туда — там собрание... Только что начала она себе завоевывать место среди приходивших к Никоновым, с ней говорили как с равной, интересовались ее стихами (теперь она их прятала от мамы) — и вот внезапный отъезд новых друзей прервал ее тайные хождения наверх! Не зная Екатерину Павловну, не пойдешь...

В эту зиму Маруся встретила с книгой, вошедшей в число ее самых любимых. Она — и взрослая — ее вспоминала, «Очерки детства» Семена Юшкевича. Она и мне дала ее, и мы обе страстно приняли ее в сердце. Что это была за книга! Какое-то зеркальное отображение: тем, юным, было столько же лет, как нам, они жили в русском приморском городе, они слушали те же революционные песни, и была в книге весна, и была, как у нас, гора, куда они выбегали, в ветер, — они просто вышли из книги в наш дом и сад и стали жить с нами. И был там калека Алеша, ему было четырнадцать лет, его навещали друзья, крепкие и здоровые, они слушали его рассказы, а он им рассказывал — сны. Сны у него — продолжались; в них разворачивались события, он там был сильным и мужественным, он боролся за угнетенных, делал чудеса храбрости. А жизнь, в которой он пробуж-



дался нищим калекой, он считал дурным сном и верил, что вся неправда, что его окружает, кончится, сон — доснится!

Маруся прятала книгу себе под подушку, не расставалась с нею.

## Глава 5

### РЕВОЛЮЦИОННАЯ ЯЛТА. МАКС И КАТЯ ПЕШКОВЫ. ДРУЖБА С ВАРВАРОЙ АЛЕКСЕЕВНОЙ. СТРАСТЬ К УЧЕНЫЮ. МАРИНИНЫ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ СТИХИ

В Ялте продолжались аресты, обыски. Думбадзе и его помощники после московского восстания работали с еще большим рвением. Называли имена и новых, присланных из Москвы для водворения порядка, и за нашим обеденным столом как никогда разгорались споры. Неуловимая чуждость реяла между мамой и Марусей. Слушая мамины утверждения, что наилучшей является платформа конституционалистов-демократов, умеренная, бескровная, Маруся только крепче сжимала — недобрые сейчас — губы, и в углах их затаивалась тень насмешки. Там, наверху, не то говорили! По России шла волна покушений. А я, не входя во все это — мои одиннадцать лет были еще детством, — играла во дворе с сыном Екатерины Павловны, восьмилетним Максом, чем-то похожим на Володю Миллера, — озорным, лукавым, застенчивым. Сияющие глаза, как у матери, смелостью преодолевающие природную застенчивость взгляда, подвижность, шаловливость — все нравилось. Будь он старше — это была бы настоящая дружба. О сестре Макса, Катюше, чудной пятилетней девочке, говорили, что она похожа и на мать, и на отца. По Ялте ходил рассказ, может быть, выдумка, — что когда, незадолго, приезжал туда Максим Горький, остановился у жены, с которой уже разошелся из-за актрисы Андреевой, они сидели на балконе, и бинокли всей Ялты были направлены на балкон той дачи. Заметив это, Горький будто бы встал, раскланялся и задернул занавеску террасы.

Катя была другая, чем Макс: сосредоточенней, серьезней, она уговаривала брата, когда тот кидался (очень любил и метко кидал) камнями или хвастался. Она неизменно, как старшая — а была года на три моложе, — усовещивала его. Го-

ворили, у нее музыкальный слух. Она была очень правдива, не капризничала, как дети ее лет, и мы, старшие дети, ее не только любили — уважали. Макс тоже не обижал ее. К нам во двор приходили сестры Боровко — Нина, моих лет, рыже-кудрая, худенькая, бледная, добрая, нежная; чуть постарше Катюши Пешковой — помню кудрявую русую голову ее сестры Наташи. Они жили на своей даче, под горкой, близко, были скромно одеты, что нам нравилось. В те времена дети культурных семей насмешливо встречали детей купечески-мещанского типа, разодетых, нарядных. Мы считали, что это стыдно, смешно. Мы не любили праздничных платьев, их надо было беречь, о них помнить.

Наша дружба с Варварой Алексеевной крепла и крепла. Может быть, мама и ревновала немного, но не показывала вида. Для нас же уроки с ней были — счастье. С книгами и тетрадями мы летели к ней через дорогу, радуясь каждой встрече. Маленькая, легкая, с кокетливой накидкой или платком на плечах, скрывавшим немного ее горб, она шла нам навстречу, протягивая обеим свои длинные и прохладные руки, улыбаясь своей глубокой улыбкой, в которой светились игра и лукавство, постоянное узнавание — ласковое, неосуждающее, — так ли уж велика, как мы показываем, наша любовь к ней, и этот поддразнивающий холодок, веянье прозрачной стенки меж нею и нами делают нашу к ней любовь еще жарче. Мы не можем ее доказать! *Что*, она думает, что ее, горбатую, нельзя так любить? Так мы же, кроме любви к ней, именно этот ее горб любим, горе всей ее жизни — быть иною, чем все, с первых лет детства! Мы ненавидим тех грубых, идиотских детей, которые, может быть, ее дразнили (ведь есть же такие выродки!)... Как бы мы колотили их! Кулаки сжимались, и мы кидались целовать ее.

— Мартыся! — кричали мы вне себя от нежности, как бьет вне себя, ласкаясь, кошка (так наш черный Вася падал от ласковости, устав тереться щекой и ушами), повисали на ней и вместе, смеясь, шли к столу. А там цвели учебники географии, карты стран, островов, морей, там мы могли увидеть точкой на «сапожке» Италии нашу Геную с Гарибальди и Кампосанто, там голубело озеро Леман с нашим Уши, там зеленел и золотел долинами и лесами нами покинутый

Шварцвальд! Сжатые в четырех и шести строчках условий задач, открывались немислимые глубины, от которых с ироническим высокомерием отворачивалась, преодолев их, Маруся. В них с наслаждением, как в загадочных картинках, купалась я — как в тех бассейнах, из которых и в которые выливались-вливались «одновременно» трубы и откуда я тащила, как хвост ребуса, как Кощееву смерть из яйца, проглоченного уткой, — тех самых купцов с их аршинами бархата и сукна и все тайны именованных чисел и головокружительных измышлений и сочетаний, которыми, как огнем вулкан, дышал учебник арифметики Евтушевского с задачами по 12—15—20 действий — и больше! Там Маруся раскусывала орехи дробей и кидалась в хитросплетения русской истории: в имена князей и царей, хронологию войн и воцарений, во мрак Чингис-ханов, Батыев... И не там ли она забыла учебниковы азы стихосложения, на этом ученическом столе своих тринадцати лет, — чтобы в тридцать, уж давно став первоклассным из первоклассных поэтов, иметь право недоуменно сказать: «хорей? дактиль? анапест? и еще какие-то? А ей-богу, не знаю... Писала как слышу...»

Дожила ли до Марусиного литературного имени Варвара Алексеевна Бахтурова, так нежно любившая свою блестящую ученицу, так любимая ею?

Иногда, посланные мамой купить что-нибудь, мы, пробежав длинный путь с Дарсановской горы в город, на набережную, вылетали к морю, в его стихию, пену и блеск волн, оглушительных, грозных. Стояли, зажав покупки, чтоб не утратить их, как сон, в соленом сверкающем грохоте, вдруг, на миг, в бреши наших занятых дней дыша — и как надыхаться? — нервийской свободой! Италией! Детством! С которых прошло уже три года... *Всего — три?*

Это было в марте. В конце? Была ночь. Мы проснулись от голоса мамы, звавшего. Это был странный голос. Мы бросились в ее комнату (дверь к ней всегда открыта). В свете свечи, мамой зажженной, мы увидели ее изменившееся, полное ужаса — и все-таки самообладания — лицо, услышали слово, так часто звучавшее в последние годы — о ком-то!

— Кровохарканье! — глухим, слабым, не маминым голосом выговорила мама. В руке ее была чашка, наполовину полная — темным.

И в то время, как глаза ее, на нас глядевшие, говорили: «Конец...», голос сказал:

— Дети, разбудите хозяйку... к Ножникову! И — лед...

Кто-то из нас бросился к Елизавете Федоровне, кто-то остался с мамой.

Я больше ничего не помню об этой ночи. Не могу ее вспомнить. Как папину ночь, когда горел Музей. В наши комнаты вошла и в них поселилась — болезнь. Не та, что в них жила до сих пор. До сих пор маму доктора, даже Ножников, ее состоянием недовольный, отличали от других больных. С этой ночи мама вышла на дорогу, по которой шли все. Длилась весна, опасная для чахоточных. В первый раз за все четыре весны мама встретила ее как тяжелобольные: кровохарканьем. Сколько пролежала мама с холодом на голове, глотая кусочки льда? Мне кажется — долго... Она гнала нас, мы старались возле нее задержаться. Бедная мама!..

Насколько я помню, кровохарканье не повторилось. Но мама лежала, глотала лед. Каверны не было, так говорил Ножников. Значит, была надежда. Но мама порой подолгу глядела на нас, занимавшихся за столом, молча, с тяжелой печалью. Не раз повторяла: «Вырастете, и я вас не увижу... какие-то вы будете?» В другой раз, с горькой улыбкой: «И подумать, что *каждый* прохожий сможет вас увидеть, а я — не увижу!..» Мы, конечно, кидались к ней, споря, переубеждая, напоминая отъезд из Москвы и выздоровление в Нерви, но она останавливала нас жестом (не допускала к себе) и словом: «Тогда было другое»... и она более не говорила, что устроит нам в бывшей детской — две комнатки, не называла слово «Москва»... Карие, жалостливые, добрые, более не гневные уже глаза ее казались особенно велики и яркие; на щеках — характерный для чахотки румянец. Пряди волнистых темных волос надо лбом, высоким. Горькие складки у рта. Только раз я помню гнев на ее лице в эту зиму — но, может быть, это было *до* кровохарканья: она была на ногах и пылко выговаривала Марусе за самочинный уход наверх к Никоновым. Мама старалась (и бессильно страдала, что до дочери ее слова не доходят) объяснить Марусе, что «не в тринадцать же лет», — но Маруся упорствовала, волновалась, дерзила. Мама шагнула к ней — резко, рука ее, державшая книгу или тетрадь нот, было взмахнулась, лицо исказилось от гнева. Маруся стояла в полуоборонительной, но не

уступающей позе (плотная, в очках, волосы в косу, покрасневшая). Мама мгновенно овладела собой, опустила ноты. Я стояла, замерев, по ту сторону стола, молча глядя. Я боялась, что случится что-то, чего не видала меж нами и мамой. Но мамина воля взяла верх.

А весна — наступала: менялись краски моря и неба, зацветали веточки в садах, у подножья Дарсановской горки пахло землей, ветер нес запахи. И мы, после глыбы занятий, из комнаты, пахнувшей лекарствами, выбегали с Бобкой и Топкой, с красавицей Лайкой, по-собачьи нюхали воздух, узнавая весну, мгновенно одуревая от мчавшихся облаков, ветра, смеси холода и тепла, детских голосов, мячей, прыгалок, арсенала весенних дворов... И — на горку! Округлую, пустынную, где еще больше ветра и тишины и откуда видна вся Ялта с далеким краем Заречья и «Квисисаной», где осталась часть сердца. Друзья из собачьей стаи, которых мы кормили и которых, худых и огромных, ласкали, выбегали к нам неизвестно откуда. По морю шли пароходы, напоминающая о «Потемкине», об «Очакове», лейтенанте Шмидте... Кротко горели первые звезды. Со вздохом мы шли назад.

В эти дни к маме дошли — сама ли Маруся дала их, по своему желанию или по настоянию мамы, о них услышавшей, — стихи Маруси, — не всё, но я помню их:

Не смейтесь вы над юным поколеньем!  
Вы не поймете никогда,  
Как можно жить одним стремленьем,  
Лишь жаждой воли и добра...  
Вы не поймете, как пылает  
Отвагой бранной грудь бойца,  
Как свято отрок умирает,  
Девизу верный до конца!  
.....  
Так не зовите их домой  
И не мешайте их стремленьям, —  
Ведь каждый из бойцов — герой!  
Гордитесь юным поколеньем!..

Я не знаю, что сказала об этих стихах мама. Знаю, что ее тревога за Марусю росла: боясь оставить ее в этом переходном возрасте, когда та могла, не зная людей, принять

стекло — за алмаз, она горевала. Сама не найдя себя в сфере политики, только пытаясь назвать в ней своим — умеренное прогрессивное течение, она боялась ошибок в Марусе, чрезмерностей — и уже видела, что бессильна ее уберечь.

Новые друзья появились у Маруси: в нижнем этаже поселились муж и жена Фосс, с маленькой дочкой. Он был высок, худ. Она — миниатюрна, пышноволося (волосы надо лбом, напуском), русая. Лучащиеся глаза, сама женственность. Маруся стала ходить к ним, читать им свои стихи. Фоссы были революционеры. Маруся ходила меж нас, детей, как ходит раненый зверь. Озираясь, таясь. События революционные, ею осознанные, — Гапон и расстрел рабочих, мирно шедших к царю (с иконами! и петицией), подавленная (с портретом царя!) демонстрация, судьба Марии Спиридоновой, казнь Шмидта. Закусив губы, со свойственной ей в случаях увлечения или страдания, мало сказать, «замкнутостью», — она сторонилась всех движением затравленного. Брезгливо и гневно она подозревала всех (особенно близких — маму, меня и тех, что садились с нами за стол — хозяйку, Манюсю и Федюсю, даже доброго Прокофия Васильевича, самого революционного из всех в нашей квартире! — в желании подсмотреть и подслушать ее мучения о героях, заглянуть в ее страсть к революции, к будущему. В эти часы она отдалялась от мамы, Варвары Алексеевны, от всего, что еще веяло — детством. Лёра была теперь нужна ей — вот кто! Лёра, ее главная, ее вечная защитница с детства, Лёра, которая ее так любила и отличала, так ценила ее стихи и которая встала бы за нее горой! Всегда без шума, лаконичными словами, отвертывающимся от громких объяснений движением, умело не тревожа мамину болезнь, она не побоялась бы и маме сказать, что Маруся уже — не ребенок, что ей нельзя *запрещать* (это Маруся знала). Но Лёры, именно Лёры, не было с нею! И Марусе надо было самой зализывать и эту рану. Глубоко ли входила в ее сознание болезнь мамы в эту трудную для самой Маруси пору? Думаю, острием, как и все, что вонзается в сердце (никогда она еще не была так неровна и резка, как в ту зиму). Вокруг — только и слышно, что: «забастовка» — «расстрелы» — «каторга» — «долой царя» — «долой самодержавие» — «провокация» — «шпик» — «охранка» — «жизнь» и «долой смертную казнь», — и, перекрывая маминих Шопена, Шумана, Шуберта, Грига, Моцарта и Бетховена,

с детства знакомый хор из «Жизни за царя» и Ванино: «От-во-ри-и-те...», — несутся звуки «Варшавянки», «Марсельезы» и по-русски:

Отречемся от старого ми-и-ра,  
Отряхнем его прах с наших ног,  
Нам не надо златого ку-ми-и-ра,  
Не-на-вистен нам царский чертог.

И жалобными, странными, какими-то призрачными крыльями траура веет в воздухе, над солнечной Ялтой, детьми, собаками, кавернами и лекарствами, всегда хоровое, родное, непобедимое:

Вы жертвою пали в борьбе ро-ко-вой  
Любви без-завет-ной к наро-о-ду...

Горло в ком: похоронный марш!

А дома все тот же стол недалеко от маминой кровати, все те же задачи Евтушевского, география и богослужение, части речи, члены предложения, все те же мамы сборники «Знание» с ее любимым Горьким и Леонидом Андреевым, все та же ее повышенная температура...

## Глава 6

### ВЕСНА 1906 ГОДА В ЯЛТЕ. ЭКЗАМЕНЫ. МАССАНДРА. ПРИЕЗД ТЕТИ. ПРОЩАНЬЕ. ОТЪЕЗД

Экзамены медленно приближались. Варвара Алексеевна познакомила нас с начальницей — полной, строгой, приветливой — и с ее племянницей Манефой Николаевной, молодой учительницей немецкого языка. Не готовясь по языкам, ибо знали французский и немецкий не хуже русского, мы, хорошо помня французские времена глаголов, некоторые разделы немецкой грамматики знали нетвердо, и потому было решено, что Манефа Николаевна позанимается с нами. И вот мы ходим к ней в женскую гимназию, в ее комнатку, где вместо двери — по тогдашней моде — висит завеса длинных прозрачных бус и, пропуская

нас, они шелестят и струятся, как будто мы входим в лес или в воду. Наша учительница мила, миловидна. Учиться, учиться! Но страницы немецких глагольных групп, двенадцати, кажется, которые мы, бродя по саду у Дарсановской горки, учим наизусть, — тяжки. Одолеваем и их. После них — так чудно прыгать, гоняя камушек по земле из квадрата в квадрат, и ссориться в игре с Асей Таргонской и Ниной Боровко. Но Макс бежит! Он чуть не попал камнем в доктора Ножникова — стесняется. И вот я несусь по саду, таща его на плечах: я — конь, он — всадник. А Катя стыдит Макса: «Асе же тяжело...»

А как чудно, найдя свою мечту в журнале «Труд и забава», воплощать ее шаг за шагом — калейдоскоп! — резать, обмеривать диаметр стекла (его — в воде — ножницами — два круга!), клеить призму из (мама позволила, заплатила, стекольщик нарезал) трех стеклянных полосок; на черной бумаге, снизу подложенной, они — как бледное зеркало! И — главный труд: бить в тряпке молотком горстку разноцветных стеклышек, долго заботливо собираемых... Синие, желтые, зеленые, одно — красное... И когда все кончено — вечера отречений от игр и детей, — прильнув глазом к еще не оклеенной трубке, плотать жадное волшебство многоконечной звезды, брызжущей звездами, струйками, коронами и венками, пестрым ворохом друг в друга падающих цветных снежинок, гномьих сокровищ! И — передавать, бережно, трубку маме, с любовью ее берущей, не могущей на меня наглядеться, как я на те звездочки, улыбающейся нежностью и печалью в мое счастье, кричащее ей:

— Мам, мам, не поворачивай, смотри *так*, так держи: ожерелье зеленое — и лиловое! А то красное стеклышко — отразилось везде и везде — как твой рубин, на коронках, зеленых...

— Прекрасно, Ася... Очень красиво! Непременно тебя отдадим в Строгановское... — Мама сказала: *отдадим* — значит, она не умрет!..

Шла самая трудная наша пора: повторение курса всех предметов — к экзаменам. Это был чад работы и радости — мы сдали первый на пять, второй на пять... Стояла изумительная весна. На еще нежную жару дня падали поздние теплые сумерки, окунаясь в прозрачно-синюю ночь. Мы видели



только первые звезды: когда над Ялтой опрокидывалось звездное небо — мы уже спали: надо было рано вставать, повторять, повторять...

Мамина болезнь почти прекратила Марусины уроки музыки, и это было добавочное мамино горе.

Ялта — в цветущих садах — была вся как огромный сад. Уж начиналась летняя жара. Цвет моря был совсем другой, чем зимой, оно напоминало Италию, хотя Средиземное было зеленой. Мы ждали папу, он писал часто и собирался к нам — за нами, везти нас в Тарусу. Таруса Марусе и мне представлялась еще как сон. Мы еще не чувствовали отъезда. Экзамены брали силы и время, остальное шло на вечера с мамой, на бег. Мы всегда бежали — в аптеку за мамиными лекарствами, к доктору Ножникову. Знакомый путь, вниз, с горы, мимо дворца эмира бухарского, женской гимназии, теперь уже не страшной, а своей, где мы одну за другой одерживали победы, где нас хвалили и знали... «Страшный зверь» все так же лает на нас (на нас, глупый!), и шум моря все ближе и ближе... Ступени, шелестя, жарким ритмом отбрасывают пространство; какая радость в беге!

Наконец последний экзамен сдан! Многовершинная гора с плеч. Даже не верится, что кончены часы с задачами по пятнадцать—двадцать действий. Вставала ли мама играть после кровохарканья? Музыка! Мамина жизнь! Они ушли — вместе? Понимали ли мы это тогда? Ухудшения не было — это утешало! Сладкое головокружение в царстве басейнов, купцов, аршин, золотников, поездов, пароходов... смолкли меры веса, объема, Марусины, ей ненавистные, «дробь» (для меня пока лишь — слово), этимология и синтаксис. Борнео, Ява, Целебес, все мысы, все проливы... На миг остановилась жизнь — замерла. Столько жданный день круглых — маминой радости — пятерок, папиных похвал, поздравлений вдруг оказывается совсем другим, чем мы думали. В нем совсем другие пружины, неожиданные, незнакомые, поднимают нас в какой-то взрыв грусти... Кончилось! Победили. И — пустота... Жаркий крымский день вдруг кажется нам чужим, лишенным ежечасного труда, смены предметов, мечты о получасе отдыха. Или мы чужие стали тут? И потому уезжаем? Холодок удивления и отчужденности летит на миг — надо всем, что еще вчера было нашим... И не было

вчера такой раскаленной жары. И в этой жаре — холод прощания! Уж по-иному бежим мы по саду.

Кто предложил? Варвара Алексеевна! Поехать с нами в Массандру. Их было две: Нижняя и Верхняя. Нижняя у моря? Моря в этой поездке не помню. Я помню пышность деревьев, одуряющую силу лесных, раскаленных запахов, — мы позабыли Россию. Блаженство жары! Что так пахнет? Травы? Цветы! Их дыханье растворено в горячем недвижимом воздухе, как их вкус растворен в меду. Не воздух звенит! Несчетными голосами, невидимым струнным звуком это звенит тишина. Мы пробрались через траву, густую, высокую, оглянувшись, ахнув, упали, примяв, обняв, задыхаясь, дыша ею... Мы в детство упали свое, давно срезанное косою отъезда, — где мы? В «старом саду» тарусском? Массандра? Может быть — это рай?

Три человека в траве по плечи, в ее шелково колыхнувшимся леску, над которым подымается лес ветвей, безветренные ветви деревьев, зеленые костры кустов. Солнце полдня купает нас в синем зеркале, и глаза вдруг не могут смотреть, мы зажмуренно замираем в зеркальном блеске, это мы растворились в его звоне и запахе, это нас уже нет — он есть, он был тот же с дней детства в «старом саду» тарусском, это мы забыли его... Две девочки, большая и маленькая, прижались к горбатой женщине, прислушиваясь, глотая, нюхая, как обожаемые ими кошки и псы, счастье вновь обретенного детства, которое они мнили — прошедшим. В нем стрекозы звенят, задевая парящим маревом щеки и губы; звон полета пчелы вкраплен в жар воздуха, реющего как мираж... Годы забвенья!.. Итальянские скалы, взрывы средиземных волн, гладь Леманского озера с парусами лодок, шварцвальдские сосны и ели — и снова черноморские волны, ветер на выжженной Дарсановской горе. А оно терпеливо ждало, царство родных запахов, раскаленных в солнце ветвей, оно дышало без нас, для нас, оно звало нас тарусским неслышным криком пароходным меж лугов над Окой... Как пахнет жара! Хватаем гущину травы руками, еле веря, что она — есть, мы забыли траву! Забыли стрекоз! Папоротники! Бузину, мяту, ромашку... Мы — молчим? Мы говорим несвязно? Счастливое лицо горбуны смеется во всю ширь блаженства, длинные руки прижали к убогим плечам наши две головы. Никого вокруг нас. Мы *калдовали* Массандру... Мы одни у детства в гостях!

Видя маму все время, мы не замечаем в ней перемены, которую, приехав, увидел папа. Ободряя ее, не показывая тревоги, уверяя ее, что она поправляется и что лето в Тарусе на старой даче принесет ей добро, он, однако, решил, что для переезда надо вызвать Тетю, — и вскоре пришел ответ, что Тетя с радостью собирается к нам. А мама заболела еще какой-то другой болезнью, ослабела, ей было трудно сидеть на постели, она сидела на резиновом круге, надутом, у нее были боли, доктора часто навещали ее. А быт шел своим чередом, хозяйка носила маме еду, уснащая ее своей сочной смешной речью, смеша маму и развлекая ее. Заходили все пансионеры, веселая красивая Манюся со своим некрасивым, казавшимся ей красавцем, Федюся, и громкоголосый, добрый, медвежеватый Прокофий Васильевич, и их соседка, черноглазая щebetунья. В ногах у мамы лежала наша белая с серым кошка, и мама, как в Москве Васей, в Нерви — Балином, умилялась рыжим котенком и звала его Маленький Кис.

На дом приехал юрист. Мама составляла завещание, двери в комнату были заперты, кого-то впускали — свидетелями. Папа, расстроенный, старался не показать волнения. Мы, впервые слыша слово «завещание», почували в нем опасность. Шепот... Сердце сжато страхом, тоской. Как я помню миг приезда Тети в Нерви! И не помню ее приезда в Ялту три года спустя.

Тетя приехала не одна — с пожилой компаньонкой, тарусянкой, Верой Никитичной. В путь нас собралось шесть человек и котенок. Везти маму пароходом было нельзя. Решено было ехать лошадьми до Севастополя, кажется семьдесят верст. Мама вспоминала, как они ездили в Крым всей семьей в ее юности и какой неописуемо прекрасный вид из Байдарских ворот, только тогда они ехали в обратном направлении — из Севастополя в Ялту, и из этих ворот, после длинного скучного пути, вдруг открывалась волшебная панорама. Теперь мы поедем по панораме, она *кончится* у Байдар. Тетя была все та же — чуть серей волосы! Те же черепаховые дедушкины очки, те же пышные платья на полном маленьком теле, те же крепкие руки, которыми она нас обнимала, тот же душный, с шипеньем, жужжаньем, шушливый поцелуй в шею и те же французские восклицания, удивления тому, как мы выросли, изменились. Прочным бытом, волей к бла-

гоустроенной жизни веяло от нее. Непониманием ничего сложного. И был тайный и горький юмор, как и тогда, в Нерви, что все новое, революционное, над чем бьются вокруг все умы и сердца, она без раздумья, раз навсегда принимала, одним отворачиванием называя тех, к кому так влеклась Маруся, *les brigands*.

И Маруся уклонялась от этой темы, как, впрочем, и от разговоров с родителями. Сердце ее ныло от близкой разлуки с миром тех людей, к которым она прикоснулась так близко у Никоновых. Может быть, она бывала и у Екатерины Павловны Пешковой в те часы, когда я играла с девочками и Максом, мастерила самодельную камеру-обскуру, в лихорадке ища фокус лупы — остротой опрокинутых изображений на лунном (промасленном) бумажном листе. Светлы и пусты тоскующей пустотой были ее глаза, когда, сквозь говор Тети, вдруг слабо, издали раздавалось (кто пел?): «По пыльной дороге телега несё-о-отся, в ней по бокам два жандарма си-дят... Сбейте око-вы, дайте мне во-о-лю...»

Последние дни! Уезжаем из Ялты! Больше не увидим Дарсановскую нашу гору, этой полосы, синей, под облаками, за башней дворца эмира бухарского — не будет! Лайку оставляем!.. Бобка бежит, не знает, что нас завтра не будет! (Только один мамин Маленький Кис, кусок Ялты, поедет с нами.) Мы забываем, что едем домой, в Тарусу, — всё будущее сейчас — враждебно. Жизнь кончается — здесь.

Мы прощаемся и прощаемся с Варварой Алексеевной, и снова мы у нее или она у нас, и никак нельзя поверить, что мы больше ее не увидим!

Мы взбегаем наверх по наружной никоновской, теперь пешковской (Лайкиной), лестнице. Тут мы смотрели на звезды и в один голос говорили (сколько раз!): «Знаете ли вы крымскую ночь? Нет, вы не знаете крымской ночи...» Проститься, к Екатерине Павловне! Милая, молодая — и такая всегда серьезная! И в этой серьезности — такая застенчивая, в полуулыбке женственной не по-женски твердого, в выражении сдержанности и решимости, рта. (Верности... Горькому! — думаем мы. Революции! — добавляет что-то внутри нас.) Мы протягиваем ей два альбома, наши нервийские. Марусин — кожаный, мой — плюшевый, темно-красные. Смущенно, в один голос: «Напишите нам на память что-нибудь!» И жена маминого любимого писателя-совре-

менника пишет нам, девочкам, слова, живущие в моей памяти в шестьдесят шесть лет: «В борьбе обретешь ты право свое! Марусе Цветаевой — Е.Пешкова»; «Лишь тот достоин жизни, кто ежедневно ее зарабатывает! Асе Цветаевой — Е.Пешкова». (Глядя назад, говорю: более точно исполнить эти напутствия, чем мы их исполнили... Стало быть, верно их выбрала, верно дала!) Мы летим вниз по лестнице.

Максик и Катя! Такие милые нам, такие разные: уклоняющиеся в недетский час прощания, мальчишеские глаза Макса; прямо глядящие, не по-детски серьезные глаза Кати.

Нина и Наташа Боровко, Ася Таргонская, даже гордячка Ася Розанова — все во дворе. Говорить неловко. (Маринино шестнадцать лет спустя: «Отъезд, как ни кинь, — смерть...»)

Как мчатся над нашей горкой облака!..

Всё! Лошади поданы. Стоим на дороге перед дачей Елпатьевского. Все вышли провожать. В последний раз мы видим лица хозяйки, Манюсь и Федюсь, Зиновия Грациановича, Прокофия Васильевича, их веселой соседки, обеих сестер Карбоньер, всех девочек. Варвара Алексеевна улыбается нам своей глубокой — чуть горечи в ней — улыбкой...

— Шестнадцать ног у лошадей! — раздается вдруг голос сосредоточенно считавшего Максика.

Успевают ли кто-нибудь засмеяться? Папа ведет маму под руку... Как всегда, его лицо ободряюще добро. Мама старается идти. Старается улыбаться знакомым. Прямо держится! Из всех сил. Она видит — в последний раз? — эту черту моря... У коляски! Папа помогает маме войти.

Путь к Байдарским воротам. Сказочная красота пейзажа под слепящим солнцем июньского дня. Разлив гор, долин, цветения... Вот что мама увидела в молодости, выезжая из Байдарских ворот! Сейчас мы едем, окруженные той маминой панорамой. Увы, она погаснет, закроется скоро о ворота Байдарские... Тогда она маме в семнадцать лет из Байдарских ворот — открылась!

Теперь она с нами, на тридцать восьмом году жизни, совершает *обратный* путь.

## Часть шестая СНОВА ТАРУСА

### Глава 1 ДОМА!

Давно разве были мы в Севастополе? А как давно, кажется! Мама — милая мама!.. Неужели ее внесут — на стуле — в вагон? Люди будут смотреть, ей будет тяжело от их взглядов — они же не жалеют ее, как мы, не знают, они — просто так... Да, маму внесли в вагон сидящую на стуле, потом она легла. Тетя не отходит от нее, папа тоже. Мы — в соседнем купе, с Тетиной компаньонкой. Севастополя — нашего (с Приморским бульваром, с Графской пристанью, с Панорамой обороны) — уже нет. Только вокзал и поезд, слово — «Севастополь»! И вот уж и они позади — уплывают... В вагонные окна — сумерки, вечер, огни — и знакомое, сколько лет, та-та-там, та-та-там... поезда. Мы едем до Москвы, но — не в Москву. Не заезжая в нее, мы едем в Тарусу — маме в город нельзя.

Из пути я помню только одно: как, ухаживая за питомцем-котенком, я нечаянно выпустила его из его корзинки с занавесками и он помчался по вагонному коридору, я — за ним... Дверь в тамбур была раскрыта, и я домчалась туда, в ужасе (упустить!) в тот миг, когда он уже соскочил на ступеньки лестницы (кто-то забыл закрыть дверь!). Ни секунды не думая, видя только, что он сейчас спрыгнет с поезда, я, ухватясь за вертикальный поручень лестницы (под ней летели шпалы, земля), — скакнула на ступеньку, свободной рукой уцепила котенка — и вскочила назад в тамбур. Только в обратном

беге по коридору, прижав к себе трепещущего кошачьего младенца, я, должно быть, ощутила испуг — ошпарило физическое осознание пролетевшей опасности. Маме я тогда, конечно, не рассказала — она была слишком больна.

Я не помню городов, мимо которых мы ехали. Но зато я помню, как мы подъезжаем на лошадях к Тарусе! От когда-то Ивановской, теперь Тарусской, станции до Тарусы — семнадцать верст. Взволнованная близостью родных сердцу любимых мест, мама сидит в тарантасе — как будто не ее мы везем больную — радостная! Волнение придает ей силы. Она улыбается нам какой-то восхищенной улыбкой. На ее бледном, усталом от трудного ей пути лице карие глаза блестят неопишуемым блеском; кончен долгий путь излечений, заболеваний, ожиданий, надежд... Призраки лет, мест, встреч кончаются — о этот жаркий июньский час, о бегущую шелестящую зелень, рощи орешников, о песчаные овраги, ветви дубов и берез, о серебряный трепет осин... Те же деревни! Точно не было этих лет! Так же пылит большак, перерезанный кудрявым узором теневых веток, так же бегут с лаем собаки, так же, застась рукой, смотрят вслед бабы, загорелые, как земля, и желтоголовые ребятишки, спугнутые лошадьми, бегут прочь. Мы глотаем это всей жадностью глаз и сердца, узнающего, тянущегося к вновь увиденному своему, и глядим на маму, в которой отражается наш восторг. Мы не верим, что это мы! Мы так ехали столько лет назад, в то последнее русское лето с Киской, когда еще здорова была мама, когда еще ничего не было, что пришло потом...

Привал. Нам несут молока, те же рыжие крынки... Черный теплый хлеб разламывается как лепешка, кто-то потчует... Пахнет дымом, жильем; присмирившие собаки, отогнанные, ушли, ворча, и широким шатром легла на дорогу тень от чьего-то «крестового»\* дома, слившаяся с тенью березы.

И вот уж и это — сон, и снова дребезжат бубенцы, возвещающая полям, что мы едем, — и уже близятся очертания другой деревни.

Прудок, утки, купы деревьев, крутой спуск дороги, осыпаящая колея, скрежет наклонившихся колес — минутный

\* Четырехскатная крыша.

страх — вынесло! Снова ровной рысдой бегут лошади... Слова «коренник», «пристяжная»... — бубенцы, поля, бубенцы...

— Едем, едем! — заливчато дребезжали они, все ближе к заветным местам, и дух захватывало от краюшка далекого поворота, за которым откроется — вот сейчас, вот сейчас! — знакомый вожделенный ландшафт! Тетя, глядя на нас, плакала. Глаза — впивались. Голос — пресекался. Ноги рвались бежать, перегнать коренника, пристяжную, сердце билось как птица. Где-то под горлом... Мама улыбается. В ее улыбке и жалобное, и удалое. Колеса тяжело въезжают в светлый речной песок. Потянулись речные кусты, повеяло сыростью. Холмы кончились. Ока с нами, невидимая еще, но уже все полнящая, и когда мы уже нацело забыли леса и горы, предали их, безраздельно предались ей; когда от внезапной прохлады, от водного ветра, рвущего за уши волосы и шляпы с голов, лицо опьяненно плывет ей навстречу — тогда взблеснуло вдали узкой полоской, непомерным меж землей и воздухом блеском, и он начал расплескиваться — и там за кустами, и там... И дикими от упоения голосами мы закричали: «Ока!»

И тогда — впереди, заней, надней, другим уж — калужским — берегом появились очертания Тарусы, домики, и сады, и две церкви, вырезанные резцом на небе; справа — низко, прямо над рекой — собор; круто наверху, на холме, слева — Воскресенская церковь. Как годы назад, начался было спор о том, как ехать: «низом» (холмами над Окой, влево) или «верхом» (вправо, через Соборную площадь, вверх по горе) — но тотчас же потух, потому что ясно, что — с *заездом*, хоть на минуту, к Добротворским. И дорога — лучше для мамы, ровней. Лошади, проехав по мосту через площадь, взяли в гору.

Наверху главной, Калужской улицы ямщики останавливают лошадей: дом Добротворских! Серый, с резными балконами, с мезонином, с купами лип... Сердце и ширится, и сжимается — сразу! Круглолицая, краснощекая, голубоглазая, только чуть седей, Елена Александровна встречает нас широчайшей, приветливейшей улыбкой. (Она, и дочь ее Люда, и служанка Катя вышли к нам — мама из коляски не выйдет, ее надо скорей везти домой.) Объятыя, поцелуи, удивленья тому, как мы выросли... Уютное Катино лицо (чуть резче тени морщин) расцветает радушной шуткой. Люда,



на полголовы выше, глядит уж совсем взрослой, рыжая коса заложена на затылке, немного девичьей насмешливости лукавится в уголках зеленоватых глаз. Уже прощаемся, папа торопит доехать до вечерней свежести. Иван Зиновьевич — у больного.

— Андрюша с Лёрочкой ждут... — говорит, маша́ толстой рукой, отступая от тарантасов, Елена Александровна.

— Трогай! — кричит папа, и лошади взмахом копыт, залившимся бубенцовым громом выносят нас на тенистый березовый большак, мимо разбросанных по холмам роц. Реже домики — и уже опять листва позади, снова поле — последнее на сегодня, совсем, навсегда — наше поле!

Почти четыре года скитаний въезжают с нами — знакомым до боли глаз поворотом к оврагу, — только чуть выше стал лес... И — въезд на нашу детскую, «большую дорогу», по которой им, ждущим, уж слышны наши топот и бубенцы...

Не отрываем глаз от маминых. Они сияют! Она приподнялась и глядит неопишным взглядом на ветви и колеи, на прошедшие тут годы. Сердца наши бьются так, что скажи кто-то что-нибудь — не услышим! Им в беспорядочный такт шелестят и качаются ветки и звенят колокольцы — и все шире — волшебней — еще шире! еще волшебней! — раскрывается знакомая картина сомкнувшихся густо — размыкаются реже — выросших без нас берез. Топот коней, из рыси перешедших в галоп, несет нас вперед — чуть снижается направо «старый сад» с темной дремучей елью, налево — широко распахнуты нам навстречу всё те же, серые, старые, решетчатые ворота перед зеленым двором дачи... Над поворотом дороги, вниз сходящей, к Оке, — кусты бузины, пахнет и ею, и самоварным дымком, и сиренью... сумасшедшая гущина запахов! Мы въезжаем в нее бегом коней, тряской дребезжащих тарантасов, пляской ошалевших в быстроте колокольцев, *непомерным* счастьем приезда!

А навстречу нам уж кто-то бежит, крики и голоса, жар распахнутых в солнце окон, окунутых в лиловую гущу сирени, в зеленый холодок еще не цветущих жасминов, по которым лежит тень.

Лошади круто берут влево, тарантасы въезжают во двор — и мы среди них, озирающиеся, стесняющиеся, и рвущиеся, и к маме прижавшиеся, слившиеся с нею в одно.

На крыльце — в светлой кофточке — Лёра. Больше трех лет не виделись!.. Папа помогает маме выйти из тарантаса. Из двери сеней — худощавый юноша в парусиновой рубашке, узколицый, смуглый, с волнистыми темными волосами.

— Андрюша!.. — восклицает мама. — Господи! Тебя — не узнать!..

Полусмущенно, полуугрюмо, но все же с улыбкой он подходит к нам. Это — *Андрюша!* Смотрим и не верим глазам. А уж Лёра тормозит нас, смеется, что-то говорит маме, и — как потом мы с Марусей сознаемся друг другу — у нее голос совсем неожиданный, и ее и не ее, и, как мы обе решаем, «как будто из-под земли!».

Мама вошла в дом сама, устранившись от помощи, высокая, в дорожной длинной тальме, и в ее походке, во всей осанке ее входа в нашу старую дачу в этот час не было, казалось, ни тени болезни. Она прошла в свою новую — направо из сеней, окнами в жасмин — комнату, перестроенную для нее из двух маленьких комнаток пристройки, где когда-то гостили у нас Надя и Сережа Иловайские, теперь оба умершие от той же чахотки. Переодевшись, умывшись, она вышла к вечернему столу как в былые годы — казалось, без усилия, одна.

Как будто не было этих лет, мы все сидим за столом среди веток сирени, окунутых в кувшины, косые лучи солнца, как встарь, зажигают синие каемки тарелок и чашек, желтую медь самовара. Прислуга носит кушанья, рыжие крынки молока, янтарный огонек горит в вазочке яблочного варенья. Шум, говор, вопросы, ответы — вперемешку, рассказы обо всем сразу, и блаженство быть дома в воплотившемся сне превосходит всю страсть ожидания. Папа, Лёра, Тетя, Андрюша, мама. Мы все вместе!

Но недолго сидит за столом мама. Она встает и подходит к роялю. «Расстроен немного», — говорит она, в то время как большие белые пальцы ее пробегают арпеджио по клавишам.

— Пригласим настройщика, Маня... — говорит папа, радостно глядя, как она садится за рояль, слыша, как из-под рук ее несутся звуки давно не слыханной силы. Она давно не играла! Тетя беспокоится, она хочет шепнуть, что «Мане играть — вредно...» — но не смеет спугнуть этот вихрь бод-

рости, сегодня поднявший маму. И, вместо просьбы поберечь себя, Тетя, сама для себя неожиданно, просит маму сыграть ту — ту самую вещь, которую она в юности играла, — «помнишь?». О, мама помнит! Она играет, улыбаясь Тете, и ту, и еще другую, и еще, и еще... Завороженные, мы сидим на старом диване и слушаем мамины любимые вещи, знакомые с младенчества, для нас безымянные, так давно мамой не игранные... А мама открывает тетрадь нот, прижимая пальцами страницы, и улыбается Лёре и начинает петь, и Лёра подходит к роялю, и они поют в два голоса, как пели — до Италии, до всего...

Растворил я окно, стало душно невмочь,  
Опустился пред ним на колени,  
И в лицо мне пахнула душистая ночь  
Благовонным дыханьем сирени...

О, как сладко слушать эту знакомую песнь, годы дремавшую, видеть блеск маминых глаз, — болезни нет, ее этот вечер *сжег!* В иве и в тополях за окнами, пропавших в синеве ночи, щелкают соловьи, запах сирени входит уже прохладой. Нет ни позднего часа, ни взрослых, ни детей, ни будущего, ни прошлого, ни нас... Ничего в мире нет — кроме песен!..

## Глава 2 БОЛЕЗНЬ. СМЕРТЬ МАМЫ

Этот вечер был — единственный. Здоровья мамы хватило на одно торжество приезда. Нет, не то, не так. Никакого здоровья не было — но восторг свидания с родным домом, Окой, деревьями и полями дали ей силы на этот вечер. Нет, не только это! Гордость — свойство ее, какая-то ее основа — не дала больному телу одолеть ее в те часы! Она вошла в дом такой, как его почти четыре года назад покинула: сама, без помощи, не снизойдя принять болезнь во внимание. Она отстранила ее — и вошла. Смотрела в сад, на орешники, елки, тополя, старую иву, на просвет реки за расступившимися березами, на заокскую даль. Тут прошла ее молодость,

наше детство. Все дышало сиренью, запахами летнего вечера. Может быть, услышала песню косцов с луга?! Эрнста ли Поссарта и его хор, в котором полгода назад еще пела, она вспомнила, когда подошла к роялю, когда взглядом попросила, позвала — дуэтом спеть — Лёру? Она не пела с того вечера, с того фатального представления во Фрайбурге, на обратном пути с которого ехав, она в ненастный день простудилась, и начался рецидив. В час ее торжества, торжества ее голоса, замеченного Поссартом, занавес пал в тот вечер не только на подмостки театра в финале сыгранной пьесы — занавес пал и на ее жизнь...

Я не знаю, сразу ли слегла мама после приезда в Тарусу, выходила ли еще к столу, вышла ли во двор, в сад и в «старый сад», прошла ли хоть раз, опершись о руку папы, по «большой дороге» или по дороге к «пенькам»? Думаю, нет. Думаю — я бы помнила. Сколько я ни стараюсь вспомнить маму — я вижу ее только в ее новой (Сережиной, Надиной\*) комнате с двумя окнами в жасминные кусты.

На постели. Постель стояла справа от двери, вдоль стены. В комнату солнце проникало через верхние жасминные ветки. И была зеленая полумгла.

Тетя постоянно бывала у мамы. Маруся много была с Лёрой, обрадовавшись встрече с ней чрезвычайно. Наши дни разделились. Я бегала со сторожевской девчонкой Лёнкой, когда-то в моей памяти совсем маленькой, теперь ей шел десятый год. За нами увязывался пятилетний Колька и ковляла маленькая кривоногая Сонька с чúдными, цвета неба, глазами. Мы от всех убегали. Я заходила к ним в избу — собственно, в две задние комнатки длинной богадельни, мимо двух больших, страшных мне комнат с кроватями — где жили старухи и старики. Отец Лёнки, сторож богадельни Семен, рыжий, тихий, когда не во хмелю, и его жена Марья, худая, с точеными, как у Лёнки, чертами, были ко мне ласковы. Пахло у них как обычно в избах — черным хлебом, щами, детским нестираным бельем, от этого запаха охватывала тоска, вспоминались Кошечка, Тигр, Киска, их гнев за народ... Был у Лёнки старший брат, лет пятнадцати, тихий темноволосый, кареглазый мальчик с правильными

\* Тогда она была перегороджена на две маленькие по одному окну.

чертами, вежливый и застенчивый, Миша. Лёнка — худая, беловолосая, синеглазая, повелительная, веселая — мне нравилась. Мы качались на качелях на «сторожевской поляне», бегали в «старый сад», вырезали из еще свежих веток свистульки (этому я научилась в Ялте) и свистом мешали маме. Лёра сказала мне, чтобы я уходила свистеть подальше.

Наутро после приезда я вошла в нашу кухню. Там был Андрюша.

— Ты умеешь вырезать свистульки? — спросила я его. Он поглядел на меня, в его взгляде боролись угрюмость, застенчивость. Ему стало меня жаль.

— Ну, умею... — сказал он, — тебе вырезать?

— Нет! — Я хотела сказать, что *умею*, делюсь с ним этой радостью, но что у меня есть мечта о другом — сделать нечто вроде ряда трубок, как я видела в органе и на картинах в музеях, — но было ясно, что Андрюша торопится, Миша ждал его. И так было странно глядеть в лицо этого малознакомого юноши, говорить себе: это твой брат... постепенно знакомиться с ним, понимать, что ему неловко со мной и что он меня совсем не знает.

— Ладно, сделаю... — Он уже уходил. Он еще бросил на меня неуловимо-изучающий, бегло и застенчиво жалеющий взгляд — и уже они шли, Андрюша и Миша, а я смотрела им вслед.

Зато как ласково, просто, по-родному и восхищенно глядела на Андрюшу мама, как любовалась им! Он присаживался на край ее кровати, смущенно улыбаясь, а она говорила ему: «Ты похож на неаполитанского юношу! И эта широкополая шляпа очень идет тебе! Я очень рада, что ты учишься играть на гитаре. А на мандолине ты очень недурно играешь — я вчера слышала...»

Прошло несколько дней, быстрых для нас, долгих дней болезни для мамы. И я услышала, как она сказала своему давнему питомцу, которого пятнадцать лет назад приняла после умершей матери годовалым — нас еще не было — и любила его (любовалась и тогда его красотой): «Я тебе оставляю мою гитару...» Она не сказала «подарю» — «оставлю»! О, мы понимали, о чем она! Маруся была тут же. И в быстром переглядыванье нашем по обеим прошел озноб.

Иван Зиновьевич часто навещал маму. Он говорил бодрые слова, но глядел озабоченно. Папа почти не отходил от мамы. Лёра часто заходила к ней.

Шла вторая половина июня. Цвел жасмин. Гроздья сирени в крынках и кувшинах сменяла легкая зелень жасминных веток, осыпанных серебристыми ароматными звездами.

Утрами Маруся и я играли на рояле. Звукам Марусиной игры мама радовалась. Когда же я изнывала над гаммами, Ганноном и маленькими этюдами — из маминой комнаты через две открытые двери часто доносилось среди кашля: «Правая врет! Левая врет!»

К нам стала раза два в неделю, по маминому желанию, приходиться Верой Никитичной рекомендованная для этой цели портниха — учить нас шить, и мы, сидя на верхнем нашем детском балконе, старались усвоить типы швов — «вперед иголку», «вперед и назад» и «машинный шов», который нашим близоруким, очкастым глазам представлял верхом мученья и у меня получался серым от грязных пальцев. Шили мы какие-то мешочки, рубашки. Помню вздох, с которым Маруся — в первый ли раз? или — в который? — в задумчивости взяв в руки иглу, взглянула беспомощно и с отчаяньем на портниху-учительницу. Вдела, вставила кончик иголки. А теперь — куда? (с сомнением) влево? Зеленые близорукие глаза ее смотрели с подозрением на два сложенных белых края материи, по которым должен был пойти шов. Ей было одинаково неудобно шить вправо или влево. Велено было — влево, и ее игла медленно поползла вперед.

Шли и гудели по Оке пароходы, на грядках перед стеной малинных зарослей подымалась овощная зелень, лето и жизнь шли своим чередом, а Иван Зиновьевич все чаще приходил к маме, приезжал из Москвы другой доктор, и они советовались друг с другом. Затем грянули слова: «Воспаление легкого». К маминой болезни — чахотке, еще и это! Решено было выписать из Москвы сестру милосердия. Мама задышалась от кашля, задышалась от жары, просила настечь держать и окна, и дверь. В комнате пахло жасмином и лекарствами. Мы заходили к маме часто, но ненадолго: мама отсылала нас на воздух.

К нашей кухарке приехала взрослая дочь, высокая девушка. Думается, Женя. Им мама раздавала свои немногочисленные платья. Маруся, присев возле мамы, спросила:

— Мама, ты раздаешь все платья, — в каком же ты поедешь в Москву?

— Наденут какое-нибудь... белое! — отвечала мама.

Так, несколько раз, немногими словами, она говорила о том, что скоро умрет. Но мы жили с ней почти четыре года ее болезни, тяжелое состояние ее мы видели не в первый раз. И никто не знает будущего! А пока человек болеет — заботы дня о *его жизни*. Так было и в нашем доме в те дни.

В уголке двора, между сараем и плетнем, я развела себе игрушечный садик — натаскав земли, сооружала крошечные горки, втыкала в них ветки — это были сады и рощи; увлеченно — как вырезаем свистулек из свежих сочных веток в первую неделю на даче — занималась теперь этим, забыв даже бегать к Лёнке. Так несколько дней я была ближе к маме, чаще забегала к ней.

— Когда Ася входит — мне кажется, солнышко входит с ней! — сказала мама с улыбкой.

Маруся радовала ее, конечно, не меньше, но вид у Маруси был уже почти взрослый (ей осенью исполнялось четырнадцать лет), я же еще была — ребенок, по-детски оживляла ее.

Но однажды моя беседа с мамой кончилась неудачно. После ухода докторов я вбежала в мамину комнату.

— Мам, ну что они сказали? Мам, что? — повторяла я с нетерпением.

Как-то однозвучно, серьезно ответила мама:

— Воспаление второго легкого!

— И больше ничего? — сказала я (желая сказать: а больше ничего не сказали?).

— Ну, с меня и этого довольно... — с горечью ответила мама.

Мне стало стыдно за свою глупость, но как было поправить ее? Глупые слова были сказаны. Я все ж попыталась пояснить, что я хотела сказать...

В Ялте ли еще — и теперь, повторно? — были мамины слова в Тарусе: «Мне жаль — музыки и солнца!..» И, как не раз уже: «Все увидят, какие вы будете, а я — не увижу...» И наше «Ну что ты, мама...» падало теперь — хоть с таким же жаром сказанное — в какую-то напряженную тишину.

Тетя бывала теперь ежедневно. Ночами дежурила сестра милосердия. Начинаясь июль.

— Дедушка скончался в июле, — сказала мама, — и я тоже в июле умру...

Мы слушали, возражали, не верили — как можно поверить в никогда не виденную смерть? В смерть человека — самого близкого, с которым связан как с воздухом, без которого не было жизни ни одного дня?

Но, оглядываясь на маму, я теперь дивлюсь ее неженскому мужеству. Как мало она сказала о своем горе расставаясь с жизнью! Ей не было тридцати восьми лет. Я не видела в ее глазах слез. Только печаль — и горечь. Физическое страдание: она задыхалась. Уже не один день она сидела поперек кровати — облокотясь о стену? — и все просила, чтобы был сквозняк — дышать. Ей говорили, что нельзя, что ей станет хуже. Она качала головой: «Откройте! Я хочу дышать. Так — легче...»

Она не спала. Все понимали, что она, знающая медицину, сознает свое положение. Болезнь не уступала. Как мама одолела ее в тот первый вечер приезда, так теперь болезнь беспощадно одолевала маму, и она только отмечала фазы своей болезни — мужественно, со стойкой горечью называла их.

Настал июль, шли его первые дни. Мама перестала спать. Ей не хватало воздуха. Она дышала с трудом. Она не спала уже трое или четверо суток. Она все сидела поперек кровати, когда бы мы ни входили; мимо нее — она была чуть в глубине от его струи — шел сквозняк. Он доходил и до нее, но ей и в нем было душно. Она была очень бледна, но на щеках были пятна румянца. Темные волосы высоко надо лбом привычно — волнистыми прядями. Одеяла не было — простыни. Очень блестели глаза! Такой я помню ее в тот день, 4 июля, св. Андрея Критского, о котором Андрюша по-мальчишески еще сказал (может быть, сам не веря слову «смерть?»): «А вдруг мама умрет на мои именины?» Но мама жила. Она позвала нас обеих — прощаться. Мы пришли. Мамин взгляд встретил нас у самой двери. Кто-то сказал: «Подойдите...» Мы подошли. Сначала Марусе, потом мне мама положила руку на голову. Папа, стоя в ногах кровати, плакал навзрыд. Его лицо было смято. Обернувшись к нему,



мама попыталась его успокоить. Затем — нам: «Живите по правде, дети! — сказала она. — По правде живите...»

Выражение ее голоса звучит во мне до сих пор. И папины сдерживаемые рыдания.

— Ну, а теперь идите гуляйте... — сказала нам мама, погладив наши головы, — ведь нехорошо здесь...

Подавленные, молча, еле понимая, мы вышли. Почему не бросились мы к ней обняться, еще услышать, еще увидеть ее? Где был Андрюша, ее первый питомец?

Был жаркий день. Приходил к больной и ушел Иван Зиновьевич Добротворский. Маме давали бульон. Для поднятия сил — шампанское. Его привезла Тетя. Мама понимала: попытки продлить жизнь. Она сказала что-то, имевшее смысл: «Уже?» Я не помню вечера этого дня, как не помню и сестру милосердия — ни имени, ни лица. Знаю, что мы купались в Оке, на обычном месте под дачей, с Лёнкой, где купались с мамой все детство. Берег был песчаный, песок очень тонкий и светлый, почти серебряный, пахучие речные лопухи с белой подкладкой, как у серебристых тополей. Самый край берега у воды был темный — от тихой мелкой набегавшей волны, и в этом потемневшем песке торчали длинные блестящие яйцевидных перламутровых раковин, двустворчатых — или их — горбиком — спинка, зеленоватая, как тина. По ту сторону Оки были одни кусты, отражавшиеся в зеркальной полоске, и луга. По этому берегу шла, за нешироким лужком, дорога, огибая наш крутой холм, поросший березами, — целая роща. Наверху холма виднелась меж берез только в одном просвете наша давняя, детская, так долгожданная дача, в которой теперь лежала, задыхаясь, мама. Оттого ли мы не шли к ней, что знали — не пустят? Или — мы боялись ей мешать? Пережидали и этот, как были уже, приступ болезни? Мама ведь всегда их побеждала! Мама ведь хотела звать нас прощаться — еще в Москве, в начале болезни...

Когда мама в этот день, 4 июля 1906 года, позвала нас прощаться, было около четырех часов дня.

Я забыла сказать, что вскоре по нашем приезде в Тарусу дошла — через кого... не помню — весть, что больна скарлатиной дочка Екатерины Павловны и Горького, Катюша Пешкова. Разговор о ней я помню у постели мамы. Лицо

мамы было жалобное. Она помнила Катю, слышала о том, какая это замечательная, умная и хорошая девочка, с большими музыкальными способностями, и теперь очень жалела ее. Бедная Екатерина Павловна, что с ней...

Еще я забыла сказать, что Тетя, не любившая нашу дачу за отдаленность от Тарусы (полторы версты) и за отсутствие в ней обстановки, удобств, настаивала на том, чтобы маму поселить не на даче, а у нее в доме, в Тарусе, под ее крыло. Но мама, любя ли наше лесное гнездо, уклоняясь ли от чрезмерной заботливости Тети, а может быть, не желая обременять ее, уже старую, своей болезнью, не согласилась. И Тетя постоянно страдала от недостаточного для больной комфорта, оттого, что аптека и доктор — далеко.

Следующий день, 5 июля, был так же синь и жарок. Была пора молодых лесных орехов, их было много. После обеда Лёра позвала Марусю и меня за орехами. Мы пошли по «большой дороге», к оврагу. Там, остановившись на опушке нашего леска, мы собирали орехи, вынимая их коричневые, светлые еще ядрышки из тугих, толстых, кислых, если пробовать зубом, светло-зеленых гнезд. Мы отгибали ветки с шершавыми, круглыми, формой похожими на липовые, листьями и медленно углублялись в лес по краю оврага. О чем говорили — не помню. Вдруг мы увидели мелькавшую за ветками, шедшую по дороге дочь кухарки, Женю. Она, видимо, искала нас. Увидев, она окликнула Лёру. Лёра, отойдя от нас, пошла ей навстречу. Та что-то говорила ей, мы не слышали. Лёра сделала Жене знак идти домой и вернулась к нам. Мы смотрели, как Лёра подходит. Она положила нам руки на плечи, левую — Марусе, мне — правую.

— Умерла мама!.. — сказала она тихо. — Пойдемте домой...

Ни Маруся, ни я ничего не ответили. Молча повернули мы с Лёрой и шли. Оглушила ли нас весть, подобной которой мы никогда не знали? Только помню — и помню глухо — какую-то тишину, с нами шедшую. Незнакомо шли ноги по заросшим колеям. По ним три недели назад скакали лошади, звеня бубенцами, везя нас, счастливых и радостных, подвезжавших. Как сияло у мамы лицо! Но ни тени воспоминания об этом не было в тот час. Мы медленно шли. Молча. Никаких слов не было. Может быть, понимали: Лёра нарочно, зная, увела нас из дому? Шаги шли навстречу пустоте.

В той комнате, где сутки назад мама, сидя поперек белой постели, встретила нас — взглядом, и ее глаза мучились и горели, она утешала папу, сказала нам прощальные слова о правде и подержала свою руку на Марусиной и моей голове, — лежало, чуть на боку, покрытое тело, и желтое, неподвижное лицо с чертами, напоминавшими мамины, было подвязано чем-то белым под подбородок. Глаза были закрыты, лицо, незнакомо-худое, было страшно, не хотелось глядеть на него, хотелось отвести глаза. Мамы в комнате не было. Это была — не мама, к этому не было никаких путей. Мы молча, одна за другой, поцеловали желтый лоб — как нам сказали, и послушно кому-то, кто говорил, вышли из комнаты.

В доме было много людей. Все говорили шепотом. Мама скончалась тихо — уснула и не проснулась. С ней не было никого — ушли, чтобы не мешать ее сну. Сестра милосердия дала ей попить, не помню, шампанского или бульону. Она отпила. Сказав: «Пролила», вытерла или дала себе вытереть подбородок, легла на бок и уснула. Было около четырех часов дня.

В то утро — или днем — мама сказала: «Это начинается агония»... Папа? или Тетя? предложили ей причаститься. Она отклонила. (Веря в Христа Ренана, Поленова — не хотела того, что считала — обрядом.) Плакали папа, Тетя. Жалея маму, папу и нас, плакала Елена Александровна. Я больше ничего не помню об этом дне.

### Глава 3 ПОСЛЕ МАМЫ

Не знаю, боялась ли Маруся маму мертвую. Думаю — да, потому что мы всегда чувствовали похоже. Я боялась маму, даже комнаты, где она лежала — сначала на столе, потом — в гробу. Идя, я косилась на дверь как на что-то враждебное. Елена Александровна посоветовала папе не шить нам черные платья. Нам сшили темно-серые. Из Москвы приехал «морозельщик» — ввиду стоявшей жары он замораживал тело мамы, то есть обложил его пузырями со льдом и эфиром. Маму должны были везти хоронить в Москву, на Ва-

ганьковское, рядом с дедушкой и бабушкой. Гроб привезли тоже из Москвы, серебряного цвета (металлический, с белыми — костяными? — украшениями). От него еще мертвее и чуждее, страшнее было лицо мамы, неузнаваемое, холодное, восковое, осунувшееся, с церковной бумажной полоской на лбу, окруженное белым, вместо знакомых — исчезнувших — волнистых темных волос.

В доме пахло эфиром и гвоздичным маслом — от морожельщика. Молодой и противный, он шутил с сестрой милосердия, рассказывая анекдоты о мертвецах (слова «мертвец» и «покойник» были одинаково страшны, отвратительны). Дом был полон людей, знакомых и незнакомых, среди них глаз ловил папу, Лёру, Тетю, Елену Александровну — своих. В эти дни я совсем не помню Андрюшу. И вообще — не было дня.

Небывалое — просто как все, что мы постоянно видим. Оно приходит и становится в ряд вещей, где ему нет и не может быть места.

На Воскресенскую гору, за часовней на холмике над Окой, везут маму в гробу — по дороге, где она все наше детство ходила с нами от Тети и Добротворских на дачу, где жила столько июней, июлей и августов и где она вчера умерла — 5 июля. 1906 год! Мы встречали его в Ялте, звенели бокалы в двенадцать часов ночи, поднятые за здоровье всех, — и вот уже мамы нет, мамы *нет!* Мамы... со всеми чокавшейся!

Колокола звонят, встречая гроб. Жаркий день синь. Ворот серых платьев липнет к Марусиной и моей шее. Как Тетя плачет! Мы не плачем. Не можем. Нас раздражают взгляды и шепот: «Сиротки...» — «Где? Какие?» — «Да вон те, вон...» Какие противные голоса!

Кудрявая тень дерева мечется по колеям. Гроб вносят в церковь.

В полумгле вдруг отступившего солнечного дня, впус-тившего в окна по одному короткому лучу света, медленно движется толпа входящих людей. Начинается богослужение. Остыв от того, что вчера совершилось (а вчера стало так невероятно давно), и устав от бессмысленной нам толчеи людей, разговоров, расспросов, мы стоим, не чувствуя горя по маме — оттого что люди требуют от нас горя и шепчут о нас. На повторное слово «сиротка» я обертываюсь и показываю кому-то язык. Мы не молимся. Мамы тут нет!

Мы очень устали за сутки привыкать к тому, к чему привыкнуть нельзя. Ноги болят стоять.

Бедные девочки, большая и маленькая! Не упрекайте себя в бесчувственности, не ужасайтесь своему равнодушию. Это придет — потом. Потом! Завтра, через неделю, и через год, и через годы и годы, когда это все кончится, когда отдохнет сердце и отдохнут ноги, когда все всё забудут, — тогда подступит сиротство — подойдет и станет, как человек. Станет нечем дышать в том веселом дневном часе — без гроба, без пенья и без людей. Тогда мама проснется в нас — своей совершившейся далью, невозможностью быть, немислимостью не быть. Отворенная дверца шкафа, пахнущего нафталином, и упорствующий запах духов, мамин мольберт, пустой, звук отворяемой крышки рояля, стук ставни в зале, пришедшие из самого детства, вспыхнувшая зелень стеклянного абажура — кто-то понес по гостинной мамину лампу — вот тогда придет вой.

А пока — переезд в Москву выпадает из памяти нацело. Как, с кем едем с вокзала? Разумеется, с Лёрой? Еле-еле помнятся улицы, по которым едет на кладбище гроб. Наш переулок, Трехпрудный, наш дом. Тупо видим, как перед ним останавливается катафалк и стоит. Мама не знает, что ее тело прощается с домом, где она прожила столько лет. Только потом мы вспоминаем вечер осени 1902 года, час отъезда из Москвы в Италию, слова мамы: «Больше я не вернусь в этот дом...» Сколько раз мы эти слова, торжествуя о маминых выздоровлениях, радостно осмеивали — в Италии и в Лозанне, в Лангаккерне. Но, значит, такие слова не говорятся — даром. Мама не вернулась в наш дом.

...Мы едем в карете. Почему-то мы вдвоем — Маруся и я. К окну кареты подходит человек, темноволосый, темноглазый, с бородкой. Кто-то ему сказал, что мы — дочери.

— Дочери Мани! — говорит он глубоким, теплым голосом и смотрит на нас особенным взглядом больших карих глаз — точно он хочет запомнить нас на всю жизнь. Он говорит, кто он, — Миша Поляков, брат Зины и Раи, подруг маминой юности. В этом его «Миша» (человек с бородой, держащий в руке шляпу) — ужас прошедших, канувших лет маминой жизни... Манины дочери! Беспомощные, полыхнувшие ужасом слова о сходстве дочерей — с матерью.

Переехав Садовую, карета вслед за катафалком и другими каретами поворачивает к Пресне. Как недавно мама читала об этой Пресне в ялтинских газетах, о московском восстании... Миша идет рядом с нами, рука на окне кареты, — он не может расстаться с дочерьми Мани, не может оставить нас.

Возле могил дедушки и бабушки, где мы бывали с мамой, слева от их мраморных белых крестов и плит — холм свежего рыжего песка, и возле него — длинная прямоугольная яма. Тесно, между могил — люди. Папа? Тетя? Лёра? Андрюша? Миша? Я не помню, как несут, опускают гроб. Как бросают комья земли, засыпают могилу, как служит панихиду священник. Что-то вытравило все это из памяти. Слабо вижу пустой полутемный дом в Трехпрудном. Усталость и дремота души.

После маминых похорон в памяти — провал. Я ничего не помню о Тарусе без мамы, а мы прожили там, вернувшись, все лето, то есть около трех недель июля и август. О семи неделях — ни одной зацепки в памяти, ни одного случая, ни одного дня. Точно и не жили мы там до осени. Это все-таки знаменательно. И трех строк нечем заполнить мне о лете 1906 года после смерти мамы. В то время как о трех неделях до смерти мамы записано много. Я не помню ни Добротворских в то лето, ни Тети, ни наших домашних на даче, ни отъезда Маруси в Москву с Лёрой и Андрюшей к началу учения. По своей воле, попросив папу, Маруся — ее все чаще называли Мариной — поступила в интернат гимназии фон Дервиз. Я осталась одна с папой на даче; с кем-то из прислуги. Видимо, шел сентябрь. Моя первая разлука с Мариной! Я не помню прощанья с ней. В августе я еще купалась с Лёнкой в Оке, помногу. У Добротворских меня остригли. Я стала как мальчик. Мне исполнялось двенадцать лет.

Из моих дней ушла мама, ушла — в интернат — Маруся. Одна ли я ходила с дачи к Добротворским, с папой? Что я теперь часто у них бывала — я помню. Сидела в кухне и в комнате возле, где спали Катя и толстая, новая у них Маша. Ела яблоки, сливы, подсолнухи, иногда говоря с ними, иногда — за журналом, детским, из книг детства Нади, Сани и Люды. Их уж тоже не было — уехали учиться в Москву.

Иногда я садилась за старенькое фортепьяно (рояль без хвоста), стоявшее в проходной комнате, и играла все свои пьески или подбирала аккорды к песням. Музыка пробуждала тоску, потерянность, я закрывала крышку, выходила на балкон. С него был вид на Оку. В Саниной или в комнате рядом, ничьей, где потолок шел косо, под крышей, где пахло пылью, где лежали горы слив, желтых, почти с яйцо, я заводила старую музыкальную шкатулку, «сестру» маминой, и слушала золотой звон вальсов и старых песен.

Однажды мы — папа и я — были у Добротворских. Обедали. Вдруг папа стал как-то странно клониться вбок над тарелкой, сидя падать. Мгновенно бросились к нему Иван Зиновьевич и Елена Александровна, поддержали, но он падал, и они, подхватив его под руки, полуповели-полупонесли в кабинет — маленькую комнатку за залой, где был письменный стол, диван и книги. На этот диван они уложили папу. С ним случился удар.

Добротворские взяли меня к себе. Сколько я прожила у них — не знаю. Папа болел, дядя Ваня (как я теперь звала Ивана Зиновьевича) лечил его, выжидая возможности перевезти в Москву. Так полтора или два месяца спустя папиных рыданий у постели мамы его здоровье рухнуло. Ни переезда нашего в Москву, ни первых дней в московском доме — не помню. Папу положили в клинику. В доме жили Лёра, Андрияша и Люда. Я с ней — в бывшей детской, где мама мечтала устроить две комнатки, Марусе и мне... Маруся жила в интернате.

Была осень 1906 года. Нам минуло четырнадцать и двенадцать лет.

## Часть седьмая

# ОТРОЧЕСТВО. СНОВА МОСКВА

### Глава 1

БЕЗ МАМЫ. ВАРВАРА АЛЕКСЕЕВНА.  
ИЛОВАЙСКИЙ. ЛЁРА. МАРИНИН ПАНСИОН  
ФОН ДЕРВИЗ. ПОВЕСТЬ МАРИНЫ «ЧЕТВЕРТЫЕ»

Огромная пустота, которая пала на дом, на меня, вытравливает из памяти ту первую осень без мамы. Как умела она жить одной жизнью с нами! Сурово и нежно. Во время наших ссор — прекращать их. Одним взглядом — призвать к порядку; покачиванием головы — вразумить. Она навсегда осталась нам Матерью с большой буквы (без тени упрека в ее сторону). Обожаемой, стоящей над всеми — героизмом и доблестью, тою честью, с которой она вышла из боя — с собой: в том бою и потеряв силы бороться с болезнью. Отдала любимого, не разбила жизнь мужу, уже стареющему нашему отцу. Это вело нас за руку — десятилетия спустя — в нашем бою с жизнью.

Как не отдать благодарности судьбе за счастье быть рожденными от такого чистого и сильного человека, как наш отец, в бескорыстной деятельности прожившего жизнь; от такой, трагически прошедшей ее женщины, как наша мать. Трагедии себе не хочет никто, с ней рождаются. Благодарность обоим. Мир их праху! Кто мог что-либо изменить в моей рухнувшей детской жизни? Не мог и папа. И потому, что после мамы сильно и долго болел, и по крайней своей занятости близящимся к открытию Музеем изящных искусств, и по возрасту своему.

Воспитание Марины и мое было с первых лет предоставлено маме. Да и кто бы мог ее заменить? Лёра? Место мамы



Лёра не могла мне заполнить. Она была и ласкова, и добра, но и она, как папа Музеем, была занята своим: революционным движением, друзьями, педагогической работой. И было ей в то время двадцать четыре года! И ей непосильной нагрузкой был наш дом. Дом — не наш, по закону не Маринин и не мой, Андрюшин и Лёрин, но наш по прожитому в нем детству, пламенно нами любимый, «шкатулка шоколадного цвета» (из письма Марины в годы нашей разлуки), позднее в стихах:

В переулочек сходи Трехпрудный,  
В эту душу моей души...

Дом, о свидании с которым, как с живым существом, мы трое — мама и мы две — мечтали все почти четыре года странствий, — этот дом мы увидели, почти не заметя, в тумане маминых похорон, когда катафалк с гробом остановился на миг у ворот — по дороге к Ваганькову. Из этого дома, в него еле войдя, Маруся попросилась у папы к неизвестным подругам, в интернат, на какую-то незнакомую улицу за Горховым полем.

В этом доме я теперь жила с Лёрой и Людой Добротворской, выйдя уже из младенческих лет, в которых они меня помнили, играли со мной, дразнили, шутя и балуя. Да их почти и не было дома — Люда училась на медицинских курсах. Виделись — вечером, за ужином и ложась спать. В гимназии я не училась — папа берег от утомления, боясь злой наследственности. Ко мне ходила учительница, готовившая меня в третий класс гимназии Потоцкой. Кто-то подсказал папе эту фамилию. Школа эта слыла либеральной, более легкой по режиму для учениц.

Когда вернулся из клиники папа, произошло событие, которым он задумал дать радость, облегчить пустоту без мамы — мне и Марусе, приехавшей домой с субботы на воскресенье. Помня нашу страстную привязанность к нашей второй ялтинской учительнице Варваре Алексеевне Бахтуровой, папа, списавшись с нею, выписал ее из Крыма — к нам в дом. Горбатая, смеющаяся, обаятельная, в серой нарядной тальмочке, с чемоданчиками, сияя от встречи с нами, она вошла в наше исчезнувшее детство и поселилась в нижней, близ черного хода, свободной, когда-то «девичьей» комнате

(где мама в раннем детстве нашем вынимала из отделений комода крупы, муку, кофе, чай, сахар). Занялась, против склонности своей, хозяйством. Пыталась наладить нашу распавшуюся жизнь. Мы встретили ее ласково — но полгода, легшие между нами со дня расставания, странным образом нарушили прежний пыл отношений: они не повторились! Такая умница, нами так любимая и нас так любившая, — у нас в доме почему она осталась среди нас — одинокой? Может быть, то, что Марина была в интернате, рядом со мной жил Андрюша, хмурый, отъединенный, насмешливый? Как могло стать, что я не прильнула к Варваре Алексеевне — Мартысе — всем сердцем, не согрелась о ее ласковость? Одна из непонятных страниц! Неужели это я, с братом, школьничая, недостойно, приладив через печь антресолей резиновую? камышовую? трубку, через которую мы самодельным поршнем спускаем воду, и она брызжет в комнату Мартыси? Где был мой стыд? Поняла ли Мартыся, что она тут ни к чему, с невернувшейся нашей к ней любовью, соскучилась ли с хозяйством, увидела ли, что папе некогда заняться ее мечтой — устройством ее учительницей в школу? Осенним ли, зимним ли днем мы с Марусей печально, ласково прощались с ней, со стыдом и пустотой в душе проводили до извозчика — улыбку ее, горб, длинные руки, чемодан — и глядели вслед, и нас тряс озноб у ворот покинутого ею дома.

Может быть, мы всем, кроме мамы, — представляли трудными. Вплотную никто не взялся за наше воспитание из папиных родственников. Каждая из них, сбоку, наблюдавшим глазком, глядела на нас, оценивая достоинства («способные!»), извиняя недостатки («мать-то у них тоже была со странностями»). Так мы и жили без старших после мамы, — со старшими, но как-то вне их. Скажи же нам кто-нибудь слова жалости к нам и вырази упрек, скажем, Лёре, что не стала нам воспитателем — мы, «девочки со странностями», жарко ответили бы: «Воспитывать? А зачем? Чтобы на роль классной дамы Лёра отдала свою жизнь?» И мы нежно и скрытно, по-прежнему совсем так же любили Лёру, ходили на огонек в ее флигель, к ней и ее революционным друзьям.

В эту зиму, когда папа вернулся домой из клиники, его стал часто навещать Иловайский. Он приходил к своему осиротевшему, вторично осиротевшему зятю. Когда-то, много лет назад, он приходил к нему после смерти своей дочери.

Со стены на портрете она все еще сияла красотой — улыбка, локон, голубой корсаж, роза. Он медленно проходил мимо, ее не видя, не подымая к ней головы. Зала, гостиная, кабинет. Так было годы и годы, в течение которых место его дочери было занято мамой. В памяти моей смутно — то есть без фактов, — но твердо живет воспоминание о том, что Дмитрий Иванович с большим уважением относился к маме и что часто беседа велась втроем. Теперь и мамы не стало. При встрече с ним мы вежливо здоровались. Только один вопрос он задал Марине, поступившей в гимназию, — по какому учебнику русской истории учат? Получив в ответ не свою фамилию, нахмурился. Во многих гимназиях того времени учебником русской истории Иловайского, как реакционным, не пользовались.

Странно, что, оторванная от детей, среди которых я прожила четыре последних года (Нерви, Лозанна, Фрайбург и Ялта), за две зимы привыкши уже к школьной жизни, я не просила о школе, не бунтовала, не заявляла своей воли, как Маруся. Я жила в каком-то анабиозе; от рождения не различавшаяся с Марусей, я теперь как вне нас лежащее приняла то, что только субботу и воскресенье вижу ее, одну из всех так мне близкую. Остальные дни я толкалась между взрослых, играла с Андрюшей, он на мандолине или на гитаре, я — на балалайке. Радовало вечером — синева неба, огоньки домов — учиться не падать на льду, одерживать маленькие коньковые победы, вспоминая каток в Лозанне и Мари-Оссорно.

В субботу с дворником Ильей (мордастым лукавым парнем, в своем отгороженном уголке в кухне, рядом со светлой большой комнатой горничной и кухарки, при маленькой керосиновой лампочке учившимся немецкому языку) я ехала за Марусей на конке. У Трубной, перед подъемом по Рождественскому бульвару, припрягали еще лошадей, мальчишки вскакивали верхом на передних, и с криком, грохотом, цоканьем копыт все это взбиралось по булыжникам горы. Дальше передних лошадей отпрягали, мальчишки верхом скакали на них назад, вниз, а наш путь продолжался.

Падал снег. Мы входили в тяжелые дубовые двери пансиона фон-Дервиз — удивительно напоминавшего мне ненавистный пансион Бринк — и ждали. Сверху несли затишенный гул мне неведомой, мрачной, по рассказам Марины, жизни русского интерната, от строгостей которого — после сво-

боды ее ялтинской жизни, близ друзей-революционеров – протестом билось ее бунтарское сердце, и я по-детски малодушно радовалась, что еще не учусь в русской гимназии, которая ничуть не лучше зверского пансиона Бринк. Бедная Марина, от тоски о маме бросившаяся в интернат, в пасть к льву! Глухо вспоминалось что-то из разговоров мамы и Маруси – о школах в романах Диккенса, и страхом тоскливым сжималось сердце о моем скором поступлении в русскую школу. Правда, слухи о гимназии Потоцкой (называли еще гимназию Кирпичниковой) были утешительные: «Там борются за новое воспитание», – в то время как «у фон Дервиз, как и везде, сурово проводятся в жизнь требования сверху». Но все это было в гадательном будущем. Пока же я, замерев, ждала Марину.

Наконец вниз по лестнице сходила Марина, в очках, в гимназическом коричневом, почти длинном платье и черном фартуке, одевалась, и мы ехали домой. Маруся выглядела взрослой. И о подругах она говорила мало. Но проскальзывали имена: Ирина Ляхова, Маргарита Ватсон, и думается, что третья была – Валя Генерозова. Скоро все три эти имени исчезли под тремя вымышленными: Инна Свет, Рита Янковская и Елена Гриднева. Преображая имена, Марина, конечно, освещала своим восхищением и сущности героинь. Бунтарский дух ее создавал драматические положения – те, которых она искала, поступив в интернат, нужный ей как плацдарм для собственных ее действий, проявлений ее недовольства окружающим, особенно – нестерпимым для нее духом интерната.

Случилось, что Марина дала мне прочесть свою повесть. Я сижу и читаю тонкий, круглый, мелкий, кудрявый ее почерк – легкую вязь, три характера ее героинь – передо мной и сейчас: «безудержная, непокорная» Рита Янковская, вся какая-то «золотистая», с завивающейся косой, золотоглазая, прелестная; вся в движении, в неожиданных шалостях, чудесный товарищ (прототип Ирины Ляховой); Инна Свет: «холодная, презрительная», красавица, интеллектом выше других, не снисходящая к окружающему, дарящая иногда – улыбку, роняющая лишь изредка – слово (Маргарита Ватсон). Третья Елена Гриднева – молчаливая, но по-иному – «глубокая, как тихая река» (Валя Генерозова). Все – на фоне других подруг, молодым, не без пафоса того времени, языком. Имена геро-

инь Марининой повести стояли совсем отдельно от ясных, реальных ее рассказов о других девушках — сестрах Ланиных: Вере, Ане и Варе, с которыми — особенно с Аней — она дружила. Дружба эта была веселая, озорная, протекала в ежедневных шалостях и проделках. Марина (ее теперь так звали уже почти все, точно именно с мамой, ей это имя давшей, ушли «Муся», «Маруся»), тесно сошедшаяся с Аней Ланиной, имела к ней — за ее бойкий решительный нрав — прочное дружеское уважение. Позже, уже взрослой, она всегда с любовью вспоминала Аню Ланину. Скупые же рассказы ее — вернее, упоминания о тех трех, учившихся в старших классах, были овеяны таинственностью. Имена кумиров своих Марина утаивала, ревниво оберегала их от грубого касания, расспросов. И, может быть, именно оттого, что я ей по природе была всех ближе, она, чуя возможность вопроса, заинтересованности или боясь моего по-детски неосторожного слова, от меня скрывала свое сокровище. Это зная, я не спрашивала ничего.

## Глава 2

### МАРИЯ ИСИДОРОВНА. РЕВОЛЮЦИОННАЯ МОЛОДЕЖЬ. «НЕМКА». БРАТ АНДРЕЙ. АННА АЖЕРОН

Мария Исидоровна — невысокая, худенькая, очень сутулая, почти горбатая, чинно одетая, седая старушка. Остролицая, остроносая, с темно-седыми мелкокудрявыми волосами. В темно-зеленом и в черном. Без шуток, без старушечьей ласковости и, однако, застенчиво-добрая; мало-речивая, отдаленная, без интимности на уроках, она давала их серьезно, поглощенно, не показывая усталости и не замечая моих ей — стыжусь! — козней. Не остановив меня! Кознь была — собственно — одна, но я ее повторяла, в пику неутомимости ее серьезности. Я ставила перед уроком на стол металлическую безделушку: темно-серого, почти черного кота, ростом со стакан, качавшего (подтолкнуть) головкой на тоненьком стержне, качавшего ею неутомимо, долго, замедляя качанье с медленностью минутной стрелки. Он стоял справа от моей тетради и качал головой, и качал, и качал — сочувственно ли? укорительно? — кто знает, как и до сих пор не знаю того, замечала ли его Мария Исидоровна. Она мне никогда не сказала о нем.

Как с более поздним временем слито слово «лозунг» — так было слито с тем временем «революционных зорь» — слово «девиз». Из-под иглы на шнуре, шедшей к выжигательному прибору, из-под руки Лёры выгорали огненным ручейком слова девизов или стихов.

Какая даль, какой простор!  
Взгляни, взгляни вперед!  
Туда, где грозный вал встает  
Громадой синих вод!  
Пушай застигнет их прибой!  
С опасностью борясь,  
Кто встретит смерть готов, смеясь, —  
Безумец, но герой!

Или строки из «Песни о Соколе» Горького, из его «Буревестника». Из «Размышлений у парадного подъезда» Некрасова.

Возле Лёры помню смутно ее подругу Раю, большую, с тяжелой поступью, веселую, к которой очень привязалась Маруся. Она смотрела на Раю, или Раису, как звали ее товарищи, обожающим взглядом, садилась иногда у ее ног. Помню каких-то мужчин с пышными волосами, в русских рубашках — тип революционной молодежи того времени. Звали они друг друга «товарищ», говорили о каких-то собраниях. Все это зажигало Марусю, мне же было невнятно, при мне не все говорилось. Да и я была еще полна маминой смутой обо всем этом. Этой ли, прошедшей осенью или год спустя? помню себя, идущей с Лёрой по холмам от Тарусы к даче. «Но разве непременно должен думать Эдисон о политике? — говорю я. — Он просто занят своими открытиями, наукой...» Мой тон — упрям.

«Не так просто, как ты думаешь, — отвечает Лёра, — каждое открытие делается для кого-то, а не просто так, им должны все пользоваться, а если исследователь работает только для богатых людей, не думает о том, что плоды труда его должны принадлежать народу?»

Иногда Марина уходила куда-то с Раей — на собрание. Она не говорила мне, я молча глядела вслед. У меня — впервые за мои двенадцать лет — друзей не было. Мои друзья были — цепной пес и мой, выросший уже в полукота Маленький Кис,

рыжий с белым, уютный, помнивший маму и Ялту. И была еще радость — начинать лучше кататься на коньках; мне уже был мал наш дворовый каток, где иногда со мной в субботу и в воскресенье выходила покататься и Маруся.

Ко мне она относилась теперь как к младшей, с появившейся далью взрослости. Внутренняя нежность наших отношений с Мариной никак не выражалась вовне: мы не целовались, насмешничали, дрались. Но ее присутствие всегда меня грело, поддерживало. Теперь и оно изменялось: отстраняясь от меня по возрасту (она очень росла, я — мало), она льнула к Лёре и ее друзьям и мало бывала со мной. Приходы Марины не возвращали мне ничего из прошлого в мой день, ничего детского. Марина была не со мной, ее принимали как взрослую, она носила почти длинные платья, была и ростом для своих лет большая, между нами, казалось, не два, а четыре года. Я же еще носила детские платья. То, что не ходила в гимназию и была лишена сверстников, делало меня еще более неприкаянной.

Но подходила и моя школьная жизнь: весною — экзамены. А разнообразно-однообразная жизнь дома шла: Лёра — с книгами, Люда — на курсах, Андрюша — всегда один в своей всегда запертой комнате (в детстве там жила Лёра, теперь переехавшая во флигель, где ей свободней было принимать своих революционных друзей). Я одна. И я шла читать Тургенева, которого любила все больше.

В наш дом въехала приглашенная папой — вести хозяйство — экономка, немка Елизавета Карловна Мюттель. Среднего роста, старая, полная, горбоносая, с пристальными светлыми глазами. Подвитые серые волосы, разделенные прямым пробором. Какое-то дрожание видится мне в ней — смешок ли любезной веселости или мерцание отводимого вбок взгляда? Может быть, она была по природе — застенчива, а роль ее в жизни требовала, наоборот, сановитости, уверенности в себе, и все это вместе давало тот соус кисло-сладкого вкуса, которым наполнялось — приправлялось — общение с нею? Куда перебралась от меня Люда? В нашу бывшую детскую поселилась со мной Елизавета Карловна. Помню ее, стоящую возле печки, отделявшую мой уголок от нее, хлопчущую возле расставляемой ею ширмы.

Man muss doch immer ein bißchen Scham haben, nicht wahr?\*

Больше не помню о нашей совместной жизни — просто ни одного случая. Помню затем «немку» (мы между собой так ее звали), живущую в нашей столовой, из которой, точно в большие праздники, обеденный стол переставлен в залу, под висячую лампу, вынесенную из маленькой, уютной, с детства неизменной столовой. Это новое устройство было неприятно, искусственно, но Елизавета Карловна хотела улучшения и старалась по своему разумению. Нам же был чужд и не нужен вид всегда освещенной залы, где самое ее волшебное в детстве — пустота паркета, над которой вечерами мгла поблескивала полосками двух трюмо, — теперь было заставлено прозаичностью ежедневных встреч за едой. Вместо того чтобы входить — по зову к столу — из высокой полутьмы в низкую освещенную уютность маленькой нашей столовой, где жил круглый стол, а в углу — самоварный столик с желтой медной доской и желтым пышущим самоваром (и стол, и самовар были живые существа, третье — висячая, с белым матовым абажуром, лампа), — мы теперь выходили из разных комнат — в высокую залу к длинному столу (куда вынесли круглый стол? и самоварный столик терялся, как мы, в холодной пространности не знакомой ему залы). Самовар, думаю, сразу переставал кипеть, вынесенный из своего Диккенсова уголка.

Но, как в детстве, неслись с далекого вокзала заунывные в своем стремительном отрывании, отлетании гудки поездов, точно мы все едем куда-то (кто-то — едет!..).

Папа, мужественный, добрый папа, хотел, может быть, бодро принять новый вид дома и трапез — как проявление хоть чьего-то порядка. Вижу его за столом, беседующим с часто навещавшим мать сыном Елизаветы Карловны — Павлом Карловичем (мы его за глаза звали — прозвал Андрюша — Полканьч). На лице папы — внимательный, добрый интерес к каждому; на лице Полканьча — почтительность: он говорит с профессором. На Полканьче зеленый галстук, в тот раз был — пунцовый. Полканьч — худой. Глаза у него карие, навывкате, но такие же сладкие, как у матери (он еще не вкусил жизненной кислоты, потому что под ма-

\* Нужно всегда немного стыдиться, не правда ли? (нем.)



теринским крылышком, посему глаза его не кисло-, а начисто — сладкие). У него длинные холеные усы. Он — конторщик. О, он понимает, что это значит — дом профессора! Он аккуратнo бывает по воскресеньям у матери, которая души в нем не чаёт.

— Mein Paulchen, mein Sohn!\*

«Сын» по-немецки — «Зоун». Потому у Полканыча есть еще одно имя, тоже Андриюшей ему, как и Полканыч, данное: Зоун: «Зоун пришел», — шепчет он мне, зайдя, как всегда, внезапно ко мне в комнату, стройный, в темно-серой гимназической форме, с развевающимися от бега надо лбом темными волнистыми волосами, и, дав мне покровительственно-дружеский шлепок по голове, исчезает, и уж из проходной комнаты мне доносится: «Немка им занята, не привяжется, можешь сколько хочешь баловаться...»

И его убегающие шаги вниз по лестнице.

Странная была юношеская жизнь Андриюши! Глядя назад, вижу, что он и тогда уже был, что в общезнании звалось «оригинал», без всякой наигранныости, его возрасту свойственной; он бы мог казаться угрюмым, и угрюмость в нем, конечно, была, но часто в нем вспыхивала веселость — насмешливая и поддразнивающая. Он мог одним штрихом очертить человека, но никогда не лез ни с кем в дружбу, как бы сторонясь встречного. В нем было неожиданное остроумие, указывающее на большую наблюдательность, но, как у Лёры, было в нем, хоть и по-иному, отвертывающееся движение от всего, что не нравилось. Он как бы боялся связаться с кем-то и с чем-то, на ходу — без осуждения, но привычно — ожидая себе неприятного. С прислугой он был повелителен и немногословен (а его любили!), друзей у него не было — то есть в доме их не помню. Иногда только во двор приходили — но он принимал их в раскрытом сарае — высокий гимназист и маленький кадетик. Что-то они мастерили, чинили. И — всё. Но, видно, и его затронула революционная пора; по крайней мере, он иногда вместе с Мариной (между ними завязывалась дружба) уходил куда-то (мне, как ребенку, не полагалось знать куда, мне объясняли, что ушли они «на собрание»). Заходил к Лёре, и среди ее «товарищей», как теперь звалось, где-нибудь в уголку был виден его тонкий

\* Паульхен, мой сын! (нем.)

силуэт, всегда, сколько я ни помню его в гимназические старшие годы, в очень темно-серой форме — светло-серую щегольскую он презирал. Узкое его лицо, большие карие, застенчиво отводящие несколько мрачный взгляд, глаза; грация всего его уклончивого существа напоминала оленя. Стань он под портрет своей матери — все бы увидели разительное их сходство. Но портрет был высоко, на стене залы, и тут, в Лёрином мире были заняты другим. Знать, что — свой, дружески сжать руку. Что «не проболтается» — было ясно. Он почти всегда молчал. И, мимо его молчаливого сочувствия и интереса, те, другие, постарше и пошумнее, зрелее, кидались в неумолкавший в те годы спор о политических убеждениях...

Но больше всего, должно быть, брат Андрей любил музыку — наследие матери-певуны: из-за его запертой двери часто неслись мандолинные искры; он выучивал сложные вещи, приходил ко мне, совал мне в руки балалайку или гитару, на которых научил меня играть: и тарусский марш «Тоска по родине», и «Память о бурской войне» перепевались, перепевались вдвоем.

Мы с Андреем играли — из простых вещей — «Варяга» — песнь о героической гибели нашего крейсера в японских водах; о Ермаке и о Стеньке Разине. Струнный дуэт гляделся неплохо.

Иногда, по воскресеньям, к нам приходил Володя Цветаев, так нами когда-то на варшавском вокзале и позже, в Ялте, полюбленный.

Теперь, на полтора года старше, он был дальше от нас — почти уже взрослый с виду, но все же к нам — дружественен. Отношения с ним были куда проще, чем с Андрюшей, ближе, теплее. В нем не было никакого отстраняющегося движения, он подходил — вплотную. Как не похожи они были с Андреем! Счастливый сын, любовь и гордость матери и отца, он бы мог быть избалован, если б не был умен, целеустремлен и, прежде всего, энергичен: в каждом часе своего дня. Увлечения его были реальными, деловыми: ему подарили, по его желанию, токарный станок, и он точил на нем всевозможные деревянные вещи. Он любил черчение, пламенел над инструментами готовальни. Много читал, отбрасывая с пренебрежением не нужное ему, просиживая над

трудными иногда книгами. Любознательность делала его ко всему горячим. Глаза его, быстро взглядывающие прямо на человека. Я дружила с Володей. В его квадратной угловой комнате, выходявшей во двор\*, он показывал мне то, что вытачивал на токарном станке, объяснял как и что. Я, где-то в глубине не утратившая интереса к ремеслам, слушала с интересом. Я брала у него читать — том за томом — Тургенева, прочла его всего еще до того, как в подарок от вдовы и дочери доктора Захарьина получила двенадцать томов собрания сочинений Тургенева в синих с золотом переплетах.

Встречи Володи с Мариной были теплые, дружеские. Он походил на мать. Только у Елизаветы Евграфовны остроте взгляда аккомпанировала терпкая улыбка, крепко сжаты были уголки губ, любезных. И легкая дрожь была вокруг нее — резкость ли нервных движений, сверканье ли ушных бриллиантов, перемигающихся с бриллиантами броши? Будущее лежало перед ним ясно: он пойдет в Инженерное. (О том, кем он станет, Андрюша не говорил никогда.)

Лёля и Саша, старше нас на четыре-пять лет, наши кузины, были не менее не похожи на нас, чем Володя на Андрюшу. Воспитанные матерью в старинной строгости, чинности, приезжая к нам в гости, радовались, думаю, немного побыть на незнакомой, заманчивой свободе, но, может быть, одновременно и пугались этого чувства, зоркими глазами оглядывая всю необычность нашей семьи.

Саша, младшая, была непосредственной, проще и веселее. Некрасивая, но приятная, она не была похожа ни на отца, ни на мать, говоря, спешила, что походило на легкое заикание. Глаза ее были светлые, полное розовое лицо, русые кудреватые волосы.

Лёля, старшая, очень похожая на мать глазами и носом, была выше сестры и тоньше, темноволосая, кареглазая, с постоянной готовностью к испугу в глазах, даже и в отсутствие матери держала себя чинно, видимо, и сама уверовав в несомненность материнского воспитания. Но душевно она была тепла, проста, отзывчива, никогда не выдавала ни нашей «немке», ни своей матери наших проделок, проявлений нашей, без матери, привычки к свободе. Жили они как

\* Теперешнего (1962 г.) Института иностранных языков на Метростроевской.

бы «богаче» нас, так как «Какаду» (как мы ее, по привычке давать прозвища, за глаза добродушно звали), была отличная хозяйка, гостеприимна, добра и к нам приветлива.

Хотя теперь и у нас многое внешне изменилось в доме. Утренний чай, завтрак, обед, ужин — в положенный час. Теперь «немка» старалась «принять гостей». На столе появились вазочки с различными сортами варенья, вместо Лёриной нескончаемой (доливалась в спешке, со смехом — кипятком) банки рябинового варенья, тарусского; в молочнике с синей ласточкой, заглядывающей в нутро белого фарфора, вместо молока теперь густели сливки. На обед вместо вековечного в нашем детстве пирога с капустой (любимого!) появились пирожки — с рисом, с саго и ненавистные изделия с морковью. Скатерти и салфетки — блистали немецкой белизной, самовар — горел как у Тети. Порядок... Но в моей памяти ни Рождества, ни Пасхи этого года. Душевно они кончились вместе с мамой, хоть, конечно, Елизавета Карловна устроила елку, напомнила папе о подарках — она так старалась украсить, оживить, упорядочить наш дом, из всех сил своих немецких старалась. И так добротнo и добронравно помогал ей во всем Зон!

Марине было четырнадцать с половиной лет. Она выглядела взрослой, для своих лет высокая, плотная; ее коса была не длинная, но довольно толстая, русая. Иногда она косу закладывала вокруг головы — как гимназистки того времени. Глаза ее, светло-зеленые, пристальные, часто шутившиеся — от сильной близорукости, глядели прямо на собеседника. Но она часто отводила взгляд, вспыхивая застенчивостью. Очень часто краснела — во всю щеку, и это мучило ее, делало еще надменной в обращении, еще резче. Она носила очки. Нос с горбинкой, не сильно возвышающейся, с очерченными ноздрями был короче, чем у меня, правильной. Подбородок и рот — волевые. Губы с углубленными уголками, выдающими начало усмешки, улыбки. Высокий, широкий, прекрасный лоб. Волосы над ним она носила, как и все почти, напуском, но не пышным, не беспорядочным — строгим. Красивой ее в те годы конца отрочества назвать было нельзя. Мало обращая внимания на одежду — еще более по революционности своего настроения тех лет, — она, однако, мучилась тем, что, по ее мнению, была слишком розовая и здоровая (ей нравились иные лица), тем, что шея ее, казалось ей, коротка.

Крайне мешали ей — при людях — легкоранимое самолюбие, неожиданная для нее самой резкая реплика. Портили Марину очки. Сменив их в шестнадцать-семнадцать лет на пенсне, затем сняв и его, похудев, подрезав волосы прической «пажа», она к своим девятнадцати-двадцати годам стала просто красавицей.

«Какого цвета у тебя глаза?» — спрашивала Марина. «Как соленый огурец, — отвечала я. — У тебя зато как крыжовник!» — «И твои больше...» — с легким вздохом говорила она. И, нахмуясь, устыдясь, проходила — за книгой или к Лёре.

— Зато нос у меня длинный, — бросала я утешающе вслед, — у тебя короче, красивей!

Реже теперь — в этот год и, может быть, в следующий — мы вдвоем вспоминали что-то из прошлого, Марина как бы избегала этого. О маме не говорили. И было одно в доме — по папиной, не осознанной им ошибке, — что отравляло нас воспоминание о маме: ее портрет в гробу. Увеличенный, в такой же раме, каким был гроб — светлый металл и белые костяные украшения, — он висел над турецким серым диваном в папином кабинете, и мы боялись его — до конца нашей жизни в доме, до наших замужеств. Мама на нем была крайне худа, в профиль, нос казался слишком длинным, закрытые веки; отсутствие взгляда, темных прядей надо лбом, замененных чем-то белым и цветами, — делало лицо совершенно чужим, страшным. Портрет был — не мама. Заказанный папой затем, чтоб мы помнили маму, он испортил нам отрочество и юность в любимом доме, отнял у нас папин кабинет, в детстве некоторые годы бывший «маминой гостиной», где мама читала нам вслух. Сказать об этом папе мы не могли. Это бы обидело его, он бы подумал, что это неуважение к маме.

Иногда мы ездили всей семьей (кроме Лёры) к дяде Мите. От семейных поездок Лёра, как и прежде, уклонялась. Дядя Митя был директором Коммерческого училища на Остоженке — большого розового трехэтажного здания с колоннами\*. Кабинет, зала, гостиная, будуар Елизаветы Евграфовны, столовая, комнаты сына, дочерей. Обстановка была новой и богаче нашей, но уюта (кроме, может быть, будуара)

\*Ныне — Институт иностранных языков на Метростроевской.

не было. Хлебосольство было старинное. Но мы стремились домой. В наш милый дом, где господствовала свобода.

Зима шла, проходила, первая зима после мамы. Была, наверное, с помощью «немки», и елка, и Масленица с блинами — я их не помню. Уже таял каток и во дворе, и на Патриарших, куда иногда я ходила с Людой и, по воскресеньям, с Мариной, вспоминая каток в Лозанне.

Скоро весна — и мои экзамены. Либеральная гимназия Потockой, где я буду учиться, помещалась на Петровке, в доме Самариной, желтом, двухэтажном. Я сдавала экзамены в третий класс легко, на пятерки. Стоя перед учителем русского, на предложение сказать мое любимое стихотворение — я без колебания начала некрасовское:

В полном разгаре страда деревенская...  
Доля ты! русская долюшка женская!  
Вряд ли труднее сыскать.

Не учитывая, что гимназия — либеральная, я увлеченно бросала «начальству» (как я воображала) — обвинение:

Бедная баба из сил выбивается,  
Столб насекомых над ней колыхается,  
Жалит, щекочет, жужжит!

Голос готов был пресечься. Как я любила Некрасова! Я получила «пять».

После экзамена я пошла в третий класс. Там у раскрытых окон знакомлюсь с будущими подругами. Их много. Вижу трех: Лена Дьяконова, ее подруги — Таня Луначарская, Саша Востросаблина. Таня Луначарская — гладко причесанная, сутулая, с белокурой косой, в очках, румяная. Очень серьезная. Чуть ли не первая ученица. Она мне не нравится. Почти на голову ниже ее — Саша Востросаблина, тоже светловолосая, синеглазая, маленькая, плотная, с толстой косой. Видно, что умна, но что-то в ней, кажется мне, есть ехидное. Лена Дьяконова сидит на столе парты у окна полупустого класса —

тоненькая, высокая, с длинными ногами, в коротком коричневом платье. У нее узенькое лицо, русая коса с завитком на конце и необычайные глаза: узкие, карие, с внимательным взглядом и такими темными длинными ресницами, что на них — потом я узнала, — оказывается, «можно положить рядом две спички!». В ее лице — упрямство и та степень застенчивости, которая делает движения — резкими, придает существу — дикость. Ее пристальный взгляд насмешлив. В ней нет ни тени игры — естественность, ставшая самобытностью! Лена нравилась мне — вне мер! Наша дружба загорается сразу. В этот весенний день я вырастаю на год, по крайней мере. Может быть, это начало отрочества? Я перестаю быть ребенком? Ревность к Тане и Саше, к ее подругам — с первой же встречи делается мне мучением. Этих подруг у нее не должно быть! Или они — или я, чувствую я чье-то во мне повеление. Неоспоримо, как молния! Желание стать *самым* дорогим человеком для Лены — сдает меня. А она сидит, озорница, на парте, длинноногая, худющая и смотрит карим узким блеском из-под ресниц, сама того не зная, — прямо мне в душу. За окном — весна. Но жизнь разводит нас, как умеет, со всей своей беспощадностью: все уходят, и мы уходим, все растаются, мы — тоже, и московские улицы пусты без Лены! Марины нет, и «немка» ко мне «придирается», папа зачем-то хочет, чтоб мы, с ней говоря по-немецки, все лето говорили бы по-французски с какой-то девочкой из французского пансиона, она поедет с нами на дачу в Тарусу!

Ах, эта французская чужая девочка, зачем она нужна там? Где так хорошо мне бегать с маленькой Лёнкой, мечтая о дружбе с Леной Дьяконовой, — и вот по пятам за мной будет — французская девочка... Все про нас немке сплетничать будет! Зовут ее *Anná Ageron\**.

Она тяжелая, приземистая, с большим коричневым лицом, большими черными глазами и толстой, черной, как у китаяца, косой. Она много смеется и ничего не понимает, ей точно уже сорок лет! Все мое утешение, что с нами едет Марина, она дописала свою повесть «Четвертые», и ей больно расстаться с Ритой Янковской, с Инной Свет... Она так же не хочет *Anná Ageron*, как я, она тоже находит, что маленькая, беловолосая, остроногая, гневная Лёнка куда нам нуж-

\* *Anná Ageron* (фр.).

ней. Ничего, мы с Мариной не дадимся в обиду, пусть она не притворяется доброй, Аннá! Будет на нас смотреть сладко, притворяться, сама все про нас «немке» сплетничать будет?

...И я вспоминаю: на откинутой узенькой голове Лены Дьяконовой, когда мы выходили из гимназии, был синий берет, откинутый со лба, сильно откинутый назад, — такой же милый, как она вся!

...Марину исключили из гимназии фон Дервиз. Подробности этого она скрыла от нас. Недавно я нашла подруг Марины и попросила их написать, что они помнят о Маринином исключении из гимназии.

*Вот что написала Ирина Ляхова*

«Марина была бунтарь. Начальство боялось ее влияния на соучениц, так как все считали ее выдающейся. Она была в гимназии нежелательна из-за своей революционности. От увлечения отроческими романтическими героями она сразу перешла на революционную литературу, она просто дышала революцией. Начальство очень обрадовалось, когда от нее отделалось».

*И вот еще несколько строк из воспоминаний о Марине  
писательницы С.И.Липеровской*

«...В 1906 учебном году внимание всех гимназисток привлекала “новенькая” пансионерка, очень живая, экспансивная девочка с пытливым взглядом и насмешливой улыбкой тонких губ; высокий лоб. Смотрела на всех дерзко, вызывающе, не только на старших по классу, но и на учителей и классных дам.

Спокойствие гимназисток было нарушено — они почувствовали себя вовлеченными в бурю новых ощущений, переживаний. Мятежница с вихрем в крови звала к мятежу, к бурному выражению чувств, к подъему. Много изменилось под влиянием Марины. К ней обращались за советом, какую книгу прочесть. Марина сама приносила книги — сборники “Знание”, стихи Бунина, рассказы Куприна. Звучало имя Горького. Увлекал Степняк-Кравчинский; Андрей Кожухов стал любимым героем. Марина пополняла арсенал недозво-



ленных книг. Страстность вносила в споры о новых людях Чернышевского, Тургенева, Горького, о жизни в будущем...

Марина Цветаева оставалась в гимназии фон Дервиз недолго. Ее дерзости учителям и всем начальствующим лицам не могли не встретить сопротивления. Ее вызывали к директору, пытались уговорить, примирить, заставить подчиниться установленным порядкам, но это было невозможно. Марина ни в чем не знала меры, всегда шла напролом, не считалась ни с какими обстоятельствами. Из комнаты директора был слышен громкий голос Марины: “Горбатого могила исправит! Не пытайтесь меня уговорить. Не боюсь ваших предостережений, угроз. Вы хотите меня исключить — исключайте! Пойду в другую гимназию — ничего не потеряю. Уж привыкла кочевать. Это даже интересно, новые лица...”

Отцу Марины пришлось перевести дочь в другую гимназию».

*И вот свидетельство ее подруги Вали Генерозовой*

«Преклоняясь перед борцами революции, Марина мечтала и сама принимать участие в борьбе за свободу и светлое будущее людей. Марина старалась меня познакомить с революционным движением, снабжая меня запрещенными в то время книгами. В атмосфере, царившей у нас в пансионе, Марина считалась “неблагонадежной”, и боялись ее влияния. Говорили, что ей предложили уйти от нас за “свободомыслие”. Марина уверяла, что в предстоящей ей в будущем личной жизни она будет свободной от пут заурядного семейного быта, отдаваясь целиком работе на революционном и литературном поприще».

### Глава 3

ЛЕТО 1907 ГОДА. НОЧЬ ПОД ИВАНА КУПАЛА.  
ГОДОВЩИНА МАМИНОЙ СМЕРТИ. КУМЫС.  
ПЕРВЫЙ ОПЫТ ЖИЗНИ. ОСЕНЬ

Когда Марину исключили из гимназии фон Дервиз, была весна. Лёра выехала с нами в Тарусу. Никогда еще мы не жили в лесном нашем гнездышке одни с Лёрой — и только раз в де-

тстве такой ранней весной. Был апрель, ветви только одевались листвой, рощи были сквозные. Доносился голос кукушки. Тарусская старушка Александра готовила нам еду, все было предельно просто и весело. Дружба Лёры с Мариной грела меня, давая иллюзию семьи. К Лёре приехал ее ученик. Вместе вставали мы иногда смотреть восход солнца, ездили на лодке собирать ландыши, жгли костры. Зубы стучали от холода на рассвете. Лёра укутывала меня, полусонную, теплым платком. Свистали птицы. Щебет их делался так громок перед появлением спящего солнечного диска! Ока отражала нежный пожар восхода. Как удивительно трещал костер, кидая вверх разноцветное пламя... Как чудно пахла дымом печеная картошка! Пенье наше несло по реке, голос Лёриного ученика рос, как темный молодой дуб среди зарослей нашего девического хора... Как весело кивает нам Лёра, мы играем с ней, как щенята.

Ока все так же течет, голубая, по лугам загибая к Игнатовской горе влево и пропадая — вправо — за Велегожем, так же стоит над старой серой дачей жара, так же пахнет тополиными листьями. Гроздь душистой сирени так же лиловеют в густых ветках, и птицы свищут... А мамы — нет.

Мы бываем у Добротворских, Саня и Люда за нами заезжают на лодке, мы с Анн<sup>а</sup> ходим к Тью. Терраса в сад с кустами сирени и клумбами, похожий на картину «Бабушкин сад» Поленова, только нарядней, пленяет не только Анн<sup>а</sup>, но и «немку». И как шесть-семь лет назад наша немка Преториус восхитилась, увидев Тетю, ее дом, садовое хозяйство на швейцарский лад, — так теперь, как две капли воды, повторяется оживление немки Елизаветы Карловны Мюттель в обществе Тью, в ее чинных, старинных нарядных комнатах, где бьют и играют дедушкины венские часы — оркестр, солнцем горит красная медь пузатого самовара и светится лампада перед дедушкиным портретом, на полочке под ним — цветы. Мы с Анн<sup>а</sup> ходим по саду, набрав яблок и ягод, бродим по дальней липовой аллее и выдумываем ей всякую всячину — она легковерна и недалёка: всему верит! И мы уже сговорились с Лёнкиным братом, сторожевским Мишей (ему уже шестнадцать лет, всегда ходит с нами, когда его не отзывают на работу отец или на охоту Андрюша), вывести ее на Ивана Купала ночью смотреть «клад».

Канун Ивана Купала. Шепчемся, переглядываемся — как бы не сорвалось! Надо, чтобы папа уснул и чтоб улеглась «немка». Тогда, сняв башмаки, на цыпочках, вниз по лестнице, через кухню, мы вылезаем в окошко во двор — только бы не залаял на сторожевской поляне их пес, черный с желтым, цепной, наш любимец Сугонка! У «старого сада» нас будут ждать Миша и его двоюродный брат Ваня (ему четырнадцать лет), Марина, конечно, с нами. И вот — босиком, замирая от страха при скрипе ступеньки — при поднятии крючка на двери в сени, — жара низкой кухни, распахнутое во двор окно — и в унисон (Марина и я) шиканье на Аннá, которая вдруг испугалась, *что* скажет папа, *что* сделает «немка» — и *не лезет* в кухонное окошко! Миг отчаяния — как заставить ее? И в два голоса жарким шепотом ей, с двух сторон — в уши, по-французски: «А клад, а сокровища? Ведь эта ночь не повторится!» — «Ну хорошо, мы без тебя...»

Аннá испуганно лезет в окошко. Огромные тугие лопухи холодят ноги, мы выбегаем за ворота, в темноте что-то движется к нам: Миша и его спутник Ваня. Два-три слова шепотом, и по лужайкам «старого сада» шагаем, надев башмаки, прислушиваясь, не проснулись ли в доме. Нет, в доме темно. Мы пробираемся в чашу и (часов ни у кого нет, папа Марине подарит к пятнадцатилетию, в сентябре) определяем, который час. «Наверное, без пяти двенадцать, — говорит Миша и еле слышно: — пора начинать, а то отец ружья хватится!» В ту же минуту — выстрел. Что-то сверкнуло! Аннá закричала... Схватив ее за руки, испуганно полетели мы в глубь чаши.

— Видела огонь? Слышала? — говорили мы, выйдя на лесную поляну. — Ну вот! Это — папоротник так цветет в Иванову ночь — видела, как огонек побежал?

— Видела... побежал... — в испуге повторяет Аннá.

— Ну вот! А треск был — это злые духи клад охраняют, пугают.

«Oh, allons à la maison! Oh, j'ai peur...»\* — плакала Аннá.

Нам стало жаль ее и вдруг стыдно, что ее обманываем, и, успокаивая ее, говоря, что теперь худшее позади, надо искать клад, мы вели ее на следующую поляну дальше от дома, чтобы другой дорогой возвращаться домой, — недоумевая, как объяснить отсутствие клада. Но, шагнув раз-другой

\* «Уйдемте домой! О, я боюсь...» (фр.)

(Миша замешкался, позади пряча ружье), — мы остановились, пораженные не менее, чем Анна: посреди поляны лежала — горела — мигала — прямо перед нами в темноте — грудa светящегося серебра! Один миг был — совершенно безумный: мы оказались в сказке! В следующий миг шепот догнавших нас мальчиков сбросил нас с неба на землю: «Гнилушки! — шептали они Марине и мне. — Пень это светится!» И тогда, в восторге обернувшись к Анне: «Видишь? Клад! А хотела — домой!» Миша на ухо: «Кстати ведь как?.. Светляки (запас их!) у меня взяли да вдруг погасли...» Обомлевшая Анна и все мы собирали жадно, горстями, сияющие кусочки и прятали в карманы, в платки... Нагруженные сокровищами, шли мы домой, считая, за сколько мы продадим наш клад. Анна сияла. Бедная! Как плакала она, когда ей пришлось пережить тьму разочарования — от вида потухших кусков серебра, превращенных в гнилушки хитростью и местью обобранных нами бесов. «Кидай их, кидай, а то бесовское серебро сожжет тебе руки!» — говорили мы ей в тот горестный для нее час... И тихонько влезали в прикрытое окно кухни.

Эскапада наша осталась тайной.

Наступила годовщина маминой смерти. Мы должны были ехать в Москву на могилу, где будет отслужена панихида. Лёра, устроившаяся на лето под Москвой, в Подольске, после панихиды хотела взять нас к себе погостить. Мы и радовались, как всегда, перемене, и было жаль уезжать из Тарусы. Мы теперь вечерами ходили гулять — Анна, Лёнка, Миша, Ваня и я, иногда и Марина шла с нами. Лугом, вдоль опушки леса, далеко-далеко, где вход в Пачёвскую долину, с детства бывшую нам волшебной. В этой зеленой дельте (вечером иногда при луне уже совсем необычайной) стояло несколько высочайших сосен. Тут как-то особенно стрекотали кузнечики, слышался крик болотной птицы и была глубокая водяная тишина. Там, впереди, в лесу, на повороте с луга в долину жили угольщики, были обожженные круги на земле и росли толстые зеленые дудки с лиловыми цветами. Когда над всем этим лесным и луговым одиночеством выплывал шар луны — это было сразу и деревья возле замка Рингштеттен, Гюльбрандт и Ундина, и нервийские линии над Володиной «пластиной», взнесенные на сосновом стебле не над Средиземным морем,

а над Пачёвской долиной, вдруг сливавшей в этот магический час два мира нашего детства. И плыла над долиной и тишью какая-то германская сказка, — и вся непонятность будущего, ждавшего нас, от которого расширялось и холодело ледяным горением сердце. Мы жгли костры, пекли картошку, грели озябшие, промокшие от обильной росы ноги, вылив воду из башмаков — в них хлюпало. Марина рассказывала что-то из французских, немецких книг, а может быть, и свое вплетая — романтическое и необычайное; ребята слушали, не сводя с нее глаз.

Одна Анна портила все — просилась домой, боялась всего, ныла. Мы уходили, по-крестьянски заботливо затоптав, затушив костер, возвращались домой под вздохи и угрозы Елизаветы Карловны: «Скажу папе».

Как жалко расставаться с шалашом! Миша и Ванька построили его в чаще леса, согнув верхушки, связав, он густ, его и дождь не берет, на земле — мох, мы прячемся туда от дождя. Неделя за неделей, и примерная Анна (уже она — Аня) тоже немного одичала, перестала сторониться ребят и не увезет ли с собой во французский пансион русские ухватки — к ужасу своих прежних подруг?

...На Ваганьковском кладбище — в густых кустах и деревьях — шум листвы, неумолчное щебетанье птиц, и в почти праздничной тишине позеленевших могильных плит и свежих деревянных крестов по узким тропинкам — редкие силуэты людей, идущих медленно, вспоминая ли тех — живыми или мысля себя — здесь?

Над маминой могилой, непонятной, ее не вместившей, ветви деревьев качаются... Черная гранитная лежачая плита. Над могилой — деревья и небо. «Вот и мне, дети, такую поставьте, когда я умру, — говорил папа, — стоячие памятники — падают, а лежачие...» — «Что ты, папа!» — в один голос прерывали его мы от нестерпимой жалости, но папа продолжал: «Вот соберусь с силами, поеду на родину, в Талицы, поставлю такие же лежачие черные плиты — отцу, матери, брату». Над таинственной и чужой (к привыканию к которой надо приложить старания всей своей жизни, и все-таки ничего не поймешь) — над могилой мамы качаются ветви, с них взлетает и вновь возвращается птица, и тот же отрезок щебета, музыкально вновь повторяемый, делает еще невозможней мамину смерть.

У близкой могилы через тропинку священник кадит, возглаголющая старческим голосом, маленькая старушка в черном — она столетия все та же — подпевает ему. Сейчас и к маме придут петь. Псаломщик подходит к папе. Маруся стоит, опустив голову, трогает веточку. Новые горшочки цветов стоят у могилы. Мамины любимые анютины глазки. Маруся их выбрала. Никто не говорит ничего. Тут мы стояли с мамой — у дедушки...

Жизнь остановилась — и ждет.

Дом пустой, будто бы пахнущий нафталином, с полузакрытыми ставнями; Маруся тронула клавиш, и длинный его звук ужалил тишину. Нет, Маруся не будет играть! Она закрывает крышку, тихо отходит от рояля, идет по квадратам паркета — наискось через залу, взад и вперед. Уже всё позади — ее блестящие музыкальные успехи, все мамины надежды о ее будущем... Со смерти мамы Марина почти не подходит к роялю. Из рамы пожирающим огнем темных глаз Бетховен смотрит на нас в залу. Портрет висит на том же гвозде, как при маме. Он висел тут при ней — много лет.

Мы приехали в Подольск с Лёрой уже ночью, ничего не видя в темноте, и ощупью (спичек не было) пробрались в Лёрину комнату. Лёра любила жить в бедной обстановке. Хозяева избы спали. По пути в проходной комнате с земляным полом мы наткнулись на телянка, потом заорали на нас гуси. Лёра шикала на них и на нас, мы — друг на друга, давась от смеха. Нам *страшно* хотелось пить! Ничего не было. Но Лёра нашла в темноте бутылку с кумысом, открыла ее — пробка с шумом вылетела, гуси закричали еще больше, мы от смеха падали. Маруся жадно припала к бутылке, поперхнулась, отпила и — я топталась возле, ожидая питья себе — молча протянула ее мне. В темноте я, конечно, не увидела лукавого Маринино глаза, на меня метнувшего взгляд. Я хлебнула огонь. Кумыс был давний. Слезы брызнули из глаз, я еле отдышалась, но Лёра уже утешала: «Сейчас пройдет!» Было поздно. Усталые и веселые, мы сразу же повалились спать.

И проснулись в красное и зеленое солнце в крупных цветах занавесок. Почти никакая мебель. Лёра любила именно простоту и яркие краски. Но увы! Скоро пошел дождь, и два-три дня, что мы у нее прогостили, мы почти ничего

не видели, кроме него. Помню, как идем обедать в столовую, сеет дождь, тучи, безнадежная тоскливость русской деревни, лужи, ступенчатое крыльцо, маленькие окошки, утки, околица.

И снова — праздник тарусской природы, рощи, холмы, Ока, на плотях — плотогоны, вечером их огоньки, прелесть родного места — и его, не нами одними, воспетая красота. В ней меня встретило мое первое в жизни женское горе: за мое отсутствие Миша Монахов, тихий, с задумчивым выражением всегда застенчивых карих глаз, подружился с Анн<sup>а</sup> и, по ее словам, гордым и торжествующим, — сказал ей, что он ее любит! Ее, не меня? Как это могло быть? Чувство собственности мое на Мишу, знакомого с детства, еще до Италии, до всего, — потрясло меня. Это чувство собственности было ранено. Выбрать не меня, а глупую и скучную Аню! Оскорбление, нанесенное мне рассказом Ани, было почти выше сил. Я вспоминаю его без улыбки, в полный серьез — так оно было тяжело.

Прошло несколько дней. Настало 1 августа. Я бродила синим ранним днем одна по дальней лужайке «старого сада», по его последнему широкому уступу, за которым шел «пар». Плакала ли я? Плакса с детства, может быть, не плакала — теперь. Я ходила и думала, что будет со мной в августе через год? Ветер мёл солому, от нее пахло детством. Где была Марина в тот день? Аня была с Мишей. Часы шли. Мертвенность была во мне. По ней стлались мысли. Позвать Мишу, поговорить? Невозможно. Мстить Анн<sup>а</sup>? Не за что. Примириться? Нельзя. Это было *настоящее* любовное горе.

В траве шуршала немолчная жизнь, ветер рвал листья. Аня с Мишей прошли по «большой дороге», за ветвями берез. День не имел конца, за ним — ночь... звала ли я маму? Нет...

Мама знала меня ребенком, беззаботным и ласковым. За год без нее в душе проснулось, уж кажется, все, что потом будет мучить! Мама ушла в разгар отрочества Марины и на пороге моего. Представить ее теперь с нами уже было трудно.

Аня Ажерон уехала в Москву раньше меня. Я, как год назад, жила с папой на даче у Добротворских. Папа, зная, что догоню, оставил меня еще подышать воздухом. Так посоветовал доктор, дядя Ваня. Боялись за наследственность в маму, я была мала и худая.

Была уже осень. Я опаздывала в гимназию. В холодные дни двери на террасу были закрыты и шла уютная жизнь на лежанке у Люды, на диване, с томом «Родника» отроческих лет давно выросших Нади, Сани и Люды, с сушеными яблоками или орехами.

Но этого было мало. Хотелось деятельности. Я вздумала учиться переплетному ремеслу. Папа дал согласие, пригласили старенького тарусского переплетчика — давать мне уроки переплетания. Но чем более я увлекалась процессами склеивания и обрезания книг, тем прохладней относился к моему увлечению старичок-переплетчик. Вскоре Катя, прислуга Добротворских, открыла секрет: бедный старичок встревожился, что растит себе конкурента... Смеясь, я старалась разрушить его подозрение.

Как год назад, в осень после смерти мамы, я подходила к фортепьяно у Добротворских, проигрывала свои полузабытые детские пьески, даже повторяла гаммы. Проходила в своем сером или синем капотике полная, круглолицая Елена Александровна.

— Вот мама бы радовалась, что ты играешь... — говорила она, с минуту стояла, и вдруг сразу, точно очнувшись, меня призадумавшееся выражение на обычное, она спешила к делам дня. Заходила пожилая, еще почти красивая служанка Катя, угощая теплой ватрушкой, со мной говорившая тем шутливым тоном, каким говорят с детьми. А я — как много старше стала за год, с маминой смерти!

Марина уехала в Москву немного раньше, к началу учения. Исключенная за своеволие из пансиона фон Дервиз, она попросила папу — и он согласился — отдать ее в гимназию Алферовой.

Я вступила впервые в русскую школу — в либеральную гимназию Потоцкой.

Нам было — пятнадцать и тринадцать лет.

Была осень 1907 года.



## Часть восьмая

# МОСКВА. ТАРУСА

### Глава 1

#### ДОМА. МАРИНИНА ОБИДА. ГИМНАЗИЯ ПОТОЦКОЙ. РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ВЕЯНИЯ. ДРУЖБА С ГАЛЕЙ ДЬЯКОНОВОЙ И АНЕЙ КАЛИН

Я уже *почти* подошла ко времени, когда Марина начала писать стихи о нас двух, посвящать мне стихи, когда нас стали, видя вместе, похожих — с той же улыбкой и тем же голосом, — звать «Сиамские близнецы», хоть я и была худее и ростом ниже Марины. Ее интернат кончился, мы теперь много бываем вместе.

Так же приходил к Елизавете Карловне в воскресенье Зоун, и старая Германия воплощалась за нашим невеселым столом образом седовласой, голубоглазой и чинной немки — хозяйки хоть и чужого, но семейственного стола, и образом приличного, кротко-гордого своим достоинством сына и конторщика, почтительно-веселого, вежливого Полканыча.

Изредка сумерки заставляли в нашей бывшей детской все ту же — только волосы черные на висках дрогнули серебром — худенькую, смуглую Марию Васильевну, как в раннем детстве нашем, за трудом целой жизни не заметившую свою уж угасшую (в дочери цветет!) красоту! Большие черные, теплые, ласковые ее глаза, вечно горькие, как и рот (памятью о страшной смерти сына ее Саши). Она стоит, прислонясь к белой низкой кафельной печке с синими полустертými ободками, руки — назад, и хоть она говорит о племяннике Мишке, о дочери Лизе, о сестре Александре, но Саша с ней неизменно. Оттого мы с ней так особенно (по чьему-то внут-

ренному повелению) бережны — в сторону все занятия и любимые книги, когда она входит.

А чудятся за Марией Васильевной какие-то чугунные лестницы. (Почему? Не знаю. Но, конечно, они и Марусе чудятся, не одной мне...) И гул родильного дома, общежитие бедноты. И вот ей уж надо снова туда, а нам — снова одним, потому что...

— Маруся, а напишем-ка с тобой письмецо, французское...

Папин голос; Марина, потягиваясь, встает от книги, я беру географию или задачник... Снизу — в мое внезапное мгновение счастья — разбегающийся прилив вальса Durand по клавишам, — это Марина, кончив письмо, села вдруг к роялю — и я лечу вниз по лестнице. Мои руки о горячие кафели печи в зале — мое всегдашнее теперь место, когда Марина на минуту теперь сядет за рояль.

Была осень, когда мы поехали в гости к Лёриной крестной, Анне Александровне Адлер. У нее была дача в Сокольниках, пышная сервировка стола. Новость тогда — пианоло. Подруга покойной матери Лёры и Андрея жила на широкую ногу. Бывшая красавица, она хромала, но и это казалось у нее почти грациозным. Светская дама, любезная, была нам чужда, нам было у нее неловко. Ее знакомый — седеющий блондин в пенсне, с русой бородой — Василий Васильевич Ш-н, внимательно в нас вглядывавшийся, еще больше смущал нас. После прогулки по саду, среди золотых ветвей в синей осенней эмали, мы пили чай, когда он или его соседка по столу, гостья, сказали вполголоса друг другу — о Марине, что она похожа на *Ольгу* из «Евгения Онегина».

— Помните? «Кругла, красна лицом она...»

Недосказанная строка промчалась в мозгу. Как мне было больно за вспыхнувшую Марину, за ее боль, за ее невозможность сделать единственное, что сейчас хотелось, — встать и уйти. Как прикованная, она претерпела свою муку. И для чего была борьба с тоской все часы визита до этого, ее щедрое рассыпанье юмора в сыгранной «словоохотливости», которым она «занимала» их? Бисер перед свиньями! «Вот так светские люди!» — думала я в отвращении.

Какой это был удар по Марининой тайной ране — по ее страданию о не той наружности, какую она хотела!

В этот ли год у Марины появились новые знакомые Аня и Коля Анциферовы, сестра и брат, жившие на Новинском бульваре? Аня, худенькая, высокая, светлоглазая, пышноволосяя, чем-то заинтересованная в Марине, подружилась с нею и своего старшего брата. Марина взяла меня к ним. Помню строгие правильные черты лица Коли, его серьезные глаза, сдержанную и значительную, как мне казалось, речь. Большую, с высокими потолками квартиру, книги. Среди взрослых я больше молчала, сознавая себя младшей. Наедине же с Мариной я возраста не чувствовала, так кровно сходны были наши состояния, чувства, отношения к людям. Те же нравились мне, что ей, те же отвращали. То, что Марина была резче меня и угрюмей — не мешало. Я с детства привыкла к ее большей гневности, своей большей мягкости. Понимание было с полуслова, со взгляда.

В Марине была угрюмость и заранее самозащита — от близящегося осуждения чьего-то; тоска подозрительности. Во мне протест был зазорней, легче, облечен в более веселую насмешку. Но основа была та же, наша кровная.

С той осени Марина училась в гимназии Алферовой, но мало рассказывала о ней, ее не любила. Мне же в гимназии Потоцкой было хорошо. Учителя относились к нам как к равным.

Но пора вернуться к событиям. Они, революционные, шли по России, их дух витал в моей гимназии, в противоположность Марининым гимназиям. Но не за то ли она выбирала себе школы враждебные, что там могла утолять свой бунтарский дух?

Наша, Потоцкой, была «либеральная». Учитель географии С.Г.Тригорьев походил на нервийских революционеров. Его же духа была и Е.Н.Орловская, вскоре его в нашем классе сменившая. Среди «старших» нам показывали тех, кто «работает» (то есть ходит на политические собрания, связан интересами со взрослыми членами передовой семьи, кто, может быть, даже и состоит членом, может быть, хранит прокламации).

От всего этого билось сердце и происходила внутри великая путаница. Я читала «Экономические очерки» Баха, откровенно в них ничего не смысля, но трудилась для какого-то славного будущего. Марина все еще пропадала у Лёры,

иногда с Андреем. (Их теперь в доме уж никто не звал «Андрюша, Маруся». Я одна была Ася, по-прежнему.) И эта Ася отличилась: увидев в гардеробной шляпу Жени Зеликиной (такой доброй ко мне, такой хорошей подруги), я — чтобы ее научить пролетарскому духу — пробежала с этой шляпой по всему этажу, насмехаясь над лентами, вишенками и прочей белибердой «барства». Женя простила мне эту выходку, желая спасти и дружбу, и шляпу! Сощуря близорукие глаза, протирая очки, залихватски заломив назад берет (картуз бы, собственно, надо!), зачерпнула на ходу тремя пальцами из мешка подсолнухов на глазах у розовощекого мальчика-продавца — не побоялась его поднятого кулака. «Из протеста» несколько дней я носила две пары очков, друг на друге, чем прославилась на всю гимназию. Старшие звали меня «шестидесятница» (чем, хоть и не зная, что это, — гордилась).

Да, это все так было. Но не так уж просто, как шутится. Под этими смешными вещами была — суть. Суть была волнение от нервийских, но по-новому услышанных строк, в них еще плескался длинный прибор по камням возле Вилла Торре, где коммуна жили царские эмигранты в Нерви. Ветер, средиземный, еще трепал в памяти листики агитационной революционной книжки «Солдатский подвиг»: «Смело, братцы, песнь затынем...»

«Волнение». Хорошее слово. Я не боюсь его. В его звуке, сквозь всю затасканность, вековую, живут эти самые «волны», когда-то хлынувшие в него...

И ритмически, как строка, идущая по голосовой волне, бились наши сердца, отроческие и юношеские, тех лет от — стихов «Жирондист» (Минского... или Евгения Тарасова?):

Грозный день проходил в непонятной тоске,  
Не дымили прямые фабричные трубы,  
Проходили солдаты. Отчетливо-грубы  
Замолчали шаги вдалеке.

Не забуду я девушку с ясным лицом  
И высокого юношу с пламенным взглядом,  
Словно брат и сестра, и в толпе они рядом —  
Их нигде не встречали потом!

Только видела темная ночь, как тайком,  
Словно воры, собрались на кладбище люди,  
Осторожно дышали стесненные груди,  
И солдаты стояли кругом...

Многоточие вело — в бесконечность. И казалось, что тут, вот сейчас, ты готов умереть за них, вместе с теми, что умерли... волнение перешибало дыхание. И было ясно, что это — навсегда. Хаос мира, гул жизни стихали в эти минуты. Переполненное сердце стучало восторгом и верностью. Тоска отступала! Приобретала имя память о маме — задумчивая? полуспящая? Обретала на миг явь. Это — Нерви, мама сидит, трогая струны гитары, и студенческая (избитая) песнь преображенно загорается в комнате вот этим самым восторгом (тоскующим?), восторженной — зовущей на подвиг — тоской.

Из страны, страны далекой,  
С Волги-матушки широкой  
Ради славного труда,  
Ради вольности высокой  
Собрались мы сюда...

Итальянский синьор Ladko (Владислав Кобылянский), под пулями переплыв реку, положил для себя конец царской каторге — и товарищам его, как и ему, отрезан путь на родину. По сей день озноб тихо идет по телу от знакомых — забытых? полузабытых, как все на свете (разве бы человек жил, если бы помнил бы во всю мочь?..) — слов:

Тронулась в путь колесница позорная,  
Путник как снег побелел.  
Душу окутало облако черное,  
Ум от тоски онемел...

Жирондиста везут на казнь. Он вспоминает день юности после первой, с другом прочтенной революционной книги:

И полились тут слезы блаженные,  
День этот вместе они провели,

*Глава 1. Дома. Маринина обида...*

Плача, давали обеты священные,  
В жертву себя обрекли...  
Бедный ребенок! В тот радостный день  
Первую к гробу прошел ты ступень...

Дальше и дальше. Все ближе к месту казни:

...шум приближается,  
Поздно! Назад, о назад!

Стих идет с закономерной жестокостью — образ матери, имя жены. Безысходность.

О, как светло позади!  
Бьют барабаны. Минута молчанья...  
...Что-то порвалось в груди!  
Снова ревущей толпою  
Буйно ликует народ.  
Все покрывается мглою,  
Все завертелось — вперед!  
Выше держи свою голову бледную,  
Ногу смелей подымай, не страшись!

Дальше уж было невозможно слушать, твоя жизнь прекращалась. Но стих шел, как тогда — шаг. Называя:

...Это прошел ты ступеньку — последнюю,  
Кончена мука и жизнь!

Чей-то голос креп, ставил печать, звал:

Ты ж сохрани, о родная земля,  
Память того, кто погиб за тебя!

Первые мои дни в гимназии я помню как опьянение. Такого множества детских лиц вокруг себя я не видела с Фрайбурга, с лет, когда была ребенком. Теперь я ощутила себя действующим лицом среди них, будущих друзей и врагов. От этой, вдруг хлынувшей в мою жизнь, напряженности — кружилась голова. Я была счастлива. Об учебе — забот не

было. Я знала, что буду все понимать, смогу — ведь уроки были так бесконечно легки в сравнение с ялтинской зимой, когда Марина и я занимались целыми днями. Арифметику я просто обожала — задача была ребус, и ее надо было победить. На уроках французского и немецкого мне было нечего делать; узнав это, наша начальница Варвара Потоцкая стала давать мне проверять на уроках французского всю пачку письменных работ класса.

Меня посадили с худенькой, остролицей девочкой, пристально, быстро, внимательно на меня взглядывавшей — Наташей Ильиной. С классом у меня сразу установились веселые, добрые отношения: веселила, собственно, я — необычными выходками, дерзкими ответами.

Единственной группой в классе, не принявшей меня на веру, была группа подруг Лены Дьяконовой — Луначарская, Вноровская, Востросаблина. Их я и захотела — устранить.

С бьющимся сердцем я написала Лене записку. Или я, или ее прежние дружки! Если она согласна быть моей подругой — пусть идет сегодня из школы не с ними, а со мной. Я буду ждать в гардеробной.

Не глядя на Лену, я передала ей записку. К чести своей (не к «своей», может быть, а крови, во мне текшей), в этой взволнованности, с которой я ждала утвердительного ответа, не было элемента торжества над той, которую я побеждала. В том чувстве, которое она мне внушала, лежала невозможность торжества над ней! В той ее чуть повелительной прелести, которая меня в Лене влекла, было встревожившее меня уважение.

Но тем она и нравилась мне, что — кто ж знает ее, гордичку! Возьмет, может быть, сдвинет со лба берет и пойдет, как и до меня шагала, с Таней, Валею и Сашей... А я буду стоять — смотреть вслед. Тихонечко, не то смеясь, не то плача. Урок шел. Я ответа не получала. Была перемена и снова урок. Я не глядела на Лену, но видела ее трепаную, милую русую косу. Родную! Ее остренькое, с подобием «крылышка» фартучного, плечо. Я ответа не получила. О, я все понимала — но это! Промолчать?

День — как раскаленная лава. Звонки, кружение девочек по зале, больших, маленьких — рядами, парами. Вопросы учителя, ответы. Звонок? Больше урока не будет. Я стояла, пока

все вышли из класса, все что-то ища в пустой парте... Одиночества ли я жаждала, чтобы зализать рану? Но вот наконец надо выйти из класса! Уже почти стих шум. Уже больше нельзя тут быть!

Я в последний раз поправила ремни на давно затянутых книгах и пройдя второй класс, пошла к выходу. В пустой гардеробной, прислонясь — тоненький силуэт на фоне окна — стояла, лицом ко мне, Лена Дьяконова. В коротком (не по росту) пальто, в откиннутом назад мальчишьем темном берете.

Мы шли, говоря о чем-то обычном, точно так всегда ходили с ней, а не в первый раз, и осенние тучи подымались над крышами Москвы весенними облаками, ветер рвал из-под ног и пускал в пляс осенние желтые листья.

Я «все понимала», да? Так как же не поняла, что именно так, только так могла поступить Лена? Значит, я не понимала ее, раз пошла в гардеробную не сразу? Страх не обрести ее пересилил даже желание ее увидеть. (И ее тем заставила ждать?!)

Мне был виден — она была выше меня — тоненький профиль узкого смуглого личика, чуть поднятый, по-китайски, глаз с полоской мохнатых ресниц\*.

С этого дня мы стали вместе уходить из гимназии. И я стала звать Лену так, как звали ее дома — Галя. Раньше я всегда ходила домой с Женей Зеликиной, приглашавшей меня к себе в нарядную квартиру, в круг заботливой, благополучной семьи.

Женя, должно быть, сказала матери, что у Аси умерла мама... Оживленное личико большеглазой, с черными косами, худенькой Жени, повторенное в полном лице Жениной мамы... Какая другая жизнь везде!

— Я провожу тебя, Ася, мы с мамой тебя проводим, не беспокойся! — с трогательной заботливостью говорила мне Женя.

Я теперь уж хожу одна. Первое время меня провожал папа или посылал за мной Илью, нашего дворника, а теперь... И — в летящий снег:

— А сюда мы с Мариной — это моя сестра — год назад, после маминой смерти, ходили к учительнице на урок музыки! Потом — бросили... Вон в том доме, кажется, она жила...

\* «Ses yeux» («Ее глаза»). Книга стихов и рисунков Поля Элюара, посвященная его жене Дьяконовой. Париж, 1926 г.



Летит снежок...

Класс ждал из-за границы (у них вилла в Бельгии; запоздала — догонит! такая способная, первая в классе) — Аню Калин. О ней говорили все. Одобрительно отзывалась и Лена Дьяконова. Она играет на рояле... чудно! «Подумаешь...» — отзывалось что-то во мне. Я ждала эту Аню как что-то чужое. Враждебное. Все в третьем классе о ней говорили каким-то «преувеличенным» тоном — как о само собой — выше всех — разумеющемся.

Этот тон меня раздражал. Инстинкт говорил мне, что наша с ней встреча выйдет боем. Мой авторитет в классе рос, ее — был нерушим.

Все было смутно мне в жизни Гали. В их квартире на высоком этаже дома Курносова на Кудринской площади. Помню я там вообще только одну комнату — изо всей квартиры. Ни на что не похожая, она была полутемна, неуютна. Непонятная мне житейская суета. Бедность. В чем-то темном толстая Марья, стряпуха. Мать Гали — усталая, немолодая. Заметной нежности в семье постороннему глазу не виделось. Лида, хорошенькая, в затрапезном платице. Худой цыганенок Коля, его сверкающий смех. Он годом моложе Гали. Еще — Вадя, большой, угрюмый, смуглый и темный — взрослый. И непонятно где отец. О нем молчание. От их неуютно знобило, как и от уюта Зеликиных. Галя очень Марине понравилась, не от Марины ли пошло наше ей «Галочка»? На фоне этой нам непонятной мглы, где она держалась с достоинством истинной гордости — то есть совершенно просто, естественно, независимо, не снисходя спросить, почему хуже других одета, не снисходя замечать свои платья!

Описанию личности Гали Дьяконовой позднее и Полем Элюаром, и другими людьми искусства была посвящена не одна книга, стихи и статьи. И может быть, мой долг — рассказать, какой же Галя была в детстве. Один из самобытнейших характеров, мною встреченных. Галя жила собраннее, уединенней — надменнее, может быть. Она ни в чем никогда не судила, не останавливала — принимала меня, какой я была.

Один взгляд ее узких, поглощающих глаз, движение волевого рта — и она была милее, нужней всех, что на меня глядели с восхищением. Она признавала меня, не теряя достоинства. Темы, все, были общие: стихи, люди, начинающиеся в вихре рождавшегося вкуса — причуды. В ней было сильней моего — оттолкновение, во взлете брови вдруг вспугивающий ее пыл застенчивости, короткий взрыв смеха (в ее брате Коле повторенный кровным сходством). Она хватала меня за руку, мы неслись.

Чувство юмора в Гале было необычайно: смех ее охватывал, как стихия. Как нас с Мариной. Только была в ней, Марине и мне не присущая, какая-то ланья пугливость, в которой было интеллектуальное начало, внешне выражаемое мгновенной судорогой смеха, вскипающего одним звуком, почти давящим ее; взлетали брови, все ее узенькое лицо вспыхивало, и, озираясь на кого-то, на что-то, ее поразившее, отпугнувшее, она срывалась с места: не быть здесь! Так некая часть ее сущности была — в убегании, в ускользании от всего, что не нравилось. Не осуждая, не рассуждая, она, может быть, еще не осознав, — отвергивалась. Непереносность явления в ней сознавалась — смехом. Галя не была девочкой тринадцати лет, как и я. Это была — «такая душа» в теле длинноногой девчонки с незаботливо брошенной за плечи — пусть живет! — косой, кончавшейся упрямым витком. Быть занятой ее толщиной, холить? Стараться — над косами? Гордиться? Взлет бровей, короткое задыхание смеха.

Мне казалось, я всегда знала Галю. Как я жила, ее не зная?

Мы сидели — Марина, Галя и я — в воскресенье, в субботу вечером, с ногами на Маринином диване, в ее маленькой комнатке и рассказывали друг другу все, что хотелось, подумалось, было. Мы водили Галю по нашему детству (урывки, конечно!), дарили ей кого-то из прошлого (вздохом покрывая безнадежность подобного предприятия) и от тайной тоски легко рушились в смех, прицепившись к какому-нибудь нескладному выражению, словесной ошибке, поглощая из кулечка душистые вязкие ириски.

— Н-не отлипает! Яз-зык прилип... — вдруг, еле ворочая им, говорил кто-то из нас, и делалось так смешно, что «Н-не

тает»... — продолжал язык борьбу с ирисом. «Н-не растает»... — еле выговаривал утешающий. Пароксизм смеха походил на страшный рассказ «Амонтильядо» Эдгара По. Или вдруг наступал страх: в темноте (мы не зажигали огня) что-то, чудилось, скрипнуло... мы кидались друг к другу и, схватываясь за руки, ошпаренные испугом, были рады его длить, заглянуть в неизвестность, опьяняясь тем, что ты не один!

— А бывало у тебя так, Галя?.. — я.

— А так с вами бывало, Галочка? — одновременно со мной — Марина.

И мы рушились в воспоминанья детских кошмаров, ощущений во время жара, мы делились неповторимым, неназываемым, освеженные, восхищенные пониманием. Мы нащупывали закон человеческого общения, как бываем — вдвоем и — втроем — «магический треугольник»\*.

Иногда Марина рассказывала нам, как, бывало, летом ребятам у костра, какой-нибудь страшный рассказ или легенду, прочтенную или вновь творимую во время рассказа. Иногда говорила стихи.

Аня наконец приехала из своего Остенде! Эта весть встретила меня еще на пороге гимназии. Она сидела с девочками на парте, ее длинные каштановые вьющиеся волосы закрывали часть лица, склоненного к книге. Она что-то оживленно говорила. И меня обдало золотыми искрами этих волос, этого смеющегося голоса, этой атмосферы сразу учуянного богатства, уверенности в себе, признанности... И я почувствовала себя, с моими выше плеч, только на концах вьющихся волосами, в очках, — незаметной и серенькой рядом с этой царицей класса!

Но уже поднялась гордыня со дна души, презрение к ее дорогому платью, к щегольскому ботинку вскинутой ноги, к ее вилле у моря, к ее явной избалованности. Собрав себя всю, я в полном чувстве победности прошла мимо Ани, не снизойдя ее заметить... Поглядела ли она мне вслед?

Нет, не вспомню! Ушло. Ушел из памяти тот случай, который, после нескольких дней неразговаривания, приглядывания друг к другу (как долги они показались), нас с Аней — свел.

\* Из «Огненного ангела» В.Брюсова.

Что-то вне нас обеих в классе происходившее потребовало и ее, и меня. Кто первый подошел? Кто заговорил? Мы шли со двора. Очень деловые и страшно веселые. Чувство счастья, что — наконец! — Аня и Ася — вместе! Класс, смотри! Галя, как всегда, в себе, на все это не обращала внимания. Ревность? В свободе своего обращения со всеми нами Галя и до нее — до ревности — не снисходила. Ей это не приходило в голову. Сдавшись на мое требование быть со мной, а не с теми ее подругами, она не осудила меня, ничего не требовала — и продолжала быть другом мне, Ане, как было до меня.

Моя дружба с Аней не имела ни начала, ни развития, ни конца. С минуты, как я ее увидела, царствующую среди подруг, а она меня (как я, ее «не заметив», прошла мимо), сердца уже принадлежали друг другу. Наш первый разговор — даром, что на деловую тему, что-то о классе — был пакт. О дружбе? Нет, скорее скрытый пакт о ненападении: в той страсти, с которой мы обе в тринадцать (Ане было еще двенадцать!) жили на свете, была и *страсть к главенству*. Ее не могла уничтожить даже и наша дружба. Это мы знали. Но наша встреча и эта страсть к главенству... Опьяненные, я — счастьем, что есть на свете Аня, она — счастьем, что вот рядом Ася Цветаева, — мы не замечали «класса», хоть на бегу откликались на все его нужды щедро — нас с ней на *все* хватало! Даже на то, чтобы в лицо удивленным подругам — смеяться!

Но это тлело в каждом нашем дне вместе: мы знали обе, что придет день — и судьба нас разведет. Разведет потому, что так будет, потому что та сладость, что была в нашей дружбе, обратится в горечь прощенья! Руки ли подруг это сделают или еще что, не все ли равно! Мы чуяли закон жизни. Мы пока насмехались над ним. Но кто сказал эти слова? Аня? Я? — «Два волка в одной берлоге не уживаются». Следовал наш беспечный смех.

С каким волнением входила я в первый раз в квартиру Ани! Они жили в Чернышевском (за теперешним Моссоветом). Комнат было, конечно, меньше, чем у нас в Трехпрудном, но убранство богаче и современной. Отец Ани имел меховое дело. Мать — тонная дама (Аня походила на нее лицом) — встретила меня любезным безразличием, как всякую подругу Нюты. «Ньюма́гри» звалась их вилла в Остенде — по началу

имен трех детей: Нюта — Марик — Гриша. Марику было одиннадцать лет. Грише, зеленоглазому, темнокудрому красавцу, любимцу семьи, — три года. У них была англичанка. Все в доме Калин свободно говорили по-английски. От этого ее надо мной превосходства где-то была тоска. У них нередко бывали актеры Художественного театра. (Жила семья широко.) У всех детей было по комнате.

В светлой нарядной комнате Ани — все не похоже на мою. И опять уже грозно растет протест против чего-то, что я бы не сумела назвать.

Не меньше, чем Галю, Марина полюбила мою другую подругу — Аню Калин. Мой пылкий подробный рассказ об Ане, ее уме и талантах Марина выслушала с жарким вниманием. «Позови ее к нам обязательно!» — сказала она. Воскресные свидания с Галей и Аней стали нашими счастливыми днями. Вечер мы неизменно проводим на Маринином диване в ее маленькой комнатке на антресолях, в полутьме. Мы рассказывали о нашем детстве в России, о годах и друзьях за границей. И они с упоением слушали Маринины стихи. Когда Галя восхитилась одним стихотворением, Марина сказала: «Нравится? Я вам его, Галочка, посвящу». Это были стихи «Мама в саду», напечатанные в первом Маринином сборнике «Вечерний альбом».

Ане Калин Марина написала акростих.

С маминой смерти прошло полтора года. Ее отсутствием был полон дом. Пустота, тишина нижних комнат переносили память в детство. Тогда здесь звучал рояль. Мы без конца рассказывали Гале и Ане о маме, ее образ оживал перед нами. Марина читала стихи к маме. Вот их последние строфы, особенно нами любимые:

...С ранних лет нам близок, кто печален,  
Скучен смех и чужд домашний кров...  
Наш корабль не в добрый миг отчален  
И плывет по воле всех ветров!  
Все бледней лазурный остров — детство,  
Мы одни на палубе стоим.  
Видно, грусть оставила в наследство  
Ты, о мама, девочкам своим!

Мы никогда не говорили о семьях и о среде Гали и Ани — о нужде первой, богатстве второй. Мы не спрашивали, где Галин отец, помогает ли он семье. Галя держалась с достоинством истинной гордости — совершенно просто, естественно, независимо, не снисходя спросить, почему хуже других одета, не снисходя *замечать* свои платья (то, что из Сандрильон и делает героинь бала, за руку *только* с Судьбой!). И когда на Маринином диване мы говорили о будущем — неизвестном — всех нас: путешествия, люди, зовущие гудки поездов, — Галя слушала Марину, точно глотала живую воду.

Часы шли, Гале надо было идти, мы выходили из темноты, жмурясь от света зажженной керосиновой лампы. От тоски ли вечного расставания — вот еще одно — чуть знобило? От холода ли нижних высоких комнат, когда, спустясь волшебной лестницей нашего детства, мы входили в полутемную залу с лунными полосками зеркал?..

А за Аней Калин еще не пришли. Она садится за рояль. Каштановой россыпью волосы по плечам. Я стою у печки, грею руки о теплые изразцы. Марина ходит по зале медленным отсутствующим шагом, слушает «Танец Анитры». Вспоминает ли Марина брошенную свою игру? Аня играет Грига, мамино Грига, по нашей просьбе — «В пещере горного короля» и «Шествие гномов», — и корабль дома скользнул в волны музыки и плывет, и куда мы плывем в ней?

Аня прекрасно играет! Ее пальцы — я их до сих пор помню — легкие, смуглые, владеют игрой мастерски, мощно кидают и рассыпают ветви мелодии, летят огненным трепетом по клавиатуре, и рояль, как когда-то маме, — покорствуется.

Овальное личико Ани, орошенное у лба и щек темной россыпью волос, с золотистыми брызгами, властно к роялю... Ей двенадцать лет?! Я слушаю ее пораженно. Марина все ходит по зале. Вижу, она полюбила Аню с первого взгляда, я радуюсь, что через меня ей пришла эта радость, это новое волшебство в наш дом!..

...На диване, Маринином, в ее узкой комнатке, мы теперь сидим втроем, как тогда с Галей, и слушаем о берегах Остенде, о вилле «Ньюмагри», об Анином детстве. Насколько Галя молчит о своем, настолько охотно Аня говорит — о ма-

лейшем, тончайшем, что они испытали с Мариком, что она любит, чего ждет. Она рассказывает о бывающих у них актерах Художественного, что один умен, другой — остроумен, третий... и мы, где-то внутри вздохнув, впиваем эту чуждость, чтобы приблизиться к Ане и в этом.

Мы слушаем о властности ее матери, доброте отца (как похоже!), о том, что она будет певица, о том... И вот медленно поворачивается, в каком-то ответе, вдруг наша беседа — и Аня заживо погребена под лавинами нашего детства...

Маринины руки делят оставшийся апельсин. Кислая сладость прохладных долек напоминает Италию. За окном темнота, где-то далеко — огонек... Сейчас за Аней придут, — как ужасно! С вокзала, Брестского, — длинный гудок куда-то уходящего поезда, уходящего — без нас.

И Маринин голос начинает те самые, мамой нам читанные стихи.

— Слушайте, Анита...

Что бы в жизни ни ждало вас, дети,  
В жизни есть много горя и зла —  
Есть соблазна коварные сети  
И раскаянья жгучего мгла,

Есть тоска невозможных желаний,  
Бесприветный нерадостный труд  
И расплата годами страданий  
За десяток счастливых минут.

Где судьба бы вам жить ни велела,  
В шумном свете иль в сельской глуши,  
Расточайте без счета и смело  
Все сокровища вашей души!..

Миг молчания.

— Это ваши стихи, Марина?

— Нет. Это стихи монахини.

— Вы ее знали?

— Нет, мама нам эти стихи сказала.

Я:

- Мама ее тоже не знала, знала только ее стихи.
- Скажите ваши стихи, Марина!
- Сказать стихи? Ася, какие?
- Последние!..

...О, сколько глаз из этих окон  
Глядели вслед ему с тоской  
И скольких за собой увлек он  
Туда, где радость и покой!..

Но горе опять близко. Звук шагов по лестнице, стук в дверь: «Барышни, за Анечкой пришли!»

С маминной смерти прошло всего полтора года. Будь она жива, что было бы? Этого уже нельзя себе представить! Мы были уже не те... Жизнь в доме шла уже совсем по-другому...

Шла зима. Наступило и Рождество. Как всегда, принесли елку, поставили ее в зале. Теперь она не была такая большая, как в детстве, не до потолка. Не помню, кто из моих подруг у меня был. Традиция подарков, тайн и торжества праздников ушла вместе с мамой. Хотя, помня ее желание, папа осенью, к Маринину пятнадцатилетию, купил ей черные карманные часики, и она носила их, как все старшие гимназистки, на тонком черном шнурке через шею – за поясом платья. Я помню разговоры о месте учительницы Лёры в Козлове, но не помню, когда Лёра уехала из дому в Козлов. Бывали у нас Люда и Саня Добротворские, бывали Лёля, Саша и Володя Цветаевы. Изредка бывал живший, кажется, в Великом Устюге большой Володя, другой кузен, Владимир Петрович Цветаев, второй сын старшего брата папы, умершего дяди Пети (священника). Он ходил в служебной форме какого-то гражданского учреждения, был невысок, смугл, черноволос, с крупными правильными чертами, носил усы, пенсне, имел манеру, чуть подняв голову, смотреть насмешливо, может быть, от застенчивости – через стекла, и добродушно пытался шутить со мной, как с ребенком, отчего я не то обижалась, не то смущалась.

Бывали у нас и родные сестры его, обе медички, Саша, быть может, уже стала врачом, младшая Тоня была студентка-курсистка, как тогда говорили. Обе невысокие: Саша была



интереснее, с правильными чертами, она тоже носила пенсне. Тоня имела наружность «попроще», большую голову, менее правильные черты. Она была добра, с ней было просто. Саша была сложнее, дальше от нас, может быть, она что-то в нас осуждала? Близости у нас с ней, простоты, как с Людой и Тоней, не было.

Другие двоюродные сестры наши – Женя, Катя и Шура Цветаевы и их младший брат Коля, дети папиного брата Федора, у нас не бывали. Почему, я не знаю. Может быть, оттого, что маме не нравилась их мать Евгения Николаевна. Женя, старшая, замужняя, жила в Калуге. Я ее никогда и до сих пор не видала. О Кате слышала только, что у нее были рыжие волосы, нежный цвет лица и что (нам это рассказали в детстве, когда нас кутали на зимнюю прогулку) она застудила щеку, и флюс у нее так и остался. Ее я увидела, когда мне было двадцать восемь, она была у меня раз в Москве и раз я у нее – там, где она жила в Москве, и флюса у нее не было. Она рассказала мне о младшей сестре Шуре, которую я помнила с детства худенькой и стриженной, к которой ездила с мамой в больницу. О брате Коле – в те годы уже молодом человеке, – его я так и не увидела, в детстве говорили, что мать его плохо воспитывала, давала ему, крошечному, вина, когда были гости, и что он, ей в удовольствие, изображал «как поэт Шаляпин». Но может быть, это была такая же семейная аберрация, как легенда о старушке Мамаке, собиравшей огарки и вылезавшей в окно? Так легко что-то сказать, сгоряча, ребенку, а он – как из свинца выльет в память (да еще и украсит) фантом...

## Глава 2

В СЕМЬЕ ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ЦВЕТАЕВА.

У БАЛЕТМЕЙСТЕРА. В ДОМЕ ИЛОВАЙСКИХ.

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ОРЛОВСКАЯ.

ГИМНАЗИЧЕСКИЕ СОБРАНИЯ

У дочерей дяди Мити, кузин Лёли и Саши, все было на своем месте, обратно нашим антресольным комнатам в Трехпрудном. Чинный диванчик в чехлах, два (таких же!) кресла в ненавистных передничках, зеркальный шкаф, столик, две

торжественно-пышные, не притронешься, идеально убранные кровати. И голос матери, звавший то одну дочь, то другую, то обеих вместе. Времяпровождение Лёли и Саши было у Елизаветы Евграфовны на ладони, и быть в их комнате — значило плавать в аквариуме.

Страстно жалея своих кузин за их чинную прозаическую жизнь, мы рвались домой, в родной хаос.

В эту же зиму папа, по чьему-то совету, повез меня к балетмейстеру Е.Н., дававшему на дому уроки танцев. Привез и уехал — милый, занятой папа. Еще и это ему надо было успеть! С пылающими щеками, в позе без малого княжны Таракановой, стояла я у стены, младшая дочка профессора, в очках, как отец, «в корне» не согласная ни с отцом, ни с балетмейстером, ни с необходимостью таких уроков.

— Ну и что ж, что училась танцам во французском пансионе? Это было давно, я была маленькая, ничего не понимала. Пластика? Совершенно лишнее! Мне она совсем не нужна! Я, конечно, буду делать то, что вы мне покажете, но это — против моего желания. Это бессмысленно!

— Я поражен. Неужели вы отрицаете балет, искусство? Значение танца? — балетмейстер ходил по зале, останавливался передо мной. Не старый, высокий, худой.

— Отрицаю. Для меня это — насилие! — оскорбленно говорила я.

— Я не слыхал от девочек, девушек ничего подобного, — говорил изумленно учитель. — Ко мне прибегают девочки ваших лет и старше, умоляя дать им несколько уроков. А вы... Я, знаете, затрудняюсь заниматься с вами, раз вы... Может, мне переговорить с вашим батюшкой?

— Бесполезно, — с горечью отвечала я. — Папу убедил кто-то, что это нужно! Начнемте, мне все равно.

Балетмейстер развел руками. Мы приступили к уроку.

Зачем мне понадобилось к Иловайским? С чем-то послали, верно. Как сейчас стоит передо мной длинный каменный особняк в глубине двора в Старопименовском переулке. Полукруглые окна в глубоких нишах. Не в две ли стороны разветвлялась широкая лестница во второй этаж? Это не были антресоли, как у нас, потому что поворот лестницы привел меня в некое подобие залы, где стояло кресло. В этом

кресле сидел седоволосый старец в халате. Лицо его было словно выточено, очень красиво. Но то, что находилось на его плече, было прекрасно: это был огненного цвета — нет, светлее огня — большой длинношерстный кот. От Лёры ли я знала, что его зовут Мандарин? Не мог же снизойти со своих исторических ледяных высот ко мне Дмитрий Иванович Иловайский и поведать мне имя кота! Кот сидел мурлыкая, не обращая на меня никакого внимания. Подоконники были на значительную высоту заложены чем-то ровным: я догадалась (увидеть я этого, по близорукости, не могла), что это кипы «Кремля» — газеты, издаваемой Дмитрием Ивановичем. О «Кремле» острили, что он его издатель, подписчик и читатель — в единственном числе. Больше я ничего не помню об этом доме и больше там никогда не была.

Я ходила на каток, позванивая на ремешке коньками. Под музыку — играл военный духовой оркестр — люди кружились, их замечали снежинки. Высоко в небе горели голубоватые фонари. Я возвращалась домой поздно.

В Трехпрудном строили шестиэтажный дом — против нашего, на месте бывшей лачужки с лавочкой Бухтеева — «Бухтейки», где мы в детстве покупали на копейку подсолнухов или на две конфет. В кабинете и гостиной было теперь меньше солнца.

Я все еще доканчивала романы Тургенева, перечитывала, ненасытно, Гоголя, читала исторические повести, пламенела над «Меченосцами» Сенкевича, над романом для юношества Авенариуса «На рассвете» (из времен крепостного права) и другими книгами, но уже знала о «Братьях Земгано» Гонкуров, о «Кольце Нибелунгов», о романах Гюго (все это — от Марины, ими бредившей). Знала и о Жан-Поле (Фридрихе Рихтере), которого теперь с такой же страстью, как мама в Москве и во Фрайбурге, глотала Марина; я ждала, когда, еще раз перечтя томик дневника Марии Башкирцевой, она даст его мне. Я уже годы вела дневник. Дневник этот все более занимал место в моей жизни, как в Мариной — стихи. Привычка отображать пережитое, отдавать себе отчет в мыслях и чувствах вырастала в подобие тайного спутника, уже становящегося поддержкой в моих днях.

Мне хочется сказать об учительнице Елене Николаевне Орловской. Невысокая, русая, она не отличалась красотой черт, но как же была мила! Скромная, ласковая, с внимательным проникающим взглядом, взгляд ее переходил в улыбку. Волосы по тогдашней моде подняты надо лбом, но не держались чинно, а рассыпались — и в этом была переключка с ее улыбкой, какое-то не «учительское», а домашнее разрешение большей свободы, чем принято. Этот товарищеский тон говорил (мы это понимали) о ее причастности к революционным настроениям. Простота и ласка ее обращения волновали, точно она, глядя на нас, думала: «Вы растете и к тому же придете! Больше идти некуда...» И мы, с тревогой и доверием в ответ, чувствовали себя чем-то вроде ее подруг, сообщниц. Было в ней сходное и с м-ль Жанн в лозаннском пансионе — проникновенность. Та ведь тоже взглядом нам говорила: «Туда же придете! Больше идти некуда!» В присутствии Елены Николаевны я становилась счастлива. Счастлива — потому что сильна. Жизнь протягивалась вперед одной прямой стремительной линией, путь по ней был понятен и бодр, рядом с тобой шли такие, как Елена Николаевна, Мария Генриховна, Тигр, Кошечка, и ты делаешься — как они! Она завела по субботам — в вечерний час — собрания нашего третьего класса в помещении гимназии — чтение, беседы и чаепитие.

Эти собрания были необязательны. Ходила, верно, половина класса. Состав был довольно пестрым. Ни Ани, ни Гали я там не помню. Марины в субботу не бывало дома, она сама уходила куда-нибудь.

К моим субботам, к рассказам о них и о Елене Николаевне Марина отнеслась с полным сочувствием, интересовалась, расспрашивала.

Суббота, вечер. По Москве — колокольный звон. По улицам и переулочкам идут люди в церковь. Вот идет «типическая» няня-старушка в уютной шубенке, из-под которой выглядывает фартук. Летом она одета, конечно, в широченную, в сборках юбку, в кофту поверх нее, в платочек — мысиком сзади — с цветочной каймой. Она ведет за руку ребенка. Он тащит ноги, отстает, запрокидывает голову в небо, туда,

где гремят и гудят колокола. Как знакома мне эта няня, вечная русская няня, все та же в разного цвета платочках и юбках, в шалих, и кацавейках, и шубках! Такая была у Пушкина, и моя няня, и я так же шла с ней за руку по этому Палашевскому переулку, отставала, смотрела на звезды, слушала колокольный звон... Лечу мимо, сердце бьется, боюсь опоздать в гимназию. Все уже, наверное, собрались, сейчас начнут читать Короленко.

...Тверская. Огибаю бульвар (в нем верста сейчас замерзающих деревьев). Памятник Пушкину, занесенный снежком. Знакомая с детства чугунная рука занесена, со шляпой, за чугунную спину, кудри — под падающий снег. Пролетаю. Тверская, Козицкий. Здесь, в одном из бахрушинских домов, живет у родных заболевшая мать Вари Изачик, тарусской. Говорят, очень больна.

Отряхая снег, вбегаю в тяжелые двери гимназии. Гимназия без швейцара Адама в ливрее, без его седой бороды и смеющихся глаз (о еврейках он всегда ласково говорит «иерусалимчики») — другая гимназия — вечером! Таинственная, темная, а вдали наверху — свет, это наш свет, там меня ждут! Другие вечером, чем утром, девочки, кто в форменном, кто в домашнем платье, радостные, свободные, вокруг гимназического чайного стола!

Одним духом взбегаю по широкой, полукругом поворачивающейся лестнице дома Самариной, в разгорающийся навстречу звук голосов. Там, где утром мы ходим по две, по три вращающейся толпой, в перемену, — сейчас стоит стол, на тарелках — баранки, пряники, недорогие конфеты, и в жестяных кружках — чай.

Елена Николаевна увидала, кивает, улыбается. «Опоздала, Настя? Жаль, мы уже...» В ее руках том Короленко. Она читает нам вслух рассказы своего выбора — ее милый, гибкий голос придает силу и прелесть страницам, я слушаю, не отрывая от нее глаз. Когда кто-нибудь шепнет соседке слово — я уж настораживаюсь на защиту. Мне почти физически больно от их скользнувшего невнимания. Рискуя быть смешной — неотрывно взглядом слежу за Еленой Николаевной, за каждым ее словом. Только одно мучает меня: страх, что скоро уже все кончится — зачем все всегда кончается? Все ис-

чезает как сон! Она отложила книгу, просит высказываться. Девочки говорят о прочитанном, намечается спор.

Увидев на катке Зосю Балавинскую в бархатной черной курточке, я заболела желанием выйти на лед — в такой.

Я решила сказать папе, что мне тяжело кататься в моей старой шубке — и было тяжело вправду, и я описала — нужное мне. Папа посоветовался, думаю, с Елизаветой Евграфовной, а та, имевшая ко мне слабость, должно быть, одобрила мою мечту.

И вот мы с папой на Тверской у Охотного в добротном старинном магазине тканей и сукон. Увы, папа не соглашается на бархат, выбирает плюш, притом — мятый; я, удерживая слезы, стою у прилавка, так же стою перед портным Володиным, папиным любимцем, который перелицовывает папе костюмы (и постоянное папино огорчение узнавать, что он уже лицован, а в третий раз — не выходит...).

— Прибавьте, прибавьте, — говорит папа, видя палец Володина, занимающий цифру на сантиметре, — и в ширину, и в длину — дочка растет!..

И вот я в отчаянии стою перед зеркалом Лёриной мамы в гостиной: тяжелое сооружение из «мещанского», как я считаю, мятого плюша, мне ниже колен, у плечей — буфы, ненавистные. Но я ведь должна ходить в этом на каток, разшили? И меня озаряет мысль: папа забудет длину, если не станет видеть пальто ежедневно, и тогда... И я, прячась, уйду на каток. Я катаюсь с трудом, но не выйти на лед в папой мне так трогательно подаренной вещи было бы бессовестно. И только это дает мне право через короткое время изнечь и приступить к операции: я дома, дверь на крючке, пальто разложено на ковре; с большим трудом, с бьющимся сердцем режу сперва плюш, потом — ватную подкладку. От туго сжатых ножниц боль и следы на руке. Но ведь с детства учили — шуткой, французской: «Чтобы быть красивой, надо страдать». И я терпеливо режу, озираясь на дверь, слушая, не идут ли, шью. Много дней удавалось мне всякими ухищрениями уходить на каток так, чтобы папа меня не увидел. Необычность операции, укоротившей пальто не менее чем на четверть метра, страх, теперь, после ее совершения,

и неизбывное чувство вины — все это гасило страдания от неизменности буф, дав размах коньковым шагам, легкость коленям. Но что почувствовала я, когда, месяца полтора-два спустя, я по оплошности своей попала на глаза в обрезанном пальто — папе! Все сжалось во мне — и замерло. Мужество было готово покинуть меня. Что сказать? Как выйти из положения?.. В голове — шаром покати!

— А еще говорила — длинно! — сказал весело папа. — Видишь, как уже подросла...

Чудный, трогательный папа, в течение десятков лет даривший двум женам и трем дочерям вишневые материи на платья, цвета, не оцененного ни одной из них. Дарил — и забывал, довольный покупкой, по рассеянности не замечая, что вишни зреют в сундуках.

Летами он уезжал по делам Музея за границу, мы оставались с экономкой, братом Андреем и прислугой. Приезжал в Тарусу ненадолго, на отдых — и тогда брал лопату, шел в огород копать, полоть или сажать, смотря по сезону; иногда лопатой, как в нашем детстве, убивал змею.

Скажу, чтобы не забыть, что Лёра тоже бывала в Тарусе неподолгу, ездила летами в самые разнородные места — я запомнила из ее позднейших поездок — Лондон и Алтай, где она скакала верхом по диким местам со старым проводником.

Уже давно все мы спали, а в кабинете горели под абажуром две свечи, папина седая голова наклонялась к бумаге, рука с двумя обручальными кольцами привычно быстро выводила — каждую отдельно — буквы, напоминавшие славянскую вязь.

В пристрастии папы к свечам, может быть, крылось его стремление к благообразию и порядку, так часто нарушавшимся нашими керосиновыми лампами, которые мы оставляли гореть, выходя из своих комнат, и которые, разгораясь, коптили, черным снегом засыпая все вокруг. В папином кабинете было холодно, но чисто, за окнами летел белый снег.

«Стужа в моем доме такая, что существовать мне внизу становится тяжело; лишь детям на антресолях тепло и уютно. Я же сижу в валенках выше колен и в осеннем пальто и — околоченый», — писал папа архитектору Музея Роману Ивановичу Клейну.

### Глава 3

#### ТАРУСА ЗИМОЙ. ДРАКИ. РАЙКА.

#### НОВАЯ ДРУЖБА МАРИНЫ. ВИНОГРАДОВЫ.

#### ПЕРВЫЙ ВЗРОСЛЫЙ ГОСТЬ – СЕРЕЖА ЮРКЕВИЧ

На Масленице я с Андреем поехала в Тарусу к Добротворским. Снег, снег, бубенцы... В уютном радушном сером доме наверху Калужской улицы — тепло после катанья на подрезках с горы (кто — на замороженном решете, летим с ребятами всю отлогую Калужскую улицу вниз, почти до собора!).

Ока лежала огромной мороженой рыбой, застыв меж берегов, повернув хвост к Алексину, голову — к Поленову, к Серпухову, и в часы таянья ее чешуя сверкала на полувесеннем солнце мириадами алмазов. От этого блеска, от первых облаков, от синевы и белизны было больно глазам. Разливался по взгорьям, мостикам меж раки, летящим вверх и вниз уличкам звук колоколец и бубенчиков. В ушах стоял звон — шло масленичное катанье. Из окон и дверей жарко пахло блинами, растопленным маслом, рыбой.

— Ну что, накаталась? — говорил мне Андрей. — Небось не хочется назад — учиться? Ничего, матушка, придется тебе собираться. Завтра едем! — И как будто мне все еще одиннадцать или двенадцать лет (а мне осенью будет четырнадцать), он шутливо задевал меня по голове. И, тоном изображая какого-то, по-своему смешного, старшего: — Хватит баклуши бить!

Ему кончался восемнадцатый год. Мы продолжали играть на гитаре и балалайке, дуэтом.

Любил Андрей вспоминать как он, заходя к Марине, сразу, с порога еще! — знал, какие в шкафу фрукты — бананы, или груши, или яблоки — даже какого сорта яблоки...

— Меня не проведешь! Нюх как у охотничьей собаки!.. Слушаешь, и завидно, небось? — говорил мне Андрей.

— Врешь, врешь, сейчас выдумал!

— А вот увидишь! А, не веришь? Брату не веришь? Вот тебе, вот тебе за это, — и, задев по голове с неизменным «Бэба!», Андрей, увертываясь от моего ответного удара, уносился за дверь и уже оттуда раздавалось его: — Вас сколько? Три? Вами мостовую мостить можно, а я — один!



— И про фрукты соврал! — не отставала я. — На столе, может быть, сможешь угадать, а в шкафу...

— Спроси у Марины! — высовывал из-за двери Андрей свое узенькое красивое лицо с волнистыми темными волосами надо лбом.

Наша общая с Мариной любовь была — его белая с черным, большая, веселая охотничья собака Райка (мы звали ее Рай-рай-рай). Она жила перед чуланчиком с платьями, над лестницей, куда нас в детстве сажали за провинность. Иногда она выла на привязи. Андрей выходил с хлыстом. Марина и я бросались ее защищать.

Андрей, как и в детстве, «щипался, как гусь», Марина могла и укусить, как в детстве, я — царапалась. И кулаки мы пускали в ход, каждый в свою силу, пока Андрей, устыдясь, не впрыгивал в свою комнату, увлекая за собой Райку, и через минуту из-за его запертой двери сыпались искорки мандолины...

Но дрались мы иногда и порознь, Андрей с Мариной или со мной. Иногда — я с Мариной. Все мы были вспыльчивы, и нам не приходило в голову, что мы уже большие. Мы действовали мгновенно, не думая — вернее, не в силах побороть гнев или кажущуюся обиду, — и потом (о Марине и о себе знаю, что так, ибо это было постоянное бездонное терзание детства и юности) мучились угрызеньями совести.

А однажды Райка пропала. Ее выпустил из ворот дома в Трехпрудном въезжавший во двор водовоз. Ее не было день, ночь. Дворник Илья поехал за Москву, к собачникам. Райка сидела в клетке и отчаянно завизжала, увидав его. Не было ли у него денег или потребовали хозяина — мы все трое поехали выручать Рай-рай-раю. Был полувесенний день. С крыш капало. Солнце плавающим блеском покрывало Москву. Мы шли, трое, по дороге к собачьей тюрьме, далеко за концом улиц.

Как мы кинулись друг к другу — Райка, Марина и я! Как кричал на нас Андрей! Как мы на него кричали! Как упоенно лаяла о свободе Райка, прыгая до небес!

Наставала весна. По улицам шли, под корочкой льда, ручьи, и мы, Галя и я, разбирали этот стеклянный ледок ногами, первый раз снова выйдя в беретах. Еще нигде не было видно земли, но мы уже тянули носом — землю пахнет! Небо было

все в бредущих облаках, «из серебряной ваты» — это все еще длилось детство?!

Галя как-то кратко обмолвилась, что едет из-за границы отец. Я очень ждала — увидеть его, какой? Но, чувствуя, зная тут какую-то тайну, не спрашивала о нем.

На переменах мы бегали по двору обнявшись, как на катке, особой припрыжкой, легкими ритмическими прыжками — высокая, длинноногая, узколицая Галя. И я — маленькая, в очках, зеленоглазая, с волосами до плеч.

Дружба с Аней все крепла. Мы ходили друг к другу, по воскресеньям. У Гали я не любила бывать, и мы больше болтались по весенним улицам.

А у Марины началась новая дружба, не гимназическая, с Ниной Виноградской, их дом стоял в Тарусе над самой крутизной «Тироля», в купе деревьев. У Нины был брат, теперь двадцатилетний Толя\*, тот самый, до нашего отъезда в Италию, мальчик в парусиновой — ворот, вышитый крестиком — рубашке, которого я, семи лет, запомнила у Добротворских в саду, на именной иллюминации.

В Москве Виноградовы жили в маленькой квартирке близ храма Спасителя. Их мать, полька, седая, лицом похожая на Гоголя, встречала нас пристальным взглядом, улыбалась ласково, но лукаво, как бы заглядывая в душу. От ее взгляда становилось неловко. Нина — синеглазая, волосы ее каштановые, прямые, подрезаны у плеч. В лице ее была отвага. Толя ходил и на отца, и на мать, к матери был дружественно-почтителен, к сестре — подчеркнуто ласков. Нас они встречали очень хорошо.

Думается, в эту зиму, к нам наверх, в нашу бывшую детскую пришел снизу, из парадных комнат, брат Мариной подруги по гимназии Сони Юркевич\*\*, Сережа. Первый наш взрослый гость! В студенческой сине-зеленой тужурке, стройный, смуглый, с худым лицом, на котором темнели большие, под прямыми бровями, застенчивые глаза. Он сидел на маленьком нашем красном диванчике и говорил о чем-то с Мари-

\* Будущий писатель Анатолий Корнелиевич Виноградов, автор книг «Три цвета времени», «Осуждение Паганини» и др. Позже стал и летчиком. Водил эскадрилью над Красной площадью на параде.

\*\* Будущая писательница С.И.Липеровская.

ной, наверное, о революционном, думала я, не очень слушая, любуясь Сережей. Так же неуверенно, то вспыхивая, то преодолевая застенчивость, заглядывала на него Марина. Смотрел на нас и он, вставал, прохаживался, осваивался, раздавался смех, он чувствовал, что ему рады, что он нравится; хороши были густые упрямые кудри над высоким лбом.

За окнами сыпал снег. Дворник мешал дрова в печке.

#### Глава 4

#### ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ТАМБУРЕР, ПРОЗВАННАЯ МАРИНОЙ ДРАКОННА ЭЛЛИС\*. СТИХИ МАРИНЫ

Лидия Александровна Тамбурер. Ее жизнь, все, что ее окружало, начиная с самого не подходящего такой женщине мужа и самой не подходящей «специальности», — все было нереально — в чрезмерной реальности. В ее днях сменялись роли жены, матери, дочери. И зубного врача. Как пациенты мы и попали к ней.

Привел нас к ней папа. Быть может, то, что она знала о недавней маминой смерти, и повернуло ее к нам так по-матерински нежно? С первого раза мы потянулись друг к другу.

Высокая (мамин рост), статная, темноволосая (чуть серебрятся), с тонким смуглым лицом, она очень напоминала чертами Екатерину Павловну Пешкову. Взгляд же был — совершенно иной. Даже когда она всматривалась, чувствовалось, что сейчас отведет глаза, улыбнется или рассмеется, взгляд — полыхал, не медлил, а мгновенно поглощал, испытывая. Но полжизни ее было прожито — она глядела на каждого с неким юмористическим недоверием, ожидая от человека противоположности тому, что желалось. Иногда это почти веселое недоверие вспыхивало взрывом смеха.

Понимание было почти бессловесным. И однако мы без конца говорили! Эти беседы ничего не исчерпывали, не поясняли, но все больше сближали нас.

Но насколько эта дружба была сложней нашей другой дружбы — за два года до того, в Ялте, с Варварой Алексеев-

\* Лев Львович Кобылинский — поэт и переводчик, побочный сын известного педагога Льва Ивановича Поливанова.

ной. Там сценой общения было учение, книги, природа, окружавшие люди. И, собственно, душа Варвары Алексеевны так и осталась нам неизвестной, мы грелись в ее любви, она в нашей. Но из второй встречи ее с нами, годом позже, в Москве, ничего не вышло... Тут с Лидией Александровной отношения продлились на годы и годы. Тут уже не было детства. Мое ушло вместе с мамой. Отрочество здесь было мое, Маринина — юность (начало). Зрелость в ней говорила о себе печальной улыбкой, грустью глаз, подавленным вздохом. И, заражаясь ли от нашего возраста, вспыхивало в ней ее еще не угасшее веселье беспечности, юмор, страсть к необычному. Наши встречи были нам — праздник! Беседы с Варварой Алексеевной протекали в области разумной, хоть и веселой, с Лидией Александровной все было вне пределов рассудка, в области чувств, вкуса, тяготений к неназванному. И душа Лидии Александровны (мы звали ее выдуманым именем Драконна), вне возраста, была нам так же ясна и неясна, как и наши.

Мать ее — один из персонажей этой московской квартиры нового образца, в новом доме — была огромная грузная старуха с отвисшей нижней губой (губы у дочери ее были полные — как тропический цветок, — невинные в своей пышности). Седая, с оплывшим лицом, с тройным подбородком, мать походила на ожиревшую ведьму. Именно тем, что были в ней следы ее — говорили — когда-то замечательной красоты. В сером капоте, шлепая туфлями, плавала она по комнате, как посаженная в аквариум жаба, и над колыхавшимся телом были страшны черные дуги бровей — будто снятые со лба юной красавицы. По рассказам ее дочери, когда-то мать ее носила феерические наряды, и одно ее первое воспоминание — как по высокой зале она, крошечная, прицепившись к сверкающему материнскому шлейфу, старается ехать на нем, а кругом нее на шлейфе бабочки, осыпанные бриллиантами, дрожат на тонких стеблях... Нас мать Драконны жаловала. Мы ее почти боялись и тем любезнее отвечали на ее вопросы, в тоске отводя глаза.

Не менее сказочным персонажем был муж Драконны — маленький, толстый, седо-рыжий, он мог быть ей отцом. Седые усы и борода делали его еще старше. Говорил он с сильным немецким акцентом. Был биржевым маклером.

И был у них одиннадцатилетний худенький мальчик, рыженький в отца, бледный и, кажется, милый, но тихий, «не в нас», под эгидой отца так занятый уроками, что мы редко видели его фигурку в серенькой гимназической форме. У матери мы его еще реже встречали. Как-то, когда она захотела взять его с нами за город, отец не пустил. Она настаивала, был такой чудный день! «Пусть твоя полофина едет за город, — сказал «рыжий черт», как Марина и я его втихомолку звали, — а моя полофина будем дома учить грамматик». На пороге, готовая к отлету с нами, Драконна только подняла в ответ брови; в юморе мига была вся безнадежность ее жизни. И острая жалость к сыну.

Вот так жила наша Драконна своей таинственной жизнью, то в белом халате провожая пациентов из зубоврачебного кабинета в высокую торжественную переднюю, то — в своей гостиной, в черном шелковом платье, с улыбкой тянула нас сесть рядом, у стоячей на высокой ножке лампы с абажуром — таким большим, что, казалось, горят и потухают лепестки гигантского цветка. Рука Драконны поправляет растрепавшиеся темные волосы, зеленоватые на смуглом лице глаза мерцают лаской в предвкушении беседы. Ее смешное слово обращения к нам было «кукушки». Так она нас и звала — нисколько не соединяя значение слов с нами, скорее выбрав его по несходству — мы ничем на кукушек не походили. Это было одно из тех бессмысленных слов, которые чем более лишены значения, тем нежней.

И был еще один в этой семье, кого уже не было, но который жил нерушимо, первый сын Лидии Александровны, умерший трех лет, Сережа. Он смотрел на нас со страниц семейного альбома, с большой, немного выцветшей — кабинетной фотографии, круглолицый, большеглазый, с выражением обаятельной насмешливости. От этого взгляда, детского, навсегда прерванного, ушедшего в темноту «того света», — у Марины и меня сразу заньло сердце. Прослушали рассказ матери, его без ума любившей (в мать был сын!), с чем-то захолонувшим в груди, — как он умер, всего несколько часов проболев (кажется, от заворота кишок). Мы никогда не спрашивали о нем, но он стал нашим, как и ее, кумиром. Вошел тенью в элизиум наших теней. Мы рассказывали Драконне о маме, о детстве, о Нерви, Уши, Лангаккерне, о Фрайбурге, о Ялте, о Тарусе.

В зимние и весенние вечера, когда уж давно надо нам было домой и все еще никак не расстанемся, — мы были втроем на ее синем диване, за окнами были огни и гул Москвы.

Откуда мы узнали, что мать ее выдала замуж сразу после окончания Института благородных девиц, из материальных соображений? Папе ли это рассказал кто?

Драконна не говорила с нами о «рыжем черте». Но в том привычном, хоть и сдержанном тоне отдаленности, с тенью превосходства и все как бы не кончающегося о таком муже недоумения, с которым она обращалась с ним, все было ясно. Было уже совсем непонятно, как мы жили, ее не зная, как и чем могла быть заполнена пустота до нее... И вот в эту гостиную с цветком лампы на высоком стебле и отсветами уличных фонарей с Поварской, в час, когда, блеснув, ложились на ночной покой зубоврачебные инструменты белого лакированного кабинета, — вошел Эллис — Лев Львович Кобылинский — и вошли мы. И целый вечер — Эллис! Стоило ему начать говорить — все пропадало, обычная жизнь утихла, начиналось магическое превращение всего.

Еще живы люди, его знавшие, и если им доведется прочесть тут о нем — не в преувеличении упрекнут они меня, а в приуменьшении этого неповторимого человека. Если не в ту же зиму он начал часто бывать у нас в доме, то только потому, что это, может быть, было весной, перед отъездом, или потому, что мы в первый раз, среди других, не сразу дошли до его сознания — Марина, быть может, молчала, слушала его стихи? Я же была еще совсем девочка.

Худой, в черном сюртуке. С большой лысиной, темноволосый, тонкие черты, крупный рот, пронизательный острый взгляд — «доктор» из средневекового романа.

Жил Эллис в большой бедности, без определенного заработка, от статьи к стиху, делая переводы, не имел быта. Комната в номерах «Дон» на Смоленском рынке и хождение днем — по редакциям, вечером — по домам друзей, где его встречали как желанного гостя, слушали последние стихи и вместе с ним уносились в дебри споров о символизме, романтизме, мистицизме. Часто голодный, непрaktичный поэт и мыслитель, он обладал едким умом и блестящей речью, завораживающей самых разнородных людей. И был у него еще один талант, которым он покорял людей

не менее, чем певучим стихом и блистательной философичностью: талант изображения всего, о чем он говорил, — более талант превращения, перевоплощения такой силы и такой мгновенности, какая не под стать и самому искусному актеру, всегда связанному принудительностью роли, несвободой выбора.

Эллис в своей материальной неустроенности был полон вдохновенной и бунтарской свободой. Отрешен, насмешлив, неблагодарен до самого мозга костей, надменен к тому, у кого ел, повелителен к тому, от кого зависел. С ним в дом входила трагедия обреченности, неслиянности с окружающим миром. Маг импровизированного, им создаваемого в миг и на мгновения спектакля, он не согласился бы на долю актера, которая должна была представляться ему «нищетой духа» — рядом с его трагическим вдохновением. То, что рождалось в его воображении, как только он касался словом темы — тотчас же вспыхивало образами его импровизаторского гения, и — мимически ли, в звуковом ли аспекте, голосом, жестом — разговор превращался в театр.

Всего этого, конечно, нельзя было осознать и понять в ту первую у Лидии Александровны встречу. Однако с первым услышанным стихотворением сразу — взлет острой бородки, взмах черных фалд сюртука, вспев неповторимого голоса.

...Я в тебе полюбил первый снег,  
И пушистых снежинок игру,  
И на льду обжигающий бег,  
И морозный узор поутру.

Я в тебе полюбил первый бал,  
Пышной люстры торжественный свет,  
И в кругах ускользящий зал,  
И на всем — бледно-розовый цвет!

Может быть, пели и еще четверостишия? Последнее живет в памяти до сих пор.

...Кто же отнял у сердца тебя,  
Кто насмешливо бездну раскрыл,

Что, в тебе целый мир любя,  
Я тебя — никогда не любил?!

Он акцентирует слова «бездну», «мир», «тебя», «никогда» — и кто же прочтет их, как он? И завораживающий голос с морозной искрой легко грассирующего «р».

Молча слушает застенчивая Марина в гимназическом платье стихи поэта вдвое старше себя, первого поэта, в жизни встреченного.

Но Драконна просит стихов у Марины, настаивает, и Марина читает «Последнее слово» — недавно законченное... «О, будь печальна, будь прекрасна...» Дала ли понять Марина, что эти стихи посвящены Лидии Александровне?

Эллис сразу отметил в Марине *истинного* поэта.

А когда была почти ночь, гулко хлопнула знакомым с младенчества звуком калитка, глухо скрипнули под ногами мостки жалобную свою, гоголевскую ноту, медленно взвизгнула, переходя в пенье, дверь черного хода и сумрак любимой, столько видевшей залы, сверкнув отраженьями двух трюмо, принял в себя, через нас, и этот неповторимый вечер — Драконну, будущего «Чародея»\*, будущих нас двух.

К зиме 1907/1908 года относится запомнившееся стихотворение Марины — во всяком случае, стихотворение было написано до ее шестнадцати лет. Увы, помню лишь начало.

В зеленой башне все было странно,  
Глядели окна так многогранно,  
Как будто взоры миллиона глаз...

Оно было длинно и очень нравилось Лидии Александровне. Она сравнивала его — в то время почетное сравнение — с Бальмонтовским:

...Я на башню всходил, и дрожали ступени,  
И дрожали ступени под ногой у меня...

В те годы зачитывались Бальмонтом и Брюсовым. Из французов — Бодлером, Верленом, Верхарном, бальмонтовскими

\* Поэма «Чародей» Марины Цветаевой, 1913 г., посвящена Эллису.



и Эллиса переводами Эдгара По. К этому периоду относятся стихи Марины «Там, где мильоны звезд-лампадок...».

— Соедините меня, пожалуйста, с номером, — в то время так пространно и вежливо звонили по телефону, — 48-81...

Знакомый, гулко, звонок, точно каштановый, как она вся, голосок Ани Калин.

— Hallo!

Это слово она выговаривает по-английски, повелительно-радостно, и от этого еще резче щемит в сердце (я не знаю английского языка, между нами — terra incognita\*.

— Ты идешь сегодня в гимназию на собрание?

— Нет, у нас гости будут! Актеры Художественного театра.

— Так они после спектакля?

— Ну, все равно! Мама мне позволит позже лечь при них и не отпустит меня до этого...

— Жаль, — коротко, вместо какого-то — просьба? — слова. — Ну, а завтра? Придешь ко мне?

— Знаешь, лучше ты ко мне приходи, потому что мама... Тебе же легче! Ты, — с уже, естественно, удержанным вздохом, — свободнее меня...

— К тебе?

— Приходи! — уже радостно. — Я буду ждать тебя непременно! В четыре. Хорошо? И у нас пообедаешь... У меня одна чүдная книга!

...Высокие классы, пустые, коридор, огромная зала. Ветер. Непривычный уют. Перемены — дружеский чай за столом. Окруженная нами, сидит Елена Николаевна, молодая, скромно одетая, — и ведет с нами душевную беседу о прочитанном рассказе Максима Горького. Как все просто тут по сравнению с Эллисом, с Драконной. Но я совершенно счастлива!

Жуем баранки, пьем из кружки чай. Не свожу с Елены Николаевны глаз. За окнами — вечерняя синева. Я счастлива не только этим; ведь и завтра я буду у Ани. Двойное счастье!

Как вышло, что Аня поняла: мне нравится эта корзиночка? Аня смущена, ей хочется мне подарить, но это подарок — нет, она не может. Мама, ее вещь, любимая... Книги, чай,

\*Неведомая земля (лат.).

разговор — как быстро летят часы!.. И как вышло, что, когда я ухожу, много позже, Аня летит за мной вниз по лестнице и сует мне корзиночку, и Марик тоже просит, чтобы взяла, я повторяю: «Нет, нет, не возьму!» Убегаю.

Как я могла их обидеть отказом? Но я не могла взять.

Я вглядывалась в картину маминого учителя живописи, Клодта, «Последняя весна»: девушка, у залитого солнцем окна, в кресле. Пышное платье, на волосах сеточка — старина. Дни маминой молодости, может быть бабушкиной: бабушка умерла двадцати восьми лет... Да, и я умру рано, наверное, как бабушка и как мама. Неужели я обречена чахотке, которой так боится для меня папа из-за моего сходства с мамой... Ну что ж! Я, как мама, уеду из России осенью, морозящей дождем, — к Средиземному морю, где прошла та зима нашего с Мусей детства. Я буду сидеть в таком же кресле, как «Больная» на картине Ярошенко. Ведь никто не смог спасти маму, чахотка — неизлечима.

Над мрамором балюстрады — вечнозеленые кипарисы. Они станут и у моей могилы, как над Рёвером на Сант-Иларио. Я умру, а все будет цвести...

И вдруг ужасное волнение на меня сходит. Как я не знала ранее, что именно так будет? Да, я умру, как мама. Я буду совсем одна. Марина уйдет в революцию — она нашла себе путь. Значит, и ее не будет со мной?.. Как, когда я сказала об этом Марине? Она не посмеялась надо мной. Она написала мне стихи — «Асе»:

...Гул предвечерний в заре догорающей  
В сумерках зимнего дня.  
Третий звонок. Торопись, отъезжающий,  
Помни меня!  
Ждет тебя моря волна изумрудная,  
Всплеск голубого весла,  
Жить нашей жизнью подпольною, трудною  
Ты не смогла.  
Что же, иди, коль борьба наша мрачная  
В наши ряды не зовет,  
Если заманчивей влага прозрачная,  
Чаек серебристых полет!  
Солнцу горячему, светлому, жаркому

Ты передай мой привет.  
Ставь свой вопрос всему сильному, яркому —  
Будет ответ!  
Гул предвечерний в заре догорающей  
В сумерках зимнего дня,  
Третий звонок. Торопись, отъезжающий,  
Помни меня!

Эти стихи были целой эпохой моей жизни тринадцати-четырнадцати лет. И были еще стихи, посвященные в то время Мариной Екатерине Павловне Пешковой, об умершей ее шестилетней дочке Катьюше, которую мы знали в Ялте, — «Мама светло разукрасила гробик...».

К этому же времени относятся стихи пятнадцатилетней Марины, посвященные Пете Юркевичу. Тонкое, узенькое смуглое личико, черноглазый, чернобровый и такой курчавый и черноволосый, как бывают негры. Что-то было в нем упрямое и сосредоточенное, он мог говорить мало — только смотреть и слушать. Но помню, как он подробно рассказывал о своей поездке к чукчам, на север, о их нравах, обычаях, одежде, жилище. Говоря, он чуть-чуть, очень легко запинаясь о слова. Это было чудно, мило, обаятельно-трогательно. Он пошел проводить Марину, от них, Юркевичей, уходившую, но почему-то по дороге передумал — обиделся на что-то? Сказал, что устал, хочется спать, и не довел Марину до дома (может быть — только до трамвая).

Марина ответила ему стихами. Из них я помню всего несколько строк: «Месяц высокий над городом лег, / Грезили старые здания. / Голос ваш был безучастно далек: / “Хочется спать. До свидания!..”» Кончались стихи словами: «Мы будем бороться и плакать, а вы / Спите спокойно».

Из Марининых, мне мало известных друзей, о которых она мне рассказывала, назову Женю Гуревич и ее брата. Женю я видела, она была старше Марины, похожа на китайку и очень мила. О ее брате я помню только интерес к нему Марины и его имя — Платон.

Я унесла к себе из папиного кабинета и читаю печатную записку — отчет, читанный папой на собрании Комитета Музея. Впереди стояло крупным шрифтом:

ПАМЯТИ  
МАРИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ ЦВЕТАЕВОЙ  
и  
АЛЕКСАНДРА ДАНИЛОВИЧА МЕЙНА,  
многолетних сотрудников по Музею

Я искала глазами — где о маме? Вот, вот...

«Мария Александровна Цветаева с самого начала 90-х годов сделалась горячей сторонницей мысли о новом Художественном Музее для Москвы. Дочь давно почившего нашего сочлена А.Д.Мейна, человека обширной начитанности («Дедушка!» — вырывается у меня), в течение большей части своей жизни принадлежавшего к современной литературе, М.А. получила основательное и разностороннее образование.

Редким совершенством владевшая также и практически четырьмя иностранными языками, превосходная переводчица лучших беллетристов Италии, Германии, Франции (а я и не знала, что со столько языков, говорю я себе), отличная пианистка и большая любительница палитры, она горячо отдалась делу созидания нашего просветительного учреждения. Не один раз она ездила в художественные центры Западной Европы, принимая живое участие и в разработке требований для нового Музея, и в собирании памятников искусств для наших коллекций. Область классической скульптуры она знала, как, может быть, немногие женщины в нашем отечестве: она вела в течение целого ряда лет дневники и записи по музеям, особенно увлекал ее Альбертинум, знаменитый музей Дрездена. Здесь она нарисовала и первый план будущего московского Музея. (Мама его нарисовала? — говорю я немо себе, а я и не знаю этого...)

Она ездила на Урал для ознакомления с производящимися там у нас ломками белого мрамора. (Сердце забилось — я помнила мамины письма, в детстве, из Златоуста в Тарусу. И вот наша жизнь вошла в книгу! Читаю дальше.) Когда осенью того же года внезапно ее поразил неизлечимый недуг, то и больная, в Италии, в Германии и на Южном берегу Крыма, она до самой преждевременной кончины (5 июля 1906 г.) не переставала думать об успехах нашего Музея. И одной из ее предсмертных печалей была горечь сознания невозможности увидеть свою Москву, свой дом

и Музей. (Слезы мешают читать. Из папиных слов ожила мама вдруг, подошла, стала рядом.) Делая предсмертные распоряжения, Марья Александровна завещала значительную долю своего состояния в вечный капитал Музея изящных искусств для составления из процентов при нем отделения библиотеки имени ее отца. Об этой любви ее многих лет к нашему делу, любви большой и искренней, но скрывающейся от других и потому мало кому ведомой, доложить ныне Комитету я счел сердечным долгом».

Прочтя все, я отнесла в кабинет папин доклад и бросилась сказать о нем Марине, но оказалось — она о нем знала, прочла раньше меня...

И уже позади — Масленица! «Великопостный густой звон». Скоро Лёра вернется из своего Козлова, писала — весной, летом поедет в Тарусу. Аня же поедет снова в Остенде, на виллу «Ньюмагри», и наши письма будут лететь с океана на Оку, с Оки на океан. Какие-то ее друзья там с ней будут — я их не знаю...

## Глава 5

### МАРИНА НА ЧЕРДАКЕ. АНДРЕЙ И ЛАТЫНЬ. СТИХИ В НАСМЕШКУ. ГАЛЯ И АНЯ. ВИНОГРАДОВЫ. ПРОЗВИЩА. НЕДОРАЗУМЕНИЕ. В МОЕЙ ГИМНАЗИИ

Но вспоминается мне одна вещь, до сих пор не сказанная и (если Маруся в пятом классе была приходящей у Алферовой) относящаяся к этой зиме. Справляясь с уроками так легко, что не замечала, когда их делала, она иногда, занятая чтением или писанием стихов, не хотела идти в гимназию. Делать это открыто без неприятных объяснений с папой она не могла, и в такие утра до ухода папы в Музей Марина скрывалась на чердаке.

Туда я таскала ей «попоны» — наспех схваченное пальто или шаль, — и, дрожа от мороза у слухового окошка, чтобы читать, Марина дожидалась от меня сигнала, что папа ушел, можно вылезать.

К завтраку брат Андрей приходил домой. Внизу слышалось его: «Опять котлеты? Котлеты и битки. Битки и котлеты».

Он наскоро глотал что-то и, легкими прыжками взбегая по лестнице, хохотал над Мариной: «Ага, матушка, намерзлась! Так тебе и надо! Люди в гимназию ходят, учатся, а она на чердаке книжки читает!»

И, задев ее по голове — и меня по пути, — с ненавистным, им выдуманном словом «Бэба», он входил к себе (в бывшую, напротив лестницы, Лёрину комнату), выходил оттуда уже хмурым, деловито сбегал вниз — жалобная нота дверей, шаги по мосткам — ушел в гимназию.

Такие сцены (Андреины приходы из близкой седьмой гимназии к завтраку) я помню, когда, простудясь, бывала дома — и весь мой второй и пятый класс, когда я занималась дома.

Андрей учился без увлечения, ненавидел папин любимый латинский и нередко получал плохие отметки. Репетировал его сам папа: «Ну-ка, Андрюша, почитаем-ка по-латыни», — говорил он, взойдя в мезонин и входя в Андреину комнату. Андрей хмуро принимался читать. И часто из-за закрытой двери начинали громче звучать голоса, папа кричал и выходил, покраснев, пылая негодованием.

— Скоти-ина... — гремел его добрый, обиженный голос в ответ на сыновнюю дерзость. — Ду-би-на... — раздавалось уже почти торжественное с лестницы, последним вздохом горестного возмущения.

Бедный папа! Любимая его латынь.

Однажды Марина написала — на смех — стихи. *Что* ее толкнуло к ним? Чье-то восхищение какими-нибудь, ей казавшимися слабыми? Но когда они, озорные, родились, мы стали озорничать ими везде, где было не лень: не у друзей — у знакомых. И я помню, что в одном маленьком семейном кругу их — хвалили. Не поняв, что они — на смех, в шутку. И тогда нам стало — стыдно. И жаль слушавших — доверчивых, добрых, невинных.

Вот эти стихи (их уже никто не помнит, кроме меня):

Придет весна и вновь заглянет  
Мне в душу милыми очами,  
Опять на сердце легче станет,  
Нахлынет счастье — волнами.

Как змейки, быстро зазмеятся  
Все ручейки вдоль грязных улиц,  
Опять захочется смеяться  
Над глупым видом сытых курицев.

А сыты курицы — то люди,  
Которым дела нет до солнца,  
Сидят, как лавочники-пуды,  
И смотрят в грязное оконце.

И мы удовлетворенно смотрели кругом.

Лидия Александровна Тамбурер, Драконна наша, по рассеянности (вдруг задумалась, глядя куда-то, пропустив «улицев-курицев») сказала, пробудясь к концу, не к месту вдруг умилясь «лавочниками-пудами», — «Да, это — удивительно! Именно в грязное! Оконце...»

И, заметя дрогнувшую Маринину бровь, очнувшись еще раз, как бывает во сне — ото сна, она, может быть, уронила: «Ку-ку-шки!..» — и, вместе с нами, рухнула в смех, падая на низкий, мягкий, каких не бывает, плюшевый, синий с турецким узором, диван.

Наставала весна. Запах талой земли одурял. Повелительно вспоминался какой-то не дожитый в сознании день детства, когда точно так же пахло; и еще голубиным пометом, и черным хлебом, и (но их еще нет пока) тополиными почками...

Давно ли Галя и я били калошами лед, сливая лужицы в ручеек, освобождая путь воде — лететь, как и мы, по улицам! Береты сдвинуты со лба, лицо подставляем — солнцу, а рот — жует прозрачную фруктовую карамель (шашечками), она сладко и кисло (не разберешь) липнет к небу.

Как летят над крышами облака! Какое синее — (невозможно *поверить* в такой цвет) — небо! Как над Лаварелло в Нерви — даже лиловое... Устав бежать, мы бредем по Никитской мимо дома с пестрым узором вокруг окон, в нем что-то вербное, праздничное.

Все это неотделимо сейчас от узких, ярко-карих глаз Галочки, от ее округленного у тонких ноздрей носа, от чуть суховатых насмешливых губ. Ее узкое лицо, смуглое, озабо-

ченно поднято, брови сдвинуты. Это ее выражение. Сейчас оно изменится — брови поднимутся, ноздри дрогнут, она рассмеется, ее рука уже схватывает мою, и в испуге, давясь смехом (кто-то идет, смотрит), — мы понесемся нашей особой припрыжкой, как по гимназическому двору.

С Галей — нет боли в сердце, как с Аней. Мы друг с другом естественны, как кораблик, который пустили мальчишки. Мы не кидаем ввысь слова — ради их громкости. Мы не щеголяем собой, желая убедить в себе, войти в то сердце. Будущее — наше. Мы никогда не потеряем друг друга. С Аней все иначе! Каждый вопрос и ответ — неожиданность. Под нашим «весельем» тоска прощанья. Расставание нас стережет. Оно, а не дружба, — закон нашей встречи... (Конечно, не такими словами мы думаем и называем. Но чувствуем — именно так.) Мы все время неуловимо, чутьем, настойчиво уступаем друг другу дорогу. Мы знаем — она и я, что будет час, когда мы не уступим друг другу, когда встанем во весь рост — перед классом. Когда станем врагами! И предчувствие этого делает нашу дружбу — почти бредовой по скрытой настороженной нежности. Да, конечно: с Галей была — дружба! С Аней — любовь и соперничество.

Вечер, пелена вновь выпавшего снега, заснеженные вновь — после таяния — крыши. Зима. Мы — Андрюша, Марина и я — провожаем гостей — Толю и Нину Виноградовых, до их дома у Пречистенских ворот. По Пречистенскому бульвару. Неужели Толя нарочно замедляет шаг, чтобы длить путь со мной? Он — взрослый, я — девочка...

Сердце сжато счастьем и страхом. Почему всегда боишься того, кого любишь? Да разве я люблю Толю? Тихим боярином идет он рядом со мной. Высокий, с русой бородкой, в меховой шапке. Ледяными, горячими, не поймешь какими глазами — голубыми? — глядит на меня. Снежный призрак храма Спасителя. Следы по снегу. Сзади голоса Марины, Нины, Андрея. Синева вверху, фонари. А наутро — ни следа от зимы. Снег растаял, несутся облака, летят ручьи. Вчера — словно год назад! Весенний ветер бушует.

На крыше дома Курносова на Кудринской площади лазим — Галя, ее брат Коля, Марина, я и двоюродный их брат Шура. Круглолицый, чернобровый и озорной. Ему шестнадцать



лет. Он тащит меня по крыше, грозя, — к краю. Я визжу, упираюсь. Миг — и шутка перерастет в беду. Отчаянный крик Марины останавливает озорство Шуры. Он отпускает меня, подсаживает — влезть на уступ. Марина — вся белая. «Фу, уйдем отсюда...» — «Ты — дурак! — говорит Галя Шуре. — И не ходи за нами, отстань!»

Позади были прощание с Галей — обещание писать (летом придет ее отец, увезет их куда-то) и последний вечер у нас — Ани. Григ и Шопен — их нежность и гром в зале, эльфочкины кудри над клавишами.

Наверху, на заветном диване, в полутьме мы слушали стихи Марины, сказали их Ане в унисон двумя голосами.

Марина все больше проводила свободные часы в своей маленькой, в одно окно во двор, бывшей Андрюшиной, комнатке. Она писала стихи и читала мамины любимые книги, беря их из большого книжного мамино шкафа. Это были сочинения Гёте, Шиллера, Жан-Поля (Фридриха Рихтера), Беттины Brentano, Виктора Гюго. Она зачитывалась до глубокой ночи, а когда ее отрывали, звали — выходила из своей комнаты с лицом отсутствующим и на вопросы или надменно отмалчивалась, или огрызалась. Она была для своих лет большая и плотная, особенно рядом со мною, и Андрюша и я звали ее Мамонтиха. На это она не обижалась, как и я на Паршивку (за худобу и небольшой рост), и звали меня также Кропотунья за еще не прошедшую страсть к мастереню чего-то. Были письма Марины ко мне с обращением: «Cher Cropton».

Ящик со сломанными переплетными инструментами, прибором для выпиливания, лупами, калейдоскопами, балалаечными струнами жил возле моего письменного стола.

В гимназиях у обеих нас учење шло легко, отлично, но беспокойство характеров, резкие выходки создавали нам двойственную славу. Не помню, по какому случаю в нашем классе произошли волнения и споры. От задора я примкнула к меньшинству. Была ли Аня по справедливости не со мной? Я не знала, права ли я — дело было сложно и смутно, — я боролась из страсти к борьбе. О нас говорили. Елена Николаевна пыталась уладить конфликт. К моему поведению в гимназии отнеслись неодобрительно. Дело дошло и до нашей

семьи. Кто-то из родных ехал в Тарусу. Папе подали мысль отправить меня туда до конца ученья: «Догонит!» Я не боролась с этим решением. Мне вменили в обязанность за лето пройти дробь — я обещала. И уехала в Тарусу. Над садом Добротворских стояла сияющая весна. Учить дробь? Я так никогда их и не прошла: позднее как-то их поняла, косолапо с ними обходясь (с «простыми» — самыми трудными), имела к ним даже некую нежность — за свою перед ними вину: никогда не пройдя их какое-то «перекрестное опыление», умножение или деление. Десятичные же — о них я позднее открыла Америку, что нечего о них думать, они «просто как целые числа».

## Глава 6

ЛЕТО 1908 ГОДА. СТИХИ МАРИНЫ.

СМЕРТЬ МАЛЕНЬКОЙ СОНИ. АЛЕС ЗАКРЖЕВСКИЙ.

В ЛОДКЕ В БУРЮ. С МАРИНОЙ У ОКИ.

ТЬО И ПТИЧКА. У КАМПАНАРИ

В это лето к Марине приехала гостить Соня Юркевич, невысокая, с розовым яйцевидным личиком, голубоглазая, светловолосая. Она вместе с нами ходила по любимым местам, купалась. Мне ярко запомнилось — точно вчера! — как мы занялись отвратным делом — ради красоты речных раковин, отливавших перламутром, вырывали (руками?) их хлипкое, страшное (живое...) содержимое, набрали этих голых телец целый таз... И спорили, кто будет это выливать в яму?! Отвращение к «дьявам», как Марина прозвала те мокрые безмолвные существа, кажется, перевешивало красу перламутра. Домыли ли мы раковины, двустворчатые, от которых пахло окской тиной? Бросили ли их?..

Мы катались на лодке, как всегда, заезжали за нами на своей большой лодке Добротворские — Саня и Люда, и мы — то в их, то на двух лодках — ездили по зеркальной, в тихие вечера, Оке, и один конец реки был золото-розовый, а другой — дымно-синий, лиловый.

В детстве мы их делили. То серебряный рог месяца, то рыжая полная луна колебали свое легкое водное отражение. И, как прежде, несло с чьей-то далекой лодочки «Чудный

месяц плывет над рекою...» — точно не было Нерви, Лозанны, Ялты... точно мы — те!

Стояли тихие, знойные летние дни. Марина была с Соной Юркевич, я — с Лёнкой, давней моей младшей подружкой. Я полюбила ее, на три года меня моложе, за решительный характер, за строгое, с правильными чертами личико, за темно-серые глаза и льняные волосы. Теперь она погрубела, заострилась, засмуглилась несходящим деревенским загаром. У нее, как у нас, умерла мать, давно болевшая. Домом правила теперь веселая Люба, она стала строже, деловитей после матери, с нами ходил шестилетний Колька, белобрысый, черноглазый, озорной, на все отвечающий поговоркой: «Охота была!» Он увязывался на качели на сторожевой поляне, за нами — в шалаш, за нами — купаться, не боялся ни плотогонов, ни стариков и старух — богаделов и богаделок, которых в суевенном каком-то страхе избегали даже мы с Лёнкой.

По-прежнему ходил, припадая на ногу, сухорукий, с желто-белой бородой Осип, когда-то в гневе бросивший в другого старика огурцом (в висок) и отбивший за убийство десять лет каторги. И всегда внезапно, как большой гриб в роще берез и осин, появлялась в синем длинном широком платье старая Аграфена с бельмом на глазу. Были и такие старики, что вовсе не выходили из дому. О них, старых и страшных, нам, озираясь, шептала Лёнка. Жизнь шла, как годы назад.

Только я, когда была занята по дому Лёнка, когда не видно было поблизости совсем взрослого уже, тихого, красивого Миши, уходила в лесок, «старым садом», по дорожке к пенкам, где ходили с мамой, и упоенно говорила стихи. Марина написала стихи о нас с Мишей (он нарисовал — чудно! — женщину с прялкой. Мог бы художником быть!..). Она читала мне начало стихов: «Ты — принцесса из царства несветского, / Он — твой рыцарь, готовый на все, / О, как много в вас милого, детского, / Как понятно мне счастье твое!..»

Марина допишет его, придет ко мне, прочтет раза два-три, и мы будем его говорить вместе, в два голоса, вернее в один, потому что наши голоса так похожи, сливаются в один, Лёра не всегда различает из другой комнаты, кто говорит.

Жарким звуком гудел пароход.

А дальше? Медленно вспоминаю: «...В светлой чаще берез,  
где просветами / Голубеет сквозь листья вода, / Хорошо  
обменяться ответами, / Хорошо быть принцессой, о да! /  
Тихим вечером, медленно тающим, / Там, где сосны, бо-  
лото и мхи, / Хорошо над костром догорающим / Деклами-  
ровать нежно стихи...» Нет, Марина переменила: «Говорить  
о закате — стихи». Дальше она еще не закончила\*.

Вот еще это, Мариново:

Аллеи дремали задумчивым сном,  
Мы ехали парком вдвоем,  
Белела дорога, чернели кусты,  
Дрожали на клумбах цветы...

О, как чудно она ему ответила на его: «Вдвоем или снова  
одна?»!

...И ждал я ответа, томительно ждал,  
С тоскою секунды считал.  
И билось сердце тревогой в груди,  
«Свобода — дороже любви!  
Свобода — великий, святой властелин»...  
Я ехал по парку один.

Среди лета умерла младшая сестра Миши и Лёнки трех-  
летняя синеглазая Соня. Вслед за Лёнкой я вошла в избу.  
Знакомая, душная смесь запахов — черного хлеба, щей,  
дыма, пота (этим пропахло все, даже дети). Теперь тут  
была толчея от женщин, говоривших приглушенными голо-  
сами. В маленьком гробу виднелись восковое лицо ребенка,  
украшенное цветами, и сложенные восковые руки — ни-  
чего сходного с розовощекой синеглазой Сонькой. Рёвер,  
мама... Это было в третий раз. Страшная метаморфоза  
смерти в жалобности нищеты была еще страшней в своей  
обнаженности. Моему возрасту это было почти не под силу.  
Я поспешила выйти на воздух; солнце, синева, щебет птиц  
вернули мне чувство жизни. Но в нем был стыд за себя. При-

\* Напечатано в сборнике стихотворений М.Цветаевой «Вечерний альбом»,  
1910 г.

тихий Колька не прыгал по скрипучему коридору, вдоль комнат богаделов и богаделок проходил, шагая как взрослый. Мелькало заплаканное лицо старшей, Любы, сумрачное — ее отца Семена. И вот мы идем по тропинкам между холмов высоко над Окой, вслед за маленьким гробом, под полуденным равнодушным солнцем. Мимо часовни, к церкви, где отпевали маму. Я прошла со всеми на кладбище, но не помню ни могилы, ни похорон. Я шла домой по крутой лестнице, земляной, которую лопатой вырубил (ступеньки крутые, порастают травой) давно Сережа Иловайский, — когда-то он с сестрой Надей гостил у нас в новой, для них сделанной пристройке, еще до Италии... (Потом из двух комнаток, новых, сделали одну — окна в жасмин. В ней болела и умерла мама...) По «Сережиной лестнице» Марина и я никогда не ходили: страшно на нее ставить ноги; ступени живые, а он — под землей, сколько лет.

Музыка гремит на тарусском бульваре, тополя вьются в ветре. Вот он, Алес Закржевский — бледный, русский, в берете и пелерине. Всегда молчит.

Он приходит с компанией Молчановых на маленький, ромашкой пропахший тарусский бульварчик над Окой. Это единственное место, где можно его увидеть. Мне нравится, что никто из девочек не обращает на него внимания, не понимает его. Он сидит на скамейке, смотрит на даль за Окой, его светлые глаза потеряны где-то вдали, он не с Молчановыми, не со мной, ни с кем. Когда его компания поднимается, он встает с ними, и они идут по дорожкам, среди акаций, тополей, звуков духовой музыки, черная пелерина с его узких плечей свисает, как средневековый плащ, из-под берета, черного, видны недлинные светлые волосы. Нет, он совсем не занят собой, своей внешностью. Он очень застенчив, он просто отсутствует. Он идет медленно, все в той же задумчивости, и мне кажется, ему не хочется переставлять ноги: болен? Его черты довольно обычны, над губой маленькие светлые усы. Поляк. Как мамина мать! Я рассказываю о нем Марине. Она сочувственно слушает меня, спрашивает. Когда меня познакомили с Алесом, он пожал мою руку, взглянул, не сел более,

а уступил место мне. Молча постоял перед нами, опершись о трость. Как он бледен! Я ничего не спрашиваю о нем, ничего не знаю. Молчановы — его родственники, модная тарусская семья, правящая тут клубными вечерами. Как не подходит к ним Алес! А имя его к нему — льнет: и он, и оно точно сошли с книги...

Ехали в лодке по Оке Люда, приехавший в гости к Добротворским наш двоюродный брат, Сережа Цветаев (сын папного старшего брата дяди Пети, психиатр, работавший под Москвой, в Мещерском, позднее много пивший), его жена Варвара Васильевна, их шестилетняя дочка Оксана и я. Люда и Сережа гребли, иногда Люда пускала грести меня (я хорошо гребла). Был закат. Я смотрела на Сережу. Смуглый, черноглазый, с правильными чертами, с черной бородкой, уже с лысиной, Сережа со мной обращается как со взрослой и как с чужой. Стесняется, как и я его. Я случайно услышала, что он тайно любит Надю Добротворскую, свою троюродную сестру. Эту заносчивую гордячку! Он греб и смотрел на зарю. Везде грусть!

Иногда я чувствовала себя моей героиней Лидой, о которой я в Москве начала рассказ. Хотелось — чего? Нестерпимо тих был день. Я шла в сарай, хватала весла и, мимо ахавшей нашей прислуги старушки Александры, спускалась к Оке. Я не боялась волн, они иногда были, а сегодня была просто буря, и помню, как бедная Александра бежала за мной, умоляя одной не ездить! Я успокаивала ее, оттолкнула лодку и села на весла. Руки и белый платочек Александры плясали в ветре, она кричала! Я умела грести, но не рассчитала сил своих и — бури, течения волн, о которых причитала старушка. Я с усилием гребла — против течения. Резко похолодало. Ветер рос. Я была еще далеко от другого берега. Напрягши все силы, поняв, что меня уносит, я стала грести прямо к нему, и мне удалось после долгих усилий уцепиться, в испуге, рукой за кусты, чуть не вылетев в воду. Страх придал силы. Я выскочила на тинный берег, вся измазалась, вытащила, надрываясь, лодку, прикрутила ее цепью к кустам и под начавшимся дождем побежала, вся мокрая, по тульской стороне. До моста к Тарусе — версты две; и через мост — и вверх, к Добротворским. Там стали

меня переодевать, греть в теплой кухне, браня и утешая. Саня, узнав о судьбе лодки, сошел вниз к Оке, на своей поехав за нею, привез ее благополучно назад к нашей даче.

Ее уже отрывало и унесло бы! Меня стыдили.

— Да ты же могла утонуть, пойми! — твердила Люда. Ее мать поила меня чаем с малиной.

А через день:

— Мариночка, так идем?

— Сейчас допишу.

Мы выходим на луг. Тишина. Справа — зеркальце болота. К пескам — там особая речная тишь... наше любимое место. Но — далеко идти. Таруса исчезла. Берег крут, кое-где порос травой. Мы ложимся головами к краю на теплый песок и смотрим вниз, на воду и вдаль на другой берег, к Улаю, Велегожу, откуда течет Ока.

— На будущее лето поеду в Париж, — говорит Марина, — непременно!

— А Тарусу не жаль?

— Жаль!

Тихо... Жара. Далекий крик птицы. Плавные струи реки, справа налево, против часовой стрелки, из будущего в прошлое, утихают и утишают душу. Это — особенное место, этот крутой берег, стена песка под нами и даль, а вперед и назад — повороты Оки и луга.

— Марина, из головы не выходят стихи, чьи — не знаю... «Знойный день стоит над степью, / Чуть колышется трава, / Непрерывной длинной цепью / Плавно реют облака...»

— Не очень хорошие, — сонно отзывается Марина, — какая ж это рифма — «трава-облака»...

И на полуслове уснула. Подбородок на руки, как пес, — она так мало спит ночью, читает... Начинаю засыпать и я.

Был летний день, когда мы подошли к дому Тети; вся жизнь осталась по ту сторону тяжелой калитки ее добротных ворот. Тут была жизнь прочная, неколебимая, о нее разбивались все впечатления дня. Так было с детства, и оно не менялось. Пахло, густо, ромашкой.

Марина критически оглядела мои расчесанные на косой ряд волосы, делавшие меня при длинном носе похожей

на Гоголя, поправила воротник. «Идем?» На Марине было светлое платье, длинное, как носили тогда. Ее русые волосы были подняты надо лбом и заколоты. Я знала, что ей — как и мне — неприятно носить очки: помимо того, что это портит, стекла для близоруких уменьшают размер глаз. Но снять их, оказаться в тумане неясностей лиц и вещей было еще хуже. Так мы входили, удержав вздох, «в гости» — даже и к Добротворским, там было много людей. То Надин, то Людин, то их матери глаз скользил по нам, наблюдая. От *этого* мы были свободны, входя к Тете, — для нее мы были все те же Муся и Ася, как десятилетье назад. Надо было только, чтобы одежда и волосы были в порядке, все остальное тонуло в ее любви: она была всегда неизменна, в нее мы входили как в нагретую комнату. Никаких наблюдений над нами тут не было, Тетя не наблюдала, она жила.

Она сидела сейчас на террасе в белом фланелевом капоте с оборками и глядела поверх дедушкиных черепаховых очков куда-то вверх, казалось, на верхушку ближней липы. Эта липа цвела, и в воздухе было блаженство. Тьо отдыхала. Возле клумбы что-то убирал садовник Сергей. За жизнь у Тьо он себе отрастил бороду, стал из парня почтенным мужиком.

Да, Тьо не была способна к наблюдениям. Она не делала их над нами, но именно в этот час она была занята наблюдениями над... — но пусть она сама скажет.

— *Tout petit!*\* — говорила она тем тоном горячего умиления, который был свойствен ей одной, и, видя нас входящими, она залила им и нас: — *Mes petites chéries*, Мунечка, Анечка! *Venez à la Tante!*\*\* — В душных ее объятиях было неловко и жарко. Но мы вынесли шквал свидания.

Затем, возвращаясь к тому, что ее занимало, Тьо из умиления немотивированно-родственного вернулась в умиление мотивированное:

— *Il est tout petit, cet oiseau, le pauvre chéri!* — обратилась она к нам. — *Regardez donc! Tout seul! A une hauteur pareille!*

\* Совсем маленькая! (*фр.*)

\*\* Мои маленькие дорогие... подойдите к Тете! (*фр.*)



Il doit se sentir si faible dans cette solitude parmi les nuages!  
Oh, le pauvre petit!\*

Будь Тетя сентиментальна, она бы смахнула слезу. Она ее не смахнула. Она села плотней в кресле — и тоном, не допускающим возражения:

— C'est cruel, ce spectacle! Il peut tomber de la-haut! Il se brisera son pauvre petit corps! Oh le petit être chéri! Се'р'гей!\*\* — крикнула она, и что-то похожее на отвагу мелькнуло в ее голосе: — Viens ici!\*\*\* Мы должен помочь бэдн птичк! — И так как Сергей\*\*\*\* стоял, не выражая на лице никакого чувства: — Il est un peu bête, cet homme! Quoique, en somme, il est bon! Mais je ne sais pas si il peut grimper sur ce tilleul!\*\*\*\*\* Се'р'гей! В са'р'ай бе'р'и лэстниц, ставь к это де'р'ево, лэзь на этот вэток, а с эт вэток на вэток, и на т'р'эть... К'р'эпк держи р'ука дэ'р'в, а то можн падать!

Не удивляясь, но по-своему решая, как выполнить барское поручение, Сергей, подскочив, уже сидел на первой ветке, вспомнив юные годы.

Только оттуда, из лазури и зелени, из солнечного блеска он подал голос: «Не старик еще, по лестницам лазить!» Молодчество ли проснулось в нем, но он лез и лез выше, уже листва его скрыла, доносился один голос, вернее, веселое гиканье. Все выше — и, в то время как я, переглянувшись с Мариной: «Я бы хотела быть на его месте! Как там, наверно, пахнет чудно!..» — сверху раздалось веселое мужицкое пение.

— Mais il est tout à fait sot, cet homme!\*\*\*\*\* — негодующе воскликнула Тьо, и в ее жесте был порыв отделиться от кресла. Увы, это было много трудней, чем бородатому Сергею по-мальчишески достичь кроны липы. — Тих, тих! — кричала Тьо, маша полными, короткими руками. И, обернувшись

\* — Она совсем маленькая, эта птичка, бедняжка!.. Посмотрите же! Совсем одна! На такой высоте! Она должна чувствовать себя такой слабенькой, в одиночестве, среди облаков! О, бедняжечка! (фр.)

\*\* Выделение голосом «р». — Примеч. ред.

\*\*\* — Это жестоко, это зрелище! Она может упасть сверху! Она разобьется всем своим маленьким бедным тельцем! О, маленькое дорогое создание! <...> Иди сюда! (фр.)

\*\*\*\* Сергей — работник Тети.

\*\*\*\*\* — Он немножко глуповат, этот человек! Хотя, в общем, он добрый! Но я не знаю, сумеет ли он влезть на эту липу! (фр.)

\*\*\*\*\* — Но он совсем глуп, этот человек! (фр.)

к Марине, с отчаянием: — Мунечка, dis lui donc qu'il se taise!  
Il fera tomber l'oiseau!\*

— Сергей, не шумите, спугнете птицу! — давясь от смеха, прокричала Марина.

— А ей соли на хвост сыпать? — отозвался голос из веток, они хрустнули листвою, и выглянуло смеющееся лицо — даже и борода смеялась.

— Ну вот! — вдруг успокаиваясь, сказала Тьо. — Больше не надвыш! Птичк над сам дэ'р'в! Зови, зови птичк! Мань — comment dire cela en russe\*\*, Мунечка? Мани? Мани? Се'р'гей, мани 'р'учк, он слетай на твоя 'р'учк, — тихоньк т'р'ог птичк 'р'учк! — Il peut la tuer, le petit chéri, cet homme!\*\*\* К'р'ичи чвик, чвик...

Руки Тьо были умоляюще подняты. Марина и я более по слуху наслаждались происходящим: по близорукости мы не видели никакой птички в вышине — одни, по Андрею Белому, золото и лазурь.

Тем временем раздался из-под облаков голос Сергея:

— Гхмы... — хмыкнул он. — Барыня, ваше превосходительство, да чего вы с ней убиваетесь? На то она и птица, чтоб летать! Ей на то крылья дадены!

Эффект этих слов был неожиданен. Тьо обернулась к нам, сияя победоносно.

— Слезай с дэ'р'в! Птиц к'р'ыль летать! — И мы пошли пить чай.

— Mais il a l'esprit naturel! \*\*\*\* — сказала она нам.

Было прохладно в самую жару в спальне, где перед портретом бабушки стояли на полочке цветы — «любим Манин аютиин глазок». И начинались трогательные, безутешные воспоминания о маме, о бабушке. С портрета смотрел углем написанный высокий, худой, седой человек в шляпе, в сером пальто, с сигарой в руке. Бабушка!

Раздавался мелодичный звон: венский шкафчик — часы. В маленьких гостиных все так же мебель стояла в чистейших полотняных чехлах с оборками, два шкафа с сине-зелеными географическими полушариями на дверках; черный, годы,

\* ...скажи же ему, чтобы он замолчал! Из-за него птичка упадет! (*фр.*)

\*\* ...как это сказать по-русски (*фр.*)

\*\*\* — Он может убить ее, бедняжку, этот человек! (*фр.*)

\*\*\*\* У него естественный ум! (*фр.*)

после дедушки и мамы, молчащий рояль. И, зовя на воздух, в рай сада, на столе террасы темный золотой шар самовара. А за ним — кусты отцветшей сирени, клумбы, песок дорожек, глубь фруктового и липового сада, обнесенного высоким забором.

Как встарь, Тетя сидит в своем пышном оборчатом платье с гладко причесанными полуседыми волосами, с черной муаровой наколкой на макушке, спустив на кончик носа дедушкины черепаховые очки; двойной подбородок. Обняв нас крепкими полными руками, она рассказывает нам о тарусских и уездных бедняках, просящих ее помощи. «Pauvres gens! On doit les plaindre! Le bon Dieu veut que les uns aident les autres. Grand-papa me le disait toujours: “Nous devons aider les pauvres!”»\*

Она помогала всем вокруг. Кому — в ученье, кому — лошадь, кому — корову.

Как и год назад, Марина и Андрей уехали в Москву к началу гимназических занятий, а я была оставлена пожить еще у Добротворских. Папа и доктор, дядя Ваня, боялись при моей не бог весть какой телесной крепости — наследственности от мамы. На осенних хлебах — яблоках, сливах, свое молоко, творог, яйца — я могла подправить летнюю худобу от беготни и купанья.

Я — на лежанке с мешком орехов, смешанных яблок, с котом в ногах. Или у горячей печи. Кот, проснувшись, смотрит в огонь черными иголочками расширенных желтых глаз, мягко подобрал лапки, — а я за книгой, с Ириной из «Дыма», она мне таинственна и влекуща... Я ненавижу Марию Николаевну из «Вешних вод», страстно жалею покинутую Джемму. Шумел ветер, сад шуршал упавшей листвой. В кухню к Кате и Маше я часто ходила, грелась в их тепле и уюте. За перегородкой, за русской печью была их комнатка, две пышные постели с горой подушек и ватными одеялами, за окном бушевала осень...

К Добротворским, в их трудовую, всегда занятую семью приезжали соседи: из них помню Марию и Елену Константи-

\* «Бедные люди! Их надо жалеть! Бог хочет, чтобы одни помогали другим. Дедушка мне всегда говорил: “Мы должны помогать бедным!”» (фр.)

новну Поливановых, двух обедневших помещиц. Нос Елены Константиновны был так велик, что за глаза ее у Добротворских иначе не звали, как «Нос». Она была весела, мужественна, просто одета.

И было с ними по соседству, на Оке, от Тарусы к Алексину, именье Ладыжино — место, по красоте легендарное. Тогда, пять с половиной десятилетий назад, оно звалось именьем Кампанари. Хозяин Ладыжина, маркиз Кампанари, родом итальянец, давно умер. От него сохранился, помнится мне, портрет: чернобородый, черные огневые глаза, белый костюм. Вдова его, маркиза Кампанари, когда-то, может, и красавица, была стара, хоть еще бодра и сама правила разоренным именьем. Имела она двух дочерей — Маргариту и Марину, к которым была строга.

Маргарита, чернокошая, черноглазая, румяная — вся в отца, была очень хороша — итальянка. И не менее была красива Марина, сероглазая, с каштановыми пышными волосами, с нежным легким румянцем — в мать. Было им лет семнадцать и восемнадцать.

С Людой ли я поехала к ним? Было еще начало осени, и восхитительные пейзажи Ладыжина — еще зеленые дубравы, луга — напоминали Пачёво — заколдованной тишиной.

Не хочешь идти вперед! Навек запомнить гигантские лесные поляны, нежно сходящие вниз в полную незабудок долину; дубовую рощу, обнимающую облака мощными лапами веток; бревенчатый мост через речку; кудри ив над водой; неумолчной музыкой тишины — птичий щебет.

Тихий простор естественных террас, спускающихся одна в другую. Тут ехать верхом, рука в руку, а шар луны поднимается над окскими туманами над дубравой... Край крыши в лунных лучах покажется замком Рингштеттен...

Дом в имении? Я не помню его. Мебель в чехлах? Быть может, закрытые парадные комнаты прежних времен? Я гостила там дня два-три. Я не помню — столовой, обедов, ужинов. В памяти угол комнаты, раскрытое окно. Марина, Маргарита и я ждем, что нам подадут верховых лошадей (мне — самого смиренного, старого Паука).

Как любопытно садиться в дамское седло! Как чудно смеются над моим неумением Марина и Маргарита, как важно шагает Паук — ох, я сейчас упаду, я ведь сбоку от лошади! Не

годованье от нескладности дамского седла портит мне радость. Но мы едем, едем, я еду — амазонкой. Мимо террасы, где стоит на лестнице маркиза, их мать, высокая, худая. Гордое сухое лицо. И уже аллея приняла нас в себя, хлестнув ветками. Паук! Не отставай от тех двух коней, я уже, кажется, умею держаться....

Место сейчас досказать, что знаю о сестрах Кампанари.

Когда умерла их мать — не знаю. В годы первой германской войны, нет — после нее, я услышала: кто-то на юге на станции встретил Маргариту в одежде монахини. Она собирала на монастырь в кружку. Кого-то любила она, жизнь отняла. Был ли он женат? Была ли иная трагедия? Смутно. В Москве в 30-х годах у друзей я увидела высокую, худую, резкую, грубовато-разбитную женщину, пожилую — она прошла в соседнюю комнату. Что-то опустившееся, ожесточенное было в ней.

— Ты знаешь, кто это? У них когда-то было именье, отец ее матери — итальянец Кампанари.

— Не может быть...

— Марина...

И назвали отчество. Сердце — в ком! Та Марина, та нежнолицая, как северная весна...

В эту осень нам минуло: Марине — шестнадцать, мне — четырнадцать лет.

## Часть девятая МОСКВА И ТАРУСА

### Глава 1

#### ПЕРЕВОД МАРИНОЙ «ОРЛЕНКА» РОСТАНА. СТИХИ МАРИНЫ. ПОДРУГИ. У ГОРБОВЫХ

Когда начала Марина свой перевод «L'Aiglon», E. Rostand (Э. Ростан, «Орленок»? Может быть, еще летом, в Тарусе? Всю зиму своих шестнадцати лет она от него не отрывалась. Каждый свободный час она проводила в своей маленькой комнатке, у окна, за подаренным ей папой большим, мужского фасона письменным столом с темно-красным сукном. Обои для своей комнаты она выбрала — темно-красное небо, усыпанное маленькими золотыми звездами. Между столом и стоящим у противоположной стены, параллельно, диваном помещался только стул. Тут Марина, забыв обо всем, день за днем и часто глубоко в ночь кидалась в бой несходства двух языков, во вдохновенное преодоление трудностей ритма и рифмы. Любимейший из героев, не царствовавший, рано погибший Наполеон II, воплощался силой любви и таланта, труда и восхищенного сердца — из французского языка — в русский. Все более кованый, с каждым днем зреющий стих наполнял ее волнением. Встав, она шла ко мне: «*Кончила акт! Послушай...*» Она ценила мое одобрение к труду и восхищение к герою, который был не моим, а ее кумиром, которого я не оспаривала.

Читая, сердце ее, быть может, не раз падало, как в детстве, непереносимой ревностью, страхом, что я, другая, полюблю «Орленка», что он будет не только ее?

Чувство естественного, диктуемого благородством отречения предполагалось, полагалось во мне — сейчас первой,

привычной слушательнице Марины, ее перевода торжественных и трогательных строк Ростана.

Ревниво оберегала она и само *дело* перевода от случайных глаз и слухов. Доверила она его Толе Виноградову, умнику и тонкому ценителю, образованному не по годам. Думаю, что читала свой перевод Лидии Александровне Тамбурер, всегда ждавшей новых Марининых стихов. Лёре? Не знаю. В *какое* время произошло молчаливое расхождение их — не помню (продлившееся в необщении — до конца Мариной жизни). Виноватой была Марина, усугубившая вину — гордостью, оскорбленной тем, что Лёра, ею обиженная, от Марины — молча отвернулась. Марина затаила обиду и, как гордый человек, с повинной не пришла. Позже она дурно писала о Лёре и в отношении детства. Что неверно, так как до ее шестнадцати лет Лёра ей была первый друг. Сейчас для нее не существовало ничего, кроме «Орленка» и ее работы над ним. Она выписывала из Парижа, через магазин Гютье на Кузнецком, все, что можно было достать по биографии Наполеона, — тома, тома, тома. Стены ее комнатки были увешаны его портретами и гравюрами Римского короля (детство Орленка, герцога Рейхштадтского, его юность). Марина любила первую жену Наполеона, смуглую Жозефину, и ненавидела мать Орленка, его вторую жену — «белобрысую» австриячку Марию-Луизу, для которой, чтоб иметь сына, он должен был оставить бесплодную Жозефину. Боль, с которой говорила об этом Марина, и боль, с которой она удерживала себя от слов, — были равны. Словно о *себе* она тосковала, с такой страстью вжилась она в судьбу Наполеона! Кого из них она любила сильнее — властного отца, победителя стольких стран, или его, угасшего в юности, мечтателя-сына, узника Австрии? Любовь к ним Марины была раной, из которой сочилась кровь.

Она не жила тем, что вокруг. Она *ненавидела* день с его бытом, людьми, обязанностями. Она жила только в портретах и книгах — «L'imagination gouverne le monde!» («Воображение правит миром!») — повторяла она слова Наполеона. И тотчас же: «Et j'ignore absolument ce que je saurai être dans l'action» («И я совершенно не знаю, чем бы я смог быть — в действии» — слова его сына).

Эти два утверждения были взяты Мариной эпиграфом в ее первую книгу стихов «Вечерний альбом».

В гимназии я все так же озорничала, боролась с ветряными мельницами. В пятом классе алгебру у нас преподавал Бем, немислимой толшины и доволно добрый человек. Арифметика, с ее хитросплетениями мозаключений, азартом трудных задач, более увлекала меня, чем алгебра, где все было предрешено. Историю преподавал Николай Александрович Гейнике, пожилой, бородатый. Мы любили его уроки. Географию — Сергей Григорьевич Григорьев, черноволосый, лохматый, веселый, увлекавшийся предметом и нас увлекавший. О нем шел шепот, что он — революционер. К нам он относился по-дружески.

Поступили новые ученицы — внучка Дмитрия Ивановича Менделеева Ната Трирогова — большеглазая, крупная, взрослая на вид и добрая. Но Аня Лабзова — русая, круглолицая, высокая и худая — более не сидит рядом с Аней Кораблевой, высокой и полной: Аню Лабзову — этот слух прошел по гимназии, вызывая негодование и жалость, — выдают замуж! Ей только пятнадцать лет. Хлопочут о разрешении... — выдают насильно, чтобы помочь семье...

Наши с Мариной свидания с Галочкой и Аней были счастливыми днями. Как и год назад, обе приходили всегда порознь, и конец дня мы неизменно проводили на Маринином диване, в полутьме, втроем. Марина очень нежно любила обеих моих подруг — и как могло быть иначе? Очень разные, обе были умны, талантливы и с упоением слушали рассказы о нашем детстве, о странах, где мы жили. Обе любили поэзию и жадно слушали стихи Марины, ее рассказы о любимых героях, об их трудных судьбах. Марина радовалась их пониманию, всегда выходила к ним. Это были также и ее подружки, не только мои. Снова мы сидим в Марининой комнате, на диване, и Аня просит стихов.

— Я скажу вам, Анита, то, что я посвятила вам. Акrostих. Слушайте! — И Марина прочла:

АКВАРЕЛЬ

Амбразуры окон потемнели,  
Не вздыхает ветерок долинный...  
Ясен вечер, сквозь вершину ели  
Кинул месяц первый луч свой длинный.



Ангел взоры опустил святые,  
Люди рады тени промелькнувшей,  
И спокойны глазки золотые  
Нежной девочки, к окну прильнувшей.

Анины кудри упали на плечо Марине. В этом жесте — головкой прижаться к поэту — была ее молчаливая благодарность. Но Марина продолжала:

— А это тоже вам, Анита! Ася, скажем вдвоем! — И мы начали в два голоса «Эльфочку в зале»: «Запела рояль неразгаданно-нежно / Под гибкими ручками маленькой Ани...»

И как всегда, в самую хорошую минуту за Аней пришли.

Галя еще выросла, тонкая, длинноногая — почти подросток. Я была у нее на новой квартире у Зоологического — маленькие светлые комнатки. Сестра Лида в новеньком платье, Коля — в матроске. Только глаза у их матери недоверчивые и усталые. Ее муж, Дмитрий Ильич, приехал из-за границы, стал поднимать уровень семьи, но, видимо, не было у жены доверия к нему — от выражения сердечного участия в их менявшейся к лучшему обстановке она, казалось, воздерживалась. Не говорила об этом и Галя. К отцу она относилась странно — никак. На его ласки — не отзывалась, устранялась.

Когда я в первый раз увидела отца Гали, Дмитрия Ильича Гомберга, — я подумала: Рудин!.. Среднего роста, крупнолицый, смуглый, длинные черные волосы; узкие, как у Гали, глаза, карие, шурящиеся, ласково-проницательные... что-то героическое. Юрист, он хорошо говорил. Увидав нас с Мариной вместе, он нас сразу заметил, отметил, стал провожать нас, по дороге говоря с нами как со взрослыми, показывая явный интерес к нам. Галя чуждалась и этого — не спорила, не участвовала. Так же мало говорила она о своем брате Вадиме — больном, умном юноше. Любила она, кровной любовью, думается, только своих младших — Колю и Лиду.

Все, кто бывал у Лидии Александровны, понимал ее непоправимую личную трагедию. Она не говорила о ней. Но постоянные переходы ее настроений — от душевной усталости и разочарованности к восхищению стихами — книгой — че-

ловеком — отражением лунного серпа в окне говорили о ней. Она была еще молода душой, еще не угасла в ней радость жизни, было ей тридцать шесть лет, почти мамин возраст! Пышные темные волосы уже серебрились. Прелестна была ее улыбка — застенчивая, на смуглых щеках легко загорался румянец, пышные губы походили на экзотический цветок, серо-зеленоватые глаза из-под темных век глядели испытующе, недоверчиво, — и немного юмора мерцало в этом несдающемся взгляде. Юмор над своей тягой к несбыточному. Каждый приход наш встречал ее снова иной и всегда готовой и в нас разочароваться. Ее надо было завоевывать — всегда заново. Ей довел только *этот* миг. Но, взглянув почти строго, с полусутоливой враждебностью (на тех, которых вчера провожала друзьями), она, как нагретая стеклянная трубка, вдруг перегибалась в тепле наших смеющихся взглядов и, тормоша нас любовно, сразу и уж будто до дна поверив, сажала на мягчайший из всех мягких, синейший из всех синих с ружим диванов — и начиналось пиршество смеха, фантастики, счастья!

Прошел только год с того, как папа привез меня, тринадцатилетнюю, к Е-ву на уроки танцев и я со слезами отчаянья выражала удивленному балетмейстеру свое презрение к пластике. Теперь мне было четырнадцать. Я охотно ездила на уроки танцев к Горбовым. Правда, я не танцами увлекалась, мне нравился дом Горбовых, тепло чужой семьи, заманчивость угадывания человеческих отношений — и тайная горечь после мамы не иметь семьи, быть распыленными — Марина и я — *между* друзей, подруг, книг, чувств, мыслей. В печальной веселости под ритм музыки, у чужого прочного очага, в нарядной гостиной, взяв за руку одного из младших мальчиков — Яшу или Митю, я выступала в ряду нескольких пар в медленном ритме танца. Из чужих я помню — Коваленских.

За окнами, меж темных тяжелых занавесей, проблескивали полосы освещенных домов Власьевского переулка. И мчались санки. В перерывах меж танцев я взбегала с Катей и Яшей в их детские, как и у нас, на антресолях, — смотрели книги, игрушки младших, а уж снизу звали, и мы сбегали по лестнице в залу. Лестница! Как у нас... Чай сервировали в гостиной, подавая чашки и печенье каждому,

кто где сидел; на китайских тарелочках — яблоки, роговые фруктовые ножички.

Четкое узкое личико Яши, серые холодноватые глаза. Он церемонно кланялся учтивым мальчишеским поклоном того времени, а в глазах была вежливая дерзость. О, не от учителя нашего, старого красавца-балетмейстера Большого театра Чудинова я знаю, что вальс надо танцевать плавно, — Эллис танцевал вальс в гостиной Драконны после трактата — дифирамба о нем! Танцевал, показывая, как танцует писарь, как — офицер, как — кадет перед выпуском, — и со стихами на устах вместо дамы в объятьях — заскользил, самозабвенно, в классическом вальсе — один... Иногда папа заезжал за мной к Горбовым. Он рассказал мне, что отец Сергея Николаевича Горбова перевел «Божественную комедию» Данте.

## Глава 2

### ИСТОРИЯ ЕВГЕНИИ НИКОЛАЕВНЫ. МАМИНЫ ДНЕВНИКИ. СКАЗКИ ЭЛЛИСА. МОСКВА. УРОКИ ТАНЦЕВ

Осенью или зимой к нам поступила в дом экономка Евгения Николаевна Вязьмитинова — маленькая, худенькая, смуглая, горбоносая; ее карие глаза, большие, с тяжелыми веками, имели в себе что-то трепетное и печальное. В ней сочетались веселость и скромность веселья; и она несла с собой атмосферу чинности и уюта.

Такого человека *на нашем* веку еще не было в нашем доме. И судьба ее была примечательна. Она рассказала нам историю своей жизни, полную горечи, — беззлобно, как поучительный случай, будто не с нею он произошел, не ей разбил начертанный ею себе «идеал» жизни. Но была в ней рядом с кротостью и *настойчивость* мечты: она верила в возможность осуществления ее хоть под конец жизни — только не видела пока путей. А дело было такое: оставшись сиротой, она в шестнадцать лет, воспитанная в религиозной семье, задумала идти в монастырь. Узнав о ее мечте, пожилая женщина, назвавшая себя монахиней, обещала ей помочь в этом. У Евгении Николаевны после родных было полторы тысячи. Доверчивая девушка поехала с неизвестной женщи-

ной. По дороге они заночевали в гостинице. Когда Евгения Николаевна проснулась — спутницы ее не было. Исчезли и деньги... С тех пор — уже около трех десятилетий — жила она по людям, стараясь скопить нужную сумму.

Комната Евгении Николаевны (бывшая девичья, внизу, у черного хода) стала самой уютной в доме. В ней горела лампадка. Особенно хорошо было здесь, когда горела печь, трещали березовые дрова. Все любили заходить в этот ласковый уголок — и мы, и горничная, и кухарка — старая горбунья, добродушная Татьяна — за распоряжениями о завтрашнем обеде и ужине. Со всеми была внимательна Евгения Николаевна. А когда кончались заботы дня — она шла в залу, к роялю, и оттуда по дому лились наивные, чистые, как ее цветочки на окнах, звуки «Молитвы Девы» и других старинных мелодий.

Как и когда черные толстые книжки маминых дневников попали нам в руки? Мы читали их и узнавали себя в маме, и она оживала в нас. Папа, разумеется, не знал об этом. Книжек было, думается, девять. В одной из них, более тонкой, была история маминой любви, в ее семнадцать лет, к некоему «С.Э.»\*, артиллерийскому офицеру. Мелкий, тонкий, наклоненный, остробуквенный почерк мамин рассказывал об этой первой любви.

Как похоже на Лизу Калитину и Лаврецкого в недавнем прочитанном «Дворянском гнезде». Там из синего томика с золотым узором, из печатных строк старого тургеневского издания шел волнующий — словно сиренью повеяло — аромат чьей-то весны и чьей-то, навек, разлуки. Тут, в строках маминого знакомого почерка, *пережившего* маму, билась кровь ее сердца — и *наша* кровь. Было почти физически больно читать. И нельзя оторваться.

Только С.Э. не очень походил на Лаврецкого, нет, много больше — на Андрея Болконского. Тогда я «Войны и мира» еще не читала, прочла два года спустя. *Горечь* в нем была и тонкость суждений. Судьба же сходная с судьбой Лаврецкого — жена, не дававшая развода, решила мамину жизнь. Пять лет тосковала мама о С.Э. (Сергей — Эммануилович? Эдуардо-

\* Инициалы затем мужа Марины — Сергея Эфрона.

вич? Или «Э» было — фамилией?). Затем вышла замуж за папу, на двадцать один год ее старше. В дневнике был адрес няни С.Э., данный им маме при расставании — «там *всегда* сможете обо мне узнать»... Годы спустя мы, в двадцать — двадцать два года, давно уже замужем, вдруг пошли по этому адресу *искать* следы этой няни... Но и дома того на Молчановке уже не было... Только, идя к Драконне, мы молча обертывались на полукруглый угол дома — вход по лесенке в аптеку *Мерзляковского переулка* — тут в последний раз встретились, лет семь спустя расставанья, мама и С.Э. У мамы уже была Марина, она сказала ему об этом. И что муж ее — ученый, профессор...

Другие книжки дневников последовательно говорили о маминой жизни с папой, о ревности к умершей Варваре Дмитриевне, о смерти дедушки, о нас — маленьких. О Мусе (Марине), о ее необычайно раннем развитии.

Самая последняя книжка кончалась словами: «Мне тридцать два года, у меня муж, дети, но» — дальше была густая шерстка аккуратно вырезанных листков. Кто-то (кто? Лёра?) сказал нам, что их вырезал папа. Какой пищей для поэтического воображения и сочувствия поэта стало для Эллиса, пришедшего, как домой, в наш сиротский, сиротливый дом — это последнее «но» дневника нашей тридцатисемилетней матери!

Став перед нами, скрестив на груди руки, тонкий, в черном сюртуке, бледный, яркие, как у вампира, губы, большой лоб, переходящий в лысину, правильные черты, он впивается в нас острым взглядом зеленоватых глаз. И уже несутся вдохновенные, фанатические предсказания.

— Вы, Марина, — это дорога среди шумных площадей со знаменами, музыкой, со скачущими конями, в домах открываются окна, там — лица, там машут платком, несется звук флейты, плачет скрипка, откуда-то — орган... Барабанный бой... Вы, Ася, — это узкая прямая дорога, безлюдная. Никого! И она уходит во тьму. Вы слишком умны, Ася. Вы обречены. Вы должны прочесть Бодлера «Цветы зла» и Роденбаха «*Carillonneur*»\*, — не читали? Прочтите. У Марины есть. То есть я не знаю. Он *должен* быть! — Он слегка топал

\* «Звонарь» (*фр.*).

ногой. — Есть? Ну конечно! Как может у Марины *не быть* «Carillonneur»? Город каналов и теней, город туманов.

И Марина приносит мне — от Гютье — желтый французский томик «Carillonneur» с надписью:

«Tu vivras désormais silencieuse et rêveuse  
Comme cette triste fumée qui s'en va vers le ciel...» \*

Эллис писал нам письма. Всегда порознь — отдельно Марине и мне. Посвящал нам стихи. Мы пылко ему отвечали. Жизнь забила тройным ключом.

Наш рассказ о маме, нашем детстве, ее любви к Тигру и ее неуходе от папы — чтоб не разбить жизнь ему (разбила сердце себе), о ее болезни и смерти, пал на готовую в Эллисе почву: поэт в нем принял в себя ее судьбу. Образ мамы стал воплощаться с почти устрашающей яркостью. Она *оживала* в комнатах, ею покинутых.

Раздвоение было в Эллисе. «Я между Дьяволом и Богом / Разобран весь!» — так написала позднее о нем Марина в посвященной ему поэме. И в миг, когда был готов протест в нас вспыхнуть враждой *к нему*, — в этот миг сломом его интонации, всплеском руки — все изменялось, и мы затихали от звука его упоенного голоса: «...Буря затихла. Снова колонны / В бездне дрожат золотые...»\*\*

Эллис переключался мгновенно. Уже светлый рассказ его уводил нас из тьмы. Мы уже шли за ним по Белому замку, где жил маленький Мальчик и его подруга, Девочка в белом — «Они никогда не ссорились, только один раз» — рука вдохновенно вскинута вверх, — «Один раз они поссорились: Мальчик хотел, чтобы апельсин взяла Девочка в белом, а Девочка в белом требовала, чтобы его съел Мальчик...»

Как все казалось легко в мире, где есть такое! А он говорил, говорил...

Знакомые — старческие уже — шаги за дверью, дверь нашей бывшей детской раскрывалась, папа с горячей свечой в подсвечнике стоял на пороге.

\* «Отныне ты будешь жить молчаливой и мечтательной, Как этот печальный дым, уходящий в небеса...»

(Перевод фр. строк, надпись мне на книге — Марины.)

\*\* Стихи, посвященные Эллисом Марии Ивановне Сизовой.

Мгновенный переброс взглядов (Маринин — в мой): поздний час! Но папа жалуется Эллиса, увидев его, он что-нибудь говорил доброе и шел снова вниз по темной лестнице через залу, гостиную, в кабинет, к своему Музею, унося подсвечник с зажженной свечой.

...А мы уж в Багдаде... Рог луны над мечетью. В черную тень дома всплывает, скользя неслышно, тень человека — это город, где когда-то был Карлик-нос, корабль погибает в волнах, и спущена с него в море шлюпка. Среди женщин — она!

Они спасены. Пристань. Ночь. Как скрещиваются шпаги, так скрестились вновь — две судьбы. Человек вышел из тени дома. Рог луны вошел в облака. Между тех двух пролегла целая жизнь. Годы и годы скитаний. Он услышал ее голос — не вздрогнул, он не узнал его. Легкий когда-то стан был почти сгорблен бедой. Шаг был медлен. Она опиралась о руку спутницы. Исхудалое, потемневшее, потухшее лицо было неузнаваемо... «Но глаза, но глаза были — *те же...*»

Эллис приходил всегда неожиданно. Всегда вечером. Он не говорил, что скоро придет. Уговора с ним не могло быть — дней для него не было. Мы не звали его: разве зовут радугу? Воздушными мостами летели меж встреч — письма, в них жили стихи. Увы, я не запомнила стихов, им посвященных Марине, да, может быть, она и не все их давала читать мне.

Уверенная теперь в моем понимании, Марина шла ко мне, говорила последние стихи, и мы повторяли их вместе, в один голос. Затем, тоже часто в один голос, с полувопросом: «Пойдем?» Мы шли. Мы шли по Тверской — всегда вниз, по дороге к Охотному, никогда — вверх, к Брестскому вокзалу (теперь Белорусскому). Тот бок, с Тверскими-Ямскими, по ту сторону Садовой, — был чужой.

Временная отдаленность наша друг от друга, вызванная моим еще детским возрастом, Марининым интернатом 1906—1907 года и ее уходами со взрослыми на собрания, — теперь, в конце 1908-го, сменялась теплом и близостью — уже шло мое отрочество. Этому способствовала дружба Марины с моими подругами Аней и Галей.

Мы бывали с папой у Захарьиных — вдовы и дочерей знаменитого доктора, поразительного диагноста, бравшего за

визит сто рублей и вызвавшего по Москве — своими резкими повелительными выходками — множество рассказов о себе; из них я помню один: войдя в комнату к больной купчихе, окутанной облаком перин и камфарных и валерьяновых запахов, он, молча пройдя к окну, кулаком выбил в нем стекло, затем приступил к осмотру больной. О его лечении рассказывали чудеса. Увы, его единственный сын, Сергей Григорьевич — в семейном альбоме красавец и силач, умер двадцати восьми лет от чахотки в Каире. (Обещанное доктором Б. открытие — избавление от чахотки — медлило и теперь: два года после маминой смерти.) Вдова же Григория Захарьина — палата образования и ума — маленькая, ласковая старушка, теперь медленно умирала от сахарной болезни и, несмотря на уход дочерей и советы учеников своего знаменитого мужа, очень страдала и тайком от дочерей тянула руку к сахарнице...

Жили Захарьины в богатых хоромах, и мы, как всегда, незаметно переглядываясь, люто тосковали в чужой обстановке.

...Недоуменье и высокомерье в Марининой чуть дрогнувшей брови. «Воспитанности» у нас хватало на опущенные глаза, вежливые улыбки, от них еще тошней на душе. Папа же, говоря о нас, как в детстве, ласково, в простоте мудрого сердца звал нас «мои козы». Протянуть мост между папой и нами, объяснить как-то о нашей внутренней взрослости нам не хватало смелости, слов. Он иначе, *трезво*, не читил всего внешнего. Без нашей романтической тоски. Для доверия, попыток быть понятыми, для всего было уже — поздно. Мамы не было, вот что глухо в нас тлело, под пеплом дня. Но кто мог помочь ее отсутствию? Ее, нежной к нам, спартанки, гневной и требовательной. Да и, в себя углубясь, может быть, мы и от мамы уже отплывали? неизвестно к каким берегам... Потерпела бы она такую нашу свободу, с которой уже смирился папа? С которой срослись мы?

Горбовы жили в одном из Власьевских переулков.

- Извозчик, Власьевский!
- Четвертачок, барышня!
- Двугривенный!
- *Пожа́... пожа́...*



Рука в огромной варежке открывает полость. Скользим по снежной мостовой мимо освещенных особняков. Сыплет снежок. Я опаздываю на урок танцев. Мне весело и чуть смешно вспоминать мое прошлое отвращение к пластике.

Еду под звуки рояля выступать то с Катей, то с Яшей.

— Сегодня у нас сын нашего учителя, молодой Чудинов! — шепчет мне Катя.

Высокий темноволосый красавец. Плавный взлет рук, легкий поворот — еще и еще. Объясняет:

— Повторяем! Прошу вас! Начинаем! Раз... и два... и три, — ритмически, пленительно... Полупоклон в сторону сидящей за роялем и плавный жест — нам.

«...Я в тебе полюбил первый бал, / Пышной люстры торжественный свет...» В розово-желтоватом свете, льющемся из гостиной в залу, мы начинаем медленно, почти торжественно классические па вальса. «И в кругах ускользящий зал, / И на всем бледно-розовый цвет...»\*

### Глава 3

#### МАРИНИН НАПОЛЕОН. АНЯ КАЛИН. ОГОРЧЕНИЯ. СТИХИ. ЗИМОЙ В МОСКВЕ

Поглощенность Марины судьбой Наполеона была так глубока, что она просто не *жила* своей жизнью. Полдня запершись в своей узенькой комнатке, увешанной гравюрами — портретами юного Бонапарта, Наполеона в зрелом возрасте, Римского короля в младенчестве, окруженная французскими книгами, она с головой уходила в иную эпоху, жила среди иных имен. Все, что удавалось достать о жизни императора Франции, все превратности его судьбы, было прочтено ею в вечера и ночи неотрывного чтения. Она входила ко мне и читала вслух, половину их уже наизусть зная, оды Наполеону Гюго, показывала вновь купленную гравюру — Наполеон на Св. Елене — или вешала на стену у своего стола овальный портрет отрока герцога Рейхштадтского, знаменитый портрет Лоренса — мальчика лет девяти, с грациозной благожелательностью и с недетской

\* Стихи Эллиса.

печалью глядящего из коричневатых волнистых туманностей рисунка, словно из облаков. Ни одна из жен Наполеона, ни родная мать его сына, быть может, не оплакали их обоих с такой страстной горечью, как Марина в шестнадцать лет. Быт, окружавшие ее люди — все было вдали. Все было ей помехой к чтению. Лишь вконец устав, она выходила из своей комнаты, близоруко щурясь на всех и вся, и с минуту смотрела, слушала, уж вновь готовая уйти в себя и к себе.

Марину знали на Кузнецком у Готье, сообщали о новой присылке книг из Франции, о выписанных ею трудах. В предвечерние часы мы нередко ходили туда. Синева дневного неба опрокидывалась в зеленоватую бирюзу сумерек, по ней вспыхивали бледные янтари фонарей. Розовые шары света висели над входом в кондитерскую Сиу. Мчались санки, засыпая снежной пылью прохожих. В светлых витринах Аванцо и Дациаро пылали, в тоненькой окантовке, в багетных рамах, цветные репродукции картин европейских мастеров. На миг и Марину подхватывало волшебство вечера, уже темнела синева небесного шатра с первой звездой, далеко неся гудок куда-то уходящего поезда, в острый морозный воздух врывалась струя весны.

Иногда — и все чаще — мы шли в синематограф. От картин тех лет в памяти какой-то светлый туман. Каждый наш поход погружал в романтику, обогащал еще одной печалью, трагедией еще чьей-то судьбы. Проходило несколько дней, и Марина снова входит ко мне. Постоит у раскрытой форточки, лицо — в клубы морозного пара. Помолчит. Отойдет. Как передаваемый пароль: «Тоска, а?.. Хочешь, пойдем в синематограф?» И мы шли.

Одной из главных мук Мариной жизни было горькое ее недовольство своей наружностью: форма лица казалась ей слишком круглой, румянец — слишком ярким. И хоть толстой она не была, но была плотной, и в те годы не была стройной и тело свое ненавидела, как и румянец. Этот удержанный вздох всегда шел с ней. Ясное ощущение несоответствия ее души и внешности было горем тех лет Марины. Все более тоскующими глазами смотрела она на себя в зеркало неподолгу и отходила. Молча глядела на тех, кто кругом: на красавца Андрея, на меня, на кого-то случайного... И было что-то прощающееся в ее взгляде.

Марина подходит к печке и делает на изразцах руками свою всегдашнюю тень «гуся». (Она говорит: «Лебедь»!) И я сейчас же своего «кролика». Спорим, чья тень лучше. Но галантно друг другу: «Твоя»!

Всегда внезапно, всегда вечером и всегда зимой раздавался звонок — и входил Дмитрий Иванович Иловайский. Он снимал громадную шубу, горничная вешала ее — от вешалки оставались видны рожки и ножки, — проходил залой, гостиной, к папе в кабинет. Там долго раздавались их голоса. Летом я никогда не видала Лёриного и Андрюшиного дедушку. В другом одеянии, кроме шубы, мы представить его себе не могли. Этим только я могу объяснить, что в своем гротескном описании открытия Музея Марина в жаркий последний день мая старого стиля описала его — в шубе. И — кстати о шубах. Я ходила в переделанной мне из приданого его дочери Варвары Дмитриевны синей шубке. Подкладка была темно-коричневого, старинного шелка, и по нему, как звезды в небе, множество пуговок того же коричневого цвета. Под ними, между синим верхом и подкладкой, был лисий мех. Видимо, он лез, и его обезвредили этим шелком. Я, равнодушная к внешней нарядности, не интересовалась этими переделками, — тепла, уютна — и всё... Но любила спросить: «Угадайте, чей это мех?» (подымая уголок подкладки). «Белка? Волк? Кенгуру? Лиса?» — отгадывали спрошенные. «Нет, — торжествуя, говорила я, — все равно не угадаете! Это мех *историка* Иловайского!..»

Было воскресенье. Я ждала к себе Аню. Волновалась. Мы поздно условились по телефону о ее приходе, и у меня не было хорошего угощенья: были нелюбимые яблоки, крымские, и немного орехов, печенье. Надо было что-то интимно-приятное и «привычное»; у Ани всегда было изысканное угощение, дорогие лакомства! Но уже не было времени, и денег было немного. Я позвонила дворнику. Не идет. На три звонка всегда шел. Не идет! И тогда схватила шубу, шапочку и пустилась бежать Палашевским переулком. Лоток, золотые шары апельсинов, мое спасенье! Беру десяток, спешу назад — с плеч гора! Все будет нарядно, прилично. Мбю их, успеваю уложить в хрустальную вазу. И Аня при-

шла, все было чудесно, но за столом горько со мной распла- тилась жизнь: в вазе оказался один подпорченный апельсин, именно его взяла Аня — с гримаской отбросила: «Гнилой...» Как я вспыхнула и страдала (долго еще потом)!..

Между мной и Аней возник спор: Аня утверждала, что французское слово «гергоче»\* — мужского рода! Я запаль- чиво (даже чуть насмешливо!) — да конечно же женского! Как может «гергоче» быть мужского! Я была совершенно уверена в своей правоте. Меня тайно и мучительно возму- щало упорство Ани, настаивавшей, что — мужского. Как она может? Ведь она же знает французский и немецкий, как я! И зачем только начался этот спор? Падало что-то в душе, ма- лодушно. Ему дерзко отвечала неумолимая справедливость: что ж, пусть! Ведь «гергоче»-то женского рода! И этот хо- лодный вдруг Анин глазок, и веселый, и яркий...

Ох! И рухнуло же что-то! Лавина! У Ани словарь в руке! Она доказала свою правоту и мою ошибку: «гергоче» не женского рода, мужского! Я стояла ошалеv, и все плыло во- круг меня... Что же это? Значит, я начинаю забывать языки? И какой позор мне...

Все рухнуло. Аня встала против меня, стала — враг! Я по- няла это минуту спустя после того, что кинулась, опираясь на часть класса, в бой, ответно, против нее! Жгучий стыд та- кого ее и моего предательства нашей дружбы. Но уже было нельзя отступить. Аня и я знали: нас разведет жизнь. Но слу- чай все-таки подошел внезапно. Что с Аней, что она чувст- вует — теперь, когда мы врозь? Между мной и Аней — стена. Непонимание — после такой дружбы — наполнило меня горе- чью. Но уступить ей было еще невозможней, чем проститься с ней (проститься с собой! Этого я не умела). А лишиться Ани и ходить в класс было так тошно, тоскливо... Стать ей, активно, врагом? Видеть ее врагом себе? (Если б стала...) Лучше — не видеть совсем!

Расстроенная, не в силах разобраться в случившемся, я не нашла другого выхода, как попросить папу позволить мне продолжать учение дома, весной — сдать. Властвовать над частью класса, в ссоре с Аней, царившей над другой его час- тью? «Властвовать», потеряв ее?

\* Упрек (*фр.*).

Папа согласился. Что сдать — знал. Подумал, что, может быть, нездоровье, наследственность в маму... Оберегая меня. Впрочем, и из гимназии шло недовольство моим поведением. Благодарная папе за его согласие, я ушла из гимназии.

Я ушла зализать рану в своей берлоге. Берлога была пуста. Стала сном милая гимназия Потоцкой, где я была так счастлива. Сном стала зала, библиотечный шкаф и маленькая, худенькая Мария Ивановна, выдававшая нам книги; уроки алгебры толстого Бема, французские — Варвары Васильевны Потоцкой... Двор, где вприпрыжку с Галей, обе в беретах... Незабвенная Елена Николаевна, чудные субботние вечерние чтения — все стало сном... «Жизнь пойдет полосами, увидите...» (слова мамы).

Марина все поняла, конечно, — и утешала. Но ни я, ни Аня — ни одна не сделала шага — начать дружбу снова. Не нашли слов? А затем жизнь разъединила нас, и я тосковала по Ане (а Аня — по мне?) всегда. Годы здесь ничто не поделали.

Под руку, носы в меховые воротники, — мы идем по Тверской, как и все, возбужденные близостью елки. В замерзших окнах, в оттаявших местах, — как в детстве, ангелы с золотыми трубами, Дед Мороз, елочные украшения, гирлянды серебряных и золотых дождей, голубых, зеленых, малиновых шаров. На прилавках — золотая бумага. Покупаем — будем клеить цепи. «А помнишь?» — только еще сказала Марина, а я уже в один голос с ней — Лозанна, магазин, «Mask», письма маме, «Joyeux Noël!»\*!

Вздых. И, жадно гася тоску, топча ее, чтобы не задушила, погружаемся в выбор покупок: подарков себе и друг другу, делая вид, что всё себе, играя в счастье обладанья вещью, чтоб та *поверила*, что — не ей, скромно, ответно, опущенные глаза — кто кого переиграет? Не для себя же играешь, не в свою гордость. Для *нее*, чтоб она поверила, что ты не догадаешься...

Всё как в детстве. Цветные палочки сургучей, коробки почтовой бумаги с серебринкой по краю, с двумя колокольчиками у левого уголка, золотыми или с одной лиловой фиалкой — Маринины французские, наполеоновские (и они же

\* «Радостного Рождества!» (*фр.*)

в одеколоновых флаконах в аптекарских магазинах). Костяные разрезательные ножи всех размеров и видов, чернильницы, бьюары, толстые кожаные книжки в одну линейку, для дневников — весь волшебный аксессуар нашей жизни. Увешанные пакетами (долго копили деньги!) идем вниз по Тверской, мимо Елисеева и Филиппова, мы сейчас свернем к Столешникову, туда, к магазинам Аванцо и Дациаро. Там бывают гравюры, Марина будет искать что-нибудь о Первой империи и рамку для портрета Жозефины.

Огромные цветные шары фонарей, розовых и голубоватых, делают улицы сказочными. Пожимаясь от мороза, радостно входим в гостеприимные хоромы «Художественного» магазина, где у длинных витрин любители и знатоки рассматривают и выбирают большие репродукции с картинных галерей Европы. Я бросаюсь в россыпь своего нового увлечения: серия открыток с картин Баллестриери (кто еще теперь помнит их? целая эпоха в жизни таких и постарше девочек). Их двое — везде, эти вечные он и она, от их «вместе» куда-то падает сердце.

Молодая, светлоглазая, пышноволосяя, профиль тонкий и чистый. Она играет на рояле, он слушает, сидя на диване, обняв колени руками, опустив на грудь темную голову, бледное лицо, борода... Он весь темный, а она вся — свет, и то, что связало их, — молчаливо, и оба перед этим бессильны, и как они кажутся прекрасны — у окна, высоко над туманящимся внизу городом, в глубине комнаты, в музыке, в раздумье, в сумерках, слушающие себя и друг друга. Балкон высоко над гулом и мглой города. «Поцелуй». Как же я смотрю на них? Они же, должно быть, вдвоем! Мне страшно. Как ей. Марина зовет меня. Она отобрала, что ей нужно.

— А ты?

— Я? Нет, я...

— Идем?

На посиневшей улице мороз крепче.

— Магия вечера! — говорит Марина. — Пойдем выбирать в тот магазин пейзажи? Или завтра?

— Завтра.

— Замерзла?

Я поднимаю глаза. Профиль Марины — как резцом на гравюре: горбинка носа, что-то с той картины, где в пол-обо-

рота молодой Бонапарт на фоне знамени. Я сразу забываю о Баллестриери, потому что в такт шагу раздаётся упоенно-мечтательное, торжественно-упоенное: «Je voudrais que mes cendres reposent aux bords de la Seine, — пафос наполеоновских слов почти перехватывает голос Марины, — au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé»\*.

Валенки глушат наш — он чеканен, в такт стихам — шаг.

— К Севостьянову не пойдем сейчас, Марина? Завтра возьмем на книжку (конфет).

И когда же, как в этом «завтра», Марина без меня пошла и купила всю серию Баллестриери? Положила мне под подушку! Я стала ложиться и... (как она поняла? я же ничего не сказала). О, Марина! Мы сдержанно сияем обе! («Сдержанный человек, — сказала годы спустя Марина, — это значит: есть что сдерживать».)

Наступали рождественские дни. Холод в нижних комнатах резко подчеркивал тепло нашего верха. Окна в зале, гостиной и кабинете обрастали изнутри льдом и опушкой снега. Красота сталактитовых пальм, тянущих ветви по снежным россыпям мельчайших алмазных искр, хватала за сердце, не оторвешь глаз!

Папа ходил в валенках и теплом халате. Где был теперь мамин меховой мешок, куда она в холода ставила ноги, сидя перед своим письменным столом у лампы с зеленым фарфоровым абажуром? Вот бы папе... Но искать что-нибудь в нашем доме, где мало людей и много вещей, было напрасно. Выходя на улицу, мы тоже надевали валенки, то «чесанки», черные, тонкие, купленные нам папой, с калошами, то толстые — для снегов, годные и для Тарусы. (Иногда нам их подшивали, и мы особенно их любили — как старых друзей.) Я вспоминала то детское чувство приятности, когда сапожник приносил починенные башмаки, с заплатами, начищенные и подтянутые, — как я любила их надевать! Эти чувства были все те же.

Поверх меховых шапочек — шерстяные платки того цвета, где сливаются серый с коричневым, от него еще нежней ле-

\* «Я бы хотел, чтобы прах мой покоился на берегах Сены... среди этого народа французского, так любимого мной» (*фр.*).

пестки розы на Марининых щеках. Я знаю, как она страдает от них, как она их ненавидит, как она старается мало есть, к папиному огорчению, льет себе в еду уксус... Но каждый бы залюбовался этим румянцем на нежной белой коже, зеленью ее глаз (на морозе она снимает очки) под мехом шапки, серебряным от инея. И всё в инее! Деревья двора Палашевской церкви, которым выходим на Тверскую, везде белые коралловые заросли, сегодня от мороза туман, а небо не синее, а серо-розовое, за ним стоит почти малиновый шар солнца, от холода — без лучей.

Сквозь туман морозных узоров уже виднелись в окнах особняков мохнатые тени елочных лап. Завтра эти елки будут лить на улицу сиянье свечей. У нас тоже извлекались из глубин стенного шкафа (в коридорчике к спальне) вороха коробок с шарами, цепями, дождем, золотыми и серебряными картонажами, от них пахло пылью и детством. Угрюмо-насмешливый, а в сущности добрый и застенчивый, Андрей слетал по лестнице с каким-нибудь замечанием и, унимая примчавшуюся за ним прыжками собаку, дразнил нас маленькими деточками, которым делают елку, задевал по голове меня, «Бэбу», спорил, что мало цепей золотых — «куда задевали?», сгрызал прошлогодний, забытый грецкий орех и уносился наверх, в свое мандолинное одиночество, радуясь, быть может, не менее нас и не меньше, чем в детстве, что — Рождество... Но «держал фасон», с гордостью восемнадцатилетнего, и деловито собирался в Тарусу, куда мы на Рождество никогда не ездили — мороз, неуют пути.

Но зато — как цело упорное счастье мое и Марины, когда, прожив всегда немного стеснительные часы самого воплощения праздника, семейного, мы просыпались наутро, освеженные и умиротворенные сном, заново, как будто в первый раз — а может быть, еще сильнее потому, что в который — вплывая из сна в явь осознания наставшего наконец праздничного утра (после тягот, приготовлений, ожиданий, суеты накануне)... Тишина праздничного утра в доме была достоянием — нашим.

Не вставая (Марина в такие дни приходила спать в мою комнату), окружив себя купленными и перекрестно подаренными сокровищами, ластя о них глаз, мы блаженно проваливались в начало первой выбранной книги, уносясь в другие века.



«Хочешь конфет? — окликает меня Марина. — Я уж не могу больше!» — «Я тоже». — «Вставать будем?» — «Давай, я сейчас дочитаю...»

Дворник нес дрова топить печь.

Медленно водит Марина ручку в маминой желтой музыкальной шкатулке, уже льется водяная россыпь звуковых искорок — точно кто-то нажимает сердце, почти боль, так знакома мелодия, так грозно встают дни, когда она так же струилась из этого волшебного ящичка, мама чудится в нем! Мама, которой *нигде* нет! Я босиком бегу к другой, Андрюшиной, музыкальной шкатулке, ищу жадно, ставлю круг, выбранный, пускаю серый металлический круг кружиться под вертящейся сбоку «бабочкой», исчезающей от быстроты, как исчезают спицы колес. «*Toréador, prends garde à toi...*»\* Кармен сжигает с пути все виды тоски. Мы выброшены из себя, спасены!

С давних пор в нашем доме звучала фамилия папиных друзей Козеко. Жили они где-то на юге, связывала их с папой дружба юности, но мы в Москве их никогда не видели. Упоминал папа иногда об их сыне, хваля его прилежание к наукам и серьезность в поведении и, может быть, тайно сетуя на несходство своего сына с этим образцовым молодым человеком.

Как и когда зародилась в сердце папы мечта породнить с нашей семьей этого примерного юношу? Но, видимо, он долго взлелеивал эту мысль в молчании, пока решил ее изложить вслух. Еще таинственней показался бы каждому папин выбор, он пал на меня. Но уж совсем ускользает из памяти, каких выражениях мне это было сообщено и кем. Сам ли папа, хваля их фруктовый сад в Малороссии, где-то за станцией N, намекнул мне на возможную мою поездку к ним, или Лёра шуточно сказала мне про мечту папы? Только одно не вызвало удивления у нас — что выбор папы миновал старшую из двух, Марину: всем в доме была введена ее ненависть к гостям еще на руках у гневливой кормилицы-цыганки — я же в детстве была общительна.

Надо мной подшучивали, я отмахивалась, как девчонка, но по-взрослому жалела папу за то, что его мечта останется меч-

\* «Тореадор, берегись...» (*фр.*) — *Примеч. ред.*

той: ведь мы с Мариной никогда замуж не выйдем. (Да еще — чтобы *за нас* выбрали?!) Но я уж совсем не помню, как меня позвали в гостиную, как папа познакомил меня с приехавшим в Москву сыном своего друга юности, молодым Козеко, как позже ушел в кабинет.

Но я с отчетливостью вспоминаю себя в кресле, а моего «жениха» — напротив меня на диване, и нашу беседу, чинную и довольно непринужденную, долгую — лучи солнца с трельяжа с цветами перешли на темный диван, бросив на него малиновые косые полосы, озолотив тусклую бронзу лампы. И когда они коснулись папиного избранника, у него оказалось приятное, даже милое, художавое лицо, расцветавшее в приветливой улыбке. А над ним своими солнцем и тенью цвел, заманчивыми красками дали и старины, Шильонский замок маминой кисти, и — в ширь стены, вправо — любимый наш с детства, мамин волк в профиль, один на лунном холме, высоко над деревней, выше всего в самой большой раме — мамин лес, воздушные весенние ветви, тающие о беспредельную даль, дорога, уводящая взгляд...

Нам несли чай. Молодого Козеко звали Николай Николаевич, и был он, вероятно, студент. Почему решил папа познакомить меня с ним так рано? Мне было четырнадцать с половиной лет. Помнил ли Наташу Ростову?

## Глава 4

### ТРАВЛЯ ПАПЫ МИНИСТРОМ ШВАРЦЕМ.

#### ЕГИПЕТСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ГОЛЕНИЩЕВА. УХОД ДРАКОННЫ ИЗ СЕМЬИ. ПЬЕСА УАЙЛЬДА. О ТЕАТРЕ

В январе 1909 года в Румянцевском музее обнаружилась покража гравюрных листов — из отделения искусств.

В одном из антикварных магазинов Москвы один из великих князей — знаток гравюр, которые искал для своей коллекции, рассмотрел неунитожженные признаки принадлежности гравюр Румянцевскому музею. Энергичные меры, предпринятые папой для выяснения дела, выявили, что следы ведут к некоему Кознову. Знакомый Шурова, хранителя музея, Кознов сумел вынести из особого зала для чтения, куда пускали лишь доверенных читателей, ценные гравюры — и продать их!

Несмотря на то что папа добился возврата почти трех четвертей похищенного, поднялась травля.

За созывом экстренного Совета музеев последовало донесение министру просвещения и систематическое осведомление его о ходе расследования. Министром был Александр Николаевич Шварц. И папа, и он были студентами в одно и то же время, но папа жил скромной жизнью бедного студента-труженика, а Шварц был человеком совсем иного типа. Денег и у него было мало, ему их «не хватало», и он согласился на предложение товарищей — собрать денег по подписному листу — ему в помощь. Папа об этом знал и Шварцу в устройстве этого дела помог. Теперь Шварц забыть этого — на министерском посту — не мог, как человек малодушный и подлый. Не имея никаких научных заслуг, он карьеру свою сделал с помощью светских связей. Он принялся за дело преследования папы — со рвением. Назначил ревизию, поручив ее князю Чегодаеву, человеку в делах науки и искусства малограмотному. Какой только лжи не писали в газетах! Травля разрасталась. Директора обвинили в небрежности, нерадении, писали даже, что он не бывает в директорском кабинете! Папа вел себя с достоинством и мужеством, но тяжело переживал клевету.

Все время, в течение которого продолжалась безобразная ревизия, на каждом шагу полная несправедливых обвинений, папа приходил домой еще позднее обычного обессиленным и с горечью рассказывал нам о новых огорчениях и о своих попытках вынужденной самозащиты.

Такое говорилось о человеке, отдавшем столько лет, сил и энергии Румянцевскому музею, — энергии, благодаря которой Румянцевский музей обогатился ценнейшей солдатенковской коллекцией; о человеке, который впервые в Музее ввел порядок — директору являться на службу с часа его открытия наравне с низшими служащими. Не было грязи, которую бы не лили теперь на него, и в его травле принимал первейшее участие министр народного просвещения!

Помню взволнованные приезды дяди Мити, его негодование, их беседы с папой. Друзья папины — профессора Яковлев, Грушка, Романов и многие другие, навещали нас, выражая свое сочувствие.

Помню приходы Дмитрия Ивановича Иловайского, его советы папе. Ему в то время было уже за восемьдесят лет.

В ответ на безграмотную и ложную ревизию папа, не щадя ночей, написал пространный ответ — опровержение, где ясно доказал неправоту возводимых на него обвинений.

По окончании ревизии министр Шварц прислал папе недопустимого тона приказ, где предписывал в трехдневный срок подать в отставку.

Помню, как папа, взойдя к нам наверх, сообщил это. Мы старались как могли утешить его, хоть беспомощным, но ласковым словом его поддержать.

Скромный профессор приказу министра не подчинился, в отставку не подал и разослал в соответствующие инстанции (из них помню — Сенат) свой ответ на клевету...

В то самое время, как папа мужественно нес на своих плечах все новые и новые оскорбления поверившей клевете прессы, он, встречаясь с нами за завтраком и обедом, рассказывал нам о возможном — в верхах — решении передать египетскую коллекцию В.С.Голенищева — свыше шести тысяч предметов-оригиналов — московскому Музею изящных искусств, а не Петербургу. Он рассказывал об этих униках, описывая их любовно, волнуясь о том, как они, более двухсот ящиков, будут доставлены, и тревожась об упаковке. Как волновался папа о том, что ввиду не готовых еще к приему такой драгоценности запасных зал, из-за недостаточного штата охраны — Музею откажут, как он старался преодолеть эти помехи, как бился над ускорением работ!

В те зимние дни папа за столом говорил и о том, как удалось ему убедить некоторых высоких лиц, от которых это зависело, приобрести египетскую коллекцию в государственную собственность. О том, как Америка предлагала за нее Голенищеву полмиллиона и как не удалось такую цену испросить у правительства — а лишь 350 тысяч. Как, разоренный легкомысленными наследниками, Голенищев согласился потерять 150 тысяч ради того, чтобы любимая его коллекция осталась на родине.

От кого мы услышали? Лидия Александровна узнала, что муж ее много лет, чуть ли не с самой юности, был в связи

с ее матерью (выдавшей за него дочь, только что кончившую институт).

Теперь я представлю себе миг, когда она это узнала: остановилась посреди комнаты — может, в дверях. Смерила взглядом «этого самого мужа». Гнев? Нет. До него снизойти не могла. Удивилась? Собственно, удивительно было бы, если бы ничего такого не произошло. Постояла. Неуловимый миг. Сомкнутые полные губы чуть двинулись, как у обиженной девочки? Даже и того — нет. Скорее, искали слов, достаточно юмористически убедительных.

Только чуть углубилось выражение приглядывающегося недоумения: вот это — мой муж? Перевела взгляд на мать. Поцеловала и отослала сына. И пошла складывать инструменты. «Мама! Я, — без выражения, — уезжаю». И все.

Косым, чуть схожим с маминим, но беспорядочным, с непрямыми строками, почерком Драконны пришла в Трехпрудный открытка: странные слова!

...Я переехала... приходите ко мне... мой адрес...

Мы молча глядели друг на друга.

Тревожно ждем час, когда можно ехать. Где была Марина? Я помню себя одну, входящую в далекий дом, в шестой этаж к Лидии Александровне. Как во сне. Ее кабинет — в чужой комнате. Мы стояли у окна, высоко над Москвой, полной игры и огней. Зимняя заря угасала. От города шел гул, и неслись по нему редкие гудки с какого-то далекого вокзала. Почему не было с нами Марины?

— У меня был Эллис, — сказала Лидия Александровна своим медленным, с запинкой, голосом, — читал стихи. Но вообще... я сказала ему, чтобы он больше не приходил... Эти — все поэты, мой друг, они... — И вдруг что-то, словно льдины в половодье, сместилось в ее лице, брови поднялись треугольником с вопросительным юмором. Непередаваемый, испытующий взгляд — она рассмеялась, и в двойном смехе тридцатилетняя и четырнадцатилетняя — счастливо, беспечно, насмешливо и восхищенно — доверчиво уселись на синий диван.

— Я вам сейчас дам чаю... — с неожиданной серьезностью сказала Драконна. — С такими замечательными помадками...

Ах, какие помадки!.. Лев Львович перевел стихами «Сад великана». Пьесу будут играть дети в доме у Щукина — у которого картинная галерея. И он хочет, чтобы вы, Ася, тоже играли там роль одного из цветков. Ах, это будет чудно! — говорила Драконна. — Вам папа велит сшить такой замечательный, — с начинающимся уже сомнением, — наряд? цветка? такой — из лепестков! — Вдруг, на миг, умиляясь: — И вы сами будете — как лепесток! и будете декламировать стихи Эллиса! То есть Уайльда! — И, только достигнув апогея умиления, из него — в недоверие: — И потом эти самые дети будут танцевать! Это, наверное, будет замечательно? Что? Ася, не хотите играть роль цветка? Ну, это, я вам скажу!.. Берите вот эту помадку, розовую!

Эллис пришел дать мне учить роль Красного мака, это было очень легко, но с костюмом мака как-то не получалось, и я стеснялась, и не очень хотелось, и было неловко говорить о шитье наряда папе, и я боялась, что позовут на репетицию, и я медлила, и как-то вышло, что меня заменили другой девочкой, мне было немного грустно и чего-то стыдно — за жизнь... Я была у Щукина на вечере. Эллис — был окружен детьми, среди высоты зеркал, окон, потолков, блеска паркетов, анфилады комнат. Было много людей, волшебные угощения, тонкие голоса цветов — и моя радость, что я не с ними. Эллис подвел меня к высокой синеглазой даме, это была Мария Ивановна Сизова. Сердце билось — это же «Беатриче Эллиса», Девушка в белом его сказок, я давно уже поклоняюсь ей... (Я по сказкам Эллиса «Девочка в черном, Девочка с оленьими рогами».) В тот год я носила желтый топазовый крестик на темно-синем (почти черном) платье.

Мы ходили вдвоем с Мариной в «магический» час сумерек и первых фонарей через Дмитровку в переулок театра Корша покупать билеты. Почему из нескольких пьес, там виденных, я запомнила «Дети Ванюшина»? Трагедия нестройной семьи, двух поколений, в ином бытовом плане разрешившаяся, чем-то напоминала нескладность и нашей семьи, мало слитой (кроме нас с Мариной) друг с другом. Там было все куда грубей, примитивней, даже с элементом пошлости

в молодежи, нам чужой. Но что-то роднило: «щуки, раки, лебеди» двух семей.

Любили ли мы театр? О, да! Игру актеров? О, нет!

В игре почти каждого была фальшь, срыв в безвкусицу. Иногда было стыдно смотреть и всегда жалко актера. Само дело заключало в себе порок: играть кого-то, играть роль (не себя). И конечно, нравилось, когда что-то тут удавалось актеру! Были тронуты, аплодировали. Но в самом театре была с детства любимая тайна. Глубины партера (сверху — куда Муся, маленькой, кидала апельсиновые шкурки). Висячие Семирамидины сады... Подвешенность балконов, амфитеатров (элемент римского цирка!). Гаснущие люстры и бра — фееричность театра, встречавшего нас как соучастников (что бы там в нем ни шло!). Пьеса всегда была в придачу к театру, к самому факту его существования, сам же театр — это всегда все та же «Спящая красавица», которая спит, сто лет, все никак не может проснуться! В своем зелено-лиственном темном паутином лесу. Тот же принц, не могущий найти — все ищет! Красавицу! (А когда нашел — занавес, и всем сразу пора домой.)

Выходя и входя — «и зачем только вышли из дому»! Этот вечный шепоток сердца! Сон — не доснился! Там-то ведь нет этой последнеактовой лжи, что принц принцессу нашел! «Свадьба». Свадьба, поглощавшая всю сказку, вместе с театром и занавесом, тьмой, трепетом люстр, как Великан глотает корабль. Точно и не было ничего — одна свадьба! И плетешься на свой вековечный, верный чердак, в свое несвадебное, яростной мечты одиночество!

Наше же двойное одиночество было еще волшебней, еще странней.

## Глава 5

### МАРИНА. ДРАКА. РАЗДУМЬЯ. С ЛЁРОЙ НА СУХАРЕВКЕ. ВСТРЕЧА С ВАЛЕРИЕМ БРЮСОВЫМ И СТИХИ ЕМУ МАРИНЫ

Ни для кого, кроме родных, так не грянула весть о смерти в Москве Анны Ивановны Изачик, тарусской жительницы, как для Марины. Она затосковала по умершей, еще не ста-

рой, не знакомой ей женщине, — с Марине одной свойственной силой. Эта боль пала на нее как недуг. Как раненая, металась она по равнодушному к ее горю дню. Все отошло, все стало только помехой. Так не было с Мариной давно — с дней смерти Нади и Сережи Иловайских. Отсутствующими глазами смотрела она кругом, еще больше уединялась, еще круче сторонилась всех. Но если б задел ее тут кто-нибудь вопросом, насмешливым словом — если б посмел Андрей, — Марина бы кинулась всей собой в драку, мертвой хваткой, без слов, в молчаливой ярости молотила бы ненавистного врага...

Взрывы гнева — это была стихия Маринина. Другая стихия — застенчивость. Мученье стесняться было почти не под силу: войти в чью-то гостиную, где люди, в паутину перекрестных взглядов, под беспощадно-светлым блеском электрических ламп, меж ненавистных шелков кресел, столов под бархатной скатертью, — было почти сверх сил. Окаменев, готовая себя разорвать за то, что *снова* покраснела до корней волос, она шла как на казнь — с недвижимым — ни один мускул! — лицом, опустив глаза, почти прекрасная в эти минуты! А на нее, наблюдая, глядели. Ох, если бы она подымала глаза! В них было бы что-то от взгляда древней Медузы. Белая раскаленность презренья! Замученность. Стать! Моя дорогая Марина...

Шла весна, голубые, длинные вечера. Почтальон принес письмо. Почерк Эллиса.

АСЕ

...Боже, как трепетно — бледен апрель!  
Ландыши — словно из мертвого воска...  
Если вдали засмеется свирель —  
Нет ей нигде отголоска!

Где же весенних небес бирюза,  
Где же лазурное кружево, тучки?  
Ты опустила задумчиво ручки  
И исподлобья мне смотришь в глаза.



...Что же сказать мне о бледном апреле?  
Сам я потушился, горько молчу...  
Словно мы оба из воска, но — чу,  
Трели свирели чуть слышно запели.

Сердце гулко стучало. Я понесла стихи Марине. Как долго я этот листок берегла! Я писала о стихах, я писала долго, на очень маленьких листках, почти блокнотных. Их, страничек, набиралось около тридцати, когда брат Андрей забежал ко мне и, дурачась, задел меня сперва по голове: «Бэба пишет! Письмо! Кому? Говори, кому? Эллису? Не мое дело? То есть как не мое? Я — кто? Я — брат! Я один, а вас — вами мостовую мости! А, не скажешь?» Убегая, собака за ним, он дернул листки, — ах! вся пачечка, уж вкладывала в конверт, — надорвалась сантиметра на три!

В отчаянии, не помня себя, схватив из стоявшей на столе вазочки — сколько уместилось в пальцах — охапку стеклянных литых разноцветных яичек, я ее кинула ему вслед. Что-то достигло его — как камень! Вцепясь в волосы друг другу, мы летели, крича, с лестницы, прямо под ноги входившему, в шубе, с черного хода папе. Он еще не успел понять — еще дверь за ним выводила жалобную свою ноту, — как мы уже унеслись вверх; и мгновенная тишь у каждого из нас за дверями. Это, кажется, была наша последняя драка. Нам было восемнадцать и четырнадцать лет. В ту зиму мы еще дрались втроем — Андрей, Марина и я.

Мне шел пятнадцатый год. Я все чаще вглядывалась в свое отражение в зеркале. Все чаще думала: что будет со мной? Я и радовалась чему-то в себе и еще больше страшилась себя, людей, того, что расту. Быть взрослой среди мира, одной со своими чувствами, мыслями, посреди этих толп, куда-то спешащих, за что-то борющихся, равнодушных к моей тоске — к моим неумениям, сомнениям, застенчивости, к моему одиночеству... Выбрать какой-то путь посреди хаоса жизни, быть непременно кем-то, а не собой — таким холодом веяло на меня от этой будущей, насильственной взрослой жизни. Я словно стояла над пропастью. В окне синело. С вокзала несся гудок — это был гул жизни, которая и меня умчит, как всех... Эта жизнь, вставала, как враг. От нее не спастись. Она придет, сломает мое детство, заставит быть,

как все... Выйти замуж? Самое страшное! Выбрать человека одного, им заменить всех! Одна мысль об этом возмущала нутро. (Уж не трогая физической стороны брака, внушавшей ужас и отвращение, негодование к тем, кто через это прошел...) В этом лабиринте одна мечта освещала мою тоску: ранняя смерть. До всего!

Весной 1909 года мы поехали с Лёрой на Сухаревку. В детстве нашем мама покупала там томики немецких стихов, очищая их затем действием формалиновой лампочки. Лессинг, Гейне, Уланд... Теперь мы ехали «посмотреть». Зрелище огромного базара с лавочками диковинного разнообразия — и над ними сама мать-старина, Сухарева Петровская башня, уступчатая (красная с белым), островерхая. Крики зазывания; вся история Москвы еще жила в этом смешении кусков роскоши и скарба. И вот тут Лёра выбрала мне... прелестное кремовое шелковое платье, легкое как лепесток, всё из оборок, — принцессино платье из сказки!

— Папе, Настаська, не говори, где купили, — рассердится, запретит, скажет, опасность заразы. А мы его дадим в чистку, и будешь, чучело, ты в нем — картинка... — сказала Лёра. — А спросит, скажу — из сундука моей мамы.

И через неделю я «блистала» — кудри, шелковые воланы — и упоенье от новизны быть не девочкой, а мотыльком. Пришедшая в гости Анастасия Дмитриевна Модестова\*, дочь папиного умершего друга, сказала, любуясь, Марине: «Ваша сестра как севрская статуэтка в этом чудесном старинном платье...» Мы незаметно переглянулись. «Да, оно все лежало в сундуках, — ответила Марина, — дождалось Аси!»

Так мое первое шелковое платье в четырнадцать лет пришло в наш старинный дом с древнейшей московской толкучки, окутанное строгой тайной.

А.Д.Модестову Марина и я полюбили, и она — нас. Ее визиты к нам, закреплявшие крепкую дружбу наших отцов, до сих пор в памяти. Тонкая, круглолицая, смуглая, черноглазая, выросшая в Италии (дочь итальянки?) — она была нам привет из Нерви, нашего детства, в весенние московские

\* Марина пишет о ней в рассказе об открытии Музея (о 1912 году) «Лавровый венок».

дни — той весной. Как было легко с ней. Как радостно! И ей было хорошо с нами...

Пахло тополями. «Верб» с «тещинными языками» и калеными орехами, моченые яблоки — всё позади. Скоро Пасха с гиацинтами меж окороков, кулича, пасхи, крашенных яиц.

В один весенний день я ехала на трамвае по Бульварному кольцу, как обычно — с книгой стихов. В этот раз это был сборник Брюсова. Перевертывая страницу, я подняла глаза и увидела, восхищенно, с испугом: напротив меня сидел Валерий Брюсов. Я знала его по портретам и по имитации его Эллисом. Перебарывая сердцебиение, я, будто глядя в книгу, а на деле — наизусть, начала вполголоса (а когда шум трамвая заглушал, то и громче) читать — в воздух — его стихи:

Близ медлительного Нила, там, где озеро Мериды,  
в царстве пламенного Ра,  
Ты давно меня любила, как Озириса Изиды,  
друг, царица и сестра,  
И клонила пирамида тень на наши вечера...

Я продолжала читать вслух.

Брюсов не мог не слышать, не узнать своих стихов. И он не смог скрыть этого. Его лицо стало встревоженным, вспыхивало — он не знал, как повести себя. Я — и жалела его, и забавлялась. Я понимала отлично, как мой вид — девочка в очках с волосами до плеч — полнил его недоумением. Наконец он не выдержал — встал и направился к выходу. Я встала тоже. Я уже проехала свою остановку (Страстную площадь), но ему (я знала, он живет на Цветном бульваре) было рано сходить. Мы молча сходили вместе. Тогда я, от волнения взмахнув своей (длинной, с капюшоном) пелериной, держа на ветру широкополую шляпу, пересекла ему путь: «Кланяйтесь Эллису!» — «От кого?» — он вежливо остановился. «От Аси Цветаевой». Он поклонился, притронулся к шляпе. Кивнув, я уже шла от него. Сердце билось. Зачем я сделала это? Я не знала сама. Я ведь так любила стихи Брюсова! А его — своим непонятным поведением — испугала... Но Марина совсем иначе отнеслась к происшедшему. Она возмутилась не мною, а Брюсовым. Вот стихи об этом Марины «Недоумение»:

Как не стыдно! Ты, такой не робкий,  
Ты, в стихах поющий новолунье,  
И дриад, и глохнущие тропки,  
Испугался маленькой колдуньи!

Испугался глаз ее янтарных,  
Этих детских, слишком алых губок,  
Убоявшись чар ее коварных,  
Не посмел испить шипящий кубок?

Был испуган пламенной отравой  
Светлых глаз, где только искры видно?  
Испугался девочки кудрявой?  
О поэт, тебе да будет стыдно!

Одна строка — про шипящий кубок — мне не понравилась, но возражать Марине было бесполезно, она бы не изменила ее.

## Глава 6 ЭЛЛИС

...Он вылетает к нам, как птица,  
И сам влетает в нашу сеть.  
И сразу хочется кружиться,  
Кричать и петь!

*(М.Цветаева. «Чародей»)*

Он стал чаще бывать у нас. Люди заболевают друг другом. В ту пору Льву Львовичу, должно быть, из всех домов Москвы, где он бывал (у половины Москвы!), больше всего хотелось к нам. Взмах трости, ее ожесточенный стук о тротуар, он летел, как на крыльях.

Шла весна, кончились меховые шапки, и Эллис снова был в своем классическом котелке. Войдя, легким движением руки его надев иначе, вздернул бородку: «Брюсов!»

Брюсов был его кумир. Нежно любил он и Андрея Белого. Любил? Перевоплощался в них, едва назвав. Скрестив на груди руки, взглянет, надменно и жестко, что-то сделает неуловимое с лицом — «Валерий Яковлевич» тех лет, когда он

писал «Желал бы я не быть Валерий Брюсов». На время чтения этой строки Эллис был им, за него — как Наполеон за уснувшего на миг часового. Но начнет рассказывать о «Борисе Николаевиче» — и уже сами собой взлетают в стороны руки, обняв воздух, глаза стали светлы и рассеянны, и уже летит к нам из передней в залу не Эллис — Андрей Белый!

В речи Эллиса часто мелькали слова: «Мусaget», «Весы», «Скорпион». Марина знала о них, где-то порой бывала, читала журналы по искусству. Мне слово «Мусaget», не доходя до сознания, было чем-то вроде детского гауфовского «Кармильхан», магическим словом Эллиса. Персонажем его из сказок — вроде «Канатного плясуна».

Еще более, чем Валерия Брюсова, Эллис любил Шарля Бодлера. Это вообще была пора увлечения книгой Бодлера «Les Fleurs du mal» («Цветы зла»). Из них я помню стихи «Charogne» («Падаль»). Эллис читал их вне себя от мрачного восторга. Его природное «р» (грассирующее), добавляло своеобразного очарования его чтению стихов. В этом страшном стихотворении его неизбежное грассирование звучало как трагическая клоунада:

Ainsi serez vous oh la reine des Grâces  
Après les derniers sacrements...\* —

говорит, стоя над падалью, поэт, обращаясь мыслью к Возлюбленной.

Рассказ шел за рассказом, перерастая во что-то иное, и вечер перерастал в ночь. В нашей детской зацвело факирье злое растение. Мы не отрывали от Эллиса глаз. «А вдруг сейчас, — сказал он, легко, неслышно вскочив, и — рукой к двери: — эта дверь откроется с обратной стороны?» Он показывал не на зеленый граненый стеклянный шар дверной ручки — на петли, на которых висела дверь...

Мы удержали крик. Но он был совсем близко. За плечом. Не отступал...

— Кто мне поручится, если я сейчас брошу тарелку, что она не полетит вверх? — искаженное лицо Эллиса пылало тем гневом и страхом, с которым бросают Творцу — обвинение.

\* «Такая будете Вы, о королева Граций,  
После последних (смертных) таинств...»

Но и это не утоляло: Эллис вдруг рухнул, скорчившись, на колени и, работая ими, быстро-быстро пошел калекой по комнате, извратив гримасой страдания лицо, подняв его к нам на вывернутой шее, неузнаваемо!

Он что-то мычал?

Тогда страх, за плечом нашим стоявший, — не выдержал. Тоже рухнул! Не на детский наш линолеум, на нас! Марина, вскочив, кинулась мне вслед, потому что я крикнула не своим голосом и мимо калеки, от него, схватив шар зеленой стеклянной ручки, обожженная ее холодком, вдруг проявившимся, распахнув дверь, неслась прочь, проходной комнатой, мимо шкафчика с безделушками. В ночной дом. Эллис — опомнился. Меня удержали. Мы вернулись в бывшую детскую. Калека исчез. Три сердца бились как в скачке. И это уже раз было: годы назад в Нерви, с Володей Миллером, — нищий-калека мычал и лез через порог в дверь. И мы с криком (страх превзошел стыд) бросились от него, толкая друг друга, — Муся, я, Володя... Удивительно, что в коротенькой части жизни мы такое испытали — дважды!

Маринин творческий дар Эллис чтит, слушал ее стихи, восхищался. Хвалил ее перевод «L'Aiglon». С первого дня учуял и ее нрав, ни с чем не мирящийся. Меня нежно порицал: за чрезмерное поклоненье уму — «Так нельзя... Надо и это преодолеть. Все принести в жертву!»

В письме Эллиса ко мне были такие строки: «Вы умны, как три самых умных сорокапятилетних мужчины. В этом горе и трагизм всей вашей будущей жизни...» Тридцатидвухлетний человек писал это четырнадцатилетней девочке. Теперь это мне звучит. Но так как лет-то мне все-таки было всего четырнадцать — я написала Эллису горько-возмущенный ответ с такими сентенциями: «Сорокапятилетний мужчина, в расстегнутом жилете! Это самое пошлое, что есть на свете. И вы мне пишете, что я...» — что вызвало не меньшее, чем мое, удивление в Эллисе. Он попытался мне пояснить, что «сорокапятилетний мужчина — синоним зрелости, расцвета способностей и ума». Тщетно. Я стояла на своем.

В руках — конверт со знакомым почерком. Разрываю край.  
Листок дрожит. Сонет.

АСЕ

...Я мотыльком тебя, дитя, не назову,  
Он — беззаботен, ты ж полна тревогой,  
Полна к мечте насмешливостью строгой,  
И сны свои ты видишь наяву.  
Стыдишься ты склонить, молясь, главу,  
Едва достигнув юности порога...  
И для тебя призыв далекий рога —  
Все, все, над чем я плачу, чем живу!  
Но знаю я: нездешним светлым чарам  
Покорная, ты с неба снизошла,  
Изваяна магическим ударом  
Моей души, познавшей прелесть зла,  
Когда, раскинув черных два крыла,  
Она зажглась впервые адским жаром.

Длинные, прямо-кривые, разбросанные, обрывками,  
буквы: Эллис.

## Глава 7

В ГИМНАЗИИ ПОТОЦКОЙ. ВСТРЕЧА С АЛЕСОМ  
ЗАКРЖЕВСКИМ. СЕРГЕЙ СОЛОВЬЕВ. ПАРИ МАРИНЫ  
С АНАТОЛИЕМ ВИНОГРАДОВЫМ. ОТЪЕЗД ПАПЫ  
НА ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС АРХЕОЛОГОВ.  
СТИХИ МАРИНЫ. ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР

Гимназия, куда я с третьего класса вступила, была первой моей русской школой. Мне не с чем было ее сравнить. Как я жалею теперь, что по молодости не отдавала себе ясного отчета о том месте, какое занимала либеральная гимназия Потоцкой среди московских средних учебных заведений, и не осознала всех ее особенностей для моего будущего. Из класса в класс экзаменов у нас не было, отметок не ставили — чтобы не ради них, а ради знания учи-

лись учащиеся, отметки об успеваемости учителя делали у себя. На все эти нововведения начальство косилось, и выпускные экзамены в нашей гимназии происходили в присутствии представителей учебного округа, которые к выпускницам — придирались. В гимназии Потоцкой была широко развита самодеятельность — каждый класс в содружестве с учителями устраивал вечера: один класс — вечер Древней Греции, другой — вечер Средневековья, третий — из эпохи Древнего Египта; пьесы для этих вечеров писали учителя, ученицы разыгрывали их. Ставились отрывки из Фонвизина, сцены из «Горя от ума». Но, может быть, не только на выпускных экзаменах проявлялся недоброжелательный интерес свыше к оппозиционным настроениям нашей гимназии. Слишком резко порядки ее и обычаи отличались от другого, правительственного типа гимназий.

И вот в гимназии Потоцкой случилось неслыханное: об одном из преподавателей старших классов пронесся слух, что он «шпик» (может быть, даже провокатор). По гимназии шли толки. Имя было громкое, известное в Москве. Помню его — худенького, бесцветного, спускающегося по лестнице Ане и мне навстречу. «Знает? — думалось мне в то время, как мы взбегали через ступеньку (широкие, каменные, вверху поворачивающиеся плавно — в торжественном старинном доме Самариной. — Знает, что мы знаем?»

Навстречу нам шла шестиклассница Надя Крандиевская\*, известная в гимназии своими талантливыми скульптурами. Она недавно вылепила Брандта, героя ибсеновской пьесы, шедшей в Художественном театре. Полная, розовая, русая, с пристальными синими глазами. «Шестидесятница?!» — с улыбкой сказала она мне мою прошлогоднюю кличку и тем отвлекла меня от мыслей. Подтвердился ли слух? Ни развития, ни развязки этого я не помню.

Я схватилась за Маринину руку. Марина, увидев, что я краснею, обвела кругом взглядом: нам навстречу шел бледный, русый, в черном берете, светлые глаза смотрят вдаль, черная пелерина висит с узких плеч как средневековый плащ —

\* Будущий крупный советский скульптор Н.Крандиевская.



Алес! Он идет медленно, все в той же задумчивости, он проходит, отсутствуя. Узнал! Тень улыбки трогает его губы под полоской маленьких светлых усов. Руку — к берету... Прошел. Сжав мою руку, Марина: «Ты ему поклонилась? Он прелестно поглядел на тебя...»

Знаю этот Маринин тон! Любование мной, и радость, и грусть. И хоть я еле иду от волнения, я остро понимаю, что эти слова — чтобы мне усладить встречу! У нее та же душа, только старше. Я нежно ценю ее сдержанную ласку.

— Видала его? Он понравился тебе? — я.

— Очень, — Марина.

И вот, без уговора, молча, стали мы каждый день ходить — в тот же час по тому же пути, чтобы мне, может быть, еще встретить Алеса. Дни шли, и мы не встречали его. Но это были весенние вечера (каждый из них все светлей, и все более зеленые ветки), и они все были так пронизаны страстью увидеть Алеса, точно он все время шел нам навстречу. Каждый раз Марина терпеливо и бережно ходила со мной. Иногда мы шли в синематограф, смотрели романтическую картину или что-то смешное, Макса Линдера, выходили, устав, щурясь на свет, шли назад, в Трехпрудный. Но жизнь бывает щедрa, и когда я менее всего ждала его увидеть, приучив себя знать, что его не будет, — Алес снова прошел, прикоснувшись рукой к берету, с узкого плеча польхнул черный плащ. Марина молча сжала мне руку. Как я была счастлива!

И снова, и снова по тому же пути... Но мы уже более его не встретили.

Нередко бывали у Виноградовых. Дружба крепла. Как-то так разделялись, что я — с Толей, Марина — с Ниной.

Толе было более двадцати лет.

Большой, тяжелый, с русой бородкой, ледяными и ласковыми голубыми глазами. Носил необычайно длинные, холеные ногти. Он дружил с Сергеем Михайловичем Соловьевым (племянником Владимира, философа, и Всеволода, романиста, внуком историка Сергея Соловьева). Толя часто упоминал о «Сереже» и о его родовом имени Дедово. Однажды мы его увидали: высокий, полный, темноволосый,

с чуждыми, как у Владимира, глазами. Шутили — всерьез — о его связанности с Элладой, с древностью, упоминали его сказки (напечатанные). Писал он и стихи. Был весьма образован. В нем чувствовалась огромная, еще не початая сила — и счастье, тайное, ее ощущать в себе.

Толя был пронзительно умен, речь его была тонка и изысканна. Его и Нинина мать нас очень хорошо принимала. Но я ее несколько опасалась, не понимая, какая она. В улыбающихся глазах таились горечь и недоверие. Толя был очень почтительный сын, нежный брат.

Когда они к нам приходили, брат Андрей сменял насмешливую угрюмость на любезную шутовливость. Нина поддразнивала его, лукавя синевою глаз, но он не был ее героем. За чайным столом было уютно. Домой они всегда провожали нас.

Марина кончала перевод «L'Aiglon», когда Толя сказал ей, что он уже переведен Щепкиной-Куперник. Марина не поверила. Держали пари. И Толя доказал, что перевод Щепкиной-Куперник есть. Марина очень огорчилась, пожалала плечами... Блистательный перевод ее, которым восхищались и Эллис, и Лидия Александровна, и Толя, которому бы поклонился Ростан, если бы знал русский! И строки (героически-добросовестной — в меру сил своих!) той переводчицы: «Si jeune encore si svelte», переведенное смехотворно-прозаично «Молоденький да тоненький такой». Судьба!

Мысль дать второй перевод, видимо, не приходила Марине в голову или не шла в душу — чьи-то руки и рифмы уже трогали обожаемые роستانовские страницы. Я больше никогда не слыхала о Маринином переводе «L'Aiglon». Где он теперь? Неужели утерян?

Все последнее время папа собирался в Каир на международный археологический конгресс.

Настал день отъезда. Мы провожали папу, неловко толкались рядом с ним на перроне, жалея его за таких нескладных детей, на него непохожих, не умеющих выразить ему то теплое живое чувство к нему, которое жило в нас, бесполезное без проявления и тягостное своею беспомощностью. Что чувствовал Андрей — я, конечно, не знаю. Мы так мало знали друг друга! Говорю о себе и Марине.

Был, как и год назад, выпускной вечер гимназии Потоцкой в Благородном (или Дворянском) собрании\*.

Мы с Галей пошли. В больших торжественных залах музыка, знакомые лица гимназисток, измененные от праздничных причесок и платьев, — в миг переносят меня назад, в утраченный дом Самариной на Петровке.

Ната Крузенштерн в милом платьице, синеглазая Зося Балавинская, разодетая пышно, — обе рады видеть меня, расспрашивают.

Я почти ничего не могу им ответить, так бьется сердце — и от встреч, и от музыки, от всегда сопутствующей в многолюдстве и шуме печали. Хорошо, что Галочка рядом! Она схватывает мою руку, тянет меня — всегда прочь, всегда куда-то вперед. Ее узкое смуглое личико оживлено, от расширенных зрачков глаза — почти черные, китайские ее, пушистые от густых ресниц, глаза. Как кружит вальс по залам танцующие пары! Вот бы сейчас Катю Горбову или ее брата Яшу, и мы бы... Вдруг я перестала чувствовать, слышать, вся перешла в зрение: близко от меня, у края танцующих, в белом полудлинном платье с пожилым человеком вальсирует Эльфочка — Аня. Этого я не могу вынести. Этого свидания — такого, тут... Я хватаю за руку Галю — она не видела Аню, не успела понять, что со мною, и мы спешим прочь, вперед. Я никогда не говорила с Галей об Ане и о гимназии, и она не рассказывала мне ничего.

Был день 14 апреля. Он надолго запомнился. Марина уехала с ночевкой к Нине Виноградовой и вернулась оттуда в неожиданное время (не помню — поздно ли вечером или рано утром). По ее взволнованному лицу шла смена выражений — оскорбленная гордость боролась смущенностью, смущенность — досаду. Она рассказала мне, что произошло: они с Ниной, тайком от Толи, решили попить и выпить вина. Уговорились, что Марина принесет его, Нина спрячет и они запрутся в Ниникиной\*\* комнате.

Нина принесла угощение — но много ли они выпили, или, может быть, потому, что было разное вино, Нине стало плохо. Марине пришлось выйти из комнаты, позвать на по-

\* Теперь здание Дома союзов.

\*\* Марина звала Нину — Ниника.

мощь. И произошел страшный скандал: Толя неистовствовал, кричал, мать тоже была очень взволнована... Бывать у них Марина больше не будет. С ней очень грубил Толя, ее ноги больше не будет там!

Вдруг, ожесточаясь на меня (так ей в тот миг сочувствовавшую):

– Ты, конечно, будешь бывать, ну что ж! Ты всегда остаешься после меня – «на затычку!»

Я, избегая реплики:

– А как Нина?

– Ничего, пришла в себя, – сухо сказала Марина.

В тот день меня больно кольнули слова Марины.

Только теперь я поняла их иначе. Да, именно так, после Марины, ее трагического конца, я, волей судьбы, осталась людям – заткнуть, хоть частично, рассказом о ней – огромную пустоту после нее. Слова ее, тогда брошенные в раздражении, стали провидческой явью.

Виноградовы при встрече со мной были по отношению к Марине сдержанны, тактичны. Может быть, раскаялись, что погорячились? Но Марина – как и в размолвке с Лёрой – уже не вернулась к ним.

Стихи Марины того времени, никто не помнил их, кроме меня:

...Где-то маятник качался, голоса звучали пьяно,  
Преимущество мадеры я доказывал с трудом,  
Вдруг заметил я, как в пляске закружились стаканы,  
Вызывающе сверкая ослепительным стеклом.  
Что вы, дерзкие, кружитесь, ведь настроен я не кротко,  
Я поклонник бога Вакха, я отныне сам не свой,  
А в соседнем зале пели, и покачивалась лодка,  
И смыкались с плеском волны над уставшей головой...

Папа слал нам письма с пути, из Афин, изо всех городов, через которые ехал. Увы, события давних лет уничтожили все, что я хранила.

Чудесные письма! Полные живого глаза на все, ко всему интереса, благожелательности, теплого юмора. Сколько дружеского восхищения трудом человеческим, какое вхож-

дение во все, что кругом! Сколько тонкой, зоркой разносторонней наблюдательности! И какая скромность о себе...

Глава 8  
ЧАРОДЕЙ. ПОЭМА МАРИНЫ ЭЛЛИСУ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ ПАПЫ ИЗ КАИРА

Мы уж начинали ждать скорого возвращения папы. Шли последние дни Андреиной и Мариной гимназии. Эллис все чаще и чаще приходил к нам. Длинные весенние вечера без него теряли смысл. К чему настал и прошел вечер, если он не пришел?

Мы ждали его каждый день, и он приходил. То, что не было папы, что низ дома был теперь, как и верх, весь — наш, создавало в доме особую, к чему-то прислушивающуюся, тревожную и проникновенную свободу. Прежде мы бывали в зале, столовой и наверху, в наших комнатах. Теперь мы шли в кабинет, на папин серый, с турецким рисунком и спинкой, старый диван. Там начинались Эллисовы рассказы. Под маминим портретом — в гробу.

Темнело. Дворник закрывал ставни, и они стучали. Тогда наставала ночь. Эллис сидел между нами, порой вскакивал, представляя что-то, кого-то, и снова возвращался к нам, не прекращая рассказа.

Нет, мы их уже не видели, только помнили их, что здесь!

«Магический треугольник» общения не вмещался во времени. Его жар был жар костра — у которого грелись? — почти сгорали! Каждая наша встреча была такой костер. Несгораемость же наша была всего-навсего способность саламандры жить в огне.

То, что не все (что все — не) сидят на таком диване, было их безумье, не наше! Вечер? Май? Дом, переулок. Мы — в тропиках. Мы едем на носороге. Только днем он притворился — диваном...

Диван колеблется под нами носорожьим движением, подымается медленно, преодолевая тяготение, вес, длительность своего стояния, страх, летящий ветерком в волосах, кидает нас ближе к Эллису — Чародею, увозящему нас. Прижавшись

головой о плечо, ухватясь каждая за его руку — летим, как одно, крепко схватившиеся на уже оторвавшемся от земли носороге. Он — друг. Он уходит домой, в лианы, в жаркие берега, нахолодался в чужой стране с холодными зимами! Он нас любит за то, что позволили, помогли оторваться, подняться, стать кораблем, увидеть вновь... «Пальмы! Видите?» Видим ли! Мы уже нюхаем не наш воздух, пролетаем над горячими реками, над банановой рощей, обезьяна держит в темной руке орех кокосовой пальмы, чудовищные ветви огромных деревьев хотят преградить путь... Нет, прорвемся! Чародею подвластно все в этом царстве! Как чудно веет в лицо ароматный ветер... Быстрее, выше — прорвались! Ветер крутит. В носорожьем скольжении один шаг — взмах руки Чародея — крен так крут, что мы в страхе зажимаем глаза. Но послушный Чародею носорог вновь бежит по воздуху как по твердой земле. Это Нил?

Ночь черна, а звезды совсем синие.

«Звезды видите?» Видим ли мы? Их почти коснешься рукой! Книжки, читанные о тропиках, кораблях, путешествиях, — какая нищета после этой фантазмагии, этих сказок движенья, дыханья!.. Эллис, мы никогда не вернемся, ведь никогда, нет?

#### ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

«Плывите!» — молвила Весна.  
Ушла земля, сверкнула пена,  
Диван-корабль в озерах сна

Помчал нас к сказке Андерсена.  
Какой-то добрый Чародей  
Его из вод направил сонных  
В страну гигантских орхидей,  
Печальных глаз и рощ лимонных.

Мы плыли мимо берегов,  
Где зеленеет Пальма Мира,  
Где из спокойных жемчугов  
Дворцы, а башни из сапфира.

Исчез последний снег зимы,  
Нам цвел душистый снег магнолий...  
Куда летим? Не знали мы!  
Да и к чему? Не все равно ли?

Тянулись гибкие цветы,  
Как зачарованные змеи,  
Из просветленной темноты  
Мигали хитрые пигмеи...

Последний луч давно погас,  
В краях последних тучек тая,  
Мелькнуло облачко — Пегас,  
И рыб воздушных скрылась стая,

И месяц меж стеблей травы  
Мелькнул в воде, как круг эмали...  
Он был так близок, но, увы, —  
Его мы в сети не поймали!

Под пестрым зонтиком чудес,  
Полны мечтаний затаенных,  
Лежали мы, и страх исчез  
Под взором чьих-то глаз зеленых.

Лилось ручьем на берегах  
Вино в хрустальные графины,  
Служили нам на двух ногах  
Киты и грузные дельфины...

Вдруг — звон! Он здесь! Пощады нет!  
То звон часов протяжно-гулок!  
Как, это папин кабинет?  
Диван? Знакомый переулок?

Уж утро брезжит! Боже мой!  
Полу во сне и полубдея,  
По мокрым улицам домой  
Мы провожали Чародея.

...Дня с учеьем, буднями — не бывало! Снова вечер, и мы втроем на сером диване, снова сумерки, хлопают ставни, и затихает дом, всколыхнулась сказка, и вот-вот двинется, всколыхнется носорог..

Поворачивая лицо то к Марине, то ко мне, Эллис говорит о маме, которую знает вдохновенным наитием. О нашем отце, находящемся там, куда мы — почти! — вчера достигли на носороге. О добром, умном, ученом старом отце, о молодой, ушедшей из мира матери. О ее судьбе, ее расставании с нами. О наших тяжких судьбах впереди! Он знает прошлое, видит будущее. Мы слушаем его, замерев.

Но ведь над миром вражеской, смертной печали и тьмы стоит Беатриче? И Эллис усилием поворачивает руль, оживающий носорог вновь двинулся под нами, и мы уже плывем, догоняем папу, воздух горяч, чист, то — Нил, его священные тростники... Началось наше второе путешествие!

#### ВТОРОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Нет возврата. Уж поздно теперь.  
Хоть и страшно, хоть грозный и темный ты,  
Отвори нам желанную дверь,  
Покажи нам заветные комнаты.

Красен факел у негра в руках,  
Реки света струятся зигзагами...  
Клеопатра ли там в жемчугах?  
Лорелея ли с рейнскими сагами?..

Через несколько лет Марина написала о той весне нашей поэму «Чародей», которую посвятила мне. Вот отрывки из нее:

...Он вылетает к нам, как птица,  
И сам влетает в нашу сеть.  
И сразу хочется кружиться,  
Кричать и петь.

Прыжками через три ступени  
Взбегаем лесенкой крутой



В наш мезонин — всегда весенний  
И золотой,

Где невозможный беспорядок —  
Где точно разразился гром  
Над этим ворохом тетрадок  
Еще с пером,

Над этим полчищем шарманок,  
Картонных кукол и зверей,  
Полуобгрызенных баранок,  
Календарей,

Неописуемых коробок,  
С вещами не на всякий вкус,  
Пустых флакончиков без пробок,  
Стеклянных бус,

Чьи ослепительные гроздья —  
Clinquantes, éclatantes grappes\*, —  
Звеня опутывают гвозди  
Для наших шляп.

Два скакуна в огне и мыле —  
Вот мы! Лови, когда не лень!  
Мы говорим о том, как жили  
Вчерашний день.

О том, как бегали по зале  
Сегодня ночью при луне,  
И что и как ему сказали  
Потом во сне.

И как — и мы уже в экстазе! —  
За наш непокоримый дух  
Начальство наших двух гимназий  
Нас гонит двух,

\* Звенящие, лопающиеся гроздья (фр.). — Примеч. ред.

Как никогда не выйдем замуж,  
Так и останемся втроем!  
О, никогда не выйдем замуж,  
Скорей умрем!

Нас — нам казалось — насмерть раня  
Кинжалами зеленых глаз,  
Змеей взвиваясь на диване!..  
О, сколько раз

С шипеньем раздраженной кобры  
Он клял вселенную и нас —  
И снова становился добрый...  
Почти на час.

Священнодействия — девизы —  
Витийства — о король плутов!  
Но нам уже доносят снизу,  
Что чай готов.

Среди пятипудовых теток  
Он с виду весит ровно пуд;  
Так легок, резок, строен, четок,  
Так страшно худ.

Да нет, — он ничего не весит!  
Он ангельски — бесплотно — юн!  
Его лицо, как юный месяц  
Средь полных лун.

Упершись в руку подбородком,  
О том, как вечера тихи,  
Читает он. Как можно теткам  
Читать стихи?!

О, как он мил, и как сначала  
Преувеличенно учтив!  
Как, улыбаясь, прячет жало  
И как, скрестив

Свои магические руки,  
Умеет — берегись, сосед! —  
Любезно предаваться скуке  
Пустых бесед!

Но вдруг — безудержно и сразу! —  
Он вспыхивает мятежом,  
За безобиднейшую фразу  
Грозя ножом.

Еще за полсекунды чинный,  
Уж с пеной у рта, взвел курок,  
Прощай, уют, и именной,  
Прощай, пирог!

---

Чай кончен. Удлинились тени,  
И домурлыкал самовар.  
Скорей на свежий, на весенний  
Тверской бульвар!

Нам так довольно о Бодлере!  
Пусть ветер веет нам в лицо!  
Поют по-гоголевски двери,  
Скрипит крыльцо...

В больших широкополых шляпах  
Мы, кажется, еще милей...  
И этот запах, этот запах  
От тополей.

Играет солнце по аллеям...  
Как жизнь прелестна и проста!  
Нам ровно тридцать лет обеим,  
Его лета.

О, как вас перескажешь ныне —  
Четырнадцать — шестнадцать лет!  
Идем, наш рыцарь посредине,  
Наш — свой — поэт.

Мы, по бокам, как два привеска,  
И видит каждая из нас:  
Излом щеки, сухой и резкий,  
Зеленый глаз.

Крутое острие бородки –  
Как злое острие клинка,  
Точеный нос и очерк четкий  
Воротничка.

Уса, взлетевшего высоко,  
Надменное полукольцо...  
И все заглядываем сбоку  
Ему в лицо.

А там, в полях необозримых,  
Служа небесному царю,  
Чугунный правнук Ибрагимов  
Зажег зарю.

На всем закат пылает алый,  
Пылают где-то купола,  
Пылают окна нашей залы  
И зеркала.

Рояль умолкнул. Дребезжащий  
Откуда-то – на смену – звук.  
Играет музыкальный ящик,  
Старинный друг,

Весь век до хрипоты, до стоны,  
Игравший трио этих пьес:  
Марш кукол, «Auf der blauen Donau» –  
И Экосез.

Под вальс невинный, вальс старинный  
Танцуют наши три весны,  
Холодным зеркалом гостиной  
Отражены.

*Часть девятая. Москва и Таруса*

Так, залу окружив трикраты,  
Тройной тоскующий тростник —  
Вплываем в царство белых статуй  
И старых книг.

На вышке шкафа, сер и пылен,  
Видавший лучшие лета,  
Угрюмо восседает филин  
С лицом кота.

С набитым филином в соседстве  
Спит Зевс, тот непонятный дед,  
Которым нас пугали в детстве,  
Что — людоед.

Как переполненные соты  
Ряд книжных полок. — Тронул блик  
Пергаментные переплеты  
Старинных книг.

Цвет Греции и слава Рима, —  
Неисчислимые тома!  
Здесь — сколько б солнца ни внесли мы,  
Всегда зима!

Последним солнцем розовея,  
Распахнутый лежит Платон.  
Бюст Аполлона — план Музея —  
И всё — как сон...

Был жаркий день, когда мы с Андреем поехали встречать папу. Мне помнится низкая крыша у перрона, мало народу, долгое ожидание. Наконец поезд! Глаза смотрят с тревогой — люди идут, где же папа? Неужели мы пропустили его?.. Вот он! Мы бросаемся навстречу. В сером своем пальто, в соломенной шляпе с полями, круглое лицо в добрых морщинах, седые усы, очки... Но неузнаваемый цвет лица! Восклицания, поцелуи.

— Папа, ты — как негр!

— Как Кафр!..

— Да-а, там солнышко — не щадит... Ну а вы тут как без меня?

Дома, распаковав чемодан, папа раздает нам подарки. Помню бусы — египетские — какие-то каменные, яркие, пес-  
стрые, удивительные. «А это вот — из Афин, а это...»

Немного смущаясь, что — как в сказке — подарки, с пути, мы набрасываем на головы легкие шелковистые шарфы. Марина в зеленовато-серебряном — вдруг на миг — совсем как русалка: глаза-то морские, зеленые!..

— А это, Андрюша, тебе... А вот это — Лёре...

Марина, с вдруг забившимся сердцем:

— Папа, а я поеду в Париж?

— Поедешь, поедешь...

Увы, я не помню — так, чтоб их повторить — рассказов папы. И не сохранились у меня его письма. Какой это был бы клад!

Мы разъезжаемся на лето. Марина уехала изучать французскую литературу на летние курсы Alliance Française. Папа дал ей для устройства в Париже нужные адреса — знакомых у него была полна Европа.

## Глава 9

### НАЧАЛО ЛЕТА 1909 ГОДА В ТАРУСЕ. ОТЪЕЗД МИШИ И ЛЁНКИ МОНАХОВЫХ. В ПАЧЁВО. С ТОЛЕЙ ВИНОГРАДОВЫМ

И вот, после всех растаявших полос жизни, после всех разлук, горестей, горечей детства и отрочества, — безоблачная, вновь, точно в годы младенчества, безоблачная пора счастья! Я не стыжусь штампованных слов, даже подобного соединения их, два штампа! «Безоблачная» плюс тусклость слова «пора» — да еще расштампованное слово «счастье»! О, я *упиваюсь* их первоначальным звуком, переводыханьем их смысла — точно одна на необитаемом острове я их услышала! Птица спела? Я впервые произнесла? Стою на лугу, у изгиба дороги, отходящей, как ответвляется мысль, вбок и вверх, через мостик из трех бревнышек, над ручьем

вершины, текущим меж низких кустов ежевики; стрекодут кузнечики? Может, это они прострекотали? Слово «счастье» — круглое, полное шелеста — это «а», ширящееся, туго сходящееся к устью своей короткой водопадной реки в это «сть» и тотчас размыкающее стеснение этой слитности (грусти? запястья?) разрешающим септаккордом, по лугу разливающимся, размыкающего, дрящегося «е» (и нет ему конца, унеслось в бесконечность!..). Если так чувствуешь, так говоришь слово, то и пишешь его безбоязненно! Суд глупцов, вещающих о «сносившемся» слове! Им сносилось, мне — нет! Как не сносилось *само* счастье — в творчестве ли, в любви, в отреченье, где горечь стала сладостью следующей ступени, уже не сознавая ее, в *безоблачности* наставшей тишины, в нее протянувшегося слуха... Ужели меня остановят слухи об избитости слова, пушенные теми, кто *бил* его?

Поворот дороги, мостик, кусты, высокие — ива, низкие — ежевика. Влево (лицом к Оке) — Таруса, вправо — отлогий холм, где за березами-тополями не видна — наша дача. Впереди — Ока, течет справа налево, все так же, как в детстве (годы, пока в сознание пришло, что не все так текут реки, что другие, чужие, текут обратно Оке, по часовой, что это зовется «правый» и «левый» берег. Что Муся и я спокон века — младенчество, детство — жили на левом, где вода текла — вспять).

Я стою, четырнадцатилетняя (а пятнадцать — уж куковали? нет, был уж не апрель месяц, май — иволга заливалась в лесу)...

Я лукавлю. Я спрягаю *прошедшее* время. Но тот день не прошел — разве он мог пройти? То четырнадцатилетие, прислушивающееся к своему круглому, как рай, счастью, — потому и не могло быть в тот час до дна вглотнуто, что оно не имеет дна. Потому оно так и томило — бездонность (и дожило нерушимо в памяти до глубокой старости), что даже и в четырнадцать лет сердце не могло справиться с ним.

Тот час — *нерушим*, вечен, у него нет имперфекта. У латыни вечности только *одно* время, оно — *Semper Idem!*\*

\* Всегда то же (*лат.*).

Я стою и слушаю летний вечер, на мне мое — уже появилось — любимое платье, совсем бледно-розовое, много ниже колен, у меня на плечах вьются волосы, я иду в Тарусу, где мои друзья — Толя и Нина, я взойду на их гору, в коричневый деревянный дом с резными балконами. Шумят деревья над кручей маминого «Тироля», где бьет родник и протекает ручей. Хлопнет кольцо калитки. Мы выйдем все вместе — Нина с Катей и Костей Некрасовыми, я — с Толей. Мы будем идти вниз по горе — к духовой музыке на бульваре, дорожкам меж старых деревьев, холмам над Окой.

Толя будет говорить что-нибудь насмешливое о качестве музыки, будет идти туда как бы нехотя — с высоты своих университетски образованных двадцати с лишним лет, а мне музыка напоминает детство, маму, мне будет немножко грустно, что Толя такой «разумный», когда во мне всё гораздо безумней, у меня от музыки — тоска та, что и у Марины сейчас, если музыка несется где-то по Сене.

Но голос Толи творит колдовство, он уже льет насмешливость и на Эллиса, а я еще пока молчу, пока еще не бросаюсь в бой: прислушиваюсь, не от ревности ли он так, и уже тайной радостью подозреваю, что из-за меня он идет с нами «на музыку», что иди одна, с Некрасовыми, Нина — он, быть может, остался бы дома с книгами.

Я иду вниз и вверх по холмам, по песчаной и каменистой дороге над Окой, мимо ключа, где мы, маленькие, пили по пути домой и с мамой собирали камни с горящим звездным боком... Я одна иду, это всё — «мечты», предварение, предчувствие, предвкушение, я перебираю волшебные бусы будущего. Но вдруг навстречу мне — по воде, точно рядом — звуки марша «Тоска по родине». Духовой оркестр. Иду и чуть спотыкаюсь.

Евгения Николаевна внесла в дом старой дачи нашего лесного гнезда — уют стареющего девичества, какую-то особую чистоту, заботу о невинном, добром деревенском разнообразии пищи; особых формы и теста пеклись пирожки, настаивался хлебный и ягодный квас, сменялись, любовно, букеты полевых и садовых цветов в крынках и кувшинах. Иногда она стояла на нижнем балконе с ви-



дом на тополя, черемуху, березы и просвет между них, и радостно вдыхала уже старая грудь благодать летнего утра с запахами сада или вечернего звона, шедшего от Воскресенской церкви.

В эти минуты мне бывало почти стыдно быть собой — сложной, противоречивой, рядом с ее простой чистотой, хотелось быть счастливой — рядом с ее многолетним несчастьем. Но это касанье к чужой душе было мимолетно, как мотыльковое касанье к вянущему на стебле цветку. Я уже взбегала — мимо бывшей Лёриной комнаты — на наш верх: к пустой Марининой — направо, светелкой, налево — в мою. Парусиновая раскладная кровать, столик, где я пишу дневник и письма к Марине и Гале (рана, что Ане не пишу и не получала писем, — глубоко во мне). Табуретка в углу — глиняный умывальный тазик; в распахнутом окне — далекие купы деревьев — липы сторожевской поляны, пустой.

Семья сторожа Семена Монахова: Миша! Лёнка! друзья с самого детства! Люба, Колька — все переехали в Серпухов. У богаделов — новый сторож...

Меня ждут Нина и Толя. В светелочке под скосом крыши висят платья. Выбираю. Все они очень скромны и недороги, их отличия — разница цвета и как сшиты. В «английском», в складку, со строгим воротничком, я похожа на юношу. В легком, с пышными рукавами, я совсем еще девочка. Я благодарно и весело приняла их из рук без капризов и критики, без пошлого «хочу — не хочю», «так — не так».

Как щебечут птицы! От нагретой солнцем крыши в платьяхом чердачке — жарко. Хватаю выбранное, бегу. Напротив — большой чердак. Мы там и в детстве редко бывали, он был прост и глух, без волшебных закоулков московского, но пахло в нем так же: пылью, старьем, паклей, птичьим пометом...

У решетчатых ворот — кусты бузины.

Бегу одеваться. Это первое лето, что у меня столько платьев: дело рук Евгении Николаевны, перешившей мне часть Марининых, из которых она выросла.

Двор зарос лопухами. Как десять лет назад, у сарая на скамье стирает горничная, как когда-то Ариша, Маша... А мамы

нет. Совсем нигде нет. И это понять нельзя. От этого исчезновения не избавит ни дружба с Толей, ни Эллис, никто. С этим надо жить, нести на себе этот камень. Я не понимала — в этом же дворе, всего три года назад! — что мама скоро исчезнет, — не ценила дней ее жизни. Сколько раз я не забежала к ней, когда могла! Хоть на минуту... Как бы я забежала сейчас — вошла б и не вышла бы — чтобы дольше с ней быть, надышаться, запомнить. Я ведь уж не совсем помню лицо мамино — не каждую черточку! Голос еще звучит...

— Ася, идите пить черносморородинную водичку! — зовет Евгения Николаевна.

Оборачиваюсь. Стоит, в двери дома, в сенях, маленькая, в сером капотике; смуглое яйцевидное личико, нос с горбинкой, глаза карие, под тяжелыми веками, добрые. В руке — бутылка с прозрачным лимонадом, самодельным, из листьев черной смородины, холодная, из погреба — там еще снег!

Я бегу за ней в дом. И вдруг — останавливаюсь, пораженная: отъезд Миши и Лёнки положил какой-то предел между прошлым и настоящим. Отъезд их сделал меня как-то сразу — взрослой? Мне почему-то — страшно!

Тоска нашего разрыва с Аней теперь пришла в Маринину жизнь в ее разлуке с Ниной. Как странно! В тот же год! И та же боль — навсегда... О Марине у Виноградовых не говорилось. Я всегда была на тайной позиции защиты ее, если понадобится, ждала случая, но ее гордость никто не затрагивал.

Это о Нине Марина прислала мне стихи, где были строки:

Детский взор твой, что грустно тревожит,  
Я из сердца, о нет, не сотру.  
Я любила тебя как сестру,  
И нежнее и глубже, быть может!..

В те дни летом 1909 года продолжалась папина переписка с министерством. Шварц настойчиво требовал папиной отставки и увольнения хранителя Музея Шурова с отдачей его под суд. Поручившийся за вора Кознова был позже по суду оправдан — лишь снят с должности (человек, бывший причиной всего пережитого отцом в тот год).

Когда уехал за границу Андрей? В середине лета? Окончив гимназию, он хотел побывать в Швейцарии и во Франции.

...Толя и я прошли долгий путь лугом в ту самую даль к высоким соснам, где лиловые цветы на длинных стеблях — дудках, черные круги на земле от костров — угольщики жгут уголь, — где и мы с Мариной и ребятами еще год назад жгли костры. Огибая тропинкой лес, входили в Пачёвскую долину Толя и я.

Какая тишина сразу! Водная... Точно дно реки — русло, сейчас высохшее от жары, далеко, у того края долины, под ветлами. Но *вся* долина кажется дном реки.

Мы вступили на зеленую от пронизанных солнцем орешниковых ветвей тропинку, по правому боку долины.

Была внезапная нежность меж нас и простота — повеяло теплым ветром. (Так бывает — от тоски, что скоро расстанутся.)

Толя шел слева, большой, взрослый, по русой бородке его, по чужому, вдруг ставшему близким лицу бежали пятна солнца, серебряные в зеленом сумраке веток.

Через канаву у поворота тропинки лежало упавшее дерево. Я остановилась, смеясь и серьезно:

— Перейдите по стволу на ту сторону! — тоном приказа — и просьбы.

Я ждала улыбки, остроумной реплики, лукавого спора, всего, но не этого: молча он уже шел, тяжелый, большой — стремительно и на миг с осторожной медленностью для успеха — и легко и сосредоточенно, двойственным шагом через длинное корявое, тонкое дерево. Радостно спрыгнул — развел в сторону руки. С полупоклоном. Кто из нас был счастливее в тот миг? Он теперь весь был на солнце. Я — еще в зелени веток. Хорошо, что он не видел ясно мое лицо.

...От Марины шли письма. В Alliance Française она встречалась с Марией Митрофановной Богдановой, той большой чахоткой женщиной, в которой приняла участие мама и упомянула ее в своем завещании, с которой мама подружилась в больнице, навещая папину племянницу Шуру Цветаеву.

По маминому завещанию, среди тех, кому мама назначила денежную помощь, была и Марья Митрофановна. С ней Марина дружила теперь в Париже.

Два стихотворения были Мариной посвящены тем летом Нине Виноградовой. Вскоре пришло в Тарусу и второе — «В Париже». Вот отрывок из него:

Дома до звезд, а небо ниже,  
Земля в чаду ему близка.  
В большом и радостном Париже  
Все та же тайная тоска...

Настал канун Ивана Купала — год с той эскапады с Анн<sup>а</sup> Ажерон! Виноградовы, Некрасовы и я уговорились идти в ночь под этот день — в лес. Я туманно помню эту прогулку. Волнение до нее — помню: с Толей, с сестрой его, милой Ниной, синеокой, как девушка из Мельникова-Печерского... Я глядела на себя со стороны, понимая: идет самая лучшая пора жизни! Через пять лет будет — хуже! Я не хочу вырастать...

Темный лес, звезды, холодок, тихие голоса, хруст под ногой, вспыхивание спички, освещающее на миг личико Нины. Толины глаза, светлые, борода, улыбка. Строгое лицо Кости Некрасова. Мне нравится Катя. Она хорошо глядит.

На другой день я написала сказку о ночи под Ивана Купала. В ней рог луны отражался в каплях ночной росы. Было что-то зловещее, колдовское. Я послала ее Толе, с припиской почти нежной, и в ответ получила большой конверт: «Асе Цветаевой». Руки дрожали. Глаза не совсем видели строки. Тонко, мелко, прямыми точеными буквами на белом листе стояло: «Дорогая Ася! Я люблю Вас давно» — более ничего не помню. Торжество, упоенное торжество. Лицо Толи, длинные глаза, синие, ледяные кому-то, глядели в мои.

Уже скоро три года с маминой смерти!.. Скоро ехать с папой на Ваганьково кладбище. Затем — в Куркино, именье Захарьиных, — пригласили. Жаль уезжать.

Стоим, папа и я. Ветер наклоняет ветки бузины над черной гранитной плитой, в земляной четырехугольник у ее подножья только что посадили лиловые и желтые анютины глазки. Белые мраморные стоячие крестики над такими же

плитами могил дедушки и бабушки — за оградой. Сзади них, под той же оградой — пустое место, откупленное для себя Тетей, Тьо. Смолкло заунывное пение панихиды, священник, седой, в старой рясе, с епитрахилью через плечо, уходит, взмахнув кадилом, по тропинке. За ним семенит маленькая черная старушка, вековечный спутник кладбищенских панихид.

Молчим, папа и я. Лицо папы опущено, смотрит на черный камень, задумался. Сияющие облака плывут медленно — от вершин деревьев к крестам Ваганьковской церкви.

Почему я не чувствую маму — именно тут? В доме Трехпрудного, во всех комнатах, на даче, по «большой дороге», на тропинке «к пенькам» — везде. Здесь — напрягаю волю, воображение, чтобы ее ощутить, — голова и сердце пусты. Только папу жаль и стыдно своей бесчувственности.

— Пойдем, голубка... — говорит папа, осеняя себя крестным знамением. Повторяю его и я и, оглядываясь на анютины глазки, мамой любимые, схожу за папой на тропинку; идем прочь.

Лёля Цветаева, старшая дочь дяди Мити, вышла замуж за профессора Александра Ивановича П-го. В кабинете дяди Мити мы чокаемся бокалами шампанского. Лёля бледна, растеряна, ее лицо взволнованно и озабоченно. Как мне ее жаль! Собственно, портит ее только нос, материнский. Глаза ее, карие, красивые, рот, овал лица, волосы, рост — все было в ней хорошо. Лет ей было, думаю, девятнадцать-двадцать. (Саше, моложе ее года на два, удалось позже выйти замуж по увлечению за некоего — инициалы забыла — Колоножникова, высокого, розовощекого и веселого.)

Едем из церкви с Володей и Сашей Цветаевыми на извозчике. Володе семнадцать лет. Он окончил гимназию и готовится в Инженерное училище. Мне с ним легко и просто. Он не дразнит, как Андрей, обращается со мной почти как со взрослой, хоть я выгляжу почти девочкой. Мне давно нравится его мужественность.

— Брось, Аська, все эти фантазии о жизни! — говорит он мне братски-дружески, с чуть печальным цинизмом. — Каждый мужчина прежде всего самец, каждая женщина прежде

всего самка! Надо трезво смотреть на жизнь!.. — Он поддерживает меня — поворот — чтобы я не слетела с извозчика. Нас — трое, и я полусижу у него на коленях. Мне неудобно, неловко, я привстаю, чтобы не прямо сесть на его ноги. Его слова коробят меня, мне от них противно и страшно, но что я ему возражу? Для него его вывод — истина. Для меня — нет. Даже если он прав. Я что-то бурчу несогласное, потому что nobles oblige — благородство обязывает. Я знаю, что он и не слушает.

После Лёлиной свадьбы несколько дней я гостила у Цветаевых близ станции Сходня. Двухэтажная дача, ими снятая, стояла среди сосновых деревьев, на лесной площадке, где было много пней, обросших кустами. Там искали ягоды, грибы, собирали цветы. Было тихо и солнечно. Неслись гудки поездов. Дедушкины Ясенки, где росли мама с Тоней Барто и где девушки ездили верхом по аллеям с С.Э. — Сергеем, которого мама любила и с которым ее разлучила жизнь, — были близ Сходни. Где были Ясенки, в какой стороне отсюда? Я, как пес, нюхала воздух, смотрела во все стороны, откуда-то пахло дымком.

Было странно в те дни без Лёли... Я гуляла одна. Володя занимался с утра до вечера, выходил только к столу. Мать оберегала его покой, старалась о его питании и сне. Дядя Митя добавлял уюта в часы встреч за столом — добродушием, шутками.

Он был и похож и не похож на папу: он мог, приехав к нам, не застав брата, ожидая его, загрести меня за плечо и, обняв, начать шагать по зале, опустив свою густую бороду гнома и, уйдя в свои думы, забыть, что с ним шагаю, томясь, и я. Он все хотел заказать свой портрет при релгиях и повесить его — «на память детям». Пройдя, как и папа, суровые условия давней семинарии, начав с нищеты, он стал профессором. Свой портрет на стене считал долгом детям и наглядным поучением им. Папе же такое было чуждо, не нужно, он бы смутился и отказался — предложи ему кто-то подобное.

Елизавета Евграфовна была ко мне добра и заботлива, расспрашивала об ученье, о Марине, о Евгении Николаевне.

Угощала меня моей любимой копченой колбасой, сладкими винами, закармливала. Вспоминали с ней Лёлю. Но и эта «полоса» прошла.

Глава 10  
В КУРКИНЕ. ГРИША НАВРОЦКИЙ.  
M-R ARNAULD DE LUNQUIÈRES\*

Папа свез меня в имение Куркино, к Захарьиным. Первое, что я помню там, это запах. Запах Тети! Я стояла посреди отведенной мне комнаты, напоминавшей номер гостиницы — равнодушной роскошью мебели, ковра, деревянных панелей, высоких блистающих створок распахнутого в парк окна, — и нюхала воздух! Чем? Дорогим печеньем, кофе, духами, цветами садовыми — всё, слитое. Ноздри жадно вдыхали новизну. Какой-то будет тут моя жизнь?

Страничка в книжку дневника, первые строки письма к Марине. Меня уже звали к чаю. Расчищенной дорожкой парка я прошла мимо цветников — к парадному входу. Меня провели в столовую.

За роскошно сервированным столом на фоне дверей в анфиладу комнат сидели, среди взрослых, три мальчика, которые встали, приветствуя меня. Старший из них, привлёкший мое внимание красотой смуглого продолговатого лица, был уже юноша — Гриша Навроцкий. Во главе стола сидела маленькая старушка, бабушка, вдова Захарьина, по бокам — дочери. К концу обеда я оказалась в кольце ласкового внимания. Изысканно вежлив был и гувернер — высокий молодой француз Monsieur de Lunquières. Разговор шел большей частью по-французски. Таких блюд я не ела с иностранных отелей. Я, как во сне, оказалась где-то за границей. Россия — исчезла.

Золоченый чайный сервиз, фрукты в хрустальных вазах, торты, душистый пар от чашек шоколада и, в раме раскрытых дверей на террасу, томный ландшафт с затейливыми клумбами и узором лужаек, голоса мальчиков, один другого воспитаннее, внимание их гувернера — все кружило голову.

\* Месье Арно де Лонкьер (фр.). — *Примеч. ред.*

С первого же дня было установлено, что Гриша увлечен Асей, что каждое мое слово, не к нему обращенное, заставляет его страдать. Это было смешно и весело. То, что разговор велся на французском языке, которым превосходно владела вся семья и который я с Лозанны подзабыла, мгновенно пробудило во мне стыд и сожаление, что я забросила французское чтение, о котором столько раз напоминал мне папа! Но страх ошибиться во фразе подействовал благотворно на осмотрительность моей речи, я говорила мало, обдуманно.

Но вскоре, в беседе с М-г Arnauld, французские слова полетели ко мне как птицы, и смущенье прошло. Эта победа над языком вместе со всеми впечатлениями дня и разговор не по-русски перенесли меня на страницы французского романа. Словно вновь отошел поезд, увозя меня — мама, Марина! — в почему-то на так долго прервавшийся путь — в те страны, в ту смену людей, где пролетело детство. Вдруг поблекла Таруса, засосал у сердца зов о каком-то утраченном блеске, размахе не только внутреннем, повеяло романтикой иной жизни — переезды, новизна, путешествие! Сьерра Невада, Рио-де-Жанейро, Сан-Ремо... Все судьбы, могущие стать моими — и Мариниными, — гул будущего: обдал меня с головы до ног, оторвав, оглушив, отпрянул, не оставив по себе реальности, кроме брызг эфемерной пены... Очутиться перед белой, с золоченым краем тарелкой и хрустальным бокалом, за семейным столом — и четырнадцать лет, среди старших! И всего-навсего — чье-то имение с прозаическим названием Куркино (с курицами в середине!)...

Дни шли. Неуловимо и вскользь, среди общей беседы, мы перебрасывались с М-г Arnauld по-французски все более серьезными фразами, забывая на миг Гришу, и мальчиков, и его должность в семье, и мой близившийся отъезд. Стояли чудные летние дни.

Высокий, ростом с Толю, широкий в плечах, как и тот, он был тоньше, легче. Лицо широкое, но худощавое, он носил пенсне, был рус. Хороши были лоб и светлые глаза. В нем была — в пережитом ли, в его подвластном в доме положении — еле уловимая горечь, чем-то роднившая нас. Он был образован, умен. Гришу он упрекал в легкомыслии. Отстранять его от меня Грише было трудно — мы все бывали вместе, а темы наших бесед с М-г Arnauld были серьезны, в них не



было и тени игры, и прервать их было бы невоспитанно, а Гриша ценил хорошее воспитание выше всего.

Но однажды за столом М-г Arnauld принял участие в беседе с Ольгой или Александрой Григорьевной о католическом celibate\*.

Слова «célibat» я не знала, но поняла, о чем речь, по насмешливому тону, в котором почувствовался мне цинизм. Я смолчала, не решаясь, в четырнадцать лет, заговорить на такую тему со взрослыми — да и что я могла им сказать? Меня возмутила тема! Во мне вспыхнуло презрение к М-г Arnauld, я задела обиду. Когда, как я высказала ему мое осуждение? — он был поражен. Пытался защитить себя, тему — напрасно. Я не спорила с темой — я отстраняла ее. Я повторила ему свое удивление — как он мог принять участие в таком разговоре: «Вы пали в моих глазах!» М-г Arnauld огорчился.

Прогулки продолжались, беседы, игры, но к М-г Arnauld шел от меня холодок. Зато со средним из мальчиков была молчаливая нежность, уважение за его любующийся, но уклоняющийся взгляд.

Мы шли по берегу пруда. По нему плыл, распоротым брюшком кверху, уж — мертвый. Содрогнувшись, я крикнула:

— Какой ужас!.. Кто-то убил его — зачем? Он же не змея! И заставить так мучиться! — Все это по-французски.

И помню огорченный, озабоченный желаньем утешить и преодолевающий заикание ответ мальчика:

— Oh, M-elle Assia, ne vous tourmentez pas, je vous en prie! Elle n'est pas morte, cette couleuvre! Elle fait semblant!\*\*\*

Но уже догонял нас Гриша, зовя прочь от некрасивого зрелища, увлекая в солнечную тень аллеи, в изящество светской беседы.

Мой отъезд приближался. Мне казалось, я давно тут, а прошла всего неделя. Как было жаль уезжать! Ведь их никого не забудешь... И старый тенистый парк, пронизанный солнцем.

Был день именин бабушки. Мороженое подавали часто, но в этот день повар себя превзошел: сооружение из плом-

\* Безбрачие.

\*\*\* О, м-ль Ася, не мучьте себя, прошу вас! Он не мертв, этот уж, я вас уверяю! Он притворяется! (фр.)

бира, подобие замка, стояло на блюде, украшенное фруктами, вафлями...

— Oh, c'est cruel! — шепнула я соседу, младшему из ее внуков. — Votre grand-maman ne peut pas en goûter! On ne devait pas le mettre sur la table en sa présence!\*

Мальчик сочувственно мне кивнул. Но его тетки спокойно передавали по столу золотистые тарелочки с пломбиром и овальные палочки воздушных бисквитов. Старушка-именинница печально провожала их глазами: ее сахарная болезнь крепла.

Последние прогулки, последний обед, ужин. Папа приехал, но меня с ним не отпускают — еще хоть день-два! «Ваша дочка такая прелестная, нам так жаль ее отпускать... Мы запрежем лошадь, свезем на станцию, усадим в вагон, не беспокойтесь!» — говорит бабушка папе. «О, да эта коза сама добежит до станции!» — добродушно говорит папа, не зная, как ранит меня его тон (и «коза» обо мне, уже почти пятнадцатилетней и которой тут так дорожат...).

— Ну, если не хочешь сегодня, со мной, — оставайся, только недолго. С вокзала бери извозчика. И вместе поедем в Тарусу!

— Иван Владимирович, — обратилась к папе бабушка мальчиков, Е.П.Захарына, — какие вести из министерства? Нас это очень волнует...

— Пока — никаких, — отвечал папа, — послал ответ на ревизию — и жду...

— Возмутительнейшая история, — воскликнула старушка, — трудно даже поверить, что это явь!.. Но утешением вам должно служить то, что просвещенные круги — на вашей стороне. Все глубоко скорбят за вас! Только в нашей стране...

Ко мне обратился М-г Arnauld, и я не услышала папиного ответа.

Последние дни! Дружба крепнет перед отъездом не по дням, — по часам. Мы не понимаем, как мы расстанемся! Гриша от меня не отходит. Берет обещание, что в Москве мы увидимся: он зимой приедет из Петербурга в Москву! Его

\* Это жестоко!.. Ваша бабушка не может его попробовать! Не надо было ставить его на стол в ее присутствии! (фр.)

тонкий профиль наклоняется ко мне. Черный прямой прибор сделан с особой тщательностью... Глаза его брата смотрят на меня с уже нескрываемой теплотой. Он больше заикается сегодня. «Я дам вам тетрадь моего дневника», — говорит мне по-французски М-г Arnaud.

Мы вяло боремся с прыгающими на тарелках круглыми раковинами, в которых зажарена рыба, без увлечения жуем нежные, как пух, пирожки, оживляемся только немного за сбитыми сливками с клубничной подливкой, не берем чашечек с черным кофе, не хотим швейцарского сыра. Даже грецкие орехи и фисташки как-то не нужны нам сегодня! Мы хотим скорее в угол гостиной, побыть одни, без старших, еще немножко поиграть в фанты, в почту — игру, в которой можно себе позволить смелее выразить правду...

Небо в распахнутую дверь почти черно, такое оно темно-синее, звезды россыпью серебряных искр стоят над садом; как высок, как бледен Млечный Путь! Ветер шумит в темных, теплых деревьях. Завтра мы уж не будем вместе, и может быть, никогда... Нас зовут. Надо — спать?! «Асе надо выспаться перед дорогой! Вы ее утомили...» — «Нет, нет!» Последние рукопожатия, последние взгляды. «Как пусто будет без вас!»

Унося эти слова как драгоценность, я выхожу из гостиной.

Меня провожают. Идем коридором. Последние медленные шаги.

— Прочтите эти странички... — говорит М-г Arnaud и протягивает мне клеенчатую тетрадку.

С бьющимся сердцем беру ее, вхожу, закрываю дверь.

Это та же комната, где я стояла, — сколько дней назад, никого еще здесь не зная!.. Но уже раскрыта тетрадь, я спускаю на окне занавески. Час — мой! На изысканном французском языке мелким, тонким, круглым почерком — записана его исповедь о том случае с «célibat». Он рассказывает, как я его осудила. Он взволнован, оправдывается, огорчается моим приговором, тем, что у него отнимаю дружбу, — иначе с ним говорю. И он сердится на себя. Спрашивает себя, что же такое с ним, почему он так заинтересован этой четырнадцатилетней девчонкой (я не понимаю слова «grésосе»\* — эпитет, которым он дарит меня, что он значит?

\* «Grésосе» означает «преждевременное развитие» (фр.). — Примеч. ред.

«Я — взрослый человек, — пишет он, — почему я так дорожу мнением и отношением de cette incroyable gamine\*, которая, comme il paraît\*\*, должна, после моего участия в этой беседе, отнять у меня le commencement de la possibilité d'amitié qu'elle pouvait éprouver envers moi»\*\*\*.

Я потушила электричество, мне сейчас не нужно, и при зажженной, затененной свече в тяжелом шандале дочитываю его дневник. Больше всего мне нравятся слова: «incroyable gamine». Я смеюсь. Я тушу свечу, прижимаю на миг к груди его тетрадку (завтра я ему должна вернуть ее, сегодня она моя!) и ложусь в широкую, мягкую, точно у Тью, кровать, под легкое и теплое одеяло. Это ведь очень красиво: Arnauld de Punguières.

## Глава 11

СНОВА В ТАРУСЕ. ТОЛЯ. КЛАНЯ МАКАРЕНКО.  
МАРИНИНЫ СТИХИ. ДВЕ ЛИДЫ. МОИ РЕБЯТА.  
ПИСЬМО ОТ M-R ARNAULD. ШУРА УСПЕНСКИЙ

Еще одна полоса позади, мама!

Все так же стоит Таруса на высоком берегу Оки, так же мчатся лошади по мосту, так же развешаны сети у плетней рыбаков и видны зеленые купы бульвара на высоком пригорке. И все-таки все иное! А перед глазами вчерашний тихий, пустой дом в Трехпрудном, запах нафталина, закрытые ставни, рыжий с белым кот (Маленький Кис). И мы с папой у самовара в столовой. Раскрыто окно в сад, свежо, смолкли птицы...

Но я уже наполовину сплю.

Что-то понадобилось Виноградовым на Тарусской станции. Мы решили пройти туда пешком. Я храбро пошла, но по жаре полем так устала, что, пройдя десять верст, еле попевала за другими. Катя и Нина, старше меня на три года, шли бодро.

\* Этой невероятной девчонки (фр.).

\*\* По-видимому (фр.).

\*\*\* Зарождение дружеских чувств, которые она могла испытывать ко мне (фр.).

Толя рассказывал что-то в своем обычном насмешливом тоне. Все смеялись, но я уже мучилась обидой: отчего Толя не так нежен ко мне, как было надо после его письма? Может быть, он жалеет о нем? Уж руки искали в кармане тетрадку — о, я сейчас напишу ему и передам! Хватит мне этого «веселого» тона его, нечего меня смешить, пусть другие смеются, выхожу из игры! Пусть прочтет!

Ты, старый, слышал ли рассказ,  
Слыхал ли ты, поэт,  
Как фея разлюбила раз  
Тому уж много лет?

Чудится, как бывает во сне: не Всеволода ли Соловьева стихи? Я не успела достать карандаш: надо мной наклонялось внимательно на меня глядящее лицо Толи. На во мне мелькнувшее: «...и не замечает, как я устала, им хорошо — здоровым, двадцатилетним», — он отвечал вслух, не сводя с меня синих ласковых глаз: «Устали, Асенька?» И предложил привал.

Мы сидим на разложенном им плаще-пелерине, ветер веет по травинкамвокруги студит разгоряченные лица, птица кричит, даль — вдруг золотая... Все отлетело с души! Как чудно... Толя ближе мне, чем М-г Arnauld, и еще умнее! У того — растерянные глаза, когда он снимает пенсне, у этого — нет! Толя никогда не растеряется! Я его, конечно, люблю...

Кто-то познакомил меня с Кланей Макаренко. Она держится с большим достоинством, как взрослая. Ей тоже пятнадцатый год. Она без румянца, у нее черная коса, терпкая улыбка — точно она всегда над чем-то посмеивается, и веселые карие глаза. Она охотно приходит ко мне на дачу, мы вместе купаемся, она совсем белая, как из Марининых стихов о девочке, вошедшей в воду, «девочка цвета луны»... Кланя — мешаночка, у меня к ней — нежность за то, что она так многого не понимает, но она по-своему счастлива, и я с ней отдыхаю — от себя, от одиночества без Марины.

Мы говорим обо всех. Кланя знает всё и вся в Тарусе, у них домик с геранью на окнах и половики самотканые по крашеному полу. Всё с ней в беседе просто и весело, через

упрощенную призму восприятий. И Алес Закржевский, год назад меня поразивший своим рассеянным видом, застенчивым и отсутствующим, — для Кланы просто «чужак какой-то», и мне смешно такое о нем слушать, наслаждаясь ее непониманием его! (Он — мой! и Маринин, конечно!)

Письмо! Из Парижа. От Марины. В ответ на мои. Читаю полные нежности ее старшинства стихи мне:

«Ася, поверьте!» — и что-то дрожит  
В Гришином деланом басы.  
Ася — лукава и дальше бежит,  
Гриша — мечтает об Асе!..

Шепчутся листья над ним с ветерком,  
Клонятся трепетной нишей.  
Гриша глаза вытирает тайком,  
Ася — смеется над Гришей!..

Я читаю их и перечитываю: «А они не обидят Гришу?»

У меня новые маленькие подруги. Две Лиды — Шпагина и Зябкина. Они не любят друг друга и ревнуют меня. Лида Шпагина, десятилетняя «кошечка», избалованная. Круглое личико, яркий румянец, лукавые светлые глаза, ласковые, чуть с хитрецей, обходительные манеры. Это — маленькая женщина. Я зову ее «дочка». Она кладет мне на колени круглую головку и шепчет мне все нехорошее о той Лиде. Лида Зябкина — одна из одиннадцати детей дьячка, выросла среди братьев в бедной семье. Она — сорванец, работница, скачет верхом, командует младшими, прокалена солнцем, стрижена как мальчик, синеглаза, худа. К Лиде Шпагиной, которая на год ее моложе, питает презрение.

У Лиды Шпагиной брат Шурка, «горе» семьи, первый озорник по Тарусе, способный паренек лет тринадцати. «Он у нас отпетый!» — говорит, как старшая, Лида.

Все так же пахнет в Тарусе ромашкой. Ягодные кусты, яблоневые сады, рыбацьи сети вдоль береговых плетней — всё как в детстве.

Я много слышала о Шурочке Михайловой, ее способностях к пению, к танцам, к музыке, за которые на нее обратила внимание семья Василия Дмитриевича Поленова. Она мне очень нравилась — смуглая цыганочка. Такой должна была быть в отрочестве Наташа Ростова...

Начали ко мне приходиться крепко со мной сдружившиеся ребята: Мишка по прозвищу Дубец (Филиппов, сын рыбака, с отцом рыбачит), Гарька Устинов, Леньки — Пудель и Ленька-Молокосос. Последний — совсем маленький, лет, с виду, восьми. Меня им дразнил брат Андрей, знающий его прозвище. Все они приходят к нашей горе, версты полторы по холмам, и располагаются «на бугорке» под березами, там, где дорога песчаная начинает подниматься к нам. Сюда схожу я, и мы едем куда-нибудь по лугу, к тем же далеким соснам, куда ходили с Мариной, Мишей и Ленькой, иногда едем на лодке, жжем костры, поем песни: «Варяг», «Трансвааль», «Из-за острова на стрежень...» о Стеньке Разине, «Есть на Волге утес...» и другую песню о Ермаке — «Ревела буря, дождь шумел...». Хором — их мальчишеские голоса, басок Мишки Дубца и наши, девочкины, — хороший хор получается! Мы немного боимся папы и чуть-чуть Андрея — вдруг позовут меня домой? Но папа часто уезжает в Москву, а Андрей, видимо, не решается или не находит нужным вмешиваться. Он знает, что мальчишки эти хорошие, что мне от этих ребят обиды не будет.

Мишка — невысок, но крепок, попробуй кто-нибудь затронуть меня! Гарька — пятнадцати лет, тонкий, с очень красивым узким смуглым лицом. Глаза — темно-золотые угли. Он очень застенчив и очень ко мне привязан. Марина позднее восхищенно отметит его благородство и ум\*.

Золотые глаза Гари порой останавливались на мне с какой-то печалью, такой скромной преданностью.

Я рассказывала ребятам о Марине. Мы очень ждали ее.

Шелестели длинные ветви плакучих берез, где-то кричал, далеко на лугу, коростель. Зеркальная река отражала угасанье заката. Дубец строгал мне можжевелевую палочку,

\* С 1917 года в ряду самых «передовых», как их называли, тарусских ребят.

Гарька сидел, обняв руками колени, глядя на закат. Пудель рассказывал страшный рассказ не хуже «Бежина луга» (которого не читал!).

Молокососик и Лида Зябкина слушают во все уши.

Из Тарусы, против течения, плывет лодочка — далеко, посреди реки.

Мальчики что-то сказали друг другу. Страшный рассказ был кончен. И только что мы начали хором любимое, старое о бурской войне — «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне...», как с лодки, приблизившейся на веслах, что-то крикнули — неясно.

— Я те покричу, — отозвался Дубец, встав, махнув палкой, — проваливай-ка отсюда!

Голос понесся по водной глади.

— Это кто?

— Шурка Шпагин! — ответила Лида Зябкина. — Лезет куда не просили!

— Ну что ты его так? — сказала я укоризненно Мишке. — Пусть себе катается, нам-то что?..

— Он знает, — угрюмо пробурчал Дубец, продолжая стоять на бугорке. Встали и Гарька, и Пудель.

С лодки больше ничего не было слышно. Постояв, ребята сели. И мы затянули песню о Ермаке.

— И Ветка с ним! — сказал Пудель, глядя вслед лодке.

— Ветка? Такое имя?

— Виталий, — ответил Гаря, — вместе озорничают...

Мы продолжали петь.

...Письмо — на больших пергаментных листах почтовой бумаги, мелким круглым почерком, по-французски — от Arnould de Lunquières. Я шла, и земля — добрая рыбацкая земля тарусского берега — уходила из-под моих ног. Как изысканно он писал! С каким уважением! Он не мог позабыть меня (а разве я его позабыла? да я только о нем и думала все это время... — сказала я, взволнованно, себе).

Читала и перечитывала. Уже позади остался «бассейн» с круглой крышей, где черпали ведрами воду, и плетни с сетями, я подходила к крошечному мостику — доске через ручей, шумевший меж огромных ветел у подножья Воскре-



сенской горы. Стояла и перечитывала конец. Я спишу его и сегодня же пошлю в Париж, к Марине. Он хотел, чтобы я знала — ведь мы, наверное, не увидимся... — «qu'un homme de 23 ans revenu de bien et de bien de choses, éprouve pour Vous, Mademoiselle, bien plus qu'une banale sympathie...»\*

И был росчерк — не бедного гувернера в чужой стране, а не менее чем владетельного князя! Ясный вечер, первые звезды.

И опять сидим у реки, под березами, решаем, идти ли по лугу, жечь костер, не поздно ли, не ждет ли меня Евгения Николаевна — закрыть на ночь дверь, — она, и Татьяна — горбатая повариха, — и горничная рано ложатся. Андрей с ружьем за плечом уже прошел домой. Опять коростель кричит... Как не хочется расставаться!

Снова лодка движется против течения — к Велегожу. Дубец смотрит, что-то тихо говорит Гарьке. Слышу:

— Трое их, четверо... Шурка Шпагин! Не с добром они...

— Миша, не надо, не задевай их! — говорю я.

— Вы, Ася, не знаете их, — говорит уклончиво Дубец; его некрасивое удалое лицо — сумрачно. Гарька отвернулся к реке.

Лида Зябкина спит, головой на моих коленях. Лодка приближается; в очки вижу несколько голов. Всё тихо. Лодка — напротив нас. Вдруг раздается с мостка, по реке, звонко, голос, насмешливый, дерзкий. И хохот. Я не поняла слов. Но как удивилась: как будто Барон с цепи, пес Добротворских, сорвались с бугра Мишка Дубец и Гарька, нагибаются — горстью камни — и, изогнувшись всем телом, как в Музее папином метатели диска, ловко, метко швыряют их, мечут в лодку! Молча, вместо ответа! Я стою и кричу на них возмущенно, бегу, хочу вырвать у них камни.

— Перестаньте же, *убить* можете!.. *Что с вами?*

— А им так и надо... — обертывает ко мне пылающее лицо Гаря.

— Пусть язык свой держат в другой раз! — кричит Мишка Дубец, и град камней летит через воду — недолет, перелет...

\* «...что человек 23-х лет, искушенный во многом и многом, испытывает к Вам, мадемуазель, куда больше, чем просто симпатию...» (*фр.*)

— Попало! — Разом, как по команде, оба бросают камни: с лодки — крик, она поворачивает... И на мое сердитое: «Что вы сделали? За что их?» — в ответ два голоса:

— Вы ведь не знаете, Ася, что они крикнули! Да вам и не надо знать... В другой раз не полезут...

Кланы давно говорила о братьях Успенских, сыновьях отца Николая с Воскресенской горы — Саше и Сереже, чья мать, матушка Надежда Даниловна, с симпатией обо мне отзывалась и иначе не звала меня, как «атаман».

Отец Николай был еще средних лет, не стар и красавец, хорошо плясал, любил выпить — рассказывали о нем. Но службу его прихожане любили, и жаден он не был. Хорошо пел.

«Я звала их, — сказала Кланы, — придем, говорят».

Первым пришел с мальчиками к нам под гору Сережа, младший, светлоглазый и русый, на год моложе меня. О старшем брате он сказал, что тот «стесняется». Однако шел слух, что Саша не из последних задир, когда «нападает» на него, даже и безрассудно смел. Я помнила его: прошлой зимой я однажды каталась с ним на коньках на Оке.\*

И вот медленно идет к нам по холму старший. Его звали Саша (а мне нравилось Шура, и я стала его звать так). Смущенная улыбка, рукопожатие. Смотрит, говорит мало.

Шура темней брата, глаза серо-зеленоватые. Он смугл, черты — тонкие, ядовито-нежная улыбка и такая же речь.

\* Сейчас вспомнилось мне, будто за почти год до того зимой, на тарусском катке, на Оке, я впервые увидела Сашу, кто-то из старших нас познакомил, и мы даже покатались с ним вместе.

После осени 1909 года этого быть не могло, так как я на Рождество в Тарусу не приезжала, а он еще не был «Шурой», как я стала звать его в это лето, в отличие от его обычного имени. Значит, мы *уже* были знакомы.

Но он жив, мы недавно свиделись с ним в Тарусе. Двадцать пять не виделись (а до того не виделись семнадцать лет, с 1921 года, в 1937-м встретились дружески, вспомнили свою весну... Была эта встреча за несколько дней до беды, на меня пришедшей. Теперешняя встреча, *после* нее, когда, спустя 22 года вдали от Москвы и отдав еще три дня «на устройство дел», я вновь приехала в Тарусу. Я увижу его и спрошу, пусть он поможет мне вспомнить дни наших золотых волос, когда мы оба седы.

Сереза обещает стать сложения богатырского, Шура же пока выше брата (старше его года на три-четыре), строен, худ, лицо узенькое. Что-то совсем взрослое и печальное во взгляде.

Я вижу его изредка, узнаю по сердцебиению: я еще не знаю, он ли, близорукость не дает реальности. Я думаю, что выражение «земля уходит из-под ног» надо понимать как некое ощущение себя вдруг — в пустоте, выхваченность из того, куда идешь, с кем. Какая-то ошпаренность страхом, испытываемая при встрече, в начале любви. Колдовство вековечное чуждой души, вдруг приблизившееся колдовство близорукости (я стала часто снимать очки), отчего «ухожение земли из-под ног» было еще страннее — совсем туман! Шура приходил с кем-то из сверстников, тоже смущаясь — может, и ему «холм обрывался куда-то». Будто летишь с Воскресенской горы в пустоту, и упорство дня «идти, как до встречи» (всё: люди, обед, дорога, лодка, пейзаж Оки с берегами) — тлею, треща, как сырая ветка, бесплодно сопротивляясь костру.

...Как можно было во всем этом искать — нащупывать — какой-то, уж не говоря «верный», путь к общению? Что могло ждать впереди, как не так называемые ошибки? И как от них было спастись?

Ока текла, и плыло серебро облаков, и надо было найти — слова...

Меж берез нашей горы он стоит, обняв ствол березы, щекой о нее, и смотрит на меня, и молчит, печальный, — вот-вот улыбнется испытующе-недоверчиво, скажет что-то не похожее на других! Он человеку не верит, мне тоже, — себе? Его наблюдающий глаз уж привык к страданию, хоть ему еще — да не больше семнадцати лет! Иногда он приходит с гитарой. Предательски-нежный. Не отвести глаз.

Что я помню еще? Едем на лодке. Они оба с нами, «Санька», «Серёнька», когда я, набрав на книжку в лавке Позднякова в Тарусе баранок, мятных пряников, конфет, собрала всю нашу шайку (раз меня в Тарусе прозвали Атаман — значит, шайка), и мы едем вверх по Оке, к холмам Велегожа, к Улаю\* — там, на другом берегу, далеко, будем пить чай.

Август. Первые желтые листики, первый, невзначай, свежий ветерок. По глади реки — сизая хмурица, огоньки. Пир — позади, теперь — песни, мальчишески-девический хор. Он хрустел по воде, а горит как костер. Навстречу — перебивают! — с тарусского бульвара — звуки духовой музыки...

Плоты плывут, плотогоны зажгли огоньки, они отражаются в струях — столбиками. Луна подымает, незаметно, все выше, свой шар, а полушар неба, незаметно темнея, обнимает землю. Шура встал, бросил весла. Сережа садится грести, гребет и Дубец. Шура и я смущенно глядим друг на друга. Горя, страдаешь, нет? Кто же вас знает — мальчишки, юноши, такие же сложные и изменчивые, как я, так же мало знающие себя, так же мечущиеся от тоски — к отваге, от отваги — к тоске... Была тина, и Шура меня перенес с лодки — иначе нельзя было. Это был всего один миг, я скользнула из его рук, как ртуть.

Сказал ли мне Шура, что меня любит? Написал ли? Помню, что я долго хранила письмо его и письмо Сережи — из Калуги, где они учились, куда они скоро должны были ехать...

И я помню, был день, когда я узнала, что меня любит Сережа, милый, еще мальчик совсем — с этими ясными широкими глазами, на меня смотревшими.

Дни шли, мы виделись ежедневно. Шура становился мне все ближе, и все пленительней, и понятней, все нужней. А отъезд приближался. Кланя, всегда все знавшая Кланя, чужая своим девочкиным сердечком, наблюдающим девочкиным глазком, чуть дразнящим, знала все о Шуре, как об Алесе и о Гаре, — но не говорила никому — умница Кланя!

Как последние дни тяжелы! Как жгут последние встречи! Как не можешь понять, почему *раньше* не встретились? Жили рядом — не виделись, *друг друга* боялись! Тех боялись (он — меня, я — его), которые *не хотят* расставаться! И не знали этого — месяц назад!

Ночью я писала Марине. За распахнутым окном шелестели деревья. Луна, несколько часов назад желтая, большая, низко

\* Легендарный окский богатырь.

над землей висевшая, стояла в синеве маленьким белым шаром, и все ветви и кусты сада были выточены из серебра. Я не помню Марининого приезда из Парижа. Но после стихов «Молитва» в «Вечернем альбоме» стоит «20 сентября 1909 г. Таруса». Значит, в сентябре Марина вернулась из Парижа в Тарусу.

## Глава 12

### ПОЖАР. ОСЕНЬ 1909 ГОДА С МАРИНОЙ. ОТЪЕЗД

Осень 1909 года была из чистого золота. Ее вместе со мной провела в Тарусе Марина. Эфир неба от синевы лилов. Глаза – пировали: праздник природы! Когда я выходила на бугорок навстречу девочкам и ребятам, верней, сбегала к ним сверху из нашей блестящей березово-тополиной рощи, было что-то подобное опьянению.

*Уехали* Шура, Сережа, их – нет... потому и осыпанные душистым золотом осени холмы утешают!..

Потому и произошло наконец мое знакомство с Михайловыми, и оно в какие-нибудь часы стало дружбой. Что-то терзает меня в Шуручке, десятилетней, маленькой, смуглой цыганочке. Частичка души Ани искрится в ней – раннее счастье сознавать себя талантливой и прелестной, все уметь – петь, танцевать, без труда хорошо учиться... Метко ответить, на бегу одарить взглядом, приобретать друзей! Как в Клане было все размеренно, чуть насмешливо над чьей-то – Шуриной ли, моей – горячностью, так все было родственно мне в Шуручке. Но еще была нежность моего старшинства к ее младшести (что-то от Марининой ко мне?). Счастье внезапной дружбы – и спешка скорей насладиться, потому что уж скоро и Шуручка с сестрой Олей уедут, а за ними – и я... Рассказы, чтение любимых стихов, разговоры под звук духового оркестра среди редющего багрянца бульвара, вдоль ветряных привидений деревьев, сыплющих по откосу – золото. И главнейшее счастье – выйти из круга себя, залюбоваться другой душой, другими чертами...

Все в Тарусе знали Маню Е-цову и Мишу Д-сова. Все давно уже любовались этой парой. Маня тоненькая, в сиянье каш-

тановых кудрей, связанных лентой, Миша белокур, строен, застенчив. Миша уехал учиться, и вдруг... Маня стала ходить в обществе усатого ротмистра! Мы — четыре девочки — вознегодовали. И далеко над Тарусой, где в рощах было устроено гулянье, пошли следом за возмутившей нас парой, решив устыдить Маню. Мы шли — и громко, я дерзче всех, называли имя ею покинутого, а может, простерли свое вмешательство и дальше — потому что вдруг взбешенный ротмистр, оглянувшись, крикнул нам какую-то угрозу. Мы вспыхнули, чуть поотстали, но не совсем сдались, а шли за злополучной парой поодаль, как Манина совесть. Однако на таком расстоянии, чтобы ее кавалер не мог сделать попытки расправиться с нами, как он грубо обещал. От него ли, нами задетого, кем-то был пущен слух, что я с моими ребятами жгла костер и сожгла будто бы на лугу стог сена? Слух был дурен, опасен, и было трудно защитить себя. Защитил меня стог — не сгоревший. Связан ли был этот случай с тем, что действительно произошло? Темным вечером мы — Дубец, Гарька, Ленька Пудель, Молокососик и я (кажется, девочек не было) — жгли костер — далеко на лугу у сосен. Он уже догорал, как вдруг кто-то из ребят вскочил, озираясь. За ним встали и мы... Над лесом в стороне Тарусы что-то странно светлело и вспыхивало.

— Пожар! — крикнул кто-то, и, как по команде, мы бросились затаптывать угли костра. Забросав их землей, убедаясь, что угли потухли, мы пустились бежать. Когда по изгибу дороги мы вылетели на луг, пламя взвивалось над холмом нашей дачи.

— Дача горит! — охнул кто-то из нас.

Мы утроили силы. Как мы бежали! И, на бегу, я, захлебнувшись горем и бегом, отдавала распоряжения:

— Если еще можно войти наверх, в мою комнату — хватайте только ящик стола — там мои дневники, Маринины письма, ее новые стихи... — я задыхалась: — или прямо в окно кидайте весь стол — в сад! Папы, Андрея нет!

Как мы бежали! Как мы *могли* так бежать? И через горе я понимала, что Мишка Дубец и Гарька силятся перегнать друг друга, первым добежать!

Но и я бы, кажется, не побоялась огня!

— Фу-ты... Стоп! — вдруг крикнул кто-то из них и стал, тяжело дыша. — Не дача горит! Дальше! В Тарусе!

Как отлегло от души!.. Мы то бежали, то шли, а пожар отступал. Это горел сарай за Тарусой. Мы дошли туда далеко за полночь.

Роша была освещена почти дневным светом. Пожарники очень старались, но и пожар старался вовсю, а колодец был далеко. Мальчики бросились помогать. Головни летели, искры сыпались, близвисящие ветви трещали, свертываясь. Долго простояла я с Кланей и девочками — вся Таруса была тут, — до света. Сарай с сеном сгорел.

Днем до того в Тарусу прибыл калужский губернатор, князь (Горчаков? Голицын?), имя угасало в памяти — громкое. Он въехал как раз по той дороге, от Истомина, где сейчас горело. Тарусские власти, предупрежденные о его приезде, построили у въезда на Калужскую улицу высокую арку, украсили ее зеленью и цветами, задан был богатый обед. Был также и торжественный смотр пожарников. И после стольких волнений, отойдя ко сну, все власти были подняты ночью этим неладным сараем, кто его знает от чего загоревшимся... И надо же было ему стоять так далеко от колодцев... Горе-герои пожарники! Их дружно жалели все. Спорили о виновнике беды.

Усталые, мы уже на рассвете пошли назад. Звезды гасли. Арка все еще стояла. (Губернатора мы днем тоже ходили смотреть — высокий, пожилой, бравый — по арке!) Я еле шла от усталости. Ребята проводили меня домой в волшебном подымавшемся тумане. Ока разгоралась навстречу утру.

А в домике Тьо все так же шли дни, размеренные, швейцарские. В тот же час вскипал кофе на блистающей чистой керосинке, так же распахивались стеклянные двери на террасу, впуская аромат сада, так же ждали меня отборные яблоки и сливы и всплески рук о «Мунечке»:

— A Paris! Seule! Une jeune fille de seize ans! Quelle horreur! Oh, si pauvre maman le savait!..\*

\* — В Париже! Одна! Девушка шестнадцати лет! Какой ужас! О, если б бедная мама это знала!.. (*фр.*)

— Marina a déjà presque dix-sept ans! — пыталась я. — Moi, j'aurai bientôt quinze!..\* — Не помогало!

— Une jeune fille! A Paris! Dans cette horreur de ville... Ce pauvre père, il ne sait plus ce qu'il fait! Toujours occupé avec son musée. — И вдруг сламывалось ее настроение: — Ah oui, ce musée, c'est une grande chose, grand-papa le disait toujours. Il faut bien espérer que tout sera bien avec Мунечка, que le Bon Dieu la gardera!..\*\*

И она обнимала меня, и мы выходили на террасу и с нее на дорожку, между кустов сирени, как на картине Поленова «Бабушкин сад».

С Добротворскими я поехала на лодке (или на пароходе?) за Велегож, в имение Барановых. Отделенный Окой, тульский берег был продолжением той части калужского, где пропадало в дубовых дубравах и долинах с незабудками имение маркиза Кампанари, Ладыженское, там я была год назад (только год назад? Невероятно). Пейзаж имения Барановых был другой: здесь тульский берег, плоский, взнесен лесными террасами на такую высь, что с нее был восхитительный вид на окрестные берега и изгиб Оки, на вдали угасавшую, мерцавшую куполами своих двух церквей, Тарусу. Отсюда до нее было так далеко, как от Тарусы до поленовской деревни Бёхово, церковь которой все наше детство представляла нам с Мусей розовым огоньком на закате, в те ранние годы, когда мама, еще не уверяясь в нашей двойной близорукости, дивилась, что мы совсем не видим той ниточки поезда, так ясно видного ей. Густота лесных полян, одна над другой, вдоль вившейся вверх дороги, была сказочна. Тут могла жить die Waldfrau\*\*\*... Хвоя вперемежку с листвой. Наверху перед домом — куртины, запущенные. Сторож впустил нас в дом. На столе одной из комнат лежала раскрытая книга о Наполеоне... Пыль, тишина...

\* — Марине почти семнадцать! Мне скоро пятнадцать!.. (фр.)

\*\* — Девушка! В Париже! В этом ужасном городе... О, этот бедный отец уж не знает, что делает! Все печется о своем Музее... О да, этот Музей — великая вещь, дедушка всегда говорил это. Ну, надо надеяться, что все будет хорошо с Мунечкой, Бог ее сохранит!.. (фр.)

\*\*\* Лесная фея — персонаж немецких сказок.



А за домом — поля, скучные, ровные версты до станции Тарусской.

По калужскому берегу Оки — литые из золота рощи, холмы. У дорог — синие цветки (позднее узнала — цикорий), осенние цветочки, те, нашего детства, мамины, на толстом влажном стебле, с кроной мелких — розовых — «незабудочек». И те «ненастоящие». Иммуриели — пыльно-серые, легкие. Мама их так любила... Они есть, а — мамы нет...

Хлеб убран. Везде — запах соломы. Холодные утра и вечера. Скоро Москва! На даче — топят, но печи дымят, и я дольше задерживаюсь у Добротворских — «погреться». Вздогаю наверх, в Санину комнату, — он уехал, и в углу сложены огромные желтые сливы — как крашенные яйца. Лежанки, книги, мешок сушеных яблок, орехи. Скрип двери, входит высокий добрый человек с синими глазами, седой, говорит на «о» — дядя Ваня. В крылатке — ездил к больному в уезд, был дождь. Елена Александровна зовет к столу — он заставлен лепешками, пирожками, вареньем, смоквами; свежий мед. Оса вьется над медом. Я зову Евгению Николаевну. «Сейчас!» Она говорит с Еленой Александровной о монастырьке в Дугнах. Та напишет о ней письмо игуменье, знакомой, и, может быть, ее согласятся принять без денег.

Самый конец лета с нами в Тарусе провела приехавшая из Парижа Марина. Застала меня с сонмом девочек. Читала нам новые стихи, рассказывала о Париже, о Лувре, о Саре Бернар. Прочла написанное недавно «В сумерках».

Сумерки. Медленно в воду вошла  
Девочка цвета луны.  
Тихо. Не мучат уснувшей волны  
Мерные всплески весла.

Вся как наяда. Глаза зелены,  
Стеблем меж вод расцвела.  
Сумеркам — верность, им, нежным, хвала:  
Дети от солнца больны.

Дети — безумцы. Они влюблены  
В воду, в рояль, в зеркала...  
Мама с балкона домой позвала  
Девочку цвета луны.

Марина посвятила его Клане Макаренко, которая ей полюбилась. Шурочка, как и мне, напомнила ей — чем-то — мою утраченную Аню. Она, тоже настороженная ко всему, что касалось искусства, слушала Марину внимательно и восхищенно. Марина рассказывала о приезде в Париж брата Андрея, о их встречах. Вечерами приходили Дубец, Гарька, Ленька Пудель — после своего рабочего дня: Гарька и Ленька помогали по дому, Дубец с отцом убирал огород, рыбачил. Но вечер был их, и они проводили его неизменно с нами. Мы ходили вдоль Оки по входу в Пачёвскую долину, к соснам, и там, на неизменном нашем месте, жгли костер. Вставала низкая большая луна, рыжим шаром, делалась желтая, подымаясь. Марина рассказывала о Франции. Когда мы опоминались — высоко в небе стоял маленький голубой шар. Мы тушили костер и пускались в обратный путь!

Видимо, к этому времени относится и письмо Марины к Эллису с описанием ее сна — в нем значатся слова: «Приезжайте к нам в Тарусу».

Ища зачем-то Марину, я забежала в ее комнату. Ее не было. На столе лежала распахнутая тетрадь стихов. Я не удержалась от искушения. На последней исписанной странице, со многими поправками, я прочла два следующих четверостишия:

Всего хочу: с душой цыгана  
Идти под песни на разбой,  
За всех страдать под звук органа  
И амазонкой мчаться в бой;

Гадать по звездам в черной башне,  
Вести детей вперед сквозь тень...  
Чтоб был легендой — день вчерашний,  
Чтоб был безумьем — каждый день!

Дальше было бело. Я побежала искать Марину.

Матушка, мать Шуры и Сережи, Надежда Даниловна, пригласила меня к себе. Видно, захотела узнать поближе эту Асю; я волновалась, конечно, но еще больше этого волнения было желание увидеть дом, где они жили, с детства, их сестер, мать.

Напротив Воскресенской церкви, где отпевали маму, с горы над левым изгибом Оки — чудный вид! Там стоял длинный деревянный дом с крылечком и большим яблочным, ягодным садом. Я жадно впивала дух деревенских уютных комнат — здесь они росли, Сережа и Шура! Скрип дверей, особенный запах (в каждом доме ведь свой), зелень в раскрытые окна, гостеприимство их матери, смуглой, с проседью, пожилой женщины со строгими, внимательными, на меня добро глядящими глазами. И как странно видоизменение, но волшебно похожа она на Шуру!

Мы сидели за чайным столом, варенья, печенья домашние, незнакомые чайные чашки. Сестры Соня и Верочка были типа Сережи, темнобровые, светлоглазые, ясные. Мне больше нравилась младшая (почти моих лет) Верочка. Соня была уже взрослая и казалась строга. Мать любовно глядела на сыновей, всех, но особенно на младшую, лет шести, Танечку, кудрявую, голубоглазую, как отец. Все обращались к ней с нежностью — маленькая среди больших!

Вот еще одна семья, где друзья и где совсем, совсем другая жизнь, чем наша... Гляжу на все с сожалением и грустью, все летит, проходит, как сон! Соня мало на меня обращала внимания, Верочка взглядывала без улыбки, из-под темных бровей, светлыми прозрачными глазами. Я дичилась ее.

Когда я вышла от них — небо было розовым шаром, и розовая лента Оки отражала его, опрокинуто, как на картинах Борисова-Мусатова, тая, темнела, дальше у пестрых осенних берегов.

Память — это шкатулка, и мы, видимо, из нее вынимаем. Потому что вот что случилось со мной: во все 53 прошедших года я всегда знала, что у Успенских было два сына, две дочери. Но когда я стала вспоминать их дом, тот вечер, чтобы его описать, вдруг легко, как видение, скользнуло по той их комнате, невысоко над полом, у чай-

ного стола что-то розовощекое, и до плеч светлые волосы. Удивясь, я сказала себе: «Что это, вспомни!» — эти слова себе, шепоткой вираж-фиксажа подбавили остроты в раствор памяти и, послушно, там проявились голубые глаза, детские, чуть исподлобья. Тогда мгновенно я перенеслась в столовую теперешнюю, Шуры 70-летнего, где я недавно, глядя на его семилетнюю внучку Танечку, сравнивала, с кем ее семейное сходство? И оно не давалось: в мать? в отца? Сквозь беседы я себе беспокойно сказала: «Не то!» Но и все.

Ничто не проявилось! Теперь я знала, с кем я ее сравнивала тогда: безотчетно с той девочкой, с забытой нацело сестрой Сережи и Шуры! Но постойте! Ведь ту звали *тоже* Таня? Я еле дождалась утра. Как Ираклий Андроников в поисках портрета или строки Лермонтова, я бросилась в бой за свою правоту. (Но как спросить, не потревожив раны? Ведь та девочка, может быть, умерла? Даже наверное, я о ней с тех пор никогда не слыхала!) Звоню к Шуре. Он у телефона.

— Шура! (Сперва говорю ему про глазного врача для внучки. Затем, все равно, оно ему *будет* сразу): — Почему вы свою внучку назвали Таней?

Шура медлит. Может быть, давал урок математики и не возьмет в толк, чего эта 68-летняя Ася... Иду на помощь:

— У вас ведь, кажется, была еще маленькая сестра?

— Да, была. (Ну вот, значит.)

— Как ее звали?

Совершенно непонятный ответ:

— Тамара.

— Тамара?! — Не помню, спорить нечего, но и с собой попробуй, поспорь: отчетливо знаю, что ту, у чайного стола, 53 года назад звали не Тамарой, а Таней.

— Она умерла?

— Да.

— Маленькой?

— Лет пяти-шести.

«Значит, вскоре после нашего тогда знакомства... Так... Так...» Перевожу разговор на его внучку Таню, на ее зрение,

на врача. И вдруг: «Шура, дайте мне телефон и адрес вашей сестры Веры!» Записываю, кладу трубку. Через полтора часа я вхожу в высокий арбатский дом, в комнату Веры. Сквозь приветствия разговор о ее племяннице, дочке Сережи, светлоглазой, как он. Прорываюсь в вопрос об умершей Тане. Ответ ошеломителен:

— Таня не умерла, жива! Вон какая толстенная, я сейчас карточку покажу...

Миг обалдения. Затем сразу дуэтом, я — в голову, она — вслух:

— Это Тамара умерла!

— Таня, — продолжает Вера, — родилась зимой, а весной умерла Тамара лет так шести, в 1902 году.

(Значит, в 1909-м, в то лето Тане шел седьмой год! Все так!)

— Но почему же Шура мне не сказал про Таню и про Тамару, Верочка?

— Да вы же говорите, его спросили: у вас была маленькая сестра? Он и сказал про Тамару! А Танька, какая же она была? И какая же маленькая? Здоровенная такая...

Ем яблочный пирог, говорим. Итак, я нацело забыла ту Таню и нацело ее из шкатулки вынула — и лицо и имя: когда понадобилось! Удивительная закономерность! Чудеса...

— А я вас тогда, Ася, боялась: вы все стихи говорили, книг много читали, языки знали... Нет, думаю, не могу я с такой девочкой дружить... особенно когда я вас позже увидела: с вами мы почему-то оказались в имении Кампанари, маркизы. Рита и Марина — дочери ее, помните?

— Разве мы еще в 1907-м...

— Год не помню. Только вы тут не девочка были, девушка. Медальон на платье носили и все с маркизой по-французски, а я слушала и дивилась...

Но теперь дивлюсь я: так что же такое? Вот тебе и «шкатулка»! Хоть убей, не помню себя у маркизы во второй раз... И не потому, что стара, а и никогда не вспоминала второй визит к Кампанари, куда он провалился? Я говорила с маркизой? Готова спорить, но Вера помнит меня, выросшую. И этот французский разговор и медальон бабушки, который я носила после 16-ти лет! А я... вот тебе и сюрприз памяти...

...Утро отъезда было еще золотее, еще синее всех утр... Мне грустно, но я очень счастлива!

Когда наши тарантасы отъезжали и поравнялись с мостиком у бугорка — там, где летом росла ежевика, и я, и провожавшие меня ребята — Мишка Дубец, Гаря, Пудель, Молокососик, Кланя, сестры Михайловы и мои Лиды увидели наверху, «над вершиной», на холме, полуспрятавшихся за кустами — наших врагов, Шурку Шпагина и его друга Ветку: они тоже пришли проводить... Сердце сжалось (от волнения, нелепой вражды, так щедро смытой этим вниманием), а потом стало шириться счастьем — почти больно дышать.

Великолепной, флорентийской синевы небо сверкало над блещущим в ветре золотом ветвей, похожих на гроты и на волны, — но они рвались от стволов. Ветер стихал, и они замирали литыми кущами такого невероятного цвета, что глаза пили и не могли напиться. А через минуту и восхищение стихло, потому что пошли литься слезы прощанья, губы слизывали их от застенчивости, стыда. Тренькали бубенцы, Евгения Николаевна считала, все ли вещи... (Если бы знала я, что мы не вернемся сюда долгие годы!)

В сентябре Марине минуло семнадцать, мне — пятнадцать лет.

Часть десятая  
МОСКВА. САКСОНСКАЯ  
ШВЕЙЦАРИЯ

Глава I  
ЮРИЙ. АНДРЕЙ. НАШИ ВЕЧЕРА.  
ПЕРЕВОДЧИК ГЕРАКЛИТА НИЛЕНДЕР.  
ВСТРЕЧА С АНДРЕЕМ БЕЛЫМ

В Тарусе ли еще или уже в Москве Марине в голову пришла мистификация вроде «Пютуа» из Анатоля Франса? Теперь никто не помнит ее. Устно и в письмах Марина рассказывала небывшее приключение — похищение меня из Тарусы неким *Юрием*, наше (его и меня) пребывание за Окой, в пещерах Улая, поиски, погоню, сопротивление и наконец мое возвращение домой в отчаянии после того, как на моих глазах вооруженные люди увели связанного Юрия, — настоящая глава из романа! Поборов мое удивление и неохоту жаркими уверениями, что: «Только подумай, как будет интересно!..» — Марина просила меня не разоблачать выдумку. «И даже очень правдоподобно, что ты отмалчиваешься, скрываешь... Пойдет такая легенда! И никогда не умрет совсем...» Я пожимала плечами, смеялась.

— Ну а если до папы дойдет?

— Во-первых, не дойдет — кто ж ему скажет? — а затем — ведь он-то знает, что этого не было, скажет «чепуха», и всё.

И Марина стала писать письма друзьям о моем удивительном Юрии, у которого карие золотые глаза — чудные! — и совсем белокурые волосы, «а ходит он так легко, как будто не касается земли»... Волосы Юрия (по всегдашнему любованию Марины выющимися) вились.

Она так упоенно о нем писала и читала мне, что я с каким-то оттенком зависти к той Асе, которая решила бежать

с этим Юрием на Улай, все больше втягивалась в игру, в фантастический образ Юрия.

Помню, как в зале я в ответ на вопрос какой-то Марининой гостьи улыбаюсь и отмалчиваюсь, храня уговор с Мариной. Но так как ответные письма о странном приключении были, думаю, куда менее романтичны, чем Маринины, то дело о Юрии стало понемногу угасать.

Стареющая Евгения Николаевна тем временем собиралась в путь. Мечта ее наконец воплощалась. Ответ из калужского монастыря пришел утвердительный, и она в волнении укладывала свои скромные пожитки, снимая со стен иконки. На ее худых смуглых щеках появилась тень румянца, а я смотрела на нее, сопоставляя с Лизой из «Дворянского гнезда», — и недоумевала. В последний раз коснулись маленькие старые руки клавиш рояля в нашей зале. Аккорды «Молитвы Девы» медленно зажигали тишину дома, сумерек перед отъездом. И ее, как Варвару Алексеевну, мы проводили до ворот — остался наш дом снова ничей, наш, без лампы, с нами и нашей тоской.

Брат Андрей заходил к нам, и он и Марина вспоминали Париж, Лувр, Нотр-Дам, лавочки вдоль Сены. Андрей и тогда уже заинтересован был стариной, различием ее подлинности и подделок, которыми, по его рассказам, кишели антикварные лавочки Парижа.

У Лидии Александровны мы встретили ее хорошую знакомую, почти подругу, о которой давно от нее слышали, Елизавету Николаевну Рахманинову, высокую, статную женщину с интересным надменным лицом. С мужем своим, генералом Рахманиновым, она, насколько я помню, рассталась, жила одна. Много слышав о нас от Драконны, обратила на нас внимание. Что она была умна, что это была сильная личность, что в ней был широкий размах и даже нечто авантюристическое — было ясно, но полюбила ли ее Марина — не помню, я же как-то сразу к ней привязалась, и она говорила со мной, была ласкова, звала меня «маленький Тролль». (Это было в мои четырнадцать лет, еще год назад, и сейчас знакомство длилось.) В разговоре с Драконной Елизавета Николаевна упоминала писателя



Алексея Николаевича Толстого, своего сводного брата, и всегда насмешливо. В их семье была какая-то тайна, из темных о ней слов я еще менее помню что-нибудь, кроме того, что он считает у себя право на титул, а в то же время на него не имеет права. Позже, увидев Алексея Николаевича у М.А.Волошина, я нашла сходство в его лице с лицом Елизаветы Николаевны. И та же «барская» дорожка меж носом и ртом.

Приходил Эллис. Если папы не было, мы оставались внизу, бродили по зале, гостиной, говоря и не замечая, что ходим, опоминаясь только от звука закрываемых со двора ставень, отчего вдруг начинала слепнуть зала, двумя окнами выходящая во двор, тремя окнами на улицу, затем она темнела вся. Тотчас же обозначались темные провалы зеркал, отражавших свет низкого окна столовой, и зала обретала выход куда-то, через черное зеркальное серебро. Обе, одним движением, мы брали под руку Эллиса, лунного спутника, — так было вернее во вдруг наступившем мраке, в котором вещи переставали быть собой. «Так залу окружив трикраты, / Тройной тоскующий тростник, / Вплываем в царство белых статуй / И старых книг...»

Высокие белые двустворчатые двери в гостиную и дальше — в кабинет — были раскрыты, стук с улицы гасил окна гостиной. Распахнутые двери давали ощущение коридора между залой и кабинетом: его глубина пропадала во мгле, ощущалась только та ее часть, которой мы шли, а за нами, в кабинете, тонули во тьме: Зевс на мамином книжном шкафу, папин письменный стол, рама с фасадом будущего Музея, книжные полки и в углах, у окон гостиной, бюсты Аполлона и Дианы. Удивительно ли, что погасало все за окнами и в наступившем царстве вечера просыпались голоса, сказки Эллиса.

В этих многочасовых вечерах отсутствовал быт. Не сходи с верха брат Андрей взглянуть на часы — почему запаздывают с ужином, не беги через двор в ответ на звонок горничная, накинув шаль, не начни она зажигать лампы, не внеси она кипящий самовар — «Барышни, пожалуйста ужинать!..» — мы бы никогда не вспомнили, что у нас «гость», что гостя надо угощать, что пора — есть, что это — наш дом, Москва.

И если мы *сдавались* на самовар, шли в столовую, звали туда нашего Льва Львовича, и немножко знобило тоской, притаившейся зальным холодом, когда, выйдя из высокой залы в низкую, теплую — печь горит — столовую, мы садились за круглый стол с калачами, ватрушками, ветчиной, маслом, в не смолкающем торжестве самовара... Щурясь от света, мы брались за еду неохотно, со стесненным сердцем видя, как — почти жадно, быстро — ест Лев Львович, стыдя себя, что не раньше его покормили, — ведь у него нет дома! Мы наливали Эллису чаю, подвигали еду — как во сне.

И вдруг, переглянувшись обе, в тот же миг вспоминали ту, которой уже четвертый год нет с нами.

Приходил папа, в кабинете загорались свечи под абажурами, и дом, преобразясь в преддверии некоего храма науки, начинал служить ей. Мы же уходили наверх, к себе, в низкие уютные комнаты, а внизу оставались папа за письменным столом и фасад будущего Музея — высоко надо всем...

У брата Андрея наверху было тихо, если только он не играл на мандолине и не бранил собаку (теперь это была другая — Гера, сеттер-леверак, белая с серым, или Альфа, пойнтер, белая с рыжим?). У Андрея по-прежнему никто не бывал в гостях. Он жил очень уединенно. Он теперь уже был студент (юрист, к огорчению папы), и мы с Мариной любовались им — так он был хорош в сине-зеленой (электрик) студенческой форме с золотыми пуговицами — стройный, тонкий, узколицый, с каштановыми волнистыми прядями волос. Он напоминал молодого генерала 1812 года. В нем была гармоническая смесь женственного начала (сходство с матерью) с мужественным мужским началом, отрывистым, насмешливым, через застенчивость, которую он побеждал повелительными окриками. Была в нем, теперь выросшем, уже и грубоватость, и — вкось, быстрый — осуждающий бросок взгляда, темно-золотого, нерусского, напоминающего Италию — в нем и в Лёре, со стороны матери Варвары Дмитриевны, была румынская кровь. Но друг на друга они совершенно не походили.

Любил ли нас, Марину и меня, брат Андрей? Сестер, во всем с ним не схожих? Он посмеивался над нашими «фантазиями», держался отдаленно и почти пренебрежительно,

но не мог не признавать приоритета Марины в ученье, ее поэтического таланта и волевой ее сущности. И может быть, немного любил меня, младшую, жалел — теперь, когда мамы не было.

А для нас и для наших друзей Андрей был неким украшением дома. Эллису же он был еще один романтический образ, и, увидя Андрея, он провожал его восхищенным взглядом, как будто ему довелось встретить одного из героев им создаваемых сказок. И входил с нами в нашу бывшую детскую — длинную, в три окна: два во двор, а третье — в ветви серебристого тополя над выступом парадного подъезда.

С Эллисом у Андрея не создалось никаких отношений: как все от нас идущее, он был чужд Андрею, но Андрей никогда не позволял себе ничего враждебного по отношению к нашим знакомым, а с Виноградовым даже охотно, по-видимому, встречался.

Летели желтые листья, шумел ветер, а мы уносились вслед за Эллисом в его тронутый колдовством рассказ.

— Все было как надо, как должно быть, — говорил он, и его сужившиеся над чьей-то презренной благополучной жизнью глаза глядели нам в самое сердце, пробуждая такое же, ответное, — вся семья села в поезд — с нянюшками, мамушками, баулами и корзинками, и поезд отошел от города, где они до сих пор жили... Но никто не заметил, что они сели не в тот, — Эллис взвился, в зловещем восторге, — поезд... И вместо какой-то Пензы, куда они думали ехать, они приехали в какую-то Вятку... И все в их жизни пошло — навыворот... — При этом слове только что загоревшееся в нем торжество вдруг, как с отвеса, оборвалось во что-то ему неожиданное — в горечь. В слове «навыворот» что-то иное открылось ему, что-то родное, и уж не восторг попиранья чьего-то «пензенского» ненавистного благополучия полнил его, а печальная переключка с кем-то, у кого тоже пошло все — «навыворот», как когда-то пошло у него... И мы, согласно, как скрипка — смычку, отзываемся всею глубиной сердец на бунт и печаль его нам не известного прошлого, откуда он пришел, как домой, в наш дом...

Был вечер, уже горели по дому лампы, от вещей лежали густые тени, за окном была тьма...

Марина зачитывалась Гёте и Гейне, немецкий не переставал ей быть родным. Ее увлечением были оды Виктора Гюго, посвященные ее кумиру — Наполеону и его сыну — Наполеону II, — она, при ее феноменальной памяти, едва ли не все их знала наизусть, упоенно повторяла. Не в 1910 ли году, наступавшем (думается, так), должна была приехать в Москву великая актриса — Сара Бернар?! Еще от мамы слышали мы о ней и о ее сопернице по мировой славе Элеоноре Дузе. Марина, конечно, знала о них все, что она могла найти в книгах. От мамы знали и о разнице их игры — о патетизме Сары Бернар, о какой-то иной, сверхчеловеческой игре Дузе.

В 1909 году летом Марина в Париже увидела на сцене Сару Бернар. После одного из спектаклей («Орленка» или «Дамы с камелиями») Марина дождалась ее и передала ей фотографии — для подписи на память. Два своих портрета знаменитая актриса подписала: «Souvenir de Sarah Bernard», а на третьем, где она была неудачна, где светлые ее волосы казались седыми, она написала размахисто, через лицо: «Ce n'est pas moi!!!»\* (три восклицательных знака через рот и нос). Марина говорила с восхищением: «O la grande Sarah» («великая Сара»), как ее называли французы.

Скончалась вдова доктора Захарьина, у которой я гостила летом в Куркине. Из Петербурга на похороны бабушки приехал Гриша Навроцкий. Мы шли с похорон по Никитской и разговаривали по-французски как взрослые о превратностях и неожиданностях судьбы. Он рассказал мне о том, как внезапно изменилась жизнь его бедного гувернера: «M-elle Assia, это просто роман: он в одну минуту — кто-то там во Франции умер из далеких родственников — вдруг получил огромное состояние и графский титул! Он в Париже теперь. Comte de Lunquières!\*\* Каково?!»

Я шла, вспоминая с улыбкой «...что человек 23-х лет, искусенный во многом и многом, испытывает к Вам, мадемуазель, куда больше, чем просто симпатию...» Он, конечно, меня не забыл!

\* «Это не я!!!» (фр.)

\*\* Граф де Лонкьер! (фр.) — Примеч. ред.

Все чаще садилась за рояль Марина, по памяти своих отроческих лет играла то, что еще не забылось, или разбирала по нотам.

Я становилась рядом, руки — о печку, и слушала, и мы переговаривались, а вокруг вечерело...

Затем Марина возвращалась в свою темно-красную комнату с маленькими золотыми звездами на обоях, и я тоже шла к себе, к дневнику.

Еще год назад мы встретили у Виноградовых друга Толи, о котором он и до того часто упоминал, как и о Сереже Соловьеве, Владимира Оттоновича Нилендера, молодого филолога, папиного ученика. В тяжелых темных глазах Соловьева, в его известности и в его необрращенье на нас внимания нас что-то отпугивало и смущало. «Нейландер», как мы почему-то выговаривали его фамилию, наоборот, был приветлив, нервно оживлен, весь как будто на развинченных шарнирах, жесты его были гибки и внезапны, лицо бледное, брови над желтыми глазами подымались треугольниками, и весь он был из каких-то всплесков — движений и речи, вспыхиваний, улыбки, глубокой, длинной, появлявшейся там, где у другого был бы смех. Но была странная, обаятельная манера еле уловимой насмешливости надо всем, и над собой тоже, шедшая из неведомой, живой и доброй глубины. Что-то было родное в нем. Мы его видели раз или два и недолго — мы едва знали что-либо друг о друге. Раз как-то, упомянув о нем, Толя сказал, что Ниландер был моряком. Это не вязалось с его неврастеническим, ироническим обликом, но добавляло нам к его непонятности волшебства. Его имя в разговоре называл Эллис, он жил в тех же меблированных комнатах на Смоленском (там жил и Андрей Белый). Называли еще Бориса Садовского, тоже там жившего или бывавшего, в юности — «белоподкладочника», поэта. Гуляя, мы зашли к Эллису в его «Дон», в уютную комнату в пустом коридоре, слушали стихи, мешали ложечкой золотой столбик чая в стакане — и уже собирались домой, когда в дверь вдруг вошел незнакомый человек. Это был Андрей Белый. Его донельзя светлые, не то пристальные, не то мимо глядящие поразительные глаза на миг остановились на нас. Прозвучала наша фами-

лия: рукопожатие — и мы ушли. Это была пора, когда все казалось значительным. Взгляд — вещим. Встреча — неслучайной. Улыбка, или силуэт человека, или голос его — все вырастало в символ.

Есть ли время фантастичнее, беспокойнее юности? Разве детство... Но *кто* назвал счастьем их вдохновенный хаос?

И везде — соблазн, и везде — разлука, и всему (мука гордости) — сомкнутые уста. И — *нет* слова! Целый день. Целую юность — слова-прятки, слова-завесы, слова-призраки, пока придут слова-признаки, названья вещей.

## Глава 2

### МАРИНА И ПАПА. БРЮСОВ. У ДЕТЕЙ ЮХНЕВИЧ. ПРОСВЕТ В ДЕЛЕ ПАПЫ С МИНИСТРОМ ШВАРЦЕМ

В гимназию я не ходила, училась дома. По школьным предметам не помню учительницы; ко мне приходила пожилая преподавательница, дававшая мне уроки французской литературы. Из всех этих занятий я запомнила только: «Le Cid» Корнеля, что-то о пьесах Мольера, о Расине, мою вежливую невнимательность и неизбежную скуку. Галю я видела теперь реже, но дружба длилась, мы бывали друг у друга, я ее все так же любила. Об Ане Калин вопросов не задавала, избегая даже услышать ее имя: рана моя о ней не зажила. (Может быть, только телесные раны обладают этим свойством...)

Марина тоже скучала в новой, опять, гимназии (Брюхоненко, на Кисловке) самым отчаянным образом. Мы говорили о том, что, может быть, я, весной сдав экзамены, на будущий год буду ходить туда же, — хоть в переменах будет нам с кем разговаривать: друг с другом. Может быть, Марина скучала по мне в Париже летом? Или я, вырастая, с ней сближалась? Но наша близость к этому времени достигла некоего апогея.

Была ли со мной Марина у Юркевичей, когда я первый раз увидела Вертоградского, друга Сониных братьев? Или это было еще год назад? Невысокий, но не узкий в плечах, в студенческой зеленой тужурке. Открытое лицо, прямой,

веселый взгляд карих глаз, правильные черты. Необычайно мил. И я уже провалилась в счастье видеть его, весь вечер мое внимание — ему. Но мне же еще было тогда 14 лет, я — девочка, исполненная надменной грусти. «Как я не похожа на Наташу Ростову!» — думаю я позже, читая о ней. Она кажется мне точно с другой планеты. О, она очень мила. Я ее очень люблю, но из другого она века, что ли, когда все было проще... Нет, из другого теста... Ее чувства так просты! Она хочет, чтоб ее поцеловал Борис (сцена с «поцелуйте куклу!»). Мне и брезгливо и страшно думать о поцелуе. Это совсем не то, чем «горит сердце». И оно (сердце) настолько лучше выражает себя — в словах (иронических), в шутке. Это — родное! Взглянуть — отвести глаза. Смотреть — слушать (и говорить) стихи. В воздух их! Если не в его слух! Целый мир обретая в их ритме или в том, что он обратил на тебя внимание — в рукопожатье его, прощальном. После которого вся бесконечность мыслей о нем! До — второй встречи? Может быть, и без нее... И это все предать поцелую? Нищета!.. Я этого не говорю Марине потому, что она чувствует так же! Она, с ее преклонением и мечтанием, с ее — *Amour Bleu!*

— Марина, ты помнишь, были митенки? В детстве? — надо сказать что это были шерстяные перчатки без пальцев для игр в нашей холодной зале после теплой детской. — Какая странная вещь! И для чего они были...

— Я их ненавижу, — сразу отозвалась Марина, точно именно о них думала все время. — По-моему, *мне* мама их никогда не надевала (с сомнением). Такую гадость! Да я бы их все равно сорвала...

Увлечение Марины Наполеоном не утихало. Она его прятала в себе, но оно, как солнце, рассыпало из себя протуберанцы. А комната ее по-прежнему пылала портретами — его и его сына. Их теперь было столько, что не хватало стен: Марина купила в Париже все, что смогла там найти. И в киоте иконы в углу, над ее письменным столом, теперь был вставлен — Наполеон. Этого долго в доме не замечали. Но однажды папа, зайдя к Марине за чем-то,

увидал. Гнев поднялся в нем за это бесчинство. Повысив голос, он потребовал, чтобы она вынула из иконы Наполеона. Но неистовство Марины превзошло его ожидания: Марина схватила стоявший на столе тяжелый подсвечник — у нее не было слов! Это был жест отчаянья. Самозащита зверя, кусающего, когда отнимают берлогу. Такой берлогой и был Марине весь этот культ Наполеона, и все ее культы — и Нина Джаваха, и Надя Иловайская, и Анна Ивановна Изачик, и Мария Спиридонова, и лейтенант Шмидт, — все, кто прошли по этой земле, страдая, утратив детскую веру, ушли за ту смертную завесу, за которой не было ни света, ни воздаяния, ни утешения, только один мрак, одна непонятность и тайна. Папин крик на нее мобилизовал мгновенно все защитные силы. И так из этого дома взяв самую крошечную комнату, она хотела ее в *полное* владение себе. Посягательства на ее мир тут — она не могла дать и отцу. И он понял! Не ее, а накал ее непонимания. Пожалел — и ушел, в двойной горечи затворив дверь. А она, может быть, плакала, бурно, как в детстве, каясь в невозвратно содеянном.

С семнадцати лет Марина стала курить. Сперва — тайком. Щадя папу, не курила при нем. От Лёры, которую мы видели изредка, она не скрывала этого, но вообще уже не была близка с ней. Уходя с головой (и выше головы!) в чтение, в страсть любить книги взамен людей, зарываясь в них, как зверь в шерсть матери, она жила не столько в доме нашем, сколько в том доме, где жил Багров-внук, в семейной александровской хронике, в парижской мастерской Марии Башкирцевой, где стояли на окне гиацинты или гвоздики, а под ними гудел и синел Париж с Сеной и Нотр-Дам. В романах о нем Гюго, в Жан-Поле, в Гёте, в страстно любимой книге Сельмы Лагерлеф «Йеста Бьёрлинг»... Не хватало глаз, часов в дне. Марина пробуждалась — в меня, в Эллиса или в тетрадь стихов. Но было ли и это пробуждение? А Лёра жила, как нам казалось, трезво и прозаично: преподавала где-то, работала в воскресной школе, водила экскурсии, развивала и просвещала людей. Она жила отдельно, ко мне относилась при встречах тепло, но в жизнь дома не входила. С Мариной после расхождения их не общалась. Бывала



в Трехпрудном помалу: приедет за чем-нибудь — и уйдет. В ее флигеле теперь жили чужие нам люди.

Эллис своими восторженными рассказами о Брюсове пробудил во мне страсть к его стихам. Кроме некоторых в детстве заученных стихов Лермонтова, Пушкина, Некрасова, любившая только стихи Марины и Эллиса, я вошла, как в волшебный паноптикум, в тома Валерия Брюсова. Это началось еще год назад. Особенно — до сих пор — помню «Миньону», «Помпеянку», может быть, оттого, как теперь стараюсь понять, что в обеих этих вещах была та же тема плотского общения, которая так пугала мое отрочество и была, как и для Марины, преградой в жизни: в этом принять участие, в таких формах влечения людей друг к другу? И в стихах — в одном была гибель девушки, ее обреченность, а в другом — непонятная мне какая-то «необоримая» страсть — как бы стояли памятники разным граням этой царящей в мире темы.

Мне думалось: как хорошо было, что на них пал горящий пепел, не дав им опомниться и — может быть — возненавидеть друг друга! Смерть здесь была — памятник жизни!

Фанфарами звучали зовы Брюсова к героям истории, все прощания — расставания — разлуки с теми, кого он любил. Роковая на земле мимолетность мгновения и обреченность этого «tout passe, tout casse, tout lasse»\* — выражение, знакомое с детства, — им, может, быть, мучились столькие — до нас... Плывшая по течению, себя не защитившая — Миньона.

Едва ли ей было четырнадцать лет,  
Так задумчиво гасли линии бюста,  
О, как ей шел малиновый цвет,  
Символ страстного чувства!

Все мужество во мне слилось — спасти ее, вырвать! Поздно!..

Альков задрожал золотой бахромой,  
Она задернула длинные кисти.

\*«Все разбивается, все утомляет, все проходит» (*фр.*).

О да! Ей грезился свод голубой  
И зеленые листья...

Отныне и все тарусские ветви, некогда детские, были отравлены этим ее, ей не сбывшимся, сводом... Иволги и все птицы будут петь это!

Я запоем читала Гюголя. Смерть Андрия, смерть Остапа! (Вчера ее мне напомнил Толя Виноградов: «Батько, слышишь ли...») И смерть Тараса Бульбы. Я закрывала книгу, и тут была, может быть, вся моя разница с Мариной — выбегала, на ходу одеваясь, во двор. Там был синь от мороза воздух. Тополя — в инее. Или — весна. Пахло тополиными почками. Кролик убежал за акации. Гремел цепью дворовый пес, возвращая к жизни и к детству. И я бежала по мосткам в кухню — за черным хлебом, и в миг отрывало меня от всех смертей и печалей — воркованье голубей, лопухи, завивавшиеся в траве, — или кусок льда, звавший к конькам лететь, как птица! — и уж поедает из рук моих дар Барбос, благодарно маша своим черным хвостом, «страусовым пером», — и не нахлебаться мне счастья жить! Если весна — шляпу, соломенную, и через две ступеньки — к Марине:

— Идем! Ну идем! Ну кончай скорей! Куда? Куда хочешь! В синемаотограф! А потом, хочешь, к Кремлю? Почки уже зеленые... — точно это наше с ней производство!..

Марина одевалась, мы шли.

Там, за пределами не нашего, но обожаемого нами дома, тополиного, собачьего, голубиноного, кроликов двора, — нас ждала и встречала Москва с ветками зелени или в инее, с Эйнемом, Сиу, Альбертом (при каждой из этих кондитерских были детские «кафе» и — у каждой свои особенные конфеты).

На Кузнецком был книжный магазин Вольфа, тот, мамин, Мусин, куда мы ездили за книгами, когда Марина их уже понимала, а я еще не умела читать. Я, как Муся, жадно нюхала их запах — печати, новизны, тайну неразрезанных листов. Теперь мы шли не туда, а к Гутье — он уже, наверное, приготовил Марине что-нибудь из Парижа...

И особый мир — наши хождения в бани, с горничной или экономкой, в палашевские, в красном кирпичном доме (они до сих пор там, в неузнаваемой Москве!). Запах мыла, пар,

сырые от мокрых ног дорожки, диваны, покрытые чехлом, где одеваешься. И всегдашняя мечта Марины о кудрях. Мне: «Счастливая! Выются!..» И возвращаемся домой к самовару.

Нерушимо жили и в моем, и в Маринином сердце — наши, мамина и Андрюшина (он давно ее отдал нам), музыкальные шкатулки, их золотистые и серебряные звуки, все те же «Торреадор», Экоссез, «На голубом Дунае». На это мы сдавались сразу — и нацело.

А рядом с революционными девизами, выжигаемыми Лёрой на разрезательных деревянных ножах и шкатулках, жило еще совсем другое, противоположное девизам — увлечение молодежи книгами А.Вербицкой, «Историей одной жизни», которую я когда-то, два года тому назад, прочла, не читанным еще «Саниним» Арцыбашева (что «все позволено» между мужчиной и женщиной) и «Гневом Диониса» Нагордской (о том же).

С некоторых пор мы навещали детей маминой умершей подруги детства — тоже молодой ушла Тоня Барто (по мужу Юхневич). Им было лет пять и шесть, девочку, младшую, звали Тоня, мальчика — Володя. Они были обаятельны, красивые, синеглазы, русы, и на них лежала жалобная печать сиротства. Их отец, художник Марк Карлович, был человек мягкого характера, к детям нестрог и горевал об умершей. Что-то привязало нас к ним, и, пересчитывая серебро в кошельках (папа давал нам ежемесячно им положенную сумму, но когда не хватало на что-нибудь — добавлял), мы набирали достаточно и шли купить Воле и Тоне какие-нибудь игрушки. Наш приход к ним был и им, и нам праздник. Мы играли с детьми, пили чай, Марк Карлович вспоминал рассказы умершей Тони о детстве, о маме; вечерело, мы сроднялись с этой жалобной, не чужой нам семьей, не хотелось уходить. Дети льнули к нам, не совсем понимая, кто мы — взрослые или дети. Уходя, мы обещали прийти еще.

17 декабря 1909 года было издано постановление Сената, признающее рапорт министра не дающим оснований для увольнения директора Румянцевского музея Цветаева и тем восстанавливающего его доброе имя.

Этого не ожидал Шварц. Ложное дело было понято, обвинение с папы снято.

Честь папы, казалось, была восстановлена. Как мы радовались в те дни!..

Однако старик Нечаев-Мальцев, знавший жизнь высших кругов, телеграфировал папе (когда все его поздравляли): «Победа не победа, а добрый урок быть осторожнее».

*Из письма папы к архитектору нового Музея Р.И.Клейну:*

*«19 декабря 1909 г.*

Дорогой Роман Иванович.

С ночи вчерашнего дня пришли ко мне из Петербурга депеши о заключении по моему делу Сената и поздравления моей “нравственной победе”. Сенатское собрание *единогласно*, признав неосновательность обвинений министра Шварца, постановило: “все дело ему возвратить”; этому я очень рад, даже и при том *бесчувствии*, которое охватило меня после столь злостной и столь продолжительной травли меня и административной, и газетно-репортерской...

Я, как-то совершенно неожиданно, сделался предметом злобы, клеветы и всяческого преследования со стороны лиц невысокой нравственной пробы, начиная от голодного газетного репортера и до министра Шварца, дружелюбно протянувшего первому свою властную десницу... Вы не сомневались в отсутствии моих вин, кроме недостатка мужества, чтобы вышвырнуть на улицу нравственных пошляков из казенной квартиры Румянцевского музея. Этого мужества у меня действительно не было и нет... Министру вернули его жалобу. Большого оскорбления для министра быть не может...»

В один из этих дней, придя к обеду, мы услышали радостный голос папы:

— Ну, дети, — сказал он, входя в столовую; он казался помолодевшим на десять лет! — могу сообщить вам добрую весть! Дело о Голенищевской коллекции наконец решилось в нашу пользу! Получено распоряжение о передаче ее нашему Музею!

— Поздравляем тебя, папа! — сказала Марина, смущенная тем, что не находит более высоких слов — в этот радостный для папы час. Мы поцеловали папу. Он потрепал меня по волосам.

— Вот и оригиналы начали пополнять наш Музей... — счастливо сказал он, вставая и идя в кабинет, и, сопровождая удаляющимся шагом, раздалась знакомые, запомнившиеся ему со времен Варвары Дмитриевны два-три такта какой-то ее арии...

Снова предрождественские дни.

Снова уже 19 декабря! Почему-то именно с того дня началось чувство Рождества. Это обычно совпадало с большими морозами. Солнце стояло в небе без лучей, как розовая луна, и небо было мглисто-розовое. Ресницы слипались. Мы выходили, повязанные поверх меховых шапочек серыми мягкими шерстяными платками, в кожаных перчатках с мехом внутри, темные валенки по-кошачьи ступали по снегу. Он сиял и скрипел, как картофельная мука. Мы шли быстро.

Наши прогулки были коротки (мы промерзали и в шубах) и потому еще сгущеннее веселье этих целеустремленных выходов в писчебумажные и книжные магазины и к Севостьянову — взять на книжку — конфет. Я брала те, что напоминали тарусские, купленные у Позднякова, с какими мы — моя шайка и я — ездили в лодке за реку, от них пахло ромом и черносливом; Марина — свои любимые шоколадные вафли — набирали кофейных, в виде миндальных орехов; праздничных фруктов, апельсиновых, грушевых, и возвращались с кучей кулечков. Витрины горели бриллиантовой морозной пылью, мы шли выбирать трубки ланолина и калодермы, флакончики пробных духов, новые кожаные книжки для дневников и стихов, разрезательные ножи, ручки, горевшие янтарем, яшмой и перламутром, пачки почтовых бумаг с золотинкой по обрезаю, пергаментных, шершавых, разных цветов, цветные чернила и разноцветные палочки сургуча для наших печаток М.Ц. и А.Ц. Не чуя уже пальцев в меховых перчатках, мы спешили домой разбирать драгоценности. И прятать подарки друг другу.

Глава 3  
КОНЬКОБЕЖЦЫ НА ПАТРИАРШИХ ПРУДАХ.  
НИЛЕНДЕР. «ЗИМНЯЯ СКАЗКА»

На катке все так же гремит военный оркестр из раковины-будки, пар идет ото ртов, дующих в золотые трубы, и пар, струйками, проносится от пролетающих конькобежцев, согнутых в три погибели, почти касающихся рукой льда, верхней, черной палочкой кожаных коньковых чехлов, зажатой в руке. Их ноги в черном трико летят как раскинутые крылья ласточек, сверкая норвежской сталью. Почти невесомо скользит над льдом тело, голова в вязаной шапочке. Нечеловечески длинен разбег то правой, то левой ноги, — неземная грация плавного взмаха отлетающей ото льда ноги жадно поит зрение тех, что кружатся и несутся в меньшем кругу. Беговая дорожка окружает нас кольцом. Куда ни глянешь — летят они — конькобежцы — птицы, тренирующиеся для состязания, еле зримые в победной своей быстроте. Мы знаем их имена: Юдаев, Камжалов. Но над всеми — имя Ножникова. Он — первый! (И я не вспоминаю, что когда-то фамилия эта уже перерезала наш с Мариной путь — доктор Ножников, мама, Ялта.)

Мороз пощипывает нос, концы пальцев, уши — под легкой волной волос, сжатых шапочкой. Решено: перейду на норвежские! Что из того, что на Патриарших прудах нет ни одной девушки на норвежских! Только *приходит* иногда одна с катка Девичьего поля! У Эдуарда Брабца непременно куплю — ну что ж, если велики! Перепают! Коле Рябову перепаивали, а он меньше меня, чудный мальчик лет двенадцати, красавец, гордец, со мной дружит как с мальчиком — за то, что хорошо катаюсь. И *никогда* не устаю! Даже не захожу в теплушку!

Марш! Конец! Облегченно и смешно дуют рты и легкие солдат в радостно гудящие трубы, — отдых! А мы полетели быстрее: напоследок — «Тоска по родине», по Тарусе памятный марш. Как смешно вдруг снять с ног — крылья, стать меньше и идти ступнями, как все, тихой обувью по снегу, плоско ступая тихим переулочком от Патриарших прудов, Козихинским, мимо уютных керосиновых фонарей.

Коньки позванивают на ремешке.

Бросив калитку, мостками. Жалобный голос дверей черного хода. Стучу ногами, отряхивая снег. Иду залой в переднюю. Что-то мешает мне в полутьме. Откуда-то снизу, нарочитой — догадываюсь — ужимкой ко мне протягивается рука в мужском рукаве, белая полоска манжеты. Преграждая мне путь — и здороваясь. Кто-то рядом. Марина! Из полутьмы — смеющееся лицо. Нилендер! Отступаю. Но он уж трясет мою руку. Они двое не видны мне в тени.

Знаю, знаю! Спешу я и осекаюсь: не уверена в отчестве! Что Владимир — знаю наверно. Оттонович? (Швед? Потомок шведских — или Толя шутил? — королей?) Не успеваю. Марина: «Узнаешь? Догадалась?» Еще бы! (сразу прыгая выше своей головы) — я же *должна* сделать вид, что отчество помню, что не удивлена нисколько. Ничего особенного!.. (Почему пришел, так вдруг, о чем говорят с Мариной, почему в темной зале?) Еще не поняв главного, мне теперь — куда идти? — сняв шапку и шубку, из передней залой попадаю опять в их сеть. В Марино: «Ну, кто? Говори...» Готовая рассердиться — разве она *не знает*, что я не уверена в отчестве? — кидаюсь, продолжая коньковый полет, в риск:

— Владимир Оттонович! — Сердце бьется страхом, что ошибаюсь. Какие-то слова вроде «браво», — и больше я уж не могу на Марину сердиться! Потому что, мне не давая уйти, она (просяще, боясь с ним — одна?) мне — что-то, что, требуя ответа, вовлекает меня в их беседу, и уж мы, как с Эллисом, втроем кружим и кружим по зале, размыкаем круженье — в гостиную. Мы, так ненавидящие чужих! Не умолкаем!

Кто из нас говорит? Кто слушает? Отчего так страшно легко, так упоительно — и так просто, точно никогда ничего другого и не было, всегда было так! Только его и ждали мы, с детства, в наш дом, в эту залу! Почему он так долго не шел? Этого мы не говорим и не спрашиваем, но это как раз то, что с нами, хотя ни один из нас троих не сознается себе (словами; слова — гордецы?). И через какое великолепное сито ироничности к происходящему на нас цедится это обнявшее нас волшебство (потому что и он — как мы — нежно-ироничен к наставшему)!

Ничему не помогает ирония! Нежность — перевешивает! Ведь совершенно ясно, что расстаться — нельзя!

Что если и расстанемся, то — чтобы снова быть вместе. Пришел праздник: не договариваем ни одной фразы — уж понятно. Захлебнулись пониманием! Ни о чем еще не сказали — не рассказали, не спросили, все — *не узнано*, а уж срослись, как в Нерви с Володей, как с Драконной, как с Эллисом... И только вдруг, на мгновенье, в голове: «Что это?» Ответа нет.

Сколько мы ходим по зале? Уже она стала не темная, свыклись, различаем друг друга... Его голос качает нас, как гондола, идущая по волнам. Он нам дорог до какой-то дрожи озноба, до предчувствия, что ведь будет час, когда он *уйдет* и мы рухнем друг в друга, в немыслимость утраты — потому что и час без него — немыслим.

Тем же движеньем, каким мы брали Эллиса под руку, мы идем с ним — нет, как раз обратно: *он* взял под руку нас двух, сам того не заметя, и мы идем — как одно — в это путешествие без усталости и без цели — потому что не можем не идти. Мы уже знаем много о нем, хоть он так мало рассказывал.

У него была жена, ее звали Софья. Это было после морского училища. Ее с ним нет. Они были счастливы. «Ах, это было ужасно...» — говорит он, каким-то всплеском не замечая несходности двух своих фраз рядом, но мы понимаем единство (конечно, оно и есть — так...).

Он все понял про Толю. Про то, что мы не очень любим Соловьева («Сережу» Толиного). Про Виноградовых он сказал: «На столе — каравай на деревянном блюде, и вышитые — “русский стиль” — полотенца, а на стене — Боттичелли...» И длинная, едкая улыбка под вдруг поднявшимися треугольником бровями осветила — из какой-то философской дали — его совершенно бледное и худое — не юношеское, нет — лицо. Его слова как будто насмешливы — а голос берет насмешливость под сомнение, он ироничен к своей иронии, — и никогда еще ни один человек не привязывал нас к себе так, как этот... И как все совсем по-другому, чем с Эллисом! Он не рассказывает — не засыпает наш дом драгоценностями вдохновенья и горечи, не разверзает бездн Зла и Добра, никуда не зовет — но мы уж прикованы к нему крепчайшими узами, наш дом — его дом, его мир — наш мир.



Он не зовет никуда, ничему не учит, ни от чего не хочет спасти, как Эллис... Он дышит с нами, и мы идем с ним, за ним. Не колеблясь. Это — любовь?

Кто-то зажег в столовой висячую, нашего детства, лампу, она освещает рафаэлевскую Мадонну с Младенцем и Иоанном Крестителем в круглой черной раме. Свет лампы вырезал на паркете залы длинный золотой треугольник, мы окунаемся в него на мгновение, что-то зажигается в нем из нашей одежды, в него попадает рука, край лица. Жадно приобщаемся мы к жизни друг друга, которую — как рассказать? Я не помню — пили ли мы чай, слышен ли бой часов над роялем, — мы сидим на нашем красном детском диване, в моей комнате (бывшей детской) — Нилендер назвал ее «магический кабинет». Раза два он хотел уходить, что-то вспоминал, спохватывался. Даже рвался — «Лев ждет...», «Ответ на письмо...». Не споря, мы смотрели на него, клали ему — одним движением — руку на рукав, на плечо, и он оставался, потому что не мог идти.

Теперь мы уж на целую ступень дальше, чем внизу в зале: идет непрерывный поток рассказов о прожитом. Уже он бросился в море с борта корабля — для Софьи, уже он расстался с морским училищем, переломил прошлое, начал все еще раз. С головой ушел в греков... Это слово он произносит с благоговением, с трепетом — нет, не так. Захлебнулся им, как тогда с борта в море — волной, и мы уже чуем, что это другие греки, чем папины, Аполлон, Зевс. Звучат иные слова: Немезида, Геката. И Гераклит Эфесский, которого он переводит, распростер над нами свою вдохновенную тьму. Мы знаем теперь, что нашему гостю двадцать три года — не так уж далеко он ушел от нас по лестнице лет! Но он кажется много старше... Свет керосиновой лампы освещает его лицо в резких тенях. У него глаза светло-карие, желтые темные волосы лежат со лба назад, беспорядочно? Или гладко? Не понять. Глубоко у висков отступая, увеличивая еще лоб. У него худые длинные пальцы и движенья развинченные, длинные и внезапные. Он сидит согнувшись, как будто ему много лет. Руки — как опущенные крылья, и он весь — как сказочный вымысел, и Толя сказал о нем правду, он — потомок древнего шведского рода. Он дома в нашей детской, будто отсюда он когда-то уехал

в морское училище и теперь наконец вернулся. Брат! Как дорог особенный запах его папирос, которым пропитан он весь! И когда он в пылу беседы (это — беседа?) вдруг, обернувшись к одной и другой, берет на миг наши руки, заглядывая в глаза, будто что-то проверяя или прося помощи, — почему такое волнение, непомерное, незнакомое?!

— Мы никогда так... — начинает одна из нас, и другая, впадая и продолжая: — Мы никого так...

— Ну, что же? Кончайте!.. — всплеском отчаяния, тихо говорит он.

Стихотворению «Втроем» Марина предпослала эпиграф: «Мы никого так. / Мы никогда так... / Ну, что же? Кончайте»... Было это 27 декабря 1909 года.

А лампа начинает гаснуть, прогорела почти всю ночь. Искорки бегут от ее уже синеватой узкой коронки, и в комнате, мы только сейчас заметили, — полумгла. Мы уже не видим ясно его лица, ни цвета его глаз, мы только чувствуем, знаем, что он еще здесь, с нами, но уже становятся призраком и комната, и мы, и он, и ночь эта — была ли? Длится? Ведь не первый раз мы так — в доме нашем — с человеком, — весна с Эллисом! И все совсем не так, как тогда!.. Совершенно ново. Без слов. Но он здесь! Наш! Как мы счастливы!..

И когда мы, выбираясь из потока рассказов о детстве, о тех странах и городах, где жили, — на минуту опоминаемся, мы видим, что лампа погасла, а в комнате новый и странный свет, очень бледный.

— Рассветает... — говорит кто-то из нас, и три сердца пугаются.

— Лев, Лев... — хватается за голову Нилендер. — Лев ждет! Что я ему скажу?

Из обрывков мне неясных фраз его и Марины я догадываюсь, что Эллис послал его к Марине зачем-то и, может быть, до сих пор его ждет... Он хочет встать, охваченный чувством вины перед Эллисом. Но — сильнее его *тут*; мы с улыбкой берем его за руки.

— Все равно уже сейчас!.. Он уж спит!.. — И в один голос: — Не уходите!..

И он остается. Как же он может уйти? Нас — оставить! Мы ж не останемся? Пойдет с нами?.. А рассвет, поздний,

холодный рождественский рассвет, проступает за окнами, время идет неумолимо, туманность делается розовее, теплее, и на небе, над низом замерзших окон, ширится светлая полоса.

Фантастичность происходящего (а что, собственно, происходит?!) охватывает вдруг нас двух (его сознание, может быть, выскальзывает из этого *нашего* чувства?), и мы, чуть перевесясь друг к другу через него, одним движением смотрим друг другу в глаза, мои чуть темней, в светлые Маринины, но и в тех и в других — одна таинственная пустота, пустота наставшего счастья.

Одним движеньем мы прижались головами о его плечи... Что ему было делать? Длинным всплеском, как крылья вскинутых рук, он прижал наши головы к себе — еще сильнее. И с минуту мы все помолчали, слушая биение сердец.

...Сладко усталой прильнуть голове  
Справа и слева — к плечу.  
Знаю одно лишь: сегодня их две!  
Большого знать не хочу!

Обе изменчивы, обе нежны,  
Тот же задор в голосах,  
Той же тоскою огни зажжены  
В слишком похожих глазах...

Морозные узоры на окнах совсем золотые. Я не помню, как ушел от нас Нилендер, как мы вернулись к себе наверх, в его комнату. Но я помню, что, когда мы легли после его ухода, мне приснился сон: Альпы (нашего детства, где-то возле Шамунí, Аржантьёр), сухой вереск, лилово-розоватый, который звался по-французски «bruyère». Из него мы у подножья гор плели корзиночки и слали их маме в Нерви, наполнив живыми цветами, сбрызнутыми водой. Я проснулась — счастливая.

— Мне снилось — «bruyère», — сказала я громко, счастливо Марине (она осталась спать в моей комнате).

— Тебе?! — с несказанным удивлением вскричала Марина, сразу просыпаясь. — Мне *только* что приснилась целая *поляна* «bruyères»! Розовая... Неужели тебе — тоже?

В ее голосе дрожало немножко недоверия. Но я на нее набросилась с таким пылом:

— Я же сказала — *первая!*

Мой сон был доказан.

Было, стало быть, 28 декабря? Как мы прожили этот день? И как жили следующие? Второе свидание наше было 30 декабря. Об этих днях помню одно: мы купили темно-синий кожаный альбом (собственно, книжку) с золотым обрезом, назвали ее «Вечерний альбом» и записали в нее все, что помнилось о том нашем вечере из сказанного — им или нами. И из наших слов после него. Блаженное занятие! Альбом мы надписали ему. Туда же мы вписали новые Маринины стихи: «Сестры» («Им ночью те же страны снились...»).

Марина мне рассказала, почему Владимир Оттонович все повторял «Лев ждет...» (Лев — Эллис): Эллис послал его к Марине с письмом, в котором он признавался в любви к ней и... делал ей предложение. Как она читала его, сразу же ли поведала свое изумление — посланному другу Льва Львовича, ответила ли на это письмо что-нибудь и передала Нилендеру до моего прихода с катка — мне неизвестно. Я не расспрашивала. Марина была смущена неожиданностью предложения стать — *женой!* «Чародея» нашего! И конечно, готовилась сказать «нет». Марина — жена?! Как он мог подумать! И кто же предлагал ей это! Эллис! Он хотел стать чьим-то мужем? Все было совсем непонятно. Невероятно! И еще дороже стал Владимир Оттонович, когда-то, совсем *юношей*, став этим чьим-то мужем, но только и запомнившим из «жениховства» и «брака» — что прыжок с корабля в море — ради избранницы, и затем, после смятенных слов «мы были очень счастливы», как-то попытавшись назвать то, что было, сразу (вновь вплавь!) — «это было ужасно!», этим возгласом как-то просясь в нашу детскую, где не могло быть брака, но где могли быть и Гераклит Эфесский с его вечно текущей рекой, и Геката, и мы, и мама, и он, все сразу, как в сказке.

Эллис! Как мог он! Его священное безумие Поэта и Бунтаря, который говорил, что дело начинается с фиктивного брака (тогда бывшего в ходу у передовой молодежи, чтоб помочь девушке уйти из-под родительского крова), но кончалось нередко — Эллис качал, в воздухе, первый попавшийся

под руку предмет: «уа-уаа...», со скорбным юмором добавляя, что вместо нового строя появляются новые дети... Все это забыть? Предложить брак? Марина ответила ему стихотворением «Ошибка»:

Когда снежинку, что легко летает,  
Как звездочка упавшая скользя,  
Берешь рукой — она слезинкой тает,  
И возратить воздушность ей нельзя...

Когда хотим мы в мотыльках-скитальцах  
Видать не грезу, а земную бль —  
Где их наряд? От них на наших пальцах  
Одна зарей раскрашенная пыль!

Оставь полет снежинкам с мотыльками  
И не губи медузу на песках!  
Нельзя мечту свою хватать руками,  
Нельзя мечту свою держать в руках!..

Миг печального разочарования в таком корифее «наджизненности» не разрушал нашей любви к нему, не сводил его с пьедестала. Но от его письма отбрасывало нас еще резче, еще тесней — к Нилендеру. Он ведь...

Не поэтом он был! В незнакомом  
Не искал позабытых созвучий,  
Без гнева на звезды и тучи  
Наклонялся над греческим томом...

Было 28-е, затем 29-е декабря. Какие это были дни!  
Мы условились с Владимиром Оттоновичем, что 30-го вечером он нас будет ждать у себя в «Доне» у Смоленского, который Эллис с иронией звал «Тихий Дон».

Елка еще стояла в углу залы. Нилендер пришел к нам в третий день Рождества. Уже на четвертый, на пятый нам казалось все бывшее — сном. Мы не верили, что с той ночи прошло всего два дня. Два! Это было смешно, *невозможно!* Память о нем, разверзавшаяся все глубже, ненасытно на-

полнялась воспоминаниями сказанных слов, его жестов, всплывавших его рассказов вперемишку с нашими, стихов Феогида в его переводе с греческого.

Лучше всего человеку вовсе на свет не родиться  
И не видать никогда зоркого солнца лучей.  
Если ж родился — скорее скрыться в воротах Аида  
И под покровом лежать тяжко-огромной земли...

А на улицах на ветках деревьев цвел иней — вязью фарфоровых узоров, и в витринах Тверской, обросших снегом, где-то посередине стекла серебрился мир андерсеновских морозных рощ в царствах Снежной королевы и Ледяницы. И с именем Нилендера сплетались имена мальчиков Руди и Кая. Кая — все старавшегося сложить из кусков льда слово *Вечность*, как он пытается — и все кажется ему, не удастся — перевести Гераклита. Другие старые особняки с колоннами светятся чужим — праздничным — уютом, какие-то девочки танцуют под звуки рояля на золотом паркетном льду.

Круглые розовые шары фонарей освещают проходящих. А фонарные шары — почти голубые, делают все — лунным. Марине, как мне, ясно, что розовые шары — это прошлое. Теплое, волшебное. А голубое — это ледок будущего... Санки несутся. Конь закинул голову, как на шкатулках Лукутина. Пронеслись! Жаркое *жерло* раскрывающихся дверей в магазины материй Миляева—Карташева на углу Тверской и Мамоновского борется с клубами морозного пара. Кто-то пристально взглянул на нас, проходя. Руки стынут в меховых перчатках. Вокруг — синева сумрек.

30 декабря в условленные часы мы вышли, укутанные от большого мороза, из дому, взяли извозчика — и поехали к Нилендеру. Мысль о том, что мы, «девушки», едем к «молодому человеку», нам, естественно, не приходила в голову. Для нас он не был «молодой человек» — это был не наш лексикон; он принадлежал, может быть, сверстницам по гимназии? В том волшебстве, в котором мы находились, таких понятий не было. Ехали с бьющимися от волнения сердцами — сейчас увидим того, кто неотступно с нами, но в бытии которого мы просто сейчас сомневались: так он был похож на сон!

Легкими шагами, не чуя ступенек, избегаем по лестнице. Идем коридором. Находим дверь. Стучим. Молчание. Стучим, переглянувшись, еще. Ни звука. Дверь заперта. Его нет! Мы стоим с минуту молча. Затем Марина круто поворачивается — и быстро, еще быстрее, чем шли сюда, мы уходим, спускаемся по ступенькам. Берем извозчика — и вот мы уже дома. Мне кажется, мы не сказали ни слова. Раздеваемся, вешаем шубы в передней. Согреваем руки. Марина садится к роялю и начинает играть. Я стою на моем месте у печки и слушаю. Слушаю ли?

Она играет «Танец Анитры», вызывая к жизни Аню, и рассыпающийся гирляндами звуков вальс Durand, и медлительную печальную мелодию «Lied für Elise»\* Бетховена, и — всё, что еще льется по памяти, с пальцев, когда-то, при маме, так много игравших. Затем она начинает немецкую песенку, ту, знакомую с детства, — «Kein Feuer, Keine Kohle...»\*\*

Дверь черного хода издает жалобную длинную ноту. Кто-то вошел. Марина обрывает аккорды. Мы встаем. За дверями залы, в сенях, протягивая нам обе руки, в одной меховая шапка, — Нилендер!

В осунувшемся лице, в резких тенях — мука.

— Ну... Простите, — говорил он горестным, виноватым голосом, смотря на нас умоляюще темными своими глазами, прядь волос упала на лоб...

Что было нам делать? Уже мы улыбаемся, уж тянем его за руку — в дом.

— Ко мне? — полувопросом. — Ах, это так ужасно, когда я пришел и узнал... Там — чай, горячий, вы, наверное, очень замерзли? Едем!..

И вот уж извозчик везет нас троих — назад, в «Дон». Я сижу на коленях у Марины, держась за полость саней, следя, как быстро уносится снег, как горят фонари, как идет пар от лошадки. Уже заворачиваем на Арбат...

Маленькая лампа на столе светит по комнате слабо, и мы опять, как в тот первый вечер у нас, сидим на диване, неясно видя друг друга. Он посередине, слева — Марина,

\* Здесь: «К Элизе» (нем.).

\*\* «Никакой огонь, никакой уголь...» (нем.)

справа — я. Как в первый раз, тени трамваев бегут по стене через незанавешенное окно, и откуда-то из глубины, снизу, глухо — звуки музыки: синематограф? Ресторан? Не слышно мелодии, но неясные удары ритма по временам доносят смутное ощущение чего-то знакомого... Чуждость места, возможность прихода сюда Белого или Эллиса вносят в единство — тревогу, и Нилендер сегодня новый, встревоженный. Нам хочется, чтоб он как-то ближе вник в наш рассказ о том сне, нам приснившемся, — почему Альпы? Тот же вереск — обеим...

Но он вырывается из нашей темы, говорит — свое, и мы не сразу понимаем, что он хочет сказать нам. Мешает музыка снизу, бегущие по стене светлые тени трамваев и стихи Феофилакта, так запавшие в душу, которые он перевел...

Чай так и остался стоять на столе.

Он что-то пытается нам рассказать об Эллисе. Мы понимаем: он мучается тем, что, уйдя нести письмо, он не вернулся до следующего дня, а Лев — друг, Лев — *ждал!*!! А нам все равно, что он ждал! Зачем такое письмо? Нам так хорошо с Нилендером...

Мы сидим, прижавшись к нему головами в доверчивой теплоте и нежности, в отдыхе от дней ожиданий и воспоминаний, заполучив снова счастье быть с ним, нежные друг к другу. Но он схватывает наши руки, его голос полон тоски. Он начинает говорить:

— Да, наша встреча — чудо, и такие отношения сестер — чудо тоже, и нет ничего дурного в нас троих до сих пор. Но так не может продолжаться, поймите! — с мучением говорит он. — За всем этим стоит черная сила — она *ждет* нас! Если мы еще так будем вместе — мы — мы... — он не находит слов.

Марина сидит, отклонясь, как будто недоумевая.

«Почему *так?*» — пробует она упрямо и немного надменно, но он не дает сказать. В том непередаваемом взгляде, каким он смотрит мне в лицо, столько мученья, столько нежности и столько смирения, что я, кажется, начинаю понимать. И, может быть, я знаю, что он должен сказать — за минуту перед тем, как он:

— Ася, поймите! — говорит он, точно кидается в пропасть. — Я люблю Мари-ину... — и схватывает мои руки в нежнейшем, чистейшем порыве — прощальном.



Он глядит мне в глаза так, точно вливает в меня всю свою душу. Вот какие у него глаза! И в то время, как он видит во мне девочку, *необыкновенного* подростка, я сижу перед ним, взрослая девушка, совсем *обыкновенная* сейчас...

— Я понимаю... — говорю я с кротким достоинством, в пылом желании скрыть от него горечь... Я избавлена от того, чтобы говорить дальше.

Говорит Марина:

— Я *не понимаю*, — раздельно, как бы с высоты, произносит она, — я совсем себе все не так представляла. Зачем — делить, выбирать... Нам было так хорошо вместе, и никакой черной силы...

— Нет, Марина, — говорю я, — он прав! Все так, как должно... Но мне — тяжело, я уйду. Это — пройдет, я же все понимаю! — я не знаю, что говорю.

Они не отпускают меня. Но я хочу идти. Они встают тоже, одеваются, мы выходим. Как в тяжелом сне, глотаю то будущее, которое сейчас начнется. И в то же время слежу за своим шагом, за каждым словом, живу — еще пока здесь.

Темный вечер. Мороз. Мы идем, как недавно ходили — он между нас. Нет большей нежности, большей бережности, чем та, с которой он ведет меня. А я — хоть мне, в тоске, хочется медлить, — я очень спешу. Я кажусь себе сейчас старше Марины... Вот и кончена моя «Зимняя сказка»...

#### Глава 4

#### ИСПЫТАНИЕ. ОЦЕНКА МАРИНОЙ «ЗИМНЕЙ СКАЗКИ». ЕЕ СТИХИ. НОВАЯ БЕДА

Передо мной стоят на столе два подсвечника со свечами, как в папином кабинете полвека назад. В эти дни, когда я писала о нашей первой любви, Марины и моей, я поставила перед собой большую фотографию той моей комнаты, нашей бывшей детской. Она — в тоне сепии, что от коричневой окраски нашего деревянного дома, где была со мной семнадцатилетняя Марина, так давно ушедшая с земли, что и она уже начинает казаться мне сном. Да было ли это, наше «вместе»?.. Его нет уже четвертое десятилетие. Но вот эти часы за моим старческим письменным столом, эти не-

сколько дней, что я снова прожила с Мариной нашу «Зимнюю сказку», выходя между этих писаний на весеннюю Тверскую — без нее, я все-таки шла немного — с нею, так ожило и живет все то.

И ни разу я *так* не входила в ту Гераклитову реку, и против утверждения Гераклита, она мне — не протекла. Стою одна в ее струях. Я — и эта коричневая фотография, гляжу на нее — и пишу. Для кого? Для себя? Нет. Это — долг: тем, кто ушел, — и тем, кто живет сейчас.

Мне радостно сказать, что, сколько я ни напрягаю память, — ни тени дурного чувства к Марине, никогда, даже в те мои горькие дни, не шевельнулось во мне. Даже *не повеяло* ревностью! Когда — вечером — она уходила из дому и я понимала — к нему, я ценила ее деликатность, что она не подтверждает мое предположение, не говорит, куда медлит уходить; ей больно усилить мою боль. В обоюдном молчании о нем было столько несказанной нежности друг к другу, столько ее бессловесной просьбы простить ее и моего бессловесного уважения и радости моей за нее — что, может быть, никогда — ни до тех дней, ни после — не были мы так близки. Мне была дана удивительная помощь в те дни: папа мне подарил Лермонтова, полное собрание сочинений. Лермонтов был раскрыт мною в те дни первой любовной утраты — и я уже не оторвалась от него.

Кто знает, как перенесла бы я утрату Нилендера без Тamarы и Демона? Клин моего горя вышибался клином их разлуки. Она меня утешала: ее неутолимость была равна моей доле быть оторванной от волшебного человека, как домой вошедшего в нашу детскую и так быстро увидевшего опасность нашей тройной любви. Да, тройной, хоть он и выбрал Марину, — но я же знала, что он и меня любит, любит то, что в нас обеих. Так сходно он не своей волей выбрал, а *заставил* себя выбрать. И мне *некого* было упрекать. Но ведь — «Средь полей необозримых / В небе ходят без следа / Облаков неуловимых / Волокнистые стада. / Час разлуки, час свиданья / Им не радость, не печаль, / Им в грядущем нет желанья, / Им прошедшего не жаль».

Мариной мне подаренная толстая, кожаная с золотым обрезом, книжка, где я продолжала писать дневник, наполнялась восхвалениями Лермонтова, списанными местами

из «Демона», и хоть этот дневник погиб со всем, что мной было до сорока трех лет написано, я ясно вижу те синие чернильные строчки...

«Демон» утешал меня ощутимее, чем даже каток. Полет, музыка терзали меня скорее. Я купила у Брабеца норвежские коньки — исполнила свою мечту! — мне перепаяли их по моей ноге — и хоть я неслась на них наравне с Колей Рябовым, маленьким красавцем и озорником, — возвращалась домой раньше обычного и уходила с головой в Лермонтова. «Все приходит — поздно» — так было и с моим коньковым счастьем...

А затем я увидела сон: я стою наверху «Христианского двора» в папином Музее, у высокой каменной стенки, откуда видна внизу вся зала со всадником Колеоне, с микеланджеловским Давидом, с порталом собора над торжественным поворотом лестницы, и хочу броситься вниз. Вдруг кто-то светлый, добрый, с крыльями, как Эрос, обнимающий Психею, удерживает меня в уже начавшемся полете, покрывает крылами — и я знаю, что это — Нилендер. Я проснулась с бьющимся сердцем, точно летела. Этот сон я рассказала Марине. А Марина приходила — раз-два — смутная и печальная, иногда целые вечера была дома. Писала стихи. Я видела, что ей все тяжелей. Что-то она решает. Она была мне благодарна, что я не спрашиваю ничего.

В самый ли Новый (1910) год наступила развязка? Я бы не знала ответа — прошло более полувека. Но передо мной в сборнике Марининых стихов — эпиграфом к стихам о катке — строки из письма Владимира Оттоновича к Марине от 17 января: «Но ведь есть каток, есть встречи случайные...» (его слова). Значит, к тому числу все уж было кончено. Один ли всего раз была у него Марина, на другой день после моего ухода от них? Помнится, что под Новый, 1910 год ее — тоже не было.

Марина в первой половине января вошла ко мне.

— У тебя кончено с ним, и у меня кончено! — сказала она мне прямо. И тоном отчаяния: — Мы простились, больше не увидимся...

Был ли утешающий момент в этом сообщении? Я ничего не спросила. Я понимала: так и должно было быть. Если между ними встал тот вопрос, если над ними начала кол-

довать та «черная сила», о которой сказал Нилендер, тогда Марина должна была с ним проститься.

Снова поют за стенами  
Жалобы колоколов...  
Несколько улиц меж нами,  
Несколько слов!

Город во мгле засыпает,  
Серп серебристый возник,  
Звездами снег осыпает  
Твой воротник...

Смолкли без сил за стенами  
Жалобы колоколов.  
Несколько улиц меж нами,  
Несколько слов!

Месяц склоняется чистый  
В души поэтов и книг.  
Сыплется снег на пушистый  
Твой воротник.

И вот другая дата: «4—9 января 1910 года» под стихами «На прощанье» с эпиграфом из франкфуртской песенки «Mein Herz trägt schwere Ketten...»\*.

Теперь наша жизнь пошла, как шла — «вместе». Мы могли говорить о нем, вспоминать, тосковать и вдвоем, в один голос, говорить стихи, которые Марина писала одно за другим. Бывал ли у нас в это время Эллис? Думаю, нет: после Маринино отказа ему, после стихов, ему посланных, он вряд ли продолжал приходить.

И была маленькая, но нежная вещь для нас в фамилии Нилендера: все произносили ее иначе, чем мы. Мы произносили неправильно — как запомнилось нам с тех дней прошлого года, когда мы случайно встречали его у Виноградовых (он был Толин друг, друг и Сережи Соловьева, и Андрея Белого). Вместо «и» его фамилии мы говорили «ей» —

\* «Мое сердце несет тяжелые цепи...» (нем.)

Нейлендер — и так свыклись с этим звучаньем, что фамилия в устах других, правильная, нам казалась «ненастоящей».

Теперь не только его имя, но и имена тех, которые знали его, причиняли нам боль. Мы чувствовали его жизнь, как будто ее видели. Мы не совсем жили в Трехпрудном переулке — ощущение жизни двоилось: каким-то совсем реальным куском души мы жили на Смоленском, в «Доне». Каждый меховой воротник (бобровый, темно-коричневый) напоминал нам его... Иней, скрип саней (мы ехали с ним в санках!) — все было полно им. В нас жил он, память о той первой волшебной ночи. Скажи нам кто-нибудь, что это неестественно, что мы должны были тогда ревновать друг к другу — мы бы только пожали плечами.

«Пусть — философ, собеседник Феогида и Гераклита, — но ведь ему было двадцать три года!..» — думаю я теперь. Что он был ранен встречей с нами — мы знали.

Странно, что я не помню в те дни и недели Лидии Александровны. Кто, как не она, не наша Драконна, могла нас понять и утешить в нашей утрате! В ней было столько нежности... Или мы избегали ее пристального взгляда с готовым огоньком сомнения. То было хорошо, что брат Андрей не подымал нас на смех — за взрослого, в доме у нас промелькнувшего гостя не дразнил. Ни к кому не хотелось, никто не мог — ни понять, ни помочь. Лёра заходила всегда ненадолго, полная своих интересов, нам чуждых. Обращалась с нами как с младшими — а мы уж младшими в нашем горе не были.

Марина возвращалась назад, к своим кумирам, в свою покинутую комнатку. Не в те ли дни мы особенно были рады «Дневнику» Марии Башкирцевой, такой родной нам и так трагически рано умершей? Все пленяло в ней — ранний ум, острый, и печаль, и самоанализ, и ее одиночество среди близких. Только одно из ее свойств в нас не находило отклика — ее тщеславие, ее жажда стать чем-то. Описание ее нарядов, стремление блистать в свете. Этого в нас не было. Тут мы были старше ее.

И вот в это самое время случилась непонятная вещь — по Москве она пошла скандалом: Эллис, недавний завсегда́тай нашего дома, вырезал несколько страниц из книг читальни

Румянцевского музея. Конечно, после этого Лев Львович уж не придет в наш дом, когда он, друг, так непонятно причинил бедному папе новые неприятности.

Но Марина и я, огорченные за папу, осуждать все же не спешили, чуя, что тут что-то не то. Не мог Эллис сделать это тайно, сознательно! «Неужели вор Кознов и безумец Эллис должны будут сесть на одну скамью подсудимых?» — писала я в дневнике.

По поводу этого высказывался позднее Андрей Белый: он целиком отбрасывает версию злоупотребления, намеренности, безобразного анархизма в общественной библиотеке; Эллис, пишет он, работая там, вероятно, имел с собой и свои книги и вырезал нужные ему для статьи места из казенных книг, спутав их со своими. В той лихорадке, в которой шла жизнь Эллиса, это объяснение совершенно правдоподобно. Ведь одна из вырезок, говорили, была из книги А.Белого — его соседа по номеру в «Доне», где они жили бок о бок!

Но это стало ясно позднее. Дело дошло до суда, Эллис не бывал у нас. Мы слишком хорошо знали Льва Львовича, чтобы заподозрить его в бесчестности.

## Глава 5

### МАСЛЕНИЦА 1910 ГОДА. ЗИМОЙ В ТАРУСЕ. ШУРА И ГАРЯ. ИЗМЕНА ШУРЫ. ПРИЕЗД МАРИНЫ. АНАЛИЗ ТЕХ ДНЕЙ

В Москве наступала Масленица: по ярко-синему небу бродили пышные, как сметана, облака, подтаивало, хрустел ледок сосулек, солнце обливало улицы тем самым, нашего детства, светом, в котором плавилась золото и голубизна, и легкие помимо воли дышали жарче и глубже, сердце тянулось к ощущениям и воспоминаниям иным, чем те, что заколдовали нас с Рождества.

Андрей собирался в Тарусу.

— Поедешь? — хмуро-весело спросил он меня. — Тогда собирайся! У папы возьми себе на дорогу денег. У меня нет. Я еду послезавтра! — И ушел к себе.

— Марина, поедем? — неуверенно позвала я, входя в маленькую комнатку над лестницей.

— Нет, — отвечала Марина, — а ты поезжай. Я уже купила билеты на все спектакли Сары Бернар. Через пять дней идет «L'Aiglon»! Может быть, потом — приеду... а может быть... — Она замолчала, потом отрывисто: — Не приеду. Простимся перед вашим поездом. Я вас провожу.

Я пошла к себе, недоумевая. Странные какие-то слова!

Марина приехала на вокзал проводить нас. Она казалась разнеженной и сдерживала себя. В последний миг она сунула нам сверток с апельсинами...

— Приезжай! — кричу я ей.

Третий звонок... Марина долго бежала за поездом.

Снег, снег, бубенцы... Семнадцать верст на лошадях. Крепко укутанные, в деревенских санях, уложенных сеном; бубенцы; знакомые и еле узнаваемые в снегу деревни. Ока, крытая сверкающим алмазным ковром. Переехав ее — направо, за собор, к Тетиному дому. За окнами — движение занавесок, в ответ на звонок (потянуть к себе золотую шапочку выдвижной ручки — по дому золотой звон) — беготня, шаги, и мы в теплой передней. Тьо обнимает меня пухлыми короткими руками в оборках. Увидав Андрея, было хотевшего улизнуть незамеченным: «Ah, mon Dieu! Comme tu as grandi, Androucha! Mais tu es devenu un homme!..»\* Поцелуй, любованье, Андреино смущение, и, после отнекиваний на: «Mais entre donc chez la Tante! Tu auras du temps d'aller chez tes Dobrotvorsky...»\*\* — поцеловав Тьо, Андрей отвечает, что поздно, его ждут, сбегает с крыльца, и мы видим в окно, как он прыгает в сани — и они мчат назад, к собору. А я попадаю на сегодня целиком во владение Тети: жара, множество комнат, уют, чуждая еда, вопросы, восклицания...

Я рассказываю, смешу Тетю, выбираю занятное и невинное, каждое событие раздувая как в лупу — потому что именно такими они кажутся в этом доме, где их годами нет вовсе, где все вызывает внимание и бурный отклик. И тем же резцом, которым я обвожу все маленькие случаи жизни нашего дома и наших подруг, я заботливо и беспощадно отрезаю все то, что составляет настоящую нашу жизнь — Ма-

\* «Боже мой! Как ты вырос, Андрюша! Ты же стал мужчиной!..» (фр.)

\*\* «Но зайди же к Тете! Хватит у тебя времени пойти к твоим Добровотворским...» (фр.)

ринину и мою, — потому что правда о нас непонятна Тью насовсем. Знай она, что мы полюбили одного человека, что Марина от него ушла навсегда, потому что ей невозможно участвовать в том, что люди зовут «брак», хотя любит его больше всего на свете; что я в пятнадцать лет уже пережила любовь и добарываю в себе воспоминания о первой утрате, но что я не упрекаю «обидчика» (как это было бы в романе Тетиного образца), и что все это понимал и тот человек не хуже нас, — что бы стало от всего этого с бедной Тью?

А Тетя зовет меня, любовно кормит, спрашивает, когда же придет Мунечка. Зачем ей так нужна эта Сара Бернар, когда Тетя ее так ждет! За окнами зимняя темнота, вьюга. Мы переходим в Тетину спальню. На ночном столике, как в детстве, светится спичечница, горит лампадка, Тетя заводит дедушкины часы-шкафчик, и оттуда звенит и гремит оркестр вальсами Штрауса. Тоска, что Марины нет!

Масленица в Тарусе! Из форток пахнет блинами. Чудный весенний день, и по гористым снежным улочкам, в сверкающем морозе и таянье — катанье! Санки с бубенцами, ржанье коней, хохот проносящихся компаний молодежи, обгоняющих друг друга. О! Мы с девочками Михайловыми не забыты! Сережа Успенский на паре подлетел к дому, где мы собрались, и, гордясь, что помчимся сейчас как взрослые, валимся друг за другом в сани — Оля и Шурочка, еще какая-то девочка и какой-то мальчишка и я. Сережино лицо сияет, но он старается казаться взрослым. Он очень вырос с лета, серые глаза под густыми бровями и застенчивы, и задорны. Он пускает коней, и мы лихо проносимся улицей, вскрикивая на ухабах и на повороте к мосту и к белым привидениям огромных ветел над речкой. Бубенцы гремят серебряным плеском, и сном кажется мне Москва и вчерашняя грусть! Мне весело! Вечером я увижу брата Сережи, Шуру, его зеленоватые пристальные глаза, умную, язвительную улыбку...

Но при повороте дороги кони чего-то пугаются, Сережа не может справиться с их испугом, и ранее, чем мы успели понять, что случилось, — кони понесли. Они летели не разбирая дороги, как обезумев. Санки подбрасывало, кидало, мы подлетали и стучались друг о друга, люди что-то испу-



ганно кричали нам, Сережа натягивал вожжи как мог. Мы, девочки, поняли опасность, сидели молча, вцепясь друг в друга, боясь криком усилить страх. Но мужское в Сереже подсказало ему: с невероятным усилием он повернул лошадей на идущую в гору улицу, и они, пронесясь с разбегу по крутому подъему, вдруг стали, тяжело дыша, перед чьими-то воротами. К нам бежали. Ничего не слыша от сердцеебия, мы выскакивали из саней...

После блинов у Клани идем кататься с гор на подрезах. Теплый день, у домов тает, ребятишки бегут вверх по гористой улице с замороженными решетками, которые тоже оттаивают, но ребята летят на них, кружась, и крик такой, точно пожар, ничего не слышно! У нас длинные санки, и мы летим с горы, держась друг за друга. Щеки горят, дыхание захватывает, ветер в лицо! Вдруг кто-то из девочек нагибается ко мне: «Узнаёшь? Видела, кто? Не узнала? Шурка Шпагин, что так озоровал летом, в кого Гарька с Дубцом камнями кидали — в лодке-то! Погоди, как бы опять чего с нашими ребятами не вышло!»

На вторых подрезах наших — Мишка Дубец и Молокососик, а на маленьких санках с горы летят Лёнька Пудель и Гарька — как Гарька хорош! Настоящий цыган! Покраснел, увидев меня. Неужели драка будет, ссора? Сердце сжато страхом. В этот миг Шурка Шпагин, маленький, плотный, синеглазый (так похож на Лиду, его сестру!), пронесся мимо нас, снимает шапку и кивает мне дружески! А Ветка даже кричит: «Здравствуйте!» Как чудно! Значит, мы будем все вместе кататься? Какой сегодня день!..

Тетя, наверное, ждет меня к ужину! Что делать?! А мы отдохнули у Иловайских, помылись — и идем на вечер-концерт, на танцы в клуб.

На улице ночь. Из клуба замедленные звуки вальса. Входим. Яркое освещение, много народу. Ищу глазами Шуру Успенского. Его нет. Мы кружим по зале как все, в ожидании начала. Вдруг кто-то пересекает нам путь: Гаря. Он принаряжен, черные пряди гладко причесаны. Глаза светятся радостью. Он подходит вплотную и тихо: «Ася, можно вас на минуту?» Я отхожу с Гарей, и толпа сразу отделяет нас.

— Ты, Гаря, что?

Отводя золотые глаза и очень волнуясь:

— Я хочу с вами поговорить. Может, выйдем?

Мы выходим на лестницу и по ней — вниз. Холодно, я дрожу, но слова Гари удивительны:

— Ася, — говорит он, — я давно хотел... Я так долго ждал вас! Вы не поймите неверно, — он ужасно волнуется, голос дрожит. — И за вас я готов... Я всю жизнь...

Мы стоим у выходной двери. Гаря понимает, что мне холодно, и, может быть, от этого, от страха, что я простужусь, он торопится, сбивается. Я люблюсь им. И мне жаль его.

— Я готов служить вам всю жизнь, Ася! Я вас люблю! Вы мне тогда писали, что...

Он опускает глаза, они польхают. Он испуган тем, что сказал. Мне очень холодно, я побарываю дрожь.

— Гаря, — говорю я, — да, я писала тебе, что очень люблю тебя, что ты — особенный. Но ты не понял меня. Так, как ты любишь меня, вот этой любовью я люблю Шуру — я не хочу лгать тебе. А тебя — тебя я тоже люблю, но иначе: как любят (я ищу слова) героев книг, детей, цветы, воспоминанья...

Чем я больше длю перечислениями мой ответ, тем скорее хочет прекратить наш разговор Гаря.

Он стоит передо мной, весь потухнув, тоненький, выросший с лета, почти юноша. Его смуглое узкое лицо больше не освещено глазами — их опустил, и очень тихо — так отплывает от берега лодка:

— Я понял!.. (Как он это сказал! Сейчас я эти слова слышу.)

Он мне уступает дорогу, как бы торопя меня отсюда (где мне холодно, а ему тяжело) — туда, наверх, где мне будет тепло, где музыка. Шура... Я жму его руку — слабую, узенькую. Крепко жму. Затем взбегаю по ступенькам. Я иду полкруга одна, и вдруг сердце начинает так биться, что я останавливаюсь: в зале сидит Шура Успенский рядом с Марусей Н-й и глядит ей в глаза.

В это время ко мне подходит Кланя.

— Видела? Значит, правда... Я слышала, что Санька влюбился в Маруську — но не верила... И чего он в ней нашел? Прилизанная, неинтересная... Разве ее с тобой сравнишь? А воображает из себя...

Наш путь лежал мимо них. Когда мы прошли мимо Шуры, он мне поклонился. Я помню, как упало сердце. Помню себя несчастной. Но что было дальше, я не помню, и то, что

было, мне — 53 года спустя! — рассказал все с той же язвительной усмешкой 69-летний Шура.

— Не помните? А я отлично помню... Вы были очень взволнованы. Мы стояли с вами в сторонке, и вы мне сказали: «Как вы могли променять меня на это ничтожество?» Вы едва помнили, что говорили, может быть; вы были очень бледная, даже такая зеленинка в лице!

Как странно, что я это забыла! Но сейчас мне кажется, что... да, вспоминаю...

Почему ничтожество? Она была очень хорошая девушка из благовоспитанной семьи. И веселая и умница. (Сказала ли я Шуре, что встретила Марусю Н. в тяжелые годы, в невеселых местах, вдали от родины?) И мы узнали друг друга, общались. Она ни словом не напомнила мне своей надомной победы, 16-летней. Очень деликатно. Нам было лет 50 с чем-нибудь, ей и мне.

Невеселое, думаю, было мое возвращение к Тете в тот вечер. Верно, девочки проводили меня.

Знал ли Гаря о моем поражении и объяснении с Шурой? Стараюсь вспомнить. То, должно быть, была моя последняя встреча с Гарей, потому что на следующее лето мы не попали в Тарусу. И еще на следующее — тоже. С Кланей я увиделась — она гостила в Трехпрудном, уже будучи замужем. Она стала математиком. Потом встретила ее еще раз, лет восемь-девять спустя, когда у нее была дочка. Затем от Виноградовых услышала, что она умерла. С Михайловыми я встретилась четыре года назад в Тарусе, не видевшись 50 лет. Обоих можно было узнать. Меня помнили. Серезу более не видела.

Из позднейших (1912 и в 1922 годах) встреч с Шурой Успенским знаю, что — «Тогда, в Тарусе, в юности я был без ума от вас. Когда я переносил Асю из завязшей лодки на берег, я точно огонь нес. Обжигался, терял голову...» Чистые, счастливые времена... (Привожу не дословно, по смыслу.) В 1962 году, 52 года спустя после описанных дней, Шура с улыбкой, освещавшей старое его лицо, вспоминал: «Не забыл, конечно! Помню, как вы прыгали через костры не хуже мальчишек... Как венки васильковые в Оку бросали... Вы были озорная девочка, вас звали атаман...» Я слушала с грустью.

О Гаре (и от него и от других): «О вас писал дневник в толстой книжке. Играл под Горького. Поздней, в революцию, был матрос, револьверы за поясом, скандалил, пьянствовал, срывал иконы. Шумел в Тарусе очень. Умер в больнице, в палате у вашей кузины Людмилы Ивановны Добротворской от тифа».

А Мишка Дубец, когда позже узнал о постигшем меня семейном несчастье, писал мне с фронта трогательные солдатские письма, где сообщал, что (будет?) произведен в офицеры и будет мне присылать из офицерского оклада деньги, чтобы мои дети не нуждались — только просил сообщать перемену адреса. Я ответила благодарностью, сказала, что уезжаю, устроюсь, но адреса не сообщила. Помнится так. Подписывался Мишка Дубец словами: «Пламенный защитник ваш навсегда М. Филиппов».

Девочки проводили меня до Тью. Ложный стыд перед ними терзал меня не меньше, чем сам «крах»...

Музыкой, беседами с Тью я старалась отвлечь себя от раненой гордости. Марине бы все рассказать!

...Но Марина не ехала, и я волновалась очень. То, что она поехала провожать нас с Андреем на вокзал, когда мы уезжали в Тарусу, было странно, непривычно. И вела себя не так, как всегда: была мягче, молчаливей, что-то в себе подавляла. И был мне какой-то намек на то, что спектакль «Орленок» с Сарой Бернар как-то связан с каким-то ее намерением. Она колебалась в чем-то, задумывалась. И на меня ложилась смутная догадка — не хочет ли она... — но дальше я себе не договаривала. Спросить было бесплодно — не ответит. Я, может быть, молилась о ней? И слушать не будет. А теперь, когда она не ехала, меня взяла тоска, страх. Те апельсины стояли передо мной...

И как я обрадовалась, когда неожиданно, без звонка, с черного хода, из той теплой проходной комнаты, где пахло нагретой керосинкой, кофе и печеньем, вошла вдруг закутанная Марина!

— Мунечка! — крикнула Тетя, протягивая к ней руки, в то время как служанка помогала Марине раскутаться, снять с головы платок, шапочку; затем Тетя испустила громкий крик и, видимо, зашаталась, потому что служанка, с трудом подхватив, уже сажала ее в кресло. Но Тетя, закатив глаза,

охала и стонала и указывала рукой на свою талию. Мы тоже бросились к ней, видя, что ей дурно. Марина и женщина суетились возле завязок Тетиной юбки, путаясь в них. Но только тогда поняла я, в чем дело, когда полустоном Тьо выдавила из себя: «Les cheveux!»\* *Я забыла* сказать Тете, что Марине подруга посоветовала для ращения волос какую-то жидкость, назвав ее «Перуин Пето»\*\*, что Марина начала втирать ее в волосы, и те стали катастрофически быстро желтеть. Жидкость оказалась перекисью водорода, и голова стала ярко-желтая! Снизу росли русые, приходилось подмазывать... Увидев такой Марину, Мунечку, Тетя была поражена в самое сердце, быть может, решив, что Мунечка «вступила на опасную тропу»! Но патетизм Тьо на сей раз превзошел себя. Она еще раз охнула — и затихла, закрыв глаза...

На один миг мы в ужасе подумали, что Тетя умирает! Мы стояли, занемев. Служанка плакала. «У вас нет нашатырного спирта?» — шепнула ей Марина. Тьо приоткрыла глаза: «La Tante est morte!»\*\*\* — сказала она, закрывая их снова. И переводя служанке: — Умерла ваш барыня, от страдань, вот тут! — она тронула себя пониже шеи, где были оборки, и, может быть желая поправить грамматическое время, так как служанка как-то странно хмыкнула, повеселев: — ум-р — нет, — сказала Тьо, — умрёт! C'est affreux! Qu'as tu fait, pauvre enfant!»\*\*\*\*

И, тронутая звуком собственного голоса и эпитета, сразу сменив гнев осуждения на приступ жалости, Тьо потребовала узнать, *кто* виновник этих крашенных волос! «Бэдн дэвоч'к, без матерь! Если б их мать знал!..» (служанке), и, уже сев в кресло и вновь глядя на нас открытыми глазами поверх спущенных на середину носа дедушкиных очков, Тьо, усмиряя себя, сказала милостиво-торжественно: «La Tante vivra encore!» И по-русски: «Ваш барынь еще поживьёт!» — и слезы, и радость, и кофе со сливками, печенье, варенье, и призывание наказания на Мунечкину подругу, и — кормить, кормить замерзшую Мунечку... А потом — оркестровый вальс Штрауса из «Венского леса», и уют, и воспоминания...

\* «Волосы!» (фр.) — Примеч. ред.

\*\* Тогдашняя новинка для ращения волос.

\*\*\* «Тетя мертва!» (фр.) — Примеч. ред.

\*\*\*\* «Это ужасно! Что ты сделала, бедное дитя!» (фр.)

И оброненное мне Мариной, странное — «Не удалось...» Большого она не сказала — я не спрашивала. Я была счастлива, что она здесь.

Из отрывков ею сказанного тогда и позднее, слов брошенных, я узнала: она выстрелила в себя — револьвер дал осечку. В театре, на роستانовском «Орленке» (играла Сара Бернар).

С этих недель и месяцев началась третья часть Маринино будущего первого сборника (после части «Любовь» — часть «Только тени»).

Теперь, вспоминая те зимние мои дни в Тарусе, мне хочется сказать: может легко показаться, что дни эти, после взрослых переживаний Москвы, признак моего «легкомыслия».

Многим, может статься, покажется, что я как бы упала с некоей «высоты». А между тем это совершенно неверно. Верный анализ таков: мое возвращение после «Зимней сказки» в атмосферу прошедшего лета в Тарусе меня «омолодило», вернув в среду моего подросточного возраста. Бездумно вошла я в свою юную роль, прерванную осенним отъездом. Но как веселым днем Масленицы, сев с молодежью в санки в час бубенцового катанья, я с друзьями оказалась нежданно — из-за понесших лошадей — на волосок от смерти, так вечером, вступив с подружками в клубные танцы как в отдых, в забвеньи Москвы, я через минуту стала перед фактом признания в любви и необходимостью отвергнуть его, тем причинив юноше горе. Пришлось отказать в любви все лето о ней молчавшему Гаре, выбирая более взрослого, меня любившего, Шуру, — как Нилендер отказал в любви мне, выбрав более взрослую — Марину. Мучаясь, видела я потрясенное лицо Гари, слыша его горько-отступающее «Я понял!..» Так Нилендер мучился обо мне...

Вот мой анализ с дистанции более полувека. Мой взгляд на те дни — через повернутый обратной стороной бинокль: головокружительность жизни заставила меня сыграть в тот же час две роли: стать и отвергающим любовь Нилендером — и, еще раз, тою отвергнутой Асей. Скетч из молодежной жизни, сценичный и любопытный? Но в пятнадцать — быть может, не по плечу?

...И два слова еще о тех пареньках, о друзьях моих. Ни в одном читанном романе Средневековья, ни в современном европейском романе герой книги-вымысла, может быть, не повел себя благородней и мужественней, чем, в яви, этот крестьянский мальчик... А восемь лет спустя другой паренек — Дубец, сын рыбака, за отвагу на фронте из солдата став офицером, задумал свое офицерское жалованье направлять чужой ему женщине, оставшейся с детьми, вдовой.

## Глава 6

ЭПИГРАФ ИЗ ЛЕРМОНТОВА. МЕЧТЫ О ЛУННОЙ ЭЛЛАДЕ.  
СНОВА МИНИСТР ШВАРЦ. МАРИНА. ВСТРЕЧА  
С НИЛЕНДЕРОМ. ДВОРНИКИ. КВАРТИРА В МУЗЕЕ.  
«ВОСКРЕСЕНЬЕ» ИЗ «ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ БЫЛ  
ЧЕТВЕРГОМ» ЧЕСТЕРТОНА

Зимним утром в начале 1910 года папа вошел наверх ко мне в мезонин.

— Скажи, Ася, не помнишь ли ты таких строк у Лермонтова:

Чего он хочет? Небо ясно,  
Под небом места много всем,  
Но беспрестанно и напрасно  
Один враждует он. Зачем?

Вот ты посмотри, точно ли это строки из «Валерика» или...

Мы раскрыли томики Лермонтова, справились; да, стихи были из «Валерика». Уютно ступая мягкими валеночными шагами, папа скрылся в лестничном углублении. Строки Лермонтова появились позднее в папиной книге «Спорные вопросы» — эпиграфом. Разумелся министр Шварц, возобновивший свои преследования. Все мы — дети, Иловайские, Добротворские и Цветаевы, вся знакомая московская интеллигенция — с дружным негодованием и сочувствием переживали папино испытание.

Марина рассказывала мне, что папе в новом Музее дадут квартиру директорскую — в четырнадцать комнат, — после

открытия. Не могут же назначить директором — другого! «Если мы переедем, мы у кого-нибудь там похитим ключи от зал, — сказала она, — и будем ночью одни кружиться в лунных лучах — в Древней Элладе!..

И мы долго мечтали об этом.

— А наш дом? Не жаль разве? Наш старый дом...

— Жаль, конечно... Еще как тосковать будем! Это даже страшно — уехать, совсем!.. Ты думаешь, папа согласится?

В марте 1910 года был издан указ Сената, вторично отвергающий домогательства Шварца. Вновь наш дом, как корабль на волнах, качнуло теплое течение. Позже, в мае, Шварц послал в третий раз рапорт в Сенат, настаивая на своем. Этот рапорт был отклонен. В газетах появились разрозненные отклики на это событие.

Как мы любили звучавшие еще нам тогда стихи Некрасова на смерть безвременно погибшего Писарева:

Не рыдай так безумно над ним,  
Хорошо умереть молодым!

Беспощадная пошлость ни тени  
Положить не успела на нем,

Становись перед ним на колени,  
Украшай его кудри венком!

Все, что погибало, влекло Марину еще сильнее, чем меня. Я по своей природе была мягче, легче сходилась с людьми. Марина в то время жила только книгами. После Нилендера, может быть, еще крепче с ними, чем до него...

Судьбы братьев Гонкур, Гейне с его *Matrazengrab*\*, судьбы глухого Бетховена, Пушкина, Лермонтова. Судьба рано умершей художницы Марии Башкирцевой. Каждый погибавший герой книги и каждый внезапно умиравший, о ком

\* Название цикла стихов Гейне времен его прикованности к постели: «Матрачная могила».



она слышала, были ее сверстники, ее спутники. Я, конечно, смягчала ей жизнь. Без меня Марине было бы еще горше.

Какой пищей для той поры был любимый Маринин роман Эмиля Золя «Le gève»\*. Невеста в день свадьбы, выходя из церкви, умирает на руках жениха. Марина эту книгу обожала. (Слово «обожала» я употребляю здесь потому, что его *любила* Марина. В *те* годы это слово звучало *не* по-институтски. В нем была высокая нота...) Тоска по Нилендеру отнимала силы радоваться жизни. В один такой вечер, синий, с первым весенним ветром, мы шли под руку по Арбату, когда вдруг — неисследимо короткий миг недоосознанного появления, присутствия — и двойной быстротой шага навстречу — он! Только успела сверкнуть глубокая, горестная улыбка, длинный всплеск руки, приподнявшей шляпу, — и мы уже далеко от него, каждый в свое «вперед», мы — к Смоленскому, в сторону его «Дона», он — в направлении к нашему дому, от которого мы шли.

Миг опустошенности. Протест. Только он нужен! И он прошел. Ушел еще раз!

— Марина, а я ведь забыла. Что у него такие глаза... Темные. Ведь желтые? И темные, отчего?

Марина неслась вперед, поблднев, сдвинув брови.

#### ВСТРЕЧА

«...есть встречи случайные...»  
(Из дорогого письма)

Гаснул вечер, как мы, умиленный  
Этим первым весенним теплом,  
Был тревожен Арбат оживленный;  
Добрый ветер с участливой лаской  
Нас касался усталым крылом.  
В наших душах, воспитанных сказкой,  
Тихо плакала грусть о былом.

...Он прошел — так неожиданно! Так спешно!..  
Тот, кто прежде помог бы всему,

\* По-русски переведено, кажется, «Грёза», лучше было бы «Мечта».

А вдали чередой безутешно  
Фонарей лучезарные точки  
Загорались сквозь легкую тьму...

Все кругом покупали цветочки;  
Мы купили букетик... К чему?

В небесах фиолетово-алых  
Тихо вянул неведомый сад.  
Как спастись от тревог запоздалых?  
Все вернулось. На миг ли? На много ль?  
Мы глядели без слов на закат,  
И кивал нам задумчивый Гоголь  
С пьедестала, как горестный брат.

*Март 1910*

Много лет у нас проживший дворник Илья стал так пренебрегать своим несложным трудом, что, несмотря на его занятия в дворницкой каморке немецким языком и игрой по нотам на гармонике, его пришлось сменить.

Бородатый Антон был по-деревенски робкий, но что-то, видимо, было в нашем доме, что располагало к свободе и своевольству. Папина доброта? Антон, приобвыкнув, стал пить власть и часто и раз свалился под ноги папе, зимой, в длинной шубе, открыв ему поздно вечером деревянный засов ворот. На другой день, чуя недоброе себе будущее, не желая терять «добраго барина», Антон пришел просить моего заступничества.

— Барышня Асенька, отродясь водки не брал в рот — товарищ попутал!.. — клялся он мне. Успокоив его, обещая просить папу, я явилась в папин кабинет.

— Папа. Знаешь, Антон отродясь водки не брал в рот, честное слово! Его товарищ попутал!

— Товарищ? Какой товарищ? — рассеянно оторвался папа от своих бумаг.

— Папа, Антон отродясь...

— Отродясь? — с сомнением сказал папа и улыбнулся в усы моему жару. — Ну-ну...

— Папа, прости его! Он больше...

— Ну-ну... иди! — И папа простил было, но товарищ продолжал путать — и пришлось с Антоном проститься. Было его очень жаль...

Тогда ли появился дворник Алексей, совсем молодой, светлоглазый и розовощекий (с теми пылающими щеками, о которых пишет Марина в воспоминаниях о Музее). Он был исполнителен, весел, робок — и очень невинен. И спал так, что специально проведенный ему в кухонную каморку особый звонок под названием «коровий рев» — не мешал его сновиденьям... Бедный папа подолгу ждал у калитки, потрясая гремевшее изобретение. Кухарка Татьяна, горбатая, большая, несмотря на горб и старость, могучая, расталкивала младенца-дворника, вызывая пренебрежительное фырканье горничной — «неотесанный пень»... Других дворников, по-моему, не последовало, Алексей остался надолго.

Наконец решился вопрос о квартире в Музее. Папа ответил, что из дома, где родились все его дети, где прошла жизнь, он не переедет. Предложил отдать эти комнаты — восемь и шесть — под две квартиры будущим хранителям Музея — Назаревскому и Киприянову.

Назаревский часто бывал у нас, к нам с Мариной был очень внимателен. Папа не мог нахвалиться им — за эрудицию, разностороннее образование и неутомимость. У нас он сделался своим человеком, был бодрым и преданным помощником папы. Огромный, полный, с окладистой бородой, в которой уж сверкало серебро. Лицо его казалось неестественно большим, глаза навывкате, и весь он был точно увеличенным в лупу. Позднее, прочтя «Человека, который был четвергом» Честертона, мы вспомнили Александра Владимировича Назаревского. Было трудно поверить, что кто-нибудь, кроме него, был назван там «Воскресеньем». А к нашему дому он как-то подходил, вошел как домой в его затаенную сказочность. Хоть и говорил обычно с папой о раскопках на Крите или же об экспозиции зал и о музейском хозяйстве, о рабочих и о текущих делах. Но разве в гофмановском «Чудесном дитя» не был *гувернером* — Чернилка, подымавшийся черной гигантской мухой — под потолок?! И «крестный» Дроссельмейер в «Щелкунчике»... Так, значит, Назаревский, таинственный «Воскресенье», — будет кружиться, вместо Марины и меня, в лунной Элладе...

Глава 7

ВЕСНА 1910 ГОДА. ХУДОЖНИК ЛЕВИ И МАРИЯ  
БАШКИРЦЕВА. ВАЛЯ КАРЛОВА. БЕК. КОРЬ

Весна, как бы ни ждали ее, настает всегда внезапно. Каждый год, и в этот год тоже, выйдя во двор, мы вдруг обнаруживали, что хлыстики тополей вокруг низа их стволов уже выпустили клейкие, пахучие, трогательные листки. Зелени их почти отказывается верить глаз — до того она беспорочно ярка, точно в первый раз на земле! И низенький, густой, другого, более бутылочного оттенка, мох, похожий на плесень, уже снова появился у ступенек погребца, возле собачьей будки, у сарая. Вдоль обоих флигелей — главного, напротив парадного входа в наш дом — и кухонного, в противоположном углу двора, встали ряды зимой не замечаемых молодых акаций, *светло-зеленой* стенкой. Глазу после снега трудно поверить в явь кружевной тоненькой вязи, ничем не сходной с зеленью тяжелых тополиных листов. А когда пройдешь весь двор, матово-серебряным цветом, почти не зеленым, трепещут высокие ветви серебристого тополя, огромного, осеняющего весь входной угол двора и крышу полосатого парадного. Двор без сугробов стал больше, в нем столько чудных закоулков, особенно там, где в детстве еще качали колодец, следы его домика еще есть... Желтые, как маленькое солнце, цветы на пухлом стебле (в нем «молоко») — одуванчики!..

Но если бы только это: цвет, листва, трепет. Но — воздух! Ошалевашь нацело, распахнув дверь во двор. Весенний дух двора берет на руки, точно ты родился и тебя вынесли на воздух впервые. Ничего в душе, кроме детства. Почти бежим (как тогда!) наискось по сырой земле, нюхаем ее совсем так, как дворовый пес, даром что не наклоняем головы! Да, осенью совсем не так пахнет, когда прель листьев, грибы; сейчас земля после первого дождика та же, как когда мы прыгали тут маленькими, вертясь под легкими дождливыми струями, и кричали «Дожьжик, дожьжик»! О, но что делается, когда гремит первая гроза и мы яростно скандируем (в семнадцать, пятнадцать — как в семь, пять) все те же, до нас родившиеся:

...в начале мая,  
Когда весенний первый гром,

Как бы резвяся и играя,  
Грохочет в небе голубом!..

И всеми легкими: «Грибной, *грибной* дожъжик! Солнце светит — и *дощь* идет».

...Как от весны — глупеешь! Наравне с кроликом (летает по двору не хуже нас, от акаций к акациям). Трава сегодня настолько выросла со вчера! А голуби, голуби... Весна! *Мы тебя позабыли!*..

Мы были одни, Марина и я, этой весной 1910 года, после Эллиса и Нилендера совсем одни.

Был апрель, второе число. Почему я его запомнила? На всю жизнь.

«Начало апреля, а смотри уже...» — я показала на полосу бульвара, вдали окутанную дымкой первой зелени, вблизи осыпанную зелеными бусинами и щебетом птиц. Деревья были как солнечные костры.

Мы шли по Тверскому бульвару уже без пальто, в белых пикейных платьях (мое тоже уже полудлинное), в широкополых соломенных шляпах. Ни Нилендера, ни Эллиса. Прошли как сон.

Шел разговор о поездке за границу. Папа хотел ехать в Германию по делам Музея и взять нас с собой, чтобы мы не забывали язык. Он списался через германских знакомых с одной семьей под Дрезденом, где он намеревался устроить нас в пансион, а сам — ездить по городам, откуда ему должны были высылать коллекции слепков первоклассных немецких мастеров. Сначала нам понравилась мысль вдруг оказаться за границей, после уже пяти лет России. Но когда мы вдохнули у себя во дворе и московских переулках русскую весну — сжалось сердце: так особенно позвало в Тарусу! Такой май чудный там, и именно в этот раз мы от нее оторвемся, не увидим ни берез, ни бузины, ни Оки, ни лугов, ни «старого сада», ни поля за большой дорогой, где ореховый овраг... И к Тете не придем в ее сад... И какая там еще эта семья немецкая — Андрей говорит «пасторская», хохочет:

— Будет он вас там просвещать проповедями протестантскими! А фрау пастор будет вас хозяйству учить! Вот так

лето! А я буду гулять в Тарусе, охотиться, на лодке кататься, есть ягоды и яблоки у Добротворских!

И мы, конечно, об отъезде спорим. А папа говорит:

— Мы ходим пешком по Саксонской Швейцарии. Мама ее так любила... Помните Тироль, дети? Это второй Тироль. У фрау Бахман дочь и сын, вы с ними подружитесь!

Маринины занятия в гимназии кончались, мои экзамены были сданы и уж намечался отъезд. Вечерами я ходила гулять с моей новой, обретенной на катке подругой Валей Карловой. Ей было 15 лет, как мне. Но это уже была маленькая женщина — кокетливая, ловкая, с мальчиками повелительная, очень неглупая, наблюдательная, очень хорошенькая, пользовавшаяся большим успехом. Главным ее спутником был Жоржик Смирнов, гимназист-подросток, некрасивый, но не лишенный обаяния и задора, неотступно следующий за Валей. Она над ним посмеивалась, дразнила его, но умелыми полудевочкиными-полуженскими манерами держала при себе. Меня она по-своему любила за смелость, инициативу, так как мы были очень несходны, дружба наша была лишена интимных бесед, глубины, а основывалась на тяге к веселью и насмешливости, но она — крепла.

В весенний день мы пошли к Юхневич. Улыбающийся, робкий, трогательный и немного смешной, Марк Карлович встретил нас, как всегда, почтительно, как маминых дочерей, дочерей той, которая помогала его умершей жене и завещала и детям ее, уже после своей смерти, ежемесячно денежную помощь. Это немного стесняло нас, от этого ложного для нас момента было грустно, и мы стеснялись, ответно, еще более, чем всегда. В последний раз, когда мы были у них, то встретили там незнакомую даму средних лет. Она нам понравилась, но затем произошло следующее: сыну Волечке отец подарил волшебный фонарь, и мальчик ликовал. Но когда он, после торжественных сборов, в затемненной комнате стал нам показывать его, что-то стало не ладиться. Надо было видеть его волнение! Он готов был заплакать. В один голос Марина и я стали уверять его, что очень интересно, «нам очень нравится»! Воля было успокоился, но дама, гостья, возразила: «Для чего так говорить! Мальчик должен знать правду, какая бы она ни была.

Фонарь испорчен, и его надо или вернуть, или чинить!» Огорчение Воли было несказанно! Марина вскинула лицо своим характерным движением гордости и застенчивости, пожала плечами. И дама нам стала врагом. «Противная», — шепнула я Марине незаметно. Почему было не починить или обменять фонарь завтра, без Воли, не доводя его до слез? Испортить его сказку!

Сегодня этой дамы не было. Был его коллега Леви. Уже пожилой, скорее полный, чем худой, русский, с небольшой остроконечной бородкой. Встреча нас взволновала: он знал в Париже Марию Башкирцеву! Говорил с ней! Как мы расспрашивали его! Как жадно слушали равнодушный к ней рассказ! Вот что я помню (кроме, кажется, иронического упоминания о ее неудачной переписке с Гюи де Мопассаном): «Мария Башкирцева несомненно страдала слуховыми галлюцинациями. Помню такой случай: мы сидели, беседовали. Внезапно Мари настораживается, теряет нить беседы, прислушивается: звонок! Мы уверяем ее, что никакого звонка не было. Спорит, уверена в обратном. Так бывало не раз — слуховые галлюцинации. Но была очень образованна. Читала в подлиннике Платона. Спала на жесткой узкой постели. Была очень красива...»

Мы слушали со странной печалью. В нас смешивалась благодарность к нему за эти рассказы — с болью о его почти повседневном тоне о ней, для нас такой близкой, далью овечьей...

Как во сне, возвращались мы домой в тот вечер, словно Мария через этого случайного человека протянула нам руку.

Леви казался нам почти дорог, отражая свет виденной им Башкирцевой. Мы уходили от Юхневича, будто ее коснувшись. Не сразу вошли в свою жизнь.

Сказали я, что Марина в этом году — или в будущем — стала переписываться с матерью Марии, что та прислала Марине несколько фотографий дочери? От нее Марина узнала, что дневников Марии было много, но что напечатаны они будут лишь через десять лет после ее, матери, смерти. Мешало изданию нежелание семьи вскрывать их семейные отношения. Прошло более полувека. Об этих дневниках не слышно. Погибли ли они в огне войны? Как бесконечно жаль...

Валя Карлова жила на Тверской, напротив Мамоновского переулка, во дворе, в квартирке, где мать ее, низенькая, полная, хозяйственная, ловкая, сдавала комнаты и там жила. Валу она хорошо одевала и воспитала в ней дух и делового и женского достоинства, помогавший Вале в бедности вести себя как ведут себя в богатстве, посмеиваться над уже начавшейся вокруг нее суетой «кавалеров» и пренебрегать таким богачом, как Смирнов. Одно время она даже совсем его «оставила» и он, удаленный, имел грустный вид, что не мешало ему все же надеяться на будущее с ней — в чем не ошибся.

Маленькая, с склонностью к полноте, складная, умело, изящно одетая, Валя обладала каким-то колдовством темно-серых красивых глаз с чуждыми, темными, как у полячек, бровками. Продолговатое, смуглое личико, усики над волевым ртом, светлая челка. Мне она нравилась, и я ей. В ней был размах, не по ее летам зоркость. Мать ее любила меня, думается. Дружбу нашу поощряла. Она продлилась множество лет до вынужденной жизнью разлуки...

Когда опадала жара, пахло ландышами и на Тверском бульваре гремела музыка (военный оркестр). Мы заходили друг за другом и шли гулять. Валя всегда была окружена ребятами. Гулявшие с нами под звуки оркестра мальчишки 15–16 лет: Леша Образцов, Серж Турчанинов и Борис Голубев. Из них Борис был старший и самый умный. Высокий, круглолицый с очень светлыми глазами, немного застенчивыми. Светловолосый. С ним с первой встречи пошло какое-то смущение. С сердцебиением перед каждой фразой думалось: «Сказать? Нет?» Молчание — тоже говорило. На фоне непонятности нашей дружбы (это слово было рано произносить), на фоне какой-то драгоценности его присутствия двое других мальчиков были только добавлением: смуглый, кареглазый щеголь Леша, веселый и беспечный, и совсем еще мальчик, тоненьким хлыстиком, Серж, и стеснявшийся и щеголявший «взрослостью», милый. В этих весенних прогулках больше нас говорила музыка и запах зажатых в руке букетиков ландышей.

Хороводила нами Валя, и я с улыбкой уступала ей место зачинщицы, за свою 15-летнюю жизнь уже устав от него. Начинались какие-то посерьезнее разговоры с Борисом —



о книгах, о писателях. И хотелось назавтра встретиться. В Москве наступала жара.

После вечера с Валей и Борисом я присидела за дневником целую ночь. Многоликая, и в этом облике высокого, со светлым уклончивым взглядом юноши, снова веяла возле меня та сила, таинственная, безымянная, которую нарекли словом «любовь». Это была любовь к любви, так в расцвете прерванная разлукой с Нилендером, это была весна, распахнувшая окно в ночь, которая над Москвой затихла, и это были гудки Брестского вокзала, голос отходящих поездов. И был рассвет. В лицо этому рассвету я записала в дневник последнюю фразу волшебной исповеди о своем горе и счастье жить: «Светло. Я люблю Бориса». И стала ложиться. В комнате голубело.

Кажется, в тот же вечер Борис Голубев, провожая меня домой с музыки, попросил дать ему перечесть Гоголя (мы говорили о нем). Я вынесла ему то, что он назвал. Но он попросил и другие тома — ему хочется прочесть многое. Он перечтет быстро и скоро вернет. Я отдала ему все пять томов тихонравовского издания в коричневом с померкшим золотом переплете. Я не видала их больше — ни их, ни Бориса Голубева, мне это даже и сейчас грустно сказать. Валя смеялась сочувственно-поучающе: «Эх, Ася, вы все же наивная... Я бы ни за что не дала!»

Я не упомянула об одном человеке, которого заметила, часто видя его на катке. Он катался на норвежских, в черном спортивном трико и шапочке. Легкий, миловидный, чем-то напоминая брата Андрея, он проносился как черная молния. Было ему лет — восемнадцать? Фамилия его была Бек (имя, может быть, Виктор?). Нас никто не знакомил. Он видел девочку на норвежских, единственную на Патриарших прудах. Мы не знали друг о друге ничего.

И вот в один весенний вечер я оказалась в синематографе в начале проезда Тверского бульвара, наискось от памятника Пушкина. С кем? Не с Мариной, мне кажется. Вечер этот окутан в памяти туманом. Помню, как помнят бред — кусками и чувством. Эфемерно в нем было все — и оно объяснилось потом: я заболела. Была, того не зная, в жару. В синематографе был Бек. Бек сидел рядом со мной. Я была

счастлива. Горда: мы будем на льду нестись с ним вместе! Бек помнит меня. Что сказал? Туман гуще. Радость ярче. Экран исчезает. Какой конькобежец: он был всю зиму — не достигаем. Удивительные слова... Если бы их все запомнить! Как он похож на Андрея! А на экране — а это не мы в поезде едем, с Андреем? С Беком? За границу? О, надо же рассказать Марине! Как ей понравится Бек! Он совсем тот мальчик из ее детского журнала «Родник»! Туман еще гуще... Я не помню ни ночных улиц, ни входа в дом. Жар рос. Меня довел — Бек? Кто меня уложил? Жар выше. Доктор. Грянуло слово «корь». Я проболела две недели. Как странно, что не помню, болела ли и Марина. Я помню себя в темной комнате — тогда так лечили. Я лежала на Маринином диване. Ждали, когда я поправлюсь, чтобы выезжать за границу... В комнате было светло. Лежа я читала «Обрыв» Гончарова, у раскрытого окна.

Через несколько дней мы — Андрей, Марина и я — выехали за границу. Больше я никогда не видела Бека. Память о Беке тлела во мне огоньком. «А это не жар был, не бред?» — «Нет! — отвечала во мне с несомненностью память. — Этот вечер наш был». «...Под шум вагона сладко верить чуду / И к дальним дням, еще туманным, плыть. / Мир так широк! Тебя в нем позабуду / Я, может быть? ...»

Часть одиннадцатая  
ВАЙСЕР ХИРШ\*. ЛЕТО 1910 ГОДА  
ПОД ДРЕЗДЕНОМ

Глава I

ВСТРЕЧА. ПУТЕВЫЕ СТИХИ МАРИНЫ.  
СИКСТИНСКАЯ МАДОННА. ПОБЕДА НЕДОСТОЙНОГО  
МИНИСТРА ШВАРЦА

На Брестском вокзале, когда мы уже готовы были садиться в вагон, Марина вдруг схватила меня за руку.

— Смотри!..

Я взглянула — и замерла: в окне вагона, как в раме портрета, стояла девушка — двойник Марии Башкирцевой: на высокой шее была поднята голова белокурой красавицы; правильные черты лица, повернутого к нам вполборота, были — ее черты. Выражение горделивой грусти. И рука, так знакомая по ее двенадцатилетнему портрету (где она кажется шестнадцатилетней), лежала на раме открытого окна — как там, в книге. Но что всего странней — она не двигалась — замерла, как и мы.

Это всего был — миг.

Тотчас же раздался второй звонок, Андрей заторопил нас — садиться. Последнее, что мы видели, — как колыхнулся светлый шарф у ее светлых волос, уложенных прической Мари — косой над высоким лбом. Люди бежали, толкались, поезд был готов двинуться. Только тогда мы, в один вздох:

— Башкирцева!..

Отъезд из Москвы, прощанье с городом, где оставался Владимир Оттонович, неизвестность того, что ждало, — все стерлось губкой с доски! Поезд ее уходил — куда? Кто она —

\* Белый Олень (нем.).

никогда не узнаем... Мы потерянно, в неизбывной тоске глядим ей вслед.

Поезд шел, а Марина писала стихи. Она назвала их «Встреча». Это был сонет, и им она начала осенью свой первый сборник стихов, посвященный Марии Башкирцевой, — «Встреча»:

Вечерний дым над городом возник,  
Куда-то вдаль покорно шли вагоны,  
Вдруг промелькнул, прозрачней анемоны,  
В одном из окон полудетский лик...

На веках тень. Подобием короны  
Лежали кудри... Я сдержала крик:  
Мне стало ясно в этот краткий миг,  
Что пробуждают мертвых наши стоны...

От города в памяти густые купы деревьев, светлая Эльба в каменных берегах, лучащийся жар солнца и, как всегда в путешествии, усталость от хождения по чужим улицам. Магазины нас не прельщали, мы покупали необходимое наскоро и были рады прохладной тени деревьев по пути к торжественным зданиям музеев. Мы входили уже привычно, сразу переносясь в детские годы, когда столько музеев мы обошли с папой (Вена—Мюнхен—Генуя, позднее Фрайбург). Музей — это был некоторым образом дом. Все музеи были немного папины. И папин Музей, кроме того, был немного и памятник Моммзену (столько о Древнем Риме написавшему), о котором мы слышали с детства почти как о Зевсе, что-то древнее, ученое, ценное, знаменитое и с чем папа связан. Великолепие известной «Брюллевской террасы» меж музеями и Эльбой, вид на нее и с нее в нежную жару утра и трепет слова «Альбертинум» еще до входа в музей. Прохлада зал и имя профессора Трея, папиного друга.

Но я помню маленькую — после зал — комнату, высокую и тихую, как колодец. В ней говорят шепотом. Ходят на цыпочках. Мы стоим — папа, Марина и я — и смотрим: по облакам, как по земле, идет к нам девушка непередаваемой красоты, простой и невинной. Волосы ее трогает ветер, карие глаза смотрят на нас, губы дышат. А на руках ее на нее не

похожий младенец, большелобый и крепкий. И неописуемой глубины и внимательности полно его и детское и недетское, человеческое и нечеловеческое лицо. Сикстинская Мадонна!

Через несколько дней после нашего отъезда за границу с Андреем по высочайшему повелению папа был уволен от службы по должности директора московского Румянцевского музея... Папа получил это известие — без нас. В борьбе нечестного министра и честного профессора победил — первый! Происками Шварца папа был уволен с места, где он беспорочно прослужил столько лет!

Это было неслыханно. Папа — «за нерадение!»...

## Глава 2

### ВАЙСЕР ХИРШ. ЛОШВИЦ. «НОРВЕЖСКИЙ ДОМ» И ЕГО ОБИТАТЕЛИ. ШВЕДСКИЕ ДЕТИ

Гористое место под Дрезденом, Саксонская Швейцария. Столько зелени в этом городке, что только и видно: сады по уступам, в них тонут крыши вилл всевозможных стилей, и вьется змейка фуникулера, круто скользящего вверх меж садов.

Дом семьи пастора Бахмана, где мы будем жить, на улице, вернее, в верхней части городка по названию Лошвиц. Уличка идет вниз, и на этом спуске стоит дом Бахманов, «das Norwegische Haus»\* — вилла в норвежском стиле из темного дерева, островерхая, с большим висящим, обходящим ее балконом, сказочная и уютная, похожая на швейцарский «шалэ» и «Шварцвальдсхаус»\*\*, где мы жили семь и шесть лет назад, с мамой. Очень маленький садик. Нам показывают наши две комнаты — поменьше проходная, с окном на подымающуюся в гору зелень и чьи-то виллы, и за ней комната больше, в два окна на фасаде. Отсюда виден вход в садик «Норвежского дома» и дорога. Что же, отлично! Не ссорясь, мы распределяем: в большой будет Марина, в меньшей, проходной — я.

\* Норвежский дом (нем.).

\*\* Чернолесье (нем.).

У окна я поставлю стол, тут буду писать дневник, Марина поставит письменный стол в глубине второй комнаты. После обеда будем ходить в город, потом в купальню. Такая жара!

Андрей уехал. Мы остались одни в незнакомой семье.

Фрау Бахман, высокая, всегда занятая, серьезная, но и ласковая женщина, старалась, чтобы нам было хорошо у них — «gemütlich» (уютно). Жалея нас за то, что у нас умерла мать, она иногда вдруг, среди хозяйственных забот, устремляла на нас светлый взгляд всегда немного печальных глаз, выходила из своей жизни, заглядывая мудро и добро, без любопытства, в жизнь чужой семьи, чужой страны, в чужую судьбу. Она нам понравилась. Нам было легко с ней, даже как-то ближе и ловче, чем с детьми ее, подростками — Софией и Герхардтом. В тринадцать и четырнадцать лет — это были совсем дети, веселые, робкие и невинные, какими мы и в детстве не были. Очень большие ростом, как *великаны дети*. София, темноглазая, волосы в две косы, горбилась и стеснялась, ходила в матросках, ступни — еще больше от сандалий, в которых ходили здесь все. Хорошая улыбка, горячий взгляд.

Герхардт, годом старше, еще выше сестры, светловолосый, светлоглазый, ребячливо-хмурый, несмотря на вежливость, нас дичился. Были они оба в полном подчинении у матери и не бунтовали ни в чем — это им не приходило в голову. День их шел по раз навсегда заведенному образцу. Главным словом, с которым они обращались к матери, было: «Darf ich?»\*. К нам они отнеслись хорошо — к приезжавшим привыкли. Мы были в доме не первые чужие дети на их веку.

Но самым замечательным в семье пастора был сам пастор. Мы в своей жизни пастора видели только одного, в Шамуньи и Аржантьёре летом 1903 года, знакомого мамы по пансиону, отца девочки Айлин. Того самого, который в целях забавы, когда мы пришли в гости к его дочке, спрятался под стол, одевшись и загримировавшись орангутангом и из-под скатерти задевал нас длинными лапами-руками, на которых — не туфли ли были? (И, кажется, рычал?) Мы тогда очень перепугались, смутились — в отвращении от непонятности происходившего, чем еще более смутился бедный пастор,

\* «Можно мне?» (нем.)

гостеприимно захотевший нас развлечь... И были пасторы-проповедники в «Томе Сойере» и «Геке Финне». Этим наш опыт кончился.

Пастор Бахман не проповедовал ничего. Небрежно одетый, что редко у немцев, так же причесанный, бородатый, он ходил по дому, ни на кого не обращая внимания, и делал только одно: играл на рояле. Он был композитор, писал симфонию. Звуки, лившиеся обильно и шумно из-под его рук, на симфонию похожи не были, но в них смешивались самые разнородные мелодии. Фрау пастор избегала говорить о деятельности мужа, по крайней мере первое время. Затем из ее уклончивых недомолвок мы поняли, что герра пастора считают больным, что он тяжело переживает непонимание людьми его музыкальных сочинений. «Он очень добрый человек, — добавляла она, — но немного нервен...» И тихонько вздыхала. Поняв, что в ее жизни — трагедия, мы еще теплей стали относиться к ней. Пастора мы сторонились — невольно, не понимая, как с ним надо говорить. Но его болезнь возбуждала сочувствие; немного и восхищения пробуждалось в нас к нему за его долю отщепенца в том мире законности, порядка и скуки, в каком он — жил. Что-то в нем было родное.

И было еще одно удивительное в «Норвежском доме»: Софию и Герхардта никогда не кормили вдоволь. Они уходили из-за стола голодные. И мы вспомнили наш голод в пансионе Бринк. София грустно терпела, карими жалобными глазами блеща на блюдо картофельного салата, манную запеканку с подливкой из компота — жидкое варенье или кисель из ревеня, — от которых ей было положено в тарелку, но так мало, что ей, Riesenkind'у (великаньему детенышу), — не хватало... Герхардт был смелей. Хмурясь, он говорил матери неизменно: «Mutter! Darf ich noch ein bisschen?»\* — на что получал неизменно тот же ответ: «Genug, Gerhardt!»\*\*. А на наше удивление, как-то наедине с его матерью выраженное, она нам ответила с невозмутимой уверенностью: «Meine Kinder wachsen von Luft»\*\*\*. Скупа она не была, нас ни в чем не резывала, кормила вполне достаточно, обильно, вкусно

\* «Мама, можно мне еще немножко?» (нем.)

\*\* «Довольно, Герхард!» (нем.)

\*\*\* «Мои дети растут от воздуха» (нем.).

пекла пироги (кухены), ничего сходного с экономией фрайбургского пансиона Бринк, где мы голодали в детстве, тут не было. Но она верила, что главное для человека – воздух, Luftbad\*. И что желудок не должен быть полон. И так воспитывала своих детей. К нашему удивлению, они действительно были здоровы, велики и сильны. Но мы их очень жалели.

Кроме нас в доме жили еще мальчики: три брата – Кристиан пятнадцати, Хайни восьми и Хельмут семнадцати лет. Насколько были неинтересны первые, настолько выделялся Хельмут\*\*. Единственный сын богатого, но строгого отца, живший, как мы, без матери, казался старше своих лет, он нам пришелся по душе, и мы быстро сдружились. Умный, воспитанный, внимательный, много читавший, он обладал обаянием. Невысокий, тонкий, узколицый, темноволосый, он был своеобразен, скромн и уже в том возрасте, когда идет сознательная борьба с застенчивостью, определяемой как слабость. Волевое начало Хельмута сквозило во всем. Со своей стороны, он сразу отметил в нас необычные среди его сверстников индивидуальности – Маринину и мою и выражал нам интерес и симпатию – дружески-почтительно, без всякого элемента ухаживания.

Папино желание исполнилось: мы с каждым днем все больше вспоминали немецкий разговорный язык, ушедший, как и французский, из наших дней – с мамой. В застольных беседах принимал участие и Кристиан, юный немец мещанского типа, вызывавший, однако, доброе отношение своим неизбывным чувством собственного достоинства. Белобрысый, толстощекий и важный, он был наивен, старался быть чинно-галантным, и было в нем тайное постоянное беспокойство, как бы не сплеховать в чем-нибудь. Хельмут, как и мы, чувствовал здесь комизм, и мы незаметно переглядывались, жалея Кристиана за его нелегкое положение на свете.

София и ее мать часто рассказывали нам о живших у них года за два до нас детях-шведах – Дагмаре и Каролусе, младших. Они говорили о них с любовью, переносились в их

\* Воздушная ванна (нем.).

\*\* В переводе «Хельмут» (Hellmuth) – «Светлое мужество» (что очень Хельмуту подходило).



дальнейшую жизнь, жалея их за их горькое сиротство. Что-то растерянное и неприкаянное было в этой осиротевшей, без матери, семье, в непрактичном отце. Фотографии их были заботливо убраны. Их приносили и показывали нам — своих «Schwedenkinder»\*. Старшая Дагмара смотрела печальным и строгим взглядом, светлые ее глаза глядели открыто, и была в них отвага, точно она стоит на морском берегу. Длинные, светлые, как лен, волосы прямо лежали за плечами матроски. Каролус, лет десяти с виду, был совсем другой: глаза его были велики, темны, в них боролись жалобность и гордость. Каролус был красавец. Он не сознавал этого, был так невинен в своей красоте — скорбно-нахмуренные бровки его над темным пламенем мальчишеских глаз, по-детски капризный рот и крыло морского воротника. То, что у него нет матери — никогда уж не будет, ушла, как наша, — ранило наши сердца на годы памятью о нем. Марина много лет спустя возвращалась мыслью к нему и Дагмаре.

Была еще одна грустная радость в этот наш приезд в Германию: у нас началась переписка с Гретхен Фехнер, очень любимой нами подругой в пансионе Бринк. Это была единственная наша общая подруга с Марусей: ревность ее, всегда хотевшей себе человека или книгу отдельно, не оторвала эту девочку от меня. Гретель захотела дружить с обеими нами, независимая и упрямая. Она писала нам о своей радости снова о нас услышать, шесть лет спустя тех пансионских дней; о том, что скорбит за нас, узнав, что «die liebe Frau Mama ist gestorben»\*\*, мечтала свидеться с нами и рассказывала о том, как она живет теперь. Она вложила в письмо свою маленькую фотографию, добавив, что у нее находят здесь ein höhnisches gesicht\*\*\*. (Ее пятнадцать лет, как мои, верно, тоже любовались собой.) Сердце согрелось этим приветом из прошлого, мы строили воздушные замки.

Жизнь их смелá. В то время, когда мы с Мариной жили в «Норвежском доме» у Бахманов, в «Московском вестнике» появилось сообщение, что ввиду увольнения со службы директора Румянцевского музея И.В.Цветаева Министер-

\* «Шведские дети» (нем.).

\*\* «Милая мама ваша умерла» (нем.).

\*\*\* Насмешливое лицо (нем.).

ство народного просвещения распорядилось о временной передаче музейного имущества и дел хранителю музея Н.А.Янчуку.

Каково же было душевное состояние папы, когда одним росчерком пера отнятый у него Румянцевский музей, на пользу которого он столько лет трудился, был передан в руки клеветника!

### Глава 3

#### СТАРОСТЬ И ЮНОСТЬ. СОСЕДИ И ЗНАКОМЫЕ «НОРВЕЖСКОГО ДОМА». СКАЗОЧНИЦА

А жизнь в Вайсер Хирше шла своим курортным чередом: процветающая система доктора Сандера вызывала в явь невероятные зрелища – толстые без меры, с одышкой мужчины и женщины, в сандалиях на босу ногу, приступом брали окрестные горы после насильственно легкой пищи, прославляя систему доктора и вздыхая о слабости своей воли, в мечтах об иной еде, о гладкой местности и привычной обуви.

Мы, юные, сбегали им навстречу легким шагом и вновь взлетали крутыми тропинками с купанья, подвижные и легкие... с содроганьем думая: «Старость! И зрелость, путь к ней!..»

Выше нас по зеленой горе жил с семьей знакомый Бахманов – скульптор Бродауф. Он приходил к нам, и мы с фрау пастор ходили наверх к ним. Жена скульптора, усталая от детей и хозяйства, из дому не отлучалась, стирая, качая, кормя. Мы с тоской смотрели на эту женскую долю. Но сам Бродауф был великолепен! Седая, молодая еще голова; умный взгляд темных пронизательных глаз. Он входил – и с первого взгляда чувствовалось, что вошел человек своеобразный, образованный, красноречивый, разносторонний. С Бахманом они были старые друзья. Он одобрительно смотрел на нас, особенно на Марину, интересовался ее стихотворным даром, жалел, что не знает русского. Иногда он говорил с пастором о музыке. Не уступал доводам музыканта. Раздавались спорящие голоса. Старался ли скульптор, пылкий и яркий труженик, разубедить в чем-то

странного композитора? Добивался ли он понять, по Ломброзо, границу между *Genie und Irrsinn*\*. Пастор выходил, иногда выбегал, с разгоревшимися щеками. Затем все возвращалось на круги своя.

Мы часто слышали о семье адвоката Шницлера. Однажды и нам вместе с семьей Бахманов пришло приглашение на литературно-музыкальный вечер в эту семью. Жили они недалеко. Собрались туда только фрау пастор и мы. Герр пастор никогда не ходил в гости. (Кстати — он никогда не отлучался и для пасторских занятий. Видимо, пастором он был в прошлом.) Софию и Герхардта мать с собой не взяла. Мы увидели большую богатую виллу, перед которой «das Norwegische Haus» казался избой. Но в просторных, с сияющими полами комнатах было пусто и официально. Мебель стояла по стенам. Пожилой хозяин встретил нас любезно, как и жена его, чинная дама. Собралось уже много гостей. Ждали еще кого-то. В светской обстановке мы сразу заскучили, жалея, что пришли сюда, а не взобрались меж зеленых садов в домик Бродауфа. Но через полчаса наше настроение резко изменилось: в дом приехала волшебного вида старушка, рассказчица сказок.

Ее встретили приветливо, усадили в кресло, и начался музыкальный вечер.

Он был очень «изысканный» и очень обыкновенный: дамы пели по очереди, раскрыв рот и прижимая к груди обе руки или руку с зажатой трубкой нот. На них сверкали драгоценности, благоухали розы. Скрипач вдохновенно прижимал подбородком скрипку и, может быть, подражал Паганини. Слушая рояль, мы с тоской вспоминали мамину игру. Всего лучше была виолончель, певшая низким медленным голосом о чем-то прощании. Но все было так прилизано, так прилично! В перерыве подали чай в исключительной красоты — саксонский фарфор — чашках, бутерброды на блюде, вазочки с вареньем, причем обращалось внимание гостей, что в одной вазочке — варенье одного сорта, в другой — другого. Дамы охали, отдавая дань любезному гостеприимству, и передавали друг другу две золоченые вазочки с печеньем. Между гостей летал шепот о необычайном обилии угощения.

\* Ломброзо, «Гений и помешательство» (нем.).

Я обжигалась чаем и уголком глаза косилась на Марину. Но когда, после нескольких претенциозно и сентиментально прочитанных стихов, настал черед рассказчицы сказок — мы ожили: старушка, еще не древняя, донельзя худая (черный огонь глаз под густыми бровями, тонкий нос), готовилась начать сказку. Она была в черном старинном и старом платье. Кресло ей перенесли ближе, публика разместилась кольцом, и глуховатым голосом, тихим, она стала рассказывать. Ее голос креп, взгляд обводил нас. Фабула, начатая, как начинаются все наивные сказки, усложнялась, запутывалась, поведение сказочных персонажей принимало злое щий оттенок — перед нами разворачивалось восхитительное повествование! Не знаю, как слушали остальные, но мне, и, конечно, Марине (мы всегда одинаково чувствовали в таких случаях), хотелось понять, *узнать: свое* она рассказывает? Неужели *свое*? Неужели *чужое*? Но где же она нашла такие сказки? Мы о них никогда не слыхали...

Как мы страдали, когда по окончании, внезапно, раздались любезные аплодисменты! Ревниво смотрели мы на старую волшебницу, платочком вытиравшую лицо, на ее худую желтую руку, несшую ко рту чашку остывшего чая, кивавшую соседке-даме, улыбавшуюся, отдыхавшую перед следующей сказкой. Отдохнуть! Это было нам, юным, непонятно — разве можно отдыхать от *такого*? Оно же *само* есть от *всего* отдых! Богатство и бедность, старость и молодость, красота и безобразие — это было то, с чем в колдовском разнообразии сочетаний говорится в сказках. Да, но ведь всего этого никто, может быть, не понимал в той гостиной, кроме нас. Тут начинается ревность. Мы чувствовали эту сказочницу *своей*, для нас она говорила — это нам было так явно! А между тем *она* о нас не знала совсем — не узнает. Она встанет и уйдет, хозяева проведут ее до дверей. (Может быть, и заплатят ей — за сказку. Она ведь, наверное, живет этим?) Она могла бы полюбить нас и, может быть, понять? И мы бы ее любили...

Говор гостиной стихал. Она продолжала. Сказка шла за сказкой, и, может быть, толстокожесть слушателей даже и пронизалась чем-то в тот вечер? Как блистали старые глаза на помолодевшем чудесном лице! Это была импровизация? Или во вдохновении рассказа сплетались неведомые нам легенды, германские (но сколько мы их знали!) — с вымыслом,

и в комнате возникали новые очертания сказочных призраков, новые сочетания все той же древней фабулы об испытаниях, разлуках, мужестве и надежде, о расцвете и отцветании, о выполненных заветах и обещаниях — и о мраке злой воли, мщении и зависти, о заточениях, предательствах, гибели... Наконец, устав, смолкла. Ее благодарили, а она, еще светясь, остывала. Сейчас наступит ее телесная старость, отступившая на время *тфуда!*

Серая, еще не белая, голова, старомодная, но небрежная прическа — точно сами волосы на ее голове превращались в какое-то сказочное оперение, старенькое черное платье, только что бывшее почти «королевским», пока она говорила... И ее уход назад, в ее одинокую комнату — со старым кофейником? Любимой кошкой? Усталость голоса, рушение в сон... Разве можно позабыть тебя, сказочница?!

Мы возвращались с фрау пастор по темным улочкам, взволнованные, отдохнувшие и уставшие, жадно расспрашивая о старой фее. Да, она живет этим, одинокая, давно уже. Это — ее хлеб.

Вскоре к нам прибыл еще пансионер, наш соотечественник — Володя Калашников, лет семнадцати. Мы быстро сдружились, вернее, он легко и весело вошел в нашу дружбу с Хельмутом; Кристиана беззлобно за глаза подымал на смех за его немецкую чопорность, в нас обрадовался соотечественницам, скучая, как все русские, по России. Был Володя плотный, с открытым добродушным лицом. Веселый, любил танцевать. Как случилось, что мотив краковяка, который он и я напевали, достиг ушей пастора? Или Володя и я протанцевали, напевая, этот танец в гостиную, и это услышал пастор? Но через несколько дней подобие краковяка было включено в симфонию, которую писал герр пастор! Как мы смеялись! В другой раз, где-то в гостях, нас просили, Володю и меня, станцевать русский народный танец. Смущенно смотрели мы друг на друга. «Володя, вы умеете?» — спросила я по-русски, растерянно. Учив на своем веку старинные кадрили и лансье, вальс, падеспань, падекатр, падепатинер и венгерку, мы даже не представляли себе, как Володя спляшет русскую и как я выйду и пойду с платочком — поплыву? Я?

— Да, попробуй-ка отколоть «казачка», если учился только салонным танцам! — отвечал, негодуя, Володя Калашников.

— Ну и как же?

— А очень просто! Спляшем им краковяк, что они понимают!

И, лихо запевав польский мотив, мы станцевали немцам лихой краковяк, веселясь от своей проделки, смеясь тому, как вышли из положения! Наш танец имел большой успех.

Сказала ли я Володе, что имела право протанцевать краковяк как мой национальный танец, потому что мамина мать была полька?..

В эти дни Марина написала:

Волшебство немецкой феерии,  
Томный вальс, немецкий и простой,  
А луга в покинутой России  
Зацвели куриной слепотой.

Милый дуг! тебя мы так любили  
С золотой тропинкой у Оки...  
Меж стволов снуют автомобили,  
Золотые майские жуки.

Семья Бахманов (и сам пастор) часто ездила по утрам в Familienbad\*. И были — Luftbäder — участки леса, отгороженные, где целые семьи ходили в одних рубашках, чтобы дать дышать телу. Мы иронически смотрели на такие занятия, участия в них не принимали. Да и весь «Белый Олень» со своими санаториями, с сандеровским методом лечения был в наших юных глазах только юмористической темой.

#### Глава 4 ЖЕРТВА АВГУСТА СИЛЬНОГО. ГРАФИНЯ ФОН ПОЗЕН. ЭСКАПАДЫ

В лесу, куда мы поехали с экскурсией, стоял замок, некогда принадлежавший Августу Сильному (August der Starke). В живописном, глухом месте стоял. Простые, суровые очертания, крепчайшие стены, узкие бойницы. И была в нем высокая башня, окруженная галереей. Что-то дикое, древ-

\* Семейные купальни (нем.). — Примеч. ред.

нее, как сама земля. Гид рассказал нам невероятную *быль*: некогда Август дер Штарке приблизил к себе красавицу графиню фон Позен. Был ли он вдов, не помню. Графиня имела от него двух маленьких сыновей. Но кто-то донес Августу, что графиня ему изменила. В гневе, не проверив злой слух и не слушая уверений возлюбленной, он велел заточить ее в башню. Туда ей носили еду и питье, давали одежду, но долго не позволялось ей даже стоять у окна. Так, отделенная накрепко от жизни, красавица графиня Позенская прожила в этой башне три четверти жизни\*. Детей своих она — много лет — ни разу не видела, с разлуки. И вот однажды она увидела в окно, как вслед за Августом мчатся на конях ее сыновья! Графиня, потрясенная, узнав своих крошек в этих взрослых красавцах, крикнула их имена! Они было остановились, дрогнув, придерживая поводья, может быть, узнав голос матери, но грозно торопил, отзывая их, голос отца — и, прищпорив коней, они понеслись вслед, проскакав мимо башни, где томилась в заточении их мать. От страха перед отцом они не посмели искать свидания с ней.

Протянулись годы — еще полжизни! До глубокой старости дожила в башне графиня фон Позен и никогда более не увидела своих детей... А стража день и ночь ходила по галерее и стерегла — до ее смерти.

Мы слушали страшный рассказ и смотрели на портреты графини. Они висят и теперь, может быть, — если не попала в них бомба во время войны, — на каменных стенах. Высокий парик, пудренный, тонкие черты, пышный наряд, покатые плечи. Улыбка цветущей юности трогает ее рот.

Володя Калашников внес вольную струю в чинную немецкую жизнь. Может быть, Марина и я впервые мирились с окружающим. От грусти пережитого за зиму мы не бунтовали в доме Бахманов, впервые по-взрослому, «рассудительно» относились к чужому месту. Нашим собеседником был Хельмут, дружеский, серьезный, вдумчивый, но сдержанный и далекий от какого-либо протеста. Когда в наш «Норвежский дом» неожиданно вошел веселый и трезвый Володя, потянул воздух дома и сразу определил его как ему,

\* Помнится, 48 лет.

Володе, не подходящий, — мы тоже вдруг как проснулись от сна (кот на лежанке), потягиваясь, встали. И поняли: скука! А может быть, вовсе тут было дело не в Володе, а просто Марина соскучилась в покое и в мире? Только вскоре мы решили сделать что-нибудь интересное, тайное, оживить нашу покоренную жизнь. В затее — это было всего веселее — принял участие и Кристиан. В тех рамках, что были нам доступны в Вайсер Хирше, мы задумали, никому не говоря, отлучиться, якобы каждый по своим делам (будто в магазины, в парк, купальню), и уехать в Дрезден — погулять вместе и полакомиться где-нибудь на окраинах, где меньше вероятности быть встреченными. От Софии и Герхардта, благонамеренных и послушных, мы, конечно, должны были скрыть эскападу.

Были приняты меры предосторожности. Мы вели себя естественно, весело, но Кристиан, польщенный тем, что участвует в головокружительной поездке, внес в наше предприятие столько восторга, что нам, глядя на его праздничную, почти высокопарную манеру поведения, стало еще веселее. Почувствовав себя студентом-буршем, он выступал со всей германской торжественностью, ведя меня под руку, будто невесту, и сиял от сознания своего достоинства так блаженно, что на него нельзя было спокойно смотреть. Так, благодаря его присутствию, эскапада принимала вид жениховского сказочного апогея из немецкой сказки. Нас не увидели ни на улицах, ни в скромной кофейне предместья, где мы напились кофе, наелись пирогов-кухенов разных сортов.

Приближался отъезд Хельмута, за ним собирался приехать отец. Хельмут не раз слушал незнакомое звучание Марининых русских стихов; постигая их ритм, вслушиваясь в звук, он понимал, что жизнь слила воедино ее своеобразие и талант. Ему было жаль, что скоро этому общению — конец. Было жаль расставаться. Это лето, выхватив из московской, уже почти взрослой жизни, погрузило нас в некое второе детство. Год назад в имении Захарьиных с M-g Arnauld и его питомцами я оказалась на страницах французского романа. Теперь мы словно читали о себе в немецком журнале «Gartenlaube» («Садовая беседка»), любимом чтении нашей бонны Августы Ивановны.



Хельмуту тоже было жаль проститься с нами — это видно по его грустному лицу, по задумчивому, застенчивому взгляду темно-синих глаз, по нервному движению еще мальчишеской руки, поправляющей густую темную прядь, все падавшую на лоб, — он поправлял ее чаще, чем надо. Его ли отъезд мы решили отпраздновать на прощанье? Осмелев после удачи нашей первой шалости, мы задумали вторую, гораздо более рискованную. Что будет, если она обнаружится? Русское ли «авось» победило или и в немецких подростках жил тот же огонек риска? Мы решили, что в назначенный вечер, когда все разойдутся после ужина по своим комнатам и в доме потухнут лампы, — мальчики, кто через балкон, кто прямо из окна, проберутся к Марининым окнам и войдут через них в наши владения. Угощение было закуплено в складчину, в разных магазинах и всеми нами поочередно, было и немного сладкого столового вина. Покупки проносились незаметно и тщательно прятались. Предвкушение было не менее увлекательно, чем само событие. А как было страшно, когда настал день! Предприятие вдруг показалось безумием. Нас поймают — и как все это будет выглядеть на чужой глаз? Вдруг в ту минуту, когда какой-нибудь из мальчиков будет лезть из своего окна или балкона, его увидят? Ведь лезть-то придется *по фасаду* «Норвежского дома»! Нам помогала чистая совесть. Ничего сколько-нибудь нехорошего в нашей выдумке не было. Она могла только казаться такой. «Noni soit qui mal y pense»\*. Наша смелость и состояла в презрении к мнению других, мещанскому, на наш взгляд, и ложному. С этим — мы понимали — придется не считаться всю жизнь. Что же касается реальной опасности нашего плана — возможности мальчикам сорваться и разбиться, — то не только они, но и мы, Марина и я, относились к ней (к опасности) недоверчиво. Рассуждали мы так: *мы бы не сорвались?* Почему же *они* сорвутся? Пробежала же я восьми лет впереди всех по незнакомой опасной тропинке на краю пропасти, альпийскому Мовэ па? (Дурная тропа)! Только старшие ужасно за меня испу-

\* «Да будет стыдно тому, кто дурно об этом помыслит» (*старофр.*).

гались — Марина (Маруся в ту пору) совершенно за меня не боялась! Так было и здесь.

Все было похоже на спектакль: ожидание начала, прислушивание, взглядывание на часы (выглядывание из-за занавески — есть ли еще световые тени освещенных окон по садику?). Подглядывание, как они тухнут, во тьму, еще большую оттого, что Маринины-то окна светятся! Но этому из дома никто бы не удивился: Марина всегда читала глубоко в ночь. Затем был совет между Мариной и мной — и лампа была унесена назад, в комнату. Сад стал совсем, почти совсем темным! Затем послышался шорох. Затих. Тогда нам показалось: а вдруг ничего не будет? Вдруг всё зря? Какие-то голоса внизу. Поймали? Стихло. А может, мальчики просто заснули? И спят... Уже начиналось веселье иронии, прелесть юмористического осознания, что мы прислушиваемся — тщетно. И тогда послышался шорох, и он не стих, а стал длиться и расти, вызывая страх: не слишком ли громко? В эту минуту колыхнулась занавеска, кто-то первый легко, ловко спрыгнул, почти бесшумно, в комнату, — прислушался. Мы замерли тоже. Тихо. Тогда начался шепот и целый фейерверк знаков друг другу, чтоб не рассмеяться. Но уже легкий шум по фасаду извещал о явлении второго персонажа пьесы. Так же бесшумно появился и третий, Володя. И тогда начался спектакль: пир! Лампа в моей дальней комнате, затененное с той стороны окно, запертая моя дверь на лестницу. К заранее накрытому столу, где красовалась необычная снедь, сиделись хозяйева и гости, почти призрачные в ночной тайный час. От стола падали длинные тени, придавая пиршеству вид пикника в лесу..

Над немецкой ветчиной и кухнями в поднятых — за здоровье и свободу — бокалах пламенело вино добродетельной германской марки. Тени мальчишеских голов и наших двух пышноволосях, измененные далеко стоящим светом, были бы чудесной темой для иллюстрации сказки в каком-нибудь томе Гауфа — о придорожной гостинице. Но беседа! Кто бы мог описать ее? В ней сливались души русские и германские в одну душу юности, которая подошла и ждет, за дверями. Она и охранила нас в ту ночь от опасностей пасторского дома и помогла нашим друзьям благополучно вернуться в постель.

Глава 5

ПРОЩАНИЕ. ОТЪЕЗД ХЕЛЬМУТА. НАШ ОТЪЕЗД.  
ПЕШКОМ ПО САКСОНСКОЙ ШВЕЙЦАРИИ.  
ПОЕЗДКА С ПАПОЙ В МАГДЕБУРГ И ВИТТЕНБЕРГ

Не замедлил отъезд Хельмута. Уже был подан экипаж, отец его прощался с фрау Бахман. Мы все стояли на дороге. Как во всех случаях отъездов, София вспоминает die Schwedenkinder, Karolus und Dagmara (Каролуса и Дагмару)... Так через год, через пять лет она будет вспоминать нас, ставших сном: «Marina, die älteste, und die jüngste eigentlich hiess sie Anastasia, aber man nannte sie Asja, – die Russenkinder...»\* От этого неперемennого будущего, которое настанет так просто, как сейчас есть этот день, нам уже сейчас грустно. Сейчас с нами на дорогу вышли все прощания нашей жизни – в Нерви, в пансионе Лаказ, во Фрайбурге. В Ялте...

Хельмут так печален. Ему будет пусто без Russenkinder!

И в тот миг, когда в дверях «Норвежского дома» появляется, выходя с фрау пастор, его отец, Хельмут осознает всю тяжесть прощанья (это же прощанье – *навсегда!*). Его лицо вспыхивает, гаснет, и он не знает, что делать с глазами. Он весь как натянутая струна. Но он вежливо склоняется в почтительном и церемонном поклоне, вырастая в нем до всей своей силы в будущем, и, пожимая протянутые ему руки, говорит голосом, на который он всем воспитанием своим надевает стальные латы: «Ich bin glücklich ihre Bekanntschaft gemacht zu haben...»\*\*

Как сказал когда-то его отец – и как скажет сын. И вот мы уже стоим на дороге и смотрим вслед уезжающему экипажу, звук колес все слабее, все тише... Всё!..

Приближался и наш отъезд. Ждали папу. Жаркие дни – перед сборами! Всего хочется с удвоенной силой: не хватает времени в дне все успеть: герр пастор вчера говорил с Мариной о музыке (он в последнее время все играет, играет, симфония растет и растет). Мы завтра даже, может

\* «Марина – старшая, и младшая, собственно, Анастасия, но звали ее Ася, – русские дети...» (нем.)

\*\* «Я счастлив тем, что был знаком с вами...» (нем.)

быть, съездим на Luftbad с Софией и ее матерью, на их лесной участок, на прощанье!

От папы пришло письмо, он едет к нам из Саксонской Швейцарии, где он работал над своим ответом Шварцу.

Когда коляска была нам подана, в разгаре прощаний к нам подошел Кристиан: он чинно-взволнованно шаркнул ногой и сказал: «Ich bin glücklich ihre Bekanntschaft gemacht zu haben!» — слово в слово повторив прощальные слова Хельмута!

Но вот уже и скульптор Бродауф идет с нами прощаться... С семьей Бродауфов мы тоже к концу лета сблизились. Их домик на крутой горе, густой, как сплошной сад, казался нам уже немного родным.

Как случилось, что в Магдебург и Виттенберг я поехала с папой одна? Почему не поехала Марина? Может быть, за ней заехал Андрей: ей было пора в гимназию, и она вернулась в Москву с ним?

Я еще не до конца понимала, что значило для папы «увольнение от должности», и притом *без пенсии*, чудовищно несправедливое. Я радовалась, что он избавился от части работы.

— Теперь ты не будешь так уставать, папа! — сказала я ему. — И уже скоро откроется твой Музей.

Магдебург — с вышины. Утро, длинные тени по улицам, только проснувшимся. Я в верхнем этаже, у окна. Вороха черепичных крыш, почти розовых. И меж них, внизу, — купы зелени, будто рукой художника вставленные меж скосов теней и рыжих просветов. Чердачные окошки, голуби. Маленькая гостиница, мы с папой только что приехали с поезда. Папа уже ушел по делам.

Свежо, без мер солнечно — и без мер любопытно жадной моей душе вдруг жить здесь, в незнакомом городе, в андерсеновском волшебстве тени и света чьих-то окон, садов, которых я до сего не знала...

Магдебург: виртштубе, «хозяйская», как в Лангаккерне в Шварцвальде, еще с мамой. Как на старых голландских картинах. Толстые фигурные стекла распахнутых окон, и на пестрой скатерти нашего столика — утренний завтрак —

освещенный солнцем натюрморт. Резные высокие стулья. За соседним столом — кружки пива, которым сто лет.

Магдебург — снизу: уступчатые крыши, как на картинках в старинных томах сказок, высь ратуши и острие собора; площади — как колодцы. Посредине — фонтаны. Голуби в небе — стаей. Люди — из сказок братьев Гримм и Гофмана. Тишина, *благолепие*. И залы музея...

Виттенберг! Как будто я здесь родилась и давно живу — так знакомы по Фрайбургу эти узкие улочки, арки ворот и шпиль кафедрального собора, — о да, это — детство, Лозанна...

Так же лесенка ведет с улицы на другую, мы по ней бежали, Муся и я, с бумажным мешочком, неся сдобные булки, пить чай с мамой... Но мне совестно грустить сейчас, идя с папой, таким ласковым, по ласковым улицам. Папа, когда один, без Марины, говорит со мной как с совсем маленькой девочкой, и от этого весело и уютно.

Мы стоим перед распахнутыми дверями собора, читаем на их свинцовых створках — заповеди Лютера. Он создал свою церковь, восстал против католической. В Виттенберге Мартин Лютер — как царь. Всё — его, всё — о нем. Сейчас папа поведет меня в ту комнату его дома, где на стене чернильное пятно (хранят!) — это Мартин бросил в черта чернилицей, когда тот явился Мартину...

Теперь, когда уже на почти десяток лет старше, чем тогда был наш отец, я разбираюсь в его отчетах и письмах (архиве) и прихожу в глубокое восхищение. Какой изумительный человек он был! С каким мужеством вынес увольнение! Как, подавив в себе чувства печали и негодования, он даже на самое короткое время не прерывал своего труда по созданию нового Музея, не позволил себе ослабить напряженность всесторонней работы для его близящегося открытия. Полученный удар не сделал его ни разочарованным в служении просвещению, ни озлобленным. Деловито и самоотверженно продолжал он работать, день за днем.

15 июня он участвовал в оскорбительной процедуре передачи дел и инвентаря Румянцевского музея своим заместителям (из них один и был клеветник). В июле он выехал в научную командировку за границу для пополнения нового Музея.

Неутомимо и увлеченно трудится он в музеях Берлина и Дрездена, исполнив необходимое, уединяется в глухой деревушке Саксонской Швейцарии и работает над оправдательными документами в ответ на обвинения клеветнической ревизии. Он еще находит в себе силы заехать за нами, устроенными им в немецкой семье для практики языка, и взять нас с собою на пешеходную многодневную экскурсию по горным дорогам Саксонской Швейцарии, чтобы и мы любовались тамошней живописной природой. Глаз не успеваешь смотреть, грудь — дышать. Крутизна гор — не хуже Альп; резкость теней, зеленое золото освещенных лугов, блеск водопадных струй, тропинки, уходящие вглубь. Речки — зеленые, в пене, как Рейн в Базеле. Как я устала! Они идут бодро. Но впереди — деревня, привал, питье, отдых... А пастухи перекликаются особыми длинными криками. Разве и тут «Jodeln»\* как в Шварцвальде? Папа берет меня с собой в нужные ему для Музея города — Магдебург, Витгенберг...

В ту осень нам минуло: Марине — восемнадцать, мне — шестнадцать лет.

\* Особое горное голосовое певческое искусство, пастушье (нем.).

## Часть двенадцатая ЮНОСТЬ. МОСКВА

### Глава 1

#### ПРИЕЗД ДОМОЙ. О БРЮСОВЕ. ОБЩАЯ С МАРИНОЙ ГИМНАЗИЯ БРЮХОНЕНКО. УЧИТЕЛЯ И ПОДРУГИ

Синие кафтаны, извозчичьи, грохот колес по булыжникам, повороты улиц, чередой встреч со все теми же домами, неумирание радости, ежегодней, снова въезжать в Москву! Садовая, переулки, и поворотом, последним — в Трехпрудный, в сиянье глаз выплывал коричневый дом № 8 — деревянный, знакомый, наш, с серебряным тополем, — круглый ливень ветвей, пепельных, до середины переулка — шатром.

Старый дом встретил нас как всегда, как во все приезды, с детства, тем же запахом пыли, нафталина, летней запертости, скрипом дверей черного хода — их жалобный голос, кажется, и «на том свете» узнала бы, — хлопаньем ставен, стуком вносимых вещей, звонками, голосами и, наконец, журчаньем поющего самовара, воцарявшегося на все той же медной доске самоварного столика.

Разговор с дороги оживленнее и дружнее, отношения — сдвинуты, в них еще нота дорожного табора, неустоявшееся вино пути, — завтра все станет на места привычек и склонностей. За комнатами верха притаются: где — мандолинское серебро, где — бормотание стихотворной строчки, ищущей рифмы, не ложащейся в ритм; на бумаге вспыхнет письмо, побежит перо дневниковой страницей — вернуть уж было ускользнувшее путешествие.

Папа, отужинав, уходит к себе в кабинет, мирно напевая нам с детства знакомый обрывок полумелодии, который бы

никто не сумел повторить, но который мы все узнаём, как редко она ни появляется в доме — в час папиного короткого отдыха — по пути в кабинет. Себе под нос, добро-задумчиво повторяя, неосознанно, недопроявленно, из вокального упражнения Варвары Дмитриевны, звуковой завиток, тут же гаснущий в тишину...

Жалость, острая, застенчивая, недоступная выражению, пронзает меня и, конечно, Марину — за все, что папой прожито, перенесено, побеждается постоянно — радостью его труда и выполнения мечты (Музей — воплощается)... Радостью, нам пока непонятной, слишком огромной для наших пониманий, слишком ясной для наших смут.

И уже отшумел самовар. Потягиваясь, встает из нас кто-то первый, за ним — все.

Засыпаем. А в окне сквозь ветки тополя проглядывает луна. Та, все та же. В другое окно — шелест листов бессонной тетради, шелест рифм, оживающих ночью в восемнадцатилетии над столом, под портретом Наполеона.

...Без стихов уже было нельзя дышать. Несходство напевности Брюсова и Бальмонта опьяняло. Бредя с Бальмонтом, с его «Только любовью», «Будем как солнце», устав от музыкального колдования его строф, я открывала прохладу страниц Брюсова, и в знакомой чеканке строк, в торжественной галерее древних имен, истории встреч и прощаний, в ритмическом шаге судьбы я, казалось, вместе с ним отпевала века, страны, воскрешенные его патетизмом. Холодный? Да, но — огонь!

Эта страсть к Брюсову — иначе не назвать — была чужда Марине, его не любившей. Но о Брюсове мы не спорили. Она дышала — своим. Как относилась она к творчеству Андрея Белого — я не помню. Белый мне, в изгибах его, нарочитости в ритме, был чужд. Равнодушие было у меня и к Сергею Соловьеву, к его стилизации древности, и сказками его я не увлекалась. Был и еще кумир, Алексей Толстой, Константинович. Того века. Мамин еще. Из поэтов в те годы я очень любила Фета. Его любили и Марина, и Нилендер.

Марина училась в гимназии Брюхоненко на Малой Кисловке, и я с осени поступила туда же. С первых же дней мы во всех переменах вместе ходили по рекреационной зале,



где бегали младшие, парами чинно кружили вдоль окон и стен старшие, под высоким лепным потолком. Такого, чтобы сестры, минуя подруг, не считаясь с классом, ходили вместе, день за днем, — не бывало. Обе в очках, русые, Марина — с подобранными, напуском, волосами, плотная, я, с вьющимися волосами до плеч, меньше и тоньше, но — та же улыбка, те же глаза, тот же смех, тот же голос.

Начальница гимназии Мария Густавовна Брюхоненко, большая, полная, добрая, пожилая, являла резкий контраст со своим более молодым мужем, рыжеволосым, рыжебородым (узенькая бородка) Александром Николаевичем. Он ходил в вицмундире, был розов, весел и необыкновенно увлечен своими предметами, естествознанием. Скоро отметил он мое вящее равнодушие к ним и подшучивал надо мной — быть может, боясь моего влияния на класс. Но напрасно — я уже не искала признания так страстно, как — три года назад — у Потоцкой, и почти ни с кем не говорила серьезно. Подруги мои кротко принимали в сердце его пылкие уроки, увлекались физическими опытами и — что страннее было — формулами скучнейшей мне химии, как я — стихами. Раз на уроке (видя меня, погруженную в книгу неучебного типа) Александр Николаевич обратился в мою сторону: «Конечно, госпоже Цветаевой покажутся прозаичными мои слова — да еще о падающих звездах, как говорят в просторечии о метеоритах, — но я все же скажу, что эти так называемые падающие звезды, падая, *циркают* по воздуху — как спички по коробку...»

Учителем русского языка у нас был Юрий Алексеевич Веселовский, сын «того известного Веселовского». Несколько напоминавший карточного короля, шатен, приветливоликий, с даром речи. Не сразу, может быть, попав в тон, нужный для «этого возраста», он был, пожалуй, слишком «почтительно-церемонен» с нами, еще немножко детьми.

Замечался в его уроках оттенок лекционности. От его вопросов, вдумчивого слушанья ответов веяло нам еще незнакомой ответственностью, от которой делалось холодно и немного страшно.

Сердце рвалось назад, в те пылкие годы, когда наказание стерегло за углом и ты ему бросал вызов! Наказания — никакого. Светлый взгляд вежливого учителя, слушающего ответ.

Третий из тех, кто запомнился, — математик Владимир Васильевич Голубев. Молодой, безбородый, безусый, высокий и очень худой, такой тонкий в своем вицмундире... Он был очень желчен, очень язвительен, очень бледен, и темные глаза под очками были бы и красивы, если б не были — изо льда. Так нам, по крайней мере, мнилось. Что он любит на свете одну алгебру и геометрию — было ясно. Он был беспощаден, полон иронии. Изысканно вежлив. Эта изысканность убивала. Он излагал теорему, будто вел резец по серебру или меди, — и насмешливо ждал вопросов. Их не следовало. Кто лишь *пытался* успеть за полетом его блистательной логики, кто, скромней, не пускался в этот опасный путь — и в мучительную тишину падал звук его металлического голоса, и было сколько-то даже грусти, усталости его одиночества среди нас.

Та равнодушная даль, с которой я после лет учения дома, после разлуки с Аней, Нилендером, Эллисом, пришла в этот, уже старший, класс новой гимназии, помешала мне запомнить ясно моих сверстниц, в то время как подружки по гимназии Потоцкой, куда я пошла, — жадно свежи в памяти.

Помню красоту, сходную с красотой Гали: тоненькую, темноволосяю, нежную Алису Говсееву: точность ее черт. Она была первая ученица, и я без зависти, без вражды, без мечты о дружбе глядела на чуждость ее серьезного личика. Любовалась ею. Помню Вагину — полную, светловолосую, красотой не отличавшуюся, но хорошую, умную. Помню шведку Эрику Паульсон в светло-коричневом платье. Ильину — совсем взрослою, с пышным напуском волос, приглядывавшую ко мне, ставившую жизни вопросы, ожидавшую ответов на них. Мне ее было жаль. Это была из тех, из того воинства — Киски (Марии Генриховны, Москва 1901—1902), Кошечки (Италия, 1902—1903), Раечки Оболенской, Лёры, их плеяды. Помню сестер Гехтман, Лену и Берту, похожих лицом — горбоносых и светлоглазых, но разных. Лена была как молодой сеттер: подвижна, оживленна, светлые косы летали вокруг ее плеч, худеньких, она улыбалась, смотрела пристально и приветливо, застенчиво искала сближения. Берта была разумная, деловая, говорила меньше сестры. И прекрасно училась по математике. Ко мне обе относились дружески. Помню Нину Мурзо и Таню Тургеневу — «из тех,

настоящих Тургеневых», как мы говорили. Нина моя (по сей день единственная мне от тех лет уцелевшая) стала моей подругой с семнадцати (была на год старше меня) — мы видимся и вспоминаем те дни.

— А ты помнишь, — говорит она мне, — как все удивлялись? Я, такая хохотушка, и ты, такая серьезная, — отчего подружились?

Я попробую рассказать.

## Глава 2

### СЕМЬЯ НИНЫ МУРЗО. ЗАБОТА ДРАКОННЫ О ПАПЕ, ПОПЫТКА ПОМОЧЬ НАШЕЙ СЕМЬЕ

Мне сразу понравилась Нина. Лишенная позы, открытая и доброжелательная, она была совершенно естественна, и в ней был шарм юности, в ее полувзрослости уже не было детства. И не было озорства — одно девическое веселье. Не входя в смуту юности, она доверчивостью и удивительной благожелательностью откликалась и на вопросы справедливости в школьной жизни, и на поведение подруг, отвращаясь негодного, не имея притяжения к злу. Всякое усложнение жизни ей было чуждо. Всегда была готова помочь — делая это просто и грациозно. Постоянно упоминая мнение и совет своей матери, отвергая ложный стыд возраста, она очень любила мать и вскоре меня с ней познакомила. Было в Нине большое чувство юмора, вызывавшее частый смех.

Вся та область, где жила сложность Марининой и моей печали, — была ей чужда. Взгляд больших выразительных глаз застенчив. Как и в сестре, в нем — радость отношения к людям. В их тесной дружбе с Ниной была одинаковость нравственных оценок. Их присутствие ощущалось как помощь. Даже природная насмешливость Андрея тут не нашла себе пищи, хоть он и звал ее за глаза — «Мурзак». Нина Мурзо послужила мостом сближения моего с братом Андреем. С ее входа в наш дом началась в нем новая эра: знакомство моих подруг — с Андреем, его взгляд на меня как на почти уже девушку. Нина была выше меня, смуглая, что-то восточное в продолговатом овале лица, в больших темных глазах, сияющих влажным блеском. Густые полукружия

бровей, черных, прямой пробор темных волос. Не похожая на Нину, мать ее была еще, может быть, красивее дочери. В прошлом это была северная красавица — высокая, полная, светло- и пышноволосяя, черты ее были правильны и тонки, осанка горделивая, сказали бы, если бы не было в ней обратно гордости — ласковости, доброжелательности, приветливости в такой явной мере; это так окутывало входящего, что он чувствовал себя перенесенным в совсем другой мир из того, откуда пришел. Это был талант — ее движение навстречу каждому, при большом жизненном опыте, при тонком и зорком уме. Входящий находился под ее обаянием, радостно ощущая, что он понят, принят и более не одинок. Так было и со мной. Под взглядом серо-голубых глаз Нининой мамы мне становилось легче и проще, трудности отступали, тоска уходила куда-то, и я на миг, на час становилась чем-то вроде ее дочери, сестры Нины. Ее мать никогда не осуждала резко человека. Она осуждала поступок; ее моральные принципы были непоколебимы, она жалела людей за ошибки и всегда готова была им помочь. Была глубоко религиозна. В то время она была уже пожилая, в средних letech. Полнела. А с портретов глядело ее тонкое молодое лицо в россыпях светлых, длинных, необычайной гущины волос — Аврора! Есть в интернате и младший брат у Нины, Володя, но его не вижу. Говорят, превосходно учится, очень способен. Странно мне, и грустно, и весело в этой благополучной, гармоничной семье, так не похожей на нашу! Нинина бабушка невысокая, полная, морщинистая, как все бабушки — оттого, что в шестнадцать лет непонятна старость, и она была мне непонятна. Но, конечно, и бабушка была часть этой дружной спокойной семьи, в которой каждый имел свое место, свой долг, свой день, а вечером этот день кончался у ласкового стола, где не было ни от кого тайн, где все мечты и дела были ясны, где ни у кого не было одиночества. Так обильно полнившего наш дом! На миг, в опьянении чужим, в ознобе от своего, хватало за сердце осознание своего отщепенства, своей обреченности, вдруг казалось, что чего-то главного у тебя нет, что-то ужасно ошибочно в твоей жизни, но час проходил и, выходя из их уютной квартиры во всю ту же синь вечера, к его первым или последним огням, я с непререкаемой честностью знала, что их

доля — не моя доля, что не ошибка для меня моя жизнь, что дом новой подружки моей — только передышка на моем пути, оазис в пустыне жизни, которая зовет, по которой иду...

Жили Мурзо от нас очень близко, у церкви Святого Ермолая на углу Садовой.

Я познакомилась с ними Марину. В более поздние годы она бывала у них и эту семью полюбила. Нина, так весело и просто ко мне подошедшая, так мало меня знавшая, — легким доверчивым шагом вошла в наш дом — как еще никто из подруг. Она знала, что в доме нашего отца, профессора, нет хозяйки, мама Маринина и Асина умерла, а их брат не хмур и не чужд, а красавец и очень воспитан. И мне он стал совсем новым Андреем. Когда, сев за рояль, Нина запела и звук ее чистого, сильного — в нем был металл — голоса наполнил залу и дом — Андрей не ушел, слушал, хвалил, смущался. «Дивный терем стоит» — пела наивный романс Нина, будущая певица. Я просила: «Мое любимое!» — «Средь шумного бала, случайно / В тревоге мирской суеты, / Тебя я увидел, но тайна...» Как она это пела! И Чайковский бы похвалил... Я слушала ее голос с восторгом, и было в нем состояние налетевшего и длившегося забвения.

В эту осень Лидия Александровна обратилась к Марине и ко мне с серьезным разговором — о папе. В нем сказало ее многолетнее страдание о папиной домашней неустроенности, пошатнувшемся здоровье — и из-за травли министра Шварца, и о том, что он останется совсем один, когда мы разлетимся из-под отчего крова: между папой и Андреем близости не было, да и Андрей мог жениться. Лёра дома не жила. Что ждало папу? А Музей все еще не открывался, и папа, болея, трудился через силу. Папе, по моему мнению, — и мы, выслушав, с нею согласились — нужен человек, не наемный (не экономка), который бы прочно взял на себя заботу о его здоровье: режим, уход за ним, надзор за его лечением. И такого человека она приискала — свою институтских времен подружку, Лидию Дмитриевну Фую, пожилую, вполне обеспеченную даму (что было важно, дабы никто не мог заподозрить ее в материальной заинтересованности). «Это ваш долг — помочь мне в этом деле, — сказала нам Драконна, — вы узнаете ее и полюбите. А она

уже любит вас, она вас видела, у меня. Ей же во всем этом нужно одно: положение».

Знакомство было устроено. Мы быстро к ней привыкли, даже привязались, часто бывали у нее. Она тоже искренне отнеслась к нам. Ее веселый нрав не обещал нам ущемленья в свободе. Тогда произошел разговор Лидии Александровны — с папой. Зная его скромность и спартанство, она, конечно, стала убеждать его, что этот брак необходим для нас. Было сказано примерно следующее:

— Это ваш долг по отношению к дочерям. Им шестнадцать и восемнадцать лет, нужен надзор и совет, они в таком возрасте... В доме будет человек, ведущий хозяйство, умеющий принять гостей, наблюдать за порядком...

И папа, вздохнув, дал согласие. Уже намечались сроки для необходимых светских и церковных формальностей, когда папа передал Лидии Дмитриевне приглашение к дяде Мите. Мы понимали, что это значит, — и в этом визите встали как два «пажа» возле «дамы», чуя, как взволнованны и враждебны в своей подозрительности дядя Митя и его жена. Вечер прошел внешне любезно, Лидия Дмитриевна блистала мехами и бриллиантами, оскорбленная устроенным ей «смотром», благодарная нам за дружбу. Пошло наступленье на папу *после* вечера со стороны папиных родных (может быть, и Иловайских? о Добротворских не решаюсь сказать, не зная, помня, как тепло они всегда о папе заботились, сокрушались о его неустройстве). Была вызвана к дяде Мите и я (Марину звать не решились; мой возраст было легче завоевать). Штурм я выдержала, заранее с Мариной предрешив мое поведение — отвечая, что папе *нужна* забота, которую мы не в силах ему дать, и что Лидия Дмитриевна — прекрасный человек. Меня сочли глупой девочкой, подпавшей под чары авантюристки. Чуя беду, мы еще больше сблизились с Лидией Дмитриевной, бедной — в ее богатстве... Наступленье родных кончилось победой — папе пришлось прислать Лидии Дмитриевне извинение и отказ. Он ссылался на свою старость, болезни, занятость, просил простить его за неловкость. Лидия Дмитриевна держалась с большим достоинством, но нам было жалко на нее смотреть. Мы не покидали ее. Папа же остался по-прежнему на попечении прислуг.

Глава 3

ЛЁВА СИКСТЕЛЬ. МАРИНИНА ПОМОЩЬ МНЕ

В Антипьевском переулке на Знаменке в мужской гимназии — вечер. Мы с Ниной были приглашены. Как почтиительно нас встретили гимназисты! Люстры сверкали. Фантастическое очертание капельмейстера во фраке — тень повторяла его движения, замирала на миг с волшебной палочкой в руке, — он начинал мелодию, которая, расплескивая протуберанцы, опаляла наши, детские еще, сердца.

Чинно кружились пары, светлые тона полудлинных широких платьев оттенялись темной формой мальчиков и юношей; материнские веера в руках девушек порхали пышными ночными мотыльками, белый шелк девичьих перчаток трогал руку мальчика в белой лайке — а по бокам родители любовались новым мундирчиком сына, локоном, тувелькой дочери.

К моим шестнадцати годам было, по совету родных, сшито мне первое шелковое платье, бледно-голубое. По настоянию Марины был выбран фасон «по-гречески», с высокой талией, с крутым вырезом, и отделано (новинка тогда) заграничным искусственным жемчугом, в котором под тусклым сиянием дремал воск. «Совсем как носили во времена Наполеона, в Premier Empire\*!» — сказала, любуясь, Марина.

Марина любовалась мной, но наряжаться в те годы сама не любила.

На этом вечере я познакомилась с гимназистом Лёвой Сикстелем. Поляк или литовец, он был худ, некрасив, невысок, но с первого же взгляда так явно умен, так чудесно было говорить с ним — на лету ловит мысль! Дружба завязалась — сразу. Мы встречались в синематографе (катка еще не было) и подолгу ходили по улицам, говоря ненасытно. Мне было мило его некрасивое лицо, длинное, внезапный смех, блеск умных глаз и необычайно густо и мелко выющиеся светлые волосы. Они высоко стояли надо лбом. Ему было семнадцать лет. Он очень много читал. Арцыбашевский «Санин», так нашумевший тогда, и вся подобная литература, привлекавшая столь многих из учащейся молодежи, отталкивала его, как меня.

\* Первая империя (*фр.*).

Зорко приглядывался он к людям, строго выбирал чтение. Такого собеседника среди людей моих лет мне еще не встречалось. Однажды в дождь мы зашли к нему, в его маленькую комнату, ученическую, и, выпив по стакану чаю, сели на диван читать толстую книгу моего принесенного дневника, — он бережно сел вдали — потому что хотел сесть близко.

Темы страниц сближали. Я читала ему о моем ужасе перед сексуальной близостью, о моем непонимании, почему она кажется всем естественной, в то время как негодование и отвращение при мысли о ней заставят меня, может быть, уйти из жизни. «Только утро любви хорошо...» Я читала ему о Марининой и моей любви к Нилендеру почти год до того, о том, что в Марине все это еще более мрачно, чем во мне, и о том, что я много рассказала ей о моем новом друге Лёве и она уже нежна к нему — за меня. Я ему говорила стихи Марины. И — о многом, о многом. Вечер переходил в ночь, дождь все лил. Мне надо было идти — но как же расстаться?

Соединенные тяжелой дневниковой книгой — Лёва поддерживал ее передо мной на весу, чтобы мне по близорукости не наклоняться (я все чаще, как и Марина, старалась ходить без очков), — мы оказались почти рядом и не заметили, как стали над новой бедой в этой маленькой, еще школьной комнате: над вспыхнувшей тягой друг к другу. Как насмешлива жизнь! Чувство, которое мы не принимали — и за то полюбили друг друга (так отчасти было и у нас с Мариной к Нилендеру), — слушало нас, подошло неслышно — и стало у наших плеч. И уж не оно нас звало, искушая, — мы искушали друг друга.

Потрясенные силой чувств, так блестяще развенчанных и осужденных в моем дневнике — неоспоримом! — мы смотрели в лицо друг другу. Незнакомое, новое чувство — и пафос прочтенного только что и продуманного были слиты в одно, в какой-то священный ужас. Мои отчаяние и восторг были зеркально отражены в Лёве. Чудный юноша! Какой спутник в беде! Какой брат!

Он взял мои руки. Нежно сложил мой дневник. Сказал — как старший, проникновенно и тихо, защищая меня от себя, себя от себя и меня от меня:

— Надо быть честными, надо назвать то, к чему мы пришли: это — страсть. Вы ее не хотели, Ася... Но если мы сейчас не...



если сейчас не простимся — тогда мы уже не расстанемся! Она победит нас! Мы сильны только в одном: в доверии друг к другу. Необходимо осознать и решить. Мне будет бесконечно тяжело, если — когда-нибудь — после вы сможете — вы бы смогли — упрекнуть меня.

Я не дала ему договорить. Я видела, как он бледен, как он напрягает всю волю, чтоб не протянуть мне руки. Это понял — с точнейшей мерой — мой пробуждавшийся женский инстинкт. И, не теряя головы (ей подчиняясь), теряя то, что подошло к сердцу, переставая *быть* в этом отрывании от него, — я встала.

Он стоял тоже. Я брала дневник, мы брали зонт, шляпу. Он подавал мне пальто. Даже дождь — и тот стих в тишине, оставшейся меж нас. Тесно теперь мы спускались по лестнице — в свежую осеннюю ночь — как брат с сестрой? жених и невеста?

«Ася! Чудная девушка! Я вас никогда не забуду! Я никого не смогу любить после вас!»

Мы шли к Трехпрудному переулку.

Жизнь помогла: семейные обстоятельства изменили учебный год Лёвы, только что начавшийся, отец приехал за ним из Белоруссии, чтоб увезти его учиться в другой город. Мне было тяжело прощаться с ним, провожать его. Я попросила Марину вместо меня свезти ему цветов и — за меня — с ним проститься. Марина согласилась охотно. Она знала историю нашей встречи, причины моей борьбы с моим чувством к Лёве были ей понятны совершенно. С Нилендером прошлой зимой ей тоже не осталось иного выхода, как — расстаться.

Марина была очень нежна ко мне в те дни. Сколько она прочла книг о любви, о встречах, разлуках, о битве *amour bleu с passion...* — с плотью, с этим страшным словом (и делом!). Сама от этого отшатнулась. Теперь уже во второй раз в нашу юность пришел этот бой. Бережно, со сдержанной полуулыбкой похвалы, Марина взяла от меня большой, чудесный букет, с заботливой горечью мной выбранный, и поехала на вокзал. Она никогда не видела Лёвы. Я его ей описала — небольшой, тонкий, в сером гимназическом костюме, в форменной фуражке. Длинное лицо; внезапная, сверкающая улыбка, быстрая и умная, необычайно его красящая.

Я бродила потерянно по двору, осеннему, такому знакомому, знавшему нас с Мариной с рожденья. Думала: да, мы простились в тот вечер, но ведь рвались друг к другу! Я — к уходящему по переулку, он — ко мне, входящей во двор. Что было бы на другой день, не приди телеграмма отца? Но, пересиливая мысли, уж волна другого восторга меня подымала. Плывая по ней, в упоенном ритме, сойдя с мостиков, я брела по влажной земле.

...Мир утомленный вздохнул от смятений,  
Розовый вечер струит забытье,  
Нас разлучили не люди, а тени,  
Мальчик мой, сердце мое...

Может быть, сейчас отходит поезд и Марина машет платком!

Марина приехала разнеженная — мной и Лёвой. Лёва ей очень понравился! Букет взял из ее рук — как драгоценность. Сказал, что мы очень похожи. Был в горе, в смятенье. Он, может быть, еще вырвется в Москву. И все повторял: «Я никогда не смогу полюбить другую, после нее!» Не об этом ли была — «Колыбельная песня Асе»...

#### Глава 4 ПОХОРОНЫ ЛЬВА ТОЛСТОГО. СТАНЦИЯ ЗАСЕКА. В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Пора рассказать о событии, происшедшем осенью 1910 года — о конце Льва Толстого и о том, как мы бежали из дому — на его похороны, со всей молодежью.

Сколько, во всем мире, писали о тех днях! Что я о них помню? Дни волнения, сходные с теми, ялтинскими 1905—1906 годов, когда мы жадно ждали писем о восстании в Москве, от своих. Весть, промчавшаяся по всему земному шару, гласила: Лев Толстой ушел из дому, из Ясной Поляны, покинул с котомкой дом и — исчез.

Затем, дни спустя, вторая весть, еще более страшная: Лев Толстой заболел и лежит больной на станции, в домике начальника... Газеты-бюллетени здоровья — волнение всего

мира. Все только и говорят что о Толстом. На улице незнакомые спрашивают друг друга: ничего не слышно? Вестей нет? Тревога, толки, осуждение жены, Софьи Андреевны... Третья, страшная, последняя весть: Лев Толстой умер!

И тогда вся Москва подымается — ехать на похороны! Переполнены — или остановлены — трамваи. Толпы. Студенческие демонстрации. Крики: «Долой смертную казнь!» (Одно из требований Льва Толстого — к правительству. Оно становится лозунгом дня.) Улицы запружены. Шепот, что вышлют казаков. Папа запрещает нам ехать, идти куда-то: могут быть беспорядки, стрельба. Можно потерять жизнь — за что? Чего добьемся? Кидаться очертя голову в толпу, которая разношерстна, в которой могут быть провокаторы...

Быстро, незаметно переглянувшись, мы поняли: папу не убедить. (Нас — тоже.) Лёры не было (может быть, она вступила бы с папой в переговоры?). Значит, надо уйти *незаметно* из дому. Другого выхода нет. Нам было жаль папу — он будет за нас тревожиться. Но с нами ничего не случится, мы чувствовали это твердо: разве нас могут — убить? Нелепо. Конечно, нет. Мы будем жить, значит, все, что папу тревожит, — ошибка. Мы *вернемся* домой! Но как сделать, чтобы уход не заметили? Мы подождали, пока папа ушел. (Или сел заниматься?) Затем бросились в переднюю, молниеносно надели шубки (морозило, был ноябрь), шапочки, и я уже хотела надеть на туфли (для тепла!) калоши или ботинки, что попадетсЯ, — когда в кабинете послышался шум. Мы кинулись к черному ходу и, выйдЯ, прислушались. Нет, ничего. И тогда — по земле, чтоб не стучать по мосткам — к воротам. На Марине были ботинки. Из-за калош не попасть на похороны Толстого? Мы уже спешили по переулку.

У нас тридцать рублей. С этой суммой в кармане мы летели по Трехпрудному, мороз пощипывал ноги, но радость удачи и волнение, попадем ли на поезд, несли нас — на крыльях. День шел к вечеру. Когда мы достигли вокзальной площади, через нее было трудно пробраться. Вокзал был окружен толпой. Все кричали. Мелькали шинели городских. Они оттесняли народ. Чудом нам удалось протиснуться сквозь толпу на вокзал! А там — там отходил *последний* поезд на станцию Козлова Засека под Тулой!\*

\* В нескольких верстах от Ясной Поляны.

Туда ждали гроб с телом Льва Николаевича. Мы кидались от кассы к кассе. Безнадежно: везде — толпа. Вдруг мелькнуло Марине знакомое лицо: девушка ее лет пробивалась к ней. Следом — бледный гимназист с растерянным лицом.

— У нас не хватает денег! — кричали они в отчаянье. — Попасть в Засеку можно, только взяв билеты первого класса! Второй класс весь продан! И билеты стоят двенадцать рублей, а у нас на двоих — двадцать!

— А у нас — тридцать! — радостно сказала Марина. — Сложимся, и хватит!

— Ура! — закричал гимназист.

— Сашка, беги! Бери!.. — торопила, в испуге, что опоздаем, Маринина подруга (по какой-то из прежних гимназий).

Мы совали им деньги, считали — еще два рубля остается! Как вернемся на них назад вчетвером, как едем, захватив только хлеба, — все было неважно!

— Бери! Купе! Целое! Чтоб вместе! — напутствовала гимназиста девушка. Но тот уж исчез.

— Сашка Кабанов — замечательный парень! — сказала она радостно. — Теперь дело в шляпе! Какое счастье, что мы вас встретили. Ведь не попали б! Такое событие — всемирное! Такая утрата! Быть русскими, быть близко — и не попасть на похороны... Долг каждого! Вас пустили? Как хорошо!

— Да, «пустили»! — усмехнулась Марина. — Мы...

Через полчаса, с усилием пробравшись через вокзал, сели в поезд. В первый раз все мы ехали на красных плюшевых сиденьях первого класса, еле их замечая от волнения, что — удалось! Что едем! Что увидим — в первый раз (и в последний!) увидим Толстого! Героя! Замученного властью, отлученного от церкви за то, что хотел думать по-своему, проповедовал, по-своему веря в Бога! А дома — жена, эта противная Софья Андреевна, отравившая жизнь гению! Ушел! Хоть умереть — но ушел из дому! Где сейчас Эллис? Нилендер? Может быть, мы их встретим? Может быть, и они тут? Поезд мчался по черной ночи, так кидая вагоны, точно и он спешил. Саша Кабанов, узнав, что Марина — поэт, что у нее сборник стихов, был в необычайном восторге. Он смотрел на Марину обожающим взглядом, полный чистого преклонения.

Станция Козлова Засека. Ночь. Горят костры. У меня очень замерзли ноги. Марина жалеет меня: на ней более толстая обувь, а в моих тонких туфлях нога как во льду. Я пробираюсь к кострам, стараюсь не потерять своих. Студенты устраивают цепи. Наводят порядок в стихийно качающейся толпе; затягивают революционные песни. Ночь свежа. Ждут поезда с телом Льва Николаевича. Это имя — на устах всех. Никто не говорит «Толстой». Это сейчас кажется грубым, невозможным. Тепло и почтительно звучат имя и отчество скончавшегося: точно он еще с нами. Так мы ближе к нему. Но как долго! Как холодно! Перед рассветом становится еще холодней. Ожидание истощает. Я тщетно бью ногой о ногу — не согреваются. Крадется и наступает усталость. Ночь без сна и в волнении, с куском хлеба на брата, без питья, какой-то один час... — кажется не под силу. Лечь бы и... Но вот по толпе бежит трепет, шепот. Взволнованные голоса передают друг другу весть, что поезд идет! Цепи дрогнули, студенты изо всех сил стараются сдержать толпу, издали слышен, растет шум, и у перрона станции Засека светит огнями в серости утра, останавливается, тяжело пыхтя, поезд. Мужчины обнажают головы.

От толпы отделяется полная, «сырая» женщина, старая, в черном, делает шаг вперед, роняет что-то, нагибается, дрожащим голосом (нам он кажется в совершенстве фальшивым): «Его палочка...» Софья Андреевна Толстая. Мы (пробравшиеся вперед), видящие это, горим белым пламенем презрения. Оно душит. «Какая дешевая игра!..» — уверенно думаем мы.

Если бы мне сказали тогда, что десятки лет спустя я буду плакать, ночью, над дневником этой женщины, дивясь жестокости Льва Николаевича, останки которого мы ждем сейчас с чувством, похожим на — обожествление...

Медленно, шаг за шагом и час за часом, мы шли по яснополянским дорогам, по замерзшим колеям, за гробом, вошли в парк, и там, замерзая (я уже еле чувствовала ступни — ледяными комочками в туфлях), еще медленней двигались к дому по облетевшим аллеям. Затем гроб внесли в дом. Кто-то вышел. Объявили, что прежде всех с покойным простятся близкие, а затем пропустят крестьян. Всех остальных — потом. Был миг, когда я была готова расплакаться,

так ныли ноги и так не было сил. Видя это, Марина решила войти в дом, назвать нашу фамилию и попросить денег на обратный путь. Сашу Кабанова и его спутницу мы давно потеряли. Но нельзя было уйти, не поклонясь Льву Николаевичу. И мы побороли усталость и холод и достояли до своего череда. Вошли, еще немного поздней, в дом, после всех родных, всех крестьян, — в низкую комнату, квадратную. Ближе к дальней левой стене стоял гроб, на столе; в нем лежал в черной рубашке очень желтый, очень знакомый, только худее, с белой бородой Лев Николаевич, и, проходя (не подходя — слишком много народу еще шло) — крестились, многие. В комнате икон не было — на него?

В этой комнате он писал «Войну и мир». Нежданная тишина была в нем, бурном. Молчал. Никогда не молчавший. Было всего странней то, что он, всегда так глядевший с портретов, во весь рост стоя, глядевший пронзительно (портреты Крамского, Репина, стольких) — *не* глядит. В себя? Опустил веки. Лег, во весь рост.

Мы прошли — вышли. И, его увидев, решили на похороны — не остаться. Я еле шла. В ногах была боль, почти нестерпимая. Мы встретили каких-то знакомых, взяли у них в долг три рубля и, сжав зубы, шагая по лопавшемуся льду, по колеям, дошли до станции. Мы тряслись, сидя в вагоне третьего класса, дремали, просыпались. Голодные и без сил, вернулись домой. Папы не было. Когда пришел, он узнал, что мы дома и спим.

## Глава 5

### СЕСТРЫ ТУРГЕНЕВЫ. НА КОНЦЕРТЕ ЯНА КУБЕЛИКА. МАРИНИНА НОВАЯ КОМНАТА

Я тосковала по Лёве. Мы не писали друг другу. Время шло. В нашем классе училась теперь, поздней поступив, младшая из трех сестер Тургеневых, средней из которых, Асей, так была заинтересована Марина, встретив ее в литературном кругу. Младшую звали Таня. Это была прелестная шестнадцатилетняя девочка-девушка: мой, средний, рост, фарфорово-нежное лицо в обрамлении русых, с золотом, пышных волнистых волос, полулоконами падавших на плечи; голубые ее,

прозрачные глаза были хороши; тонкий нос и маленький рот, легкий румянец — это была английская гравюра. Таня часто смеялась; ее звонкая насмешливость будет пленять многих.

Я любовалась ею, но в сердце мое она не входила. В ней было то, чего я не понимала, чего сторонилась, в чем не участвовала — с самой маминой смерти. А Таня была весела настоящим весельем девушки, в ней было что-то пасторальное, и от нее веяло тем, что было ведомо мне в жизни только в детстве, — от нее веяло счастьем. Наши встречи были поверхностны, разговор не углублялся, мне казалось, что я ей не нравлюсь. Думалось: все, что составляет жар моей жизни, моего дневника — ужас перед вопросами пола, мысли о неизбежности смерти, страсть вспоминать то, что прошло, — все это она отмечает беспечным движением руки. Ее девичество просилось в роман с замками, кавалькадами, с пикниками в стиле Ватто. Может быть, она даже немного посмеивалась надо мной? Может быть.

А Марина увлеклась сестрой Тани, Асей. Как всегда, когда что-то входило в сердце Марины, оно застилало на время все. Она заболела человеком. Она окружала его облаками ею воображенных свойств и не позволяла касаться не только к самому, теперь только ей принадлежащему человеку, но и к этим, его окружавшим облакам ее преклонения. *Amour bleu!* Сколько окутала она им за свою юность, еще задолго до того, когда начались ранящие в упор встречи.

«Только тени» назвала она раздел своей первой книги стихов. Они окружали ее с самого детства. Через них прошли два магических, необычайных человека, забредшие волею судеб в наш дом, Эллис и Нилендер, но и они стали тенями. С тенями бродила она вечерами по зале, в часы, когда и я не могла ей помочь своим, с детства кровным, сходством. Было так и теперь, когда она не расставалась с образом Аси Тургеневой. В один из вечеров, войдя в дом с катка, я, еще не успев услышать голосов, потянув воздух (как в тот вечер, когда в первый раз увидела у нас Нилендера), поняла, что у нас — чужой. Пахло незнакомыми папиросками (к Марининым я привыкла). Шагнув в залу, я увидела огонек. Он вспыхивал, как светлячок, но — золотой. Шли струи папиросного дыма, и — очень скупо — слышался разговор. (Он описан в Марининых воспоминаниях.)

— Ася, познакомься: Ася Тургенева. А это моя сестра — Ася.

Из подутьмы залы, в косой луч света, падавший из столовой, протянулась женская рука — прохладная, тонкая, легкая, — равнодушно пожала мою. И тогда, в преддверье того луча света, я увидела абрис лица и ореол кудрей, бледность, светлые большие глаза. Та же гравюра, английская, что сестра, но зрелее и четче, светлее и холодней. Повелительней. Обаяние, да! Я его ощутила сразу — но не собою — только тем, что зовется *вкус*. Поняла — за Марину. Через Марину. И, Марине его отдавая, привычно, как не мной, ею выстраданное, пошла, уклоняясь, к себе — чтоб не мешать. Чужа, как важен, жарок, Марине каждый миг с этой холодной гостьей (сколько сил было Мариной затрачено, чтоб это видение вошло в наш дом...).

Узнав, что Таня Тургенева, близко жившая, иногда по пути заходит за мной вместе идти в гимназию, Марина стала стараться узнать через меня что-нибудь об Асе. Спрашивала, дружу ли я с Таней, какая она, что говорит о семье, о сестрах. Я уклонялась и огрызалась даже, насмешничая, развенчивала Таню, не решаясь затронуть — ту. Но знала, что в отношениях Марины и Аси Тургеневой страдательное лицо — Марина, а недооценивающее — Ася. И в гордом ее облике, в ее давании перед собой преклоняться мне была неприятна Маринина роль.

Только то утешало, что — (знала и это! Кровным знаньем! Не об этом ли писала я в дневнике?) — начало наше. Мы делаем шаг вперед. Шаг и шаги — без счета... Все прощаем туго навстречу идущему! Щедрости — будто конца нет... А затем — незримо и безотчетно — наступает усталость. И трезвость. Оглянемся — и, как паутину, одним движеньем — всё назад, что стлали им под ноги. Подарив себя — отбираем. Приручив — отступаем. Будет и наш час!

Третья — старшая, Наташа — не вошла в нашу жизнь.

За окном залы мелькнула гимназическая фуражка. Звонок в парадное. Голос Лёвы. Протест, мгновенно. Оттолкновение. Еще не осознав, что делаю, схватила руку спешившей на звонок девушки-горничной. Шепотом: «Это ко мне. Скажите, меня нет дома!» И тотчас: «Барышню Асю? Их нет дома». Голос Лёвы: «Нет дома? А мне показалось... Хорошо. Передайте, когда вернется, что был Лёва Сикстель».



«Когда вернется...» Почудилось? Ирония. Горько были нажаты два эти слова. Стыд — за меня? Стыд за себя полыхнул во мне — я было рванулась вслед, но страх быть уличенной, неготовность объяснить себе, ложный стыд перед горничной — тройным ударом! — а, может быть, всего сильнее — страх, что меня сейчас в боковые окна залы, идя к воротам двором, увидит Лёва! Прыгнув к стене, став за ее защитой, я простояла позорно, пока мой добрый и благородный, ни за что оскорбленный друг прошел по мосткам к воротам и последним звуком за ним хлопнула калитка.

Тогда, одна в зале (девушка уже скрылась), я очнулась — огромным непониманием, раскаянием, стыдом. Но то — не отступало. Стояло. Стояло на своем. «И отлично! — сказала оно. — Опять погружаться — опуститься в те чувства? Жестко я поступила? Зато — честно. Прошло — и не надо снова! Забыть...»

Но я физически ощущала, как идет переулком Лёва, друг, коснувшийся меня так бережно, так по-братски. Так мужественно, во имя меня. И его — удивление, растерянность, упрек? осуждение? — хлестали меня, праведно, — весь день. Тем, как он тихо вышел, как четко (еще почти мальчик!), по-мужски, твердо прошел — мостками, калиткой — на улицу. Мужественный и здесь, как тогда.

В Москву приехал знаменитый чешский скрипач Ян Кубелик. Москва неистовствовала. Почти невозможно было добыть билет. Мне посчастливилось. С кем я была на этом вечере? На мне было бабушкино (маминой матери) гранатовое ожерелье — на гимназическом темно-коричневом платье.

Зал переполнен. Ян Кубелик. Играет бесподобно. Плотный, широкоплечий, высокий. Круглое лицо, усы. Овация за овацией.

Вдруг — я вижу лицо Лёвы... Испуг! Давно ли я так о нем тосковала... (И — каялась...) То чувство — мое к нему — кажется мне враждебно и стыдно. Забыть!

...Люстры. Зал. С кем-то, кем отгораживаюсь, за чье присутствие цепляюсь, — подруга? Я уклоняюсь от разговора с Лёвой (пришел на концерт? подошел?). Мое отвертывающееся лицо, пылко стыдящееся тех чувств, которые хочу затоптать, как лесной костер. Сверкание его улыбки — меня

увидев? Его отступление? Сердцебиение все застилает. Яростные прыжки смычка по скрипке Яна Кубелика сжигают всю бурю чувств — сатанинским пламенем. Крик души... Взлеты черной гордыни! Пляска смычка...

Марина в ту осень 1910 года покинула свою верхнюю антресольную комнатку с золотыми звездами по темно-красному полю и переселилась вниз, в бывшую девичью, затем кладовую, в первую комнату от черного входа, где жили Варвара Алексеевна и Евгения Николаевна, каждая в свое время... Тут теперь жила Марина — в квадратной комнате с низким потолком (над ним, в мезонине, и помещалась ее бывшая комнатка и, должно быть, часть моей первой, проходной...). С этой осени началось наше увлечение комнатными растениями; мы купили себе каждая по несколько горшков с прихотливой по разнообразию зеленым. Маринин любимый куст с ломким светло-зеленым стеблем, ступенчатым, и зелено-розовыми, просвечивающими острыми листьями с серебристыми пятками. Поздней я узнала, что это был серолист, из породы бегоний.

И было еще одно существо, жившее в той комнате с Мариной (кроме всегда любимого, последнего из плеяды, кота). У этого существа был нежнейший голос, благодаря не жестяной трубе, а деревянной; из этой трубы, темно-коричневой, лились звуки Глинки, и серенады Шуберта, и какие-то мелодии, от которых веяло мамой и дедушкиным фонографом; это был его потомок, более потомок, чем немного противный *граммофон*, который кричал истошными голосами о «Марусе, которая отравилась» и опошлял когда-то героическую «Дубинушку», раздававшуюся из всех окон. Маринин певческий зверь звался странным новым словом «*патефон*», и он имел только отдаленное сходство со своим более поздним предметом того же имени, хлестким, ходким, с ручкой, чемоданчиком фокстротов, чарльстонов. Зверь пел Эоловым голосом, прося, чтобы кто-то не искушал его, и уговаривал волнения страсти, чтобы они унялись, и делал он это тихо, как будто всегда вел свой волшебный смычок по струнам виолончели, а когда Маринина дверь была закрыта — голос шел из-за нее как издали и звук был такой, как у певцов, поющих с закрытым ртом. И от этого мелодии и слова,

по ним плывшие, шли словно из глубины веков, из навек канувшего прошлого, и не живая любовь металась в звуках, а — *воспоминание* о любви.

Иногда с Валею Карловой я ходила в синематограф, где играл на виолончели Флор Бакович. Его звали «Фрол», сказала мне Валя Карлова, но «Флор» ему куда больше шло, и была только умна и естественна сделанная им перестановка букв. Флор Бакович — любимый ученик профессора Брандукова, тот подарил ему свою виолончель. Флор беден и играет в оркестре в фойе синематографа в проезде Тверского бульвара («Унион»? ). От Флора нельзя оторвать глаз. Тонкий, невысокого роста (прядь волос с его наклоненной к струнам головы падает на лоб), на нем коричневая бархатная куртка, узкое личико с привычно очаровывающей, чуть язвительной (от несчастий?) улыбкой. Взгляд карих глаз полыхает горечью и его красота — только взглянешь — отмечает с души все имена и лица. Флор кланяется мне с отдаленной галантностью. Я ему нравлюсь, он расспрашивает обо мне Валью Карлову (они оба учились в Филармонии, в двух шагах от нашей с Мариной гимназии). Флор еврей, это роднит мне его с Тигром. Судьба его угнетенного народа — вечная рана сердца, он мне за нее вдвое дороже.

Нас познакомили. Он, видимо, увлекся мной, потому что старался войти в зал, когда оркестр не играл, и сел рядом, говорить полупшепотом, глядеть на меня. Он мне нравился все больше, и его отношение ко мне льстило — Флор был очень красив. И был горд, даже немного запальчив в своей горькой еврейской юношеской гордыне. Я понимала, что Лев Борисович образованнее его и ближе к тому миру, в котором мы жили с Мариной. Но Лев Борисович был слишком взрослый для меня. Мне нравилось, что я ему нравлюсь, но увлечена им я не была. Во Флоре Баковиче меня восхищала прелестность его облика, я все время им любовалась и любила слушать его игру. Но однажды он встал рядом со мной в полутемном зале (я опоздала и стояла сзади рядов кресел), невысокий, хрупкий и мужественный, плавным уверенным жестом притянул к себе и внезапно поцеловал меня в щеку; я успела увидеть его несколько повелительный взгляд, взгляд сознания своих мужского права и власти, — мне стало немного смешно и нежно жаль Флора, упрощавшего наши от-

ношения и мое увлечение им. Примитивность его сказалась в этот миг явно; душа загрустила по его уже отдаленному облику, стало жаль наших волнений при встрече. И в который раз то же — «Только утро любви хорошо!..»

## Глава 6

МАКСИМИЛИАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ВОЛОШИН.  
ЧЕРУБИНА ДЕ ГАБРИАК. АДЕЛАИДА ГЕРЦЫК. МАРИНА

Вечером к Марине должен прийти какой-то писатель. То, что она не сказала мне, кого ждет, а я догадалась, что это — Макс Волошин, о котором она не раз упоминала, показывает, что его приход значит для нее много. Первый ли раз он у нее или был уже, когда я была на катке?

Сперва их голоса слышатся снизу, из залы, иногда затихают (ушли в гостиную?), затем — шаги вверх по лестнице, и пчелиный звук их беседы доносится ко мне из Марининой прежней комнатки. Выходят в узенький надлестничный проход... Идут сюда, ко мне! Голоса распахнулись, слова голосового гула становятся явственны. Еле успела вскочить.

— Здесь живет моя сестра Ася. Ася, ты дома? Это Максимилиан Александрович Волошин.

Марина в темном платье и в черной шелковой шапочке вроде берета, с оборкой (ввиду того, что наголо острилась). И с ней... — я никогда еще не видела подобного человека. Первое чувство — желание глядеть, слушать, впивать — и подробно рассматривать: большой? — нет, совсем нет. Но огромный. Среднего роста. Чудная нечеловеческая голова на плотных, очень широких плечах. Зевс с папиного шкафа! Гора кудрей, борода — небольшая? Как горячая лава, упавшая с кратера головы. Каштановая, с рыжизной. Рука, большая и теплая — не по-мужски, обнимает мою, глаза радостно, испытующе впивают мой встречающий взгляд. Глаза Пана с картины Врубеля! Нет, не Пана. У того — пустые и страшные. Эти так светлы, как те, но взгляд вполз в душу и улегся там. Уютно, как свернувшийся кот. Макс удовлетворенно пускает мою руку на волю, а взгляд продолжается, и в нем плавно, бестревожно кружится комната, унося меня в мне неведомое доброжелательство, ободрение, успокоение-по-

знание? *Колдун!*.. Добрый колдун из Марининых стихов? «Все видит, все знает твой добрый зрачок, / Сердца тебе ясны, как травы...»

Медовая улыбка, сказать бы, — если б в ней не порхнуло мученье.

— Можно сойти — в залу? У меня астма, мне трудно тут дышать...

Он поворачивается — «оно», вернее, — и все трое мы сходим по лестнице. В столовой подают самовар. Марина явно стесняется процедуры чаепития, насильственной, как весь быт. Марина садится за рояль. Тоже полунасильственно, немножечко как сомнамбула. Перебирает ноты. Вздых.

— Я ведь когда-то играла. Мама мечтала, что из меня музыкант выйдет... Не вышло!

Макс, облегченно вздохнув во всю глубь нечеловеческих легких, ласково, торжественно, просто:

— Потому что поэт вышел... Как здесь хорошо дышать!

И в то время, кто-то из нас, а может быть, и в два голоса обе:

— А вы *лечите* астму?

Макс, подойдя ко мне (я стала на своем обычном месте у печки, руки назад о теплые изразцы), молча смотрит мне в зрачки, до неприличия близко и неотрывно, так что голова моя рвется с плеч — отмотнуть взгляд. Широчайшая, нежнейшая из улыбок освещает огромное лицо Зевсово. Он отходит — с кошачьей легкостью. Нет, легкость детского воздушного шара! Вальс Чайковского полнит залу, подымаясь вверх с шаром, с Максом, с нами...

— Барышни, чай подан...

Улучив минуту, Марина мне шепнула:

— А вот не посмеешь *погладить* его по волосам!.. — И дразняще-высокомерный взгляд (где-то на дне тронутый теплотой ожидания: а вдруг — посмеет!)\*.

— Поглажу! — шепотом же ответила я. С забившимся сердцем. Как поглажу? Этого я не знала. Но раз сказано — значит, будет *сделано*. И вот я начала мучиться. Я боялась. (Такой

\* Позже, прочтя в Марининых воспоминаниях о Максе, я поняла, что, прежде чем *мне* сказать о Максовой голове, она *сама* сделала то же — и, значит, испытывала, посмею ли я?

милый, чудный, близкий, так жизнью подаренный, ласковый он был только что сейчас — и вдруг сделался такой «важный», далекий, совсем-насовсем чужой: сидит, говорит с Мариной о поэтессе Comtesse Matheu de Noailles, — разве я могу подойти, протянуть руку к его голове — почем знать, что он скажет? Это же, может быть, глупо?.. Ах, зачем обещала?!) Мертвая, я шагнула вперед. Кончить муку. Ведь все равно *надо* сделать! И услышала свой — и все-таки незнакомый — голос:

— Максимилиан Александрович! Можно вас погладить по голове?

И раньше, чем я успела протянуть руку, — его наклоненная (по-бычьи или по-кошачьи) голова, с готовностью, у моей руки. Точно он только того и ждал (удивлялся, что всё не гладят!).

Мои пальцы — в каштановых кудрях, густых и пружинных, как мох. И два лица. Его — и принявшее подарок, и дарящее. В огромной улыбке. И Маринино — одобряющее, ободряющее, хвалящее. Не знаю, какое лицо увидели в ответ они.

И вот он читает стихи — низким медленным голосом, вписывая каждое слово, и смысл, и звучание его.

Этими ли стихами — «Акрополь» — прозвучал нам впервые поэтический голос Макса?

«Жаль, папа не слышит! — думаю я. — Его Греция...»

Макс рассказал нам о Таи-Ах — гипсе, изображении царицы египетской, им привезенном в Коктебель, и сказал посвященные ей стихи. И он как-то отождествлял с изображением этим свою (он сказал «названую») жену Маргариту Васильевну Сабашникову (а потом мелькнуло в каких-то словах — что она не с ним). А в стихах его — строки:

...Мы друг друга не забудем,  
И, целуя дольных прах,  
Отнесу я сказку людям,  
О царевне Таи-Ах...

Он говорит и читает нам о Париже, своем Париже, так им любимом, и все больше нитей протягивается меж ним и Мариной. А затем он читает нам «Кастаньеты» — «Из страны,

где солнца свет...». Его голос разгорается, слова мелодически щелкают кастаньетным звучанием, накаляются полуденным солнцем, и когда он обрывает восклицательным знаком, его лицо сияет от счастья!

— И вот еще — это последнее! — говорит Макс. И медленней всего, дотоле прочитанного: «Теперь я мертв. Я стал строками книги...»

Макс кончил читать. (Мы поняли, что кончил.) Мы молчали. Если бы дочитал стихи кто-то другой, не он — мы бы, конечно, сейчас же заговорили, чтобы не обидеть, — даже если бы не понравилось. Но Макс... он же понимал, что молчим мы, благодарные за доверие, за что-то резко-интимное и в стихах этих, и в самом факте их прочтения нам...

Мы просим — еще. И он читал нам одно за другим стихи о любимом его Коктебеле.

— Часть Крыма, где мы с матерью живем, — сказал Макс, — вулканического происхождения. Наш Крым не похож на Южный Крым. Он суровый, безлесный. Холмы, и дороги, и море. Земля, ее первозданность чувствуется там, как нигде. Я был еще совсем юн, когда моя мать купила там участок, — там еще никого не было. И когда я долго там не живу — я *тоскую* по Коктебелю. Приедете — увидите, узнаете и сами — я в этом уверен, полюбите эти места. Ася тоже приедет? Приезжайте — не пожалеете...

— Непременно приедем! — в один голос сказали мы.

Он рассказал нам о вымысле-мистификации, о созданной им Черубине де Габриак. Она была *прекрасная* поэтесса, он прочел нам чудную ее поэму, из нее я запомнила: «В небе вьется красный плащ... / Я лица не увидала!»

Ее звали Елизавета Ивановна Дмитриева. Она была учительница. Очень скромна, некрасива, прозрачна. Макс увлекся ее стихами, выдумал способ ей стать известной, создал миф об (испанке?) Черубине де Габриак, и, в сиянье этого имени, иноземности, воображенной красоты, ее стихи взошли над Россией как молодой месяц. А затем — затем люди все осквернили, уничтожили, а она больше не стала писать стихов. Был жестокий день, когда — на вокзале — группа поэтов ждала красавицу поэтессу с пламенным именем. Из вагона вышла незаметная маленькая

женщина, — и один из ждавших — *поэт!* — повел себя недостойно, непозволительно. Макс вызвал его на дуэль. Но минута столкновения яви с вымыслом решила ее участь. Она исчезла, стерлась, замолкла. И от нее остались — листки стихов...

— Марина, я вас познакомлю с Аделаидой Казимировной Герцк — непременно! У нее, как у вас в этом году, вышел сборник стихов. Вы ее непременно должны узнать... Вы очень нужны друг другу. Она много старше вас. У нее трагическая судьба. Говорите с ней громче — она глухая. Хотите, я скажу вам ее стихи?

— Очень хочу...

Макс прочел стихи, которые мне показались странными. Но Марина их похвалила.

Я живу в пустыне, вдали от света,  
Один ветер вольный вокруг гуляет,  
Не нужна мне только свобода эта,  
И что делать с нею, душа не знает.

Не ищу я больше земного клада,  
Прохожу все мимо, не глядя в очи,  
И равно встречаю своей прохладой  
Молодых и старых и дни и ночи.

Огоньки мигают чужих желаний...  
Вот подходит утро в одежде сизой;  
Провожая ночь я до самой грани  
И целую край золотистой ризы.

— Максимилиан Александрович, — спросила Марина, — когда вы приведете ее к нам?

— Я дам ей ваш адрес, и она вам напишет, когда придет! Еще отрывок скажу, где она очень русская... что-то заклинательное тут есть...

...Прежде, бывало, ночи  
Реют темны-темнисты,  
Звери вокруг зверисты,



Лешия бродят думы...  
Песнями их разгоняешь,  
Песнями тьму просветляешь...

— Вы правы, — сказала Марина, — это просто заклинание, колдовское что-то... «Реют темны-темнисты»...

— А мне больше всего понравилось «Звери вокруг зверистые...» — смеясь, процитировала я.

— А «лешия думы», которые бродят? — спросил Макс...

— Три сборника наших вышло почти в одно время, — сказала Марина, — ее, ваш и мой? Как название — вашего? Это такая важная вещь — название!

— «Стихотворения», но длинный подзаголовок: «Годы странствий. Amori Amara Sacrum. Звезда Полюнь. Алтари в Пустыне. Corona Australis». А у Аделаиды Герцык, как у меня, «Стихотворения», но без всякой латыни — одно слово.

Позже Марина рассказала мне о своей дружбе с Максом Волошиным — какой он необычайный, совершенно ни на кого не похожий, потому что он относится к человеку совершенно иначе, чем все, он не хочет себе ничего, — а ясно, что друг на всю жизнь: он все понимает, дружит со всем миром, ему ничто не кажется странным, все ему — почти без рассказа! — понятно, он ничего не оспаривает, ничему не учит, он просто радуется, что ты — такая; — какой отдых с ним! И он любит Францию, как она!..

Я узнала от Марины, что у Макса — дом, на самом берегу моря под Феодосией. Что он любит это место больше всего на свете, хоть много путешествовал. Что он — художник. Что у него есть книжки стихов. И что он очень зовет ее — «и тебя, конечно» — летом жить к ним.

— А папа позволит?

— Конечно, позволит. Макса все знают, папа о нем легко справится. И там его мать. И вообще он другой, чем все. Разве ты не видишь?

— Вижу, конечно. Поедешь?

— Поеду. Но раньше мне хочется в пушкинские места в Крым. В Гурзуф. Андрей мне вчера сказал, что с Тарусой у нас, увы, кончено! Коварство: объявили торги на дачу. Петров, земский начальник, смеясь над ними, сказал Андрею, что не пойдет на торги, отговорил Андрея. А на другой день

пошел — и купил дачу! Где мы столько лет жили, столько раз хотели ее купить у города.

— Я больше *никогда* не поеду в Тарусу. А ты?

Так сама жизнь подарила нам Коктебель — в год, когда отняли Тарусу.

— И знаешь, — сказала Марина, — я, наверное, не буду кончать этот никчемный восьмой. Он ведь только педагогический. А я педагогом ни за что не буду. Я папе уже говорила. И, может быть, *раньше* тебя поеду в Гурзуф, а оттуда съедемся в Коктебеле.

## Глава 7

### САША КАБАНОВ И СТРАННЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ. ДРУЖБА МАРИНЫ С А.К.ГЕРЦЫК. ПЕРВЫЕ ПОЛЕТЫ БРАТЬЕВ РАЙТ

Так мы — в душе — и решили, а пока Марина продолжала учиться, по-прежнему мы ходили вдвоем на переменах, любясь Таней Тургеневой, Ниной Мурзо и маленькими дочерьми историка Дживелегова, двумя ослепительной красоты сестрами. У Риты глаза были светлые, как даль; светло-каштановые косы, непомерно тяжелые. Женины глаза были сини, черты еще точенее, чем у сестры, волосы темней и короткие.

Саша Кабанов, с которым мы познакомились на похоронах Льва Толстого, стал бывать у нас. Пылкий, восторженный сверх *всяких* мер, он блаженствовал вблизи Марининых стихов и их творца, ничему у нас не удивлялся, все принимал на веру, все находил бесподобным и вносил в наш дом некое крыло юношеского трепета и счастья, которое хоть и казалось немного наивным, но — трогало умилением наши грустные и иронические головы.

А однажды к нам пришел — к Марине, вернее — человек совершенно другого типа. *Полная* противоположность Саши.

Это был мрачный, мрачный прежде всего, замкнутый — нет, сомкнутый своими «начинаниями» — очень молодой человек. Он пришел с черного хода, снял шапку и постучал в ближайшую дверь. Она оказалась Марининой. Он вошел в протянутые кверху зеленые руки недавно выбранных Мариной, друг на друга не похожих растений, стоявших вокруг мужского большого письменного стола. В блеск книжных пе-

реплетов и стекол старинных гравюр, в портреты Наполеона и герцога Рейхштадтского, Марии Башкирцевой, Сары Бернар и мамы, мамы, глядевшей на него сверху и вбок — взглядом полунегодованья-полугордыни, которым она когда-то поглядела в Нерви под объективом фотографа, может быть думая о Тигре. Взгляд этот жил и жил с нами, после нее. Это тот портрет, о котором Марина в своих воспоминаниях о детстве писала: «где она так похожа на Байрона». Чертами — нисколько. Но вот этот взгляд, сверху и вбок...

— Вы Марина Ивановна Цветаева, автор «Вечернего альбома»? — спросил вошедший, небольшой, плотный, остроглазый, низколобый человек.

— Я.

— А я — Цибербиллер. Я пришел с вами потолковать об убеждениях и о мнениях. Я не могу установить ваши по стихам. У меня много вопросов. Вы не заняты сейчас?

Что ему отвечала Марина? Но довольно скоро она привела его наверх ко мне и, только поведя в его сторону глазами, сказала все. И мы бросились в бой. Что мы только говорили! Это было совершенное вдохновенье отчаяния!

Мы говорили *все*, что нам шло в голову — и не шло — в его. Бред за бредом. Ликовали, опьяняясь свободой вымысла и его все мрачневшим взглядом. Наконец Марина подвела его к окну, где за инеем светились окна фантастического здания типографии Левенсона — с башенками.

— А тут живет наш дед, он — феодальный барон, — сказала Марина. — И мы с Асей...

— ...каждый день ездим к нему в карете с гербами, — продолжала я, — и он...

Но наш гость сказал твердо:

— Мне надо идти заниматься. Я, может быть, еще к вам приду.

Он еще приходил, и приходил Саша. *Как* жаль, что они никогда не встретились.

Вскоре в Маринину, да и в мою жизнь вошел — и надолго — еще один человек — Аделаида Казимировна Герцук.

Это была глубоко обворожительная женщина средних лет, некрасивая и глухая. «Поэт *чистой* воды», — как просто Макс сказал о ней. Одна из самых больших и сердечных дружб Ма-

рины. Они встретились как родные — на тех же любимых книгах. «Йеста Бьёрлинг» Лагерлеф, книги Беттины Brentano («Разговор с демонами», «Переписка Гёте с ребенком»; писательница эта играла большую роль в общественной жизни Германии, в ее просвещенных кругах). Максом подаренная Марине Марселина Деборд-Вальмор, любимая современная французская поэтесса Марины А. де Ноай. Марина и Аделаида Казимировна читали друг другу свои стихи — вернее, Аделаида Казимировна стихи Марины читала в рукописи или в сборнике, так как была глуха. Она была замужем за издателем Дмитрием Евгеньевичем Жуковским, человеком совсем иного типа, чем она. Из-за своей глухоты и необычайной деликатности она ощущала себя в дне немного беспомощной. Но, обладая волей, и добротой, и какой-то отвагой, ей свойственной, жила мужественно и просто, готовая перенести все, что пошлет жизнь. Глухоте ее предшествовало следующее: в юности она полюбила замечательного человека, старше себя, всей душой отдавшегося некрасивой, прелестной девушке с необычайным сердцем, чистым и грациозным, обладавшей большим стихотворным даром. Они стали женихом и невестой. Однажды, выехав с отцом за границу, она остановилась в гостинице. Сюда должны были идти письма ее жениха (громкое, известное имя его я, увы, забыла), и кажется, сам он ожидался в этот город. Вместо него пришла телеграмма о его внезапной смерти. Не знаю подробностей дальнейшего, только вскоре после этого Аделаида Герцык, проснувшись (быть может, впервые после бессонных ночей), уронила с ночного столика тяжелый шандал со свечой. Он упал — беззвучно. С этого дня она навсегда утратила слух.

Ее глухота окружила ее стеной, отделив от людей, голосов, высказываний. На лице блуждала недоуменная полуулыбка, придававшая что-то жалобное ее круглому, худому лицу с бледными глазами, неправильным носом, с волосами на прямой ряд, чуть вьющимися, всему ее скромному существу. Что-то раз навсегда отказавшееся от многого в жизни веяло в ее движениях и поступках. Это был одинокий и добрый человек, старавшийся не показать печали, и нечто от лица блаженной было в ее растерянной улыбке. Но был в ней тонкий юмор, легкая отзывчивость на смех. Одаренность сквозила

во всем ее внутреннем слухе на мир. Ее руки, нецепкие, легкие, дарящие, были протянуты — каждому. И была способность к восхищению и неспособность осудить человека (существо ее противилось необходимости осудить). Основным ее чувством была благодарность: за мир. У нее был маленький сын, Даниил, Далик, она рассказывала о нем трогательные смешные вещи, и позднее в толстом журнале был напечатан ее рассказ — о «ненаказуемости» мальчика (в рассказе он был — Котик). Со страниц вставал своеобразный, упрямый маленький ее спутник, самобытный в проступках и озирающийся на наказания с равнодушием или с юмором и всегда находящий выход своему свободолюбивому существу; некручинящийся, уютно приспособившийся и к неприятному. Нежный юмор звучал в этом рассказе, тонкая, вещая наблюдательность и вопрос, не учат ли *нас* дети — более, чем мы — их.

Когда в первый раз Марина ввела в мою комнату, в нашу бывшую детскую, Аделаиду Казимировну Герцык, она, как и Эллис, как и Нилендер, увидев наше антресольное жилье, остановилась на пороге двери с зеленым шаром стеклянной ручки, обвела все изумившимся и радостным взглядом.

— Как у вас хорошо! Это мне напоминает *наше* с сестрой детство! Моя сестра Женя... — Она говорила — как обо мне Марина: «Моя сестра Ася...»

У нее был особенный выговор, не совсем русский, с коегде прижатыми, ускоренными звуками, с двойными согласными, нечто вроде: «Какк у васс хорошшо...» (и все «а» были немного вроде «э», и все «о» — вроде — «ё»). Эта дикция (ее отец был поляк) придавала особый уют ее высказываниям; как бы лаконична ни была фраза, в тепле ее необычного звучания и крылся этот уют. На просьбу сказать стихи она ничего не ответила, улыбнулась (мы думали, не услышала) и вдруг «заговорила стихом», словно это даже проще, чем обычной человеческой речью.

Ключи утонули в море —  
От жизни, от прежних лет...  
В море — вода темна,  
В море — не сыщешь дна,  
И нам уж возврата нет...

— Как удивительно! — сказала Марина, когда гостья наша замолчала. — Вы в одном стихотворении так сумели себя выразить, что мне кажется, я вас давно знаю...

Недослышав (?), гостья ответила:

— Мне — тоже, — и стала просить, чтобы Марина читала стихи. — И теперь я хочу слушать вас, Маринна, милляя...

Как трудно *кричать* стихи, думалось мне, но Марина, подойдя к Аделаиде Казимировне, стала читать. Она прочла стихи Нилендеру:

Наши души, не правда ль, еще не привыкли к разлуке?  
Всё друг друга зовут трепетанием блещущих крыл!  
Кто-то высший развел эти нежно сплетенные руки,  
Но о помнящих душах забыл...

Она читала очень громко, но лицо услышавшей было недоуменно.

— А теперь скажем вдвоем! Вдвоем с Асей! — И мы стали читать.

— Это удивительное чтение, — сказала наша гостья, — но я плохо слышала, *что...*

Небольшие, некрасивые, очень светлые глаза Аделаиды Казимировны глядели необыкновенно приветливо и открыто, и было даже немного девического, детского любопытства в ее все оглядевшем и принявшем взгляде.

— Уди-ви-тельно у вас! — сказала она (и в слоговом делении слова мелькнуло сходство с Драконной. Та бы тоже могла сказать так). — Настоящая, — «щ» звучала не как «щ», с каким-то (польским?) призвуком, — старинная комната! — удовлетворенно сказала она. — Таких все меньше делается в Москве! — И, шагнув в угол за маминим комодом, где голубел брошенный обрывок бумажной ткани с розанами, она, восхищенно подняв его легкими пальцами: — И эттот куссок старого атласса! Какк этто подходит к вашшей коммнате...

Она была чудесна в этот миг, превращавшая своим взглядом и прикосновением ситец — в шелк. Волшебница!..

Марина сказала мне, что у Аделаиды Казимировны есть сестра почти того же возраста — Евгения, переводчица, подруга Вячеслава Иванова. Немного моложе ее. И они очень дружны. И очень дружны с Максом.

Сколько лет прочной и сокровенной дружбы с обеими было начато этим ее первым приходом к нам.

Открытие папиного Музея близилось. После преследования министром Шварцем, так стойко им выдержанного, папа заметно старел. Он почему-то перестал носить бороду, и его подбородок, бритый, до этого скрытый небольшой, негустой, чуть ширившей лицо бородой, казался незнаком и делал лицо старше. Усы белели. Лоб, высокий, широкий, переходивший в лысину, покрывался морщинами. Позднее сиденье за письменным столом, все усложнявшаяся и накапливавшаяся работа и страдание, пережитое во время травли московскими газетами, не прошли даром.

Глядя на него, тревогой сжималось сердце: что если не вынесет предстоящего еще труда до открытия Музея? Вряд ли мы высказывали друг другу эти мысли, Лёра, Марина и я (были ли они у брата Андрея, кто знает?). Но они мучили нас — постоянно, приходя внезапно — точно кто-то качнул маятник времени. Нет, такого не могло быть, не должно быть! Бог милостив... двадцать два года труда, сверхсильного, неслучайного, безвозмездного, не снимавшего ни лекций, ни заседаний... Папа *должен* дожить до открытия...

В 1910 году — думаю, не ошибаюсь — произошло потрясшее весь мир событие: братья Райт поднялись в воздух! Газеты всех стран гремели статьями о сказочном событии. Вот бы очнуться Леонардо да Винчи, так мечтавшему об этом великом открытии! Строившему крылья наподобие птичьих, исчертившему россыпи чертежей дерзновенными попытками преодолеть вес, тяготение...

Я вспоминала мое, пять лет до того, увлечение изобретениями Эдисона... Вдруг: люди поднялись в воздух — а мама не знает!

В синей гостиной Драконны мы слушали ее восхищенные прерывистые возгласы:

— Это — марка! Поднялись! Эти удивительные братья! Вы только подумайте, — обращаясь к нам, — *никто никогда* не понимался, а эти необыкновенные *братья*... Марина, вы почему так на меня смотрите? Или вы... Да, я вижу, мой друг, — вдруг меняя голос от восхищенности в — осуждение, — на вас это

совершенно не подействовало! Вы — вы — я понимаю, мой друг, — вдруг меня осуждение на восхищение, — вы ищете рифму! Потому что вы живете среди чудес *другого* порядка! А эти два брата — они, *собственно...* ну, скажите мне последние стихи — в два голоса!..

В гимназии ставили французскую пьесу из греческой жизни, и мне дали роль одной из юных гречанок. Марина поняла мое равнодушие: «Зачем это тебе?» Имя гречанки было Ио. Я без особого восторга принялась учить роль и с тоской думала: братья у папы денег на материю, объяснять зачем, шитье какого-то наряда с туникой отнимет время — примерки! — и мне не нужно. И опять, как и два года назад, когда у Щукина ставили «Сад Великана» Уайльда, как-то само собой отошла от меня эта роль, передали другой (может быть, не пошла на репетицию?), и греческого платья с туникой не пришлось шить.

Марина радовалась за меня:

— На этих репетициях тебя бы заставляли играть не по-твоему — бог с ними!..

Вскоре после первого прихода к нам Макса Марина получила от него посвященные ей стихи. Вот строки из них:

К Вам душа так радостно влекома...  
О, какая веет благодать  
От страниц Вечернего Альбома!  
(Почему альбом, а не тетрадь?)  
Отчего скрывает чепчик черный  
Чистый лоб, а на глазах очки?  
Я отметил только взгляд покорный  
И младенческий овал щеки...  
...Ваша книга — это весть «оттуда»,  
Утренняя благостная весть...  
Я давно уж не приемлю чуда...  
Но как сладко слышать: чудо — есть!

За год до того, обманутая подругой, давшей ей флакон якобы «Перуина Пето», Марина, втирая эту жидкость, оказавшуюся перекисью водорода с чем-то еще, нечаянно-



негаданно стала желтоволосой, затем порыжелла, а далее Маринины волосы стали менять оттенки от морковного к зеленоватому, и — когда, не помню, может быть, уже глубокой осенью — Марина обрила голову. По чьему-то совету полагалось ее брить десять раз — тогда могли они завиться. И Марина надела черный шелковый чепец с маленькой оборкой, очень ей не шедший. Об этом чепце упомянуто в стихах М.А.Волошина.

## Глава 8 В СИНЕМАТОГРАФЕ С МАРИНОЙ. НАРЦИССЫ ЛЬВА БОРИСОВИЧА

Я ничего не пишу о нашей экономке — Александре Олимпиевне, а между тем это была довольно своеобразная женщина. Средних лет, невзрачная наружностью, с жидкими русыми волосами, невысокого роста, она обладала необычайной живостью характера, беспокойного и даже суетливого, но была весьма наблюдательна и умна, хотя и были ее наблюдения иногда внушены некой подозрительностью ее ума, видевшего не то, что есть, а то, что ей кажется. Так она, например, мало понимая наши с Мариной сущности, судила о нас по-своему: «Все надеетесь на папу — папа заработает, папа даст, папа купит, — а не думаете, как ему все это достается, не видите, как он ночами работает». Мы видели. Но она понимала его упрощенно, что ли. Разве папа мог не сидеть за письменным столом? Ведь там протекала его жизнь. Материальных же соображений у нас вообще не было. Знали, что есть «мамины деньги», завещанные. Из них платили ее пенсионерам — никогда зря у папы денег не просили. Не в деньгах для нас была суть. Но именно это ужасно беспокоило Александру Олимпиевну в нашей необычной семье. Она тщетно старалась создать тут что-то по-новому, как когда-то «немка». Но о папе она очень заботилась — о режиме питания, о его мечниковском лактобацилине. Заботилась, как никто из нас не умел.

По-прежнему Марина входила ко мне — постоять у раскрытой в мороз форточки, дыша клубами холода. Сказать: «Так мало ем — и все с укусом — и так мало худею! Хоть бы забо-

леть, что ли, — тогда, может быть, похудела бы... Год назад сколько ставила ноги в таз со снегом — и ничего!»

Или: «Тоска! У тебя тоже? Пойдем в синемамограф!» Мы шли. Иногда попадали на картину с участием Асты Нильсен, актрисы неподражаемого таланта и очарования. Ее худое лицо, острое книзу, огромные темные глаза, всегда трагические роли, высокое мастерство создания образа, полного грации и горечи, одиночества, мужества вынести все до конца, — в какое чудесное содружество мы попадали, зайдя через ненавистное фойе, где столько людей и столько пошлости, — в темную залу с трепетом лунного экрана. Аста Нильсен! Ее невозможно забыть. И волшебная условность тех лет кинематографического искусства, состоявшая в заколдованном молчании экрана, перешагивание в мир теней, которых сопровождали пояснительные строки, — и постоянное, вдоваков к ним, угадывание происходящего!

Иногда мы попадали на комедии Макса Линдера. Смех опьянял. Улицы большого города переносили за границу, в детство. Мы возвращались, отвлекшись от себя, от своих печалей, размышлений и чувств.

Иногда Марина входила внезапно, спешно, с порога нахмутив брови (боясь, что промедлю с ответом):

— В каком ухе звенит?

И разочарованно: «Не угадала!..» Иногда, улыбнувшись: «Верно!» И, задумчивая, уходила к себе.

И была у Марины поговорка — для случаев, когда кто-нибудь хотел отплатить за что-то, выразить благодарность. Она отвечала, чуть сощутив глаза (привычка близорукости):

— На том свете — угольками...

И как-то вытянув руки вперед, потирая ладонь о ладонь, пальцы о пальцы, стояла так с минуту, чуть втянув застенчиво плечи... Как вижу ее! Куда такое уходит? *Повадка*, неповторимая, человека, не повторенного в вечности. Иногда стояла, глядя вперед светлыми тоскующими глазами, остановившись мыслью на чем-то, потеряв окружающее, отсутствуя. Опоминалась, остро все на миг видя. Вздыхнув, уходила к себе.

На каком-то гимназическом балу мне представили молодого человека в студенческой форме — Льва Борисовича К.

Мы танцевали вальс и другие салонные танцы и разговаривали о литературе, о любимых произведениях, о современных поэтах. Темные (близорукие?) глаза, голос низкий, с улыбчивыми интонациями и взгляд внимательный; что-то чуть поучающее в его старшинстве и одновременно — его захваченность нашей беседой, удивление моими молодыми — немолодыми — суждениями. Он — с Кавказа: учится в Москве. Кружась в танце, думаю: «Так вот и пойдет жизнь, в постоянных сменах лиц, голосов и имен... В постоянной грусти привыкать, отвыкать, перебарывать — и потом забывать...»

Лев Борисович стал заходить за мной, мы шли в синематограф, он писал мне и присылал цветы, и однажды в зимний день посыльный передал мне нарциссы\*.

Это случилось, когда папа был дома. Может быть, в первый раз папа вдруг осознал, что я расту, уже девушка, — и покосился на меня суровым взглядом из-под нахмуренных бровей и очков.

— Кто это присылает тебе *зимой* — живые цветы? — спросил он строго.

— Один студент. Он с Кавказа. Мы познакомились на гимназическом балу, — словом «студент» я хотела себя защитить: что — взрослый, не мальчик...

Но папе оно прозвучало иначе.

— Студент! — сказал он. — А думала ли ты, *что* такое зимой цветы для кармана студента? Сколького он должен был лишить *себя*, чтобы тебе купить этот букет? Вот — подумай. В нашей семье себе не позволяли таких вещей...

— Но, папа, я же не просила его... — сказала я беспомощно и устыженно.

— О таких вещах не просят — их отстраняют. Мама была *очень* скромна и в нарядах, и в украшениях. Я студентом снимал за городом сапоги, берег их. Мы живем подножным кормом — что заработаем, на то живем. Не позволяй больше таких вещей. Запрети.

И он ушел к себе. Навстречу мне шел Андрей.

— Что, матушка, попало? «Мы живем подножным кормом»,

\* Мои любимые цветы с Лозанны, с восьми лет.

наверное, да? — И, смеясь, он унесся вверх по лестнице, и оттуда донеслась мандолина. Слов папы он не слышал. Но папа не раз повторял их, и он шутил о них догадывался.

## Глава 9 СМЕРТЬ И ЖИЗНЬ. УВЛЕЧЕНИЕ МАРИНЫ КАЗАНОВОЙ И МАНОН ЛЕСКО

Нет — штемпель не московский. А! (разочарованно). Это Лев Борисович, с Кавказа... Но в конверте письма не было. Фотография человека с закрытыми глазами, страшная. И слова: «Лёва на смертном одре».

Я вскочила: Лев Борисович! Умер! (Под словами подпись: «Брат Шура».) Умер... умирал — я не знала! Умирая, просил мне послать фотографию, просил, чтобы сняли... Дал адрес!

Вне себя от горя, я бродила по комнате, сжав руки, оплакивая друга и свою жестокую беспечность — совсем не думать о нем, ни о его отношении ко мне. Вот оно, настоящее горе... Я вспоминала малейшие черточки и выраженья его лица, мне улыбавшегося. Если бы он знал, как мало ему оставалось жить! И моя преступная беспечность — не оценить его отношения ко мне.

В слезах, упрекая судьбу, что нет со мной Марины, не в силах ничем утешиться, я металась. В смятении я пошла на телеграф. Моя телеграмма к матери начиналась: «Сочувствую тяжелому неожиданному горю». Я знала: она, как я, сейчас мечется, не находя утешения. Мне было почти страшно от его прощальных слов. Глубоко в ночь. Я писала о нем дневник, обливая страницы слезами, с опухшим от них лицом. Сколько прошло? День? Два? Я была выключена из жизни. Наконец пришла ответная телеграмма. Она гласила: «Лёва здоров. Шура наказан...» Читая, я не поняла. А когда поверила — какая гора с плеч! И сразу — спутник-юмор... Марины нет, вот бы вместе смеялись!.. И совсем он не любит меня, и никакая я не преступница... Господи, как хорошо!..

Мои шестнадцать лет: уют с детства любимых комнат — письменный стол, мамин; дневник, книги; мечты и друзья.

И вот в это шестнадцатилетие вышло и стало возле меня — другое: к папе пришла, не застала кем-то присланная — что-то по работе, о рекомендации? — девушка. Моих лет. Мать умерла. Она — старшая; младшие сестры и братья. Отец — пьет? Болен? В больнице? Не помню. Им нечего есть. Что она даст им завтра? Ивана Владимировича нет дома... Она так надеялась, то он устроит ее на место...

Ее растерянное личико, бледное и расстроенное, полнит меня ужасом. Вот это есть жизнь?

Краской к лицу — стыд! За свою сытость! За то, что я и впереди никогда не смогу испытать — ее день! Потому что обеспечена. Дед, мать, отец — наготовили, сберегли на всю мою жизнь... А она...

Мы идем к воротам. Я передам папе, что она придет. Объясню. А пока, на завтра — «о, пожалуйста, не обидьтесь, у меня сейчас больше нет». Я сую ей в руку серебряный рубль. Она рада, она благодарит, она улыбается! О, спасибо, спасибо... Она закупит им — крупы, супового мяса... Мы трясем руки, смеемся обе. Она уходит, счастливая. Завтра она придет к папе...

Я счастлива признаться себе, что вместе с жизнью торжествую над горем — моим — того дня: жизнь и здесь, как везде, превзошла ожидания; обеспеченность «на всю жизнь» сгорела, как мотылек на свече, — и мне удалось хлебнуть горя той девушки — и похлеще! Но слава судьбе — жизни не прокляла! Терпела ее, изучала, несла. Вот за это наследство — духа не потерять, — что дед, отец, мать припасли, — спасибо!

Пришел Новый, 1911 год. Марина писала:

Встретим пришельца лампадкой,  
Тихим и верным огнем.  
Только ни вдоха украдкой,  
Ни вдоха о нем!..

Только в конце ноября 1910 года закончил папа подготовку к изданию книги, получившей название «Спорные вопросы», которую папа выслал в Министерство просвещения, в Сенат и видным деятелям культуры.

В 1911 году ушел в отставку министр Шварц. И в 1911 же году папа издал дополнительную к «Спорным вопросам» брошюру «Дело бывших министра народного просвещения А.Н.Шварца и директора Румянцевского музея заслуженного профессора И.В.Цветаева».

В эту весну Марина особенно увлекалась дневниками Казановы. Она читала их во французском издании и, казалось, переселилась в страны его приключений. Ее восхищало пылкое разнообразие его свойств и стремлений, его романтический авантюризм. Она рассказывала о нем, заходя ко мне. Затем принесла мне прочесть «Манон Леско» аббата Прево и очень хвалила эту книгу. Мне Манон Леско не понравилась, показалась пустой и холодной. Но интересом своим к Калиостро Марина меня увлекла, и я зачитывалась в ту весну французскими романами о нем — «Жозеф Бальзамо» и другими.

Весной был вечер в нашей гимназии. Таня Тургенева и я готовили стихи. Выступала и Нина Мурзо (пела). Голос у нее был сильный, очень хороший. Не помню, что читала Таня. Мне достались стихи, кончавшиеся: «И над Ильменем запели / Гусли нежные Садко!»

Я много раз повторяла стихи дома. Мне нравилось, как я их говорю — интонации, взлеты голоса. Близорукими глазами (сняв очки) я глядела на себя в зеркало, и было весело представлять себе зал, свой успех, аплодисменты. На вечер пришел Лев Борисович Сикстель. Все мы были в гимназических платьях. Таня была прелестна, держалась полудетски-свободно, раздавался ее смех. Пришел ее черед выступать. Скоро — мой.

Резво, шаловливо-уверенно, с залом запанибрата, стала читать Таня. Ее тонкая фигура, пышные, прелестные русые волосы (пышнее моих!), смелый взгляд голубых глаз. Она прочла отлично и, когда грянули рукоплескания, поклонилась с видом избалованного (знает, что любят ее!) ребенка. Это был триумф. Зал долго не унимался.

Я вышла со смутным чувством неполной в себе уверенности. Глянула в зал, не видя его (без очков). Но голос вывел меня, и, пустив строки по его певучей струе, я дошла почти

до конца стихов, когда вдруг споткнулась. Поймала и ритм, и слово, но спотыканье мое заметили. Как это могло со мной стать? И — стыд перед Львом Борисовичем...

## Глава 10 ВСТРЕЧА НА ЛЬДУ

Это было 6 февраля 1911 года. Музыка гремела, летел снежок, синее небо вечера медленно, плавно кружилось над нами, и казалось, что кружится голова.

Мы катались — мои друзья по катку: Валя Карлова, Жорж Смирнов, их знакомые — девушки Забалуевы, — когда на полном бегу возле нас зашипели, резко затормозив о лед, лезвия норвежских коньков и, смеясь и еще как на бегу дыша, стал среди нас человек в темно-желтой меховой шапке. Она была надета чуть вбок, и из-под нее, ею стройно схваченные, светлели, как у Листа, подрезанные пышные волосы. Синие глаза сверкали весельем насмешливым, и, кончая на лету кому-то брошенную фразу, витиеватую, юмористически стилизованную, он поклонился одной из девушек Забалуевых, они взялись перекрестно за руки — понеслись и скрылись из глаз.

— Кто это? — спросила я Валу, чувствуя, что я должна мчаться с ним, а не девочка Забалуева!

Что-то ослепительное, несомненное, никогда не виденное, пленительное, нужное было в этом подлетевшем и умчавшемся человеке. Все остановилось. Важным было только — его возвращение. Оно не замедлило. Валя не успела ответить, как он уже стоял перед нами, опуская руку девушки и, не замедляя на месте полета, перебирая лезвиями лед, смеясь и продолжая пародировать кого-то. В его брызжущем остроумии было столько захватывающей увлеченности, столько насмешничающего зова куда-то, за предел катка и компании, грассирующее его «р» так дразнило, его стройное легкое тело (изящное, поражающее кровным изяществом), худое лицо, тонкий нос с горбинкой и ярко очерченными ноздрями — все было в совершенстве в *первый* раз! Упоительно! Ни на кого не похоже!

— Вы не знакомы? — спросила Валя, маленькая, полная, ловкая в своей черной плюшевой жакетке и кокетливой ша-

почке, из-под которой на него и на меня глянули ее темно-серые смелые глаза.

— Ася Цветаева! — сказала я, подавая руку.

— Бо'р'ис Т'р'хачев! — так же быстро сказал он, и в два раза повторенном грассировании его имени и фамилии прозвучали стальные ноты. Что-то птичье в его лице? Отдаленное сходство с мальчиками Горбовыми, в семье которых я училась танцевать два года назад: тот же холодок выражения и четкость черт.

А музыканты играют новое, золотые трубы взлетают ко рту солдат, и ритм начинающей колдовать мелодии трогает наши коньки. Борис замечает, что я на норвежских (одна — из всех женщин катка), — да будет благословенно наше право лететь!

Сразу ли я осознала еще одну непривычность в Борисе, Борисе Сергеевиче? — в то время как все были одеты по-зимнему, даже конькобежцы в шерстяных свитерах, — он был в легоньком пиджаке.

Как мы неслись! Ни с кем за все годы мои на катке я не знала такой быстроты! Ни с чем не сравнимое упоение...

Опьяненная этим странным содружеством, дыша легко в нескончаемом нашем полете, я говорила Борису Сергеевичу, что еще никто из моих знакомых не мог кататься так долго, как я, без отдыха. *Не присаживаясь.*

Он принимает вызов. Он *не* присядет! Я, иронически:

— *Все* просили пощады. Вот и вы попросите! Увидите!

Он не верил. И мы мчимся и мчимся, и под музыку, и без музыки, я сбоку вижу его лицо, смеющееся, разгоревшееся, темную синеву глаз, соболиного цвета шапочку. Я совершенно счастлива!

Вдруг легкая, над собой насмешничающая гримаса трогает его лицо: он утрирует? дразнит? замедляет бег, сжав наши перекрестно кинутые руки.

— Прошу пощады!

Как мы смеемся! Подъезжаем медленно к скамейке. Садимся. Смотрим друг на друга, а над нами — зимняя синева.

Но через весь смех, все остроумие, которым мы щедро обмениваемся (разительное чувство сходства, в чем-то основном, кровном!), — осознание такого *интеллекта* рядом, такой личности, что немного — уже не от неба в снежинках — покру-



живается голова. Он произносит фамилию — «Забауевы» (не произносит «л», у него звучит: «вне уюгики» и «на уюдке»), и я отмечаю, что мне *нравится* это «л» его (что-то детское в нем, умиляющее), и его «р», грассирующее (от него мне почему-то веет русской стариной, зная «Войны и мира», книги, которую я недавно прочла). Странное ощущение стояния у какого-то огромного *gouffre\** на краю, как перед открытым морем, откуда дует первозданным холодом, отрешенным и беспощадным, который тщится спрятать себя под маской веселья и шуток. Спрятать себя в этот талант беседы, блистательный и бессчетный в силах, протуберанцами плещущий в любой стиль, играющий, как лунный столб по струям, то — древнерусская витиеватость, то — галантность французов XVIII века, то — сугубо ученый слог... *Кто* он, этот изумительный человек, до мозга костей насмешливый и — чую! — до глубины сердца лиричный, не поддающийся осознанию и описанию, из них рвущийся, как угорь из рук?! И (сказал, ему двадцать семь лет) кутающийся в плащ словесной игры так искусно-привычно, точно ему все сорок — сто сорок! — и он уже не первую эру живет на земле.

Мы давно уж несемся опять, взявшись за руки перекрестно, как в салонных танцах, слитые в одно стройным, неумолимо-правильным взмахом крылатых ног, — вот для чего я год назад встала на норвежские! Я и не знала, летя одна по с детства родным Патриаршим, — что *так* буду лететь *вдвоем*, вверив себя мужественным рукам, правящим гигантскими нашими шагами, сдвоенными в полете, так умело, уверенно ведущими поворот на лету, чуть отгибаясь влево и меня наклоняя и вновь выпрямляясь той природной стройностью, которой владеет в чаще олень, в море — парус!

— Асечка, сейчас — *последний* марш будет! Уходим? — кричит мне, пролетая к выходу на своем нурмизе\*\*, с кем — не вижу, Нина Мурзо. Ее лицо разгорелось, глаза — темные алмазы! Как она прелестна сейчас!

На другой день, выходя из гимназии (почему-то я шла одна), думая о Борисе Сергеевиче — мне имя это понрави-

\* Бездонная пропасть (*фр.*).

\*\* Коньки небеговые.

лось, волнуя сходством с тем героем из «Горбатовых» Всеволода Соловьева, который так долго жил в Индии, изучал магию, — я в задумчивости завернула за поворот одного из Кисловских переулков и готовилась переходить улицу, как вдруг из-за угла непринужденно и просто, как всякая сумасшедшая явь, вышел, не видя меня, легко пружиня шаг, стройный человек в распахнутом пиджаке (был мороз), в темно-желтого цвета соболиной шапочке; ее мех был темнее волос, золотых при дневном свете и обрезанных, как у Листа, пышно и прямо. Что-то от Кирибеевича мелькнуло мне — тот молодец в «Купце Калашникове» Лермонтова! — во взгляде синих, изумившихся и тотчас же засмеявшихся глаз, когда он узнал меня.

Весь остальной февраль мы каждый день встречались на катке с Борисом Сергеевичем — так церемонно я звала его, настолько старше меня он мне казался. Его нельзя было назвать «юношей» — вся повадка его была взрослее, увереннее — мужская. Нет, не мужская — мужественная! Собственно мужского, того чужого и страшного, о чем говорилось в Марининых стихах «В чужой лагерь»\* и чего мы так сторонились в каждом, что мелькало почти во всех, что тяжело брезжилось (будто дремало) в Толе Виноградове, — этого в Борисе Сергеевиче не было и следа. Вечер с ним — было высокое упоение! От этого он бы от всех меня защитил (без единого намека на готовность к такой защите. Он вообще не снисходил к этим темам). Своим как лед прозрачным, синим взглядом он глядел в иные края; куда? Вот на это я бы не сумела ответить, и он не хотел говорить, закрытый на все замки. Но — в общении, в обращении он был совершенно прелестен: тонок, внимателен, безотказно и беспредельно умен, легок, весел, грациозен в любом повороте беседы, увлекателен в таланте речи, почти галантен (слава богу — почти!). И всегда с оттенком шутливости; и при всей этой «близости» — отдален, сомкнут, окружен кольцом ежеминутной возможности отступить: непроницаем.

Мы выдумали, может быть и другим конькобежцам известную, но страшную, конечно, игру: лететь, закрыв глаза.

\* «Вечерний альбом». Москва, 1910.

Мы крепко брались за руки, перекрестно, и, слитые от плеча их напряжением в одно, уговорясь не глядеть, решались мчаться только с опорой рук, прижатых крестом к туловищу, и ног, отмахивающих лед одновременным, мощным, широким и легким движеньем норвежских «ножей»\*. Как мы не налетали на таких же, как мы, или на перерезывавших нам путь, что иногда бывает?

А весна подходила, грозя превратить лед катка — в снег и воду, вырвать из-под ног почву наших фантастически летевших встреч. Иногда мело и каток был не разметен. Иногда становилось трудно кататься, так мягок делался лед; наши беговые коньки врезались, крошили его. Вечера были светлее, небо — ярче; по небу бродили весенние облака, рыхлые, низкие, солнечные. Думал ли и он о скором расставании нашем? Боялся ли он его, как я? Или... Честно, просто: он сможет без меня жить? Я — не смогу. Что же делать? Мир — такой богатый до него! — стал беден! Пресен. Господи, помоги!

Марина слушала мои рассказы о Борисе Сергеевиче с глубоким сердечным вниманием. Она понимала прекрасно, что этот человек ни с кем из моих друзей не идет в ряд. Что встретилось — необычайное. Но на катке она теперь не бывала, занятая знакомством с Максом Волошиным, Аделаидой Казимировной Герцык и, как всегда, многочасовым чтеньем.

## Глава 11

«ГРАФ» БАСКАКОВ. ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С УБИЙСТВОМ.  
МОНА ЛИЗА ДЖОКОНДА И ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. Б.С.Т.  
У МЕНЯ. МАРИНА В ПУШКИНСКИХ МЕСТАХ В ГУРЗУФЕ

Я забыла написать об одной дружбе-увлечении Марины. Это было, когда она жила уже внизу, осенью 1910-го, до встреч, ее теперь наполнявших. Где-то на гимназическом вечере, кажется, она познакомилась с Евграфом Баскаковым. Помнится, он был знакомым моей Галочки; еще юноша. Темно- и длинноволосый, довольно высокий и сторбленный, смуглый, он обладал обаяньем, своеобраз-

\* Лезвия беговых коньков остры, как ножи.

ным и невзрачным. Может быть, что-то роднило его с Владимиром Оттоновичем? У него была неясная дикция, это умиляло. Был застенчив, но этой застенчивостью пренебрегал, сляясь через нее шагнуть в нужную ему беседу. Он ходил по комнате, опустив лицо, что-то говоря, помогая себе жестами, — впрочем, связными; было вокруг него какое-то бормотанье, трогавшее нас юмором. Юмор пробуждал нежность. Вряд ли он понимал или ценил, как надо, Марину. И недолго я встречала его у нее. Но все же была пора, когда Марина ждала его и, может быть, писала ему письма. Через его голову, конечно, какому-то будущему собеседнику. И была смешная мелочь: Марина звала его «граф». «Ев» — опуская. Граф Баскаков — это звучало романтикой! Подымало к страницам «Войны и мира» — граф Ростов, граф Безухов... Евграф же был — ни к чему. Впрочем, Пьер Безухов ни Марине, ни мне близок не был. Умилял, не больше.

Однажды напротив нашего дома на углу Трехпрудного и Козихинского собралась толпа перед парадным высокого нового дома. Городовые не пускали, был шум, крик. Идя куда-то, только что выйдя из дома, я попала в эту толпу. В ней мелькнуло личико Лены Гехтман, ее беспокойные русые косы, возбужденье сведенные светлые глаза. Она схватила меня за руку. «Какой ужас! Правда? Убить человека, женщину!..» Я узнала, что в одной из квартир дома муж убил жену. Все случилось внутри... Полиция разгоняла народ. В глазах Лены (как она сюда попала?) отражался ужас, всколыхнувшийся во мне. Мы что-то хотели сказать друг другу — но нас оторвало, оттеснило...

В каком году был построен в Москве Казанский вокзал? Любование москвичей грандиозным зрелищем широко раскинувшегося массива нового вокзала в восточном стиле, радостно для глаз украсившего площадь со скучным, казенным Николаевским (Петербургским) вокзалом и кустарно-русским Ярославским. Были теплые дни, флорентийская эмаль неба обводила новые очертания над площадью, и плыли над мавританскими крышами пышные, как сбитые сливки, московские облака...

Марина собиралась в Гурзуф, списывалась с кем-то — о комнате. К концу моих экзаменов она должна была быть уже в Коктебеле, у Максимилиана Александровича Волошина. Я собиралась туда же. Это будет мое первое самостоятельное путешествие. Но не это меня занимало. Вопрос расставанья с Борисом Сергеевичем был так серьезен и так безысходен, что кроме него — ничего, в сущности, не было. А каток таял, и чтобы встретиться, мне пришлось пригласить его в наш дом. «Пришлось!» Это была такая радость! И я была благодарна катку, таявшему... Полет на норвежских мы давно переросли полетом ума и сердец, бросивших нас друг в друга, как в две перекрестные бездны.

Б.С.Т. — эти тройные инициалы я несла в себе, как тот рыцарь из позже прочитанного «Идиота» Достоевского. «Н.Ф.Б.» своею кровью начертал он на щите. Кровью, конечно... В те дни я росла, как сказано в сказках, «не по дням, а по часам». И если взглянуть глубже в это странное вырастание — я вовсе не росла из девочки в девушку. Ни с какой девушкой ни из одного романа прочитанного — я не видела с собой соответствия. Ни один герой самого фантастического рыцарского романа не был сходен с Борисом Сергеевичем. Только одна книга волновала меня близким звучанием, одно расставание перекликалось с тем, что для меня наставало. «Леонардо да Винчи» Мережковского, толстый том с огненно-прохладными описаниями встреч Леонардо и Моны Лизы Джиоконды. Их молчание о их любви. Ее замужество. Их обреченность. Борьба Леонардо — с сердцем. Разве — я понимала же! — не так борется Б.С.Т. — с любовью ко мне? Он победит ее. Мона Лиза! Разве я не вынесу то, что вынесла ты?..

Это было, должно быть, в марте. Был вечер. Назначенный час прошел, я ждала, одна, в своей комнате, во мне, в душе — бег с горы! — введя гостя в нашу детскую комнату, я прохожу мимо маминого (еще бабушкиного — той, двадцатисемилетней, умершей) комода. Зеркало отражает печальное лицо, полускрытое пышной волной доходящих до плеч волос. И за мной — насколько же прекрасней меня! ослепительней! — широкого в плечах, стройного в талии человека. Вижу его впервые без шапки. Величавый прекрасный лоб. Глаза. И какие волосы! Пышней моих! Цвет

сиянья! Беспощадно прямо у шеи подрезаны. Лист? Шиллер? Леонардо да Винчи...

Я не помню бесед этого первого вечера у меня с Б.С.Т. Помню, как мой гость ходит по комнате, как подают нам на подносе чай и как мы всё не пьем его. Борис Сергеевич сидит на мягком красном стуле с высокой спинкой, сбоку от моего письменного (мамино) столика, а я — в том конце. Затем он встает и снова ходит по комнате легкими большими шагами, необычайно ритмично, мимо Лёриного красного с черным дивана, старого, как мир; мимо книжного шкафа с гирляндами цветов Лёриной живописи на желтоватых вставках (вместо стекол); мимо вероккиевского гипсового бюста «Мальчика-монаха» — и назад по ковру, мимо выступающей печи с блестящими белыми изразцами и синими каемками меж них, под низким потолком, к бабушкиной кушетке серо-коричневой с рыжей атласной подушкой, на ней голова херувима, маслом — той самой кушетке, на которой, уснув, двадцатилетняя тогда бабушка наша уронила третий томик Пушкина — и уже никогда его не нашла... Б.С.Т. говорит о Лермонтове, о Достоевском, о Полежаеве, о Канте, которого изучает. Была ли дома Марина, зашла ли она к нам? Скоро она уехала в Крым.

Дни шли.

С замиранием сердца ждала я дня, когда скажу Б.С.Т. о моем скором отъезде. Как поведет он себя? Вся весна проходила под его знаком. Распахнув все окна моих двух комнат в чудный наш детский двор, в запах клейких тополиных веток и талой земли, в курлыкание голубей, в дожди, в колокольный звон Пасхальной недели, я доканчивала читать том о Леонардо да Винчи. Я была в той эпохе, как сквозь сон воспринимаю день.

Близилась экзамены. Скоро я освобожусь от гимназии и поеду к Марине. Подруги боялись больше всего сочинения, о котором я даже не думала.

Он, конечно, придет ко мне сегодня и еще, может быть, и перед моим отъездом, в последний раз, придет — и уйдет, не сказав ни слова. Я в совершенной лихорадке жду звонка. Звонка нет. Опоздал? Не придет? И уж волна меня подымает — «Ну и пусть! И отлично! Кончено. Я ему не напишу!», — когда раздается звонок. Что его — ясно: точно

и четко, в меру длинный, он отсечен его рукой, ничьей больше. И раньше, чем девушка успевает в кухне накинуть платок, чтобы спешить по мосткам в дом, я, слетев по лестнице, уж иду, нарочно замедленно, залой — в переднюю. Отворяю одну дверь, схожу ступеньку — подымаю засов второй двери... Есть ли минута — чья-либо, во всем свете! — счастливее сейчас моей?

Молодой Леонардо входит в дом молодой Моны Лизы Джиоконды. И будущее неизвестно.

Вечерняя полутьма. Бело-янтарный шар стеной бра-лампы. Высота залы. Легкость наших шагов, рядом, по паркетному золоту, заменившему серебро льда.

Мы входим наверх, медленно, учтиво беседуя о его запоздании, по ступенькам, только что слышавшим мой каскад...

Марина уже в Гурзуфе. Она писала о чудных пушкинских местах, о прелести своего одиночества, о волшебстве *прогулок*, и солнечных (она очень любила загар), и лунных, о счастье быть у моря (то детское, пушкинское «К морю»)...

И писала она еще о мальчике-татарине (я забыла его имя — не Осман ли?), Марина так часто вспоминала о нем. Этот мальчик так привязался к ней, что пытался за ней ходить — всюду...

Приблизительно в это время Толя Виноградов дал мне читать книгу «Дафнис и Хлоя». Дочла ли я ее до конца? «Какая безобразная, стыдная книга», — думала я... Для чего он мне дал ее? Он, на сколько лет меня старший? Он же знал, что я прочту эти дурацкие противные строки: что когда любишь друг друга — нет другого уголенья, как «целоваться, обнимать друг друга и обоим лежать вместе голыми»... Это просто порнография, и он страшный хам! О, я сумею ответить ему! Он ждет от меня вот именно этого — негодования? Чтобы я ему это сказала? Не дождется. Я ему верну эту книгу без единого слова. Если спросит — осмелится — скажу: «Скучная книга...» И — всё. Как прекрасно: «Эрос и Психея», и какая гадость «Дафнис и Хлоя»...

В магазине Аванцо я не нашла портрета Леонардо да Винчи. Но у Дациаро я над этим портретом замерла в каком-

то испуге. И тотчас же рука легла на иллюстрацию, закрыв бороду. В художническом берете, старинном, в средневековой мантии, из бледно-коричневого тона на меня глядел à trois quarts\* – Б.С.Т. Сходство было разительно! Тот же прозрачный холодный взгляд прекрасных, глядящих вдаль глаз, та же горбинка носа с ярко очерченными ноздрями. Тон светлой сепии приближался к золоту волос Б.С.Т. Я стояла потрясенная, сердце билось каким-то ужасом: значит, он уйдет от меня, как Леонардо ушел от Джиоконды, – это же одна душа!

Я унесла портрет – драгоценность, тайну. И пошли в дневник литься страницы о нашем близком прощании, которое поймет только Марина. Кто, как она, поймет, что я не могу сказать ему, что люблю его? И что и он не скажет этого мне! И то, что он не скажет мне о своей любви потому, что не хочет любви на своем пути, только изучающем, созерцающем жизнь. Он должен меня отместить, чтобы не сойти с пути созерцания. И я, любя его, должна отдать его, не поднять на него глаз. Стоять только с опущенными руками...

## Глава 12

### ЭКЗАМЕНЫ И ПОДГОТОВКА К НИМ. БОРИС. НОЧЬ НА РАССВЕТЕ. РАЗГОВОР С ПАПОЙ. ПРИХОД ЭЛЛИСА

Приближались экзамены. Я не занималась. Я была уверена, что хорошо сдам. Только математика меня тревожила: проболев еще зимой, я отстала, и теперь пришлось просить папу, ввиду ответственности этих экзаменов, взять мне репетитора. Он приходил – пушистоголовый кавказец, застенчивый, стеснявшийся очень своей взрослой уже ученицы, объяснявший из всех сил (а мне, душой с Леонардо, Моной Лизой и их «потомками», – алгебра и геометрия просто не шли в голову). Нина Мурзо, из квартиры которой он звонил мне как-то по телефону, рассказывала, смеясь и изображая, как он кланялся в телефонную трубку, уславливаясь со мною о часе урока. Милый человек! Но мы еще так мало успели пройти, а математик беспощадно вызывал меня к доске.

\*В три четверти (фр.). – Примеч. ред.



Я покорно вычертила радикал, и начало под его длинным хвостом рождался «подкорненное количество». Извлечение корня? Я его понимала туманно. И когда очень скоро под язвительным взором худого, бледного мучителя в вицмундире я зашла в безнадежный тупик, а класс, кивая, шипя, артикулируя ртами, старался бесшумным оркестром меня выручить, — я, так долго шедшая на пятерках, в последний раз взглянув на доску, где возле подкорненного количества значились черточки горизонтальные и, под ними, вертикальные (нечто вроде деления, с виду), — с веселым спокойствием отчаяния и отваги произнесла ясно, громко, смирив в себе все эмоции, в ответ на учителево «Ну, а теперь?»:

— Теперь? — медленно сказала я. — Теперь мы точку «А» (я это «А» написала в уголке верхней точки), соединим с точкой «В» («В» возникло на другом конце неявно-геометрического прямого угла) и, соединяя сии точки гипотенузой, — еще медленней, внятно и громко: — мы получим равнобедренный треугольник!

Да, такого зрелища на уроке алгебры не ждал человек в мундире. Был миг тишины. Затем класс грохнул неистовым хохотом! Одобрения! Они — поняли! Всю дерзость моего детски-невинного, сыгранного спокойнейшего лица — и жест скромности: обойдя, дать всем лицезреть совершённое. Тогда рука, бледная, в рукаве вицмундира, поднялась, как лапа кота; зашипевший тишайший голос над наставшей тишиной почти не вознесся — и все ж его все услышали: «Тише! Госпожа Цветаева — б'р'едит!» И, ядовито улыбаясь, он встал.

Как он мил был мне в этот миг! Только он был спутником моего дерзкого фиаско. И как было мне его жаль! И такой худой... Доверчивый класс — восхищался? А я — я только его видела, супротивника... (И грассирует, как Б.С.Т.!) Но «le vin est tiré, il faut le boire...»\* — и мне пришлось притвориться веселой.

15 мая Б.С.Т. пришел ко мне. Я хотела сказать, что скоро еду. А пока я решалась, страшась его в следующую минуту (что — выдаст себя?), он сказал мне, что скоро уезжает. Далеко. И надолго. Когда мы шли с катка мимо дворов Молча-

\* «Вино откупорено, приходится его пить» (фр.).

новки, он сказал, что «тут однажды было очень страшно...» и, уклончиво, полусловами — о бомбах и прокламациях, — за ним и братом гнались, «да и теперь-то...». Словом, он едет. Сегодня пришел проститься. Мир рухнул из-под моих ног.

Мы беседовали, как всегда. В раскрытое окно — тополь серебристый. Синева. Затем — поздний час. И тогда он встал. Я зажгла лампу и пошла провожать. Дом спал. Я светила ему в передней (парадной): сейчас он переступит порог — и я крою за ним засов... Когда вдруг — он шатнулся. Глаза изменились. Чтобы не упасть, он прислонился к стене.

— Вам плохо?

Кивок головы. И тогда, еле справляясь с лампой (на ней качнулось стекло) и с ним, взяв его под руку, я, забыв об уже раскрытой во двор парадной двери, быстро и точно действуя, повела его, поддерживая, назад в мою комнату. Нелегко мы взойшли лестницу. Я уложила его на Лёрин диван в нашей детской, села рядом. Намочив полотенце, положила ему на голову. Головокружение его проходило. Была слабость. Я меняла на голове холод, молчала. Сердце падало.

Во дворе кинули калитку, и снизу раздался голос Андрея: «Кто настезь открыл дверь парадную? Что такое?» Я бросилась к окну и, перевесясь через подоконник: «Тише! Закрой дверь. Это я открыла...»

Ночь шла. Б.С.Т., приходя в себя, стал говорить — скупо — о своей жизни. С ним бывает плохо (он страшно зол на себя!). Дурацкая история! Рванулся идти. Я удержала, сказав, что он упадет, а мне провожать его — трудно. Пусть лежит — это пройдет, и тогда...

Тогда — он стал восхищаться мной. Говорить обо мне. Поцеловал мою руку. И были стихи, все еще будто в бреду: «Хотите знать мою богиню? / Мою Севильскую графиню? / Нет, ни за что не назову...»

А затем — рассвет. И мы уж не можем расстаться. Светлым облаком на нас сходит веселье. Мы сидим у окна, горит крест Палашевской церкви, солнце встает.

Мы — как дети! Без конца смеемся... Не разнимаем рук. Но в кипенье нашего счастья падают вдруг странные слова его, предостерегающие: это ненадолго тьма отступила и безнадежность. Они вернуться, мы не должны обманываться! Это

же все бред, моя любовь к нему! Это — роковая ошибка! Я не люблю его, — разве его можно любить? О, я разлюблю его, и он будет один, снова — один. О, какой он будет тогда, помня вот это утро...

И звучат строфы Лермонтова, его любимые (он в семь лет упивался «Мцыри») — «Любовь мертвеца»...

Голос хладен, и в нем металл. (Он хотел уйти от себя, спастись? Но что-то его настигает...)

Пускай холодною землею  
Засыпан я,  
О друг! всегда, везде с тобою  
Душа моя.  
Любви безумного томленья,  
Жилец могил,  
В стране покоя и забвенья  
Я не забыл...

Он не кончил стихи. Что-то сильнее их остановило голос. Он смотрел мимо меня, рот был сомкнут, взгляд устремлен, оторван, и был в его синеве — лед.

И опять стихи — (Сологуба) о смерти.

...То не голос трупа из могилы темной,  
Я перед тобой!  
Слушай, как восходит в твой приют укромный  
Голос дерзкий мой!  
Слушай, мандолине душу открывая,  
Как звенит струна...  
Про тебя та песня, льстивая и злая,  
Мною сложена...

Но и это прошло.

Утро. Мы что-то едим, я принесла снизу. Потом улица. Мы идем и никак не можем расстаться. Но надо: у меня экзамен. Расстаемся! Я переодеваюсь и еду в гимназию. Не спавши минуты со вчерашнего утра. Как во мне — светло... Сейчас мрак не пугал меня.

Б.С.Т. — мой!

Я вошла в класс — на крыльях. Тема сочинения была — «Творчество Екатерины Великой». Я его совершенно не знала! Даже не раскрывала. И совсем не любила ее, — наоборот. У двух ближайших подруг справа и слева — руки дрожали. Я села, блаженно глядя на них, взяла перо — и первая кончила (волнуясь — а вдруг первой подаст Алиса Говсева?). Я хотела подать первой сегодня — но решила все же перечесть, и первой подала — она. В сочинении я доказала, что современники Екатерины были даровитее ее, что она и ее творчество преувеличены, — развенчала ее — в прах. Я не привела ни одного названия, кроме «Фелицы», — потому что не знала: всё — «из головы!», — умело лавируя меж неназванным, тоном девяностолетнего мудреца.

Через несколько дней Юрий Алексеевич Веселовский, пораженный оригинальностью содержания и заинтересованный свободомыслием и качеством выражения мысли, предложил мне прочесть мое сочинение — рефератом... Я уклонилась, смеясь. Не до того было: в тот день я с Б.С.Т. собиралась в Зоологический сад, кататься на лодке.

...И именно в этот день вдруг пришел — Эллис! Много больше года не бывший у нас. Поразился тем, как я выросла. Читал стихи. Всколыхнулось все отрочество. И когда, полный мной, нашим счастьем (пусть мрак сторожит, оно — наше!), Б.С.Т. входит ко мне, я упорно слушаю Эллиса, знакомлю. Мне сладко видеть, что Б.С.Т. чуть бледнеет, внимательно взглядывает на Льва Львовича. Затем рушится и это — и мы все трое погружаемся в неповторимую беседу и в мир стихов, в наш мир. Ах, Марины нет! Как бы она была сейчас с нами!.. Эллис уходит поздно. Не зажигая огня, сидим вдвоем у окна, где сидели утром. (На диванчике, где с Нилендером и с Мариной...)

Б.С.Т. и я не спали скоро двое суток... Стук в дверь. Папа! Он просит моего гостя покинуть меня.

— В нашем доме нельзя так поздно засиживаться, молодой человек... — говорит он взволнованно. — И вообще — Ася держит экзамены...

Встав, как струна, вежливо (изменяясь в лице):

— Не беспокойтесь, Иван Владимирович, — говорит Борис, и его голос стальной, — я сейчас уйду...

Тогда я выхожу за папой. В надлестничном коридорчике я говорю ему:

— Папа, *прошутебя*... Это — *очень* серьезно! — С отчаяньем: — Если ты хочешь, чтоб я *держала* экзамены...

— Серьезно, серьезно! *Учиться* надо!

— Папа, я *еще раз* прошу... Если Борис Сергеевич сейчас уйдет, после твоих слов — я *должна* буду идти с ним... — И, войдя назад к Борису: — Оставайтесь!..

Нет, он уходит. Я схожу вниз, с ним. Прошу девушку вынести мне к воротам мой синий жакет и шляпу. Ждем у ворот. Девушка выходит — и мне, растерянно:

— Барин не велели, старый барин...

И папа уж вышел во двор. Я, в обиде, с укором:

— Папа, я же тебя *просила*... Ну что ж — я без шляпы уеду! И поздно вернусь. Ведь уже скоро рассвет.

Стук брошенной мной калитки. Извозчик. Едем. Ветер играет моими волосами. Б.С.Т., припав к моим рукам: «Что Ася тургеневская — перед вами?»

Куда едем? Не знаем. К Нине Мурзо, за шляпой. В Ермолаевский, возле церкви. И Нина (и ее мама не спорит, понимает, по нашим лицам) — дает мне шляпу. Всю ночь мы сперва катаемся на прудах — сначала Патриарших, затем у Зоологического сада — на лодке, а затем ходим и ходим по ночным улицам и по скверам, под свежей листвой. На рассвете я, устав, прощаюсь, и Б.С.Т. меня провожает домой. Я вхожу в свою комнату в состоянии блаженства. И еще долго стою у окна. Дневник? Что напишу? Но надо записать — всё! Чтобы — осталось...

...Через два дня он должен ехать. Через три-четыре дня еду в Коктебель я. Он будет писать мне — я отвечать буду? Я смеюсь: «Конечно, не буду, нет!»

Утром дома папа мне говорит:

— Хочешь из отца веревки вить, матушка? Ну, вей, вей... Пусть бывает у тебя этот — как его? Только учись, сдавай!

Но Борис уже не пришел — ни разу. Мы виделись вне дома.

Я сдала географию на четверку! Позорно... Не успела перечесть *весь* раздел «Малороссия», только один! — зато остальные знала *отлично*. Назубок выучила учебник, ходя взад-вперед между тополями и акациями двора. Ну, не она же мне непременно достанется! И досталась — *она*! Мне пришлось

попросить разрешения поменять билет. Огорченный учитель: «Вы — поменять билет? Но я же не смогу поставить вам пять...» Я блестяще ответила про Финляндию — и получила четыре.

Через два дня Б.С.Т. уехал. Как во сне, я стала собираться к Марине. И уж летело ко мне от него мрачнейшее из всех писем, мною после прочитанных, — путевое: стук поезда, дождь и наше горькое будущее: я оставлю его, это ясно. Его сны обо мне... И три фотографии, мне оставленные: в те дни по просьбе моей он снялся. Острота взгляда и черт лица, холод неумолимого созерцания — «Мое прошлое». Тепло-растроганный взгляд — «Настоящее»; на обороте надпись: «Хотите знать мою богиню? / Мою Севильскую графиню? / Нет, ни за что не назову!..» И третья (она одна у меня уцелела) — горький упрек светлых глаз, взгляд в душу; волосы, светлые, пышные, прямой чертой у шеи. «Мое будущее... — сказал он, — когда вы меня оставите...»

По пути на экзамен по химии я выучила, на извозчике, сорок восемь формул, почти незнакомых. Из них меня спросили две: воду и серную кислоту. Их помню, и только их:  $H_2O$  и  $H_2SO_4$  — до сих пор.

Я не сказала, что Эллис в тот свой, после долгого отсутствия, приход читал стихи только религиозного содержания, из будущего сборника «Stigmata». Говорил о Рудольфе Штейнере, тогда гремевшем вожде антропософов (о нем говорил с глубоким признанием и Макс Волошин), и сказал, что скоро покидает Россию, едет к Штейнеру.

### Глава 13 НИЛЕНДЕР

За два дня до отъезда в Крым к Марине и Макс, простясь с Борисом Сергеевичем, я с Драконной шла по Москве. Начинался весенний вечер. Она предложила мне зайти к Нилендеру — за какой-то книгой. Мне все сейчас было легко — все не нужно! Сама весна без Б.С.Т. — зачем? Шли. Драконна говорила о Штейнере:

— Может быть, это и есть нужное? Ведь что же, верить, как романтики и символисты, Ася, что над городом летит ангел, когда этого ангела — нет? Что-то другое нужно...

Я не слушала, не нужен мне был Штейнер!

Но жизнь страннее, чем ждем. Переступив порог к Нилендеру, порог «Дона», я оказалась — без малейшей борьбы, в буре нахлынувших чувств — той пятнадцатилетней Асей из «Вечернего альбома», которая... любит Нилендера! А он не сводит с меня глаз. Кто бы мог это ждать накануне, видя меня с Б.С.Т.? Но чего же можно было ждать иного — после двух зим и лета нашей тоски по Нилендеру? Разве любовь — кончается?.. Его комната. Та же! Здесь все — как осталось в тот вечер...

Тень трамваев, как прежде, бежит по стене,  
Шум оркестра внизу осторожней и глуше...  
Пусть сольются без слов наши души!  
Ты взволнованно шепчешь — не мне...

Если б Марина знала!

...Мы втроем ехали в лодке по Москве-реке, был закат. С весла падали капли, голос Нилендера колдовал, как тогда с Мариной зимой, прошлой. Его лицо, родное, знакомое, в резких тенях, худое, желтые глаза, над ними поднялись треугольные брови...

Драконна ушла, легкая и большая, испытующе поглядев на меня, и мы вдвоем бродим по улицам, заколдовавшимся сразу, насквозь, в трагедии невозможной любви. И я могла поверить, что это могло пройти? Что другой занял во мне место всего бывшего? Не силой, проникновенной нежностью он отвел меня с моей новой дороги, за руку повернул меня назад, в сокровенное, ни с чем не сравнимое, потому что родное... — первое! И холодной, чуждой загадкой, почти что враждебным мученьем предстала мне моя любовь к Б.С.Т. С ужасом глядела я в глаза Нилендера, этот ужас — была любовь. Верность!.. Как же я могла изменить — этому? И поверить, что измена — любовь?!

Мои руки — в его руках. Он поражен переменой во мне. Он не видел меня более полутора лет. С ним — то же, что со мной: погружается в прошлое — и не может его побороть.

Повторяет: «Ах, Ася, Ася...» Не находит слов, их не ищет.

На какой-то скамье, под деревьями, держа мои руки, глядя в лицо, Нилендер говорит, и в голосе его — мученье: «Я не Марину тогда любил, Ася! вас... Я должен был вас выбрать...» И слыша в ответ рассказ мой о Б.С.Т.: «Вы — музыка Паганини, зловещая и прекрасная...» Я слушаю и смотрю на него. И мы ходим и ходим по синим улицам, потому что не можем расстаться, он без конца меня провожает, я — его, и небо стало совсем темным, один только край — как старая бирюза, в этой бирюзе — звезда, «Звезда Люцифер, Денница...»

Эта звезда с нами, мы ходим под ней, и ничего нельзя понять, кроме того, что мы любим друг друга и что мы расстаемся, потому что я полюбила другого, сказавшего: «Вы меня, конечно, оставите...» Я не могу оставить его! Я еду, и он приедет ко мне. Нилендер смотрит мне в глаза. Я тону. Но ведь мы расстаемся? Сколько часов мы бродили по ночному летнему городу? Это была целая жизнь...

Мы расстались, я вошла как в бреду в наш дом. Звук шагов по мосткам. Я шла — заводным шагом. Я была совсем пустая — точно я отдала всю кровь. Марина!.. Если б она была дома! Но именно ей нельзя было открыть мою новую правду, чтобы не причинить ей боль... Стук калитки, серебристые ветки тополя. Тут я, под ним, вчера прощалась с Борисом Сергеевичем. Он никогда не должен узнать, как я чуть не отдала его — и как я к нему вернулась. Ни Марина, ни он. Никогда. И тот, кто один мог помочь, хоть понять мое одиночество, мой озноб сейчас, — отнят... Я сама отдала его!

Я входила в дом. Мне казалось, я мертвая. Но все, что во мне было жизнью, сказало мне: ты должна забыть. Не погружаться, не вспоминать, спустить его на самое дно души, в молчанье. Потому что он может жить без тебя. Он — справится! А оставить Бориса ты уже не имеешь права. Пока ты нужна ему — будь с ним... Вспомни его путевое письмо!



# Часть тринадцатая

## ФЕОДОСИЯ, КОКТЕБЕЛЬ, КРЫМ

### Глава 1

#### ПРИЕЗД В КОКТЕБЕЛЬ. МАРИНА И МАКС

Борис Сергеевич уехал: не говоря мне куда, ничего о себе не рассказывая. Я не знала, есть ли у него мать, отец. Упомянул о брате. Какая-то связанность с революцией была в их семье. Его преследовали? Когда-то они жили, должно быть, недалеко от нас; вспомнилось мне, как, проходя мимо особняка возле Молчановки, он, стиснув зубы, взглянув на него (лицо его стало как из металла), бросил ту фразу о дне, когда тут было «очень страшно»... Кто обязует его ехать от меня, зачем — все было в тумане. Я не спрашивала. Вся встреча наша была настолько нереальна, будущее так темно, что и узнай я о его жизни что-то ясное — чему бы это помогло? Трудность лежала в нас, в необходимости преодолеть страх жизни (мне), в невозможности войти в жизнь, проститься с созерцанием жизни (ему). Перед этим блекли все другие вопросы — возраста, семей, обстоятельств. Расставаясь с ним, я хотела одного — встречи с Мариной. Она, у которой все от корня было трудно, — поможет мне, она должна была понять меня, как никто и как никого, хоть в одной части моего горя: о Б.С.Т. Горе о Нилендере надо нести — одной... Это меня держало. В этом, в свою очередь, пропадал и Крым, где я не была с последнего года маминого, с моего одиннадцатилетия. Я укладывалась для первого одинокого путешествия. Если б я знала

в те дни, что именно Марина не могла меня понять — впервые! Именно тогда...

Поезд мчал меня к ней, к Крыму, к дням детства. А в сердце горели строки письма Бориса Сергеевича. Он писал мне, что поезд летит, накрапывает дождь (в мое окно вагонное сиял синий день) и под деревом станции сидит нищий, один под бушующими ветвями. Так один в мире, как этот нищий, будет он, после меня, когда я его брошу, — а я непременно брошу его, он видел сон обо мне и себе и о том портрете умершей женщины, который висит в нашей зале, в этом сне все было ясно, и этого изменить нельзя. Не надо, чтобы я любила его, — разве я могу полюбить его — это ошибка! — надо, чтобы я скорее забыла его, отошла, оттолкнула, и чем дольше я этого не пойму, тем более тяжело, беспросветно будет ему после, — и я уже не могу читать, строки плывут в слезах.

Я помню жаркое — серебро и синева — утро, камень в сердце и вежливую улыбку, с которой я расплачивалась, и то, как коляска — парный извозчик под балдахином от солнца — выезжает из незнакомого города и как ртутью колышется у берега темное, дальше — синее, вдали — голубое море, как шелестят пирамидальные тополя. Щебет в ветках звенел, плескался, он почти перекрикивал море. Глыбы каменных дач за Шехерезадиными садами блистали на миг открывавшимися (в ветре отхлынули ветви) стеклами, серебряными и черными, как ночь.

И уже тянулась под растопленной лиловизной Максина киммерийская степь, холмистая, выжженная (он сказал — вулканическая?). Затем показались горы, еще смутные моим близоруким глазам очертания, над одной — точки. Двигутся? Как потом узнала — орлы.

Это я год назад, под Дрезденом, гуляла с Хельмутом и Кристианом? Год назад я была *ребенком!*..

Холмы, тая и вновь вырастая, сменяются, пепельно-желтое, белое шоссе, завернув, вытягивается стрелкой, и вдруг из-за пологой помехи холма там впереди, где только что была даль над желтым пеплом, стоят, как резцом выточенные от земли к небу, незабываемые три горы подряд,

от суши — справа, к морю — слева, и последняя падает в него крутым мысом. Три горы настолько разные, что только художник мог их поставить рядом на сини небесного полотна: готические острия, радугой — полукруг горы, поросший зеленым лесом, и вновь скалы, громоздящиеся к хребту, коронообразному, рушащемуся в море великаньим профилем, Зевсовым. Господи! *Максиньм!* Да это же голова *Макса!*

И под углом к ней — плоско легший в море кусок груди... Не отрываю глаз. Бесподобно! *Невероятно!* Кто высек из скал голову Макса, уложив тело под волны?.. Все три горы близятся, лошадки бегут по шоссе, пейзаж ярчает, просыпается из дали в близь, вспыхивает тенями, пластами света. Горы начинают кидать *от себя* тень, становятся частью дня, моей настоящей здесь жизни и — взлетом кнута над понесшимися влево, к морю, лошадками — остаются от меня справа, более уже не приближаясь. А навстречу — синева моря, побеждая помехи садов, невысоких и редких, где сверкают в солнце распахнутые окна домов! Проселочная дорога дрожит и прыгает под колесами, мелькают плетни; слева, далеко, образуя левый край бухты, гряда низких пепельно-желтых холмов — тех, вулканических.

Совсем не похоже на Крым — Ялту, Чукурлер, Симеиз, Алупку, Массандру (1905/1906-й наш с Мариной год). Что-то снимает с души тяжесть, и прежние юные любопытство и жадность всплескиваются во мне. Красная тень извозчичьего балдахина смешивается с запахом нежным, как тарусский жасмин, — в ощущении первозданного счастья. Огибая плетень, мне — извозчик: Волошина дача? Приехали!

Ничего не поняв, не успев, путаюсь пальцами в кошельке, подымаю голову к чему-то, что летит сверху по легкой наружной лестнице, с поворотами, белой, с дорожки сада, с другого конца — скрип гравия под легким бегом, и я меж двух — Макс и Марина! По руке — в их руках...

То, что летело откуда-то сверху и бурным шумным прыжком обрушилось внизу навстречу, — был Макс. Милый, чудный, ни на кого не похожий и очень измененный с Москвы, но именно *тут* таким вдруг почувствованный близким — исконно! — как, может быть, кроме Марины, никто!

Он стоял и так *глубоко* улыбался — как не умеют улыбаться люди. Молчал, голову набок: смотрел и радовался. Все пони-

мал, входя в душу волшебным, неповторимым, — и я поняла, почему, еще подъезжая к его дому, я сбросила с плеч тяжесть: в этом доме жил таинственный кусок природы, сказочный персонаж, добрый дух... Мне сказала одна умная женщина, что Макс ей всегда казался *Нептуном*. Да, так. Зевс, Нептун — нечеловеческое. Распростершее руки — всему!.. Без меры интимное. И дарящее человеку — счастье!..

Загорелые, как два года назад папа, приехавший из Каира, стояли передо мной они оба — неузнаваемые с Москвы: вместо бархатного чего-то на Максe была длинная холщовая подпоясанная рубаха почти до колен и чуть ниже колен такие же — как у заграничных мальчиков — короткие брюки; от колен голые мощные ноги в сандалиях. На наклоненной в приветствии голове Зевсовы коричневые кудри, дремучие, чем-то тонким от ветра стянутые, пожелтелые от солнца. Широчайшая улыбка благожелательства, интереса, ожидания, вхождения в тебя, как домой.

Но едва вглотив его, как и он меня, — *Марина* рядом! Марина? Это — Марина?.. *Мальчишка!*

Круто завившиеся, выросшие с Москвы волосы (после бритвы — ее исполнившаяся мечта! чудо!), тронутые золотом солнца, кожа кафра, лицо, шея, руки, ноги, как у Макса, от колен голые, тоже в сандалиях после городских каблучков, — но что сандалии! — *шаровары!* Мальчишеские, широкие. Марина сейчас моложе меня, я стою перед ней в светлом дорожном пальто, улаженном на мне Александрой Олимпиаевной, в широкополой соломенной шляпе... Оглядываем друг друга. Смех.

— Хорошо доехала? А у нас тут — ну, увидишь! У Макса гостит испанка, Кончитта. Ни слова не говорит по-русски! Что, удивляешься? Шароварам? Тут все! И ты будешь — удобно по горам! Тут такие горы! И живут там орлы. — Вдруг: — Ну, как Борис Сергеевич? Не приедет? Зови! Приедет! Уехал? — Чуть нахмурилась, взглянув на Макса: — Ася, ты видела Игоря Северянина? Нет? — Радостно: — Ну, увидишь! Идем! Макс, я покажу Асе комнату, о которой говорила Пра!

Голову набок, как гигантский игрушечный медведь, Макс глядел нам вслед, весь залитый полуденным солнцем, и солнце горело в его светлых глазах Пана, и он улыбался.

Глава 2

КОКТЕБЕЛЬ. КОНЧИТТА. ПРА. ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН.  
МАРИЯ ПАППЕР

Мы шли мимо маленьких домиков по гравию сада. Марина говорила:

— Тебе многое тут сперва покажется странным, потом привыкнешь. Но кое-что надо, чтобы ты знала — заранее: Кончитта влюблена в Макса и устраивает ему сцены ревности. Он очень смущается, но никогда не обижает ее. Между ними ничего нет, конечно! Потом тут Игорь Северянин. Ты рада?

Помогая мне с чемоданом, она на ходу заглянула мне в лицо.

— Да-а... — неуверенно отвечала я. Я никогда не видела Марину — такой. Я — не понимала. Ее возбуждение казалось мне искусственным.

— Северянин, конечно, глуп, — продолжала она, — но талантлив. И очень красив! Потом тут поэтесса Мария Паппер. Помнишь ее стихи о материнстве, беременности? Она где-то достала меч и, опираясь на него, ходит в горы. Поза, но ты не смейся! Она очень самолюбива.

— А кто это — Пра, которая сказала про комнату?

— Мать Макса. Замечательная женщина! Абсолютная самобытность. Ходит в мужском, с юности. Похожа на сказочного короля.

— А почему «Пра»?

— Там какая-то была, давно, мистификация.

— Какая?

— Что-то шуточное. Ее звали Праматерь — так осталось.

— И ее все зовут Пра?

— Все. Она первая поселилась в этом волшебном месте — тут еще никого не было. Кроме Юнге.

В вихре имен я шла по гравию сада, под сладкой жарой полдня, среди душистых деревцов с желтыми чешуйками цветов и ветками пепельно-голубых маслин. Невысокие, формой как нервийские кипарисы, гнулись в ветре юные пирамидальные тополя.

— Марина, чем это так пахнет? Чудно!

— Дрок.

Мы подходили к каменным ступеням балкона.

— Вот твоя комната. Тут ключ. Рядом — моя.

Мы стояли на углу каменного дома с тяжелыми столбами террасы без перил — приподнятая над землей площадка. На ней было две двери — крайняя, на которую показывала Марина, была близ угла, густо завитого диким вьющимся виноградом, — Маринина. Другая дверь вела в комнату, выходящую на террасу окошком, — моя.

— Разбирать сейчас вещи не будешь? Потом! Идем ко мне! И, наверное, скоро обед. Обедаем внизу, все вместе.

Мы поставили чемодан в мою комнатку — маленькую, неглубокую, с известковыми стенами. Кровать, стол, тумбочка, два стула, вешалка, умывальник — все просто, как в Тарусе. Родное — или чужое? Я потянула воздух. Родное. Исконная, детская простота.

— Море тут какое! Купаться будешь? Войдешь — вылезать не хочется. Чудно! — Вдруг, неудержно: — Я давно не была так счастлива, как сейчас. Никогда, может!

Мы входили в Маринину комнату: узкая, длинная, с одним окошком, затененная тем самым виноградом. У окна — столик, кровать.

— Хорошо тут... Стихи пишешь?

— Одно только написала... Или два. Не пишется! Ты в горы ходить будешь? Нет? Неужели боишься? Мы с Максом на Карадаг ходили... Опасно, конечно, но Макс знает все тропинки. — Просительно: — Сшей себе шаровары!

— Да не хочу я шаровары! Мне они и на тебе не нравятся! Ни за что не надену! О-о-о, а это что? Как горит!

— Чадры татарские, золотом шиты — всякими фалангами, сколопендрами... Видишь? Ты себе их тоже купишь! Пра из них шьет кафтаны... Руки мбю здесь! Идем?

— Сколопендры, фаланги — что это? — Но Марина не слушает.

— Увидишь Максину мастерскую. Двухвысотная башня! Библиотека, этюды...

Мы еще не подошли к той заросшей виноградом длинной террасе, куда Марина вела меня, когда донесся смех. Это был смех, несомненно, но какой смех! Чистое золото, катившееся тоже по золоту! Это было совершенное торжество звука — его мелодичности. Вздор! Сама *мелодия*, то

и дело прерываемая новой, догонявшей ее волной, — и кажется, в ней было и любованье ею слуха — чьего? нашего? моего? — всех, кто *так* не умеет смеяться, — а может быть, самого смеющегося?

Марина:

— Испанка смеется! Слышишь? Вот она так — целый день! Кончитта...

Наш спешный двойной шаг по рокоту гравия заслышали. Чьи-то головы высовывались из-за виноградных веток. Легко, привычно — одна выше — мы входили, обогнув зелень, в длинную тень, сбрызнутую пригоршней солнечных пятен, когда я, взглянув вперед, остановилась: залитая, посреди яркой тени, солнцем, словно нарочно так посреди всех посаженная, на солнце, казалось, всплывшая выше всех, как морское дитя на дельфине среди nereид, — сидела красавица: от великолепия головы в черных косах, абрикосового загара лица, от огромных темных глаз, от сверканья зубов не был виден наряд — исчезал! Только веер в руке мотыльково вспыхивал и гас, черный в янтарной руке.

— Что, хороша испанка? — громко сказала Марина, любясь лукаво моим восхищеньем, и на мое ей «Тише!..»: — Да она же ничего не понимает!..

Новый раскат смеха и дрогнувший, всплеснувшийся веер.

— Вот так, когда не ревнует, целый день смеется, я же тебе говорила. — И всем: — Моя сестра Ася!..

Рукопожатия, толкотня, пробираемся через скамьи у длинного узкого деревянного стола без скатерти. Посредине над столом, невысокий, в полотняном кафтане, обшитом татарскими узорами, сверкая седой головой, возвышался над всеми Маринин сказочный король.

— Пра! Моя сестра Ася.

Король смерил меня великолепным взглядом, прибавив к нему высокомерный взмах головы, и, кивнув:

— Не похожи. Говорили, похожи. Ася? Отлично. Давайте, Ася, тарелку. Другим уже роздано.

Сказочной ложкой Пра зацепила, как ковшом воду, груду лапши с блюда, огромного, и, полив маслом с луком, передала мне. Тарелка шла из рук в руки, пока не достигла меня: я сидела недалеко от Кончитты, то и дело взгляды-

вая на нее. Но и к Пра тянулся взгляд в восторге и любопытстве, в счастье ощупать глазами — не снится ли — такое невероятное.

От костра голосов ничего не было слышно, хоть и ели усердно, радостно. Пра добавляла еще. Опоздав, шел Макс. Пра бранила его, грозила не дать есть. Макс стоял, играя в потерянность и печаль так чудесно, столько было покорности в его наклоненной, кающейся голове, что ему пошла по рукам тарелка — увы, уже без добавки. Он ел жадно и аккуратно, как кот. Лунные волосы Пра могли спорить в пышности с солнечными Бориса Сергеевича. А Кончитта смеялась! Ее *разбирало!* Казалось, она улавливала мой взгляд и добавляла мне восхищенья, как Пра — лапши.

После лапши дали кофе в стаканах и бублики с маслом. На этом обед был кончен. Вспоминая о мешке черешен в Мариной комнате, я разглядывала на черном веере — лиловость фиалок. Пра встала и вышла из-за стола, сверкнув темно-красными сафьяновыми сапожками. Она тоже была в шароварах. Рост ее был небольшой.

Я допивала кофе, когда незаметно за моим плечом вставшая Марина шепнула:

— Смотри! Направо... Игорь Северянин! Он сидел за столом в конце, ты его не заметила. Он сейчас тут пройдет. Манерность походки, обрати внимание! Но красивые черты...

Оленьим движеньем отводя головой ветвь дикого винограда, выходил на дорожку высокий юноша, очень стройный, узколиций, тонкая рука с длинными пальцами намеренно медленно убирала со лба прядь волос. Он шел, уклоняя глаза, картинно ставя ноги в чувяках, широкий цветной пояс обнимал узкий стан. Немного не доходя нас, стоявших у перил террасы, он остановился и медленно нагнулся к кусту — дрока? Или роз? Мне по близорукости не был виден цветок, который он выбрал для своего жеста, но по его вытянувшемуся в наслаждении профилю надо было заключить, что он вдыхал аромат «царицы цветов».

Почему так вспомнились эти его строки:

Тусклые ваши сиятельства! Во времена Северянина  
Следует знать, что за Пушкиным были и Блок, и Бальмонт.



Северянин медленно разогнул стан и проследовал по тропинке. Мы смотрели ему вслед.

Я обернулась. Кончитты уже не было — ни Макса. Видно, она поспешила увести его с собой.

— А Марию Паппер видела? Как! Марию Паппер не видела? Вон же она — разве не видишь меч? Она ж его напоказ держит! А туника?

В группе стоявших у выхода в сад Марина указывала мне на выше среднего роста, немного сутулую женщину, опиравшуюся на бутафорский меч. Мы пошли, чтоб увидеть ближе. У нее было широкое смуглое лицо, очень большие, красивые серо-зеленоватые глаза с густыми ресницами, широкий нос, темные волосы на прямой пробор, две косы. Увидев наш взгляд, она взмахнула мечом, как посохом, и, кляя им землю, пошла, кивнув кому-то:

— Иду в горы...

На ней была зеленая туника.

— И она всем читает свои стихи! Считает себя гениальной! Стихи ужасные! — шепнула Марина.

— А у Кончитты глаза черные?

— Золотые. Как смех. Она в России недавно — и сразу влюбилась в Макса.

— А он?

— Ну, он... Он же не может «влюбиться», но он ее очень жалеет... Купаться — идем?

...В море, прямо с обеда, презирая медицину, сидели в воде час, и снова, и снова сидели — до того, что по телу — гусяная кожа и в морских волнах остается не та часть веса, что значится в учебнике физики, сданном и забытом, а вес худеющего без меры тела, так что через неделю кружится голова и ходишь как в сонной одуре, и ни матери, ни бабушек, ни теток — насильственно остановить. Одно небо, и вода, и горы, и коктебельские камни — таковы были дни нашей юности...

Кого еще я запомнила за столом? Маленького, худого, невзрачного человека, которого называли Миша. С удивлением узнала я, что это — кузен Макса. Возле него и вокруг стола жили прыжки и лай фокстерьера Тобика, и когда Миша вышел из-за стола, они продолжились усиленно.

Кто-то сказал, глядя вслед их удалявшимся очертаниям, — Макс, кажется, говорил, — что Миша делает над Тобиком какие-то таинственные опыты. (Кто был по специальности Миша — не помню.) Миша хромал, и, чувствуя ли, что выпадает из стилиа общей веселости и что, может быть, над ним посмеиваются, уходил с ущемленным видом. И Тобик хромал тоже...

Из остальных выделялась семья Фейнбергов — собственно, часть семьи: Бэлла, старшая сестра, взрослая девушка среднего роста, с русым шиньоном. Глаза ее были сини и велики. Помню ее брата, подростка Лёню, худенького, с мечтательными глазами, в тубетеечке, говорившего мягким улыбочивым голосом. У него был очень добрый взгляд. Он держался возле Макса, они говорили о живописи — лишь в Коктебеле я узнала, что Макс не только поэт, но и художник. О Лёне говорили, что у него большие художественные дарования, что рисунки его хороши. Старший брат его, Сеня, сюда не приехавший, был пианист и композитор. Бэлла оказывала Кончитте знаки внимания.

Кроме купанья, все в этот день были вместе, то на той террасе, где обедали, то на разных балконах Макса (туда вели наружные лесенки), то в его мастерской. И мне удалось увидеть молчаливую — одна мимика гнева — сцену ревности Кончитты — Максу. Не знаю, кто из них в это время был прелестней: испанка ли, кидавшая в его сторону снопы молний из-под почти сошедшихся бровей, хватавшая и бросавшая черный фиалковый веер, взмахивавшая золотыми от загара руками и что-то звонко, непонятно восклицавшая, — или Макс, ставший поодаль, опустив глаза, порой пытавшийся ей что-то объяснить по-русски и по-французски — испанского он не знал.

— Подумай только! — шептала мне Марина. — Он же совершенно в нее не влюблен. Макс — «влюбленный», это же невозможно! Он просто ею любит, как и все, и она случайно попала на его дачу — с кем-то приехала из друзей Пра, а теперь ему нет житья! И он в положении совсем безвыходном — потому что она думает, что он влюблен — потому что до него все влюблялись, и она привыкла...

— Но что она говорит ему, кто-нибудь понимает?

— Абсолютно никто... Ну, мы пропали! — Мне на ухо: — Сюда идет Мария Паппер. Читать стихи. Видишь, в горы не пошла — притворялась, для позы. Умоляю тебя, не вздумай сказать, что не нравится, если она спросит. Она никогда не простит! Слушай бред — и молчи...

Это было вовремя. Потому что Паппер, войдя, окинув всех одаривающим взглядом, оперлась на деревянный меч и начала выть бредовые строки. Все молчали, опустив глаза. На одну Кончитту этот вой подействовал успокоительно: она перестала сердиться и, сложив ручки на коленях, с интересом слушала непостижимое.

После купанья, черешен вечером я сидела рядом с Кончиттой, не расставаясь с ней, и мы обе смеялись, ни слова не имея возможности сказать друг другу, и звук ее чудного хохота, неудержного, как поток с горы, несся в черную синеву вечера, осыпанного звездами, в лунный плеск моря, в морской ветер, доносивший дыхание дрока, сладостного, как жасмин.

В пику Марии Паппер, вернувшейся со своим мечом с гор (все-таки ходила туда?) и которую никто не просил читать стихи, а она снова читала их (я шептала Марине, что жаль же ее, пусть читает! Марина отмахивалась), мы читали в унисон стихи Марины. Игорь Северянин, гуляя вдоль нашего чтения, перенюхал подряд все кусты дрока, наклоняясь над каждым. Он не читал стихов. Не годовал? Отчего его не просили? Я смотрела на профиль Пра, горбоносый, на голубой глаз, на озорное и величавое ее существо и, слыша ее «р», вспоминала Б.С.Т. (как он был бы среди этого?). Когда пройдет ночь, я, оставшись одна после всего веселого бреда жизни, от непонятной Марины очнусь в себя, в него — как пойдет моя жизнь здесь завтра — с дневником (когда писать его?), с письмами к Б.С.Т., с этим подземным огнем тоски о непонятности будущего и о разлуке с Нилендером? Я еще слышала его голос, последние его слова...

— Ну как? — спросила меня Марина, когда мы расставались ночью у ее двери. — Нравится Коктебель? Ты еще не была нигде — ни в деревне татарской, под Сюри-Кайя, — та, с остриями, ни на Святой горе — там, высоко, могила их святого, татарского. Увидишь Сердоликовую бухту! Лучше, чем Нерви!..

— Море так шумит — как люди спят? — спросила я. — Точно совсем рядом. Боюсь воды!

— А оно и есть рядом. Не бойся! Уснешь! И приснится Кончитта! А Северянин — красив? А глуп, правда? — увлеченно говорила Марина.

— Глуп... — согласилась я. — Стихи — умнее. Но красавец!

— А Макс — чудный!

— И Пра... У них какие-то удивительные отношения. Когда мы сидели у Таи-Ах на тех двух диванах — ну, там, где полукруглые окна, высокие — в мастерской...

— Ну?

— Пра зашла и за что-то рассердилась на Макса как на мальчика. А он — стал отвечать ей, как старший — ребенку. Разъяснял — и очень терпеливо. А она все равно сердилась.

— Они совсем разные, от разного исходят. Но замечательны — оба. И обожают друг друга. Пра ведь его воспитала одна. С мужем рано расстались. С него, говорили, Толстой писал Стиву Облонского. Пра ушла, работала телеграфисткой, день за днем, год за годом, в бедности. Ведь это теперь — два дома, а доход от них все равно — грош, почти даром сдают друзьям. Стали лучше жить, когда Макс стал зарабатывать. А участок — пустыня была, дешевый. Максов дом строился десятилетия, по кусочку. Оттого такая архитектура. Волшебный. Балконы — со всех сторон, как и комнаты...

— У Пра один Макс был?

— Нет, была еще дочь Надя. Умерла четырех или пяти лет. Как Катюша Пешкова. Скарлатина. Надежды уж не было. Ребенок мучился. На камфаре. И мать сама попросила доктора больше не мучить ребенка, не длить жизнь впрыскиваниями...

— Сама?!. Господи!

— Но ведь надежды не было, девочка должна была умереть... — Марина словно глядела в бездну.

— Вот она какая, Пра... — сказала я в каком-то внутреннем трепете, глядя на трепет звезд.

Я слишком устала, чтобы писать дневник. В нем наутро значилась одна строчка вечерних записей: «Коктебель, (число). Страшно интересно. Не могу писать, поздно. Завтра!» Затем настал сон — под нервийский шум моря.

### Глава 3

#### УТРО КОКТЕБЕЛЯ. ЛИЛЯ И ВЕРА ЭФРОН. СЕРЕЖА И МАРИНА

Когда я проснулась, стояло великолепное летнее утро, кидая по горам и с горы на гору тени, пахло дроком, и море лежало огромным мирным озером, совершенно синим по бокам и совершенно серебряным под столбом солнца, и от него вправо и влево плавились, вспыхивая длинными и мгновенными искрами, две полосы, ртутно-синие. Даль же была вся растоплена в серебре. Татары шли с корзинками фруктов, другие продавали чадры.

Не слыша в Марининой комнате никаких звуков, понимая, что опоздала к завтраку, я шла, шурша гравием, по саду, думая: Марина сказала, неудобно на каблуках городских туфель, надо купить чупяки. Лиловые? Рыжие? Может быть, зеленые? Как жарко!..

На перилах вчерашней террасы, где обедали и ужинали, сидели — как странно! — рядом уже подружившиеся Марина и Северянин, в беседе такой углубленной, что меня не заметили. Но вот Марина обернулась на звук моего шага.

— Сереженька! — сказала она Игорю Северянину. — Пойдем с Максом в горы? Вы себя сегодня лучше чувствуете?

Слух меня не обманывал. Я мгновенно, всей собой ощутила, что я не должна обернуться. Подняв голову, я прошла на террасу. За столом еще сидели. При моем появлении Кончитта громко сказала Марии Паппер:

— Верка, передай Асе масло. К бубликам. Там есть еще кофе? Может, его подогреть?

Я не ослышалась. Кончитта говорила на чистейшем русском, и Марию Паппер звали Верой. Господи! Значит, они меня... все ясно: и Северянин, не читавший стихов... Сережа... Так вот они что! Они ждут, что я всполошусь, возмущусь? Закидаю вопросами? Не дрогнув ни одним мускулом лица, я, поблагодарив, пила кофе, и теперь они глядели на меня во все глаза. Мистификация. Все весь день играли, а я верила, умилялась Кончиттой!

Ну, хорошо же — сегодняшнего торжества их не будет: они хотят, чтоб я «встала — и всё то — сон?». Они ждут моего *просыпания*? А я — не проснусь! Усом не поведу в удивлении.

Вера? Сережа? Отлично! При первой возможности назову их так — и не я, а они вспомнят себя Северянином и Паппер! Я прислушивалась, как назовут Кончитту, — не называли. А она сидела и улыбалась, чуть откинув назад голову, и улыбка ее была чудесна, как смех. Странно: я не чувствовала негодования, на нее глядя. Она была все так же хороша, и золотые ее глаза — я сидела близко — сияли.

Но одна вещь занимала меня: зачем Марине надо было, чтоб я повторила, что тот Северянин — глуп? (*Кажется глупым!*) Я этого не находила, согласилась из «галантности», видя, что Марине этого хочется. Но теперь этого нельзя было изменить, Марина — помнит. Зачем-то ей это было нужно? Тут что-то крылось. То, как она сидела рядом с ним, звала его «Сереженька»... Что я согласилась для нее, не находя его лицо глупым, — просто, «с размаху», — теперь уже было нельзя доказать.

Я не помню, *как* я узнала, что Кончитта, Паппер и Северянин — сестры и брат; сама ли заметила их сходство?

Не помню, в тот же день мне сказала Марина, кем стал ей Сережа Эфрон и она ему?

Но была еще сложность: уличив в небытии Кончитту, Северянина и Паппер, я же понимала, что, может быть, не всех — уличила? С другой стороны, не все могли быть выдуманы — странности других могли быть их собственные. И вот: как было установить, что — мистификация и что — нет? И от меня зависело открыть это — раз я не могла ни к кому обратиться за помощью. Было бы очень просто, поведи я себя, как было естественно другим: выразить изумление — и покорно взяться расплетать сети. Но ведь я же не повела себя так? Не потому, что решила это, а уже так не повела себя, когда пошла, подняв голову, сделав вид, что не удивлена, услышав вместо «Игорь» — «Сереженька». Это мне было естественно. И вот это создавало новые сети: я не знала, шагаю ли между их выдумкой или между реальных людей, осторожно, как обжегшийся у костра, ступающий по тлеющим веткам. Бэлла с ее таинственной улыбкой — Бэлла? Лёня, может быть, играет мальчика, а сам — старше? Опыты над Тобиком — вздор? Прыгает, потому что прыгает! Мишино «не совсем того» — игра? Пра! Кульминационный вопрос:

Пра — Пра? Или это теперь она играет чью-то «прабабушку» и в первый раз надела шаровары, кафтан, сапоги? Мне хотелось войти в воду, окунуться и плыть, разбросать руками, волной — сети! В эту минуту неслышно (сафьян!) и непринужденно вошла на террасу — Пра. Вчерашняя. А может быть, кофе был слишком крепкий? Немножечко кружилась голова...

И пока те, кто встретил меня вымыслом, дивились, может быть, на мою игру и решали, это уже моя «игра» — или я обиделась, — я встречала каждого входящего двойственно: делая вид, что ничего не произошло, все просто; и — с горячей точностью наблюдала каждого во всех словах и движениях, тут же на месте решая: он — он или не он?

И немало прошло часов (дней?), пока я перестала сомневаться в присутствии Теодора Гофмана за плечом каждого из обитателей Коктебеля, легким шагом вошла в настоящую, коктебельскую сказку. И вернулась в себя, в тяжкие мысли о Б.С.Т., в нашу начавшуюся — его первым сюда письмом — переписку. Письма его были туманны, трагичны, темны (увы, не сохранились...), но во всех них сверкала сквозь тьму — развеется? — его почти обожающая, почти блаженная любовь ко мне. И, может быть, он придет? Но что будет дальше? Наша жизнь — соединится? Где? Как? Что будет с Мариной? С нашим «вдвоем»? Море лежало совсем тихое, лунное, молчало. Прохлада, ни ветерка...

Марина идет по саду и мурлычет себе под нос (она не видит меня, я скрыта зарослью винограда). Повторяет новые стихи?

...Облаком пар из пекарен,  
Воздух душливый прян,  
Где-то рокочет фонтан,  
Что-то лопочет татарин...

Это те, что она написала в Гурзуфе... Через час мы стояли — Марина и я — под шатром южных звезд, в дыханье дрока, в трепете масличных ветвей, и ее слова, как волны о черный берег, луной или фосфором под водой бились о мое одинокое без нее сердце:

— Он чудный, Сережа... Ты поймешь. Мы вечером будем у меня — приходи — втроем. Ты увидишь! Сестры еле отходили его, когда он узнал о самоубийстве матери и брата. Котик, в четырнадцать лет... Они все обожали мать. Она не перенесла. Сережа и Котик росли вместе, как мы. Тоже два года разницы. Он болен, Сережа, — туберкулез. Мы, может быть, скоро уедем отсюда, он не переносит жару...

«Мы»... Значит, конечно наше «мы» с Мариной!.. А я... я? Будет ли у меня с Б.С.Т. «мы»? Будет? Неужели не будет?

Как страшно жить...

#### Глава 4 ДУША КОКТЕБЕЛЯ

Максина мастерская. Пять высочайших полукруглых узких окон, обходящих пятигранную башню, и в эти окна — море, прибой, грохочущий и пенный, часы синего штиля, вечера розового золота, ночи, обрезающие звездный полушар о лунные и безлунные горизонты, и снова заря на волнах, снова штиль, снова прибой, и вдруг — неведомо что вспомнивший час беззвучия и бестелесности, без цвета и без горизонта — пропавшее, в преддверии рая, море...

Макса и нас просили сказать стихи.

— Нет, сначала пусть Марина с Асей прочтут, потом — я! — сказал Макс.

— Что будем читать? — мне, Марине: — «Невестам»... — И, в голос:

#### НЕВЕСТАМ МУДРЕЦОВ

Над ними древность простирает длани,  
Им светит рок сияньем вещей глаз,  
Их каждый миг — мучительный экстаз.  
Вы перед ними — щепки в океане!  
Для них любовь — минутный луч в тумане,  
Единый свет немеркнувший — для вас...

Едва договорив, брови дрогнули (спешно — не дать им сказать), Марина уже начинала, кивнув мне. Наш двойной голос (став каким-то другим от другого размера) помог не



услышать похвал, так мешающих. «Ricordo di Tivoli!»\* — «Мальчик к губам приложил осторожно свирель...».

Заговорили, зашумели. Хвалили. Дивились, как могут два человека так в унисон... Мы, как всегда, улыбались застенчиво, томясь от невозможности объяснить. Нам это было так давно, так привычно...

Просили еще.

— Хватит! — сказала Марин. — Пусть Макс!

Улыбнувшись нам, не споря, Макс сочно и медленно, словно взрезает плод, выговаривает название: «Киммерийские сумерки»

Костер мой догорал на берегу пустыни.  
Шуршали шелесты струистого стекла.  
И горькая душа тоскующей полыни  
В истомной мгле качалась и текла...

Одобрение, просьбы еще. А Макс уж читает другое. Медленно и торжественно — как хорошо читает! Каждое слово как чаша полно...

Кто-то позвал Макса. Разбрелись... Я осталась осмотреть мастерскую. Я стою перед расставленными этюдами — большие, маленькие, сколько их! Годы труда... Смотрю — ненасытно.

...Сумеречно-зеленоватое небо над пологим холмом, за светившееся закатным сияньем, кротким и гаснущим — цвета, которому нет имени. Выше, до половины небесного купола — темнота, еще не замкнувшаяся, еще реющая. Холм, днем желтый, сейчас, потеряв солнце, был пепельным, но уже этот цвет растаял, как скоро должен растаять и цвет сумрака, его поглощающий. Перед тем, как стать тьмой. Холм, край неба, пустыня — живы только остатком сиянья. Еще держится над холмом — свет...

...Ночь. По далекому мысу вдоль бухты — ряд бледных огней, ждущих утра. И из мглы — хребты гор. Гадательно, прозрачно и призрачно погасая, зовут: мы — здесь.

...Зеленоватая вечерняя степь. Час первых? нет, не первых уже звезд. Небесное поднятое крыло — свет во тьме светит,

\* «Воспоминания о Тиволи!» (итал.) — *Примеч. ред.*

и тьма не объяла его. И маленькое полукруглое озеро. Зеркалом отражает тайну света вверху...

...Острия горных хребтов. Свет снопами лучей режет панораму на части. Лучи треугольниками, бегущими из-под солнца, — зажигают куски гор, сжигая в пепел другие — жаром добежавших теней. А над хаосом глыб и треугольных полос света — тишина небесного празднества, сыплющего лучи. А если даже закрыть рукой степь и горы — свои световые горы и доли в преизбытке туч, темных, в захлебнувшихся светом, вознесшихся облаках... Сотворение мира!

...Рыжие пласты земли, освещенные солнцем, коричневые провалы теней восходят к распахнутой пасти кратера: когда-то живого. Длинные тени утра. Тишина.

...Лиловые силуэты гор, вдали ставших холмами, еще более далекой далью стертые. И —

...Море! Слившееся с небом, сияющая синева, голубизна, глубь. И в этой почти пустоте — плоский мыс, далеко протянувшийся и легший в волны, как на покой — человек!

...Никакого цвета, кроме песочного. Темный и светлый песок, в двух тонах песчаности — ландшафт прибрежных холмов в затонувшем серебре моря...

...Разломы земли лежат полукружиями, им снится древний амфитеатр римского цирка. И над мягкой крошащейся густотой массива, синего и коричневого, — бессолнечные небеса. Никакой час.

...Крутые темные скалы. Заржавленные сталактиты! Нити тропинок. Тут мог проходить Данте. В небе, совершенно фиолетовом, — игольный укол первой звезды.

...И снова — озеро. Степные. Тусклая, в мареве полдня отсутствующая степь. Развалившаяся в такую даль, где уже ничего нет, конец. Бесконечность...

Неслышно вошел Макс.

Вновь беря в руки этюд с крутизной скал, я, отставляя, отходя, глядя (не наглядеться!):

— Это — Сердоликовая?

— Нет, это с Карадага — по ту сторону... Мы с Мариной ходили туда...

— Макс! Глаза разбегаются... Как чудесно ты пишешь!

— Выбери себе, Ася.

— Макс! Я хочу — все!..

Из мастерской, пройдя крошечные сени,ходишь во владения Макса: две комнаты, смежные; из второй — выход на лестницу, и над ней — еще комната, длиннее тех двух: комната Пра. Другой дверью она выходит на длинный балкон, вернее галерею, и там тоже лестница — к морю. Когда Пра стоит в шушуне, шароварах и смотрит на бескрайнюю даль — она похожа на капитана корабля, обозревающего водный путь. Справа от нее — Карадаг, профиль сына. Слева длинная терраса переходит в другую, квадратную, с дверью в комнаты Макса. Балконы (террасы) облепили заплатами дом, и лестницы сбегают вниз, как белые водопады. Все это раскалено в солнце, то и дело — руку щитком к глазам, чтоб спастись от слепящего блеска. Зато в комнатах благодать: солнце лежит тут только отраженьем окна, золотым ковриком, мелкими квадратами, как граненый узор. И этот коврик неслышно, медленно, как минутная стрелка, переползает со стены на пол. Если же тронуть ставню — комната как колодец, только поблескивают стекла рамок и рам, и за ними туманятся, томятся лица друзей, и полуденные Максины акварели превращаются в цветной сумрак.

Все три комнаты похожи: везде — топчаны, крытые матрасами и пестротой грубых тканей; на эти самодельные диваны брошены подушки всех размеров, расцветок; кое-где у окна — плетеное кресло, скамеечки; на столах — простых, вечных, в чем-то тоже простом (керамика?) — сухие ветки чертополохов и ковыля. Стены — их нет: полки книг, портреты, саки, картины, этюды — так до самого потолка. И на полках, полочках и столах — тарелки, темные, с коктебельскими камешками и шкатулки с крышкой из них же (халцедоны, сердолики, агаты) — работа Пра. От них не оторвать глаз. Тут все болеет этой болезнью: ищут их на берегу, находят, собирают... Марина от них без ума. В углу комнаты я увидела воспетую Максом в стихах египетскую принцессу Таи-Ах. Огромные глаза и таинственная улыбка были душой этого удивительного дома. Но еще одно лицо женское глядело со стен из мглы фотографии — ее тоже Макс называл в стихах этим египетским именем. Ее в доме не было, но память о ней наполняла комнаты: всюду со стен смотрели ее фотографии и портреты с большими темными глазами; волосы легкими прядями обрамляли девическое лицо, в нем

была задумчивость и печаль. Я смотрю и смотрю на фотографию молодой женщины в тюбетейке: кудри, печальный и строгий взгляд. Просто сказочная женщина!

— Пра, кто это?

— Марго, жена Макса, — Маргарита Васильевна Сабашникова.

— Макс — женат??

— Был.

— Это лицо принцессы...

— Макс так и звал ее: Таи-Ах...

Решаюсь:

— Ты любила ее, Пра?

— Очень. Я очень люблю Марго...

Если подойти к окнам, к крайнему правому — Карадаг: голова великана, утром светлая, в легком дыме голубизны; днем — груды лесистых кудрей, резкие тени лба, щеки, носа и борода у груди, легшей в блеск густой синевы, черноморской; вечером — китайская тушь, бросившая на закатный лист очертания великановой головы.

Я гляжу в левое с краю окно: плавно идут в море далекие и отлогие песчано-лиловые, рыжие, пепельно-сизые гаснущие хребты и мысы, и один из них, плавнее и смелее других, вытянулся в морскую гладь и, как нервийская гора Поргофикс, затих: Янычары.

...Если бы знали все мы, в те дни, в самом расцвете Весны и Лета дышавшие красками тех хребтов (собой!), что именно там ляжет у порога в неведомый мир тело коктейбельского великана, нашего Макса, друга, шутника, мистификатора, художника и поэта, с которым так хорошо нам тут жить. Что туда его, после многих земных войн, разрух, голода, подвезет к Янычарам арба, и поднимет народ на руки и поднесет к месту, им избранному и любимому, и там его примет до конца мира сего киммерийская земля...

Кто тогда знал, что мы — некоторые из нас, уцелевшие — и множество тех, которые еще не были в то лето даже детьми, позднее пришли в мир, легко взойдут с нами, старыми, трудноидущими, на Максина Янычары, останутся у огромной могилы, засыпанной коктейбельским камнем, мелким и крупным, посредине которого будет — коричневыми камнями — самодельно, любовно выложен крест.

...Что мы будем стоять и смотреть на качающиеся лиловые чертополохи, слушать цикадный звон на ветру их, словно металлических, резных листьев и будет жужжать пчела и — беспечно? — синеть море, плавиться в предвечернем блеске отошедший на покой Карадаг. И будут молчать те новые, юные, вкушая тишину и высоту, пищу *отшельцев*, будут слушать рассказ о Максе его верной подруги, как он жил, как всех привечал в своем доме между моря и гор, как мужественно нес болезнь. Как прощался со всем и всеми, прося себе «на потом» — этот холм, без решеток и без надгробия, чтобы слиться с землей... Что сядем, устав, на каменную, руками подруги выбитую (молотком) скамью — в камне, вросшем в скалистую высь, на спуске, — и откроется нам тогда, в конце жизни, ширь на море, гряды гор, Карадаг с Коктебелем, с Сюри-Кайя и Святая гора. Ладони уронив меж колен, будем смотреть и молчать, вспоминать и молчать, дышать и молчать — и думать. И будет под нами, в море — и в небе над нами медленно начинаться закат.

— Макс, а наверх к тебе можно? — с Максом все на «ты».

Свесив голову над перилами внутренней лесенки, ведущей наверх, где площадка со столом и диваном и узкая галерея вдоль книжных полок, Макс отвечает, что — да, можно, он сейчас не работает, ищет одну книгу — я не помешаю. Я взлетаю наверх.

Как здесь хорошо! Сколько книг! Вязки сухих растений, рыжих и серых, засохшие седые и синие чертополохи. Глубоко внизу — мольберт с холстом, начатым, и расставленные у стены акварели. Таи-Ах отсюда не видно — мы прямо над ней. Мы стоим на полу галереи: он над Таи-Ах — потолком.

— А ты здесь не была? — Макс открыл дверь в заднюю верхнюю комнату — я иду за ним, как кот, осматривая комнатные окрестности. Как чудесно! Это же как потайная комната... Величина и тишь... Ковры, скромные, старые; и — татарские; рыжий холст; одна из стен целиком из перекладин и маленьких стекол. Книги, маски — Пушкин, еще кто? Покой их опустившихся век диктует стенам и полу вокруг — тишину. Максин мягкий в чувяках шаг, рука отводит вбок ставню — и полоса, косая, вдруг рожденного солнечного

луча преобразует этот книжный одиночный приют: вспыхнула янтарем желтая занавесь и, отрезанная, ушла вглубь: опрокинувшись во мглу интерьером — наискось легшая часть комнаты. А в широкое окно — море!

— Макс! Ты не видишь, кто там идет берегом? Не Марина с Сережей? — Какие короткие тени — полдень.

— А из того окна, — Макс поднял руку высоко над книжными полками, — вечером солнце, закатное. Тогда все тут — пылает. Приходи посмотреть.

Снизу крик — обед. Я сбегая, и, пока сходит Макс, я стою перед огромной гипсовой головой, вделанной в стену: под египетским украшением лба в меня провалились две белые бездны — глаза Таи-Ах.

Я шла, глядя, как волнуется, рвется в ветре платье, запоминала его цвет, меняющийся kaleidosкопически от набегавших на его складки теней лестничных перекладин и зеленой, просвеченной солнцем, тени кустов. И шестнадцать моих лет не знали, как все то, что я сейчас видела, через тридцать лет уйдет под полы дома, где мы с Мариной живем летом 1911 года, как все эти книги, картины, и маски, и сама Таи-Ах, из стены вырванная, будут спущены в землю осенью 1941 года, перед нашествием гуннов, и как их туда будут носить и носить, задыхаясь, спотыкаясь, спеша, руки героической русской женщины, Максовой жены Марии (она еще — в будущем!), руки двух малосильных беременных женщин и двух озорных мальчишек, и как этот клад, эта маленькая Максова Атлантида, промолчит о себе под землей девятнадцать месяцев — все владычество гуннов на родной киммерийской земле. Как самому дому Карадажьего великана будет грозить огонь, к снопу соломы ползший, и как этот огонь в безумье женского мужества и бесстрашия остановит рука женщины, охранительницы Максовых мест. Как, вынутая в дни побед из недр Таи-Ах (гипс, переставший улыбаться под подвязанной заботливой рукой повязкой), высохнув, улыбнется вновь, водворяясь в ту же стену. И властительница Египта — вновь улыбнется нам, уцелевшим... Я ничего не знала. Складки платья вновь вспыхнули — солнцем. Я входила на террасу, где собирались за тридцать лет до гуннов — еще молодые друзья Макса. Шел он сам... Теперь я думаю: Макс ведь был человек необычайный? Может быть, он — знал?

У Макса в то лето гостили два его друга: художник Константин Федорович Богаевский и Константин Васильевич Кандауров. Они спали на двух диванах по бокам Таи-Ах, и говорилось, что там «спят» Кости. Кандаурова я помню всегда смеющимся, яркие глаза, рыжеватую бороду — уже книзу. Богаевского запомнила сердечно и сразу — так он был обаятельно тих и застенчив, так много душевной прелести было в его скромной, к каждому внимательной манере себя держать, в его худом лице и темных, с тяжелыми веками, глазах, в его улыбке под спущенными, словно стеснявшимися своей пышности, усами. Он мало говорил, и всегда что-то доброе, умное, часто шутивное. Его картины были у Макса — озаренные лучами облака, огромные, архитектурника туч и света над деревьями, над руинами генуэзских башен — и, как у Макса, Киммерия, их общая любовь.

О застенчивость: я увидела и в Пра, такой с виду мужественной и не считавшейся с тем, что своим костюмом и повадками *épatait les bourgeois\**. В ее старых голубых глазах, где сверкало веселое мальчишество, жила и застенчивость, о коей одна она ведала, как бороться с ней.

И был еще — приходил в Коктебель — Людвиг Квятковский, поляк по отцу, сын простой, умной и доброй женщины. Он был художник. Ему было шестнадцать лет, как мне. Он писал изумительные пейзажи. О нем сказал Богаевский: «Я отдал бы полжизни, чтобы обладать таким чувством цвета, как у этого мальчика. Его владение цветом — поразительно!» Эти слова шли за Людвигом — славой. Лицо его было лицом Вергилия: узкие смуглые щеки, огромные, длинного разреза синие глаза. Орлиность в линии длинного носа. Суховатый уклончивый рот. Но в смехе его была безудержность блаженства.

## Глава 5

### СЕРЕЖА ЭФРОН. ТРАГЕДИЯ ЕГО СЕМЬИ

Был вечер, и мы сидели втроем на полу, в Максиной комнате, по-татарски, на коврике, и пили из маленьких чашек черный турецкий кофе: без гущи; с гущей — татарский.

\* Бросала вызов мещанству (*фр.*).

Мы это знали теперь, бывая в деревенской кофейне, татарской, — Марина, Сережа и я.

Да, если бы я могла так подумать, я бы сказала: меж Мариной и мной встал Сережа Эфрон. Но я не могла сказать так. Не сказала же я этого, когда Нилендер, выбрав ее полтора года назад, увел от меня, на несколько вечеров, правда, ведь я не знала — на сколько!.. И я любила Нилендера, мне было тяжело без обоих. А Сережу любила Марина — и он любил ее совершенной любовью, и Марина была счастлива. Волнение ее счастья передавалось мне за нее — радостью! За нее, которая никогда с детства не была счастлива, всегда одинока, всегда — в тоске. И разве можно было не почувствовать средостеньем Сережу, который весь был на встречу — раскрытые руки, весь — к каждому благожелательство, дружба, вхождение в душу — и незащитность перед своим обаянием? С пятнадцати лет он был болен туберкулезом, от которого не было верных средств, — увел же он маму такой молодой, так не хотевшей отдать нас, музыку и солнце... И Сережа носит эту болезнь в себе! Марина смотрит на это чудо чудес — понимания и душевной грации, глубины ума, восхищенного внимания к миру, — еле веря, что все так смогло соединиться в человеке, ей встретившемся, она дрожит за него — вижу! — что он может уйти, растаять, как растаяла в нашем отрочестве — мама. Уйти! Из этих раскрытых рук упустить мир, как Мария Башкирцева! Не обрета всего, что уж теперь, им вдвоем — принадлежит на — век? Этой мысли перенести — нельзя... Марина — и в этом (трагическом!) счастье — *à bout de ses forces!*\*

А Сережа полулежит на ковре, тонкая, чуть смуглая — он не загорает! — рука привычно отводит со лба темную прядь, и, улыбаясь глубокой улыбкой, радостно, как все, что делает, пьет глотками маленькую чашку кофе.

У него узкое лицо, темный разлет бровей, и под ними совершенно невероятные по красоте и величине глаза. Они серо-зеленоватые и сияют добротой и счастьем — быть так любимым, так ценимым, так принятым, быть сейчас с нами! Его радости хватает и на меня — он и меня в себя принял, он — наш, и мы обе — его, и как совершенно чудесно, что он мне — брат, без малейшей смуты, больше брат, чем

\* Без сил (*фр.*).



была мне сестрой Аня Калин (она не была сестрой!). Я не чувствую никакой тяги к Сереже, никакого собственного о нем волнения. Между ним и мной все чисто, как в детстве, и когда он начинает рассказывать о матери, брате, с которым рос, как Марина и я, и о другом брате, еще прежде умершем, — я проваливаюсь в это детство — с головой, жадно слушаю и жалею их всех той жалостью, от которой отводишь глаза...

Мы кончили кофе, общипали несколько кистей винограда, иначе сели, Марина обняла руками колени, над ними — ее мальчишески короткие светло-русые кудри (так внезапно, после лет мечтаний о них!), и мы почти утонули во тьме. Только легкий сумрачный свет входил в окно — свет звезд? — за ветками дикого винограда. Но мы уже не здесь — мы пере-неслись назад в Сережину жизнь, прожитую без нас.

Мать Сережи, Лили и Веры (у них есть еще сестра Нютя в Петербурге, старшая, и еще брат Петя, в Париже, актер) была из рода Дурново, старых дворян. Она ушла из дома семнадцати лет — в революцию. Партийная кличка ее была «Лиза большая». Она была членом «Народной воли» и «Черного передела». Царское правительство учредило опеку над имениями — чтобы не были проданы и пущены на дело революции, если они по наследству перейдут к ней. Она была талантлива, образованна, хороша собой. Порвала с семьей по идейным причинам. Встретив Якова Эфрона, прекрасного человека, стала его женой. У них было много детей. Еще не было ни Сережи, ни Котика. Младший был Глеб. Ему было семь лет. Он родился обреченным на недолгую жизнь — у него был порок сердца. Сиделу окна в кресле — ему нельзя было бегать. Он все понимал. Любил Тургенева. В нем было столько недетского! Он знал, что жить долго не сможет. Все любили его, и он всех любил. У него были такие большие глаза — он так глядел...

Когда он умер, мать заперлась в его комнате и перестала быть — для остальных. Отошла от революционной работы, от забот о детях, бывала только на кладбище на могиле Глеба или в комнате, где он умер, среди его книг и вещей.

Так прошло полтора года. Это было похоже на безумие. Отец был в ужасном горе о Глебе и о состоянии жены. Наконец что-то перегнулось в ее сердце, она с трудом, но *вернулась* и в семью, и к революционной работе.

Прошли годы. Родились Сережа и Котик. Котик был синеглазый, веселый, общий любимец. Такой добрый! Мальчики росли. Были дружны, всегда вместе. Очень похожи. Затем мать посадили в тюрьму. Ведь она была максималистка — самого крайнего направления. Старшие дочери были уже большие. Им удалось через А.И.Шахова выхлопотать распоряжение взять мать на поруки. Друзья-революционеры устроили ей выезд за границу. Через некоторое время к ней переправили младшего из детей — Котика. Ему было двенадцать лет. Сережа жил в Москве и болел. Сестры его лечили.

Так прошло года два. У старшего брата Пети в Париже родилась дочка. Жена была человек мало ему близкий. Он нежно любил дочь. Котик учился во французском коллеже, помогал матери по хозяйству, бегал в лавочку, все успевая, катал в коляске крошку, дочь брата. Они жили бедно, но он ничего не просил, всему радовался. Был такой веселый и ласковый, так любил мать! Писал письма Сереже, звал его, ждал, сестры собирались и Сережу везти в Париж.

А отъезд все откладывался. Сережа скучал по Котику и по матери, которую они все обожали. Сестры молчали. Что-то мешало отъезду.

А затем грянул удар, разрушивший всю семью. Сережа узнал, что мать и брат *уже* похоронены, что оба они покончили с собой. Отец и сестры были в таком отчаянии, что только страх за младшего, за Сережу, заставлял их бороться с ужасом горя. Много позднее Сережа узнал: Котик пришел из коллежа и, никому ничего не сказав, повесился. Он был совсем мальчик, ребенок еще. Ужас был еще больше от непонятности. Ни слова.

Мать мужественно держала себя. Сделала все, чтоб вернуть Котика к жизни.

Поздно вечером Вера, мать не оставлявшая, уговорила ее лечь. Среди ночи Вера проснулась от какого-то смутного чувства ужаса. Место рядом с ней было пусто. Она бросилась в соседнюю комнату. Но все уже было кончено. Мать погибла как Котик, на месте его гибели. Они похоронены вместе, на кладбище Монпарнас.

На Сережу было нельзя смотреть. Мы не смотрели. Марина, как он, была — живая рана. И страстная тоска по ушедшей — поклонение, трепет, присяга верности — снедала ее. Присяга взять на руки ее сына — нести его через жизнь...

Проводив Сережу до его комнаты, мы стояли под крымскими звездами, Марина и я, как пять лет назад в Ялте в последнюю мамину весну. Холодный трепет звездного неба шел по нас ознобом. И все так же сладко пахнул дрок.

— Ну что? — спросила меня Марина. — Какой Сережа? Кто лучше: Борис Сергеевич или он?

Как похоже на Марину! Дерзнуть! Я бы так не спросила — уклонилась бы в тень от вопроса. Чуть сжавшись под ним, как под тем звездным трепетом, отведя ее — попытку? желание? меня искусить:

— Они — разные. — И, с вынужденным холодком в голосе: — Каждый по-своему хорош... — Но чтобы согреть, чтоб ее не зазнобило от моего ответа: — Сережа — очень хороший! Чудесный! Сейчас, наверное, утро скоро? Нигде уже нет огня, только мы...

Силы Мариной юности, без меры печальной, все сны ее одинокой дремоты, все собралось воедино: поднять его на руки, победить в нем гнувшую его утрату, дать ему жизнь! Она не сводила с него глаз. Каждый миг с ним были познанье и любованье, все более глубокое погружение в эту душу, самую дорогую из всех. Драгоценную, ни с чем не сравнимую. Это сердце, эта жизнь брала все ее силы, нацело ее поглотив. В его взгляде, на нее устремленном, было все ее будущее. Он никого еще не любил. Он пошел в ее руки, как голубь. Он был тих. Он был отдан мечте, как она. Как она, он любил свое детство. Он утратил мать, как мы. Он рос с братом, как Марина со мной. Он родился в день ее рождения, когда ей исполнился один год.

В ее стихах он понимал каждую строку, каждый образ. Было совсем непонятно, как они жили врозь до сих пор.

Я никогда за всю жизнь не видела такой метаморфозы в натурности человека, какая происходила и произошла в Марине: она становилась красавицей. Все в ней менялось, как только бывает во сне. Кудри вскоре легли кольцами. Глаза стали широкими, вокруг них легла темная тень. Марина, должно быть, еще росла? И худела. Ни в одной иллюстрации к книге сказок я не встретила такого сочетания юношеской и девической красоты. Ее кудри вились еще круче и гуще моих. Я никогда не была красавицей, а Марина была ею лет с девятнадцати до двадцати шести, лет шесть-семь. До разлуки, разрухи, голода.

Летел на наши голоса коктебельский пес, и мы, присев, гладили его, трепали, отвечали на прыжки и объятья. Пес прыдал, рыча, заглушая море, уверяя, что навеки — наш...

## Глава 6 С МАРИНОЙ. СЕРДОЛИКОВАЯ БУХТА. ФЕОДОСИЯ

Короткая ночь! И уже разостлалось утро — жарким серебром, трепетом маслин и молодых пирамидальных тополей, и три старые горы врезали в лиловую синеву три различных очертания: каменные острия Сюри-Кайя, плавный взмах зеленой Святой горы, окунутые в море темные скалы Карадага.

Шли татары. Мне они говорили и третьего дня, и вчера, и сегодня, что у меня «рука легкая»: куплю у них — хорошо торгуют. Смеюсь, выбираю чадры с рыжей, зеленой и малиновой шерстью — фантазии их узоров нет конца. Я начала себе, как Марине, воздушный ковер на стену: горит, не отвести глаз. Идут другие татары: корзины гнутся от черешен и абрикосов, — мы едим их, как в Тарусе картошку и огурцы, — око\*, еще око... Они идут из деревни, что на шоссе Феодосия—Отузы—Судак, ступая по теплой земле пестрыми чувяками, и на их руках прыгают, поскрипывая тяжестью фруктов, корзины. На черных головах фески и тюбетейки, лица — как коричневый сафьян.

Днем мы идем к шоссе, где почтовый ящик. Опять нет письма от Б.С.!

Ходим в кофейню деревни пить кофе, ситро, покупать бублики. Мы пристрастились к чебурекам, выбирая посуше, жир искупается остротой. А горячие... Часами лежим на берегу, ищем коктебельские камни: агаты, сердолики и халцедоны. У Марины — уж целая шкатулочка. Ей Сережа отдает свои. Сережа и Борис Сергеевич... Они совсем не похожи. Но горе — у нас обеих! Судьба! Сережа — болен. О Б.С. все неизвестно...

Но как я была счастлива счастьем Марины! Оно было — сказочно. Лучшего было даже нельзя измыслить! И такая сестра у Сережи, как Лиля!

\* Око — 3 фунта.

Сердоликовая бухта! Это как десятилетия поздней увиденная Grotta Azzurra\* у Капри! Такое есть только в детских снах — в иллюстрациях Доре к дантовскому «Раю»: эти непомерные скалы, пещеры, подъемы, невозможные тропы восхождения по почти отвесным уступам.

В Сердоликовой бухте скалы, пещеры, нависшие над морем (по которым ходит один Макс, с детства), — стоят, вышедшие из синих хлябей, как Венера из пены волн. И только кисти Богаевского, Макса и Людвиг Квятковского могут пытаться их воссоздать на полотнах.

Они стоят, темные и золотистые от солнца, режущего их на глыбы теней и света, тяжелые, как вечность, о которую бьется время, равнодушные к грохоту волн Черного Киммерийского моря, к лодкам людей, которые к ним подплывают, с трудом, в обдающей их волне, спрыгивают на берег и карабкаются по огромным камням. Насытившись небом, в которое мы опрокинули головы, как ковши в воду, мы ложимся на мелкие камни и жадно роемся в сокровищах Сердоликовой бухты, показывая друг другу добычу, не в силах не вскрикнуть при каждом розовом, алом, почти малиновом камне, подернутом опаловой пеленой. У Пра и Макса их — россыпи, и лучшие они дарят друзьям.

Затем лодка принимает нас в себя, как камни — шкатулка, весло упирается в скалу, мы отчаливаем, и море обнимает нашу лодку бережно и любовно, потому что в ней маг здешних мест.

Виденьем тают Золотые Ворота, стерегущие драгоценную бухту. А губы — совсем соленые. Сидим, опустив веки, глазам больно от блеска солнца и волн.

В море плещет дельфин крутой свинцовой спиной. Медуза в воде — как большой прозрачный цветок.

Вере надо в Феодосию, и мы — Сережа, Марина и я — едем с ней. Вера рассказывает о Феодосии. Это порт, старый, как Керчь. В порту — иностранные корабли, на улицах — группы мусульман-паломников, едущих в Мекку. Они в пестрых шелковых халатах, чалмах, в цветных чувяках, и когда они входят в лавочки, где яркие материи — их вкус, и выбирают, по-своему говоря и тряся темными бородами, — это сказка

\* Лазоревый Грот (близ Капри).

из Гауфа, кусочек Константинополя... Обо всем этом мы услышали дорогой, и все-таки когда мы увидели феодосийские улицы (Итальянскую, главную, с арками по бокам), за которыми лавочки с восточными товарами, бусами, сладостями, когда сверкнул атлас, разлившийся по прилавку, и его пересек солнечный луч, теплым золотом воздушной чадры протянулся под арку, во мглу лавки, и когда из нее вышли два мусульманина, унося плохо завернутую покупку, и брызнула нам в глаза синева с плывущими по ней розами, — бороды черней ночи показались нам со страниц «Шехерезады», ветер с моря полетел — из Стамбула! И мы поняли — Марина и я, — что Феодосия — *волшебный город* и что мы полюбили его *навсегда*. Марина и я? Я ошиблась: Марина, Сережа и я...

— Ася, помнишь? — сказала Марина. — Когда мы везли маму в коляске из Ялты — через Байдарские ворота, — помнишь, когда что-то запуталось в дороге и у самого горизонта брезжился город — еле видные точки, — о двух словах спорили: Феодосия или Балаклава!

— Конечно, помню...

— И может быть, это была — Феодосия... И вот мы — теперь в ней!..

## Глава 7

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ ЛАМПСИ И ЕГО СЕСТРА ЕЛЕНА  
НИКОЛАЕВНА ПОТАПЕНКО. КОЛЯ БЕЛЯЕВ. МАРИНА.  
СЕРЕЖА. СТИХИЯ СМЕХА

Лиловость неба, гемузские развалины, море у мола, волнорез, маяк — все сейчас вправо и вниз за маленькими окнами квартирки Петра Николаевича Лампси, знакомого Макса, где мы отдыхаем. Под овальными багетными рамами гравюр, полками со старинным фарфором, медальонами, миниатюрами и вьющимися растениями, колеблющимися сверху у окон, свисающими из подвешенных в корзинках горшочков. Черный клеенчатый диван приютил нас всех. Хозяин (мировой судья) в черных брюках и белом кителе с золотом пуговиц, в красной феске на черной голове, с огромным котом на плече, тигровым, трогает струны гитары и сладким голосом застенчиво напевает: «Век ю-ный, пре-

лес-ный / Стрело-ой пра-а-ле-тит, / Нам всё-о в не-е-из-вес-ном / Из-ме-ной гра-зит...» В мотиве отвага и нега. Полные пальцы привычно перебирают струны, кот немножечко ниже сполз с плеча, задние его лапы и вскинутый полукольцом и заснувший хвост почти касаются струн. Ловким движением (нельзя же будить кота) певец водворяет его на законное место и, закатив в счастье пеня глаза, продолжает: «За-гмит-са сле-зо-ю / Наш ра-а-дас-ный пир, / Из-ме-ной гра-а-а-зо-ю / Укра-сит-са мир...» И, глаза на мгновенье закрыв (кто же видит?) – карие, с поволокой, он в самое сердце всем нам бросает именно те слова, что в нас сейчас отзываются: «Ле-ти стрелой, / Наш век мла-дой! / Как слад-кий сон / Ми-ну-ет он...»

Пыльное золото гитарного звука кидает в нас (в Марину и меня – без Сережи!) Нерви, Володю, гитару в руках матери... Душа ошутимо рвется на части с почти физической болью, – мама, мама, где она? Тигр... Взгляд Марины в глаза Сережи почти грозен от нежности, от невозможности жить без него...

А Бориса Сергеевича – нет... Есть только его письма любви, звучащие прощаньем и безверием в будущее, романтическим обожаньем моего в нем образа, не слиянного с днем. Он еще более утверждает меня в моем ужасе перед жизнью, рука в руку с ним нам в жизни идти – некуда!..

«Der Gitarrenklang rollte wie eine Perle...»\* Если Б.С.Т. и приедет, как я буду жить рядом с ним в присутствии счастливых Сережи с Мариной, Пра и Макса, в шумности коктейбельского дня с татарами, чебуреками, бубликами и в этой жаре, где все прилипает к телу, от чего можно спастись только у самых волн! Но у моря – жить с ним? Непонятно. Или бесконечность смоеет на миг – его, или – он одолеет... Да, если он приедет – надо сейчас же с ним отсюда уехать! Куда?!

Марина мне:

– Ася, о чем ты думаешь сейчас?

– О том, что...

– Я понимаю: уехать. Из этой жары, да! Мы тоже скоро уедем. Но ты дождешься Бориса Сергеевича? Он приедет. Увидишь! А куда ты хочешь? – Я совсем еще об этом не ду-

\* «Звук гитары покатылся жемчужиной...» – Г.Мани (нем.).

мала. — Сережа жил в Финляндии. Ему там нельзя, там прохладно, но сыро. Но там — чудно! Туманы, горы, камни, сосны, дома как в Шварцвальде. Ведь Борис Сергеевич здоров? Поезжайте туда! Сережа тебе все расскажет...

...Петр Николаевич был одним из многочисленных внуков Ивана Константиновича Айвазовского, художника-мариниста, в Феодосии царившего и после смерти — наподобие местного царька. Он сделал для этого города слишком много для того, чтобы его могли забыть. И он провел железную дорогу. Она проходит перед самым домом его — дворцом.

Вдоль дороги посажены пирамидальные тополя. «Галерея (картин) Айвазовского» находится тут же, за углом дворца, а на площади, недалеко от дома и от низкого одноэтажного вокзала, стоит «Фонтан Айвазовского». Там богачи из крупных татарских семей и из караимских фамилий встречаются в маленьком ресторанчике для торговых сделок. Там и у моря, в «Паша-Тепэ», куда ведет дощатая дорожка-трап.

В доме-дворце Айвазовского живут его наиболее близкие и богатые родственники: в правом парадном — семья Лампси (двоюродный брат Петра Николаевича с семьей); в левом — старушка Айвазовская, которая не выходит — разве что когда выедет по делу из дому, — «доживает свой век».

Петр Николаевич — бедный внук художника, и он добывает пропитание — трудом. Он холостяк, женат никогда не был (перед женщинами преклоняется, очень застенчив и очень добр).

Он давно взял на воспитание бедного мальчика Колю Беляева, и тот, выросши, живет с ним на правах сына, то есть давно забыл, что он не родной, подсмеивается над Петром Николаевичем и иногда грубит, смешлив, любит юмор.

Юмор свойственен и его патрону, но юмор другой, потому что — добрый. Колин юмор — скорее сарказм, и он наслаждается им, как острым соусом, в который кинута перчинка от злого зеркала, гномьего, из сказки Андерсена «Снежная королева». И песчинка гномьего зеркала, попавшая в его глаза и делающая все таким смешным, вполне удовлетворяет его.

— Ха-ха-ха, — добро хохочет Петр Николаевич, неся домой какое-нибудь смешное слово, где-то сказанное, — неосознанно-смешное, только такое собирает и ценит он;



и в практике своей — мирового судьи — он ловит перлы словесные и записывает их в тетрадь. Ее он читает друзьям.

Коля и к этой тетради относится саркастически, даже немного стыдится ее. Но и тайной обиде на это Петра Николаевича не дано убедить его в невысокой цене сей тетради. Он ее любит, как живого человека, а задиранья Коли зовет мальчишескими выходками. И когда тот несет домой, как драгоценный опал (камень несчастья), новую насмешку над кем-то и чем-то, его патрон сразу определяет удельный вес и состав принесенного: сколько в нем истинной находки и сколько подмешанной желчи.

Когда же у них гости — атмосфера очищается и добреет, Коля забывает, что он злится на то, что его можно назвать неблагодарным, прощает патрону, что тот воспитал его как сына, все это растворяется в общей беседе, в любовании последним фарфором или рамкой, купленной на толчке, в привете от Макса, в звуке гитары.

Петр Николаевич, как старьевщик, собирает свои перлы человеческой речи — высокопарной, разгневанной речи высоко ставящего себя человека или человека, влюбленного в витиеватость, — отовсюду; с рынка-толчка, где сторговал старинный экран к несуществующему камину, из судебного заседания, из поданной ему письменной жалобы, с высокопоставленного светского вечера, куда был приглашен как внук Ивана Константиновича Айвазовского, со всех цветов луга, поля и леса — как пчела.

Петр Николаевич совершенно счастлив. В свои сорок лет с небольшим он видел все на свете: в юности — богатство, в молодости — разорение, в зрелости — бедность и труд; он — обладатель несметных сокровищ: человеческого опыта, холостяцкой нетребовательности к жизни, свободы от зависти и стяжательства, страсти к новым людям и к гостеприимству, беспечности студента и мудрости мирового судьи и, что выше всего, — сердца и желания помочь каждому.

Вот у какого человека мы сидели, приехав из Коктебеля и ожидая Веру Эфрон, чтобы ехать назад; пили чай из старинных чашек (каждая «уника» — любимое слово Петра Николаевича), с вареньем из хрустальных блюдец разных калибров и разных историй происхождения. Мы слушали старинные романсы под гитару, и теперь — рассказ Петра Николаевича о его родной сестре, пожилой учительнице музыки.

— Ай-яй-яй, Лёля! Вы не представляете себе, этого никто не может себе представить, ха-ха-ха! Какой человек моя сестра Лёля! Это — антик, настоящий антик! Она, может быть, еще придет, и вы ее увидите! Таких больше не-ет, как Лёля! — он закатывается смехом, его лицо краснеет, глаза (греческие маслины) сужаются. — Уверяю ва-ас, нет!.. Лёля может довести до истерики — каждого... ха-ха-а! Девочкой она подбегала к прачке — у нас была дома прачка, — застенчивой скороговоркой о богатом прошлом: — Лёля подбегала к ней и тоненькой веточкой трогала ее чуть-чуть — и отбегала. Та оборачивалась, а Лёля уже с другой стороны — веточкой ее толк — и отбежит! Она могла повторять это полчаса, час — а прачка из себя выходила, стирать не могла! Вы не подумайте, что Лёля была дурная, — нет, очень добрая... Она вам все отдаст! Но в ней был какой-то один нерв не в порядке, и им она изводила. Потом, на Бестужевских курсах, она нашла себе темы для недовольства и стала самой яркой суфражисткой. Лёля, ха-ха! Да она, наверное, сейчас придет! Никому от нее не было покоя, от Лёли. О, она никому не спустит! Когда она вышла замуж за писателя Потапенко — он тогда был модный писатель!

— Как?! Замужем за автором романа «Генеральская дочка»? — с живейшим интересом спрашивает Сережа, и его глаза лучатся смехом.

А Коля уж прыскает — в уголке дивана.

— Ну да, ну да. Он, он!

— О, вы бы видели эту свадьбу! От нашего дома до самой церкви — тут, недалеко отсюда — вся улица была устлана цветами, Лёля шла в белом атласе, а ее шлейф несли, такой — ха-ха-ха! — был длинный!.. Моя сестра Лёля — я должен сказать вам — очень оригинальная была девушка, она не хотела замуж, она презирала мужчин. Но модный писатель — что делать! Однако когда свадебный пир был кончен и молодые остались одни...

— Петр Николаевич, вы бы постыдились! — раздался голос Коли.

Петр Николаевич застеснялся. Но юмор брал верх.

— А что я такое говорю? Я, кажется, ничего... Ну, так вот... Лёля ушла во вторую комнату — и заперлась от мужа, то есть она хотела запереться, но что-то у нее с дверью не вышло, и она наставила друг на друга — ха-ха-ха... — Петр Никола-

евич замахал руками, отмахивая смех, — всё... всю мебель: комод, стулья... и все это держала перед дверью с такой силой, что Потапенко, ничего не понимая, должен был напрячь все свои силы, потому что она еще и кричала не своим голосом! Он думал, что с ней что случилось... стулья гремели... Потапенко так испугался... О, вы не знаете моей сестры Лёли...

Марина заливалась, я — тоже, страстно желая прихода этой Лёли, на Сережу было трудно смотреть — я не знала, что он способен так смеяться — совершенно как мы обе, как мы до сих пор всегда только вдвоем смеялись, с детства, без сил остановиться.

Смех — это была стихия, и в нашем смехе только мы две так понимали друг друга. Другие смеялись по-другому и от другого. Но вид Сережи, смеявшегося еще более неудержно, чем мы, рушил нас еще глубже в смех. Петр Николаевич снял феску, и под ней совершенно неожиданно оказалась круглая, бритая, блестящая, как бильярдный шар, голова, и его черные греческие брови были гомерически смешны рядом с этой голой головой, которую он вытирал платком — в новых раскатах смеха. Мы покатались со смеху, задыхаясь в нем. Я сползла с дивана на пол. В эту минуту открылась дверь и в комнату вошла маленькая женщина — вся из морщинок, улыбок, в соломенной старомодной шляпке, с ридикюлем, в тальмочке с лентами — живой гротеск! И, увидев нас, смеющихся, восторженно рассыпалась бисерным смехом, еще более безудержным, чем наш!..

Она стояла, смотрела на нас и заливалась самозабвенно до того смешным смехом, так махала зонтиком и крыльями тальмы, лицо ее выражало такое ликование, а звук смеха так походил на визг, вновь и вновь из нее рвавшийся, что я почувствовала, что сейчас — лопну!.. Но она взмахнула руками, зонтом, тальмой, шляпкой, внезапно появившейся папкой нот — и с последним взвизгом выбежала из комнаты...

— Моя сестра Лёля... — прорычал, падая в кресло, Петр Николаевич.

Но когда дверь снова открылась и вновь появилась причина нашего смеха с новыми улыбочками, уже несколько успокоившаяся за дверью, на лице ее брата отразился испуг, смех сгас и, предчувствуя допрос, он сказал с напускным весельем:

— Вообрази, Лёля: Ася — ей шестнадцать лет — понимаешь? — говорит, что делать ей на свете совершенно нечего и что «не дольше же двадцати шести лет я проживу на земле»!

И, впадая ему в помощь, я:

— Еще десять лет! Это же очень много... По моему опыту...

— Ха-ха-ха! — умиrotворенно хохотал Петр Николаевич. — Шестнадцать лет! «По моему опыту»... — И было ясно по восторженности его лица, что я попаду в его тетрадь с перлами. Теперь они заливались дуэтом, брат и сестра. Но восторг отразился и в лице Лёли, готовой снова рассыпаться в визг и улыбки, и, превозмогая смех, он чинно сказал:

— Позвольте представить вам мою сестру — Елену Николаевну Потапенко. А это, Лёля, друзья Максимилиана Александровича — Марина и Ася Цветаевы и Сережа Эфрон.

И, извиняясь, что его голове холодно, он надел феску. Уже шла за нами Вера, и мы встали прощаться — спешить в Коктебель.

По пути мы зашли по чьему-то поручению в сад: маленький, чужой, тропически густозаросший, где возле крохотной мазанки готовилась, в густом запахе специй, еда на углях, у мангалки хлопотали старички, мяукал возле них кот и гуляла важная цапля с совершенно рубиновым глазом.

— В следующий раз надо зайти к Ребикову, — сказал Сережа, — это музыкант, композитор. Он нам поиграет.

— А к Редлихам, Сереженька? — сказала Марина, и я вдруг почувствовала, что я им далека, что у них уже свои знакомые, мне неведомые... Что все оживление дня схлынуло, ничего нет, я возвращаюсь одна в мою одинокую комнату... И что Б.С.Т. — сон! «Мама! *Дайте* мне его! — говорила Наташа Ростова маме. — Голубушка, дайте мне его, мне его *сейчас* нужно...»

Мы ехали и говорили о Петре Николаевиче и сожалели, что так мало видали Елену Николаевну. Желая отвлечься от своих мыслей о Б.С.Т., от тоски, всегда меня стерегущей, я вспоминала наш припадок смеха и что-то, что я не успела додумать, когда так от смеха болел живот и все-таки нельзя было остановиться, — что ж это было, что перерезало тему смеха во мне, но что... да, оно было связано с этим смехом!.. Воспоминание ускользало. Я ловила его, как ловят сон, ух-

ваться за его лохмотья, — а он таял... Что-то во мне тщилось, как тарасит глаза засыпающий, хотящий еще не исчезнуть в сон из комнаты, дослушать, допонять. Не помогало. Мне уж мешали голоса вокруг (лохмотокуже не ощущался в руке). Тогда, вдруг (плод усилий?), молнией сверху: вот! В тот миг, когда Сережа так хохотал, надрываясь, вторя рычанью Петра Николаевича, и на глазах Сережиных были слезы, — мне показалось, что Марина, на него глядящая, сквозь весь свой смех любит — успевает!! — тем, как пропал в смехе Сережа. Наслаждается не одним своим, а его смехом и тем, как он наслаждается им. Это было похоже на то, как в Тарусе мальчишки, размахнувшись, кидали, боком держа, плоский камешек и он летел, задевая воду, скачком рикошета, зажигаясь в полете об Оку.

— Сереженька, а *вы чудно* смеетесь... — упоенно сказала Марина.

— Я только что об этом думала... — сказала я радостно.

— Да? — рассеянно отозвалась Марина.

В Коктебеле от Бориса Сергеевича не было письма. Макс писал этюд: лиловые, рыжие, дымчатые холмы оживали под кистью. Нас встретили вестью, что на днях все мы поедем на мажаре в Старый Крым, где у Макса — друзья.

## Глава 8

### НА МАЖАРЕ ПО КРЫМСКОЙ СТЕПИ. МИРАЖИ. НОЧЬ В СТАРОМ КРЫМУ. «НОЧИ БЕЗУМНЫЕ»

Близ станции Ислам-Терек степь — та, прославленная Запорожской Сечью — кончается о горизонт, он — в самой жаре — лежит гигантским кольцом — легким, серебрящимся, голубящимся гигантским кольцом. За Ислам-Терекской степью — *нет* кольца. У нее нет горизонта. Он растаял круглым видением отклубившейся от земли жары и пошел согретой волной стирать даль, и по его следам заструилось что-то, чему нет названия, как горячий воздух над начавшим затухать костром.

— Какая там деревня? — спросил кто-то из нас Макса, показывая на далекие, перемноженные слоями зелени домики. — Татарская? Ортай?

— Там нет никакой деревни, — сказал Макс, оборачивая к нам улыбнувшееся загорелое, обветренное большое свое лицо, — это *мираж*, здешний...

— Как?! — мы хором. — Здесь миражи?

— Мы с Петром Николаевичем ехали как-то, — вступает Коля Беляев, перебивая Макса, — и вдруг пароход — далеко в воздухе, и мы стали смотреть: мираж или нет — у меня лучше глаза, и я увидел, что труба-то у него — снизу; это бывают такие миражи, когда всё — вверх ногами...

В этот миг на мажару высоким скоком влетел, подпрыгнув, Мишин фокстерьер Тобик. Миша сбросил его, но Тобик тотчас же взлетел снова — только еще выше, так что упал *на нас*. Уже рассерженно Миша сбросил его опять, и Тобик *мгновенно* вновь очутился с нами. «Это какой-то *дождь* из Тобика!..» — философски пояснил Макс.

Как странно, что я не помню, где мы еще были до приезда в Старый Крым! Явно, что заезжали еще куда-то, потому что в Старый Крым прибыли ночью. Но имения потомков Айвазовского «Шейх-Мамай», «Эссен Эли» спутались в памяти с событиями поздних лет, и первое впечатление от какого-то посещения в тот день — выпало. Я помню только синюю миражную жару дня, струящийся воздух дали, колыханье мажары и то, что нас было много, а кто точно был — не помню, кроме Макса, Сережи, Марины, Лили.

Помню свою любовь к Лиле, к ее горячности, искренности, способности восхищаться, ее ни с чьим не сравнимый смех, огромность карих глаз и внезапное сдвигание бровей, вспльчивый гнев, негодование, когда что-то было грубо, неверно, не по ее стремительному пылкому духу. Она глядела на человека и испытывала его взглядом, познавала; проверяла, поглощала, ежеминутно соотносясь с его, ею наблюдаемым, чувством, с его вот сейчас совершаемым поступком, в какой-то трепетной готовности оценить, отозваться, назвать — и себя ежемгновенно проверяя, так ли поняла, верно ли оценила — то ли произошло только что, что ей чудится?

Счастье познавания — оно пылало в ее и гневном, и повелительном ожиданье чудесности от человека. Этот трепет роднил ее с Сережей. Коля нравился мне — красотой, ядовитой горделивостью, чем-то едким, чего много. Он не на всех посягал. Иные люди были для него — неприкосновенны. Мне

чудилось в нем некое — благоговение? бедняка перед сильными мира сего, и это во мне вызывало к нему жалость — и грусть. Вспоминался М-г Arnauld de Lunquière, его независимый ум в знатном доме. А глухо, в самой темной глубине сердца жила еще раз отнятая первая любовь. Нилендер! Коля полулежал на сене, выбрав себе место возле меня. Синие глаза под гущиной черных бровей, прямой нос, слишком полные губы. Годами Коля старше меня — и чем-то моложе. Только мужественной и чуть мальчишеской еще красотой он мне нравился — душой он мне был далек: примитивен.

Уже темные сумерки. Мы подъезжаем к Старому Крыму.  
— Макс, скажи стихи! — просит Лиля.

Макс, покорно: «...Облака клубятся в безднах зеленых, лунчезарных восхода. / И сбегает тени с гор обнаженных / Цвета роз и меда...»

Мы невольно оглянулись: нет, ночь, звезды... И Макс, поймав взгляд наш, — медленно, точно колдун: «...И низко над холмом дрожащий серп Венеры, / Как пламя воздухом колеблемой свечи...»

...Мы почти пропали в ночной теплой мгле. Тобик давно спит возле похрапывающего Миши. Макс что-то рассказывает Марине, Сереже, Лиле и Вере, изредка — их реплики и вопросы. Я не слушаю. Я вижу острый лучик звезды, голова чуть покруживается от близости Коли, и я укоряю себя: неужели Б.С. — прав, я его — для кого-то оставляю? Вдруг что-то теплое тихо и бережно касается моей щеки: губы Коли? Я тихонечко отстраняюсь, перекладываясь подальше. Сердце бьется — испугом и недовольством: этого я не хотела. И как он посмел? Но я ничем не выдам себя — пусть поймет сам. Я ложусь иначе, точно устав — так. Огни Старого Крыма.

Но Коля понял. Он взволнован и начинает намеками издалека — извинение. Я делаю недоумевающий вид. Но мы уже приехали. Усталые, все сходят с мажары, разминаются. Избегнув Коли, я слезаю с помощью Макса. Как дружески теплы и добры принимающие меня руки! Он уходит к дому, стучит — там уже спят? Коля стоит в полутьме передо мной и — на мое дрящееся изумление — в чем дело? о чем он? — начинает — видимо — думать, что, может быть, он в темноте

ошибся, вместо моей щеки тронул губами (полную!) руку Макса? Мгновенно поняв это, я потешаюсь всюю: мщу за поцелуй — продолжаю не понимать. Но когда он, мне поверив, допустив возможность ошибки, только хочет облегченно вздохнуть, что он меня не обидел, я, вдруг сменив тон и засмеявшись недобро, в лицо, отвечаю ему, что он плохо во мне разобрался — и на мажаре, и здесь.

— Есть разные люди, — говорю я. — может быть, на моем месте другая поступила бы с вами иначе! Но мы с Мариной стоим в жизни с опущенными, и только опущенными руками! Мы принадлежим, Колечка, к тем, кто, — я на минуту запнулась — и по лицу не дают, и на шею не бросаются! — И так дав по лицу, я повернулась и пошла к дому, где уже раскрылись двери, принимая поздних гостей.

— Входите, входите, пожалуйста! — кричал добрый низкий женский голос. — Добро пожаловать! Мы, Макс Александрович, по правде сказать, гостей уложили и с Николаем моим Ивановичем спать залегли, но — что вы, что вы! мы рады дорогим гостям, милости просим!

В доме зажигались лампы, фигуры встававших кидали длинные тени навстречу нам, входившим в дом. Через полчаса на столе уже кипел самовар и уничтожалось угощенье. Затем стали просить Макса сказать стихи. Макс прочел их несколько, но запомнилось мне одно. Вот оно:

Ясный вечер, зимний и холодный,  
За высоким матовым стеклом.  
Там в окне, в зеленой мгле подводной  
Бьются зори огненным крылом...

Или я вдруг устала? Гляжу на Макса, но перестала слышать — так бывает...

Теперь просят нас. Марина видит, что я очень устала.

— Ну, скажем одно! Неудобно отказываться...

И мы начинаем — «Июль — Апрелью»:

Как с задумчивых сосен струится смола,  
Так текут наши слезы в апреле,  
В них весеннему дань и прости колыбели,  
И печаль молодого ствола.



Как всегда, расспросы, изумление — так бывает только у близнецов.

— Марина, неужели вы это про себя написали? Ведь вы и есть Апрель! Июль вы будете через десять лет...

А еще через полчаса, к середине ночи, был в доме разгар музыкального вечера: «Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали...» — и маленькая, незаметная, некрасивая хозяйка дома пела нам старинные романсы. Я сразу проснулась. Несравненный, еще не начавший увядать в глуши и забвении, голос ее, низкий, темный, в котором слились мощь и нега, наполнил дом и утопал в музыке все глубже и глубже, пока из глубин ночи не вспыхнул рассвет и не начал новую ворожбу над нами, не хотящими спать. «Ночи безумные...» — пела она, маленькая певица с неповторимым голосом — Олимпиада Никитишна Сербинова, и сколько нас было — внимали ей так, как внимал бы театр оперы. Будь здесь Петр Николаевич (его не было!), он просто бы плакал, чистая восторженная душа, — о той, неведомой нам, которую когда-то любил романтическим обожанием.

Голос пел. Он поднялся громом. Он ворвался грозой в наши распахнутые, как окна, сердца, и там, за пределами дома и сада, ночь внимала ему, прикинув к окну, слушая «Ночи безумные...»

Я помню еще и сад, и нас на траве, в звездах росы, цветение рассвета. Наши сборы — дальше, и кого-то под черным плащом у треножника, голос — чтоб «минуту внимания»... — вспышку магния! И вот мы снова едем и едем вперед...

Мажара трясет, и Сережа уснул под лучами восходящего солнца. Марина не спит. Она смотрит на него, спящего, и вся страсть Жалости, Верности, Любования, вся Преданность и вся Печаль Мира — в ее похудевшем за ночь лице. ...Его рука так близко, она не поцелует ее — пусть спит!

## Глава 9

### В МОРЕ. ПИСЬМО БОРИСА. ВЫЗОВ НА ДУЭЛЬ

Не пойму и сейчас, как я, тонущая в Оке в шесть лет и вообще воды боявшаяся, так легко согласилась — рванулась! — ехать на паруснике в море, так в тот день волновавшееся.

Решились: силач и пловец немец Шааф, хилый Максин кузен Миша и я. Тобика заперли, чтоб не поплыл вслед. Макса не было, ушел в горы. И Пра не было дома — они бы не отпустили. Я не знаю, где были Марина с Сережей. Пока мы плыли по бухте — было весело, волнение волн не пугало, но вдруг начался свист в ушах — и с невероятной быстротой мы понеслись, рассекая волны залива. И я поняла, искоса взглянув на Шаафа, что он не ждал, что нас понесет *так!* Пробурчал что-то про «открытое море», куда не хотел выходить? Только ветер так креп... Вокруг нас была — буря: волны летели, яростно креня баркас, его наклоненный край шел почти у самой воды. Я закрыла глаза и села на дно. Шааф, вскочив, работал у паруса и что-то кричал Мише, но тот в страхе прилип к корме, не помогал. Что-то не поддавалось Шаафу — узел, который он рвал, был как сталь. Он кричал, *приказывая* Мише, ругая его на чем свет. Тот — хныкал. Я сжала тетрадь дневника, хотела было записать что-то — неужто конец? — когда раздалась через свист и рев — слова мне Шаафа:

— Слушайте, Ася. Если мы сейчас опрокинемся — *не* хватайте меня за шею! Это мне помешает спасти вас. — Голос его был деловито спокоен.

Встав на скамью, запрокинувшись всем телом назад, он рвал пальцами узел каната всею силой мышц. Узел не поддавался. Нас выносило в гибель.

Нас захлестывало. Шааф кричал во весь голос, его слова долетали порывами ветра, повторно и с разной силой:

— Ася! *Если* нас опрокинет — *не бойтесь!* Я — пловец. Проплыть несколько верст для меня ничего не значит. Мы от берега верстах в восьми, я плавал и по пятнадцать! *Только не хватайтесь за шею! Идите спокойно ко дну* — иначе вас *под баркас* потянет! А когда вы выплывете, я вас оглушу и доставлю на берег. Поняли?

Несмотря на *весь* страх, смертный, я помню себя глядящей на Шаафа с чем-то вроде, без слов, горького юмора: вот человек, который меня не понимает, — «спокойно» идти ко дну! Я что-то записала в дневник. Тогда раздался, вместо моего, Мишин ответ моряку — громко, через свист ветра:

— А чем я виноват, что я — не женщина, — кричал он, чуть не плача, — ее вы будете спасать, а меня?

Грянула немецкая брань Шаафа. Баркас плясал, наклоняясь все круче, пенные гребешки волн заливали скамейки и дно.

Миг — и в эту минуту руки Шаафа, одолев узел, что-то сделали мгновенное, невероятное, парус перехлестнулся, меня направление, надувшись в другой бок, — качнуло (как мы уцелели в сальто-мортале баркаса?), и нас стрелой понесло *назад, вбок*, не на Коктебель уже, но в сторону берега. Мы летели по волнам, как нож их взрезая. Открытое море было уже позади нас.

Я не успела понять — ни вздохнуть; Шааф что-то крепил, связывал — берег был уже виден, близился.

Буря тут была уже тише. Что это, Золотые Ворота? Мы летели к Сердоликовой бухте?

Когда мы, повернув еще раз, на веслах уже, начали близиться к Коктебелю, стало видно, что берег полон народу — и на всех домах, на балконах и на Максowych лестницах, вокруг мастерской — люди. Затем мы разглядели, что у многих подняты к лицу руки. Стало понятно — к биноклям.

Опустив свой, Макс уж бежал вниз по наружной лестнице... Тут только мы увидели большой баркас коктебельского рыбака Кафара, готовый к отплытию, — его снаряжали нам в помощь.

Макс бежал и кричал. Я разобрала свое имя. В этот миг *наш* баркас опрокинулся возле берега, где было воды по шею, и Шааф, взяв меня на руки, понес над водой, как трофей, зло бросив попавшему в воду Мише:

— Пльви!

Я лежала на берегу, теперь без сил встать, незавидный трофей плавания, а Макс кричал на меня, как я и не знала, что он *может* кричать, — о моей глупости, никого не спросив, не сказав... было сказано и о папе. «Ведь ты же могла утонуть... Пойми!» Я поняла: я жива — и еще *больше* люблю Макса!

А моря с тех пор — боюсь.

В мокрой тетрадке дневника стояли слова, нацарапанные перед возможной гибелью. Они гласили: «Мокро и страшно». Моему юмору над собой не было конца: «последние» *слова жизни!*..

Марина, все узнав, если и испугалась — то не очень: разве Ася могла утонуть? Мы будем жить, жить... Она смотрела на меня таинственно и лукаво — как на добычу. И вдруг протянула письмо:

— От Бориса Сергеевича. На!

Почерк круглый, корявый, ни на чей не похожий. Любимый. Часть письма была — карандашом, часть — чернилами. Я унесла листки от всех, в свою берложку. Закрылась... Сколько любви, сколько тоски! Он писал, что скоро приедет.

Произошла необыкновенно странная история. Она началась с того, что вот этот самый Максин кузен Миша — посвятил мне стихи. Это были стихи плохие, вроде тех, которые у Достоевского писал капитан Лебядкин — «...гарцует звезда на коне / В хороводе других амазонок. / Улыбается с лошади мне аристократический ребенок...», — и трактовали они о некоей женщине, которой он был бы увлечен — шли описания ее прелестей, которые я, к счастью, забыла — если бы не... — я запомнила окончание — может быть потому, что оно больше всего меня поразило, как вполне загадочное: «Простите вы, красы младые! / Порок и страстность ваши я ценю, / Но ваш расчет и ваши мысли злые / Я ненавижу и кляню!» Кроме того, я в этих стихах являла собой какую-то не известную мне «Мессалину».

Схватив листок с кривыми, мелкими, нервными буквами (Мише, кстати, было немало лет, он обрастал периодически рыжеватой щетинкой и бородой и по болезненности имел даже подстарковатый вид), я помчалась искать Макса или Елену Оттобальдовну, Пра.

— Макс, — кричала я еще на бегу, распахивая комнату за комнатой и не находя никого, — Макс, Пра, — что это такое — Мессалина? Меня так зовет Миша. Мне ж интересно знать: кто это?

— Что такое? Мессалина? Ты? Миша? — сказала, снимая пенсне (она работала над новым шушуном), Пра и глянула на меня синими германскими глазами. Седые короткие, пышные волосы, небольшой орлиный нос, маленький, будто еще девический, волевой рот. Она взяла у меня Мишин листок, вновь надела пенсне и стала читать. Я постояла за ее плечом, затем сорвалась с места и помчалась искать Макса. Я заметила, что Пра сердится.

Я нашла Макса в верхней его комнате, которую я звала «потайной», над мастерской, — той, где было длинное окно под потолком в заходящее солнце и другое — широкое — на море. Дверь была заперта. Он не отпер мне.

— Ася, я сейчас не могу, я пишу. Но как только я освобожусь, я приду. К маме? Стихи? Тебе? Миша? И Пра сердится? Хорошо, я скоро приду.

— Макс, прости, я только одну минуточку: а что это — Мессалина?

— Мессалина — была женщина. А тебе это зачем нужно?

— Так меня назвал Миша.

— Что-о? — с шумом отодвинулся стул, щелкнул дверной ключ, и моим удивленным глазам предстал разъяренный Макс. Казалось, даже полынный веночек подпрыгивает на войлочной густоте кудрей. — Когда он тебе это сказал?

Испугавшись Макса, я уже жалела о сказанном. Наверное, надо было *просто* эти стихи *выбросить*. Бедный Миша, что теперь будет!

— Ася, Миша — больной. Вероятно, так. Раз он мог сказать тебе... — Макс хотел успокоиться?

— Он не сказал, Макс, честное слово! Он это мне написал — в стихах!

— В *стихах*? Где они?

— У Пра! Она их читает...

Макс летел с лестницы (и по комнатам), как будто в нем не было «семи пудов мужской красоты», как он говорил о себе. Сандалии яростно топали по ступенькам.

Пра протянула сыну листок.

— Я тебе всегда говорила, что он сумасшедший. Написал какую-то галиматью...

Макс читал, и гнев в лице боролся с поэтическим и природным чувством юмора — в другое время он бы мог всласть наслаждаться ляпсусами Мишиных виршей. Превозмог — гнев: дочтя последние строки, он бросил бумажку и пошел вон из комнаты. Но я не хотела пустить его таким злым — и я хотела понять смысл строк о расчете и о «злых мыслях». Расчет? Может быть, он говорил — об *уме*? Втайне я хотела себе объяснить этот смысл как Мишино утверждение, что, несмотря на чувства мои, рассудок, ум у меня — берет верх...

— Макс, а Мессалина? И о каких злых мыслях он? Да ты не злись *сам*, Макс...

— Я не злюсь. Я просто иду поговорить с Мишей, — кротко сказал Макс.

— Макс, это он про что? — сказала вдруг Пра. — Про те шестьдесят тысяч, этот дуррак? — И «р» в «дураке» прозвучало особенно громко.

— Я думаю так, мама, — отвечал Макс; и сандалии захлопали по ступенькам другой лестницы — вниз, во двор, к комнате Миши. Дело о стихах — разгоралось...

— Я ничего не понимаю, Пра, — сказала я, сев возле нее, — какие тысячи? А Миша действительно сумасшедший?

— А ты думаешь, Ася, нормальный человек пишет девушке такие стихи? Девушке!

«It dawned upon me!»\*

— Мише этому по наследству оставлено шестьдесят тысяч рублей. Вот он, ду-р-рак, думает, что все девушки и все женщины его завлекают, *чтобы их получить*...

Пра, может быть, не ожидала эффекта своих слов. В миг, на нее взглянув и поняв, я попала в такой мешок смеха, что сразу уже, предчувствуя, что без колик не обойдется, как и там, у Петра Николаевича, съехав возле нее на ковер, я — надрывалась. Но и Пра не заставила себя ждать. Еще держа в руке пенсне (собиралась братья за свой шушун), она хохотала, взглянув на меня. Вторя мне таким же внезапно родившимся хохотом, потом стал вторить нам ее кашель, и только он нам обоим помог.

И вновь от Бориса Сергеевича письмо! Я держу в руках синий конверт, небольшой, из почтовых, дешевых, случайных, драгоценней мне всех книг и писем на свете, и иду с ним — в степь. Не к морю, оно шумит, и там — даль (не надо ее сейчас!), — в степь, где еще не сверчат, еще не вечер, цикады, тишина, полынь и холмы. Там я вскрываю конверт.

...И когда-то не было со мной на свете этого почерка? Этих родных, как-то по-страшному, букв, стоячих и кое-где в спешке — наклонных. Нет, он не спешит, он романтически обдумывает каждое слово, он старается в слова вложить свою, наполнявшую его, любовь.

Как я жила, не зная, что он есть, что мы встретимся? И что заставило меня забыть, как это письмо начиналось и кончалось? Необоримость прожитых лет? Я читаю — и я живу.

\* «Надо мной рассветало!» (англ.)

Я только теперь понимаю, что вовсе не жила это время — притворялась, говорила, слушала и смеялась, потому что терпеливо — ждала... Может быть — это совсем невозможно — нам быть вместе — тут, где люди, пусть близкие, но с ним я не могу быть среди них. Мы должны быть — вдвоем, только! Мы уедем в Финляндию, в тот туман, в те камни и горы, о которых говорила Марина, в прохладу — из этой жары, где все липнет к телу, где ешь чебуреки с перцем и все время плюешь черешневые косточки и косточки абрикосов — и где сумасшедший Миша со своими тысячами и стихами! И только тут я вспомнила, что я *так* и не узнала, *кто* же эта самая Мессалина...

А вечером Макс спросил меня, приходил ли Миша ко мне — извиняться. А затем я узнала (от кого?), что — я еле ушам поверила — Макс вызвал Мишу на дуэль!..

## Глава 10

### СМЯТЕНИЕ. ПРИЕЗД БОРИСА. НОЧЬ У МОРЯ

Я изволновалась ужасно: то не верила, то пугалась, то хотела идти к Пра — и не знала: имею ли я право, может быть, Макс от нее скрыл! Но это был день, когда я уезжала в Феодосию встречать Б.С.Т., — и все пугалось. Я помню Макса, стоящего со мной в комнате (где я, почему-то рядом с комнатой Пра, находилась), и мы говорили о Мише. Макс сказал мне, что, он думает, Миша образумится, не захочет идти на опасность, но что иначе он поступить с Мишей не мог. Я помню этот разговор, как во сне. Ходила ли я к Пра? Обещала ли она все уладить? Ничего ясного в моей памяти нет. Знаю только, что факт этого вызова *был* и что я уезжала в смятении. Кто-то меня успокаивал, что — обойдется, Миша *извинится*. Конечно. Я объясняла кому-то, что мне его извинение не нужно и что ведь он — сумасшедший? Мне отвечали, что — не настолько, что есть вещи, которых нельзя делать. Может быть, это все говорил — Макс? И именно теперь — я должна уехать! Хоть бы он скорей извинился, но он не шел. Я не помню — ни с кем я ехала, ни одна ли. Не помю ни Феодосии — ничего. Я представляла себе золотые волосы, пышные, прямо обрезанные у шеи. И на них — чуть

вбок — желтую меховую шапку. Синий взгляд, прежде — пронзительный, с ледяным чем-то. Таким я встретила его — *таким он цвел в памяти*. Вечером — я увижу его!..

И я помню свое потрясение и обиду, недовольство, негодование, когда из вагона вышел совершенно неузнаваемый человек — плохо одетый (я так мечтала об эlegantности — к его природной грации!). Он был в черных очках, и золотая пышность волос... *ее не было, он — остригся!* Но был голос — его, его «р», его смех и то, как смущенно и весело он дал вести себя по незнакомому вокзалу и городу, как не воспринимал их, как глядел на *меня*, — все это было с той карточки, которую он называл «настоящее» — его любовь ко мне.

Это был он: тот, которым я жила уже столько месяцев; от которого оторвалась так давно, в майский вечер; которым полны даль, музыка, закатное и ночное небо Коктебеля, каждая строчка стихов. И вот все это сошлось, воплотилось, вошло в него, идущего рядом, и голос его бьется о меня как большая птица. Я вместе с ним иду вдаль. Но это все — не то! Слова. Образы... Было только одно чувство, оно называлось: Он — есть...

(Как мне часто начинало казаться в нашу разлуку, что его — нет: приснился, ушел, растаял...)

Поздно вечером подъехали к дому Макса. Мы ехали с Верой Эфрон. Дорогой она молчала, нас не желая стеснять. Говорили мало, ни о чем. Я была счастлива, но в счастье моем было жало, что я не смогу блеснуть им — перед всеми: придется объяснять, что ему при химическом опыте обожгло глаза. И его пышные золотые волосы живут — только во мне!

Холмы были темны, стрекотали цикады.

— Борис Сергеевич, вы в первый раз увидите море?

— Да, моря я никогда не видел...

А оно уже шумело. Еще это счастье! Показать ему море... Вместе стоять у него! Я еще не успела додумать, дочувствовать, когда (коляска еще только останавливалась у калитки) Борис Сергеевич легким прыжком соскочил на землю. И — пропал в темноте.

Я окликнула. Позвала. Его нет... Удивясь, огорчась, я пошла вперед, туда, где он исчез. Он стоял у моря, сложив руки на груди, и потрясенным — и все-таки ледяным — голосом



вдохновенно и отрешенно читал. Забыв меня, забыв все на свете. Дрожал, торжественно, голос, и был рокот его «р»:

Я видел море. Я измерил  
Очами жадными его,  
И пред лицом его поверил  
Я мощи духа моего...\*

Слова шли медленно, будто он их рождал — из себя.

И было что-то одержимое в его слиянности с морем, он был — там, без остатка, весь. От обоих веяло холодом. Я стояла одна, уже *покинутая*, в эту первую нашу ночь — морскую.

Вера ушла в дом, коляска уехала, мы тоже шли к дому, но как-то случилось, что не вошли в него, а пошли кружить вокруг, медленно и рассеянно, все большими кругами, пока не погасли один за другим все огни в доме. И как-то иначе опрокинулось небо с яркими сначала, затем — куда-то отходящими звездами. Где-то залаяла собака — и стихла. Жили мы — и морской приборой.

— Вам не холодно? — спросила я вдруг. — Почему-то очень свежо. Я — в пальто, а вы...

— Я взял из дому пальто, — отвечал он, — а затем в поезде мне показалось, что оно совершенно лишнее, и я выкинул его в окно...

— Пальто? Выкинули? Но как же — зачем?

— О, это мне совершенно не нужно, — вы же знаете, я и зимой хожу в пиджаке. Я зря его взял.

И он рассказал, как однажды в сильный мороз он так шел по Москве, на него глядели с негодованием, и он вдруг встретил брата Николая. Тоже в пиджаке. Они шли вместе — и на лицах прохожих было явное к ним отвращение. Так они долго ходили — говорили о чем-то — и в каком-то страшном переулке за Горбатым мостом — натолкнулись на третьего такого же, «в одном пиджачишке»... Это был брат Сергей. Они шли, смеясь, а прохожие сторонились и спешили от них прочь. Рассказ этот, как все рассказы Б.С.Т., был передан в гиперболических выражениях, на границе юмора и сарказма. Устав, мы присели на чем-то. Еще не светало.

\* Полежаев.

Рассказала ли я Борису Сергеевичу о Мише и Максе? Думаю, нет — бояясь и его вмешательства в этот тревогой и опасностью обернувшийся вздор. Но мы, конечно, говорили о том, что уедем в Финляндию. О Марине и о Сереже. Я мечтала скорей их познакомить. Как они покажутся друг другу — Сережа и Б.С.?

В одном из последних писем своих Б.С. мне писал, чтобы я была снисходительна: в жизни, в быту, где мы еще не встречались, бывают часы, когда в жаре или усталости дня человеку ничего не хочется, кроме кваса или капустного пирога... Я этим строкам улыбнулась, почти — да конечно! — радостно: ведь и мне это было ведомо! Значит, он отлично поймет, что нам, в теперешней стадии отношений, надо уехать куда-нибудь в новое место, где мы среди незнакомых людей были бы только вдвоем, с минимумом быта. И — без жары, от которой тупеешь! Сидя у моря, в его рассвете, ласковые к нему за то, что оно здесь (единственное прохладно!), и к рассвету — за его свежесть, мы говорили о том, как скорее уехать в туман, в горы, где никто нас не знает, не видит. Там — место таким, как мы.

Сколько прошло часов с приезда Б.С.? Целая ночь: беседы, несчитанные часы, свобода без людей (ночь — и мы) сблизили нас — будто мы давно вместе. А рассвет разгорался. Он приподымал крылья — медленные и длинные, он веял дробком и запахом волн, он качался и сомневался в себе, легчая и подымаясь, а над нами, как в гигантском театре, уже голубело и опрокинулась глубина глубин. Рассвет исчез. Было утро. К нам шел человек.

Это был Миша. Когда он успел встать? Жизни вокруг дома еще не было.

Миша шел и делал мне знаки. Гора падала с плеч — и в миг я поняла, почему я была все же спокойна всю ночь и день в Феодосии, хоть вызов был, и не сдайся Миша... Я чувствовала, что Миша раскается — поймет. Я шла навстречу, уже улыбаясь, и когда он, спотыкаясь о слова, начал что-то невразумительное и виноватое — я быстро закончила разговор. Но на лице Миши было не только облегчение от моего ответа, там было что-то еще и другое, совсем непосредственно радостное, какое-то почти сиянье в лице, и я поняла, в чем дело: он увидал меня не одну. С Борисом Сергеевичем! И с него спала гора: он ошибся по-настоящему — в тех сти-

хах ошибся, его не завлекали, в этот раз его 60 000 не были нужны; мы крепко жали друг другу руки, и я смеялась.

И тогда я вернулась к Борису — я уже раза два назвала его так — и, когда Миша ушел, рассказала ему всю историю, и мы вместе смеялись, жалея Мишу, любя Макса, и лицо Бориса было все золотое. Это был колодец, должно быть, на краю чего мы сидели, ночью не распознав. Смеясь, мы встали и пошли бродить, а затем повернули к морю.

Оно лежало огромное и совсем тихое (мы и не заметили, когда оно перестало шуметь), и в нем была свинцовая синева. И было, вдали, сияющее отсутствие цвета, — и только чуть-чуть — перламутр, там, где даль — ее не было, небо и море слились, и солнце, только что вставшее, плавало или парило, нельзя понять, и под ним, и вокруг, и внизу, где, должно быть, лежала зеркальность, было легкое, чистое, бледное золото — розовое. И две наши длинные тени.

Теперь мы вместе стояли у моря. Вдвоем.

## Глава 11 РАССТАВАНИЕ

Мы уезжаем. Мы в Феодосии. Мы не знаем, где сейчас Марина с Сережей, потому что мы не встретили их в городе, а они тоже тут, они уезжают в уфимские степи, на кумыс.

Вчера мы с Борисом ходили в деревню, пили в кофейне татарский кофе — сколько гущи в стакане! — шли, нагруженные абрикосами — черешни кончаются, и ели, пока уж больше не могли.

Я докупила у татар несметное количество татарских полотенчиков с темно-красным и зеленым узором, разных, — это будет на стену ковер. Марины не было, и я сомневалась, какие брать из других, тех — с серебром, золотом и шелками, воздушных, и радовалась, удивленьем, что Борисунравились точно те же, — я их и купила. Марине ужасно понравятся! День был жарок, синева неба — лиловая, шаг наш по дороге был звонок, мы прощались с горами и с морем, с Максом, с Пра, с Кончиттой, Верой, Лёней и Бэллой, и Людвиг пришел через горы; от его этюдов моря, неба и гор — в сердце что-то захолонуло, точно они были написаны — в нем. Глаза на шестнадцатилетнем лице Людвиги были — Вергилиевы.

А сегодня — над нами колдует Феодосия, итальянская, с паломниками, бусами, рядами фруктовых сухих колбас (орехи и сгущенный сок винограда!) на гвоздях в лавочках, и шум снова заревевшего моря, и пирамидальные тополя. В них столько птичьих голосов, что кажется — еще больше, чем листьев! Неизвестно, это листья бьются о воздух или так сверкают щебеты птиц...

Наш поезд идет сегодня поздно вечером. Мне же *надо* увидеть Марину! И я хочу, чтобы *встретились* Сережа и Борис! Где ж они? Мы искали их всюду — и по улицам, и в гостинице, и в том густом садике, где цапля с малиновым глазом и старички.

И вот наконец мы сидим у Петра Николаевича на том же кожаном черном диване, где мы падали с Сережей от смеха. Овальные портреты, картины, шитые бисером (все это плод трудов, поисков, отказа себе в чем-то нужном, плод страсти, радости, вдохновенного отыскивания старины — миниатюра тут чуть надломана, там не хватает кусочка в фарфоровой раме зеркала, бисера — в вышивке, и клеена, заботливо, чашка синей и золотой глубины). Петр Николаевич взял гитару и трогает струны, звук глухой, тихий — точно поют певцы с закрытыми ртами... Марина и Сергей должны прийти. Вещи их на вокзале. Их поезд отойдет раньше нашего — мы пойдем их провожать! Как это все-таки странно, до невероятности даже, что мы уезжаем с того же вокзала — и в *тот же* день! Ни в одной книге такой главе не поверили бы! А вот оно пришло — совершается.

...Расставанье с Мариной! Даже и сейчас я не верю. Это то, что не ложится в голову, не вмещается в сердце. Оно живо только потому, что в него не вошло это горе, — реет, носится, тает — и разум в него не верит. И еще потому, что рядом Борис Сергеевич. Он вступает в то место, где была с рожденья Марина. Не будь этого... Но он здесь. Он не дает мне доосознать и дочувствовать. Да, но и когда поезд уйдет, Марина — вернее, *утрата* Марины — будет со мной! И *он* будет. От этой наполненности меня не спасет никто! Навсегда.

Борис Сергеевич сидит, откинувшись в кресле, и слушает гитару. Какое удивительное у него сейчас лицо!

В печали струнной гитарной мелодии, во внимании к ней он кажется старше. Глаза — прозрачней. Еще обреченней.

Какая горечь у рта... Сходство его с Леонардо да Винчи — явно, тревожно. Но мы вместе. Неужели я не сберегу его!

Я перелистываю тяжелые картонные страницы альбома, скользя глазами по лицам давно умерших, в старинных нарядах, людей. Закрываю его. И рукой, рассеянной и растерянной, подымаю тяжелый том — монографию. Золотоосенний боскет; камзолы и пышные платья давних лет — Сомов. И вдруг, как это бывает и как это трудно описывать, — два рядом стоящих предмета, ощущения, впечатления сливаются в одно, что-то вещее — вперед увиденное, безмерное, несомненное, — ты его коснулся рукой. (Я просыпаюсь из сна в сон — в явь, другую.) Все напряжено во мне нестерпимой стремительностью. Я готова вскочить, крикнуть:

— Слушайте же все! Не слышите? Мы...

Звонок. Петр Николаевич бросил на диван гитару, спрыгнул на пол, потягиваясь... Смеясь, сияя, в комнату входили Марина и Сережа. Борис Сергеевич встал им навстречу...

## Глава 12

### НА ФЕОДОСИЙСКОМ ВОКЗАЛЕ. СЕРЕЖА, МАРИНА. БОРИС, Я. ПРОЩАЛЬНЫЕ СТИХИ В ДВА ГОЛОСА

Мы стоим на перроне — вчетвером. Вечер. Над Феодосией он дымится темным золотом, как рукоятка червленого кинжала; над городом — тучи.

Мы все ходим и ходим взад и вперед, то все четверо, то, спутав узор, в толкотне, по двое — и перекрестно по двое.

Вот они узнали друг друга, Сергей Яковлевич и Борис Сергеевич! И вот сейчас, простившись, разъедутся, разъединив и увозя — нас.

В разговоре на вопрос Сережи о возрасте Борис, засмеявшись, сказал, что им — равно лет. Я нахмурилась, настожила, но он так чудесно смеялся: Сережа старше меня на год, Борис Сергеевич на — полтора года? А я поверила, что ему двадцать семь! Но ведь это все равно, совершенно. Все круче тучи, все золоче закат, все сильней морской ветер, все ближе отход поезда...

Разговор о Финляндии — Гельсингфорсе, Эсбо, куда советует нам ехать Сережа. Там так дешево, финны такие чест-

ные, прогулки в туманах так фантастичны — совершенно сказочная страна! — мы остановимся в Москве, в Трехпрудном, на несколько дней — сейчас там нет ни папы, ни Андрея...

— Папа пишет, ему доктора велели — в Наугейм, — говорит Марина, — для сердца, Шварц сделал свое дело!

— Но папа пишет, что не хочет ехать, хочет отложить на потом?

— Господи, хоть бы скорее Музей открывался... А ты как с деньгами устроилась? Папе пока не напишешь? Макс будет пересылать?

Первый звонок? Нет, еще нет, показалось!

Мы остановились на повороте, вдруг — глядим на них, обе. Высокий Сережа в летнем пальто клеш, в соломенной мягкой шляпе. Снял ее. Темная прядь надо лбом еще удлиняет лицо, узкое. Черные брови, плавно, по краю надбровья. Сиянье огромных глаз — не светлых и не темных — аквамариновых. (Из позже — стихов Марины.) Среднего роста — стройная фигура Бориса. Под снятым сейчас кепи — светлая золотистость. Уступив мне, он снял очки, черные, мучившие меня три дня, и Марина, Сережа видят его глаза: большие, холодные, синие. Худоба щек. Тонкий нос, очерченные ноздри. Неслиянность ни с кем в лице. Но как он чудно смеется!

Тучи в небе совсем черные.

— Ася! Хочешь, стихи скажем? Им, на прощанье?

Они оба становятся ближе к нам — и мы говорим, торопимся, ожидая первый звонок. Заката уж больше нет в небе. Нам некогда выбирать. Кто-то из нас начал, и другая, впадая в унисон, и, по знакомым изгибам голосовым, упоенно: «Наша встреча была — в полумраке беседа...»

На лицах Сережи и Бориса (как они не похожи! ни цветом волос и глаз, ни чертами) сейчас то же выражение удивления, радостной поглощенности, которое бывает у людей, присутствующих при чем-то необычайном, дотоле не слышанном и не виденном: два голоса — явно же, с двух сторон! Но это же *один* голос, *одни* интонации — понижения и повышения именно там и так — справа, как слева, — какой-то *разветвившийся* голос. На два рукава. Но и больше: кто сказал, что они не похожи, Марина и Ася? Да, Марина — больше и крепче, и лицо у нее круглее, нос короче (у Аси — длинный), светлей глаза, но ведь это то же лицо глядит на них

из обоих лиц, слившихся через несходства — в одно. Чуть застенчивое (читать перед ними двумя, так, в первый раз, перед расставаньем, после целой жизни в этих стихах и без этих двух слушателей!). Тронутое спешкой (сейчас будет второй звонок, за ним — третий). И взволнованное всем этим — и тем волнением, которым полны стихи, и еще тем ритмом, который колдует.

Сильнее гул, как будто выше — зданья,  
В последний раз колеблется вагон,  
В последний раз... Мы едем... До свиданья,  
Мой зимний сон!..

И вот уж стихам конец — первый? второй? (звонок). Но их — тех двоих — нет на перроне! Где они! В каких измерениях? Рука высокого юноши рассеянно отводит темную прядь ото лба, огромные глаза темны — обожаем, какой-то хрустальной мечтой... И затуманена синева глаз другого, светловолосого, с чем-то обреченным в лице. И хочется мне вспомнить слова старинной песни — они ее вспомнят когда-нибудь!.. «На заре туманной юности / Всею душой любил я милую...»

*Второй* звонок... Мы стоим перед дверью вагона, томительно ожидая, страшась, возбужденные вокзальной суетой, но ее не замечая. Начиная и не кончая фразу, волнуясь — смиряя волнение, глядя на них двух, видя лица друг друга.

Голос Сережи:

— Мариночка! Еще одно!

Марина — мне, тихо:

— Скажем «Маме!».

Я, взволнованная ожиданием звонка:

— Успеем?..

Мы доканчивали последние строки, когда раздался *третий* звонок!

— Ася!

— Марина!

В один голос:

— А помнишь...

— Ася! Ваш поезд *когда* отходит? Через час? *Пиши!*..

Рукопожатия.

— Трехпрудному передай привет!

...Они уже сели в поезд, на мгновение исчезли. Какой ужасный шум на вокзале!.. Вот они у окна — две головы рядом, выше — Сережина, ниже — Маринина, так близко! И оба они что-то говорят нам, вперебивку усиливая голос и ускоряя слова, а мы — уже от них отделенные (только что были вместе! Одно целое! Кем-то расколотое на два) — стоим, остающиеся, и на них смотрим, — они уж недосыгаемы для нас...

Мы навсегда запомним (Борис, запомните?), как они стоят, плечо к плечу, — картина художника, отъездом вставленная в раму окна вагона, в рембрандтовской игре света и тени. Сережа — узколицый, большеглазый. Полный рот его улыбается доброй улыбкой, взгляд обнимает нас, остающихся, — сейчас рванется и двинется поезд. Маринины золотисто-русые (как выгорели от солнца!) короткие кудри! Глаза! На меня глядят, немо. Скорее угадываю их, чем вижу, Маринины светло-зеленые глаза. Смелые в этот час и все же еще застенчивые — кончена наша, вдвоем, жизнь! Переводит взгляд на Бориса. Неведомого, кому меня отдает.

...Только потом лягут стихотворные строфы!

Но поезд уже идет — и мы идем тоже, и он ускоряет шаг — и мы ускоряем свой, но он спешит в своем ускорении, и мы, чтоб не отставать, начинаем бежать вслед. Слова срезало: все, что в тех, недосказанных, — переходит в один бег, все легчающий в отрывании от перрона, все крепчающий, — это уже не бег, полет... — каток, вспомни нас, Патриарший! Не мы ли неслись, даже глаза закрывая, плечо к плечу?

В раме окна что-то изменилось в картине — тревога, что мы так бежим? Знаки нам? О, не бойтесь! Ножи норвежских коньков невидимо под нами, — и ведь открыты глаза...

...Отрываемся! Они — улетают! Их отнимает даль, в которую и мы мчимся, уже не видны лица, окно стало частью вагона, — но они еще видят нас, может быть?! Не сдаемся! Двойное неприятье преград, невозможностей. Не перрон. Не вокзал! Полет и прощанье!

Уже вагон стал частью поезда... и вдруг все отрезало!

Пустота, свет, задняя стенка вагона, последнего. И колесный стук, отлетевший...

Кто-то схватил меня за руку. Еле дыша, я с разбегу стала, сжав Борисову руку. Впервые!



*Часть тринадцатая. Феодосия, Коктебель, Крым*

Мы стояли у самого края перрона! Миг — и мы бы оба с него...

Через час и мы покинули Феодосию. Без проводов, вдвоем — в ту даль.

НЕРАЗЛУЧНОЙ В ДОРОГУ

Стоишь у двери с саквояжем,  
Какая грусть в лице твоём!  
Пока не поздно — хочешь, скажем  
В последний раз стихи вдвоем!

...Пусть повторяет общий голос  
Доныне общие слова,  
Но сердце на два расколосось,  
И общий путь — на разных два.

...Пора. Завязаны картонки,  
В ремни давно затянут плед,  
Храни, Господь, твой голос звонкий  
И мудрый ум в шестнадцать лет!

Когда над лесом и над полем  
Все небеса замрут в звездах,  
Две неразлучных к разным долям  
Помчатся в разных поездах.

Так Марина описала тот день.

# Часть четырнадцатая

## ФИНЛЯНДИЯ

### Глава 1

#### ГЕЛЬСИНГФОРС. ПИСЬМО БОРИСА МАРИНЕ. СУБСТАНЦИЯ. ФИЛОСОФИЯ

Лето 1911 года. Из Крыма через Москву Борис и я приезжаем в Финляндию. Марина и Сергей в уфимских степях. Помню, как во сне, номера гостиницы, тюль занавесок, за которыми огни (моего, нашего города!) как иностранные. Два смежных номера, потому что мы — друг другу чужие... Помню ковровую дорожку загибающегося вбок коридора, длинного, как жизнь, и озноб дверей, за которыми столько чужих жизней. Графин на подносе, в котором стеклянно лучатся предметы, извращенные, как в самоваре, и прохладные, как струи Оки. И еще лучше в памяти звук музыки из ресторана — снизу, оркестровое колдовство зова, смятенье, кажется (ухо гадает сквозь водную толщу этажей) — «Тореадор»?

Вечер. У нас — утро, пьем кофе. Вензеля стаканов так тонки. Мы — в Москве? (Где дом моего отца? Квартира Борисовой матери? — какой все — бред...)

И без объяснения, грозно и просто, как все, что уже совершилось — новое двойничество, отменившее наше с Мариной: вместо нее — бок о бок, плечо к плечу, с часа, когда помчались по льду, взявшись за руки, — человек, имя которому Борис, и этот человек мой навеки, как навеки была Марина. И есть: потому что, как подкладка у листа бывает другого цвета, сжатая с листом в одно, — так под новым двойничеством не теплится, а горит старое, неразрывное со мной с моего первого дня. И где бы мы ни были, я и Борис, — с нами

Марина. Через глухое молчанье двух адресов, еще не обретших друг друга (после — бок о бок — двух комнат под коктейльскими звездами) — Марина вплотную со мной, крепя меня в каждом зове тоски и каждом летящем миге озноба, в каждом взлете вдруг охватывающей надменности, от которой трудно дышать! (Кто-то на меня посмотрел в коридоре, когда Борис меня пропускал вперед.)

О, я не хочу Москвы! Прочь! Скорей!! Не заходя в Трехпрудный, ускользнуть от акаций и тополей, от креста Палашевской церкви, от знакомых вокзальных гудков! От нашей с Мариной Тверской! Как чужие — на вокзал и нестись в неизвестность ночи и движенья, в холод рухнувшей летней ночи, сильные тем, что нас — двое, что всё в наших руках!.. Ох, как холодно стоять у вагонного окна в коридоре, лица — в ветер, в летящие искры... Прочь!

*Письмо Бориса к Марине из Гельсингфорса*

«Милая Марина Ивановна!

Утро, Ася спит. Я еще не ложился. У открытого окна вид на самый кипучий центр торговли Гельсингфорса: базарную площадь. На ней торгуют сеном, сушеной и давленной воблой и пряниками, при химическом анализе в которых получается такая чертовщина, что радостные и детски правдивые финны хмурятся и раскупают их с чудовищной жадностью. Есть еще и ценные предметы роскоши: вакса, зубные щетки, пара калош и неизменный пирожок с капустой, и т.п. Да! Но есть предметы и еще роскошнее, еще ослепительней. Вот как любят и понимают комфорт финны. Три дня мы искали по всем магазинам, заходили даже в киоски, где чистка обуви, и требовали колбасы. Но все было напрасно: с утонченной вежливостью отклоняли финны нашу просьбу или отвечали с удивительнейшим равнодушием. После этого Ася не выходит на улицу, а я потерял способность спать. Желаю Вам всего лучшего. Б.Т.

Да, кроме того, сидя на скамейке в каком-то сквере, мы прилипли так, что нас пришлось отдирать. Еле отодрали. После этого Ася не смеет садиться даже на стул в нашей комнате».

Чудом сохранилась эта открытка. На ней изображен пейзаж, бледный и скупой, очерк какой-то башни и голых де-

ревьев сквера. Это данность. Но память хранит очертания более вещные, и о них мой долг рассказать.

Площадь — привокзальная? Черепичные (?) крыши зданий вроде ратуш Магдебурга и Виттенберга, виденных всего за год до того. Средневековые? Страницы из сказок Андерсена? Скорей — Гофмана. Нечто призрачное и эфемерное в туманном июле на той площади Гельсингфорса. Прямо передо мной фоном площади стоит гостиничный дом — название ускользает. Его скупые, аскетические линии походят на детский рисунок. Это — схема дома. Но у схемы есть вход и есть окна. Количество этажей? Мы живем во втором (или в третьем? Легкость взбеганья по лестницам смещает измерения высоты). Стерты из памяти половиной столетия хозяева гостиницы. Их нет. Но стоят четко и твердо, как фигура паноптикума, женские очертания служанки. Она стара и худа, щеки ее, скорее тень щек — кирпичная. Черты сухи и строги. Говор в совершенстве таинственен: финский язык нам неведом в той же мере, как ей — русский. Это устанавливает меж нами вполне призрачное обращение. В нем главенствуют жесты. Руки служанки — бледнее кирпичного цвета, фартук — бел, походка бесшумна. Имя ее — окрестил им Борис — Субстанция. Так она зовется в отсутствии. Ее присутствие — театральное: она появляется всегда бесшумно и вдруг, как бы ни ждали ее появления на звонок. Она внезапна, как дух, но решить — целиком ли этот дух добрый, дружественный — нам трудно. Сперва мы принимали ее именно так. Все то время, что мы на первых порах жизни в гостинице ощущали и вели себя как «богатые иностранцы». Этому способствовала сама фантастичность нашей поездки, путешествия, никак не названного союза «Борис — Ася»... Субстанция мнилась нам дуэньей и доброй няней, послушно и быстро устилавшей нам стол роскошью яств.

Но когда монеты в наших кошельках стали менять цвет золота на цвет серебра или олова и заказы кушаний стали заметно скромней, в немых движениях Субстанции засквозило легкое дуновение разочарования. И в трагический день, когда, не получив денежного перевода Москва — Коктебель — Гельсингфорс, мы, сосчитав скудность содержимого кошельков, оказались бессильными уплатить за наши

два номера по принесенному счету и долго и жарко, в два молодых голоса, упражнявшихся в русской элоквенции\*, мы попытались объяснить нашей финской фее, что деньги непременно будут — уже едут по почте! — на отсутствующих щеках Субстанции выразилась смесь сомнения и укора.

От феи подуло холодом, наша «няня» — исчезла. Перед нами стояла служанка Хозяев, неумолимый судья и блюститель финского неведомого закона. Мы были переселены в иные комнаты и в другой этаж, из расточительных иноземцев превратились в бедных студентов. Обеды кончились. Мы пили кофе и ели хлеб.

Гельсингфорс! Ты в моей памяти — в совершенстве прозрачный город! Я ничего не знаю о тебе. Я помню нерусские улицы, веяние Скандинавии, ветер с невидимых фиордов, невнятную речь, белокурость и светлоглазость встречаемых, старинные здания и блеклое, рыбьей чешуей лежащее море — у плоской (?) печальной гавани. И какой-то сквер...

Гельсингфорс, ты — некий корабль из сказания, сходного с тем, о «Летучем Голландце», и мы вдвоем, плечо к плечу, в плену тоски о невозможности стать одним, опершись о перила палубы. Так мы живем здесь. Мы отплываем. О, если бы мы знали — куда! С нами — все, кого мы дотопе любили, — книги, и имена друзей, и стихи Марины — о ней и о нас и обо всем, что еще будет...

Гельсингфорс! Минуя историю и географию, ты навеки мне некое *сквозь*, некое *мимо*, место, скрывшее нас от тех, кто нас знал, и, быть может, от нас самих. Расточителями ли мы бродили по твоим непонятным улицам, на которые променяли то, что доселе было, заходя в двери аквариумов витрин, покупая не то, что нужно; или согрешившими о нищету бедняками входили, считая гроши, в призрак булочной, обходя со вздохом книжные магазины, — ты равно был нам домом — потому что только таким, как мы, гостиница — дом, дом — только гостиница. Но, оставляя призраки, голод, прирожденную бедность двух любящих, тащащих на себе мир, была еще одна красугольная, как сказал бы Борис, причина призрачности, которою, как огромным крылом, тронуло

\* Красноречии (*лат.*).

тогда мою жизнь: то, что Б.С.Т. наполовину, если не на три четверти, жил в области философии.

Еще в детстве я слышала имена Канта, Шопенгауэра, Ницше в устах мамы. Но теперь они подошли и стали вплотную, окружали кольцом, просочились в суть дня. В это наше полусвадебное путешествие, в путь никем не названных жениха и невесты, чуждающихся даже и слова «брак», были взяты в старенький чемодан Б.С.Т. — эти малопонятные книги, названия которых, мне заколдованные и прельстительные, я помню — «О четвероюлке корне закона достачного основания», «Мир как воля и представление»...

С пафосом, не равным, а и превышающим тот, полежаевский, на берегах моря, произносит Борис имена Джона Стюарта Милля, Фихте, Шеллинга, Шопенгауэра, Юма и Локка, через которых подходишь к чтению «Критики чистого разума!» Скалы, именуемой «Кант».

...В андерсеновской сказке глыбами льда все не удавалось Каю досложит слово «Вечность» — звучит название этой книги, запечатанной семью ли? — печатями. Венчая дремучий лес Индукций, Дедукций, Субстанций и Представлений, предутренним заревым холодом, вершиной вершин — имя Иммануила Канта! Вот в какой плащ оказалась укутанной я на семнадцатом году в весну того, что именуется жизнью, в непонятный разгар любви. В непереносимость читать — не хочу? О, захочу! Он мне будет читать его — Достоевского. И уж дальше и круче, с отрывающей и от меня страстью — имя Мигеля Сервантеса... Дульцинея Тобосская! Странствующему Рыцарю — рыцарские романы. Трубадуры, турниры... И из чемодана служанка гостиницы восстала — Субстанцией. И вихрь из моего бреда захватил меня и несет...

Туманно, случайными упоминаниями, без связи друг с другом, без желанья сообщить что-нибудь, проявилось, как на фотографических пластинках, нечто о жизни Бориса: брат Сергей, поэт и мечтатель, живший в Париже, — старший. Большой человек. Любимый брат. И другой, Николай: насмешливый и холодный, отметающий мечту и поэзию, рассудочный и закрытый для всех, средний меж братьев. Глухо, сдержанно — что еще есть сестра. И, без рассказа о них — о несогласии отца с матерью. Кажется, и живут где-

то врозь. Ни тепла, ни вражды в голосе, о них говорящем (сходство с братом, вторым, закрытость?).

...Ах, зато как бесследно все это сметалось вихрями юмора, как они над нами взвивались! Когда рушился смех на нас — как в тот день с Сережей и Мариной у Петра Николаевича Лампси! Кто сказал, что у Бориса холодное сердце, что оно подчинено беспощадному уму? Беспощаден смех, беспощаден приступ — он сжигает все трудности (как солону! Один треск — и огненная труха!). Разве эта синь глаз — холодна? Да она жжет! А как он потирает руки, подходя к столу, где хлеб и кусочек сыра! Стилизуя по-диккенсовски этот жест. Да и нет ничего на свете, кроме Пиквика, кроме его знаменитого клуба, кроме Ноздрева и Чичикова... Собакевича! И Коробочки! И Субстанции! Не меньше меня — больше! — переживает он, когда же мы щедро, веселой рукой платим ей сегодня по счетам за еду и за комнату! Макса рукой — приписка на пересланном переводе — чудный, родной Макс! В Эсбо, где жил Сережа, наверное, ждут письма от него и Марины... Мы завтра же выезжаем в Эсбо! Может быть, велеть на последний день принести наши вещи из третьего этажа во второй, в те дорогие комнаты? Нет, не стоит, смешно! И зачем? Мимо, мимо! Но не можем себе отказать в разительной радости — пообедать пышно в ресторане гостиницы. Выбирать блюда по таинственности названия — и смеяться их неожиданному виду и содержанию! Королевски щедро (расточительность бродяг и влюбленных!) давать на чай!

## Глава 2

ЭСБО. ХОЗЯИН ГОСТИНИЦЫ. «ИДИОТ» ДОСТОЕВСКОГО.  
УЮТ БЫТА. РАЗМЫШЛЕНИЯ. ИБСЕН.  
СНОВА ГЕЛЬСИНГФОРС

Лес, скалы, туман, поросшие мхом камни, ручейки, журчащие под ногой. Вереск. Точно германские сердцу родные ландшафты, белеют дороги от городка к городку.

Наше жилье — деревянный дом чуть вбок от дороги, высокие окна, белые занавески, уют чистоты и простых очертаний. Две комнаты, одна проходная. Окна во двор и на лес.

В задней проводим большую часть суток. Там Борисов чемодан с Шопенгауэром, Сервантесом и Достоевским. Хорошо бы тут висело пальто, выброшенное им за ненадобностью по пути к Коктебелю! Так думаю я. Борис говорит: «Вздор». Хозяин гостиницы – бородатый, светловолосый (бородка скромная, как весь он, как домашнего вида костюм, серый). Серые глаза его светлы до чрезвычайности, взгляд их потерял вдали, на лице мелькает улыбка. Что-то блаженное, не от мира сего. То, что речь его совсем непонятна – в совершенстве идет к нему. Мы едим в столовой. Это большая комната, где накрыт длинный большой стол и столы маленькие. На столах тарелки с супами, с закуской, салатами, сырами, творогом, пудингами, ветчиной, бутербродами, пирогами. Каждый ест что хочет. Входя, платит марку. Невероятная дешевизна! Мы тут растолстеем, как Собакевичи! После укоряющих нас глаз Субстанции!

Как же мы – почти как в бреду – удивились, когда, платя по недельному счету, узнали, что в ту марку, в скромную финскую марку входит и *комната!* «Эльдорадо»! Тот рыцарь не знал путь в Эсбо! (Тот, Лёрин, детский, что искал тщетно путь в Эльдорадо.) Уют, сытость, лондонские туманы и легендарный приснившийся лес! Лес – из сказки. По нему ходят Красные Шапочки и Geselle\* из Гауфа, в нем бормочут под камнями ручьи. Где-то у речки меж скал – мы стреляем в цель – у Бориса маузер, у меня – маленький велосод. Борис учит меня, это неожиданно-весело. Почему нет Марины! Как бы мы бродили все вместе! С Сережей... Какие бы Марина тут писала стихи! Письма мы шлем друг другу, но это не то...

Велосод – мой друг. Он всегда при мне. Неясно, но крепко во мне рождается, зреет мысль. Нет, чувство: если сегодня ночью я вдруг ослабею, запутаюсь головой в сетях назавтра враждебных чувств – велосод поможет мне их распутать. (Это и гораздо легче, чем пережить свой позор!)

Еще зимой я писала об этом в дневнике – о невозможности принять жизнь с ее чудовищным сексуальным законом. В этом неприятии я ощущала себя тем одиноче, что и с Мариной мы не говорили об этом. Мы знали, что оно

\*Подмастерье (*нем.*).



у нас одинаково (как могло при таком сходстве душевном иначе быть!). Но именно та сверхнормальная (аномальная, как сказали бы те, что были «нормальны», застенчивость, которая так краеугольно, непримиримо отвращала от решения этого вопроса, мешала нам и друг с другом говорить об этом — и это рождало ощущение непоправимого одиночества: один на один с миром, инако живущим, который и тебя в это жерло залучит, или своей рукой пресечет жизнь? Которая так во многом — во всем, кроме этого, прекрасна?

Круг был заколдован. Я не знала, что и это одиночество имеет название, что о нем до меня думали — и теперь думают (В.В.Розанов), что ему имя наречено «лунный свет».

Я не помню, говорила ли я все это Борису, может быть, было только мое стихийное «нет», мой ужас был ему ясен, но и он не мог быть со мной в этой одинокости, потому что именно он влек меня именно в то, что было ужасно, — он, как Лев Сикстель, был проводником той силы, которая влекла и отталкивала. Не будучи врагом — это я чуяла и это тоже пугало. Всему этому во мне не было имени. Дни и ночи сменяли друг друга в трагичной равномерности, и, все глубже познавая друг друга, мы не делали решающего шага. Была ли это у него сила воли? Или и в нем пламенел «лунный свет»? Я благодарю судьбу за то, что в моем испытании со мной был именно он.

Еще зимой Борис не раз говорил мне о Достоевском, дивясь тому, что я не читала его. А я не читала его (зная Тургенева, Гончарова, Льва Толстого и Алексея Константиновича Толстого, и много, много других) — от какого-то озорства? От полудетской, должно быть, надменности: сколько слышать о том, что кому-то — да всем! — Достоевский «открыл горизонты», я всей шкурой своей в ответ щетинилась: мне он их не откроет! Мне! Знавшей Тигра-революционера! И Эллеса! Читавшей «Carillonneur» Роденбаха! И «Charogne»\* Бодлера! Видавшей столько и столько! Мону Лизу и Леонардо... Она и ее творец, двое, эти двое — в жарком блеске древней Италии — мне затмевали всех и вся. Далее этого нельзя было идти в мире. Печаль Мережковского о неминуе-

\* «Пададь» (*фр.*).

мости двойного начала в мире, той тени, где почти согласно смыкаются зло и добро... Каким органическим продолжением это было — эллисовским мистериям в нашем доме, чародейности его существа.

Я не хотела читать Достоевского потому, что его так хвалили, превозносили. Мне казалось, что он враждебен всему тому романтизму, которым дышалось. Что он на другом полюсе, чем Марина и братья Гонкур, Мария Башкирцева. У этой удивительной аберрации были свои оправдания.

И вот на эту «позицию» — чего только не бывает на свете! — повел Борис наступление — настолько же накаленное, как мое нежелание читать Достоевского. Именно Достоевского, только его он *хотел* читать мне, — он *будет* читать! Он взял с собой два тома — любимый его роман «Идиот». И что-то было в Борисе тут, что-то, что было и частью его существа, его страсти к его особому миру, чем-то и меня вовлекшим. *Contre soi\** — я отозвалась. Уступила. Уступая мне в наших трудных ночах, смиряя свое мужское, чтоб не быть грубым с моим женским, девическим, не настаивая, не убеждая перейти через страшный предел, рыцарь прежде всего, чтя Прекрасную Даму, он у порога той другой бездны, которая звалась Достоевским, не уступил мне.

Имел ли тут значение ведомый ему талант чтения? Неподражаемый! После которого я (неплохой ценитель, после целого детства превосходного чтения нам — Марине и мне — маминого) не смогла слушать всерьез даже Качалова, прославленного чтеца века.

Был серенький финский день. Туман за окнами, летний, пустой дневной час. В комнате Бориса за спущенными беленькими занавесками началось трагическое священнодействие чтения вслух «Идиота». Читал Борис Трухачев Асе Цветаевой, он, знавший его от корки до корки, — мне, не ведавшей ни одной страницы его.

Что произошло, что я не отрываю глаз от Бориса, что все во мне замерло, холодок и жар, и озноб всего существа, огонь вдруг задышавшего кратера? Так сдалась? Пошла за Борисом по колдовству его голоса? И он «открывает тебе горизонты»?

\* Против воли (*фр.*).

Борис? Никакого Бориса! Ни Эсбо, ни финского домика. Я — в вагоне. С князем Мышкиным. С Парфеном Рогожиным. С портретом Настасьи Филипповны Барашковой. Полчаса, час. Я — в Петербурге, неведомом. В доме Епанчиных. Я — Аглая. Я гляжу на Льва Николаевича Мышкина и ее и своими глазами (наши глаза — слились...). Не свожу взгляд с его глаз, светлых, растерянных. И горящих. С глаз, «которые глядят не насквозь, а помимо» (как я записала на другой день в дневнике. Он погиб, как все мои дневники. Эти слова — со мною). Нет, нет, о нет — не Аглая! Настасья Филипповна! Вот кто моя любовь, от которой захолонуло и гибнет сердце! Как рогожинское... Как князя Мышкина! Как всех, кто о ней прочтет!

Час, два, три. Толстеет россыпь прочитанного, и худеет залежь нетронутого, и не хрипнет, не устал голос читающего — от бесподобности чтения. Но темнее день. Зажигается лампа. Мы у Иволгиных. Свихнувшийся генерал, враль, пьяница. Коля Иволгин, Ганя. И снова она — везде, за каждым окном, каждой дверью. Та, имя которой наводит страх, — та, которую оскорбляют, которая царствует, та, гневом которой горит навек сердце! Я жила и не знала ее! Что она есть — и была до меня, колдовством тайны и горя овеванная — перед ней в прах падают все героини Тургенева и Толстого! Не сравнимая ни с кем! Я жила и не знала ее лица — портрета — судьбы. Я не знала князя Мышкина! Что ж они все — все вокруг меня — об этом молчали? Как они смели? Да это же первая на земле книга! Все книги перед ней — в прах... Сжав Борисову руку, иду к ней — ведь это родной дом! Достоевский!.. Жила и не знала...

Сколько длилось чтение? Часы или дни? Я не знаю. Не отрывались. Мы жили не свою жизнь — ту, их. Я не помню ни перерывов — да и как они могли быть? Трепет тех сердец, мука тех душ, трагедия тех судеб остановили на время чтения наши. Мы — как мы, Борис и Ася, перестали существовать: переселились. Вошли в тех, о которых читали. Читали? Да разве ж это было чтение? Голос Бориса, отрешась от его существа, отданный во владение другим (равным по накаленности), в служении накаляясь добела, перестал быть его голосом, став прозрачным и грозным по последней постигаемой правде передаваемого, воплотился в воскреса-

ющие тени людей, немо живших, дремавших в книге, пока она лежала среди книг, в чемодане, даже на нашем столе. В комнате происходило колдовство вторичной жизни тех, кого некогда — родил Достоевский. Я совсем не знаю, как про это сказать. Пишу где-то рядом. Но была еще одна вещь, ужас от мысли: так было с другими, кто, как мы, читал эту книгу? Так как же они могли жить после, расставшись с ней? Они говорили о ней в ряде других явлений? И вот это они называли «открыванием горизонтов»? Тут был — тупик. Это все — неслось, между строк, в миг перелистывания — зарницей. Думать нам было некогда! В книгу вступил Ипполит. Ипполиту восемнадцать лет. Он умирает — чахотка! Он задыхается. Он говорит...

Он знает правду — он хотел сказать о ней людям. Но теперь уже поздно: «Я хотел только четверть часа говорить — и всех увести за собой!» Он верит, что все бы пошли за ним, но он умирает... Нас трясет его смертный озноб. Нас ведет за собой его правда. Нас поит его страх, его желчь, его расставание с жизнью. Наши глаза — глазами князя Мышкина, светлыми и прозрачными, впивают Ипполитову душу в семнадцатилетнем больном теле, прощающемся с землей.

Эшафот. Человек ждет смерти. Озирает площадь. Вот сейчас — сейчас — вот — разве это можно перенести? Но он перенес. Он простоял на эшафоте. И ему «даровали жизнь»... Подмена жизни! Жизнь кончилась в те пять минут — и велели жить? «Так было! — сказал Борис. — С Достоевским. За народ. По делу Петрашевского».

Лихорадка, другая перекрывает — и это: чья-то жизнь горит в камине! Сто тысяч горят, брошенные! Настасья Филипповна бросила! Барашкова — та, которую, та, про которую... — та, которую все боятся! Хохочет! Ползи, Ганя, хватай из огня, еще выхватишь!.. Трепет всех тех — в нас. Мы стоим у камина, видим, как Ганя, повернувшись, пошел прочь! Мещанин — герой! Но глаза застлала пелена — обморок. «Королева!» — кричит Рогожин! Но Достоевский, колдун, по всем направлениям жизни колдующий, не дает ни минуты роздыху — она едет с Рогожиным. С ним? Она — под венец с князем Мышкиным! Что? Бежала из-под венца? Где, колдун, ты встретил такую женщину? Из-под венца — прочь — чтоб его спасти?..

Судьбы, души бьются в смертельной битве, сердца сжаты в твоей руке, творец человеческих мук! А я думала, что высшее на земле — Леонардо и Мона Лиза...

Дни — их. Часы — наши. Ни еды, ни сна. Или, изнемогая, сваливаемся? О, в ту ночь — не в объятия, чему они тут помогут? Чист, как хрусталь, хлещет родник человеческих чувств. Лучи первозданного света! Жалость — страсть — самоотдача — гнев — обида — едва ли и миг забвенья — возмездие — смерть. Плата по всем счетам! Чистоганом! Карту — бить только козырем! Настежь руки! Расплата! Свиданье? Прощанье! Ни единой фальшивой ноты! Это — чтение? Восторг понимания? Озарения, служения всем! Чтение! Листанье страниц? Волшебство прозрачного голоса? Беспощадного, как струнное колебание? Бой за высшее натяжение струны? Бой! Погоня! К венцу — от венца... Утопить в другом свою душу! Утолить собой! Сердца бьются, как голубиные крылья! Камнем через облака! С выси — вниз!

Кончив первый том, Борис бросился к чемодану и ужален был страшной правдой — нет продолжения. Не тот том, по ошибке — другая книга, и второй другой...

Как мы дожили до утра? Поезд мчал нас в Гельсингфорс, в книжный магазин. Достоевский? Нет Достоевского! Вот, пожалуйста, Писемский... Фонвизин... Лесков... граф Салиас. Мы пустыми глазами глядим на сокровища букиниста — как теперь жить? Ехать в Москву — нет денег. Их ждать? Две недели, не меньше. Больше! Мозг не понимает недель. Бродим по часу и дню, выпивая капли, ковши времени. Лес, туманы, сосны, камни, еда, сон...

Занемев, гляжу на него. На неотвратимость этого присягания — Беде, Холоду звездных пространств, которые нас плотят, на эту одержимость Прощаньем — другого, не моего существа — одержимость не менее сильна, чем мамина, Маринина и моя — нас пожирающий романтизм. Да, он романтик, как мы, но какой-то другой кладки. И наш романтизм — ему чужд? Иной! Башкирцева ему не нужна.

В Лермонтове он одержим не теми строками, что уносят меня от земли. (Кто тогда знал, что Борис умрет еще моложе его, в годину беды над страной? Чужал свой близкий конец...)

И впервые во мне пробуждается жажда служенья — другому, осознание другой трагедии, равной моей. Я никогда не смогу жить без этого человека. Потому что не смогу его позабыть. Потому что — кто же поймет так, как я — его обреченность? Его неслиянность с миром? Один только мог бы это осознать человек, Марина, Марина могла бы его «взять на себя» — да. Если бы я могла уступить ей, как Нилендера, без боли. Но Марина — с Сережей. Она взяла его на руки и будет нести всю жизнь. После пережитого Сережей двойного удара — самоубийства брата и матери — только Марина сможет вернуть ему жизнь. А в другую — я не поверю. Значит, я обречена Борису, как он мне...

...А иногда — это все отступает. Мы перестаем ощущать мир — врагом, людей — судьями, день предстает блистательной авантюрой, все запутывается, как в старинном романе, мы бредем по туманным тропинкам финского леса, взбираемся на крутые камни, мы потеряли путь или выбираем цель — вон ту кривую сосну, и Борис учит меня владеть велосипедом. Он стреляет метко, привычной рукой; мне трудно. Мы в Норвегии сто лет назад. Но я увлекаюсь, хочу овладеть; звук выстрела становится мне как-то по-особенному знакомым; тон Бориса, спешащего к цели, объявляющего, что я почти попала — меня зажигает. Я буду стрелять хорошо! Борис смотрит на меня с уважением. Дома — во вновь обретенном после зарослей, скал — доме, нас ждет обильная, невинная еда, добрая, вкусная, приготовленная и поданная заботливыми руками. (Где Субстанция? Кому она приносит еду? Кому появляются бесшумно, как в пантомиме, ее сказочно-бестелесные очертания? Мы никогда более не увидим ее?)

Как вкусен после блуждания в лесах — ужин! Мы — перед заставленными столами и грудями пирогов, овощными салатами, бутербродами со всевозможной всячиной, тарелками с колбасами разных сортов и сырами, паштетами, копченой и жареной рыбами, с пивом и молоком!

Или — холодные вареные куры (как в Лангаккерне, под нашей липой в «Гастхауз цум Энгель»... Господи, как давно!) И крутые яйца, котлеты, холодные, как в Тарусе. (Борис ни-

чего не знает — ни о Тарусе, ни о Лангаккерне, ни о Нерви, ни о Лозанне. Я ничего не рассказываю ему, как мы рассказывали Нилендеру во время Декабрьской сказки! Захлебываясь, валили в него города, имена нашего детства, окунали его в себя с головой. И он, в той же — куда стремящейся? — лихорадке говорил нам о морском корпусе, о своей первой любви — Софье...)

Как все-таки странно, что Борис никогда не говорит мне о своем прошлом — ни о детстве, ни о родителях, о местах, где рос... Нет, о степи он говорит, о совсем непонятной! Степь. Ровный круг — и трава... Он упивается даже словом «степь», пьянеет от этого слова, и лицо у него делается... как у Остапа Бульбы! Сразу — не Андрий, а Остап!

С Борисом — глухо я почувствовала, что какой-то большой бок души моей и Марининой ему совершенно далек: отодвинет. И шагнет, ружье за плечом, в свою степь — туркменскую... И охватывал меня страх: как же странно, что так иначе сейчас у Марины, так слившейся с Сережей, что уж не его и не ее жизни рядом, а одна их жизнь... Да! И будь тогда в Марининой коктебельской комнате Борис, когда Сережа рассказывал нам о брате и матери, — Борис бы не... Нет, Сережа бы не рассказал!..

А когда оказалось, что нет второго тома «Идиота», — тогда Борис взялся читать мне книгу «Борцы за престол». Ибсен! Знакомое с детства слово, мамой лелеянное — в Москве и в Нерви, в мои восемь лет... В пору любви к Владиславу Александровичу Кобылянскому читала мама Ибсена — помню, как во сне, «Нора», «Кукольный дом»...

Пришел мой черед пить из ковша огненное питье. Прокапилось — когда? — колесо времени, назвалось поколением — и вот, мамина дочь, я — горю, как ветка в костре, слушая голос моего любимого человека. «Борцы за престол!» Еще дрожит сердце от названия этой книги, которой мы затыкали провал от прерванного «Идиота» Достоевского. Достойное затыкание! Не те же ли струны задеты? Не тем ли Эоловым ветром? Не тот же ли трепет бежит — с первых строк! По настораживающейся душе?

«Соблазн!» — любимое слово Бориса, — его он, наклонясь над книгой, как над колодцем, черпает из страниц, писанных некогда родным духом. Не анализирую, принимаю —

знаю, что назвал верно это дыхание наше двойное над Мышкиным, Ипполитом, Рогожиным, задыхание над Настасьей Филипповной, над этими, вдруг к нам пришедшими претендентами на престол. Тьмой, ревностью, гордостью, благородством, вызовом, глубиной душ, себя исследующих, себя познающих, себя жгущих в ненасытной борьбе, мечется, падает и растет, медлит голос Бориса — и замер и остановился день, погруженный в немыслимое. Ибсен! Я не знала, кто он, — а ведь с детства знала это лицо, лохмы белого пламени вокруг, круги очков, совых глаз. Вот что он этими глазами видел! И он написал много томов, эти тома — наши, мы их будем читать, как тома Достоевского, — один за другим...

А за окнами дождичек, а за окнами — туманы — это осень началась? Скоро — в Москву... Скоро мы раскроем второй том «Идиота» в той комнате, куда пять месяцев назад впервые вошел ко мне Борис. От Марины и Сережи давно нет писем. Они тоже вернутся в Москву. Будущее полно невероятным. Счастьем? Какое странное слово «счастье», его невозможно понять...

Небо было разорвалось клочком синевы, дождь повис на ветвях сосен тихим сверканьем, и мы вышли в финляндскую осень. Мох был рыж, в солнце вечернем — красен. Оно стояло почти лиловым шаром — в туманах, отступивших на лес. Было тихо. Свистела птица. Мы шли, как два странника, сами не зная куда. Профиль Бориса — профиль Леонардо да Винчи — не имел возраста. Мне казалось, меня нет. Тучи сдвинулись, дождь стал сеять тихо и ровно. Вернулись домой. Я просила Бориса сесть у окна и стала рисовать его профиль. Сходство росло, рука волновалась и радовалась! Потом я — на другой страничке дневника — начала рисовать окно, занавеску и на ней — сосну. А жизнь удивляла. Мы просили хозяина дать нам счет за белье, принесенное из стирки. Серые глаза хозяина смутились, почти рассердились.

— Как? За белье? Деньги? Но это же входит в марку, — не годя сказал он.

Мы пробовали переубедить его. Тщетно. Он настоял на своем, даже обиделся.

Чемодан с книгами и бельем Бориса. Мои корзиночки и портплед, — сборки. Что думает о нас этот сероглазый человек с светлой бородкой и блаженным выражением лица?



Думает, что мы — муж и жена? Но у нас две комнаты, две фамилии. Настолько ли он понимает по-русски, чтобы понять, что мы говорим друг другу «вы». Мы, смеясь, вспоминаем тот вечер, в городском сквере, когда мы жили во владениях Субстанции, к нам подошел полицейский, финляндский, спросил нас — муж и жена ли мы, и узнав (мы очень смеялись, ему отвечая), что нет, твердо, строго велел нам встать со скамейки сквера — уже поздно, здесь не разрешается поздно сидеть — не семейным.

Хозяин наш не говорит нам ничего. Обратное Субстанции, оказавшейся именно материальной, он не имеет уваженья к деньгам, ни любви. Его нестяжательность — сказочна. Он весь сказочен.

Приведение средневекового города. Башни, шпили, крутые черепичные крыши. Высота и струи тумана. Маленькая площадь, фонтан. Стайка белокурых детей. Непонятный говор. Летящие желтые листья. Мы проходим большую площадь, почему-то пустынную, мы когда-то тут жили — до князя Мышкина, до хозяина, еще не понимая «Эсбо» — вон в тех окнах стояли мы, глядя на эту площадь — какой-то другой она была нам тогда! Мы проходим. Наш путь — на вокзал. Мы никогда больше сюда не вернемся — потому что нас ждет весь мир, все города всех стран... Уезжаем... (Марина, еду к тебе!)

Как гудят поезда! Как странно, что и на финском вокзале — отъездная суета... Как черна ночь! Отчего поезда хотят отходить всегда ночью? Их зовет ночь... Боря высунул голову за окно, где летят искры, ветер треплет его светлые пышные отросшие волосы. Он оборачивается ко мне темной синью глаз... Вагон бьется в черной ночи, в лихорадке.

# Часть пятнадцатая

## СНОВА МОСКВА

### Глава 1

МОСКВА ОСЕНЬЮ 1911 ГОДА. МАРИНА, СЕРЕЖА,  
БОРИС И Я. ЛЁРА

В Москве, в доме мне грянула весть, сжавшая сердце, остановавшая день: папа болен. Он лежит в клинике. Грудная жаба. Врачи отправили его за границу, на сердечный курорт Наугейм. Тогда, мгновенно, решение: чем помочь? Что труднее всего? За папу! В умаленье судьбы! Год не читать «Идиота»! И я сказала Борису: «Второй том — через год!»

Более трудного себе было нельзя представить. Борис не удивился, не спорил, не отговаривал. Не соблазнял. Разъединясь с приездом в Москву по своим домам, мы неминуемо отдалились друг от друга. Это шел даже еще не «медовый» наш месяц — он был еще за горами — вполне в неизвестности — и позади было целое лето час в час вместе — Коктебель с Феодосией, Эсбо с Гельсингфорсом — и оно вдруг кончилось, Борис вновь оказался в своей комнате в квартире матери с братьями — как до меня. Я — в моем «магическом кабинете» — с приехавшими Мариной и Сережей в доме (Марина иногда жила внизу, иногда у меня, поселив Сережу в бывшей своей маленькой комнатке — красной с золотыми звездами, вместо золотых наполеоновских пчел). И от их счастья (а у них было именно счастье — то странное, жаркое слово, волшебное, которое не получалось у нас с Борисом) — тенью на меня пала печаль.

Борис отдалился. Ждали папу, может быть, не желая повторения весенней встречи Бориса с ним. Борис прихо-

дил не каждый день, иногда ненадолго. Мы бывали вчетвером. Было много словесного веселья, рассказов между ним и Сережей. Сережа увлекся Борей. Между ними завязалась дружба. А между мной и Мариной — что-то — немного — нет? — было нарушено? Нет! Но она была счастлива и меня жалела (и я — жалела себя?..)

В свое наполеоновское святилище, где более трех лет поклонялась ему и его сыну — Орленку, она теперь ввела другого юношу, такого же прекрасного, как тот, больного тою же болезнью! С таким удивительным лицом, с тем же ореолом, но темных волос надо лбом, над великолепными глазами. Ввела сокровище дарованной ей жизнью, от которой она полтора года тому назад хотела уйти в смерть. Она поселила Сережу здесь, ожидая приезда папы и разговора с ним о Сереже.

Я не помню ни приезда папы, ни как этот разговор прошел. Не дать согласия Марине, с ее нравом (да и Сережа был так хорош!), папа не мог, и сиянье счастья шло от обоих. Папа познакомился с его сестрами. Что-то (может быть, имущественный, то есть наследственный раздел, его оформление) мешало разговорам о свадьбе? Марина была к слову «свадьба» не менее равнодушна, чем я. Мы понимали, что это надо обществу, папе. Для него это, конечно, надо было сделать. В таинство брака нас никто не учил верить. Материально мы в мужьях не нуждались, были обеспечены мамой. Мы могли на мамины деньги прожить и с мужьями.

Сережа и Борис так подружились, точно они все детство вместе играли в Александровском волшебном саду и у Пушкина на Тверском бульваре. С Сережей Борис всегда безудержно остроумен и весел, говорит во всевозможных стилях — то как Чичиков с Маниловым или герои Пиквикского клуба, то как три мушкетера, то как маркиз с картины Сомова и выше и выше — как... (это уже монолог из рыцарского романа) — как сам Дон Кихот Ламанчский...

А что с Мариной случилось — она почти красавица. Я никогда ее не видела такой! Ей жизнь дала сразу все: такую драгоценность — Сережу, так ее понимающего, так преданно ее любившего после такого одинокого отрочества и юности. И нежданно — метаморфоза наружности (ее наружность ей так не нравилась, так ее мучила! Румянец, полнота, прямые

волосы, ей всегда казалось — короткая шея и недостаточно большие глаза...). Глаза — большие, светлые, и она похудела, шея стала длинней, румянец — легче, а волосы завилась легкими крупными золотыми кудрями — когда она их отбрасывает привычным уже движением со лба, пряди ложатся косым, как у меня, пробором, и она глядит на Сережу обожающим, оценивающим, любующимся, гордящимся взглядом — какой художник не стал бы ее писать? Их двоих! Потому что прекрасней Сережи — только Борис! Еще прекрасней!.. А как они хороши вдвоем — Сережа полулежит на диване, опершись о спинку, как всегда, усталый (температурит), длинный, в его легкой сутулости — тяжесть, и тяжесть в его медленных движениях, в породистой длиной руке — ей бы лежать на голове сенбернара... И тяжесть в огромных, так часто застенчивых глазах с тяжелыми веками, ярких, не зеленых, не серых, в алых губах, улыбающихся и радостно и задумчиво, и тяжесть в густых темных прядях, которые он отводит со лба. И о чем бы ни говорили они — о поэзии, о театре, Камерном, где играет сестра Сережи, — их вкусы сходны.

Борис ходит по комнате, пружиня шаг, с неописуемой грацией поворачиваясь у конца комнаты, легкий, стройный. Пронзителен синий взгляд, смеется рот, ширятся ноздри... Отброшена со лба назад волна золотистых волос, пышных и легких. Прямо срезанных выше плеч. Юный Лист, Вагнер? И его красноречие! И его, его «р»!.. А как они смеются вдвоем, заливаясь, как два помешавшихся соловья, заражая и нас (это опять, как у Петра Николаевича), какая-то «оргия смеха»... И через час, у ворот, чинный поклон, как серпом срезан вечер веселья, и смотрит, печально любуясь, не сводит глаз, — и удержан вдох, и оторван взгляд, — смотрит выше и дальше меня, в ночь — точно его кто отзывает... рок! (Точно знает, что рано уйдет, здесь — гость, никаких прав загоститься...) Туда уже глядит, где падает, как в «Купце Калашникове» та сосенка, «под смолистый под корень подрубленная...»? Еще стоит, еще тут, а я уж слышу звук уходящего шага, — туда, где шаги стихают — в ночь... И одна из горестей моих та, что если Марина, старшая, крепкая, могла с папой говорить о Сереже как муже (это так зовется, когда никак не расстаться?), то

я, младшая, не сравнимая здоровьем с Мариной, не могла сказать папе, что я должна быть с Борисом. Папа весной, когда еще не кончены были мои экзамены, просил Бориса уйти. И Сережа внушает доверие, Борис — нет. Папа меня не оставит с Борисом, как и мать Бориса — не оставит со мной. Я совершенно одна — с Борисом. С его роком. Который не дает себя на руки взять, как болезнь (рок) Сережи. Я должна тайком с ним быть? Это что, как говорят женщины революционного типа, — «гражданский брак»? Но разве я хочу — мужа? Борис — муж? Я — жена? Кругом — столько женщин не придают «свадьбе» никакого значения... Да, но они хотят иметь мужа!

Мне семнадцать? Кажется, мне сто лет!

Я не понимала, что происходит меж нас с Борисом. Я чувствовала вину перед ним. В нем проскальзывала тень неуловимого раздражения (уловимого — мне!). Я измучила его? Я врежу ему? Своим неестественным страхом сближения я расшатываю его здоровье? Да — так, но, подтачивая и это сознание, порой еще темней и еще безнадежней — меня терзала тишайшая грусть о том, что уже нет мне «Б.С.Т.». Эти драгоценные буквы растаяли. Ушли в прошлое! Уступив более живому, близкому облику, стали — воспоминанием. Сном?... О, тогда он входил, неизвестный, то насмешливый, то разнеженный, восхищенный, все сильнее привязывавшийся — как шли, вглубь, неповторимые вечера! Какая боль! Какая грация! Какая тайная нежность! Как было ясно, что он за меня пойдет на любого врага, если б был! Что час прощанья — грустен почти смертельно. И куда это все ушло? Почему?

Да, меня радовало, мне льстило, что Марина так оценила Борю, нежно дружит с ним, что оба — и она и Сережа — так восхищенно к нему отнеслись — но — как я могла объяснить им свою тоску, сама ее до конца не понимая? Я была несчастна, не обвиняя никого.

Все шло как шло, чувства изменяли друг друга в постоянной метаморфозе — а в итоге была печаль. В этом тоже ничего незнакомого: так было с детства.

Сетовать — не на кого... И все-таки непонятно, почему ушли те — зима, и весна, и начало лета — дни радости (они же были настоящим счастьем!) общения с Борисом, то вы-

сокое душевное и умственное волнение познавания друга друга, касаясь к иной душе? Откуда эта... усталость? И у него — тень раздражения. Какая-то тень вражды. Мне стало порой чудиться, что он презирает меня? За мое «нет» физическому сближению? За трусливость? Так? Без слов...

В это ли время или уже позже начались мои свидания с Лёрой? Она переживала трудную пору: выбирала между двумя людьми, ее любившими: Б.И.Л-им и С.И.Ш-им. Я их обоих знала, но с С.И. видела чаще — он бывал у нас в доме уже год или два. Это был высокий, плотный, здорового вида, бодрый и радостный человек, светлоглазый, рыжеваторусый, с уютной бородкой, с добрым взглядом и смехом, сиявший доброжелательством и крайне деликатный, лишенный нацело того размашистого «похлопывания по плечу», ходовых словечек, фамильярности и самодовольства, так широко бывших в ходу у интеллигенции в те годы. Его отношение к Лёре было чудесное, преданное, доброе, заботливое, почтительное, но, как человек сильный, он себя ни в коей мере не предлагал, а только находился возле и радовался. С.И. был преподаватель.

Б.И.Л. — был его полной противоположностью: человек замкнутый, гордый, из тех тонких мучительных сынов девятнадцатого и двадцатого века, разъедаемых рефлексией и пленяющих умом в беседе. Мне было ясно, что отношения их с Лёрой — трудны и сложны, что Б.И. для нее полон неожиданностей и коллизий; интересующий ее и привлекающий, но, может быть, пугающий чрезмерной сложностью. Работал он в Румянцевском музее. Среднего роста, худой, блондин, точеное лицо и пенсне. Мои встречи с Лёрой много давали мне опыта и утешения, она входила в мою жизнь с любовью и советами старшей, так мне нужными. Но она так мало знала Бориса и, казалось, не одобряла его. Я же его любила.

Борис жил своей жизнью: приходя ко мне не так часто, он много читал по философии, занялся высшей математикой — ходил по моей комнате (нашей с Мариной детской) и увлеченно, плавно взмахивая рукой, говорил с Сережей о «Трактате о мозге» профессора Сеченова... «Жизни животных» Брэма, Мензбире — о птицах... Еще взмах руки —

и уж идет описание какой-то диковинной птицы, у которой столько-то «сантиметров от кончика клюва до кончика хвоста»... Или комната полна жара тончайшего разбора книги Отто Вейнингера «Пол и характер», о которой везде шум, негодование и споры. Я как в бреду прочла эту, может быть гениальную, книгу. Будь Отто Вейнингер жив, кто знает, в какой бой бы бросился Борис — против него, беспощадно разбивая его положение за положением... но захватывало дух от судьбы писавшего, в двадцать шесть лет прервавшего жизнь, кончив эту блистательную трагическую книгу, смутившую столько умов! Родной стала судьба ушедшего, и не к спору, а к утверждению рвется ему вслед красноречие; опьяняясь собой, кричу задыхавшемуся в мире, задохнувшемуся, как Ипполит, хотевшему, умирая, «только четверть часа говорить и всех увести за собой». Глава о гениальности, глава о евреях, «Ж» мировое и мировое «М», беспощадность его приговоров — и глубь глубин...

И вдруг, в самое сердце — непререкаемость: будь мы сейчас одни — он бы, может быть, увяз и замкнулся... и тень раздраженности вновь пробежала бы от него ко мне! Это от их взглядов — Сережи, Марины — звенит его голос (нет, не от них, он и их, быть может, не видит) — но люди в комнате дают ему свободу шагать — к своему, не класть цепей единения с кем-то. Со мной?! Господи! Да когда же это случилось? Давно ли? Устал? От меня? От нас двух? Как игрока к игорному столу, потянуло его к одиночеству? Но разве же он — в плену? Разве и я могу все отдать ему и в нем раствориться? Разве я сама хочу — в плен?.. И когда во вспыхнувшем споре о гениальности, в блеске рапир, в несходстве определений меж нас четырех — вдруг, как два лезвия ножниц, вновь сходимся в понимании. Он и я. И долго спустя ухода вниз Марины и Сережи мы — Борис и я — сидим, склонясь над тетрадкой (это книжка моего дневника, где в Эсбо я рисовала окно с сосной, и профиль Бориса, и вчера заснувшую на моем диване Марину — ее голову в кудрях, шею, полуобнаженное плечо — как удалось выражение сна в губах и в опущенных веках...). И все чертим, перечеркивая, и вновь чертим развиваемую схему гениальности — универсализм гения и односторонность таланта, — как говорят по-прежнему наши глаза, как звенят — струной — голоса, как мы вновь до-

роги, опьяненно, друг другу... Проводив его, я стою над исчерченными кружками, стрелами листов, в чистом восторге мысли, сливаясь с его шагом по темноте Трехпрудного переулка, стихающим за углом...

А Борис идет — голова в облаках, ноги пружинят шаг, он забыл обо мне! Но как только касается его уха — духа — ритм строк и голоса (парус под ветром) звенит полет — кто, как не я — та же его Ася, графиня Севильская, оживает в нем лермонтовскими строфами — «Любовь мертвеца»...

... Случится ль, шепчешь, засыпая,  
Ты о другом,  
Твои слова текут, пылая,  
По мне огнем...  
Ты не должна любить другого,  
Нет, не должна!  
Ты мертвецу святыней слова  
Обречена...

(«Обручена» — может быть?)

И еще эта строка жива в памяти: «...Страдаю, плачу, ревную, как в старину...»

Хоть вера в Бога моя колебалась, но все же я молилась о папе, чтобы он выздоровел, и из Наугейма шли вести, что папе лучше. Я тайно ликовала, что судьба приняла мою жертву. Это было самое отрадное в тех моих днях. И была пополам разорванность — не знать, что дальше с князем Мышкиным, с Настасьей Филипповной, с Аглаей, с Рогожиным — это было почти так же таинственно и так страшно, как не знать, что будет с тобой.

Между тем слиянность Марины и Сережи росла с каждым днем. Они ждали приезда папы, видимо, без смятения. Все в нашем доме — Андрей, Лёра, заходившие родные, прислуги, все понимали, что в доме гостит жених Марины. Жених старшей барышни. И он всем им нравился — мягкий, приветливый, обаятельный.

Борис был странен, фантастичен, входил и уходил, непонятный. Он мог очаровать Марину, Сережу, людей высокого ранга. Для среднего человека он был вопросительный знак.



Все, что было мной с такой болью любимо, — другим беспокоило глаз.

Как гармонично разрешилась трагедия всей Мариной жизни! И как неожиданно моя жизнь, всегда радостней и светлей ее — зашла в тупик! Кто мог мне помочь? Драконна глядела на меня подозрительно-внимательными глазами, серозелеными, в них дрожал юмор. Лёрины — родные зеленые: цвета, сходного с Мариным, — понимали, старались ободрить, ласкали — но, и свой вопрос не решив, — уклонялись.

Наконец пришел день, когда я, заперев дверь моей комнаты, села писать дневник. Решить. Так дальше жить невозможно! Что это были за страницы! Их нет — они пропали в вихре истории, сметшем жизнь. Я простилась с девичеством в дневнике, в тиши бывшей детской, наедине с собой.

## Глава 2

### МАРИНИНА НАЧИНАЮЩАЯСЯ ИЗВЕСТНОСТЬ. НАШЕ ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ — ЧТЕНИЕ СТИХОВ В УНИСОН. В.БРЮСОВ. УЧАСТИЕ МАРИНЫ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПОЭТОВ

В те месяцы крепи Марины начинавшиеся литературные знакомства. Она посещала литературные вечера и, кончив работу по составлению своего первого сборника стихов, сдала в печать. Она назвала его — «Вечерний альбом» — в память того маленького синего кожаного альбомчика, который мы в знаменательный вечер 30 декабря — накануне наступавшего 1910 года, отвезли в «Дон» Владимиру Оттоновичу. В сборнике было три раздела: «Детство» — «Любовь» — «Только тени». Он должен был выйти на толстой, чуть кремовой бумаге, в темно-зеленой обложке с темно-золотыми буквами заглавия. Среднеширокого формата\*.

Из фамилий людей, с которыми встречалась она в литературном кругу, мне запомнились фамилии Адамовича, Машковцева (Ходасевича?). Постоянно упоминались изда-

\* В типографии Мамонтова. Видимо, Марина не захотела никакого контроля над собой, не снесла стихи ни в издательство «Мусагет», ни в «Скорпион», а отдала за свой счет в типографию.

тельства «Мусагет», «Скорпион», журнал «Весы». Марину начинали знать среди писателей и поэтов.

Однажды, когда ее пригласили выступить с чтением стихов в обществе «Свободная эстетика» в Литературно-художественном кружке в доме Вострякова, на Малой Дмитровке\*, она позвала меня ехать с собой:

— Вместе скажем стихи, ты их все знаешь.

— А удобно?

— Какое мне дело! Прочтем вместе — ведь получается же унисон? Мы же одинаково читаем...

Мы поехали. В большой комнате за эстрадой собрались за столом все поэты, которые должны были читать стихи. Председательствовал Валерий Яковлевич Брюсов. Худой, в черном сюртуке, с черным бобриком надо лбом и черной бородкой, с острым взглядом темных глаз, отрывистая, чуть лающая интонация — он витал над сборищем поэтов как некий средневековый маг. Персонаж из его нашумевшего в литературных кругах романа о Средних веках «Огненный ангел» (Марина, конечно, читала его, я прочла много позже). Увидев меня рядом с Мариной, Брюсов внезапно оскалил белые зубы:

— Нас как-то много, больше, чем предполагалось, — поэтов за этим столом... — сказал он, учтивостью быстрого широкого жеста затушевывая дерзость.

Сказала ли, парировала ли Марина: «Я читаю вдвоем с сестрой!»? Промолчала ли надменно, успокоительно моргнув мне? Не помню.

(Боялся ли Брюсов, помня ту выходку мою в трамвае с его «Близ медлительного Нила...» — чего-нибудь, может быть, дерзкого с моей стороны? Но теперь я выглядела уже почти взрослой.)

Среди нас был Владимир Маяковский. Был он весьма молод. Говорил, что выступает чуть ли не в первый раз. По близорукости я не рассмотрела его. Ему было семнадцать лет. Что он читал в тот вечер — не помню. Я тревожилась перед этим первым выступлением в огромной зале.

Когда мы вышли на сцену (может быть, в форменных гимназических платьях?), публика приветливо заволновалась.

\* Ныне — Прокуратура Союза.

Но «по высокому тону» этого литературного собрания аплодировать было запрещено.

В два — одинаковых — голоса, сливающихся в один в каждом понижении и повышении интонаций, мы, стоя рядом, — Марина, еще не остригшая волос, в скромной, открывавшей лоб прическе, я — ниже и хуже Марины, с волосами до плеч, — читали стихи по голосовой волне, без актерской, ненавистой смысловой патетики. Внятно и просто. Певуче? Пусть скажет, кто помнит. Ритмично.

Мы прочли несколько стихотворений. Из них помню «В пятнадцать лет» и «Декабрьская сказка»... Вот строки из «Декабрьской сказки»:

...Был замок розовый, как зимняя заря,  
Как мир — большой, как ветер — древний.  
Мы были дочери почти царя,  
Почти царевны...

...Оленя быстрого из рога пили кровь,  
Сердца разглядывали в лупы...  
А тот, кто верить мог, что есть любовь,  
Казался глупый.

Однажды вечером пришел из тьмы  
Печальный принц в одежде серой.  
Он говорил без веры, ах! А мы  
Внимали с верой...

...Мы слишком молоды, чтобы забыть  
Того, кто в нас развеял чары,  
Но чтоб опять так нежно полюбить —  
Мы слишком стары.

Был один миг тишины после нашего последнего слова — и раздалась неистовые рукоплескания. Запрещенные в этом доме!

Мы стояли, смущенные, — откланиваясь, спеша уйти, а нам вслед не утихали аплодисменты... Выходили ли мы вновь? «Триумф!» — говорили Марине потом.

Это был первый вечер Марининой начинающейся известности.

Из всех воспоминаний Марины о писателях я меньше всего люблю ее статью о В.Я.Брюсове: я думаю, что писать надо только о тех, кого любишь: ей — о М.А.Волошине, об Андрее Белом, о Б.Пастернаке и В.Маяковском, о поэтессе Аделаиде Герцык, об Осипе Мандельштаме. Но Марина имела основание, кроме его критики стихов ее, не любить Брюсова — это я должна признать.

В декабре был Всероссийский конкурс на лучшее стихотворение на строки Пушкина: «Но Эдмонда не покинет / Дженни даже в небесах».

Стихи посылались анонимно, в двух конвертах; на верхнем, заключавшем в себе стихи, был начертан девиз. Призы должны были распределяться по девизам. Только после этого вскрывался второй конверт, где значились фамилия поэта и его адрес. Марина на конкурс стихов не писала. Она выбрала из уже написанного Нилендеру — и послала. Увы, я не помню Марининово девиза. Но, может быть, это был один из эпитафий, взятых ею для частей ее первого сборника, «Вечернего альбома», — она часто их повторяла и, может быть, никогда не отвратилась думой от них\*. Эти стихи Марины получили первый приз. Но когда был вскрыт адрес и узнано имя поэта — Брюсов перед всеми возгласил следующее:

«Первый приз не получил никто, а первый из вторых призов получила Марина Цветаева».

Согласится каждый, что такое заявление смешно, ибо вне логики, и не убедило оно тогда никого.

Золотую медаль — круглую, как маленькое солнце, с изображением черного крылатого коня — Пегаса — Марина, получив, носила долго, брелком на браслете, на тоненькой золотой цепочке.

В прессе Брюсов о Марине отозвался вяло. На поучающий отзыв Брюсова о «Вечернем альбоме» Марина ответила ему:

\* «Ah, mieux vaut repartir aussitôt qu'on arrive que de voir te faner, nouveauté de la rive» (Edmond Rostand). — «Ах, лучше человеку уйти сразу после появления, чем видеть, как ты увядаешь, новизна берегов» (Э.Ростан).

Улыбнись в мое окно  
Иль к шутам меня причисли,  
Не изменишь все равно!  
«Острых чувств» и «нужных мыслей»  
Мне от Бога не дано.  
Нужно петь, что все темно,  
Что над миром сны нависли...  
— Так теперь заведено, —  
Этих чувств и этих мыслей  
Мне от Бога не дано!

### Глава 3

ПЕЧАЛИ. РАЗГОВОР С МАТЕРЬЮ БОРИСА. РАЗГОВОР  
С МАРИНОЙ. БРАТ АНДРЕЙ И НИНА МУРЗО. СЕСТРЫ  
СЕРПИНСКИЕ. «ТОЛЬКО УТРО ЛЮБВИ ХОРОШО»

Начиналась зима. Я редко видела Бориса. Потому ли, что наши отношения нисколько не влились в какую-либо форму, потому ли, что вернулся из-за границы папа, но я, не разбираясь до дна в Борисе, не хотела огорчать папу рассказом о нем, ему непонятном, да и не видела надобности в каких-либо шагах внешнего порядка, могших слить наши жизни. Может быть, потому, что мой поступок, в дневнике решенный и выполненный, был ошибкой? Или мы были молоды? Не знаю этого и до сих пор. Борис продолжал жить своей, мне неизвестной жизнью, не рассказывая о своей семье. Это был восемнадцатилетний юноша, и идея брака шла ему в голову не более, чем мне.

Связать себя еще крепче с Борисом, «выйти замуж» (слова для меня вообще смешные, враждебные и ненужные) — нисколько не подходило мне. Я не знала его семьи. Я не знала ничего о нем, кроме узора наших внутренних отношений. Я в них запуталась героически-недоуменно. Чему тут могло помочь внешнее? Знакомство семей, «свадьба»? Никогда в моей одинокой грусти не была я дальше от этих слов, чем теперь. Мне надо было понять суть дела меж нас. А она не давалась. Я росла. Борис оставался юношей.

А рядом были знакомые семьи Виноградовых и Юркевич (как милы, как внимательны ко мне Толя, Сережа...). И вски-

пали волны-гиганты: Эллис! Нилендер! Что сказали бы они теперь?..

Ужасно хотелось стихов! Марина писала — и мы их говорили — но не бывали наедине, она была неразлучна с Сережей. Он был назван ее женихом, и с приезда папы наметился переезд Марины и Сережи к его сестрам — Лиле и Вере Эфрон — после знакомства с ним папы. Я не знаю, какие и много ли разговоров было об этом у нас в доме — вся та пора моего расставания с Мариной в моей памяти — как горячечный бред. Из него я помню три события.

В наш милый старый дом с водовозом и керосиновыми лампами провели телефон. Его повесили в передней — и не старой, громоздкой формы шкатулку, коричневую, деревянную, с глубоким рупором и такой же трубкой, а нового типа черный плоский металлический аппарат с плоской трубкой. Номер нашего телефона — его нет на земле уже скоро полвека — был 1-81-08. В первую пору мы все, и папа, говорили в телефон слишком громко. Появилось новое дело горничной (все той же стройной, пышноволобой узколицей красавицы), выводившей за кольцо ошейника сеттера-леверака Геру и старого пойнтера — охотничью Альфу — звать старого барина, молодого барина или барышень к телефону. И новый бег мой, ускоренный, вниз по лестнице — к голосам Виноградовых, Нины Мурзо, Драконны, разных знакомых, и стоянье у серебряного провала трюмо и отраженного в нем окна — как в аквариуме. Вот однажды так позванная и так стоя, видя свое теперь побледневшее и отсутствующее лицо в рамке волнистых волос, я услышала в трубке незнакомый женский пожилой и взволнованный голос:

— Вы Анастасия Ивановна Цветаева?

— Да, я. Кто говорит?

— С вами говорит мать Бори Трухачева. Мой сын — мальчик еще! Вы должны понять это — как взрослая женщина, — голос от волнения прерывался, и мне стало жаль, но как-то противно? Страшно? Я бы не сумела сказать. Женский голос продолжал развивать ту же тему, и было слышно усилие голоса скрыть раздраженность — негодование от разговора со мной (Настасья Филипповна!). Я запомнила еще это: «Мой мальчик пропадает из дома, возвращается иногда поздно вечером... Он же должен учиться, поймите меня, как взрослая женщина...»

Я услышала свой — тоже взволнованный голос, и в нем была, в его сдержанности, вдруг какая-то лавина усталости.

— Я ничего не смогу вам ответить (пауза). Поговорите с вашим сыном... Всего доброго! — и повесила трубку.

Я стояла, дыша какой-то жаркой чужой пропастью. Показывало меня чуть-чуть? Затем жизнь пошла дальше...

Теперь я думаю: откуда было то — в такие юные годы — взрослое и сдержанное достоинство — как ответить на падавшей? Не сказать — сколько мне лет, чья я дочь, что я моложе ее сына, что — откуда все это у меня, сколько раз в жизни после, от застенчивости — от тоски себя ронявшей и, как правило, бравшей не тот тон?

(И сейчас, не в силах не сделать этого, я, более семидесяти лет спустя, хочу о ней сказать, так без вины меня тогда обидевшей, чтоб и тени на ее память не пало: как должна была исстрадаться от такого ответа она, ничего от сына обо мне не знавшая, думавшая, по чьей-то ошибке, что мне тридцать пять лет! И как обеих нас — жаль...)

Почему не поговорила она с Борисом? Знала его закрытость, нежелание о себе говорить ни с кем. Или он о моих, ложно ей кем-то названных «тридцати пяти годах» не слышал тогда, — я узнала много позднее.

Я помню вечер, холодный и неприятный, переулки Арбата. Я иду провожать Марину в Кривоарбатский, в высокий дом, где она теперь будет жить. Марина уедет из Трехпрудного! Увезет свои книги, вещи... Одно это могло «разорвать мое сердце». Но оно «разорвано» стольким, и в общую чашу моего одиночества и непонятности жизни падает эта беда. Как этот ледяной, бесприютный переулок под ледяным черным небом — так бесприютна, таинственна жизнь. Мы идем плечо к плечу, под руку. Марина выше меня, шаг ее сейчас более упруг, чем мой, говорим. О чем? Слова срывает (сорвал, унес в пропасть) ветер. Не верну. Мы почти дошли. Мы замедляем шаг. Мы еще больше его замедляем. Мы стали перед парадным, почти в углу изгибающегося углом переулка. Марине надо подниматься по этажам. Я туда не пойду. Мы избегаем лифтов.

— Ася, — вдруг говорит Марина (и смотрит? не смотрит? Как ужасно рвет полы наших пальто ветер!) — Ты в отношениях

с Борисом — перешла (что дальше было сказано: «порог», «предел», вряд ли я тогда услышала! Ибо, идя навстречу преодоленной Марининой муке этот вопрос задать:)

— Да! — сказала я, протянув на прощанье руку, запахивая от ветра пальто.

— Молодец! — Медленно, с гордостью за меня, как старшая (и одновременно, может быть, как младшая? В тех сетях бывшая, все еще...). Марина крепко мне жала руку. Взмах головы вверх — свет фонаря ей в глаза, в бледном сейчас лице — вопрос? Решимость? У рта, в уголках — горечь, задумчивость... Мех шапочки кидает тень на лоб... Она вошла в парадное, мы расстались.

Моя милая, добрая, веселая подруга Нина Мурзо увлечена моим братом Андреем. И Андрей явно увлечен Ниной. Он очень застенчив, несмотря на свою угрюмость и насмешничанье, и, если он оказывает внимание Нине, чего никогда не бывало, — значит, он увлечен! От этого весело, я чувствую себя девочкой, точно наш дом — это дом Ростовых с Наташиными волнениями и причудами...

Светлый, звонкий, сильный голос Нины (она непременно будет учиться петь, это уже решено — она будет певица!) подымает залу, где дремлют Бетховен, Шуман и Гайдн мамыны, чудесным лирическим зовом девичьего голоса — и там, где, как сновиденья, прошли по дому Нилендер и Эллис, все волшебство нашего, Марины и моего, трагического отрочества, куда вошли и откуда уводят нас Борис и Сережа, вдруг расцветает весенний цветок первого чувства Андрея и Нины — невинный, веселый, светлый и радостный, как романс, который она поет.

Я стою — руки за спину — у вновь затрепавшей березовыми дровами печи, — и мне кажется, что все, что было с тех пор — сон, бред — ничего нет, кроме этой песни и личика Нины, ее карих трепетных глаз, — поднятых от клавиш к Андрею (он подошел), мир прелестен, юн, чист и светел.

Из-за границы давно уже вернулись сестры Серпинские, ученицы гимназии Потоцкой, так внезапно отправленные туда несколько лет назад, когда вскрылось страш-



ное дело об убийстве Рассветовой, в котором мать Веры, моей подруги по гимназии Потоцкой, принимала участие. У Веры была старшая сестра Нина и младшая, которых я не знала. Теперь Нина — поэтесса (Марина ненавидит это слово, признавая только «поэт», но ведь есть именно «поэтессы»). Младшей Соне теперь четырнадцать лет, и я к ней чувствую нежность, она мне чем-то напоминает меня в этом возрасте — острыми ответами, озорством, смелостью. Она приходит ко мне с моей бывшей одноклассницей Верой. Они совсем не похожи — Вера белокурая, розовая, большие печальные глаза навывкате, ресницы и брови светлые, орлиный короткий нос; полная. Нина — тонка, высока, темноволоса, кудри по плечам, смугла, продолговатое лицо, огненно-темные глаза, длинный с горбинкой нос... Они очень спаяны — пережитой семейной трагедией, заграничным пансионом, в них обеих — удержанный вздох, недоговаривание. Они очень друг к другу нежны, может быть, потому, что еще недавно их разделяли года, но Соня догоняет сестру, и Вера — мягкая и одинокая, радуется неожиданной подруге. Они все чаще приходят ко мне, обе восхищаются Андреем, и я вижу, что сердца их обеих уже бьются ему навстречу. Он уклончив, но ему льстит успех — и все мы так молоды...

Никто не знает ничего толком о моем романе с Борисом. Борис у меня не бывает. Я вижу его у Лидии Александровны. Она очень им недовольна, я слушаю ее осуждение его поведения со мной — с сомнением, ведь она не знает его! Он же не такой, как другие, — ни в любви, ни в жизни. Он не поступит со мной так, как она об этом вообразила, я сама же не хочу ничего закреплять внешним образом! Мне так грустно, но причины этой грусти совсем не те, которые мне хотят предложить... Я ничего не знаю о будущем. Я ненавижу вопрос секса, который ничему не помог, а только даже, может быть, отдалил нас друг от друга... Ничего, ничего не знаю — я люблю Б.С.Т., этого Бориса, с которым мужское и женское в нас заставило меня «сблизиться» и в котором нет нежности, а она мне нужна. Я устала от трудных чувств, хочу быть девочкой, девушкой, как мои подруги, я нежна к Толе и Сереже Юркевич. «Только утро любви хорошо!..»

## Глава 4

### У ВИНОГРАДОВЫХ. ТОЛЯ, МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. У ЮРКЕВИЧЕЙ. ТОСКА ПО МАРИНЕ

«На столе — каравай на деревянном блюде и расшитое крестиком полотенце, а на стене Боттичелли!» — В.О.Нилендер о семье Виноградовых, со своей глубокой, наблюдающей мир улыбкой...

А мне — хорошо тут! В уютной квартирке у храма Спасителя, куда доносится колокольный звон, за чайным столом, где меня знают с детства, с синеглазой Ниной, милой насмешницей — ее яркий взгляд, лукаво-ласковый смех, прямой нос и розовые губы напоминают брата Анатолия (я так зову его, забавляясь своей смелостью изменить его имя — вместо более интимного и детского «Толя»). Тепло. Шумит самовар. Надежда Николаевна, так явно меня отличающая и любящая, угощает, спрашивает, что я думаю делать после гимназии — и приеду ли я летом в Тарусу. «В прошлом году изменили тарусским садам и лугам для заграницы», — и подкладывает кусок пирога и смотрит светлыми (выгорели, такие же были, как у Нины) глазами под тонкими, еще видными бровями (польская кровь!), и ласково, за ее спиной, к ней наклоняется ее сын, сходный и с ней, и с крестьянской породой отца. Он глядит на меня проникающим и не то зовущим, не то приказывающим что-то взглядом, от которого в отрочестве мне было таинственно и немного страшно, а теперь не по себе и чуть тошно, и хочется этот взгляд отрезать, как ломоть — ножом. (Я ему не прощу ту Хлою с тем Дафнисом, именно теперь не прощу!) Но мне уже не страшно его, и он это, наверное, чувствует. Говорит о таком обычном своем — о Лескове, о Мельникове-Печерском, о русской старине, и я плыву по его словам, как по Оке плот, — бездумно, отдохновенно... Что бы там в нем ни было — в ком нет бездн! — он родной, я его знаю с детства (мне было семь лет, ему пятнадцать). Я в нем укрываюсь сейчас, как в том шалаше, что строили за старым садом ребята и куда мы прятались от дождя. Тупик моей жизни не имеет никаких выходов — только один, назад, в недоуменное детство. Но ведь и в детстве была тоска и зовы куда-то (в каждом свистке поезда, в каждой

рояльной ноте, в каждой заревой желтизне из-под туч), и кто скажет мне, что я не имею права немножко любить Толю, когда мы выходим в поздний час на заснеженную знакомую улицу и он — скользко — берет меня под руку! Лунная ночь, он идет проводить меня. Мимо мчится трамвай «А» Бульварным кольцом, но зачем он нам, когда так хорошо идти по снежку медленным шагом, говорить, взглядывая друг на друга и слушая, в себе, как в словах значит совершенное иное, будто пишешь двойным пером. Борис? Я чиста перед ним. Он живет своей жизнью, я — своей, он не был уж столько дней и не пишет, я ничем не грешу перед ним. И я его ни в чем не обвиняю. Драконна не понимает, он не искушал меня на тот шаг, я сама у себя потребовала этого шага, чтоб победить свой страх. Но — ошиблась: бездну меж наших душ этот шаг не сжег, два человека не могут слиться! Зачем эта ложь о Хлое и Дафнисе, Толя? Разве мы не слиты сейчас (совершенно «чужие»), еле смея коснуться друг друга, отводя глаза, чтоб не опалиться огнем общей сейчас души? Какая близость может быть больше? Что заставило людей то звать — «близостью»? Какая-то перестановка имен...

Медленнее наш шаг по переулку. (И как хорошо, что уж близок дом! Дай мы оба ход той накаленности тайной, что в нас тлеет — и пошло бы опять все тем безысходным путем!) Стеклом шелестят заледеневшие ветви тополя над воротами, тепло, благодарно и нежно пожатье рук; мгновение взлет взгляда — улыбка — легкий прыжок — льдом обжигает кольцо калитки, чугунное — и уж бегу по мосткам, вся еще полная Толей, давним моим непонятым другом, так на меня сейчас глядевшим! Так не хотевшим расстаться! Ничего не сказавшим мне! О, если б сказал! О, я бы ему ответила! «Только утро любви хорошо!»

Я стою, взлетев лестницей, в моей опустевшей «светелке» (так зовет свою комнату Нина, сестра Толи), в моем «магическом кабинете» (где были вы, Владимир Оттонович! Вы меня отпускали к Борису, желали мне счастья, заповедовали «не думать»... Но куда от мыслей уйдешь?). Годы мы жили, не жалуясь, утешаясь стихами. Кто мне остался теперь, кроме Лермонтова? Марины нет... Я одна в бывшей детской, от которой нет и следа, только искры струнные сыплются из-

под медиатора в Андреевской комнате, и подвывает Альфа под лестницей в своем — привязана — уголке. Алексей несет дрова топить печь (быт — верен!) Господи! Это Марья Васильевна идет ко мне вверх по лестнице — все та же, как сама жизнь...

Печка трещит, еще не нагрелась. Марья Васильевна ходит по комнате, худенькая, в черном платье, морщинистое желтое личико, как всегда, настороженно теплым вниманием черные глаза смотрят прямо, в них трепет, трепет всей жизни прожитой — столько жизней! Захолодевшие руки старые (ими принимала нас с Мариной при рождении на свет!), она трет их друг о друга — и пробует, согрелась ли печка, — еще нет!

— Я у тебя, Асенька, заночую сегодня! Муси-то, слышала я, нет? Улетела пташка? Хорош, говорят, жених, когда ж свадьба? Я вон там лягу, на диванчике — он еще Лёриной мамы, помнится... А я шла, хотела в Реутово, да уж поздно, куда, думаю, ночью-то? Да и завернула к тебе...

— Мы сейчас чай пойдём пить! — ликую я нежданной доброты жизни и звоню, чтобы подогрели самовар. Кто? Барышни Серпинские были? А звонили — кто? Соня Юркевич? Хорошо, спасибо, чтоб в воскресенье? Обязательно? Ладно, до воскресенья еще пять дней...

И я слушаю про племянника Мишку и про сестру Александру — гордая она, несогласная, да что с нее взять, жизнь-то не задалась ей... Ну, уж Лиза зато — счастлива! Ученье кончила, муж в ней души не чаёт, работник такой, у!.. И ребеночек уж предвидится. Сына хотят! Дочь — нет, и не слушают! Серб он, Асенька, а они, знаешь, народ деловой: чтоб наследник! Ну а папа-то как? Здоров? Ну и слава богу... Много ему переживать пришлось! Да, без мамы трудно! Все она ему с Музеем-то помогала — пишут, бывало, приедешь... Рано убралась от вас, рано... А без Муси тебе-то скучно? А?

— Барышня, идите чай кушать! Самовар подан...

У нас новая горничная — полька, Лена. Маленькая, полная, некрасивая (как странно: польки — красавицы!). Александра Олимпиевна взяла ее по рекомендации — наша уехала в деревню. Дивно подумать, что уехавшая — такая настоящая красавица, утонченной красоты, барской, картинной, дочь простых крестьян, живущих в тяжелом труде! Лена же

прилепляется ко мне — любит, льстит (явно! Чудачка! Зачем?), бегает по лестнице возбужденно, радуясь хорошему месту. Мне весело от этой наперсницы, простодушной и все-таки непонятной, счастливой бегом и хохотом — я никогда не была такой...

...И, когда я одевалась ехать на вечер к Юркевичам, в углу моей комнаты перед зеркалом маминого орехового комода (темный, красного дерева, маминой матери, он по-прежнему стоял внизу в теперь одинокой папиной спальне), горничная Лена восторженно смотрела на меня, любуясь и волосами моими, только что вымытыми, и платьем, и бабушкиным гранатовым ожерельем, состоящим из ряда сверкавших гранями гранатовых медальонов, сзади — мелких, на плечах — крупной и кончавшихся посередине, на груди — крупной, горевшим темной звездой.

Смеркалось. Лена сбегала за извозчиком... Вечерняя любимая Москва! Снежок — полет санок — и радость ехать к давним друзьям!

В большой комнате, где-то в Замоскворечье — множество молодежи за длинным, празднично накрытым столом. Розовое узкое личико Сони (сожаленья, что не приехала Марина — от жениха своего не оторвется! Так и ехала бы с ним, вот чудачка...), мелкокудрявая, черная, как у негра, голова Пети и каштановая россыпь кудрей — высоко над высоким упрямым лбом, Сережиным. Оба брата в студенческом; сине-зеленая форма так идет им и их товарищам! («Жаль, нет Андрея», — с гордостью сестры думала я.) И — где-то глубоко-глубоко, другое «жаль» — об отсутствующем Борисе, не бывшем и на нашем последнем, еще при Марине устроенном вечере, не будет и на том, который скоро мы устроим, Андрей и я. Сегодня приглашаю Юркевичей, Виноградовых, Серпинских. (Нина Мурзо с братом Женей — приглашены.)

...Неужели только так мало лет прошло с того дня, когда впервые к нам пришел незнакомый еще Сонин брат Сережа, он говорил почти весь вечер с Мариной, я была еще совсем девочка... Сережа не сводит с меня глаз, я — с него, но это только нам понятно. Мы так оживленно говорим с другими, так усердно прячем свое оживление друг о друге — в общий костер веселья!

Мне жаль, что нет Вертоградского — где он и его белый арабский конь? Мне хочется хоть на один вечер перестать быть собой, все забыть и снова быть девочкой, как тогда... Друг Сережи и Пети? — студент Липеровский шутит с Соной, он остроумен. Как много света! Портвейн и мадера золотятся в бокалах и рюмках. Горы апельсинов. И вдруг — острой, длинной стрелой — тоска о Марине. Уж никогда мы не будем вместе, как были, никогда!..

Сережа Юркевич был на нашем вечере, пришел явно ко мне. Было так много людей! Музыка, пение! Вера и Соня грустно завидовали Нине — вниманию Андрея к ней. Я старалась быть со всеми, но радость шла от Сережи. Он пришел еще и стал приходить. Он входил наверх, и вечер был долог; мы цедили его, как вино. Я смотрела на Сережу с нежностью старшей. Мне было грустно. Я знала, что он чувствует ко мне больше, чем я к нему. Я очарована им, но это не любовь... Я не могу не быть ему благодарной за его внимание и нежность. Но он не знает того, что я знаю, — что только утро любви хорошо! Я обманываю его не тем, что люблю Бориса (любовь! Какая безутешная...) Он что-то знает о Борисе, как и все, кто меня окружает, но не спрашивает, вероятно, боясь ранить. Может быть, он думает одолеть во мне эту любовь? Этого никто не сможет — даже я сама... Я обманываю его тем, что, не скрывая ни от него, ни от себя радости его видеть, знаю, что *будущего у нас нет*, что ничто мне не заменит Бориса, а только утешит меня, каждый и каждая подруга — собой, потому что любовь Бориса не утоляет меня: разве может физическая близость утолить тоску по его душе, по его стихийному духу, рвущемуся от всех? Я отравлена Борисовым одиночеством, и утешить меня не может никто. Я обманываю и Сережу, и Толю, и всех, кто придет, тем, что не могу остановить свое очарование, к ним идущее, и не могу не чувствовать их так, как если бы каждый из них был мне единственен. Каждому я хочу добра и каждому несущее страданье. Вот в чем моя вина...

Был дождливый вечер. Мы возвращались из синематографа на Арбатской площади, Сережа Юркевич и я. Романтика печального, трагического фильма, в трагедии которого никто не был виноват, словно нарочно для нас

в этот вечер ожившая, сблизила еще больше. Мы слова не говорили о себе, друг о друге — только о тех, кто только что прошел по экрану, прошел, чтоб навеки исчезнуть, как проходим, как исчезаем и мы. Лондонская изморозь неузнаваемо меняла Никитский бульвар, свет фонарей. Сережа бережно вел меня под руку. Мне казалось, что он знает все обо мне — чутьем нежности и любви, старшинством, словно брат. И когда он, взяв извозчика, посадил меня и сел рядом, я не почувствовала ничего женски-нечистого, когда моя голова, наклонясь к нему, легла на его плечо. Он прижал ее к плечу еще сильнее и оперся краем щеки о мою шапочку, и так мы ехали молча, под круглой крышей московской извозчицкой пролетки, спасенные от дождя и людских глаз; обе мои руки лежали на его руке, и я закрыла глаза, мне ничего не хотелось в этот миг — только ехать так и молчать, отдыхать долго, долго... Может быть, умереть?

Но так короток путь от Арбатских ворот по Бронным до Трехпрудного переулкa!.. Сережа ехал, конечно, ко мне, потому что нигде ему не хотелось быть, кроме как в моей комнате, это было и его право в тот вечер.

Зеркало в прихожей отразило мое лицо, мокрую прядь волос, серую, как пальто, шапочку... Глаза смотрели с грустью, что-то у меня спрашивая. А может, это глядела через меня Аста Нильсен, прошедшая в тот вечер по экрану. Лена подала нам чай с печеньем, яблоками, орехами — наверх, в мою комнату. Орехи пахли Тарусой. Мы говорили о Марине и Сереже Эфроне, обо мне и Марине, обо мне и Борисе. Обо мне и о нем, Сереже... Вечер перегибался о ночь, как нагретая стеклянная трубка, а дождь за окном шел и шел, затем — стих... Ветви тополя слили с себя небесную воду о крышу парадного входа под моим окном, и над их кроной наступила чистая синева...

У ворот, до которых я, как всегда Марина и я, провожали уходивших подруг и друзей, довела Сережу, накиннув на голову легкий лиловый шарф, я — или он? или вместе? Продолжением каких-то слов было движение друг к другу и — в большем мученье, чем радости, неожиданный и все-таки в нашей воле, почти братский, почти сестринский поцелуй. Нежности — прощальной? Благодарящей? Разве совсем без надежд?

Сережа пришел еще (и еще?). Я помню вечер, когда мы (в пакте дружбы уже? Уверенности? Может быть, после признанья?) сидя на диване в моей комнате, рисовали, с краткими пояснениями, каждый на своем листке — то, как каждому из нас казалось, шел узор наших встреч — удаления и приближения. Как счастливо спорили, восхищались сходством малейших изгибов в чувстве, в оценке молчаний и слов...

Никто не помешал нам в тот вечер. Упрямый Сережин лоб был все так же упрям, брови так же строги, глаза — так же свинцово-сини, он немного походил на Рафаила Кречетова, с которым мы полтора года назад ехали в поезде за границу, но насколько дороже были мне эти глаза, эти высоко над лбом стоявшие каштановые кудри и прямой нос, как на египетских барельефах, и чистый, строгий его рот... Был ли этот вечер — последним?

## Глава 5

### ВСТРЕЧА НАМИ СЕРЕЖИ ЭФРОНА В ДВУХ МАМИНЫХ СТАРИННЫХ ШУБАХ НА НИКОЛАЕВСКОМ ВОКЗАЛЕ

Сережа Эфрон уехал в Петербург на несколько дней. Почему Марина с ним не поехала? Но возвращение не замедлило, и мы собрались встречать.

Встреча совершилась по идее Марины: из сундуков маминного приданого были вынуты шубы конца прошлого века, поколение назад, и мы облеклись в них (зеркала по всему пути прохождения нашего: половинное над комодом в нашей бывшей детской, оба трюмо залы и большое полукруглое зеркало, в рост, в ореховой фасонной оправе, Лёриной мамы, в гостиной — отразило нас двух, сновиденья из прошлого — комически-смешные — в век иных мод. В этом и заключался Маринин план: так встретить Сережу! На перроне Николаевского вокзала, в двадцатом веке встретить его, так падкого на юмор, но по-юношески застенчивого — это было как нестись с Воробьевых гор нашего общего с ним детства. Маринины зеленые глаза светились жаром лукавства и предвкушенья — как-то он поведет себя, как поглядит, что скажет, что сделает?! Интересно... Зер-



кала отражали — мы стояли у разных потому, что не помещались вдвоем — раструбы девятнадцатого века, немалой ширины кринолин! — в Маринином стояла статная молодая женщина в крошечной собольей светло-желтой шапочке, наверху раздвоенной мягким сгибом внутрь. В век больших шляп — и громадных муфт. Руки — две кисти едва помещались в невообразимо маленькой муфточке, собольей, на шелковом коричневом шнурке, а от талии, обтянутой, как манекен, шли вбок — и до полу (мамин рост!) тугие широты сборок коричневого верха шубы объемом с «синее море», нечто гоголевское. (Век манто, узких внизу, с японскими рукавами!) А лицо улыбалось!

А — в моем... В моем зеркале жалобно пресмыкалось невысокого роста девическое существо, утопая в темно-коричневом шелковом бархате, тоже в обтяжку до талии, у меня приходившейся так низко на боках, что и нежность бархатных кринолинных богатств сама походила на — реверанс, потому что низ шубы лежал на паркете, и я его «грациозно» в кавычках поднимала, поддерживала руками, как в глубоком придворном *plongeon*\*.

Бобровая муфточка ничтожно-малого очертания болталась на шнурке — надо было бы еще две руки — чтоб их туда сунуть! Бобровая кроха — шапочка фасона, как у Марины, сидела высоко, почти как шиньон, на моих волосах с завивающимися концами по плечам и бобровому воротнику. Зрелице было — из сна!

Мы смеялись так, что могли упасть. Я заплеталась в смехе, в бархатных широтах-длиннотах до полной потери сил. И только часы заставили нас «взять себя в руки».

Что подумал извозчик, везший нас? Мы еле уместились под полостью, я то и дело сползала вбок, и Марина меня крепко держала.

Мужественно вошли на вокзал. Прошли по нему, делая вид, что не видим — не слышим, как глядели и что восклицали нам вслед: это все тонуло в том, что будет, когда Сережа выйдет из поезда! Оживленно беседуя, гипнотически заставляя встречных *верить своим глазам*, мы прогуливались по перрону, девятнадцатый век по двадцатому. (И добро бы

\* Реверанс (*фр.*). — *Примеч. ред.*

еще так! Но — мой вид! Вид идущего реверанса! Шлейф — со всех сторон!.. Это был уж — никакой век!) Неслыханность озорства была налицо. Но ее отрицала серьезность, невинность наших двух лиц, сыгранная — самозащитой — артистически.

...Я никогда не забуду тот взгляд, который из радостного ожидания увидеть Марину — изменился вдруг на лице высокого красавца в меховой дохе, шедшего нам навстречу! Ужас — мольба — юмор — смех, побеждавший все это, и стыд, побеждавший смех — кто когда-либо видел такое? А мы — первый миг — по крайней мере — «выдержали марку», как сказала бы Драконна: смотрели на него недоуменно-светло, невинно-серьезно, пока Сережа смешно, ни на кого не глядя, засовывал нас в карету? (В другое мы бы не засунулись — по габаритам девятнадцатого века.) И вот мы едем по Москве, уже спасенные от толпы зевак, и хохочем пламенным трио, в свободе и отдыхе некоего старинного «дормёза»\*, везущего нас домой.

— Этого я вам никогда не прощу, Мариночка! — сказал Сережа.

## Глава 6

### ВИЗИТ МАТЕРИ ТОЛИ ВИНОГРАДОВА. МАРУСЯ ТРУХАЧЕВА (ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА). ЛЁРА. ПРОПАЖА БАБУШКИНОГО ГРАНАТОВОГО ОЖЕРЕЛЬЯ

Ко мне приехала Надежда Николаевна, мать Толи Виноградова. Мы сидим с ней в моем уголке, на диване, нам подали чай, и она все медлит говорить о чем-то, хоть совсем ясно, что она приехала с каким-то намерением — между нами ровно-наравно — поколение.

Я смущена, не показываю смущенья, много говорю, весела, будто не удивлена посещением и предчувствую, в испуге, что ее будущий разговор со мной имеет целью — обратное телефонному разговору со мной матери Бори. Я очень боюсь, что она начнет его сейчас и что будет нам обоим страданье:

\* От *фр.* *dormeuse* — большая старинная карета, приспособленная для сна в пути. — *Примеч. ред.*

мне — отказать, ей — слушать отказ, и тогда я, в отчаянии, что могу опоздать, и в горе, что мне некогда выбирать выражения, бросаюсь, как в волны — пловец, в туманный, но будто бы откровенный рассказ ей, как старшей и с детства меня знавшей — о чувстве, пришедшем в мою жизнь, о трудностях чувства — я точно прошу у нее помощи и защиты, а стремлюсь я только не обидеть ее, не допустить разговора и, вспоминая холодный тон Бориной матери и слыша иной тон мне навстречу, теплый и приглашающий — думаю о том, как странна жизнь...

Мать Толи уехала, не обиженная, грустная и растроганная, но старавшаяся скрыть огорчение. В этот вечер я стала старше еще на один год.

Борис захотел меня познакомить со своей сестрой Марусей. Она старше его на полтора года. Живет отдельно, не ладит с матерью, и я очень просила его приехать со мной к ней. Волнуюсь. Радуюсь. Сестра Бориса не может быть мне чужой. Говорю об этом Марине.

— Иди непременно. Интересно, какая... Расскажешь! Только не веди себя уж очень доверчиво! Кто знает! Когда? Завтра? Отлично. Послезавтра мы с Сережей будем тебя ждать...

Маленькая студенческая комнатка в Грузинах. У стола, смеясь разительно похожим на брата смехом, хлопчет, готовя чай, высокая худенькая девушка, одетая просто, в юбку и кофточку. Пушистые, на прямой пробор, со светлой искринкой волосы. Яркие под тяжелыми веками, не во всю ширь раскрытые глаза под тонкими бровками. Тонкие черты. Очень худенькое лицо, желтоватое. Что-то польское. Та же оживленность в выражении лица и в движениях, что у брата. То же грассирование, но легче. Насмешничающая шутливость. Нервные тонкие ручки. Я сразу чувствую себя в присутствии личности. Я оживлена, — зеркальностью всего существа оживаю в чье-то внимание и настороженность. Я не знаю отношений Бориса и Маруси, но это его сестра, его кровь, столько явных сходств в (чуть) иной транспонации — это новая дружба, новая душа в мою душу! Ясно — я нравлюсь ей...

Пируем по-студенчески. Маруся бедна, она в разрыве с семьей, значит, и ей недобро звучал тот голос, что меня по телефону спросил – требовал – отпустить Бориса на волю. Я не держу его! С кем ему вольней, чем со мной! Но что я могла в двух фразах по телефону... Вот ее дочь тут, отрезав себя ломтем.

Уплетаем хлеб с колбасой, чай с мармеладом. Без умолку говорим! Маруся курит без передышки. Белая шерстяная шаль, обнимая худенькие плечи, взмахивается, как крылья, от быстрых движений рук. Часы летят. Надо идти. Мы очень спаялись. Понятно, что эта женщина уже не выйдет из моей жизни (как я – из ее). Такая встреча, как опьянение, возможно, поэтому мне не удалось понять их взаимоотношений. Может быть, привычная с детства насмешечка друг с другом? Несогласие каких-то перехлестнувшихся родных корешков? Но какое сходство! Она мне дорога как-то мучительно... О братьях – вскользь. О матери не упоминалось. Я пригласила Марусю к себе.

И снова я у Лёры. Нет, у Бориса Ивановича Л-ва, он живет недалеко от нас, в переулке Тверской. Лёра у него в гостях и позвала прийти меня.

Лёра на двенадцать лет меня старше, но та же застенчивость? Растерянность? Тонкое сдержанное страдание, что и во мне. Я чувствую себя как никогда близкой к Лёре. С тайной улыбкой я думаю о том, как странно: в ее жизни имя Борис как в моей – Сергей (а в Марининой инициалы «С.Э.» – как в маминой книжке дневника, в любви маминой молодости...). Тонкий профиль Бориса Ивановича, светлая бородка, острая, прозрачная льдинка пенсне. Под этим так явственно живет утонченная, самолюбивая и, наверное, гордая душа. «Что он любит в Лёре?» – думаю я, отпивая чай и беря с блюдечка варенье. Умеет ли он любить ее лучше, чем Борис – меня любит? Драконна говорит, что Борис не умеет любить, что любящий человек все отдаст тому, кого любит, что любовь есть забвенье себя, а Борис не может забыть себя, в этом его мучение, анализ всегда с ним (как со мной). Борис Иванович, кажется мне, любит себя не меньше, чем Лёру, гордится и собою и ею, и Лёре, наверное, трудно с ним – не легче, чем мне, – ох... Узор

стакана горит хрустальными завитками, золото чайного столбика оттеняет его так нежно. Витая ручка серебряной чайной ложки тонет в золоте, тухнет о глубину. Кого же выберет Лёра, думаю я — неужели этого человека? А не С.И., который так добр, так предан, так — ну, как раз наоборот во всем, чем Б.И.! Вот он может — мог бы, если б Лёра его выбрала, быть верным и радостным другом... Как хорошо было бы, если б совсем не было Б.И. на пути ее и Сергея Иосоновича, и вот почему-то надо жизни, чтоб он был, чтоб Лёре было трудно.

Высокая комната, книжный шкаф, разговор о книгах, театре. За окнами — вечер, идет снег. Свет лампы падает на лицо Лёры, легкое, смуглое, светлые глаза ее кажутся не зелеными, как днем, — серыми. Темные волосы. В маленьком рте — капризность? Решимость? Скрытность и печаль в лице. Ее маленький рост, маленькие руки — все нежно и женственно, от матери, Варвары Дмитриевны. Но лицо свое та оставила сыну. Лёра похожа чертами на свою бабушку, первую жену Иловойского, — или на ее мать, «Мамаку»? В Андрее мягче, в Лёре резче, сложнее, таинственней живет их румынская кровь.

В доме произошла неприятность: пропало мое старинное гранатовое ожерелье. Александра Олимпиевна подозревает горничную Лену. И исчезла уроненная мной — я хотела ехать с Александрой Олимпиевной за покупками — сторублевая бумажка — большая, светлая, с прозрачным изображением Екатерины II. Лена вертелась возле меня. Но сказать ей об этом — неловко, да и все равно не отдаст. Мне жалко, так жалко бабушкиного гранатового ожерелья. Я его так любила... А она его просто продаст! И как нестерпимо глупо, что она продаст его — не мне! Я бы его у нее купила с такой радостью, и это единственное, что нужно, а жизнь именно этого не допустит по своему (и людей) «здравому смыслу». И какому-то там «правосудию»...

У нас с Мариной есть из вещей бабушки еще по золотому медальону, у Марины — с жемчужиной. Неужели бабушка их носила так давно? Ее вещь — цела, а от нее ничего не осталось! Вот этот золотой овал на тоненькой золотой цепочке.

## Глава 7

### РАЗГОВОР С МАРУСЕЙ ТРУХАЧЕВОЙ (ВТОРАЯ ВСТРЕЧА)

...Несколько дней я — как в чаду от неуверенности, предположений, сомнений... Разговоров с Драконной, с Лидией Дмитриевной. Наконец все решается на приеме у их знакомого, известного д-ра Чайковского: сомнения кончились, я — беременна... Удивительно: чем больше волнуются они вокруг меня, тем я спокойнее. Так? Ну что ж, я очень рада. У меня будет сын? Ново и непонятно. Торжественно. И, может быть, это идет смерть!.. Нередко родами — умирают. Незадолго до того я прочла «Войну и мир», и смерть родами матери Николенки Болконского жила в душе. Может быть, отсюда было мое ожидание того же? Умерла мать брата Андрея. Умерла мамина мать. Молодые! Портреты этих двух юных женщин смотрели в доме со стен. Как судьба!

...Его сын! Полная этим тихим, радостным и трагическим чувством, заточась в нем, как в крепости, я с равнодушным удивлением смотрела в лица взволнованных друзей-женщин и слушала рассуждения и споры обо мне: невозможно допустить это — во-первых, организм не готов, молод, доктор говорит, что это может повлечь опасность для жизни. (Сердце наполнилось печалью и ликованием.) Во-вторых, папа. Его положение, близится открытие Музея, разве можно ему нанести такой удар? Он еще не оправился от истории со Шварцем, столько пережил за последние годы — пожар в Музее, смерть мамы, газетную травлю (сердце во мне падало жалостью к доброму старому героическому папе...), только что с постели после тяжелой болезни — разве можно обрушить ему на голову такую беду?

Он даже не знает Бориса, ни разу с ним не говорил после той весенней встречи. Борис — молод, в пятом классе вышел из гимназии после скандала с учителем. Перед учителем не извинился, больше в гимназию не вернулся — разве такой зять нужен Ивану Владимировичу? Наконец, как скрыть от него отношение матери Бориса ко мне, поверившей лжи, что мне тридцать пять лет? Ее вражда ко мне — разве папа заслужил это? И тотчас перекидывалась беседа на самого Бориса. Он-то что думает? Ведь он... «Нет, другого

выхода нет — надо избавиться от беременности», — говорили мне. И возможно скорее. Аборт! И тогда я, трясась от невозможности им объяснить, что для меня именно этот их единственный выход невозможен, упрямо (им это казалось нелепым, диким упрямством!) говорю: «Нет, не могу...» К чему это все, когда я не могу это сделать, не сделаю! Я прекрасно все понимаю, это все совершенно верно, я не ждала того, что случилось, не этого хотела, когда шла на близость с Борисом, я видела, что измучила его своим страхом, наношу ему вред, поняла, что он должен страдать от такого моего ненормального страха того, на что идут все, когда любят, — и еще я хотела вернуть наши прежние отношения, которым так властно вдруг помешал пол; я не могла расстаться с Борисом, бросить его, одинокого и трагического. Я думала, этот шаг упростит наше будущее, мы перестанем биться об пол, как пойманные огнем насекомые, я хотела свободы от пола — и я заставила себя переступить порог.

Но получилось совсем не то, чего я ждала, я ничего не победила, не стала другой, я осталась тою же, я, наоборот, рванулась назад, к отрочеству, и от всей непонятности всего со мной и с Борисом мне иногда хочется умереть...

Судьба (Бог?) повернула все совершенно неожиданно — я вдруг оказалась матерью, я! Семнадцати лет! Значит, в этом и был, может быть, смысл всего, тайный, и я не пойму его, пока не обрету этого ребенка. Разве я могу оттолкнуть его, единственно реального во всем этом? Который захотел быть!

Я смотрю на моих милых женщин-друзей недоуменно и обиженно — они же не понимают самого главного во мне сейчас... И даже когда она начинает мне говорить о Борисе, о том, что важно, как он отнесется к ребенку — я упрямо говорю, что нет, что это вовсе не важно. Он может не понять — а я поняла, и дело решенное. Пусть сын, пусть смерть, вот и все...

Они не сдаются. Это совсем невозможно! Они уговаривают д-ра Ч-го, высокого красавца, очень красноречивого. Он уговаривает меня. Боли не будет. И никто не узнает. И жизнь войдет в норму. И я — застенчиво и твердо говорю: «Нет! Уеду за границу, рожу там». А папа? Что я предлагаю тут?

То, что мне, в слезах, вдруг мной восхитясь, предложила Драконна? Уехать за границу — лечиться (папа так боится возможности мне заболеть, как мама). Ехать куда-нибудь в Дрезден или в Швейцарию, — он мне уже говорил об этом, о моем будущем — учиться живописи или, может быть, чему-нибудь прикладному — росписи по фарфору, какому-нибудь художественному ремеслу... Я могу родить — там, далеко, дать без меня пройти торжественному открытию Музея, а потом, позже, как-нибудь — мало ли... «если ребенок выживет» (говорит Драконна), «если я выживу» (думаю я!).

Первой, кому я сказала, была, конечно, Марина. Она совсем за меня не испугалась. Оживилась, очень обрадовалась, заинтересовалась. Одобрила мое решение. Сережа поздравил меня. Я так согрелась возле них, так вошла в роль матери, точно уж давно живу в ней.

Лёра покачала головой, вздохнув, но не стала мне отсоветовать, а задумалась, посмотрела на меня, улыбнувшись и, похлопав меня по плечу: «Ах, Настенька, Настенька...» — стала обсуждать со мной, как сделать все наименее болезненным для папы. Маринин авантюрный дух шагал через это легко: «Устроим!» Она веселилась, почти мне завидовала: «Как назовешь, если сын? Если дочь?»

А вечером, когда я была у себя одна в комнате, вдруг медленно, осторожной рукой открылась дверь (кому-то без звонка отворила горничная? Или с черного хода?), вошла тоненькая высокая женщина, мне не знакомая, в голубовато-зеленоватом длинном, как на сцене русалки, платье, горделивая маленькая голова, подвитые, странно зачесанные назад светлые волосы — лента, полукружьем надо лбом. Я шагнула навстречу. Что-то вспомнилось, туманно и фантастично, как это очертание, шедшее мне навстречу. Я различила глаза с поволокой, подкрашенные, подведенные бровки, театральный слой пудры, тонкий нос и, когда улыбнулись губы, открыв кусочек жемчужного ожерелья и все лицо, дотоле сценичное, таинственное, вспыхнуло тенью девичьего озорства — господи, какой удар в сердце! Радости — полуиспуга — восхищенья, бесконечного интереса к метамарфозе — Маруся Трухачева, сестра Бориса! Так вот какая она!.. Какой может быть... Наши четыре руки встретились тесней, чем в ритме четырехручной игры,



рояльной... — и с восторгом, утраченным между мной и Борисом, зажглась, темпа верховой скачки, дружба! Цветаевско-грухачевской крови... (той, что «под сердцем», как писали в старинных книгах, бьется, пока еще неслышно, во мне!). Но после первого вихря скачки Маруся, зорко взглянув на меня, спросила — произошла ли между Борисом и мной близость? Я ответила утвердительно, лицо Маруси стало — теплей? Холодней? Я бы не сумела сказать. Изменилось — и тоном, так напоминавшим ее брата, интонацией почти маниакальной убежденности (и так дрогнуло их семейное «р») — «Напрасно!»... Пауза. «Мой брат вас бросит...»

Если бы я знала тогда, что эти слова — не более чем роль, на которую ее фантастическая душа вдохновилась, что она почти не могла жить вне ролей, щедро ей жизнью кидаемых под ноги — что она сама не знает, где фантазия и где правда (точно так же, как брат!). Что Борис меня не бросит, а все будет позже совсем иначе, я бы, может быть... — но никто не знает будущего, и часто не знает того, кто его убеждает, ему пророчит, — по мне пробежал холодок.

Она говорила о их несчастной породе, о недружной семье, о не выносящих друг друга отце и матери, о пьющем запоем — талантливом! — брате Сергее. Пишет стихи, был революционером, жил во Франции. О другом — Николае, строгом и беспощадно осмеивающем Сергея и Бориса, подчеркнуто-реалистическом, все холодно анализирующем. О жуире-отце, о матери-толстовке, о том, как она не смогла с ними жить, с четырнадцати лет ей сняли комнату. Она, Маруся, у них не бывает, ни у отца в имении, ни в московской квартире матери. Любила (казалось так). Нет, не любила и не любит! Как и я, страшится того предела — и никого нет, кто был бы не смешон, достоин любви. И забыв их семью, говорим запоем о нас. Как близко мне ее девическое одиночество!

У меня еще не было такой подруги! Столько сходств! Это — совершенное опьянение! Я непременно их познакомлю с Мариной!.. Когда уже ночью она уходит и я ее провожаю до все тех же ворот под облетевшим серебристым шатром, я взволнована почти так же, как когда тут прощалась с Толлей, с Сережей, с Лёвой, почти — как с ее братом... В ней,

как и в Галочке, — ум, насмешливость и хрупкость, блеск, нежность, как в Ане Калин... Я в трепете: что с ней будет?..

## Глава 8

### БРАТ АНДРЕЙ И ЕГО ДРУГ ВАЛЕВСКИЙ. ВМЕСТО НАШЕГО «ВДВОЕМ» С МАРИНОЙ — «ВЧЕТВЕРОМ». ПАПА И МУЗЕЙ.

В доме мы с Андреем снова устраиваем вечер. Нина Мурзо, сестры Серпинские, вот теперь и Маруся. Празднично. Весело — пение, вальс в зале, фрукты, вино, молодые лица... Смеются, танцуют, любятя Андреем, тут и Нинин брат, Женя Мурзо, и товарищ Андрея, новый, из польской графской семьи, светловолосый красавец, Валевский, он ухаживает за Ниной (совсем иначе, чем Андрей — умело, со светским лоском), Андрей делает вид, что не замечает, рядом с ним за столом — Маруся и ее фейерверк остроумия. («Слишком уж умна!» — неодобрительно мне потом Андрей.) Глаза Нины блещут, ей радостен ее успех, она поет сегодня еще лучше!.. Ни Марины, ни Бори на наших вечерах. Марина — с Сережей... Зачем им люди? Андрей со мной почти нежен. Папа — в кабинете работает при свечах.

Какой красавец Андрей! В студенческом мундире — цвета, который вошел в моду и зовется «электрик», темно-синезеленом, он похож на генералов 1812 года. Тонок, строен, смугл, темнокудр — какой взгляд, какие глаза... и — как не похоже все в нем на Валевского! Андрей застенчив (тою мгновенно вспыхивающей, себя побарывающей застенчивостью, которая не дает ему успевать любоваться собой, как любитя Валевский (Валевский почти развязен). Андрей, от природы насмешливый, наблюдательный, постоянно на словах осуждающий, хоть и сознает, что хорош, и хоть, может быть, и гордится собой (проходя, кидая вбок взгляд на трюмо, тронув рукой кудри) — но он нисколько не играет своей красотой, как принадлежащей ему вещью (отдельно, как у Валевского, существующей). Андрей слит со своей красотой, и когда он смущается (угрюмо, по-мужски, сейчас же кидая на смущение — легкую грубоватость) — его красота вместе с ним смущается — и это неповторимо, оригинально (потому что мучительно в переживании?), Валевский

глубоко типичен для своих «класса и времени»; таких красавцев, белокурых, с серо-синими глазами, разбросано по балам фортуной — щедро! Андрея не смешалась ни с кем. Ох, поглядела бы на него теперь его мать, Варвара Дмитриевна, за шитьем крестильной рубашечки умершая так внезапно, что ее смерть показалась обмороком... Андрей за праздничным столом среди моих подруг, светловолосых — Верочка Серпинская, Маруся Трухачева, темноволосых — Нина Серпинская, Нина Мурзо... Смешались на столе стекло и хрусталь ваз фруктовых, бокалов, охвативших гранат и топаз вин — хрусталь еще ее, Андреиной матери, дней.

Кто знает, как пошла бы та моя осень, будь Марина со мной! Но жизнь оторвала ее от меня именно тогда, когда я более всего в ней нуждалась. Внезапное одиночество, вызванное тем, что Борис не мог бывать у меня из-за приезда папы, и вскоре случившийся переезд Марины к Эфронам — заставили меня отзываться на нежность друзей, давно меня знавших — и так как эта нежность не могла ничего изменить в моей жизни, с еще большей печалью я возвращалась в себя. Совершался катастрофический «рост сознания». Это был рост не по месяцам, а по дням. И некому было сказать... — впрочем, я и не понимала всего — сама... «Мой близнец», моя «неразлучная», столько лет глядевшая на меня — счастливую, всегда счастливее ее! В нашем «вдвоем» утешавшаяся, насколько могла, вдруг оказалась — так вдруг! — такой счастливой, какой я никогда не была... И ее новое «вдвоем» увело ее от меня и из дома!

Видя меня несчастной таким же сложным несчастьем, как было сложно ее счастье, — что она могла изменить в ее совершающемся уходе из дома, в ее поглощенности Сережей, в нашей вынужденной отдаленности?

У Эфронов я бывала редко — там было так весело и так шумно, так несогласно с моими недоумениями! Ведь я была поглощена Борисом, но так сложней, так иначе... Любовь, к нам двум одновременно пришедшая, принесла Марине — утешение, мне — безутешность.

После болезни 1911 года и поездки в Наугейм папа уже стал работать главным образом в новом Музее. Лекции

в университете он продолжал, а также и на Высших женских курсах.

Работа по Музею изящных искусств требовала все больше и больше сил. Открытие приближалось. Папа старел. Он перестал носить бороду, и, хоть была она небольшая, негустая, обратно бороде дяди Мити, снятие ее как-то сразу изменило папино лицо. Незнакомым явилось очертание подбородка, бритого, он чаще снимал очки, и глаза его, хотя и энергичные в присущем им выражении светлой деловитости, порой казались уже и усталыми. Болезнь 1911 года — результат переутомления от труда по двум музеям, от борьбы с министром Шварцем — и последствия болезни понемногу превратили папу в старика. С самого нашего детства и до юности он казался как-то в одном возрасте — просесть, это было все, что спорило с его неутомимостью, бодростью. Теперь впервые начинала сказываться старость, и сердце сжималось тоской, нестерпимой жалостью.

## Глава 9

### У ЭФРОНОВ. СЕНЯ ФЕЙНБЕРГ. ЮЛИЯ ОБОЛЕНСКАЯ. МАЙЯ КЮВИЛЬЕ

Марина будет жить у Лили и Веры Эфрон в квартире, где много комнат (в них живут и бывают их друзья — Макс, Пра, танцовщица Быстринина, художница Юлия Оболенская, художник Кандауров, композитор Сеня Фейнберг и брат его, молодой художник Лёня, художник Людвиг Квятковский (моих лет), подруги Лили и Веры — Маня Гехтман и Маня Цирес, ее брат Леня Цирес и совсем еще юный французский поэт, почти девочка — Майя Кювилье).

Позже квартира Эфронов, где собиралось множество людей искусства — о некоторых из них я сказала, — была названа Алексеем Николаевичем Толстым довольно грубым словом, в стиле его шуток, — «обормотником». Это слово привилось, бывшие и жившие там звались (почему?) «обормотами».

Хочется вспомнить Юлию Оболенскую, талантливейшую художницу и пленительного — при невидности, не-красивости — умного, обаятельного человека. Маленькая,

худенькая, смугло- и бледнолицая, кареглазая. Ее ум был едок, речь блистала метким остроумием, неожиданными оборотами, пестрела и жгла, как мазками — кисть. И была она застенчива, и была в ней затаенная горечь (может быть, о ее в жизни ей мешавшей наружности?) У нее были верные, преданные друзья.

Еще в сердце вошел молодой композитор и пианист Сеня — Самуил Евгеньевич Фейнберг\*, старший брат Бэллы и Лени, встреченных мною в Коктебеле. Был Сеня тогда вольноопределяющимся. Выше среднего роста, худой, легкий, темноволосый. Резко подчеркнутая горбинка носа, большие прекрасные карие глаза, предельно смущавшиеся от взгляда, дичившиеся похвалы. А играл он — чудесно. Самозабвенно (и очень нервно, при игре его слышался не то вздох, длившийся, не то хриплое дыхание). Мы слушали вдохновенную игру юного композитора в военной форме и понимали, что ему и среди нас нелегко.

Майя Кювилье!\*\*. Кто еще жив из тех, кто ее знал?\*\*\* Я не помню первой с ней встречи. Ее не было, первой. Мы всегда знали друг друга — столь все было родное в ней, настоящее, так близко было от лица — к душе, от взгляда, улыбки, движений — к сердцу. Никаких внешних черт, все — внутреннее. Майя — Психея! И как трудно о ней писать! От лица — к душе. Лицо — узкое, смуглое, без румянца, девичьего, без «цвета» — отвлекающих внимание от выраженья. А тут сплошь — выраженье! В своей узости, в худых скулах мальчишеских — тревога, настороженность (как у сеттера, фокстерьера, ждущих, что позовут, что что-то случится). Отзыв — на все, на все голоса кругом — и из них, — в этом тревога — отбор голоса... В Майе — струя Жанны Д'Арк?

Копна ниже шеи подстриженных, русых, прямых, как палки, но так их много (жесткие), что от тяжести друг

\* Позднее — профессор Московской консерватории, где работал 40 лет, умер в 1962 году в Москве.

\*\* Будущая Майя Кудашева — жена Ромена Роллана, Марья Павловна Роллан (вдова князя Сергея Кудашева, друга моего Бориса и Сережи Эфрона). В 1927 году, когда я уехала к Горькому в Сорренто, Майя получила приглашение от Ромена Роллана в Швейцарию, где он жил. Они были в переписке о французских стихах Майи.

\*\*\* «Знал» — потому, что Майя уехала. Она — за границей много, много лет.

на друге лежанья — концы чуть загибаются внутрь. Это имеет двойное значение: первое — что отсутствует легкость и всплеск волос, изгибающихся вовне, игриво; второе — что в этих тяжелых, спутанных прядях — печаль, почти что уныние ждущего сердца, вечно — обманутого. Вечная печаль Психеи. Еще — эти волосы, обходящие лоб челкой и шею, как прическа пажа, — не женские, жесткие, детские (девочки-мальчика), похожие на уши собаки, висячие, коричневые (пойнтеров, ирландских сеттеров). Голова отрока. Улыбка девочки, обманувшейся; ждущей, чтоб обмануться вновь. Психея — девочка. Презренье к кокетству женскому, к игривости. Потому что вся Майя — игра! Игра — душа юности, со всем роковым исходом ходов шахматных. С готовностью заплакать собой. Готовность. Привычка, от первых шагов, младенческих, носом — в снег. Правда движений — стремительных, от сердца идущих, к сердцу ведущих, как кинутое лассо. Самозабвенность. И тут же — улыбка оглядки, осмеивающая эту свою неуместную — опять! — серьезность, и в губах, детски обиженных, — смесь застенчивости и насмешки, в обаятельном таянии.

Она сидит на диване, поджав под себя ноги, согнувшись, как кот, и смотрит на вас колдовскими глазами. Обрамление? Ресницы — брови? Не помню их, по-моему — нет, почти. Не в них дело. И не в форме глаз, удлинённых или круглых, — и не в цвете — карих или голубых: не очень большие, помнится, и цвет — табака? Нет, светлее, зеленоватый? Колдовство Майиных глаз — взгляд! Она встретила им — и вам уж некуда деться, он вошел в вас и тянет сердце, он поселился в вас, и вам ничего больше не надо, как только глядеть ответно, на Майю, сесть рядом. Майе — сколько лет? Четырнадцать, одиннадцать, семнадцать? Колдуньям лесным — нет лет. (Колдуньи бывают старые и молодые. Майя — молодая колдунья.) Она не просит у вас ничего — не цыганка! Но она просит всего — вас! Она уже овладела вами, потому что вошла в вас как домой, и ей не надо ничего, кроме этого нового дома. Это что, влюбленность? Майя — влюбилась? Майя всегда влюблена...

Майя — метис. Отец русский, давно исчезнувший из жизни ее матери. Мать — француженка, трогательная «petite

ménagère»\*, гувернантка в семье Незлобиных (чей театр под углом от Большого).

Майю — плод короткого романа с русским Майиной матери — отвезли за границу, в Швейцарию, на воспитание к дедушке с бабушкой. И когда мы учились в пансионе Лаказ в Лозанне, Майя тоже жила и училась во французской Швейцарии. Странное совпадение. Майе было десять лет, когда за ней из России приехала мать. Это было свидание курицы и утенка. Взаимное удивление, недоумение, скоро принявшее форму страдания. Майе не верилось, что эта чужая и чуждая женщина — ее мать. Мать в честной и горестной простоте не знала, что ей делать с этим дикарем, гордецом, холодным, как лед, везде, где надо было быть теплым, и огнем — где вообще ничего нет, — *imagination malsaine*\*\* . Как Майя росла далее у Незлобиных — я не знаю. Я увидела ее уже девушкой и поэтом, которая *marshant sur les astres*\*\*\*. Марина и Майя крепко сдружились. В их лицах, «прическе пажа», как только волосы у Марины отросли и перестали лежать кольцами, — в их профилях было сходство. Была — пропала в предвоенной буре китайская шкатулка стереоскопических фотографий (где-нибудь, может быть, целы?) — Марина и Майя в профиль, в кофточках и шароварах в Коктебеле, и Майя — правильным профилем там еще больше похожа на Марину, чем я.

Я видела Майю всегда у Эфронов. В Трехпрудном она не бывала.

Майя пишет стихи. Прекрасные! По-французски. Строки величавы и смелы, как она, рифмы — «льнут друг к другу»\*\*\*\*. Объятье! Майя пишет о любви, о разлуке и встрече, о словах признаний, прощаний, о конце и о начале всего. Майя берет из французского языка слова изысканные и простые, в их смене — рука мастера и капризность женской руки. Майя — девочка, да, она пренебрегает арсеналом женских очарований — украшением и показом себя, модами причесок, нарядов. Но когда ее девичество, детское

\* «Маленькая экономка» (*фр.*).

\*\* Большое воображение (*фр.*).

\*\*\* Шагала по звездам (*строка из ее фр. стихов*).

\*\*\*\* Слова Ромена Роллана.

взяло вас в плен — вы по рукам, по ногам свиты, как муха у паука, тогда вы видите, что прям и жесток ее рот, как у зрелой из зрелых женщин, что пуст ее взгляд, уже мимо тебя глядящий; что пока твое сердце входило в нее, ее сердце уж освобождалось — голубкою? может быть, Жар-птицей, по пути воспламеняя пожар. Кармен? Потому что чиста душа ее жадности, мечта ее строф, принадлежа встречному, нигде не вьет гнезда, ни под чьим окном. Хоть как крылья ласточек, синих, острые ее строки, но они пролетают — разлуками, и как крик поездов, уходящих — крылья ласточек ее посвящений, страсть ее любовных записок.

Майе — несколько лет, потому что все лета она с виду — девочка. Эта девочка любит В.А.Веснина, известного архитектора, который вдвое старше ее, и не любит, и смущается ее стремительных любовных мук. Майя не способна скрывать, не способна бороться с собой, и всем нам — Макс, Пра, Лиле, Марине и мне — она без конца повторяет: «Хочу Гу-гуку!» Так она зовет В-на.

Я не сказала о Майином смехе. Это была стихия. Ее смех так заражал, что Марина и я (а позже и другие, с кем ее и нас свела жизнь) мгновенно погружались вместе с нею в эту стихию, как входил в летний час — в реку. Час смеха наступал с ошеломляющей внезапностью. Река уносила все, что оказывалось кругом, делая дотоле прочно стоявшую вещь — водорослю, плывущей. Опьяняющее чувство юмора срывало со своих мест — всё. Мы только взглядывали на что-нибудь — и оно представало в сногшибательной смехотворности. Смех бил нас. Марина только вела бровью, взгляды нас трех только касались друг друга, обжигаясь в испуге, у края какой-то гибели, мы, в мольбе избегая глаз друг друга, старались остановиться — тщетно!

Река уносила, и в нее падал именно тот, кто смотрел на нее с удивлением — упреком? Мы теряли голову. Голосов не было. Мы дивились. Все в слезах, мальчишеское лицо Майи было счастливо. Она задыхалась. От нее шли лучи. Лукавство ее глаз потопляло. Волосы, короткими прядями в восторге мотавшиеся в рывках головы по умному лбу, я не могу назвать словом пошлой моды «челкой». Майя была — наша, не в нашем доме родившаяся, сестра.



Глава 10

ОСЕНЬ 1911 ГОДА. МАМИНЫ ВЕЩИ (ПРИДАНОЕ)

Итак, Марина будет жить у Эфронов. Марина очень любит Лилю, и Лиля тоже любит Марину. С Верой — Марина дальше. В Петербурге живет (замужем) старшая сестра Нютя. Мы не знаем ее. И где-то брат за границей, Петр.

Марина и Сережа говорят о поездке в Париж, в Испанию? Это будет их свадебное путешествие. Когда и куда — пока еще неизвестно. Нам девятнадцать и семнадцать лет, точно по волшебству, одновременно, разлука пришла с двух сторон. Мы уезжаем — обе. И тут, по настоянию папы, пришел к нам труд делить мамино наследство. В доме раскрыты, выставлены в необычные места мамины сундуки, и, под папиным присмотром и советами, Александра Олимпиевна помогает нам разбирать и делить мамины вещи — белье, платье, штуки материи, шубы, шапочки, муфты. Марина берет ту, коричневую, на лисьем меху, с золотистым соболем воротника, и такие же муфту и шапочку. Я тоже темно-коричневую, шелкового плюша, сияющую тьмой и блеском; она на вате, на атласной подкладке, с темным бобровым воротником, шапочкой, муфтой. Шапочки и муфты — маленькие, а шубы — широкие, как в пьесах Островского, и носить их, конечно, нельзя: в талию (и мама была выше нас обеих, а от талии — раструбы, почти кринолины, и длинные) и мне до полу! Мы меряем, смеемся, отражаемся в трюмо залы, а на сердце — тоска...

Тальмы с лентами! Ротонды! На меху, тяжелые и уютные. Всё серебрится нафталином и пахнет детством, воскресают воспоминания, приютившиеся в глубинах вещей, в темном блеске темного (?) веера, в каких-то, нам почти непонятных вещах, вышитых сутажом.

И материи! Мы их никогда не видели. Мама не любовалась ими, не вынимала, не прикидывала к себе, не шила из них платьев — весь этот мир женщины был ей чужд... В строгом черном бархатном или в темно-коричневом с мелкими разводами, темно-зелеными, мы ее помним идущей на концерт или в театр.

Дома мама всегда ходила в английских кофточках, летом — светлых. Декольте никогда не носила. Я помню ее с ее двад-

цати девяти (своих трех) лет. Даже не было бы странно увидеть маму — вот в таком сияющем темными переливами, в синем, в вишневом, в серебрящемся, как все эти дремавшие в сундуках миры красок и блеска, тусклости, мягкости, волшебства ошупи, неопикуемых странностей ворса, узора, не сходных друг с другом, как не сходны море и мох, буря сосен и струйки сирени...

Оно жило и ждало — нас? А мы стоим в грусти потому, что и не для нас они, как были и не для мамы, ибо в нас нет беспечности, нет веселья, нет того, что смеется с картин Ватто.

Так чувствую сейчас я. Марина приложила к себе темный шелк синеватый, перекинула через плечо и, держа всю тяжесть в руках, подошла к трюмо. Улыбается. Горделиво поднята голова, кудри, до шеи отросшие, сохранили на изгибах золотистость, от той волосяной катастрофы пришедшую. Глаза — темная тень, они кажутся светлее и шире. Глубоки уголки губ. В них — радость, победа. Она видит, что ее горе кануло: она хороша! Но ведь и страданье ее о некрасоте с детства было равно, по силе, ее красоте, наставшей, и только ею и могло уравновеситься...

Мы носим и раскладываем назад в опустевшие сундуки стопки полотняных простынь с мамиными вычурными инициалами «ММ» и «МЦ»! Стопки рубашек тонкого голландского полотна с крошечными перламутровыми пуговками, рюшами, складочками. В строгой их затейливости — печать отошедшего века — или строгой семьи? Даже и рюши — чинны, никакой вольности, никакого кокетства, только то, что должно быть в доме. Пикейные, ватные одеяла...

Так проходит день. Мы очень устали от перекладки вещей. Звук закрываемых ставен рождает лунный блеск зеркальных полос, гонит мир вещей в саркофаг сундуков, мгновенно и властно рождая в зале память о маме — иную, невещественную. Глаза Бетховена пожирают залу, эфемерный звук замолчавшей маминой рояльной игры полнит дом и пробуждает душу. И тогда настает ночь.

Другой день приводит другие заботы — разбор книг, дележ. Освобожденный мамин шкаф в папином кабинете вновь принимает туда же Маринины теперь книги (Гёте — ей, Шиллера — мне, ей Мильтона и Торквато Тассо; мне —

«Божественную комедию» Данте), на миг заглядывают глаза в иллюстрации «Потерянного» и «Возвращенного рая», в обожаемые все детство рисунки Густава Доре... Пушкин — Марине, собрание сочинений, где не хватает третьего томика (маминой матери). Мне — старинного Лермонтова. Так, полку за полкой, разделили мы — надвое — мамыны сокровища на нескольких языках.

Шкаф — Марине, я пока буду держать в Лёрином, что в моей комнате. Мне — за шкаф — мамин письменный столик, ореховый тоже. Марине — круглый мягкий диван с мягкой спинкой и с ореховым резным узором и зеленой обивкой (дедушкин!). Мне — серую, в пепельных крупных цветах мягкую мамину мебель — маленький низкий диванчик, два кресла, два полукресла. Расстуются драпри, занавесы, портьеры, дедушкин низкий широкий, шкатулкой, шкаф, в котором жила панорама, — и другой гардероб...

Панорама — мне! Музыкальная шкатулка — Марине! Мамина фарфоровая, столбиком (розы по белому), на бронзовом резном ободке лампочка с тем любимым навек зеленым фарфоровым абажуром, при свете которого мы делали с мамой «курлык», — Марине. Мне — вот память мне изменяет... Не помню! (Может быть, музыкальную шкатулку и лампу — за панораму?) Такое «в придачу» в дни дележа иногда поражало всех, кроме нас: имея ту же страсть к той же вещи, в которой незримо другим жила только нам двум знакомая душа детства, мы, не находя равной, давали друг другу за нее еще, и еще, и еще — нагромождение, порой дивное всем в доме — пока весы сердца не замирали в найденном равновесии. Так, за бабушкину чашку — простую, белую, с золотым ободком — с ее портретом — мы предлагали друг другу столько детских сокровищ...

Досталась она, помнится, мне. Так, за толстую детскую книжку «Царевна в зелени» была отдана стопка чудесных книг: «Царевна» — перевешивала...

Легко и пластично разошлись в наши руки две совершенно равно любимые вещи: перламутровая раковина, круглая, с глубоким загибом, светло-розовая, светло-зеленая, светло-голубая внутри, и в ней шум моря... И четыре шара, синих, стеклянных (в детстве всегда говорилось и думалось: три... потому что таково было их неизменное основание (сверху

царил четвертый), и как ни ставь — оставалось все неизменным, как в ваньке-встаньке, — три шара, голубо-синих, водяных (почти черных, сбоку, от синевы)...

Раковину взяла Марина, шары — я. Но они были такие любимые, что мы, разделив, решив, тотчас же стали меняться (стукаясь три раза лбами — чтоб уж нельзя было взять назад), но, кончив ритуал, обе сразу и с четкой ясностью, непреклонной, как боль в зубе, понимали, что дан мах! Конечно, раковина — лучше, волшебней... Конечно, шары — родней — голубые, синие, мамины... Упустила шум моря! И мена началась сначала!

За светло-зеленоватый ковер с ровным узором и с коричневыми цветами, которым была обтянута когда-то «мамина гостиная», — Марина отдала мне два ковра: длинношерстный, темный, с выгнутыми, как в салфеточных кольцах, квадратными ромбами, лилово-синий, и другой, уже светлей, восточный ковер, какой-то из них — персидский. Канделябры — люстра — висючая лампа — бра — все уходило! из рук, приходило в руки, и усталость этих прощаний и встреч была к вечеру так велика, что мы ложились в изнеможении. А назавтра — альбомы, отдельно — детские книги... ноты... Девять книжек маминого дневника! Кому — пять?

Севрский, саксонский фарфор. Резная стенная высокая полочка, на которой он красовался. Шкатулки, ручки, бювары, чернильницы и теперь, более полувека спустя, я ощущаю легкий укол в сердце — от одного перечисления этих вещей, живших у рук мамы... А тогда! Это были свежие раны, мы жили в бреду этого рокового подсчета, смотря, лицезрения, касанья. Мы прощались с мамой. Еще раз, и в последний! Мы не знали, что она еще с нами!.. Мы так давно похоронили ее — в земле и в сердцах памяти. *Мы поверили*, что ее нет! А она еще была тут, в этих нам оставленных сундуках, в покинутых картинах, книгах, нотах, дагерротипах и фотографиях, в костяном веере, в перламутровом резательном ноже... В этих тарелочках и тарелках, сервизах и ножах, блюдах и вазах (китайских и заграничных), подносах, салфетках и скатертях, которые она для нас берегла! Мы прощались — с домом. Мы прощались друг с другом, потому что ведь это мы расстаемся!.. Своей волей! Уходим в какие-то неизвестные жизни, вместе прожив — жизнь...

Не хватало ни слов, ни чувств. Ни сил. Что это? Мы — делим? Делим ту жизнь? Тот дом! Миг — и пригоршнями, в отчаянии, все разрушая, отдавая, бросая, мы бы вернули, уступили друг другу — все... Но кругом были — люди. И мы трезвели. Вдруг делалось стыдно — смешно, может быть? Так — и вновь, под надзором глаз — мы делили: за «Зиму» — «Весну», за «Лето» — «Осень»? Четыре тома Чистякова — красные тома «Детского отдыха», еще маминого детства, за «Охотник Степан» — «Не понравилось». Господи! То, что давно стало воспоминанием, страницей наших, уже в пятнадцать лет нами написанных «автобиографий», — вдруг шелестело под рукой — пахло-стояло, восстав из праха! Неистребимо! Подойдя и став рядом — явью!

Меньше всего внимания, конечно, мы отдали драгоценностям: поделили их легко, равнодушно. Я на миг залюбовалась золотой веткой броши с висячими бриллиантами — ландышами, они дрожали, как живые, пестро, ослепительно искрились. Почти воздушно, почти прозрачно, они были — снопы искр! Ничего другого — ни своего, ни Маринино — не помню. Но случилась смешная вещь: серьги были одни (бриллиантовые). Мы разделили их по одной, решив, может быть, сделать кольца? Серег мы не носили. Затем, неделями позже, мы о чем-то (неимущественном, разумеется, о разделе вещей) — поссорились, как это бывало все детство и отрочество. Вспыхнув, перестали разговаривать.

Мне на что-то понадобились деньги, а папа еще не оформил нам раздел маминых сбережений, что-то с бумагами опекунства — я взяла свою серьгу и пошла продавать ее в ювелирные магазины. Везде качали головой, жалея, что — одна: «Настоящую цену вам дадут. Поищите вторую!» В последнем, на углу Кузнецкого и Неглинного, я отдала серьгу за низкую плату.

Придя домой, разговорясь с Мариной (мы обе уже остыли и встретились мирно), я узнала, что и она — как раз сегодня! — пошла продать свою серьгу — и ходила по тем же магазинам — и ей говорили то же — но она тоже не хотела просить у меня вторую и отдала свою за бесценок в соседнем с *моим* магазине...

Как мы все трое с Сережей (и позже — Борис) смеялись над этой продажей!

Но сколько ни искала Марина по Москве — и в антикварных магазинах, и в музыкальных, и прямо по дворам — так и не нашла она тогда шарманки.

Прошло три года. Устраивая новую квартиру свою в Борисоглебском, где выбрала себе странной формы уютную небольшую комнату, уставляя ее старинными вещами, она неожиданно нашла и купила шарманку, и привезла, и поставила ее в дальний угол возле чучела лисы, под светом синей волшебной люстры. Но шарманка — не играла. Никак: ручка вертелась — без звука. Начались поиски мастера. Тщетно! Фортепьянщики — не хотели. Настройщики — не умели. Шарманщики только головой качали. Никто не помог исправить замолчавшее уличное чудо. Так промолчала в своем колдовском углу сказочная шкатулка, душа нашего детства — до самого дня, когда Марина уехала из квартиры, оставив вещи стоять, где были. И может быть, сейчас еще живет где-нибудь ее музыкальное детище, в каком-нибудь уголке нашей бескрайней родины.

Я уезжаю. Мы едем сниматься к Доре на Кузнецкий: «Художественная фотография». Доре снимает не так, как другие: туманно, со светом вдали или сбоку, и лица — как сновидение: в них не черты, а память о лице человека, выраженья лица. Это не фотография — портрет. Доре снимает не всех, говорят (может быть, басня?). Он долго и много раз снимает Марину и меня — вместе и порознь, в профиль, и мы ходим — до пробных — как заколдованные. Осужденные? Не зная, какие будем, какие вышли, загордимся ли, взглянув друг на друга, — на память, на себя — «О, я — такая?» Или разочарованно: «Я — такая?.. Н-н... не похожа...»

Мы снимаем дом, пригласили фотографа, обходим низ и верх, все комнаты, убираем из-под объектива случайные вещи, чтобы комната была, как мы привыкли ее видеть — навсегда. Фотограф трудится в поте лица, обходя, объезжая своим магическим треножником под черным гофмановским покрывалом по очереди все шкатулки, любимые, нашего старого, старого дома, — все уголки, диваны, столы, группы кресел, блеск канделябров и люстры в гостиной, Маринины теперь — книжный шкаф, круглый диван, папин письменный стол, Зевса, всех Гермесови Диан. Музей — высоко

под потолком — как с тех пор, когда еще был сном, в раме — стал явью — на Колымажной площади... Как он выйдет на бумаге, наш дом, как мы поглядим на него и как, годы спустя, снова взглянем, когда уже все будем врозь?

...В освещенной передней я  
Молча присела на ларь.  
Темный узор на портьере,  
С медными ручками двери  
В эти минуты последние  
Все полюбились, как встарь... —

писала Марина.

## Глава 11

### СНОВА «ЗИМНЯЯ СКАЗКА»... МОЯ ВСТРЕЧА С В.О.НИЛЕНДЕРОМ

Я не помню, как принял Борис весть о ребенке. На тех днях туман. Не знаю, что он ответил мне на мое решение — ради папы — уехать за границу, там родить, вдали от «общества». На мой отказ сделать то, что мне предлагали старшие женщины — Лидия Александровна и Лидия Дмитриевна и их друг д-р Ч-ий (что им казалось легче всего). Что казалось и естественней — при странности положения, — что романтически любя, Борис не пытался знакомить меня с семьей, уговорить мать... Непонятность всего этого диктовала в их сознании (Л.А. и Л.Д.) необходимость выхода из создавшегося положения... Но не так я чувствовала! Нежданно получив от судьбы весть, что у меня будет сын (почему сын, а не дочь — неизвестно), я бросилась в это будущее без раздумья, сколько меня ни вталкивали в это раздумье, — я хотела иметь ребенка, это было так просто и ясно, увлекательно-ясно среди сумятицы остального. Это как раз и был выход — и они не понимали этого! И какое счастье — на него я теперь оперлась — моя материальная независимость, мамой оставленный капитал... Но поняв, что я решила — они стали уstraивать мой отъезд. Д-р Ч-ий написал письмо папе, что мое здоровье требует леченья за границей, и папа, всегда беспо-

коившийся обо мне, с детства, о моей хрупкости и сходстве с мамой, — стал немедленно делать все, что требовалось для отъезда: поехал в банк, написал во все города, где я должна была остановиться — у него везде были друзья, и стал объяснять мне, как я должна ехать, к кому обратиться, где у кого поселиться в Италии.

Я слушала с грустью. У меня не было никаких планов. Я уезжала — для папы, а ему этого нельзя было знать. Поедет ли со мной Борис, захочет ли он ссориться с матерью? Я не спрашивала, а он, видимо, не ставил точек над *i* потому, что, может быть, не предполагал, что я в нем сомневаюсь? Может быть, потому, что был слишком молод, чтобы в новости положения повести себя «как должен был себя повести мужчина», кто знает? Конечно, не сознательно он мучил меня — молчанием. Не помню дня, когда бы я ожила радостью после целого ряда дней неизвестности, — едет ли он со мной (должно быть, ясность пришла в брошенной фразе, в каком-то «мы» (об отъезде), вместо моего горделивого одинокого «я», и, может быть, в этом им произнесенном «мы» была та же зеркальная горделивость — не спешить «заявить» о себе, своем намерении со мной не расставаться, в таком «заявлении» было бы его мужскому достоинству — оскорбление, он и не снисходил до него: что мы едем вместе, должно было быть без слов понятно, и если я так могла иначе подумать, то это доказывает только то, что я низко его ставлю (что он, впрочем, мне давно говорил), что полюбить его я не смогу. Так, отражаясь в сходстве ничего от другого не требовать и не ждать, наши гордости, «М» и «Ж», повторяли друг друга, как два зеркала, напротив стоящие. И сколько тут было добра, в этой нетребовательности друг другу, сколько любви — и любовь ли была или она же, разбавленная гордыней, — кто это может сказать теперь? Обоюдная горечь быть непонятым — была, без сомненья, с обеих сторон — и усталость от этих нам новых глубин, не по летам нашим.

Вот почему я не помню радости от сборов — вдвоем. Может быть, так. Но сборы шли. Марина жарко отозвалась. Лёра? Не помню. Сережа, конечно, бесконечно нежней по-братски, чем брат Андрей. И в один осенний вечер пересту-



пил порог нашего дома — вошел ко мне «печальный принц в одежде серой» — В.О.Нилендер...

Услышал ли он о том, что я уезжаю? Не помню. Мы не виделись с того майского дня, когда, после отъезда Бориса, я кончила экзамены и с Драконной зашла к нему (той он зачем-то был нужен. Одна я бы не зашла к нему: кроме случайных встреч с ним на улице — поклон, и мы проходили), — мы с Мариной не видели его с самого конца «Зимней сказки», с января 1910 года. Встреча в мае 1911-го — всколыхнула все сызнова: что-то было во Владимире Оттоновиче для нас и, должно быть, в нас (во мне, на этот раз) для него, что — словно не бывало тех шестнадцати, семнадцати месяцев — волнение оказалось совсем тем же, не дрогнув после разлуки стольких дней и ночей! Он и я — тогда, в мае — не могли расстаться. Как потерянные, все пустив из рук, мы бродили по улицам и, не насытившись непрекращавшимся разговором, простились у наших ворот. Прощались и вновь говорили...

Почему мы тогда простились, если это была любовь? Потому что я любила Бориса, и вся была в мыслях о нем, и сказала об этом Владимиру Оттоновичу. И я уехала в Крым, к Марине. Но как это возможно, любя одного, любить другого? Не знаю. Но так было. Не входя в рассмотрение, из чего состоит любовь, оставляя в стороне все на свете существующие определения ее, блистательный труд «De l'Amour» Stendhal\* и рогожинское Мышкину — «Твоя жалость пуще моей любви»... Не опираясь на них, утверждаю правду бывшего в моей жизни: мое longing after\*\* и моя тоска по Борису, моя в него погруженность с часа встречи не вырвали из меня памяти о В.О.Нилендере, герое нашей первой любви с Мариной, не ослепили на него мое зрение, не оглушили слух...

Он стоит и смотрит, как в 1909 году... Улыбка глубиной, резкостью теней на худом лице напоминала гримасу. Желтые (такие светло-карие, что желтые) глаза, любимее всех глаз на свете, были сейчас в тени — два провала. Бобровая шапка, снятая, зажатая в одной из протянутых рук, была так

\* «О любви» Стендаля (*фр.*).

\*\* Стремление, тоска (*англ.*).

потрясающе выразительна в его жесте мольбы; волосы, упав на лоб прядями, были так резко-темны на бледности лба.

Этот миг мы хранили все два года, как драгоценность (он был так навеки утрачен, навеки наш...). И вот он жив, как в волшебной архитектуре сна — мы стоим, он и я, в зале, в полосе вечерней сумятицы света и тени, ставен, зеркал, тьмы залы и света из низкой столовой — и без слов (какие мы можем сказать слова?) — смотрим. Только Марины нет!

Мы ходим и ходим, как тогда, по зале, гостиной, до дверей кабинета, и назад — точно не было этих без малого двух лет.

С первых слов я ему все о себе рассказала — ему, весной так желавшему мне счастья с Борисом, убеждавшему меня «не думать, только не думать...». Я ему раскрываю весь хаос моего положения, всю тьму непонятности будущего, жажду освобождения от чего-то, жалость к Борису, жалость к папе, мечту — может быть, умереть — и восторг от того, что мы снова вместе, и невозможность расстаться с ним! Никому (кроме Марины) я не могла рассказать всего — и темных слов Маруси о брате... и телефонного разговора с его матерью — и неизбежность отъезда — ради папы и ради ребенка, надолго и далеко, и трагизм Борисова рока, и фантастичность его любви. И никто (с братом Андреем я вообще говорить на той глубине не могла, хоть он и был эту осень — по-своему, для него — почти ласков) — кроме разве Сережи Эфрона (с кем отношения были по-настоящему братские) — никто не мог меня понять так, как Нилендер, знавший меня девочкой, переживший с нами нашу «Зимнюю сказку», сказавший мне в нежданную майскую встречу, что любит меня, — и теперь пришедший ко мне.

Все, что мучило меня в Борисе, — его одиночество, от которого знобило, как на ледяном ветру, его внезапное, почти стихийное неизлечимое отбирание себя назад, — вдруг окунулось во встрече с Нилендером в такой родной жар пониманья, в такое нечеловеческое чутье, в такое приятие всех моих мук, что (да есть ли они? Они — кончились?) я не помню никаких событий — ни жестов, ни слов, сказанных в тот вечер. Не помню, в каких комнатах он прошел, ни когда мы расстались. Конец того дня был

только началом его дальнейших приходов — потому что вынужденность расставанья была так явно нелепа, что ее можно было принять только с условием, что она продлится не более, чем день или полдня. Как горячий ветер согревает продрогшее тело, так насыщало его волшебное чутье мое растерявшееся примолкшее сердце, так долго жившее возле Бориса одним любованием и служением, отвыкшее от внимания и тепла.

С Борисом всегда оставалась преграда — пусть романтическая в своей неизлечимости — даже слиянье физическое только видимо разрушало ее — тут — в такой безысходной нежности братской, в сдержанности будто бы «чужих» — какое было рушенье преград, какая органическая близость! Насмешливо чертила рука судьбы рисунок нашего прощанья — мы натыкались на корзины и чемоданы, уже раскрытые для укладки вещей, я уезжала — с другим, с которым себя связывала, который со мной ехал потому, что был связан со мной, — и нельзя было развести рук, ни прекратить этот шаг по комнатной анфиладе, ни сумасшедшую эту беседу, начавшуюся вечер назад...

Напрягаю память: да, зала, гостиная, кабинет. Стук ставен как три и четыре года назад с Эллисом, с Галочкой, с Аней Калин. Привычная жизнь кончавшегося, покидаемого дома. Жалобный звук дверей черного входа. Несли самовар. Молоко подгорело на керосинке, как в детстве — в той широкой кастрюле — белой, с синими жилками. Сверху неслись мандолинные упражнения, скулила собака. Как случилось, что никто из друзей и подруг нам не помешал, не пришел? Судьба проявила щедрость: она знала, что вся наша встреча — прощанье, что питаемся мы одним снадобьем: разрыв-травой!

## Глава 12

### СБОРЫ. НАШИ ФОТОГРАФИИ. МОЙ ОТЪЕЗД

Днем я, Александра Олимпиевна, горничная — отбирали и укладывали вещи, я ездила с папой или Андреем в банк; Андрей пытался мне объяснить какие-то банковские опе-

рации, разницу между рентой и акциями, удивлялся моей финансовой тупости. Александра Олимпиевна, блестящими синеватыми глазами, улыбкой худого лица, смягчая неодобрительность слов, ахала над тем, сколько денег будет стоить эта поездка. Я, может быть, ее обрывала? В семнадцать лет «трудно владеть собой». Я жила в те дни как в горячке.

...У Доре готовы фотографические карточки. Мы смотрим и смотрим на эти — и мы и не мы — картинные (свет и тень!) изображения двух лиц. Как интересно! Мы? Мы — такие? Это таких нас видят, когда мы не замечаем? Любопытно и чуть страшно, как когда наклонимся над колодезем и там что-то мерцает и тянет. Вот эти изображения на этом гибком картоне переживут нас. Останутся! Как портрет Рембрандта — от тех, с кого были написаны. Два лица, две полуулыбки, у обеих — волнистые волосы выше плеч. Мое лицо — точно в самоваре, вытянутое (когда его — вбок), Маринино: те же черты... Это — мы: два лица, почти девических, прямо глядят, не улыбаются, но улыбка — в уголках глаз, губ — не улыбающихся. Маринина голова — выше, она держит ее чуть даже высокомерно (застенчивость). Я гляжу добрей, веселей, чуть — лукавства, мои глаза — темней. Маринин взгляд — светел. Ее черты правильнее моих. И — тени: тени — на нас и от нас, темным фоном, точно чье-то над нами — юности? — поднятое крыло. Тайна фотографа Доре — в освещении лиц. В трепете, в незабвенности мгновения... И — уж совсем такой я буду в чьей-то памяти, когда пройду, как все на земле, совсем тенью моей брошен вот этот портрет мой — об освещенный миг! — фон. Это пряди кудрей? или — тень их? Все отступает, все гаснет. И нестерпимо горит в этой тени, в этом свете семнадцатилетний взгляд! (словно для него одного — на память, для Нилендера, о второй «Зимней сказке»), и когда отойдет и она, как отойдет увозящий меня поезд, у него останется подаренный мной в спешке, в смятении, в горе — портрет...

Нилендер приходил вечером, и я проваливалась в блаженную пропасть: он ни в чем не осуждал меня... С кем еще шли эти половины дней — до его приходов? Марина?

Маруся Трухачева? Вера и Соня Серпинские? Виноградовы? Свиданья с Ниной Мурзо? С Драконной? Где была Галочка тогда? Губкой с доски жизнь смела все. Я помню вечер, мы у меня наверху, в тех комнатах, где шла «Зимняя сказка». Горит белый матовый шар стенного бра-лампы, он — как упавшая к нам луна. Под низким небом «магического кабинета» этот шар луны освещает наш путь по длине когдатошной детской и второй, смежной, и кидает тени, и плывет над нашим плечом. Празднично. Нежно и страшно. Куда мы идем?

...Эллис уехал в Германию, к Рудольфу Штейнеру. Стал его рьяным адептом. Тихая пристань? От этого — от этой чуждости — еще страшней. Точно повеяло ураганом чужой страны. Чужой! Была — самой близкой! Эллис...

— Вы можете увидеть его, Ася, вы остановитесь в Берлине?

— Я не хочу его видеть, зачем?

Как хорошо! Еще не завтра еду, а после-послезавтра! Завтра много дел, но сегодня и завтрашний вечер наш! Поезд отходит — вечером...

Фотограф прислал фотографии нашего дома! Радостно и немножко жутко глядеть. Когда-нибудь, в другой стране — в другом веке? — кто-то взглянет вот так, и вспыхнут наши воспоминания, как сгорает мотылек на свече! Бумага — объектив — безупречная правильность сочетаний — и восстановлен (бывает, что сгорит у людей) — дом! Взгляд вполз, змеей, и, растворясь в том воздухе, поселился — и уж в никогда несбыточной комнате... вечно живой — как жива мелодия все того же танца Анитры, той же «Лунной сонаты» Бетховена — все той же, не дрогнет единой нотой — «Элегии» Массне...

Зала, первая комната — тем, кто к нам пришел! «Так вот какие там были окна...» Пять окон! Меж них — филодендроны в кадках. Между трех, что выходят на улицу, — два трюмо. Круглый диван в углу. В стороне от крайнего из двух, во двор выходящих, — портрет Варвары Дмитриевны Иловайской, матери Андрюши и Лёры, о котором так плакала наша мать... Высоки потолки. Глубок блеск рояля. Сумас-

шедшее лицо Бетховена в раме. И горит тем вальсовым ледяным блеском паркет.

Вторая, гостиная! Как старомодны диван из трех створок и кресла! Как странно изогнут — совсем позабыли! — стеклянный абажур высокой стоячей лампы! Две вогнутых печи, полукружиями белого блеска. Бюст Дианы! Два канделябра. Дверь в кабинет: полуоткрыт навек!

Третья, кабинет! Тасуем вас, реликвии, как карты! О, это — туз козырной! «Чародей» — помните? Диван-носорог! Серый... А на книжном шкафу — бюст Зевса.

...Видавший лучшие года,  
Спокойно восседает филин с лицом кота.  
Последним солнцем пламенея,  
Распахнутый лежит Платон,  
Бюст Аполлона, план музея,  
И все — как сон...

Спальня. Полутемно! Как в детстве — и тихий удар в сердце: сундук, мамин! А его уж нет там — он Маринин теперь, в ее комнате с грузом книг! (Она уезжает!) Но сундук стоит в спальне — навек! Магией фотографий, которые скоро станут такой же стариной, как нам — дагерротипы. И — сугроб за окном спальни!

Двор! Снег. Мостики — крыльцо. Черный ход! Окна! Комнаты — верх: Маринина, две моих. Все пройдет, в старости все позабудем — но, взглянув — вспомним! А это кто стоит на ступеньках? Лёра? Лёра нашего детства...

Еще две! Нет, три! Две моих комнаты — два «магических кабинета»! С по-разному стоящим столом письменным, кушеткой, диваном. В одном — тишина, никого... Ковер, порванный... Икона в углу, книжный шкаф. Мальчик-монах Вероккио...

На глубоком старинном диване — Марина: чудесная! Четок ее полупрофиль, кудри. Строго? Не успев улыбнуться, смотрит она на Сережу: он полулежит, смеется — с игрушечной кружкой в руке! Я — отдельно от них, под бабушкиным молодым портретом — какая печальная! Серое боа (забытое потом на извозчике!). Белые изразцы низкой печи... Еще

двор! Наше парадное, флигель, собачья будка, сараи, стволы тополей. Темные мостки, белый снег! Навеки... (Увы, эпоха унесла и это — с собой!)

Брестский вокзал. Мороз. Много друзей на вокзале вечером 3 декабря 1911 года. Папа, Марина, Сережа, Драконна, Александра Олимпиаевна, Виноградовы, Юркевичи, Мурзо, Серпинские, Маруся Трухачева. (Увы, я не помню, кто еще.) Драконна и Марина с Сережей уговорились, проводив после ухода моего поезда папу с вокзала, вернуться назад на вокзал: менее чем через час? полтора? уходит поезд, в котором едет в Варшаву Борис. Надо сделать так, чтобы папа не увидел его. В Варшаве мы встретимся. Темнота, снег, фонари, гудки поездов, вокзальная суета. Знакомая дорожная лихорадка. Был первый звонок. Я никого не воспринимаю, хоть вижу всех.

Нилендера нет до сих пор! (Почему мне тяжело писать про тот вечер? Точно я и сейчас там...) Я в вагоне: вся — зрение, вся — слух. На пороге новой жизни я обращена в прошлое, к девичеству, к «Зимней сказке», к Марининой и моей первой любви. Вся — в прощании. Вижу папу, в шубе, очки, меховую шапку в инее, его доброе, заботливое лицо. Лица друзей. Цветы, коробки конфет. Это — один или два звонка? Сердце падает: я его не увижу? Вдруг, как вихрь сметает все на пути, толчок сердца: летит! Читает номера вагонов. Глубокая и горькая улыбка — увидел! Он! Он! Успел! Он вскакивает в вагон, расталкивает. Пробирается ко мне. Кладет мне в руки французскую книгу. И что-то в папиросной бумаге: тонкая витая ложечка, позолоченная — сердечком. Гвоздики, красные. «Не мог найти красных лилий! Прочтите: “Le Lys rouge”! И ложечку! Поймете!»... Третий звонок. Он едва успел поцеловать руку. Провожающие бегут за вагоном, Марина, Сережа... Они бегут героически быстро, из окна вагона еще видны их кивающие, дорогие лица... Как бежали в Феодосии мы с Борисом. Но поезд одолевает и их. Остановились... Уж ничего не вижу от слез! В руке зажат желтый французский томик «Le Lys rouge» («Красная лилия») Анатоля Франса. Жадно нюхаю — всею собой — гвоздику. Я еще с ним, с ними... А поезд, не понимая, летит...

Об этом — стихами — Марина:

НА ВОКЗАЛЕ

Два звонка уже и скоро третий,  
Скоро взмах прощального платка...  
Кто поймет, но кто забудет эти  
Пять минут до третьего звонка?  
Решено за поездом погнаться,  
Все цветы любимой кинуть вслед.  
Наимладшему из них тринадцать,  
Наистаршему под двадцать лет.

Догонять ее, что станет силы,  
«Добрый путь» кричать до хрипоты.  
Самый младший не сдержался, милый:  
Две слезинки капнули в цветы.

Кто мудрец, забыл свою науку,  
Кто храбрец, забыл свое: «воюй!»  
«Ася, руку мне!» и «Ася, руку!»  
(Про себя тихонько: «Поцелуй!»)

Поезд тронулся – на волю Божью!  
Тяжкий вздох как бы одной души.  
И цветы кидали ей к подножью  
Ветераны, рыцари, пажи.



## Примечания

### СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

*АЦ* – Анастасия Цветаева.

*МЦ* – Марина Цветаева.

*АЦ. Амор* – Цветаева А. Амор. М.: Современник, 1991.

*И.В.Цветаев создает музей.* – И.В.Цветаев создает музей. М.: Галарт, 1999.

*Лубянникова Е. Бабушка Тьо* – Лубянникова Е.И. О Сусанне Давыдовне Мейн (Бабушка Тьо) // На путях к постижению Марины Цветаевой: Сб. докладов. М.: Дом-музей М.Цветаевой, 2002. С. 20–27.

*МЦ. Неизданное. Записные книжки* – Цветаева М.И. Неизданное. Записные книжки: В 2 т. М.: Эллис Лак, 2001.

*МЦС – Цветаева М.И.* Собрание сочинений: В 7 т. М.: Эллис Лак, 1994–1995.

*Соснина Е. Музы* – Соснина Е.Б. Музы Трехпрудного переулка. М.: Дом-музей Марины Цветаевой; Иваново: ИД «Референт», 2005.

*Цветаева В. Записки* – Цветаева В.И. Записки // Безо всякого вознаграждения. Иваново: ОАО Изд-во «Иваново», 2005.

*Хексельшнайдер Э.* – Хексельшнайдер Э. Русская поэтесса Марина Цветаева летом 1910 г. в Дрездене // *Sachsische heimatblätter*. 47 Jahrgang. Дрезден, 2002. С. 369–375 (источник указан Е.И.Лубянниковой).

## Примечания

С. 17. «Для того я — в проявленном сила...» — Эпиграф взят из стихотворения МЦ «Литературным прокурорам» («Всё таить, чтобы люди забыли...»).

### От автора

С. 18. *Отец* — Иван Владимирович Цветаев (1847–1913). Окончил Петербургский университет (1870). Профессор Варшавского (1872–1873), Киевского (1876–1877), Московского (с 1885 г., с 1889 г. зав. кафедрой теории и истории изящных искусств) университетов. Доктор римской словесности (1877), действительный член Академии художеств (1903), член-корреспондент Академии наук (1904). В 1882–1889 гг. сотрудник, с 1900 по 1910 гг. директор Румянцевского и Московского публичного музеев. Основатель (1894–1912) и директор Музея изящных искусств в Москве (1912–1913). См. о нем в биографических очерках МЦ: «Музей Александра III», «Лавровый венок», «Открытие музея», «Отец и его музей».

*Мать* — Мария Александровна Мейн (1868–1906), вторая жена И.В.Цветаева, пианистка, художница, переводчица художественной литературы; добровольно участвовала в работе Иверской общины сестер милосердия Российского общества Красного Креста; помощница мужа в деле создания Музея изящных искусств. Воспоминания о ней МЦ оставила в очерке «Мать и музыка». М.А.Мейн посвящены многие стихи МЦ, и почти во всей ее автобиографической прозе можно найти упоминания о матери.

### Детство

Часть первая. РОССИЯ

С. 21. ...напишет о ней ее дочь... — Ариадна Сергеевна Эфрон (1912–1975), переводчица, художница, мемуаристка, старшая дочь М.Цветаевой и С.Эфрона. Об этом в письме к М.И.Белкиной, будущему автору книги «Скрещение судеб» (М.: Благовест, Рудомино, 1992), А.С.Эфрон писала 12 марта 1962 г.: «Не думайте, что, говоря о “цветаевском” контроле, много на себя беру. Дело в том, что я — последний свидетель всей маминой жизни и всего ее творчества (за исключением 3-х последних лет)». Позже вышла ее книга «Марина Цветаева. Воспоминания дочери. Письма» (М.: Сов. писатель, 1989).

С. 22. ...дедушка, мамин отец... — Александр Данилович Мейн (1836–1899), управляющий канцелярией московского генерал-губернатора (великого князя Сергея Александровича), редактор «Московских гу-

бернских новостей», обозреватель петербургской газеты «Голос», член правления Московского земельного банка Л.С.Полякова.

С. 23. *Сергей Семенович Голубков* — действительный статский советник, старший врач московской полиции. На церемонии венчания А.Д.Мейна с С.Д.Эмлер был свидетелем со стороны невесты (указ. Е.И.Лубянской).

...кроме подруги детства Тони... — Так называли Марию Васильевну (Вильгельминовну) Барто, по мужу Юхневич (1868—1910) в доме Мейнов, чтобы у двух девочек не было одного имени (не было двух Маш), что в обиходе весьма неудобно. См. о ней: *Лубянская Е.И.* Бабушка Тьо. В своей книге В.Цветаева так вспоминала о Тоне: «В подруги принята была в дом милосивдная, добрая, но ограниченная девочка (Т)» (*Цветаева В.* Записки. С. 85).

*Поляков* Лазарь Соломонович (1842—1914) — основатель Московского банкирского дома, почетный консул Персии и Турции.

...дочери банкира... *Зины* — Зинаида Лазаревна Полякова (1862 — не ранее 1970). В ее дневнике есть запись от 3 сентября 1884 г.: «Маня Мейн сегодня отличалась дерзостью» (см.: *Полякова З.* Дневники // *Семья Поляковых* / Сост. Л.Н.Васильева. М.: Атлантида, 1995. (Семья на фоне времени). С. 148).

С. 24. ...красавца *Андрюши*... — Андрей Иванович Цветаев (1890—1933), по образованию юрист, работал в Наркомпросе РСФСР в отделе по охране памятников искусства и старины, художником-декоратором в Московском камерном театре, был экспертом-антикваром по живописи в Госторге СССР. Писал стихи: три стихотворения А. Цветаева помещены в кн.: «Хмель: Альманах молодых» (М., 1911. Кн. 1. С. 75—79). Упомянут во многих очерках МЦ, а также в ее воспоминаниях о современниках.

По свидетельству вдовы А.Цветаева, Евгении Михайловны Цветаевой (урожд. Пшицкой) автору примечаний, существовала рукопись книги его стихов, которую он отдал в Госиздат. Рукопись опубликована не была, и дальнейшая ее судьба после смерти автора неизвестна.

...*Лёриной комнате*... — Валерия Ивановна Цветаева (1883—1966), выпускница Московского училища ордена Св. Екатерины (Екатерининский институт, 1900) и историко-филологического отделения Высших женских курсов В.И.Герье (1907), работала преподавательницей в гимназиях в г. Козлове и Москве, где при гимназии Е.Б.Гронковской основала Музей национального искусства и быта. Впоследствии педагог, преподавательница пластики в Московской школе искусства движения при ВХУТЕМАСе, инициатор основания государственных хореографических курсов в студии «Искусство движения» при МОСКПРОФОБРе Народ-

ного комиссариата просвещения; последовательница Айседоры Дункан. Автор мемуарной прозы «Записки». См. о ней в очерке МЦ «Мать и музыка».

С. 25. *Магницкий* Леонтий Филиппович (1669–1739) – русский математик, педагог, автор известного учебника «Арифметика» (1703), выдержавшего множество переизданий.

*Августа Ивановна* (фамилия не установлена) – неоднократно упомянута в автобиографических очерках МЦ.

*Бурская война* – война Великобритании против южноафриканских республик Трансвааль и Оранжевого Свободного Государства (1899–1902); по окончании войны республики были превращены в колонии.

С. 26. *Дело Дрейфуса* – дело о государственной измене (1894), шпионаже в пользу Германии офицера Генерального штаба Франции А.Дрейфуса, еврея по происхождению. Улик было недостаточно, однако Дрейфуса приговорили к каторге. Этот приговор вызвал политический кризис, в результате чего Дрейфус был в 1899 г. помилован и в 1906 г. реабилитирован.

*Джек Потрошитель* – в 1888 г. в лондонском районе Ист-Энд была осуществлена серия жестоких убийств проституток, приписываемых маньяку по прозвищу Джек Потрошитель (наст. имя Аарон Космински). Умер в психиатрической больнице в 1919 г.

...о *молодом Людовике Баварском...* – Людовик II Баварский, Отто Фридрих Вильгельм (1845–1886), был объявлен душевнобольным человеком, и над ним учредили опеку. Когда принц Люитпольд был провозглашен регентом, Людовик во время одной из своих прогулок бросился в Штарнбергское озеро, где утонул вместе с сопровождавшим его врачом Гудденом.

С. 27. ...*жившем ночью под музыку Вагнера...* – Людовик II был поклонником Р.Вагнера и в Байройте построил театр для постановки его опер.

...*Фигура Сократа...* – В те годы судьба Сократа была в России особенно известна в изложении Л.Н.Толстого. См.: Смерть Сократа (из «Разговоров» Платона) // Круг чтения. Избранные, собранные и расположенные на каждый день Львом Толстым мысли многих писателей об истине, жизни и поведении (1904–1908): В 4 т. Т. 2 (см. на дату 22 сентября).

«*Задушевное слово*» – журнал для детей младшего возраста, выпускался «Товариществом М.О.Вольф» в Петербурге в 1877–1918 гг.

...*четыре тома чистяковского «Зима», «Весна»...* – Имеются в виду сочинения Михаила Борисовича Чистякова (1809–1885), писателя, педагога и публициста. Интересно отметить, что книгу Чис-

тякова «Биографические рассказы» МЦ в 1919 г. дала с собой дочери Ариадне в приют (МЦ. Неизданное. Записные книжки. Т. 2. С. 17).

С. 28. «*Не поправилось*» — рассказ И.И.Сведенцева (псевд. И.Иванович, 1842–1904).

...книжки «*Донской речи*»... — Революционно-демократическое издательство, существовавшее в Ростове-на-Дону.

*Ярхо* Исаак Липоманович — известный московский детский врач, секретарь и врачебный сотрудник Общества попечительства о бедных в Москве.

С. 29. ...напоминал *Чернилку из гофмановской сказки*... — Имеется в виду Тинте, персонаж сказки «Чудесное дитя» — Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776–1822), немецкого писателя-романтика, композитора, художника.

С. 30. ...на *Кузнецкий Мост к Фишеру* — Карл Андреевич Фишер (1850 — после 1920), прусский подданный, член Русского фотографического общества. Свою профессиональную деятельность начал в 1878 г. в Оренбурге. С 1882 г. ему принадлежало фотографическое ателье на Кузнецком Мосту.

С. 31. «*Пой, ласточка, пой*» — неаполитанская народная песня; есть обработка С.Садовского, а также К.Линского и А.Лаврова.

«*Варяг*» — 25 февраля 1904 г. немецкий журнал «Югенд» опубликовал стихотворение «Памяти “Варяга”» немецкого поэта и драматурга Рудольфа Грейца. В России стихотворение было перепечатано журналом «Море и жизнь». Большой успех пришел к «Варягу» после появления в «Новом журнале иностранной литературы, искусства и науки» (1904. № 4.) русского перевода, сделанного Е.М.Студенской. В несколько измененном виде он стал песней. Ее называли «Варяг» или «Гибель “Варяга”». Именно эта песня начинается словами: «Наверх, о товарищи, все по местам! Последний парад наступает...».

Вальс «*Дунайские волны*» — популярный в те времена вальс И.Ивановичи.

*Лорелей* — по германской легенде красивая девушка Лорелей сидела на скалистом берегу Рейна и пела так прекрасно, что гребцы проплывавших мимо кораблей, заслушавшись ее песнями, бросали весла, их корабли неслись по течению и разбивались о прибрежные скалы. Эта легенда вдохновляла поэтов (Г.Гейне написал поэму «Лорелей»), художников, музыкантов.

С. 31–32. «*Кузнецкий Мост!*» — «*И вечные французы!*» — цитируется «Горе от ума» А.С.Грибоедова: «А всё Кузнецкий Мост и вечные французы...»

С. 32. ...*мисс Шпейер* — о ней см. подробнее: *Цветаева В.* Записки (с. 51 и далее).

«*Мамака*» — речь идет об Александре Александровне Марковой (ок. 1816—1891, указ. Е.И.Лубянниковой), дворянского происхождения. В 1950-е гг. преподавала музыку и французский язык в Барыковском женском училище (в районе Хамовники г. Москвы); не бабушка, а крестная мать и воспитательница В.Д.Цветаевой (урожденной Иловайской) и ее матери, Варвары Николаевны Иловайской (урожд. Дюрваль, 1837—1877). В браке никогда не была. См. подробнее в кн.: *Соснина Е.* Музы. С. 25, 93, 231). Здесь же приводится и письмо И.В.Цветаева к И.В.Помяловскому от 22 ноября 1890 г., в котором читаем: «Да и 76-летнюю старушку, живущую у нас, обуздать и урезонить нет никаких сил по ее беспамятству: бродит по всему дому и тычет нос во все, начиная с булок и кончая моими бумагами» (с. 193). Мамака упомянута также в очерке МЦ «Наталья Гончарова».

*Варвара Дмитриевна Иловайская* (в замуж. Цветаева, 1858—1890) — первая жена И.В.Цветаева (с 1880). Певица оперного репертуара, выступала в концертах в Москве. Один год (1875) училась на историко-филологическом отделении Высших женских курсов В.И.Герье. Подробнее см. о ней в кн. *Соснина Е.* Музы (с. 15 и далее). О ней МЦ написала в очерке «Дом у Старого Пимена». Ее портрет, о котором в книге пойдет речь, выполнен неизвестным художником и хранится ныне в Музее семьи Цветаевых (в Таллицах, под г. Иваново).

С. 33. *Страстной девичий* (прав.: женский) *монастырь* — был основан в 1640-х годах. В конце XVIII в. полностью перестроен. В 1917 г. был занят красногвардейцами и революционными солдатами. После Октябрьской революции упразднен. В 1920—30-х гг. в нем находился Центральный антирелигиозный музей Союза безбожников СССР. В 30-х гг. постройки Страстного монастыря были разобраны. Ныне на его месте находятся сквер, кинотеатр «Пушкинский» и памятник Пушкину.

*Памятник Пушкина* — в 1880 г. этот памятник (скульптор А.М.Опекушин, архитектор И.С.Богомолов) был установлен в начале Тверского бульвара, а в 1950 г. его перенесли на другую сторону Тверской улицы — на площадь, с 1931 г. носящую имя поэта.

Этому памятнику посвящены страницы очерка МЦ «Мой Пушкин».

С. 34. «*С кувшином охтенка спешит...*» — Образ жительницы Охты, окраины Петербурга, из романа в стихах А.С.Пушкина «Евгений Онегин», глава I строфа XXXV.

«Чижик, чижик, где ты был? — На Фонтанке водку пил». — Шуточная песенка начала XX в. «Чижик-Пыжик». Ныне в Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанки возле Летнего сада этому персонажу установлен памятник.

С. 35. *Иловыйский* Дмитрий Иванович (1832—1920) — профессор Московского университета, историк консервативного направления, неославянофил, автор многотомной «Истории России» (1876—1905), отец первой жены И.В.Цветаева. О нем МЦ написала в очерке «Дом у Старого Пимена».

«*Лесной Царь*» — стихотворное произведение И.В.Гёте, больше известное в вольном переводе В.Жуковского. МЦ посвятила ему очерк-эссе «Два “Лесных Царя”».

... *Савостьянов*: *небольшой магазин*.... — прав.: Савостьянов. Имеется в виду дом № 2 по Арбатской площади московского купца 2-й гильдии Ивана Тимофеевича Савостьянова. После его смерти домом владели наследники — два сына и две дочери, а также их мать — потомственная почетная гражданка Ирина Васильевна Савостьянова, державшая в доме хлебопекарню и булочную.

*Сиу* — магазин «А.Сиу и Ко». Француз А.А.Сиу в 1855 г. на Тверской улице, в доме Варгина, открыл кондитерскую. Его фирма первой в России освоила производство шоколада. В советские времена фабрика «А.Сиу и Ко» была переименована в фабрику «Большевик».

*Эйнем* — немец Фердинанд Теодор фон Эйнем, приехав в Москву в 1850 г., уже через год организовал на Арбате небольшую мастерскую по производству шоколада и конфет. В 1857 г. вместе со своим компаньоном Юлиусом Гейсом они открыли на Театральной площади кондитерский магазин. Еще через десять лет построили фабрику, получившую название «Товарищество Эйнем». К началу XX в. «Т-во Эйнем» владело двумя фабриками в Москве, фабриками в Симферополе и Риге, многочисленными магазинами в Москве и Нижнем Новгороде. После Октябрьской революции фабрика была национализирована, а в 1922 г. переименована в «Красный Октябрь».

*Абрикосов* — у истоков известной фирмы «Товарищество Абрикосов и сыновья» стоял Алексей Иванович Абрикосов. Его дело было основано еще в 1874 г. и к 1882-му достигло большого размаха. По разнообразию вырабатываемой продукции «Товарищество Абрикосов и сыновья» занимало первое место среди всех кондитерских фабрик России. На них производились конфеты, варенье, шоколад, мармелад, пастила, фрукты в сахаре, пироги и пирожки, а также разнообразные печенья. В советские времена «Т-во Абри-

косов и сыновья» было переименовано в кондитерскую фабрику им. П.А.Бабаева.

С. 36. *У Никитских Ворот был Бартельс*. — Полное название «Булочная и кондитерская Ивана Бартельса».

С. 37. *...высокой старинной Сухаревской башни*. — Башня была построена в 1692–1695 годах по проекту архитектора М.И.Чоглокова. Часы с третьего яруса Сухаревской башни каждые 15 минут давали колокольный перезвон. В 1934 г. ее разобрали.

С. 38. *Лэди Джен с голубыми цаплями* — речь идет о повести «Леди Джен, или Голубая цапля» Ц.В.Джемисон, американской детской писательницы. Сестры Цветаевы читали ее, скорее всего, в издании А.Ф.Девриена, вышедшем в 1905 г.

*...многоэтажный магазин Мюра и Мерилиза на Театральной площади*. — Здание магазина было возведено в 1906–1908 гг. по проекту Р.И.Клейна по заказу торговой фирмы «Мюр и Мерилиз», основанной выходцами из Шотландии. При советской власти этот магазин получил другое название — Центральный универсальный магазин (ЦУМ).

С. 39. *...в музыкальной школе Валентины Юрьевны Зограф-Плаксиной в Мерзляковском переулке...* — Валентина Юрьевна Зограф-Плаксихина (1866–1930), пианистка, ученица С.И.Танеева, педагог, основательница (1891) и первый директор Общедоступного музыкального училища (ныне это Академический музыкальный колледж при Московской государственной консерватории).

С. 41. «Кремль» — эта «политическая и литературная» газета издавалась Д.И.Иловайским с 1897 по 1916 гг.

*Тетья* — Сусанна Давыдовна Мейн (урожд. Эмлер, ок. 1843–1919, указ. Е.И.Лубянской), вторая жена А.Д.Мейна, воспитательница М.А.Мейн. Она же — Тьо. О ней существует отдельный очерк АЦ: Тьо (Сусанна Давыдовна, по мужу Мейн). 45-я параллель: Круг чтения. Литературно-художественное приложение [Ставрополь]. № 13. С. 4–6. См. также: *Лубянской Е.И.* Бабушка Тьо.

*Мария Лукинична Бернацкая* (в замуж. Мейн, 1842–1868), бабушка Марины и Анастасии Цветаевых по материнской линии. М.Л.Бернацкой МЦ посвятила стихотворение «Бабушке». В 1993 году в ее могиле будет похоронена АЦ. *Мать М.Бернацкой* — урожденная польская графиня Марианна Станиславовна Ледуховская (около 1819 — не ранее 1846). (Сведения взяты из исследования Е.И.Лубянской «Польский след в Борисоглебском. Бернацкие, Ледуховские: мифы и действительность (К вопросу о родословной М.Цветаевой)». Прочитано в Доме-музее МЦ в 1998 г.)



С. 42. *Сводная сестра дедушки...* — Мария Степановна Камкова (ок. 1833 — не ранее 1917), дочь героя Русско-турецкой войны, кампании 1809—1810 гг. (указ. Е.И.Лубянской).

...*легенды Рейна... где жили Гюльбрандт и Ундина...* — По старинной немецкой легенде рыцарь Гюльбрандт женился на русалке Ундине. Та полюбила его, но рыцарь оказался неверным и бросил красавицу ради другой. Накануне новой свадьбы в спальне Гюльбрандта появился призрак Ундины, лишивший изменника возможности дышать.

С. 44. *Шалэ* (фр. chalet) — прав.: шале, в альпийских горах небольшой домик.

«*Ундина*» — поэма В.А.Жуковского, «рассказавшего» в 1831—1836 гг. стихами повесть немецкого романтика Фридриха де ла Мота Фуке. Несколько раньше, в 1814 г., Э.Т.А.Гофман написал одноименную романтическую оперу.

«*Рустем и Зораб*». — Полное название сказки В.А.Жуковского — «Рустем и Зораб, персидская сказка, заимствованная из царственной книги Ирака (Шах-Наме). Вольное подражание Рюккертю».

...на *Высших женских курсах...* — Высшие женские курсы в дореволюционной России готовили врачей и учителей. Первые Высшие женские курсы открыты в Санкт-Петербурге (Бестужевские) и в Москве (Лубянские) в 1869 г. В данном случае речь идет о Высших женских курсах профессора В.И.Герье (основаны в 1872 г.).

...*наш дед, был сельским священником.* — Владимир Васильевич Цветаев (1818/20—1884), священник Николаевской церкви погоста Талицы Шуйского уезда Владимирской губернии близ г. Иваново-Вознесенска, протоиерей, благочинный.

С. 45. *Старший сын* — Петр Владимирович Цветаев (1842—1902), священник. С 1869 г. служил в селе Першино в Спасо-Преображенской церкви, при ней в земской школе был учителем и законоучителем. С 1884 г. преподавал в Талицкой церковно-приходской школе. См. о нем также: *МЦС*. Т. 1. С. 615.

*Федор* Владимирович Цветаев (1849—1901) преподавал в гимназии русскую словесность, логику, специалист и знаток древнерусской литературы. Преподавал в Шуйской прогимназии, с 1875 г. в реальном училище и военной гимназии г. Орла. См. упоминание о нем: *МЦС*. Т. 5. С. 53.

*Дмитрий* Владимирович Цветаев (1852—1920) — доктор русской истории, директор Московского коммерческого училища (1907—1911), профессор Варшавского университета (1887—1906), директор архива Министерства юстиции (1911—1918). См. упоминание о нем: *МЦС*. Т. 4. С. 222; Т. 5. С. 45.

...диссертации на латинском языке... — В 1877 г. И.В.Цветаев издает в Киеве свой диссертационный труд «Сборник осских надписей с очерком фонетики, морфологии и глоссарием». Позже он перевел его на латинский язык: *Zwetaieff I. Silljgae inscriptionum Oscarum. Petropoli — Lipsiae, 1879. vol. I—II.*

*Жуковский* Павел Васильевич (1845—1912) — художник, действительный член Академии художеств (1893), сын поэта В.А.Жуковского, член Московского общества любителей художеств (1869—1896), общества поощрения художеств (1870), общества художников исторической живописи (1896), являлся членом Парижского кружка русских художников. Участвовал в разработке проекта здания Музея изобразительных искусств в Москве.

*Клейн* Роман Иванович (1858—1924) — архитектор, академик петербургской Академии художеств (1907); член Комитета по созданию Музея изящных искусств (1898—1912), соратник И.В.Цветаева. См. также: История создания музея в переписке профессора И.В.Цветаева с архитектором Р.И.Клейном и других документах (1896—1912). Т. I—II / Сост. А.А.Демская и Л.М.Смирнова. М., 1977.

*Нечаев-Мальцев* Юрий Степанович (1834—1913) — обергофмейстер двора, владелец стекольных заводов в Гусь-Хрустальном, вице-президент Общества поощрения художеств. Член-основатель Комитета по созданию Музея изящных искусств. Вложил в строительство музея более 2 млн. рублей.

С. 47. *Муромцева* Надежда Александровна (1848—1909) — пианистка, педагог, основательница Женских музыкальных курсов в Москве (1883).

*Рубинштейн* Николай Григорьевич (1835—1881) — пианист и дирижер.

...у художника *Клодта* — «Последнюю весну» его в Третьяковской галерее любил многие... — Михаил Петрович Клодт (1835—1914), русский живописец. Передвижник. Тема полотна, о котором идет речь, — сочувствие человеческому горю.

...напоминает героев «Дворянского гнезда»... — Одноименный роман И.С.Тургенева. Центральные персонажи — Лиза Калитина и Дмитрий Лаврецкий.

...на брак с человеком... — Свадьба Цветаевых состоялась в мае 1891 г.

С. 48. ...о смерти ее после родов... — Смерть наступила от тромба, закупорившего артерию головного мозга. Об этом см. также в очерке МЦ «Дом у Старого Пимена».

С. 50. *Аркадий Александрович Ласточкин* — «сын сельской вдовы-дядячихи, беднякнеописуемый», такого характеризует И.В.Цветаев

в своей книге «Спорные вопросы. Опыт самозащиты» (М.—Дрезден, 1910). О нем см. также в очерке МЦ «То, что было».

С. 52. *Эрнст Поссарт* (1841—1921) — известный немецкий трагический актер и режиссер. На сцене с 1861 г. Служил в Мюнхенском, Немецком театре в Берлине и др. Гастролировал по Европе и Америке. Выступал в России с 1891 по 1900 гг.

... *страсть была к собакам и кошкам...* — Этой теме посвящена книга АЦ «Непостижимые» (1992).

С. 53. ... *дедушка купил Тете в Тарусе дом...* — История покупки дома подробно рассмотрена в исследовании: *Лубяникова Е.* Бабушка Тьо (с. 21 и далее).

С. 58. *Брандт* Роман Федорович (1853—1920) — крупнейший языковед начала XX в., специалист по истории славянских языков и литератур, профессор Московского университета; поэт и переводчик, педагог. Член-корреспондент Московского археологического общества (с 1894 г.) и Петербургской Академии наук (с 1902 г.).

С. 59. *Аполлон Аполлонович Грушка* (1867/70—1929) — профессор классической филологии в Московском университете и на Высших женских курсах в Москве. Его основные труды посвящены латинскому языкознанию.

*Николай Ильич Романов* (1867—1948, указ. М.Б.Аксененко) — историк искусств, педагог, музейный деятель, преподавал в Московском университете (1900—1911), с 1910 г. — хранитель отделения изящных искусств и классических древностей Румянцевского музея; директор Государственного музея изящных искусств с 1923 по 1928 гг.

*Алексей Иванович Яковлев* (1878—1951) — историк, археограф, педагог. Преподавал в Московском университете. В «Сказе о звонаре Московском» АЦ (Москва. 1977. № 7) читаем: «В тихий вечер зимний 1927 года мы сидели за чаем у профессора Алексея Ивановича Яковлева в уютной столовой окнами на храм Христа Спасителя...»

С. 60. «*Спящая красавица*». — Имеется в виду постановка в Большом театре «Спящей красавицы» П.И.Чайковского; легендарный балет, впервые поставленный хореографом М.Петипа в 1890 г. по сказкам Ш.Перро.

С. 61. «*Жорж Борман*» — Георгий Николаевич Борман, основатель Паровой фабрики шоколада и конфет «Жорж Борман» в Санкт-Петербурге, потомственный почетный гражданин, купец 2-й гильдии, фабрикант кондитерского производства; начал свое дело в 1862 г., основав фирму на Невском проспекте.

С. 64. ...отрока Иисуса в храме среди книжников на всем известной картине. — Возможно, имеется в виду картина Якоба Йорданса (1593–1678) «Иисус среди книжников» (1663).

С. 66. «*Растворил я окно...*» — романс на стихи К.Р. (великого князя Константина Романова).

«*Маленький лорд Фаунтлерой*» — повесть англо-американской писательницы Френсис Э.Х.Барнетт.

Сысоева Екатерина Алексеевна (1829–1893) — детская писательница.

«*Божественная комедия*» Данте в иллюстрациях Густава Доре, два тома: огромных, красных с золотом... — Соответственно описанию АЦ это перевод Д.Д.Минаева, выпущенный в 1874 г. в Лейпциге издателем М.О.Вольфом и повторенный в Петербурге в 1876 г.

С. 67. «*Мне было девять, Биче восемь лет...*» — строки из стихотворения Эллиса «Данте и Беатриче» (опубликовано в прижизненном сборнике поэта «*Stigmata*»).

С. 68. ...заколдованным словом *Kartmilhahn*... — По шотландской легенде корабль «Кармильхан» с грузом золота затонул у скал Стинфолской пещеры. Он погиб там, где викинги поклонялись языческим злым божествам, и гибель его была следствием кары Божьей, ибо вели корабль люди, продавшие душу дьяволу.

С. 71. «*Явление Христа народу*» — картина художника А.А.Иванова (1806–1858), другое название — «Явление Мессии», которая создавалась им двадцать лет, в 1837–1857 гг. Дар императора Александра II Румянцевскому музею. Для этой картины в 1913 г. архитектор Шевяков при перестройке здания возвел второй этаж с верхним светом («Ивановский зал»). МЦ и АЦ, бывая там в годы директорства отца, не раз видели ее. Сейчас картина находится в Русском музее в Санкт-Петербурге.

С. 73. ...голова Зевса. Ниже — филин на ветке. — См. об этом в поэме МЦ «Чародей».

С. 75. ...бабушкин портрет... — Имеется в виду М.Л.Бернацкая.

С. 76. ...купол Палашевской церкви... — Большой и Малый Палашевские переулки одно время назывались Рождественской улицей по церкви Рождества Христова в Палашах, построенной в 1573 г. и просуществовавшей до 1935 г.

С. 77. Так же рано запомнилось слово «Поленово». — Усадьба до 1931 г. носила название «Борок» (с 1991 г. — Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д.Поленова). См. упоминание о ней в очерке МЦ «Черт» (МЦС. Т. 5. С. 34).

...церковки села Бёхова... — Речь идет о церкви Живоначальной Троицы, которая находится в Тульской области, в полутора километрах от Музея-заповедника «Поленово». См. упоминание о Бёхове в очерке МЦ «Черт» (МЦС. Т. 5. С. 34).

С. 78. *Марфу и Олю*. — Мария Васильевна Поленова (в замужестве Ляпина, 1891—1976), с 1924 г. в эмиграции в Париже. Художница, известная своими прикладными работами.

Ольга Васильевна Поленова (1894—1973, указ. Е.А.Поленовой) — играла в домашнем театре в Поленове; училась на историко-филологическом факультете Высших женских курсов в Москве (1915—1919), театральным режиссер, работала с детьми.

...рыжекудрую Наташу. — Наталья Васильевна Поленова (1898—1964, указ. Е.А.Поленовой), училась во ВХУТЕМАСе, художница, член театральной секции МОСХа, играла в домашнем театре.

...принять участие в клейке фонарей... — Об этом подробно рассказано: *Цветаева В.* Записки (глава «Натальин день в Поленове», с. 154—155).

«Едем шагом, в гору — тяжело...» — из стихотворения МЦ «Паром».

С. 79. «Над вечным покоем» — картина И.И.Левитана.

*Добротворские* — имеется в виду семья Ивана Зиновьевича Добротворского (1856—1919, указ. Е.М.Климовой), мужа двоюродной сестры И.В.Цветаева. Сын священника, земский тарусский врач, был членом Городской думы Тарусы. МЦ называет его «свойственник отца» (МЦ. Неизданное. Сводные тетради. М., 1997. С. 152). См. о нем также *Цветаева В.* Записки (глава «Земский врач», с. 152—154).

«Чудный месяц плывет над рекою...» — романс на слова и музыку А.Денисьева.

*Рингштеттен* — замок, расположенный у истоков Дуная; упоминается у В.А.Жуковского в поэме «Ундина».

С. 80. ...усадьба, некогда звавшаяся «Песочное»... — Располагалась над берегом Оки близ Тарусы. Не сохранилась. В советские годы на том месте была танцплощадка Дома отдыха им. Куйбышева. Об усадьбе И.В.Цветаев писал Д.И.Иловыйскому 21 августа 1897 г.: «Законтрактававши эту усадьбу на 5 лет, до 1903 г., мы рассматриваем ее как свою и на ближайшие годы в этом отношении спокойны» (цит. по: *Лубяникова Е.* Бабушка Тьо. С. 21).

С. 82. *Елена Александровна Добротворская* (урожд. Цветаева, 1857—1939, указ. Е.И.Лубяниковой) — двоюродная сестра И.В.Цветаева. В письме от 29 марта 1904 г. И.В.Цветаев пишет о ней: «И прежняя сельская поповна, учившаяся только в московской учительской семинарии Чепелевской, говорящая доселе “пинжак” и “булгахтер”, краснеющая до седых волос при встрече

с каждым новым лицом, держит свой дом, цветники и семью так высоко, что, не говоря о горожанах, уездная и титулованная знать с большим почтением и скромностью ведет себя за ее чаем» (цит. по кн.: Цветаевские научные чтения в Тарусе. Вып. 1. Калуга, 2003. С. 31–32). О ней см. также: *Цветаева В.* Записки (с. 90 и далее), *Кочеткова Г.К.* Дом Цветаевых. Иваново, 1993 (с. 42 и далее).

*Дети их... студентка-медичка Надя...* — Надежда Ивановна Добротворская (1882–1941, указ. Е.И.Лубянниковой);

*...подросток Люда...* — Людмила Ивановна Добротворская (1885–1953, указ. Е.М.Климовой), в будущем врач в Тарусе;

*...студент Саня...* — Александр Иванович Добротворский (1883–1945, указ. Е.М.Климовой).

*...дети Иловайских...* — дети Д.И.Иловайского от второго брака: Сергей Дмитриевич (1881–1905, указ. Е.И.Лубянниковой), Надежда Дмитриевна (1882–1905), Ольга Дмитриевна (1883–1958). О них МЦ написала в очерке «Дом у Старого Пимена».

С. 83. *Их дом... большой, серый...* — Об этом доме И.В.Цветаев пишет из Тарусы 29 марта 1904 г.: «При доходе со службы не свыше 2300 рублей в год семья скопила 4000 руб. на покупку дома с садом, это бывший помещичий дом, последний владелец которого уже был декадентом. Теперь это первый в Тарусе дом — по высокому положению, по чудным видам на красивые окрестности, с богатым садом, просторный, поместительный, теплый, чисто содержимый!» (Цветаевские научные чтения в Тарусе. Вып. 1. Калуга, 2003. С. 32).

С. 86. «*Auf der blauen Donau*» («На голубом Дунае») — имеется в виду вальс И.Штрауса «На прекрасном голубом Дунае». Мелодия из музыкального ящика (см. об этом в поэме МЦ «Чародей»).

С. 89. *...доктор Гааз* — Фридрих-Иосиф Гааз (1780–1853, принял имя Федор Петрович), филантроп, известный в народе как «святой доктор»; с 1806 г. — врач на русской службе, с 1829 г. — в Москве, член Попечительного общества о тюрьмах, посвятил свою жизнь облегчению участи заключенных. Постоянно бесплатно принимал больных, снабжал бедных лекарствами.

С. 90. *Томас Карлейль* (1795–1881) — английский публицист, историк и философ. Выдвинул концепцию «культы героев», единственных творцов истории. АЦ посвятила ему отдельный очерк «Томас Карлейль в моей жизни» (1990) в кн. «Неисчерпаемое» (М.: Отечество, 1992. С. 208–214).

*Джон Раскин* (1819–1900), английский писатель, теоретик искусства. Романтический протест Раскина против современного общества обусловил его призыв к возрождению средневековых форм организации художественного творчества и ремесел. Идеолог прерафаэлитов.

С. 104. «Здесь поезда кричат, как пароходы...» — это стихотворение АЦ входит другим, более поздним, дополненным вариантом в кн. АЦ «Мой единственный сборник» (М.: Дом-музей М.Цветаевой, «Изограф», 1995. С. 88–89), где оно дается под названием «Чужбина» с посвящением «Тарусе, вдали от нее». Строка «Идут, идут военные обозы...» в первоначальном варианте звучала: «Идут, идут тюремные обозы».

С. 108. ...*нежно любя маму и видя трудность ее жизни, извиняла ей...* — Так виделось АЦ в детстве; на самом деле их отношения были далеко не безоблачны. В письме И.В.Цветаева к А.А.Иловойской от 28 сентября 1905 г. читаем: «Мысль о совместной жизни в Тарусе (Марии Александровны) с m-me Мейн неосуществима никоим образом: одна из них тупеет с годами, ничего не читая... другая — гордячка, резкая в ответах и склонная кипеть из-за пустяков. К этому у обеих — полное отсутствие взаимного уважения и сильные склонности сцепиться и вступить в словесный бой... И покойный Мейн просил меня не допускать их *совместного* жительство» (Лубяникова Е. Бабушка Тьо. С. 15–16).

С. 109. *Кирилловны* — им посвящен очерк МЦ «Хлыстовки», который печатался и под редакционным названием «Кирилловны».

С. 117. «Москва! Как много в этом звуке...» — строка из «Евгения Онегина» А.С.Пушкина.

С. 119. ...*мимо церкви, где Мусю крестили...* — Единственная в Москве церковь, освященная во имя Св. Ермолая, стояла до революции на Большой Садовой улице рядом со станцией метро «Маяковская» на том месте, где сейчас разбит небольшой сквер между двумя «сталинскими» жилыми домами (№ 6 и 8). Церковь Св. Ермолая появилась здесь еще в 1610 г. — ее основал патриарх Гермоген как свой моленный храм в Патриаршей слободе, устроенной близ стены Земляного города на «Козьем Болоте».

С. 120. «Золотые кудри» — книга английской писательницы Джордж Элиот (наст. имя Мэри Анн Эванс, 1819–1880). Русский перевод вышел в 1901 г.

С. 121. Александр Павлович Гуляев — см. о нем в очерке МЦ «Мать и музыка», где говорится, что ее мать называла его Зубоскалом. АЦ рассказывает о нем также в очерке «О брате моем Андрее Ивановиче Цветаеве» (Наука и жизнь. 1987. № 3. С. 114).

«Дикая утка» — драма Г.Ибсена.

«Потонувший колокол» — сказка-драма Г.Гауптмана.

«Раутенделейн» (нем. Rautendelein) — лесная фея, русалка.

...*медик (будущий врач-психиатр) Сережа...* — Сергей Петрович Цветаев (1872–1912, указ. Е.И.Лубяниковой), врач-психиатр,

выпускник Московского университета, работал в Мещерской психиатрической больнице. Умер от несчастного случая: отравился трупным ядом.

...*брат его Володя*... — Владимир Петрович Цветаев (1877–1928), юрист, выпускник Московского университета; работал в Калуге, в Уфе. Покончил с собой.

...*сестра их Саша (тоже медичка)*... — Александра Петровна Цветаева (в замужестве Ручковская, 1887–1972, указ. Е.И.Лубянской), врач, жена медика-эпидемиолога, микробиолога, члена-корреспондента АН Сергея Никифоровича Ручковского (1888–1968, указ. О.Переверзевым).

С. 122. *«The wide, wide world»* — знаменитый роман американской писательницы Элизабет Уэзерелл (1819–1885) «Широкий, широкий мир».

«*Она ждала*» — новелла немецкого писателя Пауля Гейзе (1830–1914) вышла в переводе М.Мейн в Университетской типографии в 1891 г. (имя переводчика было указано в издании инициалами «М.М.»).

С. 123. ...*дочь умершего папиного брата... подросток Шура*... — Александра Федоровна Цветаева (1887–1945, указ. Е.И.Лубянской).

*Мария Митрофановна* — речь идет о М.М.Богдановой, дочери полковника.

С. 126. *Читала «Жизнь Иисуса» Э.Ренана*... — Писатель Эрнест Жозеф Ренан (1823–1892) в этой широко известной книге изобразил Христа некогда существовавшим проповедником-романтиком; такая «популярная трактовка» способствовала распространению безверия в образованных слоях общества.

...*репродукцию поленовского Христа*... — Речь идет о картине В.Д.Поленова «На Генисаретском (Тивериадском) озере».

С. 127. «*Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецех — благоволение*» — строка из Ев. от Луки, гл. 2, 14.

...*к той террасе крынкинского ресторана*... — Ресторан Крынкина на Воробьевых горах в Москве располагался в деревянном, теремовом по стилю здании и славился своей кухней. М.А.Булгаков в романе «Мастер и Маргарита» (гл. 31) пишет: «На Воробьевых горах над этими импровизированными трактирчиками гордо возвышался знаменитый ресторан Крынкина».

С. 130. *Мария Генриховна (Киска)* — упоминание о ней можно встретить в очерке МЦ «Мой Пушкин».

С. 134. ...*слово «жид»*... — Об отношении к евреям в семье Бернацких и Мейн, а также о дворянском происхождении А.Д.Мейна



## Примечания

см. в письме МЦ к В.Н.Буниной от 24 августа 1933 г. (МЦС. Т. 7. С. 248–249).

С. 135. *Лето ползет медленно, как золотая бархатная гусеница.* — По словам АЦ автору примечаний, это фраза из ее утраченного дневника.

С. 136. ...*Папа и мама вернулись из Златоуста!* — в «Записках» В.Цветаевой также читаем: «...на Урале: там добывался мрамор для здания музея. Казна отдала на это целую гору: Шишимскую гору под Златоустом...» (с. 130 и далее подробнее).

...*папа уехал давать отчет...* — И.В.Цветаев, по словам АЦ, ежегодно ездил давать подобные отчеты. См. «Музей изящных искусств имени императора Александра III при Московском университете: Отчет и речь, читанная в годичном собрании комитета музея 25 ноября 1905 г. проф. И.Цветаевым» (М.: Университетская типография на Срегенском бульваре, 1906).

С. 137. *Ганон* — имеется в виду сборник «Пианист-виртуоз в 60-ти упражнениях» Шарля Луи Ханона (1819–1900), французского пианиста, органиста, педагога; автора этюдов и пособий для «фортепьяно и элементарной фортепьянной методики». В очерке МЦ «Дом у Старого Пимена» читаем: «Открываю рояль. Ганон. В полной честности проигрываю все положенные упражнения...» (МЦС. Т. 5. С. 130).

С. 138. *На Вале Изачик...* — Варвара Вениаминовна Изачик (1889–1972), дочь тарусского судебного следователя Вениамина Борисовича Изачика (указ. Е.И.Лубянниковой).

*Тоя Виноградов* — Анатолий Корнелиевич Виноградов (1888–1946), писатель, литературовед, с 1909 г. вольноопределяющийся при библиотеке Румянцевского музея без оплаты. С 1912 г. — младший помощник библиотекаря, с 1918 г. — ученый секретарь; с 1921 по 1924 гг. — директор Румянцевского музея. Ему МЦ посвятила автобиографический очерк «Жених», где немало фактических неточностей и вымысла; существует и ответ на него АЦ «Об очерке моей сестры Марины Цветаевой “Жених”» (не опубликован, находится в архиве автора примечаний).

С. 140. *Остроумов* Алексей Александрович (ум. 1908) — врач-терапевт, профессор Московского университета.

## Часть вторая. ИТАЛИЯ

С. 144. *Книга «Зеленой библиотеки» с золотом, «Друзья Эффи»...* — Речь идет о книге мисс Юнг «Друзья Эффи. Редкостный папоротник. Рассказы», вышедшей в серии «Зеленая библиотека», в из-

дательстве М.О.Вольфа. Она была в художественном картонном и с золотым конгревным тиснением на крышках.

С. 145. *Дядя Митя... писал книгу о Василии Шуйском*. — Из ранее изданных частей Д.И.Цветаевым была составлена монография «Царь Василий Шуйский и погребения его в Польше» (Варшава, 1901–1902).

*...его жену Елизавету Евграфовну*. — Ее сатирический образ дан МЦ в очерке «Пленный дух».

*...нашего двоюродного брата Володю*. — Владимир Дмитриевич Цветаев (1891–1937, указ. А.В.Ханаковым), архитектор, руководил сектором промышленных сооружений треста «Моспроект», профессор Московского инженерно-строительного института (см. о нем в МЦС. Т. 5. С. 45).

С. 148. *«Это совсем не море, с о в с е м даже не похоже...»* — См. об этом и у МЦ в очерке «Мой Пушкин» (МЦС. Т. 5. С. 88).

С. 150. *...привел с собой своего младшего, одиннадцатилетнего сына*. — Владимир Миллер, герой стихотворений МЦ «На скалах», «Он был полинялый и рыжий». См. о нем также: МЦ. Неизданное. Семья: История в письмах. М.: Эллис Лак, 1999. С. 106.

С. 154. *«...Чтобы пел надменный голос...»* — из стихотворения МЦ «Дикая воля».

*Табльдот* — общий обеденный стол в пансионах, курортных столовых, ресторанах.

С. 157. *Вова Курдюмов* — Всеволод Валерьянович Курдюмов (1892–1956), поэт, драматург, актер. См. о нем: *Васильев Г.К., Никитина Г.Я.* Вова Курдюмов — русский мальчик в итальянском городе Нерви // Все в груди слилось и спелось: Пятая цветаевская международная научно-тематическая конференция: Сб. докладов. М.: Дом-музей М.Цветаевой, 1998. С. 64–72).

С. 160. *Александра Александровна Иловайская* (урожд. Коврайская, 1859–1928) — вторая жена Д.И.Иловайского. См.: *Лубяникова Е.* Бабушка Тьо (с. 22).

*Владислав Александрович Кобылянский* (наст. фамилия Гольдберг, псевдоним — сеньор Ladko, 1877–1919), революционер, политэмигрант, впоследствии народный комиссар республики Тавриды (Крым, 1918), редактор газеты «Таврическая правда»; заведующий австро-итальянским отделом Наркоминдела.

С. 165. *«Из страны, страны далекой...»* — песня на стихотворение Н.Языкова, музыка А.Алябьева.

*«Не осенний мелкий дождичек...»* — песня на стихотворение А.А.Дельвига, музыка М.Глинки. Прав.: «Не осенний частый дождичек...»

«Вы жертвою пали...» — автор песни А.Архангельский (наст. имя Антон Александрович Амосов, ум. после 1893). М.Цветаева перевела ее в 1936 году на французский язык. Автограф хранится в РГАЛИ, факсимильно воспроизведен в кн.: МЦ. Поэт и время. М.: Галарт, 1992. С. 115. См. о нем также в ее письме к Л.П.Берии (МЦС. Т. 7. С. 660).

«Варшавянка» — революционная песня, гимн польских и русских революционеров. В ней использована мелодия песни восстания 1863 г. («Марш зуавов» Вольского), польский текст В.Свенцицкого, русский — Г.М.Кржижановского.

«Сквозь волнистые туманы пробирается луна...» — романс на стихотворение А.Пушкина «Зимняя дорога».

Александра Ивановна Доброхотова — обнаружены сведения о некоей Александре Ивановне Доброхотовой (1886—1937), учительнице, уроженке Москвы, библиографе Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина. Арестована 20 апреля 1937 г. Особой тройкой УНКВД ЛО 10 декабря 1937 г. приговорена по ст. 58-10-11 УК РСФСР к высшей мере наказания, расстреляна в Ленинграде 14 декабря 1937 г.

Кричевский Борис Наумович (1866—1919) — публицист, переводчик, социал-демократ, член группы «Освобождение труда», в 1893 г. — один из организаторов издательского центра «Социал-демократическая библиотека», идеолог анархо-синдикализма. Прозвище получил по названию и герою книги писателя Н.П.Вагнера «Сказки Кота-Мурлыки».

С. 169. «*Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn?*» — строка стихотворения из романа И.В.Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера» (Ч. 2, кн. 3).

С. 174. Лина Кавальери (1874—1944) — итальянская актриса кафешантана, потом оперная певица, владевшая бельканто, автор книг о сохранении молодости, признанная современниками утонченная красавица. По неподтвержденной легенде была в тайном браке с князем А.В.Барятинским.

С. 180. Ольга Осиповна — имеется в виду революционерка О.О.Лунц, первая жена В.А.Кобылянского (а не его вторая жена — Ольга Викторовна Кобылянская).

С. 180—181. «Взвейся, взвейся, наше знамя...» — одно из самых ранних, пафосно-гражданственных, детских стихотворений МЦ, дошло до нас исключительно в передаче АЦ. Не входит в МЦС.

С. 184. «Солдатский подвиг» — рассказ К.Миронова. В кн. также содержится «Марсельеза (солдатская)» и другие стихотворения (Нагасаки: Воля, 1906). На обложке фиктивные выходные дан-

## Примечания

ные — СПб.: Тип. А.Иванова, 1906. Брошюра подпольного революционного издания.

### Часть третья. ШВЕЙЦАРИЯ

С.189. «*Нерви мое дорогое...*» — отрывок из раннего стихотворения МЦ. Не вошло в МЦС.

С.191. *Затворились за Тыо тяжелые пансионные двери.* — Сохранилось письмо С.Д.Мейн от 3 июня 1904 г. на французском языке, где сказано: «Обе мои малышки находятся в Лозанне, куда я их поместила. Они мне часто пишут и видимо очень довольны своим новым заведением. Дай Бог, чтобы эта новая атмосфера для них была более здоровой, чем предыдущая» (цит. по кн.: Цветаевские научные чтения в Тарусе. Вып. 1. Калуга, 2003. С. 38 (пер. Е.И.Лубянской)).

С. 196. ...*набережной Уий...* — См. стихотворение «В Оушу».

С. 211. *Царь Мидас с ослиными ушами...* — Царь Фригии в 738—696 до н.э. По мифу, невежественный Мидас присудил в музыкальном состязании Аполлона с Паном первенство Пану, за что Аполлон превратил его уши в ослиные.

С. 215. «*Давид Копперфильд*» — роман английского писателя Ч.Диккенса.

С. 216. *Вольф* Маврикий Осипович (1825—1883) — издатель и книгопродавец. После его смерти продолжало существовать «Товарищество М.О.Вольф».

С. 223. «*Éducation Maternelle*» — речь идет об издании: *Le livre des mères, ou L'éducation maternelle par Thomas Braun* (французское периодическое издание «Материнское образование»). Или же — «*L'Éducation maternelle*». *Journal d'instruction destiné aux mères de famille...*

С. 225. *Людвик XVII* (1785—1795) — сын казненного короля Людовика XVI. Родился в Версале и после смерти старшего брата сделался дофином. Позднее был заключен в замок Тампль.

### Часть четвертая. ГЕРМАНИЯ

С. 226. ...*как в книгах Contes des fées* — Вальтер Скотт в своей работе «О сверхъестественном в литературе...» пишет о «*Conte des fées*» — «Сказке о феях» (*фр.*) как о совершенно особом литературном жанре.

С. 227. *Ландштрассе* (нем.) — столбовая дорога.

С. 228. *Мариле* — она не старше МЦ, как ошибочно считает АЦ (г. р. 1892, указ. Л.Цибарт). Упомянута в очерке МЦ «Башня в плюще» и в стихотворении «Отъезд».

*Карл* — Карл Мейер (младший, 1895—1971). Стал владельцем фабрики лабораторного стекла, к приходу союзников в 1945 году спрятал оборудование фабрики, а затем возобновил производство, чем сохранил рабочие места, что было так важно в разоренной войной Германии (указ. Л.Цибарт). Также упомянут в очерке МЦ «Башня в плюще» и в ее стихотворении «Отъезд».

С. 230. *...мама начала рассказывать нам сказку...* — См. об этом очерк МЦ «Сказка матери».

С. 231. «*Heidi*» — произведение Иоганны Спири (1829—1901), швейцарской писательницы, о маленькой девочке-сироте по имени Хайди. О героине этой книги МЦ пишет в очерке «Башня в плюще».

С. 231—232. «*Не для меня придет весна / Не для меня Буг разольется...*» — четверостишие из одноименной народной застольной песни, однако в ней поется не «Буг разольется», а «Дон разольется».

С. 232. *...приехавшего в Нерви старика-спирита, отца писателя Мережковского.* — Сергей Иванович Мережковский (1821—1908), статский советник, столоначальник придворной канцелярии Александра II.

*Казик* — Казимир Владиславович Кобылянский (р. 1904) — сын В.А.Кобылянского и О.О.Лунц.

С. 233. «*Так пусть в его память... наш Музей назовется его именем...*» — Об этом в дневнике И.В.Цветаева: «...мы называем Музей именем Александра III, а не Александра II (как будто это зависит от нас, а не от частной и личной инициативы первого дарителя на здание Музея Варв. Андр. Алексеевой, изложившей эту просьбу о наименовании лежа на смертном одре своим душеприказчикам менее месяца спустя позже... кончины императора...)» (И.В.Цветаев создает музей. М.: Галарт, 1995. С. 99).

С. 239. «*Путешествие Свена Гедина*» — полное название книги «Путешествие Свена Гедина в 1893—1897 гг. в Памир, Тибет и восточный Туркестан». Свен Гедин (1865—1952) — известный шведский путешественник-исследователь. Имел близкие связи с российским правительством и пользовался расположением Николая II.

С. 244. «*Родник*» — этот журнал был преобразован его основательницей Е.А.Сысоевой из «Воспитания и обучения» и издавался с 1880 по 1890 гг.

«Детское чтение» — периодическое издание, выходило в Санкт-Петербурге в 1869–1894; 1901–1906 гг.

...о герое Вильгельме Телле и о тиране Гесслере! — Вильгельма Телля, героя швейцарской народной легенды, отказавшегося кланяться шляпе австрийского наместника Гесслера, заставили стрелять в яблоко, лежащее на голове его собственного сына Вальтера. Несмотря на успешный исход стрельбы, Вильгельм был схвачен. Ему удалось бежать. Телль выследил Гесслера и убил его стрелой. Легенда эта была положена в основу драмы Ф.Шиллера «Вильгельм Телль».

С. 245. ...*есть мост — крутой, полукруглый, Понте Веккио*. — Понте Веккио (итал. старый мост), самый древний из существовавших тогда шести мостов Флоренции, творение архитектора Нери ди Фьораванте (1345 г.).

С. 246. «...*Где судьба бы вам жить ни велела...*» — из стихотворения неизвестной монахини Новодевичьего монастыря (XIX в.). МЦ цитирует это стихотворение полностью в статье «Искусство при свете совести» (хотя там оно звучит несколько иначе: «Где бы сердце вам жить ни велело...»).

С. 249. *Не оставляйте и Марию Васильевну...* — акушерке Марии Васильевне Ивановой М.А.Цветаева завещала сто двадцать рублей; ...*подругу Тонию* — Марии Васильевне Юхневич М.А.Цветаева завещала триста рублей; ...*сводную сестру дедушки, Марию Степановну Камкову* — ей были завещаны четыреста рублей (в прошении И.В.Цветаева, душеприказчика по духовному завещанию М.А.Цветаева, в Московский окружной суд от декабря 1906 г. ОР ГМИИ Ф. 6. Оп. 3. Ед. хр. 13. Л. 1).

С. 249–250. ...*Эрист Поссарт приехал и завтра будет слушать голоса*. — Во время гастролей Э.Поссарта во Фрайбурге в 1904–1905 гг. М.А.Цветаева пела в его хоре.

С. 250. *Сестры Бенц* — Эрика и Беатрис, двое из пяти детей Карла Бенца (1844–1929), знаменитого основателя автомобильной фирмы «Бенц». Ныне машины этой фирмы продает всемирно известная фирма «Мерседес Бенц».

С. 253. ...*я поскользнулась, полетела вниз по крутому ледяному спуску...* — Об этом событии более точно в письме И.В.Цветаева Р.И.Клейну от 2 янв.1905: «Вчера обе наши девочки явились с прогулки на высокую гору окровавленными: дура-воспитательница повела на гору, когда под ногами был лед, они, спускаясь по крутой дорожке, упали одна на другую, причем младшая разбила нос до хряща, а старшая сорвала кожу на колене» (И.В.Цветаев создает музей. С. 236).

С. 254. ...у каждой из нас свой «Лихтенштейн»... — «Лихтенштейн» (1826, рус. пер. 1887) — исторический роман немецкого писателя-романтика Вильгельма Гауфа. Свою книгу МЦ даст позже с собой дочери Ариадне в приют (МЦ. Неизданное. Записные книжки. Т. 2. С. 17).

*Имена генералов Куропаткина, Стесселя...* — Военные деятели Русско-японской войны. В заключении военно-судебной комиссии по расследованию причин поражений было написано, что ответственность несут Стессель и Куропаткин. Стесселя Анатолия Михайловича (1848—1915) судили Верховным военно-полевым судом за сдачу Порт-Артура. Алексея Николаевича Куропаткина (1848—1925) не судили, но он проиграл японской армии все сражения, в которых участвовал как военачальник.

*Гапон* Георгий (1870—1906) — священник, агент охранного отделения, инициатор петиции питерских рабочих царю, шествия к Зимнему дворцу 9 января 1905 г., которое было расстреляно.

С. 255. «*Горит в Музее Александра III*». — Об этой, отосланной первой, телеграмме И.В.Дмитриева см. письмо И.В.Цветаева Р.И.Клейну от 2 января 1905 г. (И.В.Цветаев создает музей. С. 237).

*Мы узнали обо всем, когда ужас случившегося был частично уже позади.* — Вот что писала газета «Русское слово»: «Вчера в начале второго ночи над крышей Музея показались клубы дыма. Быстро вся крыша музея заволочлась дымом, и из правого бокового зала по фасаду показались языки пламени. Дали знать в Пречистенскую, Городскую и Тверскую части. Дружными усилиями трех команд в течение часа пожар удалось локализовать в этом зале и не допустить распространения в смежных помещениях. В залах находилась масса строительного материала — много пустых ящиков с соломой, леса еще не были убраны. В зале, где возник пожар, попорчены окна, поврежден накат и полы. Причина пожара не установлена. В этом зале, как и в других, были расставлены переносные печи для просушки здания. Говорят, здесь же имели ночлег рабочие, у которых сегодня был праздник. Убыток исчисляется в сумме не менее 4000 рублей» (1904. 20 декабря, № 353. С. 1).

С. 257. *Из письма папы к Ю.С.Нечаеву-Мальцеву: «...Столько чудных вещей погибло...»* — Речь идет о письме И.В.Цветаева к Ю.С.Нечаеву-Мальцеву от 13/26 января 1905 г. (ОР ГМИИ. Ф. 6. Оп. I. Ед. хр. 5218, указ. М.Б.Аксененко).

*Sala Rotonda Ватикана* — зал Ротонды (круглая зала), составная часть Ватиканского музея.

С. 260. ...тома «*Gartenlaube*»... — Речь идет о «*Gartenlaube Illustriertes Familienblatt*», популярном германском еженедельном издании, печатавшемся с 1853 г.

С. 261. ...лукуллов пир... — Лукулл (ок.117 — ок. 56 до н.э.), римский полководец, славился роскошью своих пиров.

С. 262. ...связанную ею крючком, тайно, фигурку с хвостом и рожками. — Этому мотиву МЦ посвятила отдельное произведение «Черт».

С. 263. *Желиховская* Вера Петровна (1835—1897) — сестра Е.П.Блаватской, писательница, пропагандистка теософии.

Часть пятая. КРЫМ

С. 274. ...статую Баварии — гигантскую фигуру женщины... — Отлитая в 1844—1850-е гг., «Бавария» была самой большой бронзовой статуей в мире. Она является главным символом Мюнхена.

С. 277. «*Двенадцать раз луна всходила...*» — АЦ неточно цитирует стихотворение графини Евдокии Петровны Ростопчиной (1811—1858), начертанное на памятнике адмирала Нахимова в Севастополе: «Двенадцать раз луна менялась, /Луна всходила в небесах, /А все осада продолжалась, /И поле битвы расширялось /В облитых кровию стенах».

С. 278. *Вебер* Фридрих Данилович (1838 — после 1916, указ. Е.И.Лубянской). Ялтинские врачи Штангеев, Вебер, Ножников и другие внедряли методику оздоровления, в которой сочетались морские купания и воздушное лечение. Вебер оставил очерки и статьи об оздоровительных экскурсиях (см., например: *Вебер Ф.Д.* Альпинизм в борьбе с туберкулезом // Крымско-кавказский горный клуб. Одесса. 1904. № 1—2).

...знаем старшую, *Веру*. — Возможно, это Вера Вебер, которая погибла на Айновых островах в 1904 г. в экспедиции приват-доцента Шидловского, где участвовал юный А.К.Виноградов.

С. 279. *Берег моря звался Чукурлер*. — Балка Чукурлер позже была известна, в частности, тем, что там в революционные годы были похоронены красногвардейцы, матросы, подпольщики. Затем захоронения были перенесены на городское кладбище.

С 280. *Елпатьевский* Сергей Яковлевич (1854—1933) — писатель-народник, публицист, мемуарист; свойственник И.В.Цветаева: со стороны отца он был двоюродным братом Е.А.Добротворской, которая, в свою очередь, по отцу была двоюродной сестрой И.В.Цветаева. О нем см.: *Чернова Н.В.* Елпатьевские в Александ-



ровском уезде; Александр Владимирович Цветаев (Александров: Литературно-художественный музей М. и А. Цветаевых, 1998).

...печатался в сборниках «Знание»... — Имеется в виду серия литературно-художественных сборников товарищества «Знание», под редакцией М.Горького (выходила с 1901 г.).

...ялтинский парк Эрлангера... — Был устроен на земле имения «Гюзель Тепе» Антоном Эрлангером в Ялте. Он засадил участок элитными сортами винограда, создал питомник для выращивания рассады цветов, а также саженцев хвойных и вечнозеленых деревьев; имение стало называться «Парк Эрлангера». Был закрыт для публики в 1914 году, вновь открыт в 1920-м.

С. 283. *«Труд и забава»* — иллюстрированный детский журнал работ и развлечений издательницы А.Ф.Суховой, выходил в Санкт-Петербурге с 1906 по 1908 гг. два раза в месяц.

С. 284. *Никонов* Сергей Андреевич (1864 — после 1920) — врач, сын адмирала. В 1885 г. вступил в организацию «Народная воля». В 1886—1887 гг. участвовал в организации покушения на Александра III с А.И.Ульяновым и другими. С 1901 г. — член севастопольской группы партии социалистов-революционеров. Министр народного просвещения и исповедания Крымского краевого правительства (1919 г.).

С. 286. *Трепов* Дмитрий Федорович (1855—1906) — московский оберполицмейстер, с конца 1905 г. петербургский генерал-губернатор.

С. 287. *Думбадзе* Иван Антонович (1851—1916) — полковник. Осенью 1906 года, в разгар революционных беспорядков, когда курортная Ялта была объявлена на положении чрезвычайной охраны, Думбадзе создал там режим личного контроля, широко применял высылку лиц, вызывавших подозрение в политической неблагонадежности, лично цензурировал местную прессу.

С. 289. *Спиридонова Мария Александровна* (1884—1941) — революционерка, лидер партии левых эсеров, убила в 1906 г. усмирителя восстаний в Тамбовской губернии Г.Н.Луженовского. Расстреляна.

С. 291. *Ножников* Борис Петрович (1851—1911, указ. Е.И.Лубяниковой) — известный в те времена в Ялте врач.

С. 293. *«Знаете ли вы крымскую ночь?»* — перефразированы известные строки из «Майской ночи, или Утопленницы» Н.В.Гоголя «Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи! Всмотритесь в нее...»

...*Пешковы, жена и дети...* — Екатерина Павловна Пешкова (урожд. Волжина, 1878—1965), первая жена А.М.Горького. Ее дети: Мак-

сим (1897–1934) — художник-иллюстратор, карикатурист; убит по тайному приказу народного комиссара внутренних дел Генриха Ягоды, влюбившегося в его жену, и Екатерина (1901–1906), умершая в пятилетнем возрасте. Ей посвящено стихотворение МЦ «У гробика».

*Юшкевич* Семен Соломонович (1868–1927) — писатель, драматург критико-реалистического направления, писал о провинциальной еврейской среде. Постоянный автор горьковских сборников «Знание».

С. 294. ...*после московского восстания...* — Декабрь 1905 года в Москве.

*Андреева* Мария Федоровна (урожд. Юрковская, в первом замуж. Желябужская, 1868–1953) — актриса МХАТ, вторая жена М.Горького.

С. 296. ...*учебник арифметики Евтушевского...* — «Сборник арифметических задач» (1871), выдержавший многие издания. Автор — Василий Андрианович Евтушевский (1836–1888), математик-методист.

С. 298. «*Не смейтесь вы над юным поколением...*» — большая часть этого стихотворения сохранилась в памяти АЦ и впервые была приведена в тексте ее «Воспоминаний» (см. ранние редакции).

С. 299. *Фосс* В.А. — социалист-революционер, в 1919 г. городской голова симферопольского городского самоуправления.

С. 300. «*Отречемся от старого мира*» — слова «Марсельезы», автор Руже де Лиль. В России была распространена «Рабочая Марсельеза», слова которой написал П.Л.Лавров.

...*с начальницей... и с ее племянницей Манефой Николаевной...* — Имеется в виду учительница немецкого языка в Ялте Манефа Николаевна; была знакомой А.П.Чехова, о ней он пишет В.К.Харкеевич 4 декабря 1899 г.: «Манефе Николаевне привет и поздравление с именинницей». Есть и менее благодушное высказывание о них Чехова: «Бывает начальница с Манефой; обе сидят подолгу, и мать мучается» (из письма М.П.Чеховой 7 декабря 1899 г.). См.: *Чехов А.П.* Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. Т. 8. М.: Наука, 1980. С. 322, 325.

С. 305. ...*самодельную камеру-обскуру...* — (от лат. *obscurus* — тёмный), физический прибор, прототип фотографического аппарата.

С. 306. *Ворота Байдарские* — перевал через главную гряду Крымских гор из Байдарской долины к побережью Чёрного моря высотой 503 м. Через них проходит шоссе Ялта–Севастополь.

## Примечания

### Часть шестая. СНОВА ТАРУСА

С. 308. ...*осознание пролетевшей опасности*. — Этой теме посвящен отдельный рассказ «Девочка и котенок, человек и собака» в кн. АЦ «Непостижимые» (М.: Объединение «Всесоюзный молодежный книжный центр», 1992. С.18–20).

С. 313–314. *Был у Лёнки старший брат, лет пятнадцати... Миша*. — Михаил Семенович Монахов (1890 — ?). О нем и о сестре Асе МЦ написала в стихотворении «Лесное царство».

С. 319. *Умерла мама!..* — Смерть матери МЦ описала в одной из своих записных книжек (см.: МЦ. Неизданное. Записные книжки. Т. 2. С. 42–46).

С. 322. *Миша Поляков*. — Речь идет о Михаиле Лазаревиче Полякове.

С. 323. ...*поступила в интернат гимназии фон Дервиз*. — Вера Николаевна фон Дервиз, известная российская благотворительница, организовала приют, который был преобразован в женскую гимназию фон Дервиз (Гороховский пер., соб. дом); существовала с 1881 по 1919 гг.

## Отрочество и юность

### Часть седьмая. Отрочество. СНОВА МОСКВА

С. 328. «*В переулоч сходи Трехпрудный...*» — из стихотворения «Ты, чьи сны еще непробудны...»

...*гимназии Потоцкой*. — Здание 1-й женской гимназии В.В.Потоцкой было построено в 1879 г. по проекту архитектора Н.А.Тютюнова. Впоследствии преобразовано в Коммунистический университет трудящихся Востока Академии педагогических наук (ныне Госкомпечать Российской Федерации).

*Потоцкая* Варвара Васильевна (урожд. Воейкова, 1872–1944) — профессор МГУ, автор учебников по французскому языку, составитель французско-русских словарей и хрестоматий. В своей гимназии, где все методы поощрения и наказания считались вредными и поэтому не применялись вовсе, преподавала французскую словесность.

С. 331. *Валя Генерозова* — Валентина Константиновна Генерозова (в браке Зарембо; затем Перегудова, 1892–1967). Была музыкально одаренной, но талант ее остался неразвит, невостребован. Автор воспоминаний о МЦ (см.: *Перегудова В. Мое знакомство с ней* началось в гимназии // Марина Цветаева в воспоминаниях современ-

ников: Рождение поэта. М.: Аграф, 2002. С. 19–31). Ей посвящено стихотворение МЦ «У кровати».

С. 332. ...*сестрах Ланиных... особенно с Аней...* — Анне Ланиной посвящено стихотворение МЦ «Дортуар весной».

С. 338. ...*Лёля и Саша...* — Дочери Дмитрия Владимировича Цветаева — Елена (р. 1888, указ. А.В.Ханаковым) и Александра (р. 1889, указ. А.В.Ханаковым).

С. 341. *Лена Дьяконова* — Елена Ивановна (Дмитриевна по отчиму) Дьяконова (1894–1982), домашнее имя Галина. Впоследствии жена поэта П.Элюара (Гренделя), затем — легендарная Галá, жена художника С.Дали. Ей посвящено стихотворение МЦ «Мама в саду». С АЦ Дьяконова переписывалась до 1937 г. и в конце жизни.

*Саша Востросаблина* — возможно, дочь или племянница генерал-лейтенанта Александра Павловича Востросаблина.

С. 342. *Повесть «Четвертые»* — это произведение, которое МЦ написала в 1906–1907 гг., не сохранилось.

С. 343. ...*Марину исключили из гимназии фон Дервиз.* — МЦ была исключена за вызывающее поведение и революционные настроения.

...*из воспоминаний о Марине писательницы С.И.Липеровской.* — Речь идет о Софье Ивановне Юркевич (по мужу Липеровской, 1892–1973), писательнице, педагоге, авторе воспоминаний о МЦ (см.: *Липеровская С. Юные годы // Марина Цветаева в воспоминаниях современников: Рождение поэта.* М.: Аграф, 2002. С. 31–47).

*Андрей Кожухов* — герой одноименного романа писателя-народника С.М.Степняка-Кравчинского (1851–1895).

С. 351. ...*отдать ее в гимназию Алферовой.* — МЦ в 1907/08 г. училась в гимназии, возглавляемой Александрой Самсоновной Алферовой (урожд. Коссович, в 1919 расстреляна). О гимназии, находившейся в Седьмом Ростовском переулке на Плющихе, и ее начальнице см. МЦ. Неизданное. Записные книжки. Т. 2. С. 457–458.

Часть восьмая. МОСКВА. ТАРУСА

С. 353. *Анна Александровна Адлер* (1856–1924) — создательница рельефно-графических учебных пособий для слепых и публикатор первой книги по системе Брайля в России («Сборник статей для детского чтения, изданный и посвященный слепым детям Анною Адлер», 1885), соратница основоположника русской тифлопеда-

гогики А.И.Скребицкого, в 1900 г. пожертвовавшего Библиотеке Румянцевского музея книги, в том числе напечатанные унциалом, которые разместили в отделении для слепых, открытом по инициативе А.А.Адлер. См. о ней кн.: *Сизова А.И.* Анна Александровна Адлер. М.: «Логос» ВОС, 1996.

В.Цветаева называет Адлер крестной своего брата Андрея и близкой подругой их матери В.Д.Цветаевой (см.: *Цветаева В.* Записки. С. 93).

*Ш-н* — Василий Васильевич Шаврин (об окружении, друзьях и соратниках А.А.Адлер см. кн.: *Сизова А.И.* Анна Александровна Адлер. М.: «Логос» ВОС, 1996).

С. 354. *Анциферов* Николай Павлович (1889—1958) — историк-медиевист, краевед, литературовед.

*Григорьев Сергей Григорьевич* (1874—1931) — известный советский географ.

«*Экономические очерки*» Баха — речь идет о популярной среди социалистов книге бывшего студента Киевского университета Абрама Ивановича Баха, члена партии «Народная воля».

С. 355. «*Смело, братцы, песнь затынем...*» — строка из революционной песни; автор неизвестен. Песня расходилась подпольно во многих вариантах. Здесь дана одна из переделок (с сокращениями) одноименной революционной песни («Братцы! дружно песню грянем...»), издана Н.Огаревым в 1862 г. в Лондоне и посвящена польским волнениям начала 1861—1862 гг. Известны другие переделки этой песни 1905—1906 гг., в том числе «Солдатская песня» («Дружно, братцы, мы затынем...»). Цит. по: Пoesия в большевистских изданиях 1901—1917. Л.: Сов. писатель, 1967.

...стихов «*Жирондист*» (Минского... или Евгения Тарасова?)... — стихотворение написано Минским Николаем Максимовичем (наст. фамилия Виленкин, 1885—1937), поэтом, публицистом; *Тарасов* Евгений Михайлович (1882—1944), революционный поэт.

С. 360. *Калин* Анна Самойловна (1896—1984) — гимназическая подруга АЦ, позже жила в Германии, окончила жизнь в Лондоне. Ей посвящен акростих МЦ «Акварель».

*Мать Гали* — Антонина Петровна Дьяконова (во втором браке была за Д.И.Гомбергом), умерла от ожогов при пожаре в коммунальной квартире (после 1941 г., в начале войны; указ. Г.К.Васильевым).

*Льда* — Лидия Ивановна Дьяконова (1902—1996), артистка Театра им. Евг. Вахтангова, эмигрировала в Австрию, где преподавала русский язык. Составитель хрестоматии «Природа в прозе Советского Союза» (Вена, 1965).

...цыганенок Коля... — Николай Иванович Дьяконов (псевдоним Муратов, 1896—1983), актер, режиссер. Играл в Камерном театре у Таирова и в других.

*Вадя* — Вадим Иванович Дьяконов (1892—1919, указ. Г.К.Васильевым), старший брат Елены Дьяконовой. Выпускник историко-филологического факультета Московского университета, ученик профессора П.Н.Сакулина, умер по окончании университета от туберкулеза.

С. 362. «Амонтильядо» *Эдгара По* — речь идет о рассказе «Бочонок Амонтильядо».

С. 364. «С ранних лет нам близок, кто печален...» — из стихотворения «Маме» («В старом вальсе штраусовском впервые...»).

С. 365. «Танец Анитры»... «В пещере горного короля» — из музыкальной сюиты Э.Грига к драме Г.Ибсена «Пер Гюнт».

С. 366. «Что бы в жизни ни ждало вас, дети...» — См. примеч. к с. 246.

С. 367. «О сколько глаз из этих окон...» — из стихотворения МЦ «В Кремле».

...Тоня была студентка-курсистка... — Антонина Петровна Цветаева (в первом браке Воронская, во втором — Киселева, 1890—1928) — врач.

С. 370. *Авенариус* Василий Петрович (1839—1923) — писатель, составитель сборника былин, автор познавательных книг для детей и юношества.

...о «Братях Земгано» *Гонкуров*. — Речь идет о братьях, писателях Гонкурах — Эдмоне (1822—1896) и Жюле (1830—1870), однако роман «Братья Земгано» (1879) Э.Гонкур написал уже после смерти брата.

...о «Кольце *Нибелунгов*»... — Германский эпос Старшей Эдды «Песня о нибелунгах».

...о *Жан-Поле (Фридрихе Рихтере)*... — Иоганн Пауль Фридрих Рихтер (1763—1825), немецкий писатель.

*Башикирцева* Мария Константиновна (1858—1884) — русская художница, автор знаменитого «Дневника», обработанного романистом Андре Терье и изданного в 1887 г. во Франции. Ее памяти посвящен первый сборник МЦ «Вечерний альбом» (1910).

С. 372. ...*мать Вари Изачик*... — Анна Ивановна Изачик, жена та-русского судебного следователя В.Б.Изачика.

С. 374. «Стужа в моем доме такая, что существовать мне внизу...» — Оригинал этого письма хранится в ОР ГМИИ (Ф. 6. Оп. 1).

С. 375. ...*на подрезах*... — *устар.*: нижние, режущие лед пластинки коньков.

С. 377. *Виноградова* Нина Корнелиевна (в замуж. Топольницкая, 1890–1979, указ. Е.М.Климовой) – певица. МЦ посвятила ей стихотворение «Нине».

*Их мать, полька...* – Надежда Николаевна Виноградова (урожд. Гумилевская, 1866?–1943, указ. Е.М.Климовой), педагог, театраль-ный режиссер-постановщик, до революции держала частную при-готовительную школу в Москве.

*...походил и на отца...* – Виноградов Корнелий Никитич (1865–1940, указ. Е.М.Климовой), талантливый математик, преподава-тель Первой московской гимназии и других средних учебных заведений. Писал стихи. Член Математического общества; надо отметить, что он только в 46 лет, под угрозой увольнения, блес-тяще сдал экзамены и получил диплом МГУ (*Виноградов А.К.* Био-графии. РГАЛИ. Ф. 1303. Оп. 1. № 299).

*...брат... Сони Юркевич, Сережа...* – Сергей Иванович Юркевич (1888–1919), земский врач, во время войны работал хирургом. См. о нем альманах «Минувшее» (1991. № 11. С. 335–360).

С. 378. *Эллис* – Лев Львович Кобылинский (1879–1947), поэт, литературный критик, переводчик, теоретик символизма. Эллис вместе с А.Белым основал литературно-поэтическое сообщество «Аргонавты». Его образ центральный в поэме МЦ «Чародей». Он посвятил МЦ стихотворения «В рай», «Ангел Хранитель»; АЦ – «Прежней Асе» и другие (см. поэтический сборник Эллиса «Арго»).

*Лидия Александровна Тамбурер* (урожд. Гаврино, 1870–1931) – врач-дантист. С ней связаны стихотворения МЦ «Последнее слово», «Эпитафия», «Сереже», «Лучший союз», «Жажда»; о ней говорится в очерке «Лавровый венок».

*...не подходящего такой женщине мужа...* – Имеется в виду Людвиг Тамбурер. Он был владельцем собственной большой дачи в Рамен-ском районе (пос. Удельная, Южный проспект, 11–15), где также выстроил в 1908 г. несколько деревянных дач различной архитек-туры в стиле неоклассицизма и модерна.

*Лев Иванович Поливанов* (1838–1899) – педагог, литературовед, общественный деятель, директор частной гимназии в Москве.

С. 380. *...одиннадцатилетний худенький мальчик...* – Александр Тамбурер (умер после 1918), позже прапорщик, затем младший офицер 5-й роты 1-го Особого пехотного полка, проявлял ис-ключительную храбрость в Первую мировую войну, был награж-ден. О нем и его матери см.: *Александрова Н.В.* О «неслучайности всего» в этом тесном мире // Стихия и разум в жизни и творчес-

тве М.Цветаевой: XII международная научно-тематическая конференция: Сб. докладов. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2005. С. 452–457.

...сын Лидии Александровны, умерший трех лет, Сережа. — Ему посвящено стихотворение МЦ «Сереже».

С. 381. ...*в номерах «Дон»*... — В здании бывшей московской коммерческой гостиницы «Дон» ныне находится музей «Мемориальная квартира Андрея Белого» (Арбат, д. 55).

С. 382. ...*Я в тебе полюбил первый снег...* — Здесь и далее: фрагменты стихотворения Эллиса «Самообман» из сб. «Stigmata: Книга стихов» (М.: «Мусагет», 1911).

С. 383. *«В зеленой башне все было странно...»* — Об этом неизвестном отрывке сказано в комментариях к публикации: МЦ. Письма к П.Юркевичу (1908, 1910) // Публ. О.П.Юркевич. Сост., подгот. текста и коммент. Е.И.Лубянниковой и Л.А.Мнухина (Новый мир. 1995. № 6. С. 129) как о свидетельстве увлечения МЦ поэзией К.Бальмонта и о том, что сохранившийся отрывок записан АЦ по памяти, датирован ею приблизительно зимой 1907/08 г.

*«Я на башню всходил, и дрожали ступени...»* — строки из знаменитого в те годы стихотворения К.Бальмонта «Я мечтою ловил уходящие тени...».

С. 383–384. ...*бальмонтскими и Эллиса переводами Эдгара По...* — Переводы К.Бальмонта из Э.По составили целое Собрание сочинений последнего (М., 1901). В книгу переводов Эллиса «Иммортели» стихи Э.По не входят.

С. 384. *«Там, где миллионы звезд-лампадок...»* — из стихотворения «В Кремле».

С. 385. *«...Гул предвечерний...»* — Ср. также со стихотворением МЦ «Неразлучной в дорогу», посвященном АЦ, где гражданские мотивы уже отсутствуют.

С. 386. *«Мама светло разукрасила гробик...»* — из стихотворения «У гробика» с посвящением «Екатерине Павловне Пешковой»; в нем идет речь о смерти ее дочери Екатерины Алексеевны Пешковой (1901–1906).

*Петя Юркевич* — Петр Иванович Юркевич (1889–1968), врач, ученый секретарь Московского терапевтического общества. К нему обращены письма МЦ 1908 и 1910 гг. (МЦС. Т. 6. С. 17–26, Т. 7. С. 714–732). Также МЦ посвятила ему стихотворение «Месяц высокий над городом лег...»

...*читаю печатную записку...* — Речь идет о следующем документе: «Музей изящных искусств имени императора Александра III при



Московском университете. Записка, читанная в годичном собрании Комитета Музея 29 января 1908 г. проф. И.Цветаевым» (М., 1908).

*Комитет Музея* — Комитет по созданию Музея изящных искусств (1898—1912) официально возглавлялся с 1898 по 1905 гг. великим князем Сергеем Александровичем, директором Государственного исторического музея.

С. 394. ...*стихи о нас с Мишей...* — Речь идет о стихотворении «Лесное царство».

С. 395. «*Аллеи дремали задумчивым сном...*», «...*И ждал я ответа, томительно ждал...*» — Здесь АЦ привела по памяти два фрагмента до сих пор нигде не публиковавшегося раннего стихотворения МЦ. Фраза «О как чудно она ему ответила, на его “Вдвоем или снова одна?”» говорит о том, что отсутствует средняя часть стихотворения, где и был этот вопрос. Стихи навеяны впечатлениями от совместных поездок верхом с П.Юркевичем в имении его семьи Орловке в 1908 г. (см. также: *Айдиян С.* «Аллеи дремали задумчивым сном...»: Из ранней поэзии Марины Цветаевой. Неизвестные фрагменты // Литературная учеба. 2007. № 5. С. 78—85).

С. 396. *Алес Закржевский* — Александр Карлович Закржевский (1886/89—1916), литературный критик, философ, близкий к символизму. Корреспондент АЦ. См. о нем: *Розанов В.* Памяти Александра Карловича Закржевского // Новое время. 30.08.1916.

С. 397. *Оксана* — Ксения Сергеевна Цветаева (по мужу Краснопольская, 1902—1978; указ. А.В.Ханаковым).

С. 401. ...*одни, по Андрею Белому, золото и лазурь.* — Имеется в виду сборник ранних стихотворений Андрея Белого «Золото в лазури» (1904).

С. 403. *Ладыжино* — тогда деревня Бортниковской волости, ныне Калужская обл., тарусский район.

*Хозяин Ладыжина, маркиз Кампанари...* — Речь идет об итальянском подданном маркизе Дмитрие Францевиче Кампанари, обрусевшем, перешедшем из католичества в православие в 1903 г.

*Вдова его, маркиза Кампанари...* — Хозяйка имения Мария Львовна Кампанари. В этом имении бывали К.Бальмонт, А.Толстой и другие.

*Имела она двух дочерей — Маргариту...* — Старшая дочь, родившаяся в 1889 г.

*...и Марину...* — Родилась в 1890 г.

С. 405. ...перевод «L'Aiglon»... — Пьеса французского драматурга Эдмона Ростана посвящена судьбе герцога Рейхштадтского, нецарствовавшего Наполеона Второго, Жозефа Франсуа Шарля Бонапарта (1811–1832), короля Римского. Перевод МЦ этой пьесы не сохранился.

С. 406. ...магазин Готье на Кузнецком... — Речь идет о французском книжном магазине, принадлежавшем Владимиру Ивановичу Готье (1813–1887). Магазин упомянут в романе Л.Толстого «Анна Каренина». Существовал под той же маркой и после смерти хозяина.

С. 407. Бем Дмитрий Александрович (1880–1938) — известный математик, преподавал в московских вузах (1-й МГУ, МВТУ им. Баумана). С 1920 г. — один из основателей и руководителей (рыцарь старшей степени) анархо-мистического «Ордена Света».

Николай Александрович Гейнике (1876–1955) — историк, педагог. По окончании историко-филологического факультета МГУ преподавал историю в московских гимназиях (1906–1914). Составитель и редактор сборника «Культурно-исторические экскурсии. Москва, московские и подмосковные музеи» (ч. 1–3, 1923).

Трифорова Наталия Алексеевна (1894–1951) — племянница жены А.А.Блока, Л.Д.Менделеевой.

С. 408. Дмитрий Ильич Гомберг (умер в 1960-х годах) — присяжный поверенный.

С. 409. Яшу — Яков Николаевич Горбов (1896–1982), писатель-романист, офицер, выпускник Николаевского военного училища в Петербурге, дни свои закончил в эмиграции во Франции. См. о нем в кн. его жены Одоевцевой И. «На берегах Сены» (М., 1989), где опубликован и отдельный очерк АЦ о нем (с. 328–331).

С. 410. Чудинов Сергей Васильевич (1889–1977) — солист Большого театра (1907–1949), балетмейстер-репетитор, консультант по бальному танцу.

...отец Сергея Николаевича Горбова... перевел «Божественную комедию» Данте. — Николай Михайлович Горбов (1859–1921), меценат, переводчик.

С. 411. ...звуки «Молитвы Девы»... — «Аве, Мария» («Богородице, Дево, радуйся») — музыкальное произведение на текст католической молитвы Деве Марии (Ф.Шуберт, Ш.Гуно).

...книжки маминых дневников... — Из них сохранилась лишь одна (ноябрь 1887 — февраль 1888), она атрибутирована благодаря «Воспоминаниям» АЦ (об этом см.: Встречи с прошлым: Вестник

ЦГАЛИ. М., 1986. С. 409; см. также МЦ. Поэт и время. М.: Галарт, 1992. С. 46–47).

С. 413. ...*в посвященной ему поэме.* — Речь идет о поэме «Чародей».

*Мария Ивановна Сизова* (1892–1969) — актриса, педагог, драматург. Отличалась мистическими увлечениями, стала, как и Эллис, последовательницей учения основателя антропософии Р.Штейнера.

С. 414. *Мы бывали с папой у Захарьиных — вдовы и дочерей знаменитого доктора, поразительного диагноста...* — Григорий Антонович Захарьин (1829–1897), врач-терапевт и гигиенист, профессор Московского университета, почетный член Петербургской АН (с 1885 г.). Прославился многими чудачествами. Внес весомый вклад в создание Музея изящных искусств, помогал и деньгами и личным участием. Существует бюст Г.А.Захарьина работы А.С.Голубкиной.

*Вдова* — Екатерина Петровна Захарьина (урожд. Апухтина, 1840–1910). Жертвовательница на Музей изящных искусств. Основательница (в 1914 г.) больницы в имении Куркино. Там она и похоронена рядом с сыном и мужем в часовне при церкви Владимирской иконы Божьей Матери, выстроенной по проекту Ф.О.Шехтеля, с мозаикой В.М.Васнецова.

С. 416. ...*оды Наполеону Гюго...* — Первый поэтический сборник В.Гюго «Оды и различные стихотворения» (1822), однако они не посвящены Наполеону; за этот сборник поэт удостоился королевской пенсии.

...*купленную гравюру — Наполеон на Св. Елене...* — Возможно, имеется в виду гравюра Бертрана Анри-Грасьена «Наполеон Бонапарт, остров Святой Елены» (стоит также отметить, что на подобный сюжет имеется немало различных произведений).

...*знаменитый портрет Лоренса — мальчика лет девяти.* — Лоренс Томас (1769–1830), английский живописец, портретист. В 1792 г. назначен главным художником английского короля, с 1820 г. занимал пост президента Академии художеств в Лондоне.

С. 417. ...*витринах Аванцо и Дациаро...* — Один из художественных магазинов книготорговой фирмы «Аванцо и Дациаро», где продавались картины, гравюры, олеографии. Магазины Дациаро и Аванцо упомянуты в «Москве и москвичах» В.Гиляровского, а об их киосках на Кузнецком Мосту сказано в «Юнкерах» А.Куприна.

С. 418. ...*гротескном описании открытия Музея...* — См. об этом очерк МЦ «Открытие музея».

С. 421. ...серия открыток с картин Баллестриери... — Итальянский художник Лионелло Баллестриери (1872/74—1952) был популярен в России в начале XX в. в силу простоты, доходчивости и трагической ясности своих работ. Например, на его известной тогда картине «Бетховен» (выставлена в 1900 г.) изображены музыканты — скрипач и пианист, играющие для четырех слушателей в мастерской художника, — позами людей тонко передана потрясенность музыкой. АЦ в своей книге «Королевские размышления» о нем упоминает отрицательно.

С. 424. *Козеко* Николай Алексеевич (1845—1918?, указ. Е.Б.Сосниной) — историк и филолог, преподаватель истории и географии в гимназиях Кронштадта, Петергофа, Петербурга, Пскова.

С. 425. *Кознов* М.П. — В кн. «Отчет московских Румянцевского и Публичного музеев за 1909 г.» (М., 1910) говорится: «...25 января была обнаружена кража гравюр, виновником коей оказался постоянный за последние годы посетитель п<отомственный> п<очетный> гр<ажданин>) М.П.Кознов. Пользуясь доверием чинов, он похитил, по его словам, от 350 до 400 листов гравюр... По подсчету Музеев им похищено 310 листов, из которых найдены 221 и возвращены в Музей, хотя часто в испорченном виде, вследствие перегиба, промывки и т. п.» (с. 85 и далее).

*Шуров* Сергей Петрович (1866—1930) — в Румянцевском музее был старшим чиновником для письма, помощник хранителя отделения изящных искусств. 18 июня 1909 г. удален от должности, затем по решению суда восстановлен в ней. Служил до 1911 г.

С. 426. *Александр Николаевич Шварц* (1848—1915) — заслуженный ординарный профессор, министр народного просвещения. В Московском университете читал лекции по истории греческой литературы, впоследствии вышедшие отдельной книгой. Он был попечителем нескольких учебных округов: Рижского (1900—1902), Варшавского (1902—1905) и Московского (с 1905), после чего его назначили сенатором, а затем членом Государственного совета (с 1907), эту должность он занимал до самой смерти.

*Назначил ревизию, поручив ее князю Чегодаеву, человеку в делах науки и искусства малограмотному.* — Петр Владиславович Чегодаев (Чегодаев-Татарский). Об этом см. фрагменты переписки А.Н.Шварца и И.В.Цветаева от 23 и 27 марта 1909 г. в кн.: И.В.Цветаев создает музей. С. 291.

...солдатенковской коллекцией... — Козьма Терентьевич Солдатенков (1818—1901), московский купец-старообрядец, владелец изда-

тельства и картинной галереи; картины галереи и свою библиотеку завещал Румянцевскому музею.

С. 427. *Голенищев* Владимир Семенович (1856–1947) – российский египтолог. Жил с 1915 г. в Египте, основал кафедру египтологии Каирского университета. См. кн.: Выдающийся русский востоковед В.С.Голенищев и история приобретения его коллекции в Музей изящных искусств (1909–1912). Архив ГМИИ. Вып. 3. М., 1987.

С. 429. «*Сад великана*» – речь идет о рождественской сказке О.Уайльда «Великан-эгоист» (в другом переводе – «Мальчик и великан»).

*Щукин* Петр Иванович (1853–1912) – предприниматель, коллекционер. Из старинной купеческой старообрядческой семьи. В 1905 г. все свое собрание вместе с домом, библиотекой и картинной галереей преподнес в дар Историческому музею.

«*Дети Ванюшина*» – автор этой пьесы русский драматург Найдёнов Сергей Александрович (псевдоним; настоящая фамилия Алексеев, 1868–1922).

С. 433. *Анастасия Дмитриевна Модестова*, дочь папиного умершего друга. – У АЦ описки в отчестве, имеется в виду Анастасия Васильевна Модестова (ум. 1916, указ. М.Б. Аксененко), приемная дочь Василия Ивановича Модестова (1839–1907), русского историка и филолога, специалиста в области античности, профессора римской словесности.

С. 434. «*Близ медлительного Нила, там, где озеро Мериды...*» – стихотворение В.Брюсова «Встреча». См. об этом стихотворении в эссе МЦ «Волшебство в стихах Брюсова».

С. 436. «*Желал бы я не быть Валерий Брюсов*» – строка из стихотворения поэта «L'ennui de vivre...» (с фр.: «Скука жизни»).

«*Мусагет*» – издательство символистов, которое было организовано в конце 1909 г. и располагалось на Пречистенском (ныне Гоголевском) бульваре, 31. Основателями и ближайшими сотрудниками его были Э.Метнер, А.Белый, Эллис. Секретарями «Мусагета» работали А.М.Кожебаткин (1911–1912), В.Ф.Ахрамович (1912–1913) и Н.П.Киселев (с октября 1913 г.).

«*Весы*» – литературный и критический ежемесячный журнал (1904–1909) издательства «*Скорпион*» (1900–1916), орган московских символистов. Основателем и владельцем издательства был поэт, переводчик, меценат С.А.Поляков (1874–1943). Фактическим редактором журнала с 1904 г. по февраль 1909 г. был В.Я.Брюсов, который играл руководящую роль в издательстве, публиковавшем произведения русских и зарубежных авторов, книги по искусству.

*Канатный плясун* — образ взят из романа Дж.Свифта «Путешествия Гулливера...»: «Однажды императору пришла мысль развлечь меня акробатическими представлениями, в которых лилипуты своею ловкостью и великолепием превосходят другие известные мне народы. Но ничто меня так не позабавило, как упражнения канатных плясунов, совершаемые на тонких белых нитках» (гл. 3). Ассоциация простирается и к Ф.Ницше, его книге «Так говорил Заратустра», где также дан образ канатного плясуна, и к произведениям Эллиса.

С. 439. *Надя Крандиевская* — Надежда Васильевна Крандиевская (1891—1963), скульптор, автор мраморного бюста МЦ (Архангельский областной музей изобразительных искусств) и в майолике (московский Государственный литературный музей).

*...шедшей в Художественном театре...* — Пьеса Г.Ибсена «Бранд» была поставлена в МХТ в 1906 г., в главной роли священника-фанатика выступил В.И.Качалов.

С. 440. *Макс Линдер* — наст. имя: Габриель Лёвбель (1883—1925), французский актер-комик немого кино, которого Ч.Чаплин считал своим учителем.

*Сергей Михайлович Соловьев* (1885—1941) — поэт-символист, писатель, переводчик, критик, внук историка С.М.Соловьева, племянник философа В.С.Соловьева.

В 1916 г. принял сан православного священника, с 1923-го перешел в католичество восточного обряда. С 1926 г. — вице-экзарх русских католиков восточного обряда. Арестован в 1931 г. У него развилась душевная болезнь.

*...Всеволода, романиста...* — Всеволод Сергеевич Соловьев (1849—1903), известный писатель, мистик, автор многих исторических романов, в их числе и цикл «Хроника четырех поколений», в который вошли произведения «Изгнанник» и «Последние Горбатовы», также его перу принадлежат воспоминания о Ф.М.Достоевском.

*...в родовом имении Дедово.* — Усадьба Соловьевых Дедово Никольской волости Звенигородского уезда. Это имение принадлежало Андрею Николаевичу Бекетову, деду поэта А.А.Блока.

С. 441. *...его сказки (напечатанные).* — Имеется в виду книга С.Соловьева «Scurifagium» (М., 1908). У МЦ есть отдельное стихотворение «Сказки Соловьева», в котором она в заключительных строках «...Но, если хочешь знать, как плачут, / Читай в апреле Соловьева» обыгрывает название его поэтического сборника «Апрель» (М.: Мусaget, 1910).

...что он уже переведен Щепкиной-Куперник. — Речь идет об издании: *Ростан Э.* Орленок: Драма в шести актах в стихах // *Собрание сочинений в переводе Т.Л.Щепкиной-Куперник.* СПб.: Изд-е Т-ва А.Ф.Маркс, 1914. Т. 2. С. 3–174.

*Щепкина-Куперник* Татьяна Львовна (1874–1952) — переводчик, писательница. Перевела «Орленка» в 1901 г., а издать удалось только в 1912 г., однако на сцене эта драма шла еще до публикации.

...папа собирался в Каир... — В 1909 г. И.В.Цветаев принимал участие в работе II Международного конгресса классической археологии, который проходил в Каире 7–15 апреля (см. также: *Тураев Б.А.* Второй Международный конгресс классической археологии. СПб., 1909. С. 9). И.В.Цветаев находился в Египте с 20 марта по 20 мая 1909 г.

С. 442. *Был день 14-го апреля...* — Эпизод, описанный АЦ, воспроизводящийся здесь впервые, в определенной мере объясняет тон очерка МЦ «Жених».

С. 443. *«Где-то маятник качался, голоса звучали пьяно...»* — это стихотворение МЦ дошло до нас исключительно благодаря памяти АЦ.

С. 444. *Там начинались Эллисовы рассказы. Под маминым портретом — в гробу.* — В стихотворении «В рай», посвященном МЦ, у Эллиса есть такие строки: «На диван уселись дети, / ночь и стужа за окном, / и над ними, на портрете, / мама спит последним сном...» (*Эллис.* Арго: Две книги стихов и поэма. М.: Мусaget, 1913. С. 29).

С. 445. ...звучи марша «Тоска по родине». — Автор музыки А.Трофимов.

С. 457. *«Детский взор твой, что грустно тревожит...»* — строки из стихотворения «Нине» («К утешениям друга-рояля...»), посвященного Нине Корнелиевне Виноградовой, сестре А.К.Виноградова.

С. 458. *Alliance Française* — известная французская учебная организация, занимающаяся популяризацией французской культуры и преподаванием французского языка иностранцам. МЦ изучала там старофранцузскую литературу летом 1909 г.

*Марией Митрофановной Богдановой... в которой приняла участие мама и упомянула ее в своем завещании...* — В прошении И.В.Цветаева в Московский окружной суд от декабря 1906 г. читаем: «...дочери полковника Марии Митрофановне Богдановой двести рублей» (ОР ГМИИ. Ф. 6. Оп. 3. Ед. хр. 13. Л. 1 об.).

...папину племянницу Шуру Цветаеву. — Вероятнее всего, речь идет об Александре Петровне Ручковской (урожд. Цветаевой, 1887–1960/72), враче, жене доктора медицинских наук, члене-

корреспонденте АН Ручковского. Жила в Киеве. О ней см.: *Кочеткова Г.К.* Дом Цветаевых. Иваново, 1993. С. 47.

С. 459. *...я написала сказку...* — Том сказок АЦ исчез при ее аресте вместе со всем архивом в 1937 г., только три сказки составили ее посмертную книжку «Сказки» (М.: Гиль—Эстель, 1994).

С. 461. *Сходня* — полустанок Николаевской железной дороги (с 1874). Ныне Московская область.

С. 462. *Навроцкий* Григорий — сын генерала Навроцкого, женатого на дочери д-ра Захарьина (указ. Е.И.Лубянской), жил в Петербурге, герой стихотворения МЦ «Летом».

С. 467. *Что-то понадобилось Виноградовым...* — Этот эпизод включен и в отдельное произведение АЦ «Несколько слов о друзьях-писателях» (Даугава. 1986. № 11. С. 119—120).

С. 468. *Кто-то познакомил меня с Кланей Макаренко*. — Клавдии Макаренко посвящено стихотворение МЦ «В сумерках». См. также упоминание о ней у АЦ в заметке «Таруса» (Культура. 1993. 11 сентября. С. 12).

С. 469. «*Ася, поверьте!*» — *и что-то дрожит...* — из стихотворения МЦ «Летом».

*Лида Зябкина* — одна из одиннадцати детей дьячка Зябкина, (р. 1898 ?).

*У Лиды Шпагиной брат Шурка...* — Александр Павлович Шпагин (р. 1892, указ. Е.М.Климовой).

С. 470. *...о Шуточке Михайловой...* — Александра Николаевна Михайлова (р. 1897, указ. Е.М.Климовой), дочь тарусского мещанина Николая Ивановича Михайлова.

*Мишка по прозвищу Дубец (Филиппов, сын рыбака, с отцом рыбачит)*. — Михаил Матвеевич Филиппов (р. 1890, указ. Е.М.Климовой). А.Эфрон в письме к Н.И.Ильиной от 29 марта 1969 г. приводит такое свидетельство тарусянина Розмахова Ефима Ивановича: «...за Настей один ухаживал, Мишкой звали, а прозвище у него было Дубец, красивый был, капитаном на пароходе. Уж как мы, бывало, смеялись над ним — ну куда, мол, ты лезешь — профессорская дочка и сын сапожника!» (*Эфрон А.* Марина Цветаева: Воспоминания дочери. Письма. Калининград: ГИПП «Янтарный сказ», 1999. С. 356).

*Гарька Устинов* — Гавриил Иванович Устинов (1893? —1919, указ. Е.М.Климовой), мичман флота, после ранения и возвращения в Тарусу — следователь.

«*Трансвааль*» — марш времен Англо-бурской войны на юге Африки, популярный в начале XX века.



«Есть на Волге утес...» — народная песня «Утес Стеньки Разина» на слова А.А.Навроцкого.

...и другую песню о Ермаке... — Речь идет о песне «Ермак» на слова К.Рылеева.

С. 473. ...о братьях Успенских... — Саше и Сереже. — Александр Николаевич (р. 1893 — не ранее 1962) и Сергей Николаевич (р. 1896). Восприемником А.Успенского был И.З.Добротворский (указ. Е.М.Климовой).

...отца Николая с Воскресенской горы... — Протоиерей Николай Михайлович Успенский (1863/64 — конец 1930-х гг.), настоятель Воскресенской церкви, законоучитель высшего начального училища, казначей детского сиротского приюта, входил в тарусский комитет Российского общества Красного Креста.

...матушка Надежда Даниловна... — Надежда Даниловна Успенская (урожд. Яхонтова, р. 1861?). Вступила в брак с Н.М.Успенским в 1886 г. (указ. Е.М.Климовой).

С. 474—475. ...в лавке Позднякова в Тарусе. — Лавка купца Якова Лаврентьевича Позднякова. В доме, где она помещалась, ныне Тарусский краеведческий музей (ул. Энгельса, д. 4; указ. Е.М.Климовой).

С. 475. Улай — имеется в виду легендарный разбойник Улай, лишенный за свои грехи смерти и предлагающий заблудившимся путникам поменяться с ним судьбой.

С. 477. Все в Тарусе знали Маню Ецову. — Мария Федоровна Ельцова (р. 1890), дочь купца, гласного Городской думы.

Мишу Дсова — то есть Денисова.

С. 478. Днем до того в Тарусу прибыл калужский губернатор, князь (Горчаков? Голицын?)... — Это был Сергей Дмитриевич Горчаков (1861—1927). С 1895 г. состоял тарусским уездным (Калужская губерния) предводителем дворянства, в 1909—1915 гг. калужский губернатор.

С. 481. «...Всего хочу: с душой цыгана...» — из стихотворения МЦ «Молитва».

#### Часть десятая. МОСКВА. САКСОНСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ

С. 488. ...считает у себя право на титул, а в то же время на него не имеет права. — Слух о неграфском происхождении Алексея Толстого, о котором упоминает АЦ, находит подтверждение в рассказе об этом Романа Гуля. «У графа Николая Толстого были два сына —

Александр и Мстислав, — писал Гуть. — В их семье губернатором был некто Бострем, с ним сошлась жена графа и забеременела. Толстой был человек благородный (а может быть, не хотел огласки, скандала) и покрыл любовный грех жены: ребенок родился *формально* как его сын — Толстой. Но после рождения Алексея Николаевича Толстого его «юридический» отец граф Н. Толстой порвал с женой все отношения. Порвали с ней отношения и сыновья — Александр и Мстислав. Оба они не считали Алексея — ни графом, ни Толстым. Так ребенок Алексей Толстой и вырос у матери, в Самарской губернии. Но когда граф Николай Толстой скончался, уже взрослый Алешка, как «сын», приехал получить свою часть наследства. И получил...» (*Гуть Р. Я унес Россию: В 3 т. Т. 1. М., 2001. С. 299–300.*)

«*Так залу окружив трикраты...*» — из поэмы «Чародей».

С. 491. *Не в 1910-м ли году... должна была приехать в Москву великая актриса — Сара Бернар?! — Французская драматическая актриса Сара Бернар (1844–1923), кумир юности МЦ, трижды приезжала в Россию: в 1881, 1893 и 1908 гг.*

*В 1909 г. летом Марина... передала ей фотографии — для подписи, на память.* — Возможно, это произошло в Москве в 1908 г., во время гастролей Сары Бернар. В очерке «Живое о живом» МЦ говорит о том, что в 1909 г. «сорвалась» к Саре Бернар в Париж, но там ее не застала.

*Скончалась вдова доктора Захарьина, у которой я гостила летом в Куркине.* — Из письменного свидетельства АЦ (архив автора примеч.) известно следующее: «Захарьина, та самая бабушка Гриши Навроцкого, в доме которой я гостила летом 1909 года, болела сахарной болезнью в Куркине, и на похороны которой я ездила зимой с папой».

С. 492. *Владимир Оттонович Нилендер (1883–1965) — переводчик, педагог, знаток древних литератур. Он — герой многих стихотворений МЦ: «Сестры», «На прощанье», «Втроем» «Встреча», «Потомок шведских королей», «Детская», «Невестам мудрецов», «Очаг мудреца».*

*Садовской Борис Александрович (наст. фам. Садовский, 1881–1952) — поэт, прозаик, литературный критик, драматург.*

*Белоподкладочник — студент с франтоватой внешностью (в мундире на белой подкладке), враждебный революционным настроениям и демократизму.*

С. 495. *Нина Джаваха — персонаж из детской повести «Княжна Джаваха» Л.А.Чарской. См. также стихотворение МЦ «Памяти Нины Джаваха».*

... в том доме, где жил Багров-внук, в семейной аксаковской хронике... — Сергей Тимофеевич Аксаков (1791—1859), писатель, мемуарист, литературный и театральный критик. Он один из первых в русской литературе создал великолепные образцы художественной автобиографической прозы и семейной хроники («Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука»).

С. 496. ... до сих пор — помню «Миньону», «Помпеянку». — Имеются в виду поэтические циклы В.Я. Брюсова «К моей Миньоне» (1895), «Помпеянка» (1901).

С. 498. «Тореадор» — Марш Тореадора из оперы французского композитора Жоржа Бизе «Кармен».

*Вербицкая* Анастасия Алексеевна (1861—1928) — популярная писательница начала XX в., автор бульварных женских романов.

*Нагродская* Евдокия Аполлоновна (1866—1930) — известная писательница. С 1917 г. в эмиграции.

... мальчика — Володя. — Владимир Маркович Юхневич (1901—1978, указ. Е.И. Лубянской).

*Марк Карлович* Юхневич (1865—1929) — художник, реставратор; в 1900—1924 гг. работал реставратором в картинной галерее Московского публичного и Румянцевского музеев в 1900—1924 гг. (указ. Е.И. Лубянской). Затем в 1924-м перешел в ГМИИ.

С. 499. Из письма папы к архитектору нового Музея Р.И. Клейну: 19 декабря 1909 г. — Полностью см. письмо в кн.: И.В. Цветаев создает музей. С. 306—307.

... нравственных пошляков из казенной квартиры Румянцевского музея... — И.В. Цветаев имеет в виду трех мелких служащих Румянцевского музея, «несправных, ленивых и честолюбивых», которые во время многократных ревизий в связи с вышеупомянутой кражей гравюр посылали доносы и жалобы на директора, тем самым сводив с ним счеты (см.: И.В. Цветаев создает музей. С. 307).

*Дело о Голенищевской коллекции наконец решилось в нашу пользу!* — В музее в 1912 г. был образован сектор Востока. Основой для него послужила приобретенная в собственность музея коллекция египтолога В.С. Голенищева, полученная в государственную собственность в 1909 г.

С. 501. *Юдаев, Камжалов... Ножников* — АЦ называет спортсменов, занявших четвертые места в соревнованиях — на катке «Патриаршие пруды» В. Камжалова (1909) и на катке гимнастического общества «Сокол» И. Юдаева (1910). Чемпионом же, занимавшим в те годы первые места на упомянутых и многих других соревнованиях, был не Ножников, а Николай Струнников.

С. 503. *У него была жена, ее звали Софья.* — София Михайловна Нилендер (урожд. Ставская). Брак с ней был расторгнут в 1908 г., после чего В.О.Нилендер не имел права жениться семь лет, так как официально вина в разрыве брака по супружеской неверности была возложена на него. См. об этом в статье *Поликовской Л.* «Мудрец-филолог». Кто он? К биографии одного лирического героя М.Цветаевой (Звезда. 1992. № 10. С. 175).

С. 504. *...рафаэлевскую Мадонну с Младенцем и Иоанном Крестителем в круглой черной раме.* — Возможно, это произведение Рафаэля Санти «Мадонна делла Седия» (ок. 1513, Питти, Флоренция), на которой изображены юная мать в одежде римской простолюдинки и маленькие Иоанн Креститель и Христос.

*...Гераклит Эфесский, которого он переводит.* — Имеется в виду кн.: *Эфесский Гераклид.* Фрагменты / Пер. В.О.Нилендера. М.: Мусагет, 1910.

С. 508. *«Не поэтом он был! В незнакомом...»* — из стихотворения МЦ «Очаг мудреца».

*Феогнид* — древнегреческий поэт; известен его сборник, насчитывающий примерно 1400 стихов, часть их содержит нравственные советы.

*Ледяница* — другое имя того же сказочного образа Снежной королевы.

С. 407. *Руди* — персонаж сказки Г.-Х.Андерсена «Ледяная дева». Юноша Руди в раннем детстве потерял в горах мать. Ледяная дева спасла мальчика. Он вырос, стал ловким и метким охотником, полюбил девушку Бабетту.

*...на шкатулках Лукутина.* — Одним из первых лакировальных заведений в Подмоскovie была фабрика отца и сына Лукутиных, открытая в конце XVIII в. в селе Федоскине, в 7 км от Жостова. Очень славились их лаковые шкатулки, покрытые миниатюрной живописью.

*...в магазины материй Миляева—Карташева на углу Тверской и Мамонковского...* — Эти магазины москвичи до революции называли «Миляй-Карташев».

С. 510. *Затем она начинает немецкую песенку, ту, знакомую с детства,* — «*Kein Feuer, Keine Kohle...*» — Речь идет о песенке «Kein Feuer, keine Kohle, / Kann brennen so heiß, / Als heimlich stille Liebe, / Von der niemand nichts weiß» («Никакой огонь, никакой уголь / Не могут гореть так жарко, / Как тайная тихая любовь, / О которой никто ничего не знает»).

С. 513. *«Средь полей необозримых...»* — из поэмы «Демон» М.Ю.Лермонтова. «Христианского дворика» в папином Музее, у высо-

кой каменной стенки... — Этот дворик в советские времена был переименован в «Итальянский».

...всадником Колеоне... — Копия бронзовой статуи венецианского кондотьера Бартоломео Колеоне работы Андреа Вероккио. Считается одной из лучших конных статуй в мире.

...с микеланджеловским Давидом... — Гипсовая копия статуи Микеланджело Буонаротти «Давид». Оригинал находится в Академии изящных искусств Флоренции.

...с порталом собора... — Имеется в виду портал «Золотые врата» собора романского стиля Санкт-Мария (Фрайберг, Германия).

С. 515. «Снова поют за стенами...» — из стихотворения МЦ «Зимой».

...с эпиграфом из франкфуртской песенки «*Mein Herz trägt schwere Ketten...*» — Эпиграф к стихотворению «На прощанье» (4–9 января 1910) из сб. МЦ «Вечерний альбом»: «*Mein Herz trägt schwere Ketten, / Die Du mir angelegt. / Ich möcht' mein Leben wetten, / Dass Keine schwerer trägt*» («Мое сердце в тяжелых оковах, / Которыми ты его опутал. / Клянусь жизнью, / Что ни у кого нет цепей тяжелей»).

С. 516–517. Эллис... вырезал несколько страниц из книг читальни Румянцевского музея. — Об этом писали «Русские ведомости»: «Этот посетитель из выдаваемых ему для чтения книг вырезывал страницы текстов и брал себе» (1909. 5 августа). Также Андрей Белый пересказывает несохранившееся письмо МЦ Эллису с самой резкой ее реакцией в его защиту: «Если с вами что-нибудь сделают, я застрелюсь!» — пишет она» (см.: *Белый А. Между двух революций*. М.: Худ. лит., 1990. С. 536–537).

Существует и противоположное мнение, высказанное Ренатой фон Майдель в ее очерке «“Спешу спокойно”»: К истории оккультных увлечений Эллиса»: «Известный инцидент 1909 г. — изобличение Эллиса в порче книг библиотеки Румянцевского музея — принято списывать на его рассеянность, однако своеобразие отношения Эллиса к чужой интеллектуальной собственности явно заслуживает большего к себе внимания — о чем говорят, например, результаты недавно проведенного анализа некоторых пассажей его книги “Русские символисты” (1910): “Эллис не столько пересказывает идеи Моклера (из кн.: *Mauclair C. L'Art en silence*. Paris, 1901. — *Р.М.*), сколько их активно переводит, причем довольно буквально и без указания источника” (*Дубровкин Р. Стефан Малларме и Россия*. Bern; Berlin u.a., 1998. С. 175)» (Новое литературное обозрение. 2001. № 51).

С. 518. *Я уже купила билеты на все спектакли Сары Бернар.* — Гастроли труппы с участием Сары Бернар происходили в 1908 г. в Интернациональном (Никитском) театре с 13 по 23 декабря (см.: *Петров В.А. Марина Цветаева, Сара Бернар и «Орленок» Эдмона Ростана // Марина Цветаева: Личные и творческие встречи, переводы ее сочинений.* М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2001. С. 107–113).

*Через пять дней идет «Aiglon»!* — спектакль этот в Интернациональном театре шел 14 и 22 декабря 1908 г. См. также следующее примечание.

С. 525. *...револьвер дал осечку. В театре, на роستانовском «Орленке» (играла Сара Бернар).* — Речь идет о неосуществленном самоубийстве МЦ. Однако это произошло не в 1910 году: «...случилось это, скорее всего, когда труппа Сары Бернар в последний раз гастролировала в Москве в декабре 1908 г. (спектакли «Орленка» были сыграны 14 и 22 декабря на сцене Интернационального театра)», — пишет Е.И.Лубянникова в комментариях к публикации писем МЦ к П.Юркевичу (Минувшее: Исторический альманах. 1991. № 11. С. 348). Тут засвидетельствована вторая попытка самоубийства, годы спустя после первой, о которой АЦ написала еще в своей второй книге «Дым, дым и дым» (М., 1916), изданной с посвящением сестре.

С. 527. *«Чего он хочет?.. Небо ясно...»* — из поэмы «Валерик» М.Ю.Лермонтова.

*Позже, в мае, Шварц послал в третий раз рапорт в Сенат, настаивая на своем. Этот рапорт был отклонен.* — 13 мая 1910 г. А.Шварц послал в Сенат свой рапорт. 6 июля 1910 г. И.В.Цветаеву выдали копию рапорта Шварца, для объяснений и в ответ Цветаев начинает писать свою книгу «Спорные вопросы. Опыт самозащиты». Сенат не признал основательными обвинения рапортов, и дело обвинения было прекращено постановлением 1 Департамента 26 мая 1910 г.

*«Не рыдай так безумно над ним...»* — из стихотворения Н.Некрасова, посвященного памяти Д.И.Писарева.

С. 530. *...дворник Алексей, совсем молодой, светлоглазый и розовощекий (с теми пылающими щеками, о которых пишет Марина в воспоминаниях о Музее).* — См. о нем в очерке МЦ «Лавровый венок».

*Наконец, решился вопрос о квартире в Музее. Папа ответил, что... он не переедет.* — Так дело выглядело на взгляд юной АЦ. По этому поводу сохранилось свидетельство самого И.В.Цветаева: «Прельщаю его [Б.В.Фармаковского] и перспективой почетного докторства и прекрасной квартирой с гранитным входом в Музее (Комитет назначил мне там квартиру в 11 окон по фа-

саду, в 80 кв[адратных] сажен, но в здание, выклянчанное мною на протяжении многих лет, я на житье войти не могу, а потому просил сделать тут 2 квартиры, одну для будущего профессора и другую для хранителя музея». (И.В.Цветаев — В.И.Модестову 11 сентября 1903. НИОР РГБ. Ф. 324. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 408 об.; указ. М.Б.Аксененко).

...квартиры будущим хранителям Музея — Назаревскому и Киприянову. — Квартира досталась историку античного искусства, профессору Владимиру Константиновичу Мальмбергу (1960—1921), ставшему преемником Цветаева на посту директора музея (указ. М.Б.Аксененко). Подтверждение находим в «Записках» В.Цветаевой: «На должность главного хранителя античного отдела намечалась кандидатура профессора Юрьевского университета Вл. Мальмберга, знатока античного искусства... Возникло непредвиденное затруднение: Мальмберг требовал себе квартиры в здании музея» (с.166).

Назаревский Александр Владимирович (1876—1937?) — был ученым секретарем Музея изящных искусств с 1911 по 1916 г. Репрессирован в 1937 г.

Киприянов Сергей Павлинович (1875—1932) — при Музее изящных искусств был исполняющим обязанности смотрителя здания и делопроизводителем, с 1911 г. стал заведующим библиотекой и хозяйственной частью музея (указ. М.Б.Аксененко).

Было трудно поверить, что кто-нибудь, кроме него, был назван там «Воскресеньем». — Здесь явная перекличка с названием повести Г.К.Честертон «Человек, который был Четвергом».

Чернилка — имеется в виду магистр Тинте, персонаж сказки Гофмана «Неизвестное дитя».

...Дроссельмейер в «Щелкунчике»... — Прав.: Дроссельмейстер, мышиный король из сказки Э.Т.А.Гофмана «Щелкунчик и мышиный король».

С. 531—532. «...в начале мая, / Когда весенний первый гром...» — из стихотворения Ф.Тютчева «Весенняя гроза».

С. 534. Леви О.А. — выполнял росписи внутреннего интерьера домов, в частности в стиле раннего модерна. Им созданы внутренние росписи в доме П.И.Щукина, построенном в 1890-х гг. как дом-музей для размещения в нем собранных им коллекций. Ныне это Государственный биологический музей им. К.А.Тимирязева.

...упоминания о ее неудачной переписке с Гюи де Мопассаном... — Этой перепиской, начатой незадолго до смерти, Башкирцева заинтересовала Мопассан, но потом разочаровалась. Она писала: «Вы не

стоите меня. И я очень жалею об этом. Мне так хотелось бы иметь человека, с которым можно было бы поговорить». Они так и не увиделись. Уже после смерти Башкирцевой, в марте 1884 г., Мопассан посетил ее могилу.

...Марина узнала, что дневников Марии было много... — О дневниках М.Башкирцевой см.: Неизданный дневник Марии Башкирцевой и переписка с Гюи де Мопассаном (Ялта: Джалита, 1904).

Об этих дневниках не слышно. Погибли они в огне войны? — «Дневник» М.Башкирцева вела по-французски, и он впервые увидел свет во Франции спустя три года после смерти автора — в 1887 г. В России его перевели и опубликовали в 1893 г., и до 1917 г. выходили переиздания и дополнения. В том виде, в котором его написал автор, «Дневник» еще не выходил, так как все время появлялись и появляются издания, сокращенные в свое время наследниками художницы. Полный вариант «Дневника» хранится в Париже в отделе рукописей Национальной библиотеки.

С. 536. Я отдала ему все пять томов тихонравовского издания... — Речь идет о Полном собрании сочинений Н.Гоголя в 10 т., первые пять томов которого вышли под редакцией Тихонравова Николая Саввича (1832–1893), литературоведа, профессора истории русской литературы в Московском университете, академика. Издание до революции считалось образцовым.

С. 537. «...Под шум вагона сладко верить чуду...» — из стихотворения МЦ «Привет из вагона».

Часть одиннадцатая. ВАЙСЕР ХИРШ.  
ЛЕТО 1910 ГОДА ПОД ДРЕЗДЕНОМ

С. 539. Моммзен Теодор (1817–1903) — германский историк, почетный член Петербургской АН, автор многочисленных работ по Древнему Риму и римскому праву.

Великолепие известной «Брюллевской террасы» меж музеями и Эльбой... — В Дрездене роскошный променад возник из переоборудованных мощных укреплений на берегу реки Эльбы. Терраса получила имя застройщика, саксонского министра Брюля. С 1814 г. «Брюльская терраса» доступна для публики. Большая наружная лестница, украшенная фигурами «Четырех периодов дня», ведет от замка к стенам укрепления.

Альбертинум — этот музей в Дрездене приобрел свое название благодаря королю Саксонии Альберту, который хорошо разбирался



в искусстве. Альбертинум включает в себя галерею классической живописи, собрание скульптур и нумизматический кабинет.

*Трей* Георг (1843–1922) — немецкий археолог российского происхождения. Служил в Эрмитаже. После переезда в Германию вел раскопки в Олимпии. Создатель и директор музея скульптуры Альбертинума в Дрездене. И.В.Цветаев состоял с ним в переписке с 1881 по 1913 гг. Трей стал одним из главных консультантов Цветаева при создании Музея изящных искусств (указ. М.Б.Аксененко).

С. 540. ... *по высочайшему повелению папа был уволен от службы по должности...* — Об этом также см. в книге И.Цветаева «Дело бывшего Министра народного просвещения А.Н.Шварца и директора Румянцевского музея тайного советника И.В.Цветаева (Лейпциг, 1911). Здесь говорится об увольнении (13 июня 1910 г.) его Высочайшим повелением с должности Директора Московского публичного и Румянцевского музеев как о «монаршьей каре» (с. 13).

*Дом... Бахмана...* — Находился под Дрезденом у горы Лошвиц на Rissweg, 14. Здесь еще в 1891 г. был выстроен дом, перестроен в 1904 г. «На втором этаже, который снимала семья пастора Бахмана, находился летний пансион прежде всего для школьников». Участок с домом был куплен 1 августа 1900 г. Фридрихом Бродауфом, который снес старый и построил в 1904 г. новый дом в стиле модных тогда норвежских построек по проекту архитектора Рудольфа Кольбе (см.: *Хексельшнайдер Э.*).

*Пастор Бахман* — «пастор вне службы» (где он учился и где служил в церкви, неизвестно) родился в 1865 г. Написал диссертацию «Основы и фундаментальные вопросы к евангелической церковной музыке» (1899) о соотношении религии и музыки, кроме того, две напыщенные драмы: «Люцифер» (1903), посвященную своему учителю, директору гимназии в Вайсер Хирш Х.Ройге, и «Савонарола» (1907) про итальянского монаха-доминиканца, который проповедовал аскетизм, напал на папство и был казнен как мятежник. Бахмановские музыкальные попытки неизвестны, но сестры Цветаевы слышали некоторые из них в его исполнении на пианино (см.: *Хексельшнайдер Э.*).

*Лошвиц* — германский городок близ Дрездена, на берегах Эльбы.

С. 545. *Янчук* Николай Андреевич (1859–1951) — филолог, писатель, этнограф, исследователь культур славянских народов, начинал как помощник библиотекаря Румянцевского музея; хранитель отделения иностранной этнографии; работал в музее с 1889 по 1930 гг.

...система д-ра Сандера... — МЦ в «Записных книжках» называет не Сандера, а знаменитого доктора Генриха Ламана (см.: МЦ. Неизданное. Записные книжки. Т. 1. С. 359).

*Бродауф* Фридрих Мориц (1872—1939) — немецкий скульптор, график, чьи работы и ныне появляются на аукционах искусства в Германии. МЦ и АЦ познакомились с жившим «...с 1907 г. в Оберлошвиц скульптором и графиком Friedrich Moritz Brodauf, который часто в доме Бахмана спорил с ним о его музыке. Он закончил школу прикладного искусства в Дрездене (1888—1892) и посвятил себя популярной графике, особенно плакату, но с 1907 г. нашел себя в скульптуре. Как художник и скульптор он мало известен, правда, создал гранитный обелиск в память погибшим в Первую мировую войну на лесном кладбище Вайсер Хирш» (см.: *Хексельшнайдер Э.*).

С. 549. «*Волшебство немецкой феерии...*» — стихотворение МЦ из цикла «Ока».

*Графиня фон Позен* — имеется в виду фаворитка курфюрста Августа Сильного, Анна Констанца фон Хойм (1680—1765), которая была возведена своим возлюбленным в ранг графини Козель. В России была известна благодаря роману Ю.И.Крашевского «Графиня Козель» в переводе Н.С.Лескова.

С. 552. «*Honi soit qui mal y pense*». — Девиз английского ордена Подвязки, основанного в 1347 г. английским королем Эдуардом III как светский рыцарский орден. Он и поныне очень почитаем в Англии.

Часть двенадцатая. ЮНОСТЬ. МОСКВА

С. 559. *Бредя с Бальмонтом, с его «Только любовью», «Будем как солнце»*. — Имеются в виду одноименные книги поэта.

*Брюхоненко* Мария Густавовна — начальница частной женской гимназии в доме № 4 по Большому Кисловскому переулку в Москве. Женскую частную гимназию М.Г.Брюхоненко приняла от З.Д.Перепелкиной и переоформила на свое имя.

С. 560. ...*мужем, рыжеволосым, рыжебородым (узенькая борода) Александром Николаевичем*. — А.Н.Брюхоненко (р. 1873), преподаватель мироведения в московских гимназиях.

*Юрий Алексеевич Веселовский* (1872—1919) — известный критик, переводчик, педагог.

... «*того известного Веселовского*». — Речь идет об Алексее Николаевиче Веселовском (1843—1918), литературоведе.

С. 561. *Владимир Васильевич Голубев* (1884–1954) — математик и механик, член-корреспондент АН СССР (1934), заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1943), генерал-майор инженерно-технической службы. Окончил Московский университет (1908). Основные научные работы относятся к аэромеханике и теории функций комплексного переменного.

*Мурзо* *Нина Федоровна* (в браке *Маркелова*, умерла после 1974) — одна из самых близких подруг юности АЦ. Упомянута в ее очерке «Сказ о звонаре московском» (Москва. 1977. № 7).

*Таню Тургенева* — *Тургенева Татьяна Алексеевна* (1896–1966), жена поэта С.М.Соловьева, сотрудница Литературного музея в Москве.

С. 564. «*Средь шумного бала, случайно...*» — строки из романа П.И.Чайковского на стихи А.К.Толстого.

*Лидию Дмитриевну Фую...* — Речь идет о Л.Д.Фальковской

С. 567. «*Только утро любви хорошо...*» — начальная строка стихотворения С.Я.Надсона. В юности АЦ, по ее рассказам автору примечаний, считала эту строку одним из лейтмотивов своей жизни.

С. 569. «*...Мир утомленный вздохнул от смятеный...*» — из стихотворения МЦ «Правда».

*Не об этом ли была* — «*Колыбельная песня Асе*»... — АЦ здесь высказывает основательное предположение, что сюжетно стихотворение отражает увлеченность Л.Сикстея юной АЦ.

*...лежит больной на станции...* — Толстой слег с воспалением легких и умер на станции Астапово Рязано-Уральской железной дороги.

С. 570. *...Лев Толстой умер!* — Это произошло 7 ноября 1910 г.

С. 571. *Сашка* — *Александр Николаевич Кабанов* (1894–1984), профессор, заведующий кафедрой физиологии Московского педагогического института. Автор учебника по анатомии и физиологии человека для 8-го класса, многократно переиздававшегося в СССР.

С. 573. *...из трех сестер Тургеневых...* — *Наталья Алексеевна* (1886/88–1943), *Анна Алексеевна* (1890–1966), *Татьяна Алексеевна* (1894–1966); см. стихотворение МЦ «Осужденные», посвященное «сестрам Тургеневым». Средняя сестра Анна, жена А.Белого, была художницей, писательницей, антропософкой; о ней МЦ рассказывает в очерке «Пленный дух».

С. 577. *Ян Кубелик* (1880–1940) — чешский скрипач-виртуоз, дирижер, композитор, прославился исполнением произведений Н.Паганини. В России гастролировал с 1901 г.

*...был серолист, из породы бегоний.* — О роли этого растения в смертной судьбе МЦ см. очерк «О Марине, сестре моей» в кн. АЦ

«О чудесах и чудесном»: «Внезапно, как бы в порыве сильного ветра, все ветки серолиста всплеснулись шумно. Все мы, пораженные, смотрели друг на друга, молча, я — оторвавшись от Мариного портрета. Дерево медленно успокаивалось. Марина дала знать о себе?..» (М.: Буто-пресс, 1991. С. 48.)

...серепады Шуберта... — Имеется в виду «Серенада» Шуберта; в России звучала на стихи А.Н.Апухтина «Ночь уносит голос страстный...».

...о «Марусе, которая отравилась». — Шлягер 1911 г. Автор песни — Я.Ф.Пригожий. В том же году записана на пластинку Ниной Дулькевич (фирма «Сирена Рекорд», СПб.) под названием «Маруся умерла».

«Дубинушку» — эта песня (1865) на стихотворение поэта В.И.Богданова в переделке А.А.Ольхина стала народной.

...прося, чтобы кто-то не искушал его, и уговаривал волнения страсти, чтобы они унялись... — Имеются в виду романсы «Не искушай меня без нужды» (музыка М.Глинки на стихи Е.Баратынского) и «Уймись, волнения страсти...» (музыка М.Глинки; романс под названием «Сомнение» на стихи Н.Кукольника).

С. 578. Брандуков Анатолий Андреевич (1856—1930) — виолончелист, педагог, музыкальный деятель. Был директором и профессором Музыкально-драматического училища при Московском филармоническом обществе, профессор Московской консерватории (1921—1930).

С. 580. «Все видит, все знает твой добрый зрачок...» — из стихотворения МЦ «Добрый колдун».

С. 581. Маргарита Васильевна Сабашникова (1882—1973) — художница, поэтесса, первая жена (с 1906 г.) М.Волошина. Автор мемуарной книги «Зеленая змея: история одной жизни» (М.: Энигма, 1993). «Названная» жена — несмотря на брак, настоящих супружеских отношений у М.Сабашниковой и М.Волошина не было, они оставались только друзьями. Так говорила АЦ со слов М.А.Волошина.

«...Мы друг друга не забудем...» — из стихотворения М.Волошина «Таиах».

С. 582. Он рассказал нам о вымысле-мистификации, о созданной им Черубине де Габриак. — См. об этом в очерке МЦ «Живое о живом». А также «Рассказ о Черубине де Габриак» М.Волошина и «Исповедь» Е.И.Дмитриевой (Черубина де Габриак).

Черубина де Габриак — псевдоним Елизаветы Ивановны Дмитриевой (в замуж. Васильевой, 1887—1928), поэтессы. Под именем

Черубины в 1909–1910 гг. она печатала в журнале «Аполлон» свои мистические и исповедально-лирические стихи, прославившие ее благодаря литературной мистификации (начало ноября 1909 г.). Была антропософкой.

«В небе вьется красный плащ...» — из стихотворения «Красный плащ» Черубины де Габриак.

С. 583. ... *п о э т!* — повел себя недостойно, непозволительно. — Речь идет о Н.С.Гумилеве. В книге «Странствия Максимилиана Волошина» В.Купченко читаем следующее: «“Я прошу вас в последний раз — выходите за меня замуж”, — я сказала — “Нет”! Он побледнел. “Ну тогда вы узнаете меня”. Через день Волошину становится известно, что Гумилев распускает слухи, “оскорбительные” для чести Лили. Психологическая подоплека этого пароксизма ненависти оставалась скрытой — налицо был голый факт оскорбления женщины. И вот незлобивый, всепрощающий Максимилиан Александрович дает пощечину человеку, который недавно считался его приятелем, — а через два дня стреляется с ним» (СПб., 1997. С. 132–133).

Аделаида Казимировна Герцук (в замужестве Жуковская, 1874–1925) — поэтесса, критик. Ей и ее сестре посвящен отдельный очерк АЦ «Об Аделаиде и Евгении Герцук» в книге «Неисчерпаемое» (М.: Отечество, 1992. С. 28–30).

«Я живу в пустыне, вдали от света...» — из одноименного стихотворения А.Герцук.

«...Прежде, бывало, ночи / Реют темны-темнысты...» — из стихотворения А.Герцук «Счастье», посвященного Е.Герцук.

С. 584. А у Аделаиды Герцук, как у меня, «Стихотворения». — Речь идет об издании: Герцук А. Стихотворения. СПб., 1910.

Петров Александр Александрович, председатель Уездного съезда, уездный предводитель дворянства. (Существует и иная версия, говорящая о том, что А.А.Петров дачу не приобрел).

С. 585. ...я... не буду кончать этот никчемный восьмой. Он ведь только педагогический. — Об этом АЦ пишет в рецензии на кн. В.Швейцер «Быт и бытие Марины Цветаевой»: «Марина окончила 7 класс и начала 8-ой, но узнав, что он — только педагогический, и понимая, что никогда не захочет быть учительницей, прекратила занятия в этом классе, но полностью закончила семилетнее женское образование» (О книге Виктории Швейцер // Независимая газета. 1991. № 59, 21 мая. С. 7).

Дживелегов Алексей Карпович (1875–1952) — литературовед, историк культуры, театровед, член-корреспондент АН Армении (1945). С 1930 г. профессор ГИТИСа. Известен своими трудами

по театральному искусству и литературе эпохи Возрождения. О нем см.: *Эфрон А.* Страницы воспоминаний (Марина Цветаева в воспоминаниях современников: Рождение поэта. М.: Аграф, 2002. С. 238–239). МЦ встретила его в тяжелые годы в Лавке писателей: «Тем, кто книги приносил на продажу и попадал к Дживелегову, было плохо. Он давал мало и пугал своей наружностью».

С. 587. *А. де Ноай* — Анна Элизабет де Ноай (1876–1933), французская писательница, МЦ перевела ее роман «Новое упование» (Северные записки. 1916. № 9–12).

*Дмитрий Евгеньевич Жуковский* (1866–1843) — переводчик, писал статьи философской тематики.

...письма ее жениха (*громкое, известное имя его я, увя, забыла*). — Речь идет об Александре Михайловиче Бобрищеве-Пушкине (1851–1903, указ. Т.Н.Жуковской), поэте, известном юристе, умершем в санатории в Дрездене.

С. 588. ...сын, *Даниил, Далик*... — Даниил Дмитриевич Жуковский (1909–1938), математик. Был расстрелян.

...позднее в толстом журнале был напечатан ее рассказ — о «ненаказуемости» мальчика... — Имеется в виду произведение «Ненаказуемость Котика» (Северные записки. 1915. № 2. С. 6–14).

С. 589. *Евгения, переводчица*... — Евгения Казимировна Герцкы (1878–1944), литературный критик, переводчица, мемуарист.

С. 590. *В 1910-м году — думаю, не ошибаюсь... братья Райт поднялись на воздух!* — Братья Райт Уилбер (1867–1912) и Орвилл (1871–1948), американские изобретатели, авиаконструкторы и летчики. В 1903 г. выполнили первый в мире успешный полет продолжительностью 59 секунд. В 1904–1908 гг. Райт усовершенствовали свой самолет и совершили первый полет по кругу продолжительностью 38 минут, а затем первый полет с пассажирами на борту. В 1908–1909 гг. Уилбер демонстрировал свой самолет в Европе.

С. 591. «*К Вам душа так радостно влекома!*...» — стихотворение М.Волошина (2 декабря 1910), записано автором в его «Творческой тетради», посвящено МЦ, приведено в ее очерке «Живое о живом».

С. 592. ...о его мечниковском *лактобациллине*. — Мечников Илья Ильич (1845–1916), русский биолог, один из основоположников эволюционной эмбриологии. *Лактобациллин* — культура двух видов молочнокислых бактерий, предложенная И.И.Мечниковым для закваски молока или приема внутрь с лечебной целью — для подавления гнилостных процессов в кишечнике. Так называют и кислое молоко, заквашенное этой культурой (мечниковская простокваша).

С. 593. *Аста Нильсен* (1881–1972) — датская киноактриса. С 1911 г. жила и работала в Германии. Создала тип «демонической», роковой женщины, который надолго утвердился в кино. Среди ее ролей: Настасья Филипповна («Идиот», 1921, по Ф.М.Достоевскому), Гедда Габлер («Гедда Габлер», 1924, по Г.Ибсену) и другие.

С. 596. «*Встретим пришельца лампадкой...*» — Из стихотворения МЦ «Под Новый год» (АЦ помнила, что название в рукописи было: «Под Новый 1911 год»).

... в конце ноября 1910 года закончил папа подготовку к изданию книги, получившей название «Спорные вопросы». — Речь идет о книге: *Цветтаев И.В.* Московский публичный и Румянцевский музеи. Спорные вопросы. Опыт самозащиты. М.— Дрезден, 1910.

С. 597. «*Жозеф Бальзамо*» — имеется в виду сочинение А.Дюма-отца «Записки врача, или Жозеф Бальзамо».

*Мне достались стихи, кончавшиеся: «И над Ильменем запели / Гусли нежные Садко!»* — Стихи С.М.Соловьева. Приводятся последние две строки последнего четверостишия стихотворения «Новгород»: «Новгород богат. На деле / С ним бороться не легко... / И над Ильменем запели / Гусли нежные Садко».

С. 599. *Бо'р'ис Т'р'ухачев* — Борис Сергеевич Трухачев (1893–1919, указ. Е.И.Лубянской), тогда жених, а затем первый муж АЦ. В 1914 г. пошел добровольцем в армию, вскоре был освобожден по состоянию здоровья. Осенью, скрыв освобождение от службы, воевал в 15-м гренадерском Тифлисском полку в команде разведчиков. В начале 1917 г. оказался в Москве в клинике с нервным параличом. В июле 1918 г. переехал в Феодосию, где жил со второй женой, работал в гончарной мастерской. Умер в Старом Крыму от тифа.

Под именем Глеба он выведен в романе АЦ «Амог». Борису и АЦ посвящено стихотворение МЦ «Конькобежцы».

...*Борисе Сергеевиче, — мне имя это понравилось, волнуня сходством с тем героем из «Горбатовых» Всеволода Соловьева.* — См. примеч. к с. 440.

С. 604. ...«*Н.Ф.Б.*» *свою кровью начертал он на щите.* — Имеется в виду Настасья Филипповна Барашкова.

«*Леонардо да Винчи*» *Мережковского.* — Роман писателя, поэта, эссеиста, культуролога, теоретика символизма Дмитрия Сергеевича Мережковского (1866–1941) является второй частью трилогии «Христос и антихрист».

...*мимо верокиевского гипсового бюста...* — Андреа дель Вероккио (настоящее имя Андреа ди Чони, 1435–1488) — скульптор, юве-

лир. Предполагается, что живописи учился в середине 1460-х гг. у Филиппо Липпи. Расцвет творчества — с 1466 г. при дворе Медичи, где он сменил умершего тогда Донателло.

*Мальчика-монаха.* — На фотографии интерьера комнаты АЦ 1930-х годов виден бюст мальчика работы Андреа Вероккио, гипсовая копия, подаренная ей отцом.

С. 606. *И писала она еще о мальчике-татарине (я забыла его имя, — не Осман ли?)...* — Имя его действительно было Осман Абдула оглы — о нем подробно см. у МЦ: «И я этого мальчика любила так, и этот мальчик любил меня так, как никогда уже потом никто меня и, наверно, никто — его» (МЦ. Неизданное. Сводные тетради. М.: Эллис Лак, 1997. С. 182).

С. 608. *...пришлось притвориться — веселой.* — Этот эпизод стал темой мемуарной новеллы «История моей двойки» (1990), которая кончается посвящением ее герою — Владимиру Васильевичу Голубеву: «Профессору математики Голубеву и моей отлетевшей Юности — ибо мне 96-й год» (См. в кн.: АЦ. Неисчерпаемое. М.: Отечество, 1992. С. 28–30).

С. 609. *«Хотите знать мою богиню?..»* — Приведены заключительные строки стихотворения А.С.Пушкина «Паж, или Пятнадцатый год».

С. 610. *«Любовь мертвеца»* — стихотворение М.Ю.Лермонтова.

*...И опять стихи — (Сологуба) о смерти. «...То не голос трупа из могилы темной...»* — Речь идет о переводе Ф.Сологуба из книги «Поэмы Сатурналий» Поля Верлена (см.: Верлен П. Стихи, избранные и переведенные Федором Сологубом. М.: Факелы, 1908).

С. 611. *Творчество Екатерины Великой.* — Императрица Екатерина II Алексеевна (1729–1797) писала драмы, была автором мемуарных «Записок» и вела обширную переписку с виднейшими мыслителями, писателями, учеными своего времени.

*...ни одного названия, кроме «Фелицы»...* — Имеется в виду «Ода к Фелице» Г.Р.Державина, обращенная к Екатерине II.

С. 613. Рудольф Штейнер (1861–1925) — австрийский ученый, доктор оккультных наук, основатель Антропософского общества, представляющего собой самостоятельную ветвь, развившуюся из теософии и мирового мистического предания (см.: Кузнецова Т. Цветаева и Штейнер: Поэт в свете антропософии. М.: Дом-музей Марины Цветаевой; Присцельс, 1996).

С. 614. *«...Тень трамваев, как прежде...»* — из стихотворения МЦ «Так будет».



С. 619. ...*гостит испанка, Кончитта*. — Игровой псевдоним Елизаветы Яковлевны Эфрон (1885—1976), режиссера, педагога, сестры С.Я.Эфрона.

С. 620. *Мария Паппер* — поэтесса, героиня очерка Владислава Ходасевича «Неудачники». О ней см. в очерке МЦ «Живое о живом».

*Юнге* — речь идет о семье коктебельских землевладельцев. В кн. И.Левичева, А.Тимиргазена «Коктебель. Старый Крым» читаем: «В 1878 году, после выхода в отставку, в Коктебеле поселился Эдуард Андреевич Юнге (1833—1898), видный ученый-офтальмолог» (Симферополь: Сонат, 2003. С. 21). О семье Юнге подробнее см.: *Купченко В.* Странствия Максимилиана Волошина (СПб.: Логос, 1997. С. 542).

С. 623. *«Тусклые ваши сиятельства...»* — из стихотворения И.Северянина «В блестящей тьме».

С. 624. ...*невзрачного человека, которого называли Миша*. — Михаил Сергеевич Лямин (род. 1883), химик, двоюродный брат М.Волошина. Был психически болен, страдал манией преследования.

С. 625. *Бэлла* — Бэлла Евгеньевна (в замуж. Майгур, 1888—1976), подруга Е.Я. Эфрон.

...*подростка Лёню...* — Леонид Евгеньевич (1896—1980), художник, мемуарист.

...*брат его, Сеня...* — Самуил Евгеньевич Фейнберг (1890—1962), пианист, композитор, доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории.

С. 627. *С мужем рано расстались*. — Речь идет об Александре Максимовиче Киреенко-Волошине (1838—1881), коллежском советнике.

...*была еще дочь Надя. Умерла четырех или пяти лет*. — Надежда Александровна Киреенко-Волошина (1869 — ок. 1873, указ. Вл. Купченко).

С. 628. *Серезенька!* — сказала она Игорю Северянину... — Имеется в виду Сергей Яковлевич Эфрон (1893—1941), тогда — будущий муж МЦ, впоследствии — прозаик, журналист, литературный и кинокритик, киноактер. В эмиграции с 1920 г.

С. 630. «...*Облаком парф из пекарен...*» — из стихотворения МЦ «Детский юг».

С. 631. ...о самоубийстве матери... — Имеется в виду Елизавета Петровна Дурново (1853—1910, указ. Е.И.Лубянской), дочь гвардейского штаб-ротмистра Петра Аполлоновича Дурново и Елизаветы Никаноровны Посылиной, из купеческого звания. Революционерка, член партии «Земля и воля», группы «Черный передел». Дважды эмигрировала из России, в первый раз жила в Швейцарии, второй — во Франции. Член I Интернационала. Политические взгляды ее сложились под влиянием П.А.Кропоткина. Была заключенной (1880) Петропавловской крепости, откуда освобождена под залог по хлопотам отца на поруки семьи, так как у нее стало развиваться психическое расстройство. В 1908 г. сидела в Бутырской тюрьме.

См. о ней: Морозов Н. Повести моей жизни: В 2 т. Т. 2. М., 1933. С. 233—245; Елизавета Петровна Дурново-Эфрон // Каторга и ссылка. 1929. № 12 (61). С. 145—163.

...и брата. Котик, в четырнадцать лет... — Константин Яковлевич Эфрон (1895—1910). По устному свидетельству АЦ, высказанному автору примечаний, причиной самоубийства было преследование его со стороны учителя математики в заведении, где он учился. Об этом он написал брату, С.Эфрону, в открытке незадолго до самоубийства. Открытка не сохранилась.

С. 632. «Костер мой догорал на берегу пустыни...» — из стихотворения М.Волошина «Польнь» (цикл «Киммерийские сумерки»).

С. 638. Константин Васильевич Кандауров (1865—1930) — театральный художник, заведующий освещением Малого театра, коллекционер, организатор выставок.

Квятковский Людвиг Лукич (1896—1977) — художник, график.

С. 640. ...сестра Нютя... — Анна Яковлевна Эфрон (в замуж. Трупчинская, 1883—1975). О ней МЦ писала 3 декабря 1911 г. М.Волошину: «Его старшая сестра очень враждебно ко мне относится» (МЦС. Т. 6. С. 58).

...брат Петя... — Петр Яковлевич Эфрон (1884—1914, указ. Е.И.Лубянской), революционер, член партии эсеров, участник Московского вооруженного восстания, актер.

Встретив Якова Эфрона... — Яков Константинович Эфрон (1854—1909), слушатель Московского высшего технического училища; революционер, член партии «Земля и воля», группы «Черный передел».

Младший был Глеб. — Глеб Яковлевич Эфрон (1889—1897).

С. 641. А.И.Шахов — председатель департамента судебной палаты (указ. Е.И.Лубянской).

*У старшего брата Пети в Париже родилась дочка.* — Ей посвящено стихотворение МЦ «Ластуне» от домашнего прозвища ребенка «Ласточка» (г. р. 1909). Девочка родилась в марте и умерла в том же году осенью (указ. Е.Б.Коркиной).

*Жена была человек мало ему близкий.* — Речь идет о Вере Михайловне Эфрон. О ней С.Я.Эфрон пишет 6 апреля 1924 г. сестре Е.Я.Эфрон: «А знаешь, что делает Вера Михайловна? Заведует кинематографическими съемками в Риме» (МЦ. Неизданное. Семья: История в письмах. М.: Эллис Лак, 1999. С. 312).

С. 645. *Петр Николаевич Лампси* (1869 — после 1920) — феодосийский судья. Внучатый племянник И.К.Айвазовского.

*«Век юный, прелесный...»* — романс на стихи Н.Коншина, музыка А.Гурилева.

С. 647. *...внуков Ивана Константиновича Айвазовского...* — Его внуками были Алексей Ганзен, Константин Арцеулов, Николай Лампси и Михаил Латри. Сестры Цветаевы дружили с семьями Лампси и Латри, которые жили в доме Айвазовского, рядом с его вдовой Анной Никитичной (1856—1944).

*«Фонтан Айвазовского»* — построен в Феодосии по проекту самого художника, открыт в 1888 г. (указ. Дм.Лосевым).

*Там, и у моря, в «Паше-Тепе»...* — Ресторан назван в честь источника минеральной воды «Паше-Тепе», источник был открыт в 1904 г. у подножия холма в западной части Феодосии.

*...двоюродный брат Петра Николаевича...* — Лампси Николай Михайлович (1860—1918), музыкальный теоретик, композитор, профессор.

*Беляев Николай* — воспитанник П.Н.Лампси, вместе с ним эмигрировал в Грецию.

С. 648. *...сестре, пожилой учительнице музыки.* — Елена Николаевна Потапенко (урожд. Лампси, 1864 — не ранее 1927).

С. 650. *Потапенко* Игнатий Николаевич (1856—1929) — популярный до революции беллетрист, драматург.

С. 651. *Рибиков* Владимир Иванович (1866—1920) — композитор, представитель музыкального импрессионизма.

*А к Редлихам...* — Эрнест Морицевич Редлих (1858 — ок. 1925), художник-любитель, и его жена Алиса Федоровна (урожд. Матиссен, 1868—1944), пианистка, преподавательница музыки.

*«Мама! Д а й т е м н е е г о! — говорила Наташа Ростова маме. — Голубушка, дайте мне его, мне его с е й ч а с н у ж н о...»* — Цитируется по памяти неточно (см. т. 2, ч. 1, гл. 9 «Войны и мира»). У Л.Толстого находим следующие сходные фразы: «Его мне надо... сейчас,

сию минуту, мне его надо, — сказала Наташа, блестя глазами и улыбаясь. <...> — Мама, мне его надо, за что я так пропадаю, мама!..»

С. 652. ...*поедем на мажаре в Старый Крым...* — Этому путешествию посвящена отдельная мемуарная новелла АЦ «Ночи безумные» (см.: Неисчерпаемое. М., 1992. С. 197–203).

*Мажара* — большая татарская или азиатская арба.

С. 654. «*Облака клубятся в безднах зеленых...*» — из одноименного стихотворения М. Волошина (цикл «Киммерийская весна»).

«*И низко над холмом дрожащий серп Венеры...*» — фрагмент стихотворения М. Волошина «Заката алого заржавели лучи...»

С. 655. ...*добрый низкий женский голос...* — Речь идет о певице Олимпиаде Никитичне Сербиновой (урожд. Ермаковой, 1879–1955), жене судьи. О ней см.: *Савельева Н., Панфилова А.* Сестры Марина и Анастасия Цветаевы в Крыму // На путях к постижению Марины Цветаевой. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2002. С. 53–60.

«*Ясный вечер, зимний и холодный...*» — из стихотворения М. Волошина «Мастерская».

С. 657. ...*немец Шааф...* — По-иному звучит эта фамилия в передаче Вл. Купченко: феоdosиец, немец Альберт Готлиб Шаад (р. 1866), выпускник Харьковского университета (см.: *Купченко В. П.* Труды и дни Максимилиана Волошина: Летопись жизни и творчества. 1877–1916. СПб.: Алетейя, 2002. С. 490).

С. 658. *Золотые Ворота* — причудливая, напоминающая ворота, скала в море близ Коктебеля, особенно эффектная в лучах солнца утренней или вечерней зари.

С. 659. ...у *Достоевского писал капитан Лебядкин...* — Персонаж из романа «Бесы».

*Мессалина* — дочь консула Марка Валерия Мессалы Барбата, первая супруга римского императора Клавдия, мать Октавии и Британника, известна распутством; в 48 г. по Р. Хр. убита.

С. 664. «*Я видел море. Я измерил...*» — из стихотворения А. Полежаева «Море». Цитируется неточно: «Я видел море, я измерил / Очами жадными его; / Я силе духа моего / Перед лицом его поверил».

...*брат Сергей.* — Сергей Сергеевич Трухачев (1886–1919?), революционер, поэт.

С. 669. «*Наша встреча была — в полумраке беседа...*» — из стихотворения МЦ «Детская».

«*Сильнее гул, как будто выше — зданья...*» — из стихотворения МЦ «Привет из вагона».

## Примечания

«На заре туманной юности...» — Романс «Разлука» на стихи А.Кольцова и музыку А.Гурилева. Музыка писали и другие композиторы, но распространение получил именно этот вариант.

### Часть четырнадцатая ФИНЛЯНДИЯ

С. 673. *Марина и Сережа в уфимских степях...* — Имеется в виду Усень-Ивановский завод Уфимской губернии Белебеевского уезда. С.Эфрон писал сестре Е.Эфрон 23.07.1911 г.: «Громадное село, в котором мы живем (5 тыс. жит.), не очень приветливое и грязное, но зато виды вокруг роскошные. Наш домик стоит на берегу озера, с прекрасными мшистыми берегами» (цит. по книге: *Саакянц А.А. Марина Цветаева. Жизнь и творчество*. М.: Эллис Лак, 1999. С. 27)

С. 674. *Гельсингфорс* — по-шведски название Хельсинки.

*Письмо Бориса к Марине из Гельсингфорса* — письмо Бориса Сергеевича Трухачева из Гельсингфорса ранее не публиковалось. Несколько писем Б.С.Т. хранились в личном архиве его вдовы М.И. Кузнецовой, с которой АЦ дружила до ее смерти.

С. 677. *Ницше* Фридрих Вильгельм (1844—1900) — немецкий философ и писатель. О нем не раз пишет АЦ в кн. «Королевские размышления», даже высказывает пожелание продолжить за него философскую поэму «Так говорил Заратустра», развив его замысел. Однако намерение это АЦ не осуществила.

«*О четверояком корне закона достаточного основания*» — имеется в виду докторская диссертация немецкого философа Артура Шопенгауэра (1788—1860). В 1847 г. была издана вторым, доработанным и расширенным изданием, которое и стало известно.

«*Мир как воля и представление*» — философское сочинение немецкого философа А.Шопенгауэра.

С. 678. *...кроме Пиквика...* — Персонаж романа «Посмертные записки Пиквикского клуба» Чарльза Диккенса.

С. 679. *Велодог* — марка пистолета: изящный английский револьвер «Велодог», предназначался для защиты велосипедистов от бродячих собак.

С. 684. *Граф Салиас* — Евгений Андреевич Салиас-Де-Турнемир (1841—1908), русский писатель. Его отец — французский граф, мать — из старинного дворянского рода Сухово-Кобылиных, писательница.

С. 690. ...*маркиз с картины Сомова*... — Константин Андреевич Сомов (1869–1939), выдающийся художник и график Серебряного века, входил в объединение «Мир искусства». В его наследии множество образов, стилизованных под XVIII век. С 1923 г. в эмиграции.

С. 691. *Юный Лист, Вагнер?* — Б. Трухачев по описанной прическе был схож с Ф. Листом больше, чем с Р. Вагнером.

...в «*Купце Калашникове*» та сосенка, «под смолистый под корень подрубленная...» — Образ из поэмы М. Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».

С. 693. *Б.И.Лим.* — Имеется в виду Борис Иванович Лебедев.

*С.И.Ш-им.* — Сергей Иоасонович Шевлягин (1879–1966, указ. Е.М.Климовой), преподаватель латыни, будущий муж В.И.Цветаевой.

С. 694. ...*книги Отто Вейнингера «Пол и характер»*... — Отто Вейнингер (1880–1903), австрийский философ, автор знаменитой в первые десятилетия XX в. книги «Пол и характер» (1903). Демонстративно покончил жизнь самоубийством в доме, где скончался Бетховен.

С. 695. («*Обручена*» — *может быть?*) — у М. Ю. Лермонтова «обручена».

С. 697. ...*ее пригласили выступить с чтением стихов*... — Это было первое выступление МЦ, которое состоялось 31 ноября 1911 г.

С. 701. ...*мать Бори Трухачева*. — Ирина Евгеньевна Трухачева (урожд. Клементьева, 1861–1915).

С. 703. *Из-за границы давно уже вернулись сестры Серпинские*... — Вера Яковлевна Серпинская, вышла замуж (не по своей воле) за Павла Константиновича Олтаржевского, брата известного архитектора. Покончила с собой на железной дороге.

Нина Яковлевна Серпинская (1893–1955) — поэтесса и художница, автор единственного сборника «Вверх и вниз» (Петроград, 1923). Известна также ее книга: *Серпинская Н.Я. Флирт с жизнью* (Мемуары интеллигентки двух эпох). М., 2003.

С. 704. ...*дело об убийстве Рассветовой*... — Анна Николаевна Разцветова, жена профессора медицины Александра Павловича Разцветова, нажившего большое состояние. Об этом см. в указанной в предыдущем примеч. книге Серпинской Н.Я.

...мать Веры, моей подруги по гимназии Потоцкой, приняла участие. — Речь идет о Надежде Владимировне Серпинской (урожд. Станиславской), которая была соучастницей убийства сестры мужа и затем приговорена к двадцати годам каторги. Исполнитель убийства — Александр Любимов (псевд. Иван Иванович) — «Главный виновник преступления скрылся в Сибирь, где совершил ряд вооруженных ограблений банков, магазинов, налетов на квартиры богачей» (*Серпинская Н.Я.* Флирт с жизнью. М., 2003. С. 55). Однако он и его поделщик по убийству Разцветовой «товарищ Антон» были пойманы и приговорены к смертной казни через повешенье.

С. 709. *Мне жаль, что нет Вертоградского...* — Возможно, речь идет о А.И.Вертоградском, служил в Красной армии, был начальником штаба дивизии в Белорусском военном округе (в 3 корпусе 4 дивизии). Указ. Е.И.Лубянской.

*Липеровский* Лев Николаевич (1887/88—1963) — студент медицинского факультета Московского университета, брат мужа Софьи Юркевич. Позднее жил в Праге и Париже, где принял священство (1923—1925). О нем см.: МЦС. Т. 7. С. 735.

С. 711. *Рафаил Кречетов* — псевдоним, наст. имя: Соколов Сергей Александрович (1878—1936), поэт, владелец издательства «Гриф».

С. 714. *Борис захотел меня познакомить со своей сестрой Марусей.* — Трухачева Мария Сергеевна (1891—1919).

С. 717. *...известного д-ра Чайковского...* — Речь идет о Чайковском Сергее Александровиче.

С. 720. *Жуиф* — сладострастник, кутила, прожигатель жизни.

*...матери-толстовки...* — т.е. последовательницы морально-этического учения Л.Н.Толстого, толстовства.

С. 723. *Марина будет жить у Лили и Веры Эфрон...* — Несколько иначе подан этот факт цветаеведом И.Кудровой: «Уже снята квартира неподалеку от Трехпрудного переуллка, на улице с чисто московским названием Сивцев Вражек, на шестом этаже только что отстроенного дома... Увы! Им пришлось сразу отказаться от мечты жить вдвоем: тяжело заболела старшая сестра Сергея Лили. И принято вынужденное решение: в новой квартире будут жить, кроме новой пары, обе сестры Эфрон» (*Кудрова И.* Жизнь М.Цветаевой до эмиграции. СПб., 2002. С. 63). Квартирой сестер Эфрон она станет позже, когда М. и С. Эфроны покинут ее.

*...танцовщица Быстренина...* — прав.: Быстренина Инна Владимировна (в замуж. Петерсон, 1887—1947), танцовщица-босоножка,

последовательница А.Дункан. Учительница пластики на Драматических курсах актрисы МХТ С.В.Халютиной.

*Оболенская* Юлия Леонидовна (1889–1945) — художница, участница выставок общества «Мир искусства». Ей Волошин посвятил стихотворение «*Dimetrius-Imperator*».

*Маня Гехтман* — Мария Лазаревна Гехтман (1892–1947), пианистка.

*Маня Цирес* — Мария Германовна Цирес, младшая сестра А.Г.Циреса, психолога, друга семьи Эфрон.

*Кювилье* Майя Павловна (1895–1985). Была рождена вне брака, крещена как Мария Павловна Михайлова, носила фамилию матери — Кювилье, по первому мужу — княгиня Кудашева, во втором браке Роллан, жена французского писателя Ромена Роллана. Поэтесса, переводчица, литературный секретарь Р.Роллана, хранитель его архива. В романе АЦ «Амог» о ней написана глава «Мэри». Ей посвящено также шуточное стихотворение «Макс Волошин первый был...» (МЦС. Т. 1. С. 199), упомянута она и в «Истории одного посвящения» (МЦС. Т. 4. С. 153) и в письмах МЦ.

С. 725. ...*Майя — метис. Отец русский... Мать — французженка... — Отец* — русский дворянин, чье имя мать так и не раскрыла дочери, по легенде погиб при Цусимском морском сражении 4–15 (27–28) мая 1905 г. в Корейском проливе у острова Цусима во время Русско-японской войны 1904–1905 гг. (см.: *Медзмариашвили Г.* «Я жив благодаря ей...». М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2000. С. 16 и далее).

*Мать* — Мекка Кювилье, уроженка Французской Швейцарии. Служила гувернанткой последовательно в нескольких семьях.

С. 726. *Майя пишет стихи. Прекрасные! По-французски.* — Известно, что по-русски она печаталась во втором сб. «Поэты Центрифуги» (1916), а также в альманахе поэтов «Ковчег» (Феодосия, 1920). Разговор о стихах с Майей Кудашевой описывает в своей книге Г.Медзмариашвили: «Анастасия Ивановна часто вспоминает Крым, о том, как вы помогали людям в беде. Вы тоже писали и публиковали стихи. А здесь их не издали полностью? — спросила я. — Нет, не издала. Может, потом издадут. — И она добавила, улыбаясь: — Я ведь писала не только о любви, но и философские, о жизни». Здесь автор делает такое примеч.: «В конце 20-х годов во Франции были изданы два сборника стихов. Екатерина Лубяникова видела один из них в Париже, на титульном листе стояло имя автора: “Княгиня Мари Кудашева”» (*Медзмари-*



## Примечания

*ашвили Г.* «Я жив благодаря ей...». М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2000. С. 13).

С. 727. ...*любит В.А.Веснина...* — Виктор Александрович Веснин (1882–1950), архитектор, академик АН СССР (1943). Об этом читаем у Бориса Носика в его мемуарном очерке «Кто ты? — Майя»: «Да. А я влюбилась в Виктора Веснина. Я ему сказала, что Бальмонт хочет увезти меня в Париж, и тогда он стал приглашать меня к себе. Ему было 28 лет, но он до меня еще ни одной женщины не целовал. Но он очень боялся, что я его разлюблю, и его брат увез его в Италию, чтоб он успокоился...» (Звезда. 2001. № 4.)

С. 730. ...«*Потерянного*» и «*Возвращенного рая*»... — Имеются в виду поэмы Джона Мильтона (1608–1774) «Потерянный рай» и «Возвращенный рай».

«*Царевна в зелени*» — имеется в виду популярная в России повесть «Царевна в зелени» французского писателя и поэта Андре Терье (1833–1907), некогда готовившего к печати «Дневник» М.Башкирцевой. (Об этой книге также см. письмо МЦ к Б.Пастернаку от 25 мая 1926 г. МЦС. Т. 6. С. 255.)

С. 734. «...*В освещенной передней я...*» — из стихотворения МЦ «“Прости” волшебному дому».

## Содержание

<i>Станислав Айдинян</i>	
Электричество памяти	5
<b>От автора</b>	18
<b>Детство</b>	
Часть первая. РОССИЯ	21
Глава 1. Ранние воспоминания	21
Глава 2. Бурская война. Дело Дрейфуса. Мамины рассказы. Голоса Москвы. Шарманщик. Пушкин	26
Глава 3. Детская Москва	34
Глава 4. Первое выступление Муси в музыкальной школе. Андрюшин дедушка Иловайский. Два женских портрета. Дедушка и Тьо. Наш отец и его детище – Музей. Наша мать	39
Глава 5. Репетитор Андрюши – моя первая любовь. Арест репетитора. Смерть дедушки. Папины братья	50
Глава 6. Брат Андрюша. Ломка мрамора на Урале для Музея изящных искусств. Профессора. Елка	55
Глава 7. Наша старшая сестра Лёра. Ее и Мусины книги. Первая встреча с Данте. Волшебство иностранных языков	63
Глава 8. Наш дом	69
Глава 9. Таруса. Праздник у художника Поленова. Наше лесное гнездо. Царство Тьо. Дом Добротворских	77
Глава 10. Музыкальные шкатулки. Панорама	85
Глава 11. Зима. Рождество. Масленица. Весна. Чужие дети. Горькие слезы	92
Глава 12. Весна. Встреча с Окой. Тьо. Прошгодний мяч. Преториус. Бешеная собака и хлыстовки. Дождь. Осень	102
Глава 13. Наша московская зима 1901–1902 годов. Мусина гимназия. «Золотые кудри». Новый репетитор. Мамин перевод с немецкого. Книжки. Мусин характер. Мамины рассказы. Мария Васильевна. Рамс. Воробьевы горы	117
Глава 14. Весна 1902 года. Новая гувернантка – революционерка Мария Генриховна. Андреевы. Пасха	129
Глава 15. Лето 1902 года в Тарусе. Марусины именины. Поездка родителей на уральские ломки мрамора. Челкаш и Громило. Киска и стихи Пушкина.	
Ярмарка. Последняя осень в России	135

Глава 16. Осень 1902 года. Мамина болезнь. Прощание с домом. Отъезд в Италию	140
Часть вторая. ИТАЛИЯ	144
Глава 1. Генуя. Кампосанто. Встреча Марины с морем. Свобода!	144
Глава 2. Приезд в Нерви. Володя Миллер	150
Глава 3. «Русский пансион». Его хозяин	154
Глава 4. Володя. Собаки. Вова Курдюмов	157
Глава 5. Рождество 1902 года в Нерви. Приезд Кобылянского. Новые друзья. Стихи Маруси	160
Глава 6. Тяжести жизни. Беда над Володей. Смерть Рёвера. Весть о приезде Тети	166
Глава 7. Буря на море. Тигр. Несчастье с Мусей. Новые веяния	170
Глава 8. Поездка в Санта-Маргарита. Лина Кавальери	174
Глава 9. Калека. Богатые нищие. Приезд Тети	177
Глава 10. Подруга Тигра. Монастырский дом. Битва цветов	180
Глава 11. Заточение. «Бориваж». Приезд Тигра. Кошечка. Вилла Торре	181
Глава 12. Последние дни в Нерви	186
Часть третья. ШВЕЙЦАРИЯ	189
Глава 1. Лозанна. Отъезд Тети. Пансион Лаказ	189
Глава 2. Весна 1903 года. Приезд мамы. Уши	197
Глава 3. В Альпах. Разжалованный гид. Дурная тропа	200
Глава 4. Снова Лозанна. Беседы с Марусей. Уроки музыки у мосье Бишоф. М-ль Жанн	207
Глава 5. Зима в Лозанне. Католичество. Приезд Кричевского. Мари Оссорно	214
Глава 6. Испытание. Весна 1904 года. Праздник нарциссов. Шильонский замок	220
Часть четвертая. ГЕРМАНИЯ	226
Глава 1. Лангаккерн. Новые друзья. «Лихтенштейн». Сказка матери. Маринины любимые книги. Пейзаж Шварцвальда	226
Глава 2. Пансион Бринк и мамина комнатка	235
Глава 3. Осень 1904 года с мамой во Фрайбурге	244
Глава 4. Зима 1904–1905 года. Вести из России	250
Глава 5. Мамин рецидив. Приезд папы. Пожар в Музее	255

Глава 6. Без мамы. Конец зимы во Фрайбурге. Новые подруги. Лазарет	258
Глава 7. Весна 1905 года. Угроза исключения. Поездка в Шёнау	261
Глава 8. Санкт-Блазиен	266
<b>Часть пятая. КРЫМ</b>	<b>274</b>
Глава 1. Путь в Россию. Севастополь	274
Глава 2. Ялта. Заречье. Семья Вебера. Приезд Володи Цветаева. Парк Эрлангера. Переезд на дачу Елпатьевского. Ялта дарсановская. Наша хозяйка и пансионеры. Никоновы	278
Глава 3. Революционные события	285
Глава 4. Варвара Алексеевна Бахтурова. Ученье. Мамина болезнь. Приезд Пешковых. «Очерки детства» Юшкевича	289
Глава 5. Революционная Ялта. Макс и Катя Пешковы. Дружба с Варварой Алексеевной. Страсть к ученью. Маринины революционные стихи	294
Глава 6. Весна 1906 года в Ялте. Экзамены. Массандра. Приезд Тети. Прощанье. Отъезд	300
<b>Часть шестая. СНОВА ТАРУСА</b>	<b>307</b>
Глава 1. Дома!	307
Глава 2. Болезнь. Смерть мамы	312
Глава 3. После мамы	320
<b><i>Отрочество и юность</i></b>	
<b>Часть седьмая. ОТРОЧЕСТВО. СНОВА МОСКВА</b>	<b>327</b>
Глава 1. Без мамы. Варвара Алексеевна. Иловайский. Лёра. Маринин пансион фон Дервиз. Повесть Марины «Четвертые»	327
Глава 2. Мария Исидоровна. Революционная молодежь. «Немка». Брат Андрей. Анна Ажерон	332
Глава 3. Лето 1907 года. Ночь под Ивана Купала. Годовщина маминой смерти. Кумыс. Первый опыт жизни. Осень	344
<b>Часть восьмая. МОСКВА. ТАРУСА</b>	<b>352</b>
Глава 1. Дома. Маринина обида. Гимназия Потоцкой. Революцион- ные веяния. Дружба с Галей Дьяконовой и Аней Калин	352

Глава 2. В семье Дмитрия Владимировича Цветаева. У балетмейстера. В доме Иловайских.	
Елена Николаевна Орловская. Гимназические собрания	368
Глава 3. Таруса зимой. Драки. Райка. Новая дружба Марины. Виноградовы. Первый взрослый гость – Сережа Юркевич	375
Глава 4. Лидия Александровна Тамбурер, прозванная Мариной Драконна. Эллис. Стихи Марины	378
Глава 5. Марина на чердаке. Андрей и латынь. Стихи в насмешку. Галя и Аня. Виноградовы.	
Прозвища. Недоразумение. В моей гимназии	388
Глава 6. Лето 1908 года. Стихи Марины. Смерть маленькой Сони. Алес Закржевский. В лодке в бурю. С Мариной у Оки. Тьо и птичка. У Кампанари	393
 Часть девятая. МОСКВА И ТАРУСА	 405
Глава 1. Перевод Мариной «Орленка» Ростана. Стихи Марины. Подруги. У Горбовых	405
Глава 2. История Евгении Николаевны. Мамины дневники. Сказки Эллиса. Москва. Уроки танцев	410
Глава 3. Маринин Наполеон. Аня Калин. Огорчения. Стихи. Зимой в Москве	416
Глава 4. Травля папы министром Шварцем. Египетская коллекция Голенищева. Уход Драконны из семьи. Пьеса Уайльда. О театре	425
Глава 5. Марина. Драка. Раздумья. С Лёрой на Сухаревке. Встреча с Валерием Брюсовым и стихи ему Марины	430
Глава 6. Эллис	435
Глава 7. В гимназии Потоцкой. Встреча с Алесом Закржевским. Сергей Соловьев. Пари Марины с Анатолием Виноградовым. Отъезд папы на Всемирный конгресс археологов. Стихи Марины. Выпускной вечер	438
Глава 8. Чародей. Поэма Марины Эллису. Возвращение папы из Каира	444
Глава 9. Начало лета 1909 года в Тарусе. Отъезд Миши и Лёнки Монаховых. В Пачёво. С Толей Виноградовым	453
Глава 10. В Куркине. Гриша Навроцкий. М-г Arnauld de Lunquières	462
Глава 11. Снова в Тарусе. Толя. Кланы Макаренко. Маринины стихи. Две Лиды. Мои ребята. Письмо от М-г Arnauld. Шура Успенский	467
Глава 12. Пожар. Осень 1909 года с Мариной. Отъезд	476

Часть десятая. МОСКВА. САКСОНСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ	486
Глава 1. Юрий. Андрей. Наши вечера. Переводчик Гераклита Нилендер. Встреча с Андреем Белым	486
Глава 2. Марина и папа. Брюсов. У детей Юхневич.	493
Просвет в деле папы с министром Шварцем	493
Глава 3. Конькобежцы на Патриарших прудах. Нилендер. «Зимняя сказка»	501
Глава 4. Испытание. Оценка Мариной «Зимней сказки». Ее стихи. Новая беда	512
Глава 5. Масленица 1910 года. Зимой в Тарусе. Шура и Гаря. Измена Шуры. Приезд Марины. Анализ тех дней	517
Глава 6. Эпиграф из Лермонтова. Мечты о лунной Элладе. Снова министр Шварц. Марина. Встреча с Нилендером. Дворники. Квартира в Музее. «Воскресенье» из «Человека, который был четвергом» Честертон	526
Глава 7. Весна 1910 года. Художник Леви и Мария Башкирцева. Валя Карлова. Бек. Корь	531
Часть одиннадцатая. ВАЙСЕР ХИРШ. ЛЕТО 1910 ГОДА ПОД ДРЕЗДЕНОМ	538
Глава 1. Встреча. Путевые стихи Марины. Сикстинская Мадонна. Победа недостойного министра Шварца	538
Глава 2. Вайсер Хирш. Лошвиц. «Норвежский дом» и его обитатели. Шведские дети	540
Глава 3. Старость и юность. Соседи и знакомые «Норвежского дома». Сказочница	545
Глава 4. Жертва Августа Сильного. Графиня фон Позен. Эскапады	549
Глава 5. Прощание. Отъезд Хельмута. Наш отъезд. Пешком по Саксонской Швейцарии. Поездка с папой в Магдебург и Виттенберг	554
Часть двенадцатая. ЮНОСТЬ. МОСКВА	558
Глава 1. Приезд домой. О Брюсове. Общая с Мариной гимназия Брюхоненко. Учителя и подруги	558
Глава 2. Семья Нины Мурзо. Забота Драконны о папе, попытка помочь нашей семье	562
Глава 3. Лёва Сикстель. Маринина помощь мне	566
Глава 4. Похороны Льва Толстого. Станция Засека. В Ясной Поляне	569

Глава 5. Сестры Тургеневы. На концерте Яна Кубелика.	
Маринина новая комната	573
Глава 6. Максимилиан Александрович Волошин.	
Черубина де Габриак. Аделаида Герцык. Марина	579
Глава 7. Саша Кабанов и странный посетитель.	
Дружба Марины с А.К.Герцык. Первые полеты братьев Райт	585
Глава 8. В синематографе с Мариной.	
Нарциссы Льва Борисовича	592
Глава 9. Смерть и жизнь.	
Увлечение Марины Казановой и Манон Леско	595
Глава 10. Встреча на льду	598
Глава 11. «Граф» Баскаков. Первая встреча с убийством.	
Мона Лиза Джоконда и Леонардо да Винчи. Б.С.Т. у меня.	
Марина в пушкинских местах в Гурзуфе	602
Глава 12. Экзамены и подготовка к ним. Борис.	
Ночь на рассвете. Разговор с папой. Приход Эллиса	607
Глава 13. Нилендер	613
Часть тринадцатая. ФЕОДОСИЯ, КОКТЕБЕЛЬ, КРЫМ	616
Глава 1. Приезд в Коктебель. Марина и Макс	616
Глава 2. Коктебель. Кончитта. Пра.	
Игорь Северянин. Мария Паппер	620
Глава 3. Утро Коктебеля. Лиля и Вера Эфрон.	
Сережа и Марина	628
Глава 4. Душа Коктебеля	631
Глава 5. Сережа Эфрон. Трагедия его семьи	638
Глава 6. С Мариной. Сердоликовая бухта. Феодосия	643
Глава 7. Петр Николаевич Лампси	
и его сестра Елена Николаевна Потапенко.	
Коля Беляев. Марина. Сережа. Стихия смеха	645
Глава 8. На мажаре по крымской степи. Миражи.	
Ночь в Старом Крыму. «Ночи безумные»	652
Глава 9. В море. Письмо Бориса. Вызов на дуэль	656
Глава 10. Смятение. Приезд Бориса. Ночь у моря	662
Глава 11. Расставание	666
Глава 12. На феодосийском вокзале. Сережа, Марина.	
Борис, я. Прощальные стихи в два голоса	668
Часть четырнадцатая. ФИНЛЯНДИЯ	673
Глава 1. Гельсингфорс. Письмо Бориса Марине. Субстанция.	
Философия	673
Глава 2. Эсбо. Хозяин гостиницы. «Идиот» Достоевского.	
Уют быта. Размышления. Ибсен. Снова Гельсингфорс	678

Часть пятнадцатая. СНОВА МОСКВА	689
Глава 1. Москва осенью 1911 года. Марина, Сережа, Борис и я. Лёра	689
Глава 2. Марилина начинающаяся известность. Наше публичное выступление — чтение стихов в унисон. В.Брюсов. Участие Марины во Всероссийском конкурсе поэтов	696
Глава 3. Печали. Разговор с матерью Бориса. Разговор с Мариной. Брат Андрей и Нина Мурзо. Сестры Серпинские. «Только утро любви хорошо»	700
Глава 4. У Виноградовых. Толя, Марья Васильевна. У Юркевичей. Тоска по Марине	705
Глава 5. Встреча нами Сережи Эфрона в двух маминых старинных шубах на Николаевском вокзале	711
Глава 6. Визит матери Толи Виноградова. Маруся Трухачева (первая встреча). Лёра. Пропажа бабушкиного гранатового ожерелья	713
Глава 7. Разговор с Марусей Трухачевой (вторая встреча)	717
Глава 8. Брат Андрей и его друг Валеvский. Вместо нашего «вдвоем» с Мариной — «вчетвером». Папа и Музей.	721
Глава 9. У Эфронов. Сеня Фейнберг. Юлия Оболенская. Майя Кювилье	723
Глава 10. Осень 1911 года. Маминь вещи (приданое)	728
Глава 11. Снова «Зимняя сказка»...	
Моя встреча с В.О.Нилендером	734
Глава 12. Сборы. Наши фотографии. Мой отъезд	738
<i>Примечания</i>	744



Литературно-художественное издание

**АНАСТАСИЯ ЦВЕТАЕВА  
ВОСПОМИНАНИЯ**

*В двух томах  
Том 1*

Редакторы Е.В.Толкачева, В.П.Кочетов

Мл. редактор Д.В.Савиных

Художественный редактор Т.Н.Костерина

Технолог С.С.Басипова

Оператор компьютерной верстки А.Ю.Бирюков

Оператор компьютерной верстки переплета В.М.Драновский

Корректоры Л.М.Кочетова, А.В.Данилкина, Л.Ф.Уланова

Подписано в печать 18.11.2008

Формат 60х90/16

Тираж 5 000 экз.

Заказ №

ООО «Бослен»

107259 Москва, Бухвостова 1-я ул.,

д. 12/11, стр. 17-18

Электронная почта:

[vagrius@vagrius.com](mailto:vagrius@vagrius.com)

Отпечатано на ОАО «Нижполиграф»

603006, Нижний Новгород, ул. Варварская, 32